



Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel

Philosophie des Lebens

Die Vorlesungen, die in Wien 3
1. März bis 30. Mai 1828 r gelesen sind

Philosophie der Geschichte

1829



Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель

Сочинения том 1

Философия жизни

В пятнадцати лекциях,
читанных в Вене в 1827 г.

Философия истории

1829



ББК 87.3(0)

Ш68

К. В. Ф. фон Шлегель

Ш68 СОЧИНЕНИЯ Том I

Философия жизни.

Перевод с немецкого В. М. Линейкина
под редакцией Т. Г. Сидаша и С. Д. Сапожниковой
Философия истории.

Перевод с немецкого Д. К. Трубчанинова
под редакцией В. М. Линейкина

Комментарии В. В. Феллера

Научный редактор издания В. В. Феллер

Санкт-Петербург: Издательский проект «Quadrivium»,
2015 г. — 816 с.

Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель (1772–1829) — один из наиболее значительных деятелей немецкого романтизма: его филологические, исторические, философские и литературные труды вошли в классическое наследие романтической школы. Предлагаемый том включает в себя два цикла философских лекционных чтений — «Философия жизни» и «Философия истории», — относящихся к самому позднему периоду творчества автора. Книга будет полезна всем, кто интересуется вопросами истории, философии, а также специально немецким романтизмом.

ISBN

© Линейкин В. М., перевод 2015 г.

© Трубчанинов Д. К., перевод 2015 г.

© Феллер В. В., комментарии 2015 г.

© Гизатуллина А. Р., художник 2015 г.

© Издательский проект «Quadrivium»,
издание 2015 г.

От издателя

Философская система Ф. В. Шлегеля изложена им в трех больших произведениях: «Философия Истории», «Философия Жизни» и «Философия Языка». В настоящий том вошли два первых. Второй том составит «Философия Языка», программный для самого Шлегеля и романтической школы в целом роман «Люцинда», а также же имеющие философское значение малые произведения. В силу технических обстоятельств статью, посвященную творчеству мыслителя, мы тоже выносим во второй том.

Пользуясь случаем, не могу не поблагодарить А. Г. Дугина, при финансовой поддержке которого эта книга выходит в свет.

Т. Г. Сидаш

От редакции

Гсть книги, коим долгое неиздание в нашей стране было «написано на роду». Предлагаемая ныне вниманию читателя — одна из них. Трехчастный цикл философских лекций Фридриха Шлегеля, читавшийся им с 1827 по 1829 г. и включающий «Философию жизни», «Философию истории» и «Философию языка и слова», по личному свидетельству автора, являет собой квинтэссенцию его мировоззренческого поиска, и на его родине, в Германии, занимает свое твердое и неоспоримое место среди теоретических трудов немецкого романтизма. Однако в России, несмотря на ее общий неизменно высокий интерес к философской литературе, а также на известность и почтение, традиционно окружающие имя автора, эти лекции так и не были изданы ни в царский, ни в советский период, разделив тем самым странную и роковую судьбу целого ряда выдающихся и краеугольных произведений романтической школы. Тем интереснее будет для нас обратиться к ним по прошествии без малого двух полных столетий с момента их написания. Тот факт, что на духовной карте немецкого романтизма все еще случаются белые пятна, в наши дни не вызывает ни малейшего прискорбия и даже по-человечески радует, как может радовать сама возможность существования заповедных территорий или до сих пор не растаявших льдов. Однако издательская политика ведет в ином направлении и состоит, напротив, в том чтобы по мере сил восполнять наиболее зияющие из образовавшихся литературных лакун. И потому мы сегодня, с религиозной радостью людей, являющих миру новообретенный артефакт, представляем вниманию русского читателя две из трех частей философских лекций Шлегеля: «Философию жизни» и «Философию истории», впервые переведенные на русский язык. В недалеком будущем мы намерены выпустить в свет и последнюю, заключительную часть этих чтений — «Философию языка и слова» — коль скоро нам это позволит политическая и финансовая конъюнктура нашего бурного времени, не особенно благосклонного к издательской деятельности.

Философия жизни

В пятнадцати лекциях,
читанных в Вене в 1827 г.

Предисловие

Это собрание из пятнадцати лекций о Философии Жизни призвано в по возможности простом и наглядном изложении охватить собой следующие предметы. В первых пяти лекциях речь пойдет сперва о душе как средоточии сознания и нравственной жизни, затем о душе в ее соединении с духом (Geist)¹ в науке, в ее отношении к природе и Богу. Три последующие лекции посвящены закону мудрости и божественного порядка в природе, в мире идей и в истории. Предмет семи последних лекций есть раскрытие духа в сознании и в науке, затем во внешней жизни и в великих мировых отношениях, в борьбе времени и в ходе его восстановления, в соответствии с различными степенями развития человеческого рода, вплоть до самого достижения конечной цели совершенства.

¹ Geist здесь = разум. — *Прим. перев.*



ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

О мыслящей душе как средоточии сознания и о ложном устремлении разума

«Есть так много вещей на небе и на земле, — говорится у одного столь же вдохновенного, сколь и глубокомысленного поэта, — что не привидятся нашей философии и в грезах»². Это случайно оброненное гениальное высказывание все еще по большей части применимо и к нашей нынешней философии, и я хотел бы всецело усвоить его себе, внося лишь одно небольшое изменение; для моей конечной цели я добавил бы следующее: также и «между небом и землей» есть много таких вещей, о коих не доводилось грезить нашей философии. Именно оттого, что философия по большей части занята лишь грезами — научными грезами — она и не знает столь многого, и даже не догадывается о том, что, собственно, должна была бы знать. Она упускает из вида свой истинный предмет, утрачивает твердую основу и почву, на которой она могла бы уверенно стоять и действовать без помех, покидает свойственный ей регион, упорно пытаясь, с одной стороны, вознестись в небо и выстраивать там всякого рода воздушные замки или диалектические умственные конструкции, либо же пускается блуждать по земле, и, с силой врываясь во внешнюю действительность, стремится реформировать в ней все и вся, придав ей новый образ в соответствии со своими идеями. Посредине между этими двумя ложными путями должен пролегать путь истинный, и истинный регион фило-

² Перевод шекспировского изречения: *There are more things in heaven and earth, Than are dreamt of in your philosophy* сделан с немецкой авторской передачи Ш. — *Прим. перев.*

софии есть как раз регион духовной внутренней жизни между небом и землей. Как по одну, так и по другую сторону, заблуждений было довольно еще в былые времена образованной древности. Даже Платон, величайший среди греческих мыслителей, дал в своей «Республике» изначальный образ идеального государственного устройства, не выдерживающий в этом отношении критики. И пусть его намерение может найти свое извинение в на тот момент уже полном и очевидном распаде и разрушении больших и малых греческих республик, в среде коих он жил; пусть этот его труд в целом отличается высоким совершенством стиля и изображения, богатством превосходных идей и возвышенных мыслей, серьезностью и достоинством, благодаря которым он выделяется на фоне мимолетных конституционных изобретений нашей эпохи — тем не менее, он остается слабым сочинением великого мужа. [Сегодня] не надобно быть Платоном, чтобы признать, сколь невыполнимыми и даже противоречащими разуму являются многие черты в этом его идеале государства, в итоге оказавшемся годным лишь на то, чтобы дать многочисленные поводы — как в среде современников Платона, так и позднее, для потомков — к насмешкам глупцов и возражениям со стороны людей вдумчивых и знающих. С этой точки зрения созерцание столь великой, столь грандиозной духовной силы, употребляемой в таком ложном направлении и расточаемой на столь невозможную цель, способно вызвать лишь сожаление. С другой же стороны, если древнейшие из греческих философов, подобно первым дерзким мореплавателям по необъятному океану мысли, каждый по-своему представляли в своем духе элементы вещей: огонь, воду и воздух, или также атомы, а затем организующий все это божественный разум, в рамках всякий раз иначе построенных мировых систем и той или иной личной природной веры, — то все же здесь нам необходимо помнить, что, поскольку чисто поэтическая народная религия или сказочная мифология древности не несли в себе не только вразумительного, но и вообще никакого ответа на все вопросы о сущности вещей и о первой причине, — ни эта религия, ни мифология никак не могли удовлетворить этих первых мыслителей, что вынуждало каждого из них отыскивать свой собственный путь почитания природы и вырабатывать собственное воззрение на Высшее Существо. С тех пор, однако, человечество сделалось старше на три с половиной тысячелетия; и если бы вдруг сейчас, в нашей нынешней философии, кто-либо захотел смотреть на эти две или три с половиной тыся-

чи лет и на все, что происходило с человеческим духом или выпало на его долю за этот период как на не имевшее места, взявшись изменять человечество с самого начала, — то такой опасный эксперимент едва ли привел бы к счастливым результатам, но вероятнее всего, судя по прошлому опыту, возымел своим следствием лишь нескончаемые и неразрешимые споры. Такая очищенная и освобожденная от всего предшествующего бытия почва и словно бы гладко отполированная мраморная плита мышления, как можно было бы назвать *tabula rasa* прежней философии времени, могла бы послужить лишь ареной для бесполезной и азартной игры рискованных спекуляций, однако никак не представлять собой твердое основание для мышления и постоянно развивающейся духовной жизни. Само по себе не удивительно, если юные души бывают чересчур рано, или искаженным образом, захвачены этими великими идеями природы, Бога, свободы, разума и прогрессирующего мышления, и если они затем, будучи всецело во власти этих идей, с одной стороны, ощущают в себе ложное стремление или искушение построить и словно бы собственными силами изготовить себе новую религию, а, с другой — испытывают потребность осудить изменить все существующее, тут же реформировав его согласно едва знакомым им идеям. То, что это двоякое заблуждение и злоупотребление философским мышлением именно таково, что оно везде и всюду сказывается вредоносно и пагубно для воспитания и для мира, — настолько очевидно, что едва ли есть необходимость особо на этом останавливаться. Я хотел бы отметить преимущественно лишь, насколько вредно такое устремление для самой философии. Ибо именно по его вине дело дошло до того, что (в особенности у тех мужей, разум которых был всецело образован практической жизнью и ее великой взаимосвязью) сам ее предмет с, пожалуй, несправедливой огульностью, стал пользоваться дурной славой, и «философский» означает ныне почти то же самое, что и «химический» или, по меньшей мере, «практически непригодный». Подобный же род презрения к «никчемности» греческой философии мы могли отметить у множества великих государственных деятелей Рима. И, тем не менее, в основе всего этого стремления лежит весьма благородное начало, которое — получив должное направление — может являть собой в высшей степени животворную силу, весьма удачно обозначаемую греческим именем: поскольку в этом прекрасном слове, согласно его первоначальному значению, знание сперва полагается не как уже совершенное и готовое, но, ско-

рее, лишь как предмет поиска и исследования, благородной любознательности и чистого воодушевления высокой истиной. В то же время в нем выражается осознание необходимости мудро распорядиться таким знанием. Недостаточно всего лишь преградить путь и воспрепятствовать уклонению в сторону ложной философии: лишь ревнуя о том, чтобы проложить и выровнять дорогу для истинной философии жизни, можно устранить зло в самом его основании. Философии, таким образом, надлежит, с почтением относясь ко всему данному свыше и существующему вовне, не стремиться восстать против него с враждебностью и насильственно в него вмешаться; и как раз, если она будет скромно держаться в этих, своих собственных, срединных пределах внутренней духовной жизни, не желая быть в услужении ни у теологии, ни у политики, она наилучшим образом сможет отстоять свое достоинство и независимость здесь, в своей собственной сфере. Именно в том случае, если она станет воздерживаться от всякого вмешательства в позитивное, действительное, она чаще будет способна оказывать косвенное благотворное воздействие вовне, просто рассматривая предметы в более общем и свободном свете и уча этому других. И возможно, что ей таким образом, словно бы мимоходом, удастся рассеять туман, накрывший пеленой опасного недоразумения целые сферы человеческого существования, или же убрать с пути тот или иной камень преткновения, что служит соблазном для эпохи и человеческих душ и сеет меж ними раздор. Так она лучше всего сможет продемонстрировать свою примиряющую силу и, в то же время, исполнить свое истинное назначение. Таким образом, предмет философии есть внутренняя духовная жизнь, причем во всей ее полноте, а не только та или иная ее отдельная сила, действующая в том или ином направлении. Что же касается формы и метода, то Философия Жизни в качестве своей предпосылки полагает одну лишь жизнь и, в частности, определенное, в ней и вместе с ней уже до некоторой степени пробужденное и многосторонне развитое сознание: ибо она имеет своим предметом и целью своего познания все сознание, а не только лишь одну его сторону. Для этой конечной цели любая претенциозная, обстоятельная и многословная форма, любой боязливо искусственный метод представляли бы собой скорее помеху, нежели помощь. Здесь и кроется великое различие между философией жизни и философией школы. Если философия вообще рассматривается лишь как составная часть первичного научного обучения, то освоение метода — будь он по ста-

рой привычке назван логикой, или как-либо иначе — будет в нем главной целью. Ибо здесь, на этой ступени, важен не столько даже сам предмет, стоящий покуда в удалении и, за неимением у учащегося достаточного собственного внутреннего опыта, не могущий быть в полной мере охваченным: важно необходимое для будущего и приложимое ко всем без исключения предметам упражнение в методическом мышлении. Однако предварительный навык в философском мышлении есть лишь приготовление к философии, а отнюдь еще не сама философия. Наиболее плодотворным в философии научное школьное преподавание, по всей видимости, может стать, если оно будет ориентироваться на историю человеческого разума. Что может быть более притягательным, нежели проникающее в дух и со всей ясностью разворачиваемое представление различных систем остроумных и изобретательных греков; или распространение этого принципа и далее, на науку египтян или иных азиатских народов — вплоть до различных, ничуть не менее достопримечательных, систем индийцев, этих греков первобытного мира! Однако все это переходит уже всецело в область собственно учености и не может представлять равный интерес для всех, да и в любом случае, история философии не есть сама философия. Различие между Философией Жизни и философией школы понимается, конечно, совершенно по-разному, в зависимости от самой этой философии и от преобладающего в ней воззрения. В той, другой философии, движущейся в диалектическом круге абстрактных понятий, в соответствии с ее особым характером, — сперва предполагается и требуется некая искусственно добытая абстракция, которая затем возводится в более и еще более высокую степень и, под конец, переходит все возможные границы. Более того, как о том может свидетельствовать развитие новейшей немецкой науки, непонятность в конечном итоге начинают полагать в качестве существенного признака истинной и подлинно научной философии. Я должен признаться, что испытываю всегда сильнейшее недоверие к этой философии, живущей в недоступном свете, где сам ее изобретатель — хоть и уверяет себя в своем обладании недосыгаемой надежностью и ясностью видения, — однако же вместе с тем дает понять, что из других смертных его не понимает и не может понять почти никто, или, строго говоря, никто вообще. При этом все его нагромождение неразберихи или, точнее, неразумия, является по большей части не более чем ложным светом некоего внутреннего потайного фонаря. Здесь, на пути совершенно абстрактного и непонятного мышления

естественным образом за наиболее важное почитается философия школы, а в качестве собственно истинного знания видится именно непонятное. Философия же жизни, с точки зрения этой системы, есть не более чем своего рода перевод на язык популярного представления и общечеловеческого сознания; причем в дальнейшем нередко оказывается, что даже при значительном таланте выражения и представления, это последнее, несмотря на кажущуюся ясность, по внимательном рассмотрении все равно остается непонятным, и именно потому, что внутреннее содержание этих абстрактных мыслей было путаным и неясным с самого начала, оно, следовательно, и не может быть прояснено с помощью какого бы то ни было представления. Живая философия бесконечно далека от такого блуждания в дебрях пустой абстракции, а поскольку ее предметы суть те же самые, что должны быть знакомы изнутри всякому в известной степени развитому сознанию, то здесь ничто не мешает также и ясности, легкости и живости изложения. Здесь, таким образом, отношение совершенно обратное: сама философия жизни в этой системе есть главное и первое; философия же школы, или научное школьное преподавание в ней, на своем месте пользуется большим уважением и осознается как необходимая, однако по отношению к целому представляет собой лишь второе, производное, побочную ветвь, или приложение первого. В философии жизни и метод должен быть живым и ни в коем случае не должен оставаться в небрежении, однако нет нужды в том, чтобы он применялся повсюду в одинаковой мере, или видимым образом выступал на первый план, но везде лишь настолько, насколько того требует цель. В качестве пояснения может служить подобие из практической жизни, где обычно важнейшие искусства и занятия имеют своим фундаментом математику, словно бы образующую собой их метод; однако отнюдь не всегда у нас есть возможность или время возвращаться к этим элементам в их методической подробности: их просто предполагают как известные и думают лишь о существенных для цели результатах. Экономное ведение как самого большого, так и самого малого хозяйства покоится в конечном итоге на первых началах арифметики. Однако к чему бы привело, если бы и в каждой частности нам пришлось вновь и вновь возвращаться к арифметике и к таблице умножения, желая всякий раз проверить ее на истинность и убедиться в ее практической годности к использованию? Так, и военное искусство зиждется на геометрии; однако когда маршал выстраивает свое войско для битвы, ему некогда вновь воз-

вращаться к учебникам математики, дабы вывести из них свое построение и тщательно его обосновать. Наконец, даже астроном, несмотря на то, что его занятие более всего основано на вычислении, если он захочет показать нам тот или иной феномен на звездном небе, будет обращать свое внимание лишь на сам этот феномен, не утруждая тех, кого он хочет им заинтересовать, затруднительными расчетами, которые он, возможно, сделал для себя. Со всеми этими искусствами и приспособлениями практической жизни некоторую степень сходства и даже родства имеет и интеллектуальное занятие мышления — совместного мышления и сообщения его результатов. Ведь бесспорно, что по меньшей мере одной из задач философии является введение мудрой экономии и хорошо организованного хозяйствования в эту оживленную и вечно подвижную массу идей, которую образует наша интеллектуальная способность и собственность; последнее видится тем более необходимым при столь быстром и оживленном движении и обороте идей (где приход и расход не всегда должным образом соблюдаются в равновесии), дабы легкомысленное расточительство и разбазаривание благороднейших духовных даров, или беспочвенная и ложная кредитная система в мышлении — там, где отсутствует твердый постоянный капитал хорошо размещенных основоположных идей и практически оправдавших себя истин, — не приводили к краху. Что касается второго подобия, то мне, безусловно, хотелось бы, — не для вас, но вместе с вами, — одержать победу над столь великим множеством заблуждений, разделяющих эпоху и человеческие души, разрушающих гармонию жизни и подрывающих спокойствие внутреннего интеллектуального мира, или ложных, обманчивых и призрачных мыслей. Что же до третьего, то я более всего радовался бы, и более всего почитал бы свою цель достигнутой, если бы мне при случае удалось направить ваше внимание и ваш взор к какому-нибудь неизвестному или не совсем и не в полной мере узанному небесному телу в высшем регионе.

Прежде всего, однако, я должен еще здесь отметить, что, — как философия всецело утрачивает свой предмет и подобающее ей содержание, едва лишь перейдя в теологию и растворившись в ней, или же углубившись во внешнюю политику, — точно так же она полностью теряет свою истинную форму, стоит лишь ей пожелать воспроизвести оную в искусственно рассчитанном математическом методе. В середине прошлого столетия почти все немецкие учебники большинства наук составлялись в этой — на-

тужно и усердно скопированной с математики — форме, и каждый отдельный постулат в бесконечном боевом порядке их параграфов венчался заключительным актом доказательной риторики. Однако весьма хорошо известно, что именно в этот же самый период философия преподносилась в отнюдь не свойственной ей форме всецело произвольных, ныне уже по большей части забытых, гипотез, и была почти сплошь из них соткана, так что в результате такого метода ей ни на шаг не удавалось приблизиться к истине — той истине, которой философия ищет и которая есть нечто более высокое, нежели обычный счетный пример. Еще и по нынешний день немецкая философия не вполне освободилась от алгебраических формул (несмотря на то, что теперь они находят в ней совершенно иное применение), ибо с их помощью в сферу рассмотрения может быть внесено и сплавлено воедино все что угодно и со сколь угодно противоположными свойствами. Но, как бы то ни было, эта боязливо-доказательная механика мысли никогда не приносит с собой подлинной, внутренней и совершенной убежденности. Философии необходим совершенно иной, более духовный и всецело внутренний метод, и чтобы разъяснить его в подобии, следует скорее воспользоваться сравнением, взятым из жизни и из природы, нежели из математики. Как в здании, в котором все части соответствуют друг другу и легко могут быть охвачены взглядом: точно так же и во всяком философском сообщении предполагается некая твердая, простая основа, причем порядок целого является наиболее существенным как для внутренней правильности (дабы отнюдь не смогло вкрасться и прибиться ничто чужеродное), так и для внешней ясности. Между тем, такая организация целого имеет гораздо более родства и сходства с неким живым и пребывающим в процессе роста природным предметом, нежели с тем или иным мертвым каменным строением. Вообразите себе, например, большое, со множеством сучьев и ветвей, красиво и мощно разросшееся дерево. По первой видимости и для стороннего глаза оно представляет собой весьма беспорядочное и не имеющее строгих очертаний целое: его ствол вырастает из корней именно так, как вырастает; разделяется на столько сучьев и ветвей, на сколько разделяется; ветви же его и листва свободно движутся на свободном ветру. Однако если затем присмотреться к нему, изучив его более подробно, какая совершенная структура целого, какая дивная симметрия и утонченная закономерность обнаружится тогда во всем его строении, вплоть до последнего листочка и вплоть до по-

следней его жилки! Мне думается, что именно таким образом должно представляться и быть изображаемым в философии вечно растущее дерево человеческого сознания и человеческой жизни, если мы не хотим, чтобы оно было лишено корней и листьев в ложном познании, а стремимся к тому, чтобы объять его живым пониманием истинной науки, а затем представить и сохранить для духа в его живом облике. Но как упорядоченность целого, — точно так же и взаимосвязь отдельных мыслей в философском изложении или сообщении принадлежит к более высокому роду, нежели всего лишь механическое соединение, с помощью какого, например, сколачиваются вместе или склеиваются между собой две доски. Если бы мне нужно было выбрать для этого подобие из живой природы, то я бы напомнил о том, как железная игла, пробужденная теллурической силой, тут же вступает в невидимое соприкосновение со всем телом Земли и его противоположными концами и полюсами; и как теперь эта магнетическая нить впервые провела кругосветного путешественника под парусом через далекие моря к неизвестным частям света — точно так же и внутренняя живая связь отдельной мысли в философии гораздо скорее может выступать в роли такой магнетической [связи], нежели для философии оказалось бы возможным удовлетвориться вышеупомянутой грубой, механической, по существу всего лишь внешней связью мыслей между собой. Однако наивысшее внутреннее единство в философском мышлении или в какой-либо философской последовательности идей будет все же принадлежать к иному роду, нежели все до сих пор упомянутые. Оно принадлежит не природе, но жизни, и, более того, оно не взято из последней в качестве подобия, но оно само есть часть и составная часть жизни, проходя вплоть до самого глубокого основания и корня нравственного бытия. Единство, о котором я говорю, есть единство умонастроения, твердый и верный самому себе характер, внутренняя последовательность образа мысли, которая в жизни, так же как и в системе или в философском воззрении, всегда производит на нас большое и глубокое впечатление, вызывая уважение, даже в том случае, если мы сами придерживаемся иного убеждения. Такое единство не зависит ни от какой формы и не может быть достигнуто всего лишь в результате применения того или иного метода. Сколь часто случается, что, например, в той или иной достопримечательной политической речи, даже если она была бегло набросана в соответствии с потребностями момента,

мы можем тут же распознать и почтить этот характер мышления и последовательность умонастроения; тогда как в другом, возможно, гораздо более методически и подробно составленном и на первый взгляд основательном произведении духа, едва лишь мы проникаем взглядом за пределы систематической поверхности, мы видим, что по существу все это есть не более чем дурно согласованная и случайно возникшая смесь, состоящая из усвоенных, тут и там заимствованных чужих мнений и собственных половинчатых воззрений, не имеющая внутренней основы и твердой опоры, не имеющая характера и истинного внутреннего единства. Если бы мне удалось в этом начинающемся здесь ряду устных чтений представить вам мое целое с такой ясностью, чтобы вы могли легко его воспринять и с удобством обозреть его в согласии его отдельных частей, то я вполне могу надеяться, что от вас не ускользнет и гармония лежащих в основе этого целого умонастроения и образа мысли. И если мне будет позволено присовокупить к означенному еще и просьбу не пытаться тут же судить об этом умонастроении по отдельным высказываниям, в особенности в начале, то думаю, что вдобавок нелишним будет выразить еще и надежду, что этот с определенностью изложенный образ мысли частного лица (даже и там, где отсутствуют некоторые необходимые отличительные черты убеждения) не произведет на вас отталкивающего впечатления, но, напротив, возможно, иной раз окажет воздействие притягательное, примиряющее и смягчающее тот или иной раздор и раскол в мышлении и жизни, являя нам черты прекраснейшего плода истинной философии.

До сего момента мы говорили о предмете и подлинной сфере философии жизни, затем о свойственной и положенной ей форме сообщения; а также о другом методе, который, собственно, чужероден ее сущности. Весьма важным и решающим для всего течения, всего дальнейшего развития философского исследования, будет теперь начальная точка, из которой оно исходит; однако не следует полагать, что мы найдем ее уже в самих положениях и утверждениях, которые ставятся во главу системы. Напротив, для этого необходимо отыскать внутреннюю основу, корень, от которого происходит все характерное для того или иного философского воззрения. Если в качестве основы мы положим совокупное сознание со всеми его различными аспектами и силами (в философии жизни иначе и быть не может), а душу будем рассматривать как его средоточие, — то такую простую основу

в дальнейшем можно развивать весьма различными путями; и при этом, хотел бы я сказать, почти совершенно безразлично, из какой именно точки окружности, или периферии, мы станем исходить, с тем чтобы достичь центра и в дальнейшем развивать его как основу. Для того же, чтобы надлежащим образом, через противоположность, яснее обозначить этот, придерживающийся середины между двумя ранее упомянутыми ложными путями, путь простого восприятия внутренней духовной жизни из ее истинного центра, я хотел бы в кратких словах охарактеризовать ложную отправную точку, из которой до сих пор по большей части исходила господствующая философия нашего времени — как французская восемнадцатого столетия, так и новейшая немецкая. Ложной же я позволяю себе ее назвать как по тем результатам, к которым она привела, так и по ее внутреннему строению. В ней, как с одной, так и с другой стороны, всегда исходили из какого-нибудь спорного вопроса разума, из оппозиции по отношению к нему, под которой, однако, зачастую скрывалась общая с ним оппозиция к чему-то третьему. Первый и единственный путь, которым здесь пошла иностранная философия, состоял в том, что она все сводила к чувственности, в противоположность разуму: все выводила исключительно из нее — словно бы и сам этот разум в свою очередь был лишь производной способностью, а не изначальной силой как таковой, взятой в своей основе — как если бы он представлял не более чем своего рода химический осадок, донный отстой, образуемый совокупностью материальных впечатлений. Однако, какое бы место ни отводилось этим последним наряду с внешними чувствами, и как бы мы ни оценивали их участие во всем внутреннем достоянии мыслящего человека, очевидным остается одно: восприятие этих чувственных впечатлений, внутренняя взаимосвязь, одним словом — единство сознания, в котором они собираются, никоим образом не может войти в сознание извне — возражение, довольно часто выдвигавшееся противной стороной. Но указанная доктрина преследовала не эту единственную цель, или, иными словами, преследовала ее отнюдь не главным образом: результат, которого она стремилась достичь в своей отправной точке, состоял в том, чтобы отрицать и поставить под сомнение все сверхчувственное, все сколько-нибудь выходящее за пределы материальных впечатлений и чувственного опыта, равно как и любое возможное его познание и веру в него не только в отношении его позитивного момента, но и вообще всего благородного, прекрасного, великого — всего,

что могло бы вести к сверхчувственному и божественному и быть отнесено к ним в любой сфере: как в жизни, так и в мышлении, как в истории, так и в природе и даже в искусстве. Все это она стремилась отринуть, возбудить против него подозрительность и враждебность, ниспровергнуть его и низвести к материальной пошлости или ввергнуть в пропасть скепсиса и полного неверия. Начало в этой системе было положено откровенным низведением разума к чувственности, представлением его в качестве всего лишь ее производного, побочного продукта. Однако война против сверхчувственного позже стала вестись всецело оружием самого разума, правда не здорового и научно образованного, облагороженного законом нравственности, но разума — целиком и полностью софистического и совершенно извращенного, однако выступающего во всеоружии блестящего скептического остроумия и бесчисленных вариаций и оборотов самого яркого представления. Здесь, где речь более не идет об отрицании чего-то конкретного и позитивного, а направленность против всего божественного в философии сделалась повсеместно господствующей, — пожалуй, невозможно стало обойтись без того, чтобы назвать такую философию атеистической, каковой она и была по своему глубочайшему духу и каковой она равным образом явилась исторически по своим следствиям³. Другой путь, которым иностранная философия в эпоху, предшествовавшую Революции, двинулась, будучи вооружена уже не остроумием, но пламенным красноречием, гораздо более способным захватить и увлечь за собой даже благородные по природе своей души, именно в силу этого возымел еще более пагубные последствия, нежели первый. Разум как отличительный характер человека в цивилизованном состоянии есть — так здесь утверждалось — как и сам этот человек, нечто всего лишь сделаное и в основе своей совершенно неестественное, а дикое природное состояние есть собственно единственно ему подобающее⁴. В качестве средства спасения против неестествен-

³ Здесь имеются в виду учения английского скептицизма и французского материализма, и как их наиболее острое и блестящее выражение, философское учение Вольтера, оказавшего, благодаря силе воздействия своего остроумия, огромное влияние на состояние умов во второй половине XVIII столетия. — *Прим. науч. ред.*

⁴ Речь идет об учении Ж.-Ж. Руссо, ставшего наиболее почитаемым мыслителем в среде якобинцев. Следует добавить, что воздействие его идей было во многом решающим и на формирование немецкого романтизма и историзма. Л. Штраус говорит, что именно в мышлении Руссо «произо-

ного и извращенного цивилизованного состояния был теперь предложен известный разумный общественный договор. Всей нашей эпохе пришлось весьма дорогой ценой заплатить за осознание того, что этот последний, будучи применен на практике и в больших масштабах, вполне может иметь своим результатом деспотизм свободы и военной удачи, однако столь же мало способен привести к истинному восстановлению цивилизованного состояния, сколь и обеспечить возврат к естественности, так что было бы совершенно излишне здесь распространяться о губительных результатах или внутренней несостоятельности этой системы. Следует, однако, отметить, что также и здесь начало было положено оппозицией к разуму и его принижением до искусственного состояния и отклонения от природы, с тем чтобы затем бросить в объятия разума не только себя самих, но и весь существующий миропорядок, признав за ним безусловное господство надо всеми человеческими и божественными вещами. Нечто подобное можно отметить повсюду, и так будет происходить всякий раз, когда философия будет исходить из какого-либо определенного вопроса разума и оппозиции, желая с этой односторонней точки зрения положить в основу своих исследований одну лишь эту диалектическую способность.

Новейшая немецкая философия, совершенно отличная по форме и духу от французской, существуя в своем более узком метафизическом пространстве, оказывала гораздо менее широкое и всеобщее воздействие, и даже если она время от времени могла послужить причиной некоторой анархии, то это была по большей части анархия понятий. Однако также и здесь, хоть и в ином роде, можно отметить все тот же ход

шел первый кризис современности». «Руссо, — продолжает философ, — был не первым, кто почувствовал, что предприятие Нового времени было радикальной ошибкой, и искал средства в возврате к классическому мышлению. Достаточно упомянуть имя Свифта. Но Руссо не был “реакционером”. Он предался современности... У Руссо страсть сама взяла на себя инициативу и подняла мятеж, узурпируя место разума и с негодованием отрицая свое распущенное прошлое, страсть суровым голосом катоновой добродетели стала выносить приговор развращенности разума». Его страстное нападение на современность повторил с не меньшей силой Ницше, который «представил нам второй кризис современности — кризис нашего времени». См.: Штраус Л. Естественное право и история. М.: 2007. С. 241. Тот и другой выступали не как носители «положительного начала», а как «провокаторы» и «бескомпромиссные критики» парадигмальной идеи, которая ожидала своего вступления в открывающий свою историю «век». Их последователи же формировали вполне прикладные теории, овеществляя и замораживая мысль, реализуя политические и социальные проекты, формирующие уродливый рельеф духовной истории XX века. — *Прим. науч. ред.*

обращения, который, начав со строгого и почти абсолютно-го ограничения разума и оппозиции против его притязаний, тем не менее, вскоре закончил его безусловным господством и, более того, его обожествлением. Основатель новейшей немецкой философии начал свое учение с многослойного доказательства того, что разум совершенно не способен достичь какого-либо познания сверхчувственного, и что в таких попытках он лишь запутывается в бесконечных спорах и противоречиях. На этой неспособности разума к познанию сверхчувственного основывались теперь потребность в вере, необходимость веры, а также сама вера. Но эта домотканая вера, по всей видимости, не испытывала по отношению к себе самой особого доверия. Более того, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что то был всего лишь старый разум, который, будучи торжественно выдворен с парадного крыльца философских палат, теперь вновь прокрался под чужой личиной с задних, практических, дверей⁵. Неудовлетворенное такой

⁵ Речь идет о философии И. Канта. Кант определяет философию как спекуляцию, противостоящую историческому знанию, и уже в этом намечается фундаментальное расхождение романтизма с его учением. Его интерпретация «колесницы разума» включает ядро, в котором «спонтанный рассудок» поглотил в себе «волю» и получил право предписывать свои правила «воображению». Шлегель же выступает за первенствующее отношение воли к рассудку. Через критику метафизики Кант установил понятие о «чистом разуме» как свободе «вечной дискуссии». См.: Кант И. Критика чистого разума. Симферополь: 2003. С. 432. Такой очищенный «разум» уже не мог не подчиниться «чистому рассудку», фактической апологией которого и являются его «Критики». Итогом прагматической философии истории и одновременно прагматической антропологии Канта становится обоснование положения о том, что изначальная воля человека есть выражение злого начала человеческой природы, а доброе начало обнаруживается только во вторичном явлении воли, подчиненном «моральному разуму» (который, в свою очередь, подчинен «чистому рассудку»). См.: Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. СПб.: 2002. С. 439–443. Трансцендентальный разум, освоивший «критический метод» и озаботившийся очищением человеческого духа и самого разума не как исторически возникшей структуры, а как некоей, пребывающей вне истории матрицы, соответствующей его якобы обнаруженной философией неизменной природе, перемещается от эпохи к эпохе, всегда противопоставляя себя историческому «естественному» разуму этих эпох. Вильгельм Вундт говорил о двух основных результатах кантовской философии: о разделении между знанием и верой, и разделении «двух фундаментальных способностей человеческого духа: познания и воли». И так как трансцендентные идеи души, мира и Бога относятся к области воли и ее практического разума, и, по мнению Вундта, «сверхчувственная природа человека должна считаться за последнее основание чувственной природы, то, следовательно, основной закон воли по Канту имеет безусловный приоритет перед всеми основными законами познания» См.: Вундт В. Введение в философию. М.: 2007.

двойственностью, философское Я избрало теперь другой и новый путь безусловного знания, где оно могло поначалу свободно и живо существовать и действовать в некотором идеальном пространстве. Однако после того как стало все более и более проясняться, что здесь, в этом идеалистическом учении, речь могла идти не более чем о всего лишь внутреннем боге разума (Vernunft-Gott), отнюдь не обладающем подлинной, объективной действительностью, и что собственное абсолютное Я таким образом смешивалось и идентифицировалось с божественным, — против этого эгоистического знания сперва возникло подозрение, а затем и было выдвинуто обвинение в атеизме. Конечно, следовало с опаской употреблять это слово там, где речь шла не о грубом отрицании, а лишь о весьма ошибочном смешении понятий; следовало, по меньшей мере, в названии отличать это последнее, обозначив его как научный атеизм и подчеркивая тем самым, что упрек и имя относятся

С. 199–200. Но, повторим, воля эта имеет благое начало не в себе самой, а в «моральном разуме», который из абстрактного и рассудочного становится действительным только через посредство молчаливого голоса совести. Для великого философа «переживание вины (своей собственной или чужой, которой ты лишь сопричастен) — основа морали. Спокойная совесть — изобретение дьявола, скажет впоследствии Альберт Швейцер (защитивший диссертацию по религиозной философии Канта)». См.: Гулыга А. Кант. М.: 2005. С. 194. Но у Канта и совесть «зависла», поскольку потеряла связь с верой. А. В. Гулыга предлагал сравнить две великие максимы. Кант утверждает: «Страшен Бог без морали». Достоевский отвечает: «Совесть без Бога есть ужас». См.: Там же, С. 268. В конституирующей эпоху Модерна и, в частности, определяющей и «задание» Канту, антропологии Френсиса Бэкона философское восхождение воли проходит по ступеням рассудка, воображения, памяти. В философии отправной точкой является рассудок, в поэзии и поэтически интерпретированном мифе — воображение, а в истории — память. М. А. Барг отмечал, что у Бэкона память активно участвует на всем протяжении мыслительной деятельности «не только как “хранилище” первичных “образов” и конечных абстракций, но и как “носитель” самих мыслительных процедур...». См.: Барг М. А. Историзм Фрэнсиса Бэкона... С. 238–239. Здесь память мыслит посредством эмоциональных состояний, фундаментально разных для разных периодов всеобщей истории. Воля рождается из интеллекта. Но сам интеллект есть «божественная память» или «начальная причина», а память как таковая, историческая, есть «интеллект рода человеческого», т.е. «конечная причина». И «конечная причина» — это эмоционально суммированное целое всех эпох всеобщей истории, в этом суммировании установившее свое подобие «начальной причине». Именно благодаря онтологическому пониманию памяти Бэкон лучше, чем Кант, понимает опасности, связанные с инверсией рассудка и извращением воображения, превращением освобождающего разума в поработающую идеологию. В этом смысле романтики удаляются от Канта, чтобы приблизиться к Бэкону. Правда, сам Шлегель, будучи метафизически эклектичным, в своей «игриво-кабалистической» десятичленной формуле сознания подчиняет совесть и память именно разуму. См.: Шлегель Ф. Философия жизни. С. 76–77. — *Прим. науч. ред.*

лишь к заблуждению системы, а не к характеру личности, ибо ведь с таким научным атеизмом, кстати, может весьма удачно соединяться строжайший стоицизм в нравственном учении, что, как правило, и происходило здесь в действительности⁶.

⁶ Речь идет об учении И. Г. Фихте, ключевом как для развития, так и понимания немецкой романтики и немецкого историзма, и, в частности, для понимания учения Ф. Шлегеля. Поэтому мы уделим его рассмотрению довольно значительное место. В то время, когда он читал свои Кельнские лекции по истории философии в узком кругу друзей, И. Г. Фихте завершил четвертый, логически наиболее совершенный вариант «Наукоучения». Согласно ему, бессознательная творческая способность в качестве исходного принципа свободы «я» должна пройти следующие пять стадий. Первоначально это стадии, формирующие способность рассудка: 1) стадия ощущения (формирования множественности объектов внешнего мира из единства вожелания); 2) стадия созерцания (собираения единства из множественности); 3) стадия рассудка (подведения множественности под категории). Затем следует продолжение, которое вскрывает рассудок как консервную банку и открывает его источник в божественной воле. Это стадии: 4) мышления или способности суждения в качестве формирования фихтевского «понятия понятий» или шлегелевского «разума»; 5) обнаружения более высокой инстанции воли, чем начальное вожелание, превратившее воображение в ощущение. Таким путем происходит обнаружение бесконечного объекта – в самой истории мира. Если в дальнейшем приобщении к источнику воли от стремления к божественному обратиться к побуждению, то вырисовывается и шестой необходимый шаг восхождения человека к абсолютному знанию. Это, пишет философ, «побуждение к чему-то совершенно неопределенному, что сказывается только через посредство простой потребности, неудовлетворенности, пустоты, ищущей заполнения, но не указующей на то, откуда оно должно прийти». Основопологающим побуждением является «побуждение к смене чувств», т.е. к саморазвитию и к жизни. Но руководствуется оно еще более глубоким побуждением «к установлению гармонии» См.: Яковенко Б. В. Жизнь и философия И. Г. Фихте. СПб.: 2004. С. 267–270. Последнее, видимо, открывается после седьмого шага. Однако не только семичленная, но даже шестичленная формула, в которой воля раскрывалась бы через вожелание, затем стремление к божественному и, наконец, побуждение, в системе Фихте не получила развития.

Завершив изложение своей теоретической философии, суть которой состояла в том, чтобы обосновать генетическую теорию сознания, философ перешел к разработке исторической проблематики. Согласно «Наукоучению», бессознательная «способность воображения» восходит к осознающей себя «способности рассудка». Затем рассудок обнаруживает общее для всех людей объективное «мышление» и посредством него восходит к более глубокому понятию «воли», раскрывающей сам ее источник в неопределенном, но опознаваемом исторически, «бесконечном объекте». Если таковым объектом признать «род человеческий» в его историческом саморазвитии, и от онтогенетического рассмотрения переходить к филогенетическому исследованию, то перед нами открывается предмет исторического развития человечества. Саморазвитие духа в применении к развитию человечества рассмотрено им в «Основных чертах современной эпохи» (1806 г.). Именно здесь становится понятным, почему философ исключил «шестой

шаг» из рассмотрения развития земного человечества. Уже в первой лекции он предупреждает, что само земное время человечества «представляет лишь необходимую эпоху единого времени и единой вечной жизни», и разделяется «на собственные эпохи». См.: Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи // Фихте. Несколько лекций о назначении ученого; Назначение человека; Основные черты современной эпохи: Сборник. Минск: 1998. С. 224. Это прямое указание на фрактальный характер отношения вечной или универсальной истории к всеобщей истории человечества. Отсюда открывается возможность перехода с одного уровня рассмотрения истории на другой, в данном случае с «всеобще-родового» на «универсально-все-ленский». Ошибка философа, по нашему мнению, в том, что «шестой шаг» всеобщей истории он принял как указание к переходу на уровень универсальной истории. В библейской традиции таким указанием стал седьмой день творения как «день отдыха Бога». Философ выделяет пять основных эпох земной жизни, поясняя при этом, как это сделал и предваивший его исследование Ф. Шиллер, что эти эпохи могут быть переплетающимися и взаимно проникающими. Это: «1) эпоха безусловного господства разума через посредство инстинкта, состояние невинности человеческого рода; 2) эпоха, когда разумный инстинкт превращается во внешний принудительный авторитет... состояние начинающейся греховности». Затем начинается эпоха освобождения, непосредственно — от повелевающего авторитета, косвенно от господства разумного инстинкта и разума во всякой форме — время безусловного равнодушия ко всякой истине и лишенной какой бы то ни было руководящей нити, совершенной разнуданности, состояние завершенной греховности. Третья эпоха сменяется четвертой — «эпохой разумной науки, временем, когда истина признается высшим и любимым более всего началом, — состояние начинающегося оправдания». Наконец наступит пятая, последняя эпоха — «эпоха разумного искусства, когда человечество уверенной и твердой рукой создает из себя точный отпечаток разума, — состояние завершенного оправдания и освящения... возвращение к исходному состоянию и есть цель всего процесса». См.: Там же, С. 228—229.

Сравним обе фихтевские формулы: онтогенетическую формулу «Наукоучения» с филогенетической формулой «Основных черт». Первый этап — ощущения, реализующий бессознательное творение множественности из единого начала, соответствует эпохе господства разума через посредство инстинкта. Второй этап — созерцания, как собирания единства образа из множества ощущений, — соответствует второй эпохе, как эпохе высшего принудительного авторитета. Здесь созерцание, всецело определяющее силу воображения, уже не может справиться с разбуженным вождением воли (к вещам) и подпадает под власть ощущения. Поэтому на втором этапе всеобщей истории начинается первая фаза развития государства. Государство появляется как общество «господствующих и подчиненных», но, как подчеркивает Фихте, не общество «господ и рабов», так как господствующие проводят общие, соответствующие интересам всех цели. Именно на основе такого произвольного согласия государство древности проводит высший принудительный авторитет разума. См.: Там же, С. 367—369. Оно основывается на фиксированных в народных нравах, в религиозных ритуалах и мифах принципах позитивного права. Третий этап, — господства рассудка, — соответствует третьей эпохе освобождения от власти авторитета и власти разума как в его инстинктивной, так и в любой иной его формах. Это эпоха «пустого разума». Она признает только ясно усматриваемое, для нее «не существует ничего, кроме того, что

для нее понятно в данный момент». Для следующей за ней эпохи понимание уже руководствуется стремлением понимать все и она «понимает все, что существует». См.: Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи... С. 237–238. Таким образом, четвертому этапу, на котором способность суждения достигает своего наивысшего развития и формирует совершенные идеи, соответствует четвертая эпоха «науки разума». Здесь формируются совершенные интеллигенции духа. Они — в изящных искусствах, мировых социальных идеях, в науке и религии. См.: Там же, с. 255–257. Государство в это время приобретает свою вторую всемирно-историческую форму отрицательного подчинения «всех всем» через право, в отличие от позитивного подчинения «всех всем» через подчинение общества «цели всех без исключения». См.: Там же, с. 375–377. Последнее может быть реализовано только в пятой эпохе. В эту эпоху и само государство становится искусством, основание которого — в утверждении положительных прав всех индивидуальностей, включая и индивидов.

Фихте, после явных колебаний, определяет «нашу эпоху» как третью. См.: Там же, с. 234–235, 281. Ее начало соответствует периоду деятельности ап. Павла. После него высшей судебной инстанцией становится эмпирическое понятие, но не идея. Указывает он и на начало ее завершающей фазы в эпохе Реформации. Эта эпоха сделала письменное слово «высшим критерием всякой истины и единственным учителем на пути к блаженству», что принесло серьезный ущерб устному слову и истинной преемственности в непосредственной беседе между людьми. Развитие человечества от времени Павла — это время демарша гностической философии против вечного христианства. Для Фихте вся история исторического христианства — это эра решающей схватки между христианством истинным, идущим от Мелхиседека и ап. Иоанна, и христианством гностическим, идущим от Моисея и ап. Павла. Реформация начинает завершающую фазу сражения всей «нашей эпохи». Он предвидит пришествие новой, четвертой, эпохи уже в обозримом будущем. См.: Там же, с. 471–472. Но в 1808 году, в «Речах к немецкой нации», он определяет «современную эпоху» уже не как завершающуюся третью, а как начинающуюся четвертую. См.: Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе // Дильтей Вильгельм. Собрание соч. Т. 3. М.: 2004. С. 408–409. Правда, в этой перестановке акцентов, видимо, решающее слово имели соображения не философского, а идеологического характера. См.: Фихте И. Г. Речи к немецкой нации (1808). М.: 2008. С. 59–60

В «Назначении человека» философ говорит о движущей силе развития человека. Таковой является не его субъективная настроенность, не его намерение, а трансцендентная совесть и полная концентрация сил. В конечном итоге для оценки человека «важно только то, каков был этот поступок», т.е. деятельность. См.: Фихте И. Г. Назначение человека // Фихте. Несколько лекций о назначении ученого; Назначение человека; Основные черты современной эпохи: Сборник, Минск: 1998. С. 177. В «Основных чертах» он конкретизирует этот действующий в истории человечества, как и в обычной человеческой жизни, механизм динамизации сил и полного самоосуществления заложенных в человеке потенций. Для этого служит и государство, обращающее индивидов на службу себе, ведь остановка в пути или недостаточно напряженное восхождение неизбежно ведут к утрате позиций, к откату. См.: Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 364–365.

Формула фихтевского рефлексивного синтеза может быть определена как двойное применение диалектической формулы. Она раскрывает сначала творческую способность воображения в человеке (ученом, историке, философе), т.е.

реализуется в онтогенетическом аспекте, а затем, на этой основе, исследует творческую способность мышления, но теперь уже не как индивидуальной, а как общественной институции. Это дает возможность постигнуть смысл человеческой истории, данной в объективациях воли. Подчинение происходит через отбор и закрепление наиболее значимых впечатлений (тезис), подведение впечатлений под представления (антитезис) и сведение их в иерархию представлений, соответствующих параллельно определившейся иерархии впечатлений (синтез). Это первая диалектическая триада, которая соответствует генезису понятия в индивидуальности. Это программа, соответствующая трем кантовским «Критикам». Вторая диалектическая триада погружает человека в филогенетику символических форм, предполагающую четыре основных генезиса: искусства, социальных структур, науки и религии. Для исследования этих форм философ предлагает сначала исследовать то, как внешнее (факты) становится внутренним (понятием) и восходит в идею. Это путь идеализма или самогенерации понятия (тезис). Затем предлагается противоположный ход, когда от внутреннего (идеи) мы переходим к внешнему (фактам), как бы опробуя нашу способность мыслить новые факты и вообще понимать мир посредством идей, понимать его в самой его непонятности, тем самым, завершая понятие на пути реализма (антитезис). Наконец, возвышая свой ум к созерцанию всеобщей истории, мы выходим из сферы понятия и наиболее общих символических форм (религии, науки, государства и др.). Теперь мы лишь созерцаем бесконечно разнообразную жизнь, а в себе самих и, самое главное, в судьбе человечества, мы открываем основание собственной воли — то бесконечное стремление (побуждение), что управляемо неким изначальным чувством гармонии. Таким образом, синтез объективного духа поглощает в себе и синтез субъективного духа, а затем открывает перспективу высшего синтеза — абсолютного духа. Но у Фихте это путь инверсии спекулятивного духа, открывающего сам свой источник, — не более того. В отличие от Фихте, романтики уже не столь уверены в том, что априорная история вообще может быть построена как план всеобщей истории на пути философского конструирования в диалектике «я» и «не-я». Но романтики показали, что не только от индивидуального «внутреннего человека» необходимо подниматься к родовому вечному человеку, но и наоборот, причем второй путь важнее. Построив же понятие человека по его проекции, его тени, мы будем иметь бесконечное множество внутренне не связанных друг с другом вариантов, т.е. переживем фатальную инфляцию значимости. Именно это дало основание Ф. Шлегелю полагать, что фихтеанство в конечном итоге ведет к атеизму. Не думаем, что тут он был вполне справедлив, поскольку, критикуя учение Фихте, скорее, имел в виду уже учение Гегеля (а Гегеля он называл «потенцированным Фихте»). Следует отметить при этом, что Фихте с несравненной силой показал категорическую недостаточность дедукции мира из «я», то есть вторичность самого основания субъективного идеализма. Его учение, не утверждающее, а как раз преодолевающее субъективный идеализм и тем прокладывающее путь к идеал-реализму позднего учения Шеллинга, востребовало возвращения к понятию общинного разума. Для Фихте «качественное содержание я заключено в мы», которое «не есть абстракция, а имеет конкретное бытие» в бытии общины. См.: Лазарев В. В. Этическая мысль в Германии и России. Осмысление фихтеанства русскими философами конца XIX — начала XX века. М.: 2006. С. 118. В этом бытии воплощается подлинное, экзистенциальное «мы», а не вторичное «мы» общества как продукта «объективаций». Внимательно рассматривая философско-историческую концепцию Ф. Шлегеля и его философию жизни, мы обнаружим в ней немало от филогенетической и онтогене-

Конечно, в данном случае имеет место весьма сильное идеалистическое смешение понятий. Тогда немецкая философия пошла иными путями, обратившись более на сторону природы, в объятия которой она теперь в восхищении бросилась от сильно наскучившей ей трансцендентной пустоты идеального разума и только диалектического мышления, — полагая, что лишь здесь она, наконец, сможет найти жизнь в совершенной полноте. Несмотря на то, что эта новейшая натурфилософия принесла в науку множество великолепных плодов, все же призрак абсолюта и здесь шел за ней по пятам, и она не смогла избежать упрека в пантеистическом природообожествлении. Однако в собственном и точном смысле поставлялась как высшее и обожествлялась здесь не природа, а именно все тот же самый положенный в ее основу фантом разума. Это вновь была все та же старая метафизическая таблица умножения, лишь представленная в новом применении и в более живой форме. Следовательно, также и здесь система начиналась с видимого пресыщения разумом и низведения его к природе, с тем чтобы потом закончиться безусловным его принципом. Если смотреть в целом на философскую науку о природе, то зачастую она скорее была представлена не более чем отдельными, несовершенными, неказистыми и уродливыми поползновениями, так что вплетенная в их ткань ошибка не везде могла быть вполне последовательно и систематически проведена; при этом, безусловно, необходимо проводить различие между ее отдельными глашатаями и интерпретаторами⁷. В последнее время немецкая философия отчасти вновь погрузилась в пустое пространство абсолютного мышления. Хотя теперь уже это последнее и заключенный в нем абсолютный идол разума понимается уже не только внутренне, но берется объективно и даже полагается в качестве основоположного принципа всякого бытия, однако при этом, похоже (в особенности если принять во внимание, что сущность духа откровенно полагается в отрицании и что дух отрицания является господствующим во всей этой системе), что здесь имеет место еще более пагубное смешение, ибо теперь, напротив, вместо живого Бога полагается и обожествляется этот противостоящий ему

тической концепций И. Г. Фихте. При этом, уровень системного обоснования у Фихте, несомненно, выше. Здесь вровень с ним может быть поставлен только Шеллинг. — *Прим. науч. ред.*

⁷ Речь идет о натурфилософии Ф. В. Шеллинга и его последователей. — *Прим. науч. ред.*

дух отрицания и абстрактного заблуждения; так что и тут на место божественной действительности вновь приходит лишь метафизическая ложь⁸. Существует странное внутреннее со-

⁸ Речь идет об учении Г. В. Гегеля. Именно из романтической философии, полагает Э. Гуссерль, вышло учение Гегеля. Последнему и адресуются критические аргументы как главному виновнику отхода современной философии от принципов строгой научности. Но это неверно в целом и несправедливо по отношению к йенским романтикам. Гегелевский анализ «ведет не к сердцевине романтизма, не к зародышам всех возможностей его в ранний период, а к следствиям, притом к следствиям из позднего романтизма, которым он измеряет ранний, тогда как правильнее было бы, наоборот, ранним измерять поздний, и поэтому Гегель в своем анализе оказывается скорее на задворках романтизма, чем в центре его» Лазарев В. В. Рау И. А. Гегель и философские дискуссии его времени, М.: 1991. С. 28. Вообще то йенские романтики так и остались «ранними», поскольку развивали идеи раннего романтизма и в поздний период своей деятельности, а вот то поколение, что начало свою деятельность в «позднем» романтизме, требует отдельного анализа. Для многих из них романтизм уже не был слаженным комплексом идей, а представлял из себя что-то болезненное и переходное на пути к своему отрицанию (достаточно вспомни Генриха Гейне). Гегель, по оценке Гуссерля, более чем кто-либо способствовал утверждению в науках о духе принципов и методов «рационализма XVIII века», так как устранил «всякую абсолютную идеальность и объективность оценки». Его учение «об относительной истинности всякой философии для своего времени» способствовало утрате «веры в абсолютную философию вообще». См.: Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Гуссерль. Логические исследования и др. Сборник. Минск, М.: 2000. С. 672–673. Он утвердил абсолютизацию современности (презентизм) в качестве исходного и конечного принципа исторического мышления. Он сделал это, подчинив историческое сознание задаче идеологического обоснования «исключительных прав» современности. См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: 2003. С. 12–22. Свое обоснование он вел исходя из идеи гуманности (с точки зрения философии субъективности). Э. Гуссерль называл идею гуманности современной формой (стоического, видимо) идеала мудрости и глубокомыслия, противостоящей идее научной философии как непрерывному философскому исследованию — самодвижению человеческого разума к истине. Но Гегель исходит не столько из идеи гуманности, сколько из идеала гуманизма. Презентизм, вытекающий из идеала гуманизма, замыкает историю в рамки современности и неизбежно становится выражением наиболее агрессивных устремлений той «злобы дня», которая, под видом актуальности, господствует над людскими страстями и человеческим целеполаганием, ограниченным горизонтом «настоящего». Именно поэтому Ф. Ницше назвал Гегеля первым из «последышей времен». «Поистине парализует и удручает вера в то, что ты последышь времен, но ужасной и разрушительной представляется эта вера, когда в один прекрасный день она путем дерзкого поворота мыслей начинает обоготворять этого последыша как истинную цель и смысл всего предшествующего развития, а в ученом убожестве его видит завершение всемирной истории». См.: Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше. О пользе и вреде истории для жизни и др. Сборник. М.: 2000. С. 84.

Г. Шпет так характеризует господствующую философию, к которой, несомненно относится гегельянство во всех его исторических видоизменени-

ях, включающих и марксизм: «Господствующая в настоящее время философия есть философия отрицательная. Отрицание является в ней не конечным только результатом, оно принадлежит к самому существу современной философии, — с отрицания она начинается, на отрицании строится и к отрицанию приходит... несмотря на это современная философия называет себя по преимуществу философией позитивной. Это наименование не должно вводить в заблуждение, так как подлинное значение этого термина остается совершенно отрицательным... От самых воинственных до самых квиетически-мертвенных форм позитивизма, — мы всюду встречаем одно громадное НЕ, не-метафизика». Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические исследования. Материалы. В двух частях. М.: 2002. С. 41. Характеризуя же «философию Просвещения», ценности которой на мнимо романтической основе отстаивал Гегель, Шпет утверждает, что она служила «только средством пропаганды соответствующих идей, освободительный смысл которых положительно состоял в неопределенном убеждении, что власть должна принадлежать никому иному, как просвещенным». См.: Там же, с. 110—111. Согласно Гегелю, борьба интересов и страстей, благодаря «хитрости разума», созидает целое исторически ставшего Настоящего, которое выступает эксклюзивным наследником прошлых, преодоленных, «снятых» эпох. Этот эрзац (симулякр) вечности и финальности — в представлении о «хитром разуме» как изолированной воле знающего «все последствия» Мирового Правителя, — признается одним из «достижений» гегелевской диалектики, «насильственно соединяющей» нечто несоединимое. Против такой подмены протестовал Ф. Шлегель, когда писал о «неистинном времени», об «испорченной вечности», противопоставляя ей «истинное время» жизни, вечно пульсирующей. Мировой Правитель у Гегеля — это не Бог, а некий совокупный опыт современного общества, воплощенный в его интеллектуальной элите. Позитивный образ этой интеллектуальной элиты, организованной в некое «притаенное» общество, ненавязчиво и незаметно формирующее личность избранного им юноши из состоятельной бюргерской семьи, дает И. В. Гете в «Годах учения Вильгельма Мейстера». См.: Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Пермь: 1959. Гегельянство было принято этой элитой как раз потому, что помогло ей обосновать ее притязания на квази-божественный статус.

«Хитрый» Гегелев разум есть гипостазирование хитрости как таковой. Весь его потенциал направлен на то, чтобы убедить мыслящую общественность в том, что он есть позитивное нечто, тогда как за экраном его симулякра открывается старая истина — «а король то гол!». «Французское остроумие» Гегеля далеко от подлинного остроумия Рабле, Монтеня, Мольера или Вольтера. Скорее это оригинальная способность ускользать от определения. Это умение рыдаться в чужие одежды, из «немецкости» ловко выпрыгивать во «французскость», а во «французскости» дать почувствовать свою глубокомысленную «немецкость». Как признает Шеллинг, опровергнуть положения гегелевской философии «или назвать их ложными по существу невозможно, ибо это положения, которые ничего нам не дают... Здесь вместо философствования присутствует одно только усилие удержать нечто, что удержать невозможно, так как оно есть ничто. И это относится ко всей гегелевской философии. О ней, собственно говоря, и не следовало бы говорить, поскольку ее своеобразие во многих случаях состоит именно в такого рода незавершенных мыслях, которые невозможно фиксировать даже настолько, чтобы вынести о них суждение». Шеллинг Ф. В. Й. К истории новой философии (Мюнхенские лекции) // Шеллинг. Соч. в двух томах. Т. 2. М.: 1989. С. 504. Гегель отверг исходную

мысль немецкой романтики о родовой общине человечества, в которой сокрыт, а затем открывается, высший разум общинной индивидуальности. Сначала он приоткрывается через «мутное стекло» мифов, символов, магических практик, а затем растворяется в непосредственно репрезентирующих его структурах истории, — уже в качестве ясного знания, прежде всего, знания об открывающемся в событийных рядах духовном опыте человечества. Все эти формы, «смутная» и «ясная», охватываются религиозным сознанием и проясняются в религиозной истории человечества. Для Гегеля же общинное сознание является лишь «чистой материей» иррационального чувства. Поэтому религия для него есть нечто более низкое, чем философия. Поэтому «наличный дух» призван конструировать подлинное единство понятия через преобразование временной отрешенности в пространственную протяженность и в условном пространстве «организации духовного царства». Последняя же предполагает, что организации прошлых, прошедших «духовных царств» непременно включатся, пусть путем насилия, в организацию наличного «духовного царства». Время для него лишь «отрешает», а воспоминание, его воспоминание, порождается из знания настоящего, которое «снимает» себя в воспоминании для того только, чтобы восстановить прошлые духи «как они существуют в нем самом», наличном духе, чтобы затем включить их в свою, априорно более высокую организацию. Ключевая для гегелевской исторической диалектики категория «снятия» явила свою ограниченность именно в «опровержении» немецкого романтизма. См.: Лазарев В. В., Рау И. А. Гегель и философские дискуссии его времени, М., 1991. С. 16, 22–24, 73. Подлинное логическое основание гегелевской мысли — это его последовательное проведение принципа, согласно которому пространство подлинно «есть», а время есть «как бы». Это строго логическое следствие, исходящее из разрушения первичного понимания неразрывности времени-пространства. И Гегель здесь прав, доведя до абсурда все следствия этого ментального краха самого человека Модерна.

В гегелевской диалектике расстановка акцентов логически обслуживает не жизнь, а болезнь в жизни. Диалектика здесь является теорией катастрофы («Голгофой духа»). Сама эксплуатация гегельянством «возбужденного архея» сущностной воли привела к возрастанию зла в мире и способствовала извращению этических и нравственных основ общественной солидарности. Столетие развития гегельянства прояснило некоторые из заложенных в нем пороков. Э. Трельч к таким относит, например, попытку логицизировать историю. Понятия «духа» и «разума» выступают здесь как выхолощенные и пустые. Еще хуже воздействие онтолого-метафизической части его учения, которая ведет к прямому обману, поскольку «все изменения, конкретизации, индивидуализации содержат в себе воистину всегда одно и то же, равное и самому себе тождественное бытие, которое лишь представляет себя всякий раз в иной форме сознания самого себя, реально же остается одним и тем же». Поэтому здесь «лишь целое есть цель, к которой стремится целое, — зрелище для наслаждающегося собою божества и для близкого ему по духу философа. Для обыкновенного же смертного нет ни последних целей, ни ценностей вне самого настоящего, которое и есть некоторым образом это целое». См.: Трельч Э. Историзм и его проблемы проблемы. Логическая проблема философии истории. М.: 1994. С. 232–234. Трельч указывает на главное — целое для самого Гегеля — не История, а всего лишь Настоящее, изображаемое философом, уподобившим себя наслаждающемуся собой божеству. Это не просто гордыня,

ответствие и родство между ложными путями нашей эпохи, где зачастую самые удаленные экстремы⁹ духа, внешне никак друг с другом не соприкасающиеся, вдруг встречаются в одной точке обманчивого света, или, скорее, сверкающей тьмы. Если удивительный британский поэт (возможно, величайший, и наверняка самый достопримечательный поэт нашей эпохи) в своем трагическом изображении древнейшего братоубийства в качестве виновника этого деяния изобразил врага человеческого рода и царя бездны — как величайшего обвинителя божественного миропорядка и как главу всех ропщущих духов и оппозиции во всем творении, — изобразив его так, как его еще никогда прежде не изображали: со столь захватывающей и достойной удивления правдивостью, так, словно бы он был срисован с натуры, и так, что в сравнении с этим изображением (выполненным не без некоторой внутренней симпатии, с которой художник излил на эту темную фигуру все магическое волшебство своей фантазии) все прежние подобные изображения выглядят как не более чем рукотворные фантомы, лишённые правды¹⁰, — то здесь уже именно этот враждебный принцип, этот абсолютный, т. е. злой дух отрицания и противоречия на последних путях заблуждения немецкой философии, пусть даже и под покровом абстрактной невнятности, возведен на трон

но какая-то абсолютная бессовестность гордящегося собой «последыша времен», гордыня, возводимая раз за разом, в новую, более высокую, степень.

Подводя итог рассмотрению учения Гегеля с критической позиции романтизма, следует подчеркнуть, что объективно гегельянство стало не столько исследованием жизни в постижении всего богатства Настоящего, сколько идеологией болезни, старости и смерти эпохи Модерна. В этом не приговор этому учению как «плохому», «злому», «аморальному», но, напротив, определение его позитивной сущности, его исторического значения. Позитивная сущность гегельянства состояла в «окультуривании» болезни Модерна. Его высший смысл в том, чтобы опыт болезни и умирания «великой эпохи» стал деятельным опытом умиравшей культуры. Это опыт деятельности, самооценкой в своей духовной продуктивности в силу того, что направляющая ее воля отрезала исторические «начала» и «концы» и заиклилась на «вот» и «теперь». Гегельянство видит свою миссию в том, чтобы гибель миллионов и страдания миллиардов стали более осмысленными. Но его философское осмысление не столько диагностирует состояние болезни, сколько радикализирует ее течение. Э. Трельч, завершая рассмотрение гегелевской диалектики, охарактеризовал ее как теорию исторической динамики, которая «является подлинной теоретической тайной истории». Там же, с. 235. В ней действительно есть одна из глубоко законспирированных исторических тайн. Это история духовной болезни Запада на нисходящей ветви эпохи Нового времени. — *Прим. науч. ред.*

⁹ Экстремы — крайние точки. — *Прим. перев.*

¹⁰ Речь идет о драме-мистерии Дж. Байрона «Каин» (1821 г.). — *Прим. науч. ред.*

в самом центре путаной системы. Таким образом, в силу странного рода предустановленной гармонии, антихристианский поэт и эти антихристианские мыслители ненароком встречаются в одной точке ложного великолепия. Это в любом случае есть, по всей видимости, уже третья стадия идеалистического заблуждения — высшая и наверняка также последняя ступень научного атеизма. Если бы теперь мне нужно было кратко и в нескольких обобщающих словах еще раз сказать о моем убеждении и об отношении этой Философии Жизни, которую я намерен предложить вашему вниманию, к господствующей науке и философии нашей эпохи — как иностранной, так и немецкой — то я бы сделал это следующим образом: я с большим почтением и восхищением отношусь к безмерно важным по своим следствиям открытиям нашей эпохи в физической науке, и в частности ко всему великому (насколько я с ним знаком и насколько я его в своей сфере понимаю), что можно встретить во французском естествознании, ибо оно несет в себе реальное продвижение человеческого знания и полагает основу для такого продвижения. Однако все еще остающуюся здесь материалистическую примесь прежней французской философии, каковая до сих пор имеет столь многочисленных сторонников, я не могу не признать целиком и полностью негодной и пагубной. Я чу и люблю всеобъемлющую, преисполненную духа исследования немецкую науку и немецкую натурфилософию гораздо больше иностранной, ибо те же самые великие открытия она понимает значительно более духовным образом; идеалистическоежезаблуждение, неизменносопровождающееее и накрепко вплетенное в ее ткань, из которого первоначально исходило все целое и от которого система и по сей день далеко еще не избавилась и не очистилась, я могу лишь считать таковым — интеллектуальным заблуждением, вредоносным и мешающим духу, разрушительным по своему роду и действию.

С этого момента мне уже нет нужды бросать взгляд на другую сторону противостоящей философии, и я буду заботиться лишь о спокойном развитии того, что я уже провозгласил и что намерен теперь изложить в подробности. Лишь для начала мне представилось необходимым через противоположность между ложной исходной точкой и истинным средоточием философии более ясно очертить это последнее.

Недостаточно, как это делали многие мыслители, всегда исходить лишь из одной стороны сознания, кладя в основу ту диалектическую способность к абстракции, которая в самом мыс-

лителе является естественным образом господствующей и наиболее развитой, дабы затем быстро прийти к цели якобы безусловного знания, или (если стремление скорее таково) безусловного незнания и отвержения всякого знания, что по существу точно так же ложно, и в этом смысле не представляет большого различия. На истинном и надежном пути всестороннего исследования прежде всего должно быть всецело понято сознание — во всей полноте его живого развития, во всех относящихся к нему способностях и силах; дабы затем, когда у нас появится возможность полностью обозреть его из его средоточия, все же задаться вопросом о том, какого рода и какой степени знания человек с таким сознанием способен достичь о том, что пребывает вне его и над ним, и в какой мере такое знание мыслимо и возможно. Далее, как душа вообще есть принцип всякой жизни в природе, — точно так же мыслящая душа есть средоточие человеческого сознания. В мыслящей же душе сосуществуют как различающий, соединяющий и выводящий следствия разум, так и мечтательная, изобретающая и предчувствующая фантазия: мыслящая душа объемлет в себе обе эти силы, стоя посередине между ними. Но и между разумом и волей она образует рубеж перехода, заполняя в качестве связующего звена пространство, лежащее между ними и их разделяющее. Она объемлет в себе все виды и ступени представлений, от совершенно необходимо и твердо определенных, неизменно пребывающих, до почти мимолетных; от не вполне ясно оформленных до приведенных к высочайшей ясности разума; от почти безразлично спокойных — до тех, что одновременно содержат в себе легкую примесь желания, или же вырастают до самого сильного волеия. Мыслящая душа есть совместное отношение, принимающее в себя весь круговорот этих представлений; более того, она сама есть, если необходимо дать ей общее описание, лишь внутренняя пульсация этого мышления, подобная биению пульса в живом теле. Конечно, это общее описание далеко еще не является достаточным объяснением и не вполне еще ведет к желаемой цели. Возможно, нам гораздо проще удастся достичь ее с помощью иного, на первый взгляд рискованного оборота: посмотрим, не удастся ли нам точнее обозначить своеобразие человеческого сознания и те характерные черты, которые отличают его от других природ, также наделенных сознанием. Разумная душа, разум — отличает человека от животных: нам часто приходится слышать эту мысль. Однако это лишь одна сторона предмета, и должно ли нам всегда обращать свой взгляд только вниз,

и никогда навверх? Вот что я хочу этим сказать: если предположить, что есть и иные сотворенные духи, разумные конечные сущности, то не могло ли бы сравнение и противопоставление с их чисто духовным сознанием послужить к тому, чтобы с особенной ясностью осветить черты человеческого сознания, отличающие его от другой, обычно остающейся в пренебрежении, стороны. Я далек от того, чтобы стремиться сделать здесь сам предмет объектом исследования; я принимаю сказанное лишь в качестве предпосылки (взятой из всеобщей традиции) и в целях такого сравнения. Всеобщей же эта традиция может быть названа на том основании, что также и древнейшие и образованнейшие народы прошлого (среди которых я хочу назвать лишь египтян, совершенно особо поставив персов и индийцев), согласуясь в общих чертах с нашим учением, принимали существование таких конечных и тварных, невидимых для человека, однако не совершенно ему чуждых, разумных сущностей как несомненный факт. Если греки и римляне говорят о гении¹¹ Сократа как о чем-то необычном, то лишь потому, что мудрый афинянин говорил об этом предмете особым образом и умел сказать гораздо больше, чем принято было говорить обычно; ибо, впрочем, как греки, так и римляне верили в то, что у каждого человека есть свой дух-хранитель или гений. Если теперь мы примем эту предпосылку, то — как обозначается, или как было обозначено своеобразное свойство этих духовных сущностей в общей традиции и общем представлении? Они мыслятся как чисто духовные, а следовательно — не имеющими такого земного тела, какое есть у человека. Или, если они и нуждаются в теле как органе и носителе их духовного действия, и имеют его, то это некое совершенно иное, невидимое человеческому глазу, эфирное светящееся тело. Однако эта бестелесность представляет собой по большей части лишь негативное отличие. Более позитивное, глубокое отличие могло бы, возможно, заключаться в том, что столь всецело свойственные человеку, я бы сказал, слабость характера или немощь, глубоко внутренняя изменчивость, нерешительное колебание между «да» и «нет», чередование напряжения сил и усталости, широкая пропасть между стремлением и свершением, замыслом и воплощением — что все это, говорю я, никак не применимо и не приложимо к упомянутым всецело духовным сущностям, если только мы не хотим одновременно упразднить и само их понятие. Их можно

¹¹ Ныне принято говорить о «демоне» Сократа. — *Прим. перев.*

либо не мыслить вообще, либо — лишь так: стремительные как молния и быстрые как свет, они неустанно пребывают в вечном движении, не нуждаясь ни в каком виде успокоения, кроме духовного созерцания, составляющего их сущность. Все их помыслы сходятся в одном: мысль есть одновременно действие, а воля и ее осуществление суть одно. На всех этих существах лежит печать вечности; и это, конечно, имеет и свою оборотную сторону: ибо, однажды отклонившись от своего центра, они вечно пребывают в заблуждении. Но все это, скорее, не более чем описание идеи в целом, которое я всего лишь позволил себе, дабы воспользоваться им как переходом к собственно важному пункту: он состоит в том, чтобы точно обозначить, какие силы или способности духа и души из тех, которыми обладает человек, приписываются и могут быть приписаны им в этом предположенном для них бытии, а какие — нет? Я нахожу все существенное различие обозначенным весьма удачно в известном высказывании одного из наших знаменитых поэтов: «Твое знание» — так обращается он к человеку — «твое знание ты разделяешь с возвышенными духами»¹². «Возвышенными», поскольку в ясности вечного знания они, вне всяких сомнений, сильно превосходят человека. — Затем он продолжает: «Искусство, же, о Человек, принадлежит тебе одному.» Что же, однако, есть искусство, если не ставшая зримой и словно бы выступающая во плоти образа, слова и звучания, фантазия? И, стало быть, именно она: легкая, подвижная, многообразная, вечно-изобретательная фантазия — составляет опасное еимущество человека, и именно она отсутствует у этих чисто духовных существ! Столь же мало можно приписать им также и этот человечески-опосредующий, выводящий следствия, сравнивающий разум: вместо него они обладают созерцательным разумом, где созерцание и постижение суть одно. И если им в точном смысле не подобает ни то, ни другое из этих двух, то, строго говоря, им нельзя приписать и обладание душой, как некой своеобразной, отличной от духа, более пассивной способностью внутреннего плодоношения и изменчивости, внутреннего роста. Дабы теперь кратко подытожить все сказанное: бытие животных прѳосто, ибо у них душа совершенно сливается с органическим телом и растворена в нем, будучи единой с ним, так что с его разрушением также

¹² Dein Wissen theilest du mit vorgezogenen Geistern,
Die Kunst, o Mensch, hast du allein.

Фридрих Шиллер, *Die Künstler*, 1800 г. — *Прим. перев.*

и душа отдается во власть элементов, или возвращается во всеобщую природную душу; двойственна сущность сотворенных духов, которые — кроме этих эфирных светящихся тел — не представляют собой ничего иного, кроме духа; тройственна же природа человека, который состоит из духа, души и тела. И хотя этот тройственный состав и тройственное качество, эта тройственная жизнь человека — сами по себе еще не представляют собой этого преимущества, однако здесь все же многое тесно связано с тем преимуществом, которое выделяет человека среди иных сотворенных существ и отличает его от них. Я имею в виду то преимущество, в силу которого он единственный из всего творения наделен божественным подобием. Этот тройственный принцип есть простая основа всей философии; и философия, исходящая из такого основания, есть именно Философия Жизни, и именно поэтому она несет с собою глаголы жизни. Она не есть какая-нибудь праздная спекуляция или невразумительная гипотеза; ей нет нужды быть труднее или темнее, нежели любая иная речь о духовном содержании: она может и имеет право быть столь же легкой и ясной, как понимание написанного, наблюдение природы и познание истории; ибо она вообще есть не что иное, как почерпнутая из самой жизни, простая теория духовной жизни, и ничем не отягощенное ее распознавание. Если же она становится абстрактной и непонятной, то это есть всего лишь следствие и по большей части верный признак того, что она впала в заблуждение. Если мы поставим перед своим мысленным взором совокупный человеческий индивидуум, то кроме духа и души, наряду с ними обоими, перед нами предстанет органическое тело в качестве третьей составной части или третьего элемента, из которого слагается или состоит целое. Структура же органического тела, его силы и законы — это удел естествознания; философия есть лишь наука о сознании, и, следовательно, она должна иметь дело прежде всего с душой и духом и тщательно наблюдать за тем, чтобы ни в каком отношении не преступать своих границ. Третье же кроме духа и души, в котором оба они взаимодействуют, отнюдь не обязательно должно быть, как это было изображено выше, органическим телом; в иных отношениях жизни этим третьим, в котором они оба соединяются, или которое они совместно производят, будет слово, деяние, сама жизнь, или божественный порядок, от которого оба они зависят. Таковы три провозглашаемых мною предмета. Однако чтобы дополнить эту последовательность ступеней жизни, я хочу еще добавить: тройственно существо человека, однако четверично человеческое со-

знание, ибо как дух, так и душа в свою очередь разделяются и распадаются на две силы или половины, либо бывают разделяемы и расщепляемы; а именно, дух — на рассудок и волю (*Verstand und Wille*), душа же — на разум и фантазию (*Vernunft und Fantasie*)¹³.

¹³ Особое значение для истории новоевропейской философии вообще, и для философского творчества Ф. Шлегеля и Ф. Шеллинга, в частности, имеет дискуссия о взаимодействии «разума» и «рассудка» (*Vernunft* и *Verstand*), и спор о точном определении их понятий. Начиная с письма «О философии» (август 1798), Ф. Шлегель отказывается от произведенного Кантом строгого разграничения понятий *Vernunft* и *Verstand* как, соответственно, «разума» и «рассудка» и отчасти возвращается к докантовскому словоупотреблению, соответствующему теологическим понятиям *ratio* и *intellectus*. До Канта понятие *Verstand* означало не столько «рассудок», сколько «высшее духовное понимание», «понимание целого», «разумение», основанное на «интуиции», «здравом смысле», «общем народном чувстве». Поэтому в его произведениях, написанных позже 1798 г., под *Verstand* следует понимать, в иных случаях, «рассудок», в иных — «ум». В то же время «*abstrakter Verstand*» у него приближается к кантовскому «рассудку». Самонговоритом, что *Vernunft* человек погружен в собственно человеческую сферу, а в *Verstand* погружается в сферу божественную («в нас мыслит Бог»). Аналогичные изменения происходили и в философии Шеллинга. При этом вновь следует отметить «плавающий» характер данного словоупотребления у Шлегеля, который читатель заметит и в «Философии жизни». Его противники указывают при этом на «несистематичность» его философии. Мы же укажем, кроме этого, на ярко выраженный поисковый, эвристический, побуждающий характер его философствования. См. также комментарии А. В. Михайлова, Ю. Н. Попова: Ф. Шлегель. Эстетика. Философия. Критика. В двух томах. М.: 1983. Т. I. С. 463, Т. 2. С. 418—419. *Verstand* и *Vernunft* сохраняют у Шлегеля некоторые черты соответствующих кантовских понятий (*Vernunft* как «рефлектирующая» и «умозакрывающая» способность, *Verstand* как начало единства в познавательной деятельности мышления в противоположность многообразию чувственно воспринимаемого мира), однако в целом соотношение их гораздо ближе к соотношению *νοῦς* и *διάνοια* в греческой философии.

Следует понимать значение и знаменитого в истории философии заочного спора Лейбница и Локка о «человеческом разумении». Лейбниц понимал под разумением соединение восприятия и рассудка, при ведущей роли рассудка, Кант полностью отделил рассудок от всякого восприятия, определив его не только как самостоятельную, но и как руководящую способность. Его «Критики» ведутся с позиции самостоятельного и волящего рассудка, подлинный центр которого можно найти в «трансцендентальной апперцепции», иначе говоря, в картезианском «*Cogito ergo sum*». Поэтому его критика скрыто апологетична по отношению к «чистому рассудку», освободившемуся от генетической связи с божественным «умом». Именно с этой позиции разоблачения «скрытой апологетичности» можно повести эффективную критику самого кантианства и всей картезианской традиции. Рассудок у Шлегеля напрямую связан с божественным Словом, и это есть его высшее основание. В рецензии на книгу Ф. -Г. Якоби, опубликованной в 1812 г. в «Немецком музее», он писал: «Этот изначальный ум (*Verstand*) есть упомянутая выше единая мысль вечного Слова и всех существующих в нем божественных вещей, и только это следовало бы

Таковы четыре оконечности (или, если хотите, четыре стороны света) для этого внутреннего мира сознания. Другие собственные человеку способности души и духовные силы представляют собой лишь побочные отрасли этих четырех главных ветвей. Живым же средоточием целого является мыслящая душа. Таков был предмет моего первого наблюдения.



называть в подлинном и высшем смысле слова умом. Я намеренно говорю ум, а не разум (Vernunft). Ибо в вавилонском словосмешении, царящем в немецкой философии со времен Канта, с обоими этими словами в особенности удивительно обращались...». См.: Schlegel F. Studien zur Philosophie und Theologie 1975 // Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe. Hrsg. von Ernst Behler unter Mitwirkung von Jean-Jacques Anstett und Hans Eichner. München — Paderborn — Wien. 1958 ff. Bd 8. S. 456. Чтение «Философии жизни» можно вести и как собиание многочисленных замечаний, рассуждений и примеров, проясняющих понимание автором «рассудка», «разума», «фантазии», «воли». — *Прим. науч. ред.*



ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ

О любящей душе как средоточии нравственной жизни; и о браке

Развитие человеческого сознания в соответствии с тройственным принципом его бытия или его природы, составленной из духа, души и одушевленного тела, должно начинаться с души, а не с духа, несмотря на то, что этот последний есть высшее в сознании. Душа же есть первое в последовательности ступеней развития; и равным образом в действительной жизни она есть начало и пребывающая основа, а также изначальный корень всего сознания. Лишь гораздо позже развивается дух человека — будь то в его душе, или из нее, на ее основе или вместе с нею. Однако и будучи уже развитым, дух (к которому, кроме видящего насквозь разума, относится еще и свободная воля) не всегда и не всюду одинаково развит в человеке; в этом отношении к нему можно применить то, что говорят о все движущем и животворящем ветре во внешней природе: мы слышим его дуновение, однако не знаем, ни откуда он приходит, ни куда направляется. Мыслящая же душа, напротив, всегда скрытным образом действует, и можно принять как весьма вероятное, что она, строго говоря, всегда имеет представления — если даже и не ясно осознанные, то бессознательные; как это отчетливо установил великий немецкий философ ранней поры (с которым мне часто и, преимущественно, с удовольствием приходится сталкиваться)¹⁴ в своем принципе неосознанных представлений как краеу-

¹⁴ По всей видимости, имеется в виду введенное Г. Лейбницем понятие о бессознательной психике. — *Прим. перев.*

гольном постулате психологии. Применительно к меняющемуся состоянию бодрствования и покоя во внешней органической жизни, это означало бы ни много ни мало, что во сне нас всегда посещают видения, даже если по нашем пробуждении мы этого не помним. Подавляющее большинство также и тех сновидений, о которых мы еще помним в миг пробуждения, представляют собой не что иное, как отпечаток телесного состояния, той или иной температуры жизни и здоровья, смешанный со смутным отголоском представлений, подобных тем, что более всего занимали нас в предшествующем бодрствовании. И как среди огромного числа путаных, неясных и ничего не говорящих сновидений у людей случаются порой отдельные, весьма внятные и связанные, словно бы вещие, сны, в которых чувствуется видеть более глубокое значение, или которые живо обращены к фантазии значительностью своих образов, — точно так же (ибо все противоположное в некотором известном месте более всего приближается к своей противоположности и в таких точках взаимного перехода демонстрирует родство между двумя противоположностями) есть довольно большое количество менее ясных и определенных представлений, которые не многим более отчетливы и не многим более упорядочены, чем те образы, которые проходят перед внутренним взором души в сновидении. Однако мы впали бы в серьезное заблуждение, если бы захотели предположить, что они не оставляют в душе никакого следа, ибо, напротив, в этих неразвитых начатках мыслей весьма часто кроется зародыш как более определенных идей, особенно оригинальным образом оформленных, так и первообразных устремлений и решений в каком-либо определенном движении и направлении воли. Как, теперь, внешняя жизнь проходит попеременно в деятельном бодрствовании и состоянии отдыха во сне, — точно так же и мыслящая душа разделена между различающим, упорядочивающим разумом и чувственной (*sinnenden*) фантазией. Это, таким образом, словно бы две половины Одной мыслящей души, или две ее стороны, из коих одну мы можем рассматривать как позитивную, а другую как негативную. В отношении самого внутреннего плодотворного мышления, возникновения и произведения мыслей, сила воображения как продуктивная мыслительная способность есть позитивная сторона целого. Собственно так называемая фантазия — поэтическая или принимающая участие в человеческих склонностях и страстях фантазия — есть лишь один род и одно направление деятельности этой продуктивной мыслительной способности,

проявляющей себя также и во многих иных направлениях и сферах человеческой деятельности и мышления; причем, например, даже всеобъемлющий комбинационный дар великих открывателей в математике все еще входит в ее понятие. По сравнению с этой продуктивной способностью мышления, разум, организующий и подвергающий дальнейшей обработке и ближайшему определению то, что получено при участии другой плодотворной силы, представляет собой, напротив, негативную сторону целого. В отношении внешней жизни и в ней самой фантазия и все иные относящиеся к ней душевные силы и впечатления или движения — могут занять лишь подчиненное, служебное положение, с тем чтобы в предписанных границах и для достижения истинных целей использовать эту свою полноту жизненных сил, приводя к действительности и воплощая в жизнь свою внутреннюю идею. Здесь организующему, принимающему решение разуму (*Vernunft*) подобает главенствующее место, и здесь он должен управлять — во всех тех областях, где ему можно дать имя руководящей способности. Конечно, если разум (*Vernunft*), говоря образно, есть лишь половина души, то в ее делах он не может стремиться принимать единоличные решения. Столь же мало, однако, с другой стороны, и то, что мы определяем и представляем себе в качестве самого глубинного желания жизни, всегда представляет собой истинное и непреходящее благо жизни. Я назвал рассудок и волю, разум и фантазию в качестве четырех главных ветвей человеческого сознания; остальные же свойственные человеку духовные силы и душевные способности, стоящие в их подчинении, образуют собой лишь его вторичные ответвления. Из этих подчиненных ему, или (поскольку в ином отношении они, в свою очередь, могут занимать высокое место), я бы сказал, приданных ему душевных способностей, к сфере соединяющего и различающего разума (*Vernunft*) относятся преимущественно память и совесть; ибо также и память, пусть и иным образом, есть соединяющая мыслительная способность, равно как совесть есть способность различающая. Последняя, однако, является таковой не просто иным, но и гораздо более высоким образом. Дальнейшее развитие этой стороны целого позже непременно найдет себе должное место. С другой стороны, под влиянием фантазии или, по меньшей мере, в теснейшем соприкосновении и на общей почве с ней стоят преимущественно чувства и склонности, или побуждения. Прежде всего, в том что касается чувств, я хотел бы обратить здесь внимание лишь на одно, а именно на

то как тройственный принцип человеческого бытия (Dasein), согласно коему последнее составлено из духа, души и живого тела, или телесной действительности, — словно бы повторяет сам себя в меньшем масштабе во всякой более узкой и особой сфере человеческого сознания, и на то, что сказанное верно, в частности, в отношении внешних чувств. В этом отношении мы насчитали бы всего лишь три чувства вместо обычных пяти, собрав три низших из них воедино и рассматривая их как лишь одно и по преимуществу телесное чувство, в противоположность двум другим и высшим; ибо здесь, в трех низших чувствах, происходит не только материальное соприкосновение, но и, как в случае с запахом, химическое проникновение и ассимиляция с воспринимаемым и вбираемым внутрь запахом. Конечно, возможно, невидимым образом происходит также и соприкосновение глазного нерва со светом, а ушного — с вибрацией воздуха, однако совершенно иным образом, и в этом соприкосновении ощущается и воспринимается также и нечто совершенно иное и гораздо более высокое, а именно — соотношения тона, звука, образа или формы. В этом отношении око есть орган духовного чувства для красоты формы и грации движения, и это так не в одном лишь художественном смысле или для ока художника; но это духовно воспринимающее око вообще имеет в жизни гораздо более широкое распространение, хотя оно всегда есть некий особый дар, или, скорее, некий высший придаток, присутствующий не в каждом человеке и не в равной мере, точно так же как не является всеобщим, но распределено весьма неравномерно то музыкальное чувство, в котором слух являет себя как собственно чувство души. Этот высший придаток в сфере внешних чувств человека (ибо животные, у которых эти чувства в прочих отношениях столь же сильно развиты, лишены его) — этот высший придаток в сфере зрения и слуха: в основном естественное ощущение красоты формы и музыкальный слух — представляют собой добавочный элемент и дар свойственной одному лишь человеку фантазии; как и сам этот дар, они распределены неравномерно, однако именно в силу этого ничуть не менее действительны, и бесспорно существуют. Животные, сказал я, лишены их. Мы, правда, отмечаем некоторые мелодические модуляции в пении птиц, известное выражение радости от человеческой музыки у тех или иных особенно благодетельных и наиболее сообразительных сельских животных. Я бы назвал это отдельными начатками фантазии, ибо свободный выбор и дальнейшее развитие, равно как и внутренняя взаимосвязь,

в этом случае отсутствуют; все эти способности отрывочны и никоим образом не образуют целого. Точно так же как художественные устремления и художественные работы тех или иных животных выказывают известное сходство с действием разума; однако, сколь бы достопримечательным и очевидным ни было такое сходство, оно все же остается всего лишь сходством, а сама эта способность — всего лишь инстинктом, все еще безмерной пропастью отделенным от разума как такового. Все это подобно полувыветрившимся начертаниям древней, по большей части стершейся надписи, или отдельным аккордам звучащей в большом отдалении музыки; именно поэтому такие вещи производят на наше чувство столь влекущее и отчасти меланхолическое впечатление, ибо, конечно, эти следы, в коих ощущается некое подобие человеческого движения, могут содержать в себе едва различимый намек на первоначальное более тесное родство или более близкое положение одушевленной природы в ее наиболее высоко развитых формах к человеку — как своему прежнему властелину и поставленному от Бога Царю земного творения.

Если, однако, влияние и воздействие фантазии уже на внешние чувства столь явно и бесспорно, то оно должно быть гораздо очевиднее, решительнее и сильнее в склонностях, побуждениях и страстях, нежели во второй, подчиненной фантазии, душевной способности. Легко можно было бы продемонстрировать, что даже простое стремление к самосохранению или удовлетворение естественных жизненных потребностей не обходятся у человека без влияния фантазии, которая и порождает самые разнообразные их модификации. Однако это влияние еще много сильнее в более высоких стремлениях и склонностях, если рассматривать эти последние в их самом бурном и неистовом развитии, в виде страстей, где они, в этой своей чрезмерности и в ложном направлении духовных способностей и душевных сил, предназначенных для чего-то более высокого, превращаются вместо этого в нравственные недуги и болезненные вывихи характера. Я хотел бы сперва обратить внимание на то, что во всех этих доходящих до безнравственности страстях существенным образом участвует фантазия, а затем — на то, что также и здесь, как и во внешних чувствах, в главных формах неуправляемой страсти, вновь находит свое применение тройственный принцип человеческого бытия, еще раз повторяя себя в различных формах и в разделении этой особой сферы.

Первое из этих ложных направлений и нравственных недугов — безмерная гордость и высокомерие — есть в своей сущности ослепление, заблуждение духа; заблуждения и обман тщеславия представляют собой то же зло, лишь в несколько ином, более слабом, облике. Источник порока лежит, конечно, в неограниченной любви к себе; однако в этом чванливом самоощущении в качестве действующего элемента немедля дает себя знать фантазия. Второй из этих пороков характера, препятствующих высшей жизни — а именно, чувственную страстность, или страстную чувственность — я бы по большей части рассматривал как запущенность, одичание, как болезненное и лихорадочное состояние души, выказывает ли оно себя, как жаркая горячка, в буйстве и неистовых пароксизмах, или тайно подтачивая и медленно истощая лучшие душевные силы, как изнурительная лихорадка. В любом случае, собственно источник зла, влекущая сила и ложная магия этой страсти заключены в фантазии: в перевозбужденной, введенной в заблуждение, или даже уже отравленной фантазии. Невозможно приписывать вину собственно природному стремлению, коль скоро оно является врожденным и природосообразным; причина всякий раз лежит в беспринципности или в слабости характера, которая почти добровольно предоставляет природному стремлению неограниченно властвовать, или, во всяком случае, не ставит на его пути достаточной преграды со стороны высшей воли. Третье ошибочное направление человеческого устремления, которое, наряду с этими двумя, чаще всего вносит смуту в человеческое общество, губительно сказываясь даже на собственном внутреннем довольстве, есть безграничная алчность, своекорыстие и скупость. Конечно, в известной, весьма ограниченной степени, в мире (по его собственному суждению) происходит весьма мало такого, в чем отсутствовало бы по меньшей мере тонкое корыстное намерение. Однако, если мы обратим наши взоры на более высокую степень ненасытного корыстолюбия, болезненной скупости, — то станет очевидно, сколь большое участие также и здесь, в этом нравственном заболевании, принимает направленная на одну точку материальной собственности и стяжания звонкой монеты, фантазия, где дух и душа собственника заключены и погребены, как и его сокровища, в денежном сундуке, и оба они застывают и окаменевают, причиняя в результате нечто вроде окостенения сердечной мышцы при внешних органических заболеваниях.

Орган высшей нравственной жизни всякий раз иным образом поражается и разрушается под воздействием этих трех губительных страстей. В первом случае духовного ослепления гордостью и тщеславием нравственный суд извращается и фальсифицируется. Во втором случае душевного запустения вследствие жизни, всецело отданной чувственным страстям, нравственное чувство замутняется, приходит в запустение и под конец разрушается. В третьем случае совершенного закоснения внутренней жизни по причине своекорыстия и любостыжательства, — нравственные понятия в итоге полностью утрачиваются, угасают и отмирают, ибо мертвый Маммона, рассматриваемый как высшее благо и единственная цель всего бытия, ставится на место всех иных высших духовных и душевных благ. В основе всех этих трех страстей все еще лежит позитивное стремление, однако — в своей ложной чрезмерности и в совершенно неверном направлении. С этой точки зрения можно было бы продолжить наблюдение и далее, распространив его и найдя для него иные примеры, например, враждебных страстей, в основе которых лежит всецело негативное стремление, направленное на агрессию, разрушение и уничтожение. Я имею в виду страсть ненависти, с тремя ее различными элементами и формами, а именно: гневом, завистью и мстью. Однако более пространные рассуждения на эту тему были бы здесь неуместны. Вообще я стремился рассмотреть и представить общеизвестные предметы лишь в их психологическом аспекте: отчасти — дабы показать, каким образом тройственный принцип человеческого бытия в духе, душе и в некоем третьем, где первый и вторая взаимодействуют, находит свое применение в более узкой сфере склонностей и внешних чувств (как добрых, так и злых), повторяясь в малом масштабе; отчасти же — дабы отметить, что господство фантазии над подчиненными ей душевными способностями внешних чувств и стремлений дает себя знать и в пагубных страстях, в качестве вредоносного элемента, и, более того, именно оно образует собой главный источник царящего в них заблуждения.

На эти три главные страсти и три личностных порока, подрывающие внутреннее довольство и вносящие сумятицу во внешнюю жизнь, можно смотреть как на стигийские потоки, бьющие из источника воспаленной земной фантазии, и подземные жаркие и мрачные огненные реки, спускающиеся в регион воли, а оттуда извергающиеся в противозаконных действиях и ужасающих катастрофах насилия, или же (что, возможно,

еще хуже) производящие в целом бесцельно и попусту растраченную, или же ничтожно прожитую жизнь низменных стремлений.

Теперь, после того как мы во всей силе представили себе вредоносное влияние заблудшей фантазии на пагубные и разрушительные страсти, мы можем с тем большей свободой обратить свой взгляд в другую сторону — на то, как эта удивительная, живая, подвижная и плодотворная как в добре, так и во зле и отличающая человека от всех иных духовных существ способность фантазии являет себя также и в высших устремлениях ко благу, в благородной склонности и в истинном воодушевлении: как жизнесозидающая, вызывающая к существованию и пробуждающая дух сила. Прежде всего я должен предпослать здесь замечание о том, что вообще в нравственной области и в нравственных вещах и отношениях существует лишь тонкая линия различения, отделяющая правое от неправого, когда ошибка в последнем кроется лишь в недозволенной чрезмерности, либо в ложном направлении и неправильном применении. Гордость и тщеславие в суждении мира представляют собой самые обычные предметы упрека и насмешки. Однако же кто захочет на самом деле изгнать из мира подлинное чувство чести или благородное стремление к славе, и как потеряла бы общественная жизнь во всем своем звучании, если бы нам пришлось в голову убрать из нее сей благородный металл! Любостяжание и своекорыстие несут с собою бесчисленное множество (можно без преувеличения сказать — не тысячи, но многие сотни тысяч) осложнений, тяжб и иных спорных разбирательств в гражданской жизни, так что большая часть и в некотором смысле лучшие силы внутреннего государственного управления поглощены и направлены на улаживание тысяч междоусобных споров о «твоем» и «моем». Однако же полезная деятельность, направленная на благо, и в том числе на личное благо, работа и прилежание, не имеющие иной цели кроме разрешенной выгоды и справедливого преимущества, если при этом не происходит нарушения прав других, а их интересы справедливо соблюдаются, — пользуются общим признанием как существенный элемент общественного тела; и более того, они образуют собой словно бы питательный жизненный сок, разносящий по всем его жилам благодное чувство здоровья и полной силы. Наконец, то другое природное стремление, которое (именно потому, что является наисильнейшим) в наибольшей степени нуждается в нравственном сдерживании и направлении, в среде нрав-

ственно образованных наций и в эпохи не самого полного запустения и распада, у благородных натур по большей части уже естественным образом, через многочисленные нравственные отношения, и даже взятое само по себе, как склонность, — докажет свое родство и близкую связь с некой высшей стихией. Такая сильная склонность и глубокое чувство благородной любви, давшей обет верности, обретает тем самым высшее освящение и даже с точки зрения божественного мироустройства рассматривается как святое установление, поистине представляя собой нравственную святыню земной жизни, на которой лежит древнейшее божественное благословение и которая в то же время образует собой основу, на которой зиждется счастье и нравственное благополучие племен и наций. От этих душевных уз любви, на коих держится семейное единство, происходят и все иные сильные узы и прекрасные отношения материнской любви, обязанности детей по отношению к родителям и дружбы между братьями, сестрами и родственниками, которые вместе составляют невидимый дух жизни и как бы внутренний нервный сок человеческого общества. Тем самым еще даже не принимается в расчет великая семейная задача воспитания: воспитания, т. е. общего формирования будущего поколения; однако воспитание должно рассматриваться преимущественно как дело и задача семьи, ибо ведь какое бы множество превосходных институтов этого рода для отдельных отраслей, отдельных эпох и ступеней, ради тех или иных отдельных целей воспитания, ни основывало государство или призванные к этому мужи, — в целом воспитание всегда берет свое первое начало в семье, и там же оно заканчивается и завершается, в тот момент, когда закончивший образование молодой человек или взрослая дочь покидают отчий дом, с тем чтобы самим теперь основать уже новую и собственную семью. Именно в эпохи опасности и уже вполне зримо проступающего разложения человеческий род, как правило, слишком поздно приходит к ясному осознанию того, в какой совершенной мере человеческое и гражданское сообщество покоится на этом фундаменте семейных уз. Да и не только в отношении феноменов нашей исторической эпохи, но и на примерах образованных народов древности, греков и римлян, можно было бы подтвердить эту историческую истину, проиллюстрировав ее местами из их собственных историографов. Всегда и везде нравственная революция предварительно совершалась внутри семьи, прежде чем всеобщая анархия открыто выплескивалась на улицы, приводя в смятение целые страны и потрясая основы государств.

Лишь после того как все существенные соединения во всем здании расшатались и разошлись, а все связывающие строение воедино крепления сверху и до самого фундамента разрушены и приведены в негодность, — лишь тогда первый же случайный натиск легко способен потрясти все здание или уничтожить его в пожаре первой же попавшейся поджигательной смесью.

Наряду с этими узами душевной добродетельной любви, направленной на то, чтобы глубоко связать воедино всю совокупную жизнь, можно указать и на другой вид или форму высокого, благого, прекрасного и даже возвышенного стремления в том, что мы называем воодушевлением (*Begeisterung*). Последнее имеет в качестве своего позитивного предмета мысль, которая в этом случае посещает душу, полностью захватывая и наполняя ее собой; однако душе не достаточно одной лишь внутренней идеи, как это бывает в обычном мышлении или удивленном созерцании той или иной возвышенной мысли; но отличие лежит в том, что такая склонность и восторг души направлены на то, чтобы эту ее идею, которой она всецело захвачена и преисполнена, осуществить в действительности, или же, как минимум, подтвердить ее истинность своим деянием, пусть даже ценой величайших жертв. Наиболее часто встречающаяся форма или вид воодушевления есть воодушевление патриотическое, или любовь к отечеству, которая лучше всего проявляется в моменты опасности. Как в малом масштабе повседневная человеческая жизнь проходит попеременно в работе и отдыхе, а в освежающем сне восстанавливаются силы, ослабленные в напряжении дневного труда: точно так же происходит и в большом масштабе общественной жизни, и если мир в общественной жизни по праву считается высшим из всех благ и бережно охраняется, — то все же, при наступлении дней войны, в качестве некоторого возмещения и утешения может послужить замечание о том, что в борьбе с опасностью в человеке пробуждается множество добродетелей и дремлющих сил, которые в условиях постоянного мира остались бы неразвитыми. Однако также и здесь, как и везде в нравственной области, ложное воодушевление стоит весьма близко к истинному и подлинному, и его необходимо тщательно от них отличать. Поскольку я должен говорить здесь о любви к отечеству и определить ее верные признаки, я рад тому, что стою на родственной почве, и что все вы с первого слова меня поймете, если я скажу, что истинность воодушевления любовью к отечеству чаще всего доказывается в несчастии,

в решительном, долговременном несчастье. Другим признаком может служить то, что такое воодушевление обращается к своему предмету не произвольно и самовольно, а радостно вступая в ряды по первому зову законного и наследственного правителя, то есть являя послушание, но вместе с тем и избыток сил и готовности воли, далеко превосходящие все требования, которые могут быть к ним предъявлены по праву, и где в этом случае приходит и настоящее, истинное равенство, а именно равенство в самопожертвовании, когда высшие и самые благородные сословия могут поспорить со всеми прочими в великодушном принесении в жертву самых высших благ и самой жизни. Другой общеизвестный и общепризнанный род воодушевления, а именно художественный, не имеет столь полного обоснования во всеобщей человеческой природе, как патриотическое чувство, но, напротив, предполагает наличие особых задатков, природных дарований, и в силу этого не может обладать столь же широким кругом действия. Однако также и здесь воодушевление выказывает себя как такое свойство или настроение души, которое внутренне не удовлетворяется одной лишь мыслью (как, например, в спокойном философском наблюдении и созерцании), но которое, напротив, не находит себе покоя до тех пор, пока не воплотит в действительности и не представит в совершенстве ту идею, что ее занимает. Это идеальное воодушевление не ограничивается одной лишь сферой искусства: оно может иметь место и в науке, и оно есть одушевляющая и движущая пружина всех великих открывателей и основоположников в любой области жизни. Колумб без такового воодушевления не смог бы преодолеть все опасности и препятствия и не достиг бы своей цели. Здесь, следовательно, предметом воодушевления является не идеал, как в случае с художником, но нечто новое и великое в области полезного знания или действительной жизни. Однако предмет воодушевления всегда являет собой нечто позитивное, действительное, даже если оно не только понимается как нечто прекрасное и выдающееся, но и сопровождается чувством восхищения как нечто возвышенное. Совершенно иначе обстоит дело со страстным томлением (*Sehnsucht*)¹⁵, неопределенным чувством глубочайшего желания, которое

¹⁵ Немецкое *Sehnsucht* довольно трудно перевести на русский, ибо все переводы по тем или иным причинам недостаточны: «тоска», «духовное томление», «стремление». Решающую роль в слове играет второй компонент, «*sucht*», имеющий значение глубокого, иногда болезненного желания или влечения. Здесь имеется в виду не «истома» и не «нега», но «том-

не может быть удовлетворено никаким отдельным, действительным земным предметом или даже идеалом, но направлено лишь на вечное и божественное вообще. Несмотря на то, что такое томление не предполагает ни собственно гения, ни особенных талантов, проистекая непосредственно из чистого источника богосотворенной, бессмертной и любящей души и из ее вечного чувства, оно развивается в чистоте, но по известным причинам встречается еще реже, нежели художественное воодушевление. Правда, некоторый налет тоскующего устремления при мало-мальски счастливых задатках и свободных условиях развития вообще свойствен юношескому возрасту и весьма часто в нем отмечается; и именно в нем, в этом легком налете тоски, которая, тем не менее, связана с полубессознательным, однако приятным ощущением цветущей полноты жизни, как раз и заключается притягательность того впечатления, которое юность, даже пребывая в состоянии спокойного созерцания и тихого воспоминания, производит на стариков. Признак подлинности и неподлинности чувства также и здесь может быть обнаружен очень легко, и столь же просто определен: ибо мы вообще объясняем тоску как предварительную ступень, состояние, предшествующее еще не развившейся любви, причем, правда, открытым остается вопрос, что это за любовь и о каком ее роде это следует или следовало понимать? Если юношеское томление тут же вместе с развитием страстей и с первым их удовлетворением переходит в пошлую действительность, то это была не подлинная, а всего лишь земная, чувственная тоска. Если же тоска остается даже после того, как время юношеского наплыва чувств уже по большей части прошло; если она становится все глубже и глубже, если она не может быть удовлетворена никаким земным счастьем и быть ослаблена никаким земным несчастьем; если посреди жизненной борьбы и сутолоки мира она, словно око, ищущее света, продолжает быть обращенной к небу из объятых бурями миров в океане времени, ища, не проглянет ли в нем звезда вечной надежды, — то тогда это истинная тоска, которая направлена на божественное и которая сама имеет божественное происхождение. Из этого корня произрастает почти все духовно прекрасное и великое, и даже сама эта любовь к духовному знанию и внутреннему постижению жизни — философия — проистекает из того же самого источника, и ее в этом отношении столь

ление» в евангельском словоупотреблении: «Огонь пришел я низвести с неба, и как томлюсь Я, что он еще не возгорелся». — *Прим. перев.*

же уместно было бы назвать учением или наукой о стремлении (*Sehnsucht*). Однако и юношеская тоска зачастую является истинной, и по меньшей мере первой основой той другой, более высокой, пусть и не столь чисто развившейся и не столь очищенной жизнью, как та. Я добавлю к этому еще одно общее замечание. Это прекрасное юношеское томление, плодотворная фантазия, преисполненная любви душа — суть высшие дары любящей и наделяющей природы; или, скорее, не природы, а того удивительного духа, что царствует в ней и над ней. Они словно бы образуют цветущий сад тайной жизни внутри человека; но так же как первый человек был поставлен среди земного сада не только для праздного наслаждения, но, как определенно сказано, с тем, чтобы возделывать и охранять его, — точно так же и теперь (хоть этого, как правило, и не замечают) весьма часто бывает так, что внутренний мир даже и самого лучшего человека и даже наиболее одаренных натур представляет собой зрелище запущенного и одичавшего райского сада.

Говоря об этих трех формах или видах высшего устремления: томлению, истинной любви и подлинном воодушевлении, я, как само собой разумеющееся, молчаливо предполагал влияние фантазии, которое, точно так же как в губительных страстях оно оказывало вредоносное, воспаляющее и отравляющее действие, здесь, благотворно содействуя стремлению, направленному на благое и на божественное, придает ему живительного огня и возвышенной силы; впрочем, подобное влияние никогда никем не оспаривается и едва ли может быть подвергнуто сомнению. В чистом томлении чувственная фантазия теперь всецело растворена в уже более не земном чувстве, достигая полного единения с любящей душой. В любви и воодушевлении, направленных на действительный предмет, питающий огонь жизни и высокий порыв происходят именно из этого источника и указывают на такое соучастие. Вполне возможно, чистые духи исполнены и пронизаны одним лишь чистым рассудком и чистой волей, свободными от всякой примеси фантазии, и тем полным любви и благоговейным созерцанием Божества, что составляет блаженство их бытия. Человеческая любовь и человеческое воодушевление без малейшего участия фантазии едва ли присутствуют где-нибудь в действительности и, более того, едва ли мыслимы. Но и это отнюдь не может служить ни упреком, ни возражением против любви, как если бы она представляла собой нечто ложное и покоящееся на неправде, ибо большой ошибкой было бы предполагать, что фантазия всегда и с неизбежностью есть что-

то неистинное, вводящее в заблуждение или пребывающее в самообмане. Это верно лишь в отношении одной ее стороны, а именно поэтической фантазии, хотя также и она, будучи подлинной, под дозволенной и разрешенной ей в этом образе видимостью внешней неправды может скрывать богатую полноту и живой источник великой и глубокой истины, однако иного и присущего именно ей рода внутренней природной истины. Или же сказанное верно в отношении одной разновидности и одного перерождения этой способности в безусловно пребывающую в обмане фантазию губительных страстей. Взятая как она есть и в своем полном объеме, эта душевная сила фантазии вообще есть живое продуктивное мышление, способность внутреннего плодоношения, объемлющая в себе с помощью внешних земных и высших чувств также и внешнюю жизнь, с живостью постигая ее как в благом, так и в низменном стремлении, стремясь в свою очередь придать постигнутому живой образ, воплотить его и претворить в действительность. Таким образом, сама по себе, в ее чистом и неиспорченном состоянии, она отнюдь не противоречила бы божественной истине (каковая отнюдь не всегда есть одно и то же с низменной действительностью), но была бы вполне соединима с ней, как это и будет показано более подробно в другом месте. Допустим также, однако — поскольку о человеческих вещах должно судить по человеческим мерилам и по справедливости, — что даже и в истинной любви и в подлинном воодушевлении обнаружилась бы преходящая мысль, отдельное движение и изъявление, которые бы выходили за четкую линию истинной действительности: то и тогда эта любовь и это воодушевление еще не перестают быть подлинными и истинными. Не все есть преувеличение, что представляется таковым чуждому, неодухотворенному рассудку. Так или иначе, однако, остается несомненным, что в человеческой жизни бывает множество случаев, когда недостаточно одних лишь основных математических формул нравственности, и где выход может быть найден и цель успешно достигнута лишь посредством далеко выходящей за рамки всеобщего и низшего практического разума жертвы любви, при участии высшей силы и посредством решительного и воодушевленного деяния. Как минимум, следовательно, также и эта сторона человеческой природы и жизни не должна остаться нераспознанной и быть обойдена стороной, при всем том, что также и здесь, как и повсюду, примешиваются следы человеческого несовершенства, от которых не

свободна и другая сторона, в той части, где формальный разум определяет собой все и является преобладающим.

Таким образом, как мыслящая душа есть живое средоточие сознания, так любящая душа, в свою очередь, есть средоточие и основа нравственной жизни, какой она предстает в той душевной связи любви, что образует собой брак и завершает себя в нем. Поэтому будет существенным прибавить несколько слов об этой связи, которая в историческом смысле является собственно начальной точкой цивилизованной жизни. Как в философии и общих рассуждениях есть умы, все выводящие из материальной чувственности и стремящиеся высшее любого рода либо низвести к низшему, либо всецело его отрицать: точно так же и здесь, с этой — в соответствии с общественно признанными принципами столь свято чтимой — связью, в суждении мира весьма часто происходит так, что все пытаются вывести из переходящей страсти, чувственных впечатлений или тех или иных корыстных целей, по существу же, однако, желают не допустить существования истинной любви как таковой. Но когда, во-первых, речь идет о связи, охватывающей собой всего человека, нельзя, исходя из чувственно разумной или, как я бы скорее сказал, из земной духовной природы и земного состава человека, — нельзя упрекать эту связь в том, что в ней присутствуют оба элемента его целостного существа; более того, собственно несправедливостью будет, если мы попытаемся в суждении насильственно разорвать и развести по сторонам эти два элемента (которые как раз в весьма чистых натурах и неиспорченных характерах теснейшим образом сплетены и сплавлены друг с другом воедино), подвергая их враждебному и разрушительному анализу. К тому же различие и признаки подлинной и неподлинной любви могут быть определены отнюдь не так, но гораздо более простым способом — тем, который мы опробовали ранее, когда говорили о воодушевлении и духовном устремлении (*Sehnsucht*) — то есть, просто по ее результату в целом. Если склонность этого рода поначалу и проявляет себя весьма бурно и даже заявляет о себе, судя по одному из внешних цветов, всецело духовным устремлением, высочайшим обожествлением страсти, то все же затем в ходе совместной жизни на их место приходят пресыщение и равнодушие, недоразумения и недоверие, раздор и, в конечном итоге, неисцелимая дисгармония душ: в таком случае это и с самого начала была не любовь, а всего лишь страсть. Если, напротив, в такой связи, даже когда первая юношеская пылкость уже миновала, на ее место приходят все

более чисто выраженные взаимные доброжелательность и доверие; если в равной мере проявляются самопожертвование и выдержка при неизменной внутренней склонности и нежной дружбе: то уже с самого начала это была любовь. Также и в природе, и в высшем регионе, сколь бы часто ни противоречила этому внешняя видимость, нет любви без ответной любви, и всякая истинная любовь взаимна. Поскольку всякая истинная любовь является непреходящей и неуничтожимой, или, если выражаться человеческим языком, поскольку она и есть сама глубинная сокровенная жизнь, постольку же она хранит верность до смерти. Кроме того, совершенно в порядке вещей, если, говоря о связи, объемлющей собою всю жизнь, в той или иной мере принимаются во внимание все прочие ее отношения. Невозможно лишь установить для нее общую меру, и даже божественные законы, как священные стражи брака, предоставляют все это индивидуальному решению. Лишь за одним они ревностно следят и на одном настаивают — чтобы в этой связи не было места принуждению, ибо свободное развитие считается ее существенным условием. Однако, поскольку эта взаимная свободная воля все же не должна представлять собой неразумную, произвольную, или каким-либо корыстным образом ангажированную волю (ибо ведь мы по меньшей мере вправе предполагать это), то тем самым уже сказано, что, согласно духу этих священных законов, такая связь рассматривается как основывающаяся на взаимной склонности и полагается как прочный любовный союз душ, а не всего лишь гражданский контракт купли-продажи или обмена, касающийся лишь статуса и состояния. Это, так же как и все остальное, суть лишь побочные обстоятельства, существенным же, согласно божественному порядку жизни, лежащему в основе этих священных законов и представляющему собой их дух, остается сама воля, взаимная склонность, выражающая себя в этой свободной воле, и гармония душ, благодаря которой она обретает прочность и длительность; равным образом заботятся и следят за тем, чтобы такая священная для всех народов связь пребывала нерушимой, с чем далее связана единственность (Einheit) брака как его основоположный христианский закон. Даже у образованных нехристианских народов древности она не являлась в этом смысле законом, однако, согласно верному чувству достойного и благородного обычая, была по большей части преобладающей. Сколь важно нерушимое сохранение этого священного понятия, столь же неизмеримы и губительны бывают последствия для всего человечества,

когда ему наносится рана здесь, в самом его средоточии, так что я полагаю себя вправе сказать без преувеличения: религия, которая разрушает эту святыню брака и вносит в нее разлад, тем самым в то же время низводя женское начало на недостойную ступень угнетенности, уже одним лишь этим решительно свидетельствует о том, что она не истинна и не может иметь божественного происхождения. Там же, где хранится и чтится благородный обычай и женское достоинство, там, в этом освященном любовном союзе душ, наряду с телесным соединением одновременно имеет место весьма разнообразное, целительное и прекрасное взаимное воздействие, способствующее дальнейшему развитию и высокому формированию не только души и характера, но также и духа; так, что здесь все три принципа человеческого бытия: дух, душа и тело — пребывают в этой первой и самой глубокой связи в совершенном жизненном единении. Это духовное отношение, благодаря различному характеру сознания и всех душевных способностей и духовных задатков двух полов и благодаря проистекающему отсюда обоюдному духовному развитию одного через другое, также и с психологической точки зрения представляет собой весьма достопримечательное и плодотворное явление; и я со своей точки зрения, состоящей в том, чтобы повсюду исходить из самой жизни и ее средоточия, говоря о заранее намеченной последовательности ступеней развития человеческого сознания, не мог тут же не привлечь к рассмотрению, хотя бы с одной его стороны, этот столь богатый содержанием предмет. На чем в каждом индивидуальном случае зиждется гармония душ, которая есть основа домашнего уюта и довольства и счастливого, т. е. хорошего и удавшегося брака, невозможно сказать с детальной определенностью по причине огромного и неисчислимого многообразия человеческой природы: ближайшие наблюдатели нередко ошибаются на сей счет в своем суждении, ибо в действительности весьма часто случается так, что те души, во взаимную гармонию коих никак не возможно поверить, весьма удачно сосуществуют; другие же, от которых этого можно было бы ожидать согласно обычному знанию о людях и общественному суждению, напротив — нет. Тем не менее, все же существует всеобщее основание для того, чтобы также и духовная обоюдная потребность связывала оба пола взаимными узами, а внутренняя жизнь и сознание одного дополнялась, возвышалась и получала дальнейшее развитие благодаря внутренней жизни и сознанию другого. Ибо, как в браке имеет место известная общность благ и собственности — если не в каче-

стве общего закона, то, по меньшей мере, фактически и до известной степени в повседневном употреблении, — точно так же посредством этого взаимного обмена таким множеством мыслей и чувств достигается некий род общности сознания, притягательность и ценность коего обусловлены именно различием духовного характера обоих полов. Если от меня потребуют здесь более точного определения, то я хорошо ощущаю, насколько трудно дать такое ближайшее определение духовного характера вообще и сколь несовершенным оно всегда и с неизбежностью будет оставаться. Точно так же трудность возникает у нас и в том случае, когда мы пытаемся в общих чертах охарактеризовать в этом отношении целые нации и эпохи, понять их ближе путем противопоставления и дать им более точное определение. Если, например, мы говорим, что у греков преобладающим был рассудок (*Verstand*), всякий род его: научный и художественный, глубокомыслие и остроумие, ясный практический рассудок и рассудок критический, анализирующий; римлян же более отличает энергия воли, душевная сила и величие характера, — то в общем и целом это хоть и не является неверным, однако сколь великое множество ближайших определений, ограничений и оговорок необходимо к этому добавить, чтобы дело не остановилось на этой (самой по себе верной) исторической антитезе и всего лишь рубрике, но напротив, чтобы была создана целостная и законченная картина подлинной исторической жизни обоих народов, охватывающая собой в мысли всю полноту духовного развития, представленная в словесной форме. То же самое было бы верно и тогда, если бы мы — в целом, конечно, весьма верно — захотели бы сказать о средневековье, что в нем преобладающей была фантазия, тогда как, напротив, в новейшее время все более и более единовластной становится разум (*Vernunft*). Сколь многое надлежит здесь еще добавить, и сколь огромное количество частных необходимо снабдить дальнейшими определениями, если мы хотим, чтобы истина жизни не исчезла во всеобщности понятия! Однако в еще большей мере это должно быть верно, когда речь идет не просто о нациях и эпохах, а о характерном духовном отличии того или иного рода в целом. Такие основоположные черты должны преподноситься и приниматься как то, чем они могут быть — как не более чем мысленный абрис, который, однако, зачастую способен повести в дальнейшем к реальному результату, либо, по меньшей мере, отвергнуть иллюзорную, ведущую к заблуждению, мысль. Пожалуй, большинство голосов будут едины в том, что среди до сих пор обозна-

ченных различных способностей и сторон сознания у женщин чаще всего бросается в глаза преобладание души; и тот пророк, который сказал (либо якобы сказал), что у женщин нет души, был как раз лжепророком. Напротив, именно полнотой душевного начала, проявляющегося во всем их существе и поступках, и обусловливается вся красота общественного обихода среди образованных народов, вся прелесть близкого общения в беседе, а также часть того гармонического воздействия на дух, что осуществляется ими в сокровенном внутреннем соединении людей при совместной жизни. Тем не менее, я полагаю, что мы впали бы в совершенное заблуждение, если бы теперь сразу же захотели упомянуть и противоположность любви, сказав, что равным образом у мужчин в общем и целом перевешивает дух, гораздо более преобладающий у них, нежели у женщин. Ибо, во-первых, мера врожденной духовной силы и приобретенного духовного образования уже сама по себе, а также в соединении с разнообразными видами и сферами ее приложения, настолько варьируется, что отсюда едва ли может быть выведено общее характерное определение рода в целом. Равно как совершенно ложным преувеличением было бы, если бы мы целиком и полностью отказали мужчинам в присутствии души и душевной полноты чувства, ибо речь здесь могла идти лишь о перевесе другой стороны. Столь же мало мы имели бы права отказать женщинам в наличии духа, или приписывать его им в чересчур ограниченной мере. Ибо, если им и в меньшей степени свойственна и приличествует глубокомысленная абстракция научного разума, то тем чаще у них можно встретить здравый ум и здравое суждение. Рассудок (*Verstand*), коим они обладают, гораздо менее является сухо познающим или холодно рассчитывающим, нежели живым и повсюду проникающим в жизнь. Этот живой рассудок, однако, и есть именно то, что, имея в виду качество отдельного человека, мы называем «духом». Возможно, что другой поворот мысли приведет нас к цели гораздо более близким и верным путем. Как внешняя деятельность женщин в целом (ибо и здесь следует сделать весьма значительные оговорки) обыкновенно ограничивается узкой сферой ближайших любовных или близких к ним отношений в широком общественном кругу, точно так же сказанное будет верно и в отношении их сознания. Все его силы и отдельные проявления лежат ближе друг к другу, если можно так сказать, словно бы в кругу друзей, собравшемся вокруг общего центра преисполненной чувства души. Я хочу сказать, что в сравнении обоих родов, в соответствии с их

духовным различием, по всей видимости, перевешивает, с одной стороны, гармоническая полнота сознания, а с другой — его эксцентрическое развитие. Не то чтобы дух одного, призванного более всего к внешней деятельности, пола непременно должен покинуть свое высшее средоточие внутренней жизни, или, подобно комете, гениально заплутать и потеряться на беспорядочных орбитах, хотя такое и весьма часто отмечается в действительности: однако мужской дух способен и должен двигаться на более широких орбитах. Крайние точки сознания (если я могу позволить себе так выразиться), самые отдаленные концы разума и фантазии, в большей мере свойственны деятельному полу; гармоническое же соединение обоих в душе — более чувственному. Такие общие определения характера всегда могут быть лишь весьма несовершенными; однако, я полагаю, можно было бы сказать, что при счастливых задатках и у благородных натур (которые всегда следует предполагать и брать за основу, делая подобные замечания) выгоду при таком духовном влиянии и взаимности обоюдно и взаимно дополняющих друг друга сознаний следует искать и предполагать, с одной стороны, в большем развитии духа и возвышении души; с другой же — в гармоническом успокоении и умягчении духа и в гораздо более живом развитии души. Однако всегда в этой самой глубокой и сокровенной связи — там, где она рассматривается как священная и в действительности являет себя как таковая — дух и душа, как с одной, так и с другой стороны, двояко объединены и глубочайшим образом связаны, и, если можно так выразиться, обручены друг с другом. Тем самым обретает нравственное обоснование внешняя жизнь, а вместе с ней достигает духовного обновления, оплодотворения и преумножения также и внутренняя.





ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ

Об участии души в знании и об откровении

В первом разделе этого изложения внимание было привлечено к мыслящей душе как средоточию (Mittelpunkt¹⁶) человеческого сознания в целом. Во втором я сделал попытку понять и живо описать любящую душу как средоточие нравственного мира. В этом третьем задача моя будет состоять в том, чтобы ясно обозначить и четко определить участие души в той науке, которой способен достичь человек. Хотя в общем и целом не так уж трудно указать на то участие, тот элемент, который обеспечивает душа, тем самым привнося свою долю в человеческое знание, все же в частности отыщется немало такого, что необходимо тщательнейшим образом взвесить и принять во внимание. Душа наделяет познающий дух языком, и именно в том и заключается характерный признак всякого человеческого знания, что оно привязано к языку, и что последний образует собой существенную часть и орган этого знания. Язык же — этот дискурсивный, однако, в свою очередь, живой, образный человеческий язык — есть всецело продукт души, которая здесь впервые и преимущественно дает знать себя как плодотворная формирующая и производящая сила. Обе силы и способности, вместе образующие собой душу: фантазия и разум — принимают равновеликое участие в этом удивительном процессе ее порождения. Фантазии принадлежит вся та ее часть, что связана с воображением, а также все, сопряженное с мелодическим ходом и одухотворенным звучанием; кроме того, внутренняя ткань основы и первичные природные корни, поскольку они относятся к

¹⁶ Возможен здесь и перевод «центр». — Прим. перев.

изначальному внутреннему природному чувству, тем самым также относятся к фантазии, если только ее не захотят с еще большей охотой приписать самой глубинной природородственной душе. Логический же порядок и грамматический строй, наряду с верным соединением, образуют во всем целом долю разума. Какую из частей почитать более важной или ставить выше — зависит от той точки зрения, которая здесь всякий раз полагается в основу, или от отношения, исходя из которого мы беремся рассматривать целое и которое главным образом принимается во внимание. Однако оба элемента равно существенны и необходимы; и среди всех до сей поры встречавшихся связей, в которых рассматривалось взаимное отношение разума и фантазии, где почти всегда давал себя знать решительный перевес той или другой стороны, едва ли возможно отыскать такое отношение, где оба — разум и фантазия — пребывали бы в столь глубоком взаимодействии и имели столь равную долю в совместно произведенном, как в удивительном порождении языка, и в самом языке. Последнее верно как в отношении языка в целом, так и в отношении всякого высшего его приложения и рода. Привязанность познающего духа к этому органу дискурсивного и почти всегда также и образного языка, внутреннее переплетение самого познания с этим языком как раз и есть характерный признак человеческого знания. Ошибка столь многих чисто спекулятивных мыслителей состоит именно в том, что они покидают человеческий масштаб — что они, если можно так сказать, стремятся силой завоевать и обрести нечеловеческое, т. е. безусловное, знание, к коему они, однако, прийти не в состоянии. И за этими усилиями они теряют и то человеческое знание, которым они могли бы обладать и которого могли бы достичь, так что наконец в руках у них не остается ничего, кроме безусловного незнания и бесконечного спора. Если у превосходящих человека в познании духов имеет место сообщение (ибо никак невозможно помыслить себе отсутствие у них такового), то этот непосредственный духовный язык должен быть совершенно иным, нежели наш чувственно-разумный или земно-небесный, природный и человеческий язык, ибо он мог бы быть лишь чисто духовным и лишь непосредственным, не имеющим образа и этой сперва расчлененной, а затем вновь составленной воедино, формы. Согласно двум качествам или силам, образующим собой существо духа, это могло бы быть лишь сообщение, перенос на расстоянии, пробуждение и послание той или иной вполне определенной мысли, совершаемое волей; или же сообщение, пробуждение

и порождение той или иной вполне определенной воли, совершаемое мыслью. Пожалуй, местами нечто подобное, нечто отдаленно напоминающее такое общение, может встречаться и в человеческой деятельности: можно сказать, что непосредственный духовный язык в качестве глубоко сокрытого, невидимого жизненного элемента, отдельной высшей составной части, заключен также и в языке человеческом, пребывая в нем словно бы заключенным в оболочке внешнего тела, — каковой элемент, однако, мог бы становиться зримым и заметным лишь в моменты высшего просветления всей языковой деятельности, когда магическая сила речи и властвующей в ней волящей мысли становится наиболее явственной. Однако, взятый в целом, человеческий язык не является столь непосредственно и магически действующим духовным, но в большей степени образным природным языком, в котором в малом масштабе, в легкой подвижности и в совершенно обычной разговорной форме отражаются его нетленные и великие иероглифы, причем зачастую здесь требуется множество грамматических подробностей (в которых для своих непосредственных сообщений не нуждаются продвинутые духи), а также, как это часто бывает у людей, вкрадываются малые и большие, если можно так сказать, грамматические оплошности, зачастую приводящие к весьма значимым последствиям в знании и в мышлении, а также в самой жизни. Язык, вместе с тем, теснейшим образом связан и буквально срастается с преданием (со Священным, равно как и с историческим), а также с совокупным историческим знанием; и как слово есть первоначальный корень, из которого произрастает весь ствол этого исторического и человеческого знания, со всеми его отраслями и ветвями: точно так же и в речи, в письменном изображении и в самом высшем познании, образующими как бы листья, цветы и плоды этого великого древа живого предания, слово опять же есть то, чем все оканчивается и чем завершается все целое. Для того же, чтобы теперь точнее определить и полнее раскрыть участие души как порождающей язык способности в человеческом познании и ведении, необходимо прежде несколько подробнее рассмотреть сущность разума, в особенности в его отношении к сопровождающим его и состоящим с ним в самой тесной связи, подчиненным ему способностям, при этом сколь возможно тщательно и точно определив разницу между разумом и рассудком, дабы каждой отдельной духовной силе, каждой отдельной душевной способности могла быть отмерена своя доля участия в этом совместном плоде, или со-

вместном труде человеческого знания, и каждой из них отведены свои границы и указано соответственное и надлежащее место в этом целом. В качестве душевных способностей, состоящих с разумом в такой же тесной связи, в какой чувства и порывы состоят с фантазией, — были указаны память и совесть. Я рассматриваю здесь память не как некий дар, с точки зрения меньшей или большей величины ее объема и крепости, или как некое искусство, с целью всемерно увеличить силу его воздействия и с помощью всевозможных средств облегчить его; также я не смотрю на нее как на задачу, считая ее упражнение существенной частью интеллектуального развития и образования. Я смотрю на нее исключительно с точки зрения ее сущностного соединения с разумом и разумностью, которые, по всей видимости, привязаны к этому условию, коль скоро мы рассматриваем память преимущественно лишь как внутреннюю нить воспоминания и взаимосвязи в сознании. Можно (и я бы сказал, с неизбежностью приходится) забывать неизмеримое множество того, что встречается в этом живом и постоянно изменяющемся потоке мысли и идей. Коль скоро, однако, эта нить взаимосвязи во внутреннем памятовании себя обрывается, или же гаснет и теряется, то всякий раз заодно будет терпеть урон также и разум: его действие будет замедлено и ослаблено, или, в конечном итоге, даже приведено в беспорядок и расстройство. Когда на последней стадии старческой дряхлости память полностью гаснет, при этом всякий раз возникает некий род слабоумия, где разум перестает быть деятельным и действенным ровно в той самой мере, [в какой угасает память]. Конечно, сознание регулярно прерывается сном, однако при пробуждении оно столь же регулярно и немедленно восстанавливается. Если бы происходило обратное, если бы, внезапно пробудившись, мы оказывались не в силах прийти в сознание и сориентироваться (как нечто подобное порой может случаться с поэтами), мы бы навсегда и безнадежно заблудились в себе самих и в собственном сознании. Нечто вроде резкого обрыва, прекращения внутренней памяти и самовоспоминания почти всегда имеет место при сумасшествии, будучи его главным признаком. Я хочу здесь в связи с прежними подобными замечаниями обратить внимание лишь на то, что даже в печальном состоянии духовного расстройства и в его различных видах и формах в очередной раз дает о себе знать и вновь повторяет себя тройственный принцип [разделения] человеческого бытия на дух, душу и тело. В собственно сумасшествии (к примеру, в тихом помешательстве) наряду с той или

иной в корне ложной, ставшей навязчивой, идеей, в остальном зачастую наблюдается преизбыток остроумия и пронизательности, которые вполне могут соседствовать и уживаться с такой идеей. В этой форме расстроенного сознания дает себя знать в первую очередь именно помутнение и странное смещение духа, вызванное такой навязчивой идеей, превратившейся в ложный центр всех других мыслей и всего сознания в целом. При настоящем же буйном помешательстве, напротив, именно душа вырывается из колеи разума и разумной привычки, всецело попадая во враждебную власть дикой и необузданной природной силы. Наконец, при слабоумии, в тех случаях, когда оно является врожденным и в остальном сопровождается здоровыми и полноценными внешними чувствами, следует всегда предполагать некий органический порок, внутренний дефект мозговой ткани или какого-либо иного сокровенного органа мышления и высшей жизни, тогда как в обеих других формах, по меньшей мере весьма часто, могут в высокой степени участвовать также и нравственные причины. С глухонемыми, будь они целиком и полностью предоставлены самим себе, все, скорее всего, происходило бы точно так же: ибо вместе со способностью к речи у них одновременно отсутствует главная предпосылка разумного характера. Те же мужи, которые посвящают свои труды тому, чтобы, тем не менее, привести этот несчастный человеческий класс к разумному образованию, могут достичь этого лишь обучая их иному языку знаков, отличающемуся от обычного, воспринимаемого на слух, языка, коего они лишены. Так что и здесь лишний раз можно убедиться в том, насколько близко языковая способность во всех отношениях связана с разумным характером. Более подробное исследование этого предмета относится к сфере естествознания. Здесь можно было бы в очередной раз найти повод для того, чтобы мимоходом указать на тройственный характер этого психологического недуга и несчастья — как на еще одно подтверждение всеобщего принципа учения о человеческом сознании, проявляющегося в этой особой и узкой сфере болезненных состояний души и духа. Внешние и в особенности высшие чувства, на основании господства фантазии, коему все они подчинены, весьма удобно можно было бы назвать одним общим именем прикладной силы воображения: точно так же склонности и порывы — благотворные равно как и губительные — вполне можно обозначить как таковую, или же перешедшую в жизнь, силу воображения. Память можно было бы рассматривать в качестве некоего приклад-

ного разума, в своем приложении ставшего словно бы механическим и вошедшего в привычку. Конечно, поскольку логический порядок играет в памяти наиважнейшую роль, ее высокая ценность, равно как и научная полезность, зависят главным образом от этого последнего. Те заученные и всецело превратившиеся в бессознательный механизм навыки разума, которые сперва должны быть охвачены и усвоены памятью, как при простом выучивании наизусть, или обычном изучении иностранного языка, музыки или приобретении того или иного подобного умения, также представляют собой разум, уже претворившийся в инстинкт. Равным образом позывы к искусству и умения животных, а также сам побуждающий их инстинкт, обозначаются нами как бессознательный аналог разума. И в этой вспомогательной функции памяти разум являет свой своеобразный характер полезной способности. Равным образом и в совести как в высшей функции разума мы можем видеть гораздо более, нежели всего лишь негативную способность. В том и другом отношении, в качестве полезной и в качестве всего лишь негативной способности, разум на своем месте способен утверждать свою наивысшую ценность. Все тут и там случающиеся возражения и приводимые ограничения, вызванные чрезмерным натиском разума наших дней, не имеют вообще никакой иной цели и никакого иного смысла, будучи обращены единственно против того поддельного вида разума, что стремится достичь собственного суверенитета, и (дабы провести в жизнь это свое дерзкое и самонадеянное намерение) утверждает свою продуктивность; и это в то время как первое в данном случае не должно иметь места, а второе — не может. Различающее, делящее на части, расчленяющее, точно так же как и связующее, заключающее, делающее выводы мышление, вместе образующие разумную способность, могут быть продолжены в обе стороны в неопределенность и бесконечность, пока, наконец, сама эта способность не утратит всяческий предмет. И это бесконечное и беспредметное мышление есть источник научного заблуждения, которое всегда происходит лишь из этого пустого пространства в мышлении, в то же самое время приводя к умственному Ничто, к ничтожному и ложному мышлению. Совсем иначе дело обстоит там, где память, заполненная плодотворным материалом духовного опыта, образует собой основу почти всякой полезной человеческой деятельности и всякого познания; или где сам предмет, как в восприятии совести, хоть и обладая малой протяженностью и многообразием, все же несет в самом себе высшую важность.

Как разум вообще не есть лишь способность соединения и установления взаимосвязи в мышлении, но есть также по преимуществу различающая мыслительная способность, точно так же и совесть есть такое различие в мысли и внутреннем сознании, однако в особом, высшем отношении и в другой форме, отличной от обычной дискурсивной, являющей собой простое чувство и непосредственное восприятие с помощью этого простого чувства внутреннего голоса — различие между тем, что есть правое и неправое, благо и зло: наивысшее и наиважнейшее из всех различий. Этот воспринимаемый в среде всех народов внутренний голос совести, на который, правда, накладывается влияние господствующих идей, многообразных нравов и обычаев, эпох и привычек молодости, так что ему приходится говорить на множестве различных наречий и диалектов. При этом, однако, во всем, что касается главных вещей и основного тона, в целом в нем все же явственно слышится все тот же единый язык и голос человеческой природы и не выученного, а врожденного страха Божия, в силу чего он и обозначается многими как Единый и Главный Источник высшей и божественной истины, с чем я охотно соглашаюсь, коль скоро его не стремятся представить единственным и исключить тем самым все остальные. Безусловно, большое значение имеет то, что каждый язык предлагает особенно удачные связи такого рода, иной раз так, а иной раз иначе, так что в Немецком языке даже само слово и имя разума (*Vernunft*) происходит от того самого внутреннего восприятия (*Vernehmen*¹⁷), что представляет собой его высшую функцию. Но что же — так хочется спросить — что же, собственно, воспринимается в этом удивительном восприятии, если сама воля внутренне отступает перед тем, чего она только что желала? В среде всех народов и во все времена это «что-то» носит имя остерегающего голоса; это словно бы Некто предупреждающий и возражающий в нас самих, в нашем Я; следовательно, это не есть само наше Я, но есть некий Другой, некое иное и, по всему ощущению, гораздо более высокое, чужеродное Я в нас. Теперь уже и эта прежняя воля в нас также предстает как некое иное, однако низшее, соблазняющее, ложное Я, как чуждая и увлекающая нас самих и наше собственное Я, сила. Лишь одно Я — то, что стоит посередине между этими двумя другими, между высшим предостерегающим голосом и чуждой увлекающей силой, и имеет своей задачей свободно выбирать

¹⁷ *Vernehmen* (нем.) — «слушать», «слышать». — *Прим. перев.*

между ними, — остается нам в качестве нашего собственного Я и нашей подлинной самости, после того как в еще не окончательно определившейся воле, в ее промежуточном состоянии, однажды произошло расчленяющее разделение и различие между благим голосом и злым побуждением. Этот внутренний голос и это его внутреннее восприятие есть один из тех якорей, на которых удерживается корабль бытия в бурном море жизни и устремляющейся в разные стороны воли; он есть божественный свет и точка опоры в истине. Однако следует заметить, что понимание этого внутреннего восприятия, только что мною описанного, относится уже не к области разума, коему доступно лишь единственно само восприятие. Понимание же его, его внутреннее высшее значение и разъяснение, добавленное к нему или же распознанное в нем самом его отношение к Богу, должно быть (поскольку оно есть именно понимание) оставлено за рассудком. Здесь теперь наступает тот момент, где необходимо более подробно высказаться и о важном в высшей степени для всей теории сознания и его философского понимания, а также для всего знания в целом, различении между рассудком (Verstand) и разумом (Vernunft). Я хотел бы здесь придать рассмотрению несколько неожиданный и дерзкий поворот, который, однако, возможно, тем скорее приведет к цели и поможет представить искомое различие в совершенной ясности. Как ранее употребленное нами гипотетическое сравнение с продвинутыми духами послужило нам для перехода, дабы наглядно представить способность фантазии в качестве характерного отличия человеческого сознания: точно так же я хотел бы теперь сделать еще один шаг вперед, чтобы из признанного характера божественного сознания вывести кое-что в отношении различных функций сознания человеческого, а также их положения относительно друг друга и относительно высшего. Однако и здесь я не стану предпосылать ничего кроме наиболее общеизвестного и общепонятного. О том, что Бог есть Дух, мы слышим повсюду, где только есть вера в Единого Бога, где признается и имеет хождение понятие о Нем. Бог есть Дух, и на этом основании Ему затем приписывается всезнающий рассудок¹⁸ (Verstand) и всемогущая воля. Это изречение, с которым любое сколько-нибудь разумное дитя может уже связать некоторый род смысла, есть заодно и основоположная аксиома, в которой уже содержится

¹⁸ В нашем переводе, несмотря на то, что русский человек, наоборот, скорее всего, употребил бы здесь слово «разум», мы, во избежание терминологической путаницы, будем твердо следовать авторскому словоупотреблению. — *Прим. перев.*

многое существенное из того, что способен знать о Боге даже самый глубокий мыслитель. Следовательно, те же самые силы, что составляют сущность и обе функции сотворенных духов — рассудок и воля, — могут быть без раздумий приписаны также и несотворенному Духу, хотя и с учетом огромного расстояния между Творцом и тварным существом. Однако они должны быть приписаны Ему именно в собственном смысле, а никак не только в переносном. В Священном Писании, в языке благоговейного поклонения и молитвы, также и у других народов, Богу в совершенно человеческих и чувственных выражениях и образах приписывается огромное множество свойств, сил и чувств: здесь упоминаются Его ухо, Его око, всемогущее дыхание Его уст, Его водительствующая десница, Его сильная рука, не говоря уже о других, гораздо более сильных и смелых образах. Поскольку же общепризнано, что все это суть лишь образы, мы ничего не имеем против них возразить, и с этой стороны мы отнюдь не опасаемся никаких злоупотреблений. Далее, то же самое будет верно также и в отношении всех тех выражений, где вообще мыслимо и возможно их образное употребление в отношении Бога. Так, напр., где Ему приписываются страдания, подобные человеческим, поскольку, взятые в собственном и буквальном смысле, они все заключали бы в себе некоторое несовершенство. Точно так же и о памяти — там, где невозможно никакое забвение, — речь может идти лишь в образном смысле. В еще меньшей степени Ему можно было бы приписывать качество совести в человеческом смысле этого слова. Его весы справедливости, Его направляющая мысль суть нечто иное, нежели наше ощущение от них. Это означало бы смешивать Судью с тем, кто стоит перед ним. Даже Первый Человек, покуда он был еще совершен, ничего не знал о совести, поскольку чувство вины и способность ее восприятия могли возникнуть лишь вместе с самой виной, и лишь после нее. В этих образных выражениях, употребляемых в отношении Бога, может допускаться весьма большая свобода. Вопрос же, который здесь будет преимущественно занимать философию, таков: могут ли быть приписаны Богу в собственном смысле, наравне с рассудком и волей, также и остальные три особо отличающие человека способности: фантазия, душа и разум? Нам тут же становится ясно, насколько более неуместным, нежели все перечисленные образные выражения, было бы приписывать Богу фантазию: мы явственно ощущаем, что тем самым мы тут же ступили бы на почву мифологии и покинули область истины. Та внутренняя

полнота духовного плодородия, которую человек по своей малости обретает в способности фантазии, у Бога уже изначально заключена во всемогущей воле, которая сама создает и производит свой предмет, не будучи, подобно сотворенным существам, ограниченной данными извне предметами и выбором между ними. Здесь, таким образом, имеет место сама всемогущая воля, полное, охватывающее собой все существа, питающее и несущее отеческое сердце; или также живое материнское лоно вечного порождения, и для него нет нужды ни в какой новой и особой способности. Выражение о душе Бога можно встретить у некоторых малоизвестных авторов первых веков христианства. Однако впоследствии оно полностью ушло из обихода: возможно, из-за опасения спутать душу Бога с мировой душой. В любом случае, однако, душа есть по большей мере пассивная способность, которую, следовательно, уже в силу этого несообразно приписывать Богу. То третье, что еще добавляется в Боге к двум первым качествам всеведущего рассудка и всемогущей воли, не может называться душой Бога, но есть Дух любви, в коем эти два суть Одно. И когда это Третье присовокупляется к упомянутой первой аксиоме, то в этих двух словах, по их сущностному содержанию, уже заключено все, что собственно человек вообще, и даже самый глубокий мыслитель, способен знать о Боге. Все прочее есть в большей степени пояснение или дальнейшее применение, выведенное из этой Единой основоположной мысли. Если же Богу не может быть приписана ни фантазия, ни душа, то и разум не может быть таким же образом и в столь же собственном смысле, как рассудок и воля, назван существенным свойством Бога. Бог есть родоначальник разума (*Vernunft*), и именно здравого разума, твердо придерживающегося средоточия истины, в том виде как Он ее сотворил и учредил. Однако из этого не следует, что Он есть сам этот созданный Им разум, или что Он есть одно с ним. Если бы это было так, то были бы правы сторонники абсолютного знания, рационалисты. Тогда познание Бога было бы наукой разума, ибо подобное может познаваться лишь подобным. Однако если не разум (*Vernunft*), но рассудок (*Verstand*), предполагающий содействие всех прочих душевных и духовных сил, есть в человеке собственно орган и средство познания Бога и узнавания о Нем, — то в этом случае познание Бога есть просто-напросто опытная наука, как и всякая иная, хотя и более высокого рода и особого свойства, по причине человеческой ограниченности и слабости перед лицом такого предмета. Как фантазия есть схватывание

и постижение предмета, разум — связывание воедино и различение: точно так же понимание есть его проникновение, высшая степень коего есть ясное прозрение. Мы понимаем то или иное явление, то или иное воззрение, тот или иной предмет тогда, когда находим его внутренний смысл, истинный характер, собственное значение. Точно так же происходит, когда этот предмет есть адресованное нам сообщение или речь, предложенное нам для понимания обращение или беседа. Если мы распознаем намерение, лежащее в этом послании, если мы можем уяснить его цель и устремление, то мы поняли это откровение, пусть даже в тех или иных обстоятельствах выражения еще остаются неясности, которые мы, поскольку они сущностно не относятся к целому, можем смело отложить в сторону как второстепенные. Поэтому и существует столь великое множество ступеней и степеней понимания; весьма различны и множественны его стороны и виды. Один весьма легкий пример, возможно, пояснит это утверждение и добавит ему наглядности. Предположим, что нам принесли некое в высшей степени редкое и удивительное, однако совершенно неизвестное растение из незнакомой страны. Историк природы внимательно исследует его признаки и выносит на их основании суждение, что оно относится к такому-то определенному классу высшего ботанического главного класса и образует в нем такой-то подвид или исключение; химик, если предложить его вниманию это же растение, в свою очередь, исходя из иных признаков, предположит, что оно может состоять из тех или иных основных материалов; врач, напротив, скажет, что оно, вероятно, в том или ином случае может служить целебным средством — точно так же, или даже еще лучше, чем то или иное уже употребляемое с этой целью растение. Если последние двое вынесли верное суждение, если их предположение подтверждается опытом и практикой, — то все трое поняли это растение, постигли его внутренний характер, каждый со своей стороны. Как тяжело, постепенно и длительно совершается проникновение в незнакомый, древний, трудный язык при расшифровывании свитка или надписи, где нам, возможно, даже не в полной мере известен сам алфавит, а есть лишь его фрагменты; покуда наконец вдруг, благодаря какому-нибудь счастливому обстоятельству все не становится на свои места, и не открывается подлинный смысл. Удивительный пример из наших дней может пояснить сказанное и послужить доказательством того, что также и над ходом науки властвует высшее произволение. Более полутора тысячелетий иероглифы

были непонятны для потомков древних, покуда новейшие мировые потрясения, благодаря счастливой случайности, не прояснили для нас их тайну. Мы еще помним казавшуюся поначалу столь блестящей кампанию против Египта и дерзкую идею основать там, под пирамидами, цитадель европейского искусства и образования. Когда, наконец, вся Европа была охвачена этой идеей, само предприятие потерпело крах и вскоре вновь было забыто, будучи вытеснено другими, еще более важными событиями и еще более грандиозными переворотами. Единственным, что от него осталось и, безусловно, составило новую и великую эпоху в тихой области науки, был привезенный из Египта неприметный памятник с надписями на трех языках. Целый человеческий век уходит на то, чтобы расшифровать эти надписи. Сперва работа продвигается тяжело и с малыми результатами, однако, наконец, происходит счастливое совпадение: ключ найден, и хотя из приблизительно семисот тайных знаков расшифрованы лишь около ста, все же и одним этим уже открыт новый мир в великой области темной первоначальной истории человека. И это произошло в эпоху, когда люди делали лишь первые шаги в освоении алфавита природы, и когда им лишь изредка удавалось разобрать то или иное слово ее иероглифического языка; в это же самое время также и в области исторического знания к нам со всех сторон стекаются новые потоки сведений о самой отдаленной древности человеческого рода, благодаря коим лишь находит свое подтверждение, обретая ясность в возвышенном свете, лучшее из того, чем мы уже обладали. Остается лишь спросить, не захотим ли мы, наконец, научиться понимать и темные иероглифы нашего собственного времени и завязывающегося в нем ужасающего духовного сражения.

Таков ход вещей и высшая воля, властвующая над этим ходом, и лишь на это я хотел обратить внимание в своем отступлении. Столь медленно и постепенно продвижение вперед, приращение и развитие истинного человеческого знания, покоящегося на опыте, внутреннем и внешнем, высшем и низшем, на предании, языке и откровении; тогда как ложное и, как я называл его ранее, нечеловеческое и безусловное знание, стремящееся охватить все сразу, и сразу же ввести нас в обладание всей совокупностью познания, словно бы колеблясь между бытием и небытием, тут же вновь исчезает, растаяв как дым и не оставив нам ничего, кроме пустого Ничто абсолютного незнания. Скверно обстояло бы дело с познанием Бога и божественных вещей, если бы это познание было предоставлено изобретательности человеческо-

го разума, если бы ему, говоря образно, надлежало быть произведенным на свет при помощи этой изобретательности. Ибо ведь даже после того как все здание целиком было бы окончательно возведено и согласовано в своих частях, все же оставалось бы сомнение в том, не является ли все это здание — именно потому, что оно произошло всецело из нашего собственного мышления — не более чем нашими мыслями, и не обладает ли оно действительностью исключительно в них одних? Именно это сомнение и лежит в основании всякого идеализма и, часто возвращаясь в различных формах заблуждения, вновь и вновь порождает его, придавая ему все новые и новые формы. Так что и с этой стороны невозможно достичь никакой живой уверенности и полной действительности. Конечно, легко выводить и развивать на этой почве понятия бесконечного, неизмеримого, безграничного и абсолютного, и в таких выведениях нет недостатка. Однако все это суть не более чем негации, с помощью коих мы ничего не можем узнать именно о том, что более всего нас интересует. Мне весьма хотелось бы увидеть, как из этого излюбленного метафизического понятия абсолютного кто-либо захотел вывести то или иное позитивное свойство Бога, например, долготерпение, и таким образом доказать, что этот абсолютный Бог (или, как вместо этого чаще всего говорят: Абсолют) непременно должен обладать качеством долготерпения — тем самым качеством, которое представляется нам в Нем отнюдь не мало важным. Кроме того, этот характер безусловного применяется по отношению к Богу совершенно ложным и ошибочным образом. То, что Бог по образу своего бытия безусловен, что первая причина не зависит в свою очередь ни от какой другой и не может быть ею обусловлена, разумеется само собой и есть в сущности простая тавтология. Однако ко внутренней сущности Бога, к Его сущностным свойствам в Его отношении к человеку и к творению, этот характер безусловного никак не может быть применим. Горе всем людям — можно было бы сказать — горе всем сотворенным существам, если бы Бог был безусловен. Если, например, Его справедливость, которая ведь есть первое из всех его качеств, являлась бы безусловной, если бы она не была многократно умерена, ограничена и обусловлена милостью, жалостью, терпением и, говоря одним словом, благодатью. Перед такой безусловной справедливостью Бога, проявись она хотя бы однажды, весь мир был бы повергнут во прах. Однако на деле это не так: мы можем надеяться, мы должны верить, и (можно смело добавить) мы можем знать, что Его справедли-

вость не является безусловной, но, напротив, она всецело обусловлена — его отеческой любовью, снисходительностью и благостью. Конечно, с другой стороны, нельзя забывать и о том, что также и Его любовь и милость обусловлены справедливостью, что было совершенно упущено из внимания в известной мягкотелой теологии нашего времени, хотя этот ложный путь, продиктованный чрезмерно сентиментальным суждением о божественных вещах, ныне уже признан в этом качестве и по большей части уже оставлен. Здесь он также лежит вне круга нашего рассмотрения. В том, что справедливость и милость Бога взаимно друг друга обуславливают, конечно же, нет ничего непонятного и в этом смысле непостижимого, что, безусловно, имеет место в случае с ничтожным фантомом абсолютного, где пустая фраза в своем вечном повторении становится все более и более непонятной. Насколько правильнее разобрались здесь великие философы древности, в частности пифагорейцы. Именно безграничное, абсолютное они обозначили как несовершенное и злое, рассматривая его как характерный признак зла. Твердо же определенное и позитивное, которое есть в то же время основной стержень личного, считалось у них благом. И, конечно, также личность Бога является основоположным понятием, подлинно всеобщей догмой всех религий, признающих Единого, истинного Бога, собственно той точкой, вокруг которой вращается все исследование, причем вопрос заключается в том, должна ли философия признать ее лишь внешне и по видимости (ибо откровенно и с определенностью отрицать ее даже в Германии возымел мужество лишь один человек), при этом, однако, тайком отодвигая ее в сторону и внутренне подрывая, будучи способным усматривать в ней лишь естественный обман чувств. Должна или нет философия тем самым вступить в самое разительное противоречие со всеобщим, глубоко укоренившимся человеческим чувством и положить начало вечному расколу, неисцелимому разделению не только между знанием и верой, но также и между знанием и жизнью? Однако именно таково жизнеразрушающее действие рационализма. Обратимся же вместо этого от абсолютного разума к живому, личному Богу верующих всех народов и времен. Если познание Бога и божественных вещей не есть изобретение теоретизирующего разума, но, напротив, мы можем понимать в нем ровно столько, сколько нам дано и сообщено, то дело тут же принимает совершенно иной вид. Если Бог сообщил о себе человеческому роду, если Он говорил с ним и открыл ему Себя, как это утверждает общее предание

всех древних народов (и чем древнее они, тем единодушнее это утверждение), — в этом случае возможность понимания этого божественного сообщения сама по себе уже дана вместе с самим сообщением, сколь бы чрезвычайно несовершенным и человечески-ограниченным ни представлялось нам это понимание. Представим его себе (дабы мыслить его как нечто весьма малое) так, как полуторогдовалое дитя понимает свою мать. Многого оно не понимает вообще, иное понимает неверно, или вовсе не обращает на сказанное внимания; возможно, оно отвечает весьма неуклюже, однако кое-что ему все-таки понятно: давайте это для себя хорошенько отметим. Мы не дали бы сбить себя с толку и тогда, если бы какой-нибудь теоретик захотел усомниться и доказать нам, что это дитя никоим образом не могло понимать свою маму, ибо прежде для этого ему необходимо было бы основательнее и методичнее изучить элементы науки о языке. Тем не менее, мы верим тому, что мы видим: сколь бы несовершенным ни было в действительности такое понимание, и сколь бы ни уподоблялся в действительности человек в своем отношении к Богу полуторогдовалому дитяти, с его полтора органами, имеющимися в его распоряжении для такого познания: этому столь многократно ограниченному духу, который, конечно, есть искра вечного света, однако всего лишь искра, капля из океана целого, и лишь затем этой наполовину души; нам приходится назвать ее в этом отношении наполовину душой, ибо она наполовину обращена к земному и всецело срослась с чувственным миром, и лишь другой своей половиной восприимчива к божественному и обращена к нему ввысь. Однако этого детского, смиренного знания недостаточно гордому разуму, и поэтому он вновь и вновь устремляется по другому, абсолютному пути ложного, призрачного и нечеловеческого знания. По сути, однако, тех двух-трех слов, которые человек собственно может знать о Боге (ибо Бог каждому существу отмеряет его истинную меру), было бы вполне достаточно, если бы человек хорошо умел применять их и бережно хранить. К этой первой предпосылке тут же можно было бы присоединить и второй вопрос и им продолжить: Если Бог открылся человеческому роду, говорил с ним, явил Себя ему, то не должен ли Он был найти какой-то способ передать это свое откровение дальше, распространить его и сделать его всеобщим, при этом сохранив в чистоте как его само, так и его истолкование и понимание? Однако здесь я удовлетворюсь тем, что лишь намечу этот вопрос, не подвергая его обстоятельному рассмотрению, ибо он лежит уже вне предписанных

границ философии, полностью ступая на историческую почву, непосредственно касаясь позитивного содержания веры. Однако тот первый общий вопрос о том, является ли то познание Бога, коим мы обладаем и коим мы только и способны обладать, абсолютным знанием разума, или всего-навсего пониманием данности, а следовательно, опытной наукой, что всецело жидется на откровении, — вопрос этот как раз входит в круг рассмотрения философии и, более того, его решение представляет собой ее первую и наиболее существенную задачу; ибо вопрос, который должен быть здесь решен, есть собственно вопрос о бытии и небытии, о знании истинном и человеческом и о знании пустом и мнимом. Поэтому также большую важность в этой главной задаче философского рассмотрения имеет точное и правильное словоупотребление; в связи с этим следует отметить и обратить наше особое внимание на то, что нигде в Священном Писании, нигде во всей античности, ни у одного из великих учителей древности не идет речи о разуме (*Vernunft*) Бога, но везде ему приписывается лишь рассудок (*Verstand*), всеведущий рассудок, и что эта подмена произошла лишь в наше время, в нашу эпоху абсолютного господства разума, результатом которого и явилось это вавилонское смешение языков в науке. Единственное исключение, на которое можно было бы сослаться в древности против сделанного здесь замечания, ограничивалось бы тем или иным из стоиков. Если, однако, учесть, до какой степени справедливо им ставили в упрек их учение о неизбежной необходимости и слепом фатуме во всем, что касалось Божества, то такое кажущееся исключение послужит скорее к подтверждению нашего правила о том, что это ложное словоупотребление всегда проистекает из рационалистического образа мыслей, или же само в свою очередь служит поводом к такому заблуждению и становится его источником. Конечно, Бог есть Творец разума; и если теперь божественный порядок (который, однако, не есть Сам Бог) захотят назвать божественным разумом, то здесь важны не сами выражения, а тот смысл, который с ними связывается, и можно было бы полагать, что выражения безразличны. Однако я бы предпочел избегать словоупотреблений и выражений, могущих послужить поводом к столь большому недоразумению; тем паче, что здесь необходимо проводить точное разделение между здравым и истинным разумом, и тем, который таковым не является. Бог есть родоначальник здравого, т. е. следующего, послушного божественному порядку, разума; родоначальник же другого, отступившего от него разума,

есть, наоборот, противный Богу дух отрицания, который увлек за собой столь большую часть творения и который теперь, именно потому что он утратил свое средоточие и не находит его даже в самом себе, с неопикуемой алчностью и свирепой силой пытается обрести другое средоточие в одичавшем чувственном мире и в самом благородном его украшении — подлинном сокровище творения — в человеческой душе, силясь привлечь ее к себе. Отсюда и ведет свое происхождение отпавший разум. Отпадшим же является любой разум, который отделяется от своего средоточия в любящей душе (которая сама в свою очередь имеет свое средоточие в Боге), тем самым отвергая послушание любви — эти священные узы божественного порядка. Судить же о том, в какой степени ныне среди умственного брожения и смятения духа нашего времени одерживает верх и образует собой большую составную часть здоровый, добровольно следующий и служащий божественному порядку разум, или, напротив, разум отпавший и в самом себе абсолютный, — я предоставлю всем, кто имеет достаточный опыт в жизни и в науке, самостоятельно.

Ту философию, представить которую я попытался в этих чтениях, в сравнении с прежде здесь названными и отпадшими заблуждениями — материализмом и идеализмом (если бы однажды возникла нужда в ее наименовании, хотя бы в целях противопоставления) — невозможно было бы назвать иначе как спиритуализмом. Ибо она, исходя из души как из Начала и Первого, тем не менее, поставляет (aufstellt) Дух как наивысшее. Равным образом и в своем учении о Боге она, всецело противостоя рационализму, понимает и поставляет Бога как живой дух и личность, но не как абсолютный разум или всего лишь разумный порядок. Поскольку же это учение не представляет собой такой же системы разума, как другие, но является внутренней опытной наукой высшего порядка, то и такое обозначение системы является не вполне уместным и во всяком случае избыточным, так что оно вполне может остаться с уже данным ей здесь именем и называться просто Философией Жизни.

Заметим кстати, что откровение, которым Бог раскрывает Себя людям, не может ограничиваться одним лишь письменным словом. Также и сама природа есть книга, испианная изнутри и извне — книга, в которой везде можно узреть указующий перст Бога. Также и она есть некий род Священного Писания, данного в видимой форме и телесном образе, словно вознесенная в живых образах хвала всемогуществу Творца. Наряду с этими двумя

великими свидетельствами о величии Бога — Писанием и Природой — также и голос совести содержит в себе внутреннее откровение Бога в нас, а кроме того и первое указание на два других, более великих и всеобщих источника откровенных истин; наряду с ними, равным образом мировая история представляет собой многообразное приложение и дальнейшее развитие того же самого откровения в действительности, лежащей перед нашими глазами, благодаря повсюду прослеживающейся нити божественного водительства. Точно так же и в особо взятых историях различных времен и народов, и даже в жизни одного отдельного человека — повсюду различима властная и любовно направляющая человека рука Провидения.

Таким образом, откровение, из которого мы черпаем познание Бога, узнаем Его волю и постигаем Его дела, может происходить из четырех источников: совести, природы, Писания и мировой истории. Последнее откровение зачастую также относится к тому серьезному и устрашающему роду, к которому в общем и целом применима поговорка: «Кто не хочет слышать, тому придется почувствовать». Когда огромное здание счастья, которое, однако, по большей части обязано своим ложным блеском и быстрым ростом некой злой силе, вместо того, чтобы основываться на почве и фундаменте истины и божественного порядка, внезапно, словно бы под напором дуновения некой высшей силы, обрушивается, — то общественное чувство, безусловно, усматривает в этом десницу, которая полагает цель и последний срок любой всемирно-исторической дерзости, любому избытку ложной уверенности; и некогда в прошлом употребительное понятие — для людей нынешней эпохи уже устаревшая легенда о великих божественных карах — в обновленном значении входит в действительную жизнь. Разве что и здесь возвышенный урок вновь быстро забывается, и все вновь возвращается к привычному покою ложной уверенности, этому древнейшему наследственному пороку человеческого рода. Священное Писание, в том виде как оно передано нам, будучи начато и основано теперь уже около тридцати трех столетий назад, не исключает более древнего священного предания в предшествующих ему двадцати четырех столетиях, разнообразного просвещения человеческого рода и доставшегося ему первоначального откровения. Напротив, оно содержит весьма четкое указание на то, что такое откровение действительно было получено Первым Человеком, а также тем, которому суждено было стать вторым родоначальником человеческого рода, после разруше-

ния гигантского первобытного мира. Поскольку же это почерпнутое из источника просветление и высшее познание от первого поколения возмужавших народов свободными потоками распространилось во все стороны к поколениям следующим, — священное древнее предание вскоре было искажено и покрыто наслоениями измышлений, где ко множеству замечательных следов и величественных черт божественной истины зачастую обильно примешиваются безнравственные мистерии и вакхические обычаи: и истина в преизбытке чарующих образов, словно во втором хаосе противоречащих друг другу символов, под конец совершенно скрывается из вида. Отсюда и произошло это вавилонское смешение языков, легенд и образов, которое мы повсюду находим у древних и даже у самых древнейших народов в качестве общепризнанного факта. В великом труде восстановления и очищения истинного познания Бога, которое, следовательно, надлежит рассматривать скорее как второе откровение, или как его вторую ступень, первым и наиболее существенным требованием было строгое исключение этих языческих измышлений и всей связанной с ними безнравственности. Однако в предпосланном всему целому в качестве введения Евангелии Творения это более древнее откровение Первого Человека и второго прародителя определенно кладется в основу. Одновременно в нем полагается ключ к древнейшей истории и откровению первобытного мира, да и вообще к подлинной картине сотворения мира, а также ко всей мировой истории и мировой науке. Эту двоякую точку зрения, заключающуюся, с одной стороны, в определенном признании первоначального откровения и божественной просветленности первых родоначальников человечества (от которых эпоха древнейшего и наиболее чистого язычества все еще несет в себе огромное множество следов); с другой же — строгое отрицание разложившегося, ставшего злым, язычества, со всеми его утонченными баснями и ложными, греховными мистериями, в начальной части нашего Священного Писания, следует очень хорошо выдерживать и соблюдать, что все еще отнюдь не всегда в должной мере имеет место; в противном случае отсюда происходят вносящие смуту сомнения, неверные и лукавые воззрения, отчего в конце концов не только становится невозможным простое понимание всего откровения, но может потерпеть урон и самое его понятие.

Коль скоро теперь не только философское, но и вообще всякое высшее познание есть внутренняя опытная наука (ибо формальное знание математики есть не столько позитивное зна-

ние, то есть познание действительного, сколько превосходный и могущий иметь самые разнообразные приложения инструмент и вспомогательное средство для всякого иного знания), то каждую из четырех главных способностей, которые я ранее назвал четырьмя оконечностями или главными ответвлениями сознания, следует рассматривать также как особое чувство для определенной области истины и знания. Ибо всякий опыт и всякое опытное знание зиждется на познающем чувстве как органе непосредственного восприятия. Разум, который еще в совести выражает себя как непосредственное чувство, как внутреннее ощущение правды и неправды, в качестве способности развития и сообщения мысли носит название чувства общности (*Gemeinsinn*). Оно представляет собой обусловленную языком и языковой способностью взаимную связь между людьми и их мыслями и могло бы быть названо также чувством принадлежности к человечеству, образуя в этой связи основу и первую ступень всех прочих высших познающих чувств и непосредственных органов познания. Фантазия, сама будучи лишь оттиском жизни и живой силой в природе, есть внутреннее природное ощущение, природное чувство, которое лишь придает естествознанию его истинное значение, внося в него живость и подлинность, о чем в дальнейшем мы будем говорить подробнее. Рассудок, поскольку совершенное понимание всякого предмета происходит лишь из чувства и смысла целого, есть чувство открывающего себя в чувственном мире Духа — будь то дух всего лишь человеческий, естественный, или даже высший божественный Дух. Рассудок есть орган познания, чувство для [восприятия] духа откровения и откровения Духа, а в силу этого уже и существенным образом содействующий орган божественного познания. Однако собственно божественным чувством в человеке я бы счел не столько постигающий откровение и дух рассудок, сколько волю, поскольку здесь Бог непосредственно постигается через собственный опыт, что позднее и в своем месте я попытаюсь изложить подробнее.

Если теперь это четверичное откровение Бога — в совести и в природе, в Священном Писании и в мировой истории — мы можем рассматривать как живые источники и плодоносные потоки высшей истины: то все же все они подразумевают наличие хорошей почвы, которая будет воспринимать в себя воду жизни и благое семя божественного познания, ибо никакое откровение не пойдет человеку на пользу, если у него

не будет органа восприятия блага, который бы принимал в себя божественно данное свыше. Душа, восприимчивая к благу и божественному, приходящему как извне, так и изнутри и со всех сторон — и есть этот орган, принимающий в себя откровение; и в этом, наряду с упомянутым ранее образованием языка как внешней формы для человеческого знания, состоит ее участие в науке, то есть во внутреннем ведении; более того, она участвует и в рассудке как в способности восприятия духа откровения, и в самом понимании откровения, поскольку ничто божественное не может быть постигнуто из одного лишь понятия, но всякий раз чувство должно либо уже предшествовать совершенному постижению, либо его сопровождать. Таким образом, в качестве чувственной способности к божественному душа является либо знающей о божественном, либо участвующей в знании о нем; и эта ищущая божественной истины и любящая душа, когда ее поиск и ее любовь раскрываются в мышлении и выражаются в словах — она-то и есть философия: не мертвая софистика школы, но сама живая Философия Жизни. Такая знающая о божественном, всецело принимающая в себя божественное и верно его сохраняющая душа и есть теперь то общее средоточие, которое принимает в себя эти четыре источника жизни и соединяет их в свободном созерцании. Поэтому также естественной и наиболее древней формой философии является форма беседы, которая не исключает обычного рассказа или попутного объяснения того или иного возвышенного изречения, и можно было бы саму философию, по ее форме, объяснить как разговор душ в свободном созерцании божественных вещей. В этой форме философия представала и у древнейших и благороднейших философов древности — Пифагора и Платона: сперва в действительной жизни, как у первых названных и у Сократа; и в завершенном письменном представлении у Платона. Эти первые мужи древности сообщали свою философию лишь благороднейшим и лучшим из разных сословий, юношеского и зрелого возраста, как одного, так и другого пола, в том виде, в каком находили это наиболее сообразным природе, а также достоинству самого предмета. Первым эту дорогу проложил Пифагор, но в целом ею шли также и Сократ и Платон, сообщая свою философию почти всегда лишь избранному кругу, почти одним лишь друзьям, или все же распространяя ее в довольно близком и доверительном общении — кроме тех случаев, когда они, например, будучи в состоянии войны с софистами, были вынуж-

дены до некоторой степени перенимать их оружие и манеру, что у Платона, пожалуй, происходило слишком часто, а порой и в чрезмерной степени. Софисты затем распространили свою ложную науку столь же ложным образом среди народа, считая ее открытое общественное обсуждение своим партийным делом, так что в результате такого подхода даже сама истинная наука обречена была на исчезновение; впрочем, этот подход был губителен и во всех прочих отношениях. Наконец, Аристотель представил все предшествующее философское знание как единый, многократно продуманный и заново организованный идейный и познавательный арсенал всей своей эпохи, дав его в виде учебных книг и построив на фундаменте школы. Едва ли можно упрекнуть в этом мастера человеческой мысли, ибо в то время в среде греков, в результате демократического смешения и господства македонского оружия, и без того уже вместе с общественной давно пришла в упадок и всякая истинная духовная жизнь. Тем не менее, уже само по себе остается достойным сожаления, если наука, и в особенности философия, стоящая посередине между водительствовавшим духом божественного воспитания человеческого рода и внешней гражданской правовой и материальной государственной властью, философия, которой, собственно, надлежало бы исполнять роль живительной мировой души в развитии времен и человеческого рода, — удаляется от этой великой сферы всеобщей деятельности и от самой жизни, с тем чтобы оставаться заключенной и скованной в тесном пространстве школы.





ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ

О душе в ее отношении к природе

«Мы лишь отчасти знаем», — честно признает пламенный Апостол в Священном Писании, — «мы лишь отчасти знаем, и лишь отчасти пророчествуем». — К пониманию того, до какой степени справедлива первая часть этого высказывания даже когда речь идет о том знании, обретение коего единственно стоит труда и которое единственно заслуживает этого имени, то есть о знании Бога — нас уже до некоторой степени подвело предшествующее рассмотрение. Вторая часть приведенного высказывания, которая преимущественно и будет занимать меня в сегодняшней лекции, может быть с большим правом отнесена также и к естествознанию. Ибо все наше знание о природе, коль скоро речь заходит о целом и внутреннем, представляет собой лишь догадки и попытки угадывания, предположения, поиски и все новые и новые усилия к постижению в надежде, что в конце концов нам, возможно, удастся совлечь покров с тайны жизни, схватить и связать в науке дивного Протея; или более совершенно, нежели прежде, расшифровать сивилины пророчества на расположившихся рядами и слоями надгробиях, из коих состоит стареющее тело природы и таким образом, может статься, обрести ключ к гораздо большей и величайшей из всех загадок — загадке смерти, дабы прояснить ее и снять с нее печать для внутреннего понимания. Что ж, также и в природе, конечно, можно найти отдельные указания и отдаленные намеки на последний кризис и последнее завершение, посредством коего также и здесь, в этом чувственном мире внешних элементов, жизнь должна быть чистым образом

отделена от смерти, после чего смерть прекратится и перестанет существовать. Следует должным образом принимать к сведению и отнюдь не упускать из вида эти указания, несмотря на то, что без надлежащего высшего истолкования им суждено оставаться непонятыми. Далее же, поскольку природа есть всего лишь немое эхо, земной отзвук божественного откровения, то отнюдь не лишено смысла и значения, если в этом прекрасном гимне, в пророчествах святого духовидца, сопresentsует и свидетельствовдревнейпророчицы-природыоприближающемсяпоследнем дне творения, который и сама она отпразднует как великий день своего воскресения и которого вся воздыхающая тварь ожидает в неописуемом томлении, нигде еще не нашедшем столь неподражаемого, сильного и живого выражения, как в Священном Писании. Священное Писание никоим образом не могло и не может содержать в себе ни системы наук, ни философии разума, ни также естествознания. Более того, будучи представлено в такой форме учебника или методически построенного компендиума божественного познания, оно не вызывало бы у нас никакого доверия, ни в качестве откровения, ни даже некоего средства самой науки. Напротив, всецело снисходя к человеческой потребности, даже в отношении своей формы и языка, Священное Писание состоит в своих двух частях из собрания всецело практических сочинений, написанных всякий раз по тому или иному поводу, непосредственно проистекающих из жизни, и для жизни же предназначенных. В известной степени можно сказать, что оно содержит в себе лишь основные книги и общественные статуты, с одной стороны — пророческого народа, и, с другой стороны — апостольской общины. Они имеют историческое, учительное, наставительное в Законе, увещательное, утешительное и предсказательное содержание и полны сугубо специальных упоминаний и отношений, всюду принаравливаясь к индивидуальным потребностям и локальным обстоятельствам, входя в те и другие с чрезвычайной заботой и любовью. И само это божественное снисхождение, скорее, представляет собой еще один, новый признак истинного Откровения: уникальная и в то же время чудесным образом столь человеческая форма этих сочинений ничуть не противоречит их божественному характеру. Лишь первый краеугольный камень и последний, завершающий, представляют собой исключения, обнимая собой в широком охвате начало природы — с одной стороны, и конец мира — с другой и представляя словно бы кольца и шесты крепления ковчега

письменного откровения; и по ту и другую его стороны, в начальной и в конечной части, где в емком и лаконичном изложении поведано почти столько же тайн, сколько сказано слов, установлен семисвечник для поиска тайных значений, так что и все остальное, что еще содержится и заключено в священном ковчеге, может обрести с его помощью полное освещение и ясность. Кстати, также и здесь повествование носит характер простого рассказа, безыскусного и непритязательного. И если мастера суждения в классической древности приводили те или иные строки из книги Бытия в качестве примеров высочайшего стиля, то возвышенность здесь они усматривали именно в незамысловатости и высокой безыскусности выражения. И без того множество нитей и прожилок тянется от этих двух конечных пунктов — от первого корня и от последней кроны книги — проникая собою всю ее ткань, переплетаясь с ней и тем крепче соединяя ее в живом единстве; именно поэтому она, хоть и состоит из множества столь разных книг, по праву носит имя Книги. Как уже сказано, не следует пытаться искать в этой божественной книге людей какой-либо научной системы, однако порой в ней можно встретить и отдельные слова, тут и там брошенный вскользь намек или кажущееся на первый взгляд случайным высказывание о природе и ее тайнах, которые, ясно и полно раскрывая столь многое сокровенное в ней, таят в себе и множество природных ключей для науки. Их нахождение не везде равномерно: тут и там они могут быть рассыпаны в изобилии, а в ином месте отмерены лишь весьма скупое. При этом особенно в Ветхом Завете, где изображается не только внешнее богатство и видимое величие природы, но идет речь и о ее сокровенной силе и глубочайших тайнах жизни, заметна некоторая сознательная, можно сказать, тщательная осторожность, или же строгая бдительность, как если бы автор тут и там не хотел говорить дальше и сказать больше, чем уже сказано, с тем чтобы — при господствовавшем в те времена природообожествлении — не дать повода к злоупотреблению или слишком легко возможному недоразумению. В Новом Завете, если мы можем позволить себе выразиться столь же естественно и по-человечески, как выражается само Писание, Святой Дух говорит обо всем, что касается природы, уже много яснее и откровеннее. Таким образом, божественное откровение и Священное Писание в целом состоят друг с другом в весьма тонком, своеобразном, удивительном и не с первого взгляда понятном или грубо объяснимом — в строго отмеренном отношении, которое, возможно, легче всего по-

яснить сравнением, заимствованным из самого Священного Писания. Как о первом среди тех простых людей, которых Спаситель мира избирает для дальнейшего продолжения Своего дела и которых Он с этой целью снабдил особой силой, причем было видно, и видно до сих пор, что это сила не их, а Его — как об этом первом среди этих мужей рассказывается, что даже когда он проходил мимо, от него исходила, возможно, не осознаваемая им самим или, по меньшей мере, не замечаемая им, целительная сила, подобная невидимому струению жизни, и больные, неспособные двинуться с места, как повествуют, от одной лишь его тени, когда он проходил мимо них, исцелялись: точно так же достаточно пламенных искр отдельных слов и образов, случайно упавших от проносящейся мимо огненной колесницы божественного откровения, достаточно лишь отблеска ее пламени и одной лишь ее тени, чтобы пробудить и возжечь новый свет в области природы, благодаря чему и наука о ней лишь крепче утверждается, внутренне раскрывается и обретает связь с целым.

Уже неоднократно отмечалось, что философы разума, в общем и целом, и каждый руководствуясь своим особым воззрением, полагают человеческому знанию некие определенные, абсолютные границы, стремясь определить их раз и навсегда (которые они же позднее, чаще всего с наступлением каких-либо изменений в умонастроении, преступают лишь для того, чтобы охватить своей системой безусловного и иллюзорного, мертвого знания все, что входит в его пределы, и все, что в них не входит). Совершенно иначе, поистине, обстоит дело с лежащей здесь в основе системой живого знания: Поскольку как дух, так и душа человека — сколь бы многочисленным и многообразным заблуждениям они ни были подвержены — тем не менее, оба восприимчивы к божественному; и, затем, поскольку человек способен иметь лишь те высшие познания, которые ему даны и к коим он приведен, будучи способен знать о божественных вещах лишь то, что ему позволено; и если в первом источнике сам Бог сообщает и открывает ему знание и ведет его к истине: то кто может полагать здесь меру или определять цель, сколько познания и науки Бог может и хочет или не хочет сообщить человеку, или кто может дерзнуть предписывать Ему те границы, до коих просвещение должно доходить, не распространяясь, однако, далее? Оно может простираться настолько далеко, что поначалу в такое едва ли возможно будет поверить. Одним словом, человек через Бога может знать

все, если только Бог этого хочет; однако не может знать ничего из себя самого, из одного лишь собственного разума, без высшей помощи. Однако совершенно иным образом человеческое знание ограничено в действительности. Ему не полагается абсолютных границ, однако именно поскольку это есть знание, смешанное из внешней традиции и внутреннего опыта, поскольку оно зиждется на восприятии внешних или внутренних чувств, оно, будучи составлено из множества отдельных частных, растет чрезвычайно медленно и со всех сторон подвержено заблуждению, ни с одной из этих сторон не являясь готовым и совершенным и почти никогда не оставаясь свободным от ошибок. Поэтому в целом и рассматриваемое как быть должное целое, оно по сути всегда есть лишь часть. Но такой характер имеет всякое действительное и почерпнутое из опыта чувств знание. Очень редко первое впечатление бывает свободно от примеси заблуждения. Зачастую необходимо бесчисленное множество повторных наблюдений, сравнений, опытов, экспериментов и исправлений, которые приходится проводить на протяжении столетий, если не тысячелетий, прежде чем мы приходим к тому или иному чистому и твердому результату. Таким образом, истинное человеческое знание несовершенно и частично. Ложное же, призрачное знание, напротив, с самого начала кажется совершенно готовым и законченным; однако оно в мновение ока обрушивается. Как и во всех остальных областях, эта наша частичность ясно дает себя знать и в естествознании. Сейчас его возраст насчитывает приблизительно два с половиной тысячелетия, со времен первых греческих натуралистов и до наших дней — время, прошедшее в непрерывном преобразовании, и с той поры оно сделало приблизительно те же два с половиной шага вперед, коль скоро речь должна идти не об отдельных частностях, а о понимании целого и внутреннего природы. Кстати, это чрезвычайно трудное и медленно движущееся развитие и постепенное приближение к совершенству, которое, тем не менее, в известном смысле все еще остается лишь частью, имеет место во всех сферах человеческого знания, так что и здесь о ходе развития человеческого духа в знании можно сказать: тысяча лет перед Богом — как один день, и один день — как тысяча лет. Всякое познание, почерпнутое из опыта и чувств, привязано к этому условию; пусть сперва речь будет идти о внешнем опыте и об обычных низших чувствах, и пусть теперь количество этих чувств будет определяться по особым органам, коих обычно насчитывают пять, или, согласно другому, более

научному принципу, всего лишь три. Однако сказанное будет столь же верно и в отношении тех обозначенных в предыдущем рассмотрении четырех высших и собственно научных чувств и органов познания внутреннего и высшего опыта: чувства разума (Vernunftsinne) и чувства рассудка (Verstandessinn), затем чувства природы (Natursinn) или фантазии и собственно чувства Бога (Gottessinn), пребывающего во внутренней свободной воле человека. Фантазию следует рассматривать в человеке как высшее и внутреннее природное чувство не только в качестве способности предчувствия, или по той причине, что с этой стороны сознания в наибольшей степени дает себя знать родство человека и человеческой души с природой, но о том же свидетельствует и особая форма научного понимания природного феномена. Динамическая игра внутренней жизни и закон ее внутренней силы, представляющий суть всякого истинного природного феномена, текуч и зыбок, и он, как всюду, так и здесь, может быть понят лишь посредством фантазии, ибо будучи схвачена в абстрактном понятии, жизнь тут же ускользает, оставляя по себе лишь мертвую формулу; это ныне уже признается большинством глубоких природоисследователей. Всякое же постижение живого в мысли, где последнее должно быть постигнуто и удержано именно в его подвижном бытии, в этом его зыбком и текучем состоянии, есть акт силы воображения, хотя это научное постижение в воображении, естественным образом, принадлежит к совсем иному роду и весьма отличается от художественной или поэтической фантазии. Стоит отметить, что даже характерные и весьма меткие и удачные выражения, которые употребляются при новых и великих открытиях глубоких природных феноменов для их обозначения, чаще всего имеют характер дерзкой, смелой образности и символизма, так что даже в них самих дает себя знать родство фантазии, научно постигающей подвижную природную жизнь, с самой этой жизнью. Было отмечено, что во внешних чувствах — как в душевной способности, подчиненной фантазии — высшая духовная ступень зачастую проявляет себя и распознается как особый природный дар, а именно дар восприятия искусства (Kunstsinn), или глаз, способный видеть красоту формы, или музыкальное чутье в сфере слуха. Однако и в сфере низшего, более органического чувства, развивается высшая ступень и особый вид сугубо духовных восприятий, которые, однако, не относятся к сфере художественного чувства, но в свою очередь образуют особый вид природного чувства. Сюда относятся чувства симпатии и внутреннего избирательно-

го сродства (*Wahlverwandschaft*) и те или иные живые предчувствия или собственно предвосхищения. Те или иные следы всего этого могут быть найдены и у некоторых животных, равно как и в сфере восприятия музыкальных тонов уже давно было замечено отдаленное родство между душой человека и природной душой, дающей себя знать у высших животных. В отношении бесчисленного количества таких предвосхищений во все эпохи, во всех местностях и сферах жизни, к коим следует причислять также и значимые сновидения, в силу совокупной природы этих явлений и из-за множества обстоятельств человеческого наблюдения и изложения, которые должно при этом учитывать, чаще всего бывает трудно прийти к ясности и вынести сколь-нибудь определенное суждение. В целом однако же отрицать сам предмет столь же невозможно, сколь мало склонны поступать так современные глубокие исследователи природы. Если же теперь такое непосредственное восприятие незримой жизни и невидимого света свободно развивается в определенно оформившуюся силу, выступая явно и решительно: то тем самым, конечно, открыт новый орган и особое природное чувство, которое столь же мало является непогрешимым, как и все остальные чувства, но которое, однако, может стать источником весьма достопримечательных явлений, которые, более нежели какие бы то ни было иные, требуют строжайшего различения. Правда, последнее отнюдь не может быть найдено одним лишь произвольным росчерком — столь же мало, как простым росчерком можно было бы изъять из природы и атмосферы электрические явления, где они определенно присутствуют.

Будет всего лишь правильно, справедливо и сообразно истинному человеческому знанию, если также и естествознание будет начинаться с человека. Однако для того, чтобы рассмотреть последнего с природной стороны, более надежный путь, по всей видимости, состоит скорее в том, чтобы сперва попытаться отыскать ту или иную ясную руководящую идею в отношении всего его состава в целом, нежели слишком рано теряться в занятиях отдельными феноменами особых сфер. Относительно целого человеческой организации или человеческого тела как третьей составной части человеческого бытия я хочу лишь отметить, что как его троичный принцип духа, души и тела повторяет себя в более узкой сфере чувств, импульсов и страстей, а затем также и в тройственной форме и различии расстроенного сознания — точно так же, в свою оче-

редь, он может быть отнесен и к органическому телу вообще. Все это удивительное строение, структура костей и мускулов, внешний органический состав, есть словно бы еще раз тело, преимущественно материальная часть в живом теле. Душа человека (здесь, следовательно, органическая душа) содержится в крови и в пяти или шести внутренних органах крови, предназначенных сперва для производства крови, а затем для ее обращения, а также для поддержания пламени жизни во внутренней печи посредством дыхания и постоянного живого обмена с внешним воздухом. Третий же, и наивысший из всех трех, элемент примечателен еще и своим действием на мозг, в высших чувствах и функциях, вообще во всем нервном сплетении. Однако он заключается не в нервном волокне. Анатомия не может постичь его, ибо он даже не видим для глаза, и по этой причине некоторые называют его нервным эфиром, дабы обозначить тем самым его духовную сущность — духовную именно по отношению и в сравнении с обеими другими составными частями: кровной душой и внешними членами, как дух жизни в органическом теле. Очень точно и четко Священное Писание отличает в человеке это духовное тело, как оно его называет, от тела души, или от органической кровной души, и называет его семенем воскресения, ибо именно это невидимое световое тело человека выступает в момент смерти из земной оболочки, дабы затем в свое время вновь воссоединиться с ним еще более прекрасным образом. И сама смерть есть не что иное, как именно этот его полный выход и болезненный отрыв от внешнего органического тела, где затем, после высвобождения бессмертной Psyche, этого незримого светового ростка вечности, из сброшенной телесной оболочки, тотчас же являются черты и образ, можно сказать — физиономия разложения. Это незримое внутреннее световое тело есть одновременно орган и носитель всех высших сил и духовных явлений в человеческой организации; причем довольно просто понять, каким образом частичный выход этого в здоровом органическом состоянии латентного жизненного света порождает столь необычные феномены, тогда как его полный выход или отрыв повлечет за собой смерть, или, точнее, собственно и будет представлять собою смерть. В это понятие, если оно так положено и так истрактовано, легко может войти и быть одобрено истинно научное воззрение на природу, однако истинный масштаб и путеводная нить к верному суждению о явлениях подобного рода могут быть найдены лишь в высшем регионе, поскольку они проходят уже по крайней границе природной жизни и самой природы, и отчасти даже за нее заходят.

Поэтому нам лучше верить весьма долгому и размеренному ходу развития самого естествознания, начавшемуся немногим менее двух с половиной тысяч лет назад у греков. По сути также и здесь он начался с познания человека, его заболевания и исцеления. Ибо если еще далеко не все наши сегодняшние физики склонны признавать идеи первых греческих философов в качестве начала науки (ведь эти идеи: о воде как сущности всех вещей, или о воздухе и огне в том же применении — сколь бы ни были последние привлекательны для нас своей простотой — не получают признания в качестве первых начал ясного мышления о природе, или высшего воззрения на нее, и им, в качестве поэтических космогоний, до сих пор чаще всего отводится место лишь в области фантазии), то, напротив, мастера целительства по большей части и по сей день с гораздо большей благодарностью преданно чтят Гиппократу как основоположника врачебного искусства. И именно как искусство, или даже нечто гораздо большее, чем просто искусство (а не как собственно науку), рассматривал целительство и сам его основоположник, и многие следовавшие за ним мастера — как искусство кризиса и исцеления, в котором решает уверенный такт опытного и верного суждения, где главным всегда было и остается гениальное проникновение взглядом в потаенную мастерскую жизни или скрытый источник смерти. Только историческое знание о различных формах болезни и целебных средствах ботаники и анатомии, а также знание человеческого тела и его органов, образуют не более чем материальное собрание, внешнюю сферу медицинской деятельности; существенным же в ней остается именно взгляд во внутреннее; и те, кто более всего им обладали, менее всего полагали, что обладают в нем уже совершенной наукой. Поскольку, однако, так или иначе, это единственный род познания природы, который заслуживал называться наукой о ней, когда дело коснулось понимания жизни и смерти и их объяснения; и поскольку взгляд истинного врача глубже всего проникает в многообразные перипетии борьбы между жизнью и смертью и в тайны этой борьбы: то, пожалуй, целительство следует с уверенностью рассматривать как первый живой росток будущего естествознания, который в период еще не развитого его состояния, на протяжении первых полутора или двух тысячелетий дремал, будучи сокрыт в недрах целительства и врачевания, пребывая словно бы в эмбриональном состоянии. Все сами по себе весьма достопримечательные натурасторические, географические и астрономические наблюдения всего этого подгото-

вительного периода, безусловно, образуют собой богатый запас весьма полезных материалов, однако они не дают нам того внутреннего знания, первое начало или слабую попытку коего содержал в себе целительский взгляд в глубину жизни и в ее взаимосвязь. Таково в целом положение дел с естествознанием и с самой его возможностью: если природа есть живая сила, если управляющая ею жизнь хотя бы до некоторой степени родственна жизни человека и душам людей, пусть даже находясь от них на значительном удалении, — то тогда познание природы вполне мыслимо и весьма возможно, ибо лишь подобное, или похожее, родственное, может познаваться подобным. Хотя даже и это познание может быть в высшей степени несовершенным и всегда лишь частичным. Если бы природа была мертвой, каменной массой, какой ее, по всей видимости, весьма многие представляют в своем воображении, то было бы совершенно непостижимо, как эта чужеродная каменная масса могла бы войти в наше Я; и, в конечном итоге, вполне оправданным выглядело бы идеалистическое сомнение в том, не является ли все это существующим лишь в наших собственных мыслях фантомом, внешним отблеском и продуктом нашего собственного Я. В философии часто заходила речь о врожденных человеку идеях; на деле же существенные функции и различные акты мышления и его понятия суть не что иное, как естественное разделение нашей способности мышления, и поэтому нет никакой нужды предполагать в человеке такие заранее вживленные в него общие понятия. Столь же мало есть необходимости в том, чтобы для объяснения имеющегося у нас знания о Боге предполагать врожденную идею о Боге в духе человека, что кроме всего прочего повело бы к совершенно произвольному предположению труднопостижимой присносущности духа или человеческой души. Поскольку ни одно сотворенное существо не может иметь идеи о Боге, кроме тех, кому Он сообщил или придал ее, или тех, кому Он хочет открыть Себя; это и происходит в тот самый момент, когда Он того пожелает, для чего отнюдь не требуется какая бы то ни было врожденная идея. Однако я склонен и, как мне думается, небезосновательно, предполагать в человеке на сегодняшний день иной, и только один, вид врожденной идеи, а именно — врожденную идею смерти, которая в качестве ложного корня жизни и истине духовной заразы порождает мертвое мышление, производя на свет все мертвые и мертворожденные понятия. Это привитое душе, или унаследованное ею, понятие о смерти человеческий дух, как свойственное ему основоположное заблужде-

ние, переносит теперь на все вокруг себя, в результате чего весь окружающий его мир и вся природа в его мертвом мышлении представляются ему как такая мертвая и косная масса, покуда его дух, пребывая под этой внутренней сенью духовной смерти, не выберется в достаточной мере из своей темницы к свету; ибо без помощи свыше он почти не способен (да и с нею способен лишь с трудом и со временем) научиться распознавать действительно и поистине мертвое в себе самом и в своей глубине как то, что оно есть — как нечто ничтожное и мертвое. Другой род такого ложного и мертвого природного понятия в большей степени имеет форму множественности, ибо здесь природу представляют себе как словно бы некую огромную песчаную кучу, в которой отдельные песчинки никак друг с другом не соотносятся, кроме как образуя это громадное скопление, впрочем, однако, представляются до единой посчитанными, словно бы важность состояла исключительно в верности такого подсчета. Однако песок вновь и вновь бесследно проходит сквозь сито такого распадающегося на мельчайшие части, атомистического природного воззрения. Можно сколь угодно долго пытаться объять и измерить счетом этот нескончаемый песок природы. Математический счет и измерение в естествознании — то же, что и склонение и спряжение и все прочие грамматические премудрости, в свою очередь представляющие собой некий род основоположных математических формул в живом языке. Они также необходимы в качестве хорошего вспомогательного средства, без коего трудно обойтись при изучении незнакомого, и в особенности мертвого, языка. Точно так же и математика есть необходимое вспомогательное средство и превосходный инструмент для познания природы, однако при помощи лишь ее одной невозможно выучить ни одного слова, не говоря уже о том, чтобы понять целое предложение из — поначалу столь чуждо звучащего и трудного для нас — иероглифического языка природы. Иное дело, когда в самой природе пытаются отыскать и постичь некую живую геометрию: рассматривая, например, какое место занимает в ней форма шара и яйца, а от них восходя вплоть до сферы сидерического круговращения, беря затем треугольник, квадрат, шестиугольник и т. д., проходя все ступени лестницы ее образований; или когда подобным же образом в живом учении о числах отыскивается действительно господствующее правило: имеются в виду те числа, которые врач усматривает в периодах развития жизни, в перемежающихся состояниях усиливающегося и ослабевающего заболевания, и в со-

ответствии с которыми он при тех или иных обстоятельствах может заранее определить критические дни. К еще более высокому роду относится та духовная, можно было бы сказать — божественная — хронология, что лежит в основе периодов развития человеческого рода в мировой истории, в соответствии с теми (также и здесь имеющими место) ступенями жизни или мировыми периодами, в сменяющихся друг друга состояниях ослабевающего или усиливающегося заболевания и великих критических эпохах и судьбоносных днях, когда сам Бог выступает как вождь и врачующий целитель. По всей видимости, принимая во внимание такое учение о числах и в этом или сходном с ним смысле, пифагорейцы учили: числа представляют собой или содержат в себе суть вещей; и такая арифметика жизни и геометрия природы есть позитивное познание и действительное ведение, тогда как в остальном математика в обычном смысле представляет собой и содержит в себе лишь формальное знание, т. е. является в большей степени инструментом и вспомогательным средством знания, нежели самим знанием. Как же можно теперь усомниться, что природа, если она мыслится и понимается не как мертвая, но как живая, — родственна человеку (что означает здесь, где речь идет о ближайшем окружении человека в ней — что сама Земля родственна ему)? Не был ли он сотворен из праха земного, и не есть ли он таким образом сын, и именно первородный ее сын? Не питается ли он от нее, и не отдает ли он в ее лоно, будучи призываем свыше, свою земную оболочку? Не говорят ли нам химики о том, что субстанция чистого фруктового семени близко родственна субстанции человеческой крови? Не примешано ли к человеческой крови также и от основного металла Земли — железа? Не являются ли также и золото и другие металлы действительными целительными средствами или смертельными ядами? Не содержится ли почти неизмеримое количество того и другого для человека в удивительных и разнообразнейших земных корнях и злаках? Не бьют ли из всех скал и рудоносных жил земли животворные и целебные источники? Не является ли (если говорить об одних лишь ближе всего связанных с Землей светилах) солнечное тепло, пробуждающее на земле всякую жизнь, одновременно и для человека освежающим и животворным купанием, специфически отличным от всякого иного вида тепла? Не является ли другое, малое светило, Луна, ночной служитель и союзник Земли, виновником столь многих, издревле столь важных для земледелия, изменений в погоде и атмосфере? Не от него ли берут свое начало великое

биение пульса моря — приливы и отливы, — а также множество периодов развития жизненных эпох? Не оказывает ли оно значительного воздействия и не пребывает ли в сильнейшем возбуждении, не является ли виновником особой человеческой болезни? Таким образом, если уже отдельные музыкальные звуки в мелодическом пении птиц находят и вызывают в человеческой груди родственное эхо, то и вообще в целом вся объятая живым пульсом и органически-чувствующая кровная душа человека самым глубоким образом родственна Земле и всему земному телу. Не является ли взаимным это воздействие между Землей и человеком? Не довольно ли одного лишь дыхания ста девяноста миллионов человек, чтобы оказывать свое влияние на атмосферу? Не может ли быть, чтобы сам воздух выродился и испортился вместе с человеческим родом? Ведь некоторые инфекции и по сей день, без материального заражения и прикосновения, распространяются через самый воздух в известном теллурическом направлении. Следует ли здесь, возражая, ссылаться на математический расчет и указывать на огромное количество кубических миль атмосферы над земной поверхностью, утверждая, что дыхание и испарения даже и столь многих миллионов человеческих существ слишком незначительны, чтобы возыметь здесь должное влияние? Ибо можно было бы противопоставить столь же громадное математическое вычисление, объемлющее все миллионы секунд биения пульса и дыхания, за все время сотен и более человеческих поколений. Однако в любом случае думается, что прежде воздух должен был быть более чистым, целебным и исполненным жизни или питательным, ибо люди до потопа не нуждались ни в мясной пище, ни в вине, в то же время далеко превосходя сыновей позднейших эпох не только продолжительностью жизни, но и телесной крепостью, и не просто этой последней, но также энергией воли и духовной силой, ибо они навлекли на себя божественную месть именно своим кощунственным злоупотреблением столь великими силами и дарованиями. И, наконец, если бы Земля вообще не имела в себе жизни, — как смогла бы она в момент сотворения этого теперешнего планетного мира последовать призыву Творца, когда тот обратился к ней на шестой день: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов и зверей земных по роду их...»? Кстати, в высшей степени важным и значимым для верного вззрения и суждения о природе и всем ее царстве с божественной точки зрения является это далекое расстояние и отличие произведения животных — при посредстве Земли, по воле и призыву

Бога, как это обозначено в Моисеевой истории сотворения, — от сотворения человека, где сказано: «Сотворим человека по образу Нашему и подобию Нашему».

После того как естествознание, крайне медленными этапами двигаясь вперед в течение определенного времени и ряда веков, просуществовало в этом эмбриональном состоянии в общей сложности полтора или почти два тысячелетия, — наконец, при уже несколько ускорившемся ходе времен, последовали те немногие шаги вперед, которые были совершены ею до сегодняшнего момента, дабы теперь, в соответствии со зрелым возрастом самого человека, также выступить вперед в совершеннолетия, несмотря на то, что отчасти она еще и по сию пору в полной мере его не достигла. В качестве первого из этих шагов естествознания к достижению более зрелого сознания я хотел бы обозначить ставшее всеобщим употребление магнитной стрелки; с одной стороны — поскольку уже само это явление представляет собой основоположный феномен всеобщей земной жизни, где полностью исчезает математическое вычисление величин, и удивительный маленький кусочек железа в качестве живого активного начала противостоит целому земному шару; отчасти же, и в еще большей степени — по причине важных следствий, ибо сей магнитический указующий перст привел к открытию нового мира и к верному пониманию всего земного круга, а благодаря теперь уже расширившимся географическим и астрономическим наблюдениям и фактам — в скором времени также и к расширившемуся и великому воззрению на весь планетарный мир. Затерянный след нового мира на другой земной половине можно, конечно, обнаружить еще в древности, в легенде об острове Атлантида. Общее описание этого острова, некогда прежде лежавшего в западной части мирового океана, однако столь же большого по размерам, как Азия и Африка вместе взятые, необычайно подходит к Америке; здесь лишь добавляется то сказочное обстоятельство, что остров существовал лишь в древние времена, затем же был вновь поглощен морем. Отсюда мне хочется сделать вывод о том, что вся легенда обязана своим происхождением отнюдь не финикийским мореплавателям, как это предполагали (ибо те, хоть им и случалось огибать Африку, никогда не могли заплывать так далеко в эту сторону), но, напротив, как и многое столь же и еще более великое — первоначальному преданию первобытного мира, когда человеку, бесспорно, еще гораздо лучше и ближе было знакомо все это земное жилище, когда он лучше знал все его окрестности и все его строение, нежели

в эпоху первой и еще довольно ограниченной греческой науки и позднейшей образованной древности. Поскольку же даже финикийские мореплаватели, сколь бы далеко им ни удавалось заходить, не могли дать или поведать об этом острове Атлантида никаких обстоятельных и исторически определенных сведений, то была состряпана и затем присоединена к легенде гипотеза о том, что остров был вновь поглощен морем. Новейшая астрономия поначалу весьма претила всеобщему человеческому чувству, полностью свыкшемуся со старой формой мира. Расставаясь с ограниченно-эгоистической, надменно ставящей себя в центр системой звезд Птолемея, которая в полном смысле слова может быть названа неудовлетворительной и низкопробной, человечество в любом случае мало что теряло. С другой же стороны, значительную помеху создавал и до сих пор создает тот факт, что в масштабе этих громадных математических расстояний и исчислений Земля, для которой Бог столь неизмеримо много сделал, которую он наделил такими великими и возвышенными дарами, изображается и представляется как совершенно ничтожная и малозначительная песчинка во всей огромной Вселенной. Однако истинное и глубокое естествознание отнюдь не позволяет этому исключительному масштабу математической величины и протяженности определять ценность вещей в природе и в естественном миропорядке, но находит указание на средоточие жизни в той или иной большей или меньшей сфере бытия в совсем иных знаменаниях. Ибо ведь и на нашем земном шаре магнитный жизненный полюс отнюдь не совпадает с математической точкой Севера, но лежит на заметном удалении от нее, в стороне; не может ли точно так же обстоять дело и со всей нашей планетной системой, без малейшего в том ущерба для новейшей астрономии? Первое воззрение на природу везде и всюду редко бывает безошибочным и подчас — наряду с существенной истиной — таит в себе великие заблуждения. Однако первое свежее впечатление, его наглядная живость располагают к нему всеобщее чувство, в котором оно глубоко коренится. Напротив, первое понятие нового открытия природы, рассекая плоть жизни, нередко бывает оскорбительно для этого уютного домашнего чувства древней Земли и земного мира в прежнем образе и старой форме, унаследованного от отцов и ставшего жизненным обычаем и священной привычкой. Позднее же оба они: старое чувство привычки и природы, и новое научное открытие, когда последнее становится более полным, — часто могут вновь вполне дружески сходиться. Ни к чему другому

внутренняя природная вера и глубоко укоренившееся чувство сидерической привычки всех древних народов не были привязаны столь крепко, как к семи планетам. То, что при этом важное значение придавалось именно семеричному числу, было совершенно естественным, поскольку это число, одновременно охватывая собой три измерения времени и четыре стороны света пространства, открывает свою значимость в весьма многих жизненных, идейных и исторических обстоятельствах. Лишь теперь, после того как вместо исключенных Солнца и Луны в число планет вошла сама Земля, а затем, уже в наше время, это число пополнилось новооткрытой, ранее отсутствовавшей планетой, их общее количество, как и в самом начале, вновь свелось к семи; ибо то, что за Ураном может присутствовать и быть открыта еще одна планета, как минимум в высшей степени неправдоподобно; то же, что малые космические тела посредине между Марсом и Юпитером никак не могут считаться собственно планетами, полагается общепризнанным, поскольку даже астрономы отличают их от других особыми именами. Лишь с одной стороны, в которой поначалу находили множество затруднений, в современной астрономии никогда не следовало бы сомневаться, а именно, в отношении Священного Писания, которое, естественно, здесь так же как и везде, говорит на общепонятном повседневном человеческом языке, ибо оно ведь не предназначено исключительно для астрономов, и даже не в первую очередь для них. Если же теперь, как и в биении пульса органической жизни, наряду с господствующим правилом мы часто отмечаем ускоренный бег или же мгновенную остановку, точно так же и в пульсирующем круговращении этих великих живых тел планетарного мира отнюдь не всегда можно найти такое механическое единообразие, как в мертвом часовом механизме, но при этом имеют место те или иные отклонения и неправомерности, когда подобная остановка, обусловленная воздействием внешней высшей силы, остается по меньшей мере мыслимой и возможной; так было, когда речь шла о такой чудесной остановке времени, происшедшей непосредственно по воле Бога, причем совершенно безразлично, говорится ли об этом чудесном моменте, что неподвижно стояло Солнце, или же задержалась и без движения стояла на месте Земля. Точно так же и для сменяющих друг друга явлений астрономического дня одинаково истинными и одинаково значимыми являются как обычные, повседневные, так и сугубо научные, выражения. Восход Солнца, утренняя заря — для всех людей представляют со-

бой зримые образы, или, скорее, факты с высоким значением. Заходящее же Солнце, наоборот, преисполняет нас чувством грусти и расставания. Точно так же истинным и полным еще более серьезного образного значения будет, если мы, руководствуясь научной стороной предмета, скажем: прежде чем сможет взойти Солнце, должна подойти к закату Земля. Или также: когда Земля восходит, наступает ночь, и над миром простирается мрак. Или же при пробуждении весны, когда вместо выражения: «Солнце вновь приближается к нам», «вновь пришло к нам» можно было бы сказать: «Земля, т. е. наша сторона ее, вновь приблизилась к Солнцу, вновь склонилась к нему». Это звучало бы столь же красиво и значительно, и кстати, пожалуй, было бы назвать также и временной период, когда также и в образном и нравственном смысле эта властвующая в смене времен земная душа, так называемое общественное мнение, поистине и безраздельно вновь склонилась бы и приблизилась к своему Солнцу. Весьма достопримечательно и почти удивительно, что еще в древности пифагорейцам была известна эта истинная мировая и планетная система новейшей астрономии, хотя у них и отсутствовало точное вычисление расстояний. Весьма важно, однако, что они, будучи прекрасно осведомлены, зная все планеты и располагая их точно так же, как это делает современная наука, приводят в своей астрономии два небесных тела, которые отсутствуют в нашей, из коих одно они ставят гораздо выше видимого Солнца, называя его Солнцем Духов (Geister-Sonne), второе же, носящее у них название «Антиземля» (Gegen-Erde), поначалу относили к этому первому. Так что возникает впечатление, что эти два небесных тела представляли у них два неведимых центра всего звездного мира, будучи словно бы предводителями хора всех этих на первый взгляд столь беспорядочно разбросанных в пространстве небесных звездных скоплений¹⁹. Погасли ли эти звезды вновь, было ли их свечение слишком эфирным и тон-

¹⁹ Насколько мы знаем пифагорейскую космологию сейчас, единственным источником света во Вселенной пифагорейцы считали «мировой очаг», Гестию — трудно сказать, считалась Гестия телом, или нет. Во всяком случае, свет от нее отражали Луна и Солнце. Люди, находящиеся на внешней стороне Земли никогда не могут увидеть Гестию (как и обратную сторону Луны), ибо Земля никогда не оборачивается к ней. Такой же невидимый объект Антиземля — небесное тело, находящееся на противоположной точке орбиты земли (точка Лагранжа L3 в современной астрономии) и движущаяся синхронно с Землей (возможно, по орбите еще более близкой к мировой оси). Сфера неподвижных звезд, Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Меркурий, Солнце, Луна, Земля и Антиземля — вот 10 объектов пифагорейской космологии, расположенных в небесном

ким, чтобы пробиться сквозь уплотнившуюся атмосферу, или же предание о них, как и многое другое, представляет собой лишь легенду, оставшуюся нам в наследство от первобытного мира? Последнее, однако, было бы целиком и полностью произвольной гипотезой, ибо сам по себе факт того, что у них в действительности существовало такое учение и что они имели в виду именно действительные звезды, а отнюдь не подразумевали под этим некие образные иносказания, — не подлежит никакому сомнению. Лишь совсем недавно учение пифагорейцев было подвергнуто на сей предмет тщательному специальному исследованию. В любом случае они должны были прийти к знанию об этих звездах иным путем, нежели с помощью телескопов наших астрономов, которых у них также не было. Ответ на эту загадку может быть получен лишь благодаря какому-нибудь новому наблюдению того или иного явления самого звездного неба, что, возможно, приведет нашу астрономию на более высокую ступень: ибо возможно, что она слишком рано отказалась от своих сложных и запутанных вычислений. После того как человеческий дух — по меньшей мере в отношении того, что касается обретенного им более широкого горизонта мировой системы и более пространного и полного обзора во всем, что касается окрестностей собственного жилища — сделал теперь первый шаг к зрелости в естествознании, второй шаг в этом длительном продвижении вперед добавился к нему лишь много позднее и представлял собой великие химические открытия новейшего времени, совершенные в особенности во французской химии. Чисто негативная сторона этих открытий заключалась в том результате, что старые, считавшиеся простыми, элементы, такие как вода и воздух, сами в свою очередь состояли из множества составных частей и видов воздуха; ибо то, что столь великие природные силы (каковыми воздух и вода все же, безусловно, являются и будут являться до тех пор, пока будет существовать этот сотворенный мир) могут состоять лишь из динамической смены множества борющихся между собой сил, — глубокий взгляд естествоиспытателя мог самостоятельно предполагать и много раньше. При распространяющемся почти на все материальные предметы анализе основные химические материалы представляют собой лишь как бы неизменные материальные буквы и согласные этой окружающей нас земной природы; тогда как в основоположном феномене земного магнетизма, взятого со-

конусе, перечисленных нами в последовательности от наиболее периферийных, к центральным.

вокупно с постижением электрических явлений, оптического разложения света и химической цепи в металлическом стержне, уже гораздо явственнее выказывает себя как внутренняя жизнь земной силы и вечно подвижной атмосферы, так и пульсирующая в них душа — словно звук, идущий из сокровенной глубины, подобный гласным человеческого языка; так что теперь из этого, все еще весьма несовершенного алфавита природы можно было бы для начала составить уже по меньшей мере одно-два полноценных слова. Чрезвычайно важным, однако, для понимания природы в целом будет тот факт, что новейшая химия по большей части разложила все твердые тела, и даже воду, на различные формы воздушного элемента, чем полностью уничтожила в природе всякую видимость косности и окаменения, относящихся к внешне единственно зримой телесной массе. Таким образом, повсюду в этой косной видимости скрыты живые элементарные силы. Участие воды в воздухе столь велико, что если бы вся она вдруг возвратилась в первоначальную форму, ее хватило бы более, чем на один потоп. Подобный же избыток света возник бы, если бы весь скрытый во мраке и латентный свет вдруг разом освободился; равным образом все было бы в миг охвачено пожаром, если бы огонь вдруг разом освободился и вырвался наружу в той массе, в какой он содержится во всем окружающем. Я не намерен сейчас подвергать рассмотрению те благие узы, в которых эти элементарные силы удерживаются в равновесии и предписанных границах, связывающая друг друга. Точно так же я не хочу касаться и вопроса о том, не носят ли эти узы некоего более высокого характера, нежели это принято считать у физиков. Однако гораздо более значимым результатом для целого будет то, что все в природе состоит из живых сил, равно как и все преисполнено потаенной жизни: ничто в природе не бывает собственно косным и мертвым. Эти циклопические горы окаменевших мумий, которые создает природа в целом, эта пирамида накладывающихся одно на другое захоронений — есть, следовательно, безусловно исторический монумент всей совокупности прошлого и всех мировых периодов в этом прогрессирующем развитии всеобщей смерти; однако во всем этом заключена скрытая жизнь, под этим колоссальным надгробием видимой внешней природы дремлет все же не совсем нам чуждая и в чем-то родственная душа. Он лишь по видимости мертв, этот совокупный планетарный чувственный мир, и заключенная в нем земная душа. Природа лишь спит и, следовательно, может быть вновь пробуждена; и это дремотное

состояние, или даже глубокий сон, возможно, есть, если не сама сущность, то по меньшей мере характерный признак природы. Все в природе имеет это свойство; не только животные, но и растения спят, и даже в круговороте времен года на живой поверхности земли, на всей планете, так же чередуется пробуждение жизни с периодами дремлющей силы. И все, с другой стороны, что знакомо со сном и нуждается в нем, принадлежит природе. Художники, конечно, изображают нам спящих ангелов и духов, однако духи не спят, они не нуждаются в этом покое, и не подвержены этому чередованию. Сравнение одного стиха Моисеева повествования о сотворении с похожим, однако получившем здесь несколько иной поворот местом в индийском учении о сотворении, позволит нам дать нашему предмету совсем иное, гораздо более яркое, освещение. Там значит: «И почил Бог в день седьмой от всех дел Своих». Мы не чувствуем никакой странности в восприятии этой фразы, и ее не обязательно понимать лишь образно: ибо речь здесь шла не о внутренней сущности Бога, в которой, конечно, нет чередования напряжения и отдыха и потребности в покое, но о его деятельности вовне. Повсюду же, где имеет место воздействие Бога вовне, в истории так же как и в природе, в соответствии с нисхождением Бога к творению, конечно, не только мыслима, но и действительно отмечается перемена между первым божественным импульсом и последующим интервалом — когда божественная сила или десница словно бы удаляется, дабы этот импульс мог в полной мере развиваться в творении и оно имело возможность полностью его в себя воспринять, способствовать его дальнейшему действию, или же самому развиваться в соответствии с ним. В индийском учении о сотворении, вместо этого, значит: «Брахма спит», — и покуда длится его сон, все миры, творения и мировые периоды вновь погружаются и исчезают в Ничто; и один лишь этот стих заставляет нас покинуть почву истины и божественного откровения и оказаться в области мифологии. Хотя о Том, Кто стоит выше всех сотворенных духов, молчаливо предполагается, а однажды и прямо сообщается, что Он спокойно спал среди бури, расположившись на углу суденышке, в то время как его спутники были объаты страхом; и когда Он проснулся, буря стихла. Здесь, однако, случай совершенно иной. Наряду с другим великим намерением и значением, упомянутое обстоятельство может быть истолковано и так, как истолковываются подобным образом и многие другие места, а именно, что Он, безусловно, принял не только видимый

образ, но и истинное человеческое тело, поистине будучи человеком, который нуждался в том числе и во сне, и таким образом можно было бы заключить далее: сон настолько лежит в характере природы, что если даже сам Бог спускается в этот регион и принимает человеческий образ, Он тут же начинает нуждаться в сне как в существенном для природы условии. Это высокое значение сна не только для самой природы, но и для человека как ее первородного сына, очевидно также и в том, что в качестве первого же эпизода человеческой истории и, более того, истории, повествующей еще о райском состоянии, рассказывается о чудесном сне, который Бог навел на Адама, во время коего Он вскрыл ему бок и извлек оттуда тонкую жизненную материю, которая затем, будучи облечена земной оболочкой, в совершенстве образа предстала пред пробудившемся в качестве его милой спутницы жизни. В высшей степени значимо огромное различие в повествовании о материальном сотворении мужчины и женщины. Его плоть создается из праха земного, и поэтому позднее в Писании он назван отцом всего земного мира, как бы подчиненным природным представителем Того, от Кого исходит на земле всякое отцовство; женщина же взята и создана из груди или из сердца мужчины. Какому человеческому уму было бы под силу породить из себя самого эту мысль Бога, это высшее чудо творческого всемогущества, или хотя бы посчитать его возможным и предчувствовать его? Это происходило в раю, и с утратой этого последнего у человека, бесспорно, была отнята и большая часть высших жизненных сил и тайн природы, коими прежде обладал первый человек; поскольку этот новый человек был значительно хуже и по своему телу, по своей земной оболочке, которая теперь сделалась подвластной смерти, и даже в органическом строении ее, о чем также недвусмысленно упомянуто, — опускается на целую ступень глубже в чувственный мир, нисходя к животному. И именно с той целью перед вратами рая был поставлен святой страж с огненным мечом, чтобы человек не простер свою руку за некогда принадлежавшими ему преимуществами и привилегиями, которые сейчас послужили бы ему лишь к кощунственному злоупотреблению и к вящей гибели. С тех пор, однако, прошло уже множество очередных дней творения; все отношение, в котором Бог стоит к человеческому роду, с тех пор всецело переменялось, и тем самым в свою очередь переменялось также и отношение человека к чувственному миру и природе, и к властвующим над ней духам и силам. После того как положено начало ко спасению мира, даже самому чело-

веку, и всякому, кто только искренне пожелает примкнуть к знамени Спасителя, не только обетован, но и непосредственно предложен этот божественный, огненный, обоюдоострый меч духа или слова и соединенной с Богом, просветленной Им, лишь Его желающей и из Него проистекающей, мысли. Следовательно, на вопрос о природных тайнах, коль скоро эти последние уже более не скрыты за семью печатями, здесь сам собой находится ответ: «завладеют ли ими нечистые, кощунственные руки, или же будет лучше, если добросовестные и честные руки прикоснутся к ним и бережно сохранят их в чистоте и трепетном благоговении»? Взаимосвязь предмета сама собой подвела меня к ранее уже упомянутому третьему шагу, который человеческий дух, продвигаясь по предначертанному Богом пути и с целью познания внутренней природы, наконец уже в самое последнее время совершил в естествознании. Этот шаг состоит в том, что человек обратил ближайшее внимание и обрел первые начатки познания о скрытой психической жизненной нити и внутренней психической взаимосвязи в природе. Сам предмет и сама сила являются столь же древними, как мир, и все сферы бытия, все страницы предания и истории полны свидетельств о явлениях и действиях, к ним относящихся. Однако более методическое наблюдение и подход к ним (а ведь именно в них и заключается собственно научная сторона) стали известны едва ли более чем полстолетия назад. Следовательно, если говорить в соответствии с временным масштабом медленного хода науки, они появились лишь вчера или, самое большее, позавчера. Именно поэтому я назвал сей третий и последний шаг в высшем естествознании только наполовину совершенным: ибо он есть лишь начало, которое еще не обрело вполне прочного основания и почвы в суждении мира, и в котором наряду с истинным и прямым путем видна возможность множества путей ложных и ведущих к заблуждению. Философия не может искать и найти этот единственный истинный и прямой путь (а также уже в самом начале упомянутый высокий масштаб верного суждения в качестве путеводной нити для данного предмета) нигде иначе как в этом божественном мече духа, проникающем до мозга костей жизни, отделяющем дух от плоти и учащем различать также и духов. Если бы теперь от меня потребовали найти и представить для сего какой-либо иной масштаб и более возвышенную путеводную нить, то я бы предоставил этот труд другим, которые, возможно, больше знают о предмете и могут вынести о нем более полноценное суждение. Самой же духовной борьбы, так

или иначе, невозможно более ни обойти стороной, ни избежать; в качестве же водительства в ней лучше всего избрать Священное Писание, которое так или иначе рассматривает всю жизнь и каждый важный ее момент как борьбу против невидимых сил; точно так же как оно повсюду молчаливо предполагает, либо отчетливо намекает, что в чувственном мире следует видеть не что иное, как почти прозрачный и без того легко преходящий покров мира духов. Первому же среди враждебных духов оно приписывает столь большую власть в творении, что называет его князем и даже Богом мира сего, повелителем великих сил в нем; и дабы никто не думал, что это следует понимать лишь образно, в отношении одного лишь испорченного человеческого мира, — эти духовные силы в других местах откровенно называются элементарными силами природы, этого смешанного из мрака и света и все еще борющегося между жизнью и смертью воздуха, в этом мрачном планетарном мире. Разгадка же всего этого целого могла бы содержаться в простом изречении: о том, что смерть пришла в мир через грех. Как теперь смерть через отпадение первого человека, который первоначально не был предназначен для смерти, распространилась на весь человеческий род: точно так же через предшествующее отпадение того, кто прежде был первым и самым величественным среди всех сотворенных духов, смерть пришла также и во всю вселенную, то есть та вечная смерть, пламя которой неугасимо. Поэтому и сказано: тьма над бездною, и Земля была безвидна и пуста, как обычная могильная плита этой вечной смерти; однако Дух Божий носился над водами, и в этом таился первый жизненный росток нового творения. — Здесь-то и лежит различие между всей языческой натурфилософией и натурфилософией божественной (т. е. познанием природы в Боге), равно как и истинный ключ к [познанию] этой природы.

Если динамическая игра живых сил в природе, которая, конечно же, есть нечто живое и имеет в себе жизнь, хотя и не из себя самой — если это динамическое чередование жизни и смерти понимается лишь как простой факт, без участия какого бы то ни было высшего воззрения, и на таком понимании мы останавливаемся, то это всегда будет одно и то же Единое, всепорождающее и всепоглощающее, вечно жующий и отрыгивающий жвачный монстр, будем ли мы выражать это поэтически, как в мифологии, или же в научных формулах физики. Совершенно иначе обстоит дело, если эта великая пирамида природы была построена лишь на основании вечной смерти. Тогда все творение этого земного планетарного чувственного мира есть лишь

начинающаяся жизнь, которая покуда пирамида еще не завершена, еще не готова, отчасти вновь и вновь погружается обратно в смерть: в действительную смерть, или же в разнообразные болезни и немощи, которые ведь суть не что иное, как ростки или начатки смерти. Тогда сама природа есть не что иное, как лестница воскресения, которая шаг за шагом ведет (или, скорее, ведома) вверх из пропасти вечной смерти к вершине света и небесного просветления. Ибо в этом смысле даже не возможно помыслить природу без божественной десницы, выстроившей эту пирамиду и выводящей жизнь из смерти вверх по ступеням лестницы. Теперь также становится ясно, почему дремотное состояние природы столь существенно, [почему необходимо] постоянное погружение в сон, который кажется нам столь близко родственным смерти, который есть истинный и собственный характер природы. Но как пожирающий огонь смерти на верхних ступенях органической жизни представляется уже более преодоленным и связанным, смягченным и превращенным в сладостное живительное тепло: точно так же и сон есть лишь просветленный брат-близнец смерти, и даже народы древности обозначали его как таковой, называя его милым посланником духов, несущим весть о вечной надежде. И то, что было для них лишь поэтически прекрасным образом, превратилось для нас в высочайшую истину. Высшее постижение жизни состоит теперь в том, что она рассматривается не просто как динамическая игра чередующихся сил, но — всецело исторически — как в своем развитии лишь начинающаяся, все еще вновь и вновь погружающаяся назад в смерть, склонная к дреме, медленно поднимающаяся, или, скорее, подъятая и любовно ведомая через все ступен и к свету. Та же дремлющая под колоссальным надгробием внешней видимой природы душа, которая представляется нам не вполне чуждой и отчасти родственной, поделена между смутным и болезненным воспоминанием вечной смерти, из которой она взяла свое начало, и между отдельными соцветиями света, также выросшими на этой темной почве, каждое из которых есть благодное предвосхищение небесной надежды. Ибо эта земная природа, как гласит Священное Писание, хоть и подвержена уничтожению, однако без собственной на то воли и без собственной вины, т. е. в уповании на Того, кто поставил ее в это положение. В надежде, что также и она будет освобождена и будет иметь часть в общем воскресении и совершенном откровении Славы Божией, которой удивятся даже смерть и природа. И этого грядущего последнего дня творения она в воздыхании терпеливо ожидает в тоске и глубочайшем томлении.



ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

О человеческой душе в ее отношении к Богу

Если природа понимается не просто как бесконечная игра живых сил и их динамическое чередование, как в языческой натурфилософии, но, напротив, рассматривается поистине в целом и во взаимосвязи этого целого — от первого возникновения, на коем она зиждется, вплоть до последней цели, достичь которой ей определено от Бога, к божественному, т. е. относящемуся к Богу и основывающемуся на Боге, познанию природы, — то при таком способе рассмотрения природа предстает сперва как мост, простертый над бездной вечной смерти и вечного Ничто (Nichtigkeit). Конечно, она показывает себя соответственно такому происхождению или этой своей основанности на вечной смерти, — прежде всего как дом разложения, каковой характер она сохраняет и в последующем, а также до определенной степени и при дальнейшем восхождении. Этот дом разложения благодаря всемогуществу благого Творца преобразуется затем в мастерскую возрождения и наконец возвышается до лестницы воскресения, которая поднимается (или, точнее, бывает подъята) от ступеньк к ступеньке, вплоть до высочайшей вершины земного преображения, в коем также и природе обетовано принять свою меру участия. Таков был предмет предыдущего рассмотрения; и теперь к нему вполне естественным образом примыкает вопрос о том, нельзя ли в таком случае и для человеческой души (которая, хоть она во многих отношениях и родственна матери-Земле и природе, все же стоит значительно выше, и по своему прирожденному достоинству должна рассматриваться как венец земного существования) указать подобную же после-

довательность ступеней возвышения, проходя по которой, она из пучин преходящего бытия и внутреннего ничтожества могла бы постепенно все более и более подниматься к Богу, приближаться к Нему и совершенно с Ним соединиться, или же, по меньшей мере, вступать в соединение с высшими силами и пребывать с ними в длительной и устойчивой гармонии? Этому вопросу и посвящено содержание данного рассмотрения, в котором я сделаю попытку осветить предмет по большей части лишь с психологической стороны, а именно — в связи с теорией познания, поскольку разговор об этом предмете с моральной точки зрения (если вообще не предполагать этот вопрос и без того ясным), кроме всего прочего, относится к другой области. Первым замечанием, которое здесь естественным образом представляется размышлению, будет, пожалуй, то, что душа не может слиться в одно или достичь гармонического отношения с тем Единым Существом, Которое в себе самом есть чистая гармония и Которое также несет в себе основание и источник единства всех других зависимых от него существ, если прежде она не достигнет единства сама с собою. Это же последнее условие в столь малой степени имеет место, что, напротив, человеческое сознание — в том виде как оно на данный момент существует — представляется сплошь сотканным из бесконечных раздоров и противоречий. Человеческое сознание четверично, сказал я. И четыре его противоположные силы: рассудок и волю, разум и фантазию — я назвал четырьмя конечными точками и главными ответвлениями, или также четырьмя концами света для этого внутреннего мира мышления. Сколь редко, однако, рассудок и воля действительно совпадают! Каждая из этих двух способностей по большей части идет своим собственным путем. Сколь редко мы в действительности и поистине хотим того, что сами же признаем за лучшее, что глубоко осознаем и вполне верно понимаем! И, в свою очередь, мы зачастую весьма мало понимаем (или не понимаем вообще) того, чего решительнейшим и сильнейшим образом желаем и хотим в самой сокровенной глубине своей души. И уж, тем более, разум и фантазия во внутреннем мышлении и в целом во внешней жизни почти всегда враждебно противостоят друг другу. Разум, скорее, хотел бы овершенно отбросить, или же, лучше, всецело отрицать фантазию; тогда как фантазия, по большей части вообще не обращая внимания на разум (ибо она является старшей и более сильной сестрой в доме), предпочитает ходить сама по себе и собственными путями. Воля, кроме всего прочего, почти всегда пребы-

ваит в споре с собою, будучи расколота внутри себя; разум же, взятый отдельно и сам по себе, в ходе развития своего бесконечного мышления попадает в лабиринт неразрешимых противоречий. Рассудок имеет такое множество различных степеней и ступеней, и подразделяется на столь различные сферы и виды, что, пожалуй, в этом отношении можно было бы сказать: этот Один рассудок отнюдь и никак не понимает другой, хотя в своем роде он есть совершенно правильный и верно понимающий рассудок. Также и в отдельном человеке его рассудок (то есть совокупность того, что он действительно понимает) чаще всего лишь составлен из фрагментов и отдельных частей, которые подчас никак не соотносятся между собой, не представляют единства и почти никогда, или крайне редко, позволяют привести себя к совершенной гармонии. Субъективные взгляды и мнения, обманы чувств, быстро сменяющие друг друга метеоры и ничтожные фантомы человеческой страсти во всем, что касается фантазии, хорошо известны всем и не нуждаются в пояснениях. Внутренний раздор (если смотреть на него чисто психологически и никак не касаться его нравственного усугубления) столь глубоко, до самых первых основ, проникает во внутреннее строение всего нашего сознания, в том виде как оно существует на данный момент, что вместо того чтобы говорить: «сознание человека четверично», принимая во внимание его истинный состав и истинный строй, — столь же верно и еще много вернее было бы сказать: это наше нынешнее сознание четвертовано, или расчленено и разорвано на четыре части, если не на большее их количество. О фактах сознания говорилось весьма много и часто²⁰; однако по большей части среди философов под этим понимается простое мышление мысли в этом вечном пустом вновь-мышлении, это самомышление мыслящего Я, в силу которого последнее должно быть как бы поймано с поличным и затем, словно пригвожденный воробей, поставлено во главу всей системы в качестве начальной точки и воображаемого творца и демиурга этого идеального мира. Напротив, в качестве единственного факта сознания, который действительно заслуживал бы называться таковым, может быть назван этот не просто существующий между Я и Не-Я, но проходящий через все разветвления или части и формы, виды и сферы сознания, в духе и душе, в рассудке и воле, в разуме и фантазии — проходящий через все

²⁰ В частности, этому вопросу посвятил одну из своих работ И. Г. Фихте — «Факты сознания» (1817 г.). — *Прим. науч. ред.*

целое и дающий себя знать раздор совокупного человеческого сознания и внутренней жизни, лишь рефлексом и отражением, лишь естественным следствием и дальнейшим развитием которого является тысячекратный материальный раскол во внешней жизни. Из этого факта столь множественного и многообразного раскола в человеческом сознании вполне могло бы исходить представление философии, с тем чтобы затем, исходя из этой точки, заниматься поиском решения своей задачи и пути к этой цели — каковая задача, если мы примемся за нее с этой стороны, могла бы заключаться в восстановлении первоначального, естественного, правильного и согласного с самим собой, гармонического сознания. Главным заблуждением философов является то, что они принимают человеческое сознание лишь так, как если бы оно уже было вполне правильным и нуждающимся лишь в дальнейшем, более высоком развитии, дабы очистить его от приставшей к нему у невежд и не-философов пошлости повседневного человеческого чувства и затем облачить его в одежды удивительно искусственных и мнимо глубокомысленных формул. Однако путем простого возведения в более высокую степень зло не может быть устранено, ибо заблуждение тем самым лишь продлевается, также будучи возводимо в степень; напротив, его следует искать уже в первой основе и в самой глубокой структуре сознания. Равным образом не может быть, чтобы сознание было устроено так изначально, чтобы оно от начала было расщеплено в столь множественном конфликте, чтобы оно с самого своего возникновения было разорвано и четвертовано. Раскол человеческого сознания есть факт в самом истинном смысле этого слова: единственный, который вынужден будет подтвердить каждый человек, о котором каждый мог бы дать оригинальное свидетельство, почерпнутое непосредственно из источника собственного опыта. В качестве причины этого целиком и полностью исторического факта должно рассматриваться то самое событие (*Begebenheit*), о котором сообщает нам Откровение, и следы коего каждый находит и распознает внутри себя: а именно, то помрачение души, которое предшествовало нынешнему состоянию человека и обосновывает его, и которое было обусловлено тем, что чужое, враждебное существо встало между его душой и освещающем ее Солнцем. Если же душа — как мыслящая, так и любящая — есть средоточие сознания, то вместе с этим всеобщим, великим помрачением души должно было одновременно претерпеть изменение и совокупное сознание, вплоть до самой его глубинной основы и во всей своей

структуре; а в данном случае, даже если брать его лишь с философской точки зрения и полностью отвлечься от всякой особой нравственной греховности, явленной в отдельных поступках, скверных привычках и страстях отдельных индивидуумов, — оно все же представляется уже не тем, каким было первоначально: каким его создал Бог, и каким ему надлежало пребывать.

Таким образом, совокупное человеческое сознание ныне преисполнено двойственности, и не только в силу своей разумной чувственной или земной духовной природы, но даже само мышление состоит в противоречии с жизнью как таковой; в мышлении же, в свою очередь, внутреннее и внешнее, вера и знание, а в жизни — бесконечное с конечным, или непреходящее с мимолетным и бранным — пришло во враждебное, образующее взаимные помехи и ведущее ко взаимному истреблению противоречие. Задача философии при таком положении вещей и рассматриваемая с этой стороны, как уже говорилось ранее, не может быть никакой иной, кроме восстановления первоначального сознания и истинного единства этого сознания — в той мере, в какой это единство вообще возможно и в человеческих силах, Ибо то, что истинное и постоянное единство сознания, если оно вообще достижимо, может быть найдено лишь в Боге, можно предполагать в любом случае, и сомневаться в этом способен лишь тот, кто вообще объявляет невозможным такое единство и его восстановление, о чем легко можно вести споры, и что, однако, поскольку в спорах мало проку, лучше всего может быть решено делом, в том случае, если попытка удастся. Именно поэтому философии и приходится везде и всюду полагать в основание Бога, из Бога исходить и все черпать из этого источника. Далее же, идя по этому пути и будучи рассматриваемая с этой точки зрения, она не есть праздное рассмотрение и простое наблюдение внутреннего бытия и мышления, не просто мертвое знание, но живое стремление и мыслящее действие, для восстановления испорченного и выродившегося сознания в его простой природе и первоначальном единстве. Этот путь и есть тот самый, который здесь полагается в основу, или, скорее это есть та цель, к которой, несмотря на все человеческое несовершенство, надлежит стремиться всеми силами. Каждое из четырех до сих пор представленных рассмотрений содержало в себе, хотя и в свободной форме изложения, попытку привести к благополучному разрешению и примирению тот или иной определенный раскол в сознании, из тех, которые

имеют наиболее широкое распространение и приносят наиболее существенный вред бытию. В какой мере эта задача может быть действительно более или менее несовершенно или удовлетворительно решена в этих четырех начальных попытках, а цель благополучно достигнута, — лучше всего можно будет подвергнуть ближайшей проверке согласно той же самой идее философии, то есть восстановления испорченного сознания в здоровое состояние, в его первоначальном единстве и полной жизненной силе, в чем и следует искать истинное предназначение философии.

Первый раскол, от которого я попытался избавиться, был раскол между самой философией и жизнью. Если, однако, абстрактное мышление и диалектический разум не являются средоточием сознания, но им является мыслящая и любящая душа, то воображаемая стена между философией и жизнью рушится сама собой. Во втором рассмотрении я попытался (поскольку раскол между конечным и бесконечным, между вечным и переходящим может быть разрешен лишь посредством деяния и самой жизни), по меньшей мере, указать тот путь, на котором может быть найдено это единство и уравнение, обосновав живое убеждение в том, что существует истинное воодушевление, в котором бесконечное чувство даже доказывает свою действительность; и что также земная склонность и любовь в освященном союзе верности и брака принимает образ нерушимости и вечности, становясь источником обилия божественной благодати и нравственных уз, которые более сильны и оказывают большее действие для нравственного обоснования жизни, чем любые общие предписания и чистые понятия того или иного почерпнутого более из них, нежели из самой жизни нравственного учения. В чистом томлении, наконец, было распознано и указано высшее стремление, которое, конечно, направлено к бесконечному, вечному, божественному; однако, конечно, также и оно должно своими плодами доказать свою действительность, о чем некоторые ближайшие определения будут даны сразу же далее. Третье рассмотрение имело своим предметом раскол между внутренним и внешним в мышлении и в знании, равно как и его разрешение. Если бы всякое знание было лишь разумным знанием, то этот раскол между внутренним и внешним был бы совершенно неразрешим, и оставалось бы совершенно непостижимым, каким образом вообще когда-либо в нас и в наше Я могло бы попасть нечто чуждое и иное, как оно могло бы быть познано нами. Если же всякое знание есть позитивное знание, то так же

и познание духовного и божественного есть лишь внутренняя и высшая опытная наука, тогда вместе с этой идеей Откровения одновременно дан и найден ключ к объяснению и возможности познания Бога и божественного. Сказанное применимо даже к природе, коль скоро речь идет о ее целом и внутреннем, о властвующей в ней живой силе или одухотворяющем ее духе, или о познании этого внутреннего и целого. Ибо также и оно не может быть схвачено руками, однако природа сама может говорить с тем, кто умеет понимать ее язык, что, конечно же (если бы мы смотрели на нее изолированно и безо всякого отношения к Тому, Кто дал ей ее происхождение и определил ее цель, и если бы, таким образом, оба конечных пункта всякого понимания природы отбрасывались), едва ли оказалось бы возможным. Поскольку теперь люди до такой степени переносят врожденный раскол своего глубочайшего сознания на все внешние предметы, что даже Бога и природу, земной чувственный мир и его Творца отрывают друг от друга и друг другу противопоставляют, а естествознание ставят во враждебную оппозицию к познанию Бога и Его Откровения, то четвертое и последнее рассмотрение было посвящено попытке также и здесь осуществить примирение, или, по меньшей мере, положить для него первое основание и наметить путь, на котором оно могло бы быть найдено и осуществлено. Такая задача является тем более важной, что раскол, о котором мы говорим, имеет место не только в знании и не ограничен одною лишь областью знания, но также и в действительной жизни эти различные взгляды и образы мысли представляются резко разделенными на непримиримые партии и враждебно друг другу противостоят. И хотя эти разделенные лишь по форме и направлению мышления классы не выступают столь же официально под определенными именами, как другие партии в вере или в государстве в наше нынешнее время, — все же раскол, тем не менее, остается в высшей степени действительным и везде и всюду заметным в нашей жизни. Первое и значительно большее количество образует класс чистых мыслителей разума, которые всё равнодушно подвергают сомнению и по большей части обо всем выносят суждение с точки зрения этого сомнения. Вторая партия — это исключительные сторонники природы, весьма многочисленные среди людей науки. Наконец, третьему классу тех, кто путеводную нить своего мышления и масштаб суждения стремятся черпать лишь из позитивного источника божественного решения, было бы легче

всего, исходя из этого центрального пункта, указать правильное место всякой силе и всякой истине во всем прочем мышлении и знании, и тем самым более всего способствовать разрешению и примирению всеобщего раскола, если бы они пожелали черпать из этого самого источника хотя бы несколькими ступенями глубже. Поскольку, однако, они отнюдь не движутся по этому примиряющему пути к другому, истинному, естественному, историческому или художественному мышлению, но напротив, идут путем одного лишь абсолютного отрицания или негативно-го ограничения и ограждения, то тем самым они опускаются до уровня такой же партии, как и все остальные (чего с ними отнюдь не должно было бы произойти, ибо по существу им надлежало бы стоять гораздо выше всех остальных), и теперь еще и со своей стороны способствуют твердому обоснованию и длительному поддержанию раскола в сознании и раздору в духовной жизни. Эти три партии, что делят между собой эпоху и жизнь и властвуют согласно преобладающему в каждой из них образу мышления, — суть, таким образом, партия разумных мыслителей, сторонников природы и абсолютных сторонников принятия решений исходя из высшего божественного авторитета. До сих пор решения и направление этих последних остаются лишь негативными и недостаточными для целого жизни.

После того, теперь, как мы с самого начала направили наше рассмотрение в четыре разные стороны, с тем чтобы понять и представить этот важнейший факт действительного сознания, этот великий феномен всеобщего раскола в нем, в соответствующих различных сферах и формах; после того, как соответствующим образом, в том же четырехстороннем направлении была также сделана попытка привести этот при-ставший к человеческому сознанию в результате первоначального помрачения души наследственный порок столь же всеобщего и глубоко идущего, сколь и разнообразного в своем проявлении и разделяющегося на множество родов и форм раскола, к примиряющему уравнению, — попытка привести и приблизить его для начала к исконному гармоническому единству, — после этого, пожалуй, уже не будет казаться преждевременным или поспешным, если мы попытаемся рассмотреть ту же проблему уже в более широком плане, взяв в общем и целом и для всего человеческого сознания. При этом мы, однако, ограничимся рассмотрением данного вопроса и предмета в целом лишь с психологической стороны. Со всем нетрудно сказать о том, что человеческое сознание могло

бы быть много проще и гармоничнее, и что оно вполне могло бы мыслиться без этого по существу совершенно случайно-го разделения на отдельные душевные способности. Один из первых среди новейших немецких философов говорит в одном месте о душе, что она есть нечто совершенно излишнее и является не более чем вымыслом. Это высказывание происходит именно оттого, что в своей системе он уже ушел от центра жизни и сознания²¹. Тот, кто придерживается его, безусловно, не согласится с этим утверждением, и без того не нуждающемся в особом опровержении, поскольку оно противоречит общечеловеческому чувству. Что же касается двух половин или сторон мыслящей человеческой души, на которые последняя распадается или расколота — разума и фантазии, — то обе эти способности, конечно же, не являются измышлениями, но поистине и действительно присутствуют в сознании, где они, будучи отделены друг от друга так же как и в самой жизни, зачастую враждебно противостоят друг другу, действуя в противоположном направлении. Хотя это обособление и разделение нельзя назвать излишним, однако же его невозможно рассматривать как абсолютно необходимое и уже изначально существенное. Если бы всякое мышление оставалось живым, если бы мыслящая и любящая душа пребывали как Одно в своем средоточии, тогда внешне организованное

²¹ Речь идет, видимо, об Иоганне Фридрихе Гербарте (1776–1841), который, как и Шлегель, в йенский период его деятельности (с 1794 г.) был одним из последователей Фихте, но уже в первом десятилетии нового века встал в резкую оппозицию против идеалистического направления, в том числе учений Фихте, Шеллинга, Гегеля. См.: Виндельбанд В. История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными науками. Т. 2. От Канта до Ницше. М.: 2007. С. 398–419. В 1809 г., благодаря посредничеству В. Гумбольдта, он был приглашен на кафедру в Кенигсберг. В работах по психологии он отказался от традиционного учения о душевных способностях и предложил использовать математические методы для точного изучения психических феноменов. Он впервые начинает рассматривать эти феномены как результат комбинации некоторых элементарных процессов. Душа, будучи «реалом», не включает в себе никаких способностей. Не имея пространственно-временного положения, она лишена каких бы то ни было характеристик. Спонтанно возникающие представления обеспечивают самосохранение души при столкновении с другими «реалами», поэтому Герbart и считал представления единственной элементарной функцией души. Через представление душа обретает свои первые характеристики, которые, к тому же, могут быть количественно измерены. Так, душевная жизнь индивида, согласно Гербарту, представляет собой статистически описываемый ряд представлений. Количественно измеряемые ряды представлений образуют все духовные органы. — *Прим. науч. ред.*

мышление и заключение и внутренне плодотворное мышление, чувствование и изобретение совершенно не будут разделены и обособлены, и по меньшей мере не будут противостоять друг другу во вражде и оппозиции, но то и другое будет гармонически соединено в живом мышлении любящей души. Также и различные формы высшей любви и высшего стремления, и даже более того — всякое дозволенное земное влечение также растворялось бы в целом этой гармонической душевной жизни и уже не могло бы рассматриваться как отдельная способность, или как отдельная, часто противостоящая целому, сила. Даже совесть уже не выступала бы как таковая, — как отдельный акт и отдельная функция суждения совершенно особого рода, но была бы растворена в жизни целого как всего лишь тонкое внутреннее чувство и живая пульсация нравственного суждения. Чувства и память и без того являются не более чем служебными способностями, которые в качестве отдельных являются лишь в господствующем ныне обособлении и расщеплении. Тогда же, при этом условии гораздо более простого и к тому же гармонического сознания, они не считались бы уже за таковые, то есть отдельные, обособленные силы души, но рассматривались уже только как телесные органы. Таким образом, если бы не произошло помрачения души, если бы она пребывала ясной, светлой и безмятежной в Боге, человеческое сознание было бы много проще, нежели теперь со всеми этими обособленными способностями, которые мы уже обнаружили и различили в нем. Оно состояло бы тогда лишь из рассудка, души и воли; ибо даже если и тогда еще душу захотели бы различать по ее трем направлениям, как мыслящую, чувствующую и любящую, то все же это различие уже более не представляло бы собой раскола и внутреннего спора, но мыслящая, чувствующая и любящая душа была бы связана [в этих своих частях] и в этой гармонической связи была бы Одним сама с собою. Различие между рассудком и волей сохранилось бы, поскольку оно существенно для всех сотворенных существ и в известной мере приписывается даже несотворенному Духу. Однако на плодотворной почве этого гармонического мышления и чувствования, в этом душевном саду внутреннего света они бы дружески прогуливались вместе и действовали бы сообща, и никогда бы враждебно не разошлись в разные стороны как обособленные существа, и никогда (как это часто происходит в действительной жизни) не были бы отделены друг от друга глубокой пропастью и не лишились бы всякого соприкосновения. Примерно так (или, в любом

случае, похожим образом), следовало бы мыслить себе человеческое сознание и пытаться себе его наглядно представить, — таким, каким оно было первоначально: не помраченным, разорванным и ввергнутым в раскол, но всецело гармоническим и гораздо более простым. Что же, теперь, касается рассудка и воли как вообще существенного для духа свойства и разделения силы, которое, однако, отнюдь не обязательно должно быть дисгармоническим, — то для перехода к тому, что я еще имею присовокупить по этому вопросу, мне в качестве отправной точки и опоры послужит ранее уже упомянутое высказывание другого новейшего немецкого философа. Согласно этому достопримечательному высказыванию о духе, могущему служить достойным дополнением к вышеприведенному высказыванию о душе, сущность духа вообще заключается в отрицании противоположного²². О том, какой смысл будет иметь данное высказывание, если применить его к несотворенному Духу и Творцу всех остальных духов, Я здесь пока что говорить не могу. Что же до духов сотворенных, то их сущность заключается, как раз наоборот, в вечном утверждении того самого Единого, для коего исключительно предназначил их Бог. И именно потому, что оно [исходит] не из них, но от Бога и Его силы (ибо сами эти духи суть лишь единый луч ее, или единая искра Его света), то в этом Едином луче не только видение и постижение являются всецело едиными и нераздельными, но также и те мысль и деяние, воление и свершение, которые равным образом отличны от человека. Этот данный им от Бога луч света есть сама мысль об их предназначении, задача, для которой они созданы, одним словом — их миссия, дабы выразить это по-человечески и привычным языком, и потому во всех древних языках наименование сотворенных чистых духов произведено от этой их миссии, составляющей саму их сущность, каковая их сущность есть всецело Одно с этой их божественной миссией или врожденным вечным утверждением, покуда они остаются ему верны. К отпадшим же, злым духам прекрасно подходит ранее приведенное объяснение сущности духа: их сущность заключается не в божественном утверждении или в миссии, которую они оставили, а в вечном, хоть и напрасном, отрицании противоположного им,

²² Автор имеет в виду Гегеля. В другом месте он пишет, что подлинную «философию отрицания» создал именно Гегель: «Система отрицания была бы еще более дурна, чем атеизм или обожествление Я (Фихте), она была бы подлинным обожествлением отрицающего духа, стало быть на деле философским сатанизмом». — *Прим. науч. ред.*

а это противоположное им как раз и есть божественный поря-док, который для их надменного рассудка, их пронзительной воли и всеосуждающего настроения, вероятно, был или казался слишком любвеобильным и непонятым, непоследовательным и недоста-точно безусловным и абсолютным.

Все до сих пор сказанное сводится теперь к следующему ре-зультату. Вследствие первого помрачения души осквернилось, сделалось хуже и органическое тело человека, которое тем са-мым (будучи прежде создано бессмертным) стало подверже-но смерти и приняло в себя и стало способным принимать ростки бесчисленных болезней и корни множества зол, что само по себе есть не вина, но естественное следствие вины. Именно как следствие ее, человеческому сознанию с тех пор было привито и досталось в наследство, в качестве духовно-го ростка смерти и множественного семени заблуждения, ни-чтожное и ложное мышление, которое, однако, само по себе еще не есть новая вина, но лишь естественное следствие пер-вой вины и первоначальной порчи души. В четырех формах, в соответствии с существенными главными окончностями и основными силами человеческого сознания, выказывает себя и развивается это врожденное заблуждение и этот пло-довитый росток ложного и ошибочного мышления. Еще ран-нее, в начале, шла речь об этой коренящейся в центре всякого мышления ничтожной идее умерщвления всякой жизни — в мертвом понятии и пустой форме, а также о том, что эта идея в той форме, в какой мы видим ее ныне, с самого начала отяго-щает человеческий дух, и что по этой причине она весьма тяже-ла, особенно для того, кто хочет не просто исследовать приро-ду, но хочет действительно понимать, постигать ее в ее живом действии, выстраивать в мышлении образ этого динамического закона и внутренней пульсации ее живой силы, поскольку она бежит и ускользает от абстрактного понятия, а истинная жизнь от одного лишь прикосновения таких мертвых формул тут же угасает. Это, таким образом, есть первый род и источник оши-бочного и мертвого или ничтожного мышления в абстрактном рассудке. Поскольку же, теперь, именно такое, уже не живое, а умерщвленное мышление в абстрактных понятиях, во всех на-правлениях, связывающее и делающее выводы, или расчленя-ющее и делящее на части, может быть продолжено в бесконеч-ность, в чем, собственно, и заключается сущность и функция разума и что приводит к бесконечному спору и нескончаемому противоречию: то таким образом этот диалектически бесконеч-

но спорящий или скептически от самого себя отказывающийся, однако никогда не оставляющий себя в покое разум есть второй источник заблуждения или ложного мышления; ибо это ложное мышление диалектического разума, продолжающего либо расчленяющего рассудочные понятия, уже само по себе происходит из строя и природы человеческого сознания, в том виде как оно существует сейчас — без того, однако, чтобы это могло быть вменено в собственную вину отдельному человеку, или чтобы эта вина, при сколь угодно извращенных следствиях и пагубных конечных результатах, непременно должна была лежать в нравственных основаниях или внеморальных, побочных воззрениях. В случае с воображением нам нет нужды даже принимать в рассмотрение распаленную в демонической страсти и демонически увлеченную фантазию, или учитывать всегда чрезмерно склоняющееся к материальной стороне ее направление, поскольку сила воображения, даже и в своей наивысшей степени и чистоте образа, все же остается в мышлении не более чем субъективным воззрением и формой понимания, и уже в силу этого становится источником множественных заблуждений. Сколь необычайно редко, однако, находится сила воображения, которую уже нельзя назвать субъективной, — можно увидеть уже на высшей ступени ее развития: в произведениях изобразительного искусства. Среди отдельных гениев, которые в те или иные эпохи и в среде тех или иных народов, выдвинувшись из целой массы, достигают в высшей степени редкой славы художника, из небольшого числа знаменитых имен в свою очередь найдется лишь малое количество тех избранных, о ком можно будет с похвалой сказать: здесь, в этом изображении, поистине объективно заявляет о себе, выражает и всецело раскрывает себя сама жизнь и природа, а не всего лишь гениальное воззрение или своеобразная фантазия одиночки. То же самое, однако, может быть отнесено и к научной области, и к мышлению вообще, и в частности к естествознанию и к знанию историческому. В сфере воли в качестве источника ложного мышления и духовного заблуждения мы равным образом рассматриваем отнюдь не безнравственное и потому ошибочное и ложное воление; но этот источник заблуждения, о котором здесь идет речь, заложен уже в одной лишь форме воли: пусть даже предмет и цель ее сами по себе были бы вполне позволительными и всецело безупречными, как, например, в абсолютном волении. О том, что такое абсолютное воление, то есть, если говорить по-человечески

и пользуясь привычным языком, упрямство и своенравие, поистине, есть основной и наследственный порок нынешнего человеческого характера, который, как таковой, дает себя знать уже с самыми первыми движениями разума у самых маленьких детей, и насколько необходимо как можно ранее поставить ему преграду, — знает всякий воспитатель и всякая мать. Но и в самых великих и всеобъемлющих масштабах жизни, и в мировой истории это абсолютное воление выказывает себя как наиболее пагубный из всех источников гибели и заблуждения в душе и в жизни человека; даже если допустить, что цель такой абсолютной воли сама по себе не является предосудительной и, возможно, могла бы быть даже названа достойной и великой. Именно по причине такого абсолютного воления правитель, даже если он будет наделен великим и всеобъемлющим рассудком и обладать достойной уважения нравственной силой и добродетелями, становится тираном, разрушающим и уничтожающим все вокруг себя. Или также там, где не один господствует, но власть поделена между многими: здесь, по причине этой абсолютной воли, те разные воззрения, каждое из которых в ином случае, будучи спокойно взвешено, сохраняло бы за собой и могло бы претендовать на некую часть истины, превращаются в яростно ненавистные друг другу партии, раздирающие между собой мир, поджигающие его огнем пожаров и все наполняющие анархией.

Итак, мертвые понятия абстрактного рассудка, диалектический спор разума, чисто субъективное понимание предметов обманутого своей односторонностью воображения и абсолютная воля: таковы четыре источника, из которых, еще не принимая во внимание смятение и заблуждение страстей и всецело оставляя в стороне те или иные своеобразные недостатки характера и особые преимущества воспитания и происходящие отсюда ложные суждения и неверные понятия, — это суть, говорю я, четыре источника, из которых заблуждение устремляется к душе, все еще пребывающей в эгоистическом плену земной действительности; и здесь, на этой почве, заблуждение порождается, получает пищу и распространяется далее. Где же теперь можно было бы искать и найти средство исцеления против этих множественных источников и форм заблуждения, если не в ближайшей и внутренней связи души с Богом — как источником всякого единства, всякой истины и всякой жизни? Органом же такой ближайшей связи и непосредственного познания Бога является, однако, не рассудок, несмотря на то,

что последний как высшее чувство познания (Erkenntnis-Sinn) для откровения духа и духа откровения, руководит нами на первых шагах к пониманию нашей собственной самости и Творца; ибо покуда мы остаемся в пределах одного лишь понимания, это будет всего лишь приближением извне, лишь вспомогательным средством и предварительной ступенью. Лишь тогда, когда божественная идея не останавливается на одной лишь поверхности рассудка, но — глубже проникая в средоточие нашей сущности, пускает там корни, появляется возможность непосредственно черпать из первого источника всякой жизни для конечной цели. Существенно способствующий этому орган есть воля, и потому я назвал ее (однако на тот момент она должна уже перестать быть абсолютной) собственно божественным чувством (Gottes-Sinn) в человеке. Но прежде чем я двинусь дальше и спрошу или попытаюсь достичь разъяснения о том, как должно происходить это обоюдное действие, или каким образом оно вообще мыслимо, я должен еще предпослать одно существенное замечание. Как для каждой отличной сферы и высшей или низшей ступени и региона бытия я пытался выделить и определить особый, характерный признак (и в этом смысле, например, отметил, что собственно признаком природы и всего того, что относится к природе, является дремотное состояние, или же сон; или что характерным свойством человека, которое отличает его от всех иных духовных существ, является фантазия; что собственный характер сотворенных чистых духов следует искать в том отпечатке вечности, который присущ им и лежит на всяком их деянии, и в силу которого они в неустанной деятельности всегда и вечно совершают то одно, что им надлежит совершать ни на что не отвлекаясь и не ощущая потребности в отдыхе, и в силу которого они всегда и вечно пребывают тем, что они есть) — точно так же я хочу теперь применить указанный способ рассмотрения вплоть до самого высшего региона, дабы и там отыскать характерный признак, которого можно было бы придерживаться и на который можно было бы ориентироваться. И таким образом, в том же самом стремлении утолить человеческую потребность в понимании я бы продолжил и сказал: характерный признак не божественной сущности (ибо сказать так в масштабе достижимого для нас, конечно, значило бы сказать слишком много), но — божественной деятельности и божественного воздействия на творение и тварные существа заключается в совершенно невероятном снис-

хождении Бога к этим своим созданиям, и в особенности к человеку. Невероятным же оно может, должно и имеет право называться, поскольку оно превосходит не только всякое понятие, но и всякую веру (пусть даже ставшую совершенно привычной и детской), в свою очередь далеко превосходя также и ее и всякий раз поражая нас неожиданностью. Вопрос может быть лишь в том, является ли выбранное здесь обозначение достаточно простым и верным, а следовательно — и правильно выбранным; ибо сам факт божественного снисхождения и то, что такое снисхождение действительно имеет место, — подтверждается каждой строчкой и каждым словом во всех откровениях Бога — я имею в виду не только в писанных, но во всех тех, где Бог и Его сила, воздействие, или водительство каким-либо образом проявляются: в истории, в жизни или в природе — повсюду и со всех сторон). И ни в чем ином те голоса, которые в данном случае могут быть признаны компетентными, не бывают столь едины и согласны, как в отношении этого удивительного свойства Бога, которое, следовательно (если мы однажды предположим всеобщую веру в Единого живого Бога), может рассматриваться как стоящее превыше всяких сомнений. Далее, с тем, чтобы сделать для себя сущностно наглядным необходимое участие воли во всяком живом отношении с Богом (которое должно быть более, нежели просто пониманием), предположим, что Бог, по этому своему невероятному снисхождению, всецело открывается тому или иному человеку — так, как, согласно первым книгам нашего Священного Писания, Он общался с Моисеем: совершенно доверительно, как друг беседует с другом; итак, предположим, что Бог напрямик поведал тому или иному человеку все тайны на небе и на Земле, и что вместе с тем Он полностью открыл для него Свою тайную волю: не только лишь вообще и в целом, но четко и определенно сказал ему, чего Он хочет лично от него, именно сейчас, и что именно Он намерен в отношении его предпринять; предположим, что Он также показал ему все средства и пути, с тем чтобы тот мог выполнить задуманное, и, возможно, присовокупил еще высочайшие обетования: все это никак не пошло бы на пользу человеку и не помогло бы ему, если бы он не согласился, если бы остался коснеть в своем старом, смешанном из дурной привычки, страха и чувственного похотения, глупого эгоизма, и, намертво приклеившись к своей ограниченной самости и собственному Я, не смог бы от них оторваться.

Это внутреннее согласие и добровольное соединение с волей Бога, это молчаливое утверждение ее и есть единственно то, что может помочь человеку, который ведь создан свободным даже и перед лицом Бога, и действительно привести его к Богу; и потому именно волю, а не рассудок, я обозначил как собственно божественное чувство в человеке. Но здесь требуется прежде всего лишь внутреннее согласие, а отнюдь еще не сила для осуществления: ибо последняя может весьма разниться, даже в масштабах природы, т. е. того, что каждому дается свыше; ибо из самого себя никто не имеет силы на нечто высшее, и лишь воля человека принадлежит ему самому. Это внутреннее согласие, таким образом, и предание собственной воли в высшую, божественную волю, конечно, не мыслимо без того, чтобы одновременно и человеческая воля в некоторой степени не отстранилась от чувственного мира, который столь тесно окружил ее множеством уз, и до некоторой степени не высвободилась из него, а затем все более и более не увеличивала степень этой свободы от тесной самости, к которой Я так намертво пристало. Теперь возникает естественный вопрос: каковы верные и правильные границы такого отречения от мира, такого самопожертвования, о котором так много учила и платоновская философия; насколько оно необходимо для того, чтобы по меньшей мере на одну ступень или на один шаг приблизиться к Богу как высшему благу и совершеннейшему существу? Индийский отшельник, упражняющийся в покаянии, согласно понятию необходимого отречения от мира, дабы соединиться с Богом, в течение тридцати лет продолжает сидеть на одном месте, неуклонно устремив взгляд в одну точку; так что он не только переступает все границы человеческой природы, но гасит в себе и уничтожает до полной неузнаваемости даже последние ее следы. Или даже он, руководствуясь ложным понятием самопожертвования, дабы тем скорее соединиться с Богом, восходит на горящий костер; тогда как простое наблюдение и правило, согласное со здравым умом, гласило бы, что человек, коль скоро не он сам дал себе жизнь, столь же мало имеет полномочий лишить ее себя по своей воле. Эти ужасающие чрезмерности, которые мы находим и наблюдаем у древних азиатских народов (где лежащее в основе понятие в своем первом зачатке, пожалуй, содержит нечто прекрасное и истинное, однако, в своем извращенном употреблении полностью искажается, приобретая чудовищные черты), весьма далеки от истины. Простое подобие, взятое от различных ступеней жизни, возможно, легче всего пояснит, что

именно важно здесь, в этом препоручении человеческой воли в волю Божию, и в каком смысле и масштабе человеческая воля, конечно, не может и не имеет права быть всецело преданной миру и намертво приставать к самой себе, — дабы иметь возможность дать свое искреннее внутреннее согласие следовать высшему голосу и руководящей деснице, с равной заботой направляющей воспитание человеческого рода как в великом целом, так и в малом масштабе отдельной человеческой жизни, или того или иного человеческого возраста. Ребенок, таким образом, может и даже должен играть, ибо для свободного развития его сил это необходимо и полезно; однако если мать окликает его (а это для ребенка есть высший голос), он должен прекратить игру. Юность должна радоваться и наслаждаться зеленью весны; однако если честь и долг к тому призывают, ей следует посвятить себя серьезной деятельности. Или когда (если окинуть взглядом другую половину молодости) в этой юношеской резвости чересчур близко затрагивается, а того и гляди, и вообще будет переступлена граница нравственности, — тогда, следуя суровому предостерегающему мановению, веселье лучше прекратить. Мужчина должен испытать себя в мире и найти свой путь в жизненной борьбе, и тогда у него по большей части останется не слишком много времени для праздных чувств и мыслей; он лишь не должен с презрением гнать от себя всякую высокую мысль и желание обратиться к Богу и божественному (которое, впрочем, не потребовало бы больших затрат времени) как свойственное лишь детству и незрелому возрасту. Или обратим наш взгляд на другую, связанную со страданием, сторону человеческой жизни, и представим себе женщину, которая совершенно счастлива, будучи замужем за человеком, которого она любит; она живет в окружении своих детей и имеет все внешние блага, какие только пожелает. И вдруг она в один момент теряет все это: любимых детей, мужа; удар судьбы следует за ударом, и она, возможно, утрачивает свое здоровье, а отчасти даже и лишается своего высокого положения в обществе. Так часто происходит в этой изменчивой человеческой жизни. Кто может помешать этому, или кто поставит ей в упрек ее сетование и страдание? Никто! Напротив, у нас есть право предположить, что также и более возвышенные очи, нежели человеческие, устремляют на нее взор, полный сострадания. Лишь одного можно требовать и ожидать от нее, ибо это свойство здравого ума: что она не вконец предастся отчаянию и что она, несмотря на свое

несчастье, не будет роптать на Провидение. Итак, Бог также не требует от воли человека более, чем люди требуют друг от друга в обычных жизненных обстоятельствах; и эта воля, собственно, есть единственное, чего Он действительно требует, в ожидании того свободного согласия и внутреннего одобрения, которое единственно может соединить нас с Богом и приблизить нас к Нему, для чего никоим образом еще не достаточно одного лишь понимания всякого возможного откровения — будь оно историческим, писаным, или же данным в природе.

Лишь столько и ничуть не более требуется для такого существенного препоручения собственной человеческой воли в волю божественную, при общих жизненных обстоятельствах. Если же речь идет об особом призвании и собственном статусе; если некто ощущает в себе склонность стать служителем божественного слова, сделаться инструментом и носителем божественных сообщений — тогда, конечно же, в силу вступают более высокие и строгие требования, как это имеет место при всяком особом статусе, служении и призвании. Какое служение наиболее естественно пристало рожденному для защиты и обороны мужу, если не служение воина и защитника своего отечества? И не требует ли оно также непоколебимой стойкости и презрения к смерти, бесчисленных жертв и суровых лишений? Какое призвание может быть более простым и более укорененным в природе, нежели доставшееся на долю слабому полу призвание материнства? Не сопряжено ли равным образом и оно со страданиями, заботами и опасностями? И не состоит ли материнская любовь — самая чистая и истинная любовь, которая может быть найдена у людей, — не состоит ли она, тем не менее, из бесчисленного множества малых и великих тягот? Но именно этого свойства чаще всего не хватает человеческой любви, ибо слишком часто она проявляется лишь в одном определенном направлении, в той или иной мимолетной эпохе жизни, в том или ином великодушном деянии самопожертвования, а отнюдь не утверждает себя с равной верностью и деятельной благожелательностью во всякое время и во всех мелочах повседневной жизни, в ее бесчисленных тяготах и заботах. И как с любовью — точно так же обстоит дело и с верой людей: она не в достаточной мере входит в частности, она является недостаточно личной, недостаточно детской, недостаточно доверительной: она недостаточно имеет отношения к нам самим. Большинство людей име-

ют слишком высокое мнение о своей собственной ценности и слишком полагаются на собственные силы; по меньшей мере, противоположный недостаток — чрезмерное малодушие — представляет собой более редкое исключение. Однако о своем призвании, о своем предназначении люди в целом почти всегда бывают довольно невысокого мнения; они не верят в него и склонны, с точки зрения всего мироздания, считать его чем-то ничтожным и малозначительным. И в этом-то как раз и заключается большая ошибка: это совершенно неверно. Всякий человек есть индивидуум, есть особый внутренний мир, полный жизни, поистине микрокосм (как еще принято говорить) в глазах Бога и в плане совокупного творения. Всякий человек имеет особое призвание и собственное предназначение; если бы глаза людей в одно мгновение могли открыться на это, они бы удивились всему тому бесконечному, что они упустили и чего они могли бы достичь, и вообще всему, что бывает упущено в мире и остается недостижимым. Среди же многих тысяч тех, кого это касается, лишь немногие приходят к ясному осознанию своего предназначения. И происходит это от того, что вера людей слишком слаба, в особенности же, однако, — от того, что она имеет слишком общие и плоские, недостаточно глубокие, недостаточно личные и недостаточно детские черты. Детская вера и до конца терпеливая любовь: таковы истинные душевные узы для внутреннего соединения людей с Богом. Надежда, в том виде как она встречается среди людей, чаще всего бывает неудовлетворительна: ибо последняя должна бы быть героической и твердой, в противном случае она недостойна своего имени. Наверное, мало таких людей, которые бы жили без всякой веры и безо всякой любви: просто та и другая у них недостаточно претворяются в мелкие частности жизни, в чем как раз и состоит человеческая потребность: ибо божественное должно претворяться у людей в мысли и дела. В надежде же внутренний человек должен подниматься и возвышаться до божественного; и потому надежда должна быть сильной, чтобы иметь возможность помогать. Поэтому в относительном смысле и в масштабе человеческом, она встречается гораздо реже, нежели вера и любовь. Напротив, пожалуй, можно встретить большое количество людей, внутренне не имеющих почти совершенно никакой надежды.

Ранее описанная тоска по вечному и божественному есть поиск Бога. То внутреннее безмолвное согласие — коль скоро оно соединяется с такой детской верой и терпеливой любовью

и сохраняется и проносится нами в стойкой надежде через всю жизнь, — есть истинное обретение Его в нас, и удержание Его, коль скоро мы Его нашли. Будучи корнем всего самого благородного и лучшего в нас, это духовное томление никогда не может быть поставлено слишком высоко, и нигде оно не описано с такой неподражаемостью и не получает столь высокой оценки, как в Священном Писании: высокой настолько, что даже пророк, которого Бог предназначил и послал для совершения чрезвычайного служения, облекши его для этого чудесной силой, назван в нем попросту «мужем стремления»²³ (Mann der Sehnsucht). Тем не менее, тоска есть только источник, корень возникновения, из которого происходит благодатный тройственный цветок в прекрасном символе веры, надежды и любви, который затем — проходя через все ступени и все сферы жизни, развивается в многочисленные и богатейшие духовные и нравственные плоды. Обычно мы просто довольствуемся и наслаждаемся этим трезвучием священных мыслей и чувств в серьезном и глубокомысленном представлении, без того, однако, чтобы всякий раз должным образом входить в осознание предъявляемых ими требований, в уяснение их глубокого значения. Для нашей цели жизненной философии (т. е., следовательно, философии познания через сознание) психологическая сторона предмета является преимущественно важной, и именно она должна быть существенным образом принята во внимание. Я хочу сказать, что человеческое сознание, которое вообще и само по себе предстает расщепленным на неразрешимые противоречия, может быть спасено от этого раскола верой, надеждой, любовью: выведено и поднято наверх из прирожденного состояния ложного и мертвого мышления и столь же мертвого и ничтожного абсолютного воления, может достигать все большего и большего внутреннего примирения, равновесия и гармонического завершения. Через веру (если под ней понимать не просто равнодушное повторение привычной мертвой формулы, но живую и личную веру в живого и личного Бога и Спасителя) на место одного лишь абстрактного мышления извращенного рассудка, которое оно занимало в некогда мертвом сознании, — приходит также и живой дух истины. Там, где чистая благодать и любовь в стойком терпении сделались душой целого бытия, там уже не может быть речи ни о каком окаменевшем или страстном и необузданном абсолютном волении; но здесь даже

²³ В русском переводе: «муж желаний», о прор. Данииле. — *Прим. перев.*

и в самой воле все уже превратилось в жизнь, достигшую примирения, уже более не противоречивую, но пришедшую к гармонии. В смелом доверии любящей души к Богу, затем — в сильной, божественной надежде, героически основывающейся на фундаменте вечного, — все направляющий, организующий и упрощающий разум и предчувствующая бесконечность фантазия уже вновь превратились в Одно, и тем самым совокупное сознание приходит к гармонии. Фантазия, сказал я ранее, есть собственный признак и характерное свойство человека, в сравнении с другими духовными натурами; ибо разум, как чисто негативное свойство, может представлять собой также лишь негативный отличительный признак: например, в противоположность не имеющим разума животным. Глядя более обобщенно, проникая глубже и одновременно пользуясь более точным обозначением, мы можем теперь в том же отношении и в том же смысле сказать: Надежда есть глубочайшая сущность человека и его наиболее характерное свойство.

Здесь, в святой надежде, чудесный цветок душевного устремления развился теперь уже в полноценный и великолепный плод. Если взглянуть на цель, которая должна быть достигнута, и поставить себя мысленно перед лицом ее: то любовь представляется как высшая из всех трех; ибо надежда перестает, когда приходит исполнение, на место веры приходит лицезрение; любовь же пребывает вечно. Однако пока цель еще не достигнута, и мы все еще пребываем на пути к ней, — напротив, надежда должна рассматриваться как наиболее важная. Ибо она есть жизненное пламя, питающее собой как веру, так и любовь, и все высшее бытие. Именно святая надежда и есть внутренняя плодотворность и оплодотворение бессмертной души божественным духом вечной истины и светлое средоточие и центр благодати, в котором помраченная и страждущая от раскола душа вновь светлеет и вновь обретает единство с собой и с Богом.





ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ

О божественном порядке в природе; и об отношении природы к другой жизни и к невидимому миру

Если речь заходит о внутренней сущности самого Божества, — то для последней невозможно найти достаточного возвышения, ибо никакие понятия и никакие мысли не способны в полной мере ее объять, и никакие слова недостаточны для того, чтобы сколько-нибудь полно ее показать или удовлетворительно выразить. Напротив, воздействие Бога на свое творение, прикосновение десницы Его высшего водительства к ходу этого земного мира — будет довольно трудно представить себе слишком легкими и слишком любовными, согласно тому принципу божественного снисхождения, что служил мне опорным пунктом в моем предыдущем рассмотрении. Это в общем и целом также признается, однако далеко не в достаточной степени: ибо при этом далеко не с полной ясностью представляют себе, что тем самым разумеется, и что из сказанного следует в ближней и дальней перспективе; и мы вновь и вновь слишком охотно впадаем в торжественный и высокопарный тон там, где, напротив, гораздо более уместным и единственно подобающим было бы настроение детское, дабы во всей простоте и естественности, каково оно действительно есть, понять отношение преисполненного любви Творца к своему творению и, в особенности, также к человеку. Я сказал — естественность. Ибо, безусловно, в природе самого предмета заложено, что, коль скоро Бог однажды пожелал создать свободные существа, такие как человека, — то Он может

дать им все необходимое, постоянно присматривать за ними, и всегда быть готовым прийти к ним на помощь. Однако время от времени Он будет вновь отводить свою водительствующую десницу и на мгновение предоставлять их самим себе; ибо в противном случае они перестали бы быть свободны. Приблизительно так, как если бы мать хотела научить свое чадо ходить: сперва она будет заботливо и бережно его поддерживать, будет также смотреть, не слишком ли тверда земля впереди малыша, чтобы возможное падение не могло ему слишком навредить. В течение некоторого времени она будет так о нем заботиться, однако в конце концов она его отпустит, отойдя на несколько шагов назад, чтобы посмотреть, не сможет ли дитя уже само на собственных ножках подойти к ней. Излишне будет добавлять, что она и теперь еще будет с вниманием и озабоченностью наблюдать за ним, дабы, если дитя вдруг действительно упадет, тут же броситься к нему на помощь. Таким приблизительно, или же весьма похожим и столь же простым, является отношение Бога не только к отдельному человеку, но также и ко всему человеческому роду в целом — в Его высшем водительстве и в божественном воспитании человеческого рода, которое равным образом имеет свои стадии и свой естественный поступенный ход развития (точно так же как этот естественный ход развития положен в основу воспитания у людей и как он наблюдается во всех без исключения произведениях природы). Допустим, что Бог хотел сотворить не только свободных и чистых духов, но что Он равным образом хотел создать и природу (а что Он этого хотел, есть факт, который мы имеем перед нашими глазами); если Он, следовательно, наряду с миром духов, действительно создал также и природу, т. е. живую, плодоносящую силу, которая должна теперь развиваться и распространяться далее, — то эта природа, конечно, не должна и не может рассматриваться как самостоятельная, поскольку она не могла начаться из самой себя; и она могла бы двигаться лишь как слепая сила и, как таковая, выражаться лишь в разрушительном и опустошительном действии, если бы благой Творец не поставил перед ней светлой цели, которой ее силе надлежит в конечном итоге достичь в своем восходящем движении. Равным образом, в отличии от человека, она не свободна, однако она и не является всего лишь мертвым часовым механизмом, который — будучи однажды заведен — продолжает свое механическое движение до тех пор, пока наконец не израсходует весь запас хода. В ней есть жизнь, и если те или иные абстрактные и поверхностные мыслители не

захотели этого признать и даже решительно отвергли саму эту идею, то всеобщее человеческое чувство, напротив, постоянно с ними не согласно. Мы прекрасно ощущаем, что в дереве, которое вольно колышет в свободном воздухе всеми своими ветвями и сучьями, листьями и цветами, шумит жизнь, и что оно живое, в отличие от сколь угодно искусно устроенных, однако все же мертвых, часов. Глубокое естествознание прекрасно это осознает и показывает нам, что, например, растения тоже спят, что им так же поистине свойственно оплодотворение и рождение, как и животным, хотя и несколько иным образом. Более того, сама природа в целом есть такое дерево жизни, чьи листья и цветы непрестанно раскрываются, вбирают в себя пищу из напоенного бальзамом живительного небесного воздуха; чьи ветви движутся и колышутся; чей сок из глубоко сокрытого корня поднимается по стволу, и в чьей кроне шумят незримые силы. Легковесным и поверхностным, да и в самом своем основании ложным естествознанием следует признать то, которое всю природу со всем ее чудесным великолепием, коим наградил ее Творец, рассматривает всего лишь как мертвый часовой механизм, где в такой системе сам Творец выступает как великий мастер механики, хоть в его распоряжении и находятся бесконечные силы, и где Он, однако, если бы все это представляло собой лишь мертвый механизм, составленный сплошь из мертвых частей, был бы представлен как не более чем всемогущий часовых дел мастер, если можно позволить себе столь нелепое выражение, дабы возможно точнее обозначить всю искаженность и извращенность такого абсурдного воззрения. Если же мы, по своей ограниченности, должны будем применить столь ничтожные и почти ребяческие, взятые от человека подобия — к Творцу природы, то давайте лучше уподобим Его всезнающему садовнику, Который, однако, сам создал те деревья и цветы, которые насаждает, и даже весенний воздух и бодрящую росу, и живительный дождь, и даже солнечные лучи, так что у нас едва ли есть право сравнивать Его с таким создателем мертвых машин.

Если, теперь, в природе есть жизнь, то в ней есть и живое развитие, о чем свидетельствует очевидность и что принимает на веру общечеловеческое чувство. Существует равномерный ход развития этой жизни, внутренний закон движения. Конечно, не только начало и конец природы находятся во власти Творца. Также и в середине и повсюду может вмешиваться воля Всемогущего — там, и тогда, и так, как Он этого захочет. Он может

внезапно остановить это естественное развитие, притормозить бег природы, или же внезапно разбудить или вновь оживить то, что прежде стояло на месте или было мертво; Он способен вообще отменять действие законов природы, или же непосредственно в них вмешиваться, что, как правило, проявляется в том или ином высшем исключительном акте, отменяющем действие природного закона: ибо как в гражданской жизни тот, кто дал законы, может также в отдельных случаях отменять их действие, или распорядиться о некотором особом исключении из них, в точности так же обстоит дело и здесь. Такие отдельные или местами происходящие воздействия высшей силы или вмешательства ее в природный порядок — и есть по сути то, что обосновывает и образует собой понятие чудес, возможности которых в целом здравый и естественный человеческий смысл, пожалуй, никогда не отрицал. Если бы, однако, это не были исключения и не мыслились бы как именно таковые: как исключения из обычного действия естественных законов, — то они и не были бы чудесами, и само это понятие в целом в свою очередь упразднилось бы. Правда, здесь необходимо отметить, что эти чудесные исключения из природных законов отнюдь не всегда должны мыслиться как «противные» природе, однако их всегда следует мыслить как стоящие «над» природой и выходящие за рамки ее естественного масштаба. Таким образом, они суть исключения, при которых естественный ход и течение живого развития в целом остаются в силе; равно как и вполне соответствует мудрости земного Творца, если Он хочет поддерживать эту земную природу своим всемогуществом в однажды предписанном порядке до тех пор, пока ей суждено длиться и пока она не приблизится к своему концу. Против этого можно было бы возразить, что по сути дела это одно и то же: природные законы точно так же исходят от Творца, как и исключения, называемые чудесами, и также и сами эти законы в высшей степени удивительны. Это совершенно верно, и потому человек собственно не должен быть слишком падок на чудеса; но тем не менее, есть существенная разница между непосредственным воздействием — и тем, когда Творец производит на свет живую силу, вкладывает в эту новозданную сущность внутренний закон развития и после этого предоставляет дальнейшее развитие самой этой силе и ее собственному ходу. Если такая сущность, как эта земная природа, имеет смешанное строение, составленное из принципа разрушения и силы плодотворного развития и вечного созидания, если ее жизнь проходит в непрестанной борьбе со

смертью, — тогда понятно само собой, что лишь та же самая рука, что дала ей ее закон и предписала ей ее порядок, может сохранять и поддерживать в ней высший порядок и обеспечивать дальнейшее развитие целого, сохраняя его перед лицом вновь и вновь угрожающих разразиться вспышек элементарного разрушения и сдерживая эти последние. Если же этого не происходит, если порой разрушительная сила необузданных стихий бывает отпущена на волю (ибо на Земле до сих пор хранятся следы и свидетельства того, что подобное уже не раз и в полной мере происходило), — то в таком случае именно это рассматривается как исключение и объясняется высшими основаниями божественного попущения; несмотря на то, что это в совершенно ином роде, в качестве божественного суда над природой, может быть названо исключением и чудом, в отличие от других так называемых чудес, где высшая божественная сила, исцеляя или животворя, поднимает природу высоко над ходом ее собственного развития и над нею самою.

Таким образом, думается мне, следует все в природе относить к Творцу и Правителю мира, как в отношении хода его обычного развития, так и имея в виду необычные явления и следы более высокого, более непосредственного божественного воздействия; тем не менее, при этом следует рассматривать природу как живую силу со способностью к собственному развитию. Природа не свободна, в отличие от человека, имеющего возможность осознанного и лично совершаемого выбора; однако, как и всякая жизнь, она уже несет в себе росток свободного движения и развития, как во всей сколь-нибудь развитой жизни уже заключено и начинает свое первое движение дремлющее сознание, — точно так же и начало свободы или, по крайней мере, ее предварительная ступень в природе если не выражена в совершенстве, то по меньшей мере намечена, и в этом отношении она поистине может быть рассматриваема как преддверие свободы, которая затем, наконец, сама в полной мере выступает в созданном по божественному подобию человеку как венце всего земного творения. Если смотреть с другой стороны, чувственный мир вообще есть лишь маскирующий покров мира духов, легко подвижное, почти прозрачное и всегда значительное одеяние незримых сил. Никким образом природу нельзя рассматривать как собственно самостоятельную, или независимую от своего Творца; нигде, следовательно, она не может мыслиться изолированно и без отношения к чему-то высшему, но всюду — как живая сила и как

значимая (в двух отношениях — изнутри и снаружи — значимая), на что как раз и указывает подобие о книге, исписанной снаружи и изнутри. Обе эти идеи: о свободе воли человека и о живом развитии природы — должны быть положены в основу и служить точками опоры везде, где будет совершаться попытка указать на божественный порядок в природе. И потому они были предпосланы также и здесь, поскольку должны стать темой настоящего рассмотрения. Поскольку, далее, это указание на божественный порядок в природе уже само по себе выглядит как содержащее некий род теодицеи (в той мере, в какой последняя может быть достижима для человеческих сил), — то я, со своей стороны, предпочел бы лучше иметь перед глазами некую теодицею для чувства, созданную в духе любви, нежели какую-либо искусственную гипотезу, в которой делаются глубокомысленные попытки вложить в природу множество намерений Бога, о коих невозможно ни точно знать, ни определенно указать, действительно ли таковы намерения Бога, или они лишь заслуживают называться таковыми, ни даже того, действительно ли они в этом виде содержатся в природе. Во всем этом предмете и во всей сфере мышления не следует стремиться дать всему слишком точное и в особенности слишком систематическое определение. Преимущественно же следует опасаться переносить ту логическую необходимость, которая является прирожденной для нас и которая стала для нас неизбежным подспорьем в нашей ограниченности, далее на внешнюю природу, или даже на Бога, как это делают столь многие мыслители, что может привести лишь к фантому судьбы, к ложной идее о слепом роке. Напротив, в человеческой груди живут известные вопрошающие чувства, которые часто пробуждаются при созерцании природы, и которые далеко еще нельзя отнести ни к сомнениям, ни к упрекам; по меньшей мере, они не являются научно и категорически сформулированными и определенно высказанными, однако именно поэтому они тем более представляются требующими ответа. Жалобный крик беззащитного и безобидного животного, убиваемого человеком, и с другой стороны, — злобное шипение ядовитой змеи, отвратительное зрелище кишаших червей в разлагающемся труп; таковы немые восклицания, которые словно хранят на устах немой вопрос: «Разве это можно назвать произведениями, творениями совершенного существа, высшего духа»? Страдания животных, конечно, представляют собой тему для человеческого размышления,

и я не мог бы согласиться, если бы этот предмет пожелали отместить как не стоящий долгого обсуждения, наряду с самой темой сочувствия к животным. Здесь, собственно, решается вопрос о душе животных, и конечно же, было бы отнюдь не недостойно философии, если бы ей удалось наметить некий срединный путь, коим следовало здесь двинуться, между чрезмерными поверьями древнейших народов и бесчувствием современной науки, которая ни перед чем не благоговеет и не способна ни сочувствовать боли, ни вообще понимать что бы то ни было, что не обладает в совершенной точности и в той же самой мере именно таким же характером человеческой разумности. Напротив, в индийском учении о переселении душ животным не только приписывается бессмертная душа, но также и принимается на веру, что души людей — в качестве наказания за прошлые прегрешения — заключаются в тела животных. Однако, сколь бы прекрасным ни было щадящее чувство сострадания к животным, которое порождается этим воззрением и потому рассматривается как священный долг: все же само это произвольное предположение и преувеличенное распространение понятия бессмертия душ на наших земных животных не может быть ничем ни обосновано, ни оправдано; да и кроме того, в качестве состояния обреченных на такое наказание человеческих душ, подобная гипотеза совершенно несовместима с божественным порядком: ибо такое, пусть даже временное, наказание для душ умерших не несло бы благотворного результата очищения или предварительного опыта, а следовательно, было бы совершенно бессмысленным и абсурдным. Вообще представляется сомнительным, можно ли действительно приписывать животным индивидуальную душу. Правда, в случае с теми видами животных, которые наиболее часто окружают человека, вследствие некоего рода духовной инфекции, можно утверждать, что они приобретают вид индивидуальности и характерных различий отдельных индивидуумов: как инстинкт в навыках животных представляет собой слабый аналог разума и как мелодическое чувство и его проявления у некоторых из них я в том же самом смысле назвал начатками фантазии. У тех же видов, которые без вмешательства извне твердо сохраняют свои природные признаки, весь род имеет один и тот же характер, а следовательно, и одну и ту же общую душу. Весь вид есть лишь Один индивидуум; различные же виды следовало бы тогда рассматривать как различные жизненные формы всеобщей

органической силы и одушевленной природы, — поскольку никоим образом нельзя допустить предположения о бессмертии отдельных душ животных.

Среди этих вопрошающих чувств, как я назвал их выше, о природе и одушевленном в ней, я обращусь сперва к только что приведенному примеру о червях разложения; ибо здесь отчетливее всего видно, что сама природа есть нечто живое. Живое настолько и в такой степени, что она даже в смерти и в разложении, в гниении и в болезни все еще производит впечатление живого и, в свою очередь, порождает живое. Правда, последнее есть лишь жизнь самой низшей ступени — ложная жизнь, если хотите, однако — тем не менее, жизнь. Можно ли теперь рассматривать столь болезненные порождения природы, как, например, червей, которые при известных болезнях заводятся в человеческих внутренностях, как истинные творения? Они суть не что иное, как распавшийся, разложившийся материал жизни, который, однако, даже в разложении все еще продолжает быть живым. И сказанное не ограничивается лишь органическим разложением и болезнью. Так же и стихия, свежая вода источника, есть нечто живое. И чем более она такова, тем более она прозрачна и хороша, тем чище она от тех лишь под микроскопом различных крошечных животных, которые в тем большей степени наполняют ее собой, чем дольше та застаивается и загнивает, пока, наконец, они, при все более усиливающемся разложении воды (например, когда питьевая вода слишком долго хранится на кораблях) вырастают до больших размеров и теперь уже плавают в ней как видимые глазу черви. И во многих иных отношениях такое рождение червей и паразитов из гнилой среды подтверждается как всеобщий природный принцип. Не являются ли также и те стаи саранчи, которые, представляя собой бич для всей Азии, застилают небо плотными черными тучами, — неким болезненным порождением воздуха, перешедшего под воздействием того или иного инфицирующего элемента к разложению, вошедшего в процесс распада? То, что даже и этот наш воздух, и эта наша земная атмосфера представляет собой нечто живое и, более того, нечто всецело и совершенно живое, однако имеющее в высшей степени смешанную природу и состав, где упоительное и сладостное весеннее дыхание в хаотической борьбе перемежается с иссушающим ветром пустыни и с множеством ядовитых испарений, я предполагаю здесь как нечто известное. И что представляет собой это инфицирующее начало, если не живое распространение смерти,

гниения и разложения? Не представляют ли собой многие яды, в особенности животные, нечто поистине живое? Нет ли у нас права распространить это воззрение и факт болезненных порождений ложной жизни и червей разложения далее, на прочие злокачественные продукты природы? Нельзя ли было бы взглянуть, например, на змей как на такие болезненные порождения и словно бы паразитов чрева Земли? То, что и враждебные духи оказывают на природу известное влияние, и в иных местах это вредоносное воздействие весьма явственно ощутимо, — едва ли возможно будет отрицать. Даже обезьян некоторые считают уже не столько первоначальным творением, сколько сатанинской и злобной пародией на человека, сделанной из зависти к любимцу и избраннику Бога в земном творении. То, что князь мира сего (каковое выражение следует понимать отнюдь не только в отношении павшего мира людей, но весьма четко и определенно распространять его также и на всю нынешнюю природу и весь подвергшийся порче чувственный мир) порой до известной степени может оказывать ядовитое и тлетворное воздействие на производящую силу этой разложившейся и павшей природы; что таким образом в природе существует производящая сила зла, — едва ли может быть отрицаемо и отнюдь не противоречит откровению. Следует лишь мыслить себе это тлетворное воздействие заключенным в определенные границы; ибо Тот, Кому подчинен сей мир, а с ним и князь мира сего, по мудрости Своей, как и при всяком ином попусчении зла, должно быть, уже установил этому ядовитому воздействию определенную меру и цель. Как минимум, у нас нет права в полной мере и безоговорочно предполагать и верить, что мы все еще имеем перед собой совершенно чистый и неиспорченный божественный текст в книге природы, — в том виде, как он первоначально вышел из рук Творца. Для вынесения суждения о божественном порядке в природе весьма важно не упустить из вида это соображение. И потому столь важным является то различие, которое заключает в себе ранее уже упомянутое выражение в Моисеевой истории Творения: «Да произведет земля...» и т.д.. Дабы не все произведения этой Земли, ныне столь несовершенной, подчас болезненной, а отчасти же вполне видимым образом стоящей под враждебными влияниями, природы, были бы немедленно приписываемы непосредственно мудрости Творца. Иные писатели, которые хоть и имеют доброе намерение продемонстрировать божественный порядок в природе и защитить его против упреков человеческой дерзости, ошибаются в том, что слишком

резко ставят во главу угла чересчур узкое воззрение в весьма рискованных утверждениях, совершенно выпуская из вида это Моисеево, по виду весьма незначительное, однако по существу в высшей степени существенное различие, — и таким образом, приобретают более противников тому делу, которому хотели бы послужить, нежели приносят ему пользу. Лучшее разрешение таких сомнений, наиболее удовлетворительный ответ на все подобные вопросы или вопрошающие чувства кроется в цели теперешней природы в целом, и [искать его следует] исходя из ее тройственного характера и троичного назначения ее бытия (как на то уже прежде указывалось), согласно коему эта нынешняя земная природа прежде всего есть и должна служить благодатным могильным покровом и спасительным мостом через бездну вечной смерти. Однако это мост, который нельзя представлять себе столь уж простым, прямым и широким, как те, что сделаны человеческими руками; но это есть многосложный, разделяющийся на множество отраслей и ветвей, и сам по себе одушевленный и живой мост жизни, порой имеющий в ширину не более ступни, где легко, оступившись, сорваться в бездну. Во-вторых же, природа — согласно этому основывающемуся на поступательном движении и направленному на него воззрению — есть чудесная мастерская многократного и многообразного всеобщего перерождения; и наконец, перед нами открывается сияющая лестница воскресения, ведущая к самому высшему и последнему земному просветлению. Эту мастерскую следует искать по большей части в сокровенной глубине природы, тогда как лестница может быть явственно зрима и распознаваема даже в великолепной внешней структуре всех органических образований. Если же природа, как можно и должно предполагать, согласно первоначальному намерению и сотворению, была раем для созданных еще ранее блаженных духов и первородных сынов света, — то все же она не осталась таковым навсегда и уже не является им ныне, точно так же как и Первый Человек не остался пребывать в раю. Правда, тут и там, во многих местах по Земле рассыпано множество чудесных красот, которые по меньшей мере производят на нас впечатление мимолетных образов райской невинности, ускользающих аккордов более чистого мира, ностальгических воспоминаний о блаженном детстве творения. Однако после сокрушительного набега сил мрака и враждебных духов природа также была разорена и предана запустению. Сад Земли, в который был помещен Первый Человек, дабы «возделывать и охранять его», носит название рая. И конечно же, он был бес-

конечно красивее, чудеснее, чище и живее, нежели все то, что в благословенных местах Земли все еще представляется нам почти небесной природной красотой. Однако все это говорится лишь о непосредственном окружении, о ближайшем месте жительства, об этом саде, омываемом четырьмя источниками, об этой избранной и благословенной Богом части Земли. Вся прочая природа и вся остальная Земля тогда уже не могла называться раем, ибо как иначе смогла бы тут же пробраться в него змея? Так что, согласно простому смыслу этих указаний, скорее уж древний змей является глубинным средоточием природы. И не состояло ли заодно предназначение человека, по меньшей мере одной его природной стороны, в том, чтобы он, продвигаясь от этой начальной точки приготовленного для него и данного ему рая, превратил бы в рай также и всю остальную Землю? Однако этого своего предназначения он не выполнил, и тем самым он утратил также и это свое начало и твердый фундамент первого рая. Названия четырех источников следует, пожалуй, искать в областях Азии, которые отчасти и поныне еще могут считаться самыми благословенными землями, и которые вместе с тем были ранее всего заселены. Однако тот единый источник, от которого все они произошли, исчез, и нигде не может быть найден. Так что и здесь, на Земле, в этом человеческом жилище, вместе с потерей рая изменилось и все вообще.

Путь возвращения из нынешнего запущенного или, если хотите, опустившегося и униженного, отчасти недужного и немощного состояния этого земного чувственного мира (а этот путь возвращения как раз и есть божественный порядок и ход его осуществления в природе) обозначен теперь тремя ступенями его внутреннего характера, стремления и его высшего предназначения. И в этом характере и устремлении, а также в цели всего целого — единственно и следует искать и находить ключ, разгадку и ответы на столь многие природные вопросы в творении, которые не только занимают собой любознательный рассудок, но и в гораздо большей мере привлекают к себе сочувствующую душу человека, часто посещая ее в минуты сомнений и надежд и предчувствий. Я сознательно сказал «ответы на многие вопросы», но не сказал «на все»; ибо, сообразно ходу и совокупному устройению человеческих вещей, невозможно ответить на все эти вопросы удовлетворительно и уже ныне, с точки зрения теперешней науки, или вообще в рамках этой тесно ограниченной, краткой и на все стороны близорукой земной жизни. Именно поэтому любая попытка дать полное

и всецело систематическое доказательство божественного порядка в природе, где с исчерпывающей подробностью объяснялось бы все и вся, не смогла бы произвести на меня никакого впечатления и едва ли внушила бы мне доверие. Многому в природе еще долгое время суждено будет оставаться для нас сокрытым и темным; многое мы сможем увидеть, лишь оказавшись по ту сторону, лишь после того как смерть откроет нам глаза, так или иначе наделив нас даром ясновидения. Однако начало и конец уже здесь и прямо сейчас представлены нам в полнейшей ясности, если мы этого хотим и, придерживаясь данного нам света, относим начало и конец — здесь так же, как и повсюду — к Творцу и Богу. Без такого отношения, без этих двух конечных пунктов в Боге, невозможно прояснить смысл совокупной природы, а всякое научное устремление достичь этой цели без Бога так или иначе было и будет совершенно напрасным и противным разуму. Именно поэтому происходит так, что мы (сколько бы странно это ни звучало) много лучше способны понимать и с большей ясностью можем познавать цель творения в целом, его смысл и значение, — нежели цель того или иного отдельного предмета в природе, который в сравнении с целым выглядит лишь малым и незначительным. Ибо эта ясность в отношении цели природы происходит непосредственно из света Божьего, который мы, насколько это нам дано, способны видеть, а стало быть, в этой мере также и понимать. Однако в мрачных проходах, в подземных шахтах темного чувственного мира свет пророческого светильника, прилежно и настойчиво выполняющего свою проходческую работу естествознания (даже если предположить, что этот светильник отчасти был зажжен от высшего света), не может проникнуть повсюду, не в силах осветить все в этом подземелье мрака.

Цель же творения в том совершенно ясном и понятном виде, как она нам дана, четче всего может проступить перед нами в результате сравнения и противопоставления этой же самой цели — в том виде, как она в качестве самовымышленной представляется разуму. Если ранее уже приведенное объяснение одного из последних немецких философов о том, что сущность духа состоит в отрицании противоположного (я уже тогда заранее сослался на него) относится к несотворенным духам и Творцу мира, то заложенный в него смысл таков: это противоположное Богу или Творцу есть Ничто, и мы совершенно правы, коль скоро не можем обойтись без утверждения о том, что Бог создал мир из ничего. Ибо если бы мы, подобно некоторым философам древности, за-

хотели предположить некую от века существующую материю, из которой божественный рассудок не столько создал, сколько вылепил и сформировал мир, — то в результате мы имели бы двух, и к тому же двух несовершенных и ограниченных богов, вместо Одного совершенного и самодостаточного Бога. Если же Бог есть только Не-Ничто, и цель творения есть лишь отрицание Ничто: то, во-первых, Ничто тем самым приписывается некий род вымышленного бытия; и затем, это значило бы, что мир создан для того, чтобы упразднить Ничто, или избежать вечной пустоты, что означало бы приблизительно то же самое (если позволить себе смелость такого лессингианского выражения), как если бы мы захотели сказать: Бог создал мир от скуки. Повсюду скептические воззрения и отрицания пустого идеализма ведут, таким образом, к абсурдному Ничто. Поистине Бог создал мир из любви и от избытка любви; у нас есть право так сказать, и более того, мы можем считать это фактом и полагать, что это так и есть, и что божественная любовь есть цель всего творения. Преизбыток же любви в Боге должен быть назван целью или основанием творения. Ибо Он не нуждался ни в любви творения, ни в самом творении, ни вообще в мире. Ибо Он Сам мог быть вполне достаточен для Себя в Своей внутренней сущности, где одна бездна вечной любви вечно и полно откликается на зов другой. Тем не менее, однако, это именно так, и этот преизбыток любви действительно присутствует в Боге; ибо Он создал мир; и Он хочет, чтобы Его творения любили Его, ибо именно для этого Он их и создал; а поскольку Он хочет их любви, Он создал их свободными — свободных духов, а также человека со свободной волей. Вся тайна отношения сотворенных существ, и в особенности человека, к Богу — заключается в том, что Он создал их из любви, что Он хочет, чтобы они Его любили. Возможно, в этом требовании и в этом отношении слабого, несовершенного создания и требующего к себе любви Всемогушества есть нечто вызывающее ужас. Однако же это именно так: мы действительно свободны и, стало быть, Бог действительно призывает нас любить Его. Свободным же сотворенное и конечное существо может быть лишь настолько, насколько это позволяет ему Бог. Последнее следует мыслить себе совершенно так, как в ранее приведенном подобии о любящей матери, которая желает научить свое дитя ходить и которая ради этой цели опускает его на мгновение и отходит на несколько шагов. Ни одно существо не было бы свободным, если бы Бог подобным

образом не предоставлял ему свободу, словно бы устранив от него после первого импульса творения, т. е. сдерживая Свою собственную силу. Если бы Он не поступал так, но безо всякой оглядки всей мощью Своего всемогущества постоянно воздействовал на это существо, то для последнего, всецело подавленного всемогуществом, не оставалось бы никакой свободы, которая становится возможной лишь благодаря самоограничению Бога, происходящему из избытка творческой любви. Далее, мы, конечно, можем различать в силе или в сущности Бога рассудок и волю, всеведение и всемогущество; однако всецело оторвать их друг от друга мы не можем и не имеем права, ибо они суть Одно в Нем и в Его деяниях, как и все в Нем есть Одно. Поэтому было бы совершенно пустой и лишеной всякого содержания мыслью, если бы мы, ломая себе голову, захотели бы спросить: «Зачем же Он создал этих духов, если Он знал, что они отпадут от Него и будут навеки потеряны?» Это всего лишь логическое заблуждение, при котором мы переносим наш образ мысли, колеблющийся посередине между мыслимым возможным и видимостью необходимости, также и на Бога. Наша свобода состоит именно в выборе между одной и другой возможностью, или также в той неопределенной возможности, которая остается посередине между одной и другой необходимостью. Однако Его свобода не есть наша свобода. В Боге нет ни пустой возможности, ни безусловной необходимости; но в Нем все поистине действительно, живо и позитивно. Его свобода заключается как раз в этом избытке, то есть в том, что Он не связан внутренним законом божественной необходимости, чтобы удовлетвориться одной лишь собственной внутренней полнотой. Иначе это был бы более фатум, нежели живой и свободный Бог. И к этому также сводилось, например, учение стоиков. Было бы весьма трудно в такой системе и при таком понятии о внутренне необходимом и привязанном к этой необходимости Божестве связать и соединить с ним сотворение мира как по видимости противоречащее самодостаточности Бога. Поэтому авторы некоторых из таких систем разума древних эпох и пришли к идее приписать сотворение мира некоему подчиненному духу, и этого второго бога — в качестве творца мира, или демиурга — низвести и поставить глубоко ниже совершенства высшего и самодостаточного Бога; в результате чего, как это довольно часто происходит, из одного заблуждения они впали в другое, и теперь уже совершенно невероятное. Но не что иное, как именно логический обман и перенесение нашего ограниченного образа

мысли на божественную сущность — порождает эти пагубные учения о безусловном предопределении, которые по сути вновь возвращают нас к слепому языческому фатализму.

Сказанного в данной взаимосвязи о столь сложной материи свободы — как в отношении свободных духов, так и свободы воли человека (если смотреть на нее с философской точки зрения, и не в связи с нравственным учением, но лишь в отношении к творению в целом) — будет вполне достаточно. Трудной же эта материя является лишь потому, что тот логический обман, из коего происходят путаница, спор и заблуждение, является до такой степени врожденным для нашего ограниченного образа мысли, который мы затем переносим и на Творца, что даже после того как он давно уже распознан и признан тем, чем является, мы все же вновь и вновь продолжаем весьма легко и неприметно впадать в него — всякий раз, когда останавливаемся на одном лишь логическом мышлении.

Как, теперь, сотворение свободных существ совершенно естественно происходит из любви Бога как цели творения, — точно так же и допущение зла есть всего лишь следствие свободы, в которой сотворенным существам надлежит удерживаться на протяжении всего отведенного им времени. Ибо эта свобода — вместе с ее отношением к Богу и будущему, или даже к собственному бессмертию души есть не что иное, как период испытания и само состояние этого испытания. Если бы, поэтому, человек захотел спросить: «Почему же Бог не уничтожит, как Он легко мог бы, одним лишь Своим карающим взглядом, одним лишь дыханием Своего всемогущества, все это сборище отпадших духов, вместе с их главой, князем мира сего, и таким образом не очистит внешнее творение и зримую природу от их опустошительного влияния?» — то ему можно было бы ответить попросту следующее: что человек призван в этот мир для борьбы, и что эта борьба еще не завершена; и что также и живое развитие природы — в том его направлении, в котором Бог намеревается вести его вверх до конечного просветления и преображения — не должно быть ни слишком поспешным, ни прерванным на середине, покуда не настанет время, когда Бог сотворит новое небо и новую Землю, как сказано в Откровении, и тем самым завершится творение в целом.

Человек свободен, однако совершенно не готовы и отнюдь еще не завершены природа, или чувственный мир, и материальное творение; и потому бессмертие души есть последний камень и равным образом ключ к пониманию целого, поскольку

ку это — всего лишь начало — творения оставалось бы непонятым без другого, конечного пункта завершения в будущем; и равным образом одна половина человеческой жизни по сю сторону не может быть понята, не будучи дополнена другой половиной по ту сторону, для объяснения целого. Как божественное попущение зла в состоянии испытания свободой и в последней цели любви в творении, точно так же и все страдания свободных существ находят в ней свое объяснение и ключ к своей разгадке. Ибо не существует бесцельных страданий свободных существ — ни по эту, ни по ту сторону: все они служат испытанию, упражнению и укреплению в этом земном предуготовительном состоянии, или же очищению от всякого рода шлаков и совершенному спасению души. Почти никогда материал болезни не может быть выделен и удален из тела без борьбы, и очень редко — без боли; в огне очищается золото; боль же есть очистительный пламень души. Эта вера менее всего когда-либо должна была вызывать сомнения, ибо она столь полно соответствует простому человеческому чувству; ибо сколь тесно ограниченными в противном случае были бы наши надежды на будущее, если ничто нечистое не может войти в небо, т. е. в святыню присутствия и лицезрения Бога! В мое намерение не может входить сделать предметом спора эту успокаивающую и потому блаженную надежду взыскующего любви сердца, что лежало бы всецело вне моей сферы. Я хочу лишь напомнить о том, что в изречении: «В доме Отца Моего обителей много», — под домом, безусловно, нужно понимать также и потусторонний мир. Следовательно, также и там, как и здесь, множество отделений и ступеней, различные состояния и разнообразные переходы следует принимать не только как возможные и мыслимые, но также и как действительно существующие, хотя нам и следует воздерживаться от всякого преждевременного и поспешного вывода обо всем, что касается этого сокровенного региона. Я хочу лишь сказать, что прямая, проходящая через центр, где по одну сторону от нее лежит черное, а по другую белое, весьма редко бывает линией истины, и таково мое убеждение во всех отношениях и во всяком применении; напротив, эта проходящая посередине между черным и белым прямая линия резкого противопоставления есть всего лишь одно из наших врожденных интеллектуальных заблуждений, в силу коих мы столь легко и охотно переносим наш ограниченный образ мысли на всю вселенную. Таким образом, все страдания и всякие болезни в творении,

как по сю, так и по ту сторону, служат упражнению и укреплению, исцелению и очищению еще несовершенного существа, за исключением одного лишь несчастья: быть всецело и навечно предоставленным самому себе. Но и здесь все еще, пусть и без надежды на благотворный результат, имеет место некий род обратной целесообразности. Поскольку задача философии состоит в постижении одних лишь крайних точек природы, в которых, собственно, заключены смысл и значение всего целого (ибо все остальное, срединное пространство внутреннего развития жизни она охотно оставляет на долю физики), то здесь, пожалуй, будет вполне уместно (после того как в раю как в блаженном детском состоянии еще невинного творения, перед восстанием отпадших духов против Бога и перед отпадением первого человека, мы обозначили одну конечную точку природы и земного творения) в нескольких словах коснуться теперь также и региона кромешной тьмы (*äussersten Finsterniss*) — в качестве другой, противоположной конечной точки. Конечно, здесь следует признать, что образные представления не только художников и поэтов, но, возможно, также и риториков, бывают зачастую яркими до резкости и довольно неуклюже скомпонованными; их краски накладываются столь толстым слоем, что целое тем самым в результате приобретает скорее невероятный облик, и потому зачастую не способно произвести сколь-нибудь глубокого впечатления. Однако духовное значение этих страданий и тот род целесообразности, который даже и в этом противоестественном состоянии, на крайних пределах творения Бога, все еще имеет место, — могут быть, возможно, легче всего пояснены другим, хотя и также весьма простым, подобием. Конечно, даже земной отец с большим трудом решится выгнать из дома и лишит наследства по суду своего любимого и первородного, однако совершенно отбившегося от рук и неудавшегося сына; если даже земной отец мог бы поспешить со своим родительским гневом и быть в нем чрезмерно суровым или несправедливым, то мы можем смело предполагать, что Небесный Отец, безусловно, далеко превосходит Своим снисхождением и Своей благостью всякую отеческую любовь в земном мире. Если же, однако, действительно дело доходит до означенных обстоятельств, то лишенный наследства исторгается теперь в кромешную тьму, а затем попадает в банду разбойников, которая в ночи рыскает вокруг дома его отца, чтобы разузнать, каким образом можно было бы в него пробраться. Для него не останется теперь никакого

иного выбора, кроме как самому сделаться разбойником: он должен будет теперь, хочет он того или нет, следовать за главарем разбойников и подчиняться ему; при том же, что он лучше воспитан и мягок от природы, ему придется претерпеть множество унижений, прежде чем он станет таким же, как и остальные — столь же жестокосердным, как и эти убийцы от начала, которые, однако, будут все так же взирать на него с насмешкой и презрением. Тем самым я хочу сказать: необходимо множество ступеней, и, конечно же, весьма мучительных ступеней, прежде чем отверженный Богом человек целиком и полностью превратится в злого духа; и в этом, пожалуй, и состоит истинное значение и сущностный характер, в котором следует мыслить себе эти бесконечные муки духовного уничтожения и разрушения. Кстати, если вечная смерть часто обозначается как вечный огонь: то также и в этом (сколь бы неуклюжими и несуразными в остальном ни были входящие в частности образные представления о положении дел в потустороннем мире, даже если смотреть с естественнонаучной точки зрения) содержится нечто истинное, поскольку огонь вообще — и, в частности, в высшем мире и в видимой природе, — будучи взят сам по себе и в своей элементарной свободе, есть, собственно, стихия разрушения. В мягком воздействии Солнца и в одушевленной крови живых существ он содержится в виде связанном и смягченном до состояния благотворного жизненного тепла; действуя же сам по себе и в своей элементарной силе, он, напротив, становится разрушительным — и в этом отношении, скорее, противостоит всем прочим стихиям. К свету обращена всякая жизнь, в воздухе она дышит и пульсирует, от воды (по меньшей мере, отчасти) она даже питается; лишь случайным образом воздух и вода становятся разрушительными элементами; огонь же является таковым уже сам по себе. Целиком и полностью органическое животное, обитающее в пламени, вызвало бы у нас некоторый испуг, ибо такое животное стояло бы всецело вне границ знакомой и дружественной нам природы. Поэтому многие из древних философов и учили о конце зримого, внешнего чувственного мира в огне всеобщего сожжения.

Допущение зла непосредственно связано с сотворением свободных существ. Несмотря на то, что теперь мы можем рассматривать как факт, что Бог создал свободных духов, и что Он создал свободным также и человека, — все же следует весьма остерегаться и употреблять все возможное внимание, чтобы обойти далеко стороной любую идею вынужденности, или во-

ображаемой необходимости собственного изобретения, которую затем пытались бы вложить в помыслы Бога и приписать Ему, — и никоим образом не пытались представить дело так, будто Бог с необходимостью должен был творить свободные существа, и не мог сотворить свободными никакие иные, кроме тех, что были сотворены в действительности, что было бы совершенно неверно. Ибо кто мог или дерзнул бы ставить границы Его всемогуществу? Но именно это тут же и случается при всяком чересчур систематическом или просто логическом понимании этих предметов. Разве не мог Бог в Своем всемогуществе создать в том числе и такие силы и власти, которые, несмотря на то, что это были бы живые силы и одушевленные властные существа, тем не менее, были бы лишены способности определять самих себя и не обладали собственно свободой, а следовательно, нуждались бы в другом, пусть даже созданном ими же самими, духовном водителе? В этом смысле и говорится о тех или иных природных духах, одушевленных стихийных и элементарных силах, которые мыслятся как сперва увлеченные властью зла и попавшие под его владычество, однако затем освобожденные спасающей силой, вновь соединившиеся с Богом и подчинившиеся Ему. При этом следует обратить особое внимание на то, что везде и всюду в изречениях и скрытых указаниях вечной истины эта нынешняя земная природа изображается преимущественно как арена борьбы незримых сил, как все еще спорная территория, которую никак не могут поделить между собой сражающиеся с обеих сторон добрые и злые духи, силы и стихии. Не мог ли Бог, если бы Он того пожелал, уберечь другие созданные Им существа от опасностей свободы, удержав их подле Себя в совершенной святости, безо всякой опасности отпадения, в вечной любви? До сих пор везде, где я пытался дать более точную и отчетливую характеристику человеческого сознания через сравнение его с силами рассудка и воли сотворенных духов, я ради большей простоты подразумевал в таком противопоставлении всегда лишь собственно чистых духов, гениев и ангелов. Если же, однако, Богу было угодно создать и другие духовные природы, обладающие органическим телом, имеющие форму если и не человекоподобную, однако же, тем не менее, весьма благородную животную и, разумеется, наделенные бессмертной и вечной душой и способностью познания Бога — то кто дерзнет предписывать границы Его всемогуществу? Если, теперь, они были вышеозначенным образом созданы в совершенной святости и гарантированы от всякого отпадения, — то вполне понят-

но, что в этом отношении они должны были бы ставиться выше несовершенного человека и рассматриваться как принадлежащие более к царству духов, нежели к миру людей или нынешней природы. Все это не столько необоснованные предположения и простые причуды мысли, сколько, скорее, лишь слегка затронутые вопросы для объяснения относительно тех или иных преданий и мест Откровения. Если, наконец, Бог прежде и выше всех иных существ захотел создать одно еще более совершенное, нежели то с самого начала представшее перед ним как зеркало и отблеск Его собственного бесконечного совершенства (а некоторые слова Св. Писания, пожалуй, могут быть расценены как свидетельства чего-то подобного), — тогда вполне понятно, каким образом ранее приведенное древнее выражение о душе Бога могло бы иметь и лучшее истолкование. В любом случае, это стоящее над всеми сотворенными духами тварное существо должно пониматься как некая душа и более пассивная сущность; ибо в противном случае оно слишком близко подходило бы к самому Богу. И разумеется, что и без того всегда остающееся неизмеримым расстояние между Творцом и творением, будь это последнее даже и наисовершеннейшим, здесь должно быть принято во внимание самым тщательным образом. Также разумеется, что это выражение никогда не должно ни употребляться по отношению ко второму или к третьему Лицу Божества, ни смешиваться с ними, ибо в этом случае такое наименование сделалось бы совершенно ложным и негодным. Откровение содержит неизмеримую и неисчерпаемую бездну истин; и лишь на это я хотел мимоходом указать. В особенности же в качестве философской точки зрения следует принять тот постулат, что никоим образом не возможно представить себе полную меру величия и свободы, богатства и разнообразия Божьего творения. Систематически разграниченная и узкая классификация здесь также знаменуют собой смерть истины — равно как и та уже упомянутая, врожденная для человеческой формы суждения прямая линия, проходящая посредине между черным и белым; где, даже если она сама по себе не всегда совершенно неправильна, по обе стороны от нее остается все же много незатронутого и непонятого. В этом отношении я позволю себе коснуться еще одного, менее известного мнения, которое, если бы я не нашел его у самых величайших авторитетов в этой области, я едва ли рискнул бы здесь даже приводить, поскольку в этом регионе духовного знания лучше держаться простой основоположной истины, нежели уделять слишком много

внимания всего лишь мнениям. Его можно найти у св. Иеронима, т. е. у того самого отца Церкви, который в отношении своих теологических суждений считается едва ли не первым и величайшим из всех; у св. Франциска Сальского, святого мужа духовной любви, который именно в силу этого глубиной своего философского проникновения столь далеко превосходит многие сотни схоластиков до него и такое же великое множество идеологов после себя; и, наконец, у Лейбница, который среди всех философов обладал наибольшей тонкостью духовного такта, позволявшей ему вдумываться в самые потаенные сочленения великой, хотя отчасти и чуждой ему, мыслительной системы. Оно и без того остается лишь весьма проблематичным мнением, о котором ничего невозможно сказать с точки зрения позитивной веры, да и вообще нелегко что-либо решить. Оно заключается в том, что при восстании отпадших духов, в то время как благие и верные тем теснее примкнули к своему Творцу, было еще и значительное число тех, которые, нерешительно и робко колеблясь между добром и злом, выказывая, можно сказать, прямо-таки человеческий характер, сохраняли в этой борьбе нейтралитет и которые тем самым лишились своего первоначального места в иерархии небесного воинства, однако вместе с тем еще не принадлежали всецело к отверженным. В качестве четвертого авторитета, представляющего это мнение, я мог бы привести еще и Данте, Конечно, последний является прежде всего поэтом, однако поэтом богословски образованным, который никогда не позволил бы себе самовольно измыслить что-либо в таком роде, а также не усвоил бы ничего подобного со стороны, если бы не нашел таких идей у своих предшественников и не имел для своего заимствования основательного авторитета. Как добрый гибеллин, он не был сторонником нейтралитета, ни в этом, ни в другом мире; и он высказывает самое суровое осуждение в адрес этих существ, которых, как он говорит, исторгло небо, но которых не хочет принять к себе и преисподняя. Что же теперь можно было бы заключить в отношении этих неопределившихся духов, если бы мы поставили вопрос более философически хладнокровно, с точки зрения божественной экономики и любящей справедливости? Прежде всего, конечно, можно подумать, что их следовало бы подвергнуть очередному, новому испытанию: как полководец приказывает вновь и в другом месте вступить в бой тем батальонам, что выказали мало мужества в тот или иной несчастливый момент. Если бы можно было предположить, что эта или подобная ей мысль, или подобное

предание могло сыграть существенную роль в получившем столь широкое распространение в Индии учении о присносущности человеческих душ, которое встречается также у платоников и даже у некоторых христианских платоников первых веков: то было бы более понятно, каким образом кому-либо могло прийти в голову в целом столь произвольное предположение, столь беспочвенная гипотеза. Беспочвенной же ее следует назвать не просто потому, что она необоснованна, но потому, что она не сообразна природе предмета и самой души; так что она, даже будучи рассмотрена с этой стороны, если бы ее пришлось выдвинуть для того или иного отдельного случая, могла бы быть понята лишь как исключение из природного закона, как Божье чудо. Простая же присносущность одних лишь духов не была бы истинной присносущностью, ибо целое, будучи связано с дополняющей его душой, теперь представляло бы собой совершенно иное, новое существо. Кроме того, в этой гипотезе — в том виде как она представлена и получает дальнейшее развитие в индийском и платоновском учении — совершенно ложным образом понимается весь характер и истинное предназначение человеческой жизни, ибо последняя обозначается как место или временной период отбывания наказания, тогда как, напротив, поистине и философски ее можно и следует понимать лишь как арену борьбы и предварительную ступень, эпоху приготовления к вечности. Задача и предназначение философии состоит именно в том, чтобы не только просто и ясно высказывать истину, но, там где это может быть сделано мимоходом и без особых затруднений, также и объяснять значительные и серьезные заблуждения, в особенности древних и древнейших народов и эпох. Я должен признать, что среди этих также и в историческом плане значительных заблуждений, на мой взгляд, индийские и платоновские занимают особенно серьезное место. Философски объяснить заблуждение отнюдь не значит еще: не тратя лишних слов, выдворить его как абсурдное; дабы избавиться от него, следует сперва понять, т. е. до известной степени вникнуть в него и, напротив, отыскать в нем его лучший смысл, т. е. тот, что ближе всего стоит в нем к истине; затем же четко обозначить ту точку, где начинается заблуждение и где терпит урон истина.

В дальнейшем ко всему этому я более обращаться не намерен; здесь же я хотел лишь обратить внимание на чудесное разнообразие великого творения Бога, в том числе и в богатой теме бессмертия души, причем бесполезно будет затронуть

и различные воззрения на нее, дабы тем яснее понять и тверже удержать простую истину. В последнее время учение о бессмертии души (ибо ведь собственно индийское переселение душ — ныне уже в довольно точных деталях известное нам из источников — являет собой слишком мрачное и печальное зрелище, чтобы снискать у нашей эпохи веру и одобрение) обыкновенно истолковывали всецело в романтическом русле, пытаясь в живых красках представить потустороннюю жизнь как некий чудесный род астрономических прогулок от одной звезды к другой. Сколь бы маловероятным ни было теперь, с нашим ограниченным человеческим знанием, вынесение решения о такой возможности, в положительном или даже отрицательном смысле: все же было бы более благоразумным и, по человеческим масштабам знания, более подобающим, если бы человек даже и в этом отношении обращал свое око прежде всего лишь на себя и свое собственное жилище, Землю — исследуя, испытывая и предчувствуя, — нежели сразу начинал блуждать взором по всему звездному небу, поскольку то, чего он ищет вдалеке, возможно, находится к нему гораздо ближе, чем он думает; и, возможно, сама эта планета, наша Земля, заключает в своем сокровенном чреве, наряду со светлым посевом будущего воскресения, также и иные из таких подземных ходов и тайных обителей потусторонней смерти.

Теперь я оставляю эту тему, с тем чтобы позднее вернуться к ней более подробно. Здесь в завершение я хочу лишь добавить, что той уже неоднократно упомянутой лестнице, которая по отношению к Богу и к своему собственному живому развитию образует собой великую природную пирамиду, для человека, для его собственной потребности, по его ограниченному постижению и с его точки зрения — противостоит другая лестница природы. Согласно последней, природа есть прежде всего окружающая самого человека природа: то есть, в этом смысле, носящая и питающая нас планета, прежде всего наполненное жизнью и само живое жилище человека, с которым он все еще порой бывает весьма мало знаком. На второй ступени этого относящегося прежде всего к человеческой потребности природного воззрения и природопознания она постигается и понимается в том виде как она есть сейчас — как арена борьбы и даже поле битвы и спорная территория еще не решившейся и не закончившейся схватки между благими и злыми силами и духами; и чем более оживленной вновь начинает становиться эта борьба, тем более необходимо

было бы не оставить здесь совершенно без внимания и эту сторону предмета. Третья ступень природного воззрения для духа человека в его нынешней ограниченности есть та, в силу которой природа познается и понимается как зримый и повсюду украшенный иероглифическими символами покров незримого мира. И именно поскольку природа сама есть символическая сущность, она также может там, где речь заходит о ее внутренней жизни и о ее духе, или о ее значении как целого, т. е. где ее необходимо постичь и понять не просто физически, но также и философски, по большей части пониматься лишь символически, и говорить о ней можно лишь в научных подобиях и живых символах.





СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ

О божественном порядке в царстве истины; и о борьбе эпохи с заблуждением

Бог есть дух истины, и в царстве истины с особой ясностью просматриваются также божественный порядок и властвующий в нем закон вечной мудрости; здесь они очевидны с большей отчетливостью, нежели во все еще полутемном или, самое большее, окутанном светлыми сумерками, смешанном для нас из света и мрака регионе природы. Человек же, поставленный среди природы, образованный из праха земного, как первородный сын, или земной царь природы, есть также и с этой стороны природное существо; даже в своей восприимчивости к высшей истине он привязан к такому поступенному ходу естественного жизненного развития, который не может быть насильственно и произвольно прерван, и где невозможно, например, по желанию перепрыгнуть через ступень без того, чтобы за такое природопротивное движение не пришлось поплатиться. Ту же закономерность можно наблюдать уже в ходе воспитания, где явственно наличие естественных ступеней различных возрастов. В случае с подростком, который и без того при благоприятных задатках открыт и расположен к учению (если оно предлагается ему и насаждается в нем в правильной и живой форме), наставники стремятся еще более раскрыть и всемерно развить его ум, укрепляя его упражнениями и давая ему достаточное количество духовной пищи. Со стороны нравственной, воспитание здесь будет ограничиваться по большей части лишь тем, чтобы заложить основания добрых привычек, заботливо и тщательно искореня скверные и устраняя любые неблагоприятные влияния.

О принципах и умонастроении для этого еще не окрепшего ума пока едва ли может идти речь. Однако по-иному дело обстоит уже с юношей; ибо если здесь наряду с дальнейшим научным развитием одновременно не происходит укрепление нравственного характера на основе принципов и умонастроения, то это время навсегда упущено, и едва ли то, что не сделано сейчас, возможно будет наверстать когда-либо впоследствии. Если же эта ступень духовного и нравственного развития достигает своей цели, то лишь теперь молодой человек, чей дух начинает двигаться более свободно и приближается к зрелости, может быть приведен и поставлен под лучами полного света науки, а также самостоятельно выпущен во внешнюю реальную жизнь, для прохождения испытания на оселке личного опыта.

Также и в целом, и даже в историческом развитии и в чередовании времен можно проследить ту же последовательность ступеней; и таковы повсюду действительные ступени сознания для человека, каков он есть в наши дни. Сперва должно дать импульс уму и открыть чувства; затем необходимо направить душу к благому и божественному; к последнему не должно обращаться и прибегать с первого же удивленного взгляда, но божественное должно насаждаться и укореняться в душе с полнотой чувства и глубокой любовью к нему, дабы душа могла всецело преисполниться им, получив тем самым новый импульс и затем, храня верность истинной цели, навсегда оставаться обращенной к нему. И лишь теперь свободный дух может обратиться к самой божественной истине и постичь ее, действовать и поступать в соответствии с этим познанием и положением, занимаемым им в великом Божьем мире, — тем положением, которое дано и указано ему от Бога. Этот порядок не может быть нарушен, и ни одну из этих ступеней невозможно миновать одним прыжком. Если сперва не получают импульса и не откроются чувства, то напрасны будут попытки открыть и укрепить сердце, или вновь обратить душу к вечному солнцу божественной истины. И потому мы видим, как столь многие нравственные устремления в мире и в эпохе в целом и в частности не имеют успеха и не оказывают ожидаемого действия, за отсутствием предшествующего света первой ступени и первого просветления, благодаря которому лишь пробуждается внимание и чувства, и открывается духовный взор. Если же, напротив, предпринимается попытка сообщить или усвоить весь свет духа, в то время как душа все еще пребывает в сумерках, коснея в своем скверном обычае, не испытав сколь-нибудь высокого подъема: то здесь

обстоятельства, конечно, будут иными, отличными от случая, когда ошибочно делается попытка в прыжке миновать первую ступень, и когда в результате все целое не достигает успеха и не производит должного впечатления. Однако наука, в обстоятельствах, когда нравственная сторона человека пребывает в полном запустении, состоянии грубой дикости или распада, сможет действовать лишь как разрушительный элемент, и на такой скверной почве даже истинное знание обратится в ложное, и чем глубже оно будет понято, чем живее и сильнее будет удержано, тем вреднее и пагубнее окажется его действие. Отнюдь не обязательно примеры того, сколь вредоносным может быть слишком быстро развивающееся научное просвещение при господствующем в целом падении нравов и руководящих принципов, удерживающих и укрепляющих народы, должны быть взяты непременно из нашей эпохи; их точно так же можно продемонстрировать и на всемирноисторическом материале более ранних периодов — истории греков и римлян. Однако это лежит здесь за пределами моих намерений и не является той целью, к которой я собственно стремлюсь в этом рассмотрении. Я хотел бы здесь преимущественно обратить внимание лишь на то, что также и вечная истина (и это есть именно тот самый божественный порядок в царстве истины как тема моего нынешнего доклада) соблюдает в божественном воспитании человеческого рода все тот же самый постепенный порядок естественного развития сознания, принаравливаясь в нем к человеческой слабости или ограниченности, действуя согласно тому ранее уже установленному принципу божественного снисхождения, который просматривается и прослеживается всюду в воздействии и влиянии Бога на мир и на человека. Точно так же и в знании, сообщенном людям Провидением из самого источника, самому этому знанию предшествует или предшествовало первое просветление ума и чувства, для того лишь, чтобы вновь открыть ослепшее в язычестве для простой истины и истинного Бога человеческое око — лишь в качестве приготовления к будущему; второй же ступенью откровения было или явилось просветление души, или даже ее живое обновление и полное претворение и возвращение ее от состояния помрачения к вечному свету и к солнцу правды; третья же и последняя ступень, или полное просветление духа, несмотря на то, что и она берет свое начало еще во второй точно так же, как вторая начинается в первой, в этом от начала и до конца живом развитии высшей жизни, которая есть именно божественный свет духа; это полное откровение духа,

таким образом, уготовано для конца и последнего времени, будучи четко определено и обозначено в самом Откровении как заключение и завершение всего целого.

Прежде чем я продолжу свои наблюдения божественного порядка в этом движении откровения, направленном на воспитание человеческого рода, мне необходимо будет предположить еще два общих замечания. Первое состоит в том, что если чувство, душа и дух здесь, в восходящей линии, обозначаются как лестница сознания, сообразно с его восприимчивостью к высшему познанию, духовному образованию и истине вообще, но все же в особенности к божественной; то при этом всеобщее чувство истины, которое здесь молчаливо предполагается и кладется в основу, объемлет собою все его отдельные виды и стороны или ветви, ранее уже упоминавшиеся. Я имею в виду общее чувство здравого ума, затем природное чувство и рассудок, который я объяснил как способность к пониманию откровения духа, или духа откровения, то есть всякого откровения: не только данного в письменной форме, но также и исторического. Все их равно объемлет в себе Одно всеобщее чувство истины, и все они в своем взаимодействии образуют собой это последнее, причем в каждом особом применении на первый план всякий раз выступает то одно, то другое. Или, что то же самое, одно и всеобщее чувство истины находит свое применение, или действует, то с одной, то с другой стороны. Также и та внутренняя уступчивость, то внутреннее согласие, которое я попытался объяснить в воле как собственно чувство Бога, также в качестве существенной составляющей части целого относится ко всеобщему чувству истины; ибо о том, что противоположный порок — упрямство и своеволие — является преимущественным препятствием к благу также в познании и признании истины — об этом опыт учит уже на самых первых, начальных стадиях воспитания. Но даже и в самых высших метафизических системах величайших мыслителей и философов этот дух противоречия и отрицания все еще выступает как господствующий принцип, как величайшее препятствие на пути к истине и богатый источник заблуждения. Второе замечание, которое еще следовало сделать, сводится к тому, что это естественное поступенное движение в живом развитии сознания не только в нравственном воспитании, но и во всем, что касается восприимчивости к высшей и божественной истине, действительно и может иметь применение лишь для человека в том виде, как он есть на сегодняш-

ний день; то есть в том состоянии, когда чувство не является уже с самого начала открытым и светлым, а душа — чистой и свободной, но сперва должна быть пробуждена и выведена из мрака. Напротив, ничто не препятствует тому, чтобы предположить, и наоборот, все говорит в пользу того, что древнейшее откровение человеческого рода — то просветление, что досталось на долю Первому Человеку и которое он взял с собой на Землю в качестве своего небесного наследства — представляло собой полное просветление духа; ибо его чувство было открытым и светлым, его душа еще неиспорченной, чистой и свободной, и то и другая были равно обращены к Богу, будучи в то же время едиными и связанными с природой, дабы в полноте воспринять в себя великолепие Божьего творения. Заблуждением и недоразумением будет, если кто-либо предположит или вообразит себе, что эти чистота и невинность представляли собой всего лишь неведение, подобное неведению ребенка или дикого природного человека. Все древо полной жизни было дано ему, а также господство над природой, первых живых насельников которой Бог отдал ему во власть и привел к нему, дабы он дал им имена и вынес о них суждение; лишь познание смерти было намеренно скрыто от него, как было скрыто и существование злых духов, ибо именно в этом должно было состоять его испытание. И таким образом то и другое вполне могут быть соединены вместе: как это высшее знание в ярчайшем свете природы, об обладании которым Первого Человека мы имеем столь ясные намеки в священных преданиях всех народов, так и это незнание о смерти, которое определенно ему приписывается. Также он мог бы, если бы живо и ясно сохранил в сердце чувство Бога, тут же распознать своего врага, и тем самым победить его, став затем избавителем природы, вместо того чтобы теперь, утратив это свое предназначение, самому нуждаться в спасителе. Таким образом, это первое откровение в начале, каковым мы его вполне можем предполагать и каковым оно вновь должно явиться в конце, представляло собой полное просветление духа, который, однако, вскоре затем вновь подвергся помрачению. Точно так же дело представляется в легендарной истории всех первобытных народов древности, и это есть та светлая путеводная нить, которая способна вывести нас назад из общего лабиринта хитросплетений легенд, языков и образов древнейшего язычества, к ясной начальной точке чистого откровения Бога. Вопрос о том, каким именно образом в продолжение двух

с половиной тысяч лет первой мировой эпохи силой божественного Провидения и высшего водительства эта светлая нить первоначальной истины все еще тайно продолжалась и время от времени обновлялась, — лежит на сегодняшний день вне области нашего рассмотрения. После того как наступило и достигло всеобщего господства помрачение души, а первоначально открытое для высшего света чувство замкнулось и было теперь скрыто или погребено под хаосом истинных, ложных или полуистинных образов и символов, в полной мере вступил в силу тот природный закон духовного развития согласно данной последовательности ступеней, где сперва должно быть вновь пробуждено и открыто умершее чувство, затем должна быть очищена душа и обновлена, обретя новое направление, душа — прежде чем то и другая смогут стать восприимчивыми к высшему просветлению духа; и лишь в том, чтобы показать этот природный закон в человеческом сознании и в божественном воспитании человеческого рода, эту последовательность ступеней определенного и данного ему в долю божественного откровения, — и заключается моя задача.

Первая ступень (или первый отрезок) лестницы заключался в том, что после того как языческое смешение сказаний, мифов и образов достигло высшей степени уже откровенно и явно неисцелимого зла, теперь по меньшей мере один народ был избран в качестве инструмента для всего целого, с тем чтобы открыть этому целому глаза на бездну заблуждения, погрязшим в котором лежал весь мир, и обратить его взор исключительно в будущее. Множество пророков были посланы ему: он с самого начала был руководим и управляем пророками, и невозможно вернее понять характер и историю этого столь особенного среди всех прочих народов древности, нежели вообще мысля его себе, согласно его предназначению, как пророческий народ, предназначенный именно для того, чтобы указать на будущее, и чьи руководящие идеи были всецело связаны с этим будущим, полагаясь в отдаленном времени. Всего лишь из трех штрихов или слов состоит это в высшей степени простое откровение первой ступени: из первой световой точки в начале, в которой скрыты одновременно ключ и ключевое слово для всего хаоса легенд и всех загадок древнего мира и древней истории; затем — строгой линии разграничения (касающейся также и нравов) в отношении всех прочих языческих народов; и, наконец, великого луча надежды, устремленного и указывающего в далекое будущее. Светлая начальная точка почти не привлекла к себе вни-

мания и осталась весьма мало понятой; линия разграничения переступалась, зачастую на весьма малодостойных основаниях и в следовании соблазнам, и под конец соблюдалась лишь всецело формально и бездуховно, лишь во внешней букве, — и таким образом даже этот высочайший луч надежды был совершенно ложно понят в крайне ограниченном, узконациональном смысле, в соответствии с понятием земного освободителя и избавителя от римского ига. Эта тема, а также вопрос о том, с какой крайней неблагодарностью дарованный свет был в целом принят теми, кому он с самого начала предназначался, были уже неоднократно освещаемы серьезными историческими писателями, удостоившись справедливого и сурового порицания; я лишь не уверен, может ли в этом отношении быть вынесено в чем-то серьезно отличное и более благоприятное суждение о последующих ступенях более развитого божественного откровения. Полнота времени для развития была предоставлена как самому пророческому народу, так и остальному человеческому роду: полтора тысячелетия по прошествии трех с половиной тысячелетий первой мировой эпохи были определены для этой первой ступени откровения. После того, теперь, как миновали эти сорок столетий подготовки и ожидания, и в прошлом осталась вся долгая зимняя ночь древнего мира богов, всемирно-историческое развитие человеческого рода подошло к своему великому поворотному моменту, и вместе с весенним солнцестоянием этого нового явления началась вторая ступень лестницы откровения или божественного воспитания человеческого рода. Все характеризует эту вторую ступень развития уже при ее первом наступлении таким образом, что она не должна была представлять собой полное и совершенное откровение духа и знания, которое было обещано лишь в будущем; скорее, оно в этом отношении представляло собой разительный контраст с образованной, однако все более и более проникавшейся чувственностью, наукой греков. Прежде всего это должно было быть полное обращение души из прошлого земного мрака к вечному свету и единому солнцу истины, а тем самым также и полное обновление и преображение жизни во всех ее привычках, нравах и установлениях. Лишь этого Одного хотел Бог; и славной, прекрасной и трогательной была также и борьба, которую этому совершенно новому, пришедшему с небес умонастроению необходимо было выдержать с противостоящим ему миром.

Однако люди вновь и вновь приходили в состояние прежней двойственности и раскола; и как раз в том, чтобы выявить и подчеркнуть это состояние на протяжении всех последую-

щих эпох, и заключается наша, весьма болезненная, задача. Ибо лишь на этом пути, если понаблюдать за тем, как человек в каждый из мировых периодов и на каждой ступени относился к божественному откровению, какую позицию он занимал по отношению к нему, можно проследить в поступенном ходе прогрессирующего раскола светлую нить властвующего в нем божественного порядка вплоть до стоящей перед ним цели, до самого конца и завершения. В первые три или пять столетий столь простая новая вера с одной стороны и в первую очередь, была бы вновь превращена в хаос философских измышлений в древнеазиатском духе; с другой стороны, за словами тайком пряталось своего рода скрытое полу-неверие, против коего приходилось защищаться, в свою очередь, прячась за словами, и в указанный временной период истории этот тонкий словесный спор впервые обрел столь большое всемирно-историческое значение и важность. Простая основа веры была хорошо охраняема против всех нападков, однако сила первой любви была во многом утрачена. Поэтому также и эта вышедшая из нового учения новая жизнь была бы уже более не достаточна для того, чтобы вновь и полностью восстановить подвергшийся порче древний римский мир (как, по всей видимости, на то поначалу возлагались надежды) и всецело обновить его в Боге, без привлечения для этой цели внешнего и только естественного элемента, а именно — свежей силы нордических народов. Таким образом прошли теперь еще три последующих столетия, когда уже в конце этого первого периода вдруг сделалось очевидным, сколь мало древний дух раскола был в действительности смягчен и преодолен. Вера, — говорили теперь, — по своей сути остается той же самой, однако, тем не менее, имеет место и продолжает существовать разделение. Это, следовательно, означало, что восточный Бог и Спаситель мира все же, конечно, представлял собой нечто иное, нежели Бог и Спаситель западный. Так Единый Бог и Единая вера в жизни вновь претерпели разделение на две части, и это странное разделение, не имеющее собственного предмета, длится до нынешнего дня человечества. В последующий великий период из первоначального откровения любви произошла, пыльным цветом расцвела и богато раскрылась новая жизнь, так что это откровение любви лишь теперь всецело претворилось в жизнь, и весь жизненный уклад, нравы, искусства и даже само государственное устройство обрели иной облик, отличный от того, который они имели у образованных наро-

дов древности; если же смотреть со стороны полноты любви, со стороны рыцарской, то этот мировой период легко сможет привлечь к себе наши чувства и симпатии. Однако же и здесь произошел ужасающий раскол, разорвавший мир в эту эпоху на две враждебные половины. Две силы, которые сообща должны были действовать ради одной цели, два меча, о которых Господь сказал, что их достаточно — один меч духа в царстве истины и веры, и другой, земной меч праведности — враждебно ополчились друг на друга, причем в результате этого был не только нарушен внешний мир, но в еще гораздо большей степени от внутреннего разрыва пострадали человеческие души. Этот раскол предстал перед нами не только в качестве антагонизма, но он дает себя знать также и в форме известной путаницы и обоюдного принятия одного за другое, взаимного смешения двух областей. Правда, если благородная храбрость в духовном рыцарстве целиком и полностью принимает такую окраску, то мы еще вполне и с легкостью можем примириться с этим — поначалу, конечно, удивительным — явлением, со сплавлением воедино двух различных элементов. Гораздо большие и труднее разрешимые коллизии возникали, когда тот, кто владел духовным пастырским посохом, одновременно занимал и светский, княжеский трон. Однако же и здесь нелегкая задача такого двойного назначения решалась и выполнялась с достоинством и величайшей рассудительностью. Когда, однако, тот же, кто должен был владеть мирным пастырским посохом, облачался вдобавок и в воинственные доспехи, это неизбежно вызывало еще больший соблазн, и в еще большей степени смущало человеческие души. Так теперь прошли очередные семь столетий (в общей сложности, стало быть, пятнадцать) с момента всемирно-исторического центра внутреннего солнцестояния в этой земной жизни; с предшествующими пятнадцатью, истекшими с момента первого начала данного нам откровения, следовательно, тридцать. И еще три присовокупились к ним, при несказанно медленном движении направляемого Богом мира и при неисчерпаемом терпении Божиим в воспитании своего человеческого рода. Лишь в этот последний период дух раскола достиг своей полной силы и всеобщего распространения, постепенно охватив собой большинство областей знания и почти все жизненные институты. Благодаря множеству чудесным образом согласующихся между собой великих открытий в совершенно различных областях знания, безусловно, призванный к зрелости и ощущающий в себе эту зрелость, дух в первом употреблении своей новой

силы принял более направление войны и разделения, нежели спокойного продвижения к совершенству на данной ему стезе. С самого начала явственно заметен враждебный антагонизм между новым знанием и старой верой, который, однако, в дальнейшем проступая все более отчетливо, становился более значительным и приобретал все более всеобщий характер. Затем раскол охватил собою и самую веру, которая теперь оказалась расчленена на две части. Позднее пришел еще один, новый и носящий более общий характер раскол между верой вообще и официальной общественной деятельностью, которая в восемнадцатом столетии порой совершенно лишалась своей религиозной основы. И после того, теперь, как жизнь утрачивала свое высокое духовное значение, последний, заключительный удар наносил и еще один, последний раскол — раскол между знанием и жизнью, поскольку таким образом лишившаяся духа жизнь совершенно естественным образом не желала соответствовать вымышленным и надуманным идеалам отчасти ложного знания, и уже не могла удовлетворять их требованиям. Этот последний антагонизм ужасающим образом разразился затем в действительной, общественной жизни.

Этот четырехсторонний раскол: сперва между знанием и верой, затем внутри самой веры, далее, в свою очередь, между верой и жизнью, и затем, наконец, между новым знанием, пришедшим на смену отодвинутой в сторону вере, и жизнью, со всеми ее могучими отраслями и ветвями, — распространяясь на все сферы человеческого бытия, лежит теперь перед нами как нерешенная проблема жизни и эпохи. И кто должен был бы, или кто единственно способен был решить ее, кроме одного лишь Бога? Как к спорному вопросу — к этой проблеме и ее внутреннему корню, расколу веры — можно осмысленно и с пользой подходить лишь в духе любви и взаимного доверия между двумя близкими и дружественными точками зрения, которые в большинстве пунктов между собой уже согласны, и лишь в некоторых других все еще мыслят различно. Можно было бы также привести достойные труды с той и другой стороны, созданные в таком духе сближения и примирения, который, естественно, более всего благоприятствует философии, стремление которой везде и всюду не может быть никаким иным, кроме как по возможности примиряющим и сглаживающим всякий глубоко укоренившийся раскол. К решению же, удовлетворительному для целого, никогда не возможно прийти посредством спора, сколь бы научно основательным и мягко шадящим достоинство ни

был этот последний, — и такой спор заведомо представляет собой напрасные хлопоты. Для этого отсутствует всеобщий, признанный обеими сторонами форум, поскольку ни движущийся в безусловной свободе исследования разум, с одной стороны, ни в последней инстанции решающий авторитет, с другой — не признается противной стороной в качестве действительного и компетентного.

Столь глубоко проник этот раскол в сокровенную внутренность человечества, и столь ранающую и болезненную природу он имеет, что едва ли кто сможет прикоснуться к нему без того, чтобы тут же ненароком не быть им охваченным и не ощутить страдания от его раны; и если бы мне пришлось рассматривать его здесь с одной только человеческой точки зрения как всего лишь спорный вопрос науки (что, однако, лежит целиком и полностью вне круга моих намерений), то мне пришлось бы позаботиться о том, чтобы также и мы сами в этом предмете в свою очередь разделились на две половины. Однако я не питаю ни малейшей озабоченности такого рода, поскольку моя задача заключается единственно в том, чтобы отыскать божественный порядок в поступенном движении данного человеческого роду откровения и, руководствуясь этой путеводной нитью, провести наблюдение вплоть до самого конца завершенного божественного воспитания, где затем в эпоху совершенства и в полном его свете будет уже невозможен никакой спор. С этой особой точки зрения я всегда ощущал сильное притяжение, гораздо большее, нежели к официально ведущемуся спору, сколь бы всемирноисторически важным для нас этот последний ни был, к тем или иным отдельным углубившимся в себя мыслителям с той и с другой стороны, которые мало принимали участия в публичной полемике, ибо их взоры были устремлены в будущее — в испытующем ожидании того светлого совершенства и всех связанных с ним обетований, к числу коих среди прочего принадлежит и мир в области веры, в качестве последнего откровения божественного духа. Правда, некоторые впадали при этом в великое заблуждение, а иные по меньшей мере близко подходили к нему, рассматривая эту третью ступень откровения как собственно новое откровение, тогда как ведь очевидно, что оно может быть лишь завершением прежних ступеней, а отнюдь не представляет собой некую новую; ибо откровение духа, которое провозгласило бы себя новым, отделенным и независимым от исцеляющего просветления души на второй ступени, от этого божественного

откровения сердца, любви и жизни в вере, которое не скрыто ни от кого, и которое каждому знакомо, — тем самым обнаружилось бы и выказало собственную ложность. Новое небо и новая Земля весьма определенно обещаны для третьей и последней эпохи; также здесь идет речь о Евангелии, которое будет проповедоваться всем народам и на всех языках, и которое должно будет распространиться по всей Земле. Однако это Евангелие никоим образом не называется новым, ибо вполне достаточно старого — как для жизни, если оно будет соблюдено, так и для знания, коль скоро оно будет в достаточной степени понято; но оно называется вечным, и под этим, пожалуй, следует понимать лишь этот полный свет божественного и совершенного в Боге знания, которое уже вновь стало единым с верой и тем самым достигло полного примирения с жизнью. Здесь, в этой области и в духовном смысле совсем не обязательно, чтобы прекрасная утренняя звезда веры, которая вела нас в ночи и светила нам в утренних сумерках, теперь угасла, когда на небесах в своей полноте восходит Солнце; напротив, в этот момент она должна светить еще ярче, или, скорее, все это различие здесь вообще не имеет более места, и именно сама утренняя звезда имеет развиться в полноту Солнца и осветить своим светом всю Вселенную. С тем большим терпением надлежит нам переносить этот раскол, куда мы в нем все еще пребываем, тем бережнее следует прикасаться к нему, ибо, будучи отданы во власть его, мы имеем упование. Не ложная беспристрастность имеется здесь в виду, каковая чаще всего есть не что иное, как скрытое равнодушие по отношению к важнейшим вопросам эпохи и человечества, или кичливое и индифферентное презрение, каковое последнее нас, пожалуй, ранит гораздо глубже, чем то или иное позитивное умонастроение, честно усвоенное и высказываемое. Столь же мало речь идет и о любом с неоправданной дерзостью выносимом суждении любого отдельного мыслителя — в соответствии со своим оригинальным воззрением и некой воображаемой идеальной и высшей точкой зрения, где порой сперва обе стороны признаются неправыми, а затем, напротив, в других пунктах им же отдается должная справедливость, одной в одном отношении, другой — в другом. Безусловно, по обе стороны в первую временную эпоху этого раскола можно встретить великие исторические характеры, во все эпохи — блестящие научные таланты; также по обе стороны в отдельных вопросах можно констатировать тут и там проскальзывающую неправоту. Однако что решает человеческая

неправота в отношении правоты дела, коль скоро мы рассматриваем это дело, как нам и должно его рассматривать, как дело Божье? Самое обидное и болезненное в этом расколе заключается в том, что сам Бог в известной степени сделался здесь предметом распри. В освященном учении и предании, преимущественно в Откровении, Бог сам словно бы уподобился ребенку: и в этом детском языке сердца и в доверительном образе предал Себя в руки человеческого рода. И вот теперь это самое чудесное дитя и божественное Слово раздираемы на части спорящими: совершенно так же, как в древней истории и притче, в которой две матери предстают перед царским судом в отчаянном споре о том, которой из них принадлежит один из двух младенцев, оставшийся в живых (второй же был задавлен во сне). Истинная мать (ибо спали они обе) была определена по тому, что не хотела допустить, чтобы дитя было рассечено надвое мечом судьбы, но предпочла оставить его другой; после чего мудрый царь, поняв, что именно она и есть настоящая мать, повелел отдать ей младенца.

Для нашей эпохи великий приговор всемирно-исторического суда, который единственно способен был бы уладить этот спор, все еще не вынесен. Однако сами симптомы все более нарастающей и усиливающейся духовной борьбы говорят в пользу того, что день вынесения этого приговора близится, ибо ныне, после свершившейся победы божественного Откровения, с принятием огненного крещения Духом, обетованного этому последнему времени, одновременно должен наступить и давно уже обетованный всеобщий душевный мир, когда под началом Единого невидимого, но зримого божественного Водителя все уповающие на Него, и весь человеческий род будут объединены в Одной любви и в Одном порядке. Совершенному миру этого рода — последнему, который, по божественному обетованию, станет наградой человеческому роду, — понятным образом под конец должна предшествовать весьма ожесточенная борьба, так же последняя в своем роде; и мы видим, что такая борьба и в нашу эпоху разворачивается столь ожесточенно, как этого еще никогда не случалось в предшествующие мировые периоды. Этой борьбе нашей эпохи, в особенности же отношению к ней науки, я должен посвятить теперь несколько слов.

Несомненно, что человеческий дух в эту прекрасную эпоху восстановления науки был различными путями побуждаем к тому, чтобы ощутить себя возмужавшим; таковым он себя и ощущал, и в том или ином отношении он, возможно, таковым

и являлся, — что в еще гораздо большей степени вновь имело место в восемнадцатом столетии. Должен ли теперь, однако, если мы хотим судить о предмете точно так же совершенно по здравому уму, как в обычной гражданской жизни, — должен ли теперь, говорю я, молодой человек, войдя в пору возмужания, или будучи, пусть даже несколько рано, по воле своего отца объявлен совершеннолетним, — должен ли он теперь тут же забыть всю ту любовь, которую дала ему его мать; должен ли он настолько неверно понять великое намерение в решении своего отца, должен ли он в одно мгновение отбросить прочь и попруть ногами все те полезные поучения, которые он получал в школе в меру своего возраста, коль скоро он, например, заметит, или узнает со стороны, что в жизни есть и нечто иное, чего никак не коснулось школьное обучение? Если бы мы увидели такое в общественной жизни, то в отношении такого молодого человека, внезапно отбросившего от себя всяческие ограничения, мы прониклись бы дурным предрасположением и позаботились бы о том, чтобы он, раньше или позже (а может быть, и весьма скоро) вновь поступил под присмотр еще более строгий, после того как он, выросши, удалился из-под отцовской власти. Почему же тогда в области науки и истины мы судим иначе? Взоры и ожидания всех были устремлены на науку, и они были правы в том, что движение человечества теперь, в эпоху приближающихся последних времен, преимущественно зависит от науки. Если, однако, уже те, которые, как ранее указывалось, твердо хранили веру, все же впали в опасное заблуждение, мысля себе обетованное совершенство и полную победу древнего вечного божественного откровения как некое новое откровение, и даже почти как некую новую религию: сколь значительно большим было заблуждение тех, которые мечтали о бесконечном движении науки и желали его достичь, идя совершенно без Бога или же совершенно в стороне от Него, не вступая с Ним в какое бы то ни было живое соприкосновение. Однако невозможно пройти без всякого соприкосновения мимо всемогущей власти, и всякое стремление в высшем регионе, которое хочет быть и начинается без Бога, вскоре будет направлено против Него. И всякое, даже наивысшее знание (и оно-то как раз более всего) без Бога есть лишь ложный свет духа, который неизбежно и весьма скоро ведет назад, к прежнему душевному мраку. Поэтому и случилось так, что яд, сокрытый под гладкой поверхностью кажущейся мягкости нравов — словно бы в страшном нарыве эпохи — вдруг вырвался наружу, заражая собой все далеко вокруг; и именно

так это обозначено в священной книге будущего. В результате борьбы против зла само это последнее поднялось в неожиданном и новом образе, словно бы выходя из моря, и теперь культурный и цивилизованный мир вдруг неожиданно превратился в море крови; и то же самое о тайнах последнего времени сказано на страницах пророчества. Во всей этой великой мировой катастрофе — коль скоро она, в свою очередь, может рассматриваться как своеобразное историческое предостережение со стороны Бога и откровение о божественной воле — у носителей лучшего умонастроения вновь с очевидностью выказывает себя тот же самый поступенный ход просветления, какой в общем и целом можно было наблюдать в ходе мировой истории, в соответствии с движением и постоянным расширением ступеней чувства, души и духа. Чувства и очи, конечно, открывались у множества отдельных людей — по мере того, как они все более и более исторически осознавали ту бездну, к которой подошла или была подведена их эпоха. После эпохи восстановления произошел также и всеобщий поворот в умонастроении, нравственных принципах и господствующем устремлении. Все еще недостает лишь третьей ступени истинного и проникающего до последней глубины познания с точки зрения полного научного просветления духа (или, по меньшей мере, она присутствует все еще в недостаточной степени). Это, собственно, и есть болезненный пункт в проблеме эпохи и причина неудач всех попыток ее разрешить. Ложное знание — именно это уже не раз упомянутое нечеловеческое и безбожное знание — может быть побеждено и преодолено лишь с помощью истинной науки. Простой метод одного лишь отрицания, который вообще редко когда бывает верным, здесь также является недостаточным. Правда, если густые тучи пыли заслоняют небо, если его наполняют отвратительные стаи насекомых, — никак нельзя упрекать того, кто затворит свое окно, ибо ведь это его окно. Однако если снаружи царит страшное ненастье, и небо заволочло грозой, то всего лишь затворив ставни, мы отнюдь еще не добьемся безопасности для дома в целом, если мы не позаботились сверх того еще и о хорошем громоотводе. Но что он собой представляет? И каким образом мы узнали о его необходимости? Благодаря тому, что поняли электрическое явление, и тому, что — в совершенном соответствии с действующим законом природы — поставили в качестве защиты от грозящего удара молнии некое устройство, представляющее собой одновременно противодействие и отвод. Точно так же, однако, должно происходить и в науке,

и в области истины; лишь благодаря благой силе того же рода может быть побеждена власть зла. Вот почему и в этом смысле из уст истины изошло столь серьезное предостережение против тех, которые, воссев на седалище Моисеевом, стремятся забрать себе ключи от Царствия, но сами в него не входят и мешают тем, кто хочет войти. И сколь совершенно иной пример являет нам здесь Священное Писание в великолепном образе Моисея! Хотя собственно подготовку к возложенному на него труду — благополучно привести народ, который Бог хотел передать ему, из древнего мрака через страшное море крови и все долгие скитания в пустыне к обетованной цели — эту подготовку он, по всей видимости, прошел в течение своего сорокалетнего одиночества в среде благородного пастушеского народа, где отбывал весь период своего изгнания. Однако не без определенного значения рассказывается, как дочь египетского фараона вынула из воды найденного младенца, взяла его к себе и воспитала как своего сына; и вполне намеренно здесь добавляется, что Моисей был научен всей египетской премудрости и искушен в учении египтян. Сперва нам приходится порадоваться глубокому смыслу и большому масштабу суждения в Священном Писании; ибо несмотря на то, что ни об одном языческом народе здесь не высказано столь решительного осуждения в отношении его нравственного разложения, как о египтянах, — здесь все же одновременно признается, что у них была наука, которую стоило изучить и в свете которой те самые заблуждения, коими египтяне покрыли эту науку в их чрезмерном и безграничном разложении, выглядят еще более предосудительными. Неглубокие, поверхностные противники могли бы теперь воспользоваться этим (как, собственно, неоднократно и происходило), и сказать: «Ну, вот видите! Он всему научился у египтян и из иероглифов!» Однако это не так. Действительно, первые десять и последние двенадцать еврейских букв представляют собой иероглифы, о чем свидетельствуют их названия. Однако, несмотря на это, еврейский язык, уже в первых своих природных корнях, и уж, тем более, в духе и движении целого, представляет собой нечто совершенно иное, нежели иероглифический египетский. Научился же там Моисей всему, чему он мог научиться; тем более он был способен рассеять египетскую тьму, и тем менее ему нужно было опасаться ложного искусства египетских заклинателей змей. Он взял от Египта все, что мог использовать для своей цели. Но именно посредством самой этой цели, к которой все направлялось, он придал всем заимствованиям совершенно но-

вый облик и новый поворот. Он украл у них золотые и серебряные сосуды — кражей, дозволенной в области истины и знания — когда у злой силы отбирают то, что позднее используют в ином направлении для прославления дела Божьего и Его откровения, и чему умеют дать лучшее применение, более глубокую духовность и более высокое значение. Это точно так же так ныне, как было тогда и как будет всегда. Ведь столь многие заслуженные мужи нашей эпохи, посвятившие себя важному труду восстановления лучшего умонастроения и лучших принципов, считают себя в этом последователями великого примера богоизбранного мужа. Однако за тем или иным редким исключением, о них невозможно сказать, как о Моисее: что они сведущи и искушены в науке египтян; и потому именно и выходит так, что они, при всем их необузданном рвении, все же не могут устоять против египтян и новой египетской тьмы нашего времени.

Духовная борьба за истину — в частности, за божественную истину — есть борьба нашей эпохи; это можно распознать отчасти уже сегодня, и это будет все более и более очевидно впоследствии. Бог есть Дух Истины, и потому противостоящий ему дух противоречия и отрицания носит имя лжеца от начала; а среди всех сил и способностей зла ложь есть наипервейшая. Здесь на моем пути я нахожу нужным мимоходом затронуть один пункт в нашем нравственном учении — несмотря на то, что в целом оно, взятое в своей ближайшей цели и собственной области, лежит вне предписанного мне круга рассмотрения; а именно — этот самый пункт лжи и неистинности, к которому в указанном учении подходят с чрезмерной снисходительностью, который недостаточно остро обличают и которому уделяют слишком мало внимания, что отнюдь не соответствует степени его важности. Внешние нарушения закона относятся скорее к области правового, нежели нравственного учения; в этом же последнем наиболее важные пороки характера и страсти весьма верно рассматриваются и приводятся в качестве примеров болезней души: важнейшие из них обозначены как смертельные, т. е. такие, которые могут повести к смерти души; ложь же, в полном смысле этого слова — внутренняя в собственном смысле слова душевная ложь как господствующий порок характера, заключающийся в неправдивости, и превратившаяся в ложь целая жизнь — есть нечто гораздо большее: она есть сама смерть, и она есть именно тот самый грех, то тайное возмущение и глубокое оскорбление божественного духа вечной истины — о котором в откровении сказано, что оно не простится ни

в сей жизни, ни в другой. В этом пункте, я думаю, нравственное учение не может быть излишне строгим в своих подходах и предписаниях, даже и в отношении отдельно взятого человека. Конечно, важны здесь не слова, а их значение и вкладываемый в них смысл, и в этом отношении существует также известная ложная боязнь совести. Однако если мы примем во внимание, что в известные исторические эпохи с клятвой играют: миллионы клятв произносятся не задумываясь, затем изменяются, а порой и берутся обратно, — и то, какие последствия это имело и должно иметь для нравственного характера той или иной нации или эпохи, то в этом можно было бы найти своего рода оправдание для упорства тех или иных мелких общин, которые наотрез отказываются давать вообще какие-либо клятвы. Ибо, если с одной стороны неизбежны те или иные ошибки в нравственном учении, то пусть это лучше происходит в сторону слишком большой строгости в вопросах истины и лжи, нежели в противоположную сторону чрезмерной уступчивости, или же совершенно ложного презрения к самому этому предмету. Однако этот предмет лежит вне круга моего рассмотрения и приведен здесь лишь в качестве точки перехода.

Если же теперь уже для отдельного характера нет ничего более опасного внутри и вовне, ничего отравляющего столь глубоко и до самых корней, чем неправда и дух лжи, — то насколько же в большей степени это должно иметь место там, где дух лжи стал повсеместно господствующим духом времени, которое настолько далеко отклонилось от истины, что возненавидело ее. Об этом духе лжи, его ложном блеске и его циклопическом господстве, как о последней борьбе, которой истине придется выдержать на земле, говорят самые страшные из уже упомянутых пророчеств. Пожалуй, легко будет найти и случаи их применения, когда большая часть этих предостережений и угроз в наше время действительно уже исполнилась. Если, теперь, этот циклопический дух разрушения и неправды еще в колыбели был достаточно силен, чтобы задушить две части света, то чем же он мог бы стать, если бы дарованный эпохе период передышки в свою очередь прошел бы неиспользованным, и теперь все тот же дух лжи и разрушения, многократно возросший и облеченный гораздо большей магической силой, получил бы гораздо больший простор для того, чтобы железной пятой попирает мир в течение гораздо более длительного периода времени. Те, кто, стоя на великой точке зрения практической жизни или имея обширный духовный круг деятельности, способен окинуть своим взглядом

все те элементы, принципы и силы разрушения, которые действуют в эту эпоху, — отнюдь не будут склонны считать опасения такого рода чрезмерными и преувеличенными, пусть даже другие в то же самое время еще долго могли бы питать в этом отношении иллюзии.

В заключение целого я нахожу лишь три наблюдения, которые хотел бы добавить на сей предмет. Первое относится к попущению зла со стороны Бога — в качестве дополнения к ранее уже сформулированной теодицее, в том виде, в каком она достижима для нас, людей, и скорее обращенной к одному лишь чувству, нежели стремящейся к строго доказательной форме. Это зло, коего следует опасаться еще и в будущем, возможно, касается уже и нас в наше время, а возможно, относится и к одному лишь позднему времени. Если, однако, род человеческий действительно болен и пребывает в состоянии болезни (что, по всей видимости, невозможно отрицать), то на божественное водительство в мирских событиях должно смотреть как на действия мудрого врача. Ибо как этот последний вполне мог бы, пользуясь больного, жизни которого угрожала опасность, желать для него наступления сильных пароксизмов и даже стремиться вызвать их искусственно: точно так же и здесь, намерение этих кажущихся столь странными и, тем не менее, столь ясно высказанных предначертаний может состоять в том, что власть тьмы на Земле однажды, еще во время последней битвы, должна полностью изжить себя в своем буйном неистовстве, дабы прочая часть вышла из кризиса тем более чистой и здоровой, и божественная истина могла отпраздновать полную и совершенную победу. Второе наблюдение касается нас самих и всех тех, кто имеет благородные и честные помыслы в нашу нынешнюю эпоху, а также того раскола, что царит в ней даже в среде наилучших. Если два государства с весьма отличными внутренне системами правления, две нации, по своему языку и нравам совершенно чуждые и скорее противостоящие друг другу, вдруг обнаруживают общую угрозу со стороны наводящего ужас врага, — то они забывают о всей разности своих характеров и всем прочем давнем несходстве, и заключают честный союз с целью совместной обороны и совместного спасения. Следовательно, честным последователям веры с обеих сторон, как я их сегодня обозначил — пусть даже их внутреннее различие еще не полностью устранено или не полностью сглажено — следовало бы пожелать, по меньшей мере в первую голову, заключить между собой искренний мир и прочный союз против

общего врага всякой веры; ибо ведь никто не станет отрицать, что нашему времени в духовном отношении угрожают великие опасности — пусть даже некоторые мыслят себе эти опасности в иных формах и иначе, нежели они описаны здесь. Наконец, третье наблюдение есть не просто высказанное пожелание, но совершенное и твердое убеждение в том, что какой бы трудной и великой ни оказалась эта последняя битва человечества, все же правое дело не может погибнуть, и великая битва будет иметь благой исход — в совершенной победе божественного откровения, где затем божественный порядок в этом царстве истины выступит в полноте своего сияния.





ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ

О божественном порядке в человеческой истории в межгосударственных отношениях

«Всемирная история есть суд над миром»²⁴, — говорит один из наших знаменитых поэтов. Если этим он хотел сказать, что не следует ожидать никакого иного суда над миром, кроме того, который уже представлен в мировой истории, — то в таком случае мнение, что человеческий род в его нынешнем облике и в этом его земном состоянии будет продолжать свое бытие всегда, окажется, пожалуй, столь же беспочвенным, как и предположение о том, что человеческий род существовал от века (даже если тому или иному из философских мечтателей древности и приходила на ум такая мысль, или если она же полюбилась кому-нибудь из нынешних противников общепринятого мнения). Самому поэту как драматическому мыслителю и художнику отнюдь не понравилось бы, если бы перед ним положили большую, состоящую из множества актов и сцен, однако лишенную начала, драму, которая, вновь и вновь монотонно двигаясь вперед, обрастая все новыми интригами и осложнениями, словно скверный журнал, вечно отсылающий к продолжению — по существу не имела бы ни конца, ни заключения, ни истинного исхода. Если же, (а, именно такой смысл заключен, несомненно, в его словах) он тем самым имел в виду, что царствующий во всемирной истории дух есть дух суда над миром, и что великие эпохи и события во всемирной истории носят характер суда и имеют судьбоносное значение, — то это вполне согласующееся с его

²⁴ Ф. Шиллер, Resignation («Отречение»). — *Прим. перев.*

серьезным характером и рассудком истолкование мы полностью разделяем, и именно оно представляет собой тему нашего нынешнего рассмотрения о божественном порядке в истории человеческого рода. Итак, человеческий род, имея определенное начало, равным образом не всегда будет продолжать существование в этом своем нынешнем виде, но придет к концу. Будет ли, теперь, длительность его существования определена в шесть великих дней Бога, говоря в масштабе божественной хронологии, где тысяча лет считаются за один день, или, может быть, семь: кто может, и кому дано право судить и решать об этом? Довольно нам знать, что мы стоим на рубеже четвертой мировой эпохи, в точке перехода от третьей к этой последней; и немало важно для ясного понимания целого, чтобы мы правильно различали его подразделы и великие эпохи. В качестве первой мировой эпохи следует брать три с половиной тысячи лет в самом начале темной первобытной истории. Последующие полтора тысячелетия образуют теперь вторую эпоху приготовления, длящуюся вплоть до середины и поворотной точки известного нам человеческого мира, с которой берет свое начало новая история. Также и в древнейшей легендарной истории иных образованных народов древности, согласно их достоверным данным и историческим вехам, невозможно переместить эту точку сколько-нибудь далее, и она приходится на чуть менее чем пятнадцать столетий до начала нашей новой истории и нашего летоисчисления. Последующие пятнадцать столетий после этого начала образуют затем горизонт третьей эпохи, в ходе которой это новое жизненное начало получает свое полное развитие и образование в духовном, нравственном и гражданском аспекте. Выше к этому мировому периоду я причислил также и последние три столетия. Однако, если мы захотим рассматривать их скорее как первую эпоху четвертого и последнего периода, то можно остановиться и на такой классификации, хотя она и представляется мне менее точной и верной. Как в первом, так и во втором случае следует признать и обратить внимание преимущественно на то, что мы в наше время, в этот самый момент, ведя отсчет и начиная приблизительно за сорок лет до нынешнего дня, стоим на пороге великой и решающей мировой эры, в критической переходной точке от одной эпохи к другой; и одним из тех знамений, которыми зачастую отмечаются столь важные моменты общего поворота в ходе мировой истории и по которым их можно распознать, служит череда следующих один за другим на кратком отрезке времени событий, а также уско-

рившийся бег времен. Уже отмечалось, что в политической истории эпохи теперешняя Европа в течение краткого временного отрезка в двадцать два года прошла все эпохи древнего римского мира, начиная от образования первых партий и республики, борьбы с господствовавшим на море Карфагеном и римских гражданских войн, до эпохи правления цезарей (начинавшейся мирно и благостно, однако затем пришедшей к подавлению и истреблению) и последовавшего за ней переселения народов. И уже одних этих простых наблюдений могло быть достаточно для уяснения того, что ныне в мировой истории действует иной закон, и в ней пульсирует иная жизнь, нежели в спокойные прежние времена. Является ли теперь эта другая жизнь совершенно здоровой, или же в известном смысле больной и лихорадочной — вопрос отдельный. Но также и на стороне духовной, в области науки, можно было наблюдать сходное движение ускоренного развития. Разве что это движение или направление было здесь иным в сравнении с образованными эпохами древности, и мы прошли его скорее обратным ходом, или снизу вверх, с той же самой быстротой. Я хочу этим сказать, что сперва и в последние десятилетия прошлых столетий образ мысли эпикурейцев, или же некий весьма близкий к нему, был в нашу эпоху преимущественно господствующим. Затем вместе с ним и наряду с ним явились схоластическая изощренность и разнотолки, а также, пожалуй, усердие в ученом коллекционировании, свойственное позднейшим греческим школам, приблизительно вплоть до эпохи блестящих софистов и их общего губительного влияния на народ. Все системы и заблуждения, какие только могут лежать в сфере человеческого духа и имеют свое основание в его существенных свойствах, или же находят свой естественный повод в том или ином словно бы врожденном человеку недоразумении, в том виде как они в течение многих столетий развились у греков, наша эпоха прошла приблизительно за то же количество десятилетий; причем, однако, я надеюсь, что отнюдь не ошибусь, если предположу, что в проделанном обратном движении последовательного возврата к истине, в этой восходящей линии мы скоро уже вновь приблизимся к лучшей эпохе первых великих философов Греции — Платона, Сократа или Пифагора. Конечно, разумеется само собой, что здесь точно так же и еще в большей степени, чем в отмеченной аналогии политической истории и вообще таких всемирно-исторических параллелях, речь может идти лишь о некоем общем сходстве, которое, однако, всегда остается весьма замечательным, отнюдь

не имеющим характера боязливой или насильственно доводимого до частных уравниваний, способного привести лишь к ложным результатам. То же, что борьба нашего времени является духовной, заключено уже в самом понятии общественного мнения и в большом влиянии последнего. При этом уже в самом слове заложено нечто колеблющееся и недостоверное. Правда, что человек в высшей степени ограничен в том, что он, собственно, может знать. О многом мы можем иметь не более чем только мнение, и нам приходится этим довольствоваться. И более того, даже многое из того, что мы знаем (поскольку не всякое знание может быть сообщено), будет лучше и полезнее преподносить как не более чем мнение, дабы не казалось, что мы стремимся принуждением навязать это высшее знание другим. Но чего только ни способна усвоить себе в качестве мнения увязывая в предрассудках, или страстно возбужденная масса, у которой по большей части отсутствуют самые существенные и необходимые условия достаточного и глубокого знания предмета, с тем чтобы иметь возможность вынести сколь-нибудь верное суждение! Если бы вместо общественного мнения (которое, конечно, представляет собой большую силу, однако весьма часто, когда оно принимает неверное направление, весьма опасную) речь шла об общественной совести, то это производило бы на меня гораздо более глубокое впечатление. Я хочу сказать, что то всеобщее впечатление, которое, например, произвело на всю Европу страшное событие 1793 г., или то великое возбуждение недовольства, которое предшествовало последней мировой катастрофе, затронувшей все народы Европы, — что все это суть те явления, в отношении которых в любом случае применимо старое изречение: глас народа есть глас Божий. В таких чувствах выражается истинное суждение высшего рода, а также зачастую верное предчувствие, даже если допустить, что в способе выражения тут и там подчас примешивались некоторая страстная чрезмерность или моменты сугубо индивидуальные. Сколь редко, однако, в колышавшемся и колеблющемся из стороны в сторону потоке общественного мнения можно найти нечто такое, что действительно заслуживало бы называться общественным суждением! А ведь именно это для нас и является в данном случае наиболее важным. Здесь самое место заполнить до сих пор существовавшую лауну, или, скорее, остающееся открытым место в построенной на данный момент теории сознания. В нашем целом я до сих пор еще не указал должного места силе или способности суждения. Разум с прилежащими ему в первую

очередь памятью и совестью; фантазия с подчиненными ей чувствами и склонностями, составляют шесть; затем рассудок и воля, взятые вместе — восемь способностей внутреннего человека. Девятая есть мыслящая, любящая, чувствующая душа, которая, хоть и являет собой средоточие совокупного сознания, все же в свою очередь может рассматриваться как особая способность. Сердечность (*das Gemüth*) (как некоторые своеобразно обозначают нравственную тонкость души, которую все еще следует всецело отличать от совести, так же как и от любви) есть, следовательно, в тройственном отношении, скорее лишь некий род приложения и функции души, нежели самостоятельная способность. Десятая же способность, вместе с которой завершается весь круг сознания и его теории и которая может рассматриваться в качестве его вершины, есть сила суждения (*Urtheilskraft*), или же выносящий суждения дух²⁵. Если брать силу суждения только как логический рассудок, как то объединение или отношение в мышлении, в силу коего, например, объекту **a** приписывается определение **b**: то она есть нечто весьма и весьма подчиненное, и было бы, собственно, совершенно излишним выделять это мыслящее отношение. или это относящее мышление, из прочих логических процедур, чтобы сделать из него некую особую способность. Сила суждения есть нечто иное и высшее, нежели это простое объединение какого-то отдельного **a** с неким общим **b**; понимание есть познание духа, и высказанное им суждение есть выбор в пользу одного из двух понятых, или различение духов. Какое взаимодействие целого множества самых духовных отношений предполагает научное суждение, или даже суждение в искусстве! А между тем, это ведь всего лишь совершенно непритязательные личные суждения, предполагающие соответствующий смысл и, кроме того, не обладающие действующей силой. Из практической жизни показателем того высокого места, которое отводится способности суждения во всей сфере сознания, может послужить для нас

²⁵ Посвятив немало страниц обоснованию четырехчленной структуры сознания, он неожиданно предлагает поглощающую ее десятичленную структуру, весьма напоминающую каббалистическое «древо сфирот», впрочем, если это и так, то истолкованного в очень свободном, скорее даже игривом, духе. Любопытно, что еще в ранний период, вслед за Новалисом, погрузившийся в Каббалу Ф. Шлегель изрекает одну из своих самых загадочных формул: Эстетика = Каббала — иной не существует». Schlegel F. *Zur Rhetorik und Poesie 1799* fin // *Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe*. Hrsg. von Ernst Behler unter Mitwirkung von Jean-Jacques Anstett und Hans Eichner. München — Paderborn — Wien. 1958 ff. Bd. 18. S. 399. — *Прим. науч. ред.*

главным образом судейская функция в государственном управлении. Здесь в суждении принимают участие одновременно понимание в соответствии с верным знанием предмета и различение между двумя понятиями. И одновременно суждение несет в себе решение воли; ибо если даже действительное приведение в исполнение, если даже собственное и действительное воление есть нечто отличное и отдельное от него, — то все же первый решительный мотив для воли лежит в позитивном суждении. Таким образом, обе функции духа: понимание и воление — одновременно присутствуют и содержатся в этой Одной функции собственно суждения. И как любящая душа является средоточием сознания, точно так же дух, выносящий суждение, есть наивысший акт во всем его целом. В Книге Истины содержится еще и другое изречение: «Никто не благ, как только один Бог». Сколь бы строгим и суровым ни казалось оно поначалу, все же — по некотором размышлении — оно представляется вполне обоснованным. Человек никогда не бывает совершенно благим, но всегда несет в себе изъяны и примесь некоторого несовершенства. Допустим, однако, что нашелся бы такой человек, который уже не имел бы в себе более этой примеси несовершенства, который был бы всецело безупречен и совершенно благ: все же он не был таковым от начала. И если бы захотели сказать, что по меньшей мере добрые духи, которые остались такими, какими были созданы, были благими также и от начала: то по меньшей мере они блага не из самих себя, но имеют свою благодать единственно от Бога, из благого Источника. Совершенно в том же смысле можно было бы также сказать: Кто судит верно? Никто, кроме одного Бога! Он Сам есть истина, и также Он единственный имеет в себе мерило истины, и всякая истина имеет свое основание лишь в Нем. Любое решающее суждение в какой бы то ни было важной вещи всегда имеет свое начало, непосредственно или опосредованно, в этом божественном основании, и должно оцениваться в соответствии с этим основанием. Однако это отнюдь не должно ложным образом вселять в нас боязнь, ибо от Бога никогда не исходит никаких невозможных требований, а следовательно, любое требование само в свою очередь обусловлено масштабом человеческой ограниченности. Добросовестного судью, который судит в соответствии с существующими законами и выносит свой приговор после тщательнейшего изучения обстоятельств дела, как это предписывается ему его обязанностями, но, тем не менее, бывает обманут, или введен в заблуждение редким стечением обстоятельств, — нельзя упрекнуть

за то, что он выносит несправедливый приговор, и, к примеру, должен иметь несчастье приговорить к наказанию невиновного. Конечно, для его совести это должно быть болезненно: но кто может упрекнуть его в том, что он не был всеведущим? Тот, кто придерживается наилучшей и наиболее надежной божественной основы в мышлении, знании и вере, из всех которые ему предложены, — тот может быть спокоен, ибо сделал все, что было в его силах. Лишь тот, кто дурно употребил то, что он уже имел и что было ему дано, должен бояться дать отчет и предстать на суде как нерадивый слуга. Это отношение всех судейских постановлений, это обоснование их божественным авторитетом — есть понятие, которое было не чуждо даже республиканским народам языческой древности, что видно по тем выражениям, в которых они высказываются о нерушимой святости законов и о неприкосновенности верховной судейской власти, а также по тем принципам, которые они в этой связи установили на практике. В них они почитали нечто высшее и божественное, о котором они в теории не имели вполне ясного познания, но которое они благодаря верному чувству здравого ума и естественной совести были способны очень точно различать и весьма отчетливо и уверенно определять в практической жизни. Для нас в еще большей степени общепризнанным стало учение о том, что всякое начальство и власть царей исходит от Бога, и что всякое послушание законам и верховной государственной власти покоится на этом божественном основании и авторитете. И если даже на протяжении краткого периода всё в государстве стремились основать на разуме и безусловной свободе последнего, то как раз в опыте это заблуждение на деле опровергло само себя, более всего показав себя как именно заблуждение, и в теории вновь произошел всеобщий поворот к праву и божественному авторитету как основе высшей государственной власти. Однако я полагаю, что здесь весьма необходимо тщательно различать и точно определять, в каком собственно отношении высший государственный правитель представляет собой местоблюстителя Бога. Неопределенные титулы обожествления, обычные для восточных правителей, всегда были чуждыми западному обычаю. Однако даже при том, что нам удастся избегать претящих нашему чувству чрезмерностей, все же отнюдь не достаточно, если ссылка на божественный авторитет происходит в столь неопределенной форме, и лишь на Бога вообще. Сам Бог у нас берется лишь в общем, всякий раз оставаясь непостижимым; лишь в Его воздействии на нас, в Его отношении к нам мы

можем определенно помыслить себе Его и составить себе о Нем определенное понятие: например, мыслить Его как Творца мира, Законодателя природы, или Благотетеля и Спасителя людей и т. д. Является ли теперь, например, верховный правитель представителем Бога как Творца мира? Кто мог бы сказать такое! Хотя, безусловно, отеческая власть земного родителя и общее для всех народов чувство святости отчей власти зиждется на в высшей степени отдаленном, лишь символически понимаемом сходстве с невидимым Отцом на небесах. И безусловно, господство поистине отечески настроенного монарха также может рассматриваться как распространенная на все его царство отеческая власть; однако такие отдаленные, хотя и глубокомысленные аналогии отнюдь не образуют определенного понятия о праве, а ведь именно это здесь важно. Конечно, в народе, который управляется благой и мудрой (а это, по сути, и значит — отеческой) властью, таится некая волшебная и удивительная природная сила, которая обнаруживает себя в производительной работе, в приросте культуры и населения, и которая есть как бы неисчерпаемая и непрестанно умножающаяся благодать, если только движению этому не воспрепятствуют времена бедствия. И все это происходит лишь до тех пор, покуда народ с любовью и доверием следует указаниям десницы отеческой власти. Однако как только народ захочет быть суверенным, эта его великая природная сила превращается в дикую стихию всеобщего разорения. Если же мы теперь спросим, в какой мере высший государственный правитель сравним с Законодателем природы: то и здесь различие будет столь велико, что почти что всякая аналогия исчезает. Конечно, законы государства священны, с точки зрения обязанности послушания, которого они требуют. Однако это осуществляется не само собой, но лишь вынуждается и поддерживается с помощью наград и наказаний. Если речь идет не о строгих законах права, но лишь о законах сглаживающих и уравнивательных, стремящихся к улучшению гражданского состояния, то здесь эти законы в еще большей степени подвержены человеческому несовершенству и многообразным изменениям. Например, в той или иной стране верховная государственная власть издает закон, имеющий целью привести в желательное равновесие землевладение и фабричный труд. Однако же по прошествии нескольких лет выясняется, что теперь жалкое состояние той и другой стороны многократно усилилось, и, следовательно, закон вновь необходимо менять. Здесь, безусловно, дело обстоит иначе, нежели с законами при-

роды, которые Бог дал природе, и которые никогда не дают сбоя. Если мы далее спросим, является ли верховный правитель представителем Бога — как Спаситель, Освободитель, Искупитель? — то конечно, ему принадлежит прекрасное право помилования, которое могло бы представлять собой некий род аналогии и подобия понятию о Боге в этом Его качестве. По существу же, однако, это право в качестве отдельного исключения из общего правила относится более к судебной функции. Кроме того, отечески настроенный государственный правитель способен предотвратить и смягчить множество несчастий, распространить на свою землю множество щедрот и благодеяний; однако несчастной душе способен помочь лишь Один. Дабы еще четче пояснить различие через противоположность, я хочу упомянуть лишь о том, что там, где духовное лицо рассматривается не только как народный учитель, но и (как это происходит в большей части западного и восточного христианства) замещающий представитель жреца, священника — такое общественное местоблюстительство прежде всего относится к Искупителю. Судебная функция для совести не должна иметь зримого и официального воплощения, но должна быть предоставлена всецело самой совести, строго храня ее тайну. И в этом заключается великое различие и своеобразие в отношении верховной государственной власти к Богу, которая обращается к Нему именно как к Судье. В этом отношении, однако, имеют место не просто отдаленное сходство и слабая аналогия, в соответствии с мерой человеческой слабости и несовершенства, но истинное и общественно признанное и общественно действенное местоблюстительство. И потому также в высшей судебной власти среди всех различных элементов государственного управления, несмотря на то, что последнее в основе своей есть нечто единое и неделимое — все же полагается некая совершенно особая святость, на что я прежде уже обращал ваше внимание. Высший государственный властитель, одним словом, есть отправитель божественной справедливости, местоблюститель мирового Судии. Он есть служитель Божества и, так сказать, уполномоченный мирового суда. И такова точка зрения, с которой могут быть получены наиболее полные ответы на все относящиеся к этому предмету вопросы, а также вынесены наиболее верные суждения. С тем, однако, чтобы это возвышенное достоинство не представлялось чрезмерно суровым, я должен здесь напомнить, что этот вечный Судья есть именно Тот, который не только в виде исключения, но всегда, насколько это вообще возможно,

заменяет гнев милостью; и здесь находит свое применение тот ранее установленный принцип, что Бог никоим образом не безусловен, но напротив, Его справедливость целиком и полностью обусловлена любовью и милостью, хотя, конечно, также и эти последние в свою очередь обусловлены строгой справедливостью, к тому же взаимно обуславливая друг друга. Всякий, кто допускает в своей груди хотя бы мысль о живом Боге, тот не сможет выдвинуть ни малейшего сомнения против такого соединения справедливости и благодати в Его сущности. Если североазиатский завоеватель эпохи переселения народов сам себя назвал бичем Божиим, то это, стало быть, мыслилось в смысле совершенно противоположном тому, что обозначен здесь. Он, тем самым, хотел утвердить себя как устрашающую и разрушительную, злую природную силу, буйству которой Бог предоставляет полную свободу, дабы наказать ею охваченный распадом мир. Этим понятием он хотел внушить миру ужас; явления же такого рода не ограничиваются одной лишь эпохой переселения народов. В этом понятии представительства вселенского Судии в лице высшей государственной власти наряду с суровой строгостью и справедливостью, которая, конечно, в этом отношении является необходимой и благотворной, соединяется также и высшая милость; ибо где можно было бы отыскать милость, что была бы, или могла бы быть большей, нежели милость божественная? В частности же в ней, наряду с прочим, в свою полную меру находит выражение та чрезвычайно высокая добросовестность, которая здесь потребна; и не могло ли преимущество этого понятия перед другими, слишком уж неопределенными объяснениями подобного рода, состоять именно в том, что в нем заключено и неразрывно объединено то и другое: как то, что высший государственный властитель никому не подотчетен, кроме Бога, так, в то же время, и то, что последнему он безусловно подотчетен, с одновременным пояснением того, в каком смысле и каким именно образом он Ему подотчетен. Если всякое большое, эпохальное событие во внешней и политической истории народов и мира должно рассматриваться как уже надвигающийся суд над миром — пусть даже и только частичный, свершающийся над отдельным народом или царством, над той или иной эпохой, или даже как все еще медлящий и готовящийся суд над миром в целом, — то все это в особенности верно также и в отношении всякого решающего вопросы войны и мира государственного акта. Поскольку и вообще право объявлять войну и заключать мир есть характерный признак высшей госу-

дарственной власти. Возможно, простейшим мерилom для составления суждения как об одном, так и о другом, было бы сказать: если объявление войны, или равно заключение мира столь всецело основываются на истине, столь соответствуют справедливому и правосудному характеру Бога, что их всегда можно было бы предъявить на подпись Судии над миром, — то они, безусловно, хороши и правильны, каков бы ни был их успех, или суждение о них мира. Если же это не так, если в объявлении войны всего лишь произвольно собраны мелкие и ложные основания, украшательства, которые даже для мирских глаз слишком прозрачны, чтобы быть в состоянии скрыть завоевательские устремления, простой принцип разрушения старой национальной ревности под каким-нибудь поверхностным слоем вероятности и правдоподобия; если в пакте о мире под двусмысленными словами и коварными выражениями в свою очередь со всем тщанием насаждается семя для следующей войны, с тем чтобы атмосфера зла в политическом мире передавалась по наследству и усиливалась от начала и до конца дней: то в этом случае событиями руководило отнюдь не око вечной справедливости с его защитой и благословением, но здесь, очевидно, в игре принял участие другой, хоть и невидимый, агент. Это дух неправды и пагубы, раздора и разрушения, для коего не существует более точного имени и обозначения, чем «лжец от начала». Как, теперь, не только уничтожение всего рода гигантов первобытной эпохи в великом потопе, с которого начинается наша нынешняя история и на который указывают все древние предания, но также и любой закат той или иной отдельной нации, или катастрофа, трагически завершающая собой тот или иной мировой период, представляет собой нечто вроде прелюдии последнего суда надо всеми народами в конце времен, — точно так же, с другой стороны, и изначальная порча и ложь от начала простирается и распространяется в передаваемом по наследству бедствии из рода в род, из тысячелетия в тысячелетие и от столетия к столетию. Тем не менее, плодородное земное царство объединенной в гражданском сообществе жизни людей, в благополучные времена и при ненарушаемом внешнем и внутреннем мире, все еще могло рассматриваться — если уже более и не как блаженный сад невинности, то все еще как счастливая обитель покоя. Однако сюда вновь и вновь прокрадывается дух возмущения и неправды, и вновь и вновь в ходе времен мировой истории повторяется одна и та же сцена искушения и грехопадения. В двух направлениях: вверх и вниз — один и тот же лживый дух раздора

нашептывает свои мысли, с одной стороны, в первую очередь молодому поколению, приблизительно следующим образом: «Вас хотят лишить истинного познания и науки, но стремитесь сперва освободиться, страхните с себя это недостойное послушание, и тогда все прекрасное и духовно великое станет вашим наследием. И в древние времена познание всегда достигалось лишь на этом пути, и ни на каком ином». Или, возникая с другой стороны, он нашептывает слова соблазна тому или иному сильному, и если тот живет не по закону, то он и без того уже наполовину принадлежит ему; но даже если он от начала законопослушен, то это отнюдь еще не значит, что он совершенно недоступен для подобных нашептываний: «Что ты все так боязливо оглядываешься назад, на то, что люди называют правом? Ведь все это лишь детские понятия, которые заставляют выучивать наизусть школяров и которые совершенно неприменимы на практике. Никто и не принимает их всерьез; сам мир не верит в эту комедию. Мир нужно схватить железной рукой: лишь такой способ действий он способен уважать, и он отнесется с почтением лишь к тому, у кого достанет на это силы. Также и величие твоей души и силу твоего характера он будет с благоговением почитать, лишь если ты однажды всерьез решишься возобладать над ним и овладеть им без этой пугливой оглядки. Лишь в том случае, если твоя власть хорошо укреплена изнутри и упорядочена снаружи, — лишь в этом случае тебе удастся, наряду с достижением бессмертной славы у потомков, оставить после себя и какие-то иные блага». Таким образом наследство первоначального зла, происходя из древнего источника лжи, передается в политическом мире дальше из рода в род в двоякой форме народной анархии и деспотического властолюбия. Оба эти бедствия в действительности стоят гораздо ближе друг к другу, нежели это может показаться на первый взгляд. Об этом же свидетельствует и история, учительница истины. Нет ничего более обыкновенного, чем когда гражданский раздор в великих республиках улаживается благодаря победоносному военачальнику, которому тогда все партии, уставшие от распрей, бывают в высшей степени признательны за неожиданное благодеяние. Однако уже на третьем, если еще не на втором своем шаге, славный миротворец чаще всего превращается в планомерного покорителя мира. Вся мировая история по сути своей есть лишь непрерывная борьба между очистительным огнем божественного суда и этим политическим духом лжи, вновь и вновь появляющимся под двумя личинами анархии и деспотизма. Однако

следует еще заметить, что необходимо беречься — говоря об общепризнанном божественном авторитете верховного государственного правителя — приносить в это представление в высшей степени опасное и чреватое заблуждениями понятие безусловного и абсолютного, которое, как уже отмечалось раньше, не может быть употреблено даже по отношению к Божеству без того, чтобы не дать повода к величайшему недоразумению. И если в той или иной стране ревнители права (ибо ведь ныне и сама справедливость образует собой партию) называют себя абсолютными, то уже одно это выражение способно вызывать тревогу о том, не дремлет ли под пеплом, при таком абсолютном настрое и образе мысли, пламя очередного несчастья. Ибо абсолютное, т. е. безусловное и разрушительное, всегда вызывает к жизни также и второе. Абсолютной (Unbedingt²⁶) (если уж необходимо произнести здесь это пагубное слово) может быть названа власть легитимного главы государства, на том основании, что этот последний не подотчетен никому, кроме Бога. Если бы, однако, в том или ином государстве верховный правитель сам был подотчетен, то он уже не был бы таковым, но таковыми были бы те, кому он подотчетен. Кроме того, верховное государственное правление не может быть названо абсолютным, ибо, напротив, оно многократно обусловлено существующими соглашениями с другими властями, ранее принятыми законоположениями (коль скоро они действуют и не отменены), собственными внутренними законами о правах наследования и всем прочим, что имеет отношение к сему предмету. Если тот, в чьих руках находится власть, хочет по своему произволению опрокинуть этот порядок, то — хоть и действительно не найдется никого, кто был бы вправе упрекнуть его в этом или оказать ему противодействие — однако он сам таким произволом и такими насильственными шагами подорвет основание собственного правления и собственной власти, а следовательно, эта власть и это правление в данном случае даже весьма и весьма обусловлены необходимой оглядкой на последствия собственных решений. Сколь сильно, наконец (если принимать во внимание не одно лишь право, но также и его действительное приложение и власть), обусловлено и ограничено даже самое мягкое и отеческое правление несчастливими, чреватыми бедой временами! Ничто вообще так не противоречит природе и самой жизни, как понятие безусловного и все, что является абсолютным

²⁶ Букв.: «безусловной». — *Прим. перев.*

и разрушительным. Также и с другой стороны высшая политическая власть обусловлена существенными соображениями, например, основными устоями религиозного сообщества, в свою очередь покоящимися на божественном авторитете, который столь же нерушим, как и авторитет государства, однако принадлежит к иному роду и имеет иное происхождение, отличное от государства. Если, теперь, политический властитель не довольствуется здесь одним лишь участием, верховным надзором над религиозным или церковным сообществом, одним лишь ограниченным влиянием, но стремится совершенно подчинить эту сферу своему произволу, то, конечно же, никто не сможет противопоставить свою силу его силе, да и никто не имеет таких полномочий. Однако именно этим самым, как и вообще любыми религиозными притеснениями, верховная государственная власть подрывает свой собственный фундамент. Если например, верховная государственная власть той или иной великой нации ставит приблизительно треть этой нации перед опасной альтернативой, предлагая ей роковой выбор между божественным авторитетом и человеческим (или, если выразиться точнее, между одним и другим божественным авторитетом), то тем самым она с неизбежностью мостит дорогу к своей собственной гибели. Здесь, в духовной общине веры, наследие древнего зла также проявляется двояким образом: в одном направлении — уходя назад в прошлое, в другом же — устремляясь от настоящего момента вперед, в неопределенную даль, причем совершенно независимо ни от внешней формы, ни от содержания собственно веры. Поэтому оба отклонения от истины жизни могут быть прослежены как в Ветхом Завете, или на первой ступени божественного откровения, так и на второй. Первый из этих двух наследственных пороков есть затухание импульса (*Erstorbenheit*), или, говоря несколько иными словами — остывание, т. е. буквальное, мелочное и чисто формальное соблюдение обычаев древности, одним словом — духовная смерть. Ибо в каком бы преизбытке любви Бог в Своем откровении ни сообщил и ни открыл Себя человеческому роду, все же восприятие этого откровения остается делом свободы и благой воли человека, а потому и здесь часто можно наблюдать унаследованную и благоприобретенную внутреннюю смерть. Второй же из этих наследственных пороков, или тот же самый, но в иной форме, есть дух новации (*Neueugung*), или ложная, иллюзорная жизнь, через которую, по существу, лишь распространяется внутренняя смерть. В отношении обоих пороков и ложных образов мысли или болезней

веры откровение высказывается равным образом строго, и, возможно, даже более строго в отношении первого. Что же касается духа новизны, то, безусловно, всякое новаторство в этой области, являющееся лишь человеческим, а не происходящее зримым и очевидным образом от божественного Духа, уже по этой одной причине будет ложным. Пусть только те, кто охвачен и влеком этим духом (а их великое множество по обе стороны разделенной веры: ибо также и среди тех, кто изначально ратовал за обновление, многие теперь бывают вдохновляемы глубокой привязанностью к далекой древности; равно как находится и множество перебежчиков в новизну среди тех, что изначально стремились поставить преграды любым новаторским поползновениям) — пусть только все, кто охвачен духом новаторства и стремятся вперед и в будущее, проследят это будущее в своих мыслях до самого его конца и завершения. В науке суда над миром (а что же представляет собой эта философия откровения, если не такое напоминание о смерти и о конце: ибо философия издревле воспринималась и объяснялась именно как такое напоминание, причем, конечно, не из тесной ограниченности нашим собственным Я, но в более широком смысле и в деятельном участии по отношению ко всеобщей заключительной катастрофе всего человеческого рода) — в этих уже весьма часто и давно дававшихся указаниях и предостережениях они нашли бы ключ к пониманию всего того, что они ищут, и в дальнейшем уже не нуждались бы ни в каких человеческих новшествах, ибо благодаря этому ключу все древнее и вечное обрело бы для них втроекратно усилившееся значение и новую, удвоенной силы, жизнь.

Третье, значительно меньшее, однако в своих действиях немаловажное духовное объединение — наряду с политическим корпусом и общиной веры — образует наука, существуя и распространяясь либо в более свободном и лишенном строгих формальных очертаний виде, либо в тесной и замкнутой форме школы. Будучи духовной в своем содержании и распространении, она, тем не менее, не обладает божественной санкцией, находясь под защитой и присмотром государства — по меньшей мере, таково ее положение в этом последнем столетии; либо она достигает расцвета и роста под ширмой и при поощрении церковных институтов, что наблюдается издавна. Стоя посередине между двумя другими общественными объединениями, будучи более родственной одному из них по своему содержанию, однако заимствуя свою точку опоры от другого, она также обладает смешанной природой, разделенной меж-

ду ними обоими. Характерный же для науки наследственный порок есть совершенно тот же, что и свойственный политической жизни, и он проявляет себя в двойном отходе и враждебной оппозиции против существующего вовне и божественно данного свыше, то есть в смысле и духе анархии; либо же в господствующем болезненном стремлении к системности и в научном духе сектантства, который нередко может достигать такой же степени фанатизма, что и политический партийный дух, и часто имеет сходную с ним природу.

Каков же, теперь, может быть божественный порядок и его строго судящий дух в мировой истории — в основном может явствовать из сказанного нами ранее. Мы вели речь о проходящей через все целое борьбе между очистительным огнем божественных кар и тем наследием древнего зла, [что выражается] в анархии и деспотизме, в духовном омертвлении и одряблении веры, или в рассеивающей новации; [а также о том,] как этот очистительный огонь воздействует на те или иные нации или отдельные временные эпохи мировой истории, придавая им новый облик; как он распространяется все дальше и дальше, и, наконец, обнимает собой все целое. Впрочем, понятно само собой, что огненные следы этого карающего духа в его суровом шествии через столетия приходится различать и исследовать лишь на благочестивом удалении, дабы понять, каков он, и извлечь из этого познания урок; при этом не следует слишком торопиться обобщать его действия каким-либо твердым правилом, или подводить его под то или иное рукотворное определение. Напротив, следует тщательнейшим образом остерегаться усматривать в делах Провидения слишком большое множество искусственных намерений в руководстве человеческим родом, которые, скорее всего, окажутся не более чем нашими собственными домыслами. В общем и целом же вполне можно сказать, что очевидные намерения и высшие цели в эпохальных катастрофах тех или иных народов, царств или целых временных периодов будут иметь отношение преимущественно к той описанной в предыдущей лекции последовательности ступеней божественного откровения, которая изначально определена и рассчитана для всего человеческого рода. Лишь в качестве примера и иллюстрации приложения выдвинутой идеи я хочу сказать в этом отношении еще несколько слов о некоторых важнейших моментах и катастрофах мировой истории. Суровый водораздел всеобщего потопа, великое и разнообразное множество следов и свидетельств которого можно встретить по всей земной поверхности, отделя-

ет прежний человеческий род от последующего; возможно, что первый существенно отличался от второго, как во всем своем образе жизни, так и в своих физических и духовных задатках и способностях; возможно, что отличался он также и родом своей нравственной порчи и своего губительного разложения. Поэтому я и хочу начать мои немногочисленные наблюдения уже по эту сторону великого водораздела. Следующая катастрофа, которая четко определяется как таковая, и которая может быть (хоть и не с той же степенью всеобщности, как прежняя) прослежена как таковая исторически (так называемое вавилонское смешение языков и неразрывно с ним связанные мифическое смешение преданий и представлений, а также рассеяние народов), — по большей части лишь обозначена, а отнюдь не раскрыта и очерчена столь же определенно, как предыдущая. Время здесь также не указано, хотя указана местность, которая — согласно и всем прочим историческим указаниям — есть та же самая область западной Средней Азии, откуда впервые пошла злая зараза политического завоевательского стремления, или, иными словами, откуда было родом это зловерное, если можно так сказать, *изобретение*. Само же рассеяние народов как естественное наказание и хаотический распад всякого ложного политического (или даже всего лишь духовно неистинного) объединения есть исторический факт; и [он имел место] именно в этой области западно-азиатских, южноевропейских и верхнеафриканских народов, в этом расположенном вокруг Средиземного моря мире древности, так что мы лишь с трудом пробираемся через лабиринт их взаимного родства и происхождения в этой чудовищной путанице языков и хаосе преданий, во множестве крайне противоречивых идей о природе, нагромождений божественных генеalogий и выведений их героических родов из мира богов. В этих хаотических коллизиях и противоречиях дерзкой языческой фантазии, в конечном итоге, и была заложена причина разложения их древней веры, а само это разложение затем, в свою очередь, произвело весьма благотворное следствие. Тем самым образовалось пространство (в частности, у греков, в отношении которых в особенности и по преимуществу верно все сказанное) для свободного развития философии, которая, пусть даже ей суждено было пройти через великое множество ложных систем, тем не менее, являла собой выражение искреннего поиска истины и науки. После же того как греки однажды были обозначены как второй народ, коему в ходе развития человечества суждено быть носителем и инструментом дальнейшего распространения

откровения; и после того как сделалось очевидным, что то светлое земное чувство прекрасного и та объемлющая собой природу и человеческую жизнь ясность мысли, коими, очевидно, обладают греки, равным образом весьма угодны Богу, — философию стали воспринимать (и воспринимают до сих пор) как некий род введения и подготовки к высшему познанию и принятию откровения. В политической жизни греков преобладала чрезмерная склонность к беспокойной свободе и анархии; и когда, наконец, эта последняя отбушевала, как и обычно, за ней последовало естественное наказание (то есть деспотическое военное правление в македонскую эпоху) — пусть даже это был всего лишь краткий пароксизм, продлившийся лишь до установления римского господства. У римлян то и другое случилось одновременно и было теснейшим образом друг с другом связано; дабы избежать внутренней анархии, они безудержно предались внешним завоеваниям; после же того, как анархия достигла своего высочайшего пика, а тем самым и подошла к концу, завершился также и деспотизм, — как внутренний, так и внешний. Выше уже отмечалось, что все это смешение идей и преданий, эта непрестанная смена между анархией и деспотизмом во всем ходе развития от первого рассеяния народов и до окончательного установления римского мирового владычества в языческой древности, имеет отношение прежде всего лишь к указанной западно-азиатской, южно-европейской системе народов. Два великих народа или царства на востоке Азии, вместе составляющие более трети, если не почти половину населения всей Земли, по большей части остались в стороне от всего этого движения. Создается впечатление, что Бог с некоторым особым намерением отделил и сохранил их для этого последнего времени. От трех до четырех столетий Индия просуществовала в неизменности своего кастового уклада и своих наиболее существенных обычаев. И, конечно, в качестве одного из наиболее достопримечательных знамений нашего времени следует рассматривать тот факт, что это великое, богатое и оригинальное древнее царство с населением, которое по своим нравственным качествам вполне может сравниться с населением Европы, ныне было внезапно завоевано и покорено властвующими над морями Британскими островами — теми самыми, которые древние называли не иначе как Оловянными островами, обозначая их как самый крайний, последний предел обитаемого мира. При столь очевидно масштабных исторических сопоставлениях не следует торопиться определить намерение властвующего над историей духа (ибо то,

что здесь непременно должно иметь место намерение, причем великое, — вполне ощутимо), но следует лишь со вниманием ждать дальнейшего развития событий. Расширение исторического знания благодаря пришедшим отсюда источникам уже само по себе столь велико, что благодаря ему в наше знание о древней и древнейшей эпохе и о начале человеческого рода пришла совершенно новая взаимосвязь, а благодаря ей с течением времени также и божественная истина находила все большее подтверждение и все более твердое обоснование. Другое небесное царство с его односложным языком вплоть до сей последней поры просуществовало за своими стенами в изоляции от прочего мира, в основном не смешиваясь с другими народами и по своим обычаям в существенной части оставаясь неизменным, несмотря на то, что неоднократно подвергалось завоеванию с севера. Теперь же, в это последнее время всеобщего брожения и перемен, охвативших собой весь мир, оно также пришло в движение и до такой степени прониклось духом завоевания, что, будучи прежде известно большей частью лишь по своему легендарному имени, ныне оно сделалось непосредственным соседом двух великих европейских держав.

Завершение мировой истории на западной стороне обитаемого мира образует собой трагический закат еврейского народа и ужасающее опустошение Иерусалима: события, которые во всецело собственном смысле обозначаются как частичный мировой суд над отдельным народом, и которые были предсказаны задолго до их свершения. Похожее и сделанное в сходных красках изображение этих событий можно найти также и у языческих авторов. Мало что во всем ходе мировой истории производит столь грустное и удручающее впечатление и одновременно представляет собой явление столь редкостное и значительное, как это растянувшееся на множество столетий полное растворение и угнетение рассеянного по всему миру еврейского народа, который, вопреки всему этому, смог оказать столь великое и решающее влияние на идейный ход и на высшее развитие человеческого духа. Тем более у нас есть право рассматривать в качестве одного из прекрасных, радостных и обнадеживающих знамений нашего времени тот факт, что ныне этот столь долгое время пребывавший в угнетении народ неожиданно вновь пробудился (или был разбужен) и в своем стремлении к свободному развитию и образованию обратился к многосторонней духовной, нравственной и гражданской деятельности; тем более, что и это новое пробуждение столь долгое время согбенного народа

уже predeterminedено в его древнейших пророчествах, обращенных к последним, решительным дням мировой истории. В средневековье новой истории могут быть обнаружены все элементы христианского государства и, соответственно, более чисто понятой и оформленной монархии, которые достигают здесь гораздо более высокого и многообразного развития, нежели в языческой древности. Однако, вместе с пришедшим расколом и с началом борьбы между достигавшими тем самым деспотической степени двумя силами, ход событий все более и более приобретал вид некой новой анархии; точно так же как и в наше время, после того как большая часть христианского мира вновь стала языческой по своему умунастроению (что было естественным следствием господствовавшего образа мысли), наступил возврат к прошлому — к двоякому злу дикой народной анархии и к еще более разрушительному деспотическому господству вооруженной силы. Между этих двух зол колебалась вся история древнего язычества, попеременно устремляясь то в одну, то в другую сторону. Правда, на христианском Западе, как ныне, так и в средние века, преобладающим был анархический уклон. Напротив, магометанским народам с самого первого начала их религии был в большей степени свойствен и врожден наследственный порок деспотического стремления к завоеванию, каковой и находил себе пищу в самой этой религии. Однако и здесь произошли значительные перемены: самое большое из всех магометанских государств, располагавшихся на территории Индии, в наше время полностью исчезло, не оставив после себя ни единого следа, и, по естественном обращении хода вещей, те, что поначалу были победоносными захватчиками, в свою очередь ныне были побеждены и захвачены; так же как на другой стороне Запада те, что прежде угрожали существованию цивилизованной Европы, теперь сами в своем существовании очевидным образом зависят от Европы и ее господствующей системы мира. Однако это совершенно изменившееся положение магометанских государств в общем и целом, бесспорно, относится к числу тех характерных знамений, которые, наряду со многими другими, отличают нашу эпоху. За три столетия новой истории, которые заполняют промежуток между средневековьем и революционной эпохой нашего времени, нравственно упорядоченная монархия достигла гораздо более высокого развития, нежели когда-либо прежде; однако наиболее бросающееся в глаза событие этого временного периода, наверно, представляет собой горестное и удручающее явление религиозных войн —

как хоть и отнюдь не необходимое и отнюдь не естественное, однако все же объяснимое печальное следствие раскола в вере. В других странах, где одна партия с одной или с другой стороны, как в Англии и во Франции, оказывалась слабейшей и была всецело побеждена и подавлена, этот феномен несчастья и подавно являет собой самое отвратительное зрелище. Однако в Германии дело приняло другой оборот, и здесь с ним связано явление высшее. Ибо после долгой и бесплодной тридцатилетней борьбы, в которой погибли лучшие силы страны и так и не наметилось никакого решительного, позитивного исхода, при приблизительно равных силах обеих партий, здесь, наконец, забрезжило обоюдное осознание и признание взаимных прав, и стороны пришли к мирному диалогу ради совместной гражданской жизни. Этот великий и снискавший всемирную славу религиозный мир — даже будучи рассматриваем лишь как основательная работа по достижению мира, был признан шедевром, не имеющим себе равных и положен в основу всякого искусства достижения мира и работы по его поиску для будущих времен. Мир этот ныне стал для Германии чем-то вроде природной, врожденной необходимости и второго национального характера; чем Германия, в сравнении с другими странами, может считать себя с лихвой вознагражденной за отсутствие тех или иных преимуществ, коими она обойдена, и что само по себе уже можно рассматривать как залог ее великого мирового положения в будущем. С точки зрения всемирно-исторической, нельзя не признать высокого значения этого нерушимо установившегося в Германии религиозного мира (пусть даже он редко находит себе полное понимание) и не рассматривать его как несущее новую надежду предвестие иного, гораздо более великого и всеобъемлющего религиозного мира, силой которого должен быть улажен не только раскол самой веры, но также и раскол гораздо более всеобщий — между верой и неверием: когда знание сравнивается и вновь соединится в Одно с верой, а тем самым вновь войдет в соединение и в живое соприкосновение с жизнью, если только Бог, всегда желающий лишь мира и единства, одержит верх и окажется сильнее, чем человек, любящий раскол и ищущий его, или, даже не любя и не ища его, тем не менее, всегда вновь и вновь в него впадающий. Таким или приблизительно подобным образом можно было бы развивать далее религиозное воззрение о мировой истории и о божественном порядке в ней, что, однако, никогда не должно происходить чересчур систематическим образом, во избежание произвольного и насильственного вкладывания [в мысли Бога] ложных намерений.

В соответствии с заранее очерченным кругом рассмотрения, я вынужден был ограничиться здесь лишь этими скудными замечаниями, а в них самих, в свою очередь — старался обратить внимание преимущественно на связь с нашим столетием и на многочисленные всемирно-исторические знамения, говорящие о его исключительной и необычайной роли. Если обобщить результат, то эти характерные знамения нашего времени были таковы: оба великих языческих народа и государства, которые на протяжении тысячелетий существовали обособленно, вступили с Европой в теснейшее соприкосновение; магометанские государства распадаются повсюду гораздо быстрее, нежели того можно было ожидать; народ евреев вновь начал свой подъем; в христианских странах тут и там все еще заметна склонность к древнему злу анархии, и если достигнутый среди людей мир, который вот уже двенадцать лет как сдерживает нашу эпоху в единстве, представляется в тех или иных пунктах несколько недостаточным или, по меньшей мере, угрожаемым изнутри, то это происходит лишь из-за отсутствия твердой основы внутреннего умонастроения. Таким образом, что могло произойти более счастливого, какой лучший поворот могла бы совершить эпоха, чем если бы посредством такого тройственного божественного мира, как только что упомянутый, был бы вновь учрежден и укреплен также и мир внешний, и если бы, например, Божьим произволением это стало бы темой всей последующей мировой эпохи?





ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

**Об истинном назначении философии;
а также о мнимом расколе и сущностном единстве
правой веры и высшего знания
как средоточии света и жизни в сознании**

Философия жизни не может быть только наукой разума, и менее всего она может быть безусловной: ибо таковая ведет сперва в область мертвых абстракций, чуждых жизни; а благодаря диалектическому спору, прирожденному разуму, вся эта область превращается в лабиринт взаимоисключающих мнений и понятий, из которого разум, со всем своим диалектическим оружием, никогда не сможет выбраться в одиночку; и именно по этой причине жизни — внутренней и духовной жизни — причиняется значительный урон и разрушения. И этот создающий помехи жизни и разрушительный для нее принцип диалектического разума есть именно то, чего следует избегать, и что должно быть побеждено в первую голову. В одной лишь форме абстрактного мышления самой по себе еще не заключено ничего столь всецело противоречащего истине, чтобы его необходимо было всегда и во что бы то ни стало избегать, или чтобы его никогда и ни в коем случае нельзя было употребить. Так, безусловно, на ложном пути стоит философия, которая с начала и до конца образует свой метод по математическому образцу, стремясь всецело заимствовать его у математики; тем не менее, могут существовать несколько точек в поступенном ходе ее развития, отдельные места в системе ее целого, где она мимоходом вполне и с успехом может воспользоваться ее формулами и абстрактными уравнениями, что, возможно, я сам при случае

проделаю в этой самой лекции, однако лишь в целях подобия и лишь в качестве эпизода; заодно в этом примере я надеюсь пояснить и наглядно показать, что здесь отнюдь не должна страдать ясность изложения. Философия как всеобщее знание, охватывающее собой всего человека, может по мере надобности черпать и заимствовать из других наук — то из одной, то из другой — внешнюю форму и свойственные этой науке формулы, мимоходом употребляя их с пользой для себя. Это лишь должно быть всегда свободное использование, выражающееся в намеренном выборе и смене. Метод свободного мышления, т. е. именно философия, не может быть, подобно кольчуге, механически составлен из бесчисленного множества совершенно одинаковых маленьких цепочек и колец, или из таких научным образом соединенных между собой кольцеобразных постулатов и их логических сочленений, как это происходит в математике; ее метод вообще не может быть единообразным; и никогда дух не должен унижаться до служения методу, а сущность — приноситься в жертву форме. С общим характером философского мышления и знания, и проистекающим отсюда разнообразием метода и его свободной сменой дело обстоит приблизительно так же, как по другую сторону с поэзией (что объемлет и должна обнимать собой всего человека) в ряду изобразительных искусств: ей чаще всего предоставлено право по своему желанию и благоусмотрению заимствовать свои подобию, краски и образные выражения из всех возможных сфер бытия, жизни и природы. И как поэзии нельзя безусловно предписать заимствовать все свои подобию и образные выражения, например, только от цветов и растений, или из животного мира, или от различных человеческих занятий, например, исключительно из быта мореходов, или пастухов и охотников, или представителей тех или иных ремесел и искусств: ибо именно в результате такого боязливости ограничения вольный поэтический дух и живая фантазия были бы умерщвлены; тогда как все эти уподобления, краски и образные выражения, там, где они употреблены уместно, имеют право использоваться в поэтическом изображении, и ни один род их не должен быть заведомо исключен. Точно так же и философия иной раз может представлять свои мысли всецело в форме нравственного законодательства или судебной дискуссии; другой раз также в виде естественно-исторического описания, или же историко-генеалогического развития и выведения понятий, ибо именно в такой связи ей удобнее всего изложить и пояснить свой взгляд. Другой раз

она, возможно, будет пытаться доказать существование невидимой силы (которое она утверждает) в форме научного опыта, попытки дать высшее учение о природе, или также наиболее удобным образом достичь все той же высшей цели в виде алгебраического уравнения, в математической форме, которая, однако, для нее самой по существу есть лишь образ и зримый иероглиф для чего-то невидимого и высшего. Любой метод и любая научная форма хороша, или, по меньшей мере, может быть хороша, будучи правильно использована; но ни одна не может быть исключительной, и ни одна не может быть проводима насильственно, в однообразной и утомительной монотонности.

Сколь мало теперь философия может и имеет право представлять собой одну только и безусловную науку разума, столь же мало она должна и может быть всего лишь натурфилософией: то есть исключительно натурфилософией, которая была бы лишь ею и более ничем, яви она с этой природной стороны сколь угодно великое богатство учености, духа и глубокомыслия. Даже для человеческой жизни не так уж легко будет повсюду и ненасильственно вывести с ее помощью хотя бы руководящие принципы и верные понятия, ибо человек в своей жизни есть нечто большее, чем только природа и только природное существо; еще менее из такой исключительной натурфилософии можно было бы вывести, доказать необходимость существования, или сколь-нибудь внятно объяснить Бога, непосредственное отношение к коему и делает человека тем, что он есть: ибо, будучи всецело выведен из такого источника, Бог был бы не более, чем целью природы. Ни изречения здравого ума (и в особенности совести), ни даже диалектика, коль скоро она применяется с пользой (а по меньшей мере ее знание необходимо для того, чтобы избежать заблуждения), ни также естествознание и его высший дух — никоим образом не исключаются из границ философии и ее самой; напротив, философия может и должна свойственным ей способом воспринять в себя оба эти элемента и использовать их для своей цели в более общем смысле и духе. В первую же очередь она как философия жизни есть целиком и полностью человеческая наука и познание человека. И именно поэтому, а также потому, что лишь благодаря своему прямому отношению к Богу человек возвышается над природой и являет собой нечто более высокое, нежели простое природное существо или разумная машина — именно поэтому философия жизни есть также действительно и поистине философия Бога. Таковой, а не одною лишь

философией разума или природы, философия жизни является также потому и в этом смысле, поскольку высшую жизнь и источник всякой иной жизни представляет собой именно Бог. Далее, эта высшая жизнь, имеющая свою жизнь в себе самой, есть теперь предмет моего рассмотрения; ибо именно вместе с полным и верным понятием этой высшей жизни в сознание человека входит Дух Истины, где затем в его прежде безвидном и пустом внутреннем пространстве возникает тот самый свет, который никогда не помрачится, и о котором именно этот Дух Истины сказал, что он хорош, каковым он и будет пребывать вечно. Эта божественная световая точка начала есть первая ступень идущего отсюда все дальше и дальше развития Духа, внутреннего света и истины в человеческом сознании и в человеческой жизни; каковое развитие духа как раз и должны представлять собой содержание и предмет последних семи чтений или наблюдений из общего числа этих докладов по философии жизни. В предыдущих восьми чтениях я стремился, следуя от ступени к ступени по восходящей линии, достичь этой последней цели. Кульминационная точка всего целого теперь достигнута; и эта высшая жизнь (которая, как сказано, есть первоначальный источник всякой иной жизни и которая имеет свою жизнь в себе самой) и полное и истинное понятие этой жизни будет теперь предметом нашего общего рассмотрения. С этой вершины света и истины, к которой я поэтому хотел бы привлечь ваше самое пристальное внимание, я попытаюсь затем быстрыми шагами снова увлечь вашу мысль вниз через все ступени духовного развития, во все возможные сферы сознания и жизни, и в полную действительность.

Если же теперь философия жизни, в силу всего сказанного (если философия всюду, всегда и во всех сферах восходит вверх к высочайшему, и если высшая жизнь есть именно Бог), не может быть ничем иным, кроме как истинной философией Бога, — то как же тогда она отличается от теологии? Поскольку я так или иначе еще в самом начале установил, что философия вообще, и в особенности также философия жизни, хотя и должна, в силу общего предмета, часто, весьма близко и во множестве точек входить в соприкосновение с теологией, — тем не менее, все же во всем своем существе, сущностно всецело от нее отлична, должна быть строжайшим образом от нее отделена и соблюдаться внутри своих собственных границ, дабы не вторгаться произвольно в пределы теологии и, в свою очередь, не становиться ее служанкой ценой прине-

сения в жертву своего собственного своеобразного характера и своего истинного предназначения. Верное отношение, близкое родство обеих наук, при зачастую почти одном и том же предмете, и, тем не менее, столь четко обозначенные границы, возможно лучше и нагляднее всего пояснить сравнением с математическими науками. Догматика, или наука позитивной веры, подобна чистой математике. К тому же понятия, формулы и доказательства, которые недостаточно строги и просты, могут быть оформлены с почти математической четкостью; ибо произволу отдельного человека здесь не может быть предоставлено ни малейшего свободного пространства или влияния, без того чтобы тотчас же не потерпел урон существенный и позитивный элемент веры. Философию, напротив, поскольку она в качестве своей цели или содержания имеет те же самые предметы, или также ту часть философии, относительно которой сказанное верно, следует скорее сравнить с прикладной геометрией, например, в собственно практических землемерных работах, или в математических основах фортификации и стратегии. Это, если можно так сказать, прикладная теология, посредством которой философия приводит эти общие идеи о Едином живом Боге и всевластном Провидении (и, что весьма существенным образом с этим связано, — о бессмертии души и свободе воли), на всем почти неизмеримом поле исторического знания и исторического развития человека, а также всей прочей опытной науки и естествознания, или равным образом в области научных споров, человеческих мнений и борющихся между собой систем — в весьма многообразное практическое отношение, находя им плодотворное применение. При этом в своих выражениях и формулах философии совсем нет нужды робко придерживаться языка другой, сестринской науки, осмеливаясь лишь на то, чтобы дословно за ней повторять. Напротив, для нее будет даже много выгоднее и лучше, если здесь она будет двигаться более свободно, и если выражения будут меняться ею и замещаться одно другим, ибо ведь она не привязана столь же строго к авторитету, и равным образом не претендует на него. Ей же, напротив — подобно тому, как в алгебраических уравнениях часто даже вполне гипотетическое вычисление, которое, однако, в дальнейшем демонстрирует свою надежность, практическую применимость и прикладную полезность, обычно принимается к употреблению — точно так же и ей предоставляется свобода такого гипотетического применения теологических величин и основоположных идей, если можно так сказать, для ее чи-

сто научной цели. Вышеприведенные общие артикулы веры (а в подробностях и частных определениях позитивной веры философия для своей цели, по меньшей мере на первых порах, не испытывает неотложной надобности) — эти общие артикулы веры, как то: о всемогущем Провидении, и далее о бессмертии души и свободе человеческой воли (которые, пусть и не в определенных словах и понятиях, по меньшей мере в виде способности и чувства, коль скоро они еще не пригвождены и не уничтожены с помощью диалектических иллюзорных оснований, — присутствуют в каждой еще не затронутой ими и потому здоровой человеческой груди, даже если зачастую они погружены в глубокую дрему) — их философия может и имеет право смело принимать в качестве своих предпосылок. Более того, она даже обязана так поступать, и если только она будет делать это правильным образом, она не найдет здесь никакого сколь бы то ни было значительного противоречия или сопротивления. Напротив, именно тем самым она еще вернее сможет пробуждать и поощрять до поры дремлющие в человеческой душе всеобщие чувства веры, постепенно превращая их в твердые точки опоры для убеждения и формируя их в целях дальнейшего укрепления и развития этого убеждения. И более всего как раз именно в этом и должна выразиться ее духовная власть над умами и душами, и именно в этом прежде всего ей следует искать свою истинную задачу. Если же, напротив, она полагает ее в том, например, чтобы в строго научной форме доказать существование Бога наряду с естественным окружением других вечных истин, таких как бессмертие души и свобода воли, то тем самым она уже с самого начала выпускает из виду истинную цель и ставит перед собой ложную. Если бы цель эта была достижима и даже действительно была реализована: то все же тем самым не было бы достигнуто ничего существенного, ибо теперь естественным образом бытие Божие и сам Бог сделались бы зависимыми от того, из чего они были бы доказаны и выведены и представлялись бы нам теперь не как безусловно Первое, но как некое второе и производное. Более того, эта первая и основоположная вещь в таком случае сделалась бы зависимой также и от человеческого познания и собственно науки разума, ибо лишь эта последняя должна была бы своей властью и полномочием удостоверить ее бытие. Это был бы полный и совершенный отход вещей от истинного и естественного порядка к неправильному и извращенному, что, увы, весьма часто встречается и происходит в опы-

те. Все сказанное следует понимать в отношении доказательств и стремления доказывать; указания, пояснения, сравнения и подтверждения суть нечто совсем иное, и все перечисленное вполне может иметь место. Бога, однако, невозможно доказать и втолковать тем людям, которые не желают принимать Его на веру: как и жизнь вообще, точно так же и эта высшая жизнь должна изучаться и постигаться самостоятельно из собственной жизни и собственного опыта.

Если теперь мы захотим бросить беглый взгляд назад, на старую школьную форму и некогда принятые школьные обозначения отдельных философских наук — для сравнения их с той классификацией, которая положена в основу у нас — то, несомненно, первые пять разделов этого целого были посвящены исключительно психологии, однако не в обычном, узко ограниченном, но в гораздо более широком и приложимом ко всему универсуму смысле этого слова. В этом бóльшем и более широком значении душа рассматривалась в отношении ко всей философии и к ее различным системам; затем — в отношении ко всей нравственной жизни; и далее — в отношении к откровению, к природе и к самому Богу. Три последующих размышления были посвящены исключительно божественному порядку в различных сферах бытия и обнаружению такового. Стало быть, здесь шла речь о своего рода теологии, однако понимаемой всецело эмпирически и прослеженной исторически в природе и в самой истории: как взятой духовно, в соответствии с внутренним поступенным ходом развития истины, так и во внешней мировой истории; и, следовательно, вполне в соответствии с предложенным здесь понятием прикладной теологии — как своеобразной сферы и задачи для этой имеющей в виду учение о высшей сущности и ее познание части или отрасли философии. Если бы теперь, в соответствии с прежней классификацией и прежними школьными наименованиями, могла существовать и собственно онтология как философская наука и знание об истинно действительных вещах и об их истинной и действительной сущности, — то ясно, что последняя также могла бы быть мыслима и возможна лишь в рамках такой прикладной теологии. Ибо в какой все-таки мере вещи являются поистине действительными и могут быть признаваемы за таковые согласно их внутреннему существу; если только не в той самой мере, в какой они имеют основание в Боге и твердо определены Им, и в какой они равным образом познаются в соответствии со своим основанием в Боге и со

своим определением из Бога? В любом случае, однако, наименования естественной теологии, как порой тут и там все еще обозначают философское познание Бога, следовало бы скорее избегать, поскольку оно целиком и полностью зиждется на недоразумении и на пагубном превращении понятий. Всякая теология, которая не является и не стремится быть сверхъестественной, но хочет все, а в частности также Бога и познание Бога брать и выводить только естественно, или даже выводить Его из природы — есть именно в силу этого уже теология ложная, не понимающая своего предмета и не достигающая своей цели, а потому и вообще не теология. В сущности, для этого нет никакой нужды в особом слове или особом разделе и собственном наименовании науки: имени философии вообще или философии Бога в частности будет совершенно достаточно для такого исследования о знании и вере, о взаимном отношении того и другого, об их нескончаемом расколе, или о гармоническом сглаживании этого раскола и об их внутренней гармонии. И именно это и есть тот пункт, который принципиально важен для нас, и существенная сторона предмета, подлежащего обсуждению.

Я не стал рассматривать в рамках этой лекции раскол позитивной веры внутри себя, ибо данный вопрос лежит вне сферы философии (или, точнее сказать, я решил, что он должен рассматриваться перед более высоким судом); ибо я исповедую то убеждение, что раскол этот способен исцелить один лишь Бог, то есть исцелить его решительно и радикально в пределах целого. Тем самым, однако, я еще отнюдь не отрицаю, что благодаря исторически основательным и просветительским в научном отношении трудам об этом предмете, если только они пишутся со знанием дела, с чувством справедливости и миролюбия, может быть сделано очень многое для опровержения заблуждения, обоюдного сближения в умонастройении, а также для освещения отдельных пунктов, которые — пусть даже они не относятся к числу наиболее существенных в позитивном учении, тем не менее, зачастую много и весьма значительно содействуют взаимному духовному отчуждению и разъединению душ; я уверен, что тем самым никоим образом не могут быть хоть сколько-нибудь умалены высокие достоинства этих произведений. Однако такие устремления всегда остаются более или менее ограниченными в своем действии отдельными индивидами или классами. Полного же превращения всеобщего духа эпохи, нового просветления или

пробуждения целых наций можно ожидать лишь в согласии с поступенным ходом божественного порядка в царстве истины в результате высшего и всеобщего импульса сверху. Для подготовки же к еще посюстороннему (в высшей степени определенно, неоднократно и на разные лады обетованному) Божьему миру во всеобщем единении веры ничто не могло бы быть столь же действенным, как если бы был, наконец, улажен и исцелен ранее также уже упомянутый тройственный раскол, что ведет к разделению внутреннего человека и, существуя в сфере сознания и науки, безусловно, также относится к области рассмотрения этой последней, а равно философии, которая, согласно своей всегда опосредующей и примиряющей тенденции, должна предпринять попытку научного примирения этого раскола, и вновь и вновь стремиться к такому примирению, и должна и обязана поставить своей абсолютной целью восстановление совершенной внутренней гармонии сознания и жизни.

Первый раскол, то есть действительный или мнимый раскол между знанием и верой, безусловно требует взаимного согласования и уравнивания. Второй раскол — между верой вообще, а также только философской и естественной верой и столь широко распространенным и господствующим в нашей эпохе неверием — может закончиться и рассматриваться как заверченный лишь с полной победой истины, когда благодаря полному свету божественного познания и истины, благодаря победоносному представлению этого света и магической власти такого представления на человеческие души, сомнение и неверие будут полностью истреблены и навсегда исторгнуты из них. Третий раскол между ними двумя, т. е. верой и знанием, с одной стороны, и жизнью — с другой, требует не столько примирения, компромисса в отношении спорных пунктов, для разрешения всех недоразумений; сколько, напротив, плодотворного соединения и богатого, содержательного применения, когда живая вера и живое знание самим делом докажут свою действенность как таковые и как истинно и благотворно влияющие на до сей поры столь отчужденную и далеко отстоящую от них жизнь. Второй и третий раскол будут рассматриваться в двух последующих лекциях; первый же, между верой и знанием, образует собой предмет и задачу данного размышления.

Итак, действительно ли этот раскол имеет свое основание в самой вещи и в ее природе; и не лежит ли здесь вина скорее на людях и на ошибочном понимании и форме? Я хочу сказать, что живая вера и живое знание никогда не вступили

бы между собой в противоречие, по меньшей мере никогда — в существенное. Конечно, если вера существует лишь в памяти и зиждется лишь на тех или иных заученных понятиях, не имея глубокой укорененности в душе; или если даже она сопровождается любовью, захватывающей собой всю душу, однако по большей части (или, как минимум, чрезмерно и чересчур исключительно) руководится живой и духовно подвижной фантазией, без сопутствующей ясности рассудка или взвешенности и осмотрительности различающего суждения (ибо ведь для полного внутреннего раскрытия и внешнего оформления божественно сообщенной истины ей должны содействовать все силы сознания); если, с другой стороны, надменное знание ищет более лишь себя самого, нежели истины, более придерживается себя, нежели ее, — то в таком случае совершенно понятным становится раскол, полное непонимание как одного, так и другого, и нескончаемый спор между ними. Что же представляет собой вера, если не приятие божественной и богодатной истины в собственную душу; и что такое есть знание, если не постижение этой самой истины в духе? Разве могут существовать две истины, из которых та или другая в свою очередь не является истинной? Конечно, наряду с духом истины есть еще и другой: дух отрицания и противоречия; однако этот последний есть не дух истины, а уже неоднократно упоминавшийся сильный и действенный дух неправды и заблуждения. Этот последний побеждает везде и всюду, коль скоро человеческий дух, стремящийся к знанию, вместо истины ищет лишь себя самого, также и находя, схватывая и удерживая повсюду лишь себя самого. С другой стороны его на полпути встречает и душа, коль скоро она не умеет объять и удержать жизнь и дух в святой вере, если они слишком скоро покидают ее, и на ее долю остаются лишь мертвая буква и пустая формула; где, тогда, как только дух и истина ушли, тем или иным путем легко найдут вход множество заблуждений. Не одна ли и та же сила истины обращается к человеку в Откровении, и с одной стороны, в качестве повелительного слова любви, требуя веры, проникает в человеческую душу; а с другой — снисходя к духу верующего, предстает перед ним как тайна, ожидая, что, может быть, тот ненароком отыщет, постигнет и усвоит себе заключенные и скрытые в ней смысл и свет. Неужели же необходимо, чтобы внутри человека происходили партийные схватки и шла гражданская война между духом и душой,

двумя элементами его бытия, словно в плохо организованном государстве, где наряду с верховной государственной властью, еще и другая, в качестве оппозиции, также желает быть властью и издавать законы? Может быть, душа втайне либералка и, покуда дух легитимно мыслит и корректно говорит, в своем внутреннем полуневерии тайком предается и прилежит всем запретным вожделениям и страстям? Или, может быть, душа самым честным образом относится к радикальному крылу, и искренне приверженна своей твердой и легитимной вере, в то время как дух, напротив, самыми разнообразными либеральными путями влечется к заблуждению? Нимало, ибо даже во внешней жизни этим именам и этим партиям суждено было бы совершенно прекратиться и полностью исчезнуть — стоило бы лишь однажды не партии, а силе познания и вдохновения жизни, высшей жизни, т. е. Бога, охватить собой все души, вновь воодушевить их и духовно пробудить в Едином духе, в Едином пламени Единой веры и Единого знания. Среднее же звено, соединяющее между собой знание и веру, средняя функция между ними двумя, на которую можно указать в сфере сознания и философии, есть познание. Есть одно познание, которое, например, различает между правдой и неправдой, и, следовательно, обособляющим образом направлено вовне на противоположное; и другое познание, в силу которого мы видим и осознаем, или понимаем и познаем, что два по видимости различных [предмета] по существу и в сущности суть Одно и то же; и именно об этом, направленном внутрь, внутреннем познании, благодаря высшей функции которого в мышлении и суждению, прозревающему потаенную глубину как одной, так и ругой мысли и уравнивающему их, мы осознаем и познаем, что это знание и эта вера сущностно представляют собой Одно, — именно об этом познании и пойдет здесь речь. Познание в этом смысле есть, таким образом, нечто более высокое, нежели знание. Оно есть второе знание, или, если позволительно выразиться языком математики, знание высшей потенции; и это последнее как раз и несет в себе восстановление гармонии и убеждение в сущностном единстве или равенстве между знанием и верой. Если, теперь, это второе и высшее знание, или это знание о знании, относится только к собственному Я и собственной самости и лишь ими ограничивается (ибо подобное уже происходило), то это всего лишь ведет из общего заблуждения обычного самообмана в еще более глубокое и наукой ис-

кусственно возведенное в степень заблуждение, которое я уже ранее обозначил как таковое.

Только в общем предмете можно искать, найти и познать единство знания и веры; предмет же этот есть истина, т. е. Бог, который есть высшее проявление всякой истины. Всего лишь негации, такие как мысль о бесконечном, понятие о неизмеримом, которые обе могли бы быть применимы также и к простой природе, или понятие об абсолютном (Unbedingten), каковое последнее легко может получить весьма ложное применение — все подобные негации, либо также простое перечисление отдельных предикатов и свойств без их внутренней связи — не могут дать нам никакого сколь-нибудь удовлетворительного понятия о Боге. Если, однако, вообще достижимо то или иное познание, то или иное понимание бытия, возможности принять которое и поступать согласно ему в жизни здравый человеческий ум никогда не позволял отнять скептическому сомнению, — то в таком случае и само по себе понятие высшей жизни нельзя считать ни невозможным, ни целиком и полностью недостижимым. Именно по этому пути здесь всегда двигались глубокая наука и философия; и в трех различных силах, которые, тем не менее, суть лишь одна — в тройственной силе и строении Одной фундаментальной вещи всех вещей — она обрела это высшее понятие. В совершенно разные эпохи и среди весьма отдаленных друг от друга наций она устанавливала одно и то же понятие высшего знания совершенно сходным образом, пусть в своих привходящих определениях оно и не было вполне свободно от ложных примесей; и она хорошо поняла, что в той высшей жизни, которая имеет свою жизнь в себе самой и равным образом содержит в себе также и изначальный источник всякой иной жизни — что в этой высшей жизни одновременно заключены тварный рассудок и та мысль, которая от начала, в качестве вечного Слова, независимо и властно выступила из него; и что свет, исшедший от этого последнего, сам в свою очередь представлял собой первую жизнь. Точно так же, однако, как эта первоначальная жизнь от начала есть не просто бесконечная, как жизнь природы, но есть источник всякой иной, бесконечной и конечной, жизни; как эта жизнь есть жизнь несущая свет, которая освещает сама себя и все другие вещи, — точно так же и этот свет есть живой и не просто духовно нематериальный (ибо он все-таки мог бы быть также и естественным), но совершенно сверхъестественный, святой и, если хотите, страшный свет, отгоняющий от себя всякую тьму и навечно ее истребляющий. Эта жизнь

теперь, это Слово и этот Свет, эти три разных силы в Одной силе и в одной сущности, которая именно поэтому называется Высшей Сущностью, — это есть одновременно стоящее выше всякого знания средоточие и изначальный источник всякой веры. И такое знание о высшем, даже рассматриваемое со стороны одного лишь знания, представляется отнюдь не как знание, всецело отделенное от веры, но само уже соприкасается с верой и уже содержит внутри себя, даже будучи взято как только знание, утверждение и содействие веры. Можно огромным и почти бесконечным множеством различных способов указать, доказать и подтвердить, что без полного и верного понятия о высшей сущности также и всякое иное бытие и всякое иное знание было бы лишено своей взаимосвязи и истинного значения, более того — оно не имело бы и собственно смысла; однако в этом понятии не заключено, как уже неоднократно говорилось, никакой строгой необходимости, никакого логического вынуждения к признанию для того, кто внутренне желает иного и духовно ориентирован иначе. Но так и должно было быть: последнее слово убеждения всегда остается за свободным признанием, за тем ранее уже упоминавшимся безмолвным внутренним согласием, которое вообще устанавливает между человеком и Богом действительную связь и все более и более открывает его чувства и разум для божественного; ибо оно само и есть уже это чувство и этот разум, или его начало. И как раз такое дополнение, присовокупленное из свободного внутреннего согласия к высшему знанию, и представляет собой веру. И это полное и верное понятие высшей сущности — и есть тот таинственный круг, в котором знание и вера неразрывно связаны между собой уже в своем первом начале. Лишь развращенность и близорукость людей по обе стороны, со стороны знания и со стороны веры, отрывает их друг от друга, разделяя то, что в Боге едино и то, что Бог соединил — приводит то и другое, знание и веру, ко враждебной противоположности, взаимно затрудняя их действие и взаимно же их разрушая. Впрочем, это высшее понятие и высшее проявление всякого высшего знания все же есть лишь, так сказать, научная вершина или научно возведенное в степень выражение всеобщей человеческой веры в единого живого Бога. Ибо если этот Единый Бог должен быть живым, то я хочу лишь напомнить о том, что даже естествознание, да и вообще никто и ни в одной сфере бытия не способен ни постичь, ни понять, ни даже помыслить себе жизнь вне множества, или, по меньшей мере, двух сил; а если это должна быть совершенная жизнь, то к

ним должно присовокупиться некоторое действительное или действующее третье. Следовательно, также и с этой стороны высшее понятие знания, достигшего своей цели и вершины всякого бытия и всякого познания, состоит в совершенном согласии со всеобщим чувством истины и с простой, естественной верой. Если же, теперь, высшее знание и божественная вера внутренне и сущностно суть одно и в своем вечном начале неразрывно взаимосвязаны, то для того, чтобы они также и в дальнейшем своем применении и в действительной жизни пребывали едины, а не вступили во враждебное противоречие и раскол, — необходимо лишь правильное отношение и верная пропорция обеих этих сил и элементов человеческого бытия. Верующая душа, подобно заботливой жене, должна занимать там первое место; знающий или стремящийся к знанию дух, подобно мужу во внутренней семье, может быть занят тем или иным делом вне дома: он должен лишь всегда возвращаться к родному очагу, чтобы вновь согреться возле поднимающегося ввысь огня молитвы и благочестивого размышления. И если в своих странствиях он большей частью прогуливался в богато украшенных садах природы, то, возвратясь назад, он иной раз может бросить в огонь те или иные из принесенных с собой редких семян или образчиков благородных древесных пород, дабы к сверкающему и согревающему свету пламени добавить еще и эфирного благоухания. Или, дабы вместо образов выразить это в определенных выражениях: верующая часть, согласно этой верной пропорции целого, не должна вместе с ложной, богомерзкой и разрушительной наукой отринуть от себя также и науку истинную и божественную; знающая же часть должна воздерживаться от любых враждебных нападок против другой области и против позитивной веры, с которой она, вполне возможно, еще даже в недостаточной степени знакома, не говоря уже о совершенном понимании; и если эта самая знающая часть (а так должно быть, если уж предполагается истинное знание, ибо оно в том и состоит) внимательно наблюдает за собою и строго удаляет от себя все произвольные, высокомерные, своекорыстные мнения и идеи, побуждения или мысленные поползновения, в которых самих по себе уже содержится первое начало всякого ложного знания и всякого заблуждения, то ей нет нужды в том, чтобы ее удерживала в должных рамках, ставя ей преграды, другая сторона. Однако всегда следует предполагать, что порок заключен в самом человеке, и никогда не думать, будто раскол имеет свое основание в самой вещи, ибо вещь в данном случае есть сама истина, которая не может

быть двойкой, но всегда есть и может быть лишь одна, поскольку сам Бог есть эта истина и ее полное выражение. Поэтому всегда следовало бы, с одной стороны, вновь и вновь пробуждать и оживлять веру древним Духом, сводя его к его собственным вечным основаниям, дабы устранить постоянно грозящую опасность внутреннего закоснения и господства мертвой буквы; и следует всегда и неустанно очищать высшее философское знание от всех эгоистических шлаков произвольного мнения и аподиктически чванливой самоуверенности; следует всегда стремиться усовершенствовать его в соответствии с тройким измерением, если можно так выразиться, той совершенно неизмеримой сущности вечной истины, которая как раз и есть предмет и цель высшего знания: непрестанно держа перед своим мысленным взором столь непостижимую и загадочную глубину, столь недосыгаемую высоту, и неиссякаемое, блаженное средоточие этой Единой и неизмеримой никогда и никаким масштабom, Сущности. Ибо ошибка и основание раскола всегда таится в мертвой, недостаточно понятой и просвещенной вере, или в произвольно самонадеянном, одностороннем и именно потому уже по меньшей мере отчасти заблуждающемся и ложном знании, но никогда в самой вещи. Поскольку же эти ошибки и причины раскола отчасти сами имеют свою причину в человеческой ограниченности и человеческом несовершенстве, то не следует огорчаться, даже если мы не сможем одним разом уладить все трудности, коль скоро мы медленно, но неуклонно продвигаемся в этой непрестанной борьбе против унаследованных нами пороков и врожденного нам заблуждения и в таком уверенном продвижении с каждым шагом все более приближаемся к цели истины и совершенно понятого единства высшего знания и божественной веры. Здесь весьма часто грешат в особенности некоторые из тех, кто, в своем искреннем стремлении и с любовью к истине в душе, не могут прийти к согласию с самими собой относительно того или иного спорного пункта между верой и знанием и, поскольку эта внутренняя проблема мышления не слишком легко поддается разрешению, дабы поскорее справиться с ней, принимают чересчур поспешное решение в ту или иную сторону. Но медленно, весьма медленно и поступенно идет просвещение человеческого духа в царстве истины; и если даже ход Провидения, согласно поступенному движению божественного порядка в этой области, исчисляется столетиями и тысячелетиями, то также и в жизни отдельных людей здесь годы и даже десятилетия следует считать лишь за дни и часы.

Если тяжелое, едва выразимое в словах и глубоко внутреннее сомнение веры, гнетущая проблема собственного образа мысли и воззрения не может быть решена в течение трех часов или трех дней, то возможно, что это произойдет в течение трех лет; если и трех лет слишком мало, то возможно, что в течение тридцати лет: покуда мы в нашей внешней жизни непрерывно следуем путем нашего призвания, что-то внутри нас претерпит серьезные изменения и мы теперь, имея совершенно иное воззрение и множество приобретенных осознаний, вполне успокоимся и будем пребывать в ясности относительно того, что прежде представлялось нам совершенно темным, что держало нас в напряжении и нерешительности, и что служило причиной смуты и подавленности. Этим, и никаким иным путем должны идти те, кто прежде всего хочет придерживаться божественной веры, но при этом, однако, не желает отказываться и от высшего знания. И разве, собственно, не находится в нашу эпоху в таком положении всякий честный и благородный человек, имеющий хоть какое-нибудь касательство к науке или нуждающийся в ней для целей своей жизни? На этом пути медленного продвижения (который мы наблюдаем, например, также в естествознании, находим его здесь совершенно естественным и считаем его единственно верным) и в этом внутреннем философском исследовании мы можем обрести твердую почву под ногами и неизменную точку зрения вечной истины, вместо меняющихся с быстротой моды систем и опадающих, подобно бесплодным пустоцветам по весне, гипотез той или иной школы или секты. В отношении этой — безусловно всецело подобающей истинной философии медлительности движения я могу сослаться на свой собственный пример, и здесь, я полагаю, это будет вполне уместно и позволительно. Ныне как раз исполняется тридцать девять лет с того дня, когда я впервые с неописуемой жадой прочел на греческом языке полное собрание сочинений Платона; и с тех пор, наряду с некоторыми иными штудиями, это философское исследование, по существу, оставалось для меня главным занятием. На этом пути мне пришлось пройти множество систем знания, ведущих к расколу и заблуждению, нынешней и прошедших эпох; поскольку, однако, я не нашел полного удовлетворения ни у других, ни в себе, я испытывал особое нежелание выступать с публичными чтениями, и лишь случайно и в весьма несовершенном, фрагментарном виде в разные периоды мне доводилось предавать огласке то или иное из моей — все еще пребывающей в периоде становления и незавершенной — филосо-

фии, в моих ранних и отнюдь не посвященных специально философии работах. Это объяснение я нахожу отнюдь не излишним для тех, кто с этими работами знаком. Чем более, однако, я удерживал оба эти конечных пункта божественной веры и высшего, а тем самым божественного, знания, — тем более также я обретал твердую почву на той точке зрения и в том средоточии вечного начала, в котором то и другое суть Одно и более не противоречат друг другу, но внутренне взаимосвязаны и лишь взаимно все более возвышают, оживляют и укрепляют друг друга. Я полагаю, что приблизился теперь к тому моменту, когда смогу сообщить это имеющее свое основание в Боге единство знания и веры также и другим, открыто утвердить и развить его для мира, после того как обрел его для себя самого. И я весьма рад тому, что начало я имел возможность положить уже сегодня, именно здесь и именно таким образом.

Кроме ранее уже приведенных точек соприкосновения между высшим знанием и верой, это высшее знание — в его всеохватном понятии о троякой жизни первой основоположной силы — еще и иным образом всецело зависит от веры, а именно, от позитивной веры и ее божественного авторитета; [он необходим ему для того,] чтобы обрести и сохранить в нем решающую путеводную нить и верное мерило для дальнейшего применения и развития этого высшего основоположного понятия и для того, чтобы устранять с него все ложные и уродливые наросты, необходимость чего лучше и проще всего может быть пояснена несколькими историческими примерами. Если мы откроем древние писания индийцев — будь то научные системы, нравоучительные и законодательные книги для практической жизни, или будь то просто мифологические поэмы, — то мы повсюду обнаружим положенное в основание понятие божественного триединства, отчасти даже обозначенное вполне сходными словами и выражениями. Поскольку, однако, они упустили здесь простую истину единства, производя из него трех богов, то теперь та метафизика, что несет в себе столь огромное множество великих следов древней истины, и эта индийская Троица превратились в целую мифологию, содержащую в себе столь же длинные родословия богов, как и всякая иная; сама же эта мифология, тем самым, обрела целиком и полностью теологическую окраску, благодаря чему она столь удивительным образом контрастирует с хорошо известной нам греческой мифологией. Правда, с другой стороны — и в чисто поэтической части — она являет с ним также

и весьма сильные черты сходства и родства. Так, например, в этом удивительном хаосе полностью искаженной истины, ужасающего заблуждения и чистого вымысла можно найти десять вочеловечений Божества вместо одного истинного, о котором индийцы получили определенное и обоснованное представление лишь около трех столетий назад. Далее, в духовных упражнениях и в самой жизни — отречение от мира и умерщвление плоти, далеко превосходящие по своей строгости даже первых христианских отшельников в Египте, с чертами выходящих далеко за границы человеческой природы чрезмерности и неестественности; и вместе с тем, в свою очередь, вполне безнравственные обычаи и освященный заблуждением и суеверием разврат, подобный тому, который мы ранее привыкли наблюдать в сугубо чувственном язычестве древних (я имею в виду наши древние западные народы). В такие пропасти заблуждения может впасть даже весьма духовная метафизика, либо же она вполне способна с ними уживаться, если она остается всецело предоставленной себе самой и совершенно лишена всякой божественной путеводной нити в простом масштабе высшего и свыше данного авторитета. Также и в истории развития греческого духа в одну весьма позднюю эпоху была сделана подобная попытка. А именно, неоплатоники тоже были весьма хорошо знакомы с учением и понятием о божественном триединстве, в том виде как оно содержится еще в ранней философии Платона. Желание проверить здесь, насколько верны были выражения и формулы в научной трактовке этого понятия у вышеупомянутых писателей, повело бы меня чересчур далеко и лежит в данный момент вне сферы моего рассмотрения; ибо даже и в том случае, если бы я принял за такой рассмотрение, необходимо было бы строго различать отдельных мыслителей и отдельные системы, каждая из коих относится к данному классу. Однако сказанного достаточно, поскольку эта столь глубоко уходящая в метафизику неоплатоническая школа, сторону которой держал также и император Юлиан, с другой стороны, пришла к враждебной в высшей степени оппозиции к христианству; теперь она захотела (дабы использовать это как средство и инструмент для целей своей оппозиции) привести древнюю греческую мифологию, вера в которую даже в народе уже весьма охладела, к всецело теологическому образу и форме в согласии со своими понятиями и воззрениями (в результате чего последняя гораздо больше приблизилась бы к индийской и уподобилась ей), полагая,

что тем самым они смогут пробудить ее к новой жизни. Но даже если бы их намерение в целом и их тайная цель не приняли столь враждебного по отношению к истине направления, тем не менее, такое предприятие могло кончиться лишь неудачей. Ибо даже если греческая мифология в ее древнейшей поре и форме в некоторых менее заметных для глаза и более скрытых местах, будучи взята чисто эзотерически, равным образом содержала в себе некоторые символические учения и наполовину теологические понятия (что хорошо поняли и показали основательные исследователи новейшего времени и что следует понимать как следы и остатки из древнего предания о первом знании и неоднократных откровениях в первобытную эпоху), — то все же впоследствии греческая мифология в целом приняла столь исключительно и подавляющим образом лишь поэтическое направление развития, коему в весьма высокой степени подчинилось даже направление политическое (это можно наблюдать на некоторых частностях), — так что пытаться столь поздним задним числом превратить этот прекрасный сказочный мир в вымышленную метафизику и циклопическую мистику по индийскому подобию было в высшей степени неразумным предприятием. Впрочем, как и следовало ожидать, оно — как и многие подобные ему в истории ложные по своей сути и противные духу своей эпохи устремления — в конце концов кануло в забвение, не оставив по себе следа. При господствующей в языческой древности на Западе склонности к такому поэтическому пути многообразного природообожествления и многобожия, теперь, конечно, вполне понятно, почему в первой еврейской части нашего Откровения преимущественно и прежде всего делается упор на единство живого Бога. Прочее же о вечно творящем Слове, о животворящем божественном Духе, суть как бы лишь таинственные намеки для более прозорливого и глубже испытующего. Насколько, тем не менее, они часты — насколько многочисленны упоминания о трех силах и Лицах, о тройственности силы и трояком качестве Единого Высшего Существа (поскольку такое указание заключено уже в различных еврейских наименованиях Божества), — это хорошо знают и признают те, кто не хочет отрицать ни свое собственное мнение, ни мнение других. В еврейском предании, которое, находясь вне замкнутого пространства Св. Писания, продолжает свое существование наряду с ним, и которое для нас хоть и не имеет собственного авторитета, однако все же могло бы представлять собой полезный

и практически неиспользованный вспомогательный источник объяснения, — совершенно ясно, определенно и откровенно высказано учение и понятие о божественной Троице; правда, в способе понимания, пожалуй, можно было бы отыскать и кое-что, нуждающееся в исправлении. Во втором же Откровении, с которого начинается наше новое время, одновременно с исполнившейся и достигшей совершенства верой, со всей ясностью проявилось и это высшее знание. Даже если в первых изречениях и поучениях, покуда все целое по большей части оставалось заключенным внутри границ еврейского народа, все еще наблюдаются известная осторожность и некоторая сдержанность, причина которых — столь глубоко запечатленное в сознании этого народа понятие о единстве Бога, согласно коему этот Бог, как и все остальное, понимался уже не живо, но целиком и полностью в соответствии с мертвой буквой, — то все же вскоре и этот последний покров был снят со Святой Святых, а сама тайна поставлена как начало четвертого и последнего Евангелия. Именно из него я и позаимствовал это ее обозначение, которое будет наиболее подходящим для науки: о высшей Жизни, которая есть Всемогущество, о вечном Слове, которое есть Всеведение, и о нетварном Свете, который есть сама Святость.

Конечно, и многие другие великие мыслители, пусть даже в тех или иных отношениях их невозможно считать собственно христианскими, видели и признавали глубокий смысл в этом евангельском начале; беда лишь в том, что они при этом — по обычаю враждебного расчленения, который в последнее время стал уделом не только предметов и произведений древности, но также и этого божественного памятника — начали пускаться во множество излишних теорий о том, откуда он мог взяться и с какой именно целью он был здесь поставлен. Много проще было бы, обойдясь без такого искусственного объяснения, принять божественную истину столь же непосредственно и непредвзято, как она нам предлагается; и отнюдь не нужно предполагать при этом какое-то особое намерение, кроме намерения, после того как Евангелие Жизни и начинающегося вместе с ним нового времени было в достаточной мере изложено в трех повествованиях как история для обретения веры — добавить теперь к такому изложению это вечное Евангелие от начала как Евангелие Духа о высшем знании, ибо последнее всецело едино с божественной верой и всегда пребудет едино с ней впредь. Вполне согласно с естественным порядком вещей, что то Слово, которое было произнесено

в начале земного творения и которое лежит в основе первого Откровения, повторяется теперь в начале второго Откровения и этого второго внутреннего творения новой эпохи, несмотря на то, что здесь [это происходит] в ином и высшем смысле, для душ в духовном царстве истины: «И сказал Бог: Да будет свет! И стал свет».





ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

О двояком духе истины и заблуждения в науке; и о борьбе веры с неверием

Если в земном творении, в царстве природы, однажды произносятся слова: «И сказал Бог: Да будет свет!», — то здесь исполнение сразу же идет за сказанным; и за этим первым творящим свет и жизнь словом непосредственно и само собою, не встречая на пути ни препятствий, ни сопротивления, в виде радостного и ликующего ответа следует второе слово: «И стал свет!». Иначе, однако, обстоит дело в жизни и в мире сотворенного свободным человеком, в поступенном движении его духовного развития, в истории его духа, его прогрессирующего, однако зачастую и вновь обращающегося вспять знания и мышления. Здесь происходит — пусть даже первое воззвание к свету и к божественному познанию отнюдь не проходит безответно мимо его немотствующего сердца — длительная борьба между светом и тьмой, между познанием и невежеством, между верой и неверием, где подчас трудно решить, на чьей стороне оказалось победа, в вечном колебании между одной и другой стороной, от одной экстремы к другой; и часто столетия и тысячелетия проходят, прежде чем с полным правом сможет быть добавлено слово исполнения и свершения: «И стал свет». Если даже вообще не произойдет так, что еще на этой стороне, в пылу схватки и нескончаемой борьбы, ее собственная цель, заслоняемая от взора взметаемыми клубами пыли злободневности, еще на пути туда будет забыта, отодвинута прочь и полностью утеряна, и теперь необходимо будет изыскивать или открывать новый путь и начинать поиски с совершенно другой стороны. Пятнадцать столетий

прошло с тех пор, как великий пророческий дух и победитель древней египетской тьмы уже тогда совершенно одичавшего и окунувшегося в мерзость язычества, повторил вслед за Божеством и записал те первые светоносные слова внутреннего и внешнего творения; и, безусловно, для своего народа он имел в виду также и второе становление и новое бытие, а значит — и его новое светоносное начало. И теперь, при столь великой одаренности и столь великолепных познаниях, по истечении полутора тысячелетий такой перемежающейся борьбы между светом и мраком, этот народ пришел в состояние полного разложения, оказался преданным искусственным догмам, с одной стороны одичавшим, с другой же — духовно мертвым и окостеневшим, являя собой лишь тень прошлого, влача существование под чужим гнетом и даже в своей вере будучи распавшимся и раздираемым на враждебные секты и партии. Одна из них, считающая себя единственно легитимной и которая действительно была таковой в отношении буквы Закона и внешнего права, при этом, однако, будучи грубой и косной, цепко держащейся одной лишь мертвой буквы и совсем далеко отстоящей и сделавшейся чуждой духу любви и примирения, так что даже само имя фарисеев в этом отношении стало притчей во языцех, ненавистным и презренным именем, — эта секта совершенно не поняла глубокого смысла доставшегося им Откровения, и именно поэтому не поняла также и будущего, на которое им было указано — даже самого ближайшего будущего своего собственного народа и своего собственного состояния. Поэтому они совершенно неверно определяли это самое свое состояние, а в силу этого и совершенно превратно, в своем узко партином духе, понимали стоящую перед ними проблему настоящего. Конечно, в рядах этой партии все еще можно было найти истинно верующих и искренне благочестивых, что явствует как раз из самого первого начала нового времени и из простой истории этого начала — мужей, которые хорошо знали истину и ведущие в будущее пути Бога; которые втайне вздыхали над отталкивающей косностью и эгоистической ограниченностью своих собратьев, однако не рисковали открыто им противоречить и учить по-другому, ибо ведь и действительно право, т. е. мертвое и внешнее право — было целиком и полностью на их стороне; кроме того, это были мужи великих познаний и талантов и с горячим стремлением к правде и истине. Другая же партия, которая, конечно, учила о других принципах и новшествах, была партией саддукеев, мягких просветителей в теологии, которые на этом пути

шли столь далеко, что даже ставили под сомнение бессмертие души, или даже всецело его отрицали. Во всем, что касалось гражданской жизни, нравов и государства, это были поистине свободомыслящие либералы того времени. Посредине между этими двумя мрачными, или же сверкающими обманным светом, партийными тучами — поднялись теперь новая заря и солнце истины, поначалу никем не признанные и не понятые, ибо все было укрыто мглой; но поскольку новая эпоха становления (*Werde*) и этот полный свет на сей раз не были уготованы для одного лишь исключительного народа, — они постепенно распространились на десять или двенадцать великих народов, наполняют собой две стороны света и владеют и правят большей частью наидревнейшей третьей, и повсюду, в самых удаленных концах всего мира, благодаря духовному превосходству и образованию (которыми они все же всецело обязаны этому началу и первому свету), стали и до сих пор продолжают быть господствующими. С тех пор вновь прошло восемнадцать столетий; возможно, было бы несправедливо, если бы картины разорванного состояния христианства на исходе Древнего мира, последующих первых пятнадцати столетий и нравственного состояния и характера одного, быстрыми шагами спешащего к своей гибели и совершенно ослепленного народа, или также всего остального, в то время всецело погрязшего в анархии и неверии, языческого римского мира — мы захотели представить слишком похожими друг на друга и слишком единообразными во множестве отдельных черт. Однако, безусловно, правда то, что человек снова и снова погрязает в расколе, в антагонизме и в партийной борьбе, в то время как свыше руководящей десницей всемирно-исторических судеб с каждой новой эпохой всякий раз вновь и вновь предлагаются истина и свет, спасение и мир. И всякий волен сам для себя ответить на вопрос, достигла ли уже своего осуществления эта великая эпоха становления истины и света, заполнило ли и просветило ли собой солнце правды все обстоятельства и отношения жизни вплоть до самых потаенных сусеков души и духа; и можно ли уже с полным правом и в отношении всего совокупного человечества сказать: «И стало светло» — светло тем самым светом, который единственно благ, ибо он пребывает вечно; ведь сменяющие друг друга во всеобщей тьме и ночи световые метеоры взаимно пересекающих друг друга и столь же быстро гаснущих систем, молнии и чреватые грозой вереницы туч общественного мнения, которое по большей части есть

всего лишь открыто выступающая партийная страсть — все они отнюдь не есть пребывающий, исцеляющий и животворный, а следовательно, и не есть истинный, свет. Однако, вместо того чтобы распространять представляющиеся весьма мрачными перспективы на все далекое будущее, давайте лучше (именно потому, что эта борьба между божественной истиной и человеческим расколом, между светом и тьмой, между верой и неверием в качестве темы этого рассмотрения представляет собой столь трудную проблему, столь колючую тему) самым тщательным и добросовестным образом отыщем и по возможности выделим все надежные и очевидные точки отправления, могущие помочь нам в поиске пути к нашей счастливой цели — того внутреннего и духовного мира, который также служит основанием внешнему и гражданскому миру и обеспечивает его прочность.

Если речь идет о том, каким образом мышление отдельных людей, колеблясь в расколе между данной от Бога божественной верой — с одной стороны, и высшим и даже высочайшим знанием — с другой, медленно и постепенно продвигается на пути к совершенной истине, все более и более достигая познания, и в конце концов ясно понимает, что две этих различных вещи по существу и в основе своей не различаются, но внутренне и по своему внутреннему существу суть целиком и полностью одно, — то в таком случае то научное терпение, на необходимость которого я стремился обратить внимание в последней лекции, является главным пунктом, не допускающим того, чтобы мы не приняли слишком рано опрометчивого и скоропалительного решения: и ни святыня веры не была принесена в жертву знанию, ни также истинное и именно поэтому необходимое не только для высшей жизни, но и для прочного обоснования веры знание не было принесено в жертву или отброшено как ненужное. И как не возыметь нам также и в стремлении к истине, которое есть единственная собственно духовная тема и высшее содержание в остальном довольно плоской драмы всей человеческой жизни, — склонности к такому научному терпению, как я ее назвал, и не признать ее благотворности и необходимости для человеческих нужд, видя в ней столь же необходимую духовную добродетель, как и терпение в области нравов: ибо на этом последнем зиждется всякое великое и малое начинание в жизни, и почти всякое ее состояние, если ему необходимо прийти к счастливому исходу и непременно достичь своей цели. В этом — словно бы повсюду данному человеку в качестве необходимого для земной жизни приданном — нуждается не только больной

на своем ложе, в долгом и томительном следовании мельчайшим предписаниям врача для своего исцеления; не только воспитатель в своем трудном занятии, посвященном долгому первоначальному развитию; не только судья, которому необходимо уладить запутанный спор двух партий, каждая из коих стремится всецело увлечь его на свою сторону; но также и воин, которого честолюбие ради себя самого и ради целого беспокойно толкает вперед и который вынужден претерпеть такое множество суровых лишений и трудов, прежде чем он наконец придет к желанной цели решающего сражения. И даже действующий и повелевающий в больших масштабах государственный муж нуждается в нем в не меньшей степени, дабы принять во внимание и охватить своим попечением все, что ему поднадзорно, дабы не застопорился органический ход целого из-за того, что было забыто или осталось без внимания отдельное живое звено или колесо. В свою очередь в человеческой жизни бывают иные моменты, где не столько важны выдержка и терпеливая настойчивость в неустанной деятельности, сколько мужество решительного выбора и определенности умонастроения; и к ним в духовном рассмотрении относится раскол между верой и неверием и выбор на распутье между тем и другим. Мое намерение состоит отнюдь не в том, чтобы возвышать, рекомендовать и утверждать одно, и принижать, третировать и идти войной на другое, из чего первое лежало бы вне моей сферы, а второе повело бы меня в неизмеримую область частных всех действительно существующих, или всего лишь мнимых, предрассудков и заблуждений: но, напротив, оно заключается в том, чтобы дать верную и вместе с тем всемирно-исторически емкую, психологически ясную и обоснованную картину как одного, так и другого, и сопоставить их таким образом для выбора и решения. Кажущийся — или, пусть даже и действительный, но все же лишь случайный — раскол между знанием и верой прежде всего является внутренним, зачастую таящимся глубоко внутри, спрятанным и скрытым, который равным образом лишь внутренне может быть улажен и снят, или разрешен. И лишь тогда, когда это внутренне произойдет в том или ином отдельном человеке и решится тем или иным образом — это решение проявляется внешне: как победа истины в единстве знания и веры, или как неверие и сомнение, как определенная оппозиция к этому единству или к вере вообще — в том случае, если раскол между знанием и верой определенно провозглашается и постулируется как неразрешимый. В общественном выражении, таким образом, эти

два воззрения выходят всецело за рамки первого раскола, переходя во второй раскол и в борьбу между верой и неверием, которая — несмотря на то, что сама проблема является изначальной и внутренней — тем не менее, выступает уже как нечто гораздо большее, нежели только практический раскол действительной жизни, и также в историческом отношении развился и может быть продемонстрирован как таковой. Для того же, чтобы противопоставление и параллели между верой и неверием сделались в полном практическом смысле слова полезными и исторически применимыми к жизни, мы должны мыслить себе неверие не просто как основанное на произволе, неблагосклонности, своенравии и, следовательно, также неведении, но оснащенным и вооруженным всей силой духа и всей властью науки; ибо такое только индивидуальное и исключительно отрицающее неверие, без глубокого основания и, по меньшей мере, кажущейся силы знания, было бы не особенно опасным для целого, и в частности также не представляло бы серьезного интереса для философского рассмотрения. Далее же, с другой стороны, вера — для того, чтобы она могла выстоять в борьбе с вооруженным всей силой науки неверием и выдержать сравнение с ним — должна быть понята и положена в ее естественном отношении и в верном органическом соединении и взаимодействии с поставленным на свое истинное место и приведенным в надлежащий порядок истинным знанием. Я также должен предпослать здесь и еще одно предварительное замечание, о том, что я отнюдь не могу позволить себе рассматривать веру как некий умеренный срединный путь между обеими экстремами суеверия и неверия, как это часто происходит; но я отношу суеверие к неверию, и не могу не поставить его в один ряд с последним. Если у отдельных людей речь может идти о некоторой чрезмерности или перевозбуждении нравственного и религиозного чувства, то для подобных явлений (именно в силу того, что они представляют собой нечто целиком и полностью индивидуальное) невозможно установить никакого общего масштаба в качестве надежной и непогрешимой путеводной нити. В любом случае, однако, это лежит всецело вне сферы рассмотрения философии, а забота о душевном здоровье и здоровой диете верующей и живущей верой души должна быть предметом совсем иного форума, нежели этот философский. Если же этим словом и понятием «суеверия» должно обозначаться лишь детское заблуждение, которое еще не умеет толком отличить образную форму фантазии от сущности внутреннего значения, которое смешивает эти образные вы-

ражения с действительностью, принимая их за нечто действительное (детским же это заблуждение может быть названо оттого, что оно обыкновенно свойственно рассудку детей и почти естественно для них), то в таком внутреннем оптическом обмане, взятом самом по себе и совершенно просто, не заключается ничего кроме психологического несовершенства и совершенно естественной интеллектуальной иллюзии. Если же последняя проводится систематически, применяется в большом масштабе, переносится на целое и существенное веры, и имеет глубокое основание и смысл, — то такое суеверие, бесспорно, принадлежит к одному из следующих, имеющих быть точнее и ближе обозначенными, классов заблуждения. А именно, если внутри суеверия обретается действительно позитивное заблуждение, и если оно как таковое распознается, то оно равным образом относится к неверию, которое вообще есть более ложная вера, нежели простое отсутствие таковой; это есть скорее заблудшая вера, как и всякое действительное суеверие, и, возможно, такое обозначение именем заблудшей веры было бы более верным и точным и несло бы в себе меньшую опасность ложного понимания, чем обыкновенно принятое. Ибо всякое неверие (чтобы сохранить то же название) есть либо более материальное природообожествление и поклонение чувственной жизненной силе, либо более абстрактное обожествление абсолютной якости и чистого разума, его бесконечного мышления и знания. Даже если последнее чисто скептическим образом понимать как абсолютное незнание, то также и в этом случае поставляется в качестве высшего (а тем самым в известном духовном смысле слова и обожествляется), все тот же одинокий и изолированный, возвышающийся над всеми предрассудками других людей и в своем отрицании ощущающий и мнящий себя гениальным, рассудок. Даже злая гениальная сила (а злой может быть названа любая сила, которая полагает себя далеко возвышающейся над правом и законами, над голосом совести и над нравственным чувством обычного благодушия; даже такая злая сила может стать кумиром для человека, обратившегося спиной к Богу и истине, и в своем высокомерии ополчившегося как против первого, так и против второй. Более того, я утверждаю, что можно почти принять в качестве общезначимого принципа и твердого в своем применении правила, что всякий, кто утратил или добровольно оставил и отринул от себя веру в благого и справедливого Бога, вне всякого сомнения, вскоре примет у себя и даст приют в своем сердце тому или иному, более или менее опасно-

му, кумиру, будь то кумир эгоизма (Ichheit), или какой бы то ни было иной страсти, или той или иной твердой и развитой системы разума или природообожествления; либо же просто ложное ощущение силы того злого гениального духа, который все презирает и высмеивает, кроме самого себя. — Совершенное понятие, или мысленный образ и схема чистой веры в органическом соединении, взаимодействии и верном отношении с высшим и естественным, или земным знанием, должны строиться и пониматься в соответствии с тройственным сознанием, или с тройственным принципом его членения на дух, душу и чувство; или же, по меньшей мере, они наиболее удобно могут быть таким образом объяснены, или точнее всего пониматься в соответствии со своим свойством и строением, с отделением всех чуждых составных частей и добавлений. Неверие же, а также сомнение и раскол, от которых оно берет свое начало, равно как и заблуждение, из них проистекающее — сосредоточено в четверичном сознании, т. е. в том, что разделено и пребывает в состоянии многократного раскола, что дает себя знать в особенности в ожесточенном споре между разумом и фантазией, и затем приводит к дисгармонии противоположность между рассудком и волей, превращая эту противоположность в дисгармоническую. Такой двойной раскол сознания есть в свой черед источник всякого философского заблуждения и всех ложных систем, производимых на свет этим последним; и такое научное заблуждение — стоит лишь ему обрести практическое выражение и, приняв живую форму, войти или ворваться в жизнь — есть как раз неверие. В первоначально еще не расколотом, естественном и живо взаимодействующем тройственном сознании, в соответствии с тройственным принципом духа, души и чувства, когда это сознание должно быть обращено на веру и знание, причем должно иметь место органическое соединение и взаимодействие того и другого — душа (и это пункт, на который необходимо обратить преимущественное внимание) должна рассматриваться как принцип веры. Однако весьма часто этого не происходит, и вера, или, как ее точнее следовало бы назвать здесь, где речь идет не о содержании, а об одной лишь внутренней функции — верование — лишь весьма несовершенным, недостаточным и лишь внешним образом выводится из расколотого и четырехчастного сознания. При этом существенный ее элемент полагается в известной внутренней сдержанности рассудка или воли, или в подобном же ограничении фантазии и даже самого разума, и признании этих пределов и границ. Конечно,

нам приходится смириться с тем, что могут существовать иные вещи, которые наш пытливый рассудок не в силах постичь и прозреть, и в беседе о которых, нам, следовательно, приходится воздерживаться от вынесения определенного суждения. Вывести это доказательство нетрудно, и еще легче доказать, что наше воление не всегда само может быть законом, но зачастую принуждено сдать в плен другого, более высокого закона. То, что наше изначально чувственно материальное и всегда весьма субъективно настроенное воображение подвластно множеству заблуждений, которые мы считаем весьма незначительными, или которые мы вынуждены по возможности от себя удалять, если стремимся проникнуть в сущность высшей истины, которая именно и должна постигаться верой — это всякий охотно и безоговорочно допускает; то же, что и разум несет в себе свои собственные своеобразные и, можно было бы почти сказать — природные, оптические иллюзии, точно так же, как они свойственны фантазии, не является новостью ни для кого, кто продвинулся хоть сколько-нибудь дальше начал в диалектическом искусстве и в познании этой способности с помощью философской критики. Однако все это суть лишь негативные определения; со всем этим познанием и признанием того, что мы можем и должны воздерживаться и умеряться в своем рассудке и суждении там, где речь идет о высшей вере, или также что абсолютный разум, его логическое мышление и закон этого мышления здесь не только имеют право и должны решать, но и находят себе предел, который они не в состоянии переступить; всем этим, напротив, лишь оправдывается и обосновывается простая возможность такой выходящей за все эти рамки и не привязанной к ним веры как вполне и всецело мыслимой, а именно, хоть и возвышающейся над разумом, однако же разумной и мыслимой в совершенном согласии со здоровым разумом; однако такой возможностью никоим образом еще не дана сама вера как действительная. Все это есть в большей степени лишь некоторая подготовка к верованию, нежели само действительное живое верование. Живое же верование есть не что иное, как приятие божественно данной истины (причем здесь мы обращаем внимание лишь на саму функцию, а не на ближайшие частности позитивного содержания этой истины) в собственную душу; а поскольку душа от своего возникновения есть [нечто] любящее, и даже, более того, сама способность любви, — то живая вера и не может ни мыслиться, ни существовать без сопровождающей ее любви: именно в этом и состоит признак живой

веры: там, например, где для какой-либо особой формы и путеводной нити позитивной веры рассудок и разум признаются некомпетентными для вынесения решающего суждения в этой высшей божественной сфере и должны добровольно подвергнуть себя самоограничению, и где даже внешняя воля жертвует собой, подчиняясь позитивному закону; если, однако, все это остается лишь внешним, и душа никак не участвует здесь внутренне (что можно безошибочно распознать именно по недостатку или полному отсутствию любви), то это все же есть скорее лишь мертвая вера, пусть даже внешне она считается и признается вполне легитимной. Живой вера будет лишь тогда, когда она принимается всей душой, что проявляется, наряду с любовью, еще и во внутренней плодотворности духовного мышления и в нравственной жизни. Это есть верующая душа, та самая мыслящая и любящая душа, которую мы ранее рассмотрели и признали в качестве средоточия совокупного сознания и нравственной жизни; разве что ее мышление теперь, в высшей вере, окрепло и выровнялось, а ее любовь в Боге обрела совершенную чистоту и выдержку. Если же душа есть принцип веры в тройственном сознании, то дух в нем есть принцип высшего знания, свободного мышления, полного и совершенного познания и последнего и высшего решения и различения; каковое высшее знание не имеет никакого иного предмета, кроме вечной истины и Того, Кто есть ее высшее проявление и источник. Чувство же тогда в тройственном сознании есть принцип низшего чувственного, земного и естественного знания, к которому также относится все исторически человеческое, и, наряду с историческим преданием, также всякий язык, искусство и относящаяся к нему ученость. Кроме естествознания, сюда относится также и математика, поскольку ведь она привязана к чувственным условиям числа, меры и веса, а стало быть, времени, пространства и материального пространственного наполнения, или плотности и тяжести. Это чувственно земное, естественное или человечески-историческое знание может проникнуть или пытаться проникнуть в любую самую сокровенную глубину. Испытующее чувство лишь не должно покидать своего центра, т. е. оно не должно враждебно нападать на тот центр сознания, который как раз и есть верующая душа, и прорываясь сквозь него или минуя его, не должно насильственным и противозаконным образом устремляться ввысь; в противном случае оно, когда оно захочет породить лишь из себя, из своей почвы и своей глубины, нечто высшее, станет порождать только ложных и только природных

богов, или иные исторические фантомы, либо же патриотически-дутые кумиры, как это имело место в язычестве древних, которое вполне может быть обновлено в научной форме и в отсутствие подобных образов и алтарей, — что мы могли наблюдать перед нашими собственными глазами, а при желании сможем наблюдать и вновь. Равно и свободный дух высшего познания имеет столь же мало права, не обращая внимания на душевный центр веры и любви, властно нисходить со своей высоты в глубины испытующего чувства и всех богатств естественного и чувственно-исторического знания, не будучи прежде облачен в светлые одежды чистой веры и чистой любви; в противном случае с одной тропы заблуждения он ступит на другую, из одной бездны угодит во вторую, еще более глубокую. Чистая и живая вера укрепившейся в Боге любящей души есть истинный центр сознания, естественный проход жизни, как для восходящего ввысь чувства, так и для устремляющего взор в глубину духа; и она есть связующее среднее звено, которое не только примиряет, уравнивает, связует и соединяет, но и гармонически объединяет между собой то и другое. В прошлом чтении я попытался обозначить понятие истины (в котором высшее знание и божественное верование совпадают между собой и суть одно) в отношении его содержания, т. е. как полное и истинное понятие Того, Кто есть Сама Истина, высшее проявление и Источник всякой истины, т. е. по большей части с объективной стороны. Здесь же мы вновь повстречались с ним на более продвинутом этапе пути, и при этом мы вновь предназначили его, и на сей раз подошли к нему и познакомились с ним по большей части с точки зрения его формы, а именно — получив ответ на вопрос, как сформировано и устроено сознание, на какие части оно должно быть органически разделено, и в каком органическом соответствии должны находиться между собой эти его части на его высоте, в середине и в глубине, если оно в мышлении и познании, в вере, любви и знании, в исследовании и учении должно иметь основание в единой вечной истине, обретая в ней точку покоя, а отнюдь не разделяться в расколе и сомнении. И в чем большей мере живая вера становится любовью, тем более она через непосредственное чувство переходит в собственный жизненный опыт и в знание. Ибо все, что мы непосредственно переживаем и ощущаем в нашем опыте внутри и вне себя, — все это мы также и знаем, и здесь нас едва ли могут ввести в заблуждение ни диалектические иллюзорные основания противоположного, ни нападки и упреки скептиков, считающих, что такое непосред-

ственное восприятие и знание высшего невозможно; они не смогут ввести нас в заблуждение даже в том случае, если мы не сразу окажемся способны опровергнуть сомнение, направленное против возможности нашей собственной жизни. Мы просто позволим ему пройти мимо нас и будем жить в действительности так же как и прежде, покуда, возможно, в какой-нибудь момент на каком-нибудь ином пути неожиданно и как бы само собой не найдется решение и ответ на эту направленную против внутренней жизни и личного опыта уничтожительную мысль. И как высшее знание, коль скоро оно познает и понимает само себя, одновременно осознает свою веру и свою взаимосвязь с верой и, опираясь на эту веру, будучи дополняемо и завершаемо ею, вступает с ней в непосредственное и живое соприкосновение: точно так же, с другой стороны, высшая вера в божественное, чем более она жива и действенна в любви, тем большее значение приобретает также и непосредственная совесть и даже пережитое в собственном опыте знание.

Это душевное средоточие веры в целом сознания вполне можно, пожалуй, помыслить себе в образном сравнении как распростертый голубой небесный шатер, согласно древнему представлению, которое, возможно, и по сей день несет в этом своем образном одеянии нечто истинное — согласно прекрасному представлению о небесной тверди: последняя мыслилась как четкая и определенная граница и живой водораздел между небом и землей, где сверху, в высшем регионе, широко разливается свободный световой эфир, простираясь в необъятные дали; в расположенном же ниже регионе освежающий ветер жизни, свободно двигаясь во все стороны, сходит вниз то в виде бодрящей росы и оплодотворяющего дождя, то порождает несущие воду облака, и непосредственно сам своей силой и действием извлекает из земных глубин на свет скрытые источники и могучие потоки жизни. Таким образом, небесная твердь веры в сознании есть водораздел между верхними и нижними течениями духовной жизни и внутреннего и внешнего знания. Если этот водораздел будет устранен, либо разрушен, то исчезнет также и разделение света и мрака, и произойдет их беспорядочное смешение. Истинный свет превратится во мрак, он начнет постепенно угасать и станет совершенно мертвым; мрак же начнет светиться фальшивым и ложным сиянием и отливающим тьмой свечением губительной иллюзии; древний хаос заблуждения и сомнения вновь вступает в свои права, и все сознание вновь станет «безвидным и пустым», каким оно и было прежде, в сво-

ем прирожденном ему состоянии раскола. Если же, напротив, тройственное сознание пребудет в том прекрасном порядке и гармонии, где духовная высота, душевная середина и чувственная природная глубина хоть и обособлены и отделены друг от друга, однако все же не разделены и не противопоставлены враждебно, но напротив, высота и глубина, и все во всей сфере духовной жизни органически сведены воедино: в этом случае дальнейшее развитие прогрессирующего познания истины можно рассматривать как вторую ступень внутреннего творения после продолжения света в сознании и знании, тогда как первое ясное понимание и внутреннее утверждение в том, что высшее знание и божественная вера существенно не различаются, но по существу представляют собой одно, как были обозначены первый шаг и начало, вместе с которым дух истины входит в человеческое сознание. Этому живому образу и понятию веры и органически объединенного и гармонически выстроенного в вере и ведении сознания мы должны теперь противопоставить полное понятие сознания, погрязшего в сомнении, расколе, неверии и заблуждении, для свободного выбора и решения в борьбе между верой и неверием. Ибо все мотивы к решению лежат уже в одном лишь простом и верном сопоставлении того и другого, с проведением которого проблема, собственно, сама собой находит и обретает свое решение. Я неоднократно обращал внимание на то, какие задатки к расколу и какая естественная предрасположенность к заблуждению содержатся уже в самом по себе четверичном сознании и в его четырех конечных пунктах; в особенности же я пытался отметить, что разум и фантазия, в своем враждебном антагонизме друг к другу и каждый в свою очередь в состоянии внутреннего раскола, в том виде в каком они существуют и противостоят друг другу ныне, не могут рассматриваться как первоначальные способности человеческого сознания. Лишь после того как мыслящая и любящая душа, обнимающая собой то и другое — душа, живущая и действующая в вере и истине и тем самым укрепившаяся в божественном Духе и соединенная с ним, утратила это свое единство, предавшись мраку или расколу, она могла распасться или быть разделенной на эти две половины или способности мыслящей жизни: на только *post factum*, т. е. задним числом и абстрактно, т. е. более или менее мертвым образом мыслящую и саму по себе бессильную способность управления (*Directions-Vermögen*) с одной стороны, и слепую производительную силу как дикое, хотя, конечно, и живое природное стремление и природное чувство

в мышлении и представлении, с другой стороны. Эти две половинки способности истины, если только может существовать половина истины — разум и фантазия — суть поэтому (будучи взяты изолированно, и коль скоро каждая из них стремится властвовать сама по себе, а не вновь объединиться с другой в чем-то высшем, преодолев раскол) истинный источник и собственно цитадель полного заблуждения. Таким образом, один вид заблуждения, к которому склоняется человек, с тех пор как центр его сознания раскололся надвое и утратил единство, есть субъективное оформление материальной видимости. Никто не захочет и не сможет отрицать, что любая фантазия, даже самая лучшая, самая всеобъемлющая и самая чистая, все еще остается субъективной, равно как и то, что сила воображения берет свое начало от чувственных впечатлений материального мира без того, чтобы так или иначе принять во внимание возможность демонических влияний и равным образом не сделать их предметом рассмотрения. Это субъективное оформление материальной видимости образует собой основу и представляет собой наиболее общее объяснение всякой мифологии или понятия язычества. Уже в самом объяснении заложена мыслимость и возможность его весьма многочисленных образов и форм развития, что подтверждается и тем, что и в действительности мы находим чрезвычайно большое разнообразие и чрезвычайно широкую шкалу его форм, от самого грубого идолослужения и до высочайшей художественно оформившейся мифологии. Однако в действительном исполнении и приложении, в практической жизни, даже и эта последняя все еще несет в себе черты родства с первым и по меньшей мере всецело зиждется на сходном основании чисто поэтической религии, или же более реально понимаемого природного воззрения и природообоожествления. А именно, здесь язычество берется самым простым образом: говоря обобщенно, всего лишь как поэтическими средствами выраженный материализм, который, правда, приходит в легкое соприкосновение с пантеизмом, едва лишь поэтическое облачение распознается как таковое. Когда основательное историческое исследование о древних языческих представлениях более серьезно углубляется в частности, оно сталкивается с таким множеством магических обрядов, что постепенно утрачивает склонность прямо отрицать возможность демонически воспаленной силы воображения, для чего в философском смысле также не существует достаточного основания. Однако, как уже говорилось, это равным образом не относится к сфере нашего рассмотрения.

Нельзя, впрочем, верить, что это заблуждение языческого природообожествления ограничивается одним лишь древним миром, или одними лишь великими и образованными языческими народами крайней Азии, которые словно бы застыли и, словно живые памятники ранней эпохи человечества, остались стоять на его первой ступени и продолжают стоять на ней до сих пор. Даже естествознание и натурфилософия в эпохи расцвета науки могут оставаться языческими, при всем том, что они весьма далеко отходят от всякого символического выражения и выступают во всей высоте и мощи динамического знания и чисто научных формул. Такая наука может быть языческой даже в том случае, если внешне она представляется весьма духовной, по меньшей мере далеко отошедшей от всякого собственного и вульгарного материализма; и она будет оставаться таковой всегда, покуда продолжает признавать в качестве высшего одну лишь бесконечную жизненную силу, ее динамическую игру и закон, тем самым обожествляя природу. Это словно бы возврат науки в язычество и в древнее царство фантазии, каковая последняя в этом случае должна теперь уже принять иной, более геометрический и богато научно украшенный образ, и наконец сделаться совершенно динамической, перейдя целиком и полностью на язык математики. Точкой безразличия, позитивным и негативным полюсом всякого бытия (покуда такая философия не признает ничего другого и ничего более высокого) будут в этом случае новые боги, которые на разные лады представлены и прославлены в тех научных поэтических измышлениях, на которые столь богата последняя эпоха, и в которых они занимают приблизительно то же самое место и имеют тот же ранг, что и Юпитер и Венера, или Марс и Аполлон в древней мифологии. Если же посмотреть на эпоху в целом и на господствующий в ней тон, во времена преобладающей науки и истинного или ложного научного просвещения, — то это Одно философское заблуждение исключительного натурализма и научного природообожествления, тем не менее, представляется скорее как всего лишь исключение и эпизод и стоит почти что в некоторой оппозиции по отношению к другому, гораздо более распространенному и гораздо более деспотически властвующему заблуждению. Я имею в виду рационализм — как собственно новое язычество разума в научные времена; и здесь, в диалектической бесконечности и в бесконечном диалектическом споре абстрактного и пустого мышления, равно как и в ложном блеске логической необходимости как раз и таится источник другого

и второго главного философского заблуждения. Все ложные системы, философские заблуждения, равно как и ложные религии, любой род теоретического или практического неверия и ложной веры, либо же научного суеверия, — лежат посредине между этими двумя крайними точками ложного мышления: натурализмом с одной стороны, будь то натурализм символически-поэтический, или же динамически-научный; и абсолютизмом разума и его мертвым формализмом — с другой стороны. Всякое религиозное и всякое философское заблуждение есть лишь подвид или разновидность того или другого, либо же смесь, нечто среднее, составленное из их частей. Однако весьма разнообразны и бесчисленны по своему количеству те чистые и составные формы, что могут произойти или действительно происходят из этих двух элементов всякой ложной веры и неверия. Поскольку же оба они являются ложными элементами, от которых происходят все иные формы заблуждения, то в соответствии с этим разум и фантазию следует рассматривать как собственно корни и источники заблуждения в сознании. Это научная продуктивная сила воображения как неочищенное природное чувство (еще до того как, или без того, чтобы Дух Божий носился над этим морем бесконечной жизни) и эгоистически мыслящий и лишь себя самого знающий разум в своем абсолютном стремлении. Лишь здесь, на этой почве, философское заблуждение обретает свой систематический образ и форму. Здесь дело обстоит приблизительно так, как если бы некто, остановившись на простом факте, стал утверждать, что лихорадка и подагра как две основных формы человеческих заболеваний имеют свое средоточие в органе крови и кровообращении, или же в мускульной и костной системе, и во всем, что имеет к ним касательство; чем, однако, отнюдь еще не сказано, что первый повод или глубинная причина как одного, так и другого заболевания, не лежат в более скрытом и высшем жизненном органе человеческого тела, и не имеют своего основания и средоточия в его расстройстве или нарушении его функции. Лишь во внешнем действии и проявлении эти две сферы в организме всецело охватываются тем или иным из двух названных недугов, которые развиваются в них в полную свою силу. То же самое верно и в отношении двух интеллектуальных недугов — рационализма и абсолютной природной системы — во всем, что касается разума и фантазии; то, что именно здесь они главным образом сосредоточены, и что именно здесь находится та область, где порождаются и находят свое внешнее выражение ложные

продукты негодных и ведущих к заблуждению систем, или также место, где пароксизм их раскола, их обоюдной внутренней распри достигает своей вершины; причем те или иные осложнения, могущие появиться в интеллектуальном заболевании, следует принимать во внимание столь же тщательно, как и в подобном случае с органическим недугом. Первая причина всякого интеллектуального заболевания, или любого научного заблуждения и систематического неверия, или вообще всякой ложной веры, может, таким образом, лежать гораздо глубже, или находиться много выше; и бесспорно также и то, что первую причину всякого человеческого заблуждения следует искать нигде иначе, как в отвращении духа от Бога и его вечного света, и в проистекающем из этого помрачения души ослеплении, заблуждении и смятении чувства, в частности чувства научной и высшей истины, которое лишь тогда может быть постепенно приведено в норму, упорядочено и открыто, когда душа получит новый импульс света, а дух вновь обретет свой светлый центр в Боге; где тогда, после того как все это произойдет, будет вновь восстановлена внутренняя способность познания.

Во внешнем же сознании, коль скоро оно всецело погрязло в материальном чувственном мире и в практической жизни, абсолютный разум и до конца погруженная в природу фантазия представляют собой два конечных пункта философского заблуждения. Поэтому также в сущности лишь эти два начала присутствуют в прежде неоднократно описанных системах, несмотря на то, что могут иметь место бесчисленное множество переходных оттенков или химических связей между ними обоими. Рассудок и воля (точнее, ошибочный софистический рассудок и ошибочно безусловная и абсолютная воля), конечно, принимают существенное участие в образовании и окончательном формировании как одного, так и другого основоположного научного заблуждения; однако, кроме того и прежде всего в действительной жизни, практическое действие оказывают также более личные и страстные заблуждения и предрассудки; по меньшей мере, будучи взяты изолированно и без содействия двух других способностей, эти последние не могут породить научной системы заблуждения. Однако для того, чтобы ближе обозначить их участие в формировании как одного, так и другого философского заблуждения, я должен повторить (а для более близкого определения и добавить) еще несколько слов о свойственной каждой из этих способностей форме собственного, как бы врожденного ей, заблуждения. Для воли я полагаю ее

в безусловном, или абсолютном волеии, которое всегда в жизни выступает как несущее помеху или разрушение, хоть и весьма различной степени важности, в зависимости от более узкой или более широкой сферы или арены своего действия. Однако оно всегда пребывает тем же создающим помехи и разрушительным принципом абсолютного волеия, который, в своей наименее значительной форме, проявляется в своеволии ребенка, но который, однако, представляет собой самое серьезное препятствие в воспитании, преодоление коего является первостепенной задачей всякой педагогики. И одновременно этот, казалось бы, малопримечательный феномен может быть приведен, ибо он служит доказательством того, что такая скверная манера коренится в самой нынешней природе человека и сознания, являясь в некотором смысле врожденной. Возьмем для второй и средней ступени принимающего столь многообразные формы и проходящего бесчисленные ступени жизни человеческого недуга — страстно упорствующий в своем однажды принятом мнении фанатизм сектанта, или, например, какого-либо политически опасного главы той или иной партии. Здесь губительные следствия этого принципа зачастую уже в высшей степени и устрашающе обширны. Наконец, в свою полную силу он проявляет себя в ничего не почитающей и ничего не щадящей жажде и в абсолютном стремлении к власти деспотического завоевателя мира. Второй момент сравнения на этой лестнице есть собственно тот, который прежде всего входит в соприкосновение с нашей нынешней задачей объяснить интеллектуальное заблуждение; ибо и в науке также находятся свои собственные основатели сект, и даже в тихую область философии (если мы обозначим эту область так, как она того заслуживает, принося нам внутреннее удовлетворение и познание нашей собственной сущности и природы в истине и в Боге) — ухитряется проникнуть страстный партийный дух. В предрассудке и в системном духе однажды принятого воззрения или мнения действуют теперь это абсолютное чувство и эта абсолютная воля, что представляется нам сперва более как недостаток характера, нежели заблуждение рассудка (конечно, также весьма существенным образом способствуя укреплению философского заблуждения, однако лишь с формальной стороны). Если же абсолютное само берется как предмет (как это весьма легко и чаще всего происходит у учредителей научных сект), то именно само стремление к нему и сама идея безусловного возводят как одно, так и другое заблуждение в высочайшую степень, образуя собой их вершину.

Будучи применено к природе, к какому-либо позитивному природному воззрению, или к определенной системе природы, это стремление как раз и придает им ту исключительность и замкнутость, благодаря которым они, будучи отделены от высшего и собственно божественного и имея основание лишь внутри себя самих, приводятся к пантеистической самодостаточности и обожествлению ложного единства. Будучи перенесено на разум, погрязший в самости, стремление к абсолютному и сама его идея порождает, либо же весьма легко становится непосредственным поводом, к идеалистическому заблуждению, каковое заблуждение само по себе есть уже первый шаг, или, по меньшей мере, обычный переход к научному атеизму. В качестве своеобразной формы заблуждения рассудка в одном из прошлых чтений было упомянуто абстрактное мышление. Не подлежит сомнению, что и рассудок также вполне способен настолько потеряться в абстрактном и мертвом мышлении, что наконец совершенно забудет о том, что представляет собой мышление духовное и живое. Бесспорно, что такой рассудок в этом случае можно назвать рассудком неверно организованным, ошибочно сформированным, заблуждающимся и в свою очередь распространяющим заблуждение. Однако, будучи более точно взятым и определенным, абстрактное мышление окажется свойственным не столько рассудку, сколько разуму, который именно и есть способность к абстракции, каковая последняя, кстати (если не принимать во внимание многочисленных и чудовищных злоупотреблений), на своем истинном месте и в своих верных границах, безусловно, также представляет собой естественную потребность и существенную функцию человеческого сознания. Рассудок зиждется на понимании, а следовательно, он предполагает духовное прозрение и живое видение своего предмета — будь это внешний предмет природы или действительной жизни, или внутренний, представляющий собой всего лишь мысль и понятие, или обозначающее такое понятие слово, где духовное проникновение в этом случае направлено на верный и изначальный смысл идеи, или духовное значение понятия, или слова. Рассудок, который бы полностью заблудился в абстрактных понятиях, сам наконец утонул бы в таком всецело абстрактном мышлении. Абсолютно бездуховным и безжизненным рассудок по свойственному ему характеру быть не может; следовательно, здесь это было бы симптомом и индикатором скорее полного отсутствия или, по меньшей мере, весьма скверного состояния этой духовной силы. Если же мы захотим опре-

делить эту — в особенности присущую способности сознания ошибку или заблуждение, то в основу такого определения следует класть не некое несовершенное или менее удачное состояние развития, но скорее следует предполагать эту ошибку именно в полноте силы и в счастливом развитии. Теперь же даже в высшей степени духовный, светлый и живой рассудок соединим с тем, что я выше обозначил как злой дух, злого гения, ложную гениальную силу; и здесь и есть истинная цитадель извращенного рассудка, или свойственного ему заблуждения; отсюда, по всей видимости, и название софистического рассудка, которое является самым кратким и самым метким для свойственной ему формы заблуждения. А ведь этот софистический рассудок и есть инструмент построения и исполнительный орган всех ложных систем, в котором они все рано или поздно находят свое прибежище. Что касается влияния и воздействия софистического рассудка на философское заблуждение и его участия в духе и содержании ложной системы неправды, то здесь, пожалуй, имеет место противоположность идеалистическому заблуждению абсолютного воления и стремления под господством идеи безусловного — склонность и перевес в сторону реалистического мировоззрения, согласно принятому принципу всеобщей ничтожности всех вещей, не только в моральном отношении или в практической жизни и в исторической области, но также и в природе и во всем творении; и скептическое презрение в отношении всех инакомыслящих, или всех тех дюженных умов, что не в состоянии подняться до такого самоуверенного незнания и неверия; потому также эта тенденция и это заблуждение софистического рассудка чаще всего находятся в соприкосновении и ближе всего родственны диалектическому лабиринту вечно спорящего разума. Однако, как абсолютное воление и стремление немислимы без некоторой извращенности рассудка, точно так же и софистический рассудок едва ли может иметь место без примеси недоброй воли и осознанного закрытия глаз на истину. Если не принимать во внимание эту внутреннюю взаимосвязь обеих интеллектуальных ошибок, в остальном они — взятые внешне и в действительной и практической жизни — все еще довольно далеко отстоят друг от друга. Понятие софистического рассудка едва ли можно было бы кратко проиллюстрировать и объяснить с большей наглядностью, нежели вспомнив самого знаменитого французского писателя восемнадцатого столетия, за которым следует признать столь огромную роль и участие в этой эпохе и в ее духе. Если бы я нашел необходимым

объяснять философское стремление к безусловному на примерах, то мне, без сомнения, пришлось бы привести в качестве таковых примеров некоторых немецких философов последней эпохи и школы; что же касается софистического рассудка, то конечно же, ни до, ни после невозможно будет встретить такой его преизбыток у кого-либо кроме этого обожающего свою эпоху и в свою очередь обожаемого ею, в остальном же высмеивающего все и вся, насмехающегося над миром, антихристианского мирового духа²⁷. Что касается обеих этих противоположных систем неверия и заблуждения, рационализма и поклоняющейся ложному кумиру природной системы, — то в их внутренней сущности они обе одинаково ложны и одинаково пагубны, и здесь невозможно установить между ними обеими никакого масштаба и никаких градаций предосудительности. Даже согласно теологическому суждению, пантеизм как экстрема одной лишь природной стороны, будет признан едва ли менее вредным и ложным, чем атеизм, в качестве экстремы заблуждения с другой, идеальной стороны; та и другая экстрема по своей вредности приравниваются друг к другу — то и другое суть одинаково серьезное, одинаково совершенное непонимание Единой Истины и живого Бога. Если смотреть на внешнее

²⁷ Ф. Шлегель опять возвращается к учению и жизни Вольтера — знаменитого французского писателя, мыслителя, общественного деятеля, «властителя дум» во второй половине XVIII века. Вольтер пропагандировал учение эмпиризма (Локк), но был противником французского материализма и вытекающих из него натурфилософских концепций (в частности, учения барона Гольбаха). Он дал резкую, язвительную критику христианской церкви. Его деизм, то есть формальное признание существования Бога, когда-то, возможно, и сотворившего Вселенную, но совершенно равнодушного к заботам и мыслям людей, потом уступил место последовательному («абсолютному», по Шлегелю) скептицизму и религиозному утилитаризму (к этим следствиям, считал Шлегель, неизбежно приводит последовательно рационалистическая установка). В его философских повестях обосновывается представление о Боге как о социальном и нравственном регулирующем принципе. Поэтому вера служит только тому, чтобы удержать человеческий род от взаимного истребления. Общество, по мысли Вольтера, должно поддерживать иерархический порядок — делиться на «образованных и богатых» и на тех, кто, «ничего не имея», «обязан на них работать» или их «забавлять». Трудящимся поэтому незачем давать образование, да и высшим классам не надо слишком удаляться в дебри метафизических умствований. Здесь мы видим масонскую «воспитательную программу» в чистом виде. Будучи сторонником неравенства и права частной собственности, выступал против Руссо. Ввел понятие «философия истории». Незадолго до смерти, при содействии Бенджамина Франклина, вступил в масонскую ложу. Под «антихристианским мировым духом», Ф. Шлегель, видимо, и имеет в виду масонство, а Вольтера считает наиболее ярким из публичных представителей масонской идеологии. — *Прим. науч. ред.*

явление и действие, — целиком и полностью язычески ориентированная натурфилософия, если бы ее брали в той или иной весьма резкой и крикливой, однако вместе с тем привлекательной и соблазнительной форме, могла бы выглядеть чуть ли не еще более опасной и губительной, нежели рационализм, тем более, если противопоставить ей последний в особенно умеренном, довольно гибком и умело модифицированном представлении. Если же речь идет не о самой вещи в общем, где между суждением и отрицанием можно было бы поставить знак равенства, но о нашем времени и в особенности о его борьбе; то я не побоюсь решительнейшим образом считать рационализм гораздо большим и гораздо более опасным злом из этих двух; ибо он намного глубже коренится в духе эпохи, гораздо шире распространен, и в частности также потому, что он гораздо более гибок и обладает способностью примыкать к истине и к системе истины, вновь и вновь продлевать срок своего существования вместе со своей противоположностью, маскируясь и прячась в самых разнообразных формах, так что едва ли возможно определить, где достигается или могла бы быть достигнута точка, в которой можно было бы сказать, что зло и само это заблуждение истреблены в корне и навсегда. Лишь посредством самой жизни — посредством высшей духовной жизни и философии этой жизни в тройственной внутренней способности познания и в сознании — можно выйти из дилеммы этого раскола разума и найти выход из его диалектической паутины. Ложная натурфилософия, напротив (а ложной я называю всякую натурфилософию, которая стоит во враждебной оппозиции к религии, или же сама хочет водвориться на ее месте), будучи взята только эмпирически, не будет иметь существенного воздействия, не будет представлять опасности и весьма скоро упадет сама собой. Если же в ней живет действительно высшее духовное стремление, действительно великий и всеобъемлющий дух, то она вскоре сама осознает эту границу и свое собственное недоразумение, и найдет переход к божественному, возвышающемуся над нею. Так или иначе, натурфилософия едва ли может иметь строго систематическую и завершенную форму, и в любом случае она не сможет сохранять ее долго, по причине непрестанного роста этой науки жизни. Но как только она признает свою подчиненность в качестве второго элемента высшей философии Бога — она тут же перестает быть ложной верой и вполне примиряется с истиной, или, по меньшей мере, решительно становится на путь к такому примирению. Такое мягкое суждение, однако, не

должно распространяться на решительное и абсолютно языческое природообоожествление ложной пантеистической науки. Таким образом, противопоставление веры и неверия я счел бы на данный момент законченным, и мы теперь имеем перед собой ту картину сознания и знания, которая приличествует первому и исходит из второго — ради свободного решения и собственного выбора, согласно суждению любого мыслящего, размышляющего о самом себе и истине, ищущего истины и любящего ее. Само это противопоставление и есть собственно задача философии; и если очерк или изображение того или другого состояния был дан достаточно полно в рамках дозволенных границ, то задачу в существенной ее части следет рассматривать как решенную; правда, сама борьба между верой и неверием остается уделом мира и времени; исход же ее, или победа истины — возможно, также и иных высших властей и сил, кроме только человеческих. О природе и свойствах этой интеллектуальной борьбы, и об отдельных ее моментах следует добавить еще несколько замечаний также и с точки зрения философии. Прежде всего я полагаю, что после всего ранее сказанного теперь должно быть ясно, почему полемика в обычном смысле слова даже при наилучших устремлениях, при самом чистом усердии к истине, самом честном прилежании, величайшем остроумии и совершенном познании благого дела истины и ее существенных принципов, тем не менее, чаще всего имеет так мало успеха, и даже в самом лучшем случае действует столь медленно, тогда как инфекция заблуждения часто прогрессирует с ужасающей быстротой; что, конечно, происходит не от величия риторики, свойственного этому заблуждению, и не оттого, что оно всегда умеет привлечь на свою сторону лучшие таланты; причина лежит, скорее, в том, что в подобном случае духовные миазмы разложения всегда бывают уже предварительно широко распространены в нравственной атмосфере. Как раз с высшей истиной и с опровержением философского заблуждения дело обстоит совсем не так, как с гражданским процессом перед кафедрой мирового судьи, где для того, чтобы решить дело в свою пользу, достаточно лишь полностью опровергнуть ложные доводы противной стороны, и привести доказательства собственной правоты в строжайшей и верной последовательности. Однако что пользы было бы в области философии и высшей истины, если бы кто-либо захотел даже самым совершенным и самым основательным образом опровергнуть ту или иную писаную систему заблуждения, если за то же самое время могут

вырасти две или три новые, столь же нуждающиеся в опровержении, как и первая! Поэтому прямой путь по возможности спокойного и простого, по возможности ясного и полного развития высшего познания видится мне гораздо более подходящим средством укрепления и распространения истины, нежели прямая атака на то или иное господствующее в эпохе и мире заблуждение или ложную систему, при которой, коль скоро спор должен вестись основательно, необходимо будет проследить все извилистые ходы этого заблуждения, зачастую также подвергая себя опасности впасть в ошибку, причем даже в счастливом случае полного опровержения в конечном итоге не приобретается ровным счетом ничего, кроме чистого Ничто, или ложности опровергнутой системы, с полным доказательством этого Ничто. Да и намерение этой борьбы направлено собственно отнюдь не против книг, страниц, фраз и слов: но губительное заблуждение полагают изгнать, удалить и истребить из человеческого духа и души, и напротив, водворить на этом месте истину, ее живое действие и всю ее полноту, склонив на ее сторону дух и душу человека. Такое, однако, возможно лишь в следовании совершенно индивидуальной тропой и только в личном обмене мыслями, поскольку заблуждение — так же как пути и переходы к истине для каждого индивидуума и для каждой жизненной эпохи принимают тысячи самых разнообразных образов и форм. Вот почему, если бы философия должна была или захотела поставить себе подобное в качестве главной цели и основного занятия, то это могло бы происходить лишь в форме беседы, которая везде самым тщательным образом соотносится с индивидуальностью и личностью; и именно в этом смысле, и именно поэтому Платон и другие ученики Сократа в своей борьбе против софистов всегда и везде избирают диалогическую форму представления, кладя ее в основу своей философии. Однако даже и занесенный на бумагу диалог может нести в себе лишь некое усредненное содержание, в сопоставлении с бесконечным многообразием индивидуальных воззрений, убеждений и характеров. И что, собственно, должно произойти, чтобы они были освобождены и убережены от заблуждения, чтобы они примирились с истиной и преисполнились ею? Сперва должно быть открыто внутреннее чувство и духовное око, дух должен возвратиться назад и обратиться к своему утраченному центру. Душу же необходимо привлечь, завоевать, всецело обратить и наполнить новой жизнью. Возможно ли такое без высшей, божественной силы? Можно ли, поистине, осуществить такое

с помощью нашего обычного человеческого искусства диспутов, которого достаточно для гражданского судопроизводства, или путем логически построенного доказательства, или того или иного самого по себе искусного диалогического оборота, если к этому не добавится более глубокое проникновение душевной силы? И, пожалуй, существует такая высшая сила и действующее слово истины, которое на языке Св. Писания носит название духовного меча, проникающего до разделения души и духа. В этом выражении о властном разделении души и духа кроется глубокий смысл, и оно весьма метко обозначает собой самую высшую степень духовной и душевной боли. В обычной смерти лишь бессмертная душа высвобождается и отрывается от смертного тела, однако дух и душа при этом пребывают в нераздельном единстве. Здесь же, следовательно, имеют место гораздо более глубокое и могучее разделение и разрыв, которые, однако, необходимы для победы истины в этой борьбе не на жизнь, а на смерть. Ибо в заблуждении, коль скоро оно является внутренним, уходящим вглубь и проникающим до самого центра, — то и другое, дух и душа, накрепко срастаются друг с другом, и заблуждение не может быть разрешено иначе как путем насильственного отрыва, при котором дух внезапно осознает пропасть, на краю которой он стоит, а душа, внезапно вырванная из всех пазов своей ложной жизни, переживает совершенное преобразование и обращение. Таким путем истина завоевывает победу над заблуждением и неверием; не всегда этим проникающим до мозга костей мечом духа будет непременно устное или письменное слово Писания. Весьма часто это оружие достаточно ясным и красноречивым образом проявляется в той или иной потрясающей основы катастрофе нашей собственной жизни, и его воздействие приводит к полному преобразению ее смысла и образа мысли. Однако точно так же как против отдельных индивидуумов, этот огненный меч может быть обращен и против целых наций и целых эпох, с тем чтобы вырвать их из пут заблуждения и неверия и привести назад к истине. Наконец, этот меч может быть обращен и против всего земного мира и всего человеческого рода. И к этой — столь близкой для нашей нынешней эпохи — теме мы еще не раз вернемся в наших последующих чтениях.



ОДИННАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Об отношении истины и науки к жизни; или о духе в его приложении к действительности

Единство высшего знания и божественной веры и признание и познание этого единства есть первый шаг духа в области истины и сознания этой истины, или также первая ступень этого прогрессирующего в истине духа и сознания; оно есть основоположное понятие самой истины, образующее собой это начало. Далее, решительное различие, решительное суждение между верой, простой всеобщей верой в Бога в ее соединении со всяким естественным и высшим истинным знанием, с одной стороны, и между неверием и ложным знанием или системами заблуждения, с другой, — образует собой вторую ступень или второй шаг в этой ступенной последовательности прогрессирующей истины и духа истины в сознании человека: — как отдельного человека, так и всего человеческого рода, или той или иной отдельной эпохи в его развитии. Оба эти предмета представляли собой содержание двух предыдущих чтений. Третья ступень в прогрессирующем развитии духа истины в сознании и в знании есть, далее, плодотворное применение его в практической жизни, или также его реальное представление и практическое исполнение, благодаря чему лишь это божественное основоположное понятие истины и, затем, великое, отделяющее истину и истинную науку от заблуждения и проводящее между ними различие, суждение обретают свое полное завершение в действительности; и это есть предмет не только одного лишь нынешнего чтения, но и всех последующих. Однако прежде чем я начну развивать эту новую тему и попытаюсь разрешить эту третью проблему дей-

ствительного применения истинного знания к жизни и его плодотворного соединения с ней, я хотел бы в качестве перехода от предыдущего предмета и раздела добавить несколько исторических замечаний о содержании последних размышлений, которые попутно могут служить дополнением к более широкой трактовке этого содержания. Спор с переменным успехом между верой и неверием, в ходе которого то одна, то другая сторона одерживает верх в умах людей и в настроении эпохи, или борьба истины и подлинного знания с системами заблуждения в различные эпохи развития человеческого рода и истории человеческого духа, — есть предмет высочайшего интереса для философского наблюдения, которое именно здесь, в этом историческом применении, оказывается весьма поучительным и плодотворным. Я ограничусь здесь лишь теми немногими примерами, которые наиболее соответствуют нашей цели, или же обещают наиболее серьезные следствия. Из всей истории древнего мира я выделю преимущественно лишь два момента: во-первых, двойственное духовное состояние древнейшего первобытного времени, и затем высшее развитие мышления и знания в образованную эпоху греков, в их первом расцвете и накануне их с орого упадка. Как то, так и другое — преимущественно в намерении показать, что везде и всегда прежде всего находится истина, что именно она всюду полагает начало и предшествует заблуждению. Я затем также выделю небольшое число особо плодотворных моментов из новой истории мира и эпохи, дабы показать на их примере, что проблема знания в те или иные мировые эпохи принимает столь запутанный вид, что в своем отношении к жизни и в своем приложении к ней не может прийти к какому-либо чистому решению; или также, что она зачастую после прекрасного начала внезапно вновь принимает ложное направление, и впоследствии также не достигает своей цели, но, будучи взята как проблема эпохи, в своем применении к действительной жизни остается нерешенной. Такое наблюдение действительного отношения между наукой и жизнью, в том виде, в каком оно исторически сложилось в той или иной определенной эпохе, или существует до сих пор, наряду с попутно возникающими здесь сложностями и трудноразрешимыми вопросами, — может также послужить введением для всей этой темы в целом, дав удовлетворительное объяснение и верную теорию как применения истинного знания к жизни, так и плодотворного соединения того и другого.

Если ныне мы впервые обращаем наш взгляд на начало человеческого рода и на первую первобытную эпоху, мы повсюду

находим сказание и предание о его божественном происхождении, смешанное и тесно сросшееся с другими образами и сюжетами язычества; и мы привыкли повсюду и без различия смотреть на все язычество как на нечто целиком и полностью неистинное и идолопоклонническое, или, по меньшей мере, глупое и сказочное. Однако, это вполне соответствует естественному ходу вещей, и если уж решено, что уже с самого начала это было целиком и полностью заблуждением, то не должен ли был в основании этого хаотического смешения образов и сказаний, по меньшей мере, изначально — лежать некий более простой образ заблуждения? Конечно, везде и всюду, даже у самых первых народов, в самых ранних сказаниях и обычаях древнейшей эпохи, какие нам только известны, мы находим язычество уже более или менее в этом самом состоянии фантастического смешения, сущего хаоса символических природных образов, с отдельными неразвитыми духовными очертаниями мысли и начатками высших идей, или же сотканным воедино и смешанным с иной раз весьма смутными историческими сказаниями, причем все это и везде имеет форму развития, всецело продиктованную сугубо характерными национальными, семейными и наследственными родовыми чувствами, будучи окрашено исключительно в локальные цвета этой особой жизненной сферы, и часто под влиянием поэтического произвола может принимать совершенно неожиданный вид и взаимосвязь. Как можно было бы надеяться легко отыскать простой выход из такого лабиринта? И кто дал бы нам нить Ариадны для этого? Хотя вообще наше достоверное историческое познание не достигает особенно значительных высот; однако этот великий потоп, на который указывают предания всех народов, и который в полной мере подтверждают все теллурические науки — география и история природы, геогнозия и все прочие их наименования — образует собой почти непроходимую пропасть между нашим теперешним поздним человеческим родом и той первой эпохой великанов погибшего древнего мира. Однако тщательной и добросовестной критике и историческому исследованию даже и в этом хаотическом нагромождении всех разнообразных мифологий вполне удастся различить в нем отдельные слои и эпохи, отделив первобытные горные хребты от позднейших мифологических образований. Безусловно, и сами эти старейшие горные хребты в сказании древности — эта первая и древнейшая, наиболее простая первооснова язычества — в свою очередь представляют собой лишь смешение и осадок еще более древне-

го и ранее происшедшего разрушения. Если, однако, все сказания, все мифологии и все предания сходятся в том, что начало человечества не обошлось без Бога, и что этот Первый, непосредственно исшедший от Бога, человек, так или иначе, был поставлен в мире как первородный Сын Земли, имеющий равно человеческую и божественную природу: то это приводит нас (поскольку происходящий и начинающийся от Бога человек никак не мог обойтись без познания Бога) — я говорю, что это приводит нас к понятию познания (а именно, непосредственного и созерцающего познания Бога в природе и из нее, т. е. прежде всего преимущественно лишь в природе и из природы) и в свою очередь также [к понятию] о непосредственном и созерцающем постижении природы в Боге. А это как раз и есть древнее и истинное язычество святых праотцов, коль скоро под ним мы понимаем первую природную религию древнейшего человеческого рода и благочестивых патриархов, что обозначена как таковая на языке и в аналогии Св. Писания и в сопровождающем его Предании. Согласно простой ступенной последовательности истины, которая есть в то же время ступенная последовательность Бога и Его познания, это природное откровение было первым и древнейшим, данным человеку на земле, и его следует тщательнейшим образом отличать от другого, или позднейшего и второго, позитивного божественного откровения, [данного] в писаном законе и в писаном Слове или книге Закона, причем эта последняя также весьма четко проводит указанное различие. Божественный закон, который, безусловно, имел место также и в эту первую мировую эпоху, однако не был записан на медных скрижалях, но мог быть прочитан и понят созерцательным взором в самой природе и из нее, а также мог непосредственно восприниматься в сердце и совести людей, был гораздо более простым, а значит, более легким и менее гнетущим, нежели позднейший закон второго откровения. Последний имел своей задачей спасение уже в значительной степени разложившегося народа и сохранение его в среде прочих и еще более одичавших племен. Он был менее трудным и высоким для восприятия, нежели закон нового времени, данный и изреченный для всех народов в третью мировую эпоху. Новый закон адресован уже не первой счастливой и детской эпохе человечества, но имеет своей целью завоевание полной победы в тяжелой и решительной борьбе и полное освобождение от древней тяжести вины и враждебного, гнетущего ига. Для каждого возраста человечества мудрый Отец определил собственный и со-

образный ему закон; легкий закон жизни, полной и возрастающей жизненной силы и цветущего развития для первой эпохи детства; закон строгого приготовления и надежд или ожидания — для юношеского возраста; закон решительной борьбы и побеждающей любви Невидимого, и совершенства — для созревающего мужа; и таким образом, всякий раз будет иметь место новое применение того же закона, дающее всякий раз новое подкрепление в той же борьбе вплоть до последнего времени совершенства. Однако не только божественный закон природы для человека в первую мировую эпоху представлял собой нечто иное, нежели закон позднейшего времени и последующей степени откровения в его дальнейшем развитии; но также и это непосредственное природное откровение и созерцающее познание самой природы являло собой нечто совершенно отличное от нашего искусственно составленного и запутанного естествознания, которое, скорее, обозначает собой путь возвращения к жизни и к полной истине природы, и которому надлежит пройти его, несмотря на то, что на этом пути возвращения оно даже там, где, оно, казалось бы, пошло далее всего — все еще отнюдь не в достаточной мере приблизилось к своей цели. Однако для зрения Первого Человека, который распознавал Бога в природе и не только понимал Его, но непосредственно Его воспринимал и словно бы видел, именно в силу этого также и природа в Боге была до известной степени прозрачной. И хотя такое его познание природы и было в высшей степени простым, оно все же могло глубоко проникать в самое потаенное, будучи всецело живым и действенным; более того, оно само скорее представляло одну из внешних и родственных природных сил в нем; равно как и вообще человек в эту первую мировую эпоху обладал живой властью в природе и над природой, владея такими высокими силами, которые впоследствии были полностью отняты у него, или которые в позднейшее время образуют собой лишь редкое исключение или отдельные чудесные явления. Возможно, что мы вообще мыслим себе древний человеческий род по ту сторону великого водораздела всеобщего потопа, слишком похожим на позднейший — нынешней эпохи и рода, не будучи способны воздать должное его величию и удивительным качествам ни в злом, ни в добром. Прежде всего, сама атмосфера в то время, весьма вероятно, во многом отличалась от нынешней, а значит, иным было питание и способ питания человека. Если должным образом принять во внимание лучшие и древнейшие исторические свидетельства о таких вещах, то у нас

едва ли останутся какие-либо сомнения в том, что этот древний человеческий род, по меньшей мере в последнее время перед своим уничтожением, имел исполинское телесное строение, которому, однако, соответствовала и внутренняя духовная сила и власть. Тем менее, вполне согласующиеся со всеми прочими свидетельствами данные Св. Писания о также колоссальной в сравнении с нашими нынешними масштабами продолжительности жизни в первую мировую эпоху отнюдь нельзя считать настолько невероятными, чтобы пытаться отодвинуть их в сторону с помощью искусственных и по существу несостоятельных гипотез и интерпретаций. В какой же степени при подобной телесной силе и продолжительности жизни эти имеющие свое основание в живой природной вере высшие дары и познания, обретенные в созерцании этих первых патриархов человеческого рода, должны были возрасти при надлежащем употреблении и направленности на Бога; и насколько ужасным образом, с другой стороны, при кощунственном и преступном применении и духовном направлении, они должны были выродиться, — это, думаю, понятно и без особых разъяснений: несмотря на то, что мы едва ли можем составить себе должное и сообразное этому великому масштабу понятие как о том, так и о другом состоянии. Однако вот что всегда остается общим результатом природных наблюдений и основным правилом всякой истории и развития: все самое великое и прекрасное, однажды разложившись и придя в полное запустение, принимает в этом разложении и запустении самый страшный и ужасающий облик. Точно так же, по всей видимости, дело обстояло и с великим во всех смыслах и удивительным человеческим племенем первой мировой эпохи перед великим потопом. В наше новое время, в конце семнадцатого столетия, великий немецкий философ²⁸, бывший в то же самое время не менее великим ученым историком и математиком-изобретателем, высказал достопримечательную мысль о том, что последней, наиболее всеобщей и устрашающей сектой во всей истории развития христианского откровения нового времени вплоть до самого его конца, — будет секта атеистическая. Это высказывание, которое в тот период перехода от запуганного и теснимого семнадцатого к просвещенному и самодовольному восемнадцатому столетию, должно было показаться не более чем парадоксом, уже совсем иначе воспринимается ныне у нас, когда его исполнение сделалось гораздо ближе

²⁸ По всей видимости, имеется в виду Готтфрид Лейбниц. — *Прим. перев.*

нашему взгляду и пониманию: оно наполняет нас чувством удивления, если не сказать — тихого испуга, внушаемого глубиной и истинностью этого прозрения. Однако, поскольку начало и конец зачастую смыкаются, может случиться и так, что последняя секта вновь будет представлять собой то же самое, чем была первая. Хотя мертвое неверие и сугубо отрицающий атеизм холодного рассудка в те времена точно так же едва ли могли иметь место, как и выродившееся в простой символизм и на пути безнравственности вновь ставшее материальным язычество; ибо лишь после того как человек был лишен высшей магической силы, фантазия стала образной в этом смысле и в таком преизбытке; либо же эта только образная фантазия и была тем единственным, что осталось от этой утраченной силы, а в качестве ее естественной противоположности стала получать все большее развитие другая экстрема — абстрактное мышление. И, пожалуй, можно с полным основанием предположить, что и само сознание человека со времен той страшной катастрофы претерпело существенные изменения. Одичавшее состояние древнейшего человеческого рода непосредственно перед его истреблением едва ли можно помыслить себе более верно, нежели воплощенным в образе открытого восстания и возмущения против Творца и Подателя всякого блага; как совершенное и зримое господство на земле злого принципа и всех злых духов и внутреннее соединение с ними [человека] — приблизительно так, как в древних книгах пророчески изображаются грядущие времена Антихриста; и, пожалуй, это состояние также с полным правом может быть названо атеизмом. Однако как бы то ни было, и как бы мы ни мыслили и ни представляли себе исторические частности этого состояния, — здесь, в этой области, где все остается всего лишь более или менее вероятным воззрением и предположением, или исторической гипотезой: все же в любом случае духовная сила и развитие прашуров этого мира и великих патриархов человеческого рода в эту первую эпоху чистой природной веры были, безусловно, величественны и грандиозны. И страшными были падение и последующее одичание, происшедшие из такого злоупотребления этой силой; и при еще неослабленной духовной производительной силе и природном господстве человека все это должно было во все стороны повлечь за собой множество диких и уродливых следствий. Поэтому также, при столь великом и столь повсеместно господствующем зле и бедствии не оставалось никакого иного выхода, кроме истребления всего рода, полного обновления и второго начала.

Если, однако, смотреть в несколько меньшем масштабе, то даже и в позднейшие эпохи отпадение было в свою очередь весьма велико, а переход от блага ко злу — весьма стремителен. Впрочем, наверно, разумеется само собой, что в эту первую эпоху живой природной веры и всецело природной жизни последнее, собственно столь неестественное разделение науки о жизни еще не имело места и здесь еще совершенно немыслимо; но что, напротив, знание и жизнь должны были быть совершенно едины: как благое знание в первый счастливый период золотого века, так и злые идеи и демоническое стремление к заблуждению в последующую эпоху ужасающего одичания и господствующей враждебности по отношению к Богу. И именно в силу указанного первоначального единства знания и жизни, этот момент принадлежал к лестнице взаимных отношений того и другого в различные времена.

Совершенно иначе в этом отношении обстояло дело с греческой философией в образованную эпоху классической древности, которую мы везде и всюду, а особенно в общественной, политической и религиозной сфере, находим уже в состоянии либо решительной оппозиции к действительной жизни, либо же эзотерического отхода и полного отчуждения от нее. Однако как позднее столь одичавшему и страшно разложившемуся язычеству, согласно всем основам аналогии, предшествовала чистая природная вера, как простая религия первых патриархов; точно так же и греческую философию я хотел выделить из духовной истории развития как второй пример и преимущественно важный момент, дабы показать на нем, что также и здесь — по меньшей мере, относительно — лучшее и высшее воззрение и чистая наука и истина предшествовали позднейшим, всецело пагубным, системам и сектам заблуждения. Если бы этих древнейших ионических философов, считавших воду, воздух и огонь основой и началом всех вещей и выстраивавших на их фундаменте свои объяснения природы, мы захотели поэтому обвинить в материализме, то мы, вероятно, впали бы в весьма грубую ошибку. Они понимали эти стихии в более духовном и всецело живом смысле, как элементы всеобщей жизни, при этом вполне осознавая присутствие в природе высшего, властвующего над элементами духа и упорядочивающего рассудка Бога. О Гераклите, рассматривавшем огонь как наиболее существенную, основополагающую силу природы и принцип всех вещей, мы совершенно определенно и исторически достоверно знаем, что вообще его мировоззрение и философия были в высшей степени иде-

альными и духовными; то же самое известно об Анаксагоре, учеником коего был Сократ. Множество восхитительных фактов, свидетельствующих об общем духе тогдашней мысли и знания, можно было бы привести и о славном основателе научной медицины, принадлежавшем к той же самой школе, если бы это было здесь уместно. И именно потому, что и сам Сократ вышел из этой же ионической школы, в целом я был бы склонен вынести о ней весьма благоприятное мнение, несмотря на то, что о некоторых из наиболее древних ее мыслителях наши знания слишком неполны, а свидетельства слишком недостоверны для того, чтобы сколько-нибудь решительно о них судить. Если, впрочем, речь идет о религиозном духе и содержании греческой философии вообще, или же о том или ином отдельном ее роде, той или иной школе или эпохе; то при этом необходимо в качестве масштаба суждения положить в основу одну лишь общую догму чистого человеческого чувства, веру в единого живого и личного Бога и вечно властвующего Духа, в бессмертие души и свободу воли, наряду с неизменными принципами и устремлениями права, чести, нравственности и добродетели; от всех прочих, входящих в частности, учений позитивной веры в этом случае пока что следует абстрагироваться, не требовать появления и не ждать обретения того, что принадлежит лишь уже следующей эпохе развития и совершенному свету позднейшего откровения. Если в учениях Пифагора и Платона и можно обнаружить те или иные идеи, которые, будучи взяты в своем точном выражении, окажутся несовместимы с христианством, то мы будем весьма далеки от того, чтобы высказывать по сему поводу удивление, или ставить им это в серьезный упрек; напротив, нам следует радоваться и удивляться, что они знали, чувствовали и предвосхитили столь многое из того, что лишь впоследствии, представ в более ярком свете, сделалось всеобщим человеческим достоянием. Подобным же образом смотрели на этот предмет и судили о нем также и величайшие и наиболее прозорливые среди отцов христианского учения и науки первых столетий. Это высокое религиозное направление и знание (например, у Пифагора или Платона), это научное предчувствие идей христианства и принципов, которые в основном принадлежат христианской мировой эпохе, безусловно, не могло обойтись без Бога; и, пожалуй, в этом следует усматривать высшее произволение, в согласии с которым эта греческая философия, по своему лучшему духу и составу, теперь в свою очередь представляется как научное введение в христианство и сво-

его рода подготовка, проводимая неким особым и своеобразным путем. Среди прочих выше всех стояли, бесспорно, пифагорейцы, чьи знания, помыслы и устремления были везде и всюду направлены к божественному. Еще ранее было отмечено, что даже в естествознании им была известна наилучшая и наиболее существенная часть из того, чем уже три столетия подряд может гордиться наша история открытий. Впрочем, весьма вероятно, что в некотором отношении они знали и несколько более, и что им были хорошо знакомы даже те мистерии творения, что повергли в такое удивление нашу натурфилософию всего лишь каких-то полстолетия назад; и, равным образом, что под их учением о числах следует понимать не вульгарные математические формулы и обычную научную игру с ними, но, скорее, внутренний божественный закон развития природы и жизни сообразно с ее вечной структурой и непреходящей основой, или в согласии с течением ее критических времен и дней. Если бы теперь захотели спросить, откуда все это у них появилось (к примеру, знание об истинном строении мировой системы в астрономии при отсутствии телескопа и при еще отнюдь не достаточно развитых математике и искусстве расчета) — и, допустим, выдвинуть гипотезу о том, что все это они позаимствовали у египтян (в результате чего, однако, вопрос в сущности попросту отодвигался бы на одну ступень дальше, никак не получая ответа), то — принимая во внимание, что они смогли извлечь из египетской науки именно самое лучшее и существенное из всего, что можно было в ней найти, в то же самое время не притронувшись к столь многим из тех пагубных, злых и ведущих к заблуждению магических суеверий, которые наверняка также в ней присутствовали, — мы можем сказать, что с точки зрения существенного вопрошания о пифагорейцах и происхождении их науки (точно так же, как это однажды уже произошло в отношении Моисея и еврейского народа) все это могло послужить лишь к их вящей славе и признанию. В гораздо более поздние эпохи, и даже почти вплоть до нашего времени, имени пифагорейской школы и науки суждено было служить чуть ли не символом злокачественной напускной таинственности, точно так же как имя неоплатоников весьма часто становилось синонимом любого рода мечтательной увлеченности. Если бы, однако, действительно было возможно указать какую-то связь между этими так называемыми пифагорейцами позднего и самого позднейшего времени с древними (что, однако, весьма сомнительно), то из этого отнюдь еще ничего не следовало бы, и самый этот факт служил бы

лишь еще одним, лишним подтверждением тому, что все самое благородное, прекрасное и величественное, однажды приходя в упадок, достигает в этот момент наивысшей степени разложения и гибели, являясь в самой дикой и искаженной форме. Что касается воздействия на жизнь, политической цели и влияния, которое, безусловно, также входило в намерение древних пифагорейцев, — то все это должно было определяться и оцениваться в соответствии с греческими нравами и понятиями, а также с тогдашним уже совершенно расстроеным и расшатанным состоянием греческих государств. Однако, если принять эту предпосылку, то похоже, что в основе их союза лежало чистое намерение, заключавшееся в том, чтобы с помощью великой аристократии высшего духовного образования и науки, благородных нравов и добродетели найти и обосновать лучшую форму государства, противодействуя господствующей анархии и революционному народному правлению во всех больших и малых республиках тогдашней Греции. Но зло было уже слишком сильно и могущественно; предприятие в целом потерпело неудачу, а для самого союза пифагорейцев это было началом заката. Некоторые подобные намерения и политические воззрения, которые Платон затем воспринял в свою философию, остались всего лишь идеями и не возымели действительного успеха. Тем большее влияние на жизнь оказывали софисты, которые, если смотреть на них под политическим углом зрения, были поистине и в полном смысле слова опасными демагогами, заигрывавшими с толпой, и подрывали не только поэтическую, внешнюю народную религию, но также и внутреннюю религию благих основоположных принципов и нравственных устремлений, практически проповедуя подлинный нравственный атеизм и повсюду проводя и утверждая его в жизни. Таким образом, здесь, в греческой философии перед нами впервые выступает достопримечательный феномен: истинное, благое и направленное на божественное знание не смогло оказать длительного и глубокого влияния на жизнь, но было изгнано из нее и в конечном итоге оказалось всецело от нее отчужденным; тогда как ложное и софистическое знание становилось все более и более единовластным в безнравственной жизни и нескончаемой анархии разлагающихся и переходящих от одной революции к другой, государств; более того, это знание было совершенно едино с этой жизнью, насколько вообще два разрушительных принципа могут быть или стать между собой едины. Эта полная удаленность лучшей науки от жизни, в особенности общественной,

теперь весьма решительно выказывает себя в величайшем духе из всех греческих философов позднейшей эпохи — в Аристотеле и во всей его позиции по отношению к своему времени. Все выдающееся знание и все достопримечательные мысли прежних эпох этот пронизательный мыслитель со всем возможным тщанием и прилежанием собрал, критически оценил, классифицировал и организовал его на основании своего широкого видения в некое новое целое, в собственно систему, чего в подобном объеме и масштабе никогда ранее не происходило. Однако как бы высоко мы ни ставили этого мастера человеческой пронизательности со стороны рассудка и знания, как бы ни ценили мы его и ни восхищались им как писателем — все же в его системе уже таились ростки и была налицо явная предрасположенность к обеим главным формам философского заблуждения — к натурализму, с одной стороны, и к рационализму — с другой. И обе они также и в более позднее время последующих столетий, как только представлялась благоприятная возможность для возникновения той или иной ложной системы, произрастали из этой предрасположенности и получали дальнейшее развитие. В учении о Боге он, пожалуй, менее всего стремится выдержать строгость оценок; и в тех или иных пунктах — как, например, в его понятии об абсолютной самодеятельности разума, — он всецело склоняется к идеалистическому воззрению, с которым мы уже ранее познакомились как с переходной точкой к научному атеизму и которое мы как таковую обозначили. Лишь в гораздо более позднюю эпоху он, наконец, смог оказать свое великое и всеобъемлющее воздействие; в свое же собственное время он лишь основал весьма неприметную школу, имевшую гораздо меньшее влияние на общественную жизнь, чем две другие секты, замыкающие собой историю развития греческой философии. Система стоиков, с ее грубым, а потому также и совершенно непрактичным нравственным учением, с ее учением о безусловной необходимости и слепом фатуме, тут же сама выказывает себя как грубый рационализм; тогда как мягкотелый натурализм эпикурейцев благодаря их деятельности приобрел всеобщее распространение, постепенно занимая место древнего мифологического язычества, все более и более угасавшего — в другой и новой форме, однако в русле того же языческого умонастроения, когда приписывавшееся богам индифферентное и ни о чем не пекущееся безразличие в блаженном досуге и самоуслаждении отныне сторонники этой секты стали превозносить как истинную мудрость и проводить в жизнь. Тем самым именно здесь

было положено основание к той страшной бесчувственности, с которой [греки] постепенно начинали взирать на все дальше распространявшееся разложение и всеобщий упадок; и, с другой стороны, апатия стоиков по меньшей мере не была тем истинным умонастроением, которое могло бы быть противопоставлено этому сибаритскому оуплению. С точки зрения общественной жизни, гражданского общества и государства, образ мысли стоиков, безусловно, представляется как более достойный и лучший; и именно поэтому весьма часто его горячими сторонниками были римские государственные мужи, начиная с последних времен республики — и заканчивая последними столетиями эпохи римских цезарей. Если брать обе эти системы сами по себе и с чисто научной точки зрения, то в них как в формах заблуждения нельзя увидеть ничего иного, кроме последней стадии химического распада или начинающегося состояния разложения высшего знания и философского мышления у греков. Таким образом, в целом наука и философия у греков либо не имели на жизнь никакого влияния, либо имели недостаточное влияние, либо это их влияние на нее было целиком и полностью пагубным.

Ныне же, в самой середине человеческой истории, в точке перехода от старого к новому миру, в совершенно другой форме навстречу нам вышло новое знание, которое, в свою очередь, как и в начале, было единым с жизнью: если только этим именем можно назвать новую духовную жизненную силу, посредством которой были полностью изменены и перелицованы все умонастроения, воззрения и принципы, как в жизни отдельного человека, так и в общественной жизни господствующий образ мысли эпохи и мира; каковая духовная сила была достаточно сильна для того чтобы победить не только само язычество, но вместе с ним и науку и философию самых образованных народов. И это новое мышление, которое выступило вперед с полной уверенностью самой решительной веры и с высочайшей внутренней ясностью, было, коль скоро его можно и должно назвать знанием, весьма далеким от всех обычных и прежних своих форм, исшедшим всецело из жизни, и лишь благодаря любви, и именно божественной любви, обретшим свое совершенное исполнение и свою полную силу. Итак, то было всецело живое знание, или то была ясно себя осознающая, а следовательно, знающая, новая жизнь, которая, впрочем, исходя из этой начальной точки, могла легко проникнуть и во все иные формы общественной жизни и прежней науки, воспринять их, придать

им новую форму и, используя их, начать свое дальнейшее развитие. Однако и здесь божественный импульс сверху встретил обычное полное или половинчатое сопротивление снизу. Поэтому именно это живое знание, которое уже в своей сущности было единым с жизнью, а в дальнейшем своем развитии должно было лишь достигать с ней все большего и большего единства, во-первых, не было принято повсеместно, а во-вторых, не достигло всеобщего господства. Там же, где оно было принято и пришло к господству, как приятие, так и господство были по большей части лишь внешними, ибо это знание не было во всей полноте своей жизни воспринято глубинами человеческих душ, и не проникло во все ходы и пути духа. Или даже если происходило так, что оно (по меньшей мере, до некоторой степени) было воспринято поистине внутренне и с полной любовью: то и там оно зачастую оставалось по большей части лишь сокрытым семенем будущего и высшей жизни, пребывая отдельным и обособленным в потаенных глубинах естества — без того, чтобы заодно проникнуть собой все другие элементы жизни сознания и продукты ведения, придав им новую жизнь и новую форму. Так что заблуждению в свою очередь удалось проникнуть и сюда, и достопримечательно, что обе его главные формы, в том виде в каком их сохранила история философии в различные эпохи ее развития, равным образом и здесь вновь проступают перед нами совершенно отчетливо, в весьма ясных чертах духовной физиономии и в столь же явном контрасте внутреннего различия. В основании всех гностических сект лежала более или менее мечтательная натурфилософия, и с помощью ее длинного ряда вымышленных эманаций Бога, весьма напоминающих языческие генеалогии древних богов, гностики, не будь они побеждены, весьма скоро превратили бы все христианство в новую философскую мифологию. В арианах, а также в других родственных и подобных им партиях, напротив, в большей степени дает себя знать дух рационализма, который, с напускной строгостью и точностью настаивая на том или ином пункте жизни или теории, лишь внешне и для вида спорит о словах, до тех пор, покуда и сама основа существенных понятий оказывается погребенной. Все эти партии на протяжении первых трех, пяти, или восьми столетий нашего летоисчисления периодически возникали и вновь исчезали: так что и их губительное влияние в то время еще не могло проникнуть глубоко в жизнь и во всяком случае не сделалось ни всеобщим, ни длительным. Однако при этом было во многом утрачено чувство первой любви, а вме-

сте с ним потери коснулись и полноты жизни, и даже глубокого знания. Однако уникальный в своем роде феномен заключается в том, что один единственный великий ум и писатель древности, который в свое время имел гораздо менее всеобщее влияние, для всего средневековья теперь сделался проблемой и средоточием всего знания, и что на протяжении многих столетий человеческий дух до изнеможения сражался с этим непонятым (по меньшей мере в смысле внутреннем) Аристотелем (ибо для понимания ему недоставало здесь первых существенных условий и необходимых вспомогательных средств); и что, тем не менее, эта на первый взгляд бессмысленная борьба и эта нерешенная проблема смогла оказать великое и многообразное влияние как на свою современность, так и на последующие эпохи и на жизнь в целом. Весьма значительная часть тогдашнего мира из двух совершенно различных полюсов, на которые, как уже раньше было отмечено, распадается философия Аристотеля, испытывала, пожалуй, скорее тоску по некоему великому и тайному естествознанию как запретному плоду познания своей эпохи; именно эта тоска и вызвала к жизни столь невероятное стремление к утаиваемому и недоступному духовному сокровищу и ко всеобъемлющей и всезнающей системе. При тогдашнем разделении стран и народов, поначалу сведения можно было черпать только из арабских переводов и лишь по ним уже согласовывать латинские; легко можно представить себе, сколь далеко было здесь до истинного понимания критического духа самого мыслителя, и как далеки были эти попытки от его истинной цели. Ибо сколь бы высоко мы ни чтили и ни ставили дух арабов в их собственной истории, в поэзии или даже в той или иной науке, — их всегда и везде отличает полное отсутствие критики; в особенности в сравнении с греками, от которых взяла свое начало всякая истинная и всякая ложная критическая проницательность, и у которых критический дух достиг своей вершины. Если теперь мужи с большим духовным дарованием и со столь же большим авторитетом всеми силами стремились овладеть всем предметом в целом, наследием писателя, вызывавшем такое множество споров (этого столь странным образом «переодетого» в свои новые арабско-латинские языковые одежды Аристотеля, а также всей совокупностью научного устремления своей эпохи), то это — сколь бы странным поначалу ни могло нам показаться то, что языческий в своей изначальной основе древний мастер всего философского мышления и знания вдруг занял место среди теологов и обрел среди них право голоса — следует

расценивать приблизительно так же, как если бы мыслящий врач привил самому себе общераспространенную болезнь и неизбежные миазмы²⁹, дабы тем вернее их победить. И, конечно, в соответствии со складывающимся положением вещей, необходимо выделить среди этих великих мужей две разных личности: во-первых, святого Учителя Церкви, решающего глубокие вопросы теологии своего времени, и затем — схоластического толкователя ставшего для нашего христианского средневековья теперь уже чем-то вроде неизбежного зла: Аристотеля. Все это — наряду с прочим содержанием и остальными предметами этих мечтательных споров — довольно скоро кануло в забвение. Однако в схоластическом искусстве спора, по обычаю того времени, состязающиеся с головы до ног были облачены в тяжелые металлические кольчуги, состоящие из бесчисленных мыслительных колец и понятийных цепочек, сами становясь совершенно неразличимыми под этими одеяниями. Все это тяжелое вооружение предназначалось и использовалось для того, чтобы вышибить противника из седла. Однако зачастую удар отскакивал, ибо оружие почти всегда было приблизительно равным, или же противники промахивались; и порой оба философских воителя к концу спора оставались на прежних позициях, либо даже бывали отброшены назад. Эта схоластика, в своей форме и в качестве достигшего наивысших степеней развития логического турнирного искусства в философской школе, безусловно, осталась долговременным злом также и для последующего времени, образовав собой существенный элемент партийной борьбы следующих эпох, а также позднейшего рационализма. В результате разрушения империи греческих цезарей и открытия нового мира [Америки,] на европейский запад внезапно хлынуло огромное количество разнообразнейшего исторического, физического и философского знания. И в этот блестящий период пятнадцатого столетия здесь мог бы возникнуть новый мир: могла на новом основании возникнуть новая наука и совершиться подлинная реформация всей христианской жизни — если бы лишь в то же самое время во всей Европе не было столь неописуемо велико и сильно падение нравов и политическая сумятица. Однако даже и при всем этом, еще и поныне, взяв в руки кого-нибудь из этих великих и прославленных писате-

²⁹ Миазм — употребительный в XIX веке медицинский термин для обозначения гипотетических «заразительных начал», пагубно воздействующих на человеческий организм. Считалось, что миазмы могут содержаться в продуктах гниения, проникая оттуда в воздух и поражая человека. — *Прим. перев.*

лей-платоников пятнадцатого столетия (столь великое множество которых в то время, наряду с Италией, дала также и Германия) и увидев здесь это всеобъемлющее и свободное философское стремление, это великое и мягкое древнее чувство, эту благородную форму и это благоговение перед красотой, — мы можем лишь с сожалением взирать на родившееся позднее в результате партийной борьбы новое научное варварство шестнадцатого и отчасти также и семнадцатого столетия. Наконец, однако, в христианских странах наступил межгосударственный мир, а с течением времени к нему добавился и мир душевный. И теперь, в восемнадцатом столетии, и в особенности в его середине, возникло ощущение, что из этого кажущегося мира на поверхности должно произрасти новое знание, или, по меньшей мере, новый свет и его новое, более широкое распространение. Исключительно с точки зрения самой науки еще в самом первом из этих чтений мы упоминали об этом философском стремлении восемнадцатого столетия, и о замечательных системах, которые оно произвело на свет. Предметом рассмотрения здесь является прежде всего не сама новая (истинная или ложная) наука, а влияние этого нового образа мысли в его всеобщем распространении на эпоху и на жизнь. Конечно, множество открытий, пополнивших человеческие знания, было сделано в естествознании и в исторической науке; также и в философском мышлении было предпринято множество дерзких прорывов и попыток нового осмысления. Семена этого нового знания стали разбрасываться и распространяться в народе и во времени гораздо более широко, нежели когда-либо прежде; приятное ощущение этой теперь уже возобладавшей духовной мягкости способствовало их еще более широкому и скорейшему распространению. Позднее, однако, это со сказочной быстротой принесенное во все концы просвещение, которое, к тому же, понималось лишь в самом негативном смысле, было признано недостаточным и еще весьма поверхностным; связанная же с ним, долженствующая или желающая быть разумной, народная свобода принесла лишь самые горчайшие плоды. Все это в целом, говоря наиболее мягко, было всего лишь результатом необдуманного, поспешного устремления еще не готового и несовершенного знания, слишком рано пожелавшего перейти в жизнь. После того, теперь, как ускорившийся бег этой в своем роде неповторимой исторической эпохи и сама порожденная ею великая мировая катастрофа открыли человеческому роду глаза на ту пропасть, к краю которой он подошел в результате неумного и поспешного движения науки, —

множество славных и великих талантов и глубоких мыслителей разных наций посвятили себя труду восстановления также и в умонастроении, образе мысли и науке. Однако, с одной стороны, похоже, что первые начала разрушительных принципов все еще продолжают свое существование, пусть даже и в менее заметных, более гибких и скрытых формах. С другой стороны, даже и самый лучший образ мысли, самое лучшее умонастроение и самая лучшая наука будут иметь по большей части лишь внешне более строгую форму, однако почти нигде и никогда они не будут достигать самых потаенных глубин духовной жизни, первого возникновения и истинной основы божественного и вечного блага. А ведь именно это и было бы собственной, истинной задачей, и лишь здесь можно было бы отыскать решение великой проблемы нашего времени. Ибо именно такой вывод явствует из взаимосвязи всего этого обозрения, и лишь ради достижения этого результата, лишь в этом намерении я рискнул в столь немногих штрихах и в столь кратком наброске изобразить весь ход духовного развития человечества от начала и до конца, со всеми его главными эпохами в истории философии: как в начале и в середине знание и жизнь пребывали в живом взаимодействии и в полном единстве; и как в лежащие между ними мировые эпохи и интервалы, в образованной древности у греков, и затем в нашем средневековье то и другая, по всей видимости, вступили в полосу отчуждения, — точно так же в самом конце оба они вновь должны прийти к полному единству. Даже и в наше нынешнее время все клонится к тому и указывает на то, что именно так и произойдет (будь то в хорошем или дурном смысле), и что либо жизнь будет вновь восстановлена и обретет твердый порядок, укрепится и, обрета новый облик, преисполнится новых сил с помощью истинного, благого и божественного знания, — либо же она будет полностью разрушена и навсегда уничтожена до основания посредством знания ложного и заблудшего.

После того, теперь, как мы в этом кратком обзоре с исторической точки зрения подвергли рассмотрению проблему отношения знания (как истинного и божественного, так и ложного и заблуждающегося) к жизни не только общества, но и отдельного человека, — нам остается лишь исследовать тот же самый вопрос с точки зрения теории и дать на него ответ. Однако, если смотреть с этой теоретической точки зрения, дело представляется так, что отсутствие влияния науки на жизнь, или же отчуждение или отдаление одного от другой, могут

быть всякий раз выведены из одних лишь случайных причин и объяснены сугубо локальными препятствиями; равным образом они могут иметь свое основание в отдельных мировых эпохах, или же происходить от тех или иных несовершенств с той или иной стороны. Ибо, будучи взято само по себе, знание вообще есть не что иное, как именно само это единство мышления и жизни; и, следовательно, живое воздействие и действенность уже заложены в самом понятии высшего знания, коль скоро это высшее знание должно быть истинным и верно упорядоченным. Таким образом, либо знание есть возведенная в степень мысли и тем самым обращенная в мышление жизнь; либо же оно есть действительно исполненная, перешедшая и перенесенная в жизнь и именно самим фактом такого перехода и самой жизнью подтвержденная, ставшая всецело достоверной, мысль; следовательно, ставшее жизнью мышление. Три ступени знания существует, согласно той точке зрения, что последнее состоит во взаимном сближении и конечном достижении совершенного единства между жизнью и мышлением, согласно повсюду присутствующей в мышлении тройственной ступенной последовательности и его троякому принципу разделения. Первая ступень есть ступень рефлексии, и она (если брать ее в более глубоком смысле) есть не что иное, как внутреннее чувствование, слышание и видение собственного мышления, а значит — подобное чувственному восприятие его, благодаря чему это внутреннее мышление уже в несколько большей степени выступает и выдается во внешнюю действительность. Это состояние рефлексии есть по большей части лишь пассивное душевное состояние внутреннего, собственного наблюдения; и, будучи заключено в этой тесной сфере, сознание вечно вращается по одному и тому же кругу, не производя каких бы то ни было дальнейших следствий в виде приложимого к внешней и действительной жизни, плодотворного знания. Вторая ступень, или второй момент, знания есть абстракция, в силу которой из всей полноты признаков того или иного предмета или, напротив, той или иной мысли, один выделяется в качестве существенного и фиксируется в сообщении; ибо всякое сообщение и всякий язык зиждется на способности к абстракции, а абстракция есть произвольный акт свободного духа. Однако, несмотря на то, что посредством такого обозначения, обобщения и сообщения внутренняя мысль выводится еще на один шаг дальше во внешний мир и действительность жизни, наряду и вместе

с другими мыслями; тем самым отнюдь еще не гарантирована действительность мысли, ибо именно эта свобода в выборе обозначения, соединения и подведения общего итога открывает бескрайний простор для произвола, что видно уже хотя бы на примере бесчисленного множества без пользы выдуманных и вновь канувших в забвение терминологий, наподобие тех, которые вновь и вновь производят чуждые друг другу и взаимно друг друга не понимающие философские системы, в своем вечно повторяющемся методическом столпотворении научных систем; поскольку это абстрактное сообщение мысли, даже там, где оно вполне удается, еще не имеет своим результатом единства настроения, а лишь открывает врата для бесконечного диалектического спора. Таким образом, ни вечно движущаяся внутри тесного круга собственной внутренности рефлексия, ни также произвольно блуждающая в широких пространствах возможного пустая абстракция — не могут вести к цели полной достоверности и истинного знания. Лишь практическое воплощение в действительной жизни приводит спекулятивную мысль к завершению и совершенству достоверности, поднимая ее до степени совершенного, истинного знания. Я бы охотнее всего обозначил эту его высшую ступень понятием и именем консеквенции³⁰, под которым в этом случае понималось бы не только логическое сочленение мыслей, но преимущественно также и верно соблюденная последовательность умонастроения и жизни — как твердость в благом, — однако в то же время не следует забывать и о том, что злой принцип (несмотря на то, что подобное часто говорится о нем) все же лишь видимым образом и не в этом смысле является последовательным, но, будучи всегда страдательным и внутренне разорванным, в сущности, напротив, является в высшей степени непоследовательным, ибо он в высшей степени противоречит своему собственному первому началу и возникновению, которое он, подобно всем сотворенным существам, воспринимает от Бога. Истинно последовательным нельзя быть никак иначе, кроме как в истине, т. е. в Том, из Кого произошла всякая истина, и из Кого выведено и произошло всякое бытие, или в Боге. Знание, таким образом, есть прикладное, т. е. превратившееся в жизнь, а тем самым, ставшее действительным и достоверным, мышление. И лишь на практическом пути, посредством действительного исполнения или реального пред-

³⁰ Последовательности. — *Прим. перев.*

ставления может быть достигнута его высшая ступень и в совершенстве подтверждена истинность той или иной идеи или спекулятивного воззрения. Идеи, в соответствии с первоначальным смыслом этого слова, суть именно сами живые мысли высшей жизни, в отличие от простых фактов субъективного сознания в области рефлексии и от всех всего лишь произвольных мыслительных форм пустой абстракции. Поскольку, однако, даже и здесь к истинной жизни могла бы быть примешана ложная или больная и ничтожная призрачная жизнь, то сказанное касается прежде всего лишь формы живых мыслей в противоположность чувственной кажимости или мертвому понятию. Ибо то, что божественная идея в действительности является таковой, должно еще быть доказано через эту последовательность, а именно — через божественную действенность и действие в жизни. Напротив, не совсем правильно достоверность спекулятивного мышления обозначается именем интеллектуального созерцания и представляется под его формой, что дает множество поводов к недоразумению. Если бы мы, однако, в соответствии с ранее данным полным понятием вечной истины и Того, Кто есть ее источник и воплощение, поистине могли бы ощущать и чувствовать в себе эту божественную жизнь, слышать и явственным образом воспринимать в себе это вечное Слово, действительно видеть этот священный свет, — то такое духовное воззрение о величии Божиим было бы, пожалуй, более подходящим для будущей жизни, нежели для этой; и, несмотря на то, что оно, будучи данным свыше, таким образом может предполагаться и предполагается как мыслимое, оно все же не позволяло бы передать себя дальше или использовать себя для общего употребления философского обоснования той или иной человеческой системы. В этой форме быть должного интеллектуального созерцания (если оно действительно есть таковое, а не в свою очередь всего лишь представляющая под другим именем форма абстрактного мышления) спекулятивное знание, таким образом, по большей части приобретало бы характер сомнительного видения и возможного духовного заблуждения. Ибо к полному внутреннему удовлетворению и уверенности, насколько они вообще достижимы для человека, даже в этом случае (в качестве знака и доказательства того, что это воззрение или восприятие божественного света было истинным) может вести только ранее обозначенная последовательность имеющего свою основу в Боге мышления и знания; к каковой словно бы естественным образом относится также и согласие со всякой

другой, уже признанной за истинную божественной идеей и со всяким иным откровением, в качестве непреложного правила суждения и жизни.

Раскрытое в новом чтении полное и верное понятие вечной истины, безусловно, в качестве живой идеи высшей сущности, является спекулятивным основным понятием и внутренним, духовным базисом, на котором затем, в постоянстве и последовательности верного мышления и незыблемой истины, основывается всякое иное высшее знание, или же источником, из коего это знание всегда происходит. Во всех трех последних лекциях, где содержание было по большей части метафизическим и спекулятивным (хоть оно всякий раз и сопровождалось и пояснялось историческим развитием), всюду в основе лежит также и отношение к науке логики. К тому образу, в котором эта наука или дисциплина пришла к нам от греков, успело, пожалуй, примешаться много всего лишь случайного, продиктованного лишь местными особыми потребностями. Никогда и ни у одного народа риторике не уделялось столь значительного внимания и не придавалось такой большой важности в жизни, как у греков; равным образом нигде больше софистика не оказывала столь вредоносного и пагубного действия. Именно поэтому они уделяли значительно более широкое внимание изобретению противоядий диалектическому искусству, а также классификации всех его путей, ложных ходов и ухищрений, в чем мы теперь уже не испытываем столь насущной и практической потребности. Индийцы также с древних времен имели научную систему логики, так что даже возникла легенда, согласно которой Александр Великий прислал из своих походов Аристотелю индийские книги логики, а тот с их помощью и по их образцу составил свои. Мне, однако, в соответствии с приведенным основанием, пришлось бы предположить, что индийская логика, вероятно, должна была иметь гораздо более простую структуру, нежели греческая — где в избыточности членения и путанице бесконечного анализа понятий то и дело совершенно теряется простая цель истины и желанная путеводная нить к ее достижению. Возможно, логика наиболее плодотворным образом могла бы служить нуждам школьного преподавания, если бы она, наряду с историей развития человеческого мышления, была поставлена в ясное отношение, в частности, также с теорией языка (поскольку мысль и речь столь неразрывно связаны друг с другом), после чего логика, без сомнения, неизбежно распространилась бы далее

также на силу воображения, символический язык и его основные правила. Возможно, что для научного воспитания весьма плодотворной могла оказаться и логика памяти (если позволено будет такое выражение), поскольку упорядоченные правила здесь наверняка могли бы много содействовать облегчению и упражнению, вообще гимнастике памяти, служа основой для всего научного воспитания в целом. Безусловно, для жизни нет ничего более важного и желательного, чем верная логика совести: для различения всех внутренних заблуждений эгоизма и тонкой софистики корысти, во всем, что касается подлинной искренности и скрытой неправды; а ведь все это тесно связано или непосредственно приводит к понятию здравого ума, который прежде всего требует добросовестного чувства правды.

Однако логика в сфере высшего знания с необходимостью должна браться в гораздо более всеобъемлющем смысле, нежели это обычно делается. Такая попытка как раз и была предпринята в этой лекции. Логика в целом имеет три предмета: понятие, суждение и заключение; она должна в одно и то же время содержать в себе всеобщее основоположное правило и решающую путеводную нить истины, насколько это вообще возможно. Поскольку же в этой области вечная истина может быть лишь Одна; то для высшего знания также достаточно лишь Одного понятия для существенного, равно как и Одного суждения, объемлющего собой все остальные, и Одного заключения, завершающего собой целое. Понимание было объяснено как завершение понятия; и полное и верное понятие вечной истины (или Того, Кто есть воплощение всякой истины) было предметом девятой лекции; а этому различающему между истиной и заблуждением суждению было посвящено содержание десятого чтения. Знание же есть завершение всякого мышления, которое тем самым и в действительном исполнении, будучи приложено к жизни, достигает единства с жизнью и завершения в самом себе. Такова цель, к которой должно было подвести данное чтение; дальнейшее же развитие согласно различным областям и сферам жизни остается на долю следующих.



ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

О символической природе и строении жизни в связи с искусством и с нравственными отношениями человека

До какой степени человеку вообще нелегко представить нечто внутреннее как внешнее; сколь редко ему удается вынести вовне ту или иную внутреннюю идею и в совершенстве воплотить ее в реальном внешнем представлении, — в этом среди прочего можно наглядно убедиться на примере изящных искусств, имеющих своим предметом прекрасное. Поэтому также и теория искусства — так называемая эстетика, которую, однако, с гораздо большей точностью можно было бы назвать символикou — представляет собой естественный придаток и дополнение к логике: в том случае, если эта последняя не ограничивается, привычным для себя образом, различными видами понятий или формами суждения и заключения, но в высшем смысле относится к вечной, а потому божественной истине и к ее внутренней, также божественной путеводной нити. Ибо коль скоро речь идет не о материальной, или только субъективной истине, но о высшей, божественной истине: то в этом случае также и красота — та самая, которая имеет своим предметом искусство, и которая также желает и должна быть божественной и более чем человеческой и сверхъестественной — образует собой лишь другую, образную сторону той же самой Единой, вечной истины и никоим образом не отделена от нее, а уж тем более, не может быть ей противопоставлена; если предположить, что искусство действительно удержится на этой высоте, и даже то чувственное очарование, которое

необходимо ему для живого выражения жизни и для внешнего явления, воспримет в себя лишь как образ и лишь ради того высокого значения, которое оно ему придает и в него вкладывает, а не ищет и любит его ради него самого, и не видит свою цель достигнутой уже в нем одном. Однако подавляющее число всех произведений искусства представляют собой лишь повторения чего-то однажды уже бывшего, или подражания: не в обычном, отвергающем и осуждающем смысле этого слова, но даже о действительно художественных произведениях это может быть сказано как об удачных вторичных образованиях. Лишь крайне малое их число являет собой оригинальное выражение или оригинальный оттиск своеобразной внутренней идеи; а среди них, в свою очередь, весьма многие будут представлять собой лишь несовершенные начатки такого оттиска, которые часто лишь в итоге долгого и неоднократно возобновляемого стремления, лишь в последующей, гораздо позднее наступающей эпохе искусства достигают вершины совершенства и действительно совершенного внешнего представления этой внутренней идеи. Однако то внутреннее, которое искусство стремится сделать внешним и которое должно предстать в нем как внешнее, всегда должно рассматриваться как идея. Даже в музыке как в представлении душевных переживаний, в ее чередовании и борьбе дисгармонических состояний вплоть до конечного гармонического разрешения, не столько само непосредственное, простое, отдельное чувство, которое, будучи выражено в одном лишь крике страсти, уже отнюдь не было бы художественным, сколько идея этого чувства, которую художник несет в своем представлении и которая являет собой предмет его представления: то есть целое и прекрасное или чудесное в его развитии и внутренний пульс жизни в этом перемежающемся возвышении и падении, в этих неожиданных переходах, в этой внезапно обнаруживающейся гармонии, или усиливающимся повторении вплоть до полного удовлетворительного завершения, или же когда это последнее сознательно и намеренно оставляется без разрешения, вплоть до болезненного обрыва или тихого угасания и затухания жалобного тона, или тоскующего голоса. Также и здесь тройственность природы и членения человеческого существа находит свое подтверждение в строго соответствующем делении изящных искусств. Среди искусств, занятых изображением прекрасного, музыка есть искусство души; скульптура же — искусство наиболее телесное. Но и в этом случае художник держит пе-

ред своим мысленным взором не действительный образ и само тело, а его идею, и именно она есть предмет его изображения. Таким образом, именно совершенной структуре и органическому развитию, верной симметрии и высокой красоте формы в известной степени подчинены даже выражение характера и страсти. Именно потому, что внешний медиум представления в скульптуре (масса, в которую последнее облекается, или из которой оно выявляется) есть мертвый камень и холодный мрамор, — истинная скульптура, будучи далекой от однообразия и мертвого спокойствия изображений египетских божеств, охотно полагает свою цель и ищет своего триумфа в воплощении образа в стремительном движении, а жизни — в отчаянной и жестокой борьбе, в запечатлении фигуры героя с наивысшей возможной правдивостью и достоверностью в самой гуще его жизни, словно бы на бегу, с тем чтобы в своих произведениях сохранить ее мгновения для вечности. Однако в доказательство того, что отнюдь не подражание действительности, пусть даже самое сложное и удивительное, представляет собой цель, предмет и вообще принцип данного, равно как и всякого иного искусства, — цвет, со всем его волшебным очарованием, исключен из пластического искусства и его телесного представления как вводящий в заблуждение и чересчур близко стоящий к действительности, ибо в противном случае художественный идеал или божественный образ, почти так же, как в случае с механически воспроизведенным и спародированным с натуры движением конечностей, неизбежно превратился бы в нечто вроде детской куклы. Таким образом, действительность и действительный образ и их создающая иллюзия и вводящая в заблуждение имитация не являются истинной и ближайшей целью изобразительного искусства. Однако равным образом и красота формы отнюдь не всегда, по меньшей мере не единственно и не исключительно, является его единственной целью. Она является таковой лишь опосредованно и с оглядкой на прочие данные обстоятельства и отношения выражения, характера и внешнего определения и всего значения. Однако всегда и везде именно мысль, идея предмета или образа, как его внутренний смысл и внутреннее значение, — есть самая существенная часть произведения искусства и та цель, ради которой оно существует. Или, иными словами, всякое искусство символично. Причем сказанное относится не только к изобразительному искусству, но и ко всякому иному высшему искусству — будь средством его представления пласти-

ческий образ, или звук, как в музыке, или также слово, как в поэзии; и именно в этом заключается отличие высшего искусства от другого, которое по видимости ему родственно, но которое, однако, имеет внешнюю и практическую цель и чья сущность, следовательно, не может быть только символической. К такому роду принадлежит отличие, например, риторики (которая, конечно, также есть искусство, и всецело как таковое воспринималась, по меньшей мере, греками) от поэзии; и весьма существенно будет удержать это отличие, поскольку вместе с ним утратился бы весь своеобразный характер и истинная ценность высокого искусства прекрасного. По существу, однако, это касается также и другого искусства, направленного на внешнюю и практическую цель: оратор, который имел бы лишь поэтически красивую и благозвучную образную речь, однако не владея при том умением строго доказательства и силой с их помощью неуклонно вести за собой души людей к поставленной им цели, никогда не достиг бы серьезного воздействия; и против именитого поэта невозможно выдвинуть более тяжелый упрек, нежели сказав о нем, что он не обладает ничем, кроме риторики страсти, и ему неведома истинная поэзия, каковое последнее добавление в этом случае просто разумеется само собой.

Если, теперь, среди чувственных искусств прекрасного и идеально значимого, т. е. символического представления, музыка есть искусство души, а скульптура — искусство телесного строения и органического раскрытия чистой идеи красоты; то среди этих трех сестринских искусств живопись, подобно свету, наряду с зависящей от него игрой красок в самой природе, образует духовный элемент, подобно тому как око есть наиболее духовный среди органов чувств; следовательно, она и есть самое духовное и наиболее приближающееся в своих таинственных изображениях к символическому духу искусство. Она направлена всецело на духовное око, и только на него одно, в то время как пластика через око стремится предложить нечто совершенное в равной мере и телесному чувству. В живописи, однако, не только абстрактная красота, если можно так сказать, и верное и прекрасное строение и форма предмета представления, но и все доступное оку, видимое мироявление в своем чудесном чередовании света и тени, во всем магическом сиянии красок (причем не только в целом, но также и в отдельных частностях), говоря кратко — все (и не одним лишь образом и в одном смысле, но в самых разных видах) предстает значительным, влекущим для

чувств и новым, дивно манящим для взора, для духа же — духовно значимым и символичным. Именно потому это волшебное искусство живописи более всего подходит для изображения и указания на высшие тайны божественной любви в религии и откровении. Неудивительно поэтому, что в новейшую христианскую эпоху музыка и живопись, искусство или символика души и духа преобладают и достигли высочайшего развития и совершенства; в то время как органически совершенное развитие образа и чувственной телесной красоты в скульптуре классической древности достигло такой высоты совершенства, которой, наверно, уже никогда более не удастся достигнуть в искусстве и которую, по меньшей мере, невозможно будет превзойти. Однако представляется вполне достаточным предполагать для высшего представления прекрасного и божественно значимого всего три символических искусства: ибо архитектура, несмотря на то, что она привязана к различным условиям внешней цели, тем не менее, в своей существенной части относится к скульптуре и стоит с ней в одном ряду; ибо красота строения, возвышенная пропорция и восхитительная симметрия, представляющие собой основной закон пластического представления — являются идеалом также и в строительном искусстве. Там, где это искусство достигло богатейшего и высшего развития, у греков и римлян — там даже сами его формы, отношения и правила максимально приближаются к органическому образованию и, пусть не внешне и не явно, однако же по своему внутреннему устройству в известном смысле подобны, близки или, по меньшей мере, родственны ему. И выказывающее более математические формы египетское строительное искусство, точно так же как и уже вполне растительная, вьющаяся форма побегов и цветов устремленного к небу строительного искусства готики, образуют собой словно бы крайние, конечные точки этого органического характера, благодаря коему оно, по сути, составляет одно и то же искусство с соответствующей скульптурой, которую оно собою объемлет и в себе заключает; равно как естественным видится также и то, что искусство, предоставляющее необходимое окружение и естественную почву для другого, собственно изобразительного искусства и для его божественных образов, само в свою очередь имеет или усваивает себе родственный ему характер. Легко, впрочем, заметить, что в египетском и готическом строительном искусстве в большей степени проступает символический элемент, в античном же более властвует чистая форма, хотя также и здесь даже в самих пропорциях можно об-

наружить символизм, который, однако, имеет более скрытый, замаскированный характер. Даже поэзия не представляет собой четвертое искусство наряду с этими тремя — такое, которое стояло бы с ними в одном ряду и лишь с приходом которого их число становилось бы полным; но оно есть общее символическое искусство, которое, существуя в другой среде, объемлет и соединяет в себе все эти три изобразительных искусства прекрасного; и в то время как она с помощью ритма и прочих техник стиха выступает в качестве музыки в словах, ее образный язык содержит в себе вечно текущий поток подвижных картин в живой игре красок при изменяющемся освещении; в строении целого, однако, которое не имеет права быть ни чисто историческим, ни только логически-упорядоченным или риторическим целым, она стремится достичь прекрасного органического развития и членения, архитектурно великого и в то же время правильного порядка. Творческую начальную точку поэзии всегда представляет собой тот или иной великий и своеобразный световой луч символического сказания, который одновременно объемлет в себе почтенное прошлое и, по меньшей мере кажущимся образом, указывает в исполненное ожиданий будущее; ибо едва ли можно отыскать великое эпическое произведение древней поры, которое одновременно не содержало бы в себе этого поэтически-пророческого, или затрагивающего таинственные глубины одного и другого миров, элемента. Средний регион образует далее поэзия чувства и та душевная музыка или тот поэтический язык песнопения, в которых глубокая тоска временного момента и снедающая страсть мгновения, будучи погружены в эту бессмертную стихию и преображены ею, предстают как вечные. Наивысшую же вершину органического развития в поэзии отмечает собой драматическое искусство в качестве третьей ступени поэтической формы, имеющей своим предметом всю борьбу жизни, которое стремится самым живым и наглядным образом, словно бы в телесной реальности, представить ее перед нашим внутренним взором. Есть зримая аналогия между отдельными составными частями и различными главными родами или видами поэзии — и этими тремя материальными искусствами прекрасного; и как эти последние всецело являются символическими в предмете, выражении и цели своего представления, точно так же и объемлющее все эти три сферы одновременно искусство поэзии является таковым в той же, если не в еще большей, мере. Это и была та цель, к которой я стремился, поскольку символическое значение здесь есть тот предмет, который займет те-

перь собой все наше внимание. Ибо коль скоро это высшее знание, которое сущностно есть Одно с божественной верой, должно найти действительное применение в жизни; коль скоро оно должно действительно стать единым с ней и действительно всецело претвориться в жизнь (каковую убежденность я пытался обосновать в своей последней лекции), — то это может свершиться лишь на **пути** (Ф. В.) символическом. Символическое значение жизни должно быть либо самой основой, либо, по меньшей мере, необходимым вспомогательным средством и непрременной переходной ступенью такого объединения и его завершения. В изобразительных искусствах прекрасного это символическое значение и качество проступает наиболее явственно, здесь оно получает наиболее общее признание и легче всего понимается; и потому я избрал этот переход здесь, на поворотном пункте между прошлыми и последующими лекциями. Конечно, эстетическая сторона человека и жизни сама по себе достаточно интересна, привлекательна, важна и богата по своим следствиям и оказываемому влиянию, чтобы оправдать такой эпизод и обеспечить самому предмету место в философском рассмотрении; чтобы показать, что также и в этой области можно было бы применить избранный и повсюду проведенный здесь основной закон психологического познания и тройственный принцип разделения человеческого сознания на дух, душу и чувство (что могло бы служить еще одним, новым подтверждением всего воззрения и образа мысли). Однако, дальнейшая разработка этих первых набросков и основных линий в отношении искусства лежит в данный момент вне области моего рассмотрения, ибо целью данной философии прежде всего является сама жизнь: как внутренняя жизнь всякого отдельного человека, так и жизнь общественная, а здесь, таким образом — ее символическое отношение или значение, которое весьма тесно и неразрывно связано с размышлением о божественной основе жизни и об указанном ей божественном направлении.

Легко можно было бы показать, что наряду с искусством, равным образом и воспитание (как домашнее, так и общественное) всего молодого поколения имеет и должно иметь существенным образом символический характер, коль скоро мы не хотим позволить ему вырождаться до степени примитивного механизма. И именно в этом по большей части могло бы заключаться различие между бездуховным воспитанием (которое, даже если бы оно было безупречным с точки зрения нравственной строгости, все же в конечном итоге возымело бы лишь мерт-

вящее действие и не принесло должных плодов) и другим, более доброкачественным и более сообразным с человеческой природой, а потому, пусть поначалу не производящим впечатления, однако оказывающим тем более значимое и продолжительное действие. Насколько восприимчивы чувства молодежи ко всему тому символическому, что входит в сферу ее внимания, насколько живо она вбирает в себя все символическое — чтобы наглядно показать это, достаточно было бы привести на память лишь некоторые самые обычные игры детского, подросткового и юношеского возраста, в которых различным образом, пусть во многом по-детски, однако все же осмысленно, имитируются, а точнее даже — предвосхищаются занятия, положения и состояния действительной, для них все еще будущей жизни, как много движения придают эти игры детскому сообществу, какие множественные и долговременные следы они оставляют в их душах, подчас, возможно, превосходя по своему значению даже школьные занятия, когда эти последние своими обычными перегрузками мешают достижению их истинной цели. Конечно, игра не должна переходить в пустое баловство, ибо лишь в чередовании с работой и строгостью предписания игра может оставаться одухом и радостью. Впрочем, однако, также и суровость, труд и строгая сторона в этом смешанном из двух различных элементов — трудного и легкого — деле и процессе воспитания отнюдь не чужды духовного аспекта и живого значения. И если воспитание в целом есть не что иное, как приготовление к будущей жизни и процесс такого приготовления, то вполне очевидно, что невозможно переоценить значение таких живых отношений и духовных намеков на будущую жизнь, которые с малолетства вкладываются в воспитание, будь то в ходе серьезных занятий, забав или элементов того и другого. Ибо лишь на этом пути чувства и фантазия юношества живо увлекаются и проникаются лежащими в основе целью и духом целого, что никогда не может быть достигнуто с помощью одной лишь сухой дефиниции, например, будущего состояния, или определения человека вообще — на сухом и бесплодном пути обычной логики. Не стоит, однако, удивляться, если эта символическая природа и предрасположенность человека уже в его самом раннем развитии дает о себе знать с той же силой и ясностью, что и в высших произведениях гениального искусства; мы можем при этом направить свои мысли на все нынешнее состояние человека, или на его первоначальные существенные свойства, в отношении к миру и к Богу. Еще ранее по разным поводам отмечалось, что чело-

век, после того как у него были отняты высокие силы, коими он злоупотребил, тем самым опустился, попав в гораздо большей степени во власть образной фантазии, и что все, по всей вероятности — все его бытие и сознание в этом отношении во многом переменялось в сравнении с тем, чем оно было прежде. Если человек первоначально обладал силой и способностью одной лишь волей, без употребления внешних средств нынешнего языка, внутренне сообщать свои мысли окружающим; то ныне он уже утратил такую силу, и если мы и обнаруживаем сколь-нибудь сходные с нею явления, то все они представляют собой лишь не более чем удивительные исключения, но никак не правило человеческого бытия и сознания в их теперешней форме. Нынешнее сознание существует прежде всего в состоянии символическом, продиктованном потребностью даже для земных целей иметь замену или некий суррогат утраченных непосредственных сил, не говоря уже о свободном выборе и свободном употреблении символов в высшей духовной жизни. Ибо человек первоначально был помещен на землю как ее первородный Сын, поставленный среди этого видимого, теллурического (т. е. земного, родственного или подобного Земле) планетарного мира; а поскольку эта земная природа везде и во всех своих органических порождениях и борющихся элементах жизни является символической (в то время как в какой-либо иной звездной сфере, в невидимом для нас мире духов, возможно, все будет более сущностным и непосредственным, а не скрытым в образе и материи, т. е. именно символическим, или, по меньшей мере, мыслимым образом может быть таковым), то теперь человек, если брать его с этой точки зрения, пребывает во всецело символическом окружении и в изначально образном, чувственном мире. И если мы можем, или, скорее, хотим доверять тому великому обетованию, с коего начинается наше Откровение, то так же и первое и высшее предназначение человека было символическим, а именно — **служить подобием Божиим** (Ф. В.) И если теперь уже природная потребность и природная предрасположенность человека являются символическими; если его нынешнее состояние в творении, все его положение в мире, его высокое божественное предназначение равно являются таковыми: то может ли нас удивлять тот факт, что и сама религия во многих отношениях выступает в символическом одеянии? При этом речь идет даже не об одном лишь одичавшем и скатившемся в поэзию язычестве; но такова даже самая первоначальная, древняя, чистая религия природы, как первая, приносящая себя

в жертву любовь, как второе откровение Бога. В древнем мире или в Ветхом Завете, как принято было говорить, восходящее солнце веры еще опоясано всем звездным убранством символического творения, словно сияющей диадемой величественных картин природы; и даже новое время уже выше и ярче взошедшей зари все еще несет на своем челе светлую утреннюю звезду искусства. Если бы, однако, нам приходилось рассматривать искусство само по себе в том же образе, либо же, изолированно, как его противоположность, то его следовало бы сравнить со светом луны, которая своим матовым сумеречным свечением осеняет область ночи и темный регион творческой фантазии. Также и здесь мрак озаряется лишь отсветом истинного солнца, отблеском другого, высшего светила, освещающего тьму; и в тот момент, когда все удивительные созвездия мира духов, сокрытого от глаз днем, проявляются в этом магическом сумеречном свете, становясь зримыми, — в этот момент, конечно же, к прочим мириадам теней, образованным от земных испарений, могут примешиваться также всевозможные обманные фантомы и циклопические воздушные образования. Однако же, безусловно, также и искусство прекрасного, коль скоро оно является истинным, в своей существенной части везде и всюду имеет своей целью божественное, а потому не только внешним образом, служа украшением религии, но и по самому своему происхождению, среди всех народов и во все времена, оно было близко родственным ей и состояло с ней в теснейшей кровной связи, сколь бы далекими от этого своего первого возникновения и от своей цели, сколь бы суетными, ничтожными и чувственными ни представлялись нашему строгому критическому взору весьма многие из его произведений в эпохи распада. Исторически же это божественное происхождение всегда может быть прослежено и показано — впрочем, и без того являясь столь очевидным, что едва ли может быть подвергнуто сомнению; и никогда высшее искусство не сможет отказаться от своей претензии на божественную силу и величие, или на то, чтобы служить доказательством такой силы. Если бы было мыслимо, чтобы где-либо и в какое-либо время религия могла совершенно перестать; чтобы при этом не только канули в забвение позитивное учение и откровение, но также вообще вымерла и погибла всякая вера в божественное; угас этот свет высшего надмирного устремления и помысла, навсегда смолкло это звучание вечности и вечной любви в человеческой груди — тогда в то же самое мгновение ее покинуло бы, исчезнув без следа, и всякое высокое

искусство. Впрочем, в нашу эпоху положение, скорее, обратное: в то время как во всеобщем политическом неверии, которое является естественным следствием неверия религиозного, вся жизнь, а в особенности также общественная, уже более не распознается и не понимается в соответствии с ее символическим значением и достоинством, в результате чего также государство и все великое в нем утратило бóльшую часть своего прежнего торжественного блеска и своей прежней святости; в то время как даже само религиозное чувство, которое все еще в действительности сохранялось, было в большей или меньшей степени низведено со своей высоты, вовлечено в партийную борьбу и теперь уже едва ли способно отыскать свободное место простой и смиренной веры, которое не несло бы на себе следов увечий и не подверглось бы атакам: для весьма большого числа людей образованного класса искусство и прекрасное представляются последним сохранившимся у них сокровищем и залогом божественного и рассматриваются ими как собственно палладиум высшей и внутренней жизни, чем оно никак не могло бы быть, если брать его изолированно. Нашу эпоху в этом отношении можно сравнить с некогда богатым, однако ныне пришедшим в упадок благородным домом. Имущество давно потеряно в результате несчастных случаев, скверного хозяйствования и расточительности, дом и двор заложены для погашения долгов, и спасены и сохранились от лучших времен лишь древние фамильные украшения и передаваемые по наследству кубки. Без сомнения, также и здесь среди подлинных старинных бриллиантов может случиться поддельный камень, а вместо очищенного золота попасться иной, неблагородный металл; тем не менее, по видимости все это целое еще пребывает в сохранности, как последний остаток былого блеска некогда прочного и незыблемого богатства. Таким образом, наша эпоха в своей внутренней, высшей жизни находит свою пищу лишь во внешних украшениях искусства, в то время как великий капитал древней веры — коему, наряду с множеством благих плодов, обязаны своим существованием также и сами эти украшения — в подавляющем большинстве случаев давно уже не имеет спроса.

Однако тот символический покров, в котором повсюду выступает религия, образует собой лишь одну половину ее внешней формы. Другая сторона этой формы выражает себя и состоит в живой внутренней взаимосвязи всех участников, объединенных в вере: то есть, в том, что религия отнюдь не может мыслиться и существовать лишь изолированно и оторван-

но, лишь для одного индивидуума; или, одним словом, в том, что нет и не может быть никакой истинной религии без общины. По меньшей мере двое или трое должны быть объединены одной общей верой в Бога, ибо лишь тогда Его сила может быть явлена среди них. Это всецело живая взаимосвязь, подобная живому душевному общению, духовному притяжению и поруче среди отдельных членов. Как электрический удар в один миг пробегает всю цепь связанных между собой звеньев, и на другом конце возникает искра, исшедшая из первой точки; как благодаря действию одного магнита все металлические иголки, какое бы количество их мы ни взяли, одинаковым образом превращаются в магниты, становясь в новое, более высокое отношение ко всему телу Земли: так происходит и здесь, благодаря живому сообщению, идущему от одной первоначальной точки. Как в составленном из чередования двух разнородных тел или звеньев металлическом столбе на одной его стороне производится и порождается Один основной химический материал теллурической силы, радости жизни или атмосферы этой планеты, а на противоположном его конце — другой: точно так же и здесь, в этом духовном единстве веры и в живом взаимодействии между различными звеньями этой душевной цепочки, которые сами являются носителями и активными проводящими инструментами, и другими, которые в более пассивном отношении лишь вбирают в себя и притягивают к себе незримую жизнь: на одной стороне сила благодати и святости развивается, укрепляется и обнаруживается в самом действии, тогда как другие воспринимают благодать как действенную силу и дар спасения. Но одно следует отметить здесь совершенно особо. А именно: если нельзя отрицать, что даже Откровение и сама истинная религия облачается в те самые символические одежды, которые столь к лицу человеческому состоянию и человеческой природе и столь подобают им, — то, хотя и едва ли возможно в отношении всего того символического, что не является существенным, но служит лишь внешним облачением и средством разумного сообщения, установить общий масштаб и ясную путеводную нить для всех (ибо это должно происходить в согласии с потребностями индивидуумов, а следовательно, и с этой точки зрения символический элемент является и должен являться индивидуальным); однако, если символ исходит от самого Бога, то он не может быть иначе как только существенным, не может быть всего лишь знаком, но должен быть одновременно чем-то действительным; иначе получилось бы так, как если бы вечному Логосу, который

есть основание всякого бытия и всякого познания, захотели бы приписывать слова безо всякого содержания и силы. Весьма естественным, т. е. вполне соответствующим природе вещей (хотя, взятый сам по себе, он конечно, сверхъестествен и даже непостижим и превосходит всякое понятие) будет поэтому тот факт, что всякий высший символ, который составляет собственный принцип единства и живой центр всего христианства, носит именно такой характер, т. е. что он есть в одно и то же время символ и, тем не менее, нечто поистине действительное или сама вещь. Поскольку на алтаре этой религии божественной любви, с тех пор как ее высшая жертва давно уже принесена, не возжигается никакого иного огня кроме огня молитвы и направленной на Бога и соединенной с Богом воли, — то и акт, благодаря коему собственно поддерживается душевная связь, составляющая сущность всякой религии, заключается лишь в том, что здесь существенная субстанция божественной силы и божественной любви к людям сообщается и воспринимается живым образом, в качестве чудесной печати соединения с Ним. Насколько простым или насколько богато украшенным должен быть этот алтарь — на этот счет, как уже упоминалось ранее, весьма трудно установить всеобщий масштаб. Если бы, однако, некто захотел помыслить христианство в строгом смысле совсем без алтаря, или попытаться требовать такого христианства или учредить его (что, правда, среди столь большого множества различных человеческих взглядов и религиозных мнений едва ли могло на краткое мгновение прийти в голову небольшому числу людей, не возмев существенного и длительного действия на целое), то такое лишенное всякого символа и тайны христианство могло бы быть философским воззрением или мнением, и самое большее — школой искусства, но никак не религией; и даже изучение Библии, которое они захотели бы сохранить в этом отчаянном положении, представляло бы собой не более, чем некий род ученого досуга, как и всякое иное изучение достопримечательных древностей. Если бы, напротив, некой общине и религии пришлось существовать совершенно без алтаря, пусть и не основываясь таким образом на одном лишь философском мнении или одних лишь ученых изысканиях, но на одной лишь молитве и духовной речи или проповеди, — то такое могло бы быть мыслимо лишь при условии непрекращающегося и повсюду распространяющегося непосредственного вдохновения; что представляло бы собой легкий и удобный переходный пункт к ужасающему фанатизму, о чем те, кто более близко знаком

с внутренней историей магометанских народов и сект в древние и новые времена, легко могут составить себе весьма наглядное, устрашающее и отталкивающее представление. Безусловно, во всем этом религиозном отношении и в таком взыскомом или, по меньшей мере, пламенно желаемом как существенное и необходимое, соединении души и внутреннего человека с Богом, к коему высшая философия древних стремилась ничуть не менее, нежели наше Откровение и религия, — должно заключаться нечто в высшей степени прекрасное и едва постижимое, нечто даже почти невозможное: как в сложных и запутанных алгебраических уравнениях, для которых не существует решения (или, по меньшей мере, не существует по видимости, до тех пор, покуда оно не будет найдено). Это ограниченное, изменчивое, во всех направлениях несовершенное и даже не в достаточной, по меньшей мере не вполне определенное **а** нашей собственной самости, с коего мы привыкли вновь и вновь с самого начала перечислять весь алфавит нашего мышления и нашей жизни, должно быть поставлено в уравнение и связано с совершенно непостижимым **х** безмерного Божества. Как такое возможно, и каким образом это может стать действительным? Собственно, даже и **Я** человека еще не является таким **а** и не может быть так обозначено в этом удивительном алгебраическом уравнении нашей внутренней жизни и высшего устремления; ибо человек нигде не находит себя как Первое, но всегда лишь как некое производное и второе, откуда бы он ни отправлялся и где бы ни искал начала. И алфавит нашего бытия не только идет дальше, приводя наконец к совершенно непостижимому **х**, но он изначально несовершенен и неполон, ибо в нем отсутствует то самое первое **а**, которое должно было бы образовывать собой начало. Однако даже и **в**, если мы пожелаем остановиться на нем, нигде не является чистым, нигде не обретается таким, каково оно само по себе, или каким оно было изначально: оно везде и всюду переплетено и смешано с неким другим, также неизвестным: так что, следовательно, в этом уравнении нашей жизни мы имеем дело с двумя неизвестными величинами — с этим непостижимым **х**, и с этим повсюду нам встречающимся и противостоящим нам **у**, как мы его обозначим. Всякий охотно признает это врожденное нам препятствие как факт, если только не объясняет его как результат действия принципа зла, или не хочет принять объяснение, данное ему на этот счет наукой или Откровением. Как нам теперь свести это наше **в** к его первому, изначальному **а**, как освободить его от злого **у**, и как оно должно быть связано с выс-

шим х? Ответ и решение кажущегося невозможным уравнения могут быть найдены лишь на том пути и согласно тому принципу, в соответствии с коим было также замечено, что сущность религии заключается единственно в исходящей из первой, начальной точки и действующей на протяжении всей духовной цепочки живой передачи высшей силы. Однако с тем, чтобы наглядно проиллюстрировать эту мысль и проистекающее из нее понятие счастливого разрешения проблемы человеческой жизни, я позволю себе в качестве подходящего примера привести еще одно краткое разъяснение по поводу египетских иероглифов. Поскольку символическая природа и свойство человеческого духа и всего человеческого бытия была тем главным предметом, которым с самого начала было занято это последнее чтение, то также и в качестве завершения и последнего камня для всей этой главы может послужить, если ко всему предшествующему мы добавим еще и следующее, в нескольких словах показав, каким образом и в каком смысле также и древнейшее письмо, и человеческий способ обозначения имели символический характер. По меньшей мере о западноазиатском и о произведенных от него западных алфавитах — еврейском, финикийском и греческом — можно теперь уже с уверенностью утверждать, что все они выведены из иероглифов и имеют всецело иероглифическое происхождение. С несколько меньшей уверенностью это можно было бы утверждать об индийском, столь решительно отличающемся от них, алфавите; точно так же как я исключительно по этой причине не решусь ничего утверждать заранее о большем или меньшем возрасте этого своеобразного индийского письма в сравнении с египетским. Иероглифический же способ обозначения (согласно сделанному на данный момент, пусть и не вполне законченному и все объясняющему, однако в своей основе вполне достоверному открытию, которое, достопримечательным образом, было сделано в наши дни) зиждется на весьма простом принципе, который, несмотря на то, что имеет всецело символическое происхождение, тем не менее, в полной мере содержит в себе также и начатки алфавитного обозначения и письма. Этот принцип состоит в том, что образ, который обозначает или выражает собой слово подобного рода, в то же время обозначает и букву, с которой это слово начинается. Поскольку иероглифическое письмо, наряду с египетским, с равным успехом применимо и к любому языку, то в качестве примера для объяснения здесь нам может послужить и немецкое слово, точно так же как и всякое иное слово любого

наугад выбранного языка. Однако, я должен еще заметить, что в этом способе обозначения за основу берутся лишь главные буквы и существенные элементы корневого звука, безударные же и конечные гласные, а также другие буквы обычно опускаются и не обозначаются на письме: при чтении их приходится угадывать. Слово «жизнь»³¹, например, было бы обозначено его тремя главными буквами: пламенный свет³², поскольку это слово начинается с буквы L, обозначал бы собой эту букву L, дерево³³ — букву B, а буква N могла бы быть обозначена, например, образом влаги³⁴ — низвергающимся потоком водопада или волнообразной линией как знаком подвижной поверхности. Свет, дерево и волнистая поверхность, следовательно, посредством букв L, B и N обозначали бы слово «жизнь»; причем мы можем убедиться, что этот способ обозначения и письма, хотя в основе своей уже является алфавитным, тем не менее, в то же самое время имеет и символическую окраску, что я попытался показать на избранном примере; ибо как свет или излучающее его пламя, так и стремящаяся к росту природа дерева, или текущий поток и биение волн вполне могут выражать и обозначать собой внутренний характер жизни, или ее отдельные признаки, составные части и элементы. И в этой дополнительной символической окраске, в этом дополнительном значении вообще-то многозначного и неудобного алфавитного обозначения как раз и заключается своеобразная трудность и интеллектуальная притягательность такого способа письма. Таков теперь уже известный иероглифический способ обозначения; другой же, насколько позволяет судить его расшифровка на данный момент, представляется намного более сложным и загадочным: можно сказать, что здесь нужно сперва знать, что означает надпись, чтобы иметь возможность в какой-то степени разгадать и понять ее. Согласно этому способу обозначения, уже один только образ слова, начинающегося с той или иной буквы, будет обозначать собой также и другое слово, также начинающееся с этой буквы: в соответствии с выше приведенным примером, уже сам образ пламенного света будет обозначать само это понятие, а также слово «жизнь». Это, если можно так сказать, игра самых

³¹ Leben. — *Прим. перев.*

³² Licht. — *Прим. перев.*

³³ Baum. — *Прим. перев.*

³⁴ Naß. — *Прим. перев.*

дерзких алгебраических уравнений с такими едва намеченными загадочными образами, которые должны быть дополнены и завершены знанием посвященного, ибо кто-либо другой едва ли сможет с уверенностью их расшифровать. И это вновь возвращает меня назад к нашему вышеприведенному и еще не решенному алгебраическому уравнению о загадке человеческого бытия, которое может найти свое решение в этом подобии с иероглифами, для чего, собственно, я здесь к нему и обратился. Иероглифическое письмо, согласно данному объяснению, есть символическое обозначение посредством начальных букв, благодаря чему, без сомнения, все, даже по видимости самое обычное, принимает характер таинственности, переходя в эту чудесную сферу образной значимости. Решение же этой общей проблемы заключается в том, что x , то самое непостижимое x безмерного Божества, ставшее или бывшее в качестве вечного Логоса одновременно a , живым и действительным в человечестве, и все еще действительно и поистине продолжающее быть таковым — т. е. новым началом и самим Богом данной начальной буквой всего человеческого бытия, которая, впрочем, и без того изначально лежала в основе v , каковой от века именно ее и недоставало, и к которой теперь это v и всякая другая последующая буква может примкнуть и пристроиться, связаться с ней и с ней уравняться; и в таком уравнении с ней (поскольку теперь $x = a$) стать способной быть этим прежде недостижимым x , и в то же время раз и навсегда избавиться от вечно препятствующего и создающего помехи y , поскольку это y по сравнению с x есть всего лишь негативная величина, а следовательно, заканчивается ничем. Как бы, однако, мы ни пытались с помощью тех или иных научных или образных уподоблений схватить и выразить несказанное, — тот факт, что божественное x стало человеческим a , что вечный Логос поистине и действительно стал по-человечески живым и все еще таковым пребывает; и вера в этот факт всегда будет начальной точкой нового и высшего бытия, и тем обручем, который удерживает человечество в единстве — тем первым звеном в живой духовной цепи, к которому все возвращается и из которого все исходит.

Таким образом я возвел бы теперь символическое значение человеческой жизни — начиная от уподобительного изображения и искусства прекрасного, и продвигаясь в дальнейшем развитии через различные сферы того же понятия — к высшему иероглифу всякого бытия. И, поскольку ранее, в трех предшествующих чтениях, я развивал понятие вечного Сло-

ва как основоположного закона истины по большей части лишь с научной стороны, то теперь, в трех последующих и последних, мне осталось лишь представить его равным образом и как всеразрешающее и всенаправляющее Слово для всей проблемы человеческого бытия, в жизненной борьбе и в важнейших жизненных обстоятельствах и перипетиях. Ибо все сказанное верно не только в отношении высшего устремления и внутренней жизни отдельного человека, но именно потому, что оно охватывает все целое и все в целом, оно также везде и всюду применимо; таким образом, сказанное верно и в отношении внешней и общественной жизни, в отношении общества и государства; а тот высший иероглиф, который есть начало нового бытия, образует собой также божественную основу государства и его священный характер.

И именно поскольку такое применение христианской истины и ее христианского основоположного понятия к государству обычно не встречает понимания, я посчитал своей обязанностью завести речь из несколько большего далека, коснуться более высоких связей и зачерпнуть по возможности глубже, дабы с тем большей уверенностью и твердостью прийти затем к результату, имея полное право его высказать: христианское государство есть государство символическое и тем самым также исторически освященное; тогда как простое природное государство (или же безблагодатное и ложное, пусть даже и искусно организованное, разумное государство) может быть либо всего лишь динамическим, либо абсолютным. Три силы существуют в человеческой жизни и в человеческом обществе, которые имеют символическое значение, носят характер святости и зиждутся на божественном основании: отцовская власть, власть духовная или жреческая, и королевская или высшая государственная власть. Конечно, любящая забота и попечение земного родителя представляет собой лишь слабую аналогию всезнающей благодати и защиты небесного Отца и является не более чем ее подобием. Так же отцовскую власть и право, основанное на этом любовном начале детской жизни, невозможно помыслить в четко очерченных формах или заключить в строго проведенные границы. И если по отношению к этому внутреннему семейному праву и этой отцовской любовной и душевной власти со стороны гражданской и законодательной все же проводятся более определенные границы и оговариваются те или иные пункты, то это происходит лишь в качестве необходимой защиты против возможных противоестественных злоупотреблений целиком

и полностью естественным правом и основанным на природном фундаменте отношении. Если, однако, согласно древнеримским принципам, отцовское право включало в себя даже право распоряжаться жизнью и смертью, то здесь мы ощущаем, что это представляло собой чрезмерное расширение, что здесь границы различных сил не были должным образом разделены, и что отец, который бы захотел воспользоваться этим данным ему правом, тем самым пошел бы против природы. По отношению же к более чем обычной и только договорной, т. е. к священной во всех отношениях обязанности, у всех диких или варварских, утонченных и цивилизованных народов почитание родителей, продиктованное верным природным чувством, занимает одинаково важное место; и божественный закон нравов в древнем Откровении согласуется здесь с установлениями иных народов в полную силу священного выражения. Согласно христианскому праву, в том, что касается духовной сферы, пункт свободы вероисповедания и свободы отличия в вере образует собой естественную границу родительской власти. Но в какой бы степени в отдельных случаях отцовскую власть и достоинство ни ограничивали собой и ни модифицировали те или иные особые обстоятельства: старческая слабость, душевная болезнь, изъязны характера, или гражданские провинности — всегда, даже и в самом неблагоприятном случае в высшей степени почтительное отношение в большом и малом, нежность и бережность остаются во всеулышание заявленным требованием человеческого нравственного чувства на всем обитаемом пространстве земли. Именно коренящаяся в самой природе душевная связь родительской любви и сыновнего или дочернего долга образуют ту почву, на которой произрастает святость этого понятия, формируются все семейные отношения и тот или иной род отцовской и родительской власти. Священнослужитель и жрец — там, где религия признает его как такового, т. е. предназначенного не только для исповедания, но и для живого сообщения носителя и распространителя божественной благодати — является в силу этого, в этой функции и в ее священном акте, местоблюстителем Бога, т. е. никак не вечного Творца и Законодателя природы, но Того, Кто пришел для освобождения и во искупление людей. Таким образом, и священническая или жреческая власть имеет под собой божественное основание и зиждется на нем; поскольку же душевная связь, соединение с Богом может иметь место и достигаться лишь в вере и в духе

веры, то эта сама по себе священная власть самой своей природой ограничена одной лишь духовной областью. При этом судебная функция, даже в тех пределах, где она пользуется догматическим признанием, остается в подчинении по меньшей мере другому, освобождающему и дарующему благодать или благословляющему характеру; ибо судебная власть, которая всецело зависит от свободного выбора, где все имеет сугубо внутренний характер, и даже сам дальнейший успех [процесса] зависит от собственной воли, строго говоря, не является таковой; она является таковой столь же мало, как получивший помазание высший глава государства уже одним этим обретает собственно духовный характер в своем правлении. Все эти три священных власти, впрочем, выказывают между собой некий род аналогии и внутреннего сродства, которое, однако, ничуть не противоречит существенно необходимому и четко соблюдаемому различению границ между ними. Даже внутренность дома, семейные отношения и семейная жизнь в ее ограниченном пространстве в большинстве законодательств рассматривается как святыня, которая должна храниться в неприкосновенности, и в которую внешняя государственная власть не должна вторгаться без особенной к тому нужды. Если, с другой стороны, отцовское отношение в языке жизни зачастую переносится также и на две остальные власти, — то в случае с властью духовной это всего лишь выражение благоговения и почтительности; в случае же с высшей государственной властью такое наименование служит более для характеристики милосердия и доброты того или иного правления, нежели в качестве общеупотребительного обозначения для собственно специфического признака высшей государственной власти и ее своеобразной природы и в целях объяснения этой природы. Напротив, последняя отнюдь не всегда может быть сугубо отеческой, и, более того, она, возможно, и не должна быть таковой везде и всюду. Строгая беспристрастность, например, есть первое требование, предъявляемое по отношению к судье; и было ли бы возможно, было ли бы, собственно, справедливо всегда требовать того же от отца? Однако судебный характер в государственной власти есть преобладающий элемент, а верховная судебная функция есть ее существенная сторона, с которой теснейшим образом внутренне связаны также и другие признаки и исключительные привилегии суверенной власти. И именно поэтому также эта верховная и суверенная, одному лишь Богу подотчетная государственная власть, в то время как отеческая власть зиждется и основывается в первую очередь

лишь на душевной связи взаимной родительской и детской любви, а власть священническая ограничивается одною лишь духовною сферой — эта государственная власть, напротив, целиком и полностью объемлет собой и эту третью и самую сильную из всех трех почитаемых как священные властей и, если можно так сказать, охватывает собой всю телесную действительность совокупной общественной жизни. И в рамках этой сферы исторической действительности, приняв все эти понятия в том виде как они представляются нам среди бурного потока жизненной борьбы, я буду стремиться дать им дальнейшее развитие, что и послужит мне темой моей следующей лекции. Дабы завершить начатое, я добавлю еще следующее. Святы эти три основанные на природе, на божественном Откровении и на историческом праве, власти: добрый, т. е. разумный и любящий отец, благочестивый священник и справедливый царь — три действующих в различном смысле и масштабе, в разной области права и с разными полномочиями, однако активно влияющих на ход нашей жизни местоблюстителя Бога на земле. Последний же по существу является не просто местоблюстителем, но одновременно полномочным исполнителем божественной справедливости. Эта божественная основа властей, носящих неприкосновенный характер святости, далее образует собой практическую сторону того символического значения жизни, которое, вместе с наивысшей вершиной этого значения, было целью и темой нашей нынешней беседы.





ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

**О духе истины и жизни,
в его применении к общественным отношениям;
или о христианском государственном устройении и
христианском понятии права**

Азиатские титулы неопределенного обожествления земного властителя мира — такие, как Царь Царей, Объемлющий Землю, Отблеск Божественного Сияния и тому подобные — собственно, с незапамятных времен и с необходимостью были чужды христианским понятиям культурного Запада. В основе христианского понятия или того принципа, что всякая власть исходит от Бога, лежит в высшей степени определенная идея и весьма глубоко продуманное начало, заключающееся в том, что глава государства обязан отправлять божественную справедливость, и что именно эта его должность и составляет его достоинство; но что он, однако, в этом своем отправлении высшей функции не подотчетен никому, кроме Бога. Если бы, однако, нашлось или стало известным из истории такое государство, где по существующему уложению носитель высшей и исполнительной власти в свою очередь был бы подотчетен кому-либо иному, то в таком случае именно этот последний кто-то и был бы истинным сувереном, а отнюдь не первый, который сам должен давать отчет. Таким образом, я должен признать, что в соответствии с нашим более четко обозначенным понятием о суверенной власти, ее своеобразном характере, существенных признаках и приметах, я нахожу ее, например, в государственном устройении Спарты, гораздо скорее у эфоров, нежели у носителей высшей исполнительной власти,

несмотря на то, что те назывались царями и даже передавали свою власть по наследству; к тому же их было двое, что, в свою очередь, еще раз идет вразрез с понятием суверенного властителя, который может быть лишь один. Однако еще более вразрез с этим понятием идет наступающая в известных случаях подотчетность цензорской службе другой ветви спартанской власти. Также и в других древних республиках, государственный уклад коих естественным образом всецело покоится на искусственном разделении властей и на их взаимном антагонизме, и где, следовательно, наше понятие о высшей и суверенной государственной власти едва ли применимо, я все же нахожу его гораздо скорее в особом характере неприкосновенной святости и достоинства некоторых верховных судебных и начальственных должностей — таких как в афинском ареопаге, или в цензорской должности в римском государстве периода республики, — нежели в сменяемом правлении исполнительной власти, на которую в известных случаях распространяла свою юрисдикцию, подчас даже одерживая верх, судебная власть. Собственное и фактическое, или личное разделение властей всегда является республиканским принципом устройства; если, однако, мы захотим (по меньшей мере в понятии или в идее) разделить функции и составные части полной суверенной власти; то станет ясно, что судебная — заметим это хорошо — преимущественно высшая судебная власть содержит в себе характерные признаки и специфические приметы суверенной власти, из которых все остальные ее свойства лишь выводятся, либо же происходят из них как необходимые и естественные следствия. Прекрасная привилегия помилования, например, уже сама по себе есть всего лишь естественный предикат высшей судебной власти. Что касается законодательства и законодательной власти, то согласно существующему укладу того или иного определенного государства, для принятия закона может иметь место значительное содействие со стороны, предшествующее обсуждение, и даже первый проект или предложение закона. Или же закон может быть впервые предложен в результате свободного выбора или воли самого монарха, ибо ведь последний не может сделать и разработать все в одиночку; на этот счет в общем и целом едва ли можно провести четкую границу, отклонение от которой могло бы считаться непозволительным, коль скоро и куда речь идет лишь об участии в создании или активном обсуждении тех или иных предложенных законов. Однако последняя санкция, в результате которой за-

кон становится собственно законом, или в результате которой он вновь может быть упразднен и отозван, должна оставаться прерогативой суверена: в противном случае он перестанет быть таковым. Даже право объявления войны и заключения мира, если можно так сказать, в общем и целом представляет собой судебную функцию, в ее внешнем применении: оно есть — если мы не хотим рассматривать его как акт произвола, каковым он, конечно, не должен быть — приговор существующим правовым отношениям с другим государством, где затем, безусловно (поскольку стороны здесь по своему праву являются равными, ибо не признают над собой никакого более высокого суда) возникает абсолютное состояние насилия, или динамическая борьба, до тех пор, пока обстоятельства не переменятся настолько, что правовые отношения с обоюдного согласия вновь смогут быть восстановлены. Воинственные стороны в процессе этого вооруженного столкновения сами являлись судьями в своем собственном деле, и теперь они либо, признав собственную неправоту, должны уступить свое право, либо, в крайнем случае — передать функцию третейского суда некоему нейтральному государству. Сами обычные инсигнии царской власти, скипетр и трон, представляют собой лишь возведенные ступенью выше атрибуты судейской власти, и даже в историческом рассмотрении ведут свое происхождение от судейской кафедры и судейского жезла. Одна лишь корона сохраняется за высшим титулом и достоинством в качестве исключительного атрибута, вполне по праву нося название сверкающего бремени: ибо, с одной стороны, она возносит того, кто избран носить ее, над всякой земной зависимостью и ответственностью, над всеми привычными человеческими обстоятельствами; однако, с другой стороны, она уже одной лишь тяжестью своего блеска напоминает о величайшей ответственности и том строгом отчете, который обязан дать перед Богом как высшим Судией и совершенным воплощением всякой справедливости тот, кому вместе с короной досталась от Бога эта высокая и всеобъемлющая обязанность, или, точнее, на кого она была вместе с этой короной возложена. Нечто совершенно иное представлял собой символический знак вращающегося на все четыре стороны света меча, служивший в качестве инсигнии кайзера в средневековье, в соответствии с понятием кайзерской власти и его практическим воплощением той поры. Ибо, согласно этому понятию, между властью, рангом и достоинством кайзера и короля не просто имело ме-

сто различие, но существовала тотальная разница в понятии и цели двух этих освященных должностей: между избираемым кайзером и наследным королем или герцогом и князем, несмотря на то, что первый, как правило, мог быть избран и избирался лишь из вторых — именно он своим мечом обеспечивал защиту всей системы западных государств, всей совокупности или союза множества королевств, на что и указывали эти его воинственные инсигнии. К этой же старой идее христианского кайзерства приведет нас исследование и развитие этих политических понятий государства и его божественной основы и еще однажды — в разделе о правовом и государственном принципе, главенствующем во взаимных отношениях целой системы государств. Мы увидим, что этот принцип в большинстве случаев является либо абсолютным, т. е. принципом преимущественной силы и преобладания одного или нескольких отдельных государств, либо также искусственно динамическим, согласно системе т. н. равновесия; в каком случае естественно возникает вопрос, нельзя ли было для совокупности культурных государств и цивилизованных народов изыскать менее несовершенный и более высокий принцип христианской справедливости? Ибо всякое только абсолютное состояние всегда остается целиком и полностью порочным, равно как порочным будет также и искусственно поддерживаемое динамическое отношение, независимо от того, относится ли сказанное к внутреннему устройству и укладу отдельного государства, или также ко взаимному отношению всех географически соприкасающихся государств, взятых в целом.

В соответствии с принятым здесь путем божественного основания и христианской основы государства (которые я пытаюсь выводить из символического значения жизни и символического предназначения человека в его отношении к самому Богу), следовательно, высший государственный правитель и царь, или вообще монарх — точно так же как священнослужитель или жрец — является местоблюстителем высшей божественной власти, которую он представляет на земле, с тем лишь отличием, что один провозглашает и представляет более поучающего, хотя в своем учении также и предостерегающего и повелевающего, а затем обещающего милость в будущем, и в действительности наделяющего живой благодатью, Бога; другой же — грозно повелевающего и вершащего суд, властвующего в правосудии и карающего за неправду. Таким образом, как одна, так и другая власть, согласно христианскому понятию о двух ветвях власти —

светской и духовной — имеют представительский характер, который, однако, весьма отличается от обычного понимания такого представительства, являя собой, напротив, самый решительный контраст этому обычному пониманию. И действительно, какой еще антагонизм мог быть более явным, нежели между такой представительской властью, достоинством и попечением о божественной благодати для духа и души, или божественной справедливости во всей земной жизни, и тем, что в другой системе получило название «народных представителей», не к ночи будь они помянуты, или до сей поры еще где-то носит такое имя. Но даже если бы было безусловно и окончательно признано, что народ может и должен быть представлен точно так же, как и незримая сущность Божества, то все же большие сомнения должны были возникнуть в отношении того, действительно ли такое представительство возможно на избранном пути. Если, согласно подобным представительским принципам, вся зрелая народная масса того или иного государства атомистически превращается в лотерею голосования, — то достигнутые таким путем политические результаты, или избранные люди, хоть и являются теперь на определенный временной период единицами массы для известного участия в законодательной власти, однако, с точки зрения принципов и умонастроений, господствующего духа и характера, избранные таким путем окажутся в большей мере представителями всего лишь настоящего момента времени (и именно господствующего духа времени в его беспокойном движении), нежели представителями самого народа; ибо последний, будучи взят столь атомистично, в одномоментном исчислении, образует лишь элементарную массу, которая именно поэтому также весьма легко, как все элементарное, действуя по отдельности и в состоянии распада, принимает разрушительное направление, и по существу не образует собой органического единства — индивидуума. Органическое целое может быть найдено лишь в органических членах целого и в отдельных сословиях или существенных корпорациях, в которых исторически существуют, развиваются и поддерживают свою жизнь государство и нация; лишь в этом смысле нация образует живое целое и великий индивидуум, и лишь в этом смысле могут существовать истинные народные представители, которые для любой нации будут считаться поистине ее историческими персонажами, если мне будет позволено такое выражение. Это те, в ком наиболее решительным и выдающимся образом выражаются дух и характер, целостное направление, своеобразное чувствование, умо-

настроение и образ мысли нации в определенную эпоху и даже за ее пределами; что, однако, лишь весьма редко совпадает с этими — сопряженными с таким большим количеством случайностей — депутатскими или представительскими выборами, и само по себе не имеет с ними ничего общего. Сципион и Катон могли бы быть представителями римского характера и духа, даже если бы они не занимали никаких должностей и жили в изгнании; также и другие лишь духовно действующие могут считаться такими историческими характерами и представительствующими индивидуумами. Даже Гораций и, конечно, по меньшей мере, Тацит являлись такими людьми для своей эпохи точно так же, как и двое вышеназванных, причем совершенно независимо от своего политически зависимого положения и звания, которым тот или иной обладал в мирное или военное время. Цицерон мог бы быть такой личностью ничуть не в меньшей и даже в еще большей степени, не вмешивайся он столь рьяно в гражданскую партийную борьбу (для которой совсем не был создан), и ограничься по преимуществу духовной деятельностью. Между тем, безусловно, далеко не все знаменитые писатели, или даже блестящие политические ораторы могут уже считаться историческими личностями в этом смысле. Наряду с эпохальным талантом, который, конечно, предполагается в первую очередь, для этого преимущественно требуются известные качества характера, а также умонастроение и принципы, проверенные жизнью, а такое соединение встречается отнюдь не часто. Собственно практический круг действия нужен здесь далеко не в первую очередь, и совсем не является абсолютной необходимостью; однако, влияние тех писателей, которые в нашем понимании заслуживают этого наименования, должно быть не только литературным или художественным: оно должно быть одновременно истинно национальным, или, как я бы охотнее сказал, историческим. Таковы истинные, то есть подлинно исторические мужи и народные представители вашей нации. Другие вышеупомянутые выборные представители могут и будут действовать в долговременных и непреходящих интересах органически сочлененного целого лишь там, где они будут принадлежать той или иной определенной корпорации и представлять ее; из каковых корпораций как своих органических членов, собственно, и состоит нация в своем единственно истинном, т. е. исторически развитом и оформленном бытии; и они не окажут никакого действия, будучи атомистически вырваны из целой массы. Такое атомистическое расщепление целостного кор-

пуга государства, или, если хотите, национального объединения, всегда либо уже само по себе есть элементарный распад, либо же непосредственно и прямо ведет к распаду. Даже республиканский уклад, коль скоро он должен быть хорошо выстроенным, будет в большей степени зиждиться на этих корпорациях и на органическом разделении сословий, нежели на числовой статистике и равенстве, каковое последнее, будучи взято в общем и целом, всегда предстает лишь как элемент, а рано или поздно, исторически по большей части также и как настоящий источник анархии. Однако было бы не просто преувеличением, но совершенным заблуждением, если бы республиканское государство кто-либо пожелал рассматривать как исключение из христианского принципа, гласящего, что всякая власть от Бога, или как нечто несоединимое с этим принципом и ему противостоящее. Напротив, долг повиновения и действительная зависимость от власти, согласно исторически существующему праву для того, кто принадлежит этому государству в силу судьбы своего рождения, или в силу собственного выбора и добровольно принятого на себя обязательства, — здесь остается точно таким же, как и при наследственной монархии. Самое большее, что можно утверждать — это что христианский государственный принцип более склоняется к этой последней форме, однако без какого-либо формального и безусловного исключения всякой иной государственной формы, что, безусловно, находит себе историческое подтверждение и может быть проиллюстрировано фактами новейшей истории. Причина такой преимущественной склонности и такого предпочтения заключается, по всей видимости, большей частью в том, что освященный характер божественной основы государства проступает значительно менее зримо там, где ответственность высших должностных лиц движется по бесконечному кругу одной лишь человеческой сферы, переходя от одного пункта к другому, нежели там, где она, как при наследственной монархии, по меньшей мере в одном пункте, как в первом обруче, удерживающем воедино все целое, связывается непосредственно с Богом, с божественной справедливостью и с необходимостью дать отчет перед этим тронном высшего Судии. Также и в другом отношении политическая жизнь в честной монархии гораздо скорее и легче обретет религиозный смысл, будет пониматься и переноситься в религиозном духе, нежели в республиканском государстве. Поскольку все человеческие вещи подвержены перемене, непостоянству и несовершенству, было бы странно, если бы это было иначе

с политическими отношениями и с государством, и лишь оно одно представляло бы собой исключение; было бы странно и совершенно против природы — да, собственно, и против всякого разума, — если бы кто-либо захотел требовать или даже просто ожидать такого. Там, где когда-то мудрый Соломон (дабы тут же взять пример у народа, который был на протяжении столь долгого времени особо и непосредственно ведом и направляем Богом) в течение продолжительного и благословенного периода счастливо владел тронном, добившись блеска своего царства, в другой раз бразды правления могут попасть в руки слабого и несовершеннолетнего ребенка, где в этом случае, даже безо всякой личной вины правителя, на поверхность выходят все враждебные элементы, что вызывает скверные политические последствия. И даже Соломона его мудрость, которая во многих отношениях превосходила обычную человеческую, могла уберечь не от всякого уклонения или заблуждения, ибо даже в этом случае высшее просветление и дарованная Богом мудрость (поскольку она дана свободному человеку) может найти себе неверное применение и, как и все прочее, подвержена возможному человеческому злоупотреблению. Вообще отнюдь не лежит в природе вещей, что одно правление так же как и другое, в одном и том же государстве, в соответствии с чередующейся последовательностью времен, могло бы быть в одинаковой степени мягким и отеческим, равно благословенным и блестящим, равно мудрым и счастливым. И это отнюдь не всегда, и не исключительно, зависит от личных качеств правителя, но в гораздо большей степени от временных обстоятельств и общего состояния мира. Однако весьма ошибся бы тот, кто посчитал бы, или захотел утверждать, что республиканские государства менее подвержены этому чередованию счастливых и благословенных и менее счастливых и скверных временных эпох, или что они вовсе исключены из влияния последних: вся история, и бесчисленные примеры из нее, могли бы служить решительным возражением против такого мнения или утверждения. Напротив, такое чередование происходит здесь даже гораздо более часто; и, более того, чаще всего за быстрым прогрессом того или иного государства следует неудержимый распад, поскольку в республиканском государстве, едва лишь оно обретает большее распространение и влияние, а следовательно, и вступает во множество таких отношений, — внутреннее движение вообще бывает гораздо более интенсивным, а изменения совершаются быстро и почти молниеносно. Однако большое и важное

различие заключается в том, что в наследственной монархии различие и чередование выдающегося и менее удачного правления является исторически данным; естественное и верное чувство воспринимает его как веление судьбы, и там, где религиозное чувство все еще преобладает в жизни и во взглядах на жизнь, оно также и переносится как таковое; так что теперь уже и в несколько ином смысле, кроме чисто судебного, можно сказать, что всякая власть от Бога: т. е. также и в согласии с историческим понятием о воле божественного Провидения; и очевидно, что это христианское изречение и принцип понимается равным образом и в этом своем втором значении, включая в себя также и эту религиозную сторону и воззрение, или оценку всех политических моментов и событий. Конечно, божественное веление судьбы и Провидение объемлет собой все обстоятельства мира и все события в нем; и всякое попущение зла, в великом равно как и в малом, всякое постигшее нас несчастье или страдание мы должны рассматривать с этой точки зрения, как нами самими заслуженное страдание, или же как тяжелое испытание, как целительную боль, борьбу или болезненное прохождение к более высокой ступени совершенства — коль скоро мы хотим удержать религиозное понимание и суждение о нашей собственной судьбе и жизни, равно как и обо всех мировых событиях, непоколебимо и твердо следуя вере в божественное всемогущество и божественную мудрость. Даже для физической жизни и ее поддержания и исцеления человек нуждается в страдании и борьбе; но в еще гораздо большей степени он нуждается в них для своего нравственного роста. Для более религиозной, или же всего лишь человеческой формы проявления и в свете политических обстоятельств и событий, несмотря на то, что сам по себе общий принцип божественного Провидения везде и всюду может применяться одинаково, все же весьма значительное и существенное различие заключается в том, что в республиканском государстве (именно потому, что здесь все зависит и поставлено в зависимость от выбора и произвола людей или, если хотите, от их заслуги и разумения) вина за всякую, большую или малую, мнимую или действительную оплошность правления тут же всецело возлагается на человека. Вред, причиненный нам человеком, возбуждает досаду, отвращение и сопротивление, и, напротив, несчастье, посланное нам Богом, которое распознается и рассматривается как таковое, вину за которое мы не можем возложить ни на одного человека индивидуально, гораздо скорее вызовет у нас спасительное размышление. Поэтому на то,

что неплодородный год сменяет собой благословенный, надлежит смотреть с терпением и смирением, ибо такое отношение будет всецело в природе вещи и здравого человеческого чувства. Если же, напротив, наступает всеобщее подорожание, или еще какое-либо большое бедствие или нарушение в важнейших условиях существования ремесленного или торгового люда, причина которого действительно заключается, или только ищется в тех или иных ложно принятых мерах, или в эгоистических целях тех, на кого возложено бремя государственного администрирования, — то человеческие души и умы тут же приходят в величайшее беспокойство и возмущение. И действительно, изречение благочестивого царя в священной истории: «Лучше мне впасть в руки Божии, нежели в руки человеческие»³⁵, — вполне сообразно аналогии и естественному человеческому чувству. Поэтому-то в той же священной истории древней поры, как и во все времена господствующего религиозного чувства, такой период несчастья для того или иного народа или государства и несчастливое или даже дурное правление, расцениваются как заслуженная кара от Бога, как трудный период испытания и веление судьбы, который благочестивым следует воспринимать не со страхом человеческим, но со страхом Божьим и, насколько возможно, с мужественным терпением. Из республиканских времен и историй, напротив, можно привести бесчисленное множество доказательств обратного, а также примеров того, как — поначалу не особенно значительный, однако действительно коренящийся в самой сути дела и действительно заслуживающий своего имени — проступок и оплошность управления со стороны одной партии вызывал с другой сопротивление и оппозицию, общее недовольство и жестокую реакцию, которые были в сотни раз губительнее, нежели та первая, малая и чисто человеческая оплошность; и что достаточно часто отсюда происходили разрушительные катастрофы, за которыми их первый повод совершенно терялся из глаз и под конец полностью забывался, пока, наконец, все вместе не поглощалось в одном истребительном катаклизме. До этих пределов и приблизительно таким образом, я полагаю, можно вести речь о том, что христианский государственный принцип склоняется более к наследственной монархии, нежели к республиканскому укладу; однако на этой границе и именно так, намеренно неопределенно, это утверждение должно остановиться и застыть; ибо

³⁵ 1 Пар. 21, 13. — *Прим. перев.*

строго определенно высказанное исключение по отношению к республиканскому государству, как если бы его существование никогда не было полностью законным, конечно же, было бы совершенно несообразным с христианским государственным принципом и основоположным религиозным понятием о всех политических обстоятельствах и событиях и, скорее всего, прямо бы им противоречило. Ибо этот христианский правовой принцип в первую очередь оправдывает все исторически уже существующее, пусть даже оно и несовершенно; и в этом он целиком и полностью противоположен революционному стремлению, которое всегда начинает с непризнания исторически существующего и исторически данного, и по своей глубочайшей сущности является антиисторическим. Кроме того, в этом христианском понятии, наряду со строгим правом, всякий раз заключен и формально признанный принцип справедливости, поскольку христианское умонастроение в любви и милосердии объемлет в себе все целое и все его отношения, принимая во внимание все его исторически действующие обстоятельства, в чем, по сути, и заключается понятие справедливости. Наконец, также и христианское учение, и вытекающее из него понятие человеческой жизни, скорее, более благоприятствуют истинной свободе, хотя и в весьма высоком смысле этого слова, где всегда в первую очередь имеется в виду и утверждается духовная, нравственная и внутренняя свобода, прежде нежели она сможет стать внешней и общественной, или гражданской, согласно возвышенному речению: «Лишь тот поистине свободен, кого сделает свободным Сын»³⁶. Каждому, для кого это высказывание вообще имеет смысл и значение, будет, пожалуй, излишне добавлять то, что ясно уже само по себе, т. е. что Сын никого не делает свободным иначе, как той самой свободой, какой был свободен Он Сам, а именно — через послушание Отцу, причем совершенное, приносящее в жертву себя и собственную самость.

В какой мере оправдывается и может быть доказана эта преобладающая монархическая склонность нового христианского времени и христианского государственного принципа, известно настолько широко, что было бы почти излишним напоминать об этом: что не только в наше время, но и еще полутора столетиями ранее великое христианское государство всецело перешло к республиканскому устройству, было всецело увлечено и фана-

³⁶ Иоанн. 8, 36. — *Прим. перев.*

тически воодушевлено его идеями равенства и абсолютной свободы для народа; и что, тем не менее, даже тогда, точно так же как и в наше время, это преходящее фанатическое состояние весьма скоро было вновь отторгнуто и отвергнуто как совершенно чуждый элемент, что и стало первым поводом для динамического, жидущегося на разделении властей и на их тщательном выверенном равновесии, в наше время столь тонко выработанного и вызывающего столь искреннее восхищение государственного устройства Англии. Излишне было бы также напоминать о том, что значительное морское государство второго ранга, однажды начавшись как вполне республиканское, постепенно стало все более и более приближаться к монархической форме правления, покуда, наконец, не перешло к ней всецело; что другое, хотя и монархическое, однако выборное, государство, которое именно поэтому называлось республикой, и отчасти также действительно таковой являлось, в результате анархической партийной борьбы, проистекающей из этого устройства, вместе со своей первоначальной формой утратило также и все свое бывшее величие и прежний блеск; так что под конец весь христианский запад и Европа остались заняты одними лишь небольшими республиками с маленькой площадью и населением; республиканские же колониальные государства Нового Света все еще слишком новы (исключением здесь не будут даже самое старшее из них) для того, чтобы в отношении их уже сегодня можно было в собственном и широком смысле вынести то, что принято называть историческим приговором. Между тем, также и из новой христианской эпохи можно привести по меньшей мере один достопримечательный феномен великолепного и совершенно оригинального республиканского государственного устройства, в доказательство того, что подобное устройство никоим образом не исключено из духа этого времени и из его правового и исторического принципа. Это древнегерманское, христианско-римское кайзерство в средневековье на протяжении целого мирового периода — множества столетий его цветущего и сильного состояния. В качестве выборного государства, хоть и монархического в единстве целого, оно, уже в силу своей выборности, имело республиканское направление и форму; ибо даже здесь, где исторически длинный ряд представителей одной династии сохранял наследственное обладание короной, — сохранялась также и потребность в торжественной санкции через выборы, причем довольно часто даже имели место исключения и прерывание исторически уже сложившейся линии наследования.

Кроме того, эта великая государственная система состояла из весьма многочисленных, отчасти целиком и полностью республиканских, элементов или, по меньшей мере, из отдельных элементов разных государственных форм и укладов. Первоначальные четыре великих национальных герцогства образовали, наряду с другими позднейшими наследственными правлениями, более монархическую, хотя и всецело национальную и исторически отвечающую народному своеобразию составную часть целого; существовавшие наряду с ними духовные княжества, будучи целиком и полностью зависимыми от выбора, произвели большую аристократию, однако не просто аристократию рождения, но одновременно и аристократию учености и высшей духовной образованности тогдашней эпохи — вообще аристократию заслуг. Наконец, ремесленные и торговые города с их кайзеровскими свободами и государственными привилегиями представляли в то время поистине демократический элемент среди прочих, однако именно в самом благородном и высоком смысле этого слова — не в смысле численного равенства и обычной народной анархии: здесь постепенно формировались закрытые корпорации и складывался корпус права переживавшего свой исторический подъем бюргерского сословия. Достаточно лишь произнести имя Ганзы³⁷, чтобы напомнить о том, сколь большой всемирно-исторический круг действия смог обеспечить себе даже этот отдельный элемент целого, причем даже во времена своего распада! Конечно, также и этой по-германски свободной и по-республикански величественной древнехристианской кайзеровской монархии суждено было пройти через множество потрясений внутренней партийной борьбы и в конце концов исчезнуть как таковой; так что нынешняя, уже всецело современная, государственная теория едва ли уже осознает ее значение в его истинной глубине и величии, да и вообще едва ли верно понимает ее смысл. Однако, безусловно, этот политический уклад средневековья в его лучшие времена остается в высшей степени достопримечательным, в христианском смысле своеобразным и в своем роде выдающимся историческим явлением, которое по силе и достоинству своей монархии может сравниться с самыми блестящими эпохами мировой истории и значительно превосходит их в разнообразии, богатстве и внутреннем развитии своих республиканских элементов и звеньев;

³⁷ Hansa (нем.) — торгово-политический союз северо-немецких городов XIV–XVI вв. — *Прим. перев.*

более того — по своей свободе он поистине превосходит самые прославленные из смешанных укладов современности; ибо исторический опыт — этот великий учитель политического искусства и науки — ныне, пожалуй, достаточно ясно показывает нам, что в этом динамическом государстве, основывающемся на разделении властей и их выверенном равновесии, по большей части лишь министры и оппозиция являются теми фигурами, которые прибирают к рукам и попеременно делят между собой как само государство, так и право вынесения решающего суждения вместе с властью его выносить, в то время как освященная фигура наследственного монарха служит лишь для того, чтобы все партии поудобнее устроились в его тени и могли с комфортом продолжать свой бесконечный спор. Христианское воззрение на государство и на мир, как уже было отмечено выше, не исключает и не отвергает абсолютным образом ни одной формы политического бытия, но признает и оставляет существовать на своем месте и в своем первоначальном и истинном смысле и праве все, что имеет хоть какое-нибудь историческое основание и причину; следовательно, также и динамическую государственную форму, хотя это воззрение и не может считать ее столь же совершенной, как ее страстные и односторонние приверженцы; и даже абсолютное состояние, несмотря на то, что последнее может представляться лишь как весьма несовершенное и подчиненное. И то, и другое могут быть поняты, осознаны и объяснены лишь исторически, а именно — как необходимое зло при самой мягкой форме, как менее губительное и опасное при известных уже имеющихся и данных предпосылках, или даже как средство исцеления некоего уже болезненного состояния гражданского общества, для возможного перехода к некоему будущему и лучшему. Обычным и естественным движением и переходом от народной анархии, если последняя продлилась достаточно долго, успев отбушевать и успокоиться, исчерпав свои силы в собственных смутах, — будет переход к абсолютному господству, или к тотальной диктатуре, в любой ее форме, однако без высшей и божественной санкции. Потому также и означенная государственная форма, или (поскольку такая форма есть, в сущности, лишь бесформие (Unform)), это политическое состояние должно быть тщательно отделено от исторически правомочной, наследственной монархии, от которой оно и по самому своему характеру всегда существенным образом отличается. Хотя, если революционное зло достигло наивысшего градуса, то и удачливый узурпатор (каковым, в сущности, был

и прославленный Август в древнем Риме, поначалу выступавший в роли посредника и миротворца, когда он, в частности, пусть и не непосредственно и не лично, однако все же способствовал свержению старого правления) будет вполне способен заставить мир примириться со своей властью. Он будет постепенно обретать признание, хотя поначалу лишь относительное и весьма обусловленное; и, наконец, его признание могло бы перейти в историческое, если бы он сохранил верность лучшему направлению, следуя ему до конца. Если же, однако, теперь на место революции, вновь и вновь возрождающейся из своего пепла, или анархии снизу, приходит иная ее форма, а именно — не знающая успокоения и ничего не чушащая, всему препятствующая и все разрушающая жажда завоевания, т. е. простое военное господство, или анархия сверху; то второе зло, конечно же, более страшно, нежели было первое, исцелить которое оно обещало, и на каком-то обещанном исцелении строилось все его признание и нравственное обоснование. И, конечно, такое явление мы имели возможность весьма близко рассмотреть перед нашими глазами в современной истории, для того чтобы весьма наглядно представлять себе и понимать в целом феномен такого перехода от анархии к абсолютной власти. Гораздо более медленным и органически упорядоченным, а потому также и исторически более длительным было развитие и оформление этого перехода в древнем мире, и, в частности, в великом здании римского государства, а потому рассмотрение здесь этого развития и его своеобразной формы будет особенно поучительным, а также весьма проясняющим и плодотворным для теории. Новейшая история нигде не может продемонстрировать столь обширной системы республиканских государств самых разнообразных форм, которая представляла бы собой господствующий уклад целого цивилизованного мира, как в эту цветущую эпоху древности, где в то время — наряду с греческими государствами, Римом, Карфагеном и другими италийскими городами — всецело или отчасти республиканский уклад имели также и независимые народности в средней Европе и на севере. Поэтому для нас и для научной политики это явление представляет собой феномен, заслуживающий наивысшего внимания. Однако, сколько бы ни говорили в его пользу связанные с ним свободное формирование духа, отдельные блестящие моменты патриотической добродетели, великие характеры и героические дела: все же в целом следует признать, что опыт в целом вынес решение против него, утверждая, что такая система представляется практи-

чески неосуществимой и несообразной с ходом развития человечества — после многообещающего начала, в конце концов, приводя к смуте, разрушению и варварству. Повсюду весьма скоро обнаруживается и с неудержимой быстротой развивается все то же неисцелимое стремление к политическому распаду и анархии, которое ранее послужило переходом, проложив дорогу к столь же бесформенному состоянию абсолютной власти. Великие мыслители и политические писатели древности сами чаще всего стояли в оппозиции к этому демократическому духу и укладу своего отечества; более того, именно в этом духе и укладе они усматривали причину его грядущей гибели и предсказывали ее — не будучи, однако, в силах ее предотвратить: как, например, Платон в Афинах или, иным образом и в меньшей степени, Цицерон в Риме; последний, однако, сам был втянут в партийную борьбу. Философы, политические мыслители и даже серьезные государственные мужи древности искали противоядия и путей исцеления от этого разрушительного демагогического духа своей эпохи по большей части в — пусть даже по-своему и величественной, однако весьма односторонней — аристократии, которая бы столь же мало отвечала нашему нынешнему чувству, сколь была бы удовлетворительна для нас в научном отношении. Ибо само понятие наследственной и просвещенной монархии в то время, можно сказать, почти еще не было открыто, ибо по своей истинной сущности и по всему своему характеру оно имеет христианское происхождение, и в древнем мире при всем желании можно обнаружить лишь едва заметные и слабые его начатки. То, что в дальнейшем все греческие свободные государства распались в результате внутренних и внешних раздоров и попали под власть македонской империи и происшедших из нее полуазиатских и полуэллинских держав, служит, пожалуй, лишь общим подтверждением обычной судьбы народной анархии и неизбежно следующей из нее во времена падения нравов гибели республиканского уклада. Однако несравненно более высокий интерес представляет тот же самый переход в римской мировой империи, ибо здесь он происходил с гораздо большей осмотрительностью и осмысленностью, в соответствии с продуманными принципами, отчетливыми понятиями, и в русле твердо определенного умонастроения. Когда же теперь, после того как нескончаемая череда опустошительных гражданских войн превысила всякую меру, а столь же ужасающее стремление к завоеваниям превратилось теперь уже в привычку и необходимость, давно ожидае-

мая катастрофа, наконец, разразилась: в Риме стали предприниматься попытки в меру возможности преобразовать чисто военную власть в мирную, украсить абсолютное господство всеми возможными формами древней святости и достоинства, и даже при случае сблизить его с наследственной монархией. В этих едва появляющихся начатках лучших идей лежит апология, а в совокупном историческом процессе — обоснование и оправдание (насколько последнее вообще возможно) для всего этого абсолютного состояния политического бытия тогдашнего мира, которое, однако, само по себе всегда остается бесформенным и в высшей степени несовершенным. При этом здесь было весьма мало возможности для формирования подлинного исторического наследования и семейных династий, ибо вследствие безграничного произвола разводов и усыновлений, брак и все семейные отношения в целом подверглись неслыханному разрушению на фоне всеобщего падения нравов, которому даже лучшие императоры тщетно старались поставить заслон. Если теперь стали предприниматься усилия придать достоинству властителя еще большую святость, закрепляя за ним жреческие функции и титулы господствующей народной религии, то все же это никак не прибавляло ему реальной власти, ибо при том состоянии разложения, которое в области религии имело место ничуть не в меньшей степени, нежели в сфере государства и нравов, язычество той поры продолжало свое существование лишь в поэтических сказаниях, внешних обрядах, пышных празднествах и, время от времени, в том или ином философском мнении, при полном отсутствии собственного внутреннего содержания, твердой взаимосвязи и традиционного жреческого уклада, тогда как все означенное до сих пор еще можно обнаружить, например, в древнейшем индийском язычестве. Таким образом, благодаря этим мерам внутренние противоречия лишь усиливались, и зрелище в целом становилось еще возмутительнее, когда такой пользующийся всеобщей ненавистью мировой тиран, завершив свое нечеловеческое правление, затем под конец весьма человеческим, или же, отчасти, также нечеловеческим способом, бывал устранен путем вознесения в пантеон богов. Лучшая эпоха Марка Аврелия и Антония была краткой и мимолетной, ибо она так и не была исторически закреплена и не смогла обрести нравственного фундамента, как это происходило в наследственных монархиях христианских эпох и государств. В научной, а также практической юриспруденции римляне достигали вершин во все времена; не были исключением и эти последние; тем более, возможно, что истинные адепты права, которых все

еще можно было встретить в Риме, решительно сторонились всякого политического влияния и общественной жизни, спасаясь бегством во все еще заповедную область древних юридических понятий, их развития и становления. Однако там, где общественное состояние в целом и сам глубинный принцип гражданского бытия неверен и основан на несправедливости — там не помогут ни несколько верных законов о собственности, о краже и обмане, или об убийстве и иных преступлениях (которые ведь по большей части и по существу должны быть всюду приблизительно одними и теми же), ни остроумные системы судейских разъяснений этих понятий. Это точно так же, как если бы в защиту некоей великой и в высшей степени опасной системы философского заблуждения произносили хвалебные речи, приводя в качестве извиняющего ее аргумента тот факт, что обычные правила вульгарной логики в ней отнюдь не нарушаются, или даже по преимуществу хорошо исполняются, что, и впрямь, по большей части действительно так и есть, но что, однако, ничуть не устраняет и не исправляет ошибку, а лишь помогает ей стать тем более очевидной и бросающейся в глаза. Для позднейшей эпохи германского христианского возрождения Римской империи все ее лучшие элементы, безусловно, не прошли бесследно и возымели должное действие. Однако в целом христианский государственный принцип гораздо лучше гармонирует с германским законодательством, нежели с римским правом, поскольку в германских привычках праву справедливости предоставлено гораздо больше пространства и уделено гораздо большее внимание. Безусловно, именно римская наука с особым глубокомыслием установила это прекрасное понятие и развила его, и именно потому, что здесь оно в целом признавалось и рассматривалось лишь как исключение из общего строгого права (каковым с самого начала и от самого своего возникновения было право римское, имеющее целью смягчить собой изначальную природную суровость его основы). Согласно же христианскому закону, право справедливости должно быть везде и всюду самым глубочайшим образом связано со строгим правом и слитом с ним в совершенное и единое целое, как это следует уже из простого понятия христианского умонастроения. Именно здесь лежит великое и существенное отличие, и, пожалуй, что как раз в согласии с этим принципом следовало бы везде и всюду продолжать развитие христианской правовой науки, ведя ее к завершению именно в таком духе. Наряду с этим характером милосердия и справедливости, второй отличительный признак христианского права и понятия о праве

заключается в том, что оно в большей степени, нежели всякое иное право, является историческим³⁸. Правда, если судить с точ-

³⁸ В послекантовской философии идея справедливости стоит особняком, будучи оттесненной с первого плана идеями истины, красоты и добра. Но именно идея справедливости в историчности исторического права (противостоящая идее абсолютной справедливости), стала наиболее мощным источником немецкого романтизма и исторической школы. К идеалу гуманизма идея справедливости исторического права и формируемый ею идеал относятся как своего рода «критическая инстанция», подрывающая претензии идеала гуманизма на квазибожественный статус. Г.-Ф. Пухта, один из лидеров второго поколения исторической школы права, отвергая гегельянство, абсолютизирующее и правовую сферу, выводит право из духа как принципа свободы и подчиняет ему разум как принцип познания необходимости. Он исходит из того, что свобода воли в качестве источника права разделена после грехопадения на свободу выбора между злом и добром, направляемым моральной волей, но реализуемым только юридической волей, которая нацелена не на выбор между злом и добром, а на осуществление равенства при максимальном развитии индивидуальностей, то есть на справедливость. См.: Пухта Г.-Ф. Энциклопедия права // Немечкая историческая школа права. Челябинск: 2010. С. 426–438. История духа, с его точки зрения, реализуется не в истории разума или разумности (культуры), а в истории права. Именно в ней становится видимым то, как возрастают иерархически соподчиненные индивидуальности (человека и семьи, общины и корпорации, народа и церкви), как формируется единый организм человечества, который он, правда, видел в реализации именно римского права. См.: Там же, С. 460–461, 500–502. В этом отличие его позиции от позиции, обосновываемой Ф. Шлегелем, который выступал против абсолютистских тенденций, связанных с рецепцией римского права. С точки зрения «программирующего» мифа о грехопадении развитие человечества можно представить следующим образом. Естественное (и при этом божественное) право было основано тогда, когда человек, съев плод с древа познания добра и получив строгое внушение от Господа Бога, уяснил, «что такое хорошо и что такое плохо» в качестве справедливого и несправедливого. Ведь свобода воли после грехопадения хотя и направляема моральной волей, но реализуется справедливостью или «юридической волей» к равенству при максимальном развитии иерархически возрастающих соподчиненных индивидуальностей, постепенно формирующих единый организм человечества. Идея справедливости критериальна для оценки судьбы, в которой человеку воздается «по делам его». «Человеческая судьба», являющаяся как бы внутренней стенкой сосуда, извне рассматриваемого как «человеческая природа», как раз и гармонизирует человеческую жизнь, преобразует зло в добро, но, в то же время, как бы укореняет в жизни (оправдывает и «нормализует») злое начало. Классическое естественное право, как учение, воспринятое «романтическим» историзмом, поэтому предполагает, что человек, общество, народ, эпоха будут поступать «по судьбе», «согласно судьбе», в которой злое начало, преобладающее в жизни, становится материей Судьбы рода человеческого. Временем зло переплавляется в добро, как это заметил, между прочим, в применении к человеческой жизни, Рене Декарт, говоря, что «прошлое благо вызывает сожаление, т.е. вид печали, а прошлое зло — веселье, т.е. вид радости». Декарт Р. О страстях души // Декарт. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М.: 1989. С. 510. Л. Штраус тоже увидел, что

ки зрения одной лишь природной предрасположенности, германская [правовая] традиция также преимущественно направлена на всецело историческое законодательство, даже в гражданских и частных отношениях, и именно поэтому она весьма хорошо и особенно легко соединяется с христианским принципом права. Однако в полном и широком смысле слова, где она распространяется также на государство и на совокупность всех стоящих в географическом соприкосновении держав цивилизованного мира, полностью историческим может быть лишь христианский правовой принцип, ибо равным образом лишь христианское мировоззрение поистине охватывает и объясняет собой совокупное целое человечества. Если бы человек с самого начала не вошел в состояние раскола и войны с самим собой и своими ближними, с природой и Богом, то в обществе отнюдь не было бы нужды в этой принудительной власти, или в этом государстве принуждения; ибо что представляет собой это последнее, если не вооруженное учреждение мира, меч суда против неправды в большом и в малом, защитное сооружение и бастион про-

в историзме «пределы человеческой мысли поставлены судьбой». Штраус Л. Естественное право и история... С.27.

Если естественное право превращается в оправдание высшего статуса «последнего поколения», «настоящего», «общественных норм», то оно отрицает понятие всеобщей и народной судьбы, и потому неизбежно вырождается как таковое. Это и случилось после Ж.-Ж. Руссо с его внутренне «бесхребетной» идеей гуманности, требующей внешних, точнее, отчужденных от человеческой природы, подпорок, таких, например, как «законы общественного развития». Но что познает человек, встречаясь с судьбой? Он познает конкретную меру своей свободы в детерминациях, заданных общей судьбой. При этом, он отделяет шелуху «абсолютно свободной» случайности своего обыденного индивидуального существования от той ограниченной (детерминированной), но при этом сущностной свободы, которая и делает его «человеком судьбы», то есть таким, который выполняет некую миссию и тем выражает не личное, а общинное в детерминациях и «бытийных зазорах» общечеловеческой и общенародной судьбы. Шлегель в «Философии истории» хорошо показал как отдельные народы выполняют свое историческое предназначение, свою миссию в контексте истории всего человечества. Таким образом, справедливое в высшем смысле справедливости есть предопределенное к историческому существованию (росту, созреванию, увяданию, гибели) с точки зрения развития всего человечества и тем, с одной стороны, детерминирующее человека и создаваемые им общности в определенном направлении, а, с другой стороны предоставляющее им ограниченную, но тем более ценную и интеллектуально значимую (цель разума — познание границ человека и его исторической миссии) свободу для полной реализации заложенных в них потенциалов. Именно это дает человеку, семье, сообществу людей, поколению, нации познать себя в процессе порождения себя, своей судьбы. Поэтому воля выше познания, поскольку она является формирующим, порождающим конкретные судьбы началом. — *Прим. науч. ред.*

тив несправедливых нападков и войны? И из чего еще, если не из этой единственно полной системы христианской истины и из ее первой начальной точки следует объяснить такое распространение древнего зла и древнего проклятия? Из чего можно исторически вывести государство и его возникновение, кроме как из этого первого преступления и древнешего братоубийства — в качестве божественной защиты против этой врожденной человечеству неправды? Если еще где-либо и может быть обнаружено истинное и определенное указание на те же самые понятия, то такое указание, безусловно, должно быть почерпнуто из того же самого источника. Божественная же санкция государства также обретает свое истинное утверждение и объяснение лишь из второго нового и божественного начального пункта человеческого рода, каковую мысль мы уже попытались развить в нашем последнем чтении. Лишь в этом втором начальном пункте человечеству впервые вновь был возведен и дан истинный, внутренний и высший мир. Правда, то был не сам совершенный мир, ибо такой мир может представлять собой лишь плод и награду завершенной борьбы; но то было новое, твердое и вечное основание будущего и с этого момента уже все более и более распространяющегося мира. Так что равным образом и всякий — не всего лишь притворный и коварный, но честный в своих намерениях и в силу этого христианский, пусть даже еще и несовершенный и только частичный человеческий мир есть новый дальнейший шаг на великой лестнице, есть приближение и приготовление ко всеобщему, всеобъемлющему миру Бога, который выше всякого разума и всякого спора о разуме или из разума. Если бы неправда среди людей могла когда-либо прекратиться; если бы мир Божий на земле действительно мог наступить, тогда цель была бы достигнута, и в учреждении ради его достижения исчезла бы всякая надобность. Право существует лишь для состояния борьбы в его длительности; оно само есть не что иное, как борьба против неправды; христианское воззрение на право и теория права именно потому является высшей и в научном смысле единственно удовлетворительной, что ей известно нечто более высокое, нежели право, и что она единственная содержит в себе исторический ключ к целому, его начало и конец. Историческим, однако, христианское понятие права можно назвать не только потому, что оно дает полное объяснение первого начала и исторически выводит божественную санкцию государства; но также и в том смысле, что оно, согласно распространяемому равно и на широкие политические отношения принципу спра-

ведливости, а также согласно присущей этому умонастроению государственно-правовой терпимости, допускает несовершенство и неправильность там, где они обуславливаются ходом вещей, имеют исторические причины и обоснованы как меньшее зло, как нечто по меньшей мере относительно лучшее, или же как нечто неизбежное. И отсюда также вполне понятно, каким образом христианское правовое умонастроение могло примириться даже с абсолютной формой или бесформием в позднейшей мировой римской империи, постепенно связаться и слиться с ней воедино и тем самым привести к ее возрождению в великолепном явлении христианского кайзерства. Отнюдь не в равной мере это миролюбивое признание несовершенных политических состояний и форм могло иметь место и находить себе применение там, где пагубность и абсолютность политического устремления имела свое основание не в историческом стечении (согласно естественному движению и переходу в развитии от некоего зла и ущербного состояния в иное), но уже в своей первой идее, как в мировом господстве Магомета и его непосредственного последователя, где принцип фанатического стремления к завоеванию в его полной силе был заложен уже с самого начала и в первом ростке, образуя собой собственно фундамент и одушевляющую жизненную силу целого. Какое бы, однако, расположение ни вызывал в нас личный блеск и характер первых халифов, как бы подкупающе обольстительна ни была восточная фантазия — все же, согласно историческому суждению, абсолютное государство даже во времена наивеличайшего разложения Римского мира не опускалось столь низко, как в этом царстве разрушительного фанатизма. Там в качестве постоянного элемента, который остается неизменным даже при самых славных и великолепных характерах и личностях, по большей части выступал личный произвол отдельных тиранов, здесь же — некий принцип деспотизма, когда духовная и светская власть всецело соединяется в одних руках и в одном общем центре и главе. И еще с одной стороны историческое сравнение в нравственной оценке между римским мировым господством и магометанским оказывается не в пользу последнего. Господствующая безнравственность еще в позднем Римском мире довольно разрушительным образом коснулась брака и всех семейных отношений; здесь же они уже полностью уничтожены при помощи ложной религии; так что даже если смотреть с одной лишь этой стороны, можно видеть, что нравственное обоснование и исторически закрепленное единство семьи, коего требует христианская

нравственность монархического государства, здесь не могут иметь места в равной степени. Поэтому нам не следует удивляться, если в этот исторический период арабского мирового господства мы находим магометанское государство отстоящим от христианского в еще гораздо большей отчужденности и враждебности, нежели языческое в древнюю римскую эпоху. Однако, несмотря на это, мы находим, что еще и с другой стороны все эти исторические явления и политические отношения неоднократно и на протяжении времени все в большей и большей мере находят свою оценку в согласии с распространяемым на эти политические отношения христианским принципом мира, в духе мягкости, всеохватной и всесторонней исторической справедливости и высшей государственной терпимости, что (коль скоро этот факт осознан), не может не заслужить нашего одобрения. В самой своей основе зло могло бы быть устранено лишь в результате полной победы христианской истины над этим ложным базисом и основоположной идеей фанатического заблуждения. Сколь бы трудно реализуемой ни представлялась с более ограниченной, только исторической, точки зрения возможность для магометанских народов и государств со временем все более и более усвоить себе христианские нравы, установления и принципы, — в великом ходе истории, т. е., следовательно, в соответствии с судьбами, волей Провидения и намерениями Бога, ничто безусловно соответствующее этим намерениям не может считаться целиком и полностью невозможным. И в отдельных случаях некоторые появившиеся в новейшее время признаки ощущаемой потребности такого рода можно было бы привести в качестве указания на эту высшую надежду. Своего рода взаимодействие, постепенное приближение к этой великой божественной цели, в той мере в какой оно соединимо с другими обязательствами и видами, по всей видимости, отнюдь не лежит целиком и полностью вне круга истинно христианского государственного искусства и мирной политики в отношении нехристианских государств. Однако самое пагубное из всего — то, что несет наибольшую опасность и предвещает наибольшие беды, — случается тогда, когда христианское государство, вопреки своей природе и предназначению, само бывает охвачено приступами такой завоевательской жадности. Как много (или, наоборот, как мало) шагов пришлось сделать нашей образованной Европе — когда то же самое идейное запустение, нравственное разрушение всех понятий и всей политической жизни, которое впервые открыто, воочию и во всю силу продемонстрировало себя в революции, затем

в течение невероятно короткого промежутка времени получило столь устрашающе быстрое дальнейшее развитие и могло господствовать на протяжении весьма долгой эпохи — чтобы скатиться или опуститься до такого совершенно языческого военного диктата, как революция сверху, до светски-духовного деспотизма, по образцу ранее уже упомянутого: все это слишком близко было перед нашими глазами, чтобы нуждаться в более пространным разъяснении.

Сущность деспотизма — сказал я — такова, как если бы духовная и светская власти вдруг объединились, или если бы одна и та же (и в таком стечении, следовательно, в высшей степени порочная) монархия, неким бесформенным образом была одновременно и светской, и духовной. Различие между двумя этими властями заложено уже в христианском понятии государства, ибо для последнего существенно важно тщательно проводить линии разграничения между той и другой. Было бы трудно установить общий масштаб для всех данных в действительности, или же только возможных и мыслимых случаев коллизии, поскольку, в соответствии с существующими соглашениями, местными потребностями и особым укладом для каждого государства и каждой нации, этот масштаб может быть бесконечно различным и в свою очередь подвергаться самым разнообразным модификациям. Главное заключается в духе и умонастроении, или также в доброй воле и честном намерении, а преимущественно в верном понимании как одной, так и другой власти, которые обе имеют высшую санкцию, божественную основу и освященный характер, каждая в своем роде и в своей сфере; в том, чтобы признавать этот их характер везде и во всякое время и в должной мере учитывать его в подходе к соответствующим предметам. Здесь встречается множество подчас довольно трудных случаев коллизии, и в иные времена, причем начиная уже с весьма древних, с обеих сторон случались весьма серьезные промахи такого рода. Также, однако, случалось и множество незаслуженных упреков, происходящих от непонимания времени и самого предмета. Еще не так давно с этой точки зрения было едва ли не традицией подвергать бескомпромиссной критике в частности нескольких средневековых пап. К вящей славе немецкой беспристрастности следует отнести тот факт, что именно протестантские исследователи первыми оправдали эти великие для своего времени исторические характеры, дав им историческое объяснение и истинную оценку. Однако, сколь бы ни были велики совершавши-

еся в отдельных случаях злоупотребления с этой одной стороны в то или несколько более позднее время (чего, конечно, никак нельзя отрицать): все же едва ли можно представить себе злоупотребление в такой мере, или, скорее, сверх всякой меры, какое с другой стороны позволил себе Генрих VIII английский, который стремился быть неограниченным монархом и в то же самое время верховным духовным главой. Этот самый абсолютный из всех королей своего государства, учредив — сам того не желая и о том не подозревая — Англиканскую церковь, стал истинным родоначальником вызывающего столько удивления, а по сути, зиждущегося всецело на ее основе английского уклада, в котором динамическое государство, как единственное оставшееся средство против неисцелимой оппозиции, раскола и анархии, здесь действительно получило в высшей степени совершенное развитие и оформление. Раскол в религии, который в большом количестве христианских государств на протяжении последних столетий сделал задачу религии тем труднее, а ее внутренние отношения и положение во много раз более уязвимыми и хрупкими, — здесь, благодаря этому королю-реформатору, принял столь сложную и запутанную форму, что и по сей день еще представляет собой неразрешимую проблему, которую весьма многие также, с человеческой точки зрения, считают неразрешимой в принципе.

Результаты, вытекающие из этих предпосылок и из первого очерка идеи всецело христианской, а значит — заодно объемлющей в себе также и принцип разумной справедливости (*Billigkeit*) и справедливости (*Gerechtigkeit*) истинно исторической, — мы рассмотрим в нашем следующем разделе.





ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

**О разделении сословий и взаимоотношениях государств
согласно христианскому понятию;
о силе науки, а также об основном законе
и об организации этой силы**

Когда философия, согласно какому-либо вымышленному ею самой принципу, вмешивается в область религии и политики, то такое вмешательство всякий раз есть одновременно и враждебное вторжение. Коль скоро такое вторжение (там, где оно в идее действительно налицо), внешне и видимым образом, происходит сдержанно и скрытно, — наука, по тем или иным привходящим соображениям и ради своей цели, внешне принимает сторону той или иной существующей системы веры или права: в таком случае тем хуже, если внутренняя враждебность ее умонастроения лишь поверхностно прикрывается показной услужливостью и подобострастностью языка, ибо тем самым ее вредоносное действие вовне отнюдь не прерывается и не снимается, или, по меньшей мере, то благотворное ее действие, которое должно было или могло иметь место, тут же подавляется и уничтожается в зародыше; вместе с тем с неизбежностью теряется и достоинство науки, которое она может сохранять и утверждать лишь там, где выступает независимо. Исходя из этого, я уже в самом начале, в самой первой из этих лекций, решительно высказался против такого вмешательства философии в по сути дела чуждый ей предмет; и думаю, что мне удалось выдержать дух сделанного мною заявления на всем протяжении этих чтений и до сей поры. Если же философия стремится лишь сориентировать саму себя и человека в его внутреннем сознании и его

внешнем бытии, в его отношении к природе и Богу, к миру и к обществу, желая открыть для него суть этих отношений, — тогда, коль скоро она распознала и действительно нашла центр внутренней и высшей жизни в том виде как он дан нам, она теперь вполне может и имеет право, исходя из этого центра, на свой лад и со своей точки зрения, подвергать рассмотрению и обсуждению даже наивысшие понятия и интересы жизни: более для того, чтобы объяснить действительно существующее для себя и поведать об этом другим, нежели чтобы устанавливать ею же самой изобретенные идеалы и, возможно, невыполнимые законы и предписания для всего лишь возможных и мыслимых состояний при произвольно взятых предпосылках, или же для целиком и полностью вымышленного мира. В соответствии с этим понятием и этим различием, я дерзну предположить, что в своих последних чтениях не отклонился сколь-нибудь значительно от первоначально высказанного правила. Поскольку же в философии жизни материал не может быть преподан иначе как именно живым образом, а следовательно, также не может не быть согласован с историческими связями и воззрениями, я прошу при оценке моего изложения обращать внимание лишь на взаимосвязь существенной, лежащей в основе мысли, или проследивать внутреннюю последовательность моего образа мысли; все же подробности в примерах и отдельных отношениях воспринимать лишь как свободно и невзначай высказанное личное мнение и умонастроение частного лица. После того как в начале этих чтений я стремился найти твердое основание для всего целого в отношении природы человеческой души, внутри нее самой и в ее важнейших жизненных отношениях — к природе и к Богу; а далее при помощи отыскания божественного порядка в природе, в царстве истины и в истории, попытался создать еще одну твердую отправную точку — я вслед затем постарался проследить и наглядно показать то движение, которое дух вечной истины непрестанно совершает в науке и жизни. Сперва, таким образом — что этот Дух Вечной Истины есть один и тот же в высшем знании и в божественной вере, затем что он выходит победоносным из древнего раскола и борьбы между верой и неверием; и, наконец, что он не пребывает в тесных рамках одной лишь науки, но также может и должен своим вмешательством влиять на жизнь. А как это происходит в действительности, я попытался показать, раскрывая символическое значение жизни, выведенную из него божественную основу и ее высшую санкцию, относящуюся в частности также к общественной жиз-

ни и государству. Здесь более подробное применение и дальнейшее развитие получила идея общехристианской и истинно исторической справедливости, каковая явилась предметом нашего последнего изложения. Именно поэтому я пытался по возможности наглядно представить данное понятие всецело в сфере исторической действительности и лишь из нее самой; даже противоположные понятия и отклоняющиеся в сторону побочные формы абсолютного и динамического государства я стремился объяснять лишь на исторических примерах, в немногих существенных чертах представляя их характерный строй: понятие абсолютного государства — на примере из мира древних римлян и истории халифов; динамическое же государство — на примере уклада Англии, где оно на данный момент, безусловно, достигло в своем развитии высочайшей вершины совершенства. Этот динамический шедевр политического искусства (где оппозиция, коей более невозможно избежать, будучи принятой в состав самого государства, тем самым обезвреживается и обретает легитимность) следует оценивать приблизительно так же, как когда наука целительства, коль скоро миазм становится неизбежен, почитает за лучшее самостоятельно произвести его в теле посредством искусственного заражения, дабы тем крепче утвердить власть над злом, определяя ему цель, меру и даже само время кризиса, и сохраняя возможность с тем большей бдительностью оберегать неприкосновенные границы. На своем верном историческом месте, таким образом, и этот уклад может найти себе вполне удовлетворительное объяснение и оправдание; более того — возможно, он заслуживает высочайшего уважения, признания и даже восхищения. Однако именно потому, что все здесь настолько индивидуально и неразрывно связано с историей, а вместе с малейшим местным отличием у другой нации, или в другом государстве, приходят совершенно иные отношения, потребности и непредвиденные трудности — следует всячески остерегаться рассматривать подобный уклад сам по себе как некую равно применимую для всех народов и повсюду годную формулу политического благоденствия, которую по желанию можно пересадить в любые условия, или переслать с почтой, словно обычный вексель; впрочем, и вообще подражание оригинальным произведениям из одного лишь стремления за модой есть вещь весьма сомнительная³⁹. Если, однако, собственно Гор-

³⁹ Не только в данном месте встречаются глубокие точные оценки английского парламентского строя. Многие шлегелевские оценки в духе его политической философии мы встретим, например, в «Политической теологии» Карла

диев узел в этом шедевре англиканского уклада все еще представляет собой нерешенную проблему, если великий разум и искусство выказывают себя именно в том, что готовая всякую минуту разразиться религиозная война все еще удерживается в узде и не переходит однажды положенных пределов, — то в этом, по всей видимости, можно усматривать еще одно подтверждение и оправдание уже однажды высказанной мною похвалы в адрес превратившегося у нас в Германии в национальный характер и ставшего второй природой межрелигиозного мира, который, вместо упомянутого английского уклада, должен служить нам ручательством нашей внутренней свободы и залогом нашего иного и еще более высокого единства. Этот мир даже более, чем подписан на бумаге: он царит в наших душах; и если даже подчас жесткость того или иного опрометчивого высказывания в творчестве какого-нибудь действительно значительного писателя угрожает принять вид акта оскорбления того или иного политически значимого и влиятельного мужа, то всеобщее чувство тут же во весь голос высказывает свое неодобрение, после чего отдельный диссонанс быстро утихает, возвращаясь в собственные границы, и чаще всего пропадает, не оставив по себе сколько-нибудь глубоких и пагубных следствий. Таким образом, не сам раскол желателен, и не его имела в виду моя похвала; однако мир в ситуации такого раскола имеет весьма высокую цену, и благотворность его еще далеко не в достаточной степени осознается и признается его обладателями: драгоценность его может быть правильно понята и в полной мере оценена лишь из параллели с состоянием подобных отношений у других высокообразованных наций. И если уже всякий обычный государственный мир (коль скоро он с заботой и основательностью обустроен, и на его достижение искренне направляются все силы), имеет серьезное значение для внутренне подвижного и преуспевающего духа в ходе исторического развития и словно бы содержит в себе тайное указание на некий высший и всеобщий божественный мир: то почему бы этому особенному и внутреннему духовному миру также не служить знаменем более богатого и полного будущего и символом грядущего совершенства и конечного единства?

Далее, после того как наряду с расколом в самой вере был упомянут возможный раскол между обеими высшими и освященными ветвями власти: духовной и высшей светской, в соот-

Шмитта. См.: Шмитт К. Политическая теология. Сборник. М.: 2000. Здесь очевидна преемственность основных метафизических идей, идущих от И. Г. Фихте, Ф. Шлегеля и А. Мюллера. — *Прим. науч. ред.*

ветствии с заложенным уже в самом понятии христианской жизни различием между той и другой, — я нахожу необходимым или, по меньшей мере не лишним (дабы предотвратить всякое мыслимое недоразумение) добавить еще одно краткое замечание на тот несчастливый случай, если вдруг такая коллизия достигнет наивысшего градуса явного попрания права и настоящего насилия. Если, теперь, политическая власть является защищающейся и в своей области потерпевшей ущерб стороной, то она, по меньшей мере в наше время, должна уже быть в состоянии помочь себе и имеет на то полное право. При этом остается лишь пожелать, чтобы применение этого права происходило в пределах и формах наивысшей умеренности, как это приличествует верховной власти. Если же, напротив, агрессия совершается с этой стороны и направлена против другой ветви власти, то все же правомерное сопротивление (и это также следовало бы здесь отметить) политическому подавлению никогда не должно становиться материальным и никогда не смеет перерасти в открытое и действительное ответное насилие, ни непосредственное, ни опосредованное тем, что принято называть махинациями: ибо в противном случае освященный фундамент общественной безопасности и существующего нравственного порядка тем самым был бы целиком и полностью подорван. В этом случае религия сама лишила бы себя точки опоры в лице государства: вполне законной, коль скоро это государство останется христианским, — чего истинная религия никогда не совершит; не решатся на подобное и те, на кого возложена обязанность представлять ее в этом истинно благочестивом духе. Следовательно, даже вполне законное сопротивление может носить лишь исключительно пассивный характер; также совершенно не обязательно изыскивать искусственные определения, которые все равно редко когда смогут полностью охватить собой все разнообразие хитросплетений и индивидуальные особенности всех мыслимых или же только встречающихся в действительности случаев; поскольку нескольких лежащих весьма близко к нам исторических примеров будет вполне достаточно, чтобы мы значительно более кратким путем и с гораздо большей наглядностью могли составить себе понятие о том, что именно здесь нуждается в определении. В неблагоприятном случае столь явного и решительного раскола между государством и церковью, образцом оправданного и законного сопротивления с духовной стороны будет то, которое апостольский старец, представлявший в глазах половины европейского христианства

высшие священнические полномочия, в недавно лишь минувшую пору нашей эпохи даже в заточении оказал тогдашнему военному тирану на континенте, после чего был с удивлением, почестями и воодушевлением признан также и другой половиной христианской Европы⁴⁰. Или, если пример должен быть взят более из личных отношений, то обратимся для этого к истории святого покровителя королевства Богемия, которую, однако, нельзя считать легендой, и которая в любом случае представляет собой прекрасный и простой пример благородной, вполне дозволительной и всецело легитимной духовной стойкости против погрязшей в личных притеснениях верховной государственной власти⁴¹. Лишь путем такого сопротивления, а не какого-либо иного, также и в прежние времена, и еще в первые века, поначалу столь неприметное христианство, укрепившись и распространившись внешне, в конечном итоге стало религией всего цивилизованного мира. По существу, однако, видимый раскол и даже тайная война между духовной и светской властью, между государством и церковью, всегда представляет собой большое бедствие, несущее опасность и грозящее гибелью как тому, так и другой. Также и государство подрывает свою собственную основу, которая в принципе может быть лишь религиозной, как только оно занимает враждебную религии позицию или берет враждебное ей направление. Первой и единственной причиной гибели государств отнюдь не может быть финансовое разорение, тот или иной частичный ущерб, та или иная нанесенная рана; по меньшей мере, они никогда не могут служить единственной причиной гибели государства, коль скоро в его целом и в его сердцевине еще сохраняется нравственная энергия: такой причиной заката государства может явиться лишь политическое неверие, которое есть вполне естественное следствие неверия религиозного. Поэтому оба жизненных принципа человечества, обе власти должны взаимодействовать друг с другом — пусть и в существенном и необходимом разделении, однако в мире и в высочайшем единстве, поскольку

⁴⁰ Здесь говорится о папе Пие VII (1800–1823). В 1809 г., по приказу Наполеона, он был вывезен в Савону, затем — в Фонтенбло под Парижем. В 1814 г., под давлением обстоятельств, Наполеон его освободил. Пий VII превратился в общеевропейский символ сопротивления французскому императору. На Венском конгрессе он стал триумфатором. Конгресс, на котором собрались представители России, Пруссии, Австрии, Великобритании, признал папу главой государства Ватикан и всего католического мира. — *Прим. науч. ред.*

⁴¹ Здесь говорится о богемском князе Вацлаве (925–936). — *Прим. перев.*

одна из них зиждется всецело на почве, которую нравственно возделывает и обрабатывает другая, тогда как эта последняя также может обрести простор для своей деятельности лишь в той сфере уверенности и безопасности, какую может предоставить ей исключительно первая. Если бы религия пребывала единой в себе самой и свободной от внутренней партийной борьбы, а государство и общественная жизнь существовали бы с ней в гармонии, проникаясь ее одухотворяющей силой, — то мы уже благодаря одному этому продвинулись бы на несколько ступеней в нашем человеческом качестве, ближе к состоянию того божественного мира, непрерывный и никогда не достигающий полного успеха, однако и никогда не прекращающийся внутренний поиск которого выражает собой всякий несовершенный человеческий мир. Однако разделение между этими двумя силами, которое необходимо для такого все еще охваченного стремлением и борьбой состояния человечества и существенным образом ему свойственно, — гораздо более старо, нежели обычно принято думать и считать. Оно должно было иметь место еще в первую мировую эпоху и в самом раннем язычестве; ибо в самом древнем народе из всех нам известных, в индийском, в самом достоверном из сохранившихся у нас памятнике первоначальной истории человеческого рода, это четкое разделение можно найти уже законодательно выраженным и утверждаемым в качестве непреодолимого водораздела между жреческим и королевским достоинством. У нас тем меньше права обращать наши взоры в этом пункте исключительно на жреческое сословие и его уклад у древних греков и римлян, что язычество в эту позднейшую эпоху подверглось значительному распаду, а у этих образованных народов сделалось легким, зыбким и почти лишенным всякой формы. У этого более древнего индийского народа еще и до сих пор, как и прежде, равным образом брамин, который захотел бы взойти на трон, или раджа, который пожелал бы сам быть как брамин, или которому вздумалось бы планомерно притеснять или уничтожить браминское сословие, были бы мерзостью в их глазах, и подобные деяния показались бы им преступлением против человеческой природы и против божественного порядка; и смешение сословий или каст означает для них то же самое, что и мерзость анархии, каковое понятие служит у них для оригинального обозначения революционных времен, которые, однако, всегда были здесь лишь переходящими и всегда разбивались о твердыню вечно пребывающего неизменным и внутренне несокрушимого, древнего нравственного

уклада. Здесь в некотором ином отношении существует также фамильное сходство с тем германским укладом, который образует основу большинства европейских государств, ибо также и в Германии сословие аристократов, которое преимущественно несет на себе обязанность военной службы, в то же время образует сословие помещиков. Здесь можно было обнаружить даже некоторые из первоначальных и всеобщих вассально-ленных отношений, хотя здесь и отсутствовали наши гораздо более сложные феодальные разветвления, лишь позднее сформировавшиеся на первичной, простой основе. К этой землевладельческой аристократии принадлежат даже князья и раджи; и до какой ступени власти смогут подняться либо опуститься с течением времени те или иные благородные семейства, зависит лишь от их случайного усиления или ослабления. Между этими отдельными градациями не проведено никакой строгой и непреодолимой границы, ибо все целое считается одним сословием и одной кастой. Демократические писатели недавно минувшего времени, пожалуй, именно поэтому, руководствуясь своим весьма верным в рамках их ложной системы ощущением, испытывали глубокое внутреннее отвращение и бурную ненависть по отношению к этому индийскому кастовому укладу, который они везде и всюду стремились заклеить всеми возможными знаками презрения и отвержения. При чисто историческом подходе мне, напротив, пришлось бы счесть, что эта древняя, великая и густонаселенная страна, напротив, именно этому с древних времен господствующему в ней разделению сословий, сколь бы несовершенным мы ни находили его с нашей точки зрения, обязана самой длительностью своего существования, незыблемостью своих нравов и неизменно цветущим благосостоянием вопреки многочисленным пережитым завоеваниям в древние и новые времена. Безусловно, этому индийскому разделению сословий, в сравнении с европейским, недостает печати христианской завершенности и мягкости; и сравнение здесь еще потому может быть в высшей степени поучительным и стоит того, чтобы обращать на него внимание и всячески пытаться его выделить, что христианское разделение сословий по своему принципу в некоторых пунктах разнится от индийского, и вообще должно было бы являть собой противоположность тому состоянию древнего мира, где этот божественный элемент еще отсутствует. Духовное сословие, согласно христианскому пониманию, прежде всего должно зависеть не от рождения, но лишь от своеобразного высшего призвания; посему такое сословие не

может быть наследственным, но может лишь поддерживать свою численность от других, наследственных, сословий. Тем самым снимается и безусловный и совершенно непреодолимый водораздел между другими, в целом, конечно, наследственными, сословиями, ибо здесь сохраняется возможность отдельных исключений и перехода этой границы в качестве награды за те или иные заслуги, или же по тем или иным важным причинам. Поскольку уже в самом христианском устроении, или, как это было выражено ранее, в принципе разумной справедливости (*Billigkeit*), повсюду необходимым и теснейшим образом связанным с христианским понятием права, заложено стремление принести любое возможное облегчение также и низшему, служебному классу, которому уже одной лишь судьбой своего рождения, т. е. в силу высшего божественного веления, выпал на долю и без того самый тяжкий и обременительный жребий — облегчение, которое всегда было бы соединимо с благом целого и с ранее установленными правами каждого отдельного человека; это настолько разумеется само собой, что нет смысла напоминать об этом особо. Точно так же и этот зиждущийся на христианском, а следовательно, — мягком обособлении и разделении сословий, органически упорядоченный государственный уклад должен внимательно принимать к сведению все исторически новое и, по мере того как оно выказывает себя как таковое, признавать его с правовой точки зрения и встраивать его в уже существующий порядок. Я хочу привести здесь лишь один великий и поучительный пример, напомнив о том, как в рамках германского средневекового уклада, и в особенности в немецком кайзеровском государстве, города и ремесла, которые прежде представляли собой весьма малый и относительно незначительный элемент целого, а также новое поднимающееся бюргерское сословие — уже при первом их появлении встретили политическое и человеческое понимание и, получив масштабное органическое оформление, были живо включены во взаимосвязь целого. Возможно поэтому, что и в наше довольно беспокойное время (которое, сколько бы пустоцветов оно ни принесло наряду с добрыми плодами, все же в целом никак нельзя назвать бесплодным) то или иное новшество, поистине являющееся историческим, или же способное таковым стать, — также заслуживает самого пристального рассмотрения, ибо не может остаться незамеченным без огромного ущерба и естественного исторического возмездия. Чрезмерно твердая, односторонне ограниченная, или, если можно так сказать, бездуховно-грубая аристокра-

тия — в том виде, в каком мы, вероятно, иной раз могли встретиться с ней в раннюю эпоху последних столетий, — придется самым болезненным образом не по вкусу как раз приверженцам и любителям старого порядка, ибо она более всего наносит вред и ущерб себе сама, так как любая чрезмерность и любая крайность рано или поздно, согласно историческому ходу вещей, вызывает к жизни свою противоположность и в той или иной форме реакцию с другой стороны. Наследственная монархия как древнейшая государственная форма в истории могла бы существовать в этом мягком и умеренном духе христианского обычая, а также оставаться наиболее стойкой, долговременной и последней для человеческого рода: ибо, при христианском разумном разделении и различении сословий, органически упорядоченное государство, безусловно, в любом разумном суждении заслуживает предпочтения перед искусственно динамическим, жидущимся на разделении властей и их равновесии, однако подверженным в своем беспокойном движении множеству опасностей, государством. Последнее выглядит превосходным и завоевывает себе сторонников лишь благодаря сравнению и в противоположность государству абсолютному и деспотическому, которое, в свой черед (по меньшей мере там, где управляется с умом и с толком), может быть признано терпимым и исторически оправданным, если смотреть на него как на единственно оставшееся средство спасения от народной анархии.

Первая и вторая крайность: абсолютное и динамическое состояние — применимы, однако, не только к отдельному государству и его различным формам или эпохам с их чередующимися счастливыми и несчастными временами; но вся совокупная система христианских государств цивилизованного мира, соприкасающихся друг с другом, в своей взаимосвязи может основываться более на одном лишь фундаменте абсолютного перевеса, подавляющего и выдающегося превосходства; последнее состояние и отношение везде и всюду оценивается как целиком и полностью предосудительное и едва ли находит себе признание, даже как факт. Или же целый мир государств может существовать в системе равновесия, т. е. в искусной динамической организации, где всякая часть будет взаимно уравновешена с другой. Такая система господствовала в восемнадцатом столетии, и в первый период своего образования вызвала всеобщее восхищение. Однако со временем она показала свою совершенную недостаточность и практическую нежизнеспособность. Так что

действительное ее применение едва ли теперь мыслимо и может иметь место в каком-либо ином смысле, кроме охватывающего собой весь земной шар географического раскола; и в этом случае она уже не смогла бы послужить ни одной благой цели, но лишь — ко взаимному вреду. В средневековье кайзерство, уже утратившее первоначальную чистоту и верность своему христианскому происхождению, нашло себе такой благотворный противовес, сообразно форме своего времени, в духовной власти. И железный характер гибеллинов⁴², явственно и резко заявивший о себе как в политической сфере и государственных целях, так и в индивидуальном и нравственном плане, — является, пожалуй, лучшим оправданием как для такого уравнивания вообще, так и для другой (собственно, гораздо более мягко настроенной) партии великих гвельфов. Однако поскольку это древнее историческое различие между духовной и светской властью для нашей просвещенной эпохи чересчур устарело, а его прежний смысл почти совершенно стерся, то нам (коль скоро, по всей видимости, в человечестве должна иметь место некая противоположность) остается лишь элементарное различие между водой и сушей, а в качестве наступающей в тех или иных случаях политической схизмы — между мировым океаном и континентом. По существу также и то великое островное государство, что бороздит все моря и властвует над ними, что простирает свои великодержавные щупальца в самые различные точки всех четырех или пяти частей света, куда только пожелает или найдет нужным — в сущности оно представляет собой не что иное, как морское кайзерство (если кайзерством, в отличие от королевства, называть монархию, объединяющую внутри себя множество государств и народов разных родов и укладов), а следовательно, вполне может приравняться к целому континенту. Несмотря на то, что возможность установления в достаточной мере всеобщей мировой плотины и политического разделения обоих элементов, твердого и текучего, на пространстве всей земной поверхности вполне доказана на опыте⁴³, — все же здесь подтвердилось также и то, что тем самым не достигается никако-

⁴² Гвельфы и гибеллины — враждующие группировки, поддерживавшие соответственно ограничение власти императора и усиление влияния Папы Римского, и, наоборот, усиление власти императора. — *Прим. перев.*

⁴³ Возможно, речь идет о т. н. «континентальной блокаде», предпринятой Наполеоном в войне с Англией. — *Прим. перев.*

го решительного результата, ибо для сего недостает точек непосредственного соприкосновения, хотя на избранном пути обе стороны могут бесконечно причинять друг другу боль и наносить раны. Как всякая динамическая сила и всякое движение находит свое оправдание и признание в рамках целого лишь в потребности времени и в намеренном противопоставлении абсолютному состоянию или же опасности такового; точно так же лишь в течение мимолетной эпохи завоеваний море могло столь высоко подняться в общественном мнении суши в сравнении с нею самой. С тех пор государственный интерес великих держав так или иначе был направлен гораздо более на поддержание мира, нежели на дальнейшее территориальное расширение; ибо всем им приходится сражаться с общим врагом в лице беспокойного духа эпохи, отнюдь еще ими не побежденного. Если, однако, абсолютный перевес вызывает всеобщую ненависть, а динамическое отношение во всей государственной системе отчасти недостаточно для своей цели, отчасти уже более не применимо, то не будет ли мыслимо вместо того и другого равно ущербного состояния найти и постепенно обосновать в высоком принципе христианской справедливости общую точку нравственного единения для всего мира европейских государств? Неужели эта возвышенная идея была не более чем идеальным великодушным порывом? И должно ли считать ее неосуществимой лишь потому, что она встретила с затруднениями? Ведь все великое вместе с тем одновременно и трудно! А поскольку эта высшая точка политического единения может иметь свое основывание лишь в духе и умонастроении, то чересчур поспешное или решительное и насильственное воплощение именно в этом случае было бы весьма ошибочным, ибо нанесло бы ущерб самой идее и повредило бы ее первоначальной чистоте. Безусловно, сперва она должна обрести признание, дабы затем превратиться в целительную силу блага в борьбе против злого принципа времени и во всеобщую основу христианской справедливости для всех политических отношений. Итак, одна — абсолютная — конечная точка европейского государственного мира, которая, в сравнении со своим бывшим могуществом, охвачена ныне значительным обветшанием и распадом, была исключена из идеи такого объединения самой природой предмета; если, однако, верно, что эта точка действительно становилась теперь уже все более и более европейской, в качестве каковой она ранее никогда не рассматривалась, то по меньшей мере некий условный род подчиненного соеди-

нения с общим европейским государственным принципом не может считаться здесь заведомо неуместным и абсурдным. Другая — динамическая — конечная точка Европы, безусловно, наполовину отошла от этой идеи со своей пусть формально и весьма умеренной и лишь условной оппозицией; каковой отход, однако, согласно вескому приговору некоторых весьма компетентных знатоков, рассматривается как весьма значимый и несущий решительные, однако для гармонии целого менее благоприятные последствия. Историческая потребность эпохи в такой или подобной ей идее лежит, во-первых, в — как раз после освобождения от всеобщего гнета весьма живо признаваемой необходимости внутреннего и нравственного восстановления Европы, которое, однако, должно было не просто дедуцироваться и устанавливаться в науке, но получить признание в качестве действующей жизненной силы. А как иначе в христианских государствах могло бы произойти и быть достигнутым это внутреннее восстановление, если не через приведение их вновь к их религиозной основе и не через новое укоренение в ней? Коль скоро теперь такая потребность действительно налицо, то и сама связанная с ней проблема должна считаться исторической; да и само историческое развитие — если полностью отвлечься от той или другой случайной формы первого опыта — рано или поздно с неизбежностью вновь приведет к существованию этой идеи.

Ранее, в средневековье, центром единения европейских христианских государств, который, правда, охватывал собой далеко не всю их систему, была монархия, т. е. старое кайзерство; позднее отношение государств в новом международном праве становилось все более и более республиканским, что, однако, в свою очередь повлекло за собой значительные несовершенства, препятствия и трудноразрешимые осложнения. Может быть, в начинающийся ныне или, по меньшей мере, приближающийся исторический период на его место придет, постепенно развившись и возникнув из этих двух прежних и никогда не всецело удовлетворительных состояний, более тесно сплоченная на основе мирного принципа христианской справедливости корпорация государств? Подобное вполне можно было бы допустить в качестве исторической вероятности. Таким образом, эта всецело практическая мысль о государственном объединении на основе христианского понятия права и в живой связи со всеобщим религиозным центром (последнее, конечно же, следует рассматривать как существенное условие внутренней прочности тако-

го объединения) выглядит совершенно иначе, нежели те праздные гипотезы о вечном мире, которые философия выдвигает для интеллектуального развлечения в своих школьных системах. И теперь, подводя философский итог этого исторического обзора, можно с определенностью сказать по меньшей мере следующее: такой исходящий из единой начальной точки высший и всеобщий религиозный мир, в котором не только нашли бы примирение и, в конечном итоге, воссоединились бы в мирном сближении не только отдельные партии верующих, но в котором также и светская и духовная власть, государство и религия, и ее власть или церковь, были бы связаны в самой глубокой гармонии, — есть, собственно, то, в чем более всего нуждается человечество. Однако он не может быть и никогда не будет достигнут до тех пор, пока не обретут между собой внутренней гармонии также и наука с религией и жизнью, в особенности с общественной жизнью, или с государством, и все эти три жизненных принципа или фундамента бытия человеческого рода не начнут взаимодействовать в совершенном единении. Такой внутренний мир, конечно, представлял бы собой уже нечто гораздо большее, нежели простой государственный мир и его преходящее благо: его следовало бы рассматривать уже почти как новый, священный, божественный — или свойственный высшим духовным сферам — мир, или, как минимум, временное приготовление и искреннее начинание, такому миру предшествующие. Но такой мир не может быть порождением дипломатического искусства, и равно он не может состояться как результат той или иной научной гипотезы: он возможен лишь как результат непосредственного божественного действия и той спасающей божественной силы, которая до сих пор единственно удерживала мир воедино а, возможно, будет спасать и удерживать его воедино и дальше. Философии следует довольствоваться одним лишь указанием на эту цель и эту связь, а также на те исторически данные следы, которые могут служить свидетельством в ее пользу. Поскольку также борьба века сего гораздо более властно, нежели когда-либо прежде, требует от человека приложения всех его сил, — пусть будет достаточно того, чтобы всего лишь осмелиться бросить взгляд на эту прекрасную цель: после этого мы вновь обратим его на охваченное борьбой различных духов и духовных сил развитие. Думается, очевидно, что когда наука, религия и государство и все присутствующие в этих сферах силы, партии и власти, как и прежде, продолжают свое движение обособленно, каждая сама по себе и против остальных, — то мир в резуль-

тате быстрыми шагами устремляется к весьма хаотическому состоянию. Поэтому да не возбранится философии, если она всеми своими силами и в соответствии со своим скромным горизонтом стремится поддержать эту лучшую надежду человечества или открыть взору те или иные исторические точки опоры для этой надежды.

Если эпоха еще не вполне выздоровела, если она все еще пребывает в состоянии болезни, если внутренний материал болезни далеко еще не полностью был удален и извергнут прочь в первом страшном кризисе; если, напротив, все тело европейского человечества все еще во многих местах теснимо им; если оно внутренне проникнуто им вплоть до самых потаенных своих жизненных тканей; если первое его основание лежит в ложных идеях, или же в полном отсутствии всяких идей, в философском заблуждении, распространенном на всю общественную и частную жизнь, в ускользящей бесформенности и в бесконечном разделении, в религиозном и политическом неверии: как может быть тогда заблуждение не просто внешне опровергнуто (ибо от этого зачастую весьма мало проку), но также внутренне побеждено и действительно устранено, если не с помощью истины и духа истины в высшей науке, — т. е. подлинной и истинной, направленной на божественное, науке? Беспокойный анархический дух эпохи, извращенный абсолютный мировой дух — оба они в сущности есть одно, ибо ведь дух, пусть даже и ложный (или, если хотите, поверхностный и мелкий, чувственный и ничтожный дух) есть, однако, тем не менее, дух; его невозможно преодолеть одним лишь простым отрицанием: он вновь и вновь будет оказывать отчаянное и ожесточенное сопротивление. Но в сравнении с божественным духом истины он предстает в своей наготе как ничтожество и исчезает. Однако прямой спор с заблуждением несет в себе тот недостаток, что последнее в результате получает слишком уж явный вид позитивной силы зла, каковой оно само по себе не является: оно становится ею лишь в результате атомистического расщепления и распространения ложных идей и благодаря массе своих сторонников, которых оно легко находит, коль скоро все вокруг охвачено атомистическим разложением. Кроме того, экстрема чрезмерности, как только мы пускаемся в спор с ней, легко приводит нас к противоположной экстреме — в свою очередь слишком далеко идущей, или пусть даже, строго говоря, самой по себе в буквальном отношении верной, однако, слишком резко выраженной и в своем применении отнюдь не благотворной жесткости (*Härte*). По-

этому печальным изъяном большого числа тех признанных (в особенности зарубежных) талантов, что посвятили себя великому делу нравственного восстановления эпохи с научной стороны, продолжает оставаться чрезмерное увлечение этим полемическим направлением и слишком уж исключительный выбор для себя означенного подхода; и, пожалуй, отчасти именно поэтому их благое воздействие остается все еще весьма ограниченным и отнюдь не везде обходится без чужеродных примесей. Если бы мы задались целью прежде всего с наибольшей возможной ясностью, без пристрастия и скрытых намерений, представить внутреннее единство высшего знания и божественной веры, — то дальнейшие следствия истины в ее приложении к жизни проистекли бы из этой попытки сами собой, и из этого простого и чистого источника полноводными потоками стали бы распространяться все дальше и дальше по всей ее сфере и на все ее отношения. Бог есть истина, а потому и дух истины в верной и благой науке может быть лишь божественным. Собственное стремление последней равным образом направлено на божественное; и именно поэтому, конечно, не может быть никакой индифферентной науки. Ибо те, чье стремление, или чувство, или дух не направлены на божественное: мелкая и поверхностная, чувственно-ничтожная и резонерски-суетная наука — именно поэтому есть ложная и в своем действии вонне злая, пагубная и вредоносная. Во всем этом отношении я поименовал науку как третью, хотя и всего лишь духовную силу блага, наряду с религией и христианским правовым государством, в их общей борьбе против совершенно особо грозящих нашей эпохе принципов гибели. Сила науки может находить и иметь свое действие лишь в духовной сфере, но сама эта духовная сфера имеет значительное влияние и на всякий иной высший круг действия. Религия имеет своим предметом прежде всего душу и ее спасение, или ее соединение с Богом; и это есть свойственный ей регион. Однако она также состоит в многосторонних соприкосновениях с высшей наукой и уже сама вмешивается в действительную, и даже общественную, жизнь. Органически же упорядоченная форма последней, или государство, есть, далее, то, что наконец вводит божественное как закон, а также высшую идею справедливости с дополняющим ее милосердием и разумностью — в действительность внешнего телесного бытия и исторического чувственного мира, как земное основание и опору человеческой жизни, реально воплощая их в ней. Однако также и государство не имеет никакой другой основы кроме религи-

озной; оно зиждется на религии и нуждается в науке. Видимое отношение и сама собой напрашивающаяся сравнительная параллель этих трех великих нравственных жизненных потенций общественного бытия — науки, религии и государства — с изначальным тройственным принципом деления на дух, душу и тело как простым основоположным понятием христианской философии (сколько бы последняя ни служила установленному принципу для подтверждения его плодотворности в живом применении), — никоим образом, однако, не должны иметь своим результатом установление или утверждение полного обособления и отрыва друг от друга этих трех сфер, каковое, напротив, было бы совершенно неестественным; ибо, кроме того — как в политическом, так и в психологическом смысле — этим трем основным принципам приходится живо взаимодействовать и пребывать в самом глубоком соединении, дабы произвести совершенство в той или иной сфере. Если, теперь, также и наука, т. е. наука истинная и божественная, может и должна рассматриваться как власть высшего рода, то все же она является таковой совершенно иным образом, нежели религия или государство. Последнее зиждется на божественной основе вечного права, и в этом заключена его внутренняя сила. Религия есть законная форма живой передачи божественной силы и божественной благодати; истинная наука есть высшее устремление духа в божественном направлении истинного познания, и это есть признак, отличающий ее от ложного знания⁴⁴. Итак, что касается государства, то его высший характер зиждется на священной основе самого права; будет большой, губительной ошибкой искать его внутреннюю сущность и истинное политическое благополучие исключительно в той или иной внешней форме или формуле; поскольку внешняя формула слишком уж часто представляет собой не более чем национальную забаву и политическое театральное действо. Однако еще и в другом отношении форма здесь, в этой области госу-

⁴⁴ Рассмотрение Ф. Шлегелем трех самостоятельных «нравственных жизненных потенций общественного бытия» в лице науки, религии и государства, и имеющих «микрокосмическую» основу такого разделения в тройственном разделении на дух, душу и тело, затем можно обнаружить, например, в знаменитых буркхардтовских «Размышлениях о всемирной истории» (1871–1873 гг.), где он рассматривает три исторические силы: культуру, государство и религию. См.: Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М.: 2004. Сходство подходов здесь не внешнее, а глубоко внутреннее. Возможно, что данная рецепция Шлегелевой мысли была анонимной (источник был глубоко усвоен и интернирован и, вследствие этого, начисто забыт как внешний источник, что часто случается в истории мысли). — *Прим. науч. ред.*

дарства, весьма подчинена сущности и праву. В легитимном государстве — к примеру, в наследственной монархии — коронация, безусловно, является красивым, в высшей степени значимым и даже поистине священным обычаем; однако, за исключением совершенно особых случаев и позитивных определений того или иного отдельно существующего уклада страны, само право никак от этого обычая не зависит, и монарх еще и до священного миропамазания является истинно суверенным. Но уже совершенно иначе дело обстоит там, где политическая власть является всего лишь сообщенной или делегированной, как в случае с посланником или уполномоченным для заключения того или иного государственного соглашения. Ибо здесь все право и его авторитет зависят единственно и исключительно от кредитива как законного акта передачи этой власти или этого права, и без него являются совершенно ничтожными. Это распространяется на все случаи и на каждую сферу легального сообщения высшего авторитета, будь он даже и божественным. И именно поэтому в религии как собственной сфере передачи божественной силы и благодати форма является в ничуть не меньшей степени значимой и существенной, чем сама вещь, или сообщенный свет духа и, в сущности, совершенно от нее не отделимой. В науке все совершенно иначе, ибо последняя зиждется на всецело человеческой и прирожденной человеку основе вечного стремления (*Sehnsucht*); если последнее сохраняется в чистоте и утверждается до самого конца, то, безусловно, оно может перерасти в божественную направленность. Также и форма сообщения в науке является целиком и полностью человеческой: посредством языка как духовного медиума представления истины. Если, однако, в этом высшем направлении удастся достичь совершенного центра живой и божественной истины, то, конечно, также и здесь может добавиться действие высшей и даже божественной силы. Однако для этого нет и — по существу самой вещи — не может быть никакой строго определенной формы, внешней санкции и рукоположения. Божественное в науке должно, следовательно, по своей природе оставаться более свободным и не обремененным такой формой; оно может действовать лишь непосредственно как высшая сила и само искать для себя свой собственный закон между законом государства и религии, или же в том и другом одновременно, однако на свой собственный лад. Там, где божественное в науке поистине и действительно налицо, там оно никоим образом не будет спорить с истинным законом — ни с одним, ни с другим, — по-

скольку истина лишь одна и повсюду одна и та же. Если бы, теперь, наука также по своей внешней форме и по своей общественной и гражданской сущности всецело и воедино слилась с религией и духовным сословием, став принадлежностью последнего (приблизительно так, как это происходит в вышеупомянутой индийской кастовой организации, или в египетском жреческом укладе): то можно вполне допустить, что тем самым был бы чрезмерно заторможен и односторонне ограничен свободный рост научного духа, в котором это сословие нуждается для своего развития в присущей ему сфере. Если же, по другую сторону, ложное знание равным образом незаконно хочет присвоить себе духовное право богов на свободу действия (которое в известном смысле подобает небесной истине в ее незримом царстве и которое не может быть отнято у нее, ибо она никогда не употребляет его во зло): то эта дедукция, конечно, может оказаться небесполезной, ибо она дает возможность проиллюстрировать ход возникновения широко распространенного заблуждения и объяснить, почему этот предрассудок, это стремление обрести право безусловной свободы мысли, или же безусловной свободы ее сообщения, столь глубоко коренится в человеческих душах. Однако на этом основании его отнюдь нельзя еще допустить и признать как нечто действительно истинное и обоснованное; ибо именно там, где все, как в этом духовном действии, является лишь непосредственным и не имеющим определенной формы внешней санкции, — также и само право на него могло бы быть лишь неопределенным и индивидуальным. Пожалуй, важной задачей нашего времени, или, по меньшей мере, вопросом искусства будет вопрос о том, не может ли вся эта сфера науки, вся республика ученых (не только школьное преподавание, но вся вообще область воспитания, включая литературу и изобразительные искусства) быть приведена к более органически упорядоченной форме, в соответствии с потребностью эпохи. Тем самым она была бы приближена к двум другим большим сферам общественной жизни в государстве и религии и поставлена к ним в правильное отношение — в соответствии со значительно более величественными и всеобъемлющими идеями, нежели общепринятые и имеющие хождение ныне: ибо традиционные древние частично утратили свою значимость, а зачастую уже не годятся для нынешнего дня; новые же, которые здесь повсюду заявляют о себе, по большей части еще незрелы и опрометчивы и почти нигде не проводятся последовательно. Однако после многолетнего размышления над этой проблемой,

столь близкой мне самому и возбуждавшей мой собственный, личный интерес, — я убедился, что, по меньшей мере на данный момент, глубокие перемены здесь были бы преждевременны и едва ли желательны, и, по меньшей мере, отнюдь не сулят всецело благотворных последствий. В этой сфере все до сих пор еще слишком изолированно: все самое лучшее и благое слишком разрозненно и неоформленно, так что его весьма трудно уже сейчас во всех отношениях и отдельных пунктах привести к единому твердому правилу и к определенной форме. Посредством чересчур рано введенного органического порядка и законодательства мы, скорее, еще более затормозили бы его, нежели двинули вперед его развитие. Лишь дурное и низменное в этом нынешнем хаотическом состоянии науки имеет взаимосвязь и образует собой массы; и если теперь против этого бесконечного атомистического деления и распространения всех возможных и сколько-нибудь мыслимых, опасных и пагубных, ничего не говорящих и безразличных, а подчас также и благих и полезных идей — против этого абсолютно элементарного распада и химического разложения человеческого духа и всей человеческой системы мышления — в качестве временной самообороны и защиты, временного суррогата лучшего и высшего порядка вещей, проводится и утверждается некий негативный предел: то тем менее справедливы и обоснованны (в целом и поскольку речь идет о принципе) также и раздающиеся в его адрес жалобы и упреки. Ибо всюду, где, в силу тех или иных особых обстоятельств, этого не происходит или не может происходить, как непосредственное следствие, развиваются и возникают самые опасные неудобства и перекосы во всей общественной жизни и важнейших ее отношениях. Если, однако, от мелочной полемики нашей эпохи, которая все более и более угрожает превратиться в газетный мир, мы обратим наши взоры к более масштабным, историческим и эпохальным явлениям этого рода, то на них мы и впрямь сможем убедиться в том, что наука действительно есть сила (*Macht*) и может быть таковой. В подтверждение этого в области науки не только из нынешнего мирового периода, но и вообще уже из последних столетий можно было бы назвать множество великих талантов и сил, так или иначе оказавших без всякого преувеличения мировое воздействие. Правда, как раз именно в этот период они приняли более или менее разрушительное или (по меньшей мере, в научном смысле) подрывающее вечную истину направление. Однако, если теперь мы захотим обратить наш взор еще дальше, на все различные

мировые периоды и на движение человеческого духа в них, — то здесь мы, безусловно, увидим высшую власть божественной истины, также и в благом смысле: в качестве чистой и подлинной духовной теократии науки, в области которой — более, нежели в какой-либо иной, применимо также и понятие непосредственной, высшей духовной власти и божественной силы.





ПЯТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Об истинном понятии теократии; о силе науки и конечном восстановлении и совершенстве сознания

Понятие теократии в области политики и ее научной теории чаще всего берется противной стороной или оппозицией в не совсем верном смысле; причем противной стороной я называю тех, кто открыто оспаривает религиозную основу, высшую санкцию и божественный авторитет государства, либо же враждует с ним тайно, а потому вообще не слишком привержен религиозному умонастроению как таковому. Последние употребляют понятие теократии и само слово, а заодно и трактуют господствующую духовную власть в том же смысле, в каком они представляют себе египетское господство жрецов, обозначая с его помощью также действующий в единстве с такой духовной властью государственный уклад, или верховную государственную власть. Однако и сами защитники означенных высших принципов весьма часто употребляют это понятие недостаточно точно и определенно, беря его почти столь же неверно, т. е. так, словно бы под ним нужно было разуметь лишь божественный авторитет государства и церкви, их взаимное обоснование и взаимное действие. Однако это целиком и полностью ошибочно, ибо как королевское, так и жреческое достоинство, с точки зрения присущего им божественного авторитета, являются представительскими, или репрезентативными, а отнюдь не непосредственными. Если мы теперь пожелаем вернуться к источнику, т. е. к исторической основе нашего собственного христианского откровения, и почерпнуть представление о теократии из него, то увидим, что

дело обстоит совершенно иначе, нежели это молчаливо и как нечто само собой разумеющееся предполагают обе упомянутые партии. Собственно, теократию государства можно в полной мере проиллюстрировать и наилегчайшим и наикратчайшим образом пояснить лишь на примере еврейского народа; точно так же как переход от революции, гражданских войн и анархии к абсолютной государственной форме генетически может быть наиболее поучительным и плодотворным образом показан на примере Римской истории. Равным образом природа динамического государства на примере действительного, исторически данного и исторически подтвержденного уклада Англии — может быть понята и осознана лучше, нежели из какой-либо голой теории или той или иной конституции, написанной в качестве предварительного рецепта для некоего имеющего быть поставленным государственным экспериментом; каковой эксперимент непременно должен потребовать для себя времени жизни нескольких поколений, или, по меньшей мере, половины столетия — до того момента, когда можно будет определить, оказался ли он удачным, и суждено ли ему обрести статус исторической действительности. Точно так же и своеобразный характер и сущность теократии нам нигде не удастся понять в ее идее и разъяснить так хорошо, как на примере еврейской истории. Да, пожалуй, лишь здесь это и будет возможно, ибо лишь у этого народа теократия исторически существовала как государственная форма, и, по меньшей мере, в течение первых четырех столетий его истории была господствующей, каковой она не была больше ни у одной другой нации. Сколь бы мало ни было место, занимаемое еврейским государством на всемирно-исторической арене рядом с великими завоевательскими нациями персов, греков и римлян: все же пророческий народ, чью важность следует искать единственно в этом его значении, в его предназначенности для будущего, — с точки зрения его столь своеобразного законодательства и государственной формы, исторически был весьма достопримечателен; ибо в истинной исторической оценке объем власти, безусловно, не может считаться единственным мерилom важности: так это представлялось уже весьма многим (в отношении данного предмета, а также в отношении религиозном — безусловно, заслуживающим и право называться непредвзятыми и беспристрастными) историческим исследователям. То, как этот народ пережил гибель своего государства и два тысячелетия после нее продолжал обособленное существование, также довольно часто отмечалось как

весьма выдающийся и в своем роде уникальный феномен. Моисей, от которого впервые произошла эта теократия, или от которого она взяла свое первое начало, не был первосвященником: таковым был лишь его брат. Сам же он не должен был и не хотел им быть. Равным образом он не обладал наследственным правом, а также не был избран народом; и, тем не менее, он никому не преграждал пути и никого не вытеснял. Так что его (даже если мы всецело оставим здесь в стороне теологическое воззрение и на миг совершенно о нем забудем) — даже согласно самому строгому юридическому понятию, нельзя считать узурпатором в демагогическом смысле этого слова. В более ранний период своей жизни он, похоже, был на пути к тому, чтобы стать народным освободителем в обычном значении этого слова, однако и тут его нельзя было бы считать собственно законопреступным деятелем, ибо к опрометчивому поступку его вынудил один из злодеев-угнетателей. Позднее же, когда он был облечен от Бога священной миссией, мы не сможем указать в его поведении никакой несправедливости даже в отношении египетского царя, и даже с чисто юридической точки зрения. Власть же, которую он осуществлял в отношении собственного народа и посредством которой он его вел, зиждилась на данной ему непосредственной божественной силе. Последняя точно так же непосредственно была признана и не встречала себе сколько-нибудь существенного сопротивления. Поэтому, собственно, право, заключавшееся единственно в этой силе, не подвергалось никаким сомнениям, причем мы также не обнаруживаем здесь следов какого-либо определенного или формального акта внешней санкции. Власть, которой он обладал, была именно пророческой властью: не в позднейшем и более близком нам смысле — лишь предостерегающего, возвещающего, поучающего и прорицающего пророка; но одновременно пророка, воплощающего понятие — действенным образом вмешивающейся в жизнь, господствующей и высшей божественной власти. В самом общем смысле и лишь на тот мыслимый случай, что Бог в иное время, или в ином народе мог выбрать и послать иного Моисея, — в качестве мерила суждения можно было бы привлечь также и то ранее приведенное обстоятельство, что сей названный никого не притеснял и ничего насильственно не ниспровергал, и именно это последнее обстоятельство могло бы также служить признаком отличия истинной миссии от неистинной; ибо истинно божественная и исходящая от Бога власть, безусловно, никогда не станет ни нарушать, ни силой свергать никакое — пусть даже

лишь ею же самой освященное или священное само по себе — право: ни над собой, ни наряду с собой, ни под собой, ни малейшее, ни величайшее. Я вспомнил об этом лишь в дополнение к ближайшему определению верной точки зрения на тот случай, если здесь захотят привлечь сравнение или сопоставление с Магометом, или тем древним индийским Магометом, которого обычно называют Буддой, хотя это не более чем возвышенное прозвище, а отнюдь не историческое имя реальной личности. Оно же будет верным и для всякого иного обладающего религиозной властью мирового реформатора, к какой бы эпохе он ни принадлежал, и для всякого нового Магомета, в какой бы части мира он ни восстал. С точки зрения самой религии или содержания данного откровения, здесь может быть отмечен еще один внешний, пусть даже и всего лишь негативный, признак для отличения истинной миссии от неистинной, который я (поскольку он является всего лишь историческим) также хочу здесь привести, а именно — что истинное откровение в своем учении будет одновременно старым и новым: новым в отношении применения и исполнения в жизни, в отношении животворящей силы и духовного пробуждения; старым же, поскольку оно всегда восходит к более раннему откровению и к еще более древнему кладезю света, вплоть до чистого источника вечной истины, — как это и обстоит в случае с Моисеевым откровением: ибо оно ведет исследователя вспять и все далее в глубь веков, вплоть до этого источника вечного света, и именно поэтому оно всегда признавалось как таковое также и христианской и божественной духовной философией, а сам Моисей с давних пор признавался и почитался как его основоположник. «Абсолютно новое» вообще могло бы означать в области религии только «ложное», или «беспочвенное», т. е. совершенно оторванное от вечного древнего основания, лишенное всякой связи с ним, а следовательно — всецело отдельное и произвольное. В отношении вышеуказанного характера истинного откровения и в противоположность ему, в неистинном, напротив, по большей части все столь же мало является подлинно новым, как и действительно древним: как это, собственно, происходит в случае с учением и с книгой Магомета, сколько бы ни прославляли последнюю в качестве образца поэтического или риторического искусства. Не являются поистине древними ни содержание, ни учение в целом, ибо все здесь лишь позаимствовано, смешано и с очевидным намерением составлено из еврейских или христианских понятий и обычаев. Нельзя назвать это учение древним еще

и потому, что оно вообще не заходит достаточно глубоко и далеко в древность, не достигая даже до начала природы и человека, не говоря уже о тройственном источнике божественной жизни. Что же, теперь, касается Моисея, то обычный исторический обозреватель, не вникнувший глубоко в религиозное воззрение этого характера и не понявший его служения, — возможно, сказал бы: Это весьма чуждый нам мир и далеко отстоящее от нас время; многое в этой истории труднообъяснимо и довольно темно. Однако из всего этого явно следует, что человек этот, по меньшей мере, для своего времени, обладал необычайным величием духа и столь же необычайной силой характера. И потому нас не должно удивлять, если силой своего гения ему удалось повергнуть перед собой все и повести за собой всех. Таким образом, в этом воззрении все сводилось бы к гениальной силе героического характера, вместо непосредственного и высшего божественного воздействия и основывающейся на нем пророческой власти. Если, теперь, такое воззрение, избегающее божественного объяснения, а точнее извращающее и переворачивающее его с ног на голову, — и можно было бы применить к Моисею, на основании той полноты гениальной силы, которой он, впрочем, также обладал, или на основании признаваемой и вызывавшей удивление даже у греческих писателей возвышенности стиля: то все же оно никоим образом не применимо к целому ряду иной раз самых простых людей, которые последовали за ним в этом служении на протяжении целого периода указанной теократии и непосредственно божественного или пророческого правления, вплоть до эпохи царей. Они также осуществляли власть не на основании наследственного права или формальных выборов. Столь же мало будучи священниками, как и Моисей, но будучи непосредственно призваны Богом, они внезапно явились и были столь же непосредственно и без сопротивления признаны и допущены до исполнения высших судейских обязанностей. Таким образом, их миссия и их власть осуществлялись безо всякой внешней торжественности и санкции и безо всякой определенной правовой формы. Обычным состоянием для еврейского народа был уклад благородного и образованного кочевого племени, который никак нельзя смешивать с так называемым природным состоянием или грубостью собственно диких племен. Точно такую же, например, кочевую жизнь, подобно маленьким пастушеским князьям (в унаследованной свободе и среди самых благородных глав племен) — вели до прихода Магомета (а во внутренней Аравии отчасти ведут еще и поныне)

родственные им по происхождению арабы. Подобный образ жизни и общественный уклад можно весьма отчетливо наблюдать у еврейского народа на протяжении всего периода Судей. Лишь к самому его концу появляются пророки, одновременно облеченные священническими полномочиями, образующие переход к царскому правлению и к эпохе Царей. Ибо поскольку теперь народ требовал себе настоящего царя — такого же как у других языческих народов, — то последнему, а вместе с ним и всему предназначенному для царствования роду были даны все мыслимые высшие санкции и священнические посвящения, однако при его тщательном и строгом отделении от священнического сана как такового, или от всякого соединения и слияния его власти с властью священнической. Это горячее и неумное требование народа или общественного мнения, которое в то время устремлялось к образу царя во всем его языческом блеске (точно так же как позднее, и в наши дни, оно устремляется к язычески манящей свободе) было потому вменено им в столь великое отпадение и столь роковую религиозную измену, что в ту раннюю эпоху непосредственной теократии Иегова по сути сам был их истинным и незримым Царем; все же иные вожди или судьи были лишь посылаемыми им уполномоченными, о чем также весьма определенно говорится в Писании. В первых царях все еще продолжает действовать нечто от высших сил и их непосредственной власти той прежней теократической эпохи, что явственно дают нам понять священные книги; однако позднее это влияние полностью иссякает, и, наоборот, по прохождении значительного отрезка времени, контраст в личной силе и в политическом характере поздних царей, теперь уже почти не отличимом от образов прочей политической истории этих азиатских стран, становится просто разительным. Тем самым, я полагаю, истинное понятие теократии в государстве, в том виде как она действительно исторически существовала, должно проступить перед нами достаточно ясно. А поскольку и в наше время, и в нынешней политической борьбе к этой идее весьма часто обращались в совершенно ложном смысле, я счел здесь необходимым дать это разъяснение из источника. Однако чудесным образом и в период Царей у евреев сохранился отдельный элемент из этой прежней, первоначальной теократии древней эпохи, хотя уже и не в качестве высшей государственной власти, которой теперь обладали цари, но в ее формально признаваемой противоположности — недвусмысленной и в своих границах считавшейся вполне законной оппозиции к ней. Последнюю

здесь можно охарактеризовать как божественно легитимную: она нашла свое выражение в решительном умонастроении позднейших пророков этой последней эпохи, когда при ошибках в правлении, или (поскольку в ту простую древнюю пору все отношения имели гораздо более личный характер) иной раз даже пред лицом самого царя, забывшего о своем высоком призвании, они мужественно выступали со словами предостережения или с угрозой божественной кары. При этом они, однако, не представляли собой какой-либо политической власти и не занимали никаких официальных должностей. Эта своеобразная форма государственной оппозиции, считавшаяся вполне правомерной и разрешенной в качестве реликта некогда существовавших в еврейском государстве периода Царей исключительной теократии и абсолютного пророческого правления, — представляет собой единственное в своем роде и в высшей степени достопримечательное явление. И те, чьим сердцам везде и всюду столь мила оппозиция, вполне могли бы заметить (если бы они не столь безраздельно прилеплялись к формам нашей эпохи и к их школьным обозначениям), что, например, Илия нес это свое служение величественной и в то же время глубоко обоснованной и разрешенной оппозиции в государстве, возможно, с такой же, если не с еще большей пронизательностью и силой духа, крепостью характера и чувством справедливости, — как, например, эфоры в Спарте или Демосфен в эпоху македонского влияния в Афинах; как наиболее достойные цензоры и лучшие народные трибуны в древнем Риме, или даже парламент в Англии. Лишь в последнюю эпоху окончательного распада израильского государства, незадолго до установления римского господства и в его начале, царское достоинство и должность первосвященника были таким образом соединены в одном семействе, хотя даже и здесь они не сливались воедино до такой степени, как это принято ныне понимать под словом «теократия»⁴⁵.

Однако совершенно иначе события развивались в христианском мире. Первые апостолы — основоположники учения о благодати и глашатаи новой эпохи в поистине божественном смысле этого слова — безусловно, в ничуть не меньшей степени обладали той непосредственной и чудотворной силой, которой в свое время обладали Моисей и Илия; однако они

⁴⁵ Возможно, имеется в виду женитьба Ирода на Мариамне, происходившей из рода Хасмонеев, брат которой, Аристокбул, был назначен первосвященником, что породило широкий протест в тогдашнем еврейском обществе и привело к созданию общин кумранитского стиля. — *Прим. перев.*

пользовались ею исключительно для распространения и прославления новой религии. Лишь однажды первый среди них, в целях сохранения внутренней иерархии и чистоты организации посвященной Богу общины, воспользовался данной ему силой в качестве судьи, дабы своим карающим и соединенным с божественной волей взором поразить смертью преступника, дерзнувшего ради денег предать дело Бога и истины. Однако они никогда не обращали своей силы против государства и не опирались на нее в оппозиции к нему, несмотря на то, что деспотическое государство римлян того времени в своем отношении к покоренным, обманутым и угнетенным им народам, безусловно, могло представляться захватчиком. Даже будучи в плену и под пыткой, они не употребляли дарованной им теократической силы для собственной защиты и освобождения. Сейчас, когда идея теократии находит столь многочисленные и отчасти неверные применения, следует напомнить о том, сколь мало обоснованы такие применения согласно верному ее понятию в христианском государственном воззрении или государственной теории и в соответствии с ее первым и простым началом. Во все последующие эпохи христианства такая — время от времени проявляющаяся или дарованная той или иной личности — необычайная сила также всегда служила лишь для распространения религиозного учения, его развития и прославления, или же для нового подтверждения старой истины, а отнюдь не для внешнего укрепления чьей-либо власти или даже политического господства. Поскольку же истинная теократия, какой она была в действительности, никоим образом не зависит от какой бы то ни было теории, но, непосредственно исходя от силы и власти Бога, зависит исключительно от Его воли, — то было бы также опрометчивым, если бы некто, исходя из того или иного принципа, захотел вынести о ней суждение, или даже заведомо решить о невозможности повторения такого явления в будущем. Чудо теократии можно брать лишь исторически, точно так же как и сама она есть лишь нечто исторически данное, и из одной лишь теории невозможно вынести на ее счет никакого определенного суждения. Отношение же ее к естественной человеческой истории, или к обычному ходу внешней природы, таково. В общем и целом и в первом своем основании все, конечно же, исходит от Бога как от своей первой причины. Однако одно дело есть простое допущение зла в мире людей, или даже в природе; иное — предположение о том, что природа и мир людей — по воздействию пер-

вого импульса — на некоторое время предоставлены себе самим и ходу своего собственного развития; еще иное — допущение в мире людей высшего авторитета, жидущегося на божественном законе и праве; и вновь нечто иное есть допущение непосредственного действия Бога и его чудесной силы. Следовательно, как ход природы в целом является естественным, а все, что выходит за рамки естественного, представляет собой лишь редкие исключения, вмещающиеся в ход обычных и преобладающих законов природы, — точно так же и ход мировой истории в привычной смене эпох является естественно человеческим и регулируется лишь исторически. Среди них можно предположить или различить, самое большее, отдельные теократические мгновения, отдельные высшие моменты божественного воздействия и явления силы. Эти — великие и всегда влекущие за собой значительные последствия — моменты того или иного внезапного всемирно-исторического переворота всех прежде существовавших отношений, по большей части отражающегося также и на всеобщем мироощущении, в первое победоносное мгновение успеха (или едва лишь чаемого освобождения), весьма верно и с благодарностью воспринимаются и во всеуслышание признаются как нечто высшее и божественное. Правда, восторг и благодарность по отношению к Богу, однажды внезапно и стремительно охватив человечество, обычно бывают мимолетны и рассеиваются столь же скоро и бесследно, как и всякий иной порыв человеческого воодушевления. Наша собственная история может явить нам столь удивительный пример такого рода, что довольно будет одного лишь простого его упоминания, чтобы отпала необходимость в каких бы то ни было дальнейших разъяснениях⁴⁶. Однако эти высокие божественные или теократические моменты в мировой истории могут ознаменовываться не только чудесным поворотом ко благу или счастливым освобождением от власти зла, но могут возвестить о себе также и победоносно и с божественной силой наступающим началом чего-то поистине исторически нового. Можно было бы привести множество примеров такого рода, будь они здесь ко времени и уместны. Первый триумф креста и христианства, очевидный для всего мира, при Константине Великом, — был, пожалуй, одним из этого ряда; и я бы причислил сюда также и пришедшееся

⁴⁶ Речь идет о начальном периоде Реформации, о неожиданном появлении на сцене европейской политики гигантской фигуры Мартина Лютера, хотя собственное отношение Ф. Шлегеля к Лютеру было весьма сдержанным, о чем он писал в «Философии истории». — *Прим. науч. ред.*

на счастливый момент начало христианского кайзерства в Западной Европе при Карле Великом. Более поверхностные исторические критики зачастую подвергаются опасности смешивать эти творческие начальные точки, эти спасительные поворотные моменты высшего рода — по одной лишь их внешней окраске — с обычными революционными событиями, или даже с актами узурпации, быстро достигающими своей цели, от коих они, однако, весьма ясно отделены всей своей сутью, своим внутренним историческим обоснованием, взаимосвязью и, по большей части, совершенно особым отпечатком чистоты и величия, очевидным для всякого чуткого и глубокого наблюдателя.

Из всего сказанного теперь будет в достаточной степени явствовать, в каком именно смысле я ранее говорил о теократии в науке: поскольку также и власть истины в благой и направленной на божественное науке по своему великому влиянию на человеческий род следует относить к высшему порядку, и даже к божественному, — однако лишь в ее непосредственной силе, без какой-либо внешней санкции и определенной формы. Точно так же и заблуждение безусловно и в полном смысле слова есть в своем губительном воздействии сила, причем не в одном лишь чувственно-материальном, или (со стороны духа), лишь негативном, смысле: оно способно перерасти в демоническую власть зла, ведущую к смятению и хаосу, что весьма часто и происходит в действительности, по меньшей мере в наши дни. В какой мере теперь наука действительно может представлять собой силу, не будет столь очевидно, если мы ограничим круг своего рассмотрения одной лишь историей человеческого рассудка в сфере европейского духовного образования. Например, у греков искусство риторики всецело стояло на службе у достигшего высшей стадии разложения государства, во всем потакая его заблуждению. Поэзия, конечно, служила и языческой религии, и религиозному преданию о богах, однако лишь в сфере искусства и игры фантазии располагая гораздо большей свободой. Поэтому также в глубинной основе лучших, чистейших и величайших из древних поэтов можно видеть ту глубоко значимую символику жизни, которой не чужда (или же не строго ей противоположна) даже и высшая, т. е. христианская, истина (коль скоро мы будем понимать ее верно и в свободном духе). Однако такие счастливые начатки божественно одухотворенного и просветленного в своей одухотворенности божественным чувства, конечно, еще не представляют собой подлинной власти идеи

и не обеспечивают действительно определяющего влияния этой идеи на жизнь. Но философия и наука всегда, с самого начала и почти до самого конца, стояли у греков в решительной оппозиции к народной религии, общественной жизни и государству. Поэтому наука здесь либо не имела никакого влияния на действительную жизнь, либо это ее влияние отнюдь не было бесспорным. В любом случае, оно всегда оставалось чрезвычайно ограниченным. Все, что может быть сказано о греках в области науки или идеи, — с некоторыми изменениями или в несколько меньшей степени может быть верно также и в отношении римлян. Во времена средневековья для всей романтической поэзии и эпоса в несколько ином применении будет верно приблизительно то же самое, что прежде было сказано о древней поэзии и искусстве: сколь бы важным ни представлялось это облагораживающее влияние фантазии на нравы и нравственную жизнь, все же здесь едва ли может найти себе место понятие о силе и власти науки. С точки зрения самой этой науки, стремление средневековья в целом было охвачено расколом и пребывало в расколе. С одной стороны, очевидно господствовало тайное стремление к запретной, или же только считавшейся запретной, языческой философии; с другой же — налицо было не менее энергичное старание достичь с ней (коль скоро ее было уже не обойти стороной) справедливого равновесия, или даже найти разумное христианское применение ей в целом и, в частности, царившему, словно монарх, надо всеми науками, Аристотелю. В таких обстоятельствах, будучи связана подобными узами, сила христианской науки, конечно, не могла развиваться в совершенной чистоте, или воздействовать на эпоху и окружающую жизнь: вполне сообразной с христианской жизнью она предстает нам преимущественно у тех писателей того времени, которые стоят вне схоластики, как, например, св. Бернар: ибо в ней, в собственно схоластике, по причине ее происхождения из языческой от начала и до конца диалектики, ни метод, ни образ мысли, не могли быть чисто христианскими.

О том, какой властью располагала наука в последние столетия, и сколь велико ее влияние в наше время, мы уже неоднократно здесь говорили; говорили мы также и о том, что ее сила постепенно принимала все более и более разрушительное направление, или, по меньшей мере, она до сих пор пребывает в великой, напряженной и по существу еще не решенной борьбе между разрушительным устремлением духа и силой добра и ис-

тины, направленной к восстановлению. И лишь к этой последней в ее борьбе против злого принципа неверия и отрицания всего божественного могло бы быть применено здесь понятие научной теократии и той высшей власти, которая единственно могла бы обеспечить ей победу в этой столь неравной по числу сторонников борьбе. Если же мы обратим наши взоры с более широкой точки зрения также и на более древние азиатские народы и вообще в большей мере на религиозную сторону науки и ее памятников: то здесь найдется много такого, равно в форме и воздействии, что гораздо более соответствует этому понятию и уже само по себе носит теократический характер, а потому и может послужить к дальнейшему разъяснению этой идеи. Во-первых, все научное здание индийцев — во всех формах священных законов, систем и их аутентичных комментариев, истории, сказаний и поэзии, почти столь же разнообразных, как литература и философия греков, — образует собой одно целое, где все словно бы изваяно или отлито из одного куска или одной формы, и во всех своих столь разнообразно развитых формах зиждется и покоится на одной, считающейся божественной, основе. И в этом-то как раз и заключается его необъятная сила, благодаря которой оно незыблемо стоит на протяжении уже множества столетий; равно как и великая сила и почти все определяющее воздействие этого целого на индийскую жизнь, которая — единственно благодаря ему — обладает такой внутренней прочностью и устойчивостью, так что можно почти сказать, что здесь наука или эта совершенная, высшая система идей всецело превратилась в действительную жизнь, став второй природой. И эту великую и непоколебимую внутреннюю жизненную силу и длительное воздействие на жизнь я бы приписал не множеству великих заблуждений, которые примешиваются к этой индийской системе веры и идей; но в гораздо большей степени — той силе истины, которая также заложена в ней и смогла сохраниться во множестве великих черт из священного предания древности и первых патриархов, пусть даже со множеством искажений и примесей. И, тем не менее, даже здесь, в столь чрезвычайно единообразное здание проскальзывает та или иная книга или целая система, принадлежащая к оппозиции. Правда, конфликт в целом гораздо менее масштабен и резок, нежели это имеет место у греков, или вообще в европейской истории духа; ибо, несмотря на то, что этот чисто духовный и идеалистический, однако в высшей степени демонический и именно потому поистине антихристиан-

ский основатель философской и религиозной секты, живший приблизительно за столько же столетий до нашего летоисчисления, на сколько Магомет жил позже его начала, смог привести свою религию к господству по большей части лишь на востоке полуострова и в других юго-восточных татарских и китайских землях (где и поныне ее приверженцы составляют приблизительно третью часть населения всей Земли): все же и великая, древняя и подлинная Индия не избежала влияния уничтожительных буддистских идей — наиболее пагубных и разрушительных для человеческого духа из всех религиозных ересей или заблуждений. Теперь же давайте обратим взгляд на священные писания евреев, однако не потому, что они рассматриваются как божественный закон веры для самой этой нации, а также для всех иных народов христианского будущего и потомков — несмотря на то, что выражены в столь высоко индивидуальной и столь всецело национальной языковой форме, что именно по этой причине зачастую представляются темными и малопонятными и вообще не лежащими в области теологического воззрения. Ибо в противном случае избранный пример теократии науки, конечно, всецело совпал бы с самой вещью; но мы будем смотреть на священные книги евреев лишь как на письменный источник о первом происхождении и роде, обо всей жизни, законах и истории этой отдельной нации, включая сюда и дальнейшее пророчество о ней в будущем: как на совокупную историю, поэзию и мудрость, государственное законодательство, включая сюда и надежду этого народа на все грядущие времена. Здесь также, если смотреть с точки зрения общечеловеческой и национально-исторической, бросается в глаза длительное и устойчивое историческое впечатление и огромное, идущее через все времена, неослабевающее воздействие, в силу которых этот древнейший народ, столь удивительным образом рассеянный между прочими народами, по прошествии тридцати трех столетий с момента письменного закрепления этого первого откровения, даже в рассеянии и в состоянии почти полной утраты веры в самого себя, все еще сохраняет свое единство.

В новое время и эпоху второго откровения священная история даже в четверичном представлении, наряду с многочисленными учительными добавлениями и одним великим пророчеством в конце всего целого, образует лишь первую внутреннюю световую сердцевину, которую я поначалу даже не принимаю во внимание, ибо в противном случае вновь, как я уже говорил

выше, пример всецело совпал бы с самой вещью. Из этой первой, внутренней световой сердцевины живого предания в ходе последующих пяти или шести первых столетий [новой эры] получило развитие целое здание христианской научной мысли — законченная система новой литературы, объемлющая собой все возможные формы наставления, исторического повествования, риторики или полемики, и — будучи изложенной на двух языках образованной классической древности — оказавшая весьма значимое воздействие на последующие столетия и поколения. Ибо несмотря на то, что также и здесь (особенно в ранние времена первых веков) вкрадываются отдельные моменты отхода и оппозиции против господствующей системы, или же всего лишь особого мнения или даже бесспорного заблуждения, — все же само целое, несмотря на эти мелкие и в общей массе едва заметные моменты дисгармонии, представляет собой одну систему мысли и одну духовную силу, которая оказалась столь велика, что основоположников (или, скорее, не основоположников, а всего лишь выразителей ее взглядов) с полным правом называли отцами, или земными родителями и учредителями этой Церкви, т. е. нового времени и единым потоком пронизывающей его, возрастающей и передаваемой в нем, истины. Все эти примеры, взятые нами из хорошо знакомых областей, я выбрал с одной лишь целью: обратить внимание на то, что установленное нами понятие теократии науки, или божественной власти истины в ней, для своей конечной победы (скажем более — для полного уничтожения заблуждения) не может покоиться на той или иной отдельной, пусть сколь угодно гениальной силе, но — лишь на общем взаимодействии, на системе сил, на большом, весьма обширном и согласованном внутри себя здании мысли, построенном из множества различных частей, духовных родов и форм выражения. Однако в целом должно господствовать одно божественное направление, присутствовать одна божественная основа, на которой бы оно зиждилось и которая была бы ему несущей опорой. Единственный луч света, будь он сам по себе светел и чист и заслуживай права называться поистине божественным; один лишь удар меча, хоть и нанесенный со всей мощью и решительностью; единственный сдерживающий рубеж, пусть даже проведенный и охраняемый со всей глубиной разума (что значит здесь гораздо более, нежели простая хитрость) — все они окажутся бессильны против этого нового потопа заблуждения и неверия, против безбожных мыслей, т. е. — мыслей, совершенно лишенных Бога и всякого отношения к Богу, против кощунства и де-

монического ослепления. Воздвигнуть же новый Ковчег Завета на время духовного потопа — против этих устремляющихся со всех сторон потоков атеизма — способна лишь божественная сила теократии истинной науки; при этом чаще всего решающим здесь будет ее единство — ее тесная сплоченность в этом единстве; важно также, чтобы те, кто стремится к сотрудничеству ради этой цели, по примеру строителя прежнего ковчега при первом потопе, также держали пред своим внутренним взором более грядущее будущее, нежели настоящее с его мелочными спорами. Эта истинная теократия науки, которая зиждется на врожденном, однако редко когда встречающемся в абсолютно чистом виде и еще того реже выдерживаемом до конца ее божественном направлении, может найти для себя внешнюю опору и свободную сферу действия лишь в государстве (которое само познает и постигает себя в своей божественной основе), а свою внутреннюю жизнь — лишь в божественной благодати и даровании силы истинной религии. Отдельный человек может лишь способствовать этому и стоять к целому лишь в отношении сотрудника, сама же сила всегда должна исходить сверху, от источника всякого блага и всякой истины.

Однако, если смотреть с точки зрения науки, знание и его божественное направление зиждится на сознании, в этом истинном и благом направлении, на божественном восстановлении и достижении сознанием совершенства, в каковом совершенстве и благодаря которому только и может достичь совершенства также и само знание. О том, что человеческое сознание в его нынешнем виде (в сравнении с тем, каким оно было в начале, непосредственно от своего Творца, в первой свежести своей жизненной силы и во всей полноте своей действенности) представляется несовершенным и затронутым внутренней порчей, разрушением и расстройством, — обо всем этом я говорил в начале всех моих замечаний на протяжении всего ряда этих лекций. Естественный вывод, таким образом, лежит в понятии божественного восстановления и божественного совершенства человеческого сознания, лишь благодаря которому и само божественное направление науки отныне обретает прочный и надежный фундамент и теперь уже четкую и несомненную цель. В холодном, абстрактном и мертвом рассудке, в страстно слепой и абсолютной воле, в охваченном диалектическим спором или динамической игрой и на этом пути никогда не достигающем своей цели разуме, в фантазии, пребывающей в вечной и страстной погоне за образами, мечтательно

живущей в образах, всецело в них погруженной и опьяненной ими, — в этих ущербных формах разрушенного и расстроенного грехом и отпадением от Бога сознания предметы ущербного мышления и воления, пусть даже они выглядят как сами по себе безобидные, безразличные, или даже бескорыстные и нечувственные — кроется первый источник многообразных заблуждений, неверия и всех разрушительных и пагубных мыслей. Душа помещается в центре этого четверичного источника ложного мышления и воления, расчлененная и разорванная на множество частей, связанная и словно бы парализованная и замершая; однако, несмотря на это, она продолжает оставаться вечной и бессмертной, и именно отсюда должно начаться новое пробуждение жизни и совершиться восстановление. Божественным же восстановление и достижение совершенства человеческим сознанием следует называть потому, что оно может быть достигнуто лишь на этом пути, то есть через прилежание всей душой к этой ранее уже упомянутой новой и божественной начальной точке человеческого бытия. Чем более, однако, созданная для бессмертия и сама по себе любящая и в этой любви объемлющая все бессмертное, душа — это новое великое человеческое слово — будет воспринимать в себя это второе Божье начало и в свою очередь оплодотворяться им, — тем более также разум и фантазия будут переставать быть друг для друга противоположностями, и вообще противоборствующими, отдельными и разъединенными способностями, и наконец полностью сольются в одну мыслящую и любящую душу. Тогда и рассудок перестанет быть мертвым, холодным и абстрактным: он превратится в живой и пробужденный, т. е. в именно дух, свободный и действующий в этой новой жизни дух. Также и воля уже не будет столь слепа, и больше не сможет быть столь страстно абсолютной; наделенная же зрением воля едина с чувством как третьим членом сознания и всецело вооружена и защищена им. Ибо внешнее, обычно лишь пассивное, чувство приходит теперь в прозревшей воле к активному и живому действию; внутреннее же нравственное, ранее бывшее всего лишь субъективным, чувство, обретает отныне также и внешнее зрение. Такова цель совершенства, и лишь на пути этого божественного восстановления сознания, в его упорядоченном поступенном ходе, может достигнуть своей цели и своего завершения и само божественное направление науки. Вместе с достижением этой цели началась бы поистине новая эпоха; однако сложная и запутанная

проблема нашего времени заключается именно в том, что в нем борются друг с другом истинное новое время и ложное новое время, пытаясь взаимно друг друга уничтожить. Истинно новое время может настать и расцвести лишь тогда, когда будут сжаты и убраны в сторону колосья ложного. Для этого нынешний ложный дух времени, который есть не что иное, как извращенный мировой дух, должен умереть. Это может произойти лишь с помощью меча Слова, или вечной истины, который проникает до разделения составов и мозгов, души и духа; ибо именно вечная, созданная Богом и принадлежащая Ему душа человечества должна быть отделена и вырвана из власти ложного духа времени, смешанного из огромного множества ложных, половинчатых и злых духов. Сам этот дух времени должен быть полностью преобразован, приведен к познанию собственного заблуждения и открытому его признанию; и лишь после того как все полностью отмершее в нем будет предано вечной смерти, он должен быть вновь восстановлен и очищен в огненном потоке истинно нового времени. Однако в этом божественном восстановлении и теократии сознания человек почти всегда может занимать лишь страдательную позицию, и достаточно лишь, чтобы он ничему не мешал и ничего не портил; тогда как в теократии науки ему доступна известная мера сотрудничества. Также и та цель, к которой устремляется истинно новое время, все еще пребывающее словно бы под толстой насыпью ложного, тот божественный мир, лишь малым символом и предвестником, лишь первой и слабой предварительной ступенью коего может являться даже и самый высший и лучший религиозный мир, — такой мир не может быть достигнут благодаря одной лишь человеческой силе и искусству. Не может он быть достигнут и как плод взаимной дипломатической уступчивости, которая здесь, наоборот, была бы предосудительной. Этот мир не может быть обретен и в результате абсурдной в этой сфере амальгамации: мир, в котором, согласно, безусловно, не пустому обетованию, должен быть один Пастырь и одно стадо, — может быть достигнут единственно через Того, Кто от века был Пастырем всех созданных существ, и до сих пор Им является.

Здесь, на этом месте, после вывода, полученного нами с помощью понятия божественного восстановления и достигнутого совершенства человеческого сознания, я позволю себе сделать недолгую остановку и еще раз кратко окинуть взглядом все целое, дабы иметь возможность тем яснее осознать его членение.

При этом в обозначении и самом разделении я намеренно сохраняю традиционную школьную форму и названия этих отдельных философских наук. В первых пяти лекциях речь шла о душе, однако именно в первоначальном объеме ее великих отношений в жизни, а также к природе и Богу, а следовательно — в весьма широко понимаемом смысле занимающейся этим предметом науки философии. Три последующих доклада имели своим предметом божественный порядок вещей, то есть своего рода естественную теологию, однако в целом и полностью живом, идущем вплоть до частных действительной исторической жизни, образе и отношении. Из семи последних чтений первые три были посвящены по большей части исследованию о самой истине, согласно ее основоположному понятию о единстве высшего знания и божественной веры и различающему суждению об истине в борьбе между верой и неверием, а также в соответствии с конечным, заключительным постулатом о единстве самого этого высшего знания и веры с истинной жизнью и — их влиянии на жизнь. Эта высшая логика, как рассматривающая истинную сущность вещей, равным образом могла бы быть обозначена и как онтология; или (поскольку все выводится из божественного принципа) еще и как прикладная теология — наименование, обычное для математических наук — а точнее, как первая часть этой прикладной теологии. Вторую часть образует, далее, метафизика жизни, как наука о том, что стоит над природой, выявление и демонстрация высших и стоящих над природой принципов во всей сфере бытия и данного человеку действительного мира, что, следовательно — согласно старому школьному языку и классификации — можно было бы обозначить также и как космологию в духовном, нравственном и достижимом для человека философском смысле этого слова. Символическая сила и ее божественное сообщение в религии, божественная основа государства, божественная направленность науки и божественное восстановление сознания образуют собой лишь как бы четыре конечных точки или главных региона всех этих выходящих за пределы естественного принципов. Говоря о завершенности и достижении совершенства в этом божественно восстановленном сознании, следует добавить еще несколько слов о подобном же божественном совершенстве не в одном лишь сознании, но и во всяком бытии вообще, или в самой природе, благодаря чему весь этот последний раздел космологии (в той мере в какой он достижим для человека из божественного принципа) также получает с этой стороны свое

завершение. Благодаря такому достигнутому в Боге совершенству человеческого сознания происходит равно и восстановление божественного образа в человеке. Очищенная теперь в Боге и вновь ставшая совершенной душа вновь обретает и духовную плодovitость, и в этой своей внутренней плодovitости, в этой производительной способности, которой лишены чистые духи (пусть и на неизмеримой дистанции и только в производном смысле), уподобляется Творцу. Действующий в сотворенном живой дух подобен духу в несотворенном, от века живом Существове. Живое же и действенное чувство как третье звено или элемент совершенного сознания в своем значении подобно и соответственно действующему божественному Слову. В этом живом, пробужденном и всецело восстановленном сознании человек теперь вновь становится в изначально верное и ясное отношение к природе и ко всему прочему миру. Через свою душу он впервые обретает совершенное единение с Богом; в обретенном духе он теперь может стоять в живом и ясном соприкосновении со всеми другими родственными духами; а благодаря воле, получившей внутреннюю ясность и действенность в Боге, он вновь встал к природе в первоначальное отношение ее первородного Сына и легитимного правителя. Сама же природа — как стенающая тварь⁴⁷ так же пребывает в ожидании своего божественного восстановления и совершенства. Таково единственное имеющее основание в истине христианское воззрение [на природу]. В этом понятии стенающей твари кроется одновременно профетическое предчувствование природы; и столь преобладающее в ней дремотное состояние вызывает также и надежду на великое и всеобщее ее пробуждение; тогда как само естествознание — едва ли более чем полутора или двух поколений назад стало подниматься из могилы своих мертвых понятий; и до сих пор почти все в природе, равно как и в ее познании, погружено во все ту же видимую смерть. Поэтому нас не должно удивлять, если это христианское воззрение на природу и чисто динамическое естествознание до такой степени расходятся между собой: ибо в этом последнем природа всегда предполагается как нечто абсолютное и в себе уже всецело ставшее, чем она очевидно и совершенно точно не является. Более того, зачастую несколько ущербными представляются и иные — по большей части риторические теологические — рассуждения о целесо-

⁴⁷ Рим. 8, 22: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится донныне». — *Прим. перев.*

образности явлений природы и выказывающей в них себя благодати Творца, ибо при этом всегда молчаливо предполагается, что наша нынешняя природа все еще продолжает быть той же, какой ее первоначально создал Бог. Однако против этого определенно и ясно говорит обетование нового неба и новой земли для последнего времени, чем, следовательно, уже сказано, что в свою очередь и природа нуждается в великом восстановлении, выходящем за рамки обычного хода ее собственного развития, которое равным образом было бы мыслимо лишь как результат непосредственного воздействия божественной силы или небесной теократии для этой сферы в сей период всеобщего пробуждения. Мы гораздо более склонны приписывать злу большое влияние и широкое поле деятельности в мире людей, нежели в природе. Однако даже и здесь скорее имеет место и должно быть признано как сообразное истине состояние некоего временного перемирия с разрушительными силами, прежде имевшими значительно бóльшую власть — всего лишь перерыв в ведущемся по определенным законам сражении, — нежели состояние уже совершенного природного мира. При этом нельзя брать в качестве мерила внешнее и разрушительное для человека действие, ибо таковое может быть попросту случайным: как, например, обычные наводнения относятся к экономии элементарного равновесия, а порой весьма разрушительные ураганы, очевидно, представляют собой в высшей степени необходимый для внутреннего здоровья атмосферы, весьма благотворного свойства процесс очищения. Некоторые медицинские опыты и особые болезненные феномены, или же иные ложные органические порождения, такие как появления ужасных насекомых в атмосфере или на поверхности земли; некоторые болезненные состояния, по всей видимости (и если всецело отвлечься от обычного эпидемического принципа заражения), сами указывают на внутренне зловердный и изначально демонический, дикий характер в сфере природы, пусть даже этот последний ныне обнаруживает себя лишь в виде исключения. Насколько разрушительным может быть даже сидерическое воздействие, доказывает по меньшей мере лунатизм. Что даже в этих небесных областях света и сияющих звездных скоплениях, которые становятся зримыми и предстают умиротворенной душе лишь ночью, являя собой словно бы некую более прекрасную и сокровенную сторону природы, тем не менее, далеко не все до такой степени пребывает в гармонии и согласии, как это кажется на первый взгляд, — на это указывает даже нерегуляр-

ность тех хоть и сравнительно редко появляющихся, однако самих по себе довольно многочисленных (эксцентрических и оказывающих на стихию земли порой огненное, а порой водное, но всегда сильное воздействие) революционных светил, орбиты которых астрономии удалось достаточно точно вычислить (без того, однако, чтобы они всегда точно следовали этим расчетам). Все наше общее и историческое знание о природе, т. е. в этом смысле также и о Земле, относится лишь к поверхности, а значит — лишь к одной ее стороне; возможно, что как раз другая, скрытая от нас, внутренняя и более глубоко значимая, сторона является также и более родственной вечному. Действительная природа в своей сокровенной глубине, возможно, весьма мало похожа на то, как мы видим ее извне. На каждом шагу мы встречаемся с новыми доказательствами нашего неведения и видим много такого, что вызывает в нас предчувствие новых незнакомых миров. Вообще вся природа для нас подобна гигантской пирамиде, состоящей из нагроможденных друг на друга иероглифов, из которых мы с трудом можем распознать и связать воедино два или три, ибо нам недостает ключа для прояснения взаимосвязи целого, поиски которого нам никоим образом не следует вести в самой природе (как это весьма часто происходит вследствие принятия ложной предпосылки), но лишь в божественном принципе. И в нем должно найти свое разъяснение все даже самое непонятное. Здесь, на одной стороне поверхности, ни один природный закон (наряду с различием полов, которому вместе с царством животных подвержены также и растения и которое, в определенном смысле, имеет место даже в атмосфере и в ее элементарных жизненных органах) не представляется столь всеобщим, как закон смерти. Если, однако, правда, что по вине того духа, или той силы зла, которая изначально оторвалась от Бога, смерть пришла в мир, а значит — и в природу, то, следовательно, и сама земная и ныне естественная смерть должна вести свое начало от отца вечной смерти. Весьма сомнительно, следовательно, чтобы первые и изначальные природные существа могли быть какими-либо иными, кроме как бессмертными. Когда Тот, Чья сущность есть всемогущество, мыслит себе иероглифы, то иероглифы эти суть живые существа; однако разве мог бы Он, Сам по Себе, мыслить Себе нечто иное, кроме вечного, и творить что-либо иное, кроме бессмертного? На природе все еще лежит древнее проклятие, ибо первый учредитель и изобретатель смерти пустил в ней глубокие корни; и проклятие это не было снято первым человеком, но, напротив, пожа-

луй, было еще более усугублено. И даже после второго божественного начала человека над древом земной жизни было вновь произнесено все то же проклятие: ему и впредь суждено увядание в царстве смерти. Лишь с приходом человека к совершенству может быть побеждена смерть, наступить теократия и начаться божественное восстановление природы, в результате которого также и в ней все обретет бессмертие, а тем самым установится и гармония всего творения.



Философия истории

1829



Предисловие

Ближайший предмет и первая задача философии есть восстановление утраченного божественного образа в человеке, в той мере, в какой это вообще может касаться науки и всей ее области.

Если такое восстановление должно быть познано, понято и действительно осуществлено лишь во внутреннем сознании, то оно само по себе и будет составлять собственное содержание чистой философии.

Показать исторически ход этого восстановления применительно ко всему роду человеческому в различные мировые периоды, в том числе, в его внешнем опыте и развитии жизни, предстavlяет собою цель философии истории.

Следуя этим путем, мы уверяемся в том, что в первую мировую эпоху изначальное слово Священного Предания и древнейшего Откровения заложило прочное основание веры для последующего воссоединения разделенного человеческого рода; далее, мы видим, что среди многообразия влияний, которые в среднюю мировую эпоху оказывали в политическом или в духовном отношении господствовавшие над миром нации — каждая в свое время и в отведенной ей мере, — лишь заключенная в христианстве высшая сила вечной любви воистину освободила и подлинно спасла человечество; и, наконец, что чистый свет этой высшей истины, распространившийся на весь мир и наполнивший всю науку, будучи целью всякого христианского упования и божественного обетования, исполнение и раскрытие которого было уготовано последним временам и эпохе совершенства, увенчивает собою весь поступательный ход этого восстановления. Причины же того,

что этот поступательный ход всеобщего восстановления, совершающегося во всемирной истории действием слова, силы и света Божия и в борьбе со всем, что враждебно противостояло и противодействовало этому божественному началу в роде человеческом, мог быть изложен и изображен лишь посредством живой характеристики различных наций и исторических эпох, — приведены во многих местах самого этого труда. Сообразно с моей целью и в той мере, в какой те или иные недавние открытия лежали в моей области, я постарался использовать для нужд этого изображения многое и превосходнейшее из богатого урожая новейших исторических исследований за последние десятилетия, способствовавших лучшему пониманию древнейшей мировой эпохи, ее духа и языка. Кроме общеизвестных имен Шампольона, Ремюзы, Колбрука, моего брата А.—В. Шлегеля, обоих баронов фон Гумбольдтов и, что касается естественной истории, Г.—Х. Шуберта, которые я с благодарностью привел в самом тексте, я должен с величайшей похвалой упомянуть китайский раздел «Философии в развитии мировой истории» Виндишмана; а в том, что относится к еврейскому преданию, согласно его эзотерическому учению и другим иудейским источникам, в изобилии здесь использованным, — весьма содержательное сочинение, вышедшее в 1827 году во Франкфурте под названием «Философия традиции» и могущее послужить своему неназванному автору лишь к величайшей его чести. В дополнение к этим я мог бы привести еще имена Нибура, Раумера и других, однако применительно к поздней исторической эпохе не так важны новые исследования о каких-либо специальных предметах, сколько верная оценка и правильное обобщение уже известного целого. Собственно исторический материал в философии истории должен и может служить не столько доказательством, сколько наглядной иллюстрацией и поясняющим примером в живом изложении, и если там, где ученое исследование древности еще не завершено, какая-нибудь историческая деталь, невзирая на все мое тщание, окажется недостаточно понятой или неудовлетворительно изображенной, то, как я надеюсь, общий результат ни в коем случае не должен от этого существенно пострадать.

Для указания последовательности отдельных лекций и более удобного обзора всей работы я привожу здесь ее содержание. Первые две лекции наряду с общим введением охватывают вопрос об отношении человека к земле, о разделении рода человеческого на многочисленные народы и о его двойственном состо-

янии в первобытном мире. В следующих за ними семи лекциях обсуждаются следующие предметы: китайская древность и идея китайской империи; формирование индийского духа, образа жизни и философии; ученость и дальнейший упадок египтян, предназначение еврейского народа к сохранению в чистоте божественного откровения, а также особое водительство над этим народом и его судьбы; далее следует характеристика тех народов классической древности, которым была дана великая историческая власть и всемирное влияние, то есть персов с их почитанием природы, обычаями и завоеваниями, греков с их духом науки и политическим устройством, а также римлян с основанной ими в Европе первой всемирной империей. Пять следующих лекций рассматривают христианство, его становление и распространение по всему миру; германское переселение народов и его последствия и арабское владычество над миром в блестящую эпоху первых халифов. Далее следует описание различных временных эпох и периодов развития христианской жизни и мысли, а также христианского государства в новой Европе, сообразно с тем, как христианские народы употребили и использовали дарованный им свет истины. Обсуждаемые здесь предметы суть, прежде всего, установление власти христианских императоров в древней германской империи и великая схизма, сражения Средневековья в эпоху крестовых походов и дальнейшие события вплоть до открытия Нового Света и до нового расцвета наук. В трех последних лекциях разбираются религиозные войны, эпоха Просвещения и революционная эпоха. Наконец, восемнадцатая и последняя лекция посвящена господствующему духу времени и всеобщему восстановлению.

В целом в отношении этого предпринятого мной нового начала философии и всего философского знания следует в общих чертах заметить следующее. Первое пробуждение и обращение высшего сознания к истинному познанию и познанию истины я попытался рассмотреть и показать в «Философии жизни».

Исторически показать восстановление всего рода человеческого в утраченном богоподобии по мере возрастающего действия благодати в различные эпохи от первоначального откровения до средней точки спасения и любви, а от нее к последнему совершенству составляет предмет настоящей «Философии истории».

Полное восстановление сознания, всецело осуществленное в соответствии с троичным божественным принципом, будет опи-

сано в третьем труде, посвященном науке о живом мышлении в области веры и природы в ее приложении к философии языка.

Мне было бы желательно, чтобы он, если позволят обстоятельства, весьма скоро последовал за первыми двумя представленными здесь сочинениями.

Вена, 6-ое сентября 1828 г.





ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

Введение и начало

*«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною,
и Дух Божий носился над водою»*

Под философией истории отнюдь не следует понимать некий ряд замечаний и мыслей об истории, составленный в согласии с какой-нибудь самоизобретенной системой идей или гипотезой, произвольно привносимой в факты. История никоим образом не может быть отделена от фактов, но всецело основана только на действительности; потому и философия истории — как ее дух или идея — должна вытекать из действительных исторических событий, из живого описания и исторической характеристики самих фактов как их чистый результат, а именно, она должна быть выведена из них как из целого и из существенной взаимосвязи этого целого, причем ясное упорядочение материала будет необходимым условием и важнейшим вспомогательным средством к его правильному пониманию. Ибо, хотя здание всемирной истории, покуда ему недостает по меньшей мере завершения, в этом смысле должно считаться незаконченным и возвышается перед нами, словно исполинский обломок, некоторые части и детали которого нам хуже известны и менее отчетливо видны, нежели прочие, — все же его строительство продвинулось довольно далеко, и вот уже достаточно крупные звенья и части целого стали перед нами, выстроившись в ряд, так что, отчетливо упорядочив все эти отдельные исторические массивы и мировые периоды, мы уже можем составить определенное представление о целом и отыскать в нем ясный смысл и значение.

Итак, наше намерение состоит в том, чтобы, насколько это вообще возможно, понять и уяснить себе в целом и во взаимосвязи этого целого все то, что до сего дня на самом деле совершалось и действительно происходило с родом человеческим, правильно определить и оценить по внутреннему содержанию и истинному значению отдельные всемирно-исторические периоды, этапы или разделы в их отношении к ходу истории как целого с учетом всего того, что в них есть вредоносного, полезного и безразличного, и тем самым до некоторой степени понять и само это целое, насколько, конечно, это возможно для ограниченного человеческого разума. Такое понимание, такое познание и верное суждение, такое проникновение в суть всемирно-исторических событий и развития истории как целого, в сущности, и является тем, что можно было бы назвать наукой истории, и я сам предпочел бы использовать здесь именно это наименование, не будь оно так легко подвержено всякого рода превратным толкованиям; к тому же, вероятнее всего, оно было бы понято как относящееся к специальным ученым исследованиям, в отличие от другого названия, которое я и выбрал взамен для обозначения сути предстоящего изложения.

Но если мы собираемся понять и постичь целое, то на этом целом мы и должны сосредоточить свой взгляд, не рассеиваясь сверх меры на частности и не задерживаясь без нужды на ближайшем окружении. В согласии с чувством исторического настоящего, ничто так не близко нашим интересам, как вопросы войны и мира, и это вполне естественно, поскольку и с точки зрения общественной жизни, и с практической стороны, война и мир считаются делами наивысшей важности, ибо от-важное и успешное ведение первой приносит высочайшую славу, а прочное утверждение и надежное сохранение второго считается высшей задачей политического искусства и человеческой мудрости. Но не так обстоит дело с точки зрения всемирной истории, если только она действительно должна быть понята и постигнута как таковая и в целом, ибо здесь самое далекое прошлое, самая глубокая древность не менее занимает наше внимание, чем мимолетные события дня или житейские заботы нашего времени.

Конечно, если война, шедшая, может быть, более двух тысяч лет тому назад, так что и сражавшихся тогда государств давно уже нет на свете, весь мир с тех пор изменился, и прежнее положение дел отделено от нынешнего целым рядом катастроф, — не имеющая поэтому даже отдаленных аналогий к обстоятельствам ближайшего к нам времени и не пред-

ставляющая непосредственного интереса, будет исследована могучим разумом Фукидида и не только красноречиво описана его высоким художественным стилем, но и раскрыта перед нами с глубочайшим знанием человеческой природы, общественной жизни и самых сокровенных тонкостей государственных отношений, — то такая война всегда остается для нас предметом в высшей степени притягательным и во многих отношениях поучительным; мы с радостью углубляемся в детали столь удаленных от нас событий, и подобные штудии, пусть они и являются не более чем упражнением в политическом мышлении и школой исторического суждения, следует почитать и приветствовать как в высшей степени полезные. То же самое можно отнести и к тем случаям, где острый разум и тончайшая проницательность Маккиавели подвергает точному анализу, подробно объясняет и раскрывает перед нами внутренние распри того или иного малозначительного государства. Все сказанное, по всей видимости, еще более верно, если глубокомысленный и проницательный взор Тацита направляется на достопримечательное в своей продолжительности состояние мира — как то, которое император Август даровал или обещал даровать всему известному тогда цивилизованному миру и сумел надежно обеспечить на целую эпоху вперед, — вместе с его позднейшим развитием и дальнейшей чередой его последствий, и мы получаем мастерское изображение эпохи, выполненное его рукой на просторном полотне, открывающее нашему взору картину того, как под покровом мнимого спокойствия повсюду шло внутреннее разложение, прорастали бесчисленные зародыши распада, открывалась бездна разрушений и беззакония, как всё явственнее проступало это внутреннее злое начало вырождавшегося римского государства, которое под властью чреды негодных правителей мало-помалу приближалось ко все более ужасной катастрофе.

Как мы говорили, изучение таких и подобных им классических исторических произведений сохраняет неизмеримо высокое значение в качестве школы политического мышления и исторического суждения. Но, если отвлечься от этого обстоятельства, то, взятые сами по себе и для себя, все эти бесчисленные сражения, эти бесконечные и, по большей части, бесцельные войны, долгие ряды которых на протяжении многих тысячелетий наполняют анналы истории всех народов, суть лишь отдельные малые атомы в отношении к человечеству как целому и к его всемирно-историческому развитию. То же самое,

с небольшими поправками, можно сказать и о многих знаменитых мирных договорах и союзах давнего прошлого, если они более не представляют интереса с точки зрения практической жизни и текущего положения дел; часто они создавались ценой немалых усилий, поддерживались с великим искусством, но, будучи по природе своей неустойчивыми, рано или поздно — и часто довольно быстро — вновь распадались и разрушались.

Из всех составленных в древние столетия описаний войн и мирных соглашений, которые для нашей политической современности и практического порядка вещей уже утратили всякое значение и важность, для философии истории проистекает лишь одно, однако немаловажное, следствие: внутренний разлад, присущий роду человеческому и всей человеческой природе, в каждый момент и во всяком отношении может перерасти в открытую борьбу и разразиться настоящей войной, и даже мир, эта непреложная цель высшего политического искусства, с данной точки зрения предстает ничем иным, как постоянно сдерживаемой и предотвращаемой посредством того же самого искусства войной, предрасположенность к которой и вызывающая ее болезненная субстанция почти всегда где-либо имеется в наличии. Совершенно так или почти так же научно мыслящий врач рассматривает здоровье и нормальную температуру тела как счастливое равновесие и легко утрачиваемую срединную линию между двумя противоположными крайностями недуга или как непрестанное и тщательное предотвращение болезни, поскольку почти всегда и практически повсеместно мы встречаем и обязаны предполагать некоторую предрасположенность к ней в форме того или иного заболевания, того или иного внутреннего органического несовершенства.

Вообще же политические события составляют лишь одну сторону всемирной истории, а не все целое человека и его исторического развития. Всякое знание о частностях, сколь бы обширным и многообразным оно ни было, еще не создает науку в философском смысле слова, которая может заключаться только в правильном понимании целого, в как можно более всеобъемлющем его постижении.

Подобно тому, как большинство из девяносто миллионов человек, населяющих по наивысшей оценке (при приблизительном, конечно же, подсчете) весь лик Земли, рождаются, живут и умирают, но не могут стать предметом истории или быть хотя бы как-то принятыми в расчет во всеобщей истории, так что крайне малое число тех, кого мы по праву можем назвать исторически-

ми людьми, составляет лишь редкое исключение, точно так же могут существовать и целые народы и страны, заслуживающие упоминания разве что в числе прочих: в качестве примера какого-либо второстепенного исторического явления или в общем географическом обзоре человеческого рода, — не занимая отдельного места в истории человечества как целого или в его восхождении по ступеням развития, не становясь частью и элементом целого и не имея для него сколь бы то ни было выдающегося значения. Существует, конечно, другая точка зрения, с которой дело выглядит совершенно иначе, и действительно иначе обстоит: пред всевидящим оком Провидения в каждой человеческой жизни, сколь бы краткой она ни была, сколь бы незначительной ни казалась, заложен некий зачаток внутреннего развития и судьбоносного выбора (*Entscheidung*), то есть, своего рода история, понятная лишь тому самому оку, видная только ему, а значит, и не вполне бессмысленная; однако все сказанное применимо только к этой, уже внеисторической точке зрения, к тому, что касается бессмертия души, к связи нашей земной жизни с иным, невидимым для нас миром. Но историческое знание ограничивается сферой человеческого, а следовательно, и мы в нем обязаны твердо придерживаться человеческих масштабов.

Но духовное развитие, коль скоро оно является историческим, точно так же относится к этой сфере человеческой истории, как и внешние политические события, и никоим образом не может быть из нее исключено. Тот древний мастер проницательности человеческого ума, что был учителем великого Александра, должен быть отнесен к редким, исключительным примерам исторических личностей с не меньшим, если не с большим основанием, чем сам этот завоеватель, хотя сей философ, глубоко охвативший разумом природу, мир и человеческую жизнь, в свое время был признан и знаменит несравненно менее, чем в далеком будущем, у потомков. Здесь, на европейском Западе, после того, как все империи, основанные македонским полководцем, давно исчезли с лица земли, обратились во прах и были забыты, на протяжении многих столетий Аристотель, словно неограниченный монарх христианских школ Средневековья, определял ход всего человеческого познания и мышления (всегда ли его правильно понимали и надлежащим образом истолковывали, для нас пока что неважно, поскольку речь идет о его общем влиянии и исторической важности), да и позднее, в Новое время, он поначалу довольно долго служил проводником и учителем лучшего, основанного на

опыте естествознания, в котором и сам достиг великих для своего времени результатов.

Таким образом, первое основополагающее правило исторического знания и исследования, коль скоро в них предполагается и должно быть достигнуто познание целого, состоит в том, чтобы сосредоточивать внимание преимущественно на тех вещах, которые существенны и действительно значимы для этой цели, не углубляясь сверх меры в детали специальных изысканий и исторических фактов, так как обилие и разнообразие таких предметов безгранично простирается в любом направлении, и в этом океане частного исторического знания наша цель неизбежно упускается из вида. Конечно, первоначальное основополагающее преподавание истории в школе представляет собою не только важную, но и весьма существенную составную часть высшего научного, да и вообще всякого культурного воспитания. Но, по сути своей, в первую очередь, оно есть только номенклатура важнейших личностей, знаменитых имен и фактов, костяк исторического членения по хронологическим разделам и датам или согласно географическому плану — все, что должно запечатлеться в памяти и быть заложено в нее в качестве необходимой предварительной основы, на которую затем будет нанесено то, что может быть живее и полнее познано и понято только в более зрелом возрасте. Итак, это лишь первичное основание, как бы устойчивая опорная точка в памяти, как бы легкий в обращении орган и удобный инструмент для правильного и ясного упорядочения приобретаемых впоследствии весьма пространных исторических знаний, то есть, скорее общая подготовка к изучению истории, нежели сама наука и совершенное постижение оной. На более высоких ступенях академического образования преподавание истории, естественно, принимает другую форму в зависимости от направления выбранного образования и профессии: одна часть и одна сторона истории и исторического знания преимущественно необходима богослову, и совсем другая служит в качестве вспомогательной дисциплины юристу или обычному гражданину. Для врача и вообще для естествоиспытателя наиболее привлекательной стороной остается естественная история и то, что есть наиболее родственного ей в истории человечества; филологу и языковеду открывается со всех сторон труднообозримая, почти безграничная сфера частных исследований древности, — особенно сейчас, когда наряду с античной ученостью и дав-

но известными восточными языками внимание европейских ученых столь сильно привлекли к себе языки и исторические древности отдаленнейших стран Азии, а источники становятся во всех отношениях все более доступными. Но и область новейшей политической истории, из которой столь многое должно быть почерпнуто и усвоено для дел практической политики, является не менее безграничной, если наряду с классическими трудами новейшего времени посмотреть и на бесчисленное множество отдельных мемуаров и других сочинений о государстве и политике, особенно в то время и в том мире, где журналы и газеты стали властью, искусством и наукой, а те, в свою очередь, всё более грозят превратиться в газеты. А если, наконец, мы пожелаем, к тому же, учесть и неопубликованные источники этой политической и статистической области, то, несомненно, архив иного государства будет способен в достаточной мере занять собой всю человеческую жизнь.

Во всех этих специальных исторических предметах и особых аспектах целое оказывается подчиненным некоторой побочной цели, как это, впрочем, здесь иначе и не может быть. Было бы, наверное, даже полезно для надлежащего суждения о всемирной истории как целом и для ее более глубокого понимания всерьез испытать себя в той или иной отдельной сфере столь многообразного исторического знания и на протяжении некоторого времени углубляться в один этот предмет, что почти никогда не происходит без особенной склонности и почти что пристрастного отношения к нему. Однако эти занятия остаются всего лишь предварительным упражнением к целому, к науке и философии истории, или частным вкладом в нее, однако еще не являются самой этой наукой. Так и я в начале своей литературной жизни посвятил немалое время обстоятельному изучению греков, позднее меня весьма привлекли к себе ставший теперь более доступным язык и духовная самобытность Индии. Среди житейских борений и обстоятельств нынешнего времени мне не остались чуждыми патриотические чувства по отношению к отечественной и ближайшей по времени истории, и, может быть, среди моих слушателей есть и те, кто еще припоминает выдержанные в этом же духе исторические доклады, читанные мной в этом имперском городе восемнадцать лет тому назад. Но теперь мое желание и поставленная мною цель заключаются в том, чтобы, не отдавая предпочтения каким-либо древним или прочим азиатским или европейским

частностям, исчерпывающе объяснить и с полной ясностью и общедоступно показать только целое всемирно-исторического развития в соответствии с его существенными частями, элементами и стадиями.

Первое выдвинутое нами основополагающее правило: имея в виду целое как цель, направлять внимание по преимуществу именно на этот существенный предмет, не рассеиваясь и не теряясь в деталях, — касается в первую очередь метода исторического познания и мышления. Второе правило обращено к содержанию самого предмета и находится в особо близком и важном соприкосновении с началом и первой темой настоящих опытов, а именно, с первобытной историей. Это второе основополагающее правило исторического исследования я сформулирую попросту так: не следует стремиться все объяснить. В науке об истории никогда нельзя отрывать от исторического предания, чтобы не потерять всякое основание и твердую почву под ногами. Но само по себе историческое предание, даже правильно воспринятое и тщательно очищенное, не всегда приводит нас к полной и словно бы математически доказанной уверенности, что, в особенности, нередко имеет место в древней и древнейшей истории. Здесь нам не остается ничего иного, чем принять как данность самые лучшие и надежные сведения, которые предоставляет нам та историческая традиция, которой мы располагаем, даже если что-то из них покажется нам весьма чуждым, темным или загадочным: может случиться, что решение загадки, часто совершенно неожиданно, само собой обнаружится в совсем другом месте, в связи с иной отраслью исторического знания, или, как я бы сказал, иным потоком предания. Однако очень рискованно сразу же пытаться полностью все объяснить, сразу же заполнить все кажущиеся пробелы и добавить все недостающее, ибо в этой склонности скрывается подлинная причина и первичный зародыш всех искусственных и произвольных гипотез, которые в гораздо большей степени, чем открытое признание того, чего мы еще не знаем и о чем не имеем надежных сведений, ограничивают или, вернее даже, извращают историческую науку и тем самым любому — изначально, может быть, не столь уж и неправильному — мнению дают, по меньшей мере, ошибочное направление или слишком широкое, неверное применение. И если то, что кажется нам не вполне ясным и что мы оставляем необъясненным, является не более чем частностью, оно далеко не всегда будет препятствовать

нам постигать историческое развитие человека как целое — насколько это вообще возможно по человеческим меркам, — а значит, и понимать его, даже если в каких-то частностях в нашем познании будут оставаться малозначительные пробелы.

Отдельный пример, который сразу же введет нас в суть дела и тему настоящей лекции, лучше всего сможет объяснить нам эту проблему. Представим себе, как отважные мореплаватели (а то, что я привожу здесь только для примера, не раз случилось и в действительности) высаживаются на остров посреди великого океана между Америкой и Восточной Азией, населенный грубыми дикарями. Остров лежит на большом удалении от побережий как того, так и другого континента, а если мы представили, что он входит в некоторый архипелаг, состоящий из множества мелких островов, то и о них можно сказать то же самое. У дикарей имеются только жалкие рыбацкие лодчонки, выдолбленные из ствола дерева, и нелегко понять, каким образом они смогли добраться на них так далеко. Спрашивается, каким образом это племя, эти дикари впервые попали на свой остров? Языческая натурфилософия, которая и в наше время нередко дерзает снова возвысить свой голос, конечно же, не замедлит с ответом: «Вот здесь-то как раз и видно воочию, — скажет она, — что все на свете возникло из первородной слизи или первичной кашицы, и нет никакой нужды допускать существование какого-то вымышленного Творца; так и эти самозародившиеся дети Земли, знаменитые автохтоны древности, как истинные чада природы сами собою выросли из этого плодородного ила». Разумеется, более научно обоснованная физиология, подойдя к вопросу только со стороны человеческого организма, едва ли сможет согласиться с этим хаотичным представлением и гипотезой о первородной слизи. Ибо само сложное устройство органического тела человека, хотя и ставшего ныне телом смертным, все еще одарено и наделено многими удивительными силами и все еще несет в себе потаенный свет своего небесного происхождения. Итак, не желая более вдаваться в этот спорный вопрос, который, собственно говоря, лежит за пределами предначертанного здесь круга, я буду молчаливо предполагать, что хотя, по свидетельству древнего Предания, человек и был создан из праха земного, сотворила его та же рука, что незримо ведет по жизненному пути каждого из нас и что не раз спасала весь род человеческий на самом краю пропасти; ею же и было создано это удивительное тело, в которое затем Творец вдохнул бессмертный дух жизни. Эту божественную искру

в человеке, невзирая на представления об автохтонах, признавали и язычники в прекрасном сказании или поэме о Прометее, и многие из их первейших умов, мыслителей, ораторов, поэтов и вообще высоконравственных мужей неоднократно и велегласно, в тех или иных словах, во всем многообразии образного выражения свидетельствовали об этой божественной искре и возвышенном духе, обитающем в человеке. Эта общечеловеческая вера в небесный луч Прометея (или как бы еще его ни называли) у нас в груди и есть, в сущности, та единственная предпосылка, на который мы здесь можем основываться и из которой должны во всем исходить. При противоположных убеждениях, при решительном неверии во все то, что, по существу, делает человека человеком, невозможна вообще никакая история и никакая наука о ней — и это единственный аргумент, который мы пока что должны здесь противопоставить этому неверию, отрицающему все возвышенное. Впрочем, сотворение человека или, говоря с точки зрения неверия, первоначальное возникновение человеческого рода — это предмет, лежащий за рамками истории и долженствующий быть целиком предоставленным откровению и вере, поскольку до него не простирается никакая история, историческая наука и историческое исследование. В действительности, как это вскоре обнаружится само собой, исходной точкой истории является скорее второй шаг человечества, следующий за его таинственным возникновением и первоначалом, предшествующим всякой истории. Но вернемся к избранному нами примеру с островом, лежащим посреди океана, и живущими на нем дикарями с их рыбацкими лодчонками: подлинное решение этой воображаемой загадки без труда обнаруживается впоследствии, при ближайшем знакомстве с нею, подобно тому, как это бывало с реальными историческими загадками. Например, если обстоятельно ознакомиться с языком и преданиями этого грубого и дикого или, по меньшей мере, одичавшего племени и провести их сравнительное исследование, то может обнаружиться их столь поразительное сходство и родство с языком и сказаниями племен того или иного, пусть даже весьма удаленного, континента, что даже самый скептический ум не усомнится в их общем происхождении, в их реальной исторической общности, слишком поразительной и очевидной, чтобы ее с какой бы то ни было вероятностью можно было принять за слепую игру случая. А если это было установлено, подобно тому, как такая историческая общность языков, сказаний и племен всех народов Земли была обнаружена и признается

в наше время самыми сведущими в законах природы и языках исследователями истории, то становится безразличным или малозначительным тот способ, которым наше вымышленное дикое или одичавшее племя впервые попало на свой остров, так что было бы напрасным трудом выискивать среди сотни мыслимых и немыслимых возможностей и случайностей ту, которая послужила причиной этого события или способствовала ему и которую можно предложить в качестве наилучшего решения загадки, или строить хитроумные гипотезы о том, как в древности пролегали побережья по обе стороны океана, прежде чем разрушительные наводнения прервали их сообщение с нашим маленьким островком, и при какой из последних великих природных катастроф это могло случиться. Все эти догадки следует оставить в стороне и, довольствуясь основным результатом, продвигаться дальше в историческом изучении и обозрении Земли. Ведь теперь, когда ее поверхность была тщательнее исследована и точнее описана, она предлагает нам совершенно иные и гораздо более важные загадки, касающиеся именно человека и его древнейшей истории, чем те, что содержались в вышеприведенном примере.

Общеизвестно, что в очень многих местах во всех частях света и по всей земле, в недрах гор и на равнинах, часто почти у самой поверхности, порою на большей глубине, а иногда и в самом центре высокогорий, вплоть до весьма значительных высот над уровнем моря, можно найти целые россыпи костей, принадлежащих современным и древним, не существующим более, видам животных — как хаотические следы всесокрушительного наводнения, при виде которых каждый сразу же вспомнит общеизвестное предание о великом потопе. В других местах, в свою очередь, находят обширные пласты кораллов, морских раковин и других морских растений и животных, явственно различимые участки морского дна, отчасти неотличимые от нынешних, — все это слоями покоится в толще материков. По всей видимости, это не просто памятники какого-то одного события в мире природы — из этих гигантских природных гробниц древности встают перед нами многочисленные загадки самого различного рода, которые, хоть и касаются в первую очередь Земли как обители человечества, но в силу последнего обстоятельства все же имеют отношение и к самому человеку и его первобытной истории, пусть не прямое, а опосредованное, но все же очень близкое. Частный пример снова лучше всего послужит нам, чтобы среди столь многих предметов,

может быть, уже не поддающихся объяснению, указать на те, что наиболее важны для истории, а также объяснить, каких границ нам следует держаться и каким правилам следовать. Не столь многое время тому назад, лет приблизительно девять, в графстве Йоркшир, в Англии, была обнаружена пещера, полная скелетов и костей, принадлежавших преимущественно гиенам, того же рода, что и ныне можно наблюдать близ Мыса Доброй Надежды, на южной оконечности Африки; среди них были и кости тигров, медведей и волков, а также слонов, носорогов и других зверей, ни один из которых более не встречается в Англии, не исключая даже найденный там древний вид крупного оленя. Чуткий исследователь, натурфилософ Шуберт, которого я охотнее всего сделаю своим проводником в вопросах подобного рода, в своей естественной истории замечает об этих новооткрытых пещерах, гробницах иного, давно исчезнувшего древнего природного мира, что, прежде всего, совершенно неприемлема идея, будто весь этот слой столь хорошо сохранившихся костей мог быть принесен сюда морскими потоками из какой-нибудь южной дали. Ему представляется гораздо более вероятным, что вся пещера служила некогда логовом целой стае гиен и что они же стащили туда кости прочих животных, поскольку этот ужасный хищник питается преимущественно костями, которые превосходно умеет раздроблять, отчего он так охотно копается в трупях. Сколь же неизмерима дистанция между нынешней высокоцивилизованной жизнью, с ее цветущими ландшафтами, землей, с избытком наполненной всеми плодами человеческого усердия, покрытой всевозможными изделиями искусного труда и украшенной садами, между этой владычествующей над морями царицей всех островов — и теми дикими временами, когда орды гиен бродили там вместе с гигантскими животными, порождениями южных широт и тропического неба! Итак, приходится предположить, что климат Земли совершенно изменился в какой-то из последних великих природных катастроф и что наш ледяной север некогда в совершеннейшем изобилии наслаждался знойным теплом, великолепнейшим плодородием и богатой жизнью. Имеется и множество других, еще более убедительных фактов, говорящих в пользу этого предположения или, можно сказать, твердой уверенности, ибо даже в высоких широтах Северной Азии и вообще в полярных странах в тех же подземных отложениях были найдены целые пальмовые леса, хорошо сохранившиеся останки больших стад слонов и очень многих близкородственных им,

но более не существующих видов животных. Задолго до того, как была обнаружена большая часть этих фактов, Лейбниц предполагал, что некогда Земля вообще и на севере в частности имела гораздо более высокую температуру, чем в нынешнюю эпоху господствующих и усиливающихся холодов, а Бюффон и другие выстраивали на этом предположении свою гипотезу о громадном огне, пылающем в центре Земли. Но что касается этого центра и глубочайших недр Земли, то эта область, по-видимому, совершенно сокрыта от глаз смертных и недоступна для них, по крайней мере, посредством привычного метода естественноисторических и геогностических гипотез. Должно быть, вся область, отведенная для человека и его существования, а также для жизни всех созданий, наделенных органической жизнью, равно как и сфера чувственно познаваемого для человека, ограничена очень узкой линией между верхним и нижним пределами, которая по отношению к диаметру или даже радиусу Земли чрезвычайно мала и составляет тончайшую поверхность, как бы верхний слой кожи, или лишь эпидермий всего земного шара. Уже на самой незначительной глубине прекращается всякая смена времен года и вечно господствует одна и та же температура, более напоминающая холод, чем живительное тепло. Но все же с этой стороны граница доступного человеку еще не так точно измерена и строго определена, как в верхнем направлении, где эта последняя достижимая граница достаточно известна не только в высочайших Альпах и на ледниках, но и в открытом эфире верхних слоев воздуха, где ставший известным в силу случившейся с ним катастрофы воздухоплаватель на собственном горьком опыте убедился, сколь недалеко от нас эта верхняя граница, за которой в смертельном холоде прекращается всякая жизнь и всякое научное наблюдение. Один и тот же закон действует как в природе, так и в человеческой жизни и нравственности: там, где должны появиться свет и тепло, необходимы две вещи: сила, испускающая свет и сообщающая тепло, и субстанция, способная принять и вобрать в себя и то, и другое. Там, где этой способности нет, вечно господствуют вечный мрак и смертельный холод, а потому то обстоятельство, что всякое действие тепла и порождаемой им жизни ограничено воздухом нижней части атмосферы, хотя и не должно нас удивлять, все же вполне заслуживает быть замеченным. Приходится вновь и вновь напоминать о том, насколько важно вообще, а стало быть, и в данном случае, ограничивать себя этой малой, столь узко очерченной сферой, доступной человеку, и держаться ее пределов. Итак, у нас нет нужды в упомянутом

предположении о центральном огне, внезапно угасшем подобно тому, как угасает печь, или в иных таких же искусственных гипотезах, чтобы объяснить тот факт, что север обитаемой земли прежде был гораздо теплее, поскольку для этого вполне достаточно уже одного изменения нижней атмосферы, которое, как в любом случае следует с высочайшей вероятностью предполагать, имело место при последней великой природной катастрофе — всемирном потопе, ибо прежде того атмосфера была несравненно чище, мягче и живее. В порядке чистой возможности можно допустить, что направление земной оси по отношению к экватору изменилось, чем и было вызвано столь резкое изменение климата, однако вплоть до дальнейшего обоснования это предположение остается совершенно произвольной гипотезой.

Но даже не теряясь в подобных предположениях и математических фантазиях и не пытаясь геогностическим путем вторгаться в сокровенную глубину Земли к воображаемому центральному огню, мы и на самой обитаемой поверхности Земли или в непосредственной близости от нее, в доселе действующих или многочисленных угасших вулканах, в сродственном им феномене землетрясений найдем немало памятников и следов воздействия огненной стихии, некогда гораздо более могущественной, от которой до нынешнего дня сохранились лишь эти слабые отзвуки. Ибо, если согласно геогностическим принципам следует с такой же уверенностью приписывать вулканическую природу не только базальтовым, но и порфирным, гранитным и вообще всем первозданным горным, равно как и всем другим близкородственным им горным породам, с какой в осадочных породах мы усматриваем господство хаотической формирующей стихии воды, то нужно думать, что подземный огонь, ныне почти всегда дремлющий, легко мог вкупе со всеми артериями вулканов и венами землетрясений залегать так же повсеместно, как распространен в наше время водный покров, занимающий столь великую часть поверхности нашей планеты. Но поскольку изрыгающие огонь горы имеются также в Мировом океане, или, лучше сказать, на морском дне, и их извержения прорываются через толщу воды до самой поверхности, ибо и там отмечаются землетрясения, а нередко вулканические силы поднимают из глубины океана новые острова, то исследователи природы по праву заключают, что вулканическое основание земной поверхности должно находиться несколько глубже морского дна, хотя и достаточно близко к нему, а предположение, которое, не теряясь в гипотезах о неизмеримых глубинах земных недр, оценивает

эту глубину приблизительно в 36000 футов или полторы географические мили ниже уровня моря, едва ли выходит за скромные рамки тщательно взвешенной вероятности. В нынешнюю эпоху истории земной поверхности на ней повсеместно господствует водная стихия, однако, если в более раннюю эпоху залегающая глубже вулканическая сила и вообще родственная ей стихия огня точно так же господствовали на ней и оказывали преимущественное влияние на земные условия, как впоследствии вода, то нетрудно понять, что благодаря этому и нижняя атмосфера могла иметь существенно иной характер, а климат Земли, в том числе и на севере, мог разительно отличаться от нынешнего. Относительно слоев костей, оставшихся от древнего потопа и о покоящихся в них останках некогда живших существ следует добавить еще одно замечание, которое, на первый взгляд, кажется не лишенным значения для человека и его первобытной истории, а именно, что среди столь многочисленных костей прочих крупных и мелких сухопутных животных, составляющих богатые и разнообразные подземные скопления, почти нигде не обнаруживаются ископаемые человеческие кости. Бывало, правда, что за гигантские человеческие кости поначалу принимали то, что впоследствии оказывалось костями животных. В остальном же крайне редкими, единичными исключениями оказываются те случаи, когда между прочими останками обнаруживаются подлинные человеческие кости: челюсть, череп или даже целый скелет (как, например, однажды таковой был найден заключенным в толщу известняка) или какая-либо первобытная утварь, или оружие, изготовленное человеческой рукой: каменный нож, медный топор, железная булава, древний кинжал среди человеческих костей, — так что редкость исключения служит лишь подтверждением общего правила. Но если бы мы тут же поспешили сделать из этого вывод, будто во времена всех этих природных катастроф человека и рода человеческого еще вовсе не было на свете, то это снова была бы чрезмерно поспешная, безосновательная и совершенно антиисторическая гипотеза, против которой и со стороны физики также нашлось бы немало возражений, подробное рассмотрение которых завело бы нас слишком далеко. То обстоятельство, что среди ископаемых останков первобытного мира крайне редко или почти совсем не попадаются ископаемые человеческие кости, может, вероятно, объясняться попросту тем, что кости человека в силу особенностей его питания — неестественно смешанного, подогретого, приправленного специями — благодаря своим качествам и струк-

туре более подвержены разрушению и менее прочны, чем кости других животных. Тут я хотел бы снова привести на память то, что отмечал уже раньше и что здесь имеет особое значение, будучи применимо к истории и состоянию древнейших времен и первобытного мира: что нам не следует стремиться сразу же все полностью, с решительной уверенностью и совершенно удовлетворительно объяснить и что, невзирая на это, мы будем в состоянии составить себе отнюдь не полностью неверное представление о нашем предмете как целом и его сущности, даже если на первых порах какие-то подробности будут оставаться неясными или, по крайней мере, не получают полного объяснения. Точно так же было бы поспешным и несовместимым с подобающей историку осторожностью пытаться полностью и без исключения свести все природные катастрофы, в свидетельстве о которых Земля, ныне подробно исследованная в своих могильниках, приводит красноречивые памятники и загадочные надписи, к той единственной катастрофе, которая наиболее близка к историческому времени и описана и засвидетельствована в историческом предании всех или большинства древних народов, ибо наряду с нею, после и, в особенности, до нее могли иметь и, весьма вероятно, действительно имели место многочисленные великие и сокрушительные природные катастрофы самого разного рода, пусть и не столь всеобщего масштаба. Прорыв Черного моря во фракийский Босфор весьма сведущими в этом вопросе экспертами считается событием вполне историческим или, по крайней мере, более близким к историческому времени, относящимся к не столь глубокой древности. Знаменитый скандинавский естествоиспытатель доказал высокую вероятность того, что Каспийское море вместе с Аральским прежде соединялись с Черным морем, в то время как с другой стороны Северное море сильно вдавалось в сушу и простиралось почти до этой же области, но при этом отчасти отличалось от южных морей растительностью и животным миром. Вообще же моря должны были быть прежде гораздо более распространены по лицу Земли, в том числе, нередко и на месте нынешних материков, о чем свидетельствуют обширные солончаковые степи в Азии, Африке и даже кое-где в Восточной Европе, сохраняющие несомненные следы и характерные особенности, свойственные морскому дну. Не все эти изменения должны быть непременно возведены к последнему всемирному потопу и только к нему одному: и прорыв Средиземного моря в океан, и многие другие частичные катастрофы на суше и на

море могли произойти позднее и независимо от него. Препрежнее великолепие Севера, явствующее из упомянутого богатства органических продуктов его щедрого климата, хорошо согласуется с некоторыми свидетельствами в сказаниях древних, особенно южно-азиатских народов, чрезвычайно высоко ставящих и необычайно превозносящих Север. Известное естественное превосходство Севера может, как мне кажется, действительно быть обосновано и даже научно доказано. Весьма неравными предстают перед нами северная и южная стороны нашей планеты уже при взгляде на глобус, изображающий их в согласии с нынешним состоянием географических познаний. В то время как старь и новый континенты, Северная Азия и Америка, протянулись своими могучими, широкими массами далеко в направлении Северного полюса, так что граница суши здесь не всегда может быть точно определена среди льдов, вокруг гораздо более холодного Южного полюса господствуют воды, в которые не очень глубоко вдаются крайние оконечности подлинной суши: южный конец Америки и последний остров пятой части света — Полинезии; сверх же того, как бы далеко ни пытались проникнуть отважные мореплаватели, они повсюду встречали лишь море и лед и нигде не могли обнаружить полярных земель сколь бы то ни было значительного размера. Следовательно, здесь расположена более холодная и водная сторона или, как можно было бы сказать в динамическом смысле, негативная слабейшая оконечность тела Земли, в то время как Северный полюс, напротив, выступает его позитивной и сильнейшей оконечностью, поскольку и центральный пункт магнитного притяжения и магнитной жизни Земли, хоть он и не совпадает с математической точкой Северного полюса, находится на не очень большом удалении от нее, подобно тому как и для других природных сфер и явлений подлинный центр жизни не всегда составляет единое с математическим центром, но чаще всего лежит несколько в стороне от него. Немало внимания заслуживает также и то обстоятельство, что на северном небосклоне расположено несравненно больше великолепных ярких звезд и созвездий, которых южное небо хоть и не совсем лишено, однако украшено ими не в той мере и не в таком количестве. Первые люди древности, несомненно, были гораздо более восприимчивы к такого рода впечатлениям, чем современный нам мир, и подобные неясные чувства, основанные на реальном превосходстве природы Севера, и отчасти ими же порожденные поэтические сказания уже во времена древнейших странствий и переселений народов могли

содействовать тому, чтобы направить их к Северу, так что он уже очень рано был и заселен, и обжит; ведь поскольку в первобытной древности смутные инстинкты несомненно чаще являлись побудительным мотивом человека и, стало быть, могут скорее допускаться и предполагаться в качестве такового, чем меркантильный расчет, как это в более позднее время было свойственно, например, финикийцам с их колониями. Здесь, между прочим, следует добавить еще и то замечание, что даже в ее нынешнем состоянии природа далекого Севера имеет свою особую красоту и свои преимущества, и что человеческое усердие может добиться от нее большего плодородия, нежели позволяет предполагать первое, приблизительное впечатление. В том же смысле следует, видимо, воспринимать и сказание о древнем, благочестивом и блаженном народе гипербореев; тогда его будет несложно понять и истолковать, не ожидая, впрочем, от этого толкования чересчур далеко идущих выводов. Но если некоторые (здравомыслящие и сведущие во всех остальных отношениях) естествоиспытатели, захваченные и увлеченные этими обстоятельствами, почти склонились к тому, чтобы считать эти, некогда по-южному теплые, полярные земли Севера одним из древнейших, если даже не самым древним обиталищем рода человеческого, то я не могу последовать их примеру, поскольку историческое предание с таким допущением несогласно, но преобладающим и решающим количеством свидетельств, оставленных большинством древнейших народов, и притом свидетельств наиболее полных, оно указывает нам вести поиски в Средней Азии. Древнее сказание об острове Атлантида, хотя оно, по-видимому, было задумано и должно восприниматься как историческое, я, вместо того, чтобы усматривать в нем остров блаженных, находящийся за Полярным кругом, нахожу более уместным истолковывать как неясное сообщение о плаваниях в Америку или к ее близлежащим островам — тем, которых вначале достиг Колумб и на которые финикийских мореплавателей (несомненно, огибавших Африку) вполне могло когда-либо занести. Я взял себе за непреложное правило всегда следовать историческому преданию и придерживаться его нити даже там, где многое в его сообщениях и свидетельствах кажется нам чуждым, почти необъяснимым или, по крайней мере, загадочным, потому что стоит нам в мире древней истории выпустить из рук эту нить Ариадны — и мы никогда не найдем уже выхода из лабиринта произвольно измышленных систем и хаоса различных мнений. По той же самой причине я не могу согласиться с чрез-

мерно искусственной гипотезой о всемирном потопе известнейшего в конце предыдущего столетия геогноста Делюка, которую превосходнейший Штольберг перенял от него в своем историческом труде, поскольку сам родоначальник этой идеи вовсе не имел намерения противопоставить ее Моисееву повествованию о Ноевом потопе или умалить ею его значение, а напротив, полагал, что дает ему самое надежное обоснование и объяснение посредством своей гипотезы. Но я нахожу ее совершенно несовместимой ни самим Священным Писанием, ни вообще с историческим преданием. Заключается же эта гипотеза в том, что потоп был не просто повсеместным затоплением всей Земли, как это принято считать, но что при этом якобы произошел обмен местами между твердой и водной частью земной поверхности, или полное динамическое взаимопревращение суши и моря, так что то, что прежде было сушей, затем стало морем, а нынешняя суша возникла из бывшего моря. Но это гораздо больше того, что содержится в древнем рассказе о Ноевом потопе или что может привести в него здравый критический разум, а предположение, что названия рек или местностей, упоминаемых в книгах Моисеевых, на бывшем континенте звучали так же и лишь были перенесены на схожие предметы на новом континенте, возникшем во время или после потопа, несет слишком отчетливый отпечаток произвольного вымысла, чтобы его могли принять на веру те, кто твердо придерживается исторического предания. Если бы с помощью геогностическими фактов, в которых мы находим или думаем, что находим достаточно доказательств не одного только всемирного потопа, но и гораздо большего множества других таких потоков, как Ноев, и прочих, еще более грозных природных катастроф, — а такие факты у нас сейчас имеются, — если бы с помощью этих фактов подобный тотальный переворот, подобное динамическое перераспределение суши и воды действительно было доказано (а проверку и оценку таких доказательств я вынужден предоставить другим), то, рассматривая его со стороны истории и сопоставляя со свидетельством Моисея, мы должны были бы отнести это событие к гораздо более древней эпохе, о которой в Писании говорится: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою», — каковыми словами вместе с предвозвещением нового утра творения дается явственнейшее описание и характеристика мрачного и безвидного состояния Земли, а также свойственного ему преимущественного преобладания водной стихии. Также и разделение стихий: верхнего

и нижнего скопления вод и потоков — во второй день творения, установление твердых границ моря, ведущее к образованию и видимому явлению суши, снова подразумевает общее преобразование Земли и еще раз служит подтверждением того, что книги Моисеевы говорят не только об одной, но гораздо более, чем одной великой природной катастрофе, на что при их геогностическом объяснении и истолковании часто обращают слишком мало внимания. Против упомянутой рискованной и необоснованной гипотезы многое выступает и со стороны геогностических фактов, поскольку в промежутках между пространственными участками и слоями древнего морского дна обнаруживаются и другие места скопления останков наземных животных, стволов деревьев и прочих продуктов и следов вегетации, принадлежащих не морю, а твердой суше. В Моисеевом изображении первого местопребывания человека совершенно очевидно и с определенной ясностью представлена та центральная часть Западной Азии, которая лежит вдоль двух больших рек и между четырьмя внутренними морями: Персидским и Арабским заливами и Каспийским и Средиземным морями — и на которую нам указывает также древнейшее предание большинства прочих исторических народов. Древние сказания европейских народов об их происхождении и древнейшей истории постоянно уводят нас в сторону Кавказа, в Малую Азию, Финикию и Египет, то есть в страны, находящиеся вблизи, по соседству или даже на самом побережье этой центральной области. Среди древнейших азиатских народов китайцы помещают средоточие и легендарные истоки своей культуры в расположенную на самом северо-западе провинцию Шэньси, а индийцы — на северную сторону Гималаев. Это приводит нас в Бактрию, которая, гранича с Персией, уже более тесным образом связана через нее с той центральной областью, частью которой является сама священная прародина персидских сказаний Атропатене, т. е. Огненная земля, или нынешний Азербиджан. С ясностью и уверенностью, не допускающими никакого сомнения, в Моисеевом описании обе великих реки этой центральной области: Тигр и Евфрат — приведены под теми же именами, под которыми они были известны и впоследствии; и даже само имя Эдем сохранялось до позднейшего времени как название одной местности близ Дамаска и другой в Ассирии. Третью райскую реку искали далее к северу, в области Кавказа, и, хоть и не с такой уверенностью, как первые две реки, полагали, что узнают в ней Фазис. Четвертой, южной рекой древние толкователи обычно-

венно объявляли Нил, однако его течение описывается настолько иначе и настолько не совпадает с нынешним положением и всей современной географией этой части Земли, что нужно полагать, что и здесь имели место очень большие изменения, которыми можно было бы объяснить расхождение между древним описанием течения реки и нынешней географией. Но есть и еще одно обстоятельство, обычно привлекающее к себе слишком мало внимания, в котором очень отчетливо заметно то же несоответствие, та же дисгармония между описанием у Моисея и нынешним состоянием той же страны. Нам удастся установить географию райских рек, по крайней мере, двух или трех, даже если у нас нет уверенности относительно четвертой; и только единый райский источник, из которого брали начало все четыре реки, чтобы во все стороны распространить свои плодотворные потоки по всему лицу Земли, этот единый источник, который как раз и является важнейшей частью повествования, больше невозможно отыскать где-либо на Земле — он то ли иссяк, то ли был засыпан, то ли как-то иначе отнят у нас или исчез. Итак, нельзя ли предположить (чтобы вполне придерживаться указаний Священного Писания и оставаться в границах этой интерпретации), что уже при первом приговоре, вынесенном человеку и осудившем его на изгнание из уготованного ему роскошного жилища и земного отечества, само это место претерпело изменение в результате какой-либо природной катастрофы? Однако, если рассуждать по аналогии и сообразуясь с географическим окружением, на которое указывает и слово самого Писания, катастрофа эта была скорее огненно-вулканической, одна из тех, в результате которых и в наше время нередко иссякают источники и реки изменяют свое течение, нежели простым наводнением, которое у нас всегда и повсеместно привыкли считать единственно возможной в природе революцией. Возможно, некоторые следы подобного рода можно было бы обнаружить даже геогностически; так, чтобы привести лишь один пример, Мертвое море в самой Палестине принадлежит к числу тех озер, которые наиболее отчетливо обнаруживают характерные признаки вулканического происхождения. Впрочем, все сказанное следует понимать не как уверенно сформулированную гипотезу, а скорее как любознательный вопрос, служащий к разностороннему обсуждению этого недостаточно изученного предмета. Итак, мы сделали лишь краткий обзор обитаемой земли как жилища человека в ее древнейшем состоянии, насколько это было необходимо для нашей цели; в нем

я попытался в общих чертах, насколько это доступно для неспециалиста, соединить в один ясный контур самые примечательные и достоверные из геогностических фактов и открытий, непременно учитывая при этом древнейшее историческое предание. Не обремененные более этими естественнонаучными проблемами, мы тем скорее можем обратиться к нашему основному и существенному вопросу: в каком отношении находится человек к этому своему жилищу — Земле, какое место он занимает на ней и каков его ранг среди прочих созданий и сожителей на этой Земле, в чем состоит его собственное и действительное предназначение на этой Земле и по отношению к ней, и в чем заключается то, что, собственно, и делает его человеком? В последнее время упомянутая ранее абсолютная и потому языческая натурфилософия имела смелость, возможно, похвальную с точки зрения избранного ею превратного направления, в своей естественно-исторической классификации поставить человека в один ряд с обезьянами как особый вид этого рода. Перечислив по порядку все анатомические характеристики этой человекообразной обезьяны: число позвонков, пальцев ног и т. п., — она добавляет еще один отличительный признак, но не один из тех, которые до сих пор было принято в данном случае называть: разум, стремление к совершенствованию, речь, — а именно «способность к конституции»! Итак, получается, что человек — это, по сути дела, либеральная обезьяна! Нам трудно возразить автору этого мнения в том отношении, что человек действительно до некоторой степени способен в нее превратиться, однако полагать, что он изначально есть нечто иное, как окультуренная и выдрессированная обезьяна, совершенно неприемлемо ни с исторической, ни даже с естественно-исторической точки зрения. Возможность заражения и переноса от животных к человеку многих болезнетворных субстанций, органических свойств и сил показывает даже гораздо большую симпатию и сродство органической жизни и анимальной кровяной души человека с коровой, овцой, верблюдом, лошастью или слоном, нежели с обезьяной (если при изучении сущности человека нам так уж угодно обращать взор исключительно вниз, к животному миру); даже в бешеной собаке и ядовитой змее человек может обнаружить совсем иное и куда более близкое, смертельно опасное кровное сродство и страшное внутреннее соприкосновение жизненных сил, нежели приписываемое обезьяне. Кроме того, способность слонов и других благородных домашних животных к обучению по своему характеру в гораздо

большей мере аналогична человеческому разуму, чем хитрость обезьяны, в которой непредвзятый и здравый ум может увидеть лишь жалкое и неудачное подражание человеку. Хорошо известное нам по изобразительному искусству и скульптуре и вплетенное во всю мифологию и символику древних народов сходство физиогномического выражения льва, тельца и орла с человеческим ликом покоится на гораздо более глубоком духовном основании, чем может дать простое сопоставление набросков мертвых костей животного скелета. Ошибка, доведенная до крайности и обращенная в свою противоположность, часто быстрее всего приводит нас к познанию истины, а потому на утверждение, будто человек есть ничто иное, как олиберализирующаяся обезьяна, мы смело возразим, что изначально и по своему существу человек был предназначен стать легитимным господином и, хоть и в подчиненном смысле, подлинным владыкой Земли и всего окружающего мира как наместник Божий в природе. А если он не вполне сделался таковым, каким он мог и обязан был стать, то виною тому он сам; и если теперь он господствует скорее опосредованно и при помощи механического искусства, чем благодаря непосредственной силе и действию своего духовного превосходства, то все равно в высшей степени продолжает быть владыкой мира и ему оставлено многое из первоначально дарованного господского достоинства — только бы он мог везде найти ему правильное применение!

Привычное мнение, будто отличительным признаком человека и особым превосходством его природы и предназначения (в согласии с общепринятым пониманием последних) является разум или речевая способность, основано, однако, на той ошибке, что первый является абстрактной способностью, которая сама по себе требует психологического определения и анализа, а вторая является лишь предрасположенностью или возможностью, которая, прежде чем она станет чем-то действительным, должна быть еще развита. Следовательно, мы дали бы гораздо более правильное и полное определение, если бы вместо этого сказали так: присущее человеку особое превосходство заключается в том, что из всех земных творений он один наделен даром слова. Живое, высказанное, действительно произнесенное слово — это не просто мертвая способность, а факт, историческая действительность и данность, и уже потому такая формулировка определения гораздо лучше соответствует началу истории, чем любая абстрактная. Прежде всего, в идее слова как основы человеческого достоинства

и особого предназначения уже заложен внутренний свет сознания и самосознания; это не просто предрасположенность к языку, а тот плодоносный корень, из которого с таким великолепием разрослось все богатство языков мира. Но и это еще не все, поскольку в слове заключается также животворящая сила, ибо оно есть слово не только понимаемое и понимающее, учащее и учащееся, но и слово соединения в любви, слово примиряющего согласия, слово властного повеления, плодоносное слово творения — ведь в каждом из этих значений оно достаточно известно нам из нашего собственного опыта и из самой жизни; так слово объемлет собою всю полноту преимуществ и свойств, неповторимо характеризующих человека. И сама природа говорит немым языком своих образов, только ей необходим познающий дух, владеющий ее ключом и умеющий им пользоваться, знающий, как найти слово ответа на загадки природы, способный вместо нее произнести скрытое в ней тайное слово, дабы открылась вся полнота ее великолепия. Но тот, кто один среди всех творений Земли получил дар слова, был тем самым поставлен ее господином и властителем. Если же он оставляет и утрачивает это божественное средоточие жизни в своей груди, это дарованное, переданное и доверенное ему слово жизни, он ниспадает до уровня природы, и вместо того чтобы быть ее господином, становится ее подданным; в этом-то и заключается начало человеческой истории.





ВТОРАЯ ЛЕКЦИЯ

О расколе в первобытной истории и о разделении рода человеческого

«В начале у человека было слово, и слово было от Бога».

Итак, говоря точнее и лаконичнее и в более свойственных истории выражениях, божественная искра Прометея в груди человеческой происходит от изначально дарованного, врожденного или доверенного и переданного Богом человеку слова, в котором и состоит и из которого проистекает его особая природа, его духовное достоинство и высшее предназначение. Известное и глубокомысленное изречение из книги Нового Завета, говорящее о тайне и внутреннем существе Божества, можно было бы с некоторыми изменениями и, разумеется, памятуя о неизмеримом расстоянии меж тварью и Творцом, точно так же приложить и к человеку и его первобытному состоянию и в качестве заголовка или предисловия и введения к древнейшей истории человечества сформулировать примерно следующим образом: «В начале у человека было слово, и слово было от Бога; и из животворящей силы, которая была дана ему в этом слове и вместе с этим словом, проистекал свет его бытия». Вот, по крайней мере, божественное основание всей истории и, хотя, собственно, и не принадлежащее ей самой, однако предшествующее всякой истории ее начало. Исторический факт естественного состояния дикарей не может считаться возражением на этот тезис, поскольку никоим образом не установлено и может быть разве что принято на веру, действительно ли таково было подлинно первобытное

и изначальное состояние человека или, скорее, это дикое состояние всегда и везде является состоянием вырождения и одичания и тем самым должно рассматриваться не как первый, а как второй феномен в истории человечества, как нечто, вытекающее лишь из этого второго шага как его следствие и в силу этого имеющее более позднее историческое происхождение. В истории, как и вообще в науке и в самой жизни, имеется один основной пункт, от которого зависит почти все остальное, один вопрос, который решает все: исходим ли мы из Бога, принимаем ли мы Бога за первоначало, а природе отводим второе, хотя и неоспоримо важное и значительное место, или же, наоборот, ставим на первое место природу и, как это тогда непременно само собою случается, исходим из нее одной, а Бога при этом хоть и не отрицаем прямо, решительными и недвусмысленными словами, но, по существу, косвенным образом отвергаем и, по меньшей мере, игнорируем. Однако этот вопрос и это различие мнений не удастся разрешить и исчерпать в диалектических прениях, которые редко приводят к желаемой цели. Обычно здесь решает воля, и сообразно внутреннему умонастроению и складу характера она выбирает из двух путей тот, которому человек следует и который он утверждает своей мыслью, знанием, верой и жизнью. Но применительно к науке истории можно, во всяком случае, сказать, что те, кто в этой области исходит исключительно из природы и принимает и признает только естественноисторический взгляд на человека, сколь правдоподобными ни казались бы на первый взгляд их на то основания, никогда не будут в ладу с миром истории и исторической действительностью, никогда подлинно не постигнут истории и не предложат ее сколь бы то ни было удобовразумительного описания и объяснения. С другой стороны, если мы исходим не исключительно из одной только природы, но и, прежде всего, из Бога и установленного Богом начала природы, то при этом мы не имеем в виду и не предполагаем никакого уничтожения или умаления природы или, хуже того, вражды против нее, причиной чему могут быть только неправильное понимание вопроса, ошибочная трактовка и страшная узость взглядов. Более того, само развитие мысли лучше всего покажет, что именно стоя на этой точке зрения и следуя этим путем мы будем приведены к совершенному пониманию славы Божией в природе и великолепия самой природы и что с этим вполне совместимо полнейшее признание ее прав и причитающейся ей доли участия в истории и развитии человека.

Человек был создан свободным, то есть, свободным с исторической точки зрения; перед ним лежали два пути, он мог выбрать между одним и другим направлением: ввысь или в глубочайшую бездну, — и, тем самым в нем была заключена, по меньшей мере, возможность наличия двух различных волей. Если бы он оставался тверд в первой, исходящей от Бога воле и верен вложенному в него и предначертанному Богом слову, он вечно имел бы лишь одну волю, хотя и тогда был бы свободным, только свобода его была бы той же, что и у блаженных духов, которых нельзя ведь назвать несвободными, оттого что они более не подвластны борениям и вовсе не могут быть отлучены от Бога. Было бы, между прочим, крайне ошибочно представлять себе райское состояние первого человека как состояние блаженной праздности, тогда как в действительности все было установлено совершенно иначе и столь ясно и отчетливо сказано, что первый человек был поселен в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. «Чтобы хранить» — значит, имелся и враг, от которого этот сад надлежало хранить и защищать; «возделывать» — возможно, каким-то совсем иным образом и уж конечно будучи гораздо счастливее и успешнее в своих трудах, чем впоследствии, когда по вине человека над землею нависло проклятие, но все же и не совсем без труда. Этот первый, если можно так выразиться, божественный закон природы, в силу которого труд и борьба с самого начала были частью человеческого призвания, действует во все времена и до нынешнего дня для всех сословий и народов, в каждой человеческой жизни и во всем роде человеческом, для великих и для малых мира сего. Тот, кто слишком слаб для всякой борьбы и никогда не может дать отпора врагу, кто не хочет поднять труда и работы, тот не сможет исполнить своего призвания, какой бы род занятий он ни избрал, не сможет он и чем-либо способствовать и содействовать исполнению всеобщего предназначения рода человеческого. Но с тех пор как в человечестве наступил разлад, в нем заключены две разные воли: воля божественная и естественная; точно так же и свобода человеческая есть уже не блаженная свобода небесного покоя, как у тех, кто уже одержал победу и возобладал, а та, какую теперь обладаем мы: свобода предлагаемого выбора и нелегкой борьбы, чей исход нам неведом. Найти обратный путь к божественной или богоугодной воле, восстановить согласие между естественной и божественной волями и все более обращать и преображать низшую, зем-

ную, естественную волю в волю высшую, божественную — вот в чем состоит задача как для каждой отдельной человеческой жизни, так и для всего рода человеческого. И это возвращение, это восстановление и преображение, попытки к нему, успехи и поражения на этом пути составляют существенную часть содержания всемирной истории, а именно в той мере, в которой она включает в себя внутреннее нравственное развитие и духовную эволюцию мышления. А в том обстоятельстве, что человек, как только он теряет внутреннее средоточие жизни и истины или оставляет вечный закон божественного порядка, тут же оказывается под властью и господством природы и попадает к ней в кабалу, каждый из нас может убедиться на себе самом, на собственном опыте и из самой жизни, ибо смятение и неудержимая сила страсти есть ничто иное, как слепая сила природы, действующая в нас самих. И потому, хотя этот факт является историческим, а именно, первым из всех исторических фактов, он все же может рассматриваться и как психологическое явление и феномен сознания, поскольку был унаследован всем родом человеческим и повторяется в каждом человеке. И именно поэтому он, собственно говоря, лежит за пределами истории и предшествует ей, однако все то, что следует или может следовать и действительно воспоследовало из него, относится к области истории и является существенной частью ее содержания.

Первым последствием, которое, после того как наступил и сделался действительностью внутренний разлад в жизни и сознании человека, неизбежно вытекало из дальнейшего развития этого разлада, является разделение единого рода человеческого на множество народов и связанное с ним многообразие языков. До тех пор пока не была разрушена и разорвана внутренняя гармония души и, тем самым, свет духа не был омрачен, язык также не мог быть ничем иным, как простым и прекрасным отображением или выражением внутренней чистоты, и потому на свете мог существовать лишь один язык. Но после того, как внутреннее, дарованное Богом человеку слово помрачилось и утратилась связь с Божеством, поневоле пришел в расстройство и беспорядок также и внешний язык. Простая Божья правда была сокрыта под покровом многообразных чувственных фантазий, погребена под тысячами обманчивых образов, пока, наконец, и сама не превратилась в ужасающий фантом. И природа, которая поначалу, как ясное зеркало Божьего творения, была открыта и прозрачна перед незатуманенным человеческим оком, становилась теперь

все более и более непонятной, чуждой и устрашающей. Отпав от Божества, человек и внутренне все более приходил в смятение и конфликт с собою самим. Так возникло это великое множество уже непонятных друг для друга языков, совершенно различных теперь и в климатическом отношении — тем более различных, чем сильнее разделялся род человеческий в моральном отношении, чем далее он расчленился и расплылся географически и органически формировал сам себя самым различным образом. Когда человек подпадает под господство и власть природы, сами органические свойства его становятся различными в зависимости от условий климата. Как одно и то же растение или вид животных в Америке или в Африке принимает совершенно иную форму и свойства, чем, например, в Азии, так и происходит и с человеком, и потому мы теперь можем говорить о человеческих расах: о негритянском племени или о меднокожих американцах и о дикарях Океании — как о специфических разновидностях человеческого рода; хотя приведенное нами выражение «расы» в применении к человеку непременно содержит в себе нечто отталкивающее для возвышенного духа и унижительное для его внутреннего, прирожденного достоинства. И все же это различие человеческих рас не следует преувеличивать до неправдоподобия, ибо это могло бы породить сомнения в единстве их происхождения, поскольку, по всеобщему органическому закону, действие которого признается даже в естественной истории животных, расы, способные совокупляться и приносить потомство, рассматриваются как принадлежащие к одному роду и образующие один вид. Даже кажущийся хаос многочисленных языков можно упорядочить в несколько однородных семей, и нередко случается, что языки, разделенные друг от друга половиной земного шара, оказываются близкородственными. Важнейшие и самые выдающиеся среди этих связанных семейным сходством языков суть именно те, что своей внутренней красотой и благородным духом, веющим в них и видимым во всей их структуре, явственнее всего обнаруживают свое высшее происхождение и божественное вдохновение, а все эти столь различные между собою языковые семьи оказываются не более чем ветвями одного ствола или порослями одного корня. Американские племена казались на удивление странными и, в некоторых отношениях, пугающе далеко отстоящими от остального человеческого рода, и однако величайший европейский знаток этих народов и их языков находит в их сказаниях и языках или даже в их обычаях много такого, что решитель-

но и несомненно указывает на Восточную Азию и обитающие в ней народы⁴⁸.

Коль скоро человек и род человеческий единожды встал на путь порчи и падения, то невозможно заранее указать ту границу, до которой он мало-помалу мог бы опуститься, приближаясь к животному, — именно потому, что человек изначально является свободным и оттого изменчивым и даже сорганическойточкизренияввысшейстепенигибкимсуществом. А значит, путеводную нить этого объяснения, единственно возможного с точки зрения человечности, мы должны протянуть до самых далеких глубин, гораздо ниже негра, который хотя бы благодаря своей органической силе и живости, а также смысленности и, по большей части, добродушному характеру стоит далеко не на самой низшей и последней ступени человечества, вплоть до безобразных патагонцев, почти слабоумных пешересов и жутких каннибалов Новой Зеландии, одни изображения которых уже наводят ужас. Но до какой степени может одичать и выродиться даже пребывающий в цивилизованном состоянии человек, как низко он может опуститься, о том доподлинно знают те, кто имел возможность фактически точно и подробно ознакомиться с криминальной историей примечательных преступников или, в определенные эпохи, даже целых народов. Каждая революция есть эпоха временного одичания, когда человек, наряду, быть может, с отдельными свидетельствами героической добродетели и достойного восхищения самопожертвования, снова отчасти превращается в дикаря. И даже война, ведущаяся с большим ожесточением и доходящая до крайности, может легко выродиться в такое или подобное ему состояние. И потому высшая слава поистине цивилизованных народов состоит именно в том, чтобы эту склонность и предрасположенность человека к жестокости и одичанию подавлять и удерживать в границах благодаря чувству чести, строгой дисциплине и взаимно признанным благородным правилам ведения войны. Что же касается различных племен собственно дикарей, то и среди них, конечно, имеются такие, которые представляются несравненно более благонравными и благородными, нежели упомянутые выше народы, но однако и у них почти повсеместно, после

⁴⁸ Шлегель имеет в виду Александра фон Гумбольдта. См. Humboldt A. von. Voyage aux regions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par Alexander Humboldt et Aimé Bonpland / red. A. de Humboldt. — Paris, 1805.— *Прим. перев.*

первого, вполне благоприятного впечатления, при ближайшем знакомстве также были обнаружены дурные черты характера и нравов. Будучи весьма далекими от того, чтобы вместе с Руссо и его последователями искать в естественном состоянии хотя бы и самых лучших и благороднейших дикарей истинное начало человечества и подлинное основание общественного договора или даже отважиться на сомнительный эксперимент и вернуть гражданские отношения к этому хваленному идеалу мнимого естественного состояния человека, мы можем усмотреть в нем лишь состояние одичания и вырождения. Итак, изначально, по своему происхождению человек, в сущности, не дикарь, однако вполне может в него превратиться: всегда, везде, в том числе, и сейчас; порою очень быстро и легко, но все же обычно не сразу, а постепенно, опускаясь все ниже и ниже со ступени на ступень. И потому мы охотно готовы допустить (как это по множеству исторических причин действительно представляется вероятным), что особенно в начале истории рода человеческого это одичание произошло не тотчас после первого падения и не сразу, а медленно, шаг за шагом и что все так называемые дикари, хоть и происходят от того же единого древнего человеческого племени, что и самые благородные и культурные народы, суть постепенно одичавшие и все глубже погружавшиеся в состояние животной грубости племени.

Представляется, что даже распад единого человеческого рода на многочисленные народы и хаотичное множество различных языков, согласно историческому преданию, в полной мере имел место лишь позднее, в то время как вначале предание упоминает только о разделении на два народа и племени или на две противостоящие половины человечества. Я говорю здесь об историческом предании вообще, поскольку те немногие и почти что таинственные, однако многозначительные и полные глубокого смысла слова, в которых Моисеев рассказ повествует нам об этом первом противостоянии, о проявившемся и приобретшем исторический характер расколе в первобытном человечестве, самым удивительным образом можно обнаружить и в сказаниях других народов, из которых я преимущественно буду разбирать только греческие и индийские. И если это древнейшее противостояние или раскол в историческом человечестве изображается в них с несколько разнящимся локальным колоритом и не без известных поэтических прикрас, то, если тщательно отделить их существенное содержание от этих примесей и дополнений, они послужат

лишь большему утверждению всеобщей краеугольной исторической истины. Но прежде чем я отважусь попытаться, согласовав столь разные и разнородные свидетельства, пролить более ясный свет на тот первый всемирно-исторический факт, который составляет содержание всей первобытной истории, я хотел бы напомнить третье основное правило исторической науки, не нуждающееся в дальнейшем доказательстве и состоящее в том, что в особенности там, где речь идет о древней, древнейшей и первобытной истории, не следует то, что вначале покажется нам непривычным или удивительным, по одной только этой причине сразу же отвергать как невозможное или маловероятное. Ибо нередко, когда мы глубже вникаем в предмет и лучше понимаем его, именно то, что на первый взгляд поражало нас своей необыкновенной странностью, оказывается правдой; в то же время, если мы и в том столь удаленном и отличном от нашего времени и мире будем признавать единственно верным или вероятным, стремиться отыскать или привнести туда только то, что считается привычным и общеизвестным у нас самих, это непременно приведет нас к самым произвольным и безумным гипотезам. Что же касается самого рассматриваемого предмета, то, прежде всего, следует заметить, что в Моисеевом изложении первобытная история, а также то, что мы бы назвали всемирной историей, начинается, собственно говоря, не с рассказа о первом человеке, его сотворении и дальнейших судьбах, а с Каина и с братоубийства и проклятия Каина. Предыдущий рассказ касается, если можно так сказать, только частной жизни Адама, даже если она приобрела глубокое значение для всех потомков первого праотца. Здесь же излагается первый исторический факт, касающийся происхождения разлада в человеке и наследования этого зла через все поколения и времена, однако этот факт в силу его всеобщности, как я уже отмечал ранее, является также психологическим; и, в то время как здесь, в первом разделе священной истории, все указывает только на тайны религии и относится к ним, то все же начиная с Каина и с бегства этого убийцы-скитальца в Восточную Азию, в ней начинают упоминаться уже и первые собственно исторические обстоятельства и факты. Прежде всего, она сообщает об основании древнейшего города, под которым мы, конечно, должны понимать некий большой или, хотя бы, издревле известный город в Восточной Азии; затем, о происхождении различных наследственных сословий, ремесел и искусств, в особенности

тех, которые основаны на изобретении или на первых познаниях и навыках обработки металлов, и которые, конечно же, занимают первое место в истории человеческих искусств и открытий. Что касается музыки, то там, где, как в данном случае, о ней говорится применительно к древнейшему первобытному времени, следует, скорее думать о ее медицинском или даже магическом использовании, чем о более позднем искусстве прекрасной мелодии. Среди кузнечных работ и изделий или иных произведений искусства горного дела и металлообработки особенно выделяется эпохальное изобретение меча. По тем кратким загадочным словам, сказанным об этом и сохраненным в Писании, трудно решить, надо ли понимать их как выражение восторженной воинственности или как новое проклятие и жалостный плач о грядущих тысячелетиях непрерывных убийств и творящихся по Божьему попущению нескончаемых несчастий. Вероятнее всего, здесь имеется в виду начало человеческих жертвоприношений в согласии с лежащим в их основании демоническим умыслом, которые следует считать по преимуществу характерным признаком Каинова племени, а глубокая печаль темного разума, как представляется, сопровождает эти кровавые жертвы преисподней у многих народов — как в обычаях и обрядах, так и в их сказаниях и чувствах. Однако не только городские жители возводятся к этому племени, но совершенно недвусмысленно также и кочевые народы, многие из которых, как и в наше время, так и тысячи лет тому назад вели свою скитальческую жизнь в средней части Восточной Азии, где часто находят и гигантские руины древнейших рудников. Весьма примечательно, что у этих народов, а именно у чуди, жившей близ богатых металлами рудных гор, мы находим, если можно так выразиться, перевернутое сказание о Каине, тот же самый рассказ о вражде первых человеческих братьев, но переименованный и изложенный с благоприятной для каинитов позиции⁴⁹. В нем повествуется о том, как старший из двух братьев-родоначальников разбогател на золотых и серебряных рудниках, а младший из зависти преследовал его, так что старший брат бежал от него и укрылся на востоке⁵⁰. Итак, с самого начала потомки Каина

⁴⁹ Имеется в виду автохтонное население Алтая, не имеющее отношения к чуди, упоминаемой в древнерусских летописных источниках. Шлегель использует этноним, приведенный в упомянутой им ниже книге Карла Риттера. См. Ritter, C., *Die Erdkunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen*. Berlin 1833. — Bd. 2, S. 339ff. — *Прим. пер.*

⁵⁰ В Ritter, *Erdkunde I*. T. S. 548. 1-е издание.

и сыновей Каина представлены любителями искусства, знатоками металлов, но при этом людьми немирными, склонными к войне и насилию, а позднее они вновь упоминаются в Священном Писании и представлены там как племя нечестивых и надменных исполинов. В то же время, от Сифа Писание выводит род патриархов, мирно живущих в смиренном богопочитании и благочестивой простоте нравов. Этот второй праотец человечества занимает важное место также и в преданиях других народов, причем особо упоминается о столбах Сифовых⁵¹, под которыми, должно быть, согласуясь с обычаями первобытного мира, следует понимать древние памятники священного предания, подобные каменным книгам. Вообще же первые десять святых праотцев или патриархов упоминаются под иными именами не только в индийских сказаниях, но и в преданиях многих иных азиатских народов, однако со значительными вариациями и не без разного рода поэтических прикрас. Но поскольку повсюду в них в целом, бесспорно, имеется в виду тот же самый предмет, то есть, праисторический период человечества, то сами эти различия служат только к подтверждению и к живому и более полному пониманию существенного содержания этого рассказа. И если в новое время некоторые ученые знатоки Писания воспринимают и объясняют совпадающие первобытно-исторические свидетельства, встречающиеся у других народов, так, как будто они были заимствованы из Моисеева повествования или списаны с хорошо сохранившегося экземпляра нашей Библии, то виной тому лишь исторически неоправданная узость их взглядов. Будет правильнее и созвучнее с духом древнего мира выдвинуть предположение, которое может быть допущено безо всякого опасения, а именно, что эти народы немало приняли из того же источника древнейшего предания, но только все воспринятое они поняли и изложили по-своему, согласно со своей индивидуальностью, и что они не сохранили во всей чистоте и простоте эти голоса глубочайшей древности, эти священные речения, фрагменты и загадки первобытного мира, но снабдили их разнообразными поэтическими украшениями, так что все это кажется на первый взгляд чистой фантазией, хотя по более продолжительном и подробном рассмотрении повсюду отчетливо проступают существенные черты стоящей за этими легендами праисторической истины.

⁵¹ Иосиф Флавий, Иудейские древности, II, 3. — *прим. пер.*

Итак, в двух различных формах изображает предание древний мир, или, иначе говоря, два совершенно различных состояния человечества наполняют собою сказание о первобытной истории. С одной стороны, род ищущих Бога миролюбивых людей, долгожителей, хранящих патриархальные нравы и простоту, но не лишенных более глубокого знания, основанного лишь на священном предании или на внутреннем созерцании и чистоте и записанного на будущие времена для потомства в совершенно иных формах, старинными письменами или иероглифами, но не на недолговечных свитках, а на прочных каменных монументах. С другой стороны, исполинское племя сильных и жестоких, нечестивых и надменных, мнимых сыновей Божиих, воинствующих против Неба гигантов, каковыми они предстают в более поздних героических сказаниях. Это противостояние и разлад, этот раскол человечества на две половины, на две различные стороны, эта борьба двух враждебно противостоящих друг другу древних народов является существенным содержанием всей первобытной истории. С тех пор как в человеке наступил разлад, в нем сосуществуют две воли: божественная или, по крайней мере, взыскующая Бога, и воля естественная, вождеющая лишь к природе и страстно стремящаяся к господству; и потому нетрудно представить, что уже с самого начала род человеческий мог разделиться и устремиться в двух совершенно различных направлениях. Хотя это противопоставление действительно представлено как разность между двумя племенами или народами, не следует полагать, что в этом и состоит основное содержание этого рассказа и что он весь сводится к различию между одним благородным племенем и другой, худшей расой или разновидностью людей, подобно тому, как, например, некто из минувшего поколения немецких ученых разделил все народы, существующие ныне или упоминаемые в более позднее, уже историческое время, на два класса, причем там, где он, как ему казалось, обнаруживал благородных кельтов или их потомков, ему недоставало слов, чтобы довольно превознести их возвышенный романтический дух, в то время как несчастных монголов и все народы, производимые им от монголов, он с беспощадной ненавистью преследовал по всему лицу земли. Однако то обстоятельство, которое в те древнейшие времена разделяло мир на две половины или на две противоборствующие партии, гораздо более заключалось в противоположности умонастроений и духовных устремлений, чем просто в различии

происхождения. Как бы далеко ни отстояло то время и тот древний мир от мира нашего, нынешнего, мы все-таки можем воспринимать и понимать это первое великое противостояние народов, о котором свидетельствует история, как противоборство двух религиозных партий или враждующих сект, хотя, конечно, оно принимало иные формы и проходило в других природных условиях, которые отличались от нынешних. Одним словом, это было противоборство между религией и безверием (*Religion und Irreligion*), происходившее с тем размахом, с той исполинской силой, которую старейшее предание вообще приписывает первобытной древности.

В греческом сказании эти два состояния людей доисторического времени представлены в своеобразной форме, а именно, как последовательно сменяющие друг друга от поколения к поколению, то есть, как по ступеням нисходящие ко все более глубокой порче, как повествует известная легенда о веках человечества, которых в ней, конечно, насчитывается не два, а четыре или пять. Но, в сущности, и здесь, из целого как две его предельные точки выделено состояние наивысшего блаженства в золотом веке и господство насилия в железном, а прочие промежуточные звенья служат как бы переходными ступенями или добавлениями, довершающими полноту картины. Первое поколение людей сатурнического времени, дружественное богам, жило в блаженном мире и наслаждалось вечной молодостью, земля сама приносила плоды и давала им свое благословение, а конец их был не подлинной, мучительной смертью, а тихой дремой, уводящей в иной, возвышенный мир бессмертных духов. Но уже следующее, серебряное поколение изображается нечестивым, не чтущим богов, жестоким и страстным. В бронзовом поколении это состояние нечестия и жестокости достигло своего высшего предела, могучая сила обитала в гигантских членах живших тогда грубых титанов. Медное оружие и лишь бронзовые инструменты и утварь имели они, и для строительства домов использовали одну медь, ибо тогда, как говорит поэт, «никто о железе не ведал»⁵², каковое обстоятельство следует отметить как вполне историческое и весьма характерное для всех тех первобытных народов, у которых мы его обнаруживаем. Далее в этот ряд несколько искусственным образом вставлено благородное поколение героев исторических народно-поэтических сказаний, а заверша-

⁵² Гесиод, Труды и дни, 151, пер. В. В. Вересаева — *Прим. пер.*

ет его нынешний железный век как последняя мировая эпоха и завершение непрерывно прогрессирующего вырождения. На первый взгляд, такое представление, будто с каждой эпохой род человеческий как по ступеням опускается все глубже и глубже, расходится с историческим свидетельством священного предания о первобытном состоянии человека, поскольку в нем оба первобытных народа представлены как сосуществующие одновременно друг с другом, к тому же и Сиф, родоначальник лучшего и благороднейшего поколения благочестивых патриархов, значительно моложе Каина. Однако это противоречие только кажущееся, если принять во внимание, что одно из двух племен, нечестивое и жестокое, вместе с собой ввергает в пропасть падения и второе племя, что приводит к поистине величайшему одичанию, которое непрестанно возрастает и, за небольшим исключением, охватывает весь род человеческий, вследствие чего по действию божественного правосудия происходит великое истребление окончательно выродившегося человечества посредством всемирного потопа.

В индийских сказаниях отношения двух первобытных племен изображается как непрестанно ведущаяся или постоянно возобновляемая война, которую племена нечестивых великанов ведут против того или иного браманского рода благочестивых праотцев; последним споспешествуют благородные и боговдохновенные герои, одерживающие победы над всеми враждебными силами, в чем, по большей части, и состоит содержание всех великих эпических поэм индийцев и их древнейших героических сказаний. В соответствии со своим нынешним образом жизни и мышления индийцы характеризуют этих жестоких исполинов как племя одичавших воинов и приводят в качестве таковых также наименования некоторых народностей, известные и в более позднее историческое время, как-то: китайцев, известных у них под тем же именем, что и у немцев, пехлевийцев, то есть, народа, от которого берут начало мидяне и персы, носящих это имя подобно тому, как и один из двух священных языков этих народов называется пехлеви, а также ионийцы или яваны, в согласии с азиатским наименованием этого древнегреческого племени. Впрочем, есть веские причины сомневаться, чтобы настоящие касты воинов и наследственное священство как потомственные сословия могли существовать уже в первобытном мире. Но какая бы хронологическая путаница ни имела здесь место, сколько бы ни было привнесено в это древнее сказание из обстоятельств более позд-

ней эпохи и истории, как бы ни было это все поэтически приукрашено или преувеличено, на этом пестром повествовательном полотне по-прежнему невозможно не разглядеть основные черты истины, так что враждебное противостояние двух первобытных племен в древнейшую мировую эпоху само по себе, в своей чистой всеобщности, следует считать исторически обоснованным и установленным фактом. И так, возможно, перед лицом строжайшей исторической критики может быть показано, что поэзия, то есть, сказания или древнейшее историческое предание, даже облеченная в художественную форму и приукрашенная, в изображении первого мирового периода осталась ближе к правде или, по крайней мере, не так сильно удалилась от нее, как расчетливый рассудок, оценивающий историческую вероятность по аналогии с тем, что ему привычно, и видящий или желающий видеть везде только грубых и невежественных дикарей.

Однако ни в коем случае нельзя упускать из виду то обстоятельство, что человек не в одночасье, не сразу и не совершенно утратил те высшие силы, которые были ему дарованы вначале, но что он был лишаем их мало-помалу, постепенно, все более и более, что он немалое время сохранял многое из этого дара, в силу чего из-за тех страшных злоупотреблений, которые становились возможны по мере дальнейшего вырождения, столь ужасными сделалось то одичание и крайнее злочестие, как о том говорится в божественном Откровении. Здесь и скрыт подлинный ключ ко главной теме первобытной истории и всему прочему, что нам кажется в ней загадочным. Эта исходная тема великого противостояния в первобытной истории как первого всемирно-исторического факта имеет значительный интерес для всего последующего развития исторических народов и эпох; поскольку это изначальное противостояние и раскол в человечестве, вызванные разнонаправленностью воли божественной, взыскующей Бога и воли естественной, подчиненной природе и жаждущей подчинять, нередко вновь повторялись в позднейшей истории, пусть даже в малом, в частности или, по крайней мере, в каких-то сходных проявлениях, словно их новый отблеск или отдаленное эхо. И даже в нашем, нынешнем мире, который, во всяком случае, стоит ближе к последним временам, чем к своему первоначалу, порою начинает казаться, будто было задумано и замыслено так, чтобы и теперь человечество вновь стало все больше и больше расходиться в два совершенно противоположных направления, разделяясь в решительной вражде, как это было вначале. И если

у величайшего среди немецких философов, у Лейбница, мы находим примечательное высказывание, что последней сектой в христианстве и вообще в мире будет атеизм, то, по всей вероятности, точно так же обстояло дело и в первобытном мире, хотя и при совершенно иных формах общественной жизни, нравственности и человечества и в совершенно ином, несопоставимо более крупном масштабе.

Применительно к первобытной истории мы должны добавить примечание, которое, в сущности, касается только одного побочного обстоятельства, поскольку речь в нем пойдет, главным образом, о духовном и нравственном развитии человека. Однако этот пункт нельзя совершенно оставить без внимания хотя бы потому, что упомянутый ранее принцип, согласно которому то, что в первобытной природе или древнейшей истории человека кажется нам совершенно чуждым, загадочным или удивительным, однако действительно приводится в памятниках и в древнем предании, не следует измерять одной лишь узкой меркой привычного и вероятного, должен и в данном случае найти свое применение, быть показан в новом свете и еще раз подтвержден. И при том надлежит памятовать, сколь великой преградой и непреодолимой пропастью отделены мы от того первобытного времени и мира и сколь далеко отстоим от них в том, что касается истории и природы. Я имею в виду единогласное свидетельство древнейшего предания об исполинском телосложении древних людей и о связанном с этим немалом долголетии, далеко превосходящем всякое правило и меру того, что считается обычным у нас. Что касается последнего, то имеется столь бесчисленное множество причин и обстоятельств, взаимодействие которых катастрофически сокращает человеческую жизнь, что в этом отношении мы утратили всякий масштаб, который можно было бы считать изначальным, и потому для глубокой, научной физиологии было бы немаловажной задачей уяснить или, можно сказать, заново открыть изначальный закон, определяющий продолжительность человеческой жизни в зависимости от теллурических причин или, может быть, от еще недостаточно исследованных астрономических закономерностей, которые нередко оказываются приложимыми к малым предметам и частным случаям. При ином, более простом образе жизни и питании, нежели наше крайне смешанное, изобилующее приправами и неестественное, мы и сейчас обнаруживаем множество случаев и примеров гораздо большей, чем обычно, продолжительности жизни. В Индии нередко доводится видеть

в людях гораздо более чем столетнего возраста, особенно из браминского сословия, все еще очень крепкую и продуктивную жизненную силу; в России у людей работающего, просто живущего класса примеры более чем столетнего или столетидвадцати- и даже стопятидесятилетнего возраста хотя и составляют редкое исключение, однако не до такой степени, как в прочих странах Европы. Особенно примечательны и удивительны случаи, когда у таких стариков после полной потери старых зубов опять прорастают новые зубы, как если бы у них внутри открылся свежий источник жизненных сил и роста. То, что при нынешнем физическом вырождении рода человеческого является редким исключением, прежде могло быть правилом или, по крайней мере, еще содержать указание на это прежнее правило жизни и содержать его утерянный след, подобно тому как и в другой связи и в других областях науки обнаруживаются или могут быть доказанными аналогичные обстоятельства. Итак, по ту сторону великой преграды, отделяющей нас от первобытного времени, в том неведомом нам мире, продолжительность жизни могла определяться другими законами, и это даже весьма вероятно, поскольку подтверждается столь большим количеством свидетельств и основывается на том, что Священное Писание говорит о божественном происхождении рода человеческого. Но чтобы верно оценивать и лучше понимать эти библейские числа, нельзя терять из вида религиозную перспективу этих всегда полных смысла числовых соотношений в божественной хронологии. Так, мы, прежде всего, должны непрестанно помнить, что, по слову откровения Божия, все волосы на главе нашей сочтены, а тем более, и годы жизни нашей, то есть, ничто не следует полагать здесь случайным, но все предопределено и отмерено в согласии с Провидением Божиим. Далее, как часто говорится в Писании, Бог по неизреченному совету Своего милосердия сокращает протяженность какого-либо определенного периода, например, эпохи невыносимых страданий, или наоборот, что Он прилагает некоторое число лет к ранее предопределенному времени Своей милости или к чьей-либо жизни или что Он продлевает сроки, чтобы видеть, по какому из Своих законов вершить суд в данном случае. При такой чрезвычайно большой продолжительности жизни святых праотцев древнего мира, которая, однако, как давно уже было доказано и признано, может быть объяснена и понята только исходя из привычных нам астрономических лет, необходимо в целом следовать второму принципу историче-

ского суждения и преимущественно рассматривать ее как чудесную и сверхъестественным образом продленную. А совпадение числа лет жизни Еноха, этого святого пророка первой мировой эпохи (чье отшествие от мира было не в собственном смысле смертью, а таким, какое изначально было уготовано человеку и уже потому должно считаться скорее естественным), с астрономическим числом дней обращения Земли вокруг Солнца оказывается тем поразительнее, что и в числе 365 дней как корень уже содержится число 33, которое в любом отношении и с учетом его самых различных приложений может быть опознано как основополагающее теллурическое число. Ибо, с минимальной разницей в единицу, число 365 лет соответствует сумме 333 и дополнительных 33, а точное количество дней, содержащихся в этих 365 годах, составляет 4 раза по 33000 и еще 4 раза по 330 дней⁵³.

Что же касается исполинского телосложения, каковое традиция, приписывает всему древнейшему человеческому роду на протяжении его первобытной истории, причем в неоспоримо историческом смысле, который нетрудно отличить от простого поэтического украшения или преувеличения, то удивительно, что именно те, кто в прочих случаях с такой охотой применяет к человеку аналогию с природой, в данном пункте предпочитают считать только привычные ныне представления о человеческом теле единственно возможными или бесспорно достоверными. Среди уже часто упоминавшихся нами ископаемых останков, принадлежавших погибшему первобытному миру, найдены от двадцати до тридцати видов и подвидов,

⁵³ Еще один вид необычайно примечательного продления сроков имеет место в случае Ноя. У девяти первых праотцев продолжение рода происходит в среднем приблизительно на сотом году жизни: у некоторых около этого времени, у троих значительно раньше, еще у троих гораздо позже, у Ноя же к этому среднему числу, то есть ста годам, были приложены дополнительные 400 лет, и род свой он продолжил в возрасте 500 лет. Высшая причина этого, должно быть, сверхъестественного промедления могла, по-видимому, заключаться в том, что этот святой муж на протяжении той длительной пророческой эпохи приуготовления хотя и с полной ясностью осознавал и предвидел предстоящий страшный суд Божий над давно уже выродившимся и совершенно развращенным миром, однако ему еще не было таким же образом открыто и изъяснено, каким образом Бог предопредил ему как второму родоначальнику обновить и восставить человечество. Он же, вероятно, видел в этом уже предсказанном и возвешенном Енохом великом всемирном суде последний конец и потому, быть может, считал продолжение своего рода не согласным с Божественной волей, до тех пор пока ему не был полнее и точнее открыт имевшийся на сей счет тайный совет Предвечного.

родственных слонам, носорогам и гиппопотамам, дожившим до нынешнего дня и являющимся крупнейшими среди современных животных. Существование немалого числа различных видов мамонта, этого исполина доисторической эпохи, чьи кости находят не только в Сибири и Америке, но и в Европе: Германии, в окрестностях Парижа и даже здесь, неподалеку от этих самых мест, — также может быть подтверждено такими же ископаемыми останками. Были найдены также кости и останки многих совершенно неизвестных до сих пор животных необычайного и поистине гигантского размера: рога первобытного быка, все еще прочно держащиеся на лобной кости, или рога оленя и слоновьи бивни, позволяющие думать, что размеры этих животных в три, четыре или даже пять раз превышали нынешние. И если в древнейшую эпоху органической природы и исчезнувшего животного мира этот исполинский стиль господствовал до такой степени, то разве не должно то же самое относиться и к человеку, во всяком случае, в том, что касается только его органической природной стороны? И тем более потому, что древнейшее историческое предание и сказания всех народов с таким единодушием свидетельствуют об этом? Впрочем, что касается нашего Священного Писания, то я должен добавить и обратить внимание, что в нем упоминания о большой продолжительности жизни, как кажется, безмолвно предполагают и достаточно ясно указывают и на гораздо более крупное телосложение древнейших людей; однако по-настоящему чрезмерные, гигантские размеры изображаются уже скорее как органическое проявление одичания и вырождения, причиной которого, как и источником всякой порчи, было непозволительное смешение обоих древнейших племен или народов: каинитов и сифитов; равно как и великий суд Божий и всегубительный потоп были вызваны преимущественно гордыней и нечестивыми деяниями этих исполинов и обращены были, прежде всего, против них. Но и в более позднее историческое время те исполинские народы, которые владычествовали над многими областями земли обетованной, как, например, Моав, Аммон, Васан владели окрестностями древнейшего города великанов Хеврона, доколе не овладел ими народ Израилев, самым определенным образом характеризуются как племена хотя известные и героические, но ужасающе нечестивые и помышляющие только о войне, и даже отдельные великаны, которые встречаются еще в эпоху Моисея и даже в истории царя Давида, в своем решительном органическом

безобразии предстают как подлинные чудовища. Даже согласно нашей современной географии, у единственного живущего в наши дни дикого племени, отличающегося чудовищным, почти исполинским ростом, — у американских патагонцев — названная особенность сочетается с безобразным телосложением, а именно, у них настолько непропорционально длинное туловище, что когда их впервые увидели верхом на лошади, их рост показался действительно гигантским, и потому их поначалу приняли за настоящих великанов. Но при ближайшем рассмотрении, учитывая общую длину их тела в положении стоя или при ходьбе, составляющую от семи до восьми футов, можно сказать, что они хоть и отличаются непривычно большим ростом, но не до такой степени, как полагали вначале, ибо подобная необычность первого впечатления легко приводит к преувеличениям.

Приводя все это и все сказанное выше, я не хотел сказать ничего иного, чем открыто признаться, что по названным двум пунктам: далеко превосходящей все нынешние мерки продолжительности жизни и исполинскому телосложению первого человека — я никогда не дерзну решительно подвергнуть сомнению ясное высказывание Священного Писания и общее свидетельство древнейшего предания; более же точное определение, окончательное решение, исчерпывающее объяснение и полное понимание этой проблемы, по-видимому, должно быть предоставлено будущему времени и более глубокой и проницательной науке.

Существуют также памятники или, точнее, фрагменты строений древнейшего времени, которые связаны с этим предметом и поэтому также заслуживают быть хотя бы кратко упомянутыми, а именно те циклопические стены в различных местностях Италии, однажды увидев которые, трудно забыть их и производимое ими впечатление необыкновенной древности. В их совершенно своеобразной кладке вместо привычных кубических или продолговатых камней используются лишь крупные обломки скал, грубо отесанные до неправильных многоугольников и затем странным и довольно искусным образом подогнанные друг ко другу. Даже громадный, нередко вызывающий восхищение, подземный водопровод или клоака Древнего Рима причисляется к тому же циклопическому типу строений, сходные остатки которых находятся также в Греции, неподалеку от Аргоса, и во многих других местах. Они не могут восходить к известным историческим народам позднейшего времени, жившим в этих странах, поскольку уже те считали их творением вымершего рода

древних гигантов, от которых эти строения и получили свое название. Если представить себе несовершенство орудий той древнейшей эпохи и невозможность существования в то время таких механизмов, которыми, например, должны были располагать египтяне, чтобы воздвигнуть свои обелиски, то нетрудно понять, как могла появиться мысль, что для строительства этих каменных сооружений нужны были более крепкие руки и совсем иная сила, нежели та, которой обладает современный человек.

Итак, насколько это было нужно для наших целей, мы объяснили происхождение разлада, присущего человечеству и составляющего основу всей истории; затем мы попытались объяснить, исторически истолковать и как можно более понятно и наглядно представить всеобщее историческое предание о враждебном противостоянии между благочестивыми патриархами и надменными титанами первобытного мира и о совершенно различных и противоположных направлениях, принятых двумя прародительскими племенами или народами в древнейшую всемирную эпоху истории; одновременно мы определили для диких народов или одичавших племен их значительное и важное, хотя и второстепенное место среди человечества как целого.

Эти существенно необходимые основные черты образуют введение, врата или преддверие собственно истории и развития человеческой культуры в более позднее, более известное исторической науке время. После того как человечество разошлось и разделилось на множество народов, очередная задача историка применительно к следующему периоду заключается в том, чтобы подробнее исследовать наиболее примечательные и образованные нации и показать, как врожденное или дарованное человеку слово как высшее проявление всех преимуществ и свойств, характеризующих его как человека, во всем своеобразии раскрылось в каждом из этих народов, в его языке и письменности, священном Предании, историческом сказании, поэзии, искусстве и науке. Таким образом, здесь, в древней истории и ее философии должен применяться этнографический метод, до тех пор, пока в новое и новейшее время на смену ему мало-помалу не придет метод синхронного обзора и описания, причины чего станут впоследствии ясны из самого обсуждаемого предмета. В этом общем обзоре мы вынуждены ограничиться рассмотрением только важнейших великих народов, достигших высокой ступени самобытной духовной культуры; при этом я буду придерживаться следующего порядка: вна-

чале я кратко, в общих чертах, насколько это необходимо для нашей главной цели, буду напоминать общий ход их развития и приводить важнейшие исторические факты, касающиеся нравов, жизненного уклада и вообще внешнего культурного состояния и внешней истории каждой нации, занимающей важное и самостоятельное место, чтобы затем уже гораздо тщательнее охарактеризовать развитие упомянутого духовного принципа веесамобытной культуры и типа мышления. И только в более поздние эпохи последующего времени политическая история станет почти что основным предметом и существенной составляющей в развитии человечества, движущегося к своей цели или отчасти обращающегося вспять. Для этого всемирного полотна древнейшей духовной культуры человечества могут быть избраны лишь такие нации, которые нам достаточно известны и чьи источники стали более доступными хотя бы в последнее время, ибо, если бы мы решили включить в свой обзор также и все менее известные нации, он превратился бы в бесконечные и совершенно специальные частные исследования, но при этом, вероятно, не принес и не достиг бы других, новых результатов с точки зрения целого и существенного. Для первого периода глубокой древности я остановился на китайцах, индийцах и египтянах — помимо стоящего совершенно особняком еврейского, или, как его еще называют, избранного народа, и, начиная при этом с самой удаленной культурной страны Восточной Азии, то есть, с Китая, я должен сразу же отметить, что этот выбор основан не на какой-либо иерархии, представлении о большей или меньшей древности этих народов или отданном кому-либо из них предпочтении, поскольку и без того в основании собственных хронологических указаний этих народов, иногда по праву заслуживающих называться хронологической поэзией, при ближайшем рассмотрении можно, прежде всего, обнаружить астрономические числа и периоды, то есть, в строго историческом смысле они изначально не замышлялись или не должны восприниматься как хронологические. Довольно и того, что все три названных народа относятся к тому же мировому периоду или, по крайней мере, весьма близкородственной ступени в ходе поступательного духовного развития человеческой сущности и характера, причем для нашей более высокой задачи эти спорные хронологические вопросы, собственно говоря, являются несущественными или имеют весьма второстепенное значение. У каждого, кто принимает живое участие в подобных исследованиях, и без того легко обнаруживается и развивается особая склонность

к той или иной нации и предпочтительное отношение к ее особой древности, ибо человеку часто свойственно даже в самых отдаленных предметах охотно принимать чью-либо сторону. Все-го этого я очень хотел бы здесь избежать и потому вместо этого следую своего рода географическому порядку, место которого в последующие периоды новой истории сам собою заступит порядок более хронологический. Я сказал «своего рода географический порядок», поскольку здесь с учетом особой задачи нашего исторического очерка при географическом обозрении Земли должна быть выбрана несколько иная точка зрения, чем обычно принимается в других целях. В основу обычных географических описаний, составляемых для практического использования, справедливо полагается список всех ныне существующих государств и империй. Иная, более естественнонаучная география в качестве путеводной нити для разделения и упорядочения земной поверхности принимает горные массивы, течение рек, их долины и водоразделы. В свою очередь, для нашей философии истории такие горные цепи будут состоять из стран с наиболее выдающимися культурами, а путями для нее будут не одни только судоходные реки, а, по преимуществу, духовный поток предания и оплодотворяющих человечество и действующих в нем идей, которому она должна следовать с Востока на Запад или же в любом ином исторически установленном направлении. Подобно тому, как те люди, которых по праву можно назвать историческими, составляют лишь редкое исключение среди общей массы, лишь некоторое число стран по всему лицу Земли имеют преимущественное значение для истории культуры и стали для нее в собственном смысле слова историческими. Подавляющая часть обитаемой или пригодной для обитания земли не входит в их число или не достигла той ступени, несмотря на то, каким бы важным и поучительным не было ее подробное изучение для естественных и прочих наук. Изо всей Африки, за исключением Египта, лишь ее северное побережье, тянувшееся вдоль Средиземного моря, находится в исторической связи с культурой и историческим развитием прочих цивилизованных народов. Все прочие побережья, опоясывающие эту часть света, такие как южная оконечность Африки, конечно, представляют немалую важность для мореплавания, торговли или, например, для возможной колонизации; для естественных наук немало в высшей степени примечательного, удивительного и привлекательного таит в себе неизведанная внутренняя часть Африки;

но в интеллектуальной истории или в нравственном развитии человечества ни та, ни другая не занимают сколь-нибудь выдающегося и исторически примечательного места. Вся обширная Северная Азия стала лучше известна и была словно бы заново открыта с тех пор, как она сделалась провинцией Российской империи. Из Средней Азии, ближе к ее востоку, из южной Тартарии, на севере Китая нередко начинались великие переселения народов и походы завоевателей, простиравшиеся далеко через цивилизованные страны и достигавшие Европы. Но в ходе формирования человеческого духа эти народы нельзя ставить слишком высоко. Так называемая пятая часть света, или Полинезия, хотя и почти равная по размеру Европе, не имеет в этом отношении почти никакого значения. Даже Америка, крупнейшая из так называемых четырех частей света, в этом смысле все еще играет относительно второстепенную роль и вступила в историю только в последние столетия, со времени ее открытия, поскольку с тех пор ее население по своему языку, нравам, образу мысли и устройению стало преимущественно европейским, ибо еще остающиеся там племена туземных дикарей малочисленны, и таким образом она образует как бы очень далеко отстоящий придаток или продолжение Старой Европы по ту сторону Мирового океана. Сколь бы велико ни было за последние пятьдесят лет обратное влияние выросшей в этих некогда диких местах Новой Европы на свою метрополию, оно является элементом и характерной чертой лишь самой новейшей истории, когда эта часть света впервые приобрела важную роль и историческое значение.

Что же касается природных особенностей, то эта новая часть света весьма отличается от Старого Света, и разница здесь несравненно больше, нежели отличия отдельных частей Старого Света между собой. Подобно тому как в сравнении северной оконечности нашей планеты с противоположной ей южной или водной стороной обнаруживается разительное несходство и почти что полная противоположность между ними обеими, то же самое имеет место и тогда, когда мы сравниваем поверхность земного шара, двигаясь в другом направлении, с востока на запад, мысленно разделяя ее на две равные части. С одной стороны, первое и лучшее полушарие Земли от Западного побережья Африки до Восточного побережья Азии охватывает три старых части света, которые заполняют собою и занимают почти все пространство этой половины глобуса от самого верха до середины. Здесь расположена наибольшая часть суши,

а с точки зрения органического животного мира - также самая богатая и роскошная. Лишь на южной стороне этого полушария вновь преобладают вода и море, в котором, связанная с самой южной оконечностью Азии непрерывной цепью островов, лежит пятая и последняя часть света — Австралия. Во втором, американском полушарии вода преобладает не только на его южной стороне, но и в центральной его части, поскольку большая протяженность Америки не выдерживает никакого сравнения с размерами поверхности остальных частей света вместе взятых. Но еще большим, чем преобладание размеров суши, является преобладание человеческого населения азиатско-европейского полушария. Здесь сосредоточена большая часть населения Земли, здесь открывается богатейшая арена всемирной истории и человеческой культуры. Все население Америки, о котором мы в силу его преимущественно европейского происхождения порою знаем больше, чем об обитателях менее удаленных регионов Земли, составляет лишь одну тридцатую часть мирового населения при наибольшей оценке последнего и даже при наименьшей его оценке не более чем двадцать четвертую часть целого. Сколь бы протяженной ни была эта малообитаемая часть света, по населению она едва ли превосходит крупную европейскую страну, такую как Франция или Германия, с которыми она приблизительно совпадает в этом отношении. Хотя растительный мир Америки весьма изобилует и великолепен, однако с самого начала здесь отсутствовали оба столь тесно связанных с древнейшей историей человечества благородных культурных растения: злаки и виноград. Но более всего Америка уступает прочим, старым частям света в том, что касается животного мира. Многие из наиболее благородных и прекрасных видов животных здесь с самого начала отсутствовали вовсе, другие же представлены своими худшими, безобразнейшими разновидностями. Важнейшим и существеннейшим для человека и его культуры домашним животным, которые в Америке полностью вымерли, туземные виды животных предлагают лишь весьма несовершенную замену. Можно смело выдвинуть следующий тезис, не опасаясь, что он окажется преувеличенным или ошибочным в своей категоричности: в американском полушарии господствующее положение занимает растительность, на противоположной, азиатской стороне Земли преобладает и более полно развита анималистическая сила. Это сказывается и на органических природных свойствах человека, и притом не только на численности населения. Телесной крепостью и органической жиз-

ненной силой раса исконных обитателей Америки значительно уступает африканской и не может сравниться выносливостью и плодовитостью с жителями Малайзии или с монгольскими племенами Средней и Северо-Восточной Азии или юга Тартарии, с которыми она, пожалуй, в прочих отношениях обнаруживает наибольшее сходство.

Поскольку американская часть света, столь несовершенная в остальных отношениях, наиболее изолирована от остальных и обладает гораздо более простой или менее усложненной формой, нежели другие части света, она заслуживает в этом смысле особого внимания должна служить основой при определении общего типа и верного естественнонаучного представления о части света в высшем географическом смысле этого слова. Верхняя половина этого континента, развернутая всей своей протяженной широтой по направлению к Северному полюсу, соединена узким перешейком с вытянутой нижней половиной, острая оконечность которой обращена к Южному полюсу, и, таким образом, обе они образуют, по общему впечатлению, одну и ту же часть света, причем уже из этих простых обстоятельств видно, насколько различными могут быть южная и северная половины одного континента. Ранее мы уже указывали, что в те времена, когда Черное море еще соединялось с Каспийским, а Белое море простиралось гораздо дальше вглубь континента, Уральские горы были островом или, по крайней мере, омывались морем с юга и севера. Но если с одной стороны Европа была отделена от Азии, то, напротив, там, где она сейчас отделена от Африки узким проливом, она легко могла быть соединена с ней перешейком и составлять одну общую часть света, равно как и Австралия с Азией, если мы представим себе упомянутую ранее большую и непрерывную цепь островов как единый, еще не разделенный континуум. В таком случае, это должно бы означать, что в действительности существуют или прежде существовали лишь три части света, сходные по своей форме с вышеупомянутой формой Америки, но только две благороднейшие части света прочно срослись или соединились друг с другом и тем самым не сохранили этой изначальной формы во всей ее простоте и чистоте. Вообще же в пользу того, что признавать наличие только трех частей света было бы, в сущности, не только теоретически правильнее, но и сообразнее с природой, можно бы было привести еще не немало аргументов.

Но если оставить в стороне эти геогностические замечания, факты, теории и предположения, то для достижения цели, намеченной нами для философии истории, на всей поверхности

земного шара, а именно, в его азиатско-европейском полушарии, можно найти лишь около пятнадцати более или менее крупных культурных стран, имеющих историческое значение, которые послужат нам основой и в этом смысле могут считаться как бы географической сферой высшей истории. Эта историческая цепь стран или этот всемирно-исторический поток народов в направлении от юго-восточного края Азии к северному и северо-западному краю Европы образует полосу, проходящую через все старые части света, которая, имея сама по себе значительную ширину, в сопоставлении с общей протяженностью этих частей света не так уж и велика по охвату и может быть разделена на три класса или порядка, которые и хронологически, в последовательности времен своего расцвета приблизительно совпадают с порядком следования различных по продолжительности временных отрезков, начиная с древнейшего всемирно-исторического периода и кончая самыми последними временами. К первому классу этих примечательных для всемирной истории культурных регионов я бы отнес три большие и великолепные страны, расположенные в Восточной и Южной Азии: Китай и Индию, — соединительный пункт и промежуточное звено между которыми образует древняя Бактрия, и Персию. Второй, средний регион, образуют четыре или пять других, также обширных, прекрасных и особенно важных и примечательных в историческом отношении стран, расположенных в западном направлении и несколько к северу от первых трех. Это, прежде всего, уже упоминавшиеся центральные земли Западной Азии, лежащие между реками Тигром и Евфратом, окруженные и ограниченные четырьмя внутренними морями: Персидским и Арабским заливами и Каспийским и Средиземным морями. Касательно этой столь примечательной во всех отношениях древней срединной области я хочу добавить еще то замечание, что она занимает приблизительно среднее место также и в ряду стран, связанных с развитием человеческой культуры, ибо южная оконечность Восточной Индии примерно настолько же удалена от нее в одном направлении, насколько северная оконечность Шотландии отстоит от нее в противоположном, северном направлении. А восточная часть Китая расположена лишь немногим далее к востоку от нее, чем западное побережье Геспенийского полуострова удалено к западу. Далее, к тому же второму классу относятся и окружающие ее страны: Аравия, Египет и Малая Азия, включая область Кавказа. К этой же среднеази-

атской группе следовало бы причислить и Грецию, поскольку в эпоху древней истории — период своего расцвета — она гораздо более взаимодействовала с Малой Азией, Египтом и Финикией и была во всех отношениях едва ли не теснее связана с ними, чем с прочими европейскими странами. С другой стороны, в Европе, пожалуй, нет иной такой страны, которая, взятая сама по себе, в такой же степени несла на себе отличительный характер всей этой части света, как Греция. А этот особый характер Европы, столь важный для расселения человечества и его культуры, заключается в том, что в других частях света никакая иная сопоставимая по размерам часть суши не обращена к морю столь же протяженным и разнообразным морским побережьем и не несет к нему столько больших и малых рек, как заключенная между двумя внутренними морями и мировым океаном Европа, не вдается в него таким множеством больших и удобно расположенных полуостровов, а сверх того, и такими великолепными островами, зачастую обладавшими с древнейших времен высокой культурой, как, например, Сицилия или Британские острова. Но какова в большом масштабе Европа, такова же в малом и Греция: страна побережий, островов и полуостровов. Итак, Греция, относящаяся по своим природным свойствам к одной, а по историческим связям — скорее к другой части света, образует переходный пункт и связующее звено между азиатскими и европейскими странами. Прочие шесть или семь важнейших стран Европы, перечисляемые в строго географическом порядке, без взгляда на различие политических границ в Древнее, Среднее и Новое время, являются членами третьего класса или порядка. Прежде всего, это оба прекрасных полуострова: италийский и испанский, — затем Франция, омываемая с севера и юга двумя различными морями, с немаловажным полуостровом, выделяющимся в северной ее части, далее, Британские острова, древняя Германия с ее северным побережьем, простирающимся вдоль двух морей, с которой в силу древнего племенного родства обитавших там народов были теснее всего связаны кимврийские и скандинавские полуострова и острова; далее, великая Сарматия, на севере и на востоке глубоко вдающаяся вглубь Азии и широко раскинувшаяся от Черного моря до Ледовитого океана. От Сарматии, однако, по причине их природного расположения следует отличать и с точки зрения географии рассматривать отдельно, как самостоятельное звено в общем ряду, страны великого Подунавья от юга Карпат до следующей горной цепи

на севере Греции, то есть, древнюю Иллирию, Паннонию и Даклию. С исторической точки зрения, к этой же системе европейских стран относится, в сущности, и северное побережье Африки, простирающееся вдоль Средиземного моря — не только в силу древней общности торговых и колониальных отношений во времена, предшествовавшие падению Карфагена, или в первый период римских войн и завоеваний. Вплоть до четвертого и пятого веков здесь все еще господствовали европейская культура нравов и язык; а в эпоху арабского владычества здесь на протяжении многих столетий снова имел место самый глубокий и содержательный взаимообмен с Испанией.

Вот, если можно так выразиться, та основанная на общем географическом обзоре всего земного шара культурно-историческая ландкарта, те географические подмостки истории, которые я буду рассматривать как основополагающую схему и постоянно иметь в виду при дальнейшей характеристике отдельных народов, в которой выдвинутый нами для философии истории принцип внутреннего слова как существенной характеристики человека должен быть описан со всей возможной точностью и ясностью и более подробно определен с учетом своих частных применений.





ТРЕТЬЯ ЛЕКЦИЯ

**О китайском государственном устройстве,
о внешней культуре этой страны и ее нравах,
затем о китайском духовном развитии и
направленности китайской науки**

«Человек и Земля» — таковы были тема и содержание всего предшествующего изложения и так же могла бы быть озаглавлена первая часть нашего труда.

Для второй части, к которой мы теперь приступаем и которая займет четыре или пять следующих докладов, такой темой будет являться священное предание, а именно, то, каким оно открывается нам у величайших и примечательнейших народов глубокой древности в согласии с тем самобытным направлением, которое приняло у каждого из них, и как оно может быть познано благодаря все еще повсеместно присутствующим и зримым для нас следам Божественного откровения; чтобы как можно более далеко проследить пытливым взглядом те различные пути развития, которые с течением времени приняло это священное предание, это изначальное Божественное сказание или свидетельство человечества, указывая, вместе с тем, и на его единый общий источник — там, где он действительно исторически дан и может быть засвидетельствован фактами, — тот единый источник, от которого берут начало все эти многообразные потоки, изливающиеся из единого центра во все стороны света, достигающие всех регионов земли и областей духа, оживляя и оплодотворяя их или, напротив, теряющиеся в безводной пустыне человеческих заблуждений, засыхающие и иссякающие в ней. Итак, наша задача заключается здесь

в том, чтобы как можно точнее определить и описать, в какой мере каждый из этих важнейших народов был причастен Божественной истине и какая доля была отведена ему в наследии высшего познания, а где примешались к ним последствия человеческих заблуждений и всеобщего вырождения, с чем также будет связана характеристика внутреннего слова как того начала, с которым связан подлинный отличительный признак и духовная сущность всякого человека и всего человечества, которая будет дана, с тем чтобы в самых существенных чертах показать, какой своеобразный облик приняло оно и как самобытно развивалось у каждого из этих народов в его языке, письменности и сказаниях, в истории, искусстве и науке, в его вере, жизни и мышлении.

Я начну свое изложение в названном географическом порядке, с китайской империи, поскольку на этой культурной линии, состоящей из пятнадцати исторически значимых стран, она занимает самую удаленную точку на краю Восточной Азии. Обозначения «восток» и «запад» в данном случае, конечно же, очень относительны и не настолько устойчиво и неизменно определены, как северный или южный полюсы, которые равно остаются таковыми в любом месте Земли и при любой ориентации. С точки зрения Перу, Китай лежит на западе, а для Северной Америки или Бразилии Европа является востоком или северо-востоком. Но, несмотря на всю его относительность, мы остаемся при нашем обычном словоупотреблении и принимаем за точку зрения и центр своего кругозора то азиатско-европейское полушарие, в котором сами находимся. Если бы мы хотели продлить этот ряд важнейших культурных стран, протянувшийся в нашем полушарии (наиболее важном для развития человечества и исторически наиболее древнем) с юго-востока на северо-запад, еще далее в западном направлении, пересекая Атлантический океан и достигая самой Америки, поскольку ныне она занимает все более и более важное место во всемирной истории, то к вышеупомянутым пятнадцати древним и более новым культурным странам можно было бы, руководствуясь их трояким европейским происхождением: британским, португальским или испанским, — причислить еще три зарождающихся государства Нового Света, которые тогда замыкали бы собою всю историческую последовательность культурных стран.

Но китайская империя образует величайшую из существующих ныне монархий Земли и уже тем самым способна привлечь к себе взор и внимание исследователей истории. Даже

если по своему размеру она не является крупнейшей из них (хотя и в этом отношении она мало уступает или почти равна самым обширнейшим странам), то, вероятнее всего, превосходит их по своему населению. Испания, считая со всеми ее американскими владениями, будет, пожалуй, крупнейшей по протяженности монархией. То же самое касается и России вместе с прилежащими к ней колониями, а также ее бескрайними провинциями в Северной Азии. Однако население этих стран, пусть даже весьма значительное как само по себе, так и в сопоставлении с другими государствами Европы, не идет ни в какое сравнение с китайским. Англия, включая принадлежащую ей Ост-Индию и все ее владения в трех остальных частях света: Полинезии, Африке и Америке, — также имеет весьма немалую протяженность и, включая сто десять миллионов человек, находящихся под ее владычеством в Индии, в этом отношении, быть может, более всех приближается к китайской империи. Население Индии также может лучше всего служить первоначальным масштабом для приблизительной и вероятной оценки населения Китая, точная и достоверная величина которого нам неизвестна. Британскому посланнику Макартни⁵⁴ были сообщены официальные сведения, согласно которым все население Китая составляло чудовищное число в 330 миллионов человек. Даже если бы можно предполагать, что здесь, у китайцев, используются те же статистически точные методы подсчета, что и у нас в Европе, оставалось бы, тем не менее, весьма сомнительным, можно ли полагаться на их любовь к истине в подобном случае, учитывая их отношение к иностранцам и особенно к чуждым для них европейцам. В другом же, хотя и несколько более раннем статистическом труде конца восемнадцатого века сообщается о населении всего лишь в 147 миллионов человек, причем тут же самым невероятным образом добавлено, будто еще приблизительно сто пятьдесят лет тому назад, в середине семнадцатого века, оно составляло всего лишь 27½ миллионов, каковая скорость или каковой невероятный скачок противоречил бы всем законам и наблюдениям над ростом и развитием населения даже в самых цивилизованных странах. Таким образом, из этого источника, из самой китайской статистики мы едва ли сможем получить надежные сведения по данному вопросу. Однако эта

⁵⁴ Джордж Макартни (1737–1806), первый британский посланник в Китае — *Прим. перев.*

великая страна всюду пронизана судоходными реками и каналами, повсеместно усеяна крупными, весьма густонаселенными городами и лежит под столь же или еще более плодородным и гораздо более здоровым небом, чем Индия, и повсюду так же или лучше возделана и превосходно ухожена и, по всей видимости, повсеместно так же населена или перенаселена, и потому мы можем принять Индию, чье совокупное население далеко не исчерпывается 110 миллионами человек, живущих там под британским владычеством, за масштаб для первоначальной, приблизительной оценки. Если же учесть, что даже собственно Китай обширнее лежащего к западу Индийского полуострова, а прочие крупные страны, относящиеся к Китаю, такие как, например, Тибет и Южная Тартария, также принадлежат к числу густонаселенных, то предположения того британского писателя, у которого я позаимствовал вышеприведенные критические замечания касательно прежних сведений о китайском населении и который, тем не менее, сам оценивает его в 150 миллионов, содержат, по-видимому, слишком умеренные оценки, которые, вероятно, могут быть существенно исправлены в большую сторону, так что результат едва ли окажется заметно меньшим, чем все европейское население, что составляло бы если не четвертую, то, по крайней мере, пятую часть всего населения Земли. Вдаваться по ходу изложения в подобного рода общие сопоставления или не оставлять их совсем без внимания там, где такая возможность представляется сама собой, я позволяю себе только по той особой причине, что история культуры, которая образует историческую основу или, так сказать, внешнее тело философии истории, заключающейся лишь в более глубоком и высшем понимании этого целого, не может не проявлять сочувственного интереса к общему состоянию рода человеческого, а этот высший интерес, занятый не статистическими расчетами как таковыми, но обращенный на действительное положение дел и состояние всего человечества, в том числе, и с внешней стороны, однако только как на основу для понимания предметов более глубоких и высших, разумеется, может быть связан с такого рода сопоставлениями. Но этот интерес, который история культуры должна проявлять ко всему роду человеческому и к каждому народу Земли, не должен следовать воображаемому закону всеобщего равенства, для которого все предметы имеют равную важность, равное значение, который стремится уделять всем им безо всякого различия равное внимание, что в данном случае свидетельствовало бы только об индиф-

ферентизме по отношению к высшему началу в человеке или же о его непонимании. Не только числом жителей, географической протяженностью или внешним могуществом страны должен определяться этот интерес, но и числом, и мерой, и весом: весомостью ее внутреннего духовного или нравственного достоинства, мерой ее высшего развития и достигнутой в нем ступенью. Так, ни тунгусы, сколь бы широко они ни были расселены, ни калмыки, сколь много характерных и примечательных черт ни обнаруживали бы они по сравнению с другими народами Средней Азии, не могут представлять того же интереса и занимать того же места в культурной истории человечества, что и греки или египтяне, хотя земля египетская, собственно говоря, не так уж и велика, а население ее, должно быть, никогда не было особенно многочисленным по привычным ныне для нас масштабам. Точно так же, всемирная империя монголов, частью которой некогда был и Китай, с этой возвышенной точки зрения не может казаться нам столь же важной или притягательной, какими Римская империя, ее становление или ее упадок предстают для нашего образованного западного мира. Но, конечно, авторам, писавшим об истории человечества или других всемирно-исторических предметах, не всегда удавалось избежать этой ошибки, то есть не трактовать все без различия на основании мнимого всемирноисторического равенства народов и не рассматривать все человечество, с его многочисленными племенами и расами, в одном общем масштабе естественной истории, вследствие чего самые возвышенные и прекрасные предметы часто оказываются в одном ряду с пошлыми и низкими как имеющие один и тот же характер и природу, однако при этом, в сущности, ничему не уделяется должного, надлежащего места: ни тому, что есть в человечестве поистине великого, ни тому, что есть в нем менее значимого, но что также не следует упускать из вида.

Многочисленное население или перенаселенное состояние всего человечества или одной отдельно взятой страны и государства является хотя и существенным элементом политической силы последнего, однако не единственным и далеко не самым важным среди характерных черт и признаков цивилизованного состояния первого. И лишь в последнем отношении население Китая заслуживает быть здесь упомянутым. Ибо, хотя в наше время, когда Европа все более успешно обращает преимущество своего образования и духа перед прочими частями света в политическое господство над ними, Англия и Россия стали соседями

Китайской империи у ее северных и западных границ, эти пограничные отношения все же никак не затрагивают остальную Европу, и потому Китай, за исключением его крайне важных торговых отношений и коммерческих преимуществ, более не может учитываться как одна из политических сил в системе целого. Впрочем, ни в прежнюю, древнюю эпоху, ни в новые времена Китай, в сущности, никогда не вмешивался в историю Западной Азии и европейских народов и никак не был с нею связан — он всегда существовал особняком, как отдельный замкнутый мир где-то на краю неведомой Восточной Азии, вследствие чего авторы ранних опытов всемирной истории с их ограниченными кругозором и методом, уделяли ему мало или даже почти совсем никакого внимания. Что и естественно, поскольку наиболее важными и существенными событиями у азиатских народов им представлялись военные походы и завоевания. А отправлявшиеся из Китая завоевательные походы никогда не достигали Западной Азии и не продвигались столь далеко, как например, Ксеркс из Персии до Афин или Александр Великий из небольшой провинции своих отцов Македонии до Инда и почти до самого Ганга, хотя достичь последнего ему и не удалось. Все завоевательные походы начинались, скорее, не здесь, а в Центральной Азии, у татарских народов, которые вторгались в Китай, так что его духовная и нравственная культура и сила его цивилизации сохранились лишь благодаря тому, что татарские завоеватели — как в древние времена, так и ныне, при последнем из подобных переворотов, — уже через несколько поколений совершенно перенимали обычаи и культуру побежденной страны и становились более или менее китайцами. Но не одно только многочисленное население или развитое земледелие этой плодородной страны, издревле известное знаменитое искусство изготовления шелка, возделывание чая, представляющего столь важный предмет европейской торговли, наряду с многими иными важными для медицины природными продуктами или также превосходными и неподражаемыми в своем роде произведениями китайского ремесла и прочими их изделиями, доказывают столь цивилизованное состояние этой страны. Разве может не заслуживать высочайшего ранга или одного из первейших мест в ряду цивилизованных стран та страна или тот народ, который обладал книгопечатанием, порохом и даже магнитной стрелкой — этими тремя самыми знаменитыми и прославленными открытиями европейской техники — за много столетий до того, как о них узнала Европа? Хотя вместо соб-

ственно книгопечатания, с подвижными буквами, которые не подходят для китайской письменности, китайцы пользуются скорее своего рода литографией, однако принцип ее остается тем же самым, с тем же самым эффектом и результатом. Порох используется у них, как это поначалу было и повсеместно, более для увеселения искусными фейерверками, нежели с серьезными целями для нужд фортификационного и осадного искусства. Также и для магнитной стрелки, хотя она и была здесь известна, китайцы не смогли найти столь важного применения, поскольку ограничивались речным и прибрежным судоходством и никогда не отваживались выходить в открытое море. Но и в области нравов и общественной жизни они обладают высочайшей изысканностью манер и даже преувеличенной церемонностью в проявлениях вежливости и приличия. В некоторых отношениях и во многих деталях из числа вышеупомянутых их культура и утонченность весьма сходны с европейскими обычаями, — по крайней мере, в большей степени, нежели то, что мы, находясь под впечатлением расположенного ближе к нам магометанского Востока, привыкли называть восточными обычаями. В подтверждение этого достаточно будет привести какой-либо современный китайский рассказ, основанный на нынешних общественных отношениях, например, новеллу, переведенную Ремюзой. Однако многое из здешних мод и обычаев противоречит европейскому вкусу и чувствам; упомяну хотя бы тщательно оберегаемые длинные, как птичий коготь, ногти китайских аристократов, чиновников и ученых или искусственно сдавленные миниатюрные ноги элегантных китайских дам. Оба обычая, как недавно разъяснил в своем описании некий весьма эрудированный англичанин, потому только служат в качестве признака благородного сословия, что первый делает человека неспособным ко всякому грубому и физическому труду, а второй не позволяет даже ходить или придает походке женщин этого сословия неустойчивость, а им самим — привлекательную слабость и болезненность. Такие мелкие штрихи уже потому заслуживают места в общей картине нравов, что сразу же привлекают наше внимание к некоторым проявлениям и характерным признакам неестественности, детского тщеславия и преувеличенной искусственности, которые можно здесь обнаружить наряду с более важными и всеобщими особенностями китайской духовной культуры. Даже в основе всякого интеллектуального образования, в китайском языке или, скорее, письменности, мы обнаруживаем ту же самую характерную, превосходящую всякую меру

и разумение искусственность, которая, с другой стороны, обобщается величайшей духовной скудностью и внутренней ограниченностью. В языке с немногим более чем 300 и гораздо менее чем 400, а согласно одному новейшему критическому исследователю, не более чем 272 корневыми односложными словами, лишенном всякой грамматики, в котором часто не просто разные, но и совершенно не связанные между собой значения одного и того же одинаково звучащего слова различаются, во-первых, особой модуляцией голоса, в согласии с одним из четырех различных типов ударения, и, во-вторых, и теперь уже наконец вполне отчетливо, с помощью письменных знаков, общее количество которых составляет чудовищные 80000, в то время как число египетских иероглифов равно приблизительно 800, так что эта китайская система письменности является самой искусственной во всем мире. Сделанный вывод не опровергается и тем обстоятельством, что из столь громадного числа всех реальных или возможных письменных знаков используется, может быть, только одна четверть, а в действительности необходимо знать и того меньше. Поскольку значение слов и, в особенности, более сложных понятий или абстрактных идей полностью фиксируется и точно определяется только при помощи этого искусственного шифра, китайский язык гораздо более основывается на своих письменных знаках, чем на живых звуках, поскольку часто один и тот же звук может быть обозначен 160 различными знаками и имеет ровно столько же значений. Нередко случается, что китайцы, когда в разговоре недостаточно хорошо понимают собеседника или не могут понятно выразиться сами, прибегают к помощи письма, и только начертав несколько знаков, догадываются о значении сказанного и вполне понимают друг друга. Уверенно ориентироваться в неизмеримом хаосе этих знаков (которые поначалу были наглядными, но сейчас превратились в конвенциональные), то есть, иными словами, уметь читать и писать, что, однако, таит в себе немалые трудности даже для людей самых опытных, — вот в чем заключается подлинная цель и содержание научного образования китайца; делу этому вполне можно посвятить целую жизнь, ибо и для европейских ученых, занявшихся этим вопросом, нелегкой задачей представляется уже разработка такой системы или принципа, по которому может быть составлен словарь или, скорее, систематический указатель всех письменных знаков, пригодный в качестве путеводителя по всему морю шифров китайских книг и письменных знаков. Однако к вопросу о китайской

письменности в дальнейшем мы вернемся еще один раз, чтобы уже в связи с особым своеобразием направленности китайского духа он мог получить объяснение или, хотя бы, показаться более доступным пониманию в согласии со своим истинным смыслом или, скорее, своей бессмысленной сложностью и искусственностью. Что же касается состояния внешней культуры, то здесь фактическим доказательством и документом, предоставленным самой действительностью, может считаться пронизывающая всю страну система каналов и всех связанных с ними сооружений. Ибо поскольку необычайное плодородие здешних земель основано на многочисленных больших и малых реках, пересекающих и орошающих эту страну, но одновременно угрожающих ее плоским равнинам сильными наводнениями, то первый предмет и важнейшая забота ее внутреннего управления состоит, естественно, в том, чтобы отвратить опасность наводнений, равномернее распределять плодородное орошение по всей стране и при помощи каналов поддерживать и расширять во всех направлениях столь необходимое и выгодное для промышленности и внутренней торговли водное сообщение. Пожалуй, ни в каком цивилизованном государстве подобные учреждения не доведены до такого уровня и не распространены так широко, как здесь; большому императорскому каналу протяженностью в 120 географических миль, как говорят, нет подобных в мире. И хотя строительство каналов и все управление водным хозяйством очень медленно продвигалось к той степени совершенства, которой достигло к нашему времени, оно достаточно красноречиво свидетельствует о том, сколь рано здесь начали предпринимать усилия к цивилизованному устройению жизни. Об этом достаточно часто упоминается и в древних китайских исторических книгах и имперских анналах, и, если в Египте Нил и попечение об этой реке считалось важнейшей задачей правительства, так же было и тут: неоднократно упоминая о постоянных, часто повторяющихся больших наводнениях и разрушительных паводках, те же анналы всегда признают характерной чертой и отличительным признаком хорошего, мудрого и добросовестного правительства то, что оно предпринимает все необходимые меры для поддержания этого водного хозяйства; напротив, верная примета дурного, нерадивого и злосчастного правительства заключается в том, что оно пренебрегает этой важнейшей из всех административных задач, за чем в этих историях обычно следует или с чем бывает связано какое-либо иное бедствие или другая страшная катастрофа, воспринимаемая как

заслуженная божественная кара за непростительное пренебрежение долгом. Другой не менее исторический и по-прежнему существующий в действительности документ, наряду с упомянутым императорским каналом свидетельствующий об очень высоком цивилизованном состоянии китайской империи в то раннее время, представляет собою Великая китайская стена, которая протянулась на сто пятьдесят географических миль вдоль северной границы Китая в узком смысле этого понятия; высота и толщина ее таковы, что, согласно расчетам, ее кубическое содержание превышает объем строительного камня всех зданий в Англии и Шотландии вместе взятых; или же еще, что того же материала хватило бы, чтобы опоясать всю Землю стеной обычной высоты и умеренной толщины. Эта Великая китайская стена может, с одной стороны, служить характерным признаком и, в то же время, как бы символом китайского государства с его своеобразной направленностью и внутренней закрытостью по отношению ко всему иностранному и чуждому в людях, обычаях и идеях, что, впрочем, так же мало, как и сама стена, защищало его от вражеских нашествий или проникновения чужеземных сект. И именно в этом отношении Великая китайская стена, воздвигнутая ко второму столетию до нашего христианского летоисчисления, является историческим памятником, который более красноречиво, чем все еще вызывающие определенные сомнения свидетельства старых хроник, доказывает, что уже в древнейшие времена, задолго до монгольского завоевания или до основания нынешней династии маньчжурских тартар, китайская империя, может быть, также нередко завоевывалась с севера татарскими народами или, по крайней мере, подвергалась такой опасности. Вся последовательность местных династий вплоть до монголов: Цинь, Хань, Тан, Сун — в своих многословных анналах предлагает нам, пожалуй, очень мало плодотворных результатов, касающихся интеллектуального развития китайцев и степени их духовной культуры, и все то, что из общей массы внешней истории с этой точки зрения имеет значение для поставленной нами задачи, сводится к очень немногим и совершенно простым историческим фактам. За начало собственно исторического времени и аутентичной истории уже упомянутый английский писатель, хотя и склонный обычно к несколько скептическим суждениям и взглядам, принимает уже древнюю династию Чжоу, то есть, одиннадцатый век до начала христианского летоисчисления. Первым из этих исторических фактов, примечательным, по меньшей мере, с точки зрения нравствен-

ной и духовной культуры является то, что Китай первоначально состоял из множества мелких царств и под властью этих мелких, не слишком могущественных князей наслаждался большей свободой, и лишь за двести лет до Рождества Христова был объединен в одну великую монархию под неограниченной властью одного государя и что первому единому императору всего китайского царства, Шихуан-ди, наряду с созданием Великой китайской стены приписывается массовое сожжение книг, о котором вскоре будет рассказано подробнее; в это же время происходит колонизация Китая Японией или же ее политическое основание в качестве колонии. Однако позднее, в пятом веке, а затем и во времена монгольского завоевания при Чингисхане, Китай снова был разделен на два царства: южное и северное. Еще более важным с точки зрения внутренней культуры и в качестве масштаба и характерного признака цивилизованного состояния является второй, уже затронутый нами исторический факт, что как бы часто ни завоевывался Китай монголами и тартарами, в течение недолгого времени победители усваивали китайские обычаи, законы и, чаще всего, даже язык, будучи, в свою очередь, побеждены и покорены превосходством духовной культуры, так что с этой стороны китайские установления, в целом, оставались неизменными. Но в особенности примечательно следующее наблюдение из китайской истории. Хотя ни в одном государстве мы не находим столь прочного монархического и абсолютно совершенного внутреннего единства, как в китайском, особенно при его древнем устройстве; оно, тем не менее, было гораздо более ограничено обычаями и законами и потому весьма далеко отстояло от того произвола и деспотизма, которые мы привыкли приписывать исторически более близким к нам восточным народам; до прихода индийской религии Будды здесь не было даже отдельного священнического сословия, решительно никакой аристократии, никаких наследственных сословий и прав; лишь образование и продвижение по государственной службе что-либо значили и решали; ученые и чиновники были сплавлены в единый класс мандаринов, вообще же государство было все во всем. И однако это кажущееся абсолютное единство не смогло привести к прочному миру и долговременному процветанию, ибо вся китайская история от начала и до конца есть непрерывная цепь революций, возмущений и насильственных катастроф, узурпаций, анархии и смены династий, как это следует уже из сухих фактов, хотя официальный язык имперских анналов везде стремится подчеркнуть конечную победу монархического начала.

В области науки или общепринятого учения и общественного мнения также имели место такие сокрушительные катастрофы, как, например, вышеупомянутое массовое сожжение книг при первом великом императоре, во время которого ученые или, по крайней мере, одна из ученых партий были подвергнуты гонениям и были сожжены четыреста шестьдесят приверженцев школы Конфуция; этот насильственный акт заставляет предполагать ожесточенную межпартийную борьбу, приобретший политическое значение конфликт вероучений и духовный переворот в образе мышления. В то же самое время один из любимцев этого жестокого властителя ввел также новую систему письменных знаков, отчего возникла большая путаница, затронувшая даже последующие поколения. В качестве такой же духовной революции бесспорно можно рассматривать и введение индийской религии Будды, или, как называют ее в Китае, *Фо*, которое состоялось ровно через тридцать три года после основания христианства. Завоевание Китая монголами произошло при Чингисхане в то же самое время, когда они направляли свои опустошительные походы и в другую сторону, в направлении Европы через Россию, Польшу и вплоть до самой Силезии. Последовавшая затем реакция и восстановление китайской империи произошли благодаря народной революции, руководимой простым китайцем по имени Чжу, который взошел на императорский трон и основал очередную, снова китайскую династию. Правители царствующей ныне, начиная с середины XVII века, династии маньчжурских тартар отличаются особой приверженностью обычаям и установлениям древнего Китая, а к его также языку и наукам, покровительство коим дало начало множеству важных научных предприятий, немало содействовавших европейским ученым, задавшимся целью ближе познакомиться нас с Китаем. Но даже и в настоящий момент одновременно на севере империи разразился крупный мятеж, а в противоположной ее стороне — выходящее за рамки обычного преследование христиан.

Этих немногих основополагающих сведений о внешней истории будет достаточно для дальнейшего рассмотрения внутреннего, интеллектуального развития и духовной культуры китайцев, по крайней мере, для характеристики и внешнего исторического описания ее основных моментов. Но поскольку духовное развитие и все его своеобразие у каждого из древних народов теснейшим образом связано с его языком, и поскольку

язык у китайцев в силу большой протяженности их страны в меньшей степени заключен в живом звуке, нежели в письменности, необходимо будет сделать еще несколько замечаний об этой искусственной китайской письменности, единственной в своем роде на всей Земле, однако замечаний общего характера, так чтобы не вдаваться далее в хаос этих 80 000 знаков языкового шифра и всех сопряженных с ними трудностей и проблем. В своей первооснове китайское письмо является рисуночным, хотя простейшие исходные черты этих первоначальных рисунков уже почти невозможно распознать в тех загадочных сокращениях и запутанных комбинациях письменных знаков, которые используются в наше время. Свести посредством строгого анализа неисчерпаемое богатство этих знаков к простейшим первоначальным элементам представляет нелегкую задачу даже для самих китайских ученых, однако им и в самом деле удалось определить в качестве таких элементов так называемые 214 ключей или рисуночных знаков. Все без исключения первые китайские иероглифы древнейшего времени представляют собою нарисованные лишь несколькими грубыми штрихами изображения простейших конкретных предметов, которые окружают человека, живущего в примитивнейших естественных условиях: солнца и луны, самых привычных животных, важнейших растений, рабочих инструментов, оружия или частей человеческого жилища. То есть, это то же грубое рисуночное письмо, которое было найдено и у других дикарей, особенно у американских, и в частности у мексиканцев. Знаменитый французский ученый Ремюза, который в наше время вдохнул новую жизнь в изучение Китая и, что еще важнее, привнес в эту науку гораздо большую ясность, чем находили в ней до него, в своем исследовании этих первых, еще очень скудных контуров первоначальной китайской культуры, в которых он обнаруживает отражение весьма ограниченного китайского круга идей того времени, делает немало остроумных замечаний и исторических выводов; и если, согласно его предположениям, китайское письмо было впервые изобретено около четырех тысяч лет тому назад, то, в соответствии с нашим привычным летосчислением, это событие должно приходиться на третье или четвертое поколение после потопа, каковую оценку безусловно нельзя назвать преувеличенной. Если этому столь хорошо знакомому с китайской историей и наукой европейскому ученому недостает слов, чтобы выразить свое удивление скудостью первых символов и ключей китайского письма, то, несомненно, никто не сможет лучше него по до-

стоинству оценить громадную дистанцию между этой изначально бедностью идей и последующим неисчислимым богатством, заключенным в более поздней, искусственной и усложненной письменности китайцев. Однако в том, что, как он, в частности, указывает, в этом древнейшем перечне иероглифов отсутствует иероглиф или письменное обозначение священника, которое, равно как и обозначаемое им сословие, должно иметься даже у самых примитивных народов, я не могу с ним согласиться, поскольку сам же он среди прочих иероглифов приводит и такой знак, который изображает или должен изображать волшебника. А у языческих народов древнейшего времени оба эти понятия, по-видимому, полностью совпадали, что, вероятнее всего, имело место уже у каинитов. Но сложение нескольких простых знаков, при помощи которого обозначаются более абстрактные понятия, по всей видимости, часто не подчиняется или, по крайней мере, первоначально не подчинялось никакому более глубокому принципу, но определялось самыми заурядными восприятиями или впечатлениями обычной повседневной жизни. Так, например, иероглиф, обозначающий счастье, составлен из двух других знаков, один из которых представляет открытый рот, а другой — горсть риса или вообще рис. Таким образом, здесь не подразумевается какая-нибудь возвышенная, несбыточная или мистически-духовная идея, но, как ясно следует из этого письменного обозначения, общее понятие счастья основывается у китайца на представлении о сытом рте, постоянно наполненном хорошим рисом. Еще один пример довольно схожего рода приводит Ремюза, не без некоторого стеснения и неуверенности, а именно, то, как иероглиф, имеющий значение «баба», то есть, лицо женского пола, будучи поставлен рядом с другим таким же иероглифом, означает ссору и брань, а повторенный три раза — беспорядок или дурное поведение и безнравственность. Подобные сочетания идей, в сущности, плоские и тривиальные, весьма далеки от того утонченного восприятия глубинного смысла природы, которое можно обнаружить в уже определенно осязаемом, хотя и не вполне сформировавшемся представлении о ней и вообще в духовном символизме египетских иероглифов, насколько нам до сих пор удалось их расшифровать, хотя они, конечно, также могли использоваться и действительно использовались в более удобном алфавитном значении. В иероглифах, помимо простого дословного значения, чувствуется окутывающее их дыхание символизма, — словно животворящий покров, словно веяние присущего им высшего духа и глубоко

прочувствованного смысла, словно прекрасный дар, вложенный во всякую предназначенную к высшей цели письменность или надпись, идущий рука об руку с буквальным смыслом слова, означающего имя или факт. Между тем китайцы, помимо хаотически бессчетного множества своих иероглифов, все же обладают системой научных символов и символических письменных знаков, которые составляют содержание древнейшей из их священных книг — «И Цзин», что означает «Книга Единства» или, как истолковывают другие, «Книга Перемен», причем как одно, так и другое название вполне соответствуют смыслу этих символов, который, будучи правильно воспринят и понят в духе древности, без большого труда поддается объяснению и оказывается вполне научным и весьма заслуживающим внимания. Существуют лишь две основных фигуры или основных линии, из которых изначально составляются четыре символа и восемь гуа, или представляющих природу комбинаций, которые образуют основу всей высшей китайской науки. Эти два основных элемента представляют собой одну прямую непрерывную линию и одну прерванную или разделенную на две части линию. Если расположить рядом или, точнее говоря, один над другим, как в нашем арифметическом знаке равенства, два первых элемента, то есть, две прямые линии, или две прерванных и разделенных на две части линии, или же, наконец, две различных линии, то, учитывая, что одна прерванная линия может занимать верхнее или нижнее положение, что дает две дополнительных комбинации, мы получим, в общей сложности, четыре возможных комбинации, то есть, упомянутые четыре символа. Если же соединить и расположить друг под другом три таких двоякого рода линии: непрерывных и прерванных, — то, в зависимости от различного числа и верхнего, среднего или нижнего положения тех или иных линий: непрерывных прямых или прерванных, — мы получим восемь различных сочетаний, то есть, восемь упомянутых гуа, которые, наряду с четырьмя символами, соотносятся с природными стихиями и основополагающими принципами всех вещей и служат для их символического выражения и научного обозначения. В чем же заключается подлинный смысл и истинное значение этих основополагающих символов, влияние которых сказалось на всей древней китайской литературе и о которых сами китайцы написали бессчетное множество научных комментариев? Лейбниц предполагал в них связь с новейшими алгебраическими открытиями и особенно с двоичной системой счисления. Другие писатели, черпающие

более из жизни и практических наблюдений, особенно английские, отмечают, напротив, что эта древняя система магических линий в реальной жизни до сих пор служит как своего рода оракул с вопросами и ответами, подобный европейскому гаданию на картах, а также используется в связи с некоторыми другими предрассудками, особенно для достижения мнимых успехов в алхимии, которой китайцы с усердием предаются. Однако такое злоупотребление возникло только в новое время, когда люди совершенно перестали понимать эту древнейшую систему символических знаков и линий. В глубокой древности этой системы и восьми гуа приходится сомневаться тем менее, что мифологически она приписывается самому китайскому праотцу Фу Си, который, будто бы, увидел эти линии на панцире черепахи и создал из них иероглифы, которые многие китайские ученые хотели вывести и действительно пытались выводить из этих восьми гуа или комбинаций основных символических линий. Однако уже неоднократно упоминавшийся французский ученый, чье суждение на этот счет должно быть, пожалуй, самым компетентным, самым решительным образом возражает этим попыткам китайцев вывести все без исключения иероглифы из восьми гуа; и действительно представляется, что последние следует рассматривать как нечто совершенно отличное от обыкновенной практики китайского письма и предназначенное для научных целей. Возможно, истинный смысл этих знаков, не столь уж и глубоко сокрытый, и их естественное объяснение станут ясны сами по себе, если прибегнуть к сопоставлению с основными понятиями древнегреческой философии и науки, с тем как, согласно с ее положениями, в сочинениях Платона часто говорится об одном и ином или о едином и двойственном как первоначальных природных элементах или первопринципах всего бытия. Тем самым имеется в виду учение о первой противоположности и о выводимых из него множественных противоположностях, а также о возможном и мыслимом или необходимом и действительном согласовании и примирении между ними и восстановлении первоначального единства и вечного равенства, предшествующего всякой противоположности и в конце концов вновь растворяющего в себе и всецело объемлющего собою всякое разделение. Поэтому и в восьми древнекитайских гуа и математических знаках или символических линиях содержалось, вероятно, ничто иное, как только сухая схема всякого динамического мышления и знания, и потому представляется совершенно понятным и последовательным, что и древняя священная книга, содержащая

эти принципы китайского знания, могла именоваться «Книгой Единства» или «Книгой Превращений», поскольку она основана на учении об абсолютном единстве как основополагающем принципе всех вещей и всех некогда произошедших из этого единства различий и противоположностей или изменений. Это учение о противоположности во всех вещах, — как в мышлении, так и в природе, — будет для нас более наглядным, если вспомнить о последних блестящих открытиях наших естественных наук. Ибо как здесь такая противоположность и динамическая игра живых сил открывается в природных феноменах: на противостоящих кислородной и водородной сторонах вольтова столба или на положительной и отрицательной сторонах электрических явлений, на притягивающем и отталкивающем полюсах магнитной силы — так и там абстрактное понятие об этих противоположностях и динамическом изменении бытия уже было воспринято и, по крайней мере, намечено в обобщенном математическом виде, как основа для всего последующего знания. Разумеется, здесь, в нашей высокой натурфилософии все это фактически доказано из научного опыта; а кроме того, для нее вся эта динамика бытия и жизни, равно как и ее познание, составляют лишь одну из сторон бытия и того, как оно должно быть познано и понято; напротив, наука, основывающаяся исключительно на этом единственном динамическом законе и игре бытия, при этом совершенно не принимающая во внимание другую сторону и высший источник внутреннего опыта и нравственной жизни, духовного созерцания и божественного откровения, навсегда останется крайне односторонней, не имеющей универсального применения, а при таком универсальном применении приводящей к бесконечным противоречиям, ошибкам и недоразумениям. Что такая система динамического мышления и знания, будучи распространяема на области, в которых она не может быть подтверждена фактически, на все божественные и человеческие дела, на все действительные и возможные или невозможные предметы, приводит к подобному хаотическому смешению идей, видно на примере немецкой натурфилософии минувшего поколения, характер которой был именно таков и выражался в столь же произвольной интеллектуальной игре с полярностями и противоположностями или точками индифферентности между ними, но сейчас, когда истинная цена и внутреннее содержание этой философии давно уже стали известны, она была поставлена на подобающее ей место. Итак, эта основополагающая схема китайских символов мысли, значение которых явля-

ется, однако, чисто научным и вполне метафизическим, демонстрирует нам не более чем древнейшую форму новейшего заблуждения, хотя сама по себе она примечательна, исторически важна и вполне поучительна. Основополагающий текст древней священной книги, касающийся этого учения о единстве и противоположностях, который теперь должен быть нам понятен, согласно дословному переводу Ремюзы, гласит: «Великий первопринцип породил два равенства и различия или основополагающих правила бытия; а два основополагающих правила, то есть, Инь и Ян, или покой и движение (или „да” или „нет”, как их еще можно было бы назвать), породили четыре образа или символа, а четыре символа породили восемь гуа или сочетаний и дальнейших комбинаций»⁵⁵. Эти восемь гуа суть: Цянь или эфир; Дуй, то есть чистая вода; Ли, то есть чистый огонь; Чжэнь, или гром; Сунь, то есть ветер; Кань, обыкновенная вода; Гэнь, то есть горы и Кунь — земля. На этой древней основе китайского знания и динамического мышления, движущегося от индифферентности к дифференциям, впоследствии была выстроена чисто спекулятивная рациональная система, основоположником которой называют Лао-цзы, жившего несколько ранее Конфуция. Следующая ему рационалистическая секта даосизм подверглась сильному вырождению и в конце концов стала решительно атеистической, вину за что следует возлагать не на самого ее основателя, а лишь на его последователей, хоть и признано, что этот атеизм абсолютно рационалистической науки чрезвычайно широко распространился в китайской империи и на протяжении целого периода господствовал в ней почти безраздельно. Но поскольку в этом обзоре развития китайского духа необходимо не упускать из виду хронологический порядок, то мы добавим здесь лишь то примечание, что в истории китайской науки и религии вместе взятых, насколько они нам сейчас известны, можно выделить три основных момента или следующих друг за другом эпохи. Первая эпоха — это эпоха священного предания и основанной на нем древней китайской государственности и самой идеи китайской империи наряду с теми исконными нравами и той этикой, на которых эта идея основана. Вторая эпоха, приблизительно шестьсот лет до нашего летоисчисления,

⁵⁵ Это текст не из самой «Книги перемен», а из древнего комментария к ней, «Си цы чжуань», чжан (глава) 11; ср. тот же текст в переводе В. Еремеева: «...В Переменах есть Великий предел (тай цзи). Он рождает двоицу образов (и). Двоица образов рождает четыре символа (сян). Четыре символа рождают восемь триграмм (гуа).» — *Прим. пер.*

есть эпоха научной философии, принявшая два различных направления. Конфуций целиком обратился к практической стороне этического учения, с которой теснейшим образом были связаны древняя китайская государственность, история и священное предание; и именно эта ветвь китайской духовной культуры в виде чистой этики Конфуция, с которой европейцы ближе ознакомились в первую очередь, в высшей степени пробудила восхищение многих европейских ученых, отчего правильная оценка китайской культуры как целого в силу такой несколько односторонней перспективы, пожалуй, несколько пострадала. Другое, совершенно отличное от этой практической этики и полностью спекулятивное направление приняла философия Лао-цзы и его школы, из которой произошла уже упомянутая рационалистическая секта, ставшая в конце атеистической. Сказание или предположение и исследование гипотезы о том, путешествовал ли Лао-цзы на далекий Запад, и даже если в своих странствиях он достиг лишь Западной Азии, то не мог ли он почерпнуть свою систему из персидских или египетских учений или, опосредованно, даже из греческой философии, — этот вопрос должен быть поставлен и исследован в подобающем ему месте, поскольку сам этот предмет и без того весьма сомнителен, и даже если бы все это было и так, то все, что, может быть, первоначально было заимствовано с Запада, здесь было облечено в китайскую форму, полностью преобразилось и стало совершенно своим. Очевидно, что и уже упомянутые выше знаки «Книги Перемен» содержат основу для такой абсолютной в своем отрицании и, таким образом, атеистической по своему существу рационалистической системы динамической игры мышления. Третий основной момент или же третью эпоху в развитии китайского образа мысли составляет введение индийской религии Будды, или *Фо*; предшествовавшее ему потрясение древних китайских нравов и учений и господствующий сектантский дух упомянутой ложной, абсолютно рациональной философии достаточно предуготовили путь чуждому буддистскому учению, которое среди всех языческих пародий на истину, безусловно, занимает самое последнее и низкое место.

Древнее священное предание китайцев далеко не в той степени перегружено поэтическими вымыслами или искажено ими, как предания большинства других азиатских народов, например, индийцев, или древних языческих народов европейского Запада, но задуманы и осмыслены в духе более чистой истории. Потому даже поэзия китайцев не является собственно мифо-

логической, как у прочих упомянутых народов, но или лирической, как в восходящей к Конфуцию или составленной им книге священных песен «Шицзин», или целиком направленной на изображение действительной жизни и общественных отношений, как в современных, подобных новеллам, рассказах, известных в Европе по многочисленным переводам.

Древнее предание китайцев имеет немало родственного или, по крайней мере, напоминающего о некоторых сходных чертах Божественного откровения в книгах Моисеевых, а также о священном предании других народов Западной Азии, в особенности персидского; и многое в нем служит к подтверждению полученного нами и известного нам предания или, по крайней мере, дает повод к соответствующим сопоставлениям. О своеобразном китайском представлении и изображении великого потопа и того, как их первые праотцы преодолевали и потоп, и непрерывное буйство вод, как иные дурные и нерадивые правители пренебрегали этой обязанностью, что служило причиной их гибели, — обо всём этом было уже сказано выше. Хочу выделить только одну черту, в которой эти параллели достойны особенного внимания, а именно, какими ясными словами в книге «И Цзин» говорится о падении дракона или духа дракона, о том, как он за то, что по своей гордыне желал вознестись на небо, был низвергнут в бездну — почти в тех же или, по крайней мере, в сходных выражениях, в которых в Священном Писании говорится о падшем духе, а у персов — об Аримане. И однако, тот же самый дракон странным, чтобы не сказать, наивным образом является символом и священной эмблемой китайской империи и ее властителей. Отечественная власть последних воспринимается, пожалуй, в преувеличенно абсолютном смысле: император не только именуется господином неба и земли, сыном Неба или даже сыном Бога, но и, действительно, воля его почитается, как божественная воля, или, точнее говоря, полностью отождествляется с таковой, и даже самые решительные панегиристы китайского государственного устройства и образа жизни не могут отрицать, что китайскому монарху воздается почти самое настоящее поклонение. Христианская религия говорит нам, что всякая власть от Бога, но это не значит, что всякая власть и Бог суть одно и то же. В Китае же властителю как светлейшему государю неба и земли приписывается власть над самой природой и природными духами. Наследственной аристократии, как и вообще наследуемых по праву рождения сословий, как в Индии, здесь нет вообще. И великую жертву Господу в древние времена в Ки-

тае приносил лишь один наполовину отождествляемый с Ним монарх на вершинах священных гор. Но если в связи с этим некоторые европейские писатели называют китайскую форму правления теократией, то таковая заключается здесь лишь во внешней форме или в древнем обычае, поскольку в управлении китайским государством невозможно ни усмотреть, ни продемонстрировать присутствие божественной внутренней силы. Напротив, весь этот церемониал превратного употребления религиозных выражений образует резкий контраст с действительной историей: с неприглядностью бесконечного ряда дурных правлений, неудачливых правителей и постоянных революций, которые по большей части и составляют содержание китайской истории. Но было бы ошибкой считать все эти титулы обыкновенными преувеличениями и фигурами восточной риторики. И о самом Поднебесном царстве срединных земель, как здесь именуют свою страну, китайцы говорят не так, как европейский писатель без труда бы мог говорить о легитимном государстве, но в выражениях, подобных тем, которыми в Священном Писании или у христианских писателей описывается Царствие Божие. Они также считают немыслимым, чтобы на свете могло быть сразу два императора, ибо на всей земле может быть лишь один такой неограниченный владыка и повелитель, и потому любое торжественное иностранное посольство они рассматривают как подобающую дань признания, и не просто так, из тщеславия или самомнения, но потому что действительно такова их вера и твердое убеждение, совершенно согласующееся со всем их мировоззрением. И все это политическое идолопоклонство перед государством, представление о котором у них отождествляется с личностью правителя, есть ничто иное как языческое заблуждение. Всякое преувеличение и всякий абсолют порождают свою противоположность и вызывают ответную реакцию или, по крайней мере, тенденцию к ней; потому наряду с этим хваленым идеалом монархического устройства мы, с другой стороны, наблюдаем в китайской истории, словно неприятное дополнение или сопроводительный комментарий к ней, непрерывную цепь страшных государственных катастроф и революций. Ни содержащаяся в почитаемых священными древних книгах чистая этика, насколько таковая возможна при безраздельном господстве принципа рационализма, ни утонченнейшие рационалистические спекуляции и философский образ мысли в научную эпоху их истории, не смогли уберечь китайцев от окончательного ниспадения в языческое идолослужение, при-

чем в губительнейшей его форме, и от принятия чужой религии, бесспорно, самой предосудительной из всех ложных религий. Некоторые желали обнаружить в этой религии или секте Фо своего рода сходство с христианством — отчасти в силу некоторых внешних установлений и обычаев, а отчасти также благодаря идее вочеловечения, хоть и лежащей в ее основе, однако не менее извращенной и нашедшей столь же дурное употребление, как и во всей остальной индийской мифологии. Писатели оппозиционного толка, держащиеся левой направленности и духа века сего, начиная с Вольтера, не упускали случая помянуть буддистских бонз или потешить публику другими подобными намеками. Но сходство, которое можно здесь обнаружить, есть не настоящее, а такое же карикатурное сходство, что и у обезьяны с человеком, которое в последнее время направило на крайне ложный путь уже немало естествоиспытателей; ибо обезьяна не имеет с человеком ни подлинного родства, ни внутренней симпатии органического устройства, но подобна ему лишь как злонамеренная пародия на него, при помощи которой некий злой дух хотел бы предать поруганию венец творения и образ Божий, к чему немало поводов дает и сам выродившийся человек со своими слабостями и дурными свойствами. Можно даже положить себе за принцип и универсальное правило оценки, что чем более, на первый взгляд, в корне ложная религия похожа на религию истинную, при внутренне совершенно иной духовной тенденции и нравственной направленности, тем превратнее она и тем враждебнее по отношению к истине. Один очевидный пример сможет показать это ясно и наглядно. Представим себе, что, например, Магомет, вместо того, чтобы выдавать себя за простого пророка, объявил бы себя Сыном Божиим, Превечным Словом, вочеловечившимся Божеством, единственным истинным Христом; в этом случае он был и казался бы нам куда более отвратительным, гораздо более отталкивающим, чем представляется нам сейчас, и то же самое впечатление он производил бы на любой ум, воспитанный в европейском духе, возвращенный в христианских чувствах и пусть даже лишь бессознательно пропитанный ими. Но именно так и обстоит дело с религией Будды, и таково ее учение и характерная особенность, поскольку не только самому ему воздается в ней поклонение как воплощенному божеству, но то же самое поклонение переходит и на его преемников и высших священников, и, таким образом, это совершенно личное идолослужение не прекращается никогда. С точки зрения нравственности сравнение

между религией буддистов и магометан также оказывается не в пользу первой. Насколько пагубно многоженство и необходимо связанное с ним уничтожение женского пола влияет на нравственность и образование магометанских народов, отмечалось неоднократно и не подлежит сомнению. Но что другое, противоположное извращение формы брака — законная и господствующая у буддистов полиандрия — несравненно более губительна для нравственности, противоречит здравому смыслу и должна еще разрушительнее действовать на характер человека, чем многоженство, должно быть само по себе ясно чувству каждого и не нуждается в дальнейших доказательствах. Однако в описаниях Китая я не нахожу упоминаний об этом обстоятельстве, и потому вполне может быть, что здесь, как и в некоторых других пунктах одержал верх и утвердил свое благотворное влияние более здравый древний китайский обычай. Но в главной буддистской стране — в Тибете, — а также в различных индийских и прочих землях, где господствует эта религия, этот противоестественный обычай действительно существует. Что же до буддистских монголов, чью особую мягкость нравов по сравнению или в противоположность магометанской прославляет величайший знаток их языка и письменности, то эти похвалы следует понимать в весьма относительном смысле, как относящиеся только к кажущемуся лоску внешних манер, поскольку подобная мягкость нравов решительно не находит себе подтверждения в исторических фактах. Неопишуемая запутанность их мифологический повествований и утомительно велеречивых и невразумительных, чрезвычайно многочисленных метафизических книг, недвусмысленно подтверждаемая тем же экспертом, господином Ремюзой, может лишь служить доказательством в корне неверного направления буддистской мысли и философии, которая уводит нас по своему диалектическому или идеалистическому пути в хаос пустых абстракций, и, совершенно естественным образом, в чистое ничто, и которую более научно мыслящие эксперты всегда характеризовали как решительно атеистическую. Если, как предполагалось, несториане или какие-то другие окончательно выродившиеся христианские секты действительно оказали некоторое влияние на историческое развитие буддизма, то вся его извращенная сущность, ложная направленность и внутренняя неправда от этого нисколько не улучшались, не исправлялись и не упразднялись, но неизменно оставались столь же велики или даже, как нетрудно себе представить, с течением времени его порочность и абсурдность только усугубля-

лись. Итак, религию приверженцев Фо не следует уже потому считать похожей на христианство, что они имеют монастыри или пользуются своего рода четками, но, как упомянутое китайское идолопоклонство перед государством и его верховным правителем далеко отстоит от истинного принципа христианского государственного искусства и той легитимной мудрости, что всякая власть от Бога, так и эта ложная религия не только далее всех остальных отстоит от истинного христианства, но и враждебна ему, и потому ее следует считать не наполовину схожей с христианством, а решительно антихристианской.

Итак, результат всего сказанного будет примерно таков: среди великих народов древнейшего времени, менее всех или, по крайней мере, весьма мало удаленных от древнего источника священного предания, данного человеку в изначальном слове, китайцы занимают выдающееся место; и многие доказательства этого изначально высокого положения и примечательные следы изначально всеобщей и вечной истины обнаруживаются как отдельные черты их изначальной истории, как наследие древних идей в классических памятниках их древности. Но уже очень рано их наука приняла совершенно неверное направление, и даже их язык стал отчасти развиваться в том же направлении или, по крайней мере, приобрел весьма неестественно ограниченный характер. Постоянно опускаясь всё ниже со ступени на ступень политического идолослужения, они, наконец, и внешне приняли чуждый идольский культ — демоническую пародию на христианство, вышедшую из Индии, утвердившуюся в Тибете, господствующую в Китае, широко распространенную по всей Средней Азии и среди всех религий на Земле имеющую наибольшее число приверженцев.





ЧЕТВЕРТАЯ ЛЕКЦИЯ

**Об общественном строе индийцев,
о племени брахманов и наследственном священстве;
затем об учении о переселении душ как основе
индийской жизни и индийской философии**

Когда Александр Великий наконец исполнил свою заветную мечту и, воспроизводя в действительности легендарный поход Диониса и его вакхической свиты, достиг Индии, греки обнаружили здесь — еще по эту сторону Ганга, ибо дойти до самой этой реки, подлинной цели его желаний, Александру, невзирая на все приложенные усилия, все же не удалось, — обширную, плодородную, превосходно возделанную, густонаселенную и усеянную процветающими городами страну, разделенную на многочисленные большие и малые царства. Здесь же греки впервые столкнулись и с наследственным кастовым разделением, подобным существующему ныне, хотя и насчитывающим не четыре, а семь каст, что, впрочем, как мы увидим далее, не предполагает существенной перемены состояния в индийском разделении сословий; они заметили также, что страна эта в религиозном отношении разделена на две партии или секты: брахманов и саманеев. Первое слово обозначает существующую и поныне, утвердившуюся прочнее всех иных индийских сект и получившую наибольшее распространение господствующую религию Брахмы, Вишну и Шивы, а также исповедуемую здесь возвышенную и отличительную для этой религии догму о переселении душ, оказывающую важнейшее влияние как на общие представления индийцев и на направление индийской философии, так и на всю индийскую жизнь. Под греческим же наименованием «сама-

ней» следует понимать буддистов — с тем большим основанием, что в религии Фо, у диких народов Центральной Азии и в иных местах, священники и поныне носят то же самое имя «шаманы»; впрочем, у них они немногим отличаются от фокусников и жонглеров, как это бывает и со жрецами других языческих народов, стоящих на низшей ступени культуры или же наиболее выродившихся и погрузившихся в самое грубое суеверие. Однако само это слово является чисто индийским и очень часто встречается во всех религиозных и метафизических сочинениях индийцев, поскольку изначально, прежде чем столь низко опуститься у упомянутых буддистских народов, оно имело вполне философский смысл и все еще сохраняет его в санскрите. Оно означает «равновесие», то есть, уравнивание нравственного умонастроения или совершенную внутреннюю успокоенность, которая, согласно индийской философии, является необходимой предпосылкой для полного соединения с Богом; успокоенность должна непременно предшествовать такому соединению, ибо иным путем оно недостижимо. Вообще же, все имена, относящиеся к самому Будде, к священникам его религии, или к другим ее важнейшим понятиям и аспектам, будь то в Тибете, у монгольских народов, в Сиаме, Пегу или в Японии, являются чисто индийскими словами, подобно тому как историческое происхождение этой секты в традиции всех упомянутых народов единогласно возводится к Индии. Однако само имя «Будда», которое китайцы изменили и сократили до «Фо», является скорее почетным наименованием, относящимся к божественной мудрости, которой, согласно мнению его последователей, был наделен основатель этой секты или, точнее, которая, по их вере, стала видимой в нем и явилась в виде человеческой личности; жил он, как полагают многие, за шестьсот, а по другому мнению — за тысячу лет до начала нашего летосчисления. Его подлинное личное, историческое имя было Гаутама, причем то же самое имя носит также основатель одной из знаменитейших философских систем Индии — философии Ньяя, существенные особенности которой будут рассмотрены ниже в связи с иными философскими системами индийцев. По всей видимости, диалектический дух философии Ньяя имеет существенное сходство и родственное происхождение с запутанной метафизикой буддистов. Однако оба Гаутамы, невзирая на общее имя, считаются разными личностями, хотя так же и образ основателя упомянутой диалектической системы (как и почти все знаменитые персонажи древней

индийской истории, науки и сказаний), носит черты совершенно мифологические. Однако сперва и прежде всего мы должны окинуть взором все внешнее состояние индийской культуры и нравственности, чтобы затем перейти к характеристике и обсуждению духовных и научных достижений индийцев, их самобытных идей и идейного развития.

Судя по тому, в каких выражениях греческие писатели описывают те две религиозные партии, на которые, как обнаружил Александр, была разделена Индия, вряд ли можно сомневаться, что в те времена буддисты были гораздо более многочисленны и шире распространены по этой стране, нежели сейчас, что также подтверждается и многими историческими свидетельствами самих индийцев. При том, что буддисты представляют собой исключение и секту инакомыслящих, они и поныне еще весьма многочисленны даже на западном полуострове и во многих его провинциях, в то же время полностью владея восточным, Индокитайским полуостровом. Помимо этого, собственно в Индии имеются и многие другие отклонения и вариации в религиозных воззрениях и мнениях, в том числе, секта джайнов, занимающая промежуточное положение между издревле господствующей религией Брахмы и буддистами, поскольку, подобно последним, джайны отвергают индийское разделение на касты и весь кастовый строй. Даже сама основная господствующая религия, согласно древнеиндийскому учению о богах, делится на три различные партии, которые, хоть и не образуют совершенно изолированных друг от друга сект, но все же заметно отличаются друг от друга во взглядах, мнениях и обычаях в зависимости от того, кого из трех высших индийских божеств: Брахму, Вишну или Шиву — каждая из этих партий почитает высшим и кому из них воздает особое, почти безраздельное поклонение. И хотя в империи Великого Могола число завоевателей и всех тех, кто пришел туда вместе с ними, по сравнению с индийским населением было очень невелико, после ее распада в этой стране осталось или сохранилось несколько миллионов магометан, а персидский язык или тот его испорченный диалект, который принесли с собой эти пришельцы, во многих местах продолжает использоваться в общественной жизни, в торговых сношениях и в качестве делового языка, подобно тому как португальский язык служит удобным и общепринятым средством взаимопонимания в приморских торговых городах Индии, а лингва франка — в наших восточных портах. Вообще же индийский язык не является единственным или безраздельно господствующим на всём полуострове: во

многих провинциях, как, например, на южном побережье или на Цейлоне, родным и господствующим является совершенно иной язык, в то время как культурного или классического древнеиндийского языка здесь никто не знает. Наименование «санскрит», под которым последний известен, означает «обработанный» или «искусственно усовершенствованный язык», в то время как пракрит, который используют, например, в индийских драмах вместе или попеременно с ним, значит «естественный, безыскусный язык» и является, собственно говоря, не отдельным диалектом, а всего лишь более мягким выговором санскрита, в котором жесткие согласные звуки или скопления и нагромождения согласных сглаживаются, опускаются или сливаются друг с другом, и меньше внимания уделяется употреблению искусственных грамматических форм; потому этот пракрит, на котором в драматических постановках чаще всего изъясняются женщины, с точки зрения своей более простой грамматики находится приблизительно в том же отношении к санскриту, что и более мягкие итальянский и португальский языки к древнему латинскому, только без свойственных им чужеродных примесей. Однако помимо такого простого варьирования в языке позднейшей поэзии, индийский язык действительно распался или разделился на множество по-настоящему различных, причем значительно различающихся между собою диалектов, таких как малабарский и т. д., и почти в каждой провинции общепринятый индийский язык приобретает иные, самобытные формы, что имеет место даже в Бенгалии. Подлинным очагом санскрита слывут земли в верхнем течении Ганга, особенно Бенарес, где на этом языке говорят особенно чисто, где его больше всего изучают и лучше всего понимают. Упомянутые же нами иные языки, совершенно отличные от индийского, судя по всему, отчасти принадлежат совершенно иным народам — вероятно, по преимуществу малайского племени; ибо ведь отнюдь не вся Индия сплошь населена одним и тем же народом, тем же самым племенем — напротив, во многих ее провинциях мы обнаруживаем совершенно отличные от индийцев племена. По сравнению с абсолютным единством и однообразием китайской империи эта великая пестрота и разнообразие всей индийской жизни, нравственного состояния и общественного устройства образует поразительный контраст. Возможно, на это древнее многообразие Индии указывает уже само наименование, которое содержится в древнеиндийских священных книгах Зороастра, где в первых фаргардах книги Вендидат она упоми-

нается в качестве сотворенной Ормуздом пятнадцатой чистой области Земли под именем Хапта-Хенду, что означает ничто иное как «Семь Индий». Подобно тому, как и сейчас еще Индия разделена на многообразные секты и религии, на многочисленные племена со своими разнообразными языками (о чем знает и пишет уже Геродот), прежде она преимущественно состояла из множества разных великих и малых государств, хотя в силу характера своих естественных границ легко могла бы срастись в единую монархию, а с географической точки зрения действительно составляет только одну страну. Внешней истории Индии пришлось бы заниматься главным образом изучением длинного списка иноземных завоевателей, почти все из которых, начиная с Александра Великого и заканчивая Надир-шахом, вторгались в нее с северо-запада, со стороны Персии. Грекам рассказывали, что до Александра ни один чужестранный завоеватель не ступал на индийскую землю, но также и после него, со времен Сандрокотта⁵⁶, когда индийцы свергли непродолжительное греческое господство, они длительное время жили под властью местных правителей в различных крупных и менее крупных царствах, таких как Магадха, Айодхья и т. д. Чрезвычайно примечательно с точки зрения внутренней культуры истории нравов и духовного развития, что при всех преобразованиях, происходивших как в раннюю эпоху, при владычестве многочисленных местных правителей, так и, тем более, в позднейший мировой период, под властью сменявших друг друга иноземных завоевателей, самобытная организация жизни индийцев и их кастовый строй, тем не менее, продолжали существовать и, невзирая на все смены эпох и правителей, пребывали неизменными, словно живой памятник первобытного мира и его нравов. Равным образом и во внутреннем управлении в Индии едва ли могло бы легко утвердиться такое абсолютное монархическое единство, как в Китае, и тем более, тот же неограниченный деспотический произвол, что и в других восточных империях, поскольку уже само наследственное разделение сословий и признаваемые за каждым наследственные права (которые в этой стране и у этого народа пустили глубокие и прочные корни и, покоясь на неколебимом основании прародительской веры, стали уже его второй природой) образуют непреодолимое к тому препятствие, превозмочь которое не удалось бы, пожалуй, никакому завоевателю. Этим же, должно быть, объясняется

⁵⁶ Чандрагупты Маурьи — *Прим. перев.*

и то, каким образом греки могли думать и утверждать, будто в Индии имелись, в том числе, и республиканские государства; ведь даже если в силу естественной для них предвзятости они несколько преувеличили или увидели больше, чем в действительности можно было бы обнаружить при внимательном рассмотрении, все же их мнение не было совершенно безосновательным, ибо во многих отношениях индийский кастовый строй скорее приводит или склоняется к республиканским или, хотя бы, сходным с ними установлениям, чем это бывает в прочих азиатских государствах. Очень несправедливо и уж, по меньшей мере, совершенно несогласным с историей образом высказывались писатели недавнего времени и решительные противники всяких наследственных сословий и прав, которые неизменно с большой ненавистью и презрением отзывались об индийском кастовом строе как о подлинном основании деспотизма, а самим наименованием «каста» пользовались как партийным словечком, перенося его на европейские общественные отношения; впрочем всё это легко объясняется крайней демократичностью их взглядов или, скорее, усвоенным ими принципом абсолютного равенства, ибо он-то как раз и является неперенным спутником подлинного деспотизма, ведет к нему или проистекает из него и составляет один из его существенных признаков. Подтверждением сказанного может служить тот факт, что и сейчас еще в индийских городах почти всегда действует коммунальная организация жителей, чье влияние, благоприятное для индивидуального благосостояния и благотворное для всего общества, высоко ценят и с большим уважением упоминают английские писатели, знающие обо всем этом по собственному опыту и наблюдениям над реальной жизнью. Англичане вообще уделяли немалое внимание индийской юриспруденции и гражданскому законодательству, поскольку их владычество полностью покоится на том, что они управляют индийцами в согласии с индийскими же законами, обычаями и правами, в то время как другие европейские державы, которые некогда пытались утвердиться в Индии, охотнее объединялись с магометанскими силами в этой стране и заключали с ними союзы. Используя этот простой, но благоразумный принцип в своей индийской политике и во всем образе действий, англичане одержали верх над всеми соперниками и противостоявшими им силами, овладели всей этой великолепной страной и стали ее полновластными хозяевами. В сущности, все индийские штудии в Европе начались именно с этой практической стороны: с исследований и перево-

дов индийских правовых норм и законов, источников и комментариев к ним — и лишь позднее обратились к другим предметам. Индийская юриспруденция и гражданское законодательство, несомненно, могут также с успехом служить подтверждением и доказательством относительно высокого уровня и глубокой древности индийской нравственной и духовной культуры, а их обстоятельное и более точное изучение дало бы повод для множества интересных сопоставлений и выявило бы немало примечательных аналогий отчасти с древними афинскими или древнейшими римскими законами, отчасти с Моисеевым законодательством, а в некоторых отношениях даже с правовыми установлениями древних германцев. Поскольку индийская каста воинов, которая одновременно является сословием владельцев земли и поместий и образует местную аристократию, в сущности, основывается том же принципе, что и германское наследственное дворянство, не стоит удивляться, если здесь, в Индии, мы обнаружим если и не все искусственные хитросплетения нашего феодального строя, то, хотя бы, некоторые простейшие черты ленных отношений. Однако, когда речь идет о древних и особенно о древнейших азиатских нациях, важнейшими и главнейшими темами с точки зрения стоящей перед нами задачи остается их дух и его развитие, их научные устремления, весь их круг господствующих идей (а особенно определяющие саму их жизнь представления о делах человеческих и божественных) и вообще их религиозное сознание и его своеобразное направление у каждого из этих древних народов. Может быть, во второй половине этого труда, рассматривая дальнейший прогресс человечества в более поздние времена, мы изменим или даже совершенно обратим свою перспективу, выберем иной критерий важности при оценке взаимоотношений внутреннего духовного развития и внешнего состояния общества. Но, как мы уже говорили, для народов глубокой древности, непосредственно примыкающей к первобытному миру, важнейшим предметом остается их дух и внутренний образ мышления или религия, в то время как гражданское законодательство и даже политическое устройство, сколь бы важным, интересным и поучительным ни было их обстоятельное изучение в других отношениях, в данном случае могут занять лишь подчиненное место в рамках целого, так что по большей части будет достаточно особо выделить какой-либо из основных существенных пунктов внешней истории как основу или отправной пункт для рассмотрения иного, более высокого предмета: внутреннего, духовного

направления и развития этих народов. Для Индии таким существенным пунктом, самым примечательным явлением всей внешней жизни как раз и является этот кастовый строй, который, по сути, имел место также и в Египте, причем этот своеобразный феномен внешней индийской жизни в некоторых пунктах соотносится даже с главнейшей догмой индийской религии и внутренней жизни, а именно, с учением о переселении душ, которое мы в самое ближайшее время постараемся как можно обстоятельнее рассмотреть и объяснить. Однако прежде я хотел добавить еще одно общее замечание о кастовом строе и его отношении к внешнему состоянию нравов, а именно, что, как заметили уже греки, в Индии не существует настоящего рабства, то есть, сословия купленных рабов — таких превратившихся в собственность и товар людей, какие были у древних римлян или греков и какие имеются и сейчас у магометанских народов, или же, как в случае с неграми, в колониальных владениях христианских европейских держав. Кроме того, хотя низший класс шудр во многих отношениях далеко уступает в правах первым трем привилегированным сословиям и находится в сильной зависимости от них, тем не менее, шудры, в свою очередь, также обладают твердо установленными наследственными сословными правами. Принадлежность к этой, как и любой другой касте в Индии можно утратить лишь в наказание за преступление; принадлежность к сословию или касте и связанные с ней права утрачивают и те, кто рождается от недозволенного брака и смешения каст. Судьба этих несчастных поистине весьма сурова — едва ли не суровее, чем судьба рабов у других народов: здесь их считают отверженными или, как мы бы сказали, отлученными, проклятыми изгоями, изринутыми из общества и даже вообще из человечества. Однако такое происходит лишь в единичных, строго определенных случаях; существуют исключения — также особо определенные — в которых допускается брак с членом другой касты, хотя потомство от такого брака будет принадлежать к низшей из двух каст. Но все же, общее правило таково, что законный брак может быть заключен лишь с женщиной из той же касты. Таким образом, женщины пользуются всеми правами своих каст: высоким преимуществом брахманов, если они происходят из этого рода (хотя в Индии нет и не было жриц, как у других языческих народов древности), или аристократическим достоинством, если они принадлежат касте кшатриев. Эти права, принадлежащие и обеспеченные женщинам наравне с мужчинами, и возможность пользоваться всеми преимуществами своего со-

словия, бесспорно, немало способствует смягчению отрицательных последствий полигамии, господствующей в Индии с незапамятных времен до нашего времени, однако не в той мере и без того неограниченного деспотического произвола, как у магометанских народов; здесь она дозволяется лишь при определенных обстоятельствах и при соблюдении установленных законом условий и, следовательно, в той более мягкой форме, которая по большей части встречается или допускалась прежде под небом Азии, при патриархальной простоте нравов тогда еще малонаселенного первобытного мира. Несравненно более высокое общественное положение и лучшее нравственное состояние женского пола у индийцев видно также по той картине индийской жизни, которую предлагают нам их поэтические произведения, — как самые древние, так и созданные в более позднее время, — по тому глубокому нежному чувству, по тому бережному и уважительному отношению, с которым здесь изображаются женские характеры и их взаимоотношения. Этих немногих замечаний, касающихся нравственной стороны и оценки индийского кастового строя будет достаточно, чтобы предотвратить хотя бы его самое общее огульное осуждение и чрезмерно категорическое предубеждение против него и побудить к внимательному рассмотрению этого предмета со всеми его действительными свойствами и, в том числе, отрицательными последствиями, но, по крайней мере, в согласии с правдой. Однако в силу взаимосвязи данного явления с целым я хотел бы несколько глубже исследовать внутренний принцип этого разделения и столь поразительно строгого обособления каст, а также историческое происхождение всего этого своеобразного учреждения человеческого общества. Если греки, пришедшие в Индию с Александром или вскоре после него, полагали, что обнаружили в ней семь каст, которые они по отдельности перечисляют в своих сочинениях, а не только те четыре, которые известны самим индийцам и которые все еще существуют у них в наше время, то, возможно, они были не так уж и неправы в своих наблюдениях и оценках внешней формы явлений, хотя и недостаточно глубоко вникли в индийское понятие касты и, к тому же многое поняли неверно, о чем легко догадаться по деталям приводимых ими перечней. Каста мудрецов или брахманов и в этих греческих списках также занимает первое место, а под «художниками», без сомнения, следует понимать касту вайшьев, занимающихся ремеслами и торговлей. Однако надсмотрщики и советники или чиновники царей и князей не составляют отдельной касты, по-

скольку всё это лишь должности и функции; если их исполняют ученые правоведы, то они относятся к касте брахманов и назначаются из их числа; к тому же, едва ли при этом всегда строго исключаются и представители двух прочих высших каст. Класс, занимающийся скотоводством или охотой, представляет собой лишь дополнительное подразделение по роду занятий или способу добычи пропитания, а не самостоятельную касту. И если греки делают из земледельцев и воинов две отдельных касты, то это касается, по-видимому, только отличия между классом работников и господами, или подлинными землевладельцами. Даже само имя «кшатрия» означает собственника земли или землевладельца; подобно тому, как у древних германцев воинской повинности подлежали свободные землевладельцы, как вассальный долг воинской службы высшего дворянства был связан с обладанием землей, так и в древнеиндийском общественном устройстве понятия землевладения и воинской службы и долга нераздельно связаны. Некоторые из новейших исследователей истории придавали особое значение, несомненно, весьма примечательному и значительному разрыву между низшей, служащей кастой шудр и тремя высшими кастами; и, заметив также большое различие органических особенностей и основных черт физиогномии этого четвертого, низшего класса по сравнению с остальными, они попытались тем самым обосновать предположение, будто эта каста восходит к другому племени и расе и первоначально была отдельным народом; но, будучи примитивными варварами, они были побеждены и покорены другим, более цивилизованным племенем, к которому принадлежали прочие три высших касты, и низведены им до положения слуг, до самой низшей ступени общественного устройства, на которой они прочно удерживаются завоевателями с помощью суровых законов. Такое развитие событий само по себе очень нетрудно представить, так и действительно происходило во многих азиатских и даже европейских странах, что может быть подтверждено исторически. Почти повсеместно на фоне великих древних цивилизованных народов мы обнаруживаем еще более древних исконных обитателей той же страны, которые вытесняются этими пришельцами и постепенно смешиваются с ними или, — по крайней мере, вначале, — оказываются у них в подчинении; в большинстве случаев эти исконные народы предстают и кажутся куда более дикими или, по меньшей мере, грубыми по сравнению с цивилизацией сменившего их племени и более поздней эпохи, хотя и у них почти всегда име-

ются древние обычаи и искусства, которые никоим образом не согласуются с представлением о повсеместно предполагаемом диком состоянии первобытного человека. Вполне можно предположить, что и в Индии ход событий был тем же самым, однако само по себе это не является безусловно необходимым: развитие человечества совершается множеством разных способов, следует самыми различными путями и не везде повинуетя одному и тому же единообразному закону; и потому в самом ли деле все действительно происходило так, на мой взгляд, пока что нельзя считать окончательно доказанным исторически. Выдвигалось также предположение, что каста воинов или наследственной аристократии и князей прежде была гораздо более могущественной и что род брахманов лишь постепенно достиг того значительного превосходства, которое обнаруживается у него в более позднее время и которым он все еще обладает. И действительно, в древних эпических, историко-мифологических индийских поэмах многое свидетельствует о противостоянии между этими двумя сословиями, а обоготворяемыми героями индийцев оказываются именно те, кто ведет победоносную войну в защиту благочестивого рода мудрых брахманов, терпящего нападки со стороны грубых и высокомерных кшатриев. Однако это свидетельство вполне может иметь и другое значение и необязательно должно пониматься как относящееся к подобной политической борьбе. Впрочем, тот факт, что в блестящую эпоху древних царств и местных династий военная аристократия и княжеские роды были могущественнее и значительнее, чем сейчас, лежит в самой природе вещей и кажется вполне обоснованным. Однако, судя по многочисленным указаниям самих древних индийских сказаний и исторических представлений, думается, что, по крайней мере, кое-где и отчасти, аристократическая каста кшатриев гораздо скорее могла быть чужеземного происхождения и восходить к другому племени, чем какая-либо из прочих каст; в любом случае, согласно этим индийским представлениям, род браманов является существенной, важнейшей ветвью, наиболее благородной частью и, по сути дела, основой всей общественной системы. Объяснить же возникновение этой наследственной касты воинов, — но только ее одной и отдельно взятой, — было бы, в целом, пожалуй, проще всего: ведь даже еще при весьма неопределенных правовых отношениях самой природой вещей отчасти уже заложен такой порядок, при котором земля и прочее имущество, которыми обладал, владел или управлял отец и которые, может быть, приходилось ему защищать от вра-

гов, после смерти его переходят к сыну, обыкновенно, к старшему, который теперь должен владеть и управлять ими, а в случае надобности и защищать их силой оружия вместе со своими людьми. И если позднее общественные отношения будут во все большей мере определяться законами, а люди в рамках всеобщего союза станут образовывать более крупные объединения, — все же и тогда, и всегда впредь, право землевладельца на защиту, как и обязанность военной службы для ее обеспечения внутри такого широкого объединения, будут основываться на земле точно так же, как прежде они основывались на ней в частном порядке; в ту первобытную эпоху политической истории такое государственное объединение могло изначально основываться на всеобщем подчинении одному суверену или же быть просто союзом нескольких властителей; таково происхождение наследственной землевладельческой аристократии во многих странах. Наследственная передача искусств и ремесел, при которой сын учится у отца и продолжает использовать то изобретение или вести то дело, которому отец посвятил свою жизнь, не содержит в себе ничего странного и, как мне кажется, объясняется сама собой. Гораздо сложнее или, во всяком случае, далеко не просто, понять это суровое и резкое обособление и строгое разделение каст, и в частности, тот подспудный религиозный смысл и скрытое истолкование, которые, бесспорно, с ним связаны; но еще труднее объяснить существование того многочисленного и столь строго обособленного наследственного священства, которое имеется и у индийцев, и у египтян и которое поэтому безусловно следует возводить к общему источнику, — настолько, впрочем, насколько вообще возможно проследить его вплоть до самой древней, первобытной эпохи. Хотя ради краткости я пользуюсь выражением «наследственное священство», для более точного определения следует добавить, что брахманы не ограничиваются совершением одних литургических действий, как священники в традиционном смысле слова, но являются скорее и прежде всего учеными знатоками писаний, поскольку лишь они могут читать Веды и обязаны их толковать, в то время как другие касты должны принимать из их уст лишь то, что им необходимо знать, а низшая каста не имеет права даже слушать чтение Вед. Одновременно брахманы являются также правоведами и врачами, а потому греки не ошиблись, назвав эту касту «философами». Ранее я уже указывал, что наследственные ремесла и искусства приписываются уже каинитам и возводятся к ним в самой первой из всех исторических книг, составленной Моисеем, кото-

рую некий весьма глубокомысленный немецкий писатель назвал древнейшим документом рода человеческого⁵⁷, каковым она, с чисто исторической точки зрения, является в самом полном смысле слова. В частности, я обратил внимание на два особенно примечательных занятия: искусство металла и музыку. Я использовал самое общее выражение «искусство металла» (Metallkunst), поскольку в те древнейшие времена горное дело, то есть поиск, обнаружение и добыча металлов, было неразрывно связано с искусством их обработки; и это искусство металла занимает настолько же исключительное место в первоначальном развитии человеческого рода, насколько важной остается вообще искусная обработка металлов в его более высокой культуре. Что же касается упомянутой здесь музыки каинитов, то, как я уже сказал, ее, по-видимому, не следует представлять себе похожей на наше высокоразвитое, возвышенное мелодическое искусство — в те древние времена она была предназначена прежде всего для богослужебного употребления, но еще более древним было, наверное, медицинское или, если угодно, магическое применение и воздействие музыки. Во всяком случае, на это указывают мифология и сказания всех народов, и такое положение дел, по всей видимости, лучше всего согласуется с духом древнего времени и должно преимущественно предполагаться или, по крайней мере, учитываться как возможное; тут я бы напомнил также и об иероглифе «волшебник», встречающемся в древнем китайском письме, который, по замечанию Ремюзы, служит заменой недостающему в этом скудном наборе символических знаков иероглифу священника. Отмечу еще, что наследственная каста воинов, по всей видимости, вполне могла существовать и, вероятно, уже существовала у каинитов, чего, как мне кажется, нельзя сказать о наследственном священстве. Однако, если даже это общественное учреждение и не восходит непосредственно к каинитам, они все же могли дать повод к его возникновению. Дело в том, что, как мы упоминали, в Моисеевом изложении первобытной истории все то безграничное, ужасающее и великое развращение, царившее в последние, предшествовавшие очистительному потопу, времена этого древнего мира, объясняется смешением лучшего, преданного Богу человеческого рода с мерзким племенем Каина. Итак, Моисеев рассказ предполагает немалую тревогу и некоторый страх перед

⁵⁷ Имеется в виду именно так и озаглавленный труд И.-Г. Гердера *Die älteste Urkunde des Menschengeschlechts*. — *Прим. перев.*

чреватым бедою общением и смешением с проклятым народом каинитов. Не в этом ли нужно усматривать причину возникновения или учреждения строжайше обособленного наследственного сословия и рода не столько священников в позднейшем смысле этого слова, сколько освященных Богом, посвященных и до конца преданных Ему людей, не следует ли искать их между позднейших потомков Сифа, не из их ли среды вышли они?

Здесь мы должны всецело перенестись в древнейшие времена первых праотцев человечества и живо представить себе, как, всё еще сохраняя немалый запас высших сил, почерпнутых некогда из первого источника, они не знали другой столь важной заботы, как простирающееся в самую даль будущего предусмотрительное попечение о потомках, о своем роде, о сохранении его в исконной чистоте и прирожденном высоком достоинстве. Индийское сказание и предание также знает и почитает эту чреду первых прародителей рода человеческого под именем семерых великих риши — мудрецов седой древности, или патриархов и святых праотцев, — хотя рассказ о них и приукрашен множеством баснословных подробностей и буквально окутан вымыслом; все они отнесены к первобытному миру и причислены к роду брахманов, что, с учетом всего сказанного, едва ли покажется нам совершенно неуместным. Уже нередко отмечалось, что у индийцев вообще нет подлинной истории, исторических трудов и науки в строгом смысле этого слова, в частности, по той причине, что восприятие доисторического мира у них и поныне остается живо действующим, а первобытно-исторический взгляд на мир, то есть — в совокупности с поэтической формой выражения — мифологическое восприятие всех вещей и событий, является исключительно преобладающим, так что все действительные события позднейшего исторического времени неизбежно растворяются в этой стихии или, по крайней мере, приобретают отчетливо мифологическую окраску. Такую ограниченность следует понимать и судить о ней приблизительно в том же духе, в каком, например, панегиристы китайского языка подчеркивают, что почти полное отсутствие в нем какой бы то ни было грамматики при столь развитой общей культуре и проницательности мышления не следует объяснять бедностью и беспомощностью, присущей раннему детскому возрасту этого языка; по их мнению, этот факт большей частью обусловлен или, по меньшей мере, тесно связан с тем, что то глубокое изначальное чувство, из которого родились первые языки, настолько погружено в свой предмет и содержание, что озабоче-

но лишь непосредственной передачей воздействующего слова или мысли со всей возможной краткостью, не рассеиваясь и не углубляясь при этом более тонкие различия и нередко излишние дополнительные определения.

Как свидетельства провидческого взора, с заботой обращенного в далекое будущее древними праотцами, — способные убедить нас в сохранении и дальнейшем процветании их потомства, их рода, — особенно примечательны древние, патриархальные легенды праисторических племен (среди них также и повести нашего Священного Писания), где эти дожившие до седин старцы передают в дар своим сыновьям и внукам — каждому по отдельности, как причитающуюся ему часть наследия, — силу своего благословения, которое, конечно, представляло собой не одну лишь пустую словесную формулу; в нем, наряду с выражением видимого предпочтения своему первенцу или иному изначально отмеченному и избранному Богом любимцу, им нередко случается произнести и слово предупреждения, в достаточной мере подтверждаемое дальнейшей историей, или высказать темное и глубокое предчувствие грядущего великого бедствия. Однако уже о самом первом праотце всех народов и всего рода человеческого упоминается нечто, всецело относящееся к нашей теме. Когда миновала горестная эпоха вражды старших братьев и первого братоубийства, Адам, как далее гласит эта древняя повесть, родил сына по образу своему и нарек ему имя: Сиф⁵⁸. Первое, что должно броситься нам в глаза в этих словах, это содержащееся в них указание на огромную и удручающую дистанцию: Адам был создан по образу всемогущего Творца, Сиф же рожден по образу Адама. Но все же нельзя сомневаться и в том, что, согласно общему смыслу и образу выражений древнего священного языка, эти слова сообщают нам и о весьма великом преимуществе, а именно, что, подобно тому как прочие праотцы столь часто наделяли благословением своих сыновей и потомков, Адам передал и даровал Сифу — первенцу этого второго начала истории человечества — все преимущества, высшие силы и дары, почерпнутые им еще из первого источника и возвращенные ему после повторного обращения к Богу, как свое наследие и свойственную исключительно ему привилегию. Ибо о прочих сыновьях и дочерях, родившихся у Адама впоследствии, через которых произошли от него иные народы, не сказано ничего подобного. Этим подтверждает-

⁵⁸ Ср. Быт 5:3. — *Прим. перев.*

ся и объясняется то высокое преимущество, которое отдано в Священном Предании племени Сифову. Что же касается высших сил, которые мог сохранять от начала или вновь получить наш первый праотец, то следует предполагать, что после преступления и бегства Каина он раскаялся в своем отпадении, чтобы положить основание лучшему племени — Сифову, а тем самым заново начать и весь человеческий род. И это мнение основано не на произвольном допущении, поскольку само Священное Писание ясно свидетельствует, что первый человек, поставленный от Бога, как сказано там, «отцом всей земли», после своего повторного обращения к Богу, стал мудрейшим из всех людей и, согласно преданию, величайшим из всех пророков, чей вещий взор провидел судьбы всего рода человеческого во все времена, вплоть до скончания века. Конечно, все это может быть сказано только в историческом смысле и понимании Писания, в то время как собственно экзегетический смысл здесь не может быть затронут и суждение о нем предоставляется другим авторам. Однако преимущество преданных Богу и избранных Им сифитов следует считать полностью историческим; многочисленные следы этого обстоятельства и указания на него содержатся также в сказаниях и преданиях других азиатских народов. Да и вообще же этот антагонизм сифитов и каинитов и все взаимные отношения этих двух родов являются подлинным ключом к первобытной истории всего древнего мира и большинства древних народов. Ибо о том, что после недолгого, хоть и катастрофического перерыва, вызванного великим потопом, в человечестве могли ожить былые воспоминания, могли вновь завязаться, похожим образом сложиться и повториться те же самые или сходные отношения, какие имели место там, в прежнем мире, где враждовали между собой два прародительских племени, — об этом излишне даже напоминать; равно как и о том, что по мере нарастающего вырождения человеческого рода вся его жизнь вскоре стала все более искажаться, приходить в беспорядок и, наконец, большей частью, изменилась до полной неузнаваемости, так что впоследствии одна из задач исторической науки будет заключаться в том, чтобы свести самые поразительные, замечательнейшие и величайшие феномены, сохранившиеся со времен первобытного мира или напоминающие о нем, к простым элементам их происхождения.

Но коль скоро я не считаю невозможным или недопустимым связывать индийский кастовый строй и то, что есть в нем действительно важного: древний род браманов, а точнее, его

внутреннюю идею и существенное понятие об этом древнем общественном институте, — с библейской историей и священным преданием о сифитах, я должен только заметить, что нынешний характер и современное нравственное состояние брахманов столь же мало могут считаться возражением против установления подобной всеобщей и высшей связи с праотцами первобытного мира или основанием для суждения об этом предмете, сколь нынешнее угнетенное положение рассеянного еврейского народа могло бы служить масштабом высшей силы тех могучих мужей и великих пророков, которые некогда были ему ниспосланы, или таких великих натур, какими представляются нам Моисей и Илия.

Сказанного достаточно для характеристики одного из основных индийских феноменов, однако, прежде чем попытаться подробнее объяснить второй подобный феномен: учение о переселении душ, ставшее тем внутренним принципом, который если и не послужил причиной возникновения индийской философии, то придал ей ее своеобразное направление, мне нужно сперва предпослать этому объяснению общую картину политеизма; сделать это тем более необходимо, что наше понятие о нем, заимствованное преимущественно у греков, оказывается совершенно недостаточным применительно к азиатским народам древнейшего времени.

Мы привыкли воспринимать яркий мир греческих легенд и сказаний о богах как всего лишь игру фантазии, как прекрасный вымысел, не вдаваясь подробнее и глубже в частности, в их нравственное значение и влияние. И тем более естественно, что греческая мифология производит на нас лишь такое впечатление, или что мы воспринимаем её только с этой точки зрения, поскольку все высшие идеи, все важнейшие понятия о Божестве, о высшем Существо и Его бесконечной власти, о вечной Премудрости и Провидении, которое направляет и ведет к своей цели весь мир, о бесконечном Духе и высшем Разуме, создавшим всякую тварь и далеко превосходящем всю внешнюю видимую природу, уже были более или менее полно развиты у пифагорейцев или же у Анаксагора и Сократа и нередко самым блестящим и дивным образом сформулированы у Платона и следующих за ним философов. Однако ничто из этих представлений не вошло в народную религию греков, все эти высшие идеи по большей части остались ей совершенно чуждыми, ибо, хотя в греческой мифологии есть немало разумного и духовно значимого, но едва ли отыщется в ней — разве что как

отдельное исключение, скрытое в затерянных тут и там следах — предчувствие, отзвук, вспышка внутреннего озарения, словом, что-нибудь, что выдавало бы или хотя бы намекало на ясное представление о высшем Существо, всемогущем Творце всех вещей и Отце человечества. Но не так обстоят дела в индийской мифологии, ибо здесь вместе с чувственным обожеванием природы, гораздо более решительным и воодушевленным, чем у греков, и наряду со всякого рода языческими вымыслами и домыслами, превосходящими греческие по своему гигантизму, тут же рядом высказаны и почти все истины естественного богословия — хоть и не без примеси разнообразных заблуждений, однако со всей возвышенностью и серьезностью, а также найдены и определены строжайшие научно-метафизические понятия о высшем Существо, о Боге и Его свойствах и отношениях; именно это и составляет самобытный характер мифологии индийцев: с одной стороны, исполненной неукротимого гигантизма и фантастического воодушевления природой, а с другой — философски глубокомысленной и мистически значимой.

Если бы пифагорейцы преуспели в своем намерении (которое, по всей вероятности, у них действительно было) сделать общепринятыми свои высшие идеи о Боге и человеке, о бессмертии души, о невидимом мире и привнести их в народную религию, не отвергая ее совсем, но полностью преобразовав ее в соответствии со своими принципами, придав ей или вложив в нее этот высший смысл, — что, спустя долгое время, из ненависти к христианству пытались сделать неоплатоники и император Юлиан, однако слишком поздно и без длительного успеха, — лишь тогда греческая мифология до некоторой степени сравнялась бы с индийской и могла быть сопоставлена с ней. Но в индийской мифологии и учении о богах это причудливое соседство, это противоречивое смешение высшей истины с самым чувственным заблуждением, неукротимого гигантизма вымыслов с самым отвлеченным метафизическим или же чистейшим естественным богословием, — если можно назвать этим именем божественное откровение первобытного мира, — все это смешение, говорю я, не было искусственно создано и преднамеренно произведено, но обе эти стороны мифологии индийцев существовали с самого начала, вместе и наряду друг с другом. Потому мы должны, с одной стороны, остерегаться того, чтобы слишком легко или поспешно усматривать в этих образах и мифологических представлениях соответствия с привычными нам понятиями об истине. Насколько великим заблуждением было бы,

например, не задумываясь предположить аналогию между индийским образом или символом и представлением о Тримурти или божественной триадой и — не скажу даже, что с христианскими представлениями, но, например, с учением какого-нибудь платоника о троичной сущности или троичности лиц Единого Божества. В этом символическом изображении лики трех высших индийских божеств: Брахмы, Вишну и Шивы — бога-созидателя, бога-хранителя и бога-разрушителя, — объединены в одной фигуре, что указывает общую изначальную силу, действующую во всех троих. Однако, тщательно и по порядку исследовав все подробности, мы обнаружим, что свойства, приписываемые Брахме, и относимые к нему выражения, — если отвлечься от обильных поэтических излишеств и мифологических прикрас, — все еще более или менее таковы, что иногда их можно было бы, не погрешив против истины, отнести к Богу или использовать, говоря о Нем. Вишну, всепроникающий и принимающий всевозможные образы, — это уже скорее просто удивительный природный Прометей, чем такое существо, которое можно было назвать поистине божественным. Последний же из этой индийской троицы богов, ужасный разрушитель Шива, уже отнюдь не может быть понят или переосмыслен как праведно судящая и карающая сила божества; нет, этот бог разрушения — чьи почитатели, кажется, были прежде наиболее многочисленными в Индии, как теперь приверженцы Вишну, — увешанный изображениями змей и гирляндами из человеческих черепов, со всей очевидностью предстает скорее злобным демоном гибели, через которого в творение вошла смерть и который странным и довольно противоестественным образом был включен в этот трехликий образ и устройство всего божества. То же самое смешение или слияние вечного совершенства со злым началом происходит, хоть и иным образом, у индийских философов, поскольку некоторые из них связывают и соотносят представление о Тримурти или индийской триаде божеств с понятием трайгуни или трех качеств. Эти три различных области или ступени, на которые, согласно индийскому учению, делится все бытие или существование, суть таковы: чистый мир вечной истины или света, средняя область кажимости или иллюзии и бездна мрака. Впрочем, чистое, собственно метафизическое понятие Высшего Существа индийцы не обозначают ни именами последних двух народных или природных божеств, ни именем Брахмы как собственным именем мужского рода, но используют для этого санскритское слово, относящееся к среднему

роду — Брахман⁵⁹, которое как раз и значит «Высшее Существо». Если же теперь в человеке действительно совмещались два начала: древнее наследие или божественный дар истины, ниспосланный в праисторическом откровении, и заблуждение или, по меньшей мере, предрасположенность к заблуждению, укоренившаяся в самом человеке, в его духе и разуме, отвратившемся и ниспадшем от Бога к природе, то сколь легко могло возрастать это заблуждение, если только человек не держался этого сокровища божественной истины, верно и бережно храня его чистоту, сколь сильно помрачалась эта истина, когда заблуждение все отчетливее проступало в своей соблазнительной силе и ужасающей величине и всё более углублялось! И особенно в среде народа, у которого, как у индийцев, до такой степени преобладала фантазия, а также весьма глубокое, но при том все еще чувственное восприятие природы. Так чувственное обожествление природы и неумное воодушевление ею большей частью заступили место простого богопочитания и вытеснили или исказили чистое понятие о нетварном и вечном Духе. Наряду с той жизненной силой, что возрождается и воспроизводит себя из поколения в поколение, люди обратились к великим природным силам и стихиям, далее, к небесным духам или воинствам, как назывались они в языке древних, или же к сияющим хорам светил, которые весь древний мир почитал, конечно же, не просто светящимися сферами и огненными массами, но одушевленными существами, затем, к гениям и духам-хранителям, духам усопших и манам, — всех их стали почитать божествами и поклоняться им, вместо того чтобы чтить в них Творца и, помышляя о них, памятовать и о Боге. Таково совершенно естественное — если учесть первое отпадение человека от Бога к природе — происхождение политеизма и всеобщее основание всякой языческой религии, которая впоследствии только принимает разные конкретные формы в зависимости от характерных особенностей или направления, преобладающего в жизни того или иного народа. Что же до индийского мировоззрения, то его отличительной характеристикой и важнейшей особенностью, выделяющейся на общем фоне, является основной догмат их веры — учение о переселении душ. Прежде всего, мы должны осознать и живо представить себе, что для народов глубочайшей

⁵⁹ Имя индуистского божества Брахма и понятие абсолютного первоначала бытия Брахман в немецком оригинале полностью омонимичны и различаются только грамматическим родом: *der Brahma — das Brahma.* — *Прим. перев.*

древности бессмертие души было далеко не только вероятной гипотезой, убедиться в истинности которой невозможно без кропотливых исследований и пространных доказательств, как это нередко бывает у мыслителей нового времени. Более того, такое представление нельзя назвать даже верой, ибо это была самая живая уверенность — такая же, как чувство реального присутствия или собственного существования, и это твердое знание о будущем бытии и его характере было важнейшим критерием во всех повседневных делах, совершаемых человеком в нынешнем тленном покрове, а часто и мотивом, побуждавшим к гораздо большим усилиям в делах и свершениях, чем могли бы быть предприняты ради каких-либо земных интересов. Когда же я сказал, что учение о переселении душ не лишено связи с индийским кастовым строем, причина этого заключалась в том, что подлинным, почетным наименованием брахмана является «Двиджа», то есть «дважды рожденный» или возрожденный, что, с одной стороны, указывает на внутреннее обновление и возрождение чистой и посвященной Богу жизни, в чем заключается истинное предназначение брахмана и подлинная сущность этого сословия. С другой стороны, это наименование связано с верой в то, что душа, которая после земной смерти проходит через различные и многочисленные животные формы и природные ступени бытия, в известных случаях, совершив весь предписанный круг различных форм бытия, в качестве особой награды снова возвращается в этот мир и возрождается среди брахманов. Ту же веру в переселение души в тела многообразных животных или в другие формы бытия, или же в неоднократное повторение человеческого существования — будь то в наказание за безбожие и порочность или в силу необходимости для достижения полного очищения и высшего совершенства — имели и древние египтяне точно в том же виде, в каком она всегда господствовала и продолжает господствовать у индийцев; такое удивительное согласие в верованиях этих двух древних народов подкреплено историческими свидетельствами, не оставляющими места сомнениям, и притом даже в частностях этой гипотезы или в более подробных обстоятельствах странствий души в этом круговороте, даже в том, что касается длительности его временных периодов и циклов, — во всем этом у египтян и индийцев обнаруживается множество совпадений. Но сколь причудливо и здесь это удивительнейшее заблуждение смешано не то чтобы с правдой, но, по крайней мере, с некоторым чувством, которое все еще исходит из глубочайшей взаимосвязи древней истины!

Ведь если даже кое-кто из наших современников от пресыщения и отвращения ко всем прочим, известным и новым системам или общепринятым учениям, из тяги к парадоксальности, прельстился этой древней гипотезой о переселении душ, то он, скорее, имел в виду простую смену природных форм. Но у упомянутых древних народов это учение покоится на совершенно религиозном основании и имеет вполне религиозное содержание. Его лучшим и все еще основанным на истине элементом является глубокое чувство того, что ныне, после того как человек так сильно уклонился от Бога и столь удален от Него, ему предстоит продолжительный, нелегкий путь и великое борение, чтобы вновь приблизиться к Нему, источнику всякого блага; другим же подобным элементом является твердое убеждение и глубокая уверенность в том, что ничто несовершенное, нечистое и тленное не может вступить в чистый мир совершенных духов и навеки воссоединиться с Богом и что, стало быть, бессмертная душа еще нуждается в продолжительном очищении и высоком усовершенствовании, прежде чем сможет достигнуть этой конечной цели. Конечно, и в самом деле нетрудно себе представить и понять, как это, впрочем, нам ясно уже и из опыта здешней, земной жизни, что глубокая, всепроникающая душевная боль, сотрясающее все скрепы бытия духовное страдание может способствовать освобождению человека от всего чуждого и порочного или даже быть для сего необходимым — подобно тому как в неодушевленной природе благородный металл, раскаляясь в земном огне, плавится и очищается ото всех шлаков. Верно и то, что чем дальше вырождается и опускается человек, тем, как правило, больше приближается он к животным; поэтому, если бы индийцы рассматривали переселение бессмертной души в тела различных животных лишь как наказание, было бы нетрудно понять основания для такого заблуждения: ведь, следуя этому ходу мысли, по мере того как свободный человек, впадая в прегрешения и пренебрегая своей свободой, все более уподобляется животному, он должен в конце концов и действительно стать таковым. Но только как же могли они верить в то, что это может быть одной из ступеней на пути к усовершенствованию, приготовлением к высшему совершенству, к полному и блаженному слиянию с божественным Существом, от которого человеческая душа, пребывая в таком состоянии, должна напротив, все более удаляться? Что же касается повторного возвращения в человеческом образе и в нынешней форме существования, то какой мыслящий человек мог бы возжелать

снова вернуться в это земное бытие, каким мы его знаем сейчас: терзаемое и вожделением, и пресыщением, колеблемое между разными крайностями, охваченное разладом внешним и внутренним, освещенное несколькими лучами истины, но помраченное тяжелыми тучами заблуждений, — будь это даже возвращение в роде брахманов, почитаемых индийцами выше всех прочих людей, или в также не обделенном благосклонностью судьбы царском или княжеском роде? Вообще же во всех этих представлениях мы наблюдаем у индийцев редкостную путаницу и смешение мира посюстороннего с потусторонним, причем насколько непреодолимой пропастью последний разлучен и отделен от первого, они, по-видимому, ясно не осознали. Оба упомянутых древних народа: как египтяне, так и индийцы — отнюдь не считали ожидаемое ими переселение души предметом радостной надежды, но, в целом и за вычетом немногочисленных исключений, скорее видели в нем тяготеющее над их душами несчастье, пусть даже и рассматриваемое в качестве наказания, необходимого испытания или очистительного страдания; итак, это было несчастье, и потому надлежало сделать и предпринять все возможное, чтобы хоть как-то смягчить, отвратить или совершенно преодолеть его, не жалея для этого ни усилий, ни жертв. Однако в тех совершенно различных путях к этой цели, которые избрали себе оба этих народа, дает о себе знать и существенное различие, заключающееся если и не в намерении или в изначальной идее, не в самой вере или в учении, то, по крайней мере, в выбранном в этой отправной точке духовном направлении и его двоякой ориентации. Что касается египтян, то за недостатком древних египетских книг и писаний — в отличие от индийских, которыми мы теперь располагаем в весьма большом количестве, — мы не можем познать и понять их подход к этому вопросу с той же полнотой и определить его с такой же уверенностью, с какой в состоянии сделать это применительно к индийцам по имеющимся у нас источникам, которые в существенных чертах вполне согласуются и со свидетельствами античных авторов; вместо этого нам приходится скорее строить общие предположения, исходя из принятых в Египте своеобразных обычаев в обхождении с усопшими и их телами, из этого возвышенного и столь важного для египтян, всеобъемлющего и как нигде более утонченного погребального искусства (если уместно его так назвать), из этого совершаемого с изысканной тщательностью освящения мертвых тел, которое все еще удивляет и восхищает нас при виде египетских памятников и мумий.

Ибо сам факт, что все это, включая все религиозные обычаи, сопровождавшие это искусство, надписи, которыми оно было окружено и которыми были покрыты гробницы и сами мумии, имело совершенно религиозный смысл и назначение и было теснейшим образом связано с верой в переселение душ, в целом не подлежит никакому сомнению, но гораздо труднее будет более точно и уверенно охарактеризовать стоящую за ним господствующую идею. Может быть, египтяне верили, что душа не сразу разлучается с покинутым ею телом, но, возможно, только после его полного разрушения и разложения? Стремилась ли она с помощью своего искусства уберечь тело от тления, чтобы тем самым избавить душу от ужасавшего их переселения? Во всяком случае, как представляется, обхождение египтян с мертвыми предполагает определенную, продолжающуюся хотя бы некоторое время, связь души усопшего с покинутым ею телом, однако не следует считать ее абсолютной и неограниченно долгой, поскольку такое предположение вступило бы в противоречие со столь распространенным и многозначительным египетским изображением суда, совершаемого над душой тотчас после смерти; на этом изображении враждебный дух самым суровым образом обвиняет душу перед восседающим в центре судьей, в то время как стоящий по другую сторону дружественный ей гений-хранитель, напротив, всеми силами добивается ее прощения и оправдательного приговора. Может быть, с помощью всех этих обычаев, а также многочисленных магических средств, египтяне хотели лишь оградить душу от враждебных демонов и стяжать ей покровительство благих и человеколюбивых богов? Теперь, после того как запечатанные врата иероглифической науки были, наконец, открыты, ее дальнейший прогресс, возможно, принесет нам более точный ответ на эти вопросы. Индийцы же, которым был чужд египетский погребальный культ и обхождение с умершими, выбрали совершенно иной путь к освобождению человеческого духа от перерождений, а именно, путь философский — через высочайший взлет мысли к Богу и через полное, непрестанное погружение чувства в неисследимые глубины высшего Существа. Они нисколько не сомневались, что на этом пути полное соединение с Богом может быть достигнуто еще при жизни, и были уверены, что благодаря этому душа может избавиться и окончательно освободиться от дальнейших изменений и переселений в различные природные формы земного бытия в этом мире иллюзий и вечно пребывать в единении с Богом. Вот та цель, к которой стремится вся ин-

дейская философия со всеми своими системами и в которой она находит свое завершение. Об отрешении от всего земного и соединении с Богом эта философия содержит множество самых возвышенных мыслей, которым, пожалуй, в этой сфере не осталось чуждым ни одно понятие высшей метафизики. Однако эта сосредоточенность всех чувств и всего сознания на Боге, на всеобъемлющем чувстве глубочайшего и вечного соединения с Ним, достигла здесь таких высот и была доведена до такой степени, что ее почти можно было бы назвать внутренним духовным самоуничтожением. Здесь мы имеем дело с тем же явлением, хотя и облеченным в другую внешнюю форму, которое в истории европейской духовной культуры и отмеченных здесь различных духовных направлений принято называть мистикой. Конечно, в Европе знали и об опасностях мистики, об ее ложных путях и грозящих бедою пропастях, а в отдельных случаях имели случай познать их на собственном опыте, — там, где к нему тайно примешивались эгоизм или гордыня или как только эта полная сосредоточенность внутреннего мышления переставала соблюдать свою меру, пределы и закон. Однако в целом западный дух, благодаря своему смешанному и более умеренному естественному характеру, более многообразному интеллектуальному образованию и, в особенности, конечно, благодаря более чистому свету совершенно познанной истины, был сохранен от подобных ложных мистических путей, которые в Индии не только в своей идее, но и в реальном исполнении и практическом применении были доведены до такой крайности, которая, уходя за все пределы человеческой природы, далеко превосходит сами границы возможного или того, что принято считать возможным. И те, казалось бы, невероятные вещи, которые более двух тысяч лет тому назад греки рассказывали об индийских отшельниках, или гимнософистах (как они называли этих йогов), можно наблюдать в Индии еще и поныне, так что правдивость древних свидетельств вполне подтверждается очевидностью опыта.



ПЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

**Сравнительное сопоставление духовного строя
четырех главных народов древнейшего мирового периода:
индийцев и китайцев, египтян и евреев, а также персов,
с их географическими и историческими условиями
и особенностями характера**

Как пораженное расколом человечество исторически разделяется и распадается на множество народов, родов и языков, а затем — враждебных друг другу племен, строго обособленных каст и разделенных на множество частей сословий (что, коль скоро мы признаем изначальное разделение и первое противостояние в роде человеческом, было неизбежно уже в силу самой природы и высшего предназначения человека), так и внутренний мир отдельно взятого человека, с точки зрения психологической, распадается на множество противоположностей, то есть, иными словами, его мыслительные способности и сила воли разделяются и расходятся в противоположных направлениях. Внутренняя структура его сознания пребывает теперь в состоянии разделения, лишённого полноты жизни, единства неразделенного духа и согласного взаимодействия всех душевных способностей, каждая из которых действует теперь в неполную силу или, вернее, впосилы. Восстановление этих разобщенных способностей в полноте жизни и во всей их ответственности ныне случается лишь как исключение — как высший дар творческого гения, силы характера, превосходящей обычную меру, или же божественного вдохновения чистой любви, — и должно считаться высшей задачей, составляющей конечную цель и идеал всех духовных и нравственных устремлений челове-

ка. Если возросший во всякой спасительной науке, проникательный и просвещенный разум и не просто сильная, но и праведная, чистая воля приходят к совершенному созвучию в том или ином человеке, то он достиг своей цели; если же в целом поколении или вообще во всем человеческом роде совершенной гармонии достигнут, с одной стороны, наука или истинное просвещение, а с другой — его внешняя жизнь, нравственные устремления и моральное состояние (одним словом, его воля в целом), столь часто пребывающие с ними в раздоре, — тогда и обо всем человечестве можно будет сказать, что оно достигло своего предназначения. Главный недостаток обычной философии и основная причина, по которой она все еще так далека от своей цели, заключается именно в том, что она чересчур поспешно приняла в качестве исходной ту предпосылку, будто нынешнее, всецело измененное, по существу, дважды разделенное и в результате четырехчастное, сознание человека осталось те же самым, каким оно изначально было сотворено и устроено Богом, и совершенно не принимает во внимание того, что после первой катастрофы человек не только претерпел историческое разделение, но и утратил свой правильный строй в психологическом отношении. Четырехчастным же охваченное смутой человеческое сознание может быть названо потому, что четыре основных способности человеческой души и духа: рассудок (*Verstand*) и воля, разум (*Vernunft*) и фантазия — двояким образом противопоставлены друг другу, или, если угодно, расходятся во все четыре стороны бытия. Разум есть упорядочивающая мыслительная способность человека, и потому он занимает первое место в человеческой жизни и ее порядке или законе, однако сам по себе не является производящей силой и даже в науке не может быть ни поистине продуктивным, ни непосредственно-созерцающим. Напротив, фантазия, при всей ее плодовитости и изобретательности, предоставленная самой себе и лишенная поводыря, оказывается слепа и нередко подвержена иллюзиям. Самая благая воля без рассудительности и проникновения в суть принесет мало пользы, но еще меньшего достигнет даже самый ясный и глубокий ум при испорченном и извращенном характере; он же в сочетании со слабой и шаткой волей делает человека бесхарактерным, а его поступки — лишенными убедительности. Почему теперь все прочие известные и иной раз перечисляемые способности души или духа являют собой лишь частные применения или связующие промежуточные звенья, то есть второстепенные ответвле-

ния или подразделения этих основных способностей? как затрагивает их всеобщая раздробленность сознания? каким образом и они также распадаются на отдельные частности и предстают еще более узкими и раздробленными? — подробный разбор всех этих вопросов завел бы меня слишком далеко, и здесь он тем менее необходим, что преимущественно лишь эти четыре способности могут быть выделены и отмечены в качестве преобладающих духовных элементов при историческом рассмотрении и осмыслении самобытного характера различных народов или эпох. И как в духовном характере отдельных людей и индивидуумов, или же в какой-либо данной и подлежащей нам системе человеческого мышления, поэтического творчества или знания (как и вообще в любом завершенном произведении или творении мысли, где эти способности легче и вернее могут быть распознаны и подвергнуты точной характеристике и исчерпывающему анализу, нежели в скоропреходящих и изменчивых явлениях реальной жизни и общественных отношений), — как здесь, говорю я, почти во всяком духовном индивидууме и всяком произведении человеческой мысли и творчества обычно в качестве преобладающего элемента выделяется и недвусмысленно заявляет о себе либо систематически упорядочивающий и нравственно обосновывающий разум, либо изобретательная и плодотворная фантазия, либо, может быть, пронизательный, ясный рассудок, либо необычайная сила воли и крепость характера, — точно так же обстоит дело и в масштабах всей истории человечества, применительно ко всякой самостоятельно существующей или обособленной системе жизни и нравственного и духовного бытия, в отношении индивидуального своеобразия характера и преобладающего духовного направления целых эпох и народов древней истории.

Вглядываясь в жизнь этих народов, мы можем наблюдать не только то, каким совершенно различным образом священное предание, как внешнее слово древнего сказания, было понято, развито или искажено у каждого из них, но и то, как внутреннее слово в человеке, то есть, его высшее сознание и духовная жизнь, принимало у каждого из них свои собственные, присущие ему одному направление и форму. Так, несомненно, подобная духовная противоположность между двумя уже охарактеризованными великими народами, проживавшими в глубочайшей древности на самом дальнем Востоке и в Южной Азии, чувствуется очень отчетливо, а именно, здесь, пожалуй, уместнее всего было бы говорить о противоположности между разумом

и фантазией. В широком, историческом масштабе, применительно к целым народам и их духовной культуре, разум, так же как и в отдельном человеке, является способностью, ответственной за грамматический строй, логическую последовательность, систематическую упорядоченность, а также за диалектику спора а, с практической стороны, — за устройство жизни в согласии с божественным порядком — в той мере, конечно, в какой и сам он держится этого высшего порядка. Если же он его не держится, но стремится вывести все из себя самого и своей ячности (*Ichheit*), значит, это есть разум эгоистически мудрствующий, корыстно-расчетливый, а в более широком применении — также и измышляющий и строящий всевозможные произвольные системы знания и нравственности, ведущий к разделению на партии и секты, выродившийся разум. Фантазия же есть не только способность к вымыслу, ограниченная областью искусства и воображения — сюда относится также и способность к научным открытиям, ибо никогда еще никакое научное открытие или изобретение не совершалось без участия фантазии. Существует и другая, более высокая и всецело спекулятивная сила воображения, находящая свою подлинную сферу применения в мистике того рода, в каком предстала и была охарактеризована нами мистика индийская. И потому, даже если бы мистика, подобная той, что лежит в основании индийской философии, была совершенно чиста от всякой примеси чувственности и всецело лишена образов, то и тогда, конечно, мы были бы неправы, если бы не признали за силой воображения ее доли участия в таком своеобразном духовном направлении и во всем феномене в целом. Что же до китайцев, то после вышеприведенной характеристики этого народа, почерпнутой нами из лучших новейших источников и авторитетнейших свидетельств, тот факт, что преобладающим элементом свойственного им духовного направления была не фантазия, а в гораздо большей мере разум, едва ли нуждается в подробном доказательстве — настолько ясно этот вывод следует из общего изложения. Сперва, когда весь характер древней китайской нравственности еще сохранялся и основывался на простом, не искаженном всякого рода вымыслами — как и у прочих народов, — духовном богопочитании и на достойнейшем учении Конфуция, тем началом, в котором китайцы обретали высший принцип своей жизни, а также и государства, был здравый, верно и нравственно мыслящий, действующий согласно с божественным порядком разум, отчего и само Высшее Существо именовалось

у них Божественным Разумом. Если, однако, и в наши дни те или иные из новейших писателей, подобно китайцам, также именуют Высшее Существо Божественным Разумом, то сам я не могу согласиться с таким китайским словоупотреблением, поскольку, согласно убеждению, из которого я исхожу, которое положено в основу этого труда и является его предпосылкой, хотя Живой Бог и есть Дух, отсюда еще не следует, что Бог есть разум или разум есть Бог. Говоря точнее и со всей подобающей науке строгостью выражений, мы, в сущности, имеем столь же мало оснований приписывать Богу разум, как и способность к фантазии. Последнее имеет место в поэтической мифологии древнего язычества, а первое — коль скоро подобная мысль высказывается намеренно, а не из-за случайной неточности выражения — всегда является признаком рационализма или новой языческой религии разума, склонность и предрасположенность к которой можно, впрочем, обнаружить уже в очень древние времена, и главным образом у китайцев. Довольно рано и у них вместо прежнего правого и здравого, согласного с божественным порядком и во всем следующего ему разума, возобладали разум эгоистически мудрствующий, все усложняющий, распадающийся на секты, вступающий в пререкания и, наконец, в согласии со своей новой системой, революционно ниспровергающий старое, лучшее основание и свято чтимый обычай. Напротив, у индийцев столь же решительно и даже еще более очевидным образом выказывает себя всецело преобладающее влияние силы воображения — даже в науке и в той особой мистической направленности, которую эта сила придала индийской философии. Творческое изобилие дерзкой поэтической фантазии проявляется в гигантских архитектурных сооружениях, которые в первую очередь можно сравнить с египетскими, в самой поэзии, своим богатством, многообразием и изобретательностью не уступающей греческой и часто приближающейся к ней красотой форм, да и вообще во всей мифологии, которая своими основными чертами, глубиной значения и взаимосвязью целого более сходна с египетской, а красочностью своей поэтической образности и чарующей притягательностью изобразительных форм напоминает греческую. Итак, при столь решительном своеобразии духовной культуры индийцев мы едва ли можем усомниться в том, какой именно элемент или какая душевная способность из числа присущих человеку сил является здесь преобладающей и господствующей.

Схожую и столь же решительную противоположность в духовной направленности и в преобладающем элементе сознания (хотя и другого рода и гораздо более глубокую, чем между китайцами и индийцами) можно отметить также между египтянами и евреями; и я позволю себе уже сейчас, забегаая вперед, сосредоточиться на ней, ненадолго отступив ради этого от того этнографического порядка изложения, которого я придерживался до сих пор, поочередно предлагая как можно более точную и исчерпывающую характеристику каждого отдельного народа. С помощью сравнительного сопоставления четырех основных народов глубокой древности, наиболее важных для первого периода всемирной истории человечества, я намечу общую картину всего этого временного отрезка, способную послужить центральной точкой и результатом всего этого целого, одновременно полагая основу для всего последующего изложения. Такое обобщение значительно упростит весь обзор первого мирового периода, благодаря чему каждая составная часть, занимающая свое место в этой взаимосвязи целого, будет вырисовываться с гораздо большей отчетливостью. Если бы мы хотели одним словом, несколькими чертами кратко сформулировать то, в чем состояло своеобразие духовного направления и его преобладающий элемент у древних египтян, — сколь бы неудовлетворительными в прочих отношениях ни казались нам подобные общие описания и выражения, — мы не смогли бы сказать ничего, кроме следующего: характерное преимущество египтян состояло в глубине научной мысли, а преобладающим элементом здесь был рассудок, магическим путем проникающий или стремящийся проникнуть во все глубины и таинства природы, вплоть до её самой сокровенной бездны. Научное направление египетского духа и культуры было преобладающим, и притом до такой степени, что даже архитектура у египтян была связана с астрономией гораздо более, чем у других народов древнейшего времени, и многие из выдающихся творений и памятников их архитектуры имеют всецело сидерическое значение. О глубокой сокровенности и значительности их воззрений на смерть и обычаев, связанных с телами усопших, было уже упомянуто ранее. Во всех естественных науках: в математике, астрономии и даже в медицине египтяне некогда были учителями греков, и именно самые глубокие мыслители среди последних: пифагорейцы, а позднее Платон — почерпнули у них начатки собственных идей или, по меньшей мере, получили там первый импульс и усвоили глубокую направленность мышления. Здесь, у того же истока, из ко-

торого произошли египетские иероглифы, помещалась и цитадель мистерий, так что Египет во все времена оставался родиной множества истинных и немало числа ложных таинств. Этих немногих замечаний будет пока что довольно для общей характеристики духовной направленности египтян; более обстоятельные подробности, может быть, еще найдут себе подобающее место в ходе дальнейшего изложения и будут добавлены, чтобы тем самым полнее описать и точнее обозначить картину египетского духа. Совершенно иначе обстояло дело у древних евреев, которые не могут сравниться с прочими упомянутыми народами ни в систематической науке, ни в изящных искусствах, да и не должны измеряться этим масштабом; выдающаяся характерная черта их духовной тенденции или выпавшего на их долю высшего исторического предназначения заключается скорее в сфере воли и весьма строго определенной направленности последней. Впрочем, сам Моисей был, как сказано в Писании, «научен всей мудрости египетской»⁶⁰, ибо получил вполне египетское воспитание, причем, благодаря заботам дочери фараоновой, самое добросовестное и превосходное, под которым, учитывая условия и обычаи той земли, безусловно, следует понимать воспитание всецело научное. Даже имя его, согласно достоверному свидетельству многих древних писателей, было изначально египетским и лишь впоследствии гебраизировано, поскольку Мо-ише, как называют его по-гречески семьдесят толковников⁶¹, также и в египетском языке значит «спасенный из воды». Однако, в отличие от Моисея, нельзя сказать того же о знакомстве с египетской наукой еврейского народа, ибо сей законодатель, исходя из своих целей, счел большую часть этой столь хорошо известной ему чужой науки бесполезной и в некоторых отношениях пытался удержать свой народ от близкого знакомства с нею. Разумеется, многие из Моисеевых заповедей, особенно те, что касались лишь внешнего образа жизни и питания, диеты и здоровья и отчасти могли быть обусловлены климатом, вполне согласуются с египетскими обычаями, и их точно так же можно обнаружить и у египтян; равно как и вообще многие древние родоначальники и законодатели народов Азии отнюдь не исключали медицинских предписаний из своего нравственного законоуложения, охватывавшего всю жизнь, вплоть до ее мельчайших деталей. Однако и таким предписаниям или обычаям

⁶⁰ Деян. 7:22 — *Прим. перев.*

⁶¹ В немецком тексте Mo-üsche, ср. гр. Μωυσής — *Прим. перев.*

этот еврейский законодатель в большинстве случаев придал высший смысл и религиозное освящение. И потому отсюда не следует делать вывода, будто он всего лишь позаимствовал их от Египта, или даже упрекать его в этом, как поступают в наши дни иные хулители; ведь тем, кто всецело поработен этой узостью духа времени, так нелегко бывает живо перенестись в ту глубокую древность! Точно так же было бы большой ошибкой утверждать или думать, будто всю эту науку, изученную им благодаря египетскому воспитанию, Моисей собирался лишь скрыть от народа, стремясь в то же время тайно сохранить ее для себя самого и, может быть, немногих доверенных лиц. Ибо даже с чисто исторической точки зрения в нем и во всей системе представлений, характеризующей его как законодателя и основателя еврейского государства, во всем его образе действий в качестве учителя и предводителя своего народа виден еще один, более возвышенный и неегипетский элемент; этот иной, высший принцип, должно быть, созрел и развивался в этом возвышенном муже преимущественно во время его сорокалетнего пребывания в Аравийской пустыне у Иофора (справедливо названного эмиром или предводителем мелкого племени аравийских пастухов, одну из семи дочерей которого Моисей выбрал себе в жены), пока, наконец, этот высший принцип не явил себя в полной божественной силе. Он сохранил и использовал согласно своему намерению и своему свободному и осмотрительному выбору все то из египетских познаний, обычаев и всего обнаруженного им в этой стране, что казалось ему благотворным и полезным для его цели. Однако очень многое он также решительно отверг: все, что было несовместимым с его целью и что представлялось ему пагубным; или же он обращал это чужое знание совершенно в ином направлении, утверждая его на новом, высшем основании; так, например, его не смогли смутить тайные искусства повелевавших природой египетских волхвов, ибо с помощью высшей божественной силы ему нетрудно было победить их на глазах у самого фараона. Итак, вот каким было — если понимать его правильно — отношение Моисея к египетской духовной культуре и науке, ни в чем не дающее повода для упрека также и по человеческому суждению; напротив весь его образ действий в этом отношении должен быть признан заслуживающим величайшего восхищения. Коль скоро мы, например, вполне можем предположить, что Моисей как первый и величайший писатель, творивший на еврейском языке, а также как основоположник и законодатель самого языка, если и не

впервые изобрел еврейский алфавит, то, по крайней мере, упорядочил его и придал ему окончательный вид, нетрудно будет представить себе, что как первые десять, так и последние двенадцать еврейских букв он мог взять из числа египетских иероглифов, поскольку уже тогда иероглифы помимо первоначального символического могли также использоваться и применяться и в алфавитном значении. По меньшей мере, это весьма вероятно, ибо многие из еврейских букв в совершенно неизменном виде можно обнаружить в иероглифическом алфавите, — мы можем утверждать это уже сейчас, хотя наши знания о нем еще неполны и из всех разновидностей буквенных символов, которые могут быть в нем найдены, расшифрована приблизительно десятая часть. Но — следуя тому же предположению — Моисей как раз и не хотел заимствовать у египтян более, чем эти десять первых и двенадцать последних буквенных символов, и оставил без внимания все прочие иероглифы и природные символы, поскольку в них не нуждался. Более того, он строго исключил всю эту природную символику из своей системы, удалил ее от путей, предначертанных его народу, и с неумолимой строгостью воспретил всякое почитание изображений и все, что хотя бы отдаленно могло быть с ним связано, ибо, конечно же, сознавал, что стоит ему лишь немного уступить в этом вопросе, допустить хотя бы ничтожнейшее влияние этого духа природно-символических образов, оставить для него хотя бы малейшую лазейку — и остановить его натиск было бы уже невозможно; тогда еврейский народ тотчас уклонился бы от направления, которому должен был следовать и которого ему надлежало держаться, и, однажды ступив на тот же путь, которым пошли все прочие языческие народы, уже никогда не обрел бы иного. Дальнейшее историческое повествование в достаточной мере подтвердило и доказало, сколь важно и необходимо было в этом отношении предписанное Моисеевым законодательством недопущение и устранение всего, что могло оказаться сродни почитанию изображений. Но в чем же заключалось это предначертанное еврейскому народу его основателем и законодателем, а также всеми его праотцами особое направление духа, всей внутренней силы и всех помыслов? В противоположность египетской науке и рассудку, нисходящему до самых сокровенных глубин природы и при помощи магической силы проникающему все ее тайны, здесь господствующим элементом была скорее воля: воля, по влечению сердца и с полной серьезностью взыскующая в горнем мире превознесенного над всею природой Бога и Твор-

ца; воля, с терпением, верою и непоколебимым мужеством следующая Его, наконец, обретенному свету, Его заповедям и знаменаниям Его отеческого водительства, идущая за Ним через бушующее море и безлюдную пустыню. Нелепо было бы утверждать, будто весь еврейский народ был вполне и в равной мере проникнут этим чистым духом и воодушевлен подобными убеждениями — многие страницы собственной его истории говорят об обратном и даже слишком красноречиво свидетельствуют о его непокорности. Однако в этом и только в этом, — по крайней мере, более, чем в чем-либо еще, — заключалось то основополагающее намерение, тот первый великий импульс и то непреложное направление, которое Моисей и все прочие вожди и избранные мужи этого народа стремились придать ему, сделать неизгладимой чертой его характера, запечатлеть на нем как отличительный исторический признак. Но именно это характерное свойство и является господствующим уже у первых, древнейших праотцев во всех священных книгах Ветхого Завета. Однако, независимо от индивидуальных черт национального характера и особых судеб того или иного народа, будет философски верно думать или, если угодно, считать покоящейся на психологическом основании истиной, что в первую очередь и прежде всего органом познания божественных вещей в человеке является не рассудок, а воля, и именно такая воля, которая из самой глубины сердечной тоски взыскует света истины, то есть Бога, и если она начинает отчетливо видеть этот свет или, хотя бы, яснее его прозревать, то повсюду, куда бы он ни вел ее, следует этому путеводному свету, внутреннему голосу истины и его высшим указаниям. Итак, не рассудок в первую очередь и прежде всего служит человеку органом познания божественных вещей, то есть, не один лишь рассудок. Правда, и самому по себе рассудку может быть явлен или дарован свет, и он будет способен его постичь, однако там, где рассудку не содействует воля, где он ищет своих, а не Божиих путей, весьма скоро этот свет высшего познания померкнет, станет неясным и неверным или даже, пусть и сохраняя видимость света, изменится и превратится в блуждающие огни иллюзии. Без содействия доброй воли нельзя удержать свет и сохранить его в чистоте, поистине, только с помощью воли мы можем вступить на путь, ведущий к науке и истине, к грядущему высшему познанию, и заложить для него первую основу. Иными словами, подобно тому как Бог, Которого мы почитаем и признаем как Высшее Существо, есть Бог Живый, так и истина, которая есть Бог, есть истина живая;

почерпнуть ее можно только из жизни, добиться только самой жизнью, научиться ей только из жизни. В этой нынешней человеческой жизни, в этот мировой период всеобщего раскола и упадка сил, расслабленности и замешательства (и даже индийцы называют нашу четвертую и последнюю мировую эпоху Кали-югой, эпохой бед и несчастий) предначертанный человеку путь к богопознанию, истине и высшей жизни есть путь ожидания, терпения и упорной борьбы, тяжкий путь приуготовления, на котором нас укрепляет одна лишь надежда. Тоска или любовь есть начало и корень всякой высшей науки и всякого богопознания, упорство в поиске, в вере и в жизненной борьбе составляет середину пути, а цель его в этом мире для человека навсегда остается только предметом надежды. Движимый благороднейшим из своих устремлений, человек не может пропустить или обойти стороной эту эпоху необходимого приуготовления — тягостного, медленного приуготовления и постепенного прогресса. Высшего совершенства, полного удовлетворения, совершенного соединения глубин духа с Богом и, наконец, самого Бога, не исхитить и не удержать по своему произволу, одним лишь усиленным сосредоточением всех мыслей на одном предмете — своего рода всесилием и самовластием мысли, чему учит следующая своим особым путем философия индийцев и к чему, кажется, на протяжении некоторого времени стремилась или, по крайней мере, пыталась устремиться новейшая немецкая философия. Весьма часто характер и сама история еврейского народа неверно понимаются и истолковываются, ибо люди нашей эпохи, всем своим образом мысли все более склоняющейся к абсолюту, а в тех или иных направлениях в свой черед становящейся все более абсолютной, именно в силу этого останавливаются в растерянности, не видя способа духовно вжиться в ту далекую эпоху приуготовления и нарастающего от ступени к ступени ожидания, столь же необходимую для духа и совершенного познания, как и для самой жизни. Между тем, еврейский народ, все его существование и история или предназначение составляет лишь одну такую важнейшую эпоху божественного ожидания, заполняет собою лишь один этап в удивительном восхождении человечества по ступеням приуготовления к своей высшей цели. Все его бытие определялось одной надеждой, само средоточие его сокровенной жизни было обращено в далекое будущее. На этом основано и то важнейшее различие между священным преданием у евреев и тем, каким оно сложилось и предстает у прочих древних народов Азии. В древнейших сви-

детельствах и священных книгах этих азиатских народов, которые все еще гораздо ближе стоят к источнику изначального откровения, чем позднейшие народы цивилизованного Запада, если отвлечься от содержащихся в них литургических предписаний и нравственных заповедей, в их собственно исторической части, взгляд обращен скорее назад, к прекрасному прошлому, и полон печали о всем том, что с тех пор было утрачено для мира и человечества. И сколь много прекрасных воспоминаний донесли нам эти древние сказания о тех счастливых временах, когда природа была еще совсем не та, что ныне: прекраснее и ближе к божественному миру, населенная и окруженная сонмом небесных духов, когда не один только небольшой сад, насажденный на земле, в древнем Эдеме, но и все творение пребывало в состоянии райской невинности и блаженного младенчества, когда мира еще не коснулась ненависть когда в него еще не вошла смерть. Из всего изобилия этих трогательных и священных воспоминаний, из всего древнейшего предания Моисей, повинаясь мудрому закону бережливости, для своего Откровения, адресованного в первую очередь народу евреев, отобрал лишь очень немногое — лишь то, что почитал совершенно необходимым и обязательным для него с точки зрения своих, а вернее, Божиих замыслов о нем. Но и в этих немногих словах, в многозначительной краткости первых страниц Моисеева повествования для нас, живущих в эти поздние века, заключено множество глубоких истин, в них найдутся ответы на многочисленные загадки первобытной истории, если только этот простой смысл мы будем искать в них с той же самой простотой. Все остальные его писания и, в целом, все их общее содержание, были обращены в будущее — как и сам еврейский народ, вся его жизнь и бытие — и почти исключительно в том же направлении был устремлен его взгляд. И если все священные писания Ветхого Завета даже по своей внешней форме столь разительно отличаются от священных книг, первоначальных свидетельств или самых старых сказаний прочих древних народов своей обращенностью вперед, в будущее; если все эти писания, начиная со слов первого законодателя, выведшего и освободившего свой избранный сугубо ради этой единственной цели народ из рабства (в том числе, и в духовном смысле, применительно ко всему образу мысли, то есть, из рабства египетского служения природе), и кончая пророком, царем и псалмопевцем Давидом или даже самым последним, вопиющим в пустыне гласом предостережения и обетования, — если все они по своему внешнему содержа-

нию и внутреннему смыслу суть писания пророческие, то точно так же и сам еврейский народ может быть назван в высшем смысле этого слова пророческим и действительно был и является таковым даже с исторической точки зрения, на всех своих всемирных путях и во всех своих удивительных судьбах.

К этим четырем древним народам, которые мы сопоставили с точки зрения тех разнообразных образов и форм, которое приняло у них священное предание и первоначальное Откровение, а также тех противоположных направлений, в которых развивался у этих народов человеческий дух как заключенное в них внутреннее слово и высшее сознание, чтобы довершить это поучительное и плодотворное сравнение, можно добавить еще один, пятый народ, а именно, персидский; он, сходствуя или разнясь в некоторых отношениях с одним из четырех предыдущих, а в прочих — с другим, проявляя ближайшее родство с одним из них в идеях и духовных воззрениях на жизнь, в языке и в направленности фантазии, а с другим соприкасаясь хотя бы во внешнем, политическом смысле, занимает между ними как бы промежуточное положение. В истории древних народов персы образуют переходное звено от первого ко второму мировому периоду, в котором занимают первое место, поскольку именно они положили начало подлинно всемирным завоеваниям, а от них уже этот обычай перешел к грекам и далее к римлянам — как веками, из рода в род наследуемое внутреннее вредоносное и губительное начало, как непрестанно самозарождающееся и воспламеняющееся в человечестве болезнетворное вещество, как наследственный недуг народов, в свое время вновь пробудившийся и в новейшей истории. Однако с духовной стороны, с точки зрения религии и священного предания, персы всецело принадлежат к кругу упомянутых четырех древнейших народов первого мирового периода и могут быть сопоставлены лишь с ними, ибо настолько отличаются в этом отношении от финикийцев и греков, что никакое сравнение между ними невозможно и никакое сопоставление в силу совершенной разнородности материала не принесло бы полезных результатов. В языке, сказаниях и поэзии более всего сходствуя с индийцами, а благодаря своим простиравшимся до глубин Центральной Азии завоеваниям и расположенным там провинциям отчасти соприкасаясь с далекой, полностью отделенной от остального, западного мира Восточной Азией и расположенной там Поднебесной Империей китайцев, будучи в течение долгого времени вовлечены в политический конфликт

с Египтом, увенчавшийся завоеванием последнего, — в своем священном Предании и учении они более прочих приближаются к евреям или, во всяком случае, более всего родственны им в том, что касается представлений о Боге и божественных вещах. О Небесном Царе и Отце вечного света и чистого мира света, о вечном Слове, через которое сотворено все, о семи великих духах, предстоящих Престолу Света и Всемогущества, о великолепии окружающих его небесных воинств, а также о происхождении зла, о Князе Тьмы как владыке мятежных и противящихся всякому благу духов — обо всем этом они отчасти имели понятия и учения, совершенно схожие или, по крайней мере, весьма близкородственные еврейским. Конечно, вполне может быть и даже само собой разумеется, что к этим учениям у персов было примешано немало такого, что древние евреи или мы сами сочли бы ошибочным, однако того тесного исторического родства, которое в данном случае представляется нам наиболее важным, это обстоятельство несколько не умаляет. Примечательно, кстати, насколько по-особому изображены в исторических книгах Ветхого Завета царь Кир и персидский народ, насколько заметно они выделяются и насколько отчетливо отличаются от прочих языческих народов. Строго говоря, персов и вовсе нельзя причислять к последним, — более того, они, например, испытывали настолько же решительное, а в политической жизни даже более резко проявлявшееся неприятие и отвращение к египетскому почитанию богов и священных изображений, чем сами евреи. Во время своего владычества над Египтом, они подвергали эту страну самому настоящему религиозному преследованию, а при Камбисе планомерно и систематически пытались искоренить все египетское идолослужение. Ксеркс во время своего греческого похода также повсюду воздвигал святилища огня и разрушил множество храмов. Вообще же религиозные идеи, бесспорно, послужили одной из причин персидских войн, по меньшей мере, в самом их начале, чего, безусловно, нельзя упускать из виду, если мы хотим правильно понять взаимосвязь всех этих событий и постичь изначальную идею и внутренний смысл происходивших тогда великих исторических перемен. Что же до почитания огня, то из-за него древним персам еще нельзя ставить в вину подлинное обожествление стихий или предполагать у них обыкновенный чувственный культ природы — ведь в их вполне духовной религии земное пламя и жертвоприношения были лишь знаком и символом служения иной, высшей силе.

Наглядные изображения и символы были и вообще не настолько строго исключены из их религии, как у евреев. Однако у персов они имеют совершенно иной вид, нежели в подлинном индийском или египетском язычестве и идолослужении. Да и сам благородный характер древних персов, проявлявшийся в их жизни и нравах, и присущее им живое и яркое восприятие природы, сказывавшееся во всем, заключают в себе немало притягательного и привлекательного для наших чувств. Желая вывести из этих кратких заметок основной итог, применимый только к непосредственно поставленной перед ними задаче, мы могли бы сформулировать его приблизительно следующим образом. Если бы поэтических воспоминаний о рае было довольно, чтобы исполнить человеческое предназначение, если бы чистое чувство света, проявляющееся в воодушевлении и восхищении сидерической природой, могло само по себе открыть оку земных жителей всю славу царства духов и небесных воинств и отворить ему врата вечного света, если бы в этом одном имел нужду человек, причем больше и прежде всякой иной нужды; если бы было или могло быть согласно с божественной волей, чтобы вечное царство чистого света распространялось по лицу земли народом, исполненным высокого воодушевления воинской славой, нравственного великодушия и благородной доблести, свойственной рыцарственной аристократии, каковой, несомненно, была аристократия персидская, тогда, конечно же, персы имели бы преимущество перед прочими четырьмя древними народами, ближе всего стоявшими к праисторическому священному преданию и древнейшему слову первого откровения, и по праву занимали бы между ними первое место. Но поскольку все это не так, поскольку путь терпеливого ожидания и непрестанной борьбы в ходе постепенного приуготовления остается единственно подобающим, целительным и ясно предначертанным человеку божественной волей, то, по совершенно естественным и понятным для нас соображениям, отнюдь не персы — при всем чрезвычайном благородстве их характера и духовности их мировоззрения — и не египтяне, посвященные во все тайны природы и постигшие глубины наук египтяне, а политически малозначительный, вовсе чуждый земного могущества и во всех отношениях совершенно неприметный еврейский народ был избран, чтобы служить всемирной истории связующим звеном и переходным мостом, ведущим от явленного вначале божественного Откровения к его полному раскрытию, происходящему в новейшее время, а затем и к яркому свету того же Откровения, имеющему

воссиять в конце времен; этот народ стал носителем или даже, в некотором смысле, понес на себе тяжесть божественного смотрения, чтобы провести эту светлую нить древнейшего предания и священного обетования от начала рода человеческого до самого его конца; в то же время столь благородный персидский народ весьма далеко отпал от чистого познания истины и духовного видения вещей божественных и от того, что еще он имел и чем сам прежде был, опустил до самых глубин антихристианского суеверия магометан, а глубокомысленный египетский народ угас и исчез совершенно, не считая той малой общины египетских христиан, у которой еще сохранились слабые остатки этого древнего языка.

Теперь, когда путем сравнительного сопоставления для древнейшего всемирного периода в качестве центрального пункта и основания целого мы наметили общую картину и составили определенное понятие о различных духовных путях и самобытных направлениях, на которые разделилось и которыми следовало в то время человечество, нам остается только несколько дополнить начатую картину народов первого мирового периода и продолжить ее, добавив к ней существенные черты, недостающие для исчерпывающей характеристики отдельных наций, чтобы затем, вместе с описанием персов, перейти к рассмотрению второго мирового периода древней истории, который уже стал нам гораздо ближе, намного понятнее и заметно отчетливее и яснее открывается нашему взору.

Впервые говорить о происхождении древнего язычества мы можем лишь начиная с индийцев, а не с китайцев, поскольку, уже было упомянуто, в первоначальную, древнейшую эпоху в Китае существовало и может быть обнаружено чистое и простое патриархальное богопочитание; и только после того, как в царствование первого всеобщего великого и могущественного императора рационалистическая секта даосов, как и вообще возобладавший в это время рационализм, произвели революцию, направленную на переворот во всем древнем жизненном, религиозном и нравственном устройстве Китая, спустя некоторое время были введены подлинное язычество и иноземное идолослужение в форме индийской религии Будды. Этот переворот всей государственной системы, а также всей системы мышления и неразрывно связанной с нею у китайцев древней письменности был, в сущности, также и переворотом в общественном мнении, в основополагающих принципах и понятиях. Поскольку преследования и казни многочисленных ученых,

связанные с повсеместным сожжением книг, были направлены только против приверженной древней нравственной и государственной системе школы Конфуция, едва ли покажется совершенно произвольным, взятым с потолка предположением, если мы отнесем немалую долю участия в этой насильственной революции и идейном перевороте на счет противостоявшей ей партии — рационалистической секты даосов, тем более что и сам первый могущественный император Шихуанди, по-видимому, был полностью на стороне этой партии. Ибо, хотя с внешней стороны, благодаря сооружению Великой китайской стены и учреждению китайской колонии в Японии, его правление было блестящим, однако во внутренних отношениях по своему деспотическому произволу оно было совершенно революционным, и потому эта катастрофа, произошедшая в китайском государстве две тысячи лет назад, хоть ее и отделяет от нас немалый промежуток времени и пространства и различие общественных форм и обычаев, все же обнаруживает известное сходство и аналогию со многим из того, что нам самим довелось видеть и пережить в нашу историческую эпоху. Теперь, чтобы разрешить противоречие, которое, на первый взгляд, заключается в том, что мы, с одной стороны, с похвалой отзываемся о чистом, простом и патриархальном богопочитании китайцев и вообще об относительно высоком уровне цивилизации — состоянии, достигнутом ими уже в древнейшую эпоху, об их научной культуре, хотя и выродившейся и нашедшей дурное применение, однако все же высоко развитой и весьма утонченной, а с другой стороны, тут же приводим немало фактов, указывающих на грубость или, по меньшей мере, на ограниченность и скудость начатков и бедность понятий, царящую в исконном круге китайских идей и образов, в их древнейшей системе письменности или ее первооснове, необходимо добавить следующее: как в истории многих других цивилизованных народов при обстоятельном изучении на фоне господствующего племени, обладающего в историческое время высокоразвитой культурой, обнаруживаются дикие или, по крайней мере, более грубые нравом и гораздо менее продвинувшиеся в духовном развитии аборигены, так и здесь, в обширном китайском государстве имеет место то же самое положение дел. Такие исконные обитатели исторически засвидетельствованы здесь в различных провинциях под именем мяо и характеризуются именно как более древние, менее цивилизованные жители этой страны; это племя мяо сохранилось вплоть до новейшего времени. Вообще же при

историческом исследовании первого мирового периода мы почти повсеместно сталкиваемся с двойным слоем народов, состоящим из одного старейшего и одного младшего племени, подобно тому как при геогностическом изучении земной поверхности обнаруживаются двусоставные горные формации и выделяются отчетливо различимые эпохи их образования. Так и в Китае цивилизованные пришельцы — подлинники основатели будущей нации и государства или же первых более или менее организованных объединений гражданского сообщества — во многих отношениях приспособлялись к нравам и обычаям, к языку и, возможно, даже к самому иероглифическому письму местных полудикарей, подобно тому как, отчасти, поступали и европейцы, когда хотели цивилизовать или посредством наилучшего образования окультурить мексиканцев или другие подобные им народы, подобно тому как они поступали бы и в прочих подобных случаях и как необходимо поступать всегда, если только мы действительно желаем привести свое благое намерение к счастливому завершению. Поскольку все исследования истоков китайского народа и культуры постоянно указывают на северо-запад, где расположена провинция Шэньси, и еще далее в том же направлении, это служит подтверждением и без того весьма вероятной и удостоверяемой многочисленными свидетельствами идее об общем происхождении всей азиатской духовной культуры в ее первых началах из обширного континентального региона в Западной Азии. В качестве аргумента в пользу вполне согласного с этим мнением предположения (уже упомянутого выше в связи с преданием Индии) об историческом происхождении индийского сказания и начатков духовной культуры с возвышающихся на севере этой страны Гималайских гор и из лежащей к северу от них местности мы можем упомянуть о громадных руинах и гигантских пещерных храмах, находящихся неподалеку от издревле известного города Бамиана. Хотя этот город расположен уже не собственно в Индии, а севернее, в Гиндукуше, в направлении Кабула, однако сами руины, подлинно индийские по своему стилю и изобилующие колоссальными скульптурами, обнаруживают те же формы и структуры, что и другие великие архитектурные сооружения индийцев в Эллоре, в центре южной провинции Декан, на островах Салсете и Элефанте неподалеку от Бомбея, на острове Цейлон и возле Махабалипурама, на том же побережье, где расположен Мадрас. Все эти громадные храмовые сооружения, высеченные в горных пещерах или вырубленные снаружи из целых каменных скал,

и нередко состоящие из нескольких расположенных по соседству или один над другим отдельных храмов, занимающих вместе с относящимися к ним строениями для брахманов и великого множества паломников немалое пространство протяженностью до полумили и более в длину и ширину, являются для индийцев подлинными местами паломничества, куда из всех краев Индии стекаются сотни тысяч странников; по сообщению одного автора, англичанина, очевидца описываемых им событий, число этих паломников достигает почти невероятной величины: двух с половиной миллионов человек. Наряду с гигантскими изображениями богов и священных животных: слона или Нандина, как называет священного быка Шивы, — почти необозримое множество фигур покрывает и каменные стены этих скальных храмов, на которых представлены различные сцены из мифологической поэзии индийцев. Эти фигуры настолько глубоко высечены в каменных стенах, что кажется, будто они лишь примыкают к ним со спины. Число их невероятно велико: в руинах Бамиана оно, как сообщается, составляет около двенадцати тысяч, хотя возможно, что эти подсчеты поневоле были не очень точными, ибо лесные чащи, окружающие подобные, ныне запустевшие руины, нередко служат прибежищем тиграм и змеям, из-за чего приближаться к ним бывает небезопасно. Кроме того, в руинах Бамиана многие фигуры и некоторые из колоссальных статуй богов разрушены магометанами, которые всякий раз, когда какому-либо из их войск или военных подразделений случается проходить в тех местах, не упускают возможности направить несколько пушек в сторону этих ненавистных им древних изображений богов и мифологических персонажей. Что касается архитектуры, то искусство строителей особенно проявляется в разнообразных украшениях и тонкой обработке колонн, ряды которых, порою подобные настоящему лесу, служат опорой лежащей над ними тяжелой каменной массе. Невзирая на неизбежные различия между храмами, построенными в гротах, пещерах или высеченными из целых скал, мы обнаруживаем в индийской архитектуре преобладающую тенденцию к пирамидальной форме; с другой же стороны, отмечается, что искусство сооружения сводов в Индии, кажется, было менее известно или, во всяком случае, не настолько развито и применялось реже. Среди этих строений можно найти и образцы кладки, выложенные из одних только крупных каменных блоков и грубо обтесанных обломков скал и не лишенные сходства с древними циклопическими постройками. Любителям

подобных сооружений они стали лучше известны благодаря роскошным иллюстрированным изданиям, выпущенным англичанами, ибо все своеобразие и самобытный характер, присущий подобной архитектуре, нелегко наглядно передать словами. О внешней истории индийцев можно сказать тем менее, что у них почти нет подлинной истории и настоящих исторических сочинений в привычном для нас смысле этого слова, ибо история у них совершенно переплелась с мифологией и почти слилась с нею воедино и содержится, по сути дела, только в древней мифологической поэзии, в особенности в двух национальных исторических эпосах: Рамаяне и Махабхарате, — а также в восемнадцати Пуранах, то есть избранных и почитаемых классическими народными историко-мифологическими легендами, а также, пожалуй, в исторических сказаниях об отдельных династиях и провинциях; одним словом, об индийской истории говорится лишь в этих произведениях, которые, впрочем, по содержанию обычно являются не только историко-мифологическими, но, по большей части, также и философско-теологическими. Итак, если позднейшая история Индии, начиная со времен первого магометанского завоевания около 1000 года нашего летосчисления, о которой мы, конечно, без большого труда можем получить достоверные сведения, мало связана с самобытной духовной культурой Индии и не сможет сообщить о ней ничего нового, а потому не представляет особого интереса с точки зрения стоящей перед нами общей задачи, то более древняя, собственно индийская история на своем раннем этапе носит, по большей части, фантастический или, выражаясь мягче и, к тому же, гораздо точнее, совершенно легендарно-мифический характер, так что было бы нелегкой задачей безошибочно отделить подлинно историческое содержание от его мифологических облачений и всей легендарной обстановки, что до сих пор не было сделано с достаточной полнотой и необходимой критичностью. Ту же самую судьбу разделяет и сестра истории — хронология: в древнейшие эпохи она представляется всецело фантастической, да и в позднейшее время не всегда достаточно надежна и точна. Приводимые здесь расчеты продолжительности первых трех мировых эпох и числа лет, приходящихся на каждую из них, пожалуй, гораздо скорее могли бы иметь какой-то астрономический смысл, чем служить приложимым к человеческой истории масштабам. Лишь четвертый мировой период — нынешние последние времена все более тяжких невзгод и повсеместно царящей нужды или так называемая Кали-юга — более

или менее может считаться исторической эпохой, продолжительность которой определяется в четыре тысячи лет и которая началась приблизительно за тысячу лет до начала нашего летосчисления. О дальнейшем развитии и конце этого мирового периода, равно как и о его характере с точки зрения человеческой истории у индийцев имеется очень простое мнение. А именно, они считают, что сперва человечеству будет приходиться все хуже и хуже, а потом снова станет лучше. Та собственно историческая эра, начиная с которой хронологические указания постепенно приобретают надежность и от которой здесь обычно ведется отсчет времени, — это эпоха царя Викрамадитьи, который правил в цивилизованной части Индии несколько ранее, чем император Август властвовал над всемирной империей Запада, — примерно за 60 лет до начала нашего летоисчисления; при дворе его жили девять знаменитейших мудрецов и поэтов этой второй эпохи развития индийской духовной культуры, в том числе и Калидаса, которому принадлежит поэтическая драма «Шакунтала», получившая всемирную известность в английском и немецком переводах. Вообще же именно на эпоху Викрамадитьи приходится подлинный расцвет позднейшей индийской литературы и поэзии, в которой поэт Калидаса занимает одно из первых мест. Более древняя индийская поэзия, особенно две вышеупомянутых великих эпических поэмы, еще всецело относится к первому мировому периоду, к древнейшим легендарным временам — хотя бы уже потому, что сами поэты, ее создатели, по преданию, жили в ту же эпоху и сами, в некотором смысле, являются легендарными личностями. Однако при этом необходимо заметить, что между этими древнейшими эпическими произведениями и Калидасой вкуче с современными ему поэтами имеется очень немалая разница в поэтическом стиле, причем не только с художественной стороны, но даже и в языке, причем дистанция между ними, по меньшей мере, столь же велика, как между Гомером и Феокритом или другими греческими поэтами-идилликами. Древнейшая из двух индийских эпических поэм, «Рамаяна», созданная поэтом Вальмики, воспевает Раму, его любовь к прекрасной царевне Сите и завоевание им острова Ланки, или нынешнего Цейлона. Хотя в древних исторических сказаниях индийцев выведено немало могущественных монархов и одерживающих победу за победой героев, однако и здесь, как и в только что упомянутой поэме, Индия представлена не объединенной в одну великую монархию, а раздробленной на множество царств, как это обычно имело место

и в позднейшей истории, вплоть до ее чужеземного завоевания; это обстоятельство еще раз подтверждает, что такое положение дел существовало здесь почти всегда и, в целом, осталось неизменным до нашего времени. Самый полный цикл сказаний о древней мифической истории Индии содержится в другом великом эпосе — «Махабхарате», чей автор или, по меньшей мере, составитель, Вьяса, был также основателем наиболее распространенной и почитаемой философии веданты. Это подводит нас ко второму примечательному, самобытному и характерному свойству индийской духовной культуры и литературы, далеко отстоящему и совершенно отличному от развития и взаимных отношений философии и поэтического искусства у других народов и, в особенности, у греков. Оно заключается в том, что поэзия и философия находятся здесь в теснейшей связи и глубоком слиянии друг с другом. Многие из древнейших философских трудов написаны метрическим стихом, хотя в дальнейшем у индийцев не было недостатка также и в плодах утонченнейшего логического анализа и диалектических рассуждений. Однако и великие древние поэмы индийцев, при всей красоте своего художественного языка и увлекательности повествования, сплошь сплетены и сотканы воедино с самой глубокомысленной философией; и даже история метафизики у этого народа восходит к мифической эпохе, — по крайней мере, насколько это касается тех авторов, которым приписывается создание ее основных систем, в то время как последующие комментарии относятся уже к позднему, более историческому времени. В частности, и «Махабхарата» содержит в качестве эпизода назидательную философскую поэму или метафизический диалог между мифическими персонажами и героями этой поэмы, которая приобрела известность в Европе под именем «Бхагавад-гиты», а в Германии в лице А.-В. фон Шлегеля и В. фон Гумбольдта обрела превосходнейших издателей оригинального текста и составителей немецкого комментария к нему. В ней обстоятельно излагаются основные принципы философии веданты, и, вместе с тем, «Бхагавад-гита» может также считаться руководством по индийской мистике, поскольку в Индии всякая философия в конечном счете принимает мистическое направление, о чем мы уже говорили ранее, приводя некоторые примечательные черты характерной самобытности индийского духа. Для цели, положенной в основание нашего труда, и для понимания особого места, занимаемого духовной культурой индийцев в древнейшую мировую эпоху, знание и общее понимание философии

является более важным и необходимым, чем дальнейший разбор или характеристика всех поэтических и художественных красот необыкновенно богатой индийской литературы, и поэтому наша ближайшая задача будет заключаться в том, чтобы дать характеристику этой философии в ее основных чертах и в соответствии с ее основными системами.





ШЕСТАЯ ЛЕКЦИЯ

**Об индийской философии;
аллегория всеобщей языковой пирамиды;
о своеобразии государственного устройства
и теократическом правлении еврейского народа;
о генеалогической таблице народов Моисея⁶²**

Для понимания научных представлений и, в целом, интеллектуального состояния человечества в первую мировую эпоху, а также с точки зрения правильного восприятия ее своеобразной тенденции, индийская философия, в силу занимаемого ею места в поступательном развитии азиатского духа в те древние времена, представляет немалый интерес — едва ли даже не больший, чем столь притягательная красота поэзии этого древнего народа; впрочем, и здесь, в этих поэтических творениях, можно найти множество мотивов, вплетенных в ее художественную ткань, связанных с уже неоднократно упоминавшейся индийской мистикой и характерным мистическим направлением индийского духа или заимствованных из нее. Нам будет проще и удобнее составить правильное понятие и дать общий обзор индийской философии как целого, если сперва я отмечу, что все шесть философских систем Индии, обычно называемых в числе первостепенных и пользующихся общим признанием (если в тех или иных пунктах они и не согласуются с Ведами, то все же не являются предосудительными или,

⁶² «Таблица народов» (нем. Völkertafel) — традиционное наименование родословной сыновей Ноя, содержащейся в десятой главе книги Бытия. — *Прим. перев.*

по меньшей мере, не встречаются решительного порицания, но в известном смысле считаются ортодоксальными) — все они могут быть объединены попарно; причем предыдущая из каждой пары будет представлять собой лишь начало для последующей, основной, или, иными словами, вторая пара будет заключать в себе либо дальнейшее приложение и логическое завершение той основы, что была заложена в первой, либо же ее трансформацию, ведущую к новой, более высокой цели. Таким образом, в сущности, есть всего лишь три разных образа и направления мысли или три пути духа и отличающихся друг от друга системы, образующих индийскую философию как целое; и наше представление о них окажется достаточно ясным — настолько, насколько необходимо здесь для понимания этого целого, — если я добавлю еще и то замечание, что первое из этих различных направлений или видов индийской философии исходит из природы, второе же, напротив, — из мысли или же высшего мыслительного акта и мыслящего субъекта, а третье целиком основано на откровении, содержащемся в Ведах. Первое из перечисленных индийских учений, исходящее из природного принципа, известно под названием Санкхья и, по всей видимости, является древнейшим из всех трех, а само имя его значит «философия чисел». Однако понимать это следует не в том смысле, будто, как учили пифагорейцы, числа суть начала всех вещей (эти или, по крайней мере, весьма сходные с ними воззрения можно обнаружить также в китайской книге «И Цзин» с ее восемью гуа или основными символическими линиями, представляющими все бытие). Санкхья называется так лишь потому, что в ней по порядку перечислены первопринципы всех вещей и всего бытия, общим числом двадцать четыре или двадцать пять. Поскольку же из этих первопринципов она выше всего ставит природу, а разуму, причем не только человеческому, но и разуму вообще, в том числе бесконечному разуму или интеллекту, отводит лишь второе место, эту систему можно рассматривать лишь как весьма односторонне понятую чистую натурфилософию, из-за чего некоторые индийские писатели считали ее атеистической, и даже сам ученый англичанин Колбрук (чьим публикациям и заметкам мы обязаны большинством точных сведений о всей философской стороне духовной культуры индийцев), со своей стороны, кажется, также почти готов присоединиться к этому упреку⁶³.

⁶³ См. Colbrook, *Miscellaneous Essays*, vol. I, *On the philosophy of the Hindus*, s. 236 London, 1837

И, тем не менее, ее все же ни в коем случае нельзя понимать как грубо-материальное отрицание Бога и всего божественного. Сомнения, выраженные в приведенном у Колбрука фрагменте⁶⁴, гораздо более обращены против творения, чем против Бога, поскольку касаются той побудительной причины к созданию этого внешнего мира, которую могло бы иметь Высшее Существо, всесовершенство бесконечного Духа, и того, как такое творение возможно и мыслимо. Таким образом, это, скорее, была — если воспользоваться для более точного определения современным научным языком — система совершенного дуализма, в которой в качестве самостоятельно сосуществующих предполагаются и мыслятся оба начала: с одной стороны — происшедшая или вечно происходящая из себя самой самостоятельная сила природы, а с другой стороны — вечная истина и Высшее Существо, представляемое как бесконечный Дух. Индийские философы были вообще до такой степени склонны считать весь внешний чувственный мир всего лишь порождением иллюзии, пустым проявлением ничтожной кажимости (Schein), что нетрудно понять, почему они не могли примирить сотворение такого мира, как наш: данного в чувственном опыте как действительный, но представлявшегося им миром тьмы, или, на несколько более высокой ступени, лишь промежуточным состоянием иллюзорной кажимости, — со своим мистическим понятием о всесовершенстве Высшего Существа и вечного Духа; ибо для них привычно было во всем, в том числе, и в области морали, находить или усматривать идею высшего совершенства лишь в состоянии абсолютного покоя, а не (или, по меньшей мере, не с той же высокой степенью чистоты) в действии или развитии какой-либо активной силы. Сколь бы ни велика была ошибка подобного дуализма, все же одно дело отрицать реальное бытие тварного мира, не признавать идею творения или, хотя бы, неверно ее понимать, и совсем другое — совершенно атеистически, в том смысле, который мы вкладываем в это слово, отвергать или отрицать бытие Божие, что никак не могло прийти на ум упомянутым индийским философам. Учение о самостоятельной первоначальной силе природы или о вечном существовании мира может, наверное, в каком-либо ином отношении а, возможно, и в практическом приложении, представляться столь же великим заблуждением, однако с научной

⁶⁴ Detached from nature, unaffected therefore by consciousness and the rest of nature's trammels, he could have no inducement to creation; fettered by nature, he could not be capable of creation... Op. cit. s 251–252.

точки зрения мы обязаны проводить здесь точное различие и не имеем права ставить этот древний дуализм на одну полку с грубо-материалистическим или разрушительно-софистическим богоотрицанием учения об атомах или с позднейшей сектой подлинного диалектического рационализма.

Сколь бы ценными ни были подобные сообщения и извлечения из источников, относящихся к такой все еще малоизвестной области человеческого духа и его первоначального развития, сами по себе они еще недостаточны, и потому от нас, в первую очередь, требуется известная гибкость духа в научном мышлении; лишь так мы сможем верно понять подлинный спекулятивный смысл и самобытную направленность целого и внутреннюю тенденцию, содержащиеся в этой древней системе и, осознав ее истинный характер, увидеть и по достоинству оценить в ней то, чем она действительно является. Но индийская философия, даже если она изначально исходила из другого, отличного отправного пункта или по какой бы то ни было иной причине отошла, уклонилась и сбилась с общего пути и в той или иной степени от него удалась, тем не менее, вскоре изменит курс и примет все то же единое направление, являющееся целью и завершением всей индийской философии. Как бы в доказательство сказанного, уже вторая часть системы санкхья, именуемая философией йоги, выдвигает совершенно иной принцип, и, полностью изменив и преобразив выдвинутое ранее учение о самостоятельном природном первоначале, развивает те же самые основные положения индийской мистики, к которым со всех сторон подводит нас весь ход и история индийской духовной культуры. Здесь, в этом учении как высочайшее благо, как цель всякого возвышенного стремления представлена та созерцательная погруженность в единственную мысль о Божестве, та совершенная отвлеченность от всех прочих чувственных помыслов и впечатлений, то приостановление всей внешней, а отчасти даже и внутренней жизни, порожденное силою настойчиво устремленной в этом единственном направлении, полностью сосредоточенной воли, которое, как верят индийцы, наделяет человека сверхъестественными познаниями и чудодейственной силой. Само слово «йога» обозначает именно это совершенное соединение всего существа и всех помышлений с Богом, посредством чего душа только и может освободиться, то есть, избавиться от злого рока перерождений; и именно в этом и ни в чем ином заключается цель всей индийской философии. Индийское наименование «йогин» произведено от

того же слова и понятия, которым обозначается эта философия. Индийский йогин — это отшельник или аскет, пребывающий в таком мистическом погружении, часто на протяжении лет неподвижно оставаясь на одном месте. Однако, чтобы нарисовать живую картину этого явления, представляющегося нам столь чуждым и совершенно невероятным, но неоднократно засвидетельствованного очевидцами и обладающего достоверностью исторического факта, я воспользуюсь живым и по-своему наглядным или, по выражению немецкого редактора этого текста, «до жути прекрасным» описанием йогина из «Шакунталы» поэта Калидасы. Царь Душьянта вопрошает колесничего Индры о священном жилище человека, которого ищет, на что получает такой ответ:

Вон там — на изваяние похожий,
 До самых чресел — в муравьиной куче,
 И солнца диск разглядывая жгучий,
 И опоясав грудь змеиной кожей,
 И шею старой оцепив лианой,
 Являя отрешенность и величье,
 С кудрями, где воздвиглись гнезда птичьи, —
 Подвижник встал скалою перевозданной...⁶⁵

Это описание нельзя считать обыкновенным поэтическим преувеличением или, того хуже, произвольным вымыслом, ибо слишком многочисленны исторические свидетельства очевидцев, описывающих те же самые факты, причем в весьма схожих выражениях. В упомянутую ранее эпоху чудесных явлений и сверхъестественных сил, в первые три христианских столетия, мы встречаем одного лишь Симеона Стилита или Столпника, которого церковные писатели приводят отнюдь не в качестве примера для подражания, но, скорее, расценивают его как уникальное исключение, дозволенное лишь единожды и в силу совершенно особых причин. В лесах и пустынях Индии, а также неподалеку от обоих вышеупомянутых паломнических мест можно найти многие сотни подобных диковинных человеческих феноменов высшего духовного сосредоточения — или заблуждения. Уже древние греки знали о них и упоминали в числе прочих чудес в своих описаниях Индии под именем гимнософистов.

⁶⁵ Калидаса. Избранное: драмы и поэмы. Перевод С. И. Липкина. — М., 1974. — С. 283.

В былые времена все это сочли бы совершенно невероятным и объявили попросту невозможным, что, однако, едва ли имеет значение теперь, когда все эти исторические факты и свидетельства получили множество подтверждений и оказались вполне достоверными. Ныне мы уже несколько более осведомлены об удивительной гибкости человеческого устройства и о сокрытых в нем дремлющих чудесных силах, чтобы столь легко и быстро судить о подобных явлениях и выносить по их поводу окончательный приговор. Все они суть духовно-магическое самовозвышение, совершаемое силою твердой воли, направленной и сосредоточенной на единственном пункте; однако такое сосредоточение, доведенное до степени единственно преследуемой цели и превосходящее всякую меру, может легко привести не только к аллегорически понимаемому, но и к действительному духовному самоуничтожению и подлинному разрушению всякого мышления и даже самого мозга. И если, с одной стороны, мы не можем не дивиться силе воли, направленной, как бы то ни было, прежде всего, на вполне духовный предмет и способной проявлять при этом такое упорство, то, с другой стороны, невозможно без глубокого сожаления видеть, что эта сила столь ужасным образом растрачивается на подобные заблуждения.

Второй основной вид или направление индийской философии, существенно отличающееся от обоих прочих и исходящее, в первую очередь, не из природы, а из первопринципа мысли, высшего акта мышления и мыслящего субъекта, содержится в системе ньяя, изобретателем или первооснователем которой был Готама, принимавшийся некоторыми из ранних исследователей и издателей индийских источников, а именно Тайлором в его переводе драмы «Прабодхачандроая»⁶⁶, страница 116⁶⁷, за одно лицо с основателем секты буддистов, поскольку оба они носят одно и то же имя; в то же время, последующие, более обстоятельные исследователи считают их разными людьми, а Колбрук утверждает, что даже в философии санкхьи усматривает больше согласия и сродства с буддизмом, чем в системе ньяя. Вторая часть этой филосо-

⁶⁶ «Восход луны знания»

⁶⁷ «Прабодхачандроая» — аллегорическая драма Кришнамишры (вторая половина XI в.). Шлегель мог пользоваться первым изданием английского перевода, выполненного Джоном Тайлором: *Prabodh Chandrodaya, or the Moon of Intellect; an allegorical Drama; and Atma Bodh, or the Knowledge of Spirit; translated by J. Tylor, M. D. London 1812. — Прим. перев.*

фии ньяя⁶⁸, исходящей из акта мышления, содержит дальнейшее применение этого первопринципа мысли в учении о частностях: отдельных отличиях, различениях или детальной классификации; таким образом, эта часть философской системы охватывает все то, что у греков понималось под именем логики или диалектики, и что отчасти до сих пор еще числится под той же рубрикой у нас самих. Великое множество сочинений и комментариев посвящено подробному объяснению и обсуждению этих предметов и понятий, которые индийцы излагают и разбирают почти с той же обстоятельностью и полнотой, что и греки. Как сами индийцы, так и уже известный нам ученый англичанин, который до сих пор остается первым и единственным нашим путеводителем по этим источникам, уделили наибольшее внимание этому второму, логическому разделу философии ньяя; в целом, этот последний раздел мог бы, пожалуй, — если бы в том имелась нужда — служить еще одним свидетельством чрезвычайно разностороннего развития и богатства духовной культуры индийцев, в том числе, в философском отношении, однако с точки зрения нашей ближайшей задачи он не представляет непосредственного интереса. Впрочем, все тот же автор также отмечает, что эта философия в своих основных положениях содержит, разумеется, не просто логику в обычном смысле этого слова, а, скорее, метафизику всякого логического знания. Что касается этого раздела или части целого, я более всего желал бы видеть, чтобы основные понятия этой системы были еще отчетливее выделены в подобных извлечениях из аутентичных источников и чтобы в них можно было найти критерии для суждения о существенном характере этой философии, а также те пункты, в которых она может быть сопоставлена с другими системами и с буддистской философией. Ибо, хотя в целом представляется несомненным и исторически установленным фактом, что учение Будды произошло как результат искажения некоей индийской философии, мы все еще очень далеки от того, чтобы на основании источников с достаточной ясностью и точностью указать те переходные точки в индийских философских системах, из которых берет начало это учение. Лишь философия веданты здесь, разумеется, должна быть исключена из рассмотрения, поскольку буддизм находится к ней в той же оппозиции, что и к самой древнеиндийской ведической рели-

⁶⁸ См. Colbrook, *Op. Cit.* p. 261 ff — *Прим. перев.*

гии. Кроме того, вышеупомянутая бесконечная запутанность и непонятность буддистской метафизики заставляет в первую очередь предполагать у нее идеалистическую основу, которая в ходе дальнейшего развития и применения легко соединяется с многочисленными заблуждениями — даже такими, которые поначалу были крайне далеки от нее; ибо, хотя любая такая система заблуждений утверждает или действительно мнит о себе, что обладает совершенной последовательностью, на деле ни в одной из них такой последовательности не обнаруживается. А подлинное основание и преобладающее направление системы ньяя, судя по тому, что нам до сих пор было о ней известно, как раз и представляется вполне идеалистическим. В целом, пожалуй, будет нетрудно уяснить, как философская система, исходящая из мыслящего субъекта и высшего акта мышления, могла принять идеалистическое направление в столь решительном и абсолютном смысле этого слова и (принимая во внимание и без того преобладающую склонность индийского духа считать весь чувственный мир ничтожной иллюзией и стремиться к полному растворению собственного «я» в божестве в акте глубочайшего соединения с ним) — как, далее, из нее могли произойти столь законченный в своем эгоизме самообман и демоническое самообожествление, без которых, конечно же, невозможно было бы возникновение этой древнейшей из всех поистине антихристианских сект. Уже самим источником вышеупомянутого второго раздела философии ньяя ему приписывается склонность к атомистическому учению⁶⁹. При этом необходимо также напомнить, что, поскольку индийский дух как в целом, так и, в частности, в философии, развивался самым различным образом и во всех диаметрально противоположных направлениях, то, помимо названных шести общепринятых и по своему существу считающихся согласными с религией видов или отраслей философии, здесь были обнаружены и получили известность многочисленные иные системы, заметно отличающиеся от них и стоящие в оппозиции к общепринятым мнениям и общепринятым понятиям о Боге и божественных вещах. Среди них особо заслуживает быть бегло упомянутой философия чарваки, которая, согласно Колбруку⁷⁰, содержит метафизику секты джайнов или, по крайней мере, более всего согласуется с нею.

⁶⁹ Op. cit. p. 277–278

⁷⁰ Op. cit. p. 402

Это система самого решительного материализма, следующая общеизвестному учению об атомах — тому, которое в позднем греко-римском мире, стяжав себе немалый успех и множество последователей, проповедовал Эпикур и которое в последние столетия пытались возродить многочисленные новые авторы; впрочем, теперь уже, благодаря более глубокому духу гораздо далее продвинувшихся естественных наук, оно, как представляется, едва ли сможет пустить крепкие корни.

Третьей основной разновидностью или существенно отличным направлением индийской философии является то, которое всецело следует Ведам и содержащемуся в них священному преданию и откровению. Его первая часть, философия мимансы, согласно сообщениям Колбука⁷¹, прежде всего направлена лишь на истолкование и, должна, по-видимому, содержать основные правила этого искусства или направляющие принципы того метода, с помощью которого самостоятельно мыслящий разум должен быть приведен в согласие со словами откровения, содержащегося в священном предании. В свою очередь, совершенная система третьего направления называется философией веданты; последняя часть в этом составленном из двух корней наименовании есть то же самое слово, что и немецкое или германское Ende, но скорее в значении латинского finis, обозначающего конец и окончательную цель всякого стремления и его подлинное предназначение; таким образом, это наименование имеет в виду нечто иное, как учение или философию, которая должна объяснять глубинный дух, истинный смысл и подлинное предназначение Вед и заключенного в них древнейшего откровения Браммы. Это учение или философия веданты, собственно говоря, является повсеместно господствующей во всей системе индийской литературы и индийской жизни; поэтому вполне может быть, что та или иная из шести общепризнанных или, по меньшей мере, пользующихся терпимостью систем и совокупностей учений по сравнению с ней была умышленно несколько отодвинута на задний план или что там, где эта философия приходила в слишком резкое противоречие с господствующим учением, ее сторонники смогли сохранить ее, лишь привнеся в нее смягчающие видоизменения, с которыми она и дошла до нашего времени. Здесь открывается еще одно обширное поле для дальнейшего исторического исследования и критики индийской [философии]. В своем спекулятивном

⁷¹ Op. cit. p. 296

значении господствующее направление философии веданты является решительно пантеистическим; однако не в абстрактном смысле и совершенно абсолютном понимании некоторых новейших пантеистов, то есть, не в согласии с математически завершенной и негативно-уничтожающей системой высшего знания; ибо подобное полное отвержение и отрицание всякой личности в Боге и всякой индивидуальной свободы в человеке предотвращается и исключается уже самой связью веданты со священным преданием и древней мифологией, и потому в данном случае мы можем предполагать лишь такой исторически смягченный и поэтически приукрашенный, наполовину превратившийся в мифологию пантеизм, который мог иметь место и действительно здесь обнаруживается. Даже в том, что касается учения о бессмертии и переселении души, эта более поздняя философия не упраздняет и не отменяет присущего древней вере представления о личном начале, хотя в целом она и несвободна от упреков в пантеизме. Однако более или менее вся индийская философия согласна относительно своей цели, которая является вполне практической и заключается в том, чтобы окончательно освободить и навсегда избавить душу от древнего бедствия, нависшей над нею угрозы и ужасного несчастья: необходимости проходить в своем скитании через множество самых мрачных природных сфер и разнообразных животных форм, непрестанно изменяя свою земную форму. Второй пункт, в котором, как правило, сходятся все индийские системы и основные направления философии, заключается в том, что жертвоприношения, предписанные для этой цели Ведами, они, с одной стороны, находят небезупречными в силу связанного с закланием животных кровопролития, а с другой — считают, что хотя сами по себе жертвы спасительны и полезны, однако их еще недовольно и недостаточно для упомянутой цели — окончательного освобождения души. Что же до умерщвления животных, то, в согласии с основополагающим для всех этих систем представлением о переселении душ, оно уже потому является делом в высшей степени предосудительным и внушающим опасения, что из-за него можно при случае, непреднамеренно и самому не ведая о том, причинить вред и нанести кровавую рану душе близкого родственника или бывшего друга, пребывающей в новой телесной оболочке. Однако уже в самих Ведах признается, что для полного и совершенного освобождения необходимо высшее познание, превосходящее всякое естество; как, согласно дословному переводу Колбрука, сказано в одном примечани-

тельном отрывке из Вед: «Нужно постичь душу, нужно отличить ее от природы, тогда она не вернется, тогда она не вернется»⁷². Последние слова следует понимать так: тогда душа освободится от опасности возвращения на землю и от бед потусторонних скитаний и будет навеки соединена с Богом; однако для этого требуется то самое чистое различие и разделение души и природы, то есть, то высшее познание, с призыва к которому начинается все это изречение.

Жертвы, приносимые за души усопших и, в особенности, за души умерших родителей и рассматриваемые как священнейшая обязанность сына покойного и всех его потомков, занимают здесь очень важное место и являются одним из наиболее глубоко вторгающихся в повседневную жизнь религиозных обычаев древнейшей патриархальной эпохи, как это со всей очевидностью явствует из всей системы индийских и близкородственных им представлений; они, несомненно, имеют весьма древнее происхождение и, вполне возможно, берут начало от самого скорбящего праотца рода человеческого и от первых двух восставших друг на друга братьев. Впоследствии к этим жертвоприношениям могло присоединиться все изобилие священных обычаев и учений или удивительных положений веры, касающихся бессмертия души и ее посмертных судеб. Именно на них и основана неременная для брахманов обязанность брака с целью обзаведения законным потомством, что во времена древних патриархов вообще казалось одной из важнейших жизненных задач, поскольку один лишь сын своими молитвами мог спасти душу усопшего отца и принести ей упокоение, в чем и состоял его первейший и священнейший долг. Очень близко и в непосредственной связи с этим находится у индийцев и покоящееся на том же основополагающем религиозном представлении высокое почитание женщин; как сказано у древнего поэта: «Поистине, жена — половина мужа, жена — из друзей наилучший, жена — источник всякого блага, жена — также корень спасителя». Последнее сказано в том смысле, что, как упомянуто выше, сын есть поставленный Богом спаситель души своего усопшего отца, и лишь он один может освободить ее силою своей молитвы. «Они подруги одинокому, — говорит

⁷² Colebrooke, On the philosophy of the Hindus, Part I, On the Sánc'hya system, in: Transactions of the Royal Asiatic Society, I; мы пользовались вторым изданием той же работы, опубликованным в сборнике Colebrooke H. T. Miscellaneous Essays, Vol I, London 1837, p. 237. — *Прим. перев.*

далее поэт, — они утешают сладкоречием, в исполнении долга они как отцы, в несчастье они утешение, подобно матери»⁷³.

Почти невозможно поверить (и это весьма примечательно с точки зрения изначального богатства, многостороннего основания и столь же многостороннего разнообразия в развитии человеческого духа), что рядом с подобной мистикой: ложной, углубленной и погруженной в бездны вовеки непостижимого и неизъяснимого, — каковой была мистика индийская, в непосредственной близости от нее могла сосуществовать и процветать столь художественно богатая, избыливающая красотами, и восхитительная в своем многообразии поэзия. Пленительной полнотой стремящегося волна за волною потока жизни, высокой простотой и трогательностью первобытных образов, свежестью чувства и ясностью рисунка эпические картины древней индийской поэзии отчетливо напоминают гомеровские. Однако стиль самой этой фантазии в характере материала, в лежащих в его основе мифических вымыслах отличается несопоставимо бóльшим гигантизмом — тем же, что находим мы иногда в «Тегонии» Гесиода и прочих титаноманиях или же в своеобразных циклах сказаний у древнего Эхила или дорического Пиндара. По тонкости чувства, с которым в ней изображается любовь и женская красота и вообще женские характеры и взаимоотношения, индийская поэзия вполне сопоставима с благороднейшими и прекраснейшими образцами, явленными поэзией христианской эпохи; однако в целом она все же более сходна с античным поэтическим творчеством — уже как совершенно мифическая по содержанию и преимущественно ритмическая по внешней форме и языку. Из более поздних поэтов я хотел бы упомянуть Калидасу как наиболее известного и прославленного индийского драматурга, которого в порядке сравнения можно было бы назвать идиллическим и чувствительным Софоклом. Поэзия индийцев отчасти уже вплетена в их великолепный язык, и, более того, в самую его основу и глубочайшую структуру, где отчетливо запечатлелись следы того же благородного и возвы-

⁷³ Махабхарата I, 68. Шлегель воспроизводит здесь свой собственный перевод, впервые опубликованный в приложении к его знаменитому труду «О языке и мудрости индийцев». Русский перевод следует немецкому тексту, поскольку далее автор ссылается на содержащуюся только там интерпретацию оригинала. Ср. тот же фрагмент в переводе В. И. Кальянова: «Жена — половина мужа, наилучший его друг. Жена — основа трех ценностей (закона, пользы и любви), она друг тому, кому предстоит умереть. <...> Сладкоречивые, они бывают подружками в минуты одиночества, отцами — при религиозных обрядах и бывают матерями страдающего». — *Прим. перев.*

шенного поэтического духа; и уже потому в этом общем очерке, в этом всемирном обзоре древнейшего состояния человеческого духа необходимо в нескольких словах упомянуть и об этом примечательном языке.

По своему грамматическому строению индийский язык совершенно, вплоть до мельчайших деталей сходен с латинским и греческим, только грамматическое развитие санскрита гораздо многообразнее и богаче латинского и регулярнее греческого. В корнях и самих словах также проявляется удивительное и чрезвычайно близкое родство с персидским языком и с германской языковой семьей — родство, которое также нередко может сообщить нам немало интересного об истории идей и развитии самих понятий у этих древних народов; а по тому, как значение одного и того же слова и понятия то расширяется, то сужается, то переходит и переносится на близкие предметы, оно позволяет судить об их первоначальном восприятии природы и основных представлениях о жизни, господствовавших в те древнейшие времена, или, по крайней мере, дает нам повод для поучительных сравнений. Чтобы теперь хотя бы на двух или трех примерах нагляднее показать, сколь велико языковое родство между этими столь далеко отстоящими, географически отделенными друг от друга расстоянием в почти два континента, народами, сколь много исторически достопримечательного кроется в этом родстве и сделалось известным благодаря его открытию, я хочу привести лишь тот факт (замечательный уже сам по себе!), что немецкое слово Mensch (человек) и по звучанию корневой части, и по значению совпадает с индийским; разница здесь состоит лишь в том, что для индийского слова манушья можно найти корень, от которого оно произведено, а именно, в слове ману, значащем «дух», так что по смыслу исходного корня слово Mensch означает ничто иное, как «тот, кто из всех земных творений по преимуществу наделен даром духа» или просто «духовный». Отсюда же становится ясно, почему и латинское слово mens также является родственным и относится к тому же семейству слов, и как вообще рассеянные по разным языкам производные одного коренного слова и исходного понятия при сопоставлении выстраиваются в один ряд и дополняют друг друга. В качестве примера замечательного расширения или сужения значения одного и того же понятия или слова может служить то обстоятельство, что то же самое слово, которое в немецком⁷⁴ означает узкое пространство

⁷⁴ Loch 'дыра' — Прим. перев.

отверстия, а в латинском *locus* наряду с конкретным местом указывает на общее понятие о пространстве, в индийском *lokas* обозначает вселенную; так что индийское слово *Trailokas* или *Trailokyan*⁷⁵ значит «три мира», «троичный мир» или «троемирие», то есть, мир истины или вечного бытия, мир иллюзии и ничтожной кажимости и, наконец, мир тьмы; такое разделение или членение вселенной является одним из основных понятий в философских воззрениях индийцев и выражается с помощью двух индийских слов: *Trail* и *lokas*, — являющихся одновременно также латинскими и немецкими. Хочу добавить лишь еще один пример. Как известно, почти все древние народы Азии и даже нашего европейского Запада, повинувшись некоему внутреннему природному чувству и, может быть (если отвлечься от нашей естественно-исторической номенклатуры и классификации), не совсем неверному инстинкту, считали быка — полезнейшее и важнейшее из всех дружественных человеку домашних животных — олицетворением земного плодородия и как бы главнейшим животным земли, а со временем стали видеть в нем символическое изображение всякого теллурического бытия и всякой земной силы; и потому весьма примечательно, что слова, обозначающие в различных родственных языках то или иное из этих предметов и понятий, взаимно согласуются и дополняют друг друга, как это показывает их интересное сопоставление, предпринятое А.-В. фон Шлегелем. Индийское и персидское слово *gau*, соответствующее немецкому *Kuh* (корова), совпадает с эллинским наименованием земли в древней дорической форме *γα*, латинское слово *bos*, в склонении *bovis* или *bove*, примыкает к целому семейству слов индийского языка: *bhu*, *bhuva*, *bhumi* и т.д., — которые значат «земля», «земной» и все, что еще может быть произведено от этих слов. Итак, бык и земля в этом языке первоначально обозначались одним и тем же словом. Подобного рода сопоставления, если только они не вымучены искусственными этимологическими уловками, а основаны на реальных и очевидных фактах, могут немало поведать нам об истории идей, о развитии и взаимосвязи понятий в ту мифическую первобытную эпоху или, по крайней мере, помочь нам живее и нагляднее представить себе глубинные свойства человеческого восприятия и образа мысли древних народов, а к тем отдельным случаям, которыми мы здесь ограничились для при-

⁷⁵ Приведенная Шлегелем латинская транскрипция санскритского термина «трилока» или «трайлокья» в данном случае оставлена без изменений. — *Прим. прев.*

мера, можно было бы легко добавить многие сотни других, совершенно сходных с ними. Поскольку язык вообще составляет одну из исторических основ человечества, и притом не самую малозначительную, а такое многообразие столь великого множества различных, распространенных и рассеянных по всей обитаемой части Земли языков самым существенным образом связано со всеобщей историей разных народов и отдельных племен, необходимо добавить еще несколько слов об этом предмете — не с тем чтобы глубже, чем было бы здесь целесообразно, проникнуть в необъятный лабиринт безмерного языкового богатства, а для того лишь, чтобы наметить ту точку зрения, с которой может быть выполнен его общий обзор для нужд философии всемирной истории, чтобы составить хотя бы упрощенное представление об этом хаосе, который в противном случае остался бы необозримым. Возможно, кратчайший путь к этой цели заключается в том, чтобы представить себе совокупность всех человеческих диалектов и различных говоров, распространенных по всей населенной части Земли, в виде языковой пирамиды из трех ступеней, выделенных по очень простому разграничительному принципу. Основание или самую нижнюю и широкую ступень этой пирамиды будут составлять языки, состоящие преимущественно из односложных корней и базовых слов и либо совершенно лишенные грамматики, как китайский язык, либо наделенные самыми примитивными начатками и элементами чрезвычайно простой и несовершенной грамматической структуры. Число языков, относящихся к этому классу или первому порядку, значительно больше всех прочих, они наиболее широко распространены во всех четырех частях света, и едва ли нам удастся систематизировать их иначе, чем по географическому принципу: как северо- и восточноазиатские, американские, африканские и т. д., — чтобы представить все это множество в упорядоченном и обозримом виде и тем самым облегчить его ясное понимание. Китайский язык следует считать важнейшим и примечательнейшим в своем классе, поскольку именно он, наиболее соответствуя этому типу совершенно односложного языка, лишенного подлинной грамматики, тем не менее, достиг такой степени усовершенствования и развития своего искусства, которая только доступна языкам этого рода. Это детская ступень в истории языка, подобно тому, как у детей первые попытки речи всегда тяготеют к односложности; то, что проявляет себя в этих простых звуках, — это крик природы или детское подражание какому-нибудь характерному звучанию. Такой примитивный

характер все еще безошибочно обнаруживается в китайском языке, хотя благодаря искусственной форме письма и чрезвычайной развитости научных понятий эта детская стадия в языке со временем достигла немалой протяженности и приняла вполне конвенциональное направление; впрочем, подобные параллели или аналогии между естественными стадиями жизни и эпохами духовной культуры не следует воспринимать слишком строго и буквально. Следующую ступень языковой пирамиды занимают благороднейшие языки второго порядка; это те самые связанные между собою многочисленными и достопримечательными узлами родства языковые семьи: индо-персидская, греко-латинская и готско-германская. Здесь корни обыкновенно состоят не менее чем из двух слогов; и потому приобретшие внутреннюю гибкость, словно бы ставшие живыми и продуктивными, они создают пространство и открывают возможности для самого богатого грамматического развития. Отличительной особенностью этих языков является весьма выразительная грамматика, причем она заключена уже в самой первичной структуре языка, которая оказывается тем выразительнее и регулярнее, чем ближе мы подходим к этому истоку. В последующем развитии такие языки отличаются поэтической полнотой и великим многообразием изобразительных форм, а в дальнейшем также строгой точностью в научном описании. Третий и последний порядок составляют так называемые семитские языки: еврейский и арабский, которые наряду с родственными им диалектами образуют как бы последнюю ступень или вершину всей пирамиды. По общему признанию, в этих языках действует и господствует принцип, согласно которому все корни являются или должны быть трехсложными, причем каждая из трех букв, из которых обыкновенно состоит корень, также признается и произносится в качестве отдельного слога. Имеющиеся исключения из этого правила, рассматриваются именно как исключения. Нет никакого сомнения в том, что принцип трехсложности корня был намеренно встроен в язык и его внутреннюю структуру и, может быть, сделано это было не без намека на некую знаменательность, усматриваемую или хотя бы смутно прозреваемую чувством в этой троичности корня. Во внутренних законах словообразования первое место в этих языках занимает глагол, из которого выводится все остальное, что придает выражениям своеобразную стремительную подвижность и огненную живость. Однако с этим жестким ограничением несовместима столь богато разработанная грамматика и в высшей степени искусное

грамматическое устройство, какое имеется в языках второго порядка, принадлежащих греко-индийской семье; трехсложные языки почти даже склонны к некоторой монотонности, и не достигают всего того поэтического многообразия и той же гибкости, необходимой, в частности, для научного употребления, что и вышеупомянутые языки. Преобладающая характерная особенность семитских языков заключается, вероятно, в том, что они как нельзя лучше приспособлены для выражения пророческого вдохновения и глубокого символического смысла и особенно склонны к этому по своему характеру. В данном случае речь идет о самом языке и его внутренней структуре, а не о том духе, который являет себя в нем; и потому я хотел бы только добавить, что и в арабском языке, судя по сообщениям многих компетентнейших знатоков, с незначительными отличиями обнаруживается тот же самый характер, что и в еврейском, однако здесь он принял совершенно иное направление и развивался отличным от него образом. Итак, для исполнения высшего духовного предназначения евреев, для выражения дарованного им пророческого откровения и обетования еврейский язык был уже и сам по себе превосходно приспособлен; так что и в этом отношении семитский язык вообще может рассматриваться как вершина всей пирамиды. Однако его нельзя считать основанием целого или тем корнем, из которого произошли все остальные языки, как нередко думали многие ученые древности, молчаливо предполагая, как кажется, что уже сам Адам в раю не мог говорить ни на каком ином языке, кроме еврейского. Но только тем языком первого богосозданного человека, которому научил его Сам Бог, тем словом природы, которое Сам Он непосредственно сообщил и передал ему вместе с владычеством над всеми прочими творениями и над всем видимым миром, был, скорее всего, ни еврейский, ни индийский, ни какой-либо иной из ныне существующих и известных нам языков, и вообще не такой язык, который мы были бы в состоянии выучить и понимать, и не такой, который мы, ограниченные человеческими масштабами ныне привычного, могли бы даже помыслить или хоть как-то представить; точно так же, как никто не смог бы географически определить или заново открыть утерянный райский источник, от которого брали начало четыре реки, некоторые из которых до сих пор еще можно обнаружить на карте. Что же касается еврейского языка, то я полагаю, что при более глубоко исследовании он показался бы нам не столь удаленным от индийско-греческой языковой семьи, а, может быть, отчасти,

скорее даже родственным ей, если бы только это родство при первом впечатлении не было до такой степени скрыто от нашего взора разнящейся структурой и совершенно иным грамматическим устройством. Вообще же не нужно стремиться провести эту классификацию по всей строгости правил и с систематической настойчивостью — достаточно будет твердо придерживаться общего взгляда на единство языка как целого; в остальном же развитие человеческого духа в языковой области столь богато, изменчиво и разнообразно, что мы должны воспринимать его так же, как цветущую жизнь дикой природы, как беспорядочное многообразие лесной чащи или испещренного цветами луга. К языкам второго порядка или индо-греческой ветви принадлежит, вероятно, и большая славянская языковая семья, составляющая, наряду с прочими, четвертый член того же класса, однако здесь я должен предоставить окончательное суждение ученым, которые сами занимаются этим разделом науки о языках и в совершенстве овладели им. Существует и множество промежуточных звеньев, особенно между вторым и третьим классами, что и не могло быть иначе при непрестанном смешении народов и племен в ходе мировой истории, которое должно было в той или иной мере коснуться и языка. Я имею в виду преимущественно такие языки, которые не являются вполне односложными и имеют грамматическую структуру, пусть даже самую простую и несовершенную, нескладную и неестественно причудливую, нецелесообразную и неудобную; таковы, в частности, некоторые американские языки, которые, таким образом, не вполне относятся к третьему классу, не состоя, однако же, в более близком или ближайшем родстве с языками второго порядка. Большинство языковых пережитков древней эпохи, до сих пор сохранившихся в Европе, вероятно, относится к этому промежуточному классу, к смешанному из двух остальных или занимающему между ними промежуточное положение виду языков; таковы, например, кельтский или галльский, финский и другие подобные им антикварные осколки, также ставшие предметом общих языковых исследований, к которым, однако, нередко примешиваются патриотические симпатии или всякого рода ученые пристрастия, ведущие к заметной односторонности во взглядах и суждениях. Благородные языки второго высшего порядка укоренились в Европе уже в глубокой древности и ныне повсеместно являются господствующими. Прочие языковые фрагменты, обнаруживаемые здесь наряду с вышеупомянутыми языками, либо до некоторой степени приближаются к ним в силу отда-

ленного родства, как, например, различные кельтские или гэльские наречия, либо же уведут наши поиски в направлении более крупных азиатских, а может быть, и африканских языковых семей; ибо едва ли мы можем ожидать, что в этой небольшой части света, по хронологии занимающей последнее место в древней истории, будет найдена самостоятельная европейская семья языков. Учитывая многообразные исторические связи между Северной Африкой и южным побережьем Западной Европы, в особенности, Иберийским полуостровом, непрерывно поддерживавшиеся с древнейших времен и постоянно обновлявшиеся на протяжении столь многих столетий, вполне можно было бы предполагать, что эти обстоятельства должны были проявиться и в родстве языков. Однако даже самые компетентнейшие эксперты и знатоки баскского языка не обнаружили в нем никакого родства с исконно африканскими языками, скорее усматривая в нем близость к скифской семье финских языков. Зато мадьярский язык, употребляемый на противоположном, восточном конце Европы, является решительно азиатским, принадлежащим к семейству языков, распространенных в центральном регионе этой части света, однако в грамматическом строении он обнаруживает аналогии с вышеупомянутыми родственными друг другу языками второго высшего порядка. Наконец, если мне будет позволено высказать еще одно предположение, я отмечу, что, должно быть, ничто не могло бы столь много содействовать полноте обзора всей системы человеческого языка и, в особенности, осмыслению ее глубочайшей основы и взаимосвязи, как если бы новой, формирующейся сейчас египтологической школе удалось, разгадав с помощью коптского языка египетские иероглифы, наделить нас более достоверным знанием или, хотя бы, дать нам более детальное представление о древнеегипетском языке. А если бы мы решились несколько более приблизиться в своих исследованиях к утраченному или иссякшему источнику первого праязыка, нам следовало бы продвигаться к этому древнейшему и глубочайшему центру всякой человеческой речи с четырех различных сторон, пользуясь для этого, наряду с индийским и еврейским, также древнейшим китайским и древнеегипетским языками — в той мере, в которой последний доступен для изучения. В наши дни мы тем вернее могли убедиться в чрезвычайном сходстве между Древним Египтом и Индией не только в политическом устройстве, но и в их языческой религии и вообще во всех учениях, мировоззрении и относящихся к нему основных господствующих представлениях, чем

ближе узнавали обе эти страны и чем обстоятельнее их исследовали. Во время одного из примечательных эпизодов нашей современной истории это внутреннее сродство заявило о себе самым разительным образом: как по спонтанности впечатления, так и по непосредственности в проявлении чувств. Во время египетско-французской войны одно из подразделений индийский войск, находившихся на британской службе, было переброшено из Индии в Египет; и когда эти индийские воины, высадившись на берег и продвигаясь в глубь страны, достигли древних памятников Верхнего Египта, они тут же поверглись ниц, полагая что видят богов своей родины. И тем не менее, сколь бы замечательны ни были все эти совпадения, между индийцами и египтянами сохраняется заметная разница. С одной стороны, представляется, что египетский дух, каким мы знаем его по свидетельствам греков, был ближе знаком и теснее дружен с глубинами естествознания; с другой стороны, египетское язычество вообще предстает отчетливо выраженным и весьма решительным, а в главных своих основополагающих заблуждениях едва ли не более материальным, чем индийское; в особенности же здесь было гораздо более распространено почитание животных, не ограничивавшееся одним только богом Аписом (которого, пожалуй, еще можно было бы сравнить с Нандином — священным быком Шивы), но принимавшее множество иных образов и форм и занимавшее значительно большее место. Поступательный ход развития язычества не может не привести к тому, что то, что вначале почиталось лишь в качестве символа некоего высшего начала, в недолгом времени мало-помалу начинает смешиваться или отождествляться с этим объектом и, наконец, обожествляется, и таким образом уже изначально ошибочное почитание опускается до грубого поклонения природе. Ведь заблуждение есть не просто отсутствие истинного знания, но ложная и поддельная истина и потому, подобно последней, включает в себе постоянно возрастающий или непрестанно воспроизводящий себя, внутренне преумножающийся принцип.

Многие из писателей, которые, желая создать всеобщее обозрение всех языческих религий, пытались классифицировать их почти естественнонаучным образом, как правило, отводят низшее место в своей классификации так называемому фетишизму, который помещают в ней рядом с почитанием животных и даже еще ниже последнего. Суть фетишизма они усматривают в том, что бездушный материальный объект почитается как божество; на более высоких ступенях этой лестницы языческих заблужде-

ний, по рассуждению этих авторов, за фетишизмом следует чувственное обожествление природы или персонифицированных понятий, апофеоз отдельных людей, а также поклонение стихиям, духам природы и небесным светилам. Сколь бы верными и правильными ни были эти рассуждения в одном из возможных отношений, решающий вопрос здесь заключается все же не столько в том, каким объектам воздается почитание, но гораздо более в том, какое намерение, какой смысл и какое представление связаны с ним. Ибо здесь, в этом внутреннем образе мысли только и проявляет себя или наполовину изгладившийся след потерянной истины, или полная мера и глубокая бездна все более усугубляющегося заблуждения. Если внимательнее рассмотреть этот так называемый фетишизм (наиболее широко распространенный в глубинах африканского континента, однако отмечаемый также и у некоторых народов Северо-Восточной Азии и Америки) в его историческом описании, то нетрудно увидеть, что с ним повсеместно связаны магические обычаи, и что на самом деле все эти материальные предметы должны служить лишь в качестве магических инструментов и носителей магической силы; и таким образом, религия этих народов, стоящих в данном отношении, конечно же, на самой низшей ступени, в сущности не содержит ничего иного, кроме примитивных начатков языческой магии, которые, судя по упомянутым ранее косвенным историческим свидетельствам, по всей вероятности, имели место уже у каинитов. Едва ли можно в целом усомниться в определенной склонности египетского духа к магическому направлению, хотя и понятому в совершенно ином, гораздо более всеобъемлющем и основательном смысле, поскольку в этом совпадают все еврейские, греческие и местные свидетельства и указания. Если же мы действительно зададимся целью классифицировать различные языческие религии исключительно на основании внешних обычаев или предметов, то гораздо лучшим и наиболее существенным критерием для такой классификации могли бы послужить различия в жертвоприношениях. Уже в рассказе о раздоре первых враждующих братьев разница в характере жертвоприношения упомянута как одна из его побудительных причин. Хотя мы, руководствуясь лишь своим человеческим чувством и первым впечатлением, не сочтем никакую иную жертву столь по-детски простой и уместной, как приношение первых плодов земли с каждым началом весны, каковы, например, совершаемые благочестивыми брахманами приношения цветов или подобные им

чистые жертвы благодарения у древних персов и прочих народов, преимущество отдавалось у них все же иным приношениям: жертвам животных — в силу их более глубокого значения и образцового характера; они преобладали также и у других, причем наиболее культурных языческих народов древности, и считались у них наиболее важными; таково было, например, великое жертвоприношение коня у индийцев, которые в древние времена могли приносить в жертву также и быков, до тех пор пока их умерщвление не подверглось строгому запрету и не стало рассматриваться как тяжкое преступление. Но и здесь с таким жертвоприношением, разумеется, всегда было связано иное, символическое значение, и жертва, избранная из числа благороднейших и чистейших видов окружающих человека домашних животных, как-то: тельцов, коней или агнцев, — воспринималась лишь как замена кого-то Иного, как образ Высшей Жертвы. Было бы заблуждением слишком односторонне воспринимать и расценивать древнее язычество лишь как поэзию и приятный вымысел. Сами язычники имели весьма однозначно определенную и практическую цель: они стремились или укротить враждебные силы тьмы, или стяжать таким образом сверхъестественную силу, или преклонить на свою сторону милость божества и умягчить его гнев. И для этой цели они не жалели никаких средств и готовы были не постоять ни за ценю, ни за жертвой, что, без сомнения, видно на примере человеческих жертв, в особенности детских; и потому я не могу завершить этот первый раздел древнейшего мирового периода, не дав в кратких словах более точной характеристики этого крайнего предела заблуждений древнего язычества, перешагнувшего из первого мирового периода во вторую, более просвещенную и во многих отношениях менее суровую эпоху и унаследованного ею. Наиболее распространенной формой человеческих жертвоприношений у всех финикийских племен была та, когда истукану Молоха, под которым был разведен огонь, вкладывали в раскаленные руки детей; этот жестокий обычай господствовал и в пуническом городе Карфагене, где его еще долгое время тайно продолжали соблюдать даже под римским владычеством. Человеческие жертвоприношения имели место также у римлян и греков, равно как и у египтян и индийцев, и только относительно китайцев — насколько мне известны касающиеся их аутентичные сообщения — я не могу припомнить подобного рода упоминаний. Впрочем, у упомянутых первыми двух древних народов просвещенного Запада этот старинный обычай в более позднее и менее су-

ровое время постепенно упразднился или без лишних слов был замещен иными суррогатами. Однако, помимо упомянутых детских жертвоприношений, в обычае был и еще один вид человеческих жертв, чрезвычайно поразительный и, в некотором смысле, еще более примечательный с точки зрения историка, а именно, жертвоприношение невинных отроков. Я хотел бы вновь напомнить уже выдвинутое ранее положение, что самым ужасным является то заблуждение, которое в своем первоисточнике, в самых глубинах своего существа переплелось или смешалось с искаженным понятием, с глубоким, но помраченным ощущением истины. Имея это в виду, можно предположить, что приведенное в Моисеевой характеристике каинитов загадочное причитание Ламеха о таинственном убийстве отрока, вполне может содержать указание на то, что человеческие жертвы и, в особенности, жертвы этого последнего рода берут свое начало от племени Каина, столь немало преуспевшего в своем антихристианском заблуждении, и что определенную роль сыграло при этом некое пагубное безумие, неясное предчувствие чего-то поистине необходимого и впоследствии воплотившегося в действительность. То таинство Истины, которое прозрел во вдохновенном пророческом видении святой праотец избранного народа при заповеданном ему Богом, но по Его же милости не совершившемся заклании своего возлюбленного сына, послужило, должно быть, предметом бесовской пародии, положившей начало первым человеческим жертвоприношениям у древнейших язычников. Такие жертвоприношения были более распространены, в том числе, у скандинавских народов и друидов, и продолжались дольше, чем в настоящее время принято думать или вспоминать; так, например, еще антихристианский император Юлиан пытался возобновить их в демонических целях своей черной магии. Мы настолько привыкли воспринимать чудесный мир легенд и богов Греции лишь с поэтической стороны, лишь как прекрасный вымысел, что оказываемся почти ошеломлены и неприятно удивлены, когда неожиданно сталкиваемся с каким-либо историческим фактом, который внезапно открывает нашему взору подлинный дух и глубочайшее основание всего язычества — как, например, тот, что сам Фемистокл, освободитель Греции, принес в жертву трех юношей.

Чем глубже была бездна заблуждений, в которую погрузилось и в которой потерялось древнее язычество даже у самых цивилизованных народов, чем точнее, полнее и отчет-

ливее мы познаем и осмысливаем это обстоятельство, тем более мы убеждаемся в том, сколь необходим и спасителен был тот медленный путь возвращения и постепенного приуготовления к более светлому будущему, в котором, как я пытался подробнее показать выше, состояло особое предназначение и духовная направленность еврейского народа. С общей точки зрения всемирной истории и ее философии еврейский народ представляет интерес только в силу этой особой, только ему присущей обращенности в будущее, и лишь благодаря ей ему уделено надлежащее место в первом мировом периоде духовного развития человечества. Специфика последующей истории еврейского народа, его дальнейшие судьбы, отдельные личности и события представляют особый интерес лишь для истории религии, поскольку полностью осознать значение всех этих специальных особенностей и по достоинству оценить их можно лишь исходя из их практического приложения и непрерывной символической связи с последующим развитием христианства. И лишь совершенно своеобразная, единственная в своем роде форма государственности еврейского народа в первоначальные, древнейшие времена, подобная которой не отыщется более нигде, еще может быть принята к рассмотрению с общеисторической точки зрения, поскольку она связана с его упомянутой исключительной пророческой направленностью и сама по себе имеет такой же пророческий характер. Это государственное устройство называли теократией, и оно действительно может считаться таковой в буквальном понимании, в собственном, истинном и изначальном смысле этого слова, то есть, прямым господством и водительством божественной силы; однако в том смысле, который стал привычен сейчас, когда под теократией понимают государство или господство священников, оно никоим образом и никогда не было теократией. Моисей был ничуть не более священником, чем царем; и, начиная с него, все те мужи желания, как называют их по направлявшему их важнейшему внутреннему основанию, или мужи пустыни — ибо приуготовившись сами в уединении и безмолвии пустынь, они в том или ином смысле должны были направлять и вести народ Израиля через ту же пустыню — все они были именно поставленные Богом мужи и предводители, не имевшие иных титулов и инсигний, кроме того посоха, с которым они как странники приходили из пустыни; а их предводительство и власть над народом были основаны лишь на прямом действии божественной силы.

Если же кому-то из них случалось взяться за оружие и повести за собой войско, то такое положение дел было преходящим; в целом они оставались лишь пророками, людьми Божиими, непосредственными предводителями своего народа — и никем более. Когда же нескончаемые требования евреев, чтобы и у них, как у прочих языческих народов, появился свой царь, были, наконец, исполнены (что, по авторитетнейшему суждению Священного Писания, было вменено им как преступное заблуждение пекущегося лишь о земном благе разума), тогда последние из этих мужей отступили в сторону и совершенно необычным образом составили столь же уникальную в своем роде пророческую оппозицию государству, которая, однако, не только была совершенно справедливой и легитимной, но и была признана в качестве таковой. И поскольку некоторым из них, как, например, Илии, Бог даровал высшую и непосредственную власть над жизнью и смертью, в которой и заключается подлинный признак силы, не стоит удивляться, что люди следовали за ними, что народ покорялся им, и даже цари внимательно прислушивались к их предостерегающему гласу, хотя и не всегда следовали возвещаемым ими советам. И потому те, кто везде с любовью спешит избрать сторону оппозиции, если бы только они были в состоянии возвыситься над своими привычными формулами и формами и перестали выискивать во всем, что слышат, отголоски собственных современных убеждений, то, внимательно присмотревшись к тому же Илии, они смогли бы познакомиться и восхититься этим удивительнейшим оппозиционным характером, с энергией и огненным рвением которого в делах справедливости и истины — то есть, Божиих — будет нелегко сравниться какому-либо иному историческому деятелю древних республик или новых монархий. После того как еврейское государство стало одним из не особо значительных национальных царств, оно разделило судьбы большинства других малых стран и народов своего региона и стало сперва провинцией ассиро-вавилонского царства, потом оказалось в зависимости от персидских, а затем и греческих царей Египта и Сирии, пока, наконец, вместе с последними, не растворилось в общей массе всемирных римских завоеваний. В этот последний период зависимости еврейского народа от греческих царей, в эпоху маккавейской реставрации, первосвященник, несомненно, имел свою долю политического влияния, которую сохранял даже под гнетущим римским протекторатом, хотя и не более чем в качестве законодательной и выс-

шей судебной инстанции в вопросах внутреннего управления. Но ничто из этого еще не образует государства священников, и мы имеем ничуть не более оснований называть его теократией, чем прилагать этот термин к полномочиям греческого патриарха в Турции. Однако все это время святой град Иерусалим с великим, древним и символическим храмом Соломоновым, глубокий смысл и подлинное значение которого под конец перестали понимать даже сами иудеи, оставался средоточием всей их прежней жизни, всех древних воспоминаний и всех грядущих обетований и новых надежд. Даже после ужасного разрушения Иерусалима сама идея святого града продолжала жить в воспоминаниях, и даже в гораздо более позднюю мировую эпоху, в принявшей христианство Европе, этот мотив не переставал волновать умы воинственных народов Средневековья.

В завершение нам остается добавить еще одно замечание, касающееся не столько самого еврейского народа и его истории, сколько его древнейших исторических книг и, в особенности, всего содержащегося в них исторического мировоззрения: как оно относится ко всеобщей истории народов глубочайшей древности и к философии истории вообще, каким образом оно к ним приложимо и приложимо ли вообще? Сколь мало есть необходимости или возможности полагать, будто еврейский язык, коль скоро на нем было записано Божественное откровение, является тем общим корнем и первоисточником, из которого следует выводить все остальные языки земли, столь же мало Моисеева генеалогическая таблица народов пригодна для того, чтобы использовать ее в качестве основы для всеобщей мировой истории, как нередко пытались делать в прежние времена, но никогда не преуспевали в этом без грубого насилия над фактами. Хотя такой многосторонне поучительный и, в особенности, исторически ясный обзор всех рассеянных по лицу земли стран и народов едва ли отыщется в каком-нибудь из древнейших исторических свидетельств прочих азиатских народов, нам все же следует усматривать и искать в Моисеевом Откровении скорее какую-то иную цель, нежели ту, чтобы служить школьным компендиумом исторической учености. Очевидно, что весь этот бесценный в своем роде памятник Моисей, прежде всего, предназначает только для своего народа и для своей книги закона, исходя при этом из совершенно иных представлений, нежели наши. Для нас, например, родство языков является главнейшим основанием для сравнения и классификации различных пле-

мен, и по этому принципу мы объединили бы еврейский народ с финикийским как относящийся к той же родственной группе. У Моисея же эти два народа предельно далеки друг от друга и разделены непримиримым противоречием, которое и действительно имело место во всем, что касалось их жизни, веры и убеждений. Разумеется, с исторической стороны здесь также вмешиваются различные обстоятельства, такие как сопровождающие всю мировую историю непрестанные переселения и смешения народов, из-за чего вопрос о происхождении и родстве различных народов и племен претерпевает существенные модификации и не допускает простых и легких решений, позволяющих провести систематическое разделение и упорядочение. Нередко случается — и в истории засвидетельствовано множество таких случаев, — что какое-то племя перенимает совершенно чужой язык, не исчезая при этом смешении и не растворяясь в нем без остатка, но, напротив, сохраняя и ясно обнаруживая отчетливые следы древнего происхождения в своем нравственном или духовном характере; таким образом, язык, по крайней мере, взятый сам по себе, здесь еще ничего не решает. Нередко и менее многочисленное племя накладывает отпечаток своего племенного характера на целый народ, вкупе с его нравственным обликом и духовной направленностью. Вообще же происхождение народов можно с легкостью проследить и вычленивать лишь там, где соблюдается чистота племени, а браки и всякого рода смешение с другими народами строго возбраняются. Однако такое имело место лишь у отдельных народов; и даже там, где законы были таковы, они далеко не везде строго соблюдались и не всегда сохранялись, подтверждением чему может служить пример самого еврейского народа, неоднократно смешивавшегося с финикийскими племенами, невзирая на строжайший запрет. Древние законодатели, безусловно, придавали большое значение чистоте происхождения, о чем как раз и свидетельствуют принятые для ее охраны законодательные ограничения браков; однако еще большую важность представляло для них сохранение отеческого наследия в древних обычаях, общественном устройстве, образе мыслей и всей духовной направленности, ибо в них они усматривали сущность верно хранимого ими национального характера и преимущественно по ним определяли место своего народа в общей иерархии различных племен. В особенности для Моисея важнее всего был этот духовный характер племен и тот дух, что живет в них, в их умонастроении и всем образе мысли и вообще то, как

восприняли разные народы нить священного предания и как они сохранили ее; и лишь это позволяет нам верно понять его точку зрения на целое. Те обширные срединные земли Западной Азии, где некогда находился истинный Эдем — исконная обитель первого человека и всеобщего праотца, в историческом мировоззрении Моисея являются центром. Широко распространенное по лицу Земли племя Иафета обозначает и охватывает на севере народы Кавказа и примыкающих к нему обширных регионов, а также Средней Азии — народы здоровые, сильные, относительно мало испорченные, но никоим образом не грубые дикари; однако они не были столь близко и непосредственно причастны священному преданию древнейшего откровения, как обитавшие в упомянутых срединных землях народы племени Симона, в чем, согласно Моисею, и состоит их отличительная характерная особенность и высокое преимущество. Наконец, на юге племя Хамово обозначает и охватывают выродившийся и восплававший враждой ко всему божественному Египет, — на языке местных жителей эта страна даже носит имя «Хеми», — а кроме того, все африканские племена, по преимуществу преданные черной магии. Насколько субъективна Моисеева таблица, насколько исключительно сообразуется она с его собственным народом и стоящим перед ним великой национальной задачей, явствует, между прочим, также и из того, что в то время как многие великие народы, обитавшие в более удаленных странах или в далекой Восточной Азии, с трудом удастся обнаружить в том месте этого обзора, где мы бы ожидали их найти, а иногда их удастся поместить туда лишь посредством насильственной интерпретации, в нем тут же приводятся двенадцать или тринадцать отдельных колен одного-единственного дружественного арабского народа или враждебного финикийского племени. Понятая на основании этой простой точки зрения, Моисеева генеалогия народов Земли предстает совершенно ясной, и, даже если толкование некоторых имен отдельных народов и остается проблематичным, то, по крайней мере, в целом совершенно понятной и полной глубокого исторического смысла.



СЕДЬМАЯ ЛЕКЦИЯ

**Общие размышления о сущности человека
в историческом отношении
и о двояком взгляде на историю;
о языческих мистериях и всемирном господстве персов**

Несмотря на сотни различных давно уже существующих комментариев к Моисеевой генеалогии, ее все же неизменно продолжали всякий раз перетолковывать по-новому, сообразно с предпочитаемой тем или иным автором системой исторических воззрений, считая долгом класть ее в основу едва ли не каждого изображения всемирной истории, хотя с помощью этого ложного, произвольного метода ее никогда не удавалось без насилия согласовать с прочими наличными историческими данными и втиснуть в диктуемые ими рамки, поскольку, совершенно очевидно, отнюдь не в этом заключалось ее истинное предназначение и глубокий смысл. Однако, в этом священном свидетельстве божественной истины, конечно, содержится иной, более глубокий принцип, с успехом приложимый ко всеобщей истории и ее философии и притом отличающийся одновременно и чрезвычайной простотой, и совершенной полнотой охвата. Это данный в первом откровении в самом начале человечества и всей его истории принцип или понятие богоподобия человека, в котором заключается его подлинная природа, его истинная сущность и конечное предназначение. Тот же самый принцип положен и в основу всего нашего изложения, и потому теперь, завершая древнейший мировой период и переходя ко второй части целого, необходимо будет рассмотреть это целое несколько подробнее и дать о нем более определенное разъясне-

ние. Ведь в зависимости от представления о человеке существуют лишь два различных основополагающих взгляда на всемирную историю или два различных лагеря в области этой науки и суждения о ней. Что в этом общем противопоставлении мы не принимаем в расчет тех писателей, которые, остановившись на частностях имеющихся фактов, даже не пытаются составить общего взгляда на целое, или тех, что, беспрестанно колеблясь в суждениях, не имеют собственных взглядов, по крайней мере, ясно сформулированных, и не придерживаются таковых последовательно, — это лежит в самой природе вещей и не нуждается в дальнейших объяснениях. Итак, в одном случае человек есть не более чем облагороженное, мало-помалу обтесавшееся до разумного состояния, а под конец даже возросшее до гениальности животное; и тогда у всей истории культуры нет никакого иного содержания, кроме неуклонного прогресса, восходящего со ступени на ступень по лестнице этого бесконечного усовершенствования. В определенном смысле, подходя к вопросу с научной стороны, это можно было бы, пожалуй, назвать либеральным взглядом на всемирную историю, который, наверное, никем не был проведен с такой математической строгостью и чистотой, как одним блистательным и всецело поглощенным этой идеей французским мыслителем, в свое время, однако претерпевшим подлинное мученичество за свои принципы⁷⁶. Когда всеобщие житейские воззрения охвачены разногласиями, когда мнения, касающиеся всех сторон жизни этого мира, проникнуты взаимными противоречиями, основанием нашего выбора в пользу того или иного мнения, источником религиозного взгляда на историю или, если мне будет позволено так выразиться, религии истории или же ее иррелигиозности гораздо менее служат те догмы, в которых каждый из нас находит решение, помощь и опору своему чувству, совести, своему сокровеннейшему устремлению и последнему упованию — гораздо важнее оказывается здесь одно единственное правило веры: то, которое касается человека, его подлинного существа, его глубинной природы и высшего предназначения. Упомянутая идея о бесконечной усовершенствуемости человека включает в себе нечто весьма согласное с разумом, а если понимать усовершенствуемость лишь как способность и потенциальную предрасположенность, то она, бесспорно, содержит и немало верного; с той, впрочем, оговоркой что и предрасположенность человека к па-

⁷⁶ Ж.-А. Кондорсе — *Прим. перев.*

дению, по крайней мере, столь же велика. Однако в приложении к великому целому всей всемирной истории такое воззрение, по сути дела, не имеет подлинного начала, ибо таковым не может считаться упомянутое шаткое понятие о способном к бесконечному прогрессу и облагораживанию животном; да и вообще в науке, так же как в жизни и истории, не может быть иного подлинного начала, кроме того, что исходит из Бога. Равным образом нет у него и подлинного конца, ибо одно лишь движение вперед, в бесконечность, не может быть ни концом, ни твердо намеченной целью, ни положительным предназначением. Но и в срединной части, в применении ко всей массе исторических фактов, приверженцы такого воззрения сталкиваются с немалыми трудностями, поскольку эти факты далеко не всегда повинуются упомянутому абстрактному закону бесконечно возрастающего усовершенствования, но, напротив, весьма нередко, причем не только у отдельных народов, но и на протяжении целых мировых периодов в них со всей отчетливостью и очевидностью проявляет себя в качестве господствующего закон естественного круговорота. Однако с точки зрения описанной рационалистической системы всемирной истории этот неприятный факт всегда остается, в сущности, необъяснимым, а если даже его и удастся объяснить, то такое либеральное мировоззрение все равно не может с ним примириться. Потому всякий раз, когда человек или род человеческий эксцентрически уклоняется от этой математически предначертанной траектории бесконечного усовершенствования или даже, как это в установленный срок происходит с планетами на земном небосклоне, пускается, казалось бы, в попятное движение, исходящий из названного принципа наблюдатель за судьбами мира приходит в полное замешательство. И подобный ход событий, такое попятное течение времени, противоречащее первому и основному правилу этого исторического мыслителя, не может не привести его в крайнее возмущение, которое, отправляясь из настоящего и обнимая собой далекое будущее, одновременно без остатка захватывает и все прошлое — дабы, пребывая в либеральном негодовании, в ослеплении страстным духом века, он мог вынести свой приговор: неправый или, по меньшей мере, крайне односторонний, и уж во всяком случае, составленный в неверном и неясном свете и несогласный с истиной. Однако, если человек есть не просто облагороженное, окультуренное до разумного состояния и возросшее до гениальности животное, если его характерное отличие и преимущество, его подлинная сущность, его

природа и предназначение заключаются в богоподобии, то отсюда можно вывести совершенно иное основание всемирной истории и иной взгляд на нее, нежели тот, что только что был нами описан; ибо в таком случае вся история человечества вообще не может иметь иного предмета и содержания, чем восстановление утраченного богоподобия и ходэтого восстановления. Ведь, приняв названную предпосылку, то есть, признав это высокое происхождение человека, мы уже не имеем нужды обращаться к позитивным учениям религии, чтоб убедиться в том, что заключенный в нем божественный образ — как в самых глубинах индивидуального сознания, так и во всем роде человеческом — чудовищно искажен, поврежден и приведен в величайшее расстройство, ибо это может быть вполне убедительно засвидетельствовано и подтверждено внутренним чувством, жизненным опытом или общим мировоззрением каждого из нас. Точно так же никто из тех, кто проникся твердым убеждением в самом принципе человеческого богоподобия, чей полувыцветший почерк читается на каждой странице древнейшей истории мира, чей не до конца стершийся отпечаток, начертанный в глубинах человеческого сердца, готов открыться чувству вдумчивого наблюдателя, тот никогда не поколеблется в своем уповании и не откажется в том, что, сколь бы поврежденным ни казался или действительно был образ Божий в человеке, он все же может быть восстановлен. Зная, конечно, из жизни и собственного опыта, сколь велик и тяжок этот труд, сколь многочисленны противодействующие ему препятствия и с какой легкостью можно, добившись однажды частного успеха, тут же вновь лишиться того, что уже казалось достигнутым, такой наблюдатель, заметив где-либо в роде человеческом или во всемирной истории подлинную или мнимую задержку или регресс, гораздо скорее примирится с этим обстоятельством, а о самом предмете будет судить намного беспристрастнее и потому во многих отношениях вернее; и, в любом случае, он не разуверится в высшем развитии и водительстве, являющем себя в ходе этого всемирно-исторического восстановления. И если такую философию истории, основанную на принципе богоподобия в качестве религиозного взгляда на всемирную историю, — в противоположность иной философии, вытекающей из рационалистического принципа бесконечной усовершенствуемости, — мы пожелаем назвать легитимной, то такое наименование будет вполне осмысленным и верным, поскольку и в самом деле все божественные и человеческие законы и права, засвидетельствованные

историей и вмещающиеся в ее ход, в своем первоосновании покоятся на этом исходном положении о высшем достоинстве и божественном предназначении человека. И потому лишь такой взгляд на историю является тем единственным, который признает за самим человеком всю полноту прав, вытекающих из особого преимущества его подлинной природы. Однако точно так же этот взгляд должен признавать всю полноту прав и за всякой иной истиной, и лишь он способен на это без ущерба для собственного принципа, ибо этот принцип, будучи просто истинным, вместе с тем является законченным, полным и верно проникающим в глубину целого. Он может и должен также признать и то, что человек, помимо своего божественного предназначения и высшего достоинства, в физическом отношении и в своем внешнем бытии, одновременно является и остается природным существом (хотя и не прежде всего, не главным образом и не исключительно таковым, а лишь в подчиненном по отношению к своей высшей сущности смысле) и что в своем внешнем развитии он, таким образом, может быть подчинен тому или иному чисто естественному историческому закону. Точно так же такой взгляд на историю признает и не может отрицать, что свободный человек даже тогда, когда не исходит из этого божественного принципа, по-прежнему остается разумным существом, а следовательно, производит из выбранной им посылки дальнейшие выводы, продолжает созидать, все более развивается и, стало быть, ко злу или к добру, является по природе своей безгранично и, можно даже сказать, ужасающе прогрессивным. Исходящее из высшей, божественной перспективы легитимное мировоззрение именно и призвано, в той мере, в какой это достижимо для человека, обеспечить ему познание истинного и верное понимание действительного и, тем самым, стать наукой истории, то есть, наукой обо всем том, что по Божией воле совершалось с родом человеческим. Оно ни в коем случае не должно — если еще несколько продлить начатое сравнение — быть взглядом на мир и жизнь, престапующим пределы истинного права и правой истины и уходящим еще далее, в сферу Ultra⁷⁷, тем более, что в этом новомодном наименовании в верное понятие уже было привнесено некоторое неправомерное употребление и неверное понимание. Напротив, этот взгляд на историю и жизнь именно потому, что он является и стремится быть религиозным, в своем историческом суждении никогда не должен быть сурово обви-

⁷⁷ в сферу чрезмерного — *Прим. перев.*

няющим или безоговорочно отвергающим. Ибо и Моисеево учение, и положенный в основу исторического знания принцип богоподобия полностью содержат в себе подлинное и отличительное христианское понятие о человеке, а следовательно, и о его истории. Это обстоятельство должно служить нам достаточным напоминанием о том, что из всех законов, вытекающих из этого основополагающего христианского понятия и самого христианства и определяющих образ действий и все внешние отношения человека, первейшим и возвышеннейшим является закон любви, находящий применение не только в жизни, но и в науке и сохраняющий в ней свою полную силу. Вместе с тем, любовь не исключает твердости убеждений, в то время как нерешительность в суждениях проистекает лишь из равнодушия или отсутствия всяческих убеждений, равно губительного и для любви, и для истины.

Но божественный образ в человеке заключается отнюдь не в какой-то молниеносной вспышке света, не в отдельных мыслях, подобных воспламеняющим искрам Прометея, и — в отличие от того, как понимает богоподобие Платон, — не в некоей возвышенной идее, далеко превосходящей сферу обычного мышления, и такой же идеальной направленности человеческих устремлений; нет, подлинное богоподобие, именно потому, что оно является основой и высшим принципом человеческой сущности и бытия, заложено уже в природе и в основных чертах или во внутренней структуре человеческого сознания, с чем сопряжена уже сама психологическая троичность сознания и его внутренней духовной жизни. Охваченное разладом человеческое сознание, разделенное во внешнем мире в нескольких направлениях: на разум или фантазию, на рассудок или волю, — доколе нет между ними согласия, является четверочастным. Когда же гармония сознания восстановлена, внутренняя жизнь человека троична и объемлет собою дух, душу и чувство; развитие и обоснование этого тезиса было предметом, содержанием и целью философии жизни, изложенной в наших более ранних докладах. И, конечно же, это духовное трезвучие высшей внутренней жизни, которым среди всех творений наделен один лишь человек, стоит в глубочайшей связи с троичной силой и бытием единого божественного Существа и образует — насколько это допускает неизмеримая дистанция между творением и Творцом — удивительную аналогию между слабым, изменчивым человеком и бесконечным Духом вечной любви. Восстановление изначальной гармонии сознания и троичной внутренней жизни в отдельном человеке происходит таким образом, что вначале душа, пребы-

вавшая до того в разделении, действием божественного света, который она приемлет и усваивает с любовью как первый луч надежды, обретает внутреннее единство и полноту или вновь становится единым целым. Когда же воссиял этот первый свет, тогда и живой дух, — а не как прежде, мертвый, холодный, абстрактный рассудок — может с живой верой удержать чистое слово истины, которое едино с любовью, и постичь его, а через него — весь мир и себя самого; в то время как прежде разделенный рассудок, находясь в изолированном и абстрактном состоянии, лишь терзался и разрывался внутренне и внешне между пустыми фантазиями природы и вечной диалектикой взаимно противоречащих рационалистических софизмов. Итак, когда твердая рука все-направляющей любви распустила тугой гордиев узел поглощенного самим собою, бесконечно запутанного человеческого сознания, чье внутреннее сопротивление не смогло ей в этом воспрепятствовать, тогда пробуждается и вновь приходит в движение и третья заключенная в человеке основная способность: внутреннее чувство божественного. Это уже не просто пассивное восприятие возвышенного, бессильная или нерешительная воля к добру, но животворящая сила, которая и сама есть жизнь и действие. Однако несколько иначе, чем внутреннее развитие высшей жизни в отдельно взятом человеке, совершается поступательный ход формирования человека в крупном масштабе, составляющий содержание всемирной истории или то, что мы называем развитием и становлением человечества. Здесь принцип выделения различных ступеней развития не может быть выведен из трех основных способностей внутренней жизни и сознания отдельного человека — найти его можно лишь в божественном импульсе, явленном нам в истории, задающем на каждой ступени все более высокую исходную точку новой жизни человеческого рода; впрочем, и здесь, в историческом целом и во всеобщем ходе великого восстановления, сообразно с самой природой этого предмета, также можно выделить три этапа. Если руководствоваться уже известным нам принципом богоподобия человека и понятием о его восстановлении как содержании всякой истории, то применительно к первой ступени этого восстановления, охватывающей древнейший мировой период, основной направляющей идеей исторического исследования и истолкования всех частных фактов будет являться изначально дарованное человеку слово вечной истины, о котором священное предание и божественное откровение всех народов свидетельствует множеством различных способов и в столь многообразно разнящихся между

собою его следах и фрагментах. На второй же ступени, в полдневный час высочайшего развития человеческого рода, когда его победоносная сила столь ощутимо проступает во всех направлениях в могуществе господствующих наций, масштабом исторического суждения и различительным критерием станет для нас само понятие этой силы и вопрос о том, была ли она высшей и божественной или же разрушительной и, может быть, даже враждебно противящейся всему божественному или, наконец, имела смешанную природу. Для последней ступени — третьего мирового периода Нового времени — такая точка зрения или такой принцип могут быть найдены лишь в высшем свете чистейшей истины, проявляющемся в науке и самой жизни; с этим принципом должны быть соотнесены и подвергнуты оценке все исторические факты, и лишь исходя из него возможно предсказать или, по крайней мере, отчасти предугадать предстоящее еще, быть может, развитие и получить дальнейшие указания относительно остающегося нам исторического будущего. Итак, вот каков троичный божественный принцип и внутреннее основание подразделения подобной философии истории: слово, сила и свет; и само это простое членение всецело покоится и основывается на историческом опыте и действительности. Ибо существование в древнейшее время изначального откровения, распространение христианства как начало и сила новой жизни в нравственной сфере и превосходство современной европейской духовной культуры — этого путеводного светоча всех остальных континентов и, во многих отношениях, даже большинства предшествующих эпох — суть три всемирно-исторических факта или культурных явления, которые в своей всеобщности могут считаться несомненными историческими основами поступательного развития человечества; и нам остается лишь в полном объеме дать достойную оценку каждому из них по отдельности, и, особенно, в совершенстве понять их в своей внутренней связи и дать им правильное объяснение в этой взаимосвязи целого. Едва ли кто-нибудь усомнится, что высший свет чистый истины, дарованный христианским государствам и народам Европы, также озарил собою и науку, и вообще всякую духовную культуру, всю нравственную жизнь и даже общественные и гражданские отношения; точно так же каждый из нас знает и чувствует, что эта господствующая идея или исторический жизненный принцип в новейшее время все еще охвачен борением своего внутреннего развития и что именно эта внутренняя борьба развития и будет

и должна стать главнейшим предметом исторического изучения в этой последней части целого.

Столь же ясно и очевидно, что во втором мировом периоде, к которому я теперь перехожу, в каждой из наций, стяжавших себе в это время мировое господство, зримо проявляется некая высшая духовная или нравственная сила. Такая сила была, несомненно, заключена уже в том глубоком и сильном чувстве природы, которое дает о себе знать в праотеческой вере в Бога у древних персов и в присущей им чистоте нравов, а впоследствии к ней легко смогли присоединиться благородная воодушевленность воинской славой и любовь к отечеству. Грекам едва ли кто-нибудь сможет отказать в силе изобретательного гения, проявляющегося в науках и изящных искусствах, и оспорить здесь их преимущество было бы нелегко; римляне же, со своей стороны, превосходили все прочие народы и государства, с которыми вступали во взаимное противоборство, непреклонностью характера и силой нравственной воли. Вопрос здесь может заключаться лишь в том, всегда ли та высшая сила природы, духа и характера, данная этим господствующим над миром народам использовалась ими во благо; и всегда ли была она, при всей своей возвышенности, силой поистине божественной, или же к ней примешивалось и нечто земное, тягостное и разрушительное; и достаточно ли было этой — хоть и по-своему великой и достойной всяческого восхищения — силы для того, чтобы вновь нравственно и духовно воздвигнуть поникший долу человеческий род, или нужна была для того иная, гораздо более чистая и возвышенная сила. Что касается теперь уже законченного мною описания и изображения древнейшего мирового периода, то я полагаю, что сделал достаточно для решения стоявшей передо мной задачи, если сумел в этом кратком историческом очерке, с одной стороны, обосновать свое убеждение в наличии исконной истины в человеке и роде человеческом, и в существовании изначального слова древнейшего откровения, самые ясные свидетельства и многочисленные следы которого рассеяны в священном предании всех народов того первобытного времени; взятые по отдельности, они кажутся нам как бы обрывками загадочных писем, рассыпавшимися обломками древнего здания или разрозненными иероглифическими знаками, некогда слагавшимися в единое, ныне утраченное, целое. С другой стороны, я полагаю свою задачу решенной, если смог обосновать также и свою убежденность в том, что, сколь бы ни было это первоначальное слово извраще-

но примесью всякого рода заблуждений, помрачено и сокрыто под покровом бесчисленных вымыслов, запутано и искажено по мере все большего вырождения рода человеческого, происходившего в позднейшем язычестве, все же и здесь при более глубоком исследовании могут быть повсеместно обнаружены отдельные проблески, достаточно ясно свидетельствующие о единстве своего происхождения и об изначальной истине.

Ибо древнее язычество — и это примечание в качестве результата необходимо добавить к сказанному — также имеет под собою истинное основание и, при условии его обстоятельного изучения и полного понимания, может служить лишь подтверждением этой истины; ибо и наиболее глубокие исследования последнего времени о мифической древности и его праисторическом источнике с самых разных сторон все более приводят нас к этому результату и цели всякой науки о древности или, по крайней мере, подводят нас очень близко к нему. Если бы было возможно или если бы нам удалось без остатка отделить лежащее в основе всякого язычества созерцание природы и простую природную символику от примешанных к ней заблуждений и вымыслов, то эти основные иероглифические черты научного инстинкта первого человека ни в чем не противоречили бы истине и ее познанию в природе, но, напротив, предложили бы нынешней, более свободно развитой, чистой и совершенной науке жизни весьма поучительную картину, на которой она узрела бы первые начатки своих самых совершенных идей. Ибо если бы человек, который ведь и является высшим средоточием природы на земле, с самого начала не обладал научным инстинктом и непосредственным видением природы, то, невзирая на все свое искусство, с помощью одних лишь машин и инструментов он никогда бы не пришел к подлинному познанию этой сферы и правильному пониманию природы, ее глубинной жизни и таящихся в ней сил. Символическое заблуждение, последствием которого является мифология и которое, в свою очередь, вновь порождается ею — я имею в виду смешение символа с самим предметом, с тем таинственным высшим содержанием, означающим подобием которого всего лишь и был и должен был оставаться символ, — еще могло бы считаться относительно более простительным, а при нынешнем, разделенном между образной фантазией и дискурсивным разумом сознании человека, даже почти естественным для него состоянием, или по крайней мере, психологической привычкой, превратившейся в его вторую на-

туру. Но и это заблуждение не могло бы возникнуть, если бы ему — если и безусловно, то, хотя бы, в некоторой мере — не предшествовало начавшееся прежде того смешение высшего с подчиненным, первого со вторым, Божества с природой и нарушение их должного порядка. Главное и поистине губительное заблуждение язычества заключается в чувственном обожевлении природы, в котором этот извращенный порядок вещей и, тем самым, всех нравственных понятий, находит свое завершение, так что и в человеческом духе низшее поистине обращается в высшее; впрочем, помимо собственно язычества, то же самое основное всеразрушительное заблуждение материализма можно обнаружить в учении об атомах и других ложных системах научного мышления. Наряду с чувственным обожевлением природы, господствующим в древней мифологии и народной религии, второе основное заблуждение язычества состоит в его магической направленности, то есть, в низшем материальном применении, в неопозволенном злоупотреблении высшими природными силами там, где они действительно были познаны, где человеческий дух глубже проник через их внешнюю чувственную оболочку во внутреннюю жизнь природы. Это более возвышенное и потому еще более опасное заблуждение было присуще не столько древней поэтической народной религии, сколько более закрытым сообществам языческих мистерий, где его преимущественно следует искать и где оно, по большей части, может быть найдено. Хотя учения мистерий не только в Египте, но и в Греции занимали столь важное место в общественном мнении, духовной культуре, во всем образе мыслей и даже в самой жизни древних и по сравнению с обычной народной мифологией античных поэтов были гораздо серьезнее и глубже во всем, что касается человеческого духа, его силы и изначального достоинства, а также тайных силы природы и незримого мира, это еще не дает нам оснований считать, что влияние их повсеместно было только целительным или что их истинная сущность и господствующий дух были более похвальными с этой последней точки зрения. Думаю, можно полагать, что египтяне накопили немало познаний, особенно в науках о природе, — может быть, еще больше, чем, как мы теперь знаем, смогли перенять у них греки вообще и пифагорейцы в особенности, — однако мы едва ли можем представить себе эту египетскую науку без сильной примеси заблуждений и разнообразных магических злоупотреблений. Когда утрачены священное мерило и внутренняя путеводная нить истины,

когда извращен правый порядок вещей и понятий, то нередко все самое возвышенное, таинственное и чудесное, что имеется в человеке и человеческом духе, оказывается в теснейшем соседстве с вещами самыми низкими, превратными, дурными и злонравными. Священный сон, которому египтяне предавались в своих храмах посреди всех этих ложных и причудливых идолов, пустых символов природы и, по крайней мере, весьма неоднозначных символических изображений и иероглифов, легко мог послужить источником темных видений и ложных озарений, особенно когда он приобретал магическую направленность, то есть, когда к помощи высших природных сил прибегали с непозволительными материальными намерениями, с волей, демонически преклоненной ко злу. А именно в этом и заключается то условие, от которого зависит отношение всякой науки к высшей божественной истине и которое определяет ее истинную ценность: используется ли она во благо или приняла направление разрушительное и ведущее к пагубе, соблюден ли в ней правый порядок и подчиненность природы и всего природного мира как вторичного всему божественному и самому Богу, который есть Первичное. И если это условие соблюдено, то сама по себе всякая наука, сколь бы глубоко она ни вторгалась в природу и ее таинственную внутреннюю жизнь, может служить лишь к вящей славе Того, кем эта природа сотворена. Ведь уже в писаниях Ветхого Завета, и особенно в Моисеевых, сказано о всех этих таинствах природы и здесь же, в многочисленных аллюзиях, в отдельных фрагментах и словах, к ним приводятся подлинные ключи, словно полновесные крупницы золота знаний; только здесь они как бы затеряны, рассеяны по разным местам и служат лишь для того, чтобы украсить и обозначить собою тот путь, который подводит нас к тому, что во всех этих писаниях рассматривается и выдвигается в качестве основной задачи: представить нашему изумленному взору весь ход неисповедимого божественного водительства родом человеческим — этот, если можно так выразиться, священный ковчег Завета божественных тайн и обетований. Все здесь подчинено божественному, все служит высшему, и именно в этом и заключается тот отличительный характер, та печать истины, которой отмечено все сказанное в этих писаниях, в том числе и о природе и о ее загадках, приоткрытых нам или оставленных под покровом тайны.

Примером того, сколь малого уклонения от истины порою бывает довольно, чтобы породить новое, со временем

все более усугубляющееся заблуждение, может в особенности служить то простое почитание природы и ее чистых стихий и первичных основополагающих сил: священного огня, воздуха, но не нижнего атмосферного, а высшего, чистого, преисполненного животворящим дыханием небесного воздуха и, в особенности, света, — составлявшее основу религии древних персов и, вероятно, преимущественно господствовавшее в древнейшее время также у индийцев, поскольку большая часть древнейших фрагментов Вед связана именно с этими природными стихиями и обращена именно к ним, между тем как столь многочисленные имена позднейших индийских божеств им, кажется, еще неизвестны. Возможно даже, что такое простое и чистое почитание природы и является древнейшим и имело гораздо более всеобщее распространение в древнем патриархальном мире. Но, конечно, согласно изначальному пониманию, в нем решительно не содержалось ни подлинного обожествления природы, ни отрицания Вышнего Бога; и так оставалось до тех пор, пока этот символ, как это нередко бывает, не подвергся смещению с самим предметом и не заступил место того высшего понятия, которое он поначалу должен был лишь обозначать.

Однако неужели можем мы усомниться в том, что для первого, еще не столь удалившегося от Бога человека, эти чистые стихии и первые сущности тварной природы содержали в себе если и не подобие Божие — ибо им наделен лишь сам человек, — то и не просто произвольный символ или обыкновенное поэтическое сравнение, а совершенно естественное и по своему существу сообразное с истиной изображение божественной силы? Ведь даже в самом божественном Откровении в столь многих местах — чтобы не сказать повсеместно — чистый свет как таковой или же священный огонь используются как образ всепроницающей и истребляющей все земное божественной силы и Божия всемогущества. Не упоминаю уже тех мест, где сказано о животворящем дыхании или божественном дуновении как первоисточнике жизни, или того, где легкое дуновение или тихий шелест слабого ветра служит пророку знаком непосредственного присутствия Божия, пред которым тот, благоговейно покрыв лицо свое, преклоняется, что, конечно же, невозможно понимать лишь как образно-поэтическое выражение! Конечно, этому естественному образу или покрову божественной силы, представленному в виде чистых природных стихий, в писаниях божественного Откровения противопоставлен злой, подземный и губительный огонь, обманчивый свет враждебных духов лжи и ядовитое веяние духовной заразы. Да и как могло быть иначе? Если природа

в своем начале была ничто иное, как прекрасный образ, чистая эманация, милая игра и дивное творение Бога во всем Его всемогуществе, то затем, оторванная от своего Источника, внутренне искаженная и враждебно обращенная против своего Создателя, она должна была обратиться в собственную противоположность и стать злой. Но если это отпадение природы от Бога, это извращение истинного порядка в отношении природы к Богу и есть то коренное заблуждение, в котором заключается первопричина и сущность древнего язычества, его ложных мистерий или магических злоупотреблений высшими силами природы, тогда, с другой стороны, любую подобную перемену предметов и понятий и извращение божественного порядка, даже если бы они возникли и заявили о себе на христианской почве и основе, в христианской науке или этике и самом жизнеустройстве, мы, в силу их подлинной природы и характера, также должны будем почитать языческим устремлением и предприятием и как бы новым начатком и первым основанием сциентического язычества, даже если внешне при этом никто не воздвигает алтарей Аполлону и не совершает мистерий в честь Изиды.

Уже некоторые греческие писатели пытались выделить из всей массы египетских представлений о божествах, образов природы и языка иероглифических знаков чистую природную символику или первоначальный символический круг идей, но недостаточно преуспели в этом — как с точки зрения собственных задач, так и применительно к нашим современным потребностям. В этом отношении представляется примечательным, что среди иероглифов, насколько они были до сих пор расшифрованы, нигде не проявляется то различие отдельных эпох, какое имело место, например, в системе китайских письменных знаков; напротив этот иероглифический язык предстает как нечто цельное, объединенное общим кругом идей и образов и тождественным стилем. И поскольку изображения богов в уменьшенном виде занимают свое место в ряду прочих иероглифических знаков, это значит, что все иероглифы возникли одновременно и оставались с тех пор неизменными, а возникновение их должно приходиться на такую эпоху, когда египетское учение о богах уже вполне сформировалось и достигло законченности.

В древнейший мировой период, на протяжении первых тридцати трех веков нашего обычного летосчисления, отдельные нации, на которые было разделено человечество, развивались по большей части лишь внутренне, независимо друг от друга,

каждая сама по себе, а два великих древних царства или народа: Индия и Китай — и до наших дней остаются в этом изолированном, почти полностью отделенном от остального мира состоянии. Напротив, отличительный признак, который с самого начала характерным образом отмечает второй мировой период, заключается в том, что здесь одновременно с началом первых великих завоеваний устанавливается гораздо более тесная взаимосвязь, обоюдостороннее влияние, живое общение и разнообразное взаимодействие между многочисленными нациями и даже во всем круге народов, составлявших в то время цивилизованный мир; и с развитием этой взаимосвязи народов берет отсчет новая, более ясная для исторической науки и, благодаря наличию разносторонних свидетельств, в целом, лучше исследованная эпоха, начавшаяся всего лишь за шесть или, в лучшем случае, семь сотен лет до начала нашего христианского летосчисления. Первые персидские завоеватели продвигались к своей цели семимильными шагами, ибо сразу же после того, как Кир, основатель персидского царства, сделался повелителем этих срединных земель Западной Азии, а также Малоазийского полуострова, последовало завоевание Египта Камбисом, а немного спустя и великий поход Ксеркса на Грецию, завершившийся, однако, поражением благодаря мужеству ее защитников. Египет, по своей духовной направленности, культуре и внутреннему устройству обнаруживающий большую аналогию и родство с обеими вышеупомянутыми строго изолированными великими нациями первого мирового периода, по своим политическим отношениям целиком относится к тому же персидско-финикийско-греческому кругу народов, населявших Западную Азию и Средиземноморье, и потому уместно будет включить сюда также и краткий очерк его внешней истории вплоть до персидского завоевания, насколько это необходимо для понимания взаимосвязи целого. Длинный список древних царских имен, принадлежавших более чем двадцати династиям фараонов со всеобщей точки зрения всемирной истории и ее философии почти не содержит ничего особо интересного или важного. Однако примечательно то, как часто и с каким размахом предпринимались завоевательные походы в те древнейшие века египетской истории, ибо все это время речь идет лишь об этих походах, а не о постоянном владении захваченными землями. Сенусерт, завоевавший еще при жизни своего отца Аменофиса Аравийское побережье, затем занял Ливию и Эфиопию, после чего, как сообщается, покорил Бактрию, победил скиф-

ские народы в кавказских землях, в Колхиде и вплоть до самого Дона, а кроме того, овладел также Фракией. Египетское происхождение обитателей Колхиды или, во всяком случае, наличие в этой стране египетской колонии древние авторы считали историческим фактом. Еще более раннему фараону Озимандию приписывается поход с неисчислимым войском, предпринятый для покорения отпавших от Египта бактрийцев, а победоносное войско Озириса в своем походе достигло даже, якобы, с одной стороны, берегов Ганга, а с другой — истоков Дуная. Здесь, прежде всего, следует задаться вопросом: не было ли у египтян таких же эпических поэм, как «Рамаяна» и «Махабхарата» у индийцев, и не из них ли могли быть позаимствованы все эти удивительные сообщения? Или же они имеют чисто мифологический смысл, как это следует предполагать, по крайней мере, в том, что касается похода Озириса? В известную нам историческую эпоху Египет, в сущности, не был покорителем мира, или, во всяком случае, его завоевания всегда были непрочными и непродолжительными, хотя в это время ему и случалось ненадолго овладевать иными землями или совершать завоевательные походы и вообще довольно глубоко вторгаться в политическую жизнь других народов и государств и нередко сталкиваться с их жесткой реакцией и противодействием. Часть Ливии, прилегающее к Красному морю Аравийское побережье, а также Каменистая Аравия, судя по свидетельству найденных там монументов с иероглифическими надписями, довольно долго находились во владении фараонов, равно как и Эфиопия или, по крайней мере, ее значительная часть. Для строительства многочисленных великих монументов и сооружений, сосредоточенных в Фиваидской провинции, требовалось, по-видимому, больше человеческих рук, чем мог бы предоставить собственно Египет, сам по себе на тот момент небольшой. Подобно тому, как Эфиопия вначале была завоевана египтянами и перешла под их власть, сами эфиопляне, со своей стороны, впоследствии также вторглись в Египет и основали здесь собственную царскую династию. Второй из этих эфиопских фараонов, Тиргака, стремился еще более расширить свои завоевания, особенно в Ливии и на северном побережье Африки, и дошел будто бы даже до самых Геркулесовых столпов, или нынешнего Гибралтарского пролива. С другой стороны, имеется историческое свидетельство того, что и карфагеняне во времена владычества рода Магонов покорили столицу египетских фараонов Фивы. Фараон, известный в еврейских исторических книгах под именем Суасаким

и на некоторое время овладевший Иерусалимом, упоминается в египетских надписях под именем Шешонк. Примечательно и то, что на древнеегипетских памятниках встречаются картины батальных сцен с изображениями пленников весьма необычного вида или принадлежащих географически удаленным народам, среди которых встречаются люди с рыжими волосами, голубыми глазами и татуированными ногами, что вполне совпадает с описаниями скифских народов, оставленных некоторыми древними писателями. В еще гораздо более раннее время египетским тронном завладел народ финикийского или, вероятнее всего, арабского происхождения и основал династию гиксосов, то есть, «царей-пастухов». Некоторые пытались отождествить их с израильтянами, однако во всей истории о первоначально радушном приеме еврейской колонии при правлении Иосифа, о последующем угнетении и, наконец, о ее исходе из Египта под предводительством Моисея не найти ни единого упоминания, ни даже малейшего следа, свидетельствующего о подобном владычестве еврейских пастухов над Египтом или об основанной ими династии, да и прочие обстоятельства не согласуются с таким предположением. Вообще же, в Египте имели место разного рода многообразные осложнения в отношениях с многими сопредельными народами и племенами, и в некоторых чертах эти события вполне могут казаться схожими, что, конечно, еще не означает их тождества. Однако, если считать доказанным, что Сенусерт взшел на трон непосредственно после осуществленного его отцом изгнания гиксосов, то, поскольку за подобными восстаниями против чужеземного владычества и иностранной династии, пробуждающими в народе воинский дух, нередко следуют дальнейшие отважные предприятия, в этом обстоятельстве можно усмотреть повод считать известия о завоеваниях Сенурсерта (сколь бы преувеличенными они ни были), все же не совсем лишенными исторического основания. Достоверно известно, что во многих, в том числе, достаточно удаленных от Египта местах в древности существовали колонии несомненно египетского происхождения, в особенности, жреческие, и что не все поселения, из которых высокая культура распространялась по Греции и другим средиземноморским странам, следует возводить к одним финикийцам, поскольку даже из самой Греции генеалогия столь многих царских родов, множества древних городов и, если не всех, то большинства мистерий, особенно орфических, возвращает нас в Египет. И потому, во всяком случае, можно себе представить, что в то древнейшее время, к которому относятся упоминания о многочисленных египетских походах, из Египта могли отправляться

и вооруженные колонисты, которые, в отличие от финикийских поселений и колоний, не всегда преследовали чисто меркантильные цели, но, возможно, отчасти руководствовались и религиозным побуждением (подобно тому, как схожие причины оказали столь очевидное и решительное влияние на первые персидские завоевания); а именно, они могли руководствоваться стремлением к распространению мистерий, которые должны были поднять народы тогда еще варварского Запада на более высокую — по египетским представлениям — ступень культуры и одновременно прочно связать их с Египтом. Внутренние смуты и разделения также могли быть одной из причин столь продолжительных странствий, которые нам издавна кажутся загадочными или бессмысленными. Подобные внутренние политические раздоры в Египте принимали многообразные формы. Сама страна нередко оказывалась разделенной на множество царств, но даже в периоды единства в ней можно отметить противоборство интересов сельскохозяйственной провинции Верхнего Египта и занятого ремеслами и торговлей Нижнего Египта, подобно тому, как такие конфликты интересов нередко отмечаются и в современных государствах. В период, предшествующий персидскому завоеванию, каста воинов, то есть, все аристократическое сословие, находилось в решительной оппозиции фараонам, поскольку последние, как им казалось, чрезмерно склонялись в сторону теократии; с подобным историческим упоминанием о соперничестве и политической вражде между брахманами и родом кшатриев нам уже приходилось сталкиваться в Индии. При фараоне Псамметихе, — а именно он, как сообщают, первым остановил и отбросил скифские народы, чьи неукротимые набеги не раз повергали в трепет всю Азию, — такая антипатия египетской касты воинов привела к тому, что этот правитель призвал на свою защиту великое множество греческих наемников, из-за чего, как, впрочем и вследствие многочисленных взаимных торговых отношений, а также благодаря греческим колониям в Нижнем Египте, эта страна еще до начала персидского завоевания стала наполовину греческой, чем, так сказать, уже была вымощена дорога и распахнуты ворота и для персидского, и последующего греческого завоевания, ибо почти всегда страны и царства оказываются незаметно подточенными изнутри, прежде чем делаются добычей иноземного завоевателя.

Классические писатели древности большей частью начинают свою всемирную историю с ассиро-вавилонского царства, предшествовавшего мидийско-персидскому, и открывают древнейший, мифический период истории баснословными завоеватель-

ными походами Семирамиды, подобно тому, как это бывает и в древнейших сказаниях и исторических анналах иных азиатских народов. Более историчным представляется завоевание Мидии Нином. Однако самый простой и потому наиболее правильный взгляд на этот предмет заключается, должно быть, в том, что здесь, в этой обширном средиземьи Западной Азии находятся четыре важнейших сопредельных страны: Вавилон и Ассирия, Мидия и Персия, — которые нередко образовывали отдельные царства; когда же они объединялись, господствующее положение попеременно занимала то одна, то другая провинция, бывшая домом правящей династии, отчего великие столицы этих четырех земель: Вавилон или Ниневия, Экбатана и Сузы или Персеполь — в периоды своего расцвета поочередно становились столицами всего этого царства. И потому эту так называемую первую всемирную ассиро-вавилонскую монархию следует рассматривать не столько как самостоятельный исторический период, сколько как древнейшую династию единой великой азиатской империи, за которой последовала вторая, мидийско-персидская династия; точно таким же образом наследники Александра Македонского основали в этой империи новую, собственную династию, а в еще более позднее время парфянский народ, чьи земли изначально лежали несколько далее к северо-востоку, основал здесь еще одну, снова местную династию, представлявшую немалую опасность для римлян. Здесь, в этом великом средиземье Западной Азии, лежит подлинная родина всемирных завоеваний, здесь совершено это открытие и отсюда произошел этот дух, ибо уже сама страна во всех направлениях предлагает удобнейшие возможности для подобного рода предприятий. И сюда же помещает священная история Моисеева Откровения местопребывание первого всемирного властителя и источник всяческой жажды завоеваний. Еще и поныне на том месте, где стоял древний Вавилон, находятся громадные руины, именуемые у жителей той местности замком Нимрода, которые даже современного путешественника невольно заставляют вспомнить древний рассказ о строительстве гигантской башни, бывшей, весьма вероятно, частью великого храма Бэла, который со своими восемью этажами или гигантскими уступами простирался вверх на огромную высоту, а в качестве своей вершины имел колоссальное изображение почитавшегося здесь национального бога Солнца. Еще и в наше время руины этого храма, громоздящиеся друг на друге громадными массами, местами словно остекленевшие от страшного

жара, производят возвышенное впечатление и достигают таких высот, что пролетающие по небу облака касаются их вершин, между тем как львы возлежат на обломках этих стен или устраивают себе логово в пещерах под ними. Здесь же некоторые пытаются отыскать и определить то место, на котором располагались громадные террасы с висячими или парящими садами, как называли их древние, которые ассирийский властитель в угоду своей мидийской супруге велел насадить в своей скудной деревьями стране; широко рассеянные в этой же местности кучи и даже целые холмы из кирпичей со следами вавилонской клинописи свидетельствуют о существовании здесь большого города и его неслыханных размерах, масштабом для которых могут служить только иные похожие азиатские города, но никак не наши европейские. И потому совершенно естественным образом во все времена эта вавилонская башня оставалась аллегорией всякого превозносящегося до небес творения надменного могущества, которое рано или поздно будет низвергнуто и далеко рассеяно рукою божественной Немезиды; в самом же Откровении Вавилон, опьяненный чашей господства и упившийся кровью народов, является проходящим через все мировые эпохи, от начала истории до конца времен, великим всемирно-историческим символом всякого народогубительного начала бессмысленной языческой гордыни. Здесь родилась эта пагуба, хотя первое ассирийское царство еще не могло столь далеко распространить свое влияние на иные народы в сторону запада, а подлинная эпоха всемирных завоеваний начинается с персидского царя Кира; в то время как древний Вавилон сохранял свою власть лишь благодаря тому, что, как это не раз повторялось в истории, изнутри духовно покорял своих победителей изнеженностью нравов, так что те оставляли своих отеческих богов и предавались совершенно чувственному вавилонскому почитанию природы. Персы же, ставшие, в свою очередь, господствующим народом, в основанном ими новом царстве были теснейшим образом связаны и объединены — по крайней мере, политически — в единую нацию с некогда более могущественными мидянами; однако первоначально оба этих народа различались по происхождению и языку и даже еще позднее демонстрировали некоторые следы взаимного соперничества, что случалось, например, при дворцовых переворотах или прочих насильственных переменах на троне. Еще большему укреплению этого единства, по крайней мере, с внешней стороны, служил институт магов, введенный и учрежденный основателем

персидского царства Киром, ибо маги были по происхождению мидяне, точно так же, как и Зенд — священные книги этой религии — изначально были составлены не на персидском языке, а на двух различных мидийских диалектах, если только один из них не был скорее бактрийским. Маги были не столько наследственной кастой жрецов, сколько союзом или орденом, с разделением на ступени или степени ученика, мастера и совершенного мастера, подобно тому как это бывает и в других мистериях. Однако чужеземцев в мидийский жреческий орден принимали с трудом; так, в порядке особой привилегии по настоятельному требованию персидского царя это было позволено Фемистоклу, когда тот пребывал при его дворе. Не было ли древнее учение персов и их сказания о свете существенно изменены уже мидийским реставратором или обновителем Зороастром, содержались ли они в полной чистоте этим орденом магов — все это находится под большим вопросом или, по крайней мере, в этом позволительно усомниться. Несомненно лишь, что у сохранившегося до наших дней малого остатка секты парсов или огнепоклонников это древнейшее почитание природы находится в состоянии совершенного вырождения. На орден магов в персидском царстве было возложено воспитание царя, что давало им весьма могущественное влияние; они пользовались большим авторитетом при персидской Порте — уже тогда столица царства и резиденция его владыки называлась этим азиатским именем — и принимали деятельнейшее участие в распрах, разворачивавшихся вокруг трона или в его непосредственной близости. В Греции и даже в Египте мистерии как сообщества жрецов и братства посвященных обычно играли второстепенную, хотя и немаловажную роль в политике — в персидском же государстве они превратились в основную политическую силу. Другое основание царства покоилось на персидской аристократии или благороднейшем роде пасаргадов, который непосредственно окружал трон, пользовался весьма значительными привилегиями и составлял собственно персидское ядро армии. На строгом нравственном, воинском воспитании этой персидской аристократии, идеально прекрасную картину которого набросал Ксенофонт, покоилась внутренняя сила этой нации. И, несомненно, пренебрежение этим древнеперсидским воспитанием было, по крайней мере, одной из основных причин упадка государства, который углублялся с ужасающей скоростью по мере падения и разложения нравов. Когда миновал первый взлет и первоначальный строгий нравственный стиль, господствовавший при ос-

нователе персидского царства Кире, общественная нравственность приобрела тот же облик, который до сих пор обнаруживается во всех великих восточных империях. Те же самые бедствия, которые влечет за собой господство сатрапов в провинциях и управление страной из сераля: распри, заговоры, перевороты, замышляемые внутри самой правящей династии, и подобные им акты деспотического насилия — обнаруживают здесь те же самые черты; и даже отдельные характерные привычки или обычаи подобного азиатского образа правления в нынешнем персидском царстве можно наблюдать в точно таком же виде, в каком они известны нам по сообщениям древних авторов.

Армия по большей части состояла из войск, набранных из числа покоренных народов, и чем больше она была, тем хуже была ее внутренняя организация; потому нетрудно понять, как небольшие греческие отряды, воины которых были исполнены патриотической неустрашимости, а военачальники обладали подлинным тактическим чутьем и пониманием, оказали этому громадному войску такое сопротивление, которое, судя по соотношению их численностей, было совершенно невероятным, как они одерживали над ним неожиданные победы и почему, наконец, для совершеннейшего падения этого громадного царства достаточно было трех поражений в битвах с Александром Великим: внутренняя жизнь страны и без того находилась в полном упадке, и опоры, на которых держалось это великое государство, вконец прогнили. Всего же персидская империя просуществовала недолго: двести двадцать лет от основания при Кире до правления ее последнего царя — Дария, чей личный характер и гибель, несомненно, производят на нас трогательное и трагическое впечатление. Вообще же скоротечность персидских завоеваний представлялась современникам чем-то схожим с буйством природной стихии. Неожиданно и стремительно, как ураган, персы с налета покоряли целые страны и царства; поход Ксеркса на Грецию казался настоящим людским потоком; и как пожирающий огонь, когда высоко вспыхнув, он охватывает и опустошает все вокруг себя, а потом внезапно гаснет, — так было и здесь. Воздействие персидского владычества на другие, еще ранее сформировавшиеся нации, было непродолжительным; Египет, невзирая на жестокое насилие, которому подверг его Камбис, остался все тем же Египтом и даже еще более утвердился в своем прежнем характере при мягком правлении Птолемея, сообразующемся с природой страны и духом ее обитателей. Финикия, Палестина и Малая Азия также не претерпели суще-

ственных изменений. Главный результат эпохи персидских завоеваний с точки зрения всемирной истории заключался в том, что все перечисленные народы Западной Азии, а также Египет, греческие государства и прочие средиземноморские страны пришли в оживленнейшее соприкосновение друг с другом и установили разнообразные связи, которые они непрерывно поддерживали с тех самых пор. Воздействие персидской державы и борьбы с нею на Грецию было хотя и весьма большим, однако, скорее, опосредованным — в той мере, в которой оно сперва способствовало внутригреческой борьбе за свободу, а затем послужило причиной сильной реакции при Александре Великом. Эта ответная реакция греков была по своему духу и характеру в чем-то сходна со своим побудительным мотивом; по крайней мере, в самом Александре Великом невозможно не распознать то же восточное по своему духу устремление, которое не могло насытиться малым отеческим уделом Александра — Македонским царством, — но вышло далеко за пределы греческого духовного мира, господствующих в нем понятий и образа мысли; я назвал бы это устремление восточным энтузиазмом, и именно он с неудержимой силой увлек властителя Македонии и довел его до самой столицы Персидского царства и даже еще дальше — в земли, лежащие по ту сторону Инда.





ВОСЬМАЯ ЛЕКЦИЯ

**О многообразии греческой жизни и духа;
о воспитании и изящных искусствах,
затем о зарождении естественных наук
и философии у греков,
а также об их политическом вырождении**

Во всей сколь-нибудь известной нам области всемирной истории было бы нелегко отыскать более разительное отличие, более полную противоположность во всей сфере духовной культуры или нравственного развития народов, чем различие между совершенно замкнутым в себе единством азиатского духа и почти застывшей монотонностью восточного уклада жизни и общественного устройства и, с другой стороны, этой столь разносторонней активностью, столь живым многообразием жизни греческого народа, которое заявляет о себе в древнейшую цветущую эпоху его истории, уже от самых ее начал и истоков. Многосторонность духовного развития и нравственной направленности греков обнаруживается не только во множестве их законов и форм государственности, в их нравах, ремеслах и житейских обычаях, но заявляет о себе также в широком рассеянии и большом многообразии видов поселений у греков, в их смешанном из самых разнородных элементов происхождении и в различных по своему характеру начатках их культуры, в разделении греческого народа на многочисленные враждующие племена, на великое множество малых и более крупных государств и даже в легендах, истории и проистекающих отсюда искусствах, вместе с их видами и направлениями, и, наконец, в греческой науке, охваченной нескончаемыми пререканиями и переходящей

через бесчисленные противоречия от одной системы к другой. В Азии, даже там, где, как у индийцев, имело место весьма многообразное и в этом отношении внешне схожее с греческим развитие духа в поэзии, в общем мировоззрении и в различных системах мышления, и где равным образом в древности вся страна или весь народ никогда не были прочно объединены в одном строго замкнутом в себе государстве, по меньшей мере внутренний образ мысли и господствующее в целом умонастроение были всегда монархическими, исходящими из бесконечного Единого или вновь возвращающимися к этому вечному Единству. В Греции, напротив, наука, как и сама жизнь, была также совершенно республиканской; и даже если в ней у отдельных мыслителей обнаруживается азиатское или сходное с ним учение о единстве, то только как исключение, как систему, воспринятую лишь из любви к переменам, из противоречия привычному и общепринятому образу мысли, согласно которому все в мире и в природе, как и в самом человеке, находится в состоянии беспрестанного движения, непрерывных изменений и свободной жизни. Даже баснословный мир греческих богов, каким изображают его древние поэты, имеет отчетливо республиканскую окраску; здесь все так же переменчиво, пребывает в непрестанном поиске новых форм и во внутреннем раздоре борющихся природных стихий, и в поэтической вражде древних и новых, верхних и нижних богов, гигантов и героев, враждующих друг с другом, движимых многообразными взаимными противоречиями и в целом являющих собою картину изрядной поэтической анархии. Потому и сказания греков, даже исторические, и древнейшая история их первоначальных мест обитания, колоний и переселений различных племен предстает взору исследователя густым лесом, где смешались правда и вымысел, облеченные в поэзию догадки, откровенные басни и вполне достоверные древние повести, или поэтически-историческим лабиринтом, в хитросплетениях которого исторической критике подчас бывает нелегко обнаружить верный выход, найти и удержать путеводную нить Ариадны, чтобы ясно упорядочить и правильно сопоставить все детали. Не только собственно в Греции, на полуострове Пелопоннес и близлежащих островах, на южных равнинах материка, где нередко трудно бывает точно определить границы, отделяющие греков от негреческих племен, или на западных побережьях Малой Азии проживали греческие народы и племена — в самых отдаленных углах Черноморья, в египетских землях в нижнем течении Нила, где задолго до персидских войн

имелось множество греческих поселений, вдоль побережья Северной Африки, где лежала цветущая Кирена, по всему южному побережью Испании и Галлии, по всей Южной Италии и Сицилии было разбросано великое множество их поселений, цветущих колоний и малых государств. Их мореплаватели достигали даже Балтийского моря, свидетельством чему путешествие Пифея; и если греки и не обогнули Африку (ведь даже в том, что это сделали финикийцы, существуют сомнения), то они, во всяком случае, скорее превосходили последних активностью в торговле, обширностью и богатством колоний, нежели уступали им в этих отношениях. Если выдающиеся памятники и великие сооружения египтян в целом отличаются колоссальными размерами, то, напротив, архитектурные и скульптурные творения греков (хотя некоторые из них также грандиозны по своему масштабу) несравненно многообразнее, богаче украшены, живее и прекраснее, чем египетские. Однако греки были не просто нацией мореплавателей и торговцев, как финикийцы, и не состязались с египтянами в возведении гордых зданий, требовавшем многих тысяч человеческих рук, зато начиная с древнейших времен они были воинственным, закаленным в сражениях народом. Даже независимо от патриотического воодушевления и защиты отечества они смотрели на войну как на образ жизни, как на занятие или профессию и любили ее; что в особенности ясно проявляется в том, что египетские фараоны в последнюю эпоху перед персидским завоеванием и задолго до греко-персидских войн не просто нанимали на службу греческие вооруженные отряды, но и все их войско состояло преимущественно из таких наемников; то же самое имело место и в Карфагене, а впоследствии сами персидские цари имели у себя на службе большие греческие отряды и даже целые войска. Эта рано сложившийся у греков обычай поступать наемниками на военную службу в чужих странах мог бы, конечно, послужить им превосходной школой и подготовкой к последующим великим национальным войнам, однако во время оных первые решающие подвиги были совершены небольшими отрядами из Спарты, Афин или других свободных государств, то есть, вооруженными вольными гражданами или их лучшей, избранной частью, а на национальный образ мысли, нравственные убеждения и взаимные отношения греческих племен и народов между собою этот обычай, должно быть, вовсе не имел доброго и благоприятного влияния. Поскольку почти всегда народы мореплавателей, а также города и малые государства, всецело живущие торговлей, пока

они не достигают крупных размеров, склонны к республиканскому устройству, в упомянутых греческих колониях и поселениях, рассеянных по берегам Средиземного моря, господствовала преимущественно эта форма правления. Однако и здесь имело место большое многообразие различных форм государственного устройства, поскольку наряду с многочисленными государствами, занимавшимися мелкими ремеслами и торговлей, имелись и другие, полностью или по большей части основанные на земледелии и землевладении, такие как Спарта и прочие. В этих государствах господствующее сословие со временем образовывала владеющая землей наследственная аристократия, поскольку греки вообще придавали необычайно большое значение происхождению благородных семейств и правящих династий от героев древности. Исконный политический строй многих, почти большинства этих небольших греческих республик определялся, по крайней мере, поначалу, довольно умеренной аристократией, во главе которой часто стоял наследственный вождь или царь. В отдельных государствах, как, например, в Афинах, переход от этого старого строя с наследственным правителем во главе к совершенно республиканскому устройству происходил медленно и постепенно, и потому и память о некогда бывших царях, например, о павшем за отечество Кодре, здесь, скорее, почиталась с любовью. Ненависть народа в Афинах была направлена лишь на тех предводителей государства, которые, как Писистрат, добившись власти с помощью простой демагогии, стремились затем еще больше расширить и навсегда упрочить ее силой оружия и руками чужеземных наемников. Впрочем, и Писистрат обладал выдающимися качествами, а правление его было, в целом, мягким и согласным с Солоновыми законами, однако власть его была все же узурпированной и основанной на неправомерном насилии. Позднее, во все более и более демократические времена, — ибо нигде во всей природе нет другого столь неблагодарного существа, как ставшая суверенной народная власть, вершащая всё по своей прихоти и произволу, — ненависть народа, ревниво и недоверчиво оберегавшего свою свободу и легко поддававшегося обману со стороны софистических ораторов, обращалась почти против всех великих мужей и заслуженнейших граждан этого государства. Полководец Мильтиад умер в темнице, справедливый Аристид, Кимон и многие другие, были подвергнуты остракизму и умерли в изгнании, равно как и великие историки Геродот и Фукидид. Даже Фемистокл, истинный спаситель Афин и всей Греции, вынужден был искать

прибежища при персидском дворе, где обрел радушный прием и покровительство. Мудрейшему из Афинян, учителю Платона, всегда бывшему честным гражданином и смелым защитником отечества, наградой стал кубок с ядом. Однако той ненависти к царям и к самой монархии, какая с самого начала имела место в Древнем Риме, мы, пожалуй, не обнаружим ни в Древних Афинах, ни в других греческих республиках той ранней эпохи. Ведь даже в Спартанском государстве, несмотря на его республиканский строй, царская власть и достоинство продолжали непрерывно существовать вплоть до его последних времен, пока в Македонии не поднялось новое царство, сумевшее сперва установить протекторат над всеми прочими государствами, а под конец — утвердить свое деспотическое господство и надо всей Грецией. Даже там, где политический строй был более демократическим, то есть, опирающимся не на наследственную аристократию и землевладение, но наряду с ними и главным образом — на обладание движимым имуществом, торговлю и ремесла, мы не должны предполагать той же арифметической свободы и равенства и надеяться обнаружить их здесь в том же виде, что и в наших современных свободных государствах, как, например, северо-американских. Число подлинно свободных, наделенных правом избирать и быть избранными граждан было чрезвычайно мало по отношению к целому, значительно же бóльшая часть его была лишена свободы и прав, и великое множество купленных рабов использовалось для работы на фабриках или в земледелии — особенно в торговых государствах; этот повсеместно господствовавший обычай и тяжелое угнетение рабов составляет весьма скверную, совершенно не соответствующую нашему идеалу и саму по себе унижительную для человеческого достоинства обратную сторону древних республик. Другую разновидность и форму рабства образовывали в удаленных от моря и более аристократически устроенных государствах потомки некогда покоренного местного населения страны: илоты в Спарте и пенесты в Фессалии, которых победители в своем новом государстве превращали не просто, как сказали бы мы, в зависимых подданных или крепостных, а в настоящих рабов, с которыми обращались, по большей части, весьма жестоко. За исключением этого момента, господствовавшая в большинстве греческих республик аристократия в целом была весьма привержена к порядку и обладала, в силу ряда сопутствующих обстоятельств, довольно мягкими нравами, а в отдельных случаях и высоким благородством. Древние отеческие нравы и обычаи, да и сам малый размер государств содей-

ствовали ее смягчению; мудрые законы — такие как Солоновы и ему подобные — упрочили и одновременно бережно упорядочили ее; а республиканские добродетели и личный характер ее граждан, живших в первую и лучшую эпоху простоты нравов, еще не уничтоженной распадом, способствовали ее облагораживанию. Впрочем, в большинстве государств торговля и ремесла приобретали все больший вес и влияние, и безраздельное господство наследственной аристократии в них уже не могло сформироваться или, однажды сформировавшись, надолго оставаться безраздельным. Даже жречество, — поскольку здесь невозможно было и представить себе такого подавляющего господства наследственной жреческой касты, как в Египте, так что, по крайней мере, эта политическая опасность Греции не угрожала, — даже жречество, поддерживавшее древние отеческие обычаи, нравы и права, на которых, в свою очередь, было основано его собственное существование, могло оказывать только смягчающее влияние на общественную жизнь хотя бы уже тем, что служило противовесом своекорыстию аристократии, а временами становилось последней преградой на пути засилья демагогии. В особенности мистерии — если и не всегда, как в своем начале, насаждавшие лучшие нравы, то, во всяком случае, распространявшие серьезное вероучение и более духовное мировоззрение — оказывали облагораживающее и, наряду с Олимпийскими и Истмийскими играми, в целом, весьма благотворное влияние, действуя как объединяющая сила в терзаемой многообразными разделениями и внутренними раздорами эллинской нации. Поистине, эти воспетые в праздничной поэзии народные гимнастические игры как ничто иное скрепляли непрочные, в сущности, узы, связывавшие эту нацию, а в самые опасные моменты ее воодушевлял и спланивал воедино Дельфийский оракул. Ибо, по крайней мере, политические изречения Дельфийской сивиллы не были ложными предсказаниями в том смысле, что в подобные моменты высшей опасности они, как правило, не давали иных советов, кроме исполненных патриотического мужества, мудрости, разума и призывающих к полному единодушию. Итак, насколько многообразными были с самого начала места проживания, поселения, образ жизни и ремесла, нравственное состояние и политические установления греческих племен и насколько они различались между собою, настолько разнородными были и первые начала их цивилизации. Финикиец Кадм, согласно легенде, впервые принес в город Фивы буквенное письмо, а вместе с ним, несомненно,

и многие иные познания; египтянин Кекропс заложил основы древнейших нравственных установлений и политического строя Афин; фракиец Орфей, хотя его учение было, как полагали, более согласно с египетским, основал столь широко распространенные мистерии, названные в его честь, и пытался пением укротить ужасы преисподней и одолеть силу тьмы. Очень много иных имен можно бы было добавить к упомянутым выше; в том числе и немало таких, чье происхождение, в отличие от иных и, разумеется, более многочисленных случаев, нельзя возвести ни к Финикии, ни к Египту; но и сами эти люди, и принесенные ими учения или священные обычаи определенно происходят скорее с севера, — возможно, даже от азиатов, живших к северу от Кавказа, хотя и те состояли в близком родстве с другими народами, проживавшими далее к северу и западу. На этот, не менее важный, чем остальные, нордический пласт, лежащий в основании древнейшей истории Греции, неоднократно и единогласно указывали глубокие исследования ряда новейших ученых, основанные на столь многочисленных свидетельствах древних авторов, что эта сторона целого, прежде зачастую пренебрегаемая, теперь уже не может быть оставлена без внимания. Таким же совершенно разнородным было и первоначальное происхождение греков; и в разных греческих землях наряду с собственно эллинами можно отчетливо выделить если не несколько, то, по крайней мере, два совершенно отличных от них основных народа, которые впоследствии целиком или частично смешались с ними. Первый из них, фракийцы, проживавшие в северных или непосредственно граничащих с ними землях, были в наибольшей степени собственно нордическим народом, который, быть может, относился к той же семье, что и другие народы, занимавшие земли вплоть до Дуная и к северу от него, и который, наряду с индийским, Геродот почитал самым многочисленным на свете. Вторым подобным народом были пеласги — подлинно исконные жители Греции, строители тех особого рода гигантских стен и сооружений, что в Италии именуют циклопическими, а в Греции — пеласгическими, из которых некоторые еще сохранились, а еще более многие упоминаются древними, особенно на Пелопоннесе. Эти исконные жители или коренные народы во многих странах обнаруживают почти те же самые или весьма схожие характерные черты: строительство сооружений упомянутого рода, известные навыки в обработке металлов, грубые религиозные обычаи при полном отсутствии каких-либо сказаний о богах (все они позднего происхождения) и даже осо-

бых имен этих богов; затем, человеческие жертвоприношения и если и не совершенная, первобытная дикость, то крайне грубый характер нравов, постоянная непоседливость и склонность к скитаниям. Прародителем в собственном смысле эллинов может считаться один лишь Девкалион, к которому возводят свое происхождение все знатнейшие роды героев и царей, а позднейшие греческие племена эолийцев, ионийцев и дорийцев названы по именам его сыновей. Судя по всем указаниям, эллины были кавказским племенем азиатов индийского или родственного ему происхождения. После того, как эти эллины: эолийцы и дорийцы — овладели Фессалией, прилегающими к ней землями и Пелопоннесом и поселились там, пеласги были отовсюду вытеснены или поработаны и отступили на второй план. Однако они, несомненно, не были полностью истреблены и не отправлены всем народом в изгнание, но, бесспорно, старые и новые племена так или иначе смешивались друг с другом, поскольку брачные союзы между ними здесь, в отличие от индийских и египетских кастовых порядков, не были запрещены или строго исключены, так что оба народа постепенно тем или иным образом срастались в одно племя и в одну нацию — смотря по тому, как складывались обстоятельства или особая ситуация в той или иной стране. Должно быть, этим и объясняется то, почему, например, Геродот приписывает ионийцам так много пеласгийских черт, словно под этим новым именем они по существу оставались прежними пеласгами или, по меньшей мере, сильно смешались с последними и потому не были таким же чисто эллинским племенем, как дорийцы; ведь в остальном пеласги и эллины упоминаются и характеризуются как два совершенно разных народа. Также и фракийцы, — хотя они гораздо дольше просуществовали самостоятельно, в качестве отдельного племени, — бесспорно, подверглись определенному смешению с граничившими или жившими на их землях эллинскими народами. Вообще же древнейшие обитатели Греции отличались грубостью понятий и дикостью нравов, пока, наконец, наряду с упомянутым благородным племенем Девкалионидов, сынов Прометеевых, пришедших с Кавказа, не возымели действия и другие источники более высокой культуры финикийского, египетского или иного азиатского происхождения, которые постепенно придали новый облик и всему народу Греции, и даже самой этой стране. Ибо эта земля, впоследствии столь красивая, столь богато одаренная природой и великолепно украшенная, до тех пор, пока она не была возделана и освоена, пока не была

сломлена и покорена сила буйствовавших в ней стихий, находилась в диком состоянии и была свидетельницей множества разрушительных природных катаклизмов, в которых, пожалуй, естественнее всего было бы усматривать ограниченные малым масштабом отдельных стран отдаленные отголоски той эпохи, когда на всем земном шаре вода была господствующей стихией, отзвуки тех опустошительных потоков древности. Здесь еще сохранялось неясное древнее предание о существовавшем некогда континенте Лектония, занимавшем в то время часть нынешнего греческого моря, от которого теперь сохранились лишь отдельные острова, прочая же суша обрушилась и погрузилась под воду; все это происходило в то время, когда Черное море, прежде соединявшееся с Каспийским, прорвалось через Босфор и, обрушив свои волны в Средиземное море, слилось с последним. Вся Фессалия в те древнейшие времена была большим озером, пока при схожей природной катастрофе река Пиньос не пробилла себе сквозь скалы выход в море. При царе Огиге озеро Копаис в Беотии, выйдя из берегов, затопило своими потоками местность, далеко выходящую за пределы долин, и потому вся эта эпоха древних потоков и сказания о ней впоследствии были названы огигийскими.

Позднее, когда состояние греческой нации было более развитым, в период наибольшего расцвета ее могущества и культуры, два ее важнейших племени: ионийцы и дорийцы были решительно разделены враждебным противостоянием в нравах, в искусстве, в политическом устройстве, в образе мысли и даже в философии; Афины стояли во главе одного, ионического племени — Спарта была главой другого, дорического союза государств, и этот внутренний раздор между государствами немало приблизил Грецию к ее окончательной катастрофе и совершил собою внутреннюю и внешнюю анархию, и без того уже увлекавшую греческий народ в бездну гибели. Теперь, когда мы вступаем в ту область, где все внешние события с достаточной полнотой, а отчасти и с непревзойденной красотой были изображены античными историографами, а также в прочих столь многочисленных трудах, черпающих из того же источника или хотя бы следующих возвышенному примеру своих древних предшественников, было бы бессмысленным повторением общеизвестных фактов, если бы я пустился в собственно историческое повествование, желая представить и изобразить, как после некоторых малозначительных внутривременных распрей и раздоров эллинская слава самым блестящим образом явила

себя в борьбе с персидским могуществом; как вскоре после того Греция совершенно истребила свои лучшие внутренние силы в великой Пелопоннесской гражданской войне между Афинами и Спартой и как ради суетной славы так называемой гегемонии или преимущественного положения и доминирования в общей системе греческих государств они, по сути, довели друг друга до полной гибели, пока, после недолгого господства фиванцев с единственным их великим мужем Эпаминондом, Грецией не завладели македоняне, чей деспотический гнет оказался более продолжительным и как, наконец, вся эта страна под предлогом мнимого освобождения оказалась под великодушным протекторатом римлян, чтобы вскоре под властью римских префектов и легионов попасть в прочную зависимость от них. Подобные, поучительные именно в полноте всей своей подробности и живой наглядности и, можно сказать, вечные истории должны быть прочитаны в книгах самих античных историков, изучены и со всех сторон основательно продуманы. Здесь я предполагаю все это известным и потому могу сосредоточиться лишь на как можно более живой характеристике греческого духа и вообще внутренней жизни, на его отношении к целому, на месте, занимаемом им в рамках этого целого и по отношению ко всеобщей истории и ее философии.

То, что с этой точки зрения представляет общий интерес в греческом характере, жизни и духе, легче и проще всего можно будет разделить преимущественно на три категории. Прежде всего, это божественное начало в их искусстве или вообще это столь тесно переплетенное с их сказаниями и поэзией, со всем их жизненным укладом, и даже нравами и государственным устройством мифологическое искусство (*Götterkunst*) — то, что более всего вызывает у нас удивление и восхищение. Затем, это их наука о природе, то совершенно естественное для них знание, объемлющее собою все предметы в мире, в природе, а также в истории и в самом человеке с предельной ясностью духа и открытостью разума, с живейшей определенностью выражения и красотой языка, которое от самых своих первоисточков до высочайшего совершенства в Платоне и Аристотеле стяжало себе у потомства неувыдаемую славу и во все времена неизменно оказывало глубокое и действенное влияние на человеческий дух. Наконец, третью и последнюю категорию и сферу нашего описания, обращенного к греческому характеру и греческой истории как целому, составляет рационалистическое государство позднего периода греческой

истории, всецело основанное на принципах и злободневных представлениях, одержавших победу в общественном мнении после ожесточеннейших партийных столкновений, и полностью подвластное риторике и силе красноречия, превратившейся в политическую власть. Все, что можно сказать действительно похвального о древнегреческих государствах, об их устройстве и республиканских добродетелях, выше уже было кратко упомянуто; что все это под конец пришло в состояние упадка и безграничной анархии и сгнуло под чужеземным владычеством римлян, можно с достаточной полнотой объяснить только упадком греческой науки и мышления, повлекшим за собой порчу нравов и убеждений, и почти уникальным в своем роде (по крайней мере, с точки зрения прочей древней истории) засилием софистов, простиравшимся также на общественную жизнь и государство, для коих это опасное искусство ложной риторики стало погибелью, положившей конец всему величию греческой нации. Удивительно живая мифология по праву занимает здесь первое место в величественной древней поэзии, ибо и все позднейшее искусство, даже изобразительное, происходит от этого первоначального гомеровского источника. И этот свежий поток жизни в мифологической поэзии и в древних сказаниях о богах и героях, струившийся и до сих пор струющийся сквозь все времена и у всех народов Запада, утверждает нас в великом всемирно-историческом опыте, который все, даже самое трудное, с мягкой настойчивостью ведет к своей цели, как это было единодушно признано даже в христианскую мировую эпоху и признается до сих пор, а именно, что всякое классическое воспитание и высшая духовная культура покоятся и должны покоиться на основе поэзии, а точнее — такой охватывающей мир ясным духом, полной живого чувства, бьющей ключом из источника самой природы, какой была поэзия гомеровская; ибо не может быть всеобъемлющей культуры, высшего развития всего человеческого духа и полноты сознания души, если в ней не будут пробуждены и приведены в движение эти основные чувства жизни, эта естественная внутренне плодотворная духовная сила в человеке, эта дивная фантазия, и, благодаря этому пробуждению, величественно развившись, примут благородный и прекрасный облик. Этот опыт был подтвержден веками, и потому слава гомеровских песен и вышедшей из них греческой духовной культуры стала непреходящей. Если попытаться построить духовную культуру народа исключительно на холодно-обособленной и мертвяще-абстрактной науке безо

всякой поэзии, то такой народ, пусть и наделенный математически отточенным интеллектом, разумеется, не будет и не сможет быть подлинно и всесторонне культурным, а вероятно, даже и причастным к живой науке и живому знанию, подлинному познанию и пониманию жизни.

Характерное преимущество этой гомеровской и вообще всей греческой поэзии заключается в том, что она держится мудрой середины между гигантскими порождениями восточного воображения — даже в более чистом воплощении индийского духа — и открытым взором пронизательного, наблюдающего мир естественного разума в эпоху ясной прозы, в более развитых и противоречивых жизненных условиях человеческого общества; и что она объединяет в себе два обычно противостоящих, а часто даже почти взаимоисключающих свойства: свежее вдохновение живейшего чувства природы, почерпнутого из первоисточника, увлекающий поток внутренне подвижной, плодотворно возрастающей и цветущей фантазии и ясное видение жизни одновременно с прекрасной соразмерностью и тонкостью суждения, исключаящими всякое преувеличение и всякую неподлинность, которыми после греков обладали лишь немногие народы (хотя, по всей видимости, ни один из них в той же мере), а до греков в таком виде, безусловно, не обладал никто.

Эта поэзия была самым неразрывным образом переплетена со всей общественной жизнью греков; общественные игры, народные празднества и состязания были ее многочисленными средоточиями; даже гимнастика и музыка были ее основами и и составляли почти весь круг высокого, благородного и культурного воспитания у греков. Оба этих слова следует понимать в самом широком и всеобъемлющем смысле: гимнастика, как предмет и цель общественных состязаний, как прекрасное и благородное искусство и совершенствующаяся в разного рода соревнованиях культура тела, близко соприкасалась и одновременно служила основой для изобразительного искусства и скульптуры, которые без подобного созерцания и разнообразия в нем никогда не смогли бы достичь той же благородной и свободной трактовки человеческого тела и столь многообразной красоты в его изображении. Музыка, или искусство муз, наряду с искусством звука охватывала также поэзию, представляемую в песнопении. Однако идея этого собственно греческого воспитания и высшей культуры всегда было несколько ограниченной и односторонне понятой; так что, когда позднее

к ним была добавлена риторика, то и ее рассматривали в качестве того, чем она не должна была быть никогда: как своего рода гимнастику мыслящего духа или как публичную игру перед народом, как состязание прекрасно сложенных, но мало заботящихся об истине речей. И потому грекам, согласно этому ограниченному и присущему исключительно им самим взгляду на воспитание, даже философия, когда она им стала известна, казалась ничем иным, как своего рода мусическим искусством мышления и внутренней гармонией мыслей и духовных устремлений или музыкой мыслящего сознания. Это продолжалось, пока усилиями софистов в эпоху господства обманщиков и обольстителей народа философия не погрузилась во всегубительную и всепоглощающую пучину риторики, которая есть смерть всякой истинной науки, равно как и всякого подлинного искусства и которая в метафизическом облачении под именем диалектики произвела не менее губительное влияние на школу, чем фальшивое политическое красноречие — на жизнь и государство. Изначальный принцип гармонии, принятый до этого софистического упадка, не был лишен благородства и даже может быть назван прекрасным, однако и он недостаточен и неудовлетворителен с точки зрения всех высших задач и целей философии и более глубоких путей пытливого человеческого духа. Из этих общественных состязаний, больших гимнастических народных празднеств и поэтических игр, имевших столь важные последствия и оказывавших большое влияние даже на единство общественной жизни и самого эллинского народа во всей его совокупности, и из исполнявшихся в таких случаях хоровых песнопений вышли греческое драматическое искусство и театр — поэзия хотя и менее общепонятная для других времен и народов, чем гомеровские поэмы (поскольку она значительно глубже вдается в индивидуальную жизнь греков), однако от этого не менее величественная в вымысле, искусная в изображении и возвышенная в характере и благородстве умонастроения, с лежащим в ее основании идеалом прекрасного. Также и дорические хоровые песнопения Пиндара в своей умеренной мягкости нередко поднимаются до трагического величия позднейших поэтов или до эпически всеобъемлющей полноты древнего Гомера. Еще ни одна нация не смогла достигнуть очарования и изящества Гомера, возвышенности Эсхила и прекрасного благородства Софокла, и, должно быть, неправильно было бы даже стремиться к этому, ибо истинной красоты и величия никогда не достичь путем подражания. Еврипида, уже полностью принадлежащего эпохе засилья ри-

торики, к первым упомянутым поэтам причисляют лишь те, кто неспособен до конца постичь и по достоинству оценить всю высоту греческого духа или в достаточной мере распознать его подлинный глубокий смысл⁷⁸. Примечательно, должно быть, и то обстоятельство, заслуживающее упоминания в силу общей склонности греческого духа к смелым противоположностям, что здесь же, в непосредственной близости с этими высочайшими трагическими творениями, сохраняющими свое величие на все последующие времена, возникла и сформировалась и древняя народная комедия, чья изобретательная фантазия не исключала ни самых смелых мифологических вымыслов, ни острот в адрес богов, в то время как подлинным ее ремеслом стало схватывать в самой заостренной форме все, что есть смешного в обыденной жизни и без малейшего снисхождения выставлять это на всеобщее обозрение.

Что лежащее в основе всякого язычества (а в особенности и едва ли не более, чем какого-либо другого, в основе язычества греческого) чувственное обожествление природы должно было иметь весьма невыгодное влияние на нравственность греков, что отсутствие твердого, основанного на Боге и истинно нравственного порядка даже и при более простых жизненных отношениях без труда могло повлечь за собой глубокое вырождение и даже некоторые противоестественные явления, и что воцарившаяся безнравственность с упадком государства и самой эпохи должна была достигнуть ужасающей степени, все это очевидно само по себе, и, позаимствовав к тому же

⁷⁸ Критическое отношение к Еврипиду в немецкой романтике обусловлено его акцентом на субъективном переживании. А.-В. Шлегель писал: «Еврипид не просто разрушил внешнюю закономерность трагедии, но исказил и весь ее смысл». См.: Schlegel A. W. Kritische Schriften und Briefe. Hrsg. von E. Lohner, Bd 3. Stuttgart, 1964, S. 294. Жесткая критика Еврипида звучит и у Ф. Ницше в «Происхождении трагедии» (1872). После Еврипида, писал Ницше, эллинизм быстро одряхлело, став «светлой радостью рабов» и именно этот призрак возмущал «глубокие и грозные натуры в первые четыре века христианства». См.: Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинизм и пессимизм. М.: 2001. С. 125. В драме Еврипида, продолжает Ницше, вместо аполлонийского созерцания мы находим лишь мысли-парадоксы, вместо дионисийских восхищений — распаленные аффекты. См.: Там же, с. 132. Но начало уничтожения хора в греческом театре и, соответственно, начало кризиса эллинского духа следует отсчитывать еще начиная с деятельности Софокла. См.: Там же, с. 144—145. Таким образом, мы обнаруживаем одну из нитей духовной традиции, соединяющей романтиков и Ницше, философию романтизма и философию жизни. Здесь происходит открытие структурной тождественности истории эллинской и эллинистической духовности к истории новоевропейской духовности. — *Прим. науч. ред.*

еще что-нибудь из упомянутого последним источником древней народной комедии, можно было бы без труда наметить и изобразить самую отталкивающую картину греческой безнравственности и разврата. Однако я не знаю, действительно ли это необходимо и обязательно или даже хотя бы целесообразно и предпочтительно для общего понимания и для более широкой, всемирной перспективы истории и ее философии, тем более что, наверное, было бы нетрудно на основании схожих или каких-либо иных источников, касающихся безнравственности, или всей обычной сейчас статистики преступлений и порока составить картину безнравственного состояния того или иного из нынешних христианских народов, которая не во всем будет до конца соответствовать предвзятому мнению о высокой моральной облагороженности нашей новейшей эпохи. Итак, мы предпочтем удовольствоваться здесь общим признанием великой нравственной испорченности рода человеческого, имеющей место везде, где ей не противодействуют великие силы и могущественные мотивы высшего порядка, и которая должна проступать еще яснее там, где, как у греков, господствующей религией является язычество, само по себе утверждающее и поощряющее чувственность. Что же касается поэзии, а также изобразительного искусства греков, то приходится почти удивляться, что эта языческая чувственность не проявляется в них еще чаще, и лишь в относительно немногочисленных местах и в отдельных произведениях выделяется столь резко, что портит их благородный стиль и общее прекрасное впечатление. По крайней мере, когда бы это случилось гораздо чаще, мы не нашли бы в том ничего странного, имея ясное представление о господствовавшем у древних образе мыслей и языческом мировоззрении, ибо чаще всего препятствием тому оказывались не столько строгие принципы чистой нравственности, сколько тонкое чувство уместного — того внешнего покрова, который и в искусстве окутывает и окружает красоту. Кстати сказать, чисто конвенциональные умолчания и покровы не могут быть законом, установленным и для изобразительного искусства и скульптуры, ибо, если изображение наготы выдерживается в чистом благородном стиле, как в лучших античных образцах, то оно, в сущности, не оскорбляет нравственного чувства, которому гораздо более противна завуалированная похотливость многих современных продуктов искусства, лишенных подлинного духа. Вообще же, в искусстве и в своей поэтической художественной жизни

греки в наибольшей степени достигли внутренней гармонии, во всяком случае, в великую древнюю эпоху и период ее расцвета, в гораздо меньшей — в науке и меньше всего в жизни, особенно в общественной, которая почти всегда была охвачена разладом, а под конец совершенно разодрана, растерзана и поглощена им.

Естественной же я назвал греческую науку потому (и в этом качестве, достигнутом ею в такой мере полноты и совершенства, она будет для нас поучительна с точки зрения целого, а также представляется весьма интересной сама по себе), что в своих истоках она поначалу исходила почти исключительно из природы, существуя совершенно обособленно, в одиночестве следуя своим путем, вдали от всякой поэзии и господствующей там мифологии, в решительной изоляции от государства и всех общественных отношений политической жизни, зачастую даже находясь в почти враждебном расположении и оппозиции к ним. Подлинное естествознание и особенно естественная история также произошли из Греции, равно как и научная медицина, первым учителем которой по-прежнему почитается Гиппократ; систематически расширив и усовершенствовав геометрию и астрономию (в соответствии с ее старой системой), греки передали потомству также и обе эти науки. Но, прежде всего, греческая наука вообще может быть охарактеризована как естественная, потому что она, развиваясь дальше и постепенно находя приложение ко всем объектам в мире, в жизни и к самому человеку, тем не менее, твердо придерживалась этого, по существу естественного подхода и совершенно естественного взгляда на вещи. Даже в самопознании и жизненном опыте или истории она всегда стремилась преимущественно познать, постичь и выразить в ясных словах и усвоенных из жизни понятиях по преимуществу одну только природу человека; так что, когда Платон и его последователи обращают свои философские устремления к идеям, лежащим далеко за пределами всякой природы и жизненной действительности и превосходящим их, это составляет такое же исключение из обычных правил греческого духа и господствующих в его сфере масштабов, какое Александр Великий являет собой в области политической. И, наконец, она может быть названа естественной также потому, что здесь философия, покоящаяся на древней основе поэзии и классической культуры, дружественная истории, символическому сказанию и языку, большей частью была разработана и представлена в самой пре-

красной и ясной, живой и сообразной человеческому духу форме; и как бы она ни блуждала, а порою и заблуждалась и запутывалась в диалектической пустоте, она никогда не умирала и не угасала насовсем в абстрактном окаменении. И даже Платон, который, в сущности, в своей философии совершенно вышел и стремился выйти за пределы греческого духа и всей его прочей сферы, был все же по языку и форме воспитан и взращен на все том же эллинском красноречии, искусстве и духовной культуре и сам был в них искуснейшим мастером.

Наделенные этим великим и возвышенным чувством природы, древнейшие греческие философы, преимущественно ионийцы, полагали и представляли первой и основополагающей силой всей жизни и всех вещей воду, как Фалес, воздух, как Анаксимен, или огонь, как Гераклит, и только Анаксагор, учитель Сократа, первым с полной ясностью указал и пролил свет на существование высшего, упорядочивающего мир и созидającego природу божественного разума. Конечно, и прежде него о том же самом, причем, может быть, лучше и уж, во всяком случае, глубже учил еще Гераклит, однако из темных писаний последнего это учение мало кем было понято. Впрочем, Анаксагор помимо своего высшего духа природы или всемирного разума признавал также существование гомеомерий, то есть, конечно, не собственно атомов неживой материи, а, скорее, некое одушевленное и даже живое основное вещество материальной жизненной силы. Таким образом, его мировоззрение, вполне, как кажется, соответствующее представлениям той давней эпохи, было скорее простой системой древнего дуализма, подобный которому мы отмечали в ходе развития индийской философии. Эти древние ионийские философы вообще взирали лишь на внутреннюю жизнь в природе и во всем бытии, на беспрестанное изменение и внутреннее движение в мире и во всех вещах, так что все неизменное и постоянное многие из них стали подвергать сомнению и, наконец, вообще отрицать. Согласно тому закону и движению противоположностей, которому осознанно и неосознанно во всем следовал греческий дух, против этих ионийских философов выступила другая школа во главе с Парменидом, исключительно признававшая одно только Все и Единое и считавшая его первым и единственным, действительно и подлинно сущим и вечно пребывающим. Этот пантеизм, хотя изначально он и был изложен в стихах, по своей сущности, по господствующему духу своего образа мысли был не поэтическим, наподобие индийского, но, со-

образно интеллектуальной направленности греков, совершенно диалектическим и, в конце концов, объявил всякое движение иллюзией и ничтожной кажимостью и напоследок принялся решительно отрицать его. Посреди этих двух крайностей выступил великий ученик Сократа и попытался, следуя совершенно новым, обыкновенно чуждым для греков путем, найти способ вернуться к превосходящему всякую природу высшему Божеству посредством идей о божественном, превосходящих чувственный мир и внешний опыт, равно как и чистую диалектику, черпая познание божественного из непосредственного созерцания, изначального откровения или глубокого внутреннего воспоминания. В этом лежащем в основании всей системы Платоновом понятии воспоминания имеется немалое сходство или родство с индийским учением о переселении душ, заключающееся в предположении и допущении прежних существований человеческой души. Подобное учение о предсуществовании, понятое в таком буквальном смысле, едва ли может быть признано и принято современной философией и нашей системой мышления. Однако, если бы можно было (к чему, впрочем, нет никаких препятствий) понимать Платоновое воспоминание в более духовном смысле: как пробуждение в нас осознания и понимания нашего врожденного богоподобия, — то это понятие вполне соответствовало бы христианскому представлению о богоподобии человеческого сознания и о внутреннем просветлении духа, достигаемом посредством его восстановления; и потому нас никоим образом не должно удивлять, что эта система платоновского образа мысли — ибо она скорее есть образ мысли, чем завершенная система, — как первая столь широко задуманная и осуществленная в западных формах философия откровения с давних пор с такой силой притягивала к себе наиболее глубоких христианских мыслителей. Уже во времена Платона из диалектических споров предшествующей ему философии, из отрицания ею всего неизменного, постоянного и вечно пребывающего в природе, в жизни и познании, в ответ на демагогические потребности эпохи в условиях все более набирающей силу безнравственности возникло и появилось то сонмище софистов, которое привело общественное мнение и образ мысли в состояние полного хаоса и принесло гибель греческим государствам вообще и особенно афинскому. И именно в мастерском изображении Платона мы лучше всего, в полном объеме познаем их, весь их образ действия, а также их вредоносное влияние на греческую нацию и на ее дух; и это политическое влия-

ние софистов составляет третий пункт в характеристике греческой жизни, начиная с того момента, когда последняя усилиями этих обольстителей народа стала совершенно демократической и все более и более погружалась в анархию.

Древние греческие философы почти все находились в состоянии совершенной отрешенности и удаленности от всякого политического участия в общественной жизни или даже в отчетливо заметной внутренней оппозиции к тогдашним республикам и государствам своего отечества. Почти все они без исключения не были сторонниками господствовавших демократических принципов, и выдвинутые ими идеалы государства, как, например, у Платона, начертаны скорее в духе чрезвычайно строгой аристократии добродетелей и законов со все еще очевидной симпатией к этой государственной форме в том виде, в каком среди греков ее можно было найти преимущественно у народов дорийского племени, хотя уже и в состоянии сильного вырождения. Но и задолго до Платона весьма сходные или, хотя бы, родственные его идеям учения выдвигали пифагорейцы, причем, по-видимому, с намерением внедрить свои принципы в жизнь, отчего, несомненно, и государство, и общественная жизнь греков, равно как и весь их образ мысли приняли бы новую, совершенно иную форму. Однако прежде чем пифагорейский союз, уже широко распространившийся в греческих государствах Южной Италии, смог осуществить это намерение, он был разгромлен в ходе насильственной реакции сторонников противоположной партии или, по крайней мере, утратил свое превосходство и всякую политическую силу. Годы жизни Аристотеля приходятся уже на эпоху господства македонского оружия, положившего естественный конец всякой анархии. Застарелому недугу диалектики, который стал уже привычкой и второй натурой греческого духа, он стремился противопоставить свою подробную и основательную логику, в которой мы поэтому должны усматривать или пытаться отыскать не столько чудесный органон и неиссякаемый жизненный источник научного мышления, сколько целебное средство от софистического недуга его собственного и непосредственного предшествовавшего ему времени, от всевластной у греков риторики, от проистекающего отсюда ниспровержения истины и от всеобщей анархии понятий даже в практической жизни. Со всеохватывающим пониманием, с непревзойденной проницательностью он привел все философское и все исторического знание древней философии и своего времени в ясно упорядоченную

систему, немало послужившую к научению потомства; в той или иной сфере, как, например, в естественной истории, вплоть до самого последнего времени Аристотель оставался важнейшим наставником. В той области, что лежит посредине между этим естественным знанием и прежними рационалистическими спорами, в том что касается глубинных оснований и высших принципов целого, понимаемого в своей совокупности, его система содержит немало всего, что чревато большими заблуждениями, особенно в учении о Боге, хотя и несправедливо было бы ставить ему в вину те злоупотребления его философией, которые имели место в более позднее время. Сколь бы много ни было достойного похвалы в его этическом учении, основанном, конечно, лишь на природе и разуме, в качестве указания на высшую истину, в качестве основы для познания Божественного (не понятого как следует в древней натурфилософии и совершенно не принятого во внимание в его собственной, предельно рационалистической системе) Аристотель не может служить столь же надежным руководителем, как Платон, а его систему, в противоположность платоновской философии, нельзя рассматривать в качестве научного введения в христианское откровение и познание Божественных вещей. Более поздние греческие философские секты и системы содержат лишь повторения или вариации того же в иных выражениях, а часто — просто смесь и компиляцию более древней философии или же обнаруживают совершенное вырождение философского духа, как атомистическая система Эпикура, столь же атомистически воздействующая на этику и на жизнь.

Греческие государства давно исчезли с лица земли — как древние республики, так и основанные Александром македонские царства. Немало столетий — почти две тысячи лет — прошло с тех пор, как не осталось ни следа от всего этого бывшего величия и преходящей силы. Даже о знаменитейших сражениях и прочих событиях тех времен мы знаем преимущественно лишь потому, и потому лишь они вызывают у нас сейчас живое участие, что у классических писателей они описаны с такой непревзойденной красотой и в разнообразных отношениях поучительным образом. Итак, ни республиканские государства и скоропреходящая эпоха свободы древних греков, тут же сменившаяся гражданской войной и анархией, ни македонское владычество над миром, также непродолжительное, вскоре поневоле покорившееся игу римлян или парфян, не определяют того места, которое греки занимают в великом целом всеобщей истории,

и того важного и великого вклада, который они внесли в развитие человечества. Этим отведенным и пришедшимся на их долю вкладом был естественный свет человеческой науки в его полном распространении и наивысшей ясности художественного изображения. Только в этой духовной области они обладали необычайной силой и обрели непреходящую власть над миром, продолжавшуюся все века и, в том числе, у потомков. Платон и Аристотель гораздо более, чем Леонид или Александр Великий, суть краткое выражение сущности и содержания всего того, что оставили после себя греки и что веками продолжало жить и действовать у потомства, включая, разумеется, и классическое основание этой греческой науки, заключенное во всей общей духовной культуре, изящных искусствах и, в особенности, в великолепной свежести древней поэзии. Необходимо упомянуть и еще одно преимущественно важное и прекрасное ответвление греческой науки, в котором она удачнее всего проявила и раскрыла во всей красе свою природную живость и ясность, свою неуклонную направленность на человека. И это особое преимущество греческой науки состоит в том, что историческое искусство, а также историческое исследование, в сущности, впервые появились у греков, причем и то и другое с таким совершенством и в таком виде, которые почти всегда были и остаются чуждыми азиатским народам и которые новейшие историки лишь постепенно осваивают вновь по великим примерам древних. Отца истории Геродота не без основания сравнивали с Гомером за многообразное изящество, ясность и полноту его изобразительного повествования. Можно только удивляться широкому охвату всего того, что ему уже было известно о прочих народах населенной части Земли, о всем роде человеческом и о глубокой древности, всего, что он разузнал, обдумал и исследовал. Чем более охватывающими становятся исследования современных ученых в области истории древнейших народов, чем глубже они проникают, тем больше возрастает авторитет Геродота и уважение к нему. Позднейшие историки классической эпохи содержат очень много риторики, однако это лежало в природе вещей, поскольку в это время риторика приобрела величайшее значение в силу своего влияния на политическую жизнь и стала господствующей силой в государстве.

Фальшивая риторика, — подобно тому как эта суетная игра слов несет смерть всякой истинной поэзии и высокому искусству, подобно тому как в бесконечном диалектическом споре гибнет всякая подлинная и истинная наука, как теряются

в нем и ясность мыслящего духа, и верность суждения, — принесла гибель и государству, и подобающим нравственным отношениям в гражданской жизни Греции тем исключительно софистическим направлением, которое ее вредоносное влияние придало общественному мнению и образу мысли. В качестве третьей категории или сферы греческой духовной культуры и развития человечества в Греции, наряду с божественным искусством и естественной наукой и разносторонне обоснованным и начатым познанием человека, я назвал рационалистическое государство. Я назвал его так по преимуществу применительно к последней эпохе греческих государств с учетом всего того, что они имели особенно самобытного по сравнению с азиатскими государствами и с большинством государств современных и что их характерным образом отличает. В поздних Афинах и в других демократических государствах рационалистические принципы свободы и равенства стали общепризнанными и общепринятыми и безраздельно господствующими основаниями для принятия решений; вообще же фундамент государства образовывали здесь именно такие, оспоренные со всех сторон со всею силой софистического красноречия, но не со всей основательностью продуманные принципы этого и подобного рода. При рассмотрении с этой, исторической стороны различие между обеими формами или основными видами государства вообще заключается в том, что республика есть рационалистическое государство или хотя бы хочет быть таковым, монархия же покоится на высших принципах веры и любви. Однако здесь гораздо больше значит господствующий дух и внутренний нравственный стиль и характер целого, чем внешняя форма. Республики, основанные на исконных нравах и законах, на древних правах и обычаях, на вере в древние правовые традиции и их святость, на любви к отеческим обычаям, — что вполне может быть отнесено и к греческим республикам древнейшей эпохи, — эти республики по своему существу не противостоят истинной монархии, а скорее, близки им по своему внутреннему принципу. Таковы те счастливые государства, довольствующиеся ограниченным кругом своих возможностей, живущие с другими государствами в мире и без честолюбия, твердо держащиеся древних прав и обычаев, о которых меньше всего толкуют на великой ярмарке всемирной истории и едва ли что упомянут в газетах, занятых злобой дня. Для монархии же любовь к законному государю и правящему роду есть первое основание и крепчайшая опора; монархия может потерять множество провинций, потерпеть поражения

в великих битвах, но если этот фундамент любви остается непоколебимым, живым и действенным, то и все строение держится твердо. Помимо этого оно покоится на вере в древнее право, наследие отеческих обычаев и традиций, на определенности взаимных отношений и отдельных сословий; и потому в монархии подобает всячески остерегаться небрежною рукой касаться, нарушать и без надобности изменять освященные временем обычаи и обычное право, ибо тем самым сотрясается фундамент, на котором покоится все здание. Там, где монархия основана на письменном договоре (подобном внутреннему мирному соглашению) с другой стороной, также стремящейся быть суверенной, или рассматривается всего лишь как удачный эксперимент к какой-нибудь научной теории государства, выведенной из рациональной системы политического знания, там она уже в сущности перестала быть монархией в прежнем смысле этого слова, хотя ее внешняя форма по видимости и продолжает свое существование. Абсолютное государство — будь то республиканское, основанное на рационалистическом принципе свободы и равенства, с которым, по самой природе вещей и в согласии с внутренней сущностью человеческого разума, почти всегда неотделимо связано нарастающее стремление вовне, что достаточно подтверждается сопряженным с насилием честолюбием и ненасытной жаждой власти, овладевавшей великими республиками древности, как только те становились демократическими, и усугублявшейся по мере того, как они погружались в анархию, будь то основанное на одном только деспотическом произволе неправой военной силы, — такое государство только таким динамическим образом может быть приведено в равновесие или удержано в рамках терпимого и хотя бы в физическом смысле обеспечено в своем существовании, в то время как древнее религиозное государство, то есть, покоящееся на вере и любви, только следуя этим религиозным путем, способно возродиться, вновь пробудиться к подлинному бытию и прочно утвердиться — не силою закосневшей, мертвой буквы какого-либо внешнего учения, будь то даже чистая догматическая истина, но лишь верою и любовью и религиозной силой этих важнейших из всех нравственных жизненных принципов.



ДЕВЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

**Черты народного характера римлян в их истории
и господстве над миром;
о строгом праве и о праве справедливости;
об историческом применении последнего согласно идее
Божественной правды и о начале христианской любви**

Вместо великого многообразия различных государств, законов, племен, художественных стилей, обычаев, форм развития и направлений духа, на которые с самого начала разделялась (тем полнее и многостороннее развиваясь в самом этом разделении) греческая жизнь и ее своеобразная культура, в Италии и ее древней истории все неуклонно стремится в единственно вечный и непреходящий, всегда цветущий, непрерывно растущий и, в конце концов, все собой поглощающий город Рим. Разумеется, древнейшая доисторическая эпоха Италии и первые заселившие эту страну народы: пеласги, чье место в древнейшей истории засвидетельствовано сохранившимися здесь во многих местах циклопическими или, вернее, пеласгийскими стенами и строениями, этруски (согласно некоторым авторам, происходившие от более северного племени ретов), у которых римляне заимствовали столь многие из своих религиозных обычаев и законов, сабиняне и самниты, латины и троянцы, а также кельты в Северной и греки в Южной Италии — все они вместе со своими взаимоотношениями и многообразными хитросплетениями своего происхождения и развития составляют богатый предмет для исторического исследования, представляют достаточный материал для весьма разветвленных научных поисков, предлагая множество трудноразрешимых проблем. Однако с общей точки зрения

всемирной истории и ее полного и верного понимания вся эта антикварная ученость отступает на задний план перед единым центром этого целого, который быстро поглотил все прочее и частное в древней Италии, как, впрочем, и ее самое. Хотя Рим и состоял поначалу из разнородных латинских, сабинских и этрусских элементов, однако уже очень рано он вытеснил из них прочный и внутреннее единый характер, так что внимание исторического наблюдателя привлекает к себе лишь его дальнейшее развитие и рост — поначалу медленный, но уже вскоре достигший ужасающей скорости и неслыханного размаха. Религия римлян даже и в более позднюю, но особенно в древнейшую эпоху являла гораздо меньшую степень поэтической отделки, нарядности и великолепия, нежели греческая; гораздо проще, грубее и серьезнее той. Уже само слово «религия», взятое в его в первоначальном значении как «восстановление связи» или «возвращение», выражает гораздо более определенную и серьезную цель, чем та, которую мы обыкновенно обнаруживаем в основополагающих мифологических понятиях греческой народной религии. Вся жизнь древних римлян была неразрывно связана с религиозными обычаями. Как вскормленные волчицей сыновья-близнецы Марса, Ромул и Рем, считаются основателями римского государства, так и сам Марс почитался здесь как подлинный родоначальник римского народа и его важнейшее национальное божество, в особенности под именем *Gradivus*, то есть, спешащий на брань, или шагающий по лицу Земли. Священные бронзовые щиты, которые во время специально учрежденных праздников с воинственными танцами проносили по городу, вместе с палладиумом — скипетром досточтимого Приама — наряду с некоторыми иными схожими древностями составляли семь священных залогов вечного существования, процветания и роста почитаемого под тремя различными именами седмихолмного града, из которых одно сохранялось в тайне, а оба остальных указывали на его цветущую силу и непреходящее могущество. Разумеется, и у других городов — у греков и родственных им, или же иных, италийских народов — были собственные божества-покровители, особые святилища, имелся тот или иной высоко почитаемый палладиум, некий род древнего оракула и особо посвященные всему этому религиозные праздники и обычаи. Однако нелегко будет найти другой пример, где такое баснословное почитание — можно почти даже сказать, изначальное обожествление — самого города уже с момента его основания столь прочно укоренилось бы в умах граж-

дан, и где этот форменный культ был бы столь же тесно как здесь переплетен со всеми обычаями, нравами и понятиями общественной жизни; когда же из этого единственного города выросла всемирная монархия, то и тогда лишь он один, вечный Рим, по-прежнему оставался для всех не просто центром, но словно бы сущностью целого, в нем одном привычно усматривали персонифицированное понятие государства, саму идею всей империи. В древнейших исторических сказаниях римлян (ведь как бы ни рядились они с самого своего начала в исторические одежды, как например, у Ливия, все же на протяжении долгого времени многие из этих рассказов следует воспринимать преимущественно в качестве сказаний) необходимо особо отметить все то, в чем уже тогда, в самом начале развития римского народа, отчетливо проявляется его сильный, выносливый, хотя и суровый характер, хорошо известный нам из позднейшей истории, ибо ни у какого иного народа исторические воспоминания не оказывали столь могучего влияния на жизнь даже из самых далеких глубин древнейшего прошлого и не были столь глубоко укоренены в человеческих умах. Почти полтысячи лет минуло со времен первого Брута, когда посреди уже столь изменившегося римского мира раздался клич, обращенный ко второму: «Ты спишь, Брут!» — дабы подвигнуть его на деяние, подобное некогда совершенному его предком над Тарквинием Гордым и неразрывно связавшему это славное имя с представлением о дерзком освободителе. Жгучая ненависть ко всем царям и самой царской власти, сохранявшаяся в римлянах с тех самых пор, характеризует их уже в тот древнейший исторический период. И не только в мыслях и замечаниях позднейших историографов этого древнейшего времени, но уже и в самих фактах — как, например, в истории Спурия Кассия — видны исторические следы естественным образом связанного с этой ненавистью непреодолимого недоверия к могущественным предводителям партий или к популярным в народе вождям-демагогам, о которых можно было бы предположить или посчитать вероятным, что они, возможно, стремятся или могли бы при случае устремиться к высшей власти и неограниченному господству, став тиранами. Словно бы уже тогда римляне увидели, какой конец неотвратимо должен постичь подобное государство, или с какой стороны придет его погибель. Уже в это раннее время здесь ясно и отчетливо выделяются патриции и плебеи, причем не просто, как это бывало почти во всех древних государствах и городах, в качестве отдельных сословий,

между которыми в Риме поначалу не могли заключаться и брачные союзы, но и как две противостоящие политические партии, каждая из которых тем или иным образом стремилась одержать верх на форуме и в государстве. То великое множество различных законодательств и образцов судебного красноречия, основанных преимущественно на демократических принципах, а также теорий государства, выдержанных, напротив, в аристократическом духе, которое тогда уже имелось у греков, древним римлянам в эту раннюю эпоху все еще оставалось, по-видимому, совершенно чуждым. Напротив, уже в самом начале у них проявляется глубокий, пронизательный практический ум и сильный государственный инстинкт, заявляющий о себе также и в их древнейших политических установлениях. Уже в первой идее народного трибуна как регулярного народного представительства, как ставшего частью самого государства оппозиционного элемента, словно в зародыше, таилась та политическая сила и энергия, которые впоследствии смог, находясь в этой должности, привести в движение человек недюжинного характера, каковым был Тиберий Гракх. Эта сила, будучи удержанной в надлежащих пределах, могла бы стать благодетельной для целого, а наделенный ею государственный муж такого характера, действующий в том же духе поистине патриотической оппозиции, в Риме нередко достигал большего, чем многочисленные парламенты в свободных государствах современного устройства. Власть цензора, чисто негативная, и однако не только судебная, столь важная в личной сфере, диктатура, в ту раннюю эпоху, при господстве древнего римского характера представлявшая собою еще не столь опасное исключение — вот почти все сделанные практическим способом политические открытия или точно и верно определенные государственные идеи, в которых проявила себя сила политического мышления римлян и которые в более поздние времена, у иных народов и в различных формах доказали свой позитивный характер и реальную действенность в том, что касается понятия о государственной власти и его возможного применения. Интересы обеих партий той эпохи: патрициев и плебеев — совершенно совпадали лишь в одном пункте, а именно, в страстном желании непрестанно вести войну с соседствующими народами и путем завоеваний добывать государству все новые и новые земли. Плебеи не оставляли надежды добиться того, чтобы добытые войной общественные земли каким-либо образом распределялись в их собственную пользу и в пользу беднейших граждан. Но патриции, занимавшие и в мир-

ное, и в военное время почти все высшие должности и посты, умели извлечь для себя наибольшую выгоду из каждого такого завоевания или иной подобной возможности, хотя в отдельных случаях они в качестве частных лиц были как нельзя более готовы поступиться своими преимуществами в пользу государства. Невзирая на бескорыстность характера в этом патриотическом отношении — неизменную до тех пор, пока было живо это изначальное умонастроение — на простоту нравов и строгую бережливость в частной жизни, в своих внешних предприятиях римляне уже в самое древнейшее время были корыстолюбивы или, скорее, жадны до новых земель, ибо именно в земельных владениях, угодьях и поместьях состояло их важнейшее и почти что единственное богатство. Древние римляне были вполне земледельческим народом; ремесла, торговля и искусства появились у них позднее и занимали лишь подчиненное место. Земледелие находилось у римлян в большом почете; и если у греков почти все знаменитые имена и вообще большинство собственных имен происходило от богов и героев и было исполнено поэтического блеска и величественного смысла, то весьма характерно, что имена столь многих видных римских семейств — такие как Фабий, Лентул, Пизон, Цицерон и многие другие — взяты из области земледелия или произведены от обыкновенных садовых растений, а другие, такие как Секунд, Квинт, Септим или Октавий, самым прозаическим образом даны по числам, в порядке древнего народного счета. Земледелие и его теория относятся к тем немногим предметам, о которых у римлян писали собственные, оригинальные авторы. Основания той науки, в которой римляне чувствовали себя увереннее всего и которую лучше всего разработали и развили, то есть, юриспруденции, были заложены тогда же, в первый период римской истории — в рамках древнейшего письменного законодательства; причем и здесь, в древнейшем римском праве, заметно преобладают аграрные темы. Будучи крепким земледельческим народом, римляне тем более были пригодны к воинской службе; и особенно римская пехота в могучей массе своего легиона далеко превосходила по силе, опытности и стойкости в лишениях всех, кто тягался с нею в военном искусстве. В целом, с самого возникновения римское государство как таковое по своему первоначальному устройству было ничем иным как хорошо организованной военной школой и завоевательным учреждением. У других народов, таких как персы или греки, жажда завоеваний и воинской славы были чаще всего внезапным воодушевлением, неожиданным помыс-

лом, порожденными каким-либо особым обстоятельством, каким-либо великим мотивом. У римлян в этом отношении примечательна сказавшаяся именно в самом начале планомерная неторопливость в осуществлении этого нарастающего стремления, последовательная настойчивость, неустанная деятельность и неукоснительное использование каждой выгодной возможности, чем и объясняются великие успехи, достигнутые ими в дальнейшем. Неколебимое мужество в бедах, неизменно более всего отличавшее римлян, было проявлено ими уже в этот первый период при завоевании города галлами, хотя и сама эта беда или опасность, как и принесший ее народ, оказались явлениями преходящими. Вообще же римляне никогда не проявляли столь великой силы, чем когда бывали побеждены или сталкивались с неожиданным сопротивлением. В случае самой крайней нужды у них находились такие полководцы, как консул Деций Мус, который, вместе с отрядом избранных воинов, воззвав к отеческим богам и посвятив себя в жертву, обрушился на превосходящее войско противника, и, хотя весь отряд пал на поле брани, грозившее римлянам поражение внезапно обернулось для них славной победой. При таком характере, такой твердости, выдержке и упорстве в несчастьях и при подобном устройстве государства нетрудно понять, каким образом римляне в результате своих непрерывных войн за столь недолгий промежуток времени смогли победить и покорить себе все прочие окружавшие их италийские народности и государства. Так стали они повелителями союза родственных им италийских народов, грубых сабинян, а затем, после многолетней упорной осады тускского города Вейи, — покорителями этрусской лиги государств, хозяевами прекрасной Кампании, победителями воинственных самнитов в Аппенинских горах и на Адриатическом побережье. После этого римляне обратили свои взоры на богатые провинции греческой Южной Италии. В войне против Тарента, союзником которого был эпирский царь Пирр, они впервые соприкоснулись с италийскими греческими державами и столкнулись с непривычным для себя зрелищем боевых слонов, входивших, по азиатскому обычаю, в состав вражеского войска. После поражения в первых битвах, римляне и здесь вышли победителями, овладев на этот раз всей Апулией и Калабрией. Каждый новый шаг на пути завоеваний влек за собою новые осложнения, давал пищу и повод для новых войн. Сиракузы, находившиеся некоторое время под властью тиранов, после ухода Пирра примкнули к карфагенянам, владевшим половиной Сицилии, ища у них

защиты от римлян, которые, в свою очередь, были союзниками другой сицилийской партии — врагов сиракузского тирана. Это послужило причиной Первой Пунической войны против этой владывствующей морями республики. С началом этой войны против Пирра и Карфагена римляне, заключенные прежде в обособленном кругу мелких италийских народов, впервые выходят на более широкую арену тогдашней всемирной истории. В эту эпоху, следующую непосредственно за Александром Великим, различные македонские и иные сколь-нибудь значительные греческие державы вкупе с Египтом и Карфагеном образовывали систему связанных многообразными отношениями государств, в некотором смысле не так уж и непохожую на государственную систему Новой Европы в конце XVII и на протяжении большей половины XVIII столетия. Ибо и там каждое государство точно так же, руководствуясь принципом равновесия, пыталось укрепить свое положение с помощью альянсов, сдерживая грозящее превосходство других могущественных сил, однако не насовсем упуская при этом из виду и собственное стремление к расширению границ. То, что при таком неустойчивом положении и внутреннем упадке прочих государств, при свежей юношеской силе, упорстве, последовательности и стойкости римского характера эта игра политического баланса с постоянной переменой противоборствующих сил могла закончиться только полной победой и решительным превосходством римлян, было нетрудно предвидеть и отвечало самой природе вещей. После Первой Пунической войны они присовокупили к завоеванной ими Сицилии также Сардинию и Корсику, а затем покорили себе и галлов, проживавших в Северной Италии по ту же сторону Альп. Наконец, после того как Ганнибал, этот страшнейший враг римлян, которого когда-либо знала их республика и который, пожалуй, глубже кого бы то ни было постиг их характер и опасность, угрожавшую от них миру, после столь многочисленных сражений, выигранных им даже в самой Италии, на протяжении столь многих лет Второй Пунической войны смог лишь поколебать, но не сломить их господство, великий всемирно-политический вопрос всех цивилизованных народов того времени можно было считать решенным, и уже не подлежало никакому сомнению, что сей град, по праву именуемый сильным, издревле бывший идолом для своих сыновей, жизни своей не щадивших ради его славы и могущества, должен будет покорить весь мир и основать империю, с которой не сравнится ни одна из тех, что были образованы прежними вели-

кими завоевателями. Под предводительством Сципиона Старшего Вторая Пуническая война закончилась у стен Карфагена почти полным уничтожением прежнего соперника, по крайней мере, как политической силы. Те цари и державы, для которых благом было бы вовремя сплотиться в единстве против общего врага, теперь один за другим падали под мечом победителя и склонялись под ярмом завоевателей. Однако в начале своих дальнейших триумфов римляне еще были способны явить испуганному и изумленному миру известное благородство характера или хотя бы лишь поверхностную, внешнюю видимость великодушия, как, например, когда после победы над македонским царем Филиппом они объявили свободной обольщенную ими Грецию, или когда Антиох Великий, чья надменность стяжала ему немало недоброжелателей и чье падение поэтому столь многих обрадовало, должен был уступить римлянам Малую Азию вплоть до Таврских гор, а победители раздали часть завоеванных провинций и царств своим союзным царям и отнюдь еще не стремились выдавать свое намерение в одиночку покорять и удерживать все свои завоевания. Ибо нельзя было допустить, чтобы все страны и народы, еще не поработанные римлянами, вдруг раньше времени узнали, что уже очень скоро все они без различия поочередно превратятся в провинции владычествующего над всем миром Рима. Итак, оставив позади Грецию, римляне прочно утвердились и в Азии, где за этим первым шагом в недолгом времени должны были последовать иные, дальнейшие ходы. В истории, конечно же, был особо отмечен тот решающий момент, когда Цезарь, после минутных сомнений и колебаний, перешел Рубикон; однако, не останавливаясь на этом, я хотел бы задать вопрос: а когда сам Рим перешел свой собственный Рубикон? Где проходит тот исторический водораздел или та последняя пограничная линия гордыни, перешагнув которую, уже нельзя было обратиться вспять или остановиться? Где та точка, в которой обожествленный Рим, потеряв из виду всякое право и справедливость, всякую человеческую меру и предел, исполнившись языческой гордыни, начал свой разрушительный бег от одного всемирного преступления к другому, все глубже погружаясь в пучину нескончаемого внутреннего и внешнего кровопролития, чтобы, наконец, с вершины своих триумфов безудержно низринуться в бездну — вплоть до Калигулы и Нерона? В качестве такой пограничной отметки все более превозносящейся, бессмысленной гордыни можно было бы охарактеризовать тот момент, когда, спустя не более чем полтора

столетия после смерти Александра Великого, последний македонский царь, плененный и закованный в цепи в триумфальной процессии был введен в город победителей на позорище римской толпе. Пути высшего водительства в этот средний или второй период всемирной истории народов были таковы, что каждая нация или держава завоевателей получала полную меру правого воздаяния от другой, еще худшей силы, восставшей из мрака и избранной орудием ее истребления или порабощения. Но еще более решающим в этом отношении моментом, нежели упомянутый характерный эпизод в истории римских завоеваний, было жестокое разрушение Карфагена в совершенно произвольно и бесцельно затеянной Третьей Пунической войне. Здесь уже и вовсе нельзя было ожидать от карфагенян никакого иного сопротивления, кроме той отчаянной самообороны, которую в полной мере оказали осажденные. Семнадцать дней горел этот город, в семьсот тысяч душ оценивают его население, которое, по сути дела, было поголовно истреблено за исключением проданных в рабство женщин и детей; так что эта ужасная сцена может считаться ранней параллелью или прелюдией к разрушению Иерусалима, последовавшему в более поздний период римской истории. Относительно мягкие и мудрые Сципионы были по существу против этой разрушительной войны, пытаясь сдерживать своенравную ненависть Катона Старшего; тем не менее, именно один из Сципионов повел в бой римское войско, стал последним победителем Карфагена и взирал на его пожар и пепелище. При всем том он еще и пользовался всеобщим почтением и был превозносим как человек мягкого характера и благородного нрава, каковым он и был в частной жизни, и в прочих своих житейских делах. Впрочем, такую репутацию, по крайней мере, в отношении внешнем, всегда следует понимать только как отражающую точку зрения самих римлян, которые, когда речь заходила о Риме, не ставили ни во что весь прочий человеческий род и жизнь других народов; так что, в сущности, не во власти полководцев было изменить жестокость некогда принятого за правило метода ведения войн. Первой серьезной реакцией слишком поздно опомнившихся народов, последовавшей из Греции, была война Ахейского союза. Закончилась она как и все прежние: Коринф был сожжен, и вместе с ним было разрушено бесчисленное множество прекраснейших и благороднейших творений искусства, принадлежавших более ранней и изящной эпохе этого города. Среди народов Севера и Запада, все еще сохранявших свободный и естественный жизненный уклад, кото-

рые теперь все более втягивались в сферу римских завоеваний, особо упорным сопротивлением отличились испанцы. Сципион не смог овладеть Нуманцией — народ, отстаивавший свою свободу за стенами этой твердыни, поджег город, а остававшиеся в живых его защитники сами предали себя смерти. На триумфальном шествии, устроенном в честь победы над ними, удалось провести лишь несколько отважных лузитан — все они как один были громадного роста. Затем начались гражданские войны, сперва — при Тиберии Гракхе, бывшем в то время главой народной партии в Риме. Взять на себя полное историческое оправдание кого-либо из предводителей римских партий того времени было бы непосильной или трудноисполнимой задачей, однако в отношении этого старшего из Гракхов можно по праву предположить и со всей решительностью заявить, что он был наилучшим представителем своей партии; то же самое справедливо и по отношению к Сципионам как представителям противостоявшей им партии патрициев. Предложение Гракха заключалось в том, чтобы распространить права гражданства на всю Италию. Что такое или подобное изменение должно было произойти (как это и случилось впоследствии), лежало в самой природе вещей, ибо теперь, после покорения столь многих провинций, несоразмерность между одним единственным городом-миродержцем и обладаемым им миром, включая все порабощенные земли, была слишком велика, чтобы такое положение дел могло сохраняться долго. Последовавшее вскоре после того вооруженное восстание всех италийских народов достаточно убедительно доказывает, насколько необходимой, целесообразной и продуманной была такая мера. Однако гордость господствующих патрициев была ею крайне уязвлена; они сочли ее попыткой свержения древнего государственного строя, за которую Тиберий Гракх поплатился жизнью в ходе вызванного ею восстания. Впрочем, вскоре — а в сущности, уже начиная с того самого времени — те принципы, что на первый взгляд, были предметом спора (сохранение древнего права и государственного устройства для одной из них и справедливые притязания народа и перемены, необходимые в изменившихся обстоятельствах нового времени, — для другой) стали или, по крайней мере, со всей очевидностью начали превращаться в пустой предлог для обеих враждующих сторон. Теперь уже шла неприкрытая борьба властолюбия, которую вела между собой горстка партийных предводителей вместе со своими приспешниками, составлявшими эту ужасную олигархию гражданской войны. При беспоп-

рядках, произведенных вторым, младшим Гракхом и имевших совершенно тот же повод и ту же цель, что и предыдущие, отличаясь от них лишь возросшим накалом страстей и преступностью деяний, кровопролитие было уже гораздо большим; тогда же со стороны патрициев от руки коварного убийцы пал благородный Сципион, герой Третьей Пунической войны. Убийства, в том числе, отравления, и вообще становились все более привычными; римляне стали носить под плащами кинжалы. Пользуясь случаем, мы приведем одно замечание, взятое отнюдь не у Отцов Церкви или из нравственных рассуждений какого-нибудь христианского автора, а у знаменитого немецкого историка, преисполненного и проникнутого восхищением перед величием древних республик: «Миродержец Рим, опьяненный кровью народов, принялся терзать собственную утробу»⁷⁹. Трудно решить, кто из мужей, возглавивших вслед за этим обе враждующие партии во все более ожесточавшейся гражданской войне: Марий или Сулла — превзошел другого жестокостью и кровожадностью характера; более грубым и диким, пожалуй, был Марий, более принципиальным и беспощадным в своей жестокости, вероятно, Сулла. Оба они были великими полководцами, а таковые в ту пору должны были отпраздновать немало триумфов в честь побед над другими народами, прежде чем могли помыслить о том, чтобы с той же яростью, какую прежде изведal от них весь остальной мир, обрушиться теперь уже на свой родной город. Победы Мария избавили Рим от великой опасности, которой грозило городу вторжение северных варваров: могучих кимвров и тевтонов, — бывшее первым предвестником грядущего переселения народов. Опасности только более укрепляли победоносную силу римлян, всякое противодействие, будучи преодолено, только крепче утверждало их мировое господство. Величайшим и опаснейшим из всех них было, пожалуй, сопротивление, оказанное Митридатом, владыкой Понта; оно началось с умерщвления восьмидесяти тысяч римлян, живших в тех землях, совершенного одновременно с восстанием всех италийских народов против римского гнета. Со времен Ганнибала ни один враг римлян не вынашивал столь глубоко продуманных планов, как Митридат, помышлявший в едином союзе поднять на войну с Римом все северные народы от Кавказа до Альп и Галлии. Победой над этим врагом Сулла

⁷⁹ Johannes von Müller, Vier und zwanzig Bücher allgemeiner Geschichten VI, 19. — *Прим. перев.*

приготовил свое возвращение в терзаемый и сотрясаемый гражданской войной Рим, где принялся свирепствовать, будто в покоренном вражеском городе, объявлял проскрипции, поощрял убийства; при этом здесь совершались самые омерзительные жестокости. Редкостным характерным проявлением еще не иссякшего величия римлян было, однако же, то обстоятельство, что сразу после этого великого кровопролития Сулла, как ни в чем не бывало, сложил с себя диктаторские полномочия, спокойно удалился в свое поместье и занялся написанием своей истории. Впрочем, в одном отношении и он угождал чувствам толпы и как кажется, обнаружил глубокое понимание римского народа, ибо именно он впервые учредил Цирцейские игры — те кровавые бои животных и жестокие гладиаторские сражения, которые позднее, в императорском Риме, стали, как и хлеб, самой неотъемлемой из всех потребностей народа и предметом важнейшей заботы для того, кто должен был господствовать этим народом. На эти игры, где взоры римлян услаждались борьбой обреченных на верную смерть людей с ужаснейшими дикими зверями, Помпей некогда выставил шестьсот львов, а Август — четыреста двадцать пантер. Так кровавадность, уже давно бывшая преобладающей страстью предводителей и партийных вождей этого господствующего над миром народа, стала потребностью и праздничным увеселением толпы. И тем не менее, даже в это время во всем, что только относилось к искусству вести войну, выигрывать сражения, одерживать победы и касалось силы характера, проявляемой в этой сфере и во внутренней политической борьбе, римляне все еще достигали достойной удивления, иногда даже, можно сказать, почти сверхчеловеческой силы, так что мы порою не знаем, как совместить свое восхищение римскими доблестями с непреодолимым отвращением к их порокам. Можно было подумать, будто столь чтимый издревле народом Ромула бог войны Гравидий мерил железными стопами весь земной шар, и где бы ни оставлял он следы, там тотчас изливались потоки крови; или будто мрачный Плутон вместе со всеми преисподними духами мести, всеми фуриями страсти и ненасытной алчности, сопровождаемый кровавыми демонами убийства восстал из бездны нескончаемой ночи, чтобы воздвигнуть и навеки утвердить на просторах земли зримый престол своего царства. Не подлежит сомнению, что если бы мы могли снять с римской истории покровы привычной риторики, патриотических сентенций и избитых общих мест политической мудрости, но при этом, дав ей

поистине подробную и фактически точную характеристику, представить ее живой, такой, какою она была в действительности, то всякий не лишенный человечности разум, видя подобную картину всей этой трагической истины, был бы до самого основания потрясен и исполнен глубочайшего ужаса и содрогания. Ибо и нравственная распущенность римлян была колоссальной, так что испорченные нравы греков по сравнению с ней предстают первым детским упражнением в школе порока. Последующие гражданские войны в существенных чертах сохранили характер первой, хотя страшные воспоминание о временах Мария и Суллы, сохранявшиеся в памяти римлян, вначале побуждали их к некоторой осмотрительности хотя бы во внешних процедурах, однако дальнейший ход событий неизменно приводил к обычному кровопролитию. Римские завоевания, достигшие теперь естественных границ этой всемирной империи и охватившие все земли, лежащие у берегов Средиземного моря, были, в целом, завершены во время этого второго периода или поколения гражданских войн при Помпее и Цезаре: Помпеем — преимущественно с азиатской стороны, Цезарем — в основном с неизмеримо более важной и трудной для ведения сражений северо-западной. Покорение Галлии даже по римским масштабам стоило необычайного кровопролития: предполагается, что здесь и при окончательном порабощении Испании, в первых войнах, шедших в пограничных германских землях и в Британии, а также в Северной Африке против Юбы и против сына Митридата, в пятидесяти насчитываемых за Цезарем сражениях на поле боя осталось 1 200 000 павших; причем, поскольку великий полководец сам был собственным историографом, эти данные отчасти могут быть взяты у него самого. Тем не менее, его хвалили за доброту и мягкий характер, что, впрочем, следует понимать в соответствии с римскими масштабами; в этом смысле вполне соответствует истине, что он не отличался мстительностью, совершенно не был страстным или бесцельно жестоким. Но там, где того требовали его цели, ему, как кажется, было совершенно безразлично любое возможное кровопролитие. Война между Помпеем и Цезарем охватила почти все страны и местности тогдашнего римского мира, однако, выйдя из нее победителем, Цезарь составил и привел в исполнение план довершения и укрепления своей победы систематическими изъявлениями милосердия и прощения. При всей своей неустанной деятельности и великом уме, уравновешенном и рассудительном, сильном характере, он, кажется, имел и одну слабость:

ему не доставало лавров победителя — хотя ими он был увенчан таким образом и в такой мере, как никто другой — если их не довершала царская диадема; по крайней мере, он давал повод так о себе думать. И потому второй Брут совершил над ним то же деяние, за которое во всех римских историях был прославляем первый. Последующая гражданская война Брута и Кассия, примирение Октавиана и Антония, повлекшее за собой гибель Цицерона, новый раздор и война между двумя последними соперниками — все эти события, способные служить лишь еще одним дополнением, завершающим характерный портрет Рима и его истории, закончились установлением единовластия, при котором были быстро забыты кровавые потоки проскрипций и гражданских войн, а на передний план выступил все тот же Октавиан, носивший теперь имя Август, полуобожествленный еще при жизни учредитель и основатель всеобщего мира, первый неограниченный властитель всей римской империи на протяжении долгого периода своего правления — в целом, в высшей степени счастливого по сравнению с предшествовавшими временами. Впрочем, неограниченная власть по-прежнему вынуждена была рядиться в древние формы и республиканские выражения, оставаясь наполовину завуалированной: воспоминания о судьбе Цезаря были слишком свежи в памяти осторожного Августа, чтобы он мог пренебречь этим обычаем. Казалось, в самом деле, будто земля могла вновь спокойно вздохнуть и еще раз упокоиться от всех минувших войн, ожидая, когда на нее снизойдет и ей откроется иной, высший мир, а вместе с этим иным, высшим и божественным миром — и новая, духовная борьба: не против воинствовавших некогда партий и не против внешней, земной силы, а против внутреннего источника всякого раздора и беззакония в мире. Пока же ко всем украшениям этого всеобщего римского мира, дарованного великим Августом покоренным народам, прибавился еще и золотой век литературы и поэзии — в той мере, в которой она могла еще под конец расцвести поздней осенью клонившегося к упадку языческого мирового периода. У нас Плавт и Теренций могут считаться разве что не совсем неудачными подражаниями греческим оригиналам, а изящный стиль и характер языка и поэзии Вергилия и Горация со всемирно-исторической точки зрения представляют ценность, преимущественно лишь потому, что они придали благородную утонченность тому языку, который сделался общеупотребительным в новом мире, в новую эпоху и, более того, остается таковым даже для нас самих. Однако всю эту

поэзию, включая и несколько большее богатство и полноту изобретательной фантазии Овидия, потомки могут считать не более чем скудными колосками, оставшимися на поле после богатого урожая, принесенного греческим духом поэзии и искусства. Подлинная поэзия римского народа заключалась отнюдь не в этих искусных строфах, сложенных знатоками греческого языка. Искать ее нужно на Цирценских играх, которые никогда не оставлял своим бдительным попечением Август, в тех сражениях, где борющийся со смертью гладиатор должен был уметь пасть и умереть с достоинством, если желал стяжать себе рукоплескания этого народа; в том же самом цирке, где вскоре так часто будет раздаваться крик негодующей на христиан толпы: «Ко львам их, ко львам!»

В искусстве исторического описания дело обстояло несколько иначе, чем в искусстве поэтическом; здесь великий практический ум римлян, глубокая политическая проницательность их рассудка и гораздо более широкая сфера государственных отношений римского мира дает им решительное преимущество перед греками. Среди последних мы, в сущности, не найдем ни единого историографа, обладавшего величественной простотой Цезаря, чей стиль со стремительностью, присущей всем его делам, движется прямо к своей цели, или проницательным взором Тацита, постигающим всю бездну падения, в которую готов был обрушиться римский мир; что же касается Ливия, то его можно было бы, по крайней мере, сравнить со многими из лучших греческих авторов. Также и политическое красноречие и философия римлян, слитые воедино, как, например, у Цицерона, обладают своеобразной привлекательностью и ценностью благодаря широте охвата и практической важности общих для них предметов. В те времена изучение греческой философии считалось у римлян не более чем вспомогательным средством к постижению красноречия, а по причине всеобщего падения нравов и совершенного безразличия ко всеобщей нужде и повсеместному кровопролитию особенной любовью пользовалась, разумеется, философия Эпикура. Лишь в более позднее время, когда при правлении лучших императоров были предприняты попытки к нравственному возрождению римской империи и характера, сторонники этих мер обрели свою последнюю опору и спасение в стоической философии, и без того весьма отвечавшей строгости и твердости римского характера. Учение стойков нашло многочисленных приверженцев среди римлян этой поздней эпохи, однако многие, в особенности,

в среде римских правоведов, и ранее испытывали к нему склонность. Юриспруденция, в сущности, и является тем разделом всей духовной культуры человечества, в котором римляне более всего проявили себя и оказались наиболее оригинальными мыслителями, который был в наибольшей степени расширен и скрупулезно разработан их писателями. Уже Цезарь помышлял об общем своде римских законов, хоть этот великий план, как и многие другие его замыслы, остался неосуществленным; а эпоха Августа была отмечена, по крайней мере, двумя великими правоведами — приверженцами различных школ или систем.

Более, чем все прочие достижения римлян, повлияла на последующую мировую эпоху унаследованная от них потомством научная юриспруденция. Поначалу может показаться удивительным, что народ, возросший — в том, что касается внешних отношений — среди ужаснейших беззаконий и исключительно на том утвердивший свое величие, мог достичь такого совершенства в науке о праве, какого, безусловно, достигли в нем римляне. Впрочем, даже это беззаконие, обращенное вовне, к другим народам и государствам, римляне, насколько это было возможно, стремились облечь в правовые формы и придать ему законные основания; причем весьма нередко они, пользуясь непоследовательностью в действиях соперников, с успехом придавали своим поступкам видимость строгого следования букве закона и умели обратить это обстоятельство к собственной выгоде. Кроме того, римская теория права имела своим предметом, прежде всего, внутреннее гражданское или частное право, все его искусственные или подлинные формы. Отсюда можно понять, каким образом римляне, благодаря практичности своих взглядов, здравости суждений и своему разуму, направленному почти исключительно на гражданскую жизнь и ее отношения, могли достичь таких успехов в частном праве и разработке его научной теории — при всех безмерных практических беззакониях, совершенных ими в крупных масштабах в широкой исторической сфере права народов. Здесь, должно быть, находит свое естественное разрешение это мнимое противоречие между правом и беззаконием — одно из многих подобных противоречий, обнаруживаемых в человеческой природе и истории.

Но имеется и еще одно противоречие в римском праве как таковом, а также в его отношении к праву других народов, понятие о котором выдвинуто и отчетливо выделено уже в самой его теории и которое может служить основанием для общего

суждения о римском правоведении, об этой древней юриспруденции в ее влиянии на позднейшие времена и ее наследии у потомков. Это противоречие заключается в различии между строгим или абсолютным правом и правом справедливости, то есть исторически обусловленным правом. В германском праве — поскольку оно есть право традиции, обычкновения, древнего обычая, право, обусловленное всей совокупностью исторических обстоятельств — в гораздо большей мере преобладает принцип справедливости. Поэтому зачастую приходится сожалеть, что это исконное, собственное право новых европейских наций, по мере того как те переставали ценить и понимать собственную древнюю историю, все более вытеснялось на задний план, уступая господство научной юриспруденции римского права, которое, ориентируясь на строгую систему юридических формул и непреложно следуя букве закона, гораздо более склоняется на сторону строгого и абсолютного права, а в самом духе его заключено нечто родственное той жесткости, которая была присуща римлянам в международной политике. Однако является ли в самом деле это строгое право верным масштабом для земных дел, может ли вообще оно служить истинной мерой человеческой справедливости в ее общем и широком приложении на арене мировой истории и, в особенности, по отношению к божественной справедливости? Всякий абсолют — а таковым, несомненно, является и строгое право как в сфере гражданской жизни, так и, в особенности, в общественной жизни государств и народов — порождает свою противоположность, и, таким образом, будучи доведенным до своего завершения через целую цепь подобных реакций, ведет к взаимному уничтожению — неизбежному результату всякого доведенного до крайней степени противоборства сторон, — если только в него не вступит высшее, мирное начало, действующее в качестве посредника и примирителя как бы согласно божественному праву справедливости. Однако, если такое примиряющее суждение не будет дано свыше или ему не будет оказано должное повиновение, тогда столь неуклонное применение крайности закона прелгается в крайность беззакония в полном согласии с древним юридическим присловием, которое мы можем употребить в пространном смысле, чтобы дать более правильную человеческую и историческую оценку этому миру и царящему в нем разладу. «Да свершится правосудие, — гласит это изречение, понимающее правосудие в противоположном нашему смысле, то есть,

в согласии со строгим правом и в его абсолютном духе, — да свершится правосудие, пусть даже погибнет мир». Поистине, мы могли бы сказать: «Горе всем людям, горе каждому из нас, горе всему миру», — если бы только по этому строгому праву и ни по какому иному должен был вынести свой окончательный приговор Тот, кто один имеет право и власть вершить понятое таким образом правосудие и судить мир в согласии с ним. Но поскольку такое совершенное и окончательное правосудие может быть лишь правосудием Божественным и непогрешимым, а всякое человеческое правосудие замещает его лишь до времени, то оно по необходимости должно быть исполненным кротости и любви, исторически обусловленным и, в соответствии с принципом справедливости, сколь можно более щадящим, всегда принимающим во внимание свою человеческую ограниченность. Эти принципы равно применимы и к важнейшим жизненным отношениям, и к самым малозначительным и оказывают на них столь глубокое влияние, что от того, какой из них мы изберем в качестве основания и руководства: принцип абсолютного, строгого права или же исторически обусловленной справедливости и снисходительности, — будет зависеть наш образ действий, воззрений и отношений ко всей жизни и вообще к миру. И государство, хотя оно и является силой, призванной временно замещать и до поры отправлять божественное правосудие (и эта честь, равно как и связанная с ней ответственность, конечно же, достаточно велика и высока) — однако и оно, это высшее и верховное человеческое правосудие, если только не пытается совершенно игнорировать пределы, положенные ему так же, как и всему человечеству в целом, отнюдь не является самим божественным правосудием, непосредственным божественным авторитетом или, более того, самим Богом. Древний наследственный порок и поистине основное заблуждение всего римского государства, а также римского характера заключались именно в этом политическом идолопоклонстве перед государством, к которому, впрочем, легко и как бы сама собою может привести теория строгого и ложное понятие абсолютного права. Хотя при Августе абсолютное единовластие было еще наполовину сокрыто под старыми республиканскими формами, уже тогда началось формальное обожествление даже самой личности правителя, которое затем, при последующих императорах превзошло всякую меру и предел в проявлениях самого грубого низкопоклонства. И даже если бы при этом имелась в виду не одна лишь

личность того же Августа или какого-нибудь Тиберия, но вместе с ней все еще до некоторой степени подразумевалась бы также и идея государства, и, таким образом, подлинным объектом этого языческого обожествления был бы, как и прежде, все тот же вечно процветающий, наделенный непреходящей силой разрушитель мира и пожиратель народов Рим, ради которого позволительно и даже необходимо было не останавливаться ни перед какой жертвой, то и это было бы не менее законченным политическим идолопоклонством. И как чувственное обожествление природы у греков наиболее ярко проявляется в свойственной им поэтической религии, как магические злоупотребления в ложных мистериях прежде всего наводят нас на мысль о Египте, так и здесь политическое идолослужение, это третье и величайшее заблуждение древнего язычества, проявилось в своем самом ужасном облике как основная характерная черта римского государства и господствующий принцип всей его истории: от начала до самой позднейшей эпохи.

При Августе всемирная империя римлян почти полностью достигла тех пределов, которые, как мы уже отмечали выше, в соответствии с географическим положением стран, прилегающих к Средиземному морю, могут считаться ее достаточно протяженной естественной границей. Страны африканского побережья были по преимуществу защищены непосредственно примыкающими к ним песчаными пустынями; с наиболее опасной северной стороны с угрожавшими оттуда народами надежным оплотом империи служили хорошо укрепленные и тщательно охраняемые рубежи, проходившие по Рейну и Дунаю. На Востоке, в Азии могучим и опасным врагом были парфяне, однако представлялось совершенно невероятным, чтобы они когда-либо попытались предпринять столь же дальние походы, как некогда персы; с другой же стороны, у римлян не могло быть подлинного интереса в том, чтобы расширять свои завоевания в этом направлении, в глубь центральной Азии, ибо это чрезмерно удалило бы их от центра империи и средоточия ее силы, которое неизменно представляла Италия вместе со своим древним Вечным Городом. Разум и помыслы всех наиболее благонамеренных римлян уже тогда были обращены не к расширению империи, а исключительно к великому и всеобщему внутреннему возрождению: в первую очередь, общественной нравственности, а затем, насколько возможно, также и государственного устройства согласно с тем идеальным представлением, которое они составили о древнем Риме

в его лучшие и наиболее счастливые времена — приблизительно в том же смысле и духе, в каком действительно пытались это предпринять лучшие из императоров последующей эпохи, такие как Траян или Марк Аврелий. Прочие граждане, снедаемые, быть может, беспокойством за будущее, полные тревожных предчувствий, должны были думать: если царящее вокруг нравственное разложение будет и далее усугубляться, если череда бездеятельных императоров будет способствовать упадку государства, его не защитят даже столь хорошо укрепленные северные границы, и народы севера неудержимым потоком обрушатся на империю. Все это, конечно, так и случилось, хотя и гораздо позднее, однако что еще должно было предшествовать этим событиям и откуда должен был вступить в мир и историю тот новый принцип, которому суждено было победить старый Рим и возродить человечество, — об этом, конечно, не догадывался никто из живших тогда римлян, сколь бы величественны ни были его помыслы, сколь глубоким и пронизательным ни был бы его разум. Более того, впервые столкнувшись в действительности с этим новым явлением, они поначалу, со всей очевидностью, были совершенно не в состоянии понять и постичь его. Но какая же новая сила должна была покорить и действительно покорила земных покорителей мира? Всемирная империя персов и сменившая ее македонская империя давно уже ушли в прошлое и исчезли с лица Земли. Иная держава, построенная лишь на разрушении и деспотическом военном господстве, подобная империи римской, способная с ней сравниться и воспротивиться ей, тогда еще не могла появиться. Сила греческой науки, давно уже выродившейся и опустившейся, под игом римского владычества подверглась полному уничтожению и едва ли была достаточной, чтобы действительно сколь-нибудь облагородить римлян и, тем более, в корне изменить и преобразить их. И только Божественная сила любви, преодолевающая страдания, приносящая в жертву этой высшей любви не только саму жизнь, но и все земные желания, стала источником доселе неслыханных слов новой жизни, нового света внутреннего богопознания, несущего с собой новое видение мира, неведомый прежде образ человеческой жизни и новый порядок вещей. И столь велика оказалась эта сила первохристианской любви в сплоченности внутреннего единства верных, в быстроте распространения во всех странах и народах известного тогда мира, в мужественном сопротивлении христиан всем яростным нападкам, в хранении внутренней чистоты тщатель-

ным отсечением всего чуждого и тлетворного и все большим утверждением и разносторонним развитием в словах, трудах и делах, в писаниях и в жизни, что через не столь великое число поколений, спустя лишь несколько столетий она стала силой, правящей миром, или, по крайней мере, одной из таких сил, однако в духовном отношении более всех прочих движущей и определяющей его судьбы. К этому столь невзрачному, на первый взгляд, началу великого преобразования мира действием новой, Божественной силы уместно приложить уже упомянутый нами древний отрывок из Священного Писания, касающийся Илии. После того как пророк, из глубины души взывая о смерти, сорок дней провел в пути ко святой горе Хорив, ему суждено было узреть силу и славу Господню, явившуюся ему там и прошедшую перед его смертными очами. И поднялся сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы⁸⁰, но Бог, по слову Писания, был не в ветре. Затем последовало землетрясение с огнем, но Бог был не в землетрясении и не в огне. И наконец, послышалось нежное дуновение или тихий шелест, как бы от легкого движения воздуха, и в нем познал Илия непосредственное присутствие Божие и благоговейно закрыл лицо свое. Таково же было и начало порожденной христианством новой эпохи по сравнению с властью прежних наций и империй: завоевателей, сотрясавших мир и повелевавших народами.

На последние годы правления первого обожествленного императора Августа приходится рождество Спасителя, на правление Тиберия — начало самого христианства, а при Нероне мы находим уже первое вполне аутентичное свидетельство о нем, внесенное в анналы римской истории. Имеется, впрочем, и еще более раннее сообщение, что Тиберий узнал о новой вере из сообщения римского наместника Пилата и предложил сенату в согласии с римским обычаем включить Христа в список богов или признать Его достойным божественного почитания. И хотя свидетельство одного лишь Тертуллиана, на котором основан этот рассказ, не обладает ни столь большим историческим весом, ни таким авторитетом, чтобы не породить многочисленных сомнений, последние, возможно, все же являются несколько преувеличенными. Как бы то ни было, это сообщение остается ясным свидетельством о положительном историческом факте и до тех пор, пока этот факт может получить естественное объясне-

⁸⁰ 3 Цар. 19

ние, подобного рода ложная историческая критика, а вернее сказать, полное отсутствие всякой критичности, доказывает лишь желание во всем усматривать одни лишь фантазии и подложные тексты. То, что первое сообщение об этих событиях могло и даже обязано было поступить в Рим от тогдашнего прокуратора провинции Иудея, подтверждается упоминанием о нем в первом же историческом известии о христианах у Тацита. Такое известие могло быть отправлено и римскими сотниками, один из которых как очевидец происшедшего оставил столь великое свидетельство об умершем на кресте Сыне Божии, ибо согласно общему церковному преданию он и сам впоследствии сделался христианином. В характере Тиберия нет ничего, что противоречило бы этому сообщению, поскольку каким бы мрачным, недоверчивым, жестоким и испорченным он ни был, ему все же нельзя отказать в большом и проницательном уме. Он вовсе не был невосприимчив к религиозным впечатлениям или совершенно безразличен по отношению к подобным вещам, однако следовал в них собственным воззрениям и мнениям, а они были таковы, что вполне позволяли ему обратить внимание на необычное событие подобного рода. Тиберий на дух не переносил египетскую религию и иудейские обычаи, подвергал преследованиям и то и другое и повелевал сжигать их священнические облачения и утварь. При этом он твердо верил в судьбу, не чуждался астрологии и испытывал страх перед небесными знаменами. Но если кто-нибудь захочет использовать его неприязнь к иудеям или даже преследования их в качестве возражения против упомянутого сообщения — как будто он непременно должен был перепутать их с христианами, — то это будет лишь произвольным допущением. Более того, можно было бы предположить, что, когда Тиберий получил от Пилата или через иных римских начальников более или менее точные известия о жизни и смерти Спасителя, то, несомненно, этот источник сведений, эти находившиеся в самой Иудее очевидцы должны были упомянуть и о том, как жестоко иудеи ненавидели и преследовали Его. То, до какой степени христианство вступало в противоречие со всей языческой религией и ее политическим идолослужением — например, с жертвами перед изображением императоров — тогда, в самом начале, едва ли могло с такой резкой очевидностью явствовать из этого первого сообщения, составленного, в сущности, несведущими в этом вопросе людьми, поскольку в противном случае впечатление, произведенное этим известием на всякого проникнутого римским умонастрое-

нием получателя не могло не быть отталкивающим и враждебным. Сама по себе мысль и само предложение объявить необычного человека, наделенного чудесной божественной силой, богом и достойным божественного почитания, не содержит ничего противоречащего римским обычаям и традициям или представлениям о богах и обожествленных героях и особо невероятного с этой точки зрения. Единственное, что есть действительно неправдоподобного в этом рассказе, — это сообщение, будто тогдашний сенат осмелился воспротивиться и идти наперекор Тиберию в этом вопросе. Впрочем, если сенат, как нетрудно себе представить, был настроен против всего этого предприятия и, в частности, против такого предложения Тиберия, он без труда мог избрать уклончивый образ действий, чтобы затянуть рассмотрение и косвенно не допустить решения этого вопроса, который как касающийся древних отечественных обычаев целиком относился к его компетенции; таким образом, лишь в этом обстоятельстве и может заключаться единственное преувеличение всего этого сообщения. Тем самым можно также объяснить и тот факт, что этот неосуществленный замысел или предложение подверглось забвению и о нем ничего не было известно Тациту — как можно судить по его сообщению, — поскольку в противном случае он непременно упомянул бы о нем. Как бы то ни было, факт этот остается, несомненно, примечательным и странным, однако сам по себе не представляет важности и является лишь еще одной чертой в общей картине того странного и противоречивого впечатления, которое это новое историческое явление в целом поначалу производило на римлян. Смешение христиан с иудеями скорее можно обнаружить и предположить в том отрывке из истории Светония о правлении Клавдия, где об этом императоре сказано: «Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он изгнал из Рима»⁸¹. «Хрестос» в греческом произношении звучит точно так же, как и «Христос»; и действительно могло случиться так, что то, что христиане говорили о своем незримом Господе и Учителе, запрещавшем им те или иные языческие обычаи и не позволявшем участвовать в них, римляне, которым этот предмет был совершенно чужд и непонятен, могли ошибочно приписать якобы еще живому предводителю или основателю нового учения, так что под возбужденными им волнениями следовало бы понимать ничто иное, как обыкновенный и, в силу их принци-

⁸¹ Гай Светоний Транквилл, Жизнь двенадцати цезарей, V, 25:4. Перевод М. Л. Гаспарова.

пов, необходимый для христиан отказ совершать неприемлемые для них языческие обряды. Более яркий свет проливает на эти обстоятельства сообщение Тацита о правлении Нерона, имеющее совершенно исторический характер, невзирая на то, что сущность христианства в нем очень сильно искажена, причем даже само это искажение, если мы сможем понять его правильно и выявить его основные исторические черты, также поддается исчерпывающему объяснению. Когда Нерон, находясь на вершине своих преступлений и гордыни, велел поджечь Рим, чтобы более драматично и живо представить своему взору пожар Илиона, он следом возжелал отвратить от себя вызванную этим злодеянием ненависть и попытался возложить вину за него на христиан, которых, следовательно, к тому времени в Риме должно было быть уже довольно много. Однако они не были виновны в возложенном на них преступлении, как полагает Тацит, чьи чувства, кстати сказать, возмущаются против совершенно нечеловеческой жестокости, с которой Нерон повелел обходиться с христианами; тем не менее, как сообщает этот историк, им приписывались ужасные дела и, в особенности, считалось, что они исполнены ненависти ко всему роду человеческому. Что под этой ненавистью к роду человеческому следует понимать ничто иное, как строгое отвержение христианами религиозных обычаев, языческих принципов и учений всех охваченных заблуждением народов, очевидно само собой и легко объяснимо. Под ужасающими делами, в которых обвиняли христиан, следует, вероятнее всего, понимать трапезы Фиеста, которые под этим наименованием нередко упоминаются в обвинениях, составленных их противниками, и которые с верою принимались ненавидящим их народом. Но если впоследствии это обвинение повторялось как намеренная клевета и заведомая ложь, то поначалу оно могло возникнуть вследствие грубого недоразумения, основанного на невероятно ошибочном толковании каких-то неясных, искаженных известий о таинстве священной жертвы благодарения и вкушении ее на божественной трапезе любви на собраниях христиан. Даже в сообщении, составленном в 120 году для императора Траяна довольно благожелательно настроенным Плинием Младшим, бывшим тогда наместником в Вифинии и Понте, довольно ясно видно недоумение этого благородного римлянина, вовсе не понимающего, как ему следует воспринимать это совершенно непонятное и столь же непостижимое новое явление, и потому нерешительно колеблющегося, что надлежит ему делать и как обходиться с этим предметом. На

основании признаний, полученных, по римскому обыкновению, под пытками, у них, как сообщает далее Плиний, обнаруживаются безмерные и в высшей степени превратные, странные и необычные верования или суеверия, в остальном же это люди безупречных нравов, которые в определенный день недели, то есть, в воскресный, собираются рано утром, чтобы воспеть песни во славу своего Бога Христа и клятвенно обязуются при этом исполнять самые существенные заповеди о добродетелях, а вечером вновь сходятся для простой и невинной трапезы. Число их, пишет Плиний, уже настолько умножилось, что языческие алтари были уже почти покинуты; среди христиан было также немало женщин, отроков и детей. Следует ли ему делать между ними различие при наказании или нет, ибо оно представляется ему необходимым согласно существовавшим уже ранее законам, направленным против несанкционированных государством обществ и братств? На сей счет он испрашивает у императора дальнейших повелений в своем примечательном официальном послании, сохранившем для нас древнейшее римское описание христиан.

Итак, в этот мировой период, в переломный момент между старым и новым временем — поистине, в самой центральной точке истории — друг другу противостояли две силы: с одной стороны, Тиберий, Калигула и Нерон — земные боги и неограниченные властители мира во всем блеске и славе прежнего язычества, словно высочайшие вершины и последние пределы склоняющегося к упадку старого мира; с другой же стороны, невзрачное начало той пока еще почти совсем незримой со стороны световой точки, из которой рождалось новое время, чей неуклонный поступательный ход и полное развитие во все последующие эпохи составляет содержание новейшей истории.





ДЕСЯТАЯ ЛЕКЦИЯ

**Об основоположном христианском понятии
философии истории и точке зрения для нее;
историческое начало христианства в связи
с его внешними политическими обстоятельствами
и упадком римской империи**

Излагать жизнеописание Спасителя как таковое и всецело в той историко-повествовательной форме, какая принята в отношении всех иных событий и явлений, здесь, в философской всемирной истории было бы, как мне кажется, не вполне уместно. Сам этот предмет показался бы для нее или непомерно велик, или, взятый в своем первоначале, слишком малозначителен — в зависимости от того, стремимся ли мы уяснить глубинное значение и важность этого явления, или видим одну лишь внешнюю его сторону в его сугубо историческом аспекте и понимании. Какой-нибудь мыслящий и по-своему вполне благорасположенный римлянин, получив более или менее подробные известия из сообщений прокуратора или иных бывших в том краю римских начальников, подумал бы о всем случившемся приблизительно так: «То был муж поистине необычайный, наделенный дивной, божественной силой (ибо сделать такое общее и неопределенное допущение язычнику, все еще держащемуся основных понятий и воззрений своей отеческой религии, было бы вовсе не трудно), пробудивший великое нравственное движение в умах, а также, по самым достоверным свидетельствам, отличавшийся совершенной чистотой характера и великой строгостью нравов и учивший множеству возвышенных вещей, касающихся тайн будущей жизни и бессмертия души; но

затем, обвиненный своими врагами, он был предан на смерть собственным народом». Так мог рассуждать, к примеру, тот же Тацит, будь его сведения на сей счет более точны, и получи он их из менее искаженных источников. Однако до тех пор, пока все эти происшествия не выходили за пределы небольшой отдаленной провинции, они даже в самом благородном и рассудительном римлянине могли пробудить разве что мимолетное сожаление об имевшей здесь место поразительной частной несправедливости; в остальном же, с его римской точки зрения, все случившееся едва ли показалось бы ему хоть сколько-нибудь значительным историческим явлением: событием, свершающимся на великой арене всемирной истории и способным что-либо значить в его собственном мире. И лишь когда христианство в мире обрело силу, став принципом новой жизни и породив невиданную, совершенно отличную от всех прежних, жизненную форму, оно и в целом начало привлекать к себе внимание римлян как событие или факт теперь уже исторического значения. Однако сколь непонятым, странным и удивительным казалось им это новое явление в самом начале и еще долгое время спустя, сколь нелепо и превратно они судили о нем и сколь неловко с ним обращались, — обо всем этом свидетельствуют приведенные ранее характерные примеры. Но взирая теперь на все эти обстоятельства с позиции веры и из нашего, более позднего времени, зная обо всем, что выросло в нашем мире из этой, казалось бы, столь ничтожной исходной точки, мы видим их уже в совершенно ином свете. С этой стороны, напротив, представляется, что таинства и чудеса жизни и смерти Спасителя и, более того, вся совокупность Его учения (ибо и оно теснейшим образом связано с этими чудесами и таинствами и само по себе является величайшим из них) должны быть предоставлены исключительно религии, тогда как в истории с привычными для нее формами научного изложения для этого предмета нет места, ибо он выходит далеко за пределы ее сферы. Потому я буду предполагать эти таинства известными и, не затрагивая их подробнее, попытаюсь лишь с внешней стороны охарактеризовать то историческое окружение, то положение в мире и те условия, в которых христианство появилось на свет и вступило в историческое поле. К такому описанию могут относиться, безусловно, и некоторые выделяющиеся из целого вероучительные пункты, касающиеся этих, как политических, так и исторических условий (в том числе, в их отношении к прошлому или будущему). Однако в мою задачу не входит исчерпывающая характеристика

и оценка христианского учения в целом, какую я мог бы дать любой другой великой и достопримечательной системе философии или религиозных учений: здесь, по изложенным выше причинам, это представляется мне неуместным. Прежде всего я намерен показать, как именно эта высшая божественная сила развивалась и действовала в истории, и как она уже с самого начала, а затем по мере своего дальнейшего продвижения, создавала новый, преображенный мир. Разумеется, философская наука истории представляет собой отрасль и существенную часть познания тех божественных и человеческих вещей, которые редко или даже вообще никогда не могут быть совершенно отделены друг от друга — как в самом их постижении, так и в последующем рассмотрении и изложении; ибо как можно было бы достичь надлежащего и правильного понимания человеческих вещей в какой бы то ни было сфере жизни или науки, кроме как в связи со свойственным им или направляющим их божественным принципом и в отношении к оному? Тем не менее, и здесь также необходимо держаться известной и твердо определенной меры, положив ясные и отчетливые границы между божественным и человеческим, дабы не смешивать одну точку зрения с другой. Ибо как религии и ее развитию наносится ощутимый вред, когда ее рассмотрение чрезмерно или даже полностью сводится к сугубо историческим исследованиям и ученым диспутам по их поводу, точно так же было бы несообразно с целями философской истории, если бы та пожелала всецело раствориться в религиозном созерцании. Несомненно, философия истории не только может, но и должна признавать божественный принцип в человеке или врожденный и заложенный в него при сотворении божественный образ также и существенным принципом всего человеческого рода как целого и считать его фундаментом всемирно-исторического развития человечества, а восстановление божественного подобия в человеке и во всем роде человеческом рассматривать как цель этого развития и как подлинное содержание всей человеческой истории. Таким образом, она должна — как до сих пор и старался делать я — повсюду усердно искать и выявлять божественную истину, данную как изначальное слово и заключенную в древнейшем откровении разных народов первого мирового периода. В среднюю мировую эпоху, в этот решающий поворотный момент между старым и новым временем, тот принцип, который служит основанием всему последующему развитию, может быть найден ею лишь в божественной силе истинной религии. Духовное же

значение и отличительный характерный признак третьей и последней мировой эпохи философия может надеяться отыскать лишь в том свете, что с течением времени все более ясно и отчетливо исходит от древнего наследия истины, хранимого в божественном Откровении, и из той новой силы любви, что явлена в религии Спасителя. И этот свет в конце времен должен преобразить в христианском духе не только государство и науку, но и всю жизнь. Таким образом, простые основания, на которых выделяются основные периоды и строится общий план такой философии истории как целого, уже содержатся здесь, в самом божественном принципе человека, и отсюда же выводятся они и для исторического развития всего человеческого рода. Кроме того, пусть нам будет позволено, придерживаясь этой философской точки зрения на историю, развивая и разрабатывая ее, отмечать особые пути и замыслы божественного Провидения, явленные в деяниях и судьбах отдельных народов, особо выдающихся личностей и исторических деятелей или целых эпох, наглядно представляя и отчетливее выделяя их там, где они и без того уже обращают на себя наше внимание. Мы будем делать такие замечания лишь эпизодически, местами, в тех исторических пунктах, которые сами предлагают к тому возможность, и удерживаясь при этом в границах осторожного намека, единственно возможных, когда дело касается эзотерического духа и глубинной религиозной идеи истории. В противном случае мы рискуем привнести свою систему божественных замыслов, преждевременно завершенную в согласии с человеческими взглядами и представлениями, в отнюдь еще не оконченную драму всемирной истории, чье беспредельное величие и сокровенные тайны, строго говоря, и так уже далеко превосходят скромную меру того, что способен с уверенностью полагать, осознавать, оценивать и знать человек — ошибка, от которой не всегда было вполне свободно великое множество писателей в их, как правило, весьма религиозных рассуждениях о всемирной истории. Однако до тех пор, пока подобные заметки не выходят за трезвые рамки предположений и ограничиваются отдельными случаями, не стремясь при этом чрезмерно рано проникнуть в лежащий в их основании всеобщий план божественной премудрости, не вдаваясь слишком глубоко в его частности и не пускаясь в самоуверенные суждения, нам словно сами собою будут являться множество поводов и причин полагать, что те или иные индивидуумы или даже целые нации и эпохи, очевидно, были сознательно избраны и предназначены

достичь вполне определенной цели, высшего предела и успеха в той или иной сфере, или уникальной в своем роде величины. В свою очередь сила, отпущенная такому индивидууму или нации, вторгается в целое истории, дабы в своем проявлении послужить двигателем, почвой или основанием при переходе от прежнего к новому, божественному состоянию; и такие или схожие цели, конечно же, весьма нередко сами собой являются в ходе развития народов в духовной культуре человечества. Более того, даже в том, что касается попущения зла — когда оно с великой силой врывается в мир и в ход истории, неся с собою всеобщее физическое или духовное опустошение — и стоящего за этим попущением божественного плана, исторически просвещенному суждению порой может удалиться если и не в полной мере исследовать тайную божественную волю, то хотя бы местами слегка приподнять простертый над нею покров. Дать подобное скромное указание или намек на конечную цель всех событий позволительно, пожалуй, и там, где мерило высшего божественного правосудия и воздаяния проявляет себя в гибели целых наций, как, например, иудейской, или в неудержимо надвигающихся отовсюду несчастьях и бедствиях, поражающих народы в эпохи продолжительного вырождения. При такой точке зрения подобные катастрофы не могут не показаться нам своего рода Страшным судом, который, правда, свершается лишь частично, в малом или применительно к отдельному случаю, и только в таком качестве они могут быть действительно поняты и получить правильную оценку. Но эта идея божественного правосудия, равно как и Страшного суда, насколько последний является историческим событием, относится уже к сфере философской истории и, наряду с упоминавшимся первым основанием божественного подобия в человеке, составляет ее второй принцип, более практически обращенный к действительной жизни и ее великим явлениям.

Однако благодатное таинство божественного спасения человеческого рода выходит за рамки истории и исторического доказательства. И хотя христианская история или ее философия и будут молчаливо предполагать существование этого таинства, принимать его как нечто известное и само собою разумеющееся, а в кругу единомышленников и в глубине своего религиозного мышления будут соотносить с ним очень многое, большую часть и даже почти все из исторических явлений и фактов, они все же не дерзнут включить само это таинство в свою собственную сферу, но целиком предоставят эту святы-

ню одной лишь религии. К столь же печальным последствиям всякий раз приводят попытки философов объять это таинство своей научной системой мышления или сделать его элементом подобной системы; ибо когда философия тем самым пытается дать ему объяснение и словно бы вывести его посредством дедукции, таинство избавления тут же перестает быть божественным фактом, а ведь лишь в этом качестве оно только и может представлять собой религию и ее совершенное и вечное основание. И еще одно мнение я хотел бы отвергнуть самым решительным образом как абсолютно антиисторическое и существенно препятствующее пониманию целого. Я едва ли смогу выразить его характер быстрее и вернее, чем в следующих кратких словах: оно заключается в том, что Христос был, попросту говоря, иудейским Сократом, и потому, согласно с самым естественным восприятием и пониманием его истории, этого самого возвышенного и благороднейшего из всех учителей нравственности постигла та же не менее плачевная для человечества судьба, что и того афинского философа и величайшего среди всех греков мудреца. На это можно возразить лишь одно: если бы Христос не был больше Сократа, то Он не был бы даже равен ему. Но это мнение следует считать неисторичным или, скорее, антиисторическим, не только потому, что оно стоит в самом решительном противоречии со всеми обетованиями, свидетельствами, повествованиями и собственными изречениями Спасителя, но в той же мере и даже еще более потому, что, если изъять этот божественный центральный пункт из всемирной истории, в ней будет тотчас утрачена всякая историческая взаимосвязь, основанная лишь на этой новой божественной силе, явившей себя в поворотной точке времен, и на оставленной нам до конца надежде на Бога. Но, хотя я и полагаю, что доказательство и подробное обоснование этой веры лежат за пределами исторической сферы, все же именно на такой предпосылке зиждется фундамент всемирной истории, именно в этой вере кроется тот ключ к ее целому, без которого вся она была бы ничем: загадкой без решения, лабиринтом без выхода, гигантской грудой камней и обломков, руинами незавершенного здания или великой трагедией человечества, которое в этом случае не имело бы никакого плода.

Итак, придерживаясь этих границ (установленных природой вещей и свойствами самого предмета), строго обозначить которые я счел здесь необходимым, в ходе нашего обзора тех истори-

ческих обстоятельств, в кругу коих христианство впервые вступило в этот мир и сделалось частью истории, мы прежде всего должны обратиться к еврейскому государству. Оказавшиеся в ту македонскую эпоху в зависимости сперва от греческих царей Египта, а затем поработанные властителями нового сирийского царства и подвергнутые с их стороны религиозным гонениям, лучшие представители еврейского народа явили немалую твердость в древней вере своих отцов, за которую многие представители героического рода Маккавеев с готовностью приняли смерть. Надежную защиту от всех этих властителей дало евреям покровительство римлян, которое, вскорости, обернулось для них, как и для других народов, самым настоящим и весьма тяжким игом чужеземного владычества. Евреи также оказались вовлечены в межпартийные распри Помпея и Цезаря — в том смысле, что каждая из враждующих партий благоволила иному претенденту на владычество над Иудеей и считала его наиболее подходящим для своих целей. При единовластном правлении Августа, приблизительно за сорок лет до начала нашего летосчисления, Ирод, последний из фаворитов этой партийной борьбы, сделался вассальным царем Иудейской земли и данником Рима. В Иерусалиме все еще высился во всем своем блеске и величии восстановленный по милости Кира и персов Второй храм. Несколько пострадав от рук Помпея и Красса, теперь, в правление Ирода Великого, он обрел еще большие размеры и гораздо более богатые украшения, чем когда-либо прежде. Ибо, как бы ни тяготел этот властитель к римским обычаям и, еще более, к духовной культуре греков, все же Храм оставался для Ирода средоточием власти и предметом честолюбивых устремлений, пусть и не столько как святилище иудейского ветхозаветного откровения, сколько как объединявший всю еврейскую нацию центр, возвышавшийся посреди этого крупного торгового города — одного из крупнейших во всей Западной Азии, — как тесно связанный с его крепостными стенами твердый оплот и сокровищница города и государства. Что же до иудеев, то в их среде в те дни образовалось две партии, которые, как плебеи и патриции во времена гражданских войн Рима, были отчасти схожи с теми, на которые разделен мир в наши дни; хотя, конечно, как во внутреннем характере и направлении этих партий, так и в их взаимных отношениях найдется немало различий с нынешним положением дел. И даже если в силу господствующего духа и своеобразного характера иудейского народа различия в воззрениях и основоположных принципах

обеих партий были прежде всего или преимущественно религиозными, они отнюдь не обходили стороной и политических материй, так что, в сущности, этот антагонизм охватывал собой всю жизнь вместе со всеми ее аспектами. Фарисеи были, в сущности, родовитыми знатоками Писаний (а вместе с тем, также и права), — своего рода патрициями еврейского народа, пользовавшимися у него немалым авторитетом. Стремясь сохранить незыблемой свою древнюю веру и государство со всеми его правами и законами и проявляя при этом бездушную черствость и склонность к казуистическим спорам, они держались скорее за мертвую букву древнего закона, давно уже утратив его божественный дух, а помыслы их не были свободны от эгоизма, потаенных намерений и своекорыстных планов. Придерживаясь иудейского закона, почитая и отстаивая его во всех отношениях, они, по меньшей мере, примкнули к римлянам лишь внешне, а не по внутренней склонности; вместе с тем, они не теряли надежды завлечь в ловушку любимого народом Учителя, побудив его к открытому выступлению против Рима, и полагали, по своей ограниченности, что рано или поздно, он должен будет уступить народным чаяниям и не удержится от этого шага. Однако само дело, за которое выступали тогда фарисеи, в целом было вполне легитимным с точки зрения иудейского государства, и сомневаться в этом позволительно тем менее, что это признавал и сам Спаситель, сказавший о фарисеях следующие слова: «Они сели на Моисеевом седалище, и что они вам велят, делайте»⁸². Именно потому, что древний закон и дело Божие они сделали своим законом и делом, с них и должно было быть больше взыскано; потому-то так строго судил о них Христос — кажется, едва ли не строже, чем о саддукеях, которые со своей изнеженной просвещенностью и либеральными взглядами на нравственность уже почти совершенно отпали от веры, а само Писание понимали и не желали понимать иначе, как только в естественном смысле, не признавая даже бессмертия души. Если же кто-то из них оказывался годен на что-то большее и способен был принять высшую истину, то это должно было считаться скорее счастливой находкой и неожиданным исключением. Впрочем, при всей строгости суждений о фарисеях, которые мы встречаем в Писании, не следует забывать, что они имеют в виду лишь наиболее выродившихся представителей этой партии, — мо-

⁸² Ср. Мф. 23:2–3

жет быть, даже наибольшую их часть, — однако касаются только их, а не всей этой секты или течения, имевшего немало гораздо лучших приверженцев. Ведь не следует забывать, что и апостол Павел также был фарисеем — хоть и благонамеренным, но весьма ревностным, (тот же характер имеют и все его писания), сидевшим у стоп Гамалиила, который, в свою очередь, был внуком знаменитого Гиллеля, упоминаемого в качестве одного из последних великих учителей еврейского народа, на коем еще покоилась вся полнота священного предания и который сам был одним из последних его столпов. Семь видов ложных фарисеев насчитывает еврейская история или предание, и к каждому из них вполне применимы высказанные Христом упреки. А кроме апостола Павла Священное Писание весьма уважительно упоминает и о других фарисеях, бывших друзьями и последователями Спасителя, хотя и не имевших мужества признать это открыто.

Там, где ход истории достигает поворотного момента, где проявляет себя подобный конфликт эпох, там почти всегда одновременно складываются и исторически зримо выступают, по большей части, все те же две противоборствующие партии. Одна из них отстаивает священную древность, но нередко, утратив ее внутреннее содержание и живой дух, держится лишь за мертвую букву строгого права. Вторая же партия, следующая эмпирическому ощущению, что эпоха нуждается и испытывает настоятельную потребность в чем-то новом, и что это новое стоит уже на пороге, в сущности, очень часто бывает не так уж и далека от истины. Но когда приверженцы этой партии, утратив веру в божественную древность и понимание того, что все истинно новое приходит только от Бога и исходит лишь от Него, полагают, будто и сами могут создать и породить это новое, и даже воображают, будто действительно уже преуспели в этом, в то время как на самом деле они не в силах измыслить чего-то иного, кроме ниспровержения старого мира, и отыскать те пути, которыми можно его достичь: или насильственно, или, в самом лучшем и благоприятном случае, расшатывая твердость убеждений и принципов, то есть, действуя путем внутреннего разложения. В столь беспокойные времена между двух этих крайностей находятся, конечно, и отдельные личности, чуждающиеся межпартийных распрей и взыскующие иного, высшего прибежища — пусть даже только для себя самих. Таковы были небольшие созерцательные общины благочестивых отшельников, существовавшие в то время у евреев: ессеи в самой Иудее и терапевты

в Египте, хотя по числу приверженцев они и составляли лишь малое исключение по сравнению с обеими упомянутыми главными сектами. И вот, между этими двумя партиями: еврейскими легитимистами, превратившимися в непреклонных буквалистов и односторонних эгоистов и либеральными просвещенцами, с одной стороны, а с другой, между древними обетованиями и иудейскими чаяниями — и римским владычеством, приобретшим силу закона и признанным в этом качестве, Спаситель выступил посредине — там, где нужна была сверхчеловеческая мудрость, чтобы срединным путем пройти меж двух этих партий, оставшись непричастным ни к одной из сторон. «Отдайте кесареву кесарево,» — ответил он просто, когда его пытались уловить с помощью обычного мирского лукавства; и это изречение стало одним из основополагающих законов христианства и останется непреложным до конца времен. Ту же силу имеет и другой известный всем возглас: «Ты камень, и на этом камне создам церковь мою,» — в котором уже заключалось самое ясное и определенное указание, как должны были отвечать христиане на требования римских язычников в том, что касалось привычного для тех политического идолослужения: жертвоприношений перед изображением императора и тому подобного, — и как должны были они, свидетели истины, удостоверить ее своею жизнью и кровью перед лицом всякой земной власти. Главное заблуждение иудейского народа как раз и заключалось в том, что в качестве обетованного им Спасителя они, в целом, ожидали теперь обыкновенного земного освободителя, который избавит их от гнетущей тяжести римского ига и восстановит их национальное царство, каким было оно в самом своем расцвете и великолепии. И в том, что касается этой ошибки, мы могли бы привести немало причин к их извинению, если бы только они не упорствовали в своем заблуждении до самого конца и последней крайности. В силу самой природы пророческого языка и изображения облик духовного спасителя во всем его блеске и подлинной славе был так представлен в древних обетованиях и описан там столь живыми красками, что, по крайней мере, многие его черты легко могли быть поняты как указание на земного царя. Или, выражаясь еще точнее и определеннее: поскольку всем божественным обетованиям свойственно непосредственно связывать первоначальные события с конечной целью, к которой те должны привести, то и на этой пророческой картине счастливого будущего, уготовленного избранному народу, черты весьма далекой эпохи конца времен,

тех последних дней, когда христианство восторжествует на всей Земле, прямо связаны и тесно переплетены с самыми первыми начатками божественного спасения. Точно так же, хотя и в иной предметной сфере, мы видим, что в прорицаниях самого Спасителя горестный возглас о близкой гибели Иерусалима и всей иудейской нации, находится в тесном соседстве и почти слит воедино с пророческими предостережениями об ужасах последнего времени и о грядущем дне всеобщего воздаяния. Впрочем, и эти события, коль скоро им предстоит действительно случиться еще во времени и на этой земле, следует считать историческими, и даже последнее преобразование природы, когда творение будет завершено и явлены будут новое небо и новая земля. И потому нередко бывает необходим весьма искусный и со тщанием употребляемый дар различения, чтобы отделить здесь одно от другого, упорядочить целое и каждую его деталь поставить на надлежащее ей место. Однако ничто не может более служить к извинению еврейского народа в этом отношении, как то обстоятельство, столь ясно зримое во всей священной истории, что и все последователи Спасителя, и даже самые близкие его ученики поначалу и сами пребывали в том же заблуждении, все еще полагая, что вот-вот присплет тот час, когда, несомненно, Он воочию явит себя как земной освободитель и царь своего народа, а сама мысль о его страдании и смерти была им настолько чужда, что они осмеливались даже возражать и укорять Его за подобные помыслы, ибо лишь гораздо позднее должна была спастись пелена с их очей. Именно в том и заключается важнейший упрек, действительно касающийся иудеев, что они столь непреклонно упорствовали в своем заблуждении (которое само по себе в их положении было вполне простительным) и даже после всего, что услышали, увидели и испытали, они, наконец, не пожелали прозреть. Вообще же бывает совершенно несообразно с исторической истиной, с внутренним характером и духом той великой эпохи перемен, когда об отношении Спасителя к иудейскому народу нередко говорят и представляют его таким образом, будто бы Он, так сказать, окончательно отменил и полностью отринул иудейство. Упразднен был лишь его внешний каркас, ибо в нем не было более нужды; а также все то — в частности, все то из законов, — что касалось необходимого прежде строгого обособления иудеев от прочих языческих народов. Весьма многое осталось неизменным, однако, достигнув исполнения, все обрело теперь высшее духовное значение; что и естественно, ибо и в самом иудействе все то, что было соразмерно не только с потреб-

ностями места и времени и рассчитано лишь на соответствующий срок, уже и ранее и с самого начала было образцово христианским. Двенадцать апостолов, равно как и первые семьдесят два ученика были взяты из числа избранного народа, так что и с этой стороны все данные ему божественные обетования были неукоснительно исполнены и соблюдены с буквальной точностью. Древний иерархический порядок совершенно отчетливым образом оставался основой нового, христианского в этом теперь уже расширившемся пространстве высшей божественной жизни. Словами «Царство Мое не от мира сего» не было сказано, будто оно не должно быть в мире реальной силой и властью с положительно установленным порядком и устройством. Многие привнесли в это изречение столь много своего или столь много вывели из него, что едва ли можно было бы легче и изящнее совершенно изгнать из мира это божественное Царство истины и всю его реальность. В священный час своей Вечери Учитель явил ученикам скрытый смысл древнего откровения и всю полноту заключенных в нем тайн. И слова, изреченные Им о древнем откровении, что каждое слово и каждый слог его должен исполниться буквально (ибо вообще тайный духовный смысл божественных речений не исключает их буквальной истинности и ненарушимой святости), можно также приложить и к новому откровению, в котором каждое слово и каждый слог в согласии со своим пророческим смыслом должны полностью сбыться в истории, прежде чем в предустановленный срок наступит эпоха совершенства. Но и в ином отношении, особенно важном с исторической точки зрения, христианство следует рассматривать лишь как божественное продолжение, высшую степень расширения жизни или духовное преображение иудейства; и именно таким и замышлялось оно своим Основателем, то есть, исполненным устремленности в будущее, определяющей всю жизнь и мировоззрение. Известный закон божественной премудрости, согласно с которым земное бытие должно быть только лишь состоянием ожидания, приуготовления и борьбы, равно как и соответствующее ему отношение к жизни, единственно подобающее для человека в его нынешнем состоянии, сохраняют свою полную силу и здесь, в Новом Завете. Для христиан того первого времени смерть была, как сказал Спаситель и о Самом Себе, лишь прешествием, возвращением к Отцу, а вся земная жизнь была непрерывным борением. Кто верно сражался до самого конца, тому при исходе являлся уже не страшивший всех ангел смерти, а мирный посланец небес, несший ему сияющий

венце победителя и награду вечной жизни; с этой верой и этими помыслами жили все верные и умирали все мученики. И как божественный Вождь и Друг всякой души человеческой своею бережною рукою возводит ее в иной, лучший мир, так возвестил Он и всему человеческому роду во многих словах обетования, что, когда приблизится последнее время, сам Он вновь вернется на Землю, творя все новое⁸³ и приводя все создание к полному совершенству. Столь несомненным было для первых христиан чувство непосредственного присутствия их незримого Господа и Вождя, столь живой была надежда на его скорое второе пришествие, что из-за всего этого и для того, чтобы страстное нетерпение, неудержимо стремящееся к своей цели, не пыталось преждевременно приблизить столь пламенно вождемый конец, божественное Провидение почло необходимым, чтобы пророк Нового Завета, направляемый светом своего духа, завершил это вечное откровение целой вереницей обширных периодов времени, полных борьбы, все более нарастающей в роде человеческом. Всем им суждено пройти чередой через все века христианской истории, прежде чем будет исполнено это обетование, и, наконец, с наступлением последнего времени совершенства сможет начаться обетованная эпоха, когда христианство восторжествует на всей Земле и во всем человечестве будет одно стадо и один пастырь. Согласно с основными принципами христианства и с присущим и предписанным ему образом мыслей, человек обязан всегда, в любое мгновение быть готов к смерти, однако никогда не должен пытаться по своему произволу и до времени предвосхитить установленную Богом цель. Точно так же и тех, кто во дни жесточайших римских гонений на христиан, будучи не в силах дожидаться чести мученичества, сам себе выискивал опасности, предупреждали, что это несогласно с божественной волей; и нередко случалось, что те, кто в чрезмерном уповании на собственные силы подобным образом намеренно устремлялись на поле брани, под конец не выдерживали мучений и отрекались от веры.

Если бы только в надлежащее время иудеи отверзли очи и признали дарованное им Богом исполнение древних обетований, которое по существу было несравненно выше и величественнее того, что они ожидали, если бы все они или большая их часть приняла христианство, тогда бы еврейский народ стал крепкой основой и всемирно-историческим пунктом начала

⁸³ Ср. Откр 21:5

и единства всего нового времени и новой жизни. Но поскольку они отнюдь не отвечали такому требованию, поставленному перед ними самой природой вещей и собственной историей, наказание, наложенное на них божественным правосудием, состояло в том, что евреи окончательно перестали существовать как нация, рассеялись среди прочих народов земли, и самим этим состоянием разобщения и рассеяния должны были служить для них примером. У язычников с их чисто внешней точкой зрения такая судьба могла вызывать презрение, однако для христианских народов она ни в коем случае не должна была становиться поводом к угнетению или жестокостям; к тому же, весьма сомнительно, чтобы какой-либо другой народ в таком положении, находясь в плену столь же древних заблуждений и эгоистических предрассудков, смог проявить себя много лучше, да и вообще все человечество, будучи вновь подвергнуто подобному испытанию, едва ли выдержало бы его с большим успехом. Древний храм во святом граде был, в отличие от прочих языческих святилищ, не просто искусно украшенным, роскошным и знаменитым памятником национальной славы, но самой ее идеей и планом; всякая его деталь, вплоть до ничтожнейшей мелочи, каждый камень, каждое число было исполнено в нем глубокого смысла и символически связано с тем незримым храмом, тем великим градом, тем божественным Царством мира, основать которое на земле должен был прийти и, наконец, действительно пришел Христос. Само имя города «Иерусалим» по смыслу еврейского слова столь же символично и устанавливает столь же глубокую связь, ибо оно означает ничто иное как «откровение» и «основание» или же «город мира», под которым подразумевался не просто земной, преходящий, но тот высший божественный мир, который и составляет содержание всех обетований, данных избранному народу. Этот пророческий смысл и символическое предназначение святого града столь тесно переплетены с его первоистоками и с самой его идеей, что в писаниях древнего откровения можно найти немало мест, чей образный язык звучит так, будто бы все человеческие дела и поступки, да и вообще сама жизнь не имели иной конечной цели, как только чтобы «созидались стены Иерусалимские»⁸⁴ — в том же смысле, как если бы какой-нибудь христианский писатель-философ сказал: подлинное предназначение и конечная цель всего человечества и истории всех времен и народов есть

⁸⁴ Ср. Пс 50:21

Царствие Божие, то есть, чтобы христианская истина и совершенство все более широко и неустанно распространялись по всей земле и все прочнее утверждались в роде человеческом. Но теперь, когда глубокий смысл этого великого, начертанного самою историей национального иероглифа иудеев остался совершенно непонятым, когда лежащая в его основании истина оказалась непризнанна и решительно отвергнута как раз в самом начале своего полного раскрытия и исполнения, что было бы естественнее, как не то, чтобы этот образ, не достигший своей цели, был теперь разбит, храм — разрушен, а сам город — сокрушен и уничтожен рукою божественного правосудия? Таков христианский взгляд на то время, на ту великую катастрофу разрушения Иерусалима и всей еврейской нации при Веспасиане, с которым, в основных чертах, вполне согласуется и иудейское видение этих событий, пусть и воспринятое с несколько иных позиций и имеющее немного иную окраску. Что при каждом подобном всеобщем опустошительном бедствии, которым по божественному попущению наказуется сразу целая часть человечества, любящее всеведение все же никогда не забывает дивным образом принять под свое заботливое попечение всякую человеческую душу, сохраняя и сберегая хотя бы ее бессмертную часть, и без того должно быть ясно любому религиозному сердцу и уму, так что напоминать об этом нет особой нужды. Если, как говорит Писание, каждый волос на голове человеческой сочтен, то же самое можно сказать о днях и даже о часах, о биении пульса каждой человеческой жизни — более того, и в буквальном смысле, каждая слеза, пролитая в подлинной душевной боли из очей человеческих, будет сочтена в заботливом духе вечной любви. Однако с исторической точки зрения такой религиозный взгляд на судьбы отдельной личности и человеческое сострадание с ней должны лишь молча предполагаться, составляя, однако, отдельную сферу, которой не касается то, что здесь составляет для нас основную задачу, а именно: насколько это доступно человеческому зору, внимательно проследживать и исторически осмыслять великие пути божественной справедливости, проходящие через все века и эпохи человечества.

Когда надежды иудеев на посланного Богом и наделенного божественной силой освободителя от сурового римского ига не сбылись, а чужеземный гнет все более усугублялся, спустя приблизительно тридцать три года после возникновения христианства и после множества более ранних возмущений, вся страна оказалась охвачена восстанием, терзаема неистовой

межпартийной борьбой, являла все ужасы необузданной революции, и лишь фанатическая ненависть воодушевляла ее отчаянным мужеством. С жестокой методой римлян в подобных истребительных войнах мы уже познакомились на примере Карфагена; невзирая на добрый и снисходительный личный характер, император Тит не мог ничего в ней изменить, так что число погибших при осаде и разрушении святого града насчитывает 1 300 000 человек, включая небольшое количество угнанных в плен или оставленных для триумфальной процессии. Император Адриан повелел заново выстроить разрушенный город под новым языческим именем Элия Капитолина и воздвигнуть в нем храм Юпитеру, однако ни одному иудею не было позволено вступить в этот новый город. Позднее император Юлиан помышлял восстановить Иерусалим, причем именно для иудеев, к каковой мысли его сподвигло, должно быть, не что иное как вражда против христианства, однако неожиданные препятствия и стихийные бедствия помешали исполнению этого замысла.

Данное иудеям обетование и древнее откровение был первым краеугольным камнем, на котором покоилось христианство, и из того же народа были избраны первые орудия его проповеди. Писания Нового Завета были составлены на греческом языке, на нем же, по большей части, написаны и первые опыты апологетики, изъяснения веры и прочие учительные книги древнейших Отцов Церкви; и все это можно рассматривать в качестве второго краеугольного камня в историческом развитии христианства. Сколь бы непродолжительны ни были политические последствия македонского завоевания в Азии, его историческое воздействие и греческое влияние на интеллектуальную сферу и развитие народов цивилизованного мира того времени было весьма немаловажным. Благодаря этому влиянию греческая наука и духовная культура сделались господствующими в странах Передней Азии и в Египте; то же касается и греческого языка, который, таким образом, был избран теперь первым основным языком христианства, ибо, пожалуй, никакое другое наречие в ту пору не было ни столь духовно развито, ни столь повсеместно распространено. Как в человеческом обществе каждое сословие, каждый класс и, более того, каждый индивидуум с присущими каждому из них частными правами и привилегиями, тем не менее, служит также и целому, действует ради других или содействует им, порою не отдавая себе в том отчета и, в сущности, даже не желая того, так и в развитии всего мира и в истории

народов все находится во взаимной связи, где один элемент то и дело становится вспомогательным средством, инструментом или связующим звеном для другого. И потому весьма немаловажным результатом развития греческой науки и языка как тех двух начал, в которых более всего заключалось самобытное преимущество этой нации и дарованная ей особая сила, следует считать то, что они с самого начала были приведены в столь тесное и глубокое соприкосновение с христианством. Третьим краеугольным камнем для исторического формирования и распространения христианства послужила всемирная империя римлян; ибо ее колоссальные размеры с самого начала весьма упрощали его столь невероятно быстрое распространение и, по сути дела, предоставили и то основание, на котором было воздвигнуто здание ранней церкви.

В древнейшей церковной истории первых христианских столетий принято порознь рассматривать отдельные ветви, составляющие для нас различные стороны этого целого, таким образом, раздельно описывая развитие догм и учений, священные обряды и таинства, богослужения и празднества, а также нравственное состояние и внешние отношения христианства, что может быть весьма полезно с точки зрения специальных целей подобного церковно-исторического исследования. Однако с общей точки зрения, если мы хотим наглядно представить себе сам дух древнейшего христианства, наметить его достоверную картину, во всем согласную с живой истиной, то, занимаясь разбором этих позднейших рубрик, мы, прежде всего, не должны забывать, что для первых христиан они по большей части еще составляли одно неразрывное целое в той переизбыточествующей полноте новой жизни, о которой мы едва ли в силах составить себе наглядное представление, равно как и о дивной силе любви и веры, бывшей ее неиссякаемым источником. Вообще же самое первое начало христианства по своему воздействию было подобно электрическому удару, пронесшемуся по всему человечеству со скоростью молнии, словно магнетический поток жизни, соединивший собою все, даже самые отдаленнейшие его части в единое одухотворенное биение пульса. Совместная молитва и святое таинство сковали их более прочной духовной цепью искренней любви, чем какие бы то ни было священные узы крови и земных симпатий. Эти тайные собрания первых христиан пытались сравнивать с языческими мистериями, и действительно, во времена страшных всеобщих гонений верные могли собираться лишь скрытно, в неприметных местах

и тайных святилищах. Однако те древние мистерии по своему достаточно хорошо известному нам смыслу имели столько же сходства с этими христианскими собраниями и сообществами, сколько божественная жертва хваления и святого воспоминания и освященная чаша с Кровью вечного Завета имеют с какими-нибудь человеческими жертвами каинитов. Христиане ощущали и видели своего незримого Царя и вечного Учителя посреди себя, и если душа их преизбыточествовала полнотою жизни небесных духов, то неужто могли бы они столь высоко ценить свое земное бытие или не быть готовы пожертвовать им в борьбе против власти тьмы, коль скоро именно в этой борьбе и заключалось все их призвание и подлинное содержание их жизни? Отсюда можно понять и объяснить и то невероятное иначе быстрое распространение христианства во всех провинциях обширной Римской империи и даже кое-где за ее пределами — словно небесное пламя жизни, которое, разливаясь по всем жилам земного бытия, молниеносно воспламеняло общим воодушевлением все, в чем встречало отклик хоть сколь-нибудь родственных чувств. И отсюда же наряду с этой силой любви, ставшей причиной крепкой сплоченности первых христианских общин и их быстрого распространения, проистекала и изначальная сила веры, породившая героическое сопротивление ужасным, непрестанно возобновлявшимся римским гонениям на христиан. Первое из них, при Нероне, было вызвано лишь минутным капризом кровожадного тирана и недолгой вспышкой его жестокого произвола. Первый настоящий закон против христиан был принят в Римской империи в 87 году при императоре Домициане и, по пришедшему из Иудеи обычаю, приравнивал непризнание ими отечественных богов к оскорблению величества. Однако Нерва, будучи лучшим правителем, смягчил этот закон в том отношении, что обвинения, выдвинутые рабами против своих хозяев, не должны были приниматься, а напротив, влекли за собою строгое наказание для них самих. Также и Траян в ответ на уже упомянутое сообщение Плиния Младшего от 120-го года нашего летосчисления постановил, что христиан, бывших тогда уже чрезвычайно многочисленными, не следует намеренно разыскивать, но лишь тогда, когда на них поступает донос, они должны быть наказаны в согласии с существующими законами против братств и религиозных сообществ.

Однако, невзирая на все эти кажущиеся послабления со стороны хороших императоров, уголовное право римлян,

подобно их военной методе, было уже само по себе столь жестоким, что все исторические детали и указания, встречающиеся у древних историографов, безмалейшего труда согласуются со свидетельствами христианского предания, говорящими о тех неслыханных муках, которым подвергались христиане во времена этих гонений. Адриан также в целом следовал тем же средним, умеренным путем, который ранее был избран Траяном; он одобрял юридические и судебные преследования христиан, однако возбранял стихийные нападки, вызванные обычными вспышками народной ненависти. Такое положение сохранялось с небольшими переменами до тех пор, пока, наконец, Диоклетиан все же не предпринял попытку окончательно истребить христианство, взявшись за дело несравненно последовательнее большинства своих предшественников. Однако, поскольку достичь этой цели было уже невозможно, вслед за этим гонением при Константине была впервые официально установлена государственная терпимость по отношению к разраставшейся Церкви, а когда полный языческого энтузиазма Юлиан вновь попытался ниспровергнуть ее, было уже слишком поздно. В борьбе с языческой жесткостью и римскими гонениями, в оковах и всякого рода мучениях христианство победоносно явило себя непреодолимой силой божественного сопротивления, и потому сразу же вслед за апостолами второе место в памяти христианства занимают столь высоко чтимые мученики, положившие основание новому мироустройству и запечатлевшие его своей кровью. Однако дабы никто не помыслил, будто они могли собственной человеческой силой с негибаемым упорством претерпевать столь невероятные муки или, напротив, будто такое терпение было даровано им как божественный фатум, безо всякого содействия свободной, чистой и непреклонной воли, то есть как бы неосознанно и совершенно произвольно, для того наряду с неколебимыми мучениками имелось немало людей нетвердых, которые под пытками выдавали священные книги или совершенно отпадали от веры и приносили жертвы богам, что впоследствии стало поводом к разделению во взглядах на то, можно ли прощать этих падших и вновь принимать их в общение или нет.

В то же самое время, когда миновала первая эпоха бесчеловечных тиранов, последовавших сразу за Августом, многие из лучших императоров пытались различными способами достичь нравственного возрождения римского государства и народа. Траян — тем, что сам держался древней воинской добродетели

и справедливости и стремился восстановить их такими, какими были они ранее, в лучшие времена Рима, и эти меры произвели хотя и непродолжительное, однако весьма благотворное воздействие. Адриан пытался вновь оживить языческую религию в качестве основания государства и общественной жизни, в особенности, наиболее глубокое и религиозное египетское язычество, и с этим его предпочтением был связан неоегипетский стиль той поздней эпохи в истории изобразительного искусства. Однако не в сохранении или более глубоком обосновании религиозного язычества в ту пору следовало искать укрепления сил и возрождения общественной жизни и самого государства, и не на этом пути они могли быть достигнуты; напротив, именно в ложном характере изначальных языческих представлений римлян и заключалась основная причина, по которой даже в те, столь прославляемые ныне и, по крайней мере, не самые худшие древние времена, здесь не могли быть установлены и не сумели пустить прочные корни подлинно справедливый, нравственно крепкий и морально устойчивый порядок и устройство государственной и общественной жизни. При обоих Антонинах в качестве живительной силы всеобщего возрождения и высшего основания нового нравственного порядка и государственного строя рассматривали и пытались использовать стоическую философию и ее строгую этику. И если бы один только стоицизм, одна лишь мертвая буква строгого права и легитимные принципы, взятые сами по себе, лишённые божественного основания веры и порождаемой ею высшей любви, были на это способны, если бы они имели в себе такую силу и глубинный источник жизни, то уж, во всяком случае, самим этим венценосным стоикам нельзя было отказать в непреклонности воли и совершенствах личного характера, суливших одряхлевшей эпохе свершение ее последних языческих надежд. Но к тому, что не покоится на основании истины, невозможно извне привить новую жизнь; нельзя обновить ее и изнутри там, где внутренней жизни нет. И такое общество, как только померкнет обманчивый блеск, сиявший в дни первого расцвета его юношеской силы, неудержимо обрушивается в глубины собственной порочности. «Если Господь не созиждет дома, — пророчествует псалмопевец, — напрасно трудятся строящие его»⁸⁵. Сразу же за этими добрыми временами, бывшими в правление названных выше трех или четырех властителей, последовал Коммод, а после него началась непрерывная

⁸⁵ Пс. 126:1

смена правителей: то хороших или хотя бы не очень плохих (но нередко царствовавших весьма недолго), то посредственных и бесхарактерных а то и вовсе дурных и неукротимых тиранов, — продолжавшаяся вплоть до Диоклетиана; с тем лишь отличием, что среди этих последних, походивших своею жестокостью и деспотическим произволом на первых преемников Августа, ни один не был наделен столь могучим римским интеллектом, каким обладал Тиберий, а нравы их начали все отчетливее приобретать изнеженный восточный характер. Вообще же в Римской империи ничто не было столь предоставлено воле случая, как порядок наследования власти, ибо уже сам произвольный порядок римского усыновления открывал здесь широкий простор для межпартийной борьбы, не говоря уже о заговорах, неоднократно случавшихся при подобной военной монархии, которая никогда не скрывала этого своего характера и происхождения. Август употребил всю свою долгую жизнь — и не без видимого успеха, по крайней мере, на некоторое время — чтобы придать своему добытому мечом всесилию искусственный блеск и все формы легитимной власти. Но разве можно было когда-нибудь забыть, что и сам он, и Цезарь взошли на императорский трон, опираясь на армию, среди раздоров, заговоров и гражданской войны? Это было прекрасно известно солдатам, и, конечно, они всегда памятовали о том, откуда на самом деле произошла высшая власть в государстве. Особенно велико было вначале влияние преторианцев, занимавших ближайшее место подле императора и составлявших его вооруженное окружение. В силу такого своего положения их предводитель, подобно цензору или народному трибуну древней республики, обладал своеобразной негативно-ограничительной властью — с той лишь разницей, что теперь она подкреплялась силой меча, с которой в известной мере считался даже сам император. Так, Траяну даже вменялись в высокую заслугу слова, с которыми тот вручил меч начальнику этого воинского отряда, охранявшего своего правителя, однако нередко властно решавшего его судьбу: «За меня, если я буду управлять хорошо, против меня, — если я стану тираном». Таким образом, вся империя была предоставлена воле случая и произволу и до конца оставалась, в сущности, не чем иным, как военной деспотией, от которой некогда приняла свое начало. Однако вскоре самые крепкие легионы, постоянно размещавшиеся в важнейших провинциях, особенно в приграничных землях, почувствовали, что по своей численности и по военной мощи, пожалуй, должны превосходить преторианцев,

живших в изнеженной столице. Они провозгласили и выбрали многих императоров, некоторые из которых не были римлянами, но происходили от варваров, равно как и среди самих легионеров в провинциях служило множество чужеземцев, а в западных землях, у северной границы — особенно много германцев. Многие из этих выбранных легионами правителей оставались и имели свою резиденцию там, где находилось средоточие их власти: в своем гарнизоне или в удачно расположенной столице своей провинции. Сенат давно уже был не более чем бесплотной тенью своего прежнего величия, да и даже сама столица начинала заметно утрачивать свое значение. В то же время натиск северных народов с их неоднократными набегами становился все более угрожающим, и та беда, которую римляне прежде со страхом провидели издали, теперь и в самом деле подступала все ближе. Уже первое вторжение кимбров и тевтонов, когда на Рим двинулось не просто вражеское войско с целью грабежа или основания вооруженной колонии, но целый народ с женщинами и детьми, повергло Рим в величайший ужас, хотя тогда, в эпоху гражданских войн, тот находился на пике своей военной мощи. Цезарь не жалел усилий для полного покорения Галлии, которая с тех пор все более и более становилась совершенно латинской по нравам и языку. Но нигде не встретил он столь сильного сопротивления, как у германских народов; и защита от них посредством хорошо укрепленной, охраняемой силой оружия границы по Рейну и Дунаю оставалась с тех пор первейшей заботой римских миродержцев. Сколь потрясло Августа поражение Вара в родных лесах германца Арминия! Уже в правление Траяна, не смотря на все воинское величие этого едва ли не последнего завоевателя среди властителей Рима, в империи стали всерьез опасаться вторжения германских народов. Первое крупное нашествие подобного рода было предпринято алеманнами, вторгшимися при Марке Аврелии в ретские провинции, в то время как сходные перемещения народов происходили также в Норике и далее к востоку, в сторону Паннонии. Однако Марку Аврелию, оказавшему им мощное сопротивление, удалось победоносно отразить эту первую попытку германцев и надолго отбить у них охоту к подобным предприятиям, так что минуло еще целых сто лет, прежде чем Аврелиану вновь пришлось изгонять алеманнов из Италии, преследуя их через Альпы до самого Леха. Наиболее могущественным из германских народов были готы, которые с островов Скандинавии расселились далеко в глубь германских земель, в особенности на восток, а позднее также

и в западном направлении. Никто не в силах был воспрепятствовать им прочно обосноваться в северо-восточных провинциях, у Черного моря. Император Деций пал в бою с ними, после чего римляне были вынуждены уступить готам Задунайскую Дакию, о чем с теми был заключен формальный договор. (Победу над готами одержал Константин, однако и он предпочел заключить с ними выгодный мир, чтобы заручиться их дружбой и пополнить римскую армию юными готскими воинами.) Среди последующих царствований одним из самых прочных было правление Диоклетиана, однако его жестокие гонения на христиан, уже и сами по себе достойные всяческого порицания, даже по меркам римского общества давно уже не отвечали духу времени, а потому и замысел его не достиг цели. Хотя после отречения он явил себя в частной жизни еще вполне настоящим римлянином, в годы правления он почитал необходимым украшать свое чело блеском диадемы и окружать себя азиатскими формами поклонения. Раздел империи между несколькими сообща властвующими соправителями уже тогда, как и позднее, при Константине и его преемниках, казался неизбежным злом, превратившимся теперь в необходимость; иными словами, отдельные части, провинции и прочие члены громадного тела римской империи, все более приближавшейся к гибели, начали распадаться, и сам раздел ее лишь ускорил этот распад, нередко служа дополнительным поводом к внутреннему расколу и всеобщему потрясению в римском мире. Самыми радикальными из всех и поистине достойными имени возрождения могли бы стать преобразования Константина, поскольку они затронули именно изначально неверное и к тому времени окончательно прогнившее языческое основание римского государства и всемирной империи, место которого теперь мог и должен был занять новый жизненный принцип — высшая и могущественная сила божественной истины и вечной справедливости. Но пока еще христианство отнюдь не было общепринятой религией всех римлян или самой империи — иначе великая реакция при Юлиане была бы немыслима; в особенности сельские жители еще долго хранили верность древнему идолослужению, откуда пошло и само имя *pagani*. Даже Константин, хотя и открыто объявил себя сторонником христианства, не решился сразу же принять крещение и тем самым действительно вступить в полное общение с христианским миром и церковью: римский государственный строй был столь тесно переплетен с языческими обычаями и понятиями, что поначалу это могло бы легко привести

к опасным коллизиям. Вообще же даже и после Константина господствующие государственные принципы и понятия еще долгое время оставались древнеримскими; и не пришло еще время, когда бы все политическое устройство тогдашнего мира, начиная с самых основ, могло быть преобразовано на христианских началах, и на этом вечном основании органически сформировалось такое государство, которое заслуживало бы имени христианского и могло возрастать, пустив глубокие корни в народной вере и жизни, равно как и в самом христианском народе. Все эти перемены были уготованы иному, более позднему временному периоду.





ОДИННАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

**О древних германцах и великом переселении народов;
о естественном ходе исторического развития;
дальнейшее распространение и внутреннее
упрочение христианства;
великий всемирный упадок
и возникновение магометанства**

Богослужение древних германцев заключалось (как это вообще свойственно малоразвитому в поэтическом и художественном отношении язычеству у примитивных сообществ) в обычном поклонении природе — в том же, приблизительно, что мы видим и у древнейших персов, с коими германцев многое роднит также в их языке и происхождении. Предметами их поклонения были Солнце, Луна и звезды, духи и прочие природные силы и стихии, в особенности же сама Мать-Земля под именем богини Герты. В немецких и английских названиях дней недели до сих пор сохранились имена богов Тюр, Один, Тор и Фрейя, которые в германской мифологии носят самые яркие из планет, видимых простым глазом с нашей Земли: Марс, Меркурий, Юпитер и Венера. Именно от них происходят соответствующие названия дней в романских языках. Однако такого по-настоящему развитого и облеченного могущественной властью института жрецов, какой в Галлии представляли собой друиды, у германцев, по всей видимости, не имелось, хотя в их обиходе и были тайные обряды и простые древние мистерии; так, например, у озера Гертзее на острове Рюген совершались даже человеческие жертвоприношения: сюда приводили юношу и невинную девушку, и топили их в этом уединенном озере. Во мраке лесов, под священным дубом или под липой — этим маги-

ческим деревом Севера — и на вершинах гор германцы свершали свои обряды, празднества и песнопения или раскладывали руны, чтобы предсказывать будущее. Подобно тому как греки о величайших и важнейших народных делах и в минуты всеобщей опасности вопрошали дельфийский оракул и получали от него советы, так и здесь существовали жены-прорицательницы, эти северные сивиллы, которые, как, например, упоминаемая римлянами Велета⁸⁶, нередко пользовались весьма значительным влиянием и при обсуждении всех общественных вопросов. Древние историко-поэтические сказания о богах, героях, великанах и духах, во многом сходные с древнеперсидскими, были для германских народов средоточием всей их сакральной памяти и национальной жизни. Германцы все еще живо помнили о своем азиатском происхождении, рассказы о котором неразрывно переплелись с тканью их эпических повествований; и как в персидских преданиях в качестве племени благородных героев первобытной эпохи прославляются арии, так здесь, в нордической мифологии то же самое место занимают асы. На скандинавском Севере, который, в то время как сама Германия давно уже приняла христианство, на протяжении долгих столетий все еще оставался языческим, сохранились бесчисленные памятники и песни подобного рода и содержания, а множество их разрозненных следов можно найти и в других странах. Эти исторические сказания и традиционная, изустно передаваемая поэзия нередко могли в ряду прочих обстоятельств оказывать решающее влияние на практическую жизнь, на свершения и героические деяния современности; и, как в героическую эпоху древних греков, обычаи которых описаны у Гомера, певец и сказитель древних мифов и героических саг также и здесь был далеко не последним лицом, входя в ближайшее окружение князей и военачальников. Однако столь всеобъемлющей царской власти, какая уже очень рано сложилась у древних персов, здесь не было; германский государственный строй — если только уместно употребить это слово по отношению к тем еще совершенно свободным временам — скорее напоминал героическую эпоху древнейшей Греции, когда над нею еще владычествовали благородные племена и их предводители, и вся она была поделена между ними на множество мелких царств, лишь изредка заключавших между собою союзы и объединявшихся в более крупные сообщества для тех или иных совместных начинаний.

⁸⁶ Тацит, История IV, 61

Этот древнейший германский государственный строй представлял собой самую простую и естественную форму свободной аристократии: каждое племя, составлявшее одно целое или единый народ, являлось союзом свободных и благородных мужей, объединявшихся под властью наследного племенного вождя или выборного военачальника — герцога, от которых, лишь позднее и лишь у некоторых германских народов, произошла подлинная королевская власть. Каждый свободный человек, наделенный правом носить оружие или *Wehge* был членом *Heermannie*, то есть ополчения, которое позднее стали называть *Heerbann* или арьербан; от этой-то древней *Heermannie* и произошло римское наименование германского народа и его страны. Всякого рода работу исполняли слуги и невольники — купленные или взятые в плен исконные жители покоренных земель или же те, кто был лишен свободы и прав благородного сословия в качестве наказания. Когда римляне ближе познакомились с германскими народами, те уже успели отчасти овладеть земледелием, включая тот древнейший обычай попеременно держать поля под паром, который на севере Германии столь долго сохранялся под именем трехпольного хозяйства. Впрочем, земли тогда еще не были без остатка размежеваны и огорожены в качестве частных владений — многое оставалось общинной собственностью или альмендой, и тем легче решались эти племена оставить обжитые места и переселиться в иные края, когда у них был к тому надлежащий повод. Кроме того, зарождающееся земледелие все еще играло здесь второстепенную роль по сравнению со скотоводством и охотой как основными источниками питания. Отдельные лесные массивы, до сих пор существующие в Германии, представляют собой лишь уцелевшие остатки громадного и бескрайнего древнего Герцинского Леса, простиравшегося тогда по всей внутренней и средней Германии. А поскольку на тот момент была сведена лишь самая малая его часть, то и почвы в ту пору были более болотистыми, воздух несравненно холоднее, а туры и лоси, которые в поздние времена, вплоть до наших дней, встречаются в Германии лишь как все более редкое исключение, в те дни еще были здесь вполне привычными видами животных. Очевидно, что при таких землях и при подобном образе жизни уже один только прирост населения мог быть достаточной причиной, чтобы побудить отдельное племя или даже целый народ к переселению — пусть даже частичному, а не полному, для чего потребовалось бы содействие иных, сопутствующих обстоятельств. Такими обстоятельствами, способными

привести в движение весь народ или, по крайней мере, его половину, могли служить междоусобные распри и подобные племенные войны. В их отсутствие привычнее должен был быть сначала такой порядок, когда из избытков молодого поколения отбирались младшие братья или же определенное жребием число людей, которые под предводительством выбранного или предопределенного к тому своей славой военачальника отправлялись искать себе новое место для проживания и пытаться судьбу в опасностях вооруженной колонизации — на востоке, на западе или под приветливым небом какой-нибудь южной земли. В сущности, каждый народ и государство, в том числе, преуспевающее в своем развитии или даже пребывающее на вершине цивилизованного состояния, имеет вполне естественную потребность в том, чтобы, образно говоря, извергать из себя свой избыток, размножаться подобно живому существу, или, одним словом — основывать колонии и владеть ими. Таков природный закон или естественное гигиеническое правило, господствующее в жизни и развитии народов; те же случаи, в которых эта потребность не проявляется подобным образом, являются не более чем исключениями, причем всегда можно найти и назвать особые причины, по которым эти исключения имеют место — конечно, до известного времени, поскольку рано или поздно природа неизбежно возьмет свое. Ведь и торговые колонии финикийцев и греков были хотя бы отчасти основаны с оружием в руках и уж, во всяком случае, их защищали, расширяли и укрепляли силой меча; и даже в новое время Перу и Мексика стали испанскими владениями отнюдь не без помощи вооруженной силы. Но в древности воинственных варварских народов Севера эта естественная потребность расселения едва ли могла принять иной облик и положить себе иную цель, нежели вооруженная колонизация. Ею закончилось уже самое первое упомянутое в истории вторжение северных народов — военный поход галлов во Фракию, вскоре после которого под предводительством Бренна последовала вторая экспедиция в Македонию и Грецию, где этот галльский военачальник, в числе прочего, овладел богатым дельфийским храмом Аполлона вместе со всеми его сокровищами. Те, кто остался в живых из всего этого войска, в конце концов сумели прочно обосноваться в Малой Азии и основали там галльское поселение — в стране, получившей от них свое имя: Галатия. Почти все имена племен и предводителей, участвовавших в этом первом великом походе или нашествии северных народов, являются кельтскими, однако есть среди них

и несколько германских, что вовсе не трудно объяснить, поскольку в те времена галлы, широко расселившиеся и проживавшие поначалу даже на севере Италии, несомненно, владели и большей частью альпийских земель, так что отдельные германские племена легко могли присоединяться к их войску. Кто знает, какие дивные рассказы или баснословные известия о мягком климате и роскошных плодах южной земли, смешанные с воспоминаниями о далеких истоках собственного племени, некогда вышедшего из неведомых полдневных стран Азии, могли, в числе прочего, привести кимвров и тевтонов с островов Скандинавии в Италию? Если бы только римляне не испугались опасного прецедента и решились выделить им земли для поселения, они могли бы с легкостью мирно поладить с этими пришельцами и заполучить в их лице самых отважных воинов для своих легионов, подобно тому как при поздних императорах ядро последних составляли готские народы. Положение дел решительно изменилось, когда римляне вступили в тесный контакт с германскими народами: будь то на границе или в самой их стране, в делах мира и на войне, во время походов, которыми Цезарь ходил на вождя свевов Ариовиста, Тиберий — на Маробода, короля маркоманнов, а полководец Августа — на предводителя саксов Германа⁸⁷. Здесь они, должно быть, принялись внимательно изучать и узнали все преимущества и слабости друг друга и вообще завязали многообразнейшие контакты: так, отец Германа жил среди римлян, его брат носил римское имя, а племянник воспитывался в Риме. Там побывал и Маробод, жаждавший, как всякий хитрый враг, собственными глазами увидеть этот центр римского величия и могущества. В то же время, в германских землях не было недостатка в раздорах между различными военачальниками, включая самих Марбода и Германа; и впоследствии эти конфликты приобрели еще большее влияние на отношения германцев к римлянам и их военные экспедиции. Римская граница по Дунаю и Рейну, укрепленная многочисленными фортами и целым рядом городов и крепостей, сама большей частью пролегла по германской земле, населенной исконными жителями или прибывшими туда германскими поселенцами. Хотя германцам и приходилось здесь наблюдать, как их братья и соплеменники живут под властью римского за-

⁸⁷ Шлегель имеет в виду предводителя херусков Арминия, нанесшего в 9 г. н.э. сокрушительное поражение легионам римского полководца Публия Квинтилия Вара. В XIX в. под именем Германа он становится мифологической фигурой для немецкого национального самосознания. - *Прим. перев.*

кона, который сами они, еще сохранявшие свободу, помышляли низвергнуть силой оружия, однако, с другой стороны, они не могли не видеть и богатейшей культуры этих земель, украшенных всеми благами цивилизации, многообразными практическими искусствами, изобилием прекрасных плодов и виноградников. И если в ходе почти непрерывных пограничных войн они не встречали достаточного сопротивления или обнаруживали слабости в римской обороне, это всякий раз тем более влекло их попытать счастья и еще глубже проникнуть в эти прекрасные земли. Как триста лет тому назад баснословные слухи о горах золота и серебряных слитков, которыми изобиловала Америка, увлекли в эту новооткрытую часть света целые полчища испанцев и других европейцев, так и в те древние времена прелести южного неба, роскошные фрукты и особенно виноградники и богатые сады, росшие в превосходно возделанных теплых землях, возбуждали фантазию жителей Севера и нередко служили одной из важнейших причин их походов и вооруженных экспедиций. Первые алеманнские вторжения, имевшие место при Марке Аврелии и его преемниках, по всей видимости, именно таким, вполне естественным и непосредственным образом выросли из постоянных пограничных столкновений, как только германцам удалось достичь преимущества или заметить брешь или слабое место в римской обороне. А что такая война здесь, на границе, тлела почти непрерывно, утихая разве что лишь на краткое время, следует полагать тем более, что и германские народы выстраивали по ту сторону укрепленной римлянами границы свою собственную, живую пограничную стену в виде различных вооруженных племенных союзов. Названием одного из таких союзов, заключенных для защиты границ (а не племенным именем отдельного народа) служило слово «маркоманны»; то же самое касается и алеманнов. В своих описаниях германской земли римляне и вообще нередко принимали за отдельный народ то, что было лишь союзом племен, или включали в свои списки народов имена, произведенные от природных свойств той или иной малозначительной местности или от названия какого-нибудь характерного ремесла; нередко причиной недоразумения становилось незнание варварских языков. Однако в целом в их описаниях, как и во всем современном им положении дел, мы уже можем отчетливо распознать те три или четыре основные германские нации, которые обнаруживаются в Германии и в более позднее время и которые затем, овладев провинциями распадавшейся римской империи, распространились по разным

романских землям и в своем дальнейшем развитии послужили основой для различных наций новой Европы. Эти три основных германских народа, известные в качестве таковых уже римлянам, суть свевы, саксы и готы, которых проще всего разделить по бассейнам рек в занимаемых ими землях. Саксы селились в бассейне и устье Эльбы, Айдера, Эмса и Везера, а также вдоль морского побережья, включая Ютландию и Данию, и все низовья Рейна вместе с батавским побережьем, — то есть, во всей той обширной земле, которая впоследствии стала называться Древней Саксонией. Будучи постоянными жителями тех мест (ибо лишь позднее имя этого народа было перетолковано как относящееся к особому национальному оружию, роду меча), саксы, должно быть, менее всех из германских племен стремились к переселению в новые земли и, даже путешествуя по воде, всегда держались морского побережья и рек; и лишь в эпоху, когда смятение народов, охваченных великим переселением, достигло уже своего апогея, жители этой Древней Саксонии не просто овладели громадным Британским островом, но и, можно сказать, заново заселили его. Можно думать, что это не рассеянное широко, но компактно расселенное нижненемецкое племя вполне могло уже в те времена быть и самым многочисленным. В верховьях Рейна и Дуная жили свевы — племя, может быть, более смешанное по составу, упоминаемое также под именем алеманнов и особенно склонное к беспокойным скитаниям и переселениям. Франки, которым суждено было занять столь важное место в позднейшей истории, изначально были скорее союзом племен, чем отдельным народом. Подобно тому как в географическом отношении они занимают промежуточное положение между свевами и саксами, так и по происхождению и характеру их следует считать смесью первых с последними: их нравы и общественное устройство были скорее алеманнскими, в то время как их язык и племя, по-видимому, изначально были скорее сродни саксонскому. Если бы мы все же решили признать их отдельным племенем, то в качестве их первичного корня и основы следовало бы рассматривать древних хаттов или гессов, которых всегда причисляли к франкам. По-настоящему же второе великое и изначально основное племя среди германских народов составляли готы, расселившиеся шире всех остальных: от скандинавского Севера и берегов Балтики по всему бассейну Вислы до самого Черного моря. Их язык, известный по сохранившемуся готскому переводу Библии, представляет собою то, что мы бы теперь назвали верхненемецким диалектом,

однако в чрезвычайно древней форме, с все еще чисто сохранявшейся структурой, не лишенной своеобразной красоты. Менее похож этот готский диалект, в том числе, по звучанию и устройству, на саксонские и скандинавские языки, разве что настолько, насколько все родственные ветви одного ствола выдают свое общее происхождение — в тем большей мере, чем ближе подступаем мы к их первоначальному корню. На скандинавском Севере два основных германских племени: саксы и готы — соприкасаются также и географически; приняв начало от одного истока, они затем разделились на множество потоков и разнообразные ответвления. Общего или, по крайней мере, близкородственного происхождения с готами были бургунды и вандалы, основавшие позднее свои государства в Галлии и Испании. Из всех германских народов подлинно наследственная монархия наиболее полно развилась у готов; она состояла из двух частей: остготской, под властью героического рода Амалов, и вестготской, управляемой династией Балтов. Римские историки того времени немало пишут о героизме и великодушии готов, а также об их возвышенном и благородном облике. Переселение народов как таковое вначале было вызвано прежде всего и исключительно готами, без содействия каких-либо потрясений, произведенных народами Азии, начавшихся гораздо позднее. Уже в III веке готы завладели землями на северном побережье Черного моря и совершали оттуда набеги на всю Грецию вплоть до самых Афин. Император Деций пал на войне с ними, после чего Аврелиан уступил им по мирному договору Задунайскую Дакцию, где готы жили по преимуществу на правах союзного народа, а римляне стремились хранить с ними мир и пополнять за их счет свое войско. Лишь спустя сто лет, после смерти короля Германика, готы начали беспокоить и теснить гунны — народ, чьи исконные земли лежали, судя по сообщениям китайских хроник, на востоке Средней Азии, к северу от границ китайской империи, и который затем, продвигаясь все далее к западу, некоторое время проживал на восточной стороне Каспийского моря, пока, наконец, не вторгся в земли Кавказа и к Черному морю, на территорию готов. И лишь теперь, когда и германские племена Запада охватило беспокойство и все более нарастающее движение, а древняя империя римлян затрещала по швам, потоки великого переселения народов хлынули во всю свою мощь, достигнув своего высочайшего апогея. Если раньше, в самом начале всеобщего переселения, имена народов и их военачальников были почти без исключений германскими, то теперь мы встречаем

среди них и множество чужеземных имен, среди которых, наряду с азиатско-гуннскими, следует, пожалуй, обратить внимание на те, что могли бы относиться к славянским, а иногда, может быть, и к финским народностям, которые, несомненно, уже тогда жили среди готов, смешиваясь с ними на их обширных территориях. Сами же гунны, заняв и заселив новое для себя пространство между Тисой и Дунаем, на протяжении пятидесяти лет, вплоть до воцарения Аттилы, жили мирно, не причиняя римлянам дальнейших беспокойств. Готы вынуждены были защищать от них границу, за что получили от римлян земли южного Подунавья. Они с готовностью приняли христианство, однако стали арианами, поскольку именно эта христианская партия как раз господствовала в Константинополе в тот момент, когда оттуда к ним был направлен епископом готский учитель Вульфила. Это обстоятельство впоследствии не раз послужило серьезным препятствием в их отношениях с римской империей и влияло на последние самым неблагоприятным образом; да и вообще этот новый внутренний раскол, затронувший теперь и религию, стал одной из причин, приведших древнюю римскую империю к гибели. Второй захват Рима королем вандалов Гейзерихом оказался опустошительнее первого, бывшего при вестготском короле Аларихе, еще и потому, что, будучи арианином, Гейзерих люто ненавидел и преследовал католическую партию. Впрочем, готы отнюдь не были настроены по отношению к римлянам особенно враждебно — скорее, они даже склонны были восхищаться их культурным превосходством и всем тем, что находили у них великого. После того как император Валент пал на войне с готами, вызванной римским предательством, Феодосию все же удалось заключить с ними выгодный мир, когда те стояли уже возле самых ворот Константинополя. Сорок тысяч из них он принял наемниками в свою армию, возродив тем самым союзное готское войско, основанное еще Константином. Когда готский вождь Атанарих, прибыв в Константинополь, узрел всю славу и великолепие этого города и проникся личным уважением к Феодосию, готы, взволнованные всем увиденным, объявили императору, что пока он жив, они не хотят себе иного царя. Однако при сыновьях Феодосия положение изменилось, так что никто не знал уже, каким еще способом можно было умиротворить готов или избавиться от них, кроме как попытаться возбудить их против Италии и отвести в ее сторону назревавшую бурю. Это и послужило причиной похода вестготского короля Алариха на Рим и первого взятия вечного седмихолмного града. Раскол

между Римом и новым византийским двором немало способствовал гибели римского владычества; хитрость и коварство, явленные Константинополем как в этом первом случае, так и во многих иных, нередко оказывались губительными для Италии. Вообще же всемирная римская империя, выросшая из гражданских войн, точно так же и погибла — гораздо более от внутреннего раздора и порчи, чем от рук готов, с которыми довольно легко могла бы мирно ужиться, сплотиться и постепенно слиться в единый братский народ, начало чему уже было положено при лучших императорах и в различные эпохи. В этом случае (поскольку готы, бесспорно, были самыми сильным и могущественным среди всех германских народов), при их поддержке римляне легко могли бы противостоять всем прочим варварским племенам, а великое переселение народов, то есть, слияние здоровой природной силы германцев с римской цивилизацией и духовной культурой (к тому времени уже столь глубоко погрузившейся в бездну вырождения, что полностью восстановить ее в общественной и государственной жизни не могло уже даже само христианство) могло бы произойти мирным путем, и не было бы нужды в этом длительном промежуточном состоянии, полном войн и хаоса. В довершение всех беспорядков, последовавших за первым захватом Рима Аларихом, римляне сами призвали из Африки короля вандалов Гейзериха, который, будучи гораздо более жестоким воином и властителем, чем упомянутый готский вождь, повсюду сеял вокруг себя ужас. Питая недоверие и подозрительность к готам, он, в свою очередь, привлек на свою сторону Аттилу вместе со всеми народами, покоренными им или заключившими с ним союз в результате его славных воинских побед, и подвигнул его к походу на Запад, где в великой битве народов на Марне основную часть войска с обеих сторон составляли готы. Сами гунны, как и некоторые иные кочевавшие с ними народы, были еще язычниками, а чем более чужеродны и различны между собой народы, чем многочисленнее армии и чем плотнее сосредоточены людские массы, тем опустошительнее становятся войны — таково правило, которое можно отнести как к этому сражению, так и ко всей той эпохе в целом. Но все же основная причина удручающей анархии, опустошения и последующих бедствий той эпохи заключалась далеко не в одних только войнах и сражениях, ибо даже во времена наибольшего расцвета и самой высокой образованности в Древнем Риме войны почти никогда не прекращались и были, как правило, еще более или уж, во всяком случае, не менее раз-

рушительными и кровавыми, чем в этот более поздний период. На сей раз отворотить опасность от Рима смог римский епископ, и город остался цел. Со смертью Аттилы гунны утратили былое значение; впрочем, они и прежде составляли лишь самую незначительную часть могущества своего предводителя, которое покоилось исключительно на его личном воинственном характере и славе и тотчас развеялось после его смерти. Одоакра, предводителя герулов и ругов — также готских народностей — римляне сами призвали из германского Подунавья. От его завоевания ведется отсчет гибели Западной Империи, а последний римский юноша, возведенный в ней в императорский сан, вновь носил имя Ромул — через 1128 лет после первого Ромула, учредителя и основателя сего вечного града, который, утратив, таким образом, внешнюю и материальную власть над миром, в последующий временной период вновь обрел и удержал за собой великое и значительное место в истории уже в ином отношении: как священнический центр всего христианского Запада. Когда Рим и Италия возненавидели владычество герулов, греческий император Зенон своей официальной грамотой передал власть над Италией воспитанному в Константинополе остготскому королю Теодориху, который затем, одержав победу над Одоакром, вместо национального готского убора возложил на себя римский пурпур. Он пользовался уважением в самом Риме и далеко за его пределами у всех германских народов; имя его, как впоследствии имя Карла Великого, прославлялось в германском героическом эпосе, в то время как политические историографы и исторические критики превозносили его разум и добродетели. Теодорих был благороден и великодушен в своем могуществе, любил и почитал искусства и науки, насколько они еще сохранялись в то время, а последние римские писатели Кассиодор и Боэций были украшением его царствования. Усобицы, начавшиеся после смерти этого великого короля, и преступление, совершенное над его наследным домом, дали повод восседавшему на константинопольском троне деятельному императору Юстиниану восстановить греческое влияние в Италии руками удачливого полководца Велисария. Подобные ему военачальники, ряд достойных и деятельных правителей и описанная выше политика сохранили Византийскую империю, в то время как сам Рим погиб, а Италия после периода готского владычества досталась лонгобардам, за которыми последовали франки. При них была восстановлена Римская империя германской нации, с которой сам Рим оставался связан на протяжении

всего Средневековья — пусть даже большей частью только по имени. Предпослать, насколько позволяла краткость изложения, общую историческую картину и по возможности живую характеристику великого переселения народов собственно суждению о нем казалось мне тем более необходимым, что эта эпоха имела далеко идущие последствия и стала тем основанием, на котором затем была возведена вся структура новых романо-германских наций Европы с их политическим устройством, языками, обычаями и законами, господствующим образом мысли и даже своеобразным направлением фантазии. И в силу этого она чрезвычайно важна для всей последующей истории, в то время как многие историки, безраздельно восхищенные античностью или всецело пребывающие в плену современных понятий и принципов, не до конца ее понимают или не могут дать ей вполне верной оценки, ибо привыкли всегда и во всем желать и требовать одного и того же, будучи не в силах увидеть или отыскать ничего иного во всем творении, а следовательно, в том числе, и на всем обширном пространстве всемирной истории. Конечно, достойно удивления уже одно то, что исследователь может быть способен со всей гибкостью фантазии, сохраняя одновременно тонкость чувств и меткость суждений, всецело перенестись в глубокую историческую древность, в мифическое первобытное время народов. Но здесь, в великом целом той хаотической мировой эпохи, где, как кажется, вновь обрели плоть и кровь эпические поэмы и титаномохии древности, где чудеса деяний и помыслов проступают на страницах скудных и запутанных хроник, где даже обломки народной мифологии и языческих сказаний того времени тесно соседствуют или переплетены с элементами самой прозаичной действительности, оказывается едва ли не труднее отделить одно от другого и дать верное истолкование всему этому единству. Однако более всего нам недостает самой идеи подобного состояния, отчего оно, в сущности, и столь мало доступно нашему пониманию. Но, по крайней мере, рассматривая этот вопрос с точки зрения природы и естествознания, мы должны помнить о том, сколь часто самая дивная полнота роскошнейших органических форм и настоящий расцвет истинной жизни рождаются из хаотического состояния борьбы, в котором стихийные силы, споря и противоборствуя друг с другом, долгое время пребывают в беспорядочном движении, прежде чем между ними установится гармоническое равновесие, так что в момент творческого акта они взаимно оплодотворяют друг друга в своем счастливом смеше-

нии, из которого, когда минуют муки рождения, победоносно вступает в мир новое бытие в своей чистейшей форме. Древний Египет обязан своим плодородием регулярным разливам Нила, которые, если бы люди не знали о них и не умели их сдерживать с помощью плотин, могли бы также производить и большие опустошения. Более того, разве сама эта населенная нами и питающая нас Земля, со всем цветущим богатством великолепнейшей растительности, широко раскинувшимся по всему ее лицу, с этой полнотою жизни, явленной в разнообразных родах животного мира, вместе с цивилизованной жизнью людей, чьим жилищем она является — разве эта основа самого живейшего плодородия не покоится на гигантских руинах первобытного мира, который в древние времена сгинул в водах всемирного потопа и столь часто бывал терзаем, раздираем и сотрясаем извержениями подземного пламени? И, конечно, великое переселение народов также было состоянием хаотической борьбы между самыми разнородными силами и стихиями человечества, своего рода новым огигским людским потопом, имевшим место в самой середине исторического времени; однако и он послужил также плодородной почвой и исторической основой нового нравственного и интеллектуального развития жизни. Таким образом, эти великие людские волны, непрестанно катившиеся то с востока на запад то с севера на юг или же снова вспять, к востоку и северу, все эти могучие лучи несметных воинств, то расходившиеся из единого центра, то вновь со всех сторон устремлявшиеся к нему, следует рассматривать как борьбу стихийных сил, действующих в человечестве и его истории. И, разумеется, первое действие высвободившейся стихийной природной силы не может не быть разрушительным, или, по крайней мере, прерывающим развитие всех прежних органических форм; и ни само по себе такое хаотичное промежуточное состояние, ни, в особенности, его немалая продолжительность не могут произвести благоприятного или привлекательного впечатления на исторического наблюдателя и критика. Однако что касается этого последнего обстоятельства, мы должны раз и навсегда смириться с тем, что вообще крайне неспешный прогресс, а часто и внезапные задержки и промедления в развитии человечества не всегда или даже очень редко происходят в соответствии с нашими пожеланиями и ожиданиями — равно как и наоборот, в иные исторические моменты или мировые эпохи может произойти молниеносный прорыв каких-либо крайне необычных и непривычных явлений, неописуемый в своем великолепии расцвет в области

внутренней нравственной или духовной культуры, приводящий нас в изумление подобно нежданно яркому блеску весеннего солнца. Иными словами, это значит, что здесь являет себя та сильная и мудрая отеческая рука, которая точно так же ведет и направляет судьбы отдельных людей, как и всеобщую взаимосвязь и последовательность периодов всемирной истории или, как просто сказано в Писании, «Отец положил времена в Своей власти»⁸⁸; и этот ход времен не всегда бывает таков, каков был бы он согласно с нашими столь поспешно стремящимися к своей цели желаниями, с нашими мнениями и надеждами. Однако, невзирая на это, надо признать, ужасное промедление в достижении божественной цели, когда род человеческий, наконец, обрел свое предназначение (хотя в задержке этой более всего виновен сам человек) или, лучше сказать, невзирая на то, что все далее откладывался приговор божественного правосудия и все более продлевался срок божественного милосердия, нет никаких причин сомневаться, что результат великого переселения народов сам по себе был благотворным, а смешение германских племен с выродившимся римским населением и здоровой, духовно крепкой природной силы германцев — с неотвратимо продвигавшейся к гибели римской цивилизацией и духовной культурой принесло хорошие плоды. Если же кто-то пытается в том усомниться, тот пусть найдет историческое разрешение своему непониманию, сравнив блестяще разностороннее историческое развитие и пышно цветущую духовную культуру новых европейских наций и государств, выросших из этого романо-германского корня, с последующей историей Византии и господствующей в ней монотонностью угасшего духа, с ее полным нравственным омертвением. Впрочем, я не раз уже напоминал о том, что, ни в чем не умаляя прогрессивной силы разума, действующей во всех формах и сферах человеческого развития, не принижая также и божественного принципа, являющего себя в ходе развития человечества и во всей взаимосвязи времен, тут же, наряду с ними, действует и заключенная в человеческом роде природная сила, незримый природный закон и принцип внутренней жизни, направляющий ее развитие и историю; и этот закон, будучи однажды подчинен высшему принципу, более уже ни в чем ему не противоречит. Действие этого царящего в человеческой истории естественного закона ясно прослеживается уже в ходе развития отдельных наций (если только оно не встречает на-

⁸⁸ Ср. Деян 1:7

сильственных помех, прерывающих его естественное течение), где, следуя лишь путеводной нити самих исторических фактов, мы обыкновенно можем и должны самым определенным образом различить вначале хоть и простую, но по-своему чудесную эпоху детства, затем первый ослепительный расцвет юности, далее достигшую полной деятельной силы пору возмужания и, наконец, надвигающуюся старость, постепенное умирание и возвращение к первой детской слабости. Однако яснее всего действие этой природной силы, присущей человечеству наряду с его иным, высшим божественным предназначением и проявляющейся даже в интеллектуальной сфере, становится видно в периоды неожиданно быстрого расцвета и высочайшего духовного развития в области искусства и науки и, может быть, еще более (или, по крайней мере, в той же степени) — в уже описанные нами творческие мгновения новой, хотя поначалу и хаотичной эпохи формирования человеческого общества, насколько, конечно, такие истинно творческие плодотворные моменты рождались не из простого революционного произвола и не как подражательные эксперименты, а действительно из сокровенного источника жизни, принадлежащего самой природе. Лучшим подтверждением тому могут служить те случаи, когда подобные проявления жизни во всей полноте ее сил служат лишь дальнейшему развитию божественного принципа и его высшим целям, что вполне можно сказать об эпохе великого переселения народов, когда вся эта сама по себе столь ужасная катастрофа послужила затем лишь к вящему торжеству христианства, освятившего всемирную державу могучих народов варварского Севера, в результате чего та, все более укрепляясь в своем дальнейшем развитии, достигла гораздо большего величия, нежели римская или вообще какая-нибудь иная языческая империя древности. Однако тем началом, которое смешало и соединило в счастливой гармонии обе противоборствовавшие стихии той плодотворной эпохи, лежащей в основании всей современной культуры и всего Нового времени: германскую природную силу и романскую цивилизацию духовной культуры и языка, — бесспорно, является только лишь и единственно христианство, которое уже потому следует считать всесвязующим центром и всеодухотворяющим принципом единства всей новейшей истории. Но одно лишь христианство, без этой новой, привнесенной народами Севера стихии жизненной силы было бы уже не в состоянии во всей полноте возродить пришедшую в упадок римскую цивилизацию и духовную культуру, поскольку они пали уже че-

ресчур низко, но в особенности также и потому, что эта уродливая форма римского государства, прогнившая с самого верха и до глубочайшего основания, уже ничем не могла быть исправлена и исцелена, но лишь разрушена и воссоздана вновь самим ходом времени. Впрочем, виновниками этого зла были все, ибо раздор проник уже и в само христианство, так что и там, где хранилась в чистоте истина веры, все же, по слову Священного Писания, уже немало утрачено было от первой любви⁸⁹. В противном случае влияние христианства на римский мир и римскую империю было бы, конечно, гораздо большим и, подобно человеческим немощам, недуги этой страждущей державы получили бы чудесное исцеление; и как святые подвижники нередко могли повелевать природными стихиями и дикими зверями пустыни, так и буря схлестнувшихся в схватке стихийных сил человечества могла бы быть тотчас усмирена божественной властью, примиряющей и упорядочивающей все творение в согласии со своим кротким законом. Теперь же все это происходило медленнее, мало по малу и лишь благодаря целительному действию времени и духу христианства, постепенно все более овладевавшему умами.

Самое первое следствие или влияние все более усугублявшейся порчи и неудержимо нараставшего упадка в римском языческом мире на христианство можно было еще назвать в некотором смысле плодотворным или, по крайней мере, имевшим немалое значение для будущего. В сущности, не было даже нужды всецело принадлежать христианству в его божественной чистоте — довольно было иметь хотя бы сколько-нибудь возвышенные, но вполне человеческие устремления, чтобы отвергнуть этот мир мерзости и порока, это царство лжи, эту эпоху упадка и одичания и отправиться искать убежища и приюта в пустыне, вместе со львами и прочими дикими зверями. И так получилось, что в тот проклятый период всеобщего упадка римского мира, под властью его последних тиранов, прежде всего Фиваидская провинция Египта, где древние пирамиды и прочие памятники седой старины все еще обращаются к странствующим в пустыне потомкам суровым языком своих безмолвных знаков, оказалась населена христианскими отшельниками. Однако, невзирая на полное внешнее сходства их образа жизни с индийскими аскетами, само по себе внутреннее созерцание не представляло для них столь же эгоистически замкнутой сферы мышления. И как у первых христиан сила веры и любви являла свою действен-

⁸⁹ Ср. Откр 2:4

ность и богато раскрывала себя в деяниях и страданиях, в словах и трудах самого разного рода, так для этих подвижников сила молитвы сделалась внутренними вратами иного, незримого мира, главным делом всей их плодотворнейшей жизни, ощутимыми узами глубочайшей связи, которыми они, даже уйдя от мира, в самой далекой пустыне, тем не менее, оставались нерасторжимо связаны со всеми, кто, как и они, был столь же прочно соединен с Богом.

Итак, сила нерушимой любви и божественной надежды проявлялась у первых христиан не только в героическом сопротивлении нападкам и преследованиям, а также всяческим изощренным мучительствам и пыткам, но и в отречении от мира и всех связанных с ним земных радостей, в полном пренебрежении им и бегстве от него, казавшегося им, к тому же, навеки погибшим и безвозвратно утерянным. Впрочем, подобное внутреннее созерцание в уединенной жизни обычно сочеталось у них с тем или иным простым рукоделием. Из этого источника и основания, заложенного первыми святыми христианскими отшельниками Египта, произошли все более поздние формы монашеской жизни в христианстве, хотя, согласно с его сугубо практическим духом, они по большей части соединяли со своими уставами и включали в них также какую-либо иную общепользную цель и спасительное служение, сообразуясь с потребностями эпохи в целом или особыми людскими нуждами в науках и образовании юношества, в уходе за больными, в попечении о бедных и в иных добрых делах. Монахи, ведущие целиком и полностью созерцательную жизнь, составляют в христианстве лишь относительно немногочисленное и редкое исключение, дозволенное лишь потому, что человеческая природа сама по себе столь непредсказуемо многообразна и нередко избирает необычайно причудливые пути и направления. Но не меньшая сила, чем для внешнего сопротивления в героической борьбе мученичества или для совершенного отречения от мира в священном уединении, нужна была первым христианам для того, чтобы противостоять внутреннему врагу — духу раскола и распада и хранить неповрежденную чистоту как в нравах, так и в истинах веры. В последнем отношении особого внимания и отдельной исторической характеристики заслуживают три весьма разнородных уклонения и три испытания, которые должно было выдержать христианство. Уже с самого его зарождения гностики с их богатой восточной фантазией предавались всяческим теософским измышлениям о разнообразных бо-

жественных эманациях, истечениях, воплощениях, личностях и тому подобной почти мифологической совокупности идей; так что, если бы христианство и далее пошло этим путем, сделав гностицизм своим господствующим направлением, оно вскоре превратилось бы в своего рода метафизическую поэзию, подобную, например, научной мифологии и поэтической теологии индийцев. По счастью, все эти секты были не слишком многочисленными, часто недолговечными и в высшей степени разнились между собой, поскольку подлинно изобретательная фантазия в каждом случае принимает, как правило, совершенно своеобразное направление. Впрочем, сами по себе, с чисто умственной точки зрения, гностические секты, несомненно, не могут не привлекать внимания причудливостью своих заблуждений. Во многих из них, судя по всему, происходило даже смешение христианских понятий с учениями иных восточных сект нехристианского происхождения, естественное уже в силу самой природы вещей. О некоторых из них, затерявшихся в глубинах Средней Азии среди бесчисленного множества прочих сект (ибо человеческие иллюзии и заблуждения, прогрессируя до бесконечности, обнаруживают безграничную плодотворность, непрестанно развиваются в глубинах своей природы и порождают многообразные ответвления) порою непросто было бы выяснить и с определенностью сказать, было ли их происхождение вообще христианским или каким-либо иным. Одна лишь секта манихеев, будучи подобного рода и происхождения, как представляется, просуществовала дольше и даже в более позднее время, вплоть до Средних веков, продолжала тайно разрастаться в Европе. Второе отклонение от христианства в те древние времена составляло арианство, ближе всего соответствующее тому, что в недавнюю эпоху Просвещения было названо рационализмом, однако еще сохранявшее иную, более древнехристианскую форму. Что спор здесь шел не просто о словах, но касался основного предмета веры и, строго говоря, вопроса о существовании или несуществовании христианства — о том, является ли его подлинное основание, первоначало и внутренний центральный пункт действительно фактическим и историческим, истинно божественным, исходящим от Бога и равным самому Богу, или лишь как бы до некоторой степени подобным Богу (такое мнение могла бы, пожалуй, допустить, признать и проповедовать в своем учении любая платоническая или иная подобная философия) — все это должно быть само собою ясно всякому, кто судит о предмете искренне, в простоте и по правде. Эта секта

распространилась столь широко и укоренилась столь прочно, как никакая иная. Приверженцы арианства защищали его со всей изворотливостью и увертливостью, на которую было способно их невероятная изобретательность, постоянно поддерживая иллюзию крайней уступчивости. Здесь впервые обнаружилась необходимость, а также вся сила Вселенских соборов, способных в кратких, но веских словах противопоставить столь многоликую и с трудом уловимую духу заблуждения твердую и не подверженную превратным истолкованиям основоположную формулу древней веры — той, что жила еще в сердце всех христиан и которой уверенно и неуклонно держался их дух. Итак, этот губительный рационализм эпохи древнего христианства был побежден и, наконец, исчез совершенно; и лишь последние ответвления этой секты сохранились до нашего времени в лице евтихиан у некатолических армян, а также несториан у христиан Эфиопии. О том, сколь много содействовал и способствовал этот злосчастный арианский раскол всеобщей катастрофе в ту пору упадка всемирной римской империи, было уже сказано ранее. Однако присущая человеку страсть к диалектическим препирательствам, то есть, влечение к разделениям, пусть и не врожденное, а приобретенное им и ставшее его второй природой и как бы первородным грехом интеллекта, едва ли не более поразительным образом, чем в подлинных спорах о вере (заслуживающих, как нам кажется, крайне уважительного и бережного отношения в том случае и в той мере, в какой должны быть признаны делом совести), проявляется в тех сектах, которые, строго говоря, не имеют собственного предмета, то есть, существенного вероучительного вопроса, а отличаются лишь суждениями по какому-нибудь второстепенному поводу или о первенстве того или иного церковного авторитета и продолжают существовать из одного только упрямства и нежелания идти на уступки. Сюда относятся по преимуществу разные мелкие, менее примечательные и распространенные секты и вероучительные споры первых веков христианства, как, например, монтанистские, донатистские и т. п., которые, однако, еще не следует из-за этого считать маловажными по своему влиянию или для характеристики той эпохи, и которые составляли тогда третью форму уклонений от общепринятого христианского исповедания. В несколько более поздний период к той же категории целиком относится и Великая схизма, отделившая греческую церковь от западного христианства, поскольку с точки зрения подлинной сущности и догматического учения христианства

она, как известно, не имеет решительно никакого предмета. Подобно тому как хранящая и сберегающая саму себя и внутренне все более самоутверждающаяся сила христианства, христианского образа мысли и убеждений может быть найдена во вселенских соборах того времени, так и живо развивающаяся, и расширяющаяся в научном отношении сила христианского духа и веры проявляет себя в многочисленных трудах и творениях самого разнообразного рода, вышедших из-под пера столь высоко чтимых в последующие столетия церковных учителей той древней эпохи. Что касается их стиля и языка, то судить о них следует в согласии со всем укладом и масштабом того времени, не ожидая от них в полной мере аттической грации Ксенофонта или искусно сложенных полновесных периодов Ливия. Однако, невзирая на это, здесь на надежном основании чистого, исполненного любви умонастроения и просветленного христианского сознания можно обнаружить изобилие разнообразных талантов в науке и красноречии, наделенных множеством реальных познаний в их богатейшем развитии. И чтобы лишь привести один или два примера из столь великого множества авторов, упомянем блаженного епископа Августина, в чьем лице нам предстает образ христианского Цицерона с его хотя уже и несколько изменившимся языком, однако же и с весьма сходной смесью риторики и философии, взыскующей истины и оспаривающей самое себя, с его многообразными историческими познаниями; не лишеного также вдумчивости во взглядах и критичности в суждениях о политическом мире, но при этом одаренного и гораздо более ярким талантом спекулятивного мышления, нежели упомянутый древний римлянин эпохи гибели республики. Вспомним и знаменитого ученого отшельника Иеронима, столь же утонченно образованного классически, сколь и сведущего в восточных языках, обладающего столь гениальной силой духа в мыслях и выражениях, столь глубоким и проницательным взглядом в суждениях, какой встречается лишь у весьма немногих риториков и мыслителей. Страх перед ложным гнозисом в то время, а нередко и еще позднее, был препятствием к развитию более глубокой христианской философии. Склонность великого церковного писателя Оригена, особенно в юности, к некоторым гностическим понятиям и учениям теперь, спустя долгие годы после его смерти, породила споры и сомнения относительно некоторых пунктов его вероучительной системы и, по меньшей мере, причинила ущерб тому глубокому уважению, которым обыкновенно пользовался его философ-

ский дух. Это случилось не в последнюю очередь потому, что ариане пытались использовать некоторые из этих небесспорных идей Оригена для своей системы; ибо нередко бывает, что даже самая возвышенная философия, если она не вполне надежно обоснована и не проведена совершенно и глубоко, целиком или, по крайней мере, в своих отдельных заблуждениях, низводится суетным духом обновления, порожденным поверхностной полуверой, в его собственную, в сущности, чуждую этой философии сферу.

В качестве характерной черты на картине этих первых христианских столетий необходимо упомянуть еще одно заблуждение или, скорее, даже иллюзию, ибо она не составляла отдельной секты или законченной ложной системы, но оставалась, скорее, просто в чем-то преувеличенным частным мнением отдельных мыслителей, всецело принадлежавших христианству и в остальном не имевших каких-либо намерений, противоречивших его духу. Я имею в виду так называемый хилиазм, который представляет особый исторический интерес лишь в отношении к свойственной христианству исторической обращенности в будущее. Известно, что пророк Нового Завета провозгласил тысячелетнее торжество христианства именно для того, чтобы указать, что срок этот невозможно определить и измерить человеческим разумом ибо, как сказано в Писании, перед Богом тысяча лет как один день и наоборот⁹⁰, и к тому же добавил он недвусмысленное замечание, что и в те дни, как и вообще на этой земле и в этой временной жизни, борьба не будет окончательно завершена, и что перед самым концом надлежит быть еще одной и последней битве. Однако нашлось немало людей, благочестивых и достойных уважения во всех прочих отношениях, которые рисовали это тысячелетнее царство самыми чувственными красками вполне земного блаженства, лишая всякого основания это пророческое предостережение, столь необходимое человеческому роду во все времена, и подрывая веру в него и в сам идеал царства божественной истины. Или же своими опрометчивыми ожиданиями и совершенно ложными толкованиями они (как это нередко случалось и в позднейшие времена) лишь понапрасну смущали себя самих и других, невзирая на предначертанный для христианства тем же священным автором долгий ряд этапов развития, который должен бы был привлечь их внимание и преподать им совер-

⁹⁰ Ср. 2 Пет 3:8

шенно иной урок. Однако главным и существенным ответом, который необходимо дать и противопоставить этой хилястической опрометчивости как в ту, так и во все последующие эпохи, является подобающая скромность и сдержанность христианского суждения во всем, что касается сокрытых божественных советов, будь то касательно отдельных людей или всего человечества. Нельзя и представить себе ничего более тревожного и пагубного для всей нашей жизни, чем если бы человек с самого начала и задолго до срока мог точно знать день и час своей смерти; в целом, его едва ли могло бы постичь большее несчастье, чем такое откровение, если бы, конечно, оно было возможно и мыслимо. То же самое, разумеется, можно сказать и вообще обо всем мире, где подобное знание произвело бы лишь великое замешательство. Между тем, как бывает, когда больной находится в великой опасности и симптомы смертельного недуга неуклонно нарастают, хотя ни один врач и никто другой, кроме самого Бога, не может действительно точно знать и уверенно решить, какова будет его судьба, однако всякий друг его тогда, конечно, пожелает, чтобы этот больной испытал свою совесть, обратил помыслы к Богу и распорядился имуществом, так, разумеется, можно представить себе и такие случаи, когда избранное нами сравнение было бы полностью применимо и ко всему человечеству в целом.

И вот, при таких обстоятельствах на земле Рима, в этом некогда столь блистательном мире, выросло раннее христианство — словно сошедший с небес нежный, светлый росток. Впрочем, надо признать, что для дальнейшего развития этого небесного семени, для образования христианских империй и народов во внешней действительности та сильная и мудрая рука, которая направляет судьбы людей и народов, течение времен и весь ход вещей, тогда сочла необходимым вначале употребить весьма сильнодействующие и, если можно так выразиться во врачевательском смысле, почти героические средства. Причину этого, без сомнения, следует искать исключительно в том, что род человеческий (сколь бы великой славы и похвалы ни были достойны отдельные святые и великие души в истории этого развития) в целом все еще весьма неудовлетворительно и крайне несовершенно соответствовал тому первому божественному импульсу, который дан был ему вместе с христианством, и уже очень скоро и быстро вновь отдался падению и погрузился в самые многообразные и ужасные раздоры. Ибо едва лишь в расцветающий сад юного хри-

стианства хлынули потоки народов Севера (событие, которое, сколь бы целительны ни были его отдаленные последствия и окончательные результаты, сколь бы нетрудно ни было найти объяснение всей этой эпохе в теодицее истории, по произведенному им первому впечатлению и непосредственному воздействию все же нельзя не признать ужасным и катастрофическим), как тут же с другой, восточной стороны, среди народов Азии вспыхнул великий всемирный арабский пожар, пламя которого всецело одержимые жаждой разрушения сыны пустыни во главе со своим пророком нечестия излили на ужаснувшийся мир.

Не знаю, как можно было вменить в особую заслугу этой религии гордыни — надменнойшей, однако, в сущности, лишенной всякого содержания, — что она сохранила и соблюла в чистоте веру в единого всемогущего Бога. В Него, по слову Писания, веруют даже злобные демоны в своей вечной тьме, что нимало не служит к их исправлению; да и вообще лишь полное невежество, утратившее всякое понятие о мире и о себе самом, может забыть и вконец истребить в себе это первейшее начало всякой веры. Но что только есть еще сверх того спасительного, примирительного, утешительного, милостивого и воодушевляющего в вечной истине и в божественной вере в нее — ничего этого не было в религии Магомета. Нет, пожалуй, более разительной противоположности, чем то тихое нарастание нового, глубокого и возвышенного света в раннем христианстве под гнетом преследований, в смирении и послушании (во всем, кроме веры) всякому действующему праву и всякой, пусть и враждующей против этой веры, однако законной земной власти, в неустанном терпении и любви — в сравнении с фанатичной жаждой завоеваний, пробужденной Магометом, с его недвусмысленным повелением огнем и мечом насаждать эту новоявленную унитарную арабскую веру, неся разорение на все четыре стороны света, по всему лицу Земли. Вместо того, чтобы неустанно выискивать в истории Запада и извлекать из ее исследований и описаний все новые материи, питающие внутренние раздоры и вновь разжигающие древние споры о взаимных отношениях и правах светской и духовной властей, надлежало бы лучше извлечь серьезный урок из истории древнего Халифата и всемирного арабского завоевания и воочию убедиться в том, какой адский дух породил это антихристианское единство и полное слияние светской и духовной власти, сколь страшна ее природа и к какому ужасному нравственному состоянию ведет она человечество.

В мгновение ока, как пожирающий огонь, это бедствие разнеслось по всем азиатским странам и Африке и вскоре угрожало уже внешним оконечностям Европы. Ко дню своей смерти Магомет был владыкой Аравии, которая почти с незапамятных пор была отделена от прочего мира и замкнута в себе самой; и потому, если бы это зло оставалось в ее пределах, оно едва ли бы впредь могло обрести столь значительное всемирно-историческое влияние на иные народы и государства. Однако спустя лишь несколько десятилетий, еще при ближайших преемниках Магомета, была завоевана уже вся Западная Азия от Тигра и Евфрата до самого Средиземного моря, Сирии и Палестины, до Тавра и границ Малой Азии, а вскоре и вся Северная Африка вплоть до Испании, и тяжелая угроза сразу нависла и над римским Западом, и над Персидским царством. И везде, во всех покоренных странах главное правило магометанских завоевателей заключалось в том, чтобы изгладить всякую память о старом и всему придать совершенно новый облик; то есть, иными словами, разрушить и до основания истребить всякую высшую и лучшую духовную культуру в этих некогда столь процветающих странах.





ДВЕНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Характерные черты личности Магомета и его религии, а также мирового господства арабов; новый облик европейского Запада и возрождение христианской империи

С древнейших времен арабские пастушеские племена жили под властью своих эмиров как свободные кочевники; хотя у них уже имелись и города, поскольку караванная торговля способствует их возникновению и нуждается в них при переходах через пустыню для отдыха на пути из одной обитаемой провинции в другую. Отдельными пограничными полосами и побережьями Аравии владели некоторые из древних египетских фараонов, однако всю эту землю никогда не удавалось ни завоевать, ни покорить ни ассирийцам, ни персам, ни македонским властителям. Не преуспели в этом и римляне; лишь в эпоху Траяна, последнего из римских правителей, еще помышлявших о завоеваниях, они заняли небольшую приграничную полосу скалистой Аравии включили ее в римскую империю в качестве одной из провинций⁹¹. Но сразу после Траяна римляне вернулись к мирной политике Августа, признавшего и объявившего опасным дальнейшее расширение империи за счет отдаленных завоеваний, в связи с чем и эта аравийская провинция была ими оставлена и вернулась к прежнему свободному состоянию. Такая свобода и независимость этой страны от внешних завоевателей и правителей немало способствовала укреплению самосознания арабских племен. Как иоктаниды, они выводили свой

⁹¹ Аравия Петрейская, вошла в состав империи в 106 г. — *Прим. перев.*

род, среди прочих племен наиболее близкий евреям, от Евера, одного из прародителей Авраама, или от Исмаила — рожденно-го в пустыне сына Авраама. У таких свободных, воинственных кочевых народов чувство принадлежности к общему роду, гордость благородным происхождением и немеркнувшей славой древнего племени, впрочем, как и наследуемая из рода в род межплеменная вражда и нескончаемая кровная месть, представляют собой воодушевляющий и господствующий принцип их простой жизни и, более того, едва ли не важнейшее ее содержание. Этот арабский племенной характер оказал весьма существенное влияние на происхождение и первоначальное развитие магометанской религии и наложил на нее совершенно особый отпечаток. Да и магометанство не только легче всего проникало к кочевым народам, стоявшим на той же ступени свободной пастушеской жизни, уже сопряженной с караванной торговлей и не до конца исключаящей градостроительства, но и пустило у них самые глубокие корни и, можно сказать, обрело в их лице самых естественных приверженцев. Такой, по преимуществу, образ жизни ведут и татарские народы внутренней Азии или берберские племена — исконные обитатели Северной Африки, хотя они и не могут похвалиться столь древней генеалогией и столь благородным происхождением, как то, что приписывается арабам. Впрочем, по сравнению с римским вырождением, с испорченностью византийского двора, с ассирийской изнеженностью и безнравственностью крупных азиатских городов этот арабский племенной характер, сохранивший в древней свободе свою чистоту, может, пожалуй, показаться менее испорченным и более благородным и нравственным. Никак нельзя отрицать, что в ту древнюю эпоху своей истории арабы обладали великой нравственной силой воли и твердостью характера, и даже позднее, в период вырождения, мы все еще можем наблюдать у них эти свойства. Но с другой стороны, в таком племенном характере и определяющем все нравственные взаимоотношения родовом чувстве господствующими стихиями жизни и страстями, которым должно подчиняться или приноситься в жертву все остальное, являются гордыня, дух распри и жажда мести. Внутренняя порча рода человеческого и глубокий разлад всего человеческого существа столь же убедительно подтверждается неизменной склонностью цивилизованных народов к мягкотелости и распушенности нравов или же врожденной предрасположенностью к интеллектуальным раздорам, свойственной образованным и способным к высшему мышлению сословиям и временам,

сколь и грубой гордыней и ненавистью тех племен, которые, глядя с одной лишь естественной точки зрения, можно признать менее испорченными, наделенными чистотой нравов или большей твердостью и благородством характера. Эти племенные чувства и страсти гордыни и ненависти, гнева и мести, господствующие у арабов, особенно ярко проявились в их древней поэзии и составляют ее существеннейшее и важнейшее содержание; ибо помимо притч, загадок и сентенций, столь любимых жителями Востока, мы не найдем в ней ни настоящей мифологической поэзии, свойственной индийцам или грекам, ни сколь бы то ни было изобретательной и плодovitой фантазии, за исключением все того же страстного воодушевления. В отличие от индийцев, египтян и греков, древние арабы были лишены поэтически развитого или научно упорядоченного политеизма. Их племенные исторические сказания имеют еще довольно близкие аналогии в священном предании евреев и согласуются с ним во множестве пунктов, поскольку также восходят к общему семитскому истоку и связывают свое происхождение с Авраамом и прочими святыми праотцами древнейшего мира. И потому память о более чистой вере и о простом богопочитании тех доисторических патриархальных времен едва ли могла окончательно изгладиться и у арабов; с другой стороны, обычно достоверный Геродот сообщает, что арабы почитали ассирийскую Венеру под именем Алилат⁹². А чтобы подобное смешение понятий и принятых религиозных учений было понятнее, мы можем вспомнить ту эпоху в истории еврейского народа, когда у него давно уже имелось Моисеево Откровение и закон, на котором и был основан весь уклад жизни иудеев, и тем не менее строгие и великие пророки неоднократно и неумолчно предостерегали их, ибо те то и дело обращались к Ваалу и приносили собственных детей в жертву Молоху. Так и во времена Магомета или незадолго до него всякого рода идолопоклонство проникало к арабам от соседних народов, которые если и не сейчас, то в ту пору были еще язычниками. Впрочем, в то же самое время в тех краях среди арабов жили и смешивались с ними также многочисленные иудейские племена и христианские общины, особенно принадлежавшие к некоторым восточным сектам. В целом, соседние христианские властители или эфиопский негус имели немалое влияние на арабские племена и общины. Ко всякому идолослужению, как и ко всякому почитанию священных изо-

⁹² Геродот, История, 1:131

бражений, Магомет испытывал глубокое отвращение; однако, как полагает один великий историк, в целом судящий о нем не самым невыгодным образом, вполне может быть, что на его душевный склад и воображение сильно повлияли иудейские ожидания грядущего спасителя и пророка. Но как иудеи тогда, может быть, несравненно живее, чем после, ждали Того, кто давно уже явился, так и некоторые христианские секты были полны тем же ожиданием, ибо, введенные в полное заблуждение своим произвольным и своенравным истолкованием Писания, они верили, что обетованный Спасителем Святой Дух и божественный Утешитель был еще только должен явиться — невзирая на обетование Спасителя, что Дух снизойдет сразу же по Его отшествии и, как добавил Он, навсегда пребудет с Его верными. И вот, хотя каждый, кто называл себя христианином, знал из Священных Писаний о том сверхъестественном свете, который уже при первом собрании апостолов, оставленных, как они тогда думали, своим Главой и Учителем, снишел на них и преобразил этих некогда слабых, неуверенных в себе, боязливых учеников в мужей апостольских, исполненных Бога, в смиренных, но сильных и столь же доблестных, сколь и просветленных пророков вечной истины и божественной любви. И этот обещанный Богом своим верным Помощник и Утешитель или Наставник и Параклит, явивший себя в апостолах и мучениках как дух разума, просвещения и познания в таинствах веры, как дух силы и божественного мужества в страданиях, ныне, по христианскому убеждению, был ясно зрим в великих учителях Церкви и Вселенских соборах как направляющий их дух верно рассуждающей и держащейся лишь божественного откровения премудрости. Однако многим из упомянутых ересиархов это не воспрепятствовало в собственном мудровании почитать самих себя этим Утешителем и Параклитом, обетованного верным в дни грядущих бедствий, или, по крайней мере, принимать такое почитание от своих приверженцев. Высказанное упомянутым великим историком предположение, что эти иудео-христианские ожидания еще не явившегося спасителя мира, освободителя и нового учителя или пророка вполне могли оказать влияние на Магомета и пробудить в нем схожие мысли или фантазии, находит подтверждение в том, что в самом Коране можно встретить весьма внятные указания и аллюзии на идею Параклита, а также на сверхъестественную божественную силу и утверждение, для чего здесь используется то же наименование, что было в ходу у иудеев позднего времени, и то же особо санкциониро-

ванное для этого слово. Для арабов, живших во времена Магомета и незадолго до того, важнейшим святилищем и предметом всеобщего национального почитания была Кааба в Мекке — если можно так выразиться, простая языческая часовня, куда стекались паломники и где хранился черный камень, которому с незапамятных времен воздавалось религиозное поклонение. Обожествление или идольское почитание таких совершенно бесформенных или шарообразных камней в древнем язычестве не является чем-то неведомым или неслыханным; эта же идея встречается и в греческой мифологии, украшенная, на эллинский лад, многочисленными баснословными вымыслами, но в особенности она отмечается в культе Бэла или Баала у соседствующего с арабами сирийского народа. Вероятно, поводом и предметом этой особой формы идолослужения были, по преимуществу, упавшие с неба камни, довольно часто упоминаемые в историях и у историографов древности; а сам этот факт, как это теперь и вообще нередко случается с повсеместно распространенными сказаниями древности, достаточно хорошо подтверждается известными всем метеоритами, которые хотя и были подвергнуты химическому анализу и всестороннему минералогическому исследованию, в плане своего происхождения все еще представляют собою довольно загадочный феномен. Охрана и защита этого святилища или попечение о Каабе и ее черном камне была возложена на то арабское племя, из которого происходил Магомет, и выпавшая на его долю обязанность составляла для него предмет высочайшей славы. Согласно арабскому сказанию, изначально Кааба была воздвигнута Авраамом, а затем обновлялась амаликитянами. Когда же племени курайшитов, облеченному тогда этой почетной должностью, предстояло в очередной раз восстанавливать всеобщую святыню, вначале было неясно, как поместить священный черный камень в новую стену и кому подобало прикоснуться рукою к освященному предмету, пока, наконец, по неожиданной случайности, эта честь не выпала пятнадцатилетнему отроку Магомету. И потому мы, конечно же, можем рассматривать эту Каабу, которой с незапамятных времен воздавались божественные почести, в качестве одного из важнейших моментов в чреде юношеских впечатлений, определивших последующую жизнь этого необычайного человека. В окончательно сформировавшейся религии магометан это древнее святилище с его магической каменной глыбой на протяжении всех веков оставалось предметом глубокого почитания, и только в наше время разразилась направленная против Мекки ярость

ваххабитов, которые, хотя и отличаясь своей направленностью и убеждениями, все так же верно воплощают тот же древнеарабский характер во всей его фанатичной ожесточенности. Однако для Магомета и его вероучения этот древний черный идольский камень остается неизменным характерным признаком. Здесь же, в этой священной для народа Каабе также хранились и были вывешены семь наиболее выдающихся поэтических произведений, которые получили это преимущество перед всей остальной вдохновенной гордыней и ненавистью древней племенной поэзией арабов. Одно из первых мест занимает в ней все тот же Магомет, чье поэтическое творчество, решительно затмевавшее всех его соперников, принесло ему высокую славу и уважение еще тогда, когда ему еще и на ум не приходило выступить в качестве пророка. Он принял такое решение или почувствовал внутреннее влечение к пророчеству лишь в возрасте сорока одного или сорока двух лет, после долгого, уединенного пребывания в пещере в так называемую у магометан «Ночь предопределения». Первым, кто поверил в него и признал пророком, была его собственная жена Хадиджа — богатая вдова, которая, отдав ему руку, сделала его, унаследовавшего от отца лишь пять верблюдов и ухаживавшую за ним служанку, в состоятельного человека и обеспечила ему независимое положение. Примечательно, что во время эпилептических припадков, которыми страдал Магомет, он неоднократно вел чудесные беседы с архангелом Гавриилом. Иные утверждают, будто он был лунатиком, с чем, вероятно, связан и рассказ о том, как он захотел явиться своим ученикам преображенный сверхъестественным светом, и те видели, как луна или лунный свет, снизойдя на него, проник сквозь его одеяние и наполнил его собою. Не исключено, что сохранившееся у магометан почитание месяца как национального или, скорее даже, религиозного символа, может быть основано на некоем древнем предрассудке или языческом идолопоклонстве арабов. Уже немало историков сетовало на то, сколь трудно достичь полной уверенности в том, что касается истории Магомета в силу недоброжелательности суждений о нем с одной стороны и восточной восторженности таковых — с другой. Но даже если принять благоразумное правило следовать лишь тем писателям, которые, пользуясь знаниями языка, могут сами черпать из арабских источников, то даже и в последних найдется немало фантастических искажений и антиисторично преувеличенных и потому почти невнятных сведений. Но даже если мы пожелаем полностью абстрагироваться от всех

этих несомненно существующих следов того, что имеет облик демонического воздействия и галлюцинаций или же сходного с ними болезненного состояния, то и тогда бесспорные исторические факты оставят нам достаточно оснований, чтобы составить вполне определенное и окончательное суждение о характере самого этого человека и его религии. Невзирая на общее мнение, принятое тогда у арабов, а также у древних евреев и прочих народов той эпохи, что от пророка следует ожидать сверхъестественных деяний и что его божественная миссия должна быть подтверждена высшей чудодейственной силой, Магомету показалось удобнее или благоразумнее объявить, что он не нуждается в чудесах, поскольку, строго говоря, он вовсе не намерен основывать новой религии, но хочет лишь возродить в первоначальной чистоте религию древнюю, а именно ту, которая была у Авраама и иных праотцев. Если бы мы не имели столь недвусмысленных исторических указаний и свидетельств об исполненной предчувствий вере Авраама и иных патриархов первого Завета, подводившей их ко всем таинствам будущего, то и тогда было бы даже само по себе маловероятным и решительно несообразным с ходом развития и природой человеческого духа предполагать или тщиться отыскать уже у благочестивых праотцев седой древности такой якобы чистый, на деле же плоский и бессодержательный теизм, как тот, который провозглашал этот мнимый арабский реформатор. При более обстоятельном рассмотрении мы обнаружили бы, что этот теизм, пусть и рядящийся внешне в национальные облачения восточных обычаев и образного языка, по своему глубинному принципу гораздо более отвечает философии восемнадцатого века, в особенности, самым мелким и поверхностным ее направлениям. И потому эта философия, если бы только ей доставало честности и последовательности, должна была бы иметь мужество открыто почтить и провозгласить Магомета если и не своим пророком, то хотя бы истинным реформатором веры и всего человечества, первым глашатаем и великим учителем чистой истины, подлинным основателем чистой философии разума.

Строго говоря, такое общее понятие теизма и чисто негативная унитарная вера скорее годилась бы служить основанием рациональной научной теологии в какой-нибудь схоластической системе мышления, чем — в силу своей пустоты — составлять содержание религии. Впрочем, как взятое само по себе, так и в качестве религии, магометанство, в сущности, не старо и не ново, но отчасти совершенно ничтожно и бессодер-

жательно, отчасти же представляет собою разнородную смесь. Новой является в нем лишь фанатическая жажда завоеваний, открыто проповедуемая и насаждаемая им во всем мире; а все старое заимствовано им из иудейского предания и христианского откровения или намеренно составлено по образцу того или другого с добавлением, может быть, некоторых деталей, взятых из арабских обычаев. Когда вскоре после основания этой религии, во время первых раздоров и войны, порожденных верой в Магомета, некоторое число его сторонников было вынуждено бежать к правителю Эфиопии, тот спросил их, не христиане ли они. В ответ они привели несколько мест из изречений и стихотворений своего пророка о Спасителе, о Его рождестве и о Деве Марии. О рождении и происхождении Спасителя в них говорится как о гностическом излучении или эманации божественной силы, что, конечно, нисколько не соответствует христианской вере в божественность Христа и совершенно неудовлетворительно с ее точки зрения, однако на первый взгляд вполне было способно ввести в заблуждение приверженцев той или иной восточной секты. Однако сколь бы благожелательными ни казались по первому впечатлению эти отдельные высказывания о христианстве человеку несведущему, в них, с другой стороны, во многом проявляется и враждебный умысел по отношению к христианской вере. Может быть, даже запрет пить вино был задуман не столько как собственно моральное предписание (которое, в сущности, соблюдалось, кажется, не очень строго), сколько с умыслом религиозного порядка, чтобы, столь недвусмысленно отвергнув вино, эту неотъемлемую составную часть христианской жертвы благодарения, вместе с ним осудить и саму Евхаристию и тем самым воздвигнуть непреодолимую стену между собственным учением и христианством. О самобытном духе и глубинном характере религиозного воззрения часто следует судить не столько по самим словам вероучения, сколько по обычаям, действующим на практике. Весьма примечателен — по крайней мере, в этом отношении — традиционный порядок, согласно которому иудей, желающий стать магометанином, должен предварительно принять крещение. Как видим, Магомет ставил себя выше христианства, и, кажется, полагал его второй ступенью, иудейство — первой и низшей, а свой ислам — третьей и высшей ступенью откровения или, во всяком случае, он желал, чтобы так полагали другие, в то время как, обращаясь к арабам, он ссылался лишь на религию их первых праотцев и патриархов. Должно быть, его харак-

тер отнюдь не был совершенно и исключительно фанатическим, лишенным каких-либо побочных политических устремлений; но даже если такой враждебный взгляд на истинную религию и ее таинства был для него самого скорее лишь неосознанным, то действующий в нем Иной мог иметь на сей счет вполне определенный и коварный умысел.

Вот каково было это новое или, как утверждал сам его основатель, очищенное древнее учение всепобеждающего ислама и всепревосходящей веры, которую принес и провозвестил миру этот так называемый восстановитель чистого богопочитания Авраама и ложный Параклит неверно понятого обетования и тщеславного самомнения: пророк без чудес, религия без таинства и мораль без любви, сеющая кровожадность и начинающаяся и кончающаяся самой откровенной чувственностью. Положим даже, что первое основание этой морали — восстановление полигамии в таком объеме и в то время, когда у многих народов она уже была формально отменена, а у других вышла из употребления, — можно было бы извинить азиатскими обычаями, климатическими потребностями, общепринятыми предрассудками народа или какими бы то ни было другими причинами, однако что же следует думать или как судить о такой морали, которая хотя и выдает себя за божественную, однако, в противоположность христианскому понятию о чистом блаженстве вечных духов в созерцании Бога, готовится к которому бессмертный человек должен стремиться еще при этой жизни, чтобы не оказаться недостойным и не лишиться его, не может предложить иного идеала высочайшего блаженства, кроме бескрайнего гарема с размалеванными самыми чувственными красками небесным садом плотских утех, занявшим здесь пустующее место незримого мира? В том, что касается ближних, единственной похвальной стороной этой морали, которую мы с охотой готовы признать и желать, чтобы не только христианская этика, но и действительно принятый обычай и его практическое исполнение христианами ни в чем не уступало здесь магометанскому, является обязательная заповедь милостыни. Однако вместе с тем магометанство не только позволяет ненависть и месть — в противоположность неоднократно возвешенному христианскому учению и глубоко запечатленному убеждению, что прощать надлежит даже врагов, — но поощряет и даже заповедует непримиримую вражду, вечную войну и убийство, чтобы распространять веру в этого запятнанного кровью пророка сладострастия и гор-

дыни по всему лицу Земли. Может статься, что все языческие народы Земли вместе взятые на протяжении долгой вереницы веков не принесли столько человеческих жертв своим ложным богам, сколько пало от рук этих новоявленных арабских идолослужителей во главе с их хваленым антихристианским пророком. Ибо существо идолопоклонства состоит не в именах и словах, обычаях и жертвоприношениях, а в самом предмете и в том, что действительно происходит в жизни, в антихристианских нравах и антихристианских умонастроениях; и именно все это и представлено тем самым древним черным идольским камнем, о котором я выше сказал в символическом смысле, что он все еще прочно и неколебимо утверждён в религии Магомета. Так и первоначальная эпоха Магомета и его религии была отнюдь не таинством веры и не каким-нибудь пунктом вероучения, а совершенно по-арабски разразившейся войной между его сторонниками и другим племенем, не желавшим его признавать и поначалу принудившим его к бегству из Мекки. В этой распре он сам обнажил меч и отважно боролся с неверными, поражая тех, кто не признавал его пророком, чтобы этим деянием с оружием в руках доказать божественный характер своей миссии. Однако ему пришлось еще встретить немалое сопротивление и победить еще не одну враждебную партию, прежде чем под его властью были собраны все многообразные племена арабской нации. Он сражался еще десять лет, до самой смерти, пока не овладел всей Аравией, однако уже незадолго до того он написал весьма заносчивое письмо императору Ираклию и великому шаху Персии, требуя признать и уверовать в него. Оба властителя ответили скорее неуверенно и уклончиво, нежели прямым отказом — столь велик был ужас перед этой новой адской силой, уже тогда обуявшей весь мир. Сразу после смерти Магомета среди его сторонников вновь началась большая арабская распря. Али, зять пророка, муж его дочери Фатимы с одной стороны, а с другой — Абу Бакр, тесть Магомета, отец вдовы его Аиши, место которого впоследствии заступил Омар, вместе со своими приверженцами затеяли спор о первенстве и власти; этот кровавый семейный раздор тут же, с самого начала расколол зарождающуюся арабскую державу и породил продолжающееся до нынешнего дня религиозное разделение в сообществе магометан. В сущности, это был поначалу лишь личный, а отнюдь не догматический спор — в отличие от христианских разномыслий, поскольку религия Магомета не дает к тому настоящего материала

и, строго говоря, не имеет догматического содержания и вообще не знает иной догмы, кроме той, что заключена в семи словах известной формулы исповедания: первая ее часть, касающаяся и без того очевидного единства Бога, негативно подразумевает христианское понятие Троицы и направлена против него; к ней прибавлено дополнение о божественной миссии Магомета, почитание которого, уничижающее и уничтожающее все остальное, практически превратилось в новую форму идолослужения. Но Абу Бакр и Омар претендовали быть единственными правомочными халифами и преемниками Магомета, а и поскольку алиды также не признавали некоторых дополнений к изречениями и стихотворениям пророка, почерпнутых из устного предания, то противоположная партия тем более стала почитать их схизматиками. В Персии партия и секта Али пользуются признанием до нынешнего дня, а поскольку здесь отчасти сохранились также древнеперсидские сказания и национальная поэзия, которые причудливым образом смешались с магометанскими представлениями (в результате чего здесь могли развиваться и распространяться более свободные и не столь ограниченные идеи), то вполне может случиться, что при обстоятельном исследовании и сравнении обеих этих сект мы обнаружим довольно значительное различие их духовного характера — хотя и не столько в религиозных учениях (для чего им, в сущности, недостает собственного предмета), сколько вообще в мировоззрении и взглядах на жизнь.

Однако этот внутренний раскол не воспрепятствовал дальнейшим успехам всемирной империи арабов. Через пять лет после смерти Магомета или пятнадцать лет после начала эпохи хиджры Иерусалим был покорен арабским оружием, а в восемнадцатом году хиджры магометанским стал и Египет. Еще до наступления тридцатого года того же счисления было довершено покорение персидского царства, и последний великий персидский царь из рода Сассанидов, Йездигерд погиб, скитаясь в чужеземных странах в поисках помощи и защиты. В 50-м году хиджры арабские корабли подвергли осаде Константинополь, который был обязан своим спасением преимущественно греческому огню. В 90-м году их летосчисления, когда на другой стороне континента их завоевания простирались уже в Индии, арабы разгромили вестготское королевство в Португалии и Испании и овладели всем Гесперийским полуостровом вплоть до неприступных гор, в которых осели немногочисленные уцелев-

шие беженцы из господствовавшего прежде готского племени, чтобы затем начать отсюда свою борьбу за свободу, которая продолжалась еще почти восемьсот лет до окончательного завоевания Гранады и полного изгнания мавров из всей Испании. После гибели первой халифской династии Омейядов самостоятельно и независимо от наследовавших им Аббасидов в арабской Испании образовался собственный халифат, просуществовавший здесь многие сотни лет. Стоило лишь арабам завершить завоевание Испании, как взоры их тут же обратились в сторону Франции и расположенным в ней вестготским и бургундским землям. Однако здесь их успехам был положен конец благодаря великой победе в сражении между Туром и Пуатье, которую герой франков Мартелла одержал над Абд ар-Рахманом, павшим на поле брани вместе с цветом своего воинства спустя двадцать лет после покорения Испании или сто десять лет после начала магометанской эры; и таким образом западное христианство было избавлено и спасено Карлом Мартеллом от грозной опасности, исходившей от истребляющего народы ислама. Однако в самой Азии арабская империя все более укреплялась, а второй из Аббасидов, аль-Мансур, воздвиг великую столицу своего необъятного царства — Багдад или новый Вавилон, расположенный неподалеку от тех мест, где некогда находился старый.

Это новое вероучение и всемирная империя были своего рода великим арабским переселением народов, поскольку в Испанию прибыла весьма значительная часть мавританского населения; и это арабское переселение в Азии и Африке оказало еще более далеко идущее влияние на власть, язык, обычаи, государственное устройство и духовную культуру, чем германское в провинциях европейского Запада. По сравнению с арабским переселением, принимая во внимание насильственный характер его истоков и начала, а также разрушительное воздействие на духовную жизнь и высокую культуру и всю вытекающую из этого деспотическую форму государства и жизни, которую оно повсюду повлекло за собой, германское переселение народов почти что кажется хоть поначалу и вооруженной, но затем все более и более мирной колонизацией, в которую оно и превратилось, когда миновал первоначальный хаос переходного периода и, благодаря христианству, новые пришельцы стали устанавливать все более глубокие связи с местными жителями и, наконец, слились с ними воедино.

Согласно обетованию, данному Основателем христианства своим верным, высшая божественная сила должна была и всег-

да будет сопровождать, защищать и направлять их, и никогда не отнимется у них помощник и наставник, Дух истины, мирного порядка и деятельного усердия; так это и было явлено, пожалуй, даже в нынешнем состоянии хаотического перехода, пусть и не в той форме, что прежде, однако в полном соответствии с потребностями новой эпохи, важнейшая задача которой состояла в том, чтобы мирно упорядочить бурные потоки жизненных стихий в этом новом смещении народов, позволить им успокоиться и постепенно приобрести свой органический облик и упрочиться, а также в том, чтобы не до конца утратить научное наследие и образованность и заложить первое основание для будущей свободной и богатой материальной и духовной культуры. Содействовать этому посредством умягчающего и животворного воздействия христианства в те века было также целью, задачей и делом выдающихся пастырей, епископов, прелатов и прочих апостольских мужей Церкви. Здесь особо выделяются два светоча, оба великих папы: Лев и Григорий, — которые в ту анархическую эпоху были столпом и щитом утесненному Риму и Италии, да и вообще всему Западу и христианской науке; оба они за свои практически-назидательные сочинения все еще причисляются к древним учителям Церкви в качестве последних авторов в этом ряду, причем Лев примечателен также более чистым языком и выразительной силою своего красноречия. Прочие последовавшие за ними епископы и церковные мужи более позднего времени хотя и не могут сравниться с древними учителями Церкви в науке и учености, однако соединяют в себе христианское благочестие с практическим рассудком, который в минуты особой нужды всегда умел отыскать правильное решение. Восходящие к св. Бенедикту монастырские школы, разумеется, мало походили на отшельническую жизнь первых христиан в Египте и были целиком устроены сообразно с потребностями эпохи и западного мира: как прибежища и питомники научного образования и мышления, они, вместе с тем, способствовали развитию сельского хозяйства и культурного земледелия не менее, чем попечению о нуждах образования. Многочисленные научные труды в достаточной мере показали, как далеко простиралось влияние бенедиктинцев в различных странах и сколь немалые заслуги стяжали они в создании духовной культуры новой Европы, заложив, по сути дела, ее первое основание. Труды епископа Бонифация христианство пустило корни и стало далее распространяться в глубине Германии,

а еще прежде него иные воодушевленные священным рвением мужи, из коих сорок было послано папой Григорием Великим, добрались до Британии, где их проповеди с небывалой жадной внимали, с одной стороны, пикты, скотты и древние обитатели Эрин, а с другой — жившие в Англии саксы. В этот саксонский период до Альфреда Великого и вплоть до начала его правления Англия почти утвердила свое превосходство перед всеми прочими странами и провинциями Запада в истинном христианском благочестии, в знаниях и науках, доступных тому времени. Упоминавшийся уже апостол Германии, Бонифаций, вначале звавшийся Винфридом, происходил из Англии, а среди писателей того времени Алкуин утверждает и подтверждает это преимущество христианских саксов Англии в духовной культуре. И несмотря на то, что весь Запад в целом был тогда крайне ограничен в познаниях и в узкой сфере всей своей науки и учености, — все же писатели, наделенные самобытным духом, характером и оригинальной внутренней жизнью и отражающие свое время примечательным или поучительным образом, обретались теперь почти исключительно здесь, на этом Западе. Они писали на варварской латыни или на одном из пока еще полуразвитых романских языков, тогда как позднейшие византийские писатели, располагавшие на тот момент неизмеримо лучшими вспомогательными средствами и значительно более глубоким знанием языка, могут похвастаться разве что учеными компиляциями.

На Западе, среди франков и саксов появлялись теперь и христианские герои, короли и законодатели, такие как Карл Великий и тот упомянутый нами Альфред, которые, конечно, не были людьми во всем безупречными, однако восхвалять или осуждать их мы должны исключительно согласуясь с масштабами и характером того времени, без знания которого дух их отнюдь не может быть верно познан и понят. В дни мира и войны они с усердием старались укрепить и преобразовать государство на христианских понятиях и убеждениях, а для всеобщей защиты и ограждения всех христианских государств и цивилизованных народов европейского содружества от варварских завоевателей и внутренней анархии они возродили Западную империю в качестве христианской монархии. Если сравнить этих франкских или саксонских королей и императоров, отважных и по-рыцарски благородных, пусть и жаждущих славы, однако ищущих мира и утверждающих его, чтущих право, учреждающих или возрождающих зако-

ны — с одной стороны, с одержимыми неистовой жадой завоеваний и разрушений арабскими властителями и халифами, а с другой — с почти неизменной испорченностью константинопольского двора и неуклонным распадом византийской империи, если сопоставить наиболее яркие искры духа в письменности Запада с бездарной монотонностью в духовных творениях византийцев, и во всей их духовной культуре, невзирая на то, что греки все еще далеко превосходили остальную Европу своей ученостью, наукой и относящимся к ней книжным богатством, если при этом мы примем во внимание реальное и практическое несовершенство всех человеческих вещей, дел и характеров (ибо и в тот период истории пороки и недостатки соседствовали в людях с самыми достойными качествами), пожалуй, это сравнение лучше всего послужит к похвале и оправданию католического Запада и его древнейшей истории. Хотя ее искажения, прежде столь частые и вызванные пристрастными преувеличениями и предвзятыми суждениями, еще оказывают вредоносное воздействие, но для нас они, в сущности, уже потеряли значение, ибо настал, должно быть, тот миг, когда мы, достигнув самого центра истории, уже можем охватывать одним широким взором и древнейшие ее истоки, и классическую древность, и Средние века и новейшую эпоху, и нынешний день, и будущее, которое еще только находится в становлении, еще лишь предстоит и приближается к нам. Видя их во всей целостности и полноте, мы уже можем и обязаны вернее судить о всех их частностях, правильнее понимать их место во взаимосвязи целого и учиться оценивать их в согласии с тем масштабом, который дан нам Богом и является единственно истинным. Мы должны судить о них без предпочтений и неприязни, что, впрочем, означает нечто большее, чем то, чего действительно достиг или был способен достичь в то время и в силу своих убеждений тот величайший из всех древних историков, которому принадлежит этот девиз⁹³. Ведь человек в состоянии возвыситься над частным случаем своего собственного или чужого народа и времени лишь через познание целого и его понимание, которое тут же ясно и уверено определяет наше чувство и впечатление от всего частного в исторических фактах; однако древнему историку и всему его времени еще недоставало того ключа к всемирной истории и ее глубинной взаимосвязи, который был

⁹³ Отсылка к известному изречению Тацита: «тем, кто решил неколебимо держаться истины, следует вести свое повествование, не поддаваясь любви и не зная ненависти», История, 1, 1, пер. Г. С. Кнабе. — *Прим. перев.*

дан лишь с приходом христианства, и кто не умеет найти его в нем, тот, конечно, втуне будет пытаться отыскать его где-либо еще.

В эту эпоху анархии, а также во время владычества лангобардов папский авторитет во внутреннем управлении городом и римской областью вырос вполне сам собою из обстоятельств того времени; это касается и общего политического влияния пап на всю Италию, которое, впрочем, было по преимуществу весьма благотворным и служило лишь к поддержанию мира и общественного благосостояния. При этом я должен заметить, что яркий свет, способствовавший правильной оценке такого исторически обоснованного и столь естественным образом соразмерного обстоятельствам времени и всему состоянию западного мира политического положения и власти пап в эпоху раннего Средневековья, впервые был пролит преимущественно не католическими писателями. У политических историографов католической стороны почти везде еще слишком жива в памяти некогда столь разносторонняя и оживленная дискуссия о взаимных границах и правах духовной и светской власти, которая не может не оказывать влияния на их видение и способ изображения тех давно минувших времен, что, конечно, несколько омрачает беспристрастность их чисто исторического суждения⁹⁴.

⁹⁴ Если в XVI–XVII вв. вряд ли можно говорить о превосходстве католических или протестантских церковных историков, то с самого начала XVIII века перевес явно на стороне протестантов, что, собственно, признает и ортодоксальный католик Шлегель. После издания в 1699–1700 гг. Готфридом Арнольдом своего основного труда, «в протестантской церковной историографии происходит переворот». На место страстной и несправедливой полемики приходит изображение естественной связи исторических событий, в употребление входит «спокойный, мягкий, миролюбивый тон историографии, наиболее сообразный с достоинством истории». См.: Лебедев А. П. Церковная историография в главных ее представителях с IV-го века до XX-го // Собр. церковно-исторических сочинений профессора Лебедева. Т. 1. СПб.: 1903. С. 295–296. Появляются авторитетные школы протестантской церковной историографии. В первой половине XVIII — это школы Э. Вейнсманна, И. Л. Мосгейма; во второй половине XVIII — начале XIX вв. — школы И. С. Землера, Г. И. Планка, Г. Ф. К. Гэнке. В первой половине XIX века влиятельными становятся школы А. Неандера и Ф. Х. Баура. Из школы Баура вышли такие знаменитости, как Штраусс, Целлер, Кестлин, Ригль, Вайцзеккер и др. И это лишь часть имен церковных протестантских историков, прославивших немецкую историческую науку. Кроме церковной науки мы видим и бурное развитие преимущественно светской историографии, но по-прежнему так или иначе ориентированной на католическую или протестантскую партии, правда, уже без присущего XVI–XVII векам религиозного или характерного для конца XVIII — начала XIX вв. политического фанатизма. В числе таких светских историков, не забывавших и о своей религиозной принадлежности, были знаменитые

После падения остготского владычества в Италии немилость или недовольство византийского полководца Нарсеса стала причиной вторжения в Италию лангобардов, которые хоть и не столь безраздельно принадлежали к арианской партии, ибо часть их, а также и некоторые из их королей исповедовали католическое христианство, однако имели далеко не тот же благородный и снисходительный характер, что и готы, а потому их владычество в Италии многие воспринимали как угнетение. Впрочем, по мнению многих известных своей непредвзятостью историков, любое правление казалось там более желательным и менее невыносимым, чем нависшая угроза византийского господства. Когда в середине седьмого века греческий император Констанций II вел в Италии войну с лангобардами, в ходе которой, в частности, был захвачен Рим, его опустошение и, в особенности, разграбление сокровищ древнего церковного искусства было столь велико и необычайно, что современники уже ни во что не ставили все произведенные готами разорения и причиненный ими ущерб по сравнению с этим греческим разгромом. Однако корабли, которые должны были везти все эти награбленные художественные ценности в Константинополь, попали в руки к арабам и бесследно исчезли, так что никто не знает даже, куда они девались. Итак, правда такова, что ветхий Рим погиб единственно сам собою, от внутреннего разделения и собственной испорченности, а не от рук готов или прочих германцев. К началу восьмого столетия, когда господство жестоких лангобардов сделалось гнетущим, а владычество греков под началом иконоборца Льва — еще более ненавистным, так что против него поднялись все города и провинции, римский папа Григорий II без дальнейших обсуждений и при единодушном согласии был поставлен во главе этого итальянского союза или рассматривался всеми в качестве его главы, хотя сам он, предостерегая от опрометчивых действий и призывая к миру, лелеял надежду на любовное примирение с византийским императором. Суровый запрет иконопочитания мог быть уместен лишь там, где оно не ограничивалось молитвенным благоговением, но грозило обернуться подлинным обожествлением и идолопоклонством и где строгое отвержение идолопоклонства и всех языческих обычаев являлось первейшим и насущнейшим требованием, как это было в древние времена у Моисея и его народа. Однако теперь, когда магометанское

отвержение всех священных символов и благочестивых молитвенных изображений и оскорбительное презрение к ним носило явно антихристианский характер, одинаково проявлявшийся как в открытой злобе, так и в тайных злоумышлениях против христиан, такое византийское иконоборчество и яростное преследование символов, конечные последствия которого могли и должны были зайти весьма далеко, не могло не казаться ничем иным, как почти безумным подражанием господствующему заблуждению и духовной пагубе той эпохи. И хотя этому исступленному безумству у греков был положен конец, так что подданные византийской империи остались христианами как в догматах, так и в обычаях и сохранили верность церковному преданию, однако этот иконоборческий спор и возбужденные им межпартийные ссоры и вновь разгоревшаяся ревность между католическим Западом и восточным христианством немало способствовали совершенно бессмысленной и беспредметной схизме последнего и его злосчастному отрыву от Вселенской Церкви.

Непрестанные раздоры между лангобардскими королями и греческим экзархатом в Адриатике, во время которых римские папы, вероятно, ощущали призвание возложить на себя протекторское достоинство или принять попечение над всей угнетенной Италией, однако в действительности не имели сил его исполнить, вполне естественным образом побудили франков выступить в качестве арбитров и повлекли за собой франкский протекторат над Италией, что дало первый повод к восстановлению Западной империи и установлению власти христианских императоров. Возвышенная идея христианской империи, в сущности, произошла всецело из этого положения и из уже свершившихся фактов, ибо едва ли прежде кто-либо мог хотя бы смутно предчувствовать ее возникновение, не говоря уже о том, чтобы ясно осознавать или до конца понимать его. А потому мы ныне, взглядываясь в даль веков из совершенно иной эпохи, не можем ни возложить на кого-либо вину, ни целиком поставить кому-либо в заслугу те события, которые, строго говоря, произошли вполне сами собой, под натиском обстоятельств, по велению времени и по действию счастливого импульса высоких чувств, и не желаем вступать в формальные юридические споры о правомерности или неправомерности того или иного отдельного шага, относящегося к этому целому. Между тем, никакая другая страна не находилась под гнетом столь многочисленных соперничавших меж собою властителей, как все та же Италия, которая некогда

подклонила весь круг земной под свое иго. Не знали пределов стенания в покоренной арабами Сицилии, первым поводом к завоеванию которой послужило жестокое обращение греческих наместников и властителей.

Франки переселились в Галлию уже в третьем веке; с самого основания франкского королевства его правители особенно привержены и преданы христианству, а кроме того, более практически-рассудительны и планомерно-последовательны в своей политике по отношению к иным родственным народам и иным соседствовавшим или находившимся с ними в каких-либо отношениях государствам, чем какие бы то ни было иные германские или готские народы при овладении и дальнейшем управлении римскими провинциями. С самого начала твердо держась за католическую партию и духовенство, победив западно-готское королевство в Галлии, овладев бургундскими землями, они в то же время неустанно стремились расширить и упрочить свое господство во внутренней Германии, а одержав великую победу над сарацинами и, тем самым, завоевав и даровав всему христианству свою защиту и покровительство, они уже не столько папой и римлянами, сколько самим естественным положением дел, давлением обстоятельств и требованием эпохи были призваны в Италию, чтобы и здесь положить конец анархии и восстановить древний или установить новый, сообразный с духом времени порядок. Отныне империя франков все более становилась крупнейшей силой на всем христианском Западе, да и вообще центральной точкой цивилизованного мира того времени для всей мировой истории — такую же, какую непосредственно после нее, однако в еще большей мере и в еще более широких границах стала и долгое время была средневековая христианская империя в Германии и Италии. Ибо именно здесь становится отчетливо видна та высшая нить истории человечества, которой мы должны держаться: с одной стороны, яркий след непосредственного божественного водительства, с другой же — словно бы скрытый под напором внешних обстоятельств и совершенно потаенный ход глубинного духовного развития в науке и языке, в образе мыли и умонастроениях, который, наряду с упомянутым божественным водительством, составляет сущность и существенное содержание и предмет развития человечества. Ни монотонность византийской империи греков, все ниже опускавшейся в духовном отношении и в жизни, в нравах и в политическом устройении, ни дальнейший рост и внутреннее разложение всемирного арабского владычества с его насильствен-

ными дворцовыми переворотами, кровавыми революциями и постоянными сменами династий, с не менее монотонным и неизменно самотождественным деспотическим произволом, составлявшим здесь господствующий принцип всего государственного устройства, — словом, ни одна из обеих половин восточного мира в это время не представляет большого интереса с высшей точки зрения на всеобщую историю. Постепенное формирование христианского государства в его поступательном развитии в этот всемирный период истории человечества (подобно развитию христианской науки в более поздний период) — вот что влечет к себе любознательный взгляд, желающий постичь все человеческие судьбы и дела, и обращает его почти исключительно или, по меньшей мере, преимущественно к европейскому Западу, где все было исполнено жизни и непрестанного движения. Конечно, внутренние распри, разделения и раздоры франкских королей между собою с точки зрения целого могут представлять лишь малый или весьма второстепенный интерес; в то время как подлинно поучительный предмет заключается и может быть найден в самой идее и ходе развития этого целого. В первоначальном осуществлении этой идеи еще можно отыскать немало недостатков и пороков, каковыми были, к примеру, войны Карла Великого против саксов или предшествовавшие им подобные войны более ранних франкских королей, поскольку производимое таким образом распространение христианства едва ли можно извинить и совершенно невозможно полностью оправдать. Извинение ему может, пожалуй, скорее всего быть найдено в том, что распри между близкородственными племенами, подобно семейным раздорам, нередко ведутся как раз с наибольшим упорством и ожесточением. Однако мир, заключенный с саксами в 784 году, был для них все же весьма выгодным; а необычайное процветание, сила и благополучие всей империи, включая северогерманские земли, при первом короле из саксонской династии Генрихе, доказывает, по меньшей мере, что это зло не преступило строго определенных границ, не привело к длительному опустошению и не оставило по себе значительных последствий. При смене Каролингов Капетингами не следует, впрочем, забывать, что все германские королевства тогда еще были не абсолютно наследными, а преимущественно выборными монархиями и что избранником мог стать лишь тот, кто проявил себя как отважный, умный и могущественный защитник всего государства и народа. Власть монарха все еще считалась скорее должностью, особым призвани-

ем и возлагаемым бременем, чем наследственным владением и собственностью в понимании обычного права. Однако для христианской империи идея целого заключалась в понятии великого покровительства надо всеми христианскими странами и народами, осуществляемого из единого центра основанной на праве власти, а объединяющую силу этого целого было принято искать или предполагать по преимуществу в единстве христианских убеждений. Как только оно утрачивалось, неизбежно распадалось и все здание; и точно так же в конфликтах последнего времени искусственные отношения, построенные на одном лишь динамическом равновесии и всеобщем республиканском равенстве государств, однако без всяких христианских или каких бы то ни было иных твердых принципов, могли, как учит нас опыт, являть собою лишь весьма неважный суррогат древнего христианского государственного единства или союза народов европейского Запада и приводили лишь к цивилизационному беспорядку и искусственной анархии, царящей посреди всеобщей антихристианской революции нравов. Почти героическая или, лучше сказать, патриархально-наивная уверенность в этом считавшемся непреходящим единстве убеждений в особенности проявилась при разделе каролингской империи (сам принцип которого, конечно, содержался уже в древнем обычае и праве больших семейств), посредством которого тогда надеялись сочетать потребность в близости властителя для внутреннего управления не слишком большой страной с единством государственного целого в пределах общей монархии. Тот факт, что даже человек, наделенный столь великим и рассудительным умом, столь дальновидной и продуманной предусмотрительностью, как Карл Великий, считал возможным достичь такого идеала и сохранить единство целого, по-братски разделив его между несколькими соправителями и подчинив их старшему и первейшему среди всех наследников, должен бы, в сущности, иметь весьма немалый вес для потомков, удерживая нас от опрометчивых суждений на сей счет по понятиям нынешнего времени и политики. Этот первый предполагавшийся раздел не состоялся из-за нескольких случаев смерти, а окончательное разделение всей каролингской империи на три различные части произошло лишь стараниями Людовика Благочестивого, после того как бесконечные раздоры между его сыновьями и преемниками, слабость или страстность их характеров и прочие разномыслия, бесспорно, сделали невозможным сохранение того единства, поддержание которого считалось необходимым согласно перво-

начальному замыслу, и при дальнейшем раздельном существовании привели к полному обособлению частей и упразднению древней державы франков, после чего императорский трон перешел к другой династии. Потребность в близкой, местной и по-отечески домашней власти в собственной стране была приведена к гораздо более совершенной гармонии с могучим единством великого целого в древнейшей германской монархии, объединявшей под властью одного короля или императора четыре крупных национальных герцогства — по крайней мере до тех пор, пока глубинная связь меж ними не потеряла силу, и здесь также не возобладал разлад. Вообще же, разделение властей уже тогда (хоть и в отличных от позднейшего времени формах) существовало в государстве, в гражданском обществе и в Церкви, а единство в этом разделении или же вместе и наряду с ним искали лишь в общности национальных или христианских убеждений, и покуда она сохранялась, империя оставалась единым целым. Заметим, кстати, что до сих пор еще ни в одну эпоху не удалось найти или изобрести какую-либо конституционную формулу или образ государственного управления, способный на долгое время заменить собою недостающие убеждения. В существовавших тогда национальных ассамблеях малых и более крупных государств, в совещательных собраниях герцогов и князей, епископов, графов и баронов, людей благородных и свободных, к которым, по мере своего развития, добавились затем и городские коммуны, наделенные собственными привилегиями и правами, был заключен первый и главный зародыш всех будущих парламентов и древних имперских собраний, всех сословных и городских прав, свобод и корпораций. Все они формировались тогда в согласии с местными условиями, основывались на живом народном обычае и не на рационалистической теории всеобщего равенства, а на существующих традициях и индивидуальном праве; однако единство и стабильность целого искали тогда не в рассчитанном равновесии искусственной формы, а в священном установлении древнего обычая — одним словом, в убеждениях. На таком основании прежде всего христианских, а затем также национальных убеждений с самого первоначала покоятся все христианские государства; лишившись же его, они рушатся. Духовная власть в то время была таковой не только по имени и имела немалую собственную сферу действия наряду, одновременно и совместно со светской, хотя в своих границах и в отдельных пунктах соприкосновения она была еще не столь строго отделена от последней. А в доказатель-

ство того что и при разделении властей возможно единство силы и духа в составе целого, откуда общность истинных убеждений хранится в самой жизни, достаточно напомнить о том историческом факте, что все христианские страны и государства произошли из подобного счастливого согласия духовной и светской властей; отсюда приняли они свое начало, и таково было то основание, на котором покоилось их продолжительное существование. И пока обе власти пребывали в гармоничном созвучии, царили добрые времена, укреплялись мир и справедливость, а благосостояние народов процветало и умножалось. Христианство, — говорит великий историк, обычно скорее благорасположенный к античности или странам Востока, однако в силу своего разностороннего интеллекта нередко умеющий воздать должное и той вере, которую мы почитаем первой, — христианство, говорит он, было той электрической искрой, которая впервые пробудила воинственные народы Севера, сделала их восприимчивыми и способными к высшей духовной культуре, впервые упорядочила характер и государственный строй новых наций, возникших из этой смеси, и придала им форму⁹⁵. И к этим словам можно добавить: христианство было также объединяющей силой для всей совокупности западных народов и держав, причем не только в государстве и общественной жизни, но также и в образе мысли и познании. Церковь была как бы покровом и защитой, тем всеобъемлющим небесным сводом, под верховенством которого воинствующие народы начали устанавливать

⁹⁵ Речь идет о Бартольде Георге Нибуре, сыне известного датского путешественника Карстена Нибура. Получил высшее образование в Кильском университете. В 1804 г. был назначен директором Датского национального банка. В 1816 г. был назначен прусским посланником в Рим. В 1823 г. вышел в отставку. Жил в Бонне, где с успехом читал лекции по древней и новой истории. Знал двадцать языков и не расставался с научными занятиями. Разработал метод критики источников. Опираясь на близкое знакомство с античной историей и литературой, на собственные всемирно-исторические изыскания и свой политический опыт, он заменял вероятным то, что в предании оказывалось недостоверным. Наиболее известны его труды по древней истории Италии. «Нибур понимал древнеримскую эпоху из фундаментального видения общего национального духа, действующего в нравственных и правовых установлениях, в поэтической традиции...». К филологическим средствам он добавил исследование хозяйственной деятельности и права, и провел их сравнительный анализ. См.: Дильтей В. Построение исторического мира в науках о духе ... С. 141–142. Понятно, что такой ученый и человек не мог не вызывать восхищения Ф. Шлегеля, который сам не только был причастен к ученым занятиям и обладал выдающейся эрудицией, но и занимал официальные должности высокого уровня. При этом протестантизм Нибура, как мы видели из предыдущего примечания, ничуть не мешал Шлегелю по достоинству оценить его выдающийся вклад и саму его личность. — *Прим. науч. ред.*

между собой мирные отношения, формировать законы и права. В ее заботливые руки было передано на сбережение также школьное дело, все наследие знания, попечение о науке и развитие духа — все это стало теперь достоянием христианских образовательных учреждений. Наука того времени, хоть и весьма ограниченная по объему, но, применительно к силам и образованности своей эпохи (ибо нельзя было преодолеть одним прыжком все ее ступени, но требовалось проходить их одну за другой) вполне достаточная, по крайней мере, не пылилась без дела в кабинетах ученых или в библиотеках, как это случалось в более позднее время, а отчасти даже и тогда — у византийских греков. То немногое, чем располагал рассудительный Запад, было плодотворно воплощено в жизнь с практическим разумением и здравым смыслом, свойственным ему и лучшим представителям тогдашнего духовенства. Ибо наука тогда — в отличие от позднейшей эпохи ее надменного превосходства — еще не вступила во враждебную оппозицию к чистой вере и к самой действительной жизни; и потому полезные знания и благотворные идеи, словно освежающая роса или оплодотворяющий дождь нисходили на богатую почву той жизни, полной столь многообразного движения в войнах и в мире, в искусствах и ремеслах, и были для нее не опустошающим потоком, но благодатным потоком, нисходившим со всеохватывающего небосвода веры.





ТРИНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Начало формирования и укрепление христианского государства в новое время в соответствии с христианским понятием германской империи

Первые три столетия с начала новой истории и нашего христианского летоисчисления составляют эпоху, в которую с этим вторым *fiat*⁹⁶ божественного творения свет христианской веры распространился по всей мировой римской империи, а с воцарением Константина христианство, воспрянув, наконец, после долгих преследований, вышло из них победителем также и с внешней точки зрения. Вторая эпоха продолжительностью в пятьсот лет охватывает хаотическое промежуточное состояние в мировой истории или переход от гбнущей античности к формирующемуся на ее обломках новому времени, брожение смешанных между собой столь многочисленных и разнородных, перетекающих одна в другую стихийных сил истории. Когда же, наконец, отгремела гроза, утихла буря, рассеялись облака и ясный небосвод христианской веры мог служить покровом, оберегающим развитие новой жизни; когда неудержимые потоки Великого переселения народов начали постепенно стихать, тогда германские племена, слившиеся воедино с романскими, сформировали основу и твердую почву, из которой образовались и на которой возросли новые европейские нации, после того как Карл Великий заложил надежный

⁹⁶ *Fi*at (лат.) — «да будет!». Ф. Шлегель отсылает читателя к латинскому тексту Быт 1:3, в котором Бог начинает сотворение мира словами «*fiat lux*» (да будет свет). — *Прим. перев.*

фундамент, на котором могло покоиться здание христианского государства, которое, в свою очередь, могло получить дальнейшее развитие и достичь своей окончательной формы. На этом фундаменте христианского государства и христианской жизни, под кровом сверкающего звездами небосвода божественной веры и под ее воодушевляющим влиянием могла и должна была теперь с новой силой развиваться и человеческая наука, исходя из тех малых фрагментов наследия человеческих знаний и образованности, что уцелели после всех разрушений, достигая своего полного роста и обретая все более христианские и божественные черты. Это новое развитие жизни в христианском государстве, как и развитие духа в христианской науке, составляет подлинное содержание третьей эпохи Новой истории, которая охватывает семь веков, последовавших за первыми тремя и вторыми пятью: от Карла Великого до открытия Нового Света и начала последнего периода войн. Само собою разумеется, что с исторической точки зрения и эти семь веков глубинного христианского развития новых наций и многообразного, богатого и могучего возрастания их жизненной силы одновременно были и периодом борьбы и в государстве, и в науке, что как в той, так и в другой сфере к христианским началам примешивались и другие, враждебные и вредоносные антихристианские стихии, препятствовавшие и противившиеся им. И потому подлинная задача всемирно-исторического суждения должна состоять здесь в том, чтобы распознавать и различать эти противоборствующие стихии, определяя и постигая их взаимные отношения. Развитие христианского государства и возрастание христианской науки являются, таким образом, подлинным содержанием этого периода мировой истории, коль скоро мы не просто рассматриваем ее как универсальное собрание всех имеющихся и возможных частных историй, но усматриваем ее призвание в том, чтобы быть поистине всеобщей с философской точки зрения и иметь своим предметом лишь то, что можно исторически исследовать и узнать о самом человечестве и о поступательном ходе его развития. При этом все прочие исторические задачи, диктуемые, например, особыми пристрастиями к отдельной нации или к собственному отечеству, практическими интересами, касающимися политической жизни отдельных или, может быть, даже многих ныне существующих государств, вниманием к сфере коммерческой деятельности и ее дальнейшему расширению или к успехам сугубо материальной производственной культуры, или

все то, что могло бы быть предметом исторической учености и любознательности в литературе и языкознании и изящных искусствах (сколь бы притягательными, поучительными и во многих отношениях полезными ни были такие исследования), — все это, говорю я, или должно быть здесь вовсе опущено, или может занять лишь весьма подчиненное место и быть упомянуто лишь в той мере, в какой оно имеет отношение к тому, что составляет основной вопрос философии истории. В самом начале древнейшего мирового периода нередко бывает трудно достичь фактической надежности и полной достоверности сведений и исторической уверенности именно в тех обстоятельствах, которые являются здесь исключительно или, по меньшей мере, преимущественно достойными познания. Напротив, в новейший мировой период гораздо более трудная задача заключается в том, чтобы из неизмеримого множества и многообразия всего, что доступно историческому познанию и может быть надежно установлено, без остатка выделить то, что в своем отношении к целому действительно достойно рассмотрения, и чтобы, пребывая под натиском всех этих частных, твердо выдерживать и сохранять чистоту и уравновешенность этой универсальной точки зрения.

Впрочем, мы никак не склонны относить к числу черт христианского облика государства и науки все, что только было примечательно-характерного или эпохально-значимого в развитии и истории государства и наук у новых наций в эпоху христианского Средневековья, в том числе, в этот поздний его период, лишь потому, что все это имело место здесь, в христианском мире и в кругу христианских народов. Потому мы должны стремиться к настолько чистому пониманию идеи христианского государства и христианской науки, чтобы даже самые лучшие и благороднейшие достижения, какие только предложит нам историческая действительность как в той, так и в другой сфере, в силу их человеческого несовершенства показались нам, может быть, по большей части лишь слабым приближением в сравнении с самими христианскими понятиями и требованиями — отнюдь не по недостижимым масштабам вымышленных идеалов, а согласно с простым понятием чистой христианской истины. Хотя, в силу неразрывной глубинной связи и исторического взаимовлияния науки и государства, было бы, в сущности, невозможно до конца разделить и во всем строго разграничить эти две сферы: общественную жизнь и господствующий образ мысли и духовную культуру, — все

же, поскольку первая служила, в числе прочего, фундаментом последней, а основания ее были заложены раньше, мы будем руководствоваться этой исторической последовательностью и, прежде всего, примем за отправную точку христианское государство. Относительно последнего, поскольку я веду речь не о высшем идеале законченного совершенства и, в сущности, даже не пытаюсь дать как можно более строго определенное понятие христианского государства (что было бы преждевременно, по крайней мере, на этих страницах, а может быть, и вообще в нашу эпоху и в нашем мире), мне хотелось бы заметить лишь, что прежде всего, христианским может быть лишь такое государство, религиозное основание которого покоится на убеждениях. Ибо подобная связь с религией без убеждений совершенно немыслима и, будучи установлена и проведена исключительно внешне и сугубо фактически, она бы уже не была религиозной. Но государство, покоящееся на религиозном основании, то есть, христианское, уже в силу самого этого факта является исторически обусловленным и, таким образом, по своему первому понятию совершенно исключаящим возможность всякого абсолютизма, будь то порожденного деспотическим произволом или безграничным владычеством множества партий. Кроме того, в таком государстве, покоящемся на религиозном основании, первейшим, существеннейшим и господствующим началом являются убеждения, личный дух и характер, а не мертвая буква или записанная словесная формула какой-нибудь искусственной конституции. В этом последнем отношении можно было бы сказать, что христианское государство преимущественно склоняется к монархическому устройству; ибо при нем священная персона монарха, характер властителя, дух его правления, доверие к его личности и любовь к наследному дому составляют существенное содержание, одухотворяющую силу и живой принцип целого. Напротив, в республике должна господствовать не личность, а закон или, лучше сказать, записанное слово в действующей форме этого закона имеет в нем наибольшую значимость, и потому здесь даже мертвая буква конституции должна быть в определенном смысле столь же свята, сколь свята в монархическом государстве предназначенная к тому и освященная божественным правом личность правителя. Однако не следует заходить в этом утверждении далее, чем до обозначенной нами границы, а именно, что христианское государство как персоналистическое и покоящееся на убеждении склоняет-

ся к монархической форме по преимуществу, то есть в целом, что, впрочем, в частных случаях вовсе не исключает разных республиканских традиций и институтов. И еще менее подобает расширительно трактовать эту идею вплоть до того негативного преувеличения, будто бы христианское государство непременно и со всей необходимостью, в том числе и по своей внешней форме, должно быть обязательно монархическим и будто бы республика как таковая всегда, везде и безо всякого различия является чем-то предосудительным. Ведь именно такой абсолютизм в правоведении и теории государства как нельзя более удалил бы нас от христианских убеждений и религиозного основания всей жизни. Разумеется, антиисторичное государство разума или революционный принцип разрушения несовместимы с христианством и находятся с ним в решительном противоречии — именно потому, что, прежде всего, христианство допускает и признает в его правах всякое законно существующее учреждение, не вдаваясь в рассмотрение его первооснов (как, например, Евангелие не оспаривает власть римлян и римского государства в покоренных и поглощенных им землях, но оставляет за нею ее почести и права), ибо, таким образом, все христианские воззрения на право, равно как и христианская теория государства являются не абсолютными, но полностью исторически обусловленными. Однако там, где реально существующий республиканский строй основан не столько на рационалистическом принципе абсолютной свободы и равенства, сколько на древнем обычае и на правовой традиции, на свободном убеждении и благородстве характера, то есть, на личности, там подобное устройство гражданского общества по своему внутреннему принципу даже не будет чуждо истинному монархическому духу, не говоря уже о том, чтобы в общественной жизни противоречить христианскому понятию о праве или противиться ему. А деспотический произвол власти, неправомерной если и не в своих первоисточках, то, по меньшей мере, в ее применении и осуществлении, совершенно исключается уже самим понятием христианского государства и лежащими в его религиозной основе убеждениями; в то же время, он остается совершенно несовместимым с его исторически обусловленным характером, столь же далеким от всякого абсолютизма, сколь и от рационалистического принципа безусловной свободы, всеобщего равенства и ниспровержения всего исторически существующего как подлинного начала всех политических разрушений. Как спасе-

ние и ценность отдельного человека, согласно христианскому мировоззрению, основаны не на видимости и пустой формуле, но на внутреннем убеждении и его истине, так обстоит дело и в общественной жизни и государстве. Не внешняя форма, а дух и намерение, характер поступка, личное начало во взаимоотношениях и во всей общественной жизни — вот то, что в первую очередь позволяет нам в том или ином отношении опознать благую и божественную или, напротив, враждебную ей тенденцию в любом историческом материале или предмете и от чего зависит его окончательная оценка. Христианский характер и настрой в правлении великого, хоть и небезупречного императора Карла заключался не в том, что гражданские законы для всей империи и ее отдельных стран и провинций он составлял, по большей части, при советательном содействии своих епископов (как после него делал Альфред), отчего законы эти содержат столь много предписаний скорее нравственного характера, и не в том, что корона была возложена на главу его в Риме самим папой, а в самой идее, лежавшей в основании всей его многотрудной жизни, заключается этот характер, в во всех понятиях Карла о государстве и церкви, о науке, служащей образованию и просвещению народов и эпох, в замысле всемирной империи, объемлющей все цивилизованные народы и служащей им защитой, в идее этой новой Европы, первое основание которой, в сущности, и было заложено им, и в основанном на ней историческом видении, охватывавшем и грядущие времена, и его собственную эпоху.

Итак, везде, где бы мы только ни повстречали эти важнейшие черты любвеобильной и основанной на Боге справедливости и убежденной готовности жертвовать и всякой выгодой, и даже собственным существованием ради этой справедливости и божественного миропорядка, мы, невзирая на внешние формы, должны усматривать в них характерные признаки благополучного развития христианского понятия права и государства. Повсюду же, где бы ни наблюдали мы деспотический произвол и насилие или любого рода абсолютное беззаконие, пусть даже под личиной высшей мирской или духовной власти, — там уже самые начатки государства являются заведомо антихристианскими, коль скоро таковы те убеждения, на которых оно покоится. Впрочем, среди различных форм этой политической болезни или многообразных известных истории видов деспотического употребления или осуществления власти или тирании, будь то духовной или светской, военной или коммерческой, домашней

или городской, академической или аристократической — одним из самых недостойных по внутреннему характеру и самых разрушительных по своему воздействию был, конечно, общеизвестный деспотизм свободы.

Эта важнейшая присущая христианству самобытная особенность превосходно согласовывалась с обычаями и учреждениями германских народов — гораздо лучше, чем с абсолютизированной республикой всемирного римского государства, которое и после Константина по существу и в основе своего характера не переставало быть языческим. Здесь, в древнегерманских учреждениях, по преимуществу господствовал наследственный монархический строй, далекий, впрочем, от всякого абсолютизма, а в частных случаях нередко переплетавшийся с тем или иным республиканским обычаем, законом или правом, во всем покоившийся на исторической основе, на древнем обычае, на свободных и благородных помыслах о безупречной чести, на личности и личной славе, на величии духа и характера. Стоило лишь дать религиозное освящение этой природной нравственной силе германских народов, и эти могучие души героев в благочестивой простоте живой веры приняли и усвоили основной закон христианской любви, а тем самым были даны и все элементы истинного государства и общественной жизни, основанной на христианской справедливости. Политическую историю того древнего времени воспринимали и излагали по большей части излишне систематически, руководствуясь той или иной практической задачей или интересом, тем или иным господствующим понятием нашего времени. При этом историографы употребляют всю свою проницательность, чтобы как можно точнее — шаг за шагом, ступень за ступенью — проследить первоначальное возникновение и постепенное развитие какой-либо совершенно определенной государственной формы или правовой идеи, как, например, территориального суверенитета или сословного строя, и со всей наглядностью вновь и вновь представить их перед нашим взором и, в конце концов, сформировать их самое ясное понятие. Совершенно без внимания остаются при этом все высшие предметы: образ мышления, нравы, глубинный характер жизни в ту эпоху, помыслы и дух, божественная и христианская или, напротив, богопротивная и антихристианская направленность убеждений, а также их непредвзятая оценка и правильное суждение о всем этом, выносимое не по меркам нашей собственной или какой-либо иной эпохи, а в согласии с вечной истиной. Разве только иногда какая-нибудь отдельная

черта характеров и нравов, выхваченная из взаимосвязи и контекста своего времени, оторванная от своих жизненных корней, может быть выставлена на всеобщее обозрение в качестве некоей странности, занятого исторического парадокса с расчетом возбудить в читателе живой интерес. И, однако, в таких отдельных характерных чертах христианского Средневековья, даже если сперва мы замечаем их скорее лишь в силу их необычности и поначалу не во всем понимаем, можно все еще найти больше следов живой исторической истины, чем в составленных с определенной политической целью систематических изложениях истории, предмет и задача которых сами по себе уже, как правило, предполагают искусственное разделение и насильственное расчленение всего того, что в полноте христианской народной жизни тех древнегерманских времен все еще составляло единство и неразрывную целостность. Но если даже самые лучшие и превосходнейшие меры, принятые в тот первый период развития христианского государства к основанию, формированию и дальнейшему развитию последнего, а также христианских политических убеждений и образа мысли как в его принципах и понятиях, так и в их практическом применении в слове и деле, были не более чем благородными устремлениями, благими намерениями, первыми помыслами и все еще несовершенными попытками приблизиться к божественной цели, то они могут восприниматься лишь как частные исторические явления и должны быть представлены в своей индивидуальной природе, а не сразу же встроены в рамки какой-либо взаимосвязанной системы или приведены в строгое соответствие с определенным правовым принципом и его надлежащей формой, поскольку вообще в христианском государстве убеждения и личное начало было и остается самым главным и существенным⁹⁷. Если бы мне было по-

⁹⁷ На этих страницах Ф. Шлегель излагает суть индивидуализирующего подхода немецкой исторической школы и создаваемого на его основе сравнительного метода. Христианское понимание истории служит здесь некоей общей матрицей для сравнения сходств и различий тех или иных исторических периодов, их характера, институтов, идей. Он против того, чтобы политическую историю древнего и, тем самым, отчужденного от нас ментальным барьером, времени излагать «излишне систематически, руководствуясь той или иной практической задачей или интересом, тем или иным господствующим понятием нашего времени». При таком рассмотрении без внимания остаются «образ мышления, нравы, глубинный характер жизни», «помыслы и дух». То есть, при данном подходе мы имеем дело только лишь с «низшим» в истории и охотно заключаем из этого о нашем превосходстве. Также неправильно, что «отдельные черты характеров и нравов выхватываются из контекста своего времени и выставляются «в качестве некоей странности, занятого исторического парадокса». И, все-та-

зволнено до некоторой степени нарушить обозначенные здесь пределы изложения, узко ограниченного простыми и существенными чертами исторического развития человечества, я предпочел бы набросать историческую картину той эпохи, представив всю полноту и богатство биографий и дав живую характеристику образа правления и господствующих убеждений великих и примечательных властителей той эпохи, благочестивых христианских королей и императоров, рыцарей и героев, как, например, Карла Великого, по праву открывающего этот ряд, благочестивого короля Альфреда, не менее великого в своей гораздо меньшей сфере деятельности, первых саксонских королей и императоров Германии, чья искренность и христианское благочестие, справедливость и величие характеров определяют первый счастливый период и золотой век нашей истории, когда неколебимая вера и христианские убеждения еще господствовали в самой жизни. На примере этих великих характеров, сочетавших практичность житейского рассудка и прирожденное благоразу-

ки, даже в вырванных из общей взаимосвязи характерных чертах той далекой эпохи можно найти «больше следов живой исторической истины, чем в составленных с определенной политической целью систематических изложениях истории», которые предполагают «насильственное расчленение» всего того, что составляло целость народной жизни. Даже если лучшие из духовных устремлений и помыслов были не более чем благими намерениями, то и в этом случае они «должны быть представлены в своей индивидуальной природе, а не сразу же встроены в рамки какой-либо взаимосвязанной системы или приведены в строгое соответствие с определенным правовым принципом». Таким образом, непонятное для нас прошлое надо изучать и представлять, во-первых, в соответствии с матрицей «вечных ценностей» христианства (а мы бы добавили, с матрицами мифов творения, рая и грехопадения, представленных в первых главах Быт.); во-вторых, по его же собственным высоким понятиям. При этом, в-третьих, необходимо выстраивать макро-микрокосмическую иерархию низких, средних и высоких понятий, в своей совокупности, собственно, и выражающих подлинную индивидуальность эпохи. Низшее не должно игнорироваться, но и не может быть предоставлено как само по себе высокомерному интерпретатору-буквоеду. Оно должно входить во взаимодействие с высшим той эпохи, которое может быть бессильным в локальных и частных случаях, но, по мере укрупнения исторических индивидуальностей, возрастает и его способность вбирать в себя низшее, ибо оно является высшим как раз-таки в силу своей начальной и конечной истинности, выходящей за пределы человеческого разума, но доступной человеку в подвиге и внятной для его верующего чувства (это идея всеединства). Устремленность к высшему формирует человеческую волю, создает общий вектор в деятельности народных масс и исторических личностей. Поэтому, в-четвертых, следует обращаться к изучению наиболее оригинальных и сильных характеров данной эпохи, сумевших, что совсем не случайно, выжить, выстоять, повлиять на других и оставить свой исторический след для далеких и близких потомков. — *Прим. науч. ред.*

мие с великой и чистой волей могучей геройской души, я постарался бы и ясно, и поистине наглядно описать самобытную природу, важнейшие свойства и глубинную сущность христианского государства в соответствии с самим его духом. Я безусловно выбрал бы этот путь, вместо того чтобы теряться в уже привычных дебатах о взаимных отношениях духовной и светской власти со всеми их спорными пунктами или в дискуссиях по поводу какой-либо важной подробности или решающего момента в истории развития территориального суверенитета и его прав или формирования сословного строя и различных корпораций — сколь бы ни были полезны и поучительны эти исследования для частной истории отдельных стран. Ведь даже в этой частной истории и особенно в том, что в ней представляется самым лучшим, наиболее продуманным и похвальным, важнейшую эпоху образуют такие же достославные имена, ибо в истории почти каждой из великих стран новой Европы мы обнаруживаем того или иного святого короля — такого, который, будучи также великим правителем, заложил прочные основания цивилизованной жизни и нравственной культуры, а порой и самого государственного устройства, каким, например, был для Венгрии св. Стефан; или такого, который перед лицом надвигавшегося упадка вновь возрождал прежний высокий дух и тем еще на малое время отвращал окончательную погибель, как святой король Людовик во Франции. Однако и другие, хотя и не именуемые святыми, однако по-рыцарски благочестивые и любящие справедливость короли, герои и императоры, такие как Рудольф I из рода Габсбургов, могут быть почитаемы и восхваляемы как христианские восстановители нравственного порядка и правого, основанного на Боге образа мыслей в государстве и общественной жизни своего времени. В подобной биографической выборке или последовательности, в живой характеристике таких мужей и властителей, совершавших великие деяния и бывших добрыми правителями в христианском понимании этого слова и в согласии с принципами и понятиями христианских убеждений, я постарался бы обрести гораздо более верную и полную картину подлинных свойств христианского государства в его первый период развития, нежели она может быть дана и исчерпывающе описана в какой бы то ни было искусственной дефиниции. Наряду с такими индивидуальными характерами мы можем отыскать здесь также вполне определенные, хотя и краткие периоды, которые на один счастливый миг, а иногда и на протяжении нескольких поколений особо ярко выделяются все в том

же отношении в истории христианских народов своего времени. Однако и эти случаи являются не более чем историческими частностями и должны рассматриваться лишь в качестве таковых. И более того, даже такие всеобъемлющие и, тем самым, универсальные государственные институты, которые воспринимались своим временем как свойственные исключительно христианству и которые едва ли можно обнаружить где-либо за его пределами, как, например великий Мир Божий, посредством коего пытались сперва ограничить известными рамками воинственный дух наследственных усобиц, или духовное рыцарство, объединившееся в ордена иоаннитов и тамплиеров, посвященные борьбе за Божье дело в эпоху крестовых походов и придававшие тому же воинственному рыцарскому духу более высокую направленность и открывшие для него более благородное поприще, — все они, целиком вытекая из характера и потребностей той эпохи, могут быть поняты лишь совершенно индивидуально, исходя из обстоятельств своего времени и его господствующего духа, то есть, также лишь как исторические частности. Нередко возникая совершенно внезапно, безо всякого видимого извне повода, словно по действию сверхъестественного импульса, они часто и исчезали столь же быстро, так что чистый смысл, дух и истинное значение подобного института, подобного мимолетной вспышке света, были отчетливо ясны лишь в краткий миг его первоначального расцвета и недолгого существования, вслед за чем он вновь вырождался или же превращался во что-то совершенно другое и инородное; ведь именно все самое лучшее и благороднейшее в человеке: его убеждения и заключенное в них божественное начало, — наиболее уязвимо, мимолетно и преходяще, порою же здесь сила хотя и сохраняется внешне, однако преображается внутренне, вырождается и меняет сторону, принимая теперь уже совсем иное направление, противное и враждебное всему благому и божественному. Таков был и характер отдельных властителей, наделенных могучим, широким духом и волей, а также немалой силой, оказывавшей властное воздействие на окружающий мир и эпоху, чье направление и влияние, однако, оказалось губительным. Наиболее примечательным среди них, наряду с самим Барбароссой, без труда может быть признан тайный друг сарацинов, император Фридрих II, которого, вместе с иными подобными ему правителями, следует считать первым зачинателем великого раскола. Когда же этот раскол и в самом деле разразился ужасной войной гвельфов с гибеллинами, то, разделив надвое

весь христианский мир того времени и став действительно всеобщим, он неудержимо следовал естественному ходу своего дальнейшего развития, словно хоть и подчиненная, но самостоятельная природная сила, словно разрушительный всемирный закон совершенного нового рода, действующий в эпоху распада, где личное начало и его влияние теряется во всеобщей стихии вражды и смятения или, по крайней мере, становится малозначительным и отступает на задний план.

Я попытаюсь лишь в немногих чертах представить течение всеобщей истории в этот период развития европейского человечества, а также своеобразную природу и существенные свойства христианского государства того времени, начиная с той эпохи, когда Карл Великий заложил крепкий фундамент устойчивого здания христианского жизненного уклада и государственного порядка, и кончая тем моментом, когда и это здание охватил неисцелимый раскол, возобладавший, наконец, повсеместно. Одновременно я постараюсь не упустить из виду полный исторический очерк всего христианского Запада, поскольку он оставался основой всего последующего развития, сделался главной ареной всемирной истории и являлся таковой вплоть до самого последнего времени.

Традиционные разделы франкской и каролингской империи, а также прочих германских земель и государств обыкновенно принято порицать, чему, теперь, учитывая их исторические результаты, будет нетрудно найти обоснование. Однако при этом совершенно забывают, что по древнегерманским понятиям королевство было ничем иным, чем является вообще любое крупное родовое или княжеское семейное наследственное владение, и в нем, следовательно, должны были соблюдаться те же законы и обычаи. Так было с самых древних пор заведено у обоих главных племен германской нации. Таким же образом, как мы видели, был разделен на два королевства готский народ, а у саксов, едва ли когда-либо собиравшихся под единым началом в своих отеческих землях на севере Германии и на ее побережье, теперь, в завоеванной и заново населенной ими Англии, одновременно сосуществовало семь княжеств или мелких королевств, которые лишь иногда по воле случая сливались друг с другом или временно объединялись в единое государство. В сущности, мы тем самым предъявляем к людям и духу той эпохи совершенно несообразные, неприменимые к ним и абсолютно современные требования, руководствуясь принятыми в наше время понятиями о непреложности границ той или иной страны, о предопределе-

нии той или иной нации к политическому единству или необходимости национального единства каждого государства и любого политического целого. Все это суть понятия или предрассудки, которые принимают за математически доказанные аксиомы, находя в них высшую идею государства, коей приписывается непогрешимая святость; и почитая, а в отдельных случаях, можно даже сказать, почти обожествляя эту идею, ее превозносят превыше всего и бывают готовы приносить ей какие угодно жертвы. Однако в те патриархальные древние времена превосходство и преимущество по-домашнему мягкого, отеческого, единоплеменного, не слишком широкого, местного и близкого управления страной, проистекающие из большей легкости и удобства управления небольшими государствам и, представлялись столь великими и ничем не заменимыми, что люди, облеченные здесь властью принимать решения, по собственной воле, пожалуй, никогда не расстались бы с привычным счастьем этого древнего патриархального обычая правления местных королевских династий и мирного раздела наследства, когда бы не зов высшего долга, каковым видели они создание христианской империи, согласной с божественным миропорядком и предназначенной для защиты Церкви и всех относящихся к ней народов, и не сознание необходимости взять на себя эту тяготу и понести эту ношу ценою утраты, по крайней мере, части своего национального благосостояния. К тому же и слава, которой они искали, была прежде всего славой рыцарской, а значит, сугубо личной, тогда как наше всеобщее национальное тщеславие в его современном понимании — этот подлинный идол нашей эпохи — был им еще несколько неизвестен и решительно чужд. Точно так же и их установления не подошли бы для нашего времени и даже для того, которое следовало непосредственно за их эпохой; и следовало бы только желать и непременно обращать внимание на то, чтобы каждая эпоха воспринималась и оценивалась сама по себе, в соответствии с ее собственными понятиями, ибо лишь при этом условии мы будем способны правильно ее понять и по достоинству оценить. Тому же, что при разделе империй, власти и страны внешнее единство целого в общности цели является и возможным и достижимым, покуда различные властители, движимые братскими чувствами и проникнутые христианским единомыслием остаются внутренне сплоченными этой общей целью как всесвязующими высшими узами, можно привести немало реальных, славных и радостных примеров из истории раннего Средневековья вообще и из немецкой истории

в частности. Напротив, если бы мы попытались выдвинуть в качестве исторического закона и аксиомы теории государства то положение, будто разделенные, раздробленные или разобщенные империи, страны и народы не могут быть объединены одной высшей целью, составлять одно целое в общности убеждений и христианских понятий о справедливости и сохранять такое единство, нам, с другой стороны, пришлось бы учитывать и то, что почитаемое единственно безупречным и абсолютно правильным разделение государств по линиям естественных границ также представляет собой постоянно ускользающую от всех вычислений и совершенно неразрешимую проблему, подобную квадратуре круга, ибо каждый видит эти нерушимые границы по-своему и по-разному определяет их в зависимости от своей политической точки зрения или национальных предубеждений. Таким образом, у нас не оставалось бы другой возможности покончить со всякого рода разобщенностью и вредоносным разделением, кроме привычного крайнего средства: универсальной всемирной монархии и военного правления. Однако оно, будучи уже неоднократно испытано, в силу своих исторических последствий и результатов столь же мало может быть оправдано или рекомендовано, как и упомянутый древний германский обычай раздела наследных королевств в раннем Средневековье. Конечно, и здесь довольно рано стали замечать всю опасность ожесточенных раздоров между наследниками империи, их взаимной зависти и неуступчивости, как только эти явления стали приобретать большее распространение. Относительно первого раздела великой каролингской империи на три части, задуманного еще самим Карлом, но окончательно состоявшегося лишь при его более слабых преемниках, следует также особо отметить, что его первенцу Лотарю, которому определено было стать императором и главою всех своих младших братьев, наряду с Римом и Италией были отданы в удел все рейнские земли, лежавшие между Францией и внутренней Германией от Швейцарии до самого моря, которые с древних времен были гораздо лучше возделаны (ибо здесь была построена большая и прекраснейшая часть римских колоний) и чье процветающее земледелие далеко превосходило обе другие страны или королевства, лежавшие к востоку и западу. Движимый тем же предусмотрительным намерением, Карл еще прежде перенес собственную резиденцию сюда же, в Ахен, в любимую ему Рейнскую область, бывшую в те времена подлинной колыбелью цивилизованного образа жизни. Поначалу

из-за последовавших братоубийственных войн и прочих семейных распрей и раздоров эти преобразования оказались непрочными и не возымели иных продолжительных последствий, кроме того обстоятельства, что при последующих территориальных разделах или при прочих сменах династий Лотарингия неизменно, вплоть до новейших времен, продолжала существовать как самостоятельное королевство или герцогство, протянувшееся широкой полосой вдоль французской границы. Однако Рейнская область еще немалое время сохраняла свое преимущество в немецкой культуре и, с небольшими изменениями во внешней форме, оставалась местопребыванием древней Империи.

Ни один из правителей тех древних темных веков, когда на Севере и у германских народов начинался расцвет христианства, не выделяется столь ярко среди своих современников наряду с Карлом Великим и непосредственно вслед за ним, как благочестивый Альфред, король населявших Англию западных саксов. И эта оценка относится не к нему одному, но и вообще ко всей Англии в этот первый христианский период новой истории, когда она далеко превосходила все прочие современные страны не только в религии и благочестивых обычаях, но и в науке и культуре. Как было уже упомянуто, основания христианской веры и научной культуры в Англии были по преимуществу заложены папой Григорием Великим, отправившим туда миссионерами сорок священников. И столь деятельным было их усердие, столь действенным их влияние, что позднее, в следующий период все важнейшие мужи той эпохи, подвизавшиеся также в других странах — как, например, апостол и епископ всех немцев Бонифаций и Алкуин, ученый друг и доверенное лицо Карла Великого — вышли из этой первой школы христианства в Англии. В правление Альфреда здесь, наряду с многими другими латинскими писателями, относящимися к той же самой, по-прежнему процветавшей английской школе, жил также великий христианский философ Скот Эригена, далеко превосходивший свою эпоху, хотя, может быть, и не вполне свободный от спекулятивных заблуждений; однако как один из примечательнейших самостоятельных мыслителей он не имел себе равных или, по крайней мере, оставался непревзойденным на протяжении многих последующих столетий. Король Альфред, который, будучи певцом и писателем, творившим на своем родном саксонском языке, не менее ценил и латинскую ученость и стойко оборонял и защищал свою страну от данов, в то же время с мудростью истинного законодателя и в духе ми-

ролюбия и порядка восстановил древнесаксонские права и привилегии, сословные и городские учреждения и тем самым стал одновременно подлинным первооснователем позднейшего английского государственного устройства. Лишь благодаря своему благочестивому духу, неизменно сохранявшему невозмутимость и рассудительность даже в величайших бедах, он сумел избавить свой свободный остров от неистовства превосходивших его силою данов. Завоевательные плавания норманнов вдоль всех европейских побережий вплоть до самой Сицилии и еще более отдаленных стран, а также появление в Европе мадяров, получивших здесь имя венгров, завершают собою девятое столетие и образуют как бы последний отголосок Великого переселения народов, и уже потому должны быть здесь хотя бы кратко упомянуты. Это последнее переселение народов с севера к морю началось при Харальде Прекрасноволосом, смелом и могучем правителе Норвегии, откуда, устремляясь во все стороны вдоль всех побережий как Северного, так и Средиземного моря, завоевательные экспедиции отправлялись теперь уже не просто для привычного морского грабежа или разрозненных военных авантур, а для постоянного заселения земель и образования новых государств. Во Франции были рады связать со своим королем узами вассального долга земли, завоеванные норманнами и признанные здесь в качестве герцогства Нормандии, и тем самым если и не присоединить, то хотя бы, в некотором смысле, приобщить их себе, а в Неаполе и на Сицилии, призванные греками на защиту от арабов, норманны учредили собственное королевство, просуществовавшее там долгое время. После того как еще ранее вместе с христианством в Данию проникли первые начала высшей политической жизненной силы и порядка, теперь, в эту эпоху норманнского владычества могущественный король данов Кнуд Великий воцарился также и в Англии, однако позднее, после непродолжительного противоборства, другой норманн, Вильгельм Завоеватель, вторгшийся сюда из Франции, основал новую династию, а вместе с нею учредил здесь на основе свободного древнесаксонского государственного устройства высшую рыцарскую аристократию. Многочисленные столкновения, имевшие место в отдаленнейших частях Восточной Азии среди огузов и печенегов, распространялись все далее к западу, в места проживание хазаров и в, конце концов, привели к исходу мадярской нации из своей азиатской родины в Паннонию, где в те времена под властью своего кагана все еще жили авары — по сообще-

ниям современных историографов, потомки древних гуннов. Прийдя в движение, охваченные смятением венгры — тогда еще язычники — на юге обрушились на Северную Италию и на Грецию, вплоть до Фессалоник и окрестностей Константинополя, а к Западу их полчища вторглись далеко в глубь Германии, продвинувшись даже до самой Саксонии, где вначале стойкий отпор венгерским набегам дал благородный король Генрих, а Оттон Великий положил конец их успехам, разгромив их в битве на Лехе. Впоследствии с принятием христианства при Гезе, отце короля Иштвана, здесь также началось смягчение нравов и правовое устройство государства, которое было утверждено в своей полной силе Иштваном Святым, действовавшим в тесном союзе с Германией; в то же время и Польша с принятием христианства и установлением более прочного нравственного и правового порядка присоединилась к цивилизованному Западу, а в политическом отношении — преимущественно к Германии. Особенно поразительным представляется благотворное влияние христианства на процветающее земледелие и высшую духовную культуру северных долин Швеции, имевшее место при королях Олафе и Эрике Святом, когда, наконец, было разрушено древнее Капище Одина в Уппсале и новая вера одержала полную победу. У наиболее широко расселившегося и многочисленного славянского народа русов, обитавшего в просторной, древней, некогда подчиненной готам Сарматии, варяги, призванные сюда во времена норманнской славы и блеска, основали в Новгороде новую правящую династию. В силу этого обстоятельства или, может быть, в связи с более отдаленными временами готского господства вся эта страна еще долго носила у соседствующих финских народов имя Готии. Однако христианство русы приняли от византийцев, отчего в своем далеком северном краю они оставались чужды католическому Западу, тем более что затем эти земли с особой суровостью испытали нашествие монголов, были ими опустошены и надолго удержаны под своим гнетом, пока, наконец, ближе к самому началу новейшего мирового периода, они вновь не окрепли в борьбе за свое возрождение и не возросли в великую силу. Таким образом были почти окончательно оформлены очертания западного христианского мира вместе со всеми относящимися к нему державами, который, в сущности, состоял из десяти основных стран или наций. При этом у нас нет нужды учитывать ни совсем уж незначительные национальные различия и подразделения, ни нередкие из-

менения границ и переделы владений между различными пересекавшимися или сменявшимися друг друга династиями — необходимо лишь постоянно иметь в виду само целое в его существенных и важнейших чертах. Германия и Италия как цитадель христианской империи и местопребывание главы Церкви образуют центр этого целого; Франция и Англия составляли наряду с ними его наиболее деятельные, действенные и влиятельные на всей мировой арене члены, в то время как Испания была прежде всего и главным образом занята своей особой борьбой с арабами. Сюда же относятся скандинавские страны, все еще находившиеся в определенном контакте с германской империей, Польша и Венгрия, преимущественно связанные с нею же со времени принятия ими христианства, и, наконец, два наиболее внешних и отдаленных члена того же целого, располагавшиеся на далеком Севере и Востоке Европы: византийская империя и теснее всего связанное с нею религией царство московитов. Таков был полный состав, географический контур и историческая граница христианского мира в ту эпоху.

После падения каролингского дома империя была воссоздана в новой силе благодаря выбору, который был сделан в пользу родного Конрада, герцога франков. Этому по-рыцарски благочестивому, разумному и отважному королю пришлось бороться с многочисленными трудностями, и удача не всегда оказывалась на его стороне. Однако свою королевскую жизнь он завершил таким деянием, которое высоко превозносит его над множеством иных знаменитых победителей и властителей и которое гораздо более значило для потомков, нежели многие блестящие царствования. В этом единственном деянии, словно в великолепном самоцвете, украшающем собой венец славы тех далеких времен, подлинная глубинная природа христианских политических воззрений и представлений о государстве и земном владычестве воссияла столь ярко, что, пожалуй, мне позволено будет кратко упомянуть о нем. Почувствовав приближение кончины и ясно осознавая, что среди четырех основных тогдашних германских народов лишь наиболее могущественные и многочисленные саксы обладали в те опасные времена достаточной силой, чтобы победоносно завершить нелегкую борьбу за их объединение, он поручил своему брату вручить священное копье и освященный меч древних королей вместе с остальными инсигниями империи герцогу Генриху Саксонскому — преждему сопернику своего дома, наделенному благороднейшим характером и во всем сопутствуемому удачей. Тем самым Конрад

ознаменовал избрание последнего в качестве своего преемника, в заботах о благе целого с готовностью забыв о блеске собственного дома и ни во что не вменив старания о превосходстве собственной нации ради упрочения мира и защиты божественного миропорядка во всей христианской Европе. Такая готовность к столь же благоразумно-предусмотрительному, сколь и героическому отречению от всякой эгоистической славы, когда того требует божественный миропорядок и когда это требование осознается в качестве высшего веления эпохи, как раз и составляет такое убеждение, на котором покоится христианское государство, и в котором заключается сущность оногo. Благодаря такому своему деянию король Конрад стал, наряду с Карлом Великим, вторым учредителем и блюстителем Западной империи и подлинным основателем германской нации, окончательного раздробления которой едва ли удалось бы избежать, не прими он столь великодушного решения. Последующие успехи полностью оправдали его выбор. Новый король Генрих, одержавший победы на всех направлениях, был, однако, еще более озабочен основанием многочисленных городов, восстановлением мира и справедливости, сохранением христианских нравов и порядка и предуготовил своему еще более могущественному сыну, Оттону Великому, путь к восстановлению империи в Италии, куда тот был призван единогласно и самым настоятельным образом. Вообще же эта первая эпоха саксонских императоров была для Германии счастливым временем величайшего могущества и организованной силы, внутреннего мира, благополучия и процветания, а также формирования духовной культуры, заявившей о себе во многих замечательных и выдающихся творениях и прочих сочинениях латинской школы, вслед за которой вскоре началось и развитие собственного национального языка. Столь же антиисторичными, однако гораздо более глупыми, чем упреки в политически нецелесообразных разделах империи, адресуемые Каролингам и всей той древней эпохе, являются бесчисленные жалобы и непрестанные сетования новейших историков о постоянных походах германских королей и императоров в Рим и Италию и о связи между германской нацией и христианским императорским достоинством, которую эти авторы считают несчастьем. При этом они нисколько не вдаются в ее идею, не видят настоящей потребности той эпохи в подобной всеобщей покровительствующей силе, призванной быть оплотом всего западного христианства против внутренней анархии и нашествия варварских народов, дабы свет христианства не угас вновь

во всеобщем одичании. Современные критики тех древних времен нимало не осознают и не понимают того возвышенного христианского чувства или, скорее даже, того жертвенного героического духа, благодаря которому та или иная нация, которая в силу своих естественных преимуществ оказывалась в первую очередь призвана всеобщим мнением взять на себя это бремя и в качестве центральной опорной точки всего целого служить для него защитой, что было невозможно без тяжелых потерь, немалых жертв в том, что касалась собственного внутреннего мира и благополучия, и без ущерба исключительному попечению об этих внутренних нуждах. Без подобного твердого центра, связующего воедино все целое, христианская Европа не смогла бы противостоять натиску магометанских или монгольских народов и была бы сокрушена первым же их ударом; она распалась бы на множество мелких государств и навсегда погрузилась бы в безнадежную анархию; в то время как ныне, сколь великими ни были иногда ее смуты, сколь бы ни возрастал бы в ней дух раздора, против них всякий раз удавалось найти надежный оплот и опору. Как приносимые рыцарями обеты облагораживали это сословие, посвящая его на духовное служение с оружием в руках, так и высокий сан императора считался отчасти духовным, а сам он — послушным служителем Божьим, принесшим Ему присягу и принявшим в руки свои верховный меч всемирного правосудия. И, как мы видим, жизнь наиболее усердных и могущественных императоров древности была гораздо более полна возвышенной идеей этого великого и нелегкого долга, чем эгоистичной жаждой власти и тщеславием. Именно потому главы духовной и светской власти Запада, сообразно с правами и обязанностями своего служения, были теснейшим образом связаны между собой этой общей заботой обо всем христианстве и находились в отношениях взаимной зависимости. Когда могущественный император Оттон Великий, будучи призван в Италию, воочию узрел положение дел в Риме и царившее в нем вырождение, то, узнав, что в межпартийной борьбе между баронами, окружавшими Священный Престол, одно из влиятельнейших семейств непрестанно пыталось навсегда закрепить его за собой с помощью недостойных интриг, превратив его как бы в наследственное владение, сей великий муж употребил свою императорскую власть, чтобы низложить того понтифика, что получил свой сан столь неправым путем⁹⁸ и давно уже был осуж-

⁹⁸ Имеется в виду Папа Иоанн XII

ден общественным мнением всего тогдашнего мира, и избрать на его место более достойного преемника⁹⁹. В единомышленном христианском мире тогда еще жило несомненное чувство, позволявшее судить о достойном или недостойном характере тех или иных деяний, об их истинном значении и стоящем за ними намерении, согласно с которым и принимались все решения — без боязливого исследования формы, легко и быстро. Когда же исчезло единство в убеждениях и тем самым убеждение как таковое перестало быть господствующим принципом общественной жизни в государстве и истории, тогда политическое суждение почти исключительно обратилось к внешней форме и содержащимся в ней спорным или подлежащим утверждению правовым пунктам. Когда же в любом историческом деянии усматривается лишь прецедент, плодотворный с точки зрения дальнейшего применения или, напротив, имеющий опасные последствия, тогда совершенно утрачивается привычка чисто исторического суждения о великом деянии как таковом, в согласии со стоящими за ним убеждениями и, более того, почти забывается даже само представление о нем. Однако царственная справедливость великого Оттона, явленная в этом поступке, была единогласно признана судом всей той эпохи и всего того мира. Когда же римское духовенство, избавленное из сетей упомянутого недостойного семейства, в первом порыве благодарности и глубокого восхищения, стало молить императора, чтобы тот и впредь благоволил навсегда возложить на себя выбор достойного первосвященника, нетрудно было предвидеть, что экстремальность подобной прерогативы, несовместимой, в сущности, с независимостью Церкви, в своем дальнейшем применении легко могла бы привести к сильной обратной реакции. Так и случилось спустя приблизительно сотню лет, когда Григорий VII, муж могучего характера, действуя как реформатор Церкви и восстановитель ее независимости, выступил против весьма многочисленных противоправных вторжений светской власти в ее дела. Когда же император — воинственный, однако бесхарактерный и наделенный беспокойным духом, успевший, согласно всеобщему мнению современников, навлечь на себя множество всякого рода упреков, укоров и обвинений — первым перешел в наступление и объявил Папу низложенным, а тот в ответ подверг его отлучению, то это не только вполне отвечало господствовавшему мнению о пагубном образе правления этого свет-

⁹⁹ Лев VIII.

ского властителя, но и было совершенно согласно с правовыми понятиями того времени, согласно которым император мог быть привлечен к отчету и ответу за свои деяния. Потому и сам Генрих IV почел за лучшее освободиться от отлучения мнимой покорностью, чем добиваться этого силой, хотя и далее не прекращал преследовать Папу, чья непоколебимость, однако, не удалось сломить никакими бедами и утеснениями. Что до характера этого Папы, то в новейшее время было признано, что он был вполне свободен от эгоистических побуждений и что в основании его решительной силы и строгости не было никаких иных мотивов, кроме пламенной ревности о преобразовании Церкви и всего мира; его великие качества получили справедливое признание — в особенности у немецких историков, причем в первую очередь с протестантской стороны, так что имя Григория VII, жившего в столь чуждое нашему время, давно уже перестало служить для нас лозунгом в межпартийной борьбе. Однако о самом этом предмете, точнее, о представлении на сей счет тогдашнего мира, будет необходимо сказать еще несколько слов. В новейшее время было принято за неизменную аксиому, причем за первую из всех теории государства, что суверен ни в чем не несет ответственности, и потому подобное обхождение со средневековым правителем, пусть даже столь небезгрешным и порою забывавшим о достоинстве своего сана, вызывает теперь самое решительное политическое негодование. Что до самого этого принципа, то едва ли кто-нибудь вознамерится выразить малейшее сомнение в его полной безупречности при данных обстоятельствах. Однако если речь идет лишь о параллели между двумя эпохами, то одному этому отлучению правителя от Церкви, давшему повод для непрекращающегося всемирно-исторического скандала, за последние триста лет мы можем противопоставить публичные казни нескольких венценосцев и убийства многих других, так что с этой стороны история Средневековья гораздо более чиста, и потому нам, по крайней мере, не подобает слишком поспешно судить о том, сколь далеко мы превзошли его в вопросах политической нравственности или сколь более совершенны практические положения и принципы, господствующие в общественной жизни Нового времени. В согласии же с правосознанием и понятиями о государстве, господствовавшими в ту эпоху, между высшей мирской и духовной властью и верховными главами той и другой имели место взаимный контроль и ответственность. В самых прославленных конституциях новейших государств также предусмотрена взаимная

зависимость и возможность контроля: с одной стороны, правитель может распустить парламент или посредством вето воздвигнуть преграду решениям законодательного совещания, с другой стороны, парламент, отказав в согласии на расходы и ассигнования, может парализовать основной нерв правительства и, выступая вместо правителя — как будто бы тот вовсе не имел никакого значения — призвать министров к строжайшему отчету, само же правительство вообще не имеет надежного основания, если оппозиция долгое время находится в подавляющем большинстве. Является ли такая форма взаимной зависимости и контроля в современном искусстве государственного управления менее опасной, чем упомянутая старая, — было бы, пожалуй, не так легко решить и очень трудно с уверенностью утверждать. Поскольку в Средние века и в средневековых институциях все имело религиозный дух и характер, не стоит удивляться, если религиозным было и это противоречие между духовной и светской властью, а взаимная зависимость того и другого верховного владыки была основана на религии и на религиозном призвании и характере не только папского, но и императорского сана. И лишь вследствие крайних проявлений возбужденной страсти, то есть, вследствие несчастливого стечения обстоятельств и человеческого несовершенства, а вовсе не в силу самой природы вещей или самого принципа и понятия, а также в результате абсолютистского образа действия как с той, так и с другой стороны, раскол сделался столь великим, продолжительным и порою почти неисцелимым. О том, сколь легко было бы даже тогда восстановить согласие между духовной и светской властью при наличии благоразумия, понимания, доброй воли уступчивости с обеих сторон, свидетельствует мирное завершение споров об инвеституре при преемнике Генриха IV, однако затем положение было вновь отягощено непреклонной жесткостью характера гибеллинских императоров, особенно Барбароссы, так что, в конце концов, по мере того как все более ожесточалась борьба между гвельфами и гибеллинами, политическая схизма становилась всеобщей и разлад вновь выступило в качестве господствующего над миром принципа того периода всемирной истории.



ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

**О гибеллинском духе времени и межпартийной борьбе;
возникновение романтической поэзии
и изобразительное искусство той эпохи;
характер схоластической науки и древней юриспруденции;
анархическое состояние европейского Запада**

Одного беглого очерка исторической картины Средневековья, пусть даже он будет содержать в себе лишь несколько черт живой и правдивой характеристики этого неисчерпаемого предмета, вполне достаточно, чтобы на основании его убедиться в том, что здесь боролись между собою великие характеры (многочисленные, как, может быть, ни в один другой период истории), жизненные интересы и высокие мотивы и вообще возвышенные идеи и убеждения; что, таким образом, во всей этой так называемой средневековой анархии царил богатая жизнь и прекрасные устремления, и что в ней также может быть найдено немало свидетельств присутствия высшей, божественной силы. В то же время, при более обстоятельном рассмотрении и глубоком исследовании мы все более уверяемся в том, что все благое и великое в государстве и, в не меньшей степени, самой Церкви в ту эпоху проистекало из христианства и из удивительной силы господствующих религиозных убеждений. Все, что было там несовершенного, ошибочного и вредоносного, содержалось не в этом нравственном основании — которое само по себе было в высшей степени благородным, превосходным и истинным, — а в страстном характере людей и, в сущности, едва ли не всей той эпохи. Хотя в своем первом намерении этот характер и не был

эгоистичным, однако в ожесточении борьбы он по необходимости сделался таковым, если только понимать под эгоизмом не примитивное своекорыстие или обычное властолюбие, а такую абсолютную волю и действие в согласии с единожды принятым решением или мыслью, которое, переходя от одной крайней меры к другой, тем самым уже становится причиной следующей крайности и, таким образом, порождает их снова и снова. Иногда причиной всех этих бед был также недостаток рассудительности, вдумчивости и спокойствия, соединенный с поистине героической решительностью и воодушевлением, с достойными восхищения энергией воли и силой характера. По-настоящему злой и супротивный, противоборствующий принцип этой эпохи следует выводить из врожденной или, во всяком случае, ставшей для человека второю натурой предрасположенности к разделению, которая, соединяясь с его упомянутыми великими качествами, принимала все более ужасные формы.

Итак, отнюдь не следует изображать всю историю Средневековья как состояние анархии, к чему, в силу большой непривычности тех давних, для многих теперь уже почти непонятных государственных учреждений и внешних форм жизни, писатели новейшего времени испытывают чрезмерную склонность. Прежде всего, в истории Средних веков мы должны также тщательно разграничивать различные периоды. До тех пор, пока те религиозные убеждения, на коих покоились Церковь и империя, были едины и нераздельны, мы ясно видим внутреннюю устойчивость того счастливого первого периода и его разительное отличие от более позднего времени. Однако отдельные частные распри, удерживаемые в известных рамках рыцарскими обычаями и законом чести, или же затяжная и порою многократно возобновлявшаяся борьба какого-либо воинственного народа, отражавшего вторжения варваров или сдерживавшего угрозу со стороны беспокойных соседей — все это еще недостаточные признаки всеобщей анархии. Учиться живо познавать и исторически понимать власть убеждений как христианскую основу государства, господствовавшую в нем во все его лучшие эпохи, для нас и нашего времени тем важнее, что ныне, когда угасла сила убеждений и изменчивые мнения текущего момента возымели столь великую власть над общественной жизнью, что если бы даже кто-нибудь пожелал свергнуть с себя их иго, было бы невозможно вернуть то подлинное единство и непоколебимость убеждений, как бы ни велика была потребность возродить их спасительное влияние. Однако

такая параллель, в которой основанная на убеждениях эпоха и государство сопоставляется с теми, основой которых является мнение, может быть весьма плодотворна и поучительна.

Причиной того, что все благое и великое в Средние века, как я отметил сразу в начале этой темы, было столь фрагментарным (и это также весьма усиливает видимость анархии в этом великом явлении как целом), является совокупное воздействие великого множества неблагоприятных обстоятельств, а также откровенное вражеское противодействие. Чудесная сила возрождения, которая после любой, пусть даже величайшей катастрофы и следовавшего за нею хаоса в государстве и Церкви всякий раз восстанавливала единое целое христианского Запада в несколько иной форме и вновь спасительным образом возвышала его, также может быть выведена лишь из той изначальной и на протяжении столь многих столетий казавшейся почти несокрушимой религиозной основы, на которой стоят христианские народы и их история. Это правило вновь и вновь подтверждалось на протяжении многих достопамятных эпох возрождения, словно вновь и вновь возобновляя свое действие вплоть до наших дней, разве что, может быть, напоследок, на протяжении нового времени, в истории его христианских стран и народов эта самовосстанавливавшаяся целительная духовная сила должна будет все более и более истощаться, иссякать и, наконец, совершенно угаснуть.

Среди достопримечательно характерных, всецело и специфически христианских установлений Средневековья заслуживает быть особо упомянутым также церковное перемирие или Мир Божий, который в начале одиннадцатого века смог воздвигнуть мощную преграду набиравшему силу мятежному духу междоусобной вражды. Невозможно точно сказать, как или где впервые возник этот обычай — он был одновременно возведен во многих местах как вышний глас примирения, как прямое откровение и милосердный закон божественной воли и принят повсюду с искренней верой. С того времени священное перемирие провозглашалось каждую среду вечерним звоном колоколов и продолжалось до утра понедельника, чтобы на этот срок все оставляли всякие распри и прекращали любую вражду. Конечно, руководствуясь современными взглядами и понятиями, здесь позволительно было бы спросить: почему же только четыре, а не сразу все семь дней были предназначены для прекращения такого бесчинства? Тем более, что при надлежащих и строгих уголовных законах, при благоразумном, неу-

клонном и усердном их применении во всех этих мерах и вовсе не было бы нужды? Однако так говорят или думают, конечно, лишь те, кто нисколько не знает того времени; ибо тогда, как бывает и было, наверное, во все времена, имелось множество распрей, беспорядков и войн, не подпадавших под действие каких-либо уголовных законов? Кому же не покажется разумным, если пока еще не вполне достижимый мир будет временно предварен благонадежным и похвальным перемирием? Или кто не сочтет немалым прибытком, если у враждебного начала удастся изъять и исхитить сперва хотя бы лишь четыре седьмых сферы его вредоносного влияния и времени его воздействия? И сколь счастливыми почитали бы себя свидетели иных, гораздо более поздних революций, не чтивших и не щадивших уже ничего, а лишь ненавидевших и истреблявших все святое, когда бы такой священный мир мог хоть на несколько дней воздвигнуть надежную преграду всеобщему смятению! Итак, прежде всего, мы, напротив, должны восхититься силой религии и религиозных убеждений, благодаря которым люди безо всякого внешнего насилия или какой бы то ни было светской власти с искренней верой принимали и в смиренном послушании действительно соблюдали такую заповедь, находившуюся в столь разительном противоречии с господствовавшим страстным духом времени. Сила религиозного убеждения и воодушевления была также существенной движущей силой первого крестового похода, а пламенное красноречие Петра Пустынника и его трогательные описания Святой Земли и стонущих под сарацинским гнетом святых мест, по крайней мере, поначалу и сразу же гораздо более содействовали ему, чем якобы проводимая папами политика ослабления монархической государственной власти и возвышение сословных свобод — все эти последствия, хотя и являются исторически достоверными, наступили гораздо позднее, так что их было бы никак невозможно предвидеть, не говоря уж о том, чтобы заранее их просчитать. Поскольку этот первый крестовый поход пришелся на эпоху высочайшего блеска и славы норманнов, то норманнские герои, в особенности, происходившие из Франции, приняли в нем живейшее участие. Война сарацин против христианства считалась (к чему в те времена, пожалуй, и вправду имелись основания) абсолютно всеобщей и нескончаемой; то же самое касалось и борьбы рыцарей, ополчившихся против неверных, на защиту и оборону христианского мира. И конечно, как показали последующие события, в военном и политическом отношении

Иерусалим и Египет можно было рассматривать также и как аванпост христианства в этой судьбоносной войне и долгой битве за Европу. Невероятные и поистине чудесные подвиги совершались здесь, на Святой Земле, так что к концу одиннадцатого столетия крест был победоносно водружен над Святым градом, а благочестивый христианский герой, Готфрид Бульонский, был провозглашен королем Иерусалима, хотя и пытался смиренно отклонить этот титул, подобавший одному лишь божественному Сыну Давидову. Здесь, в этом святом месте, возникли два первых духовных рыцарских ордена: иоанниты, чьи обеты соединяли в себе попечение о недугующих паломниках с ношением рыцарского меча для их защиты, и тамплиеры, названные так в честь древнего храма Соломонова и в воспоминание о связанных с ним удивительных таинствах. Рыцарские институты такого рода, сплавлявшие в единое христианское целое самые противоположные свойства человеческой природы, невозможно вывести и дедуцировать из математически рационального государства, построенного на единообразном уравнивании прав и всеобщем равенстве, невзирая на личности и убеждения; однако голос веков недвусмысленно сделал выбор в пользу этого чудесного исторического явления и вплоть до самых последних времен при всех переменах непрестанно колеблющегося мнения хранил к нему уважительное и почтительно-бережное отношение.

Второй крестовый поход, состоявшийся спустя более пятидесяти лет, когда сарацины вновь добились успехов, угрожавших, как представлялось, Святому граду, был также приведен в движение в гораздо большей мере благочестивым красноречием святого Бернарда, нежели какими-либо политическими расчетами. Общее число воинских отрядов и вооруженных паломников, устремившихся под предводительством императора Конрада и французского короля в Святую землю, оценивают более чем в полмиллиона. Не всегда религиозное воодушевление и рыцарский героизм, составлявшие душу и движущую силу всего этого предприятия, сочетались с достаточной рассудительностью и разумной предусмотрительностью, — ее нередко недоставало, по крайней мере, в том, что касалось оценки влияния климата, географического положения и материальных потребностей столь большого войска. Недостаток подобных предусмотрительных мер и необходимых познаний стоил жизни многим тысячам участников этого второго крестового похода, как, впрочем, уже и первого, и, по большей части, всех прочих

войн, во время которых столь великие людские массы были приведены в движение под неведомым небом далеких стран. Этот поход был словно бы новым переселением народов в направлении, противоположном предыдущему, исходившим теперь уже из Европы, хлынувшим вспять, в сторону древней Азии. Между тем, с такой точки зрения, уже само это немалое число содержит в себе достаточное объяснение этого примечательного исторического явления, будучи фактическим доказательством несоизмерного роста населения Европы, от избытка которого этот континент, пользуясь случаем, пытался таким образом освободиться. И поскольку такое большое и многочисленное население могло также провоцировать внутренние беспорядки и анархию, предлагая ей тем больший материал, то, с другой стороны, тот же самый факт можно считать и доказательством того, что эта анархия не могла быть столь губительной и опустошительной, как, если верить описаниям новейших историков, многие, кажется, склонны полагать. Подлинным пунктом поворота от добра ко злу в германской истории: от все еще господствовавших в раннюю эпоху христианских убеждений к межпартийной борьбе гвельфов и гибеллинов, принявшей в позднем Средневековье характер неисцелимый, следует в первую очередь признать правление императора Фридриха I. Общеизвестное недружественное обращение с древним саксонским народом и уничтожение этого первого и величайшего национального герцогства германцев, вызванное завистью возглавляемых своею собственной династией восточных франков и начатое уже при пагубном во всех отношениях правлении императора Генриха IV, тем самым возложившего на себя бремя столь тяжкого беззакония по отношению ко всей немецкой нации как целому, было теперь довершено Барбароссой. Так в знак поистине величайшей исторической неблагодарности был иссечен тот корень, из которого произросла слава и сила всего германского племени, поскольку именно время правления великих саксонских императоров было счастливейшим и самым блестящим периодом всей немецкой истории, подобного которому ей уже никогда не довелось пережить. С той же неслыханной жестокостью и беспощадностью этот гибеллинский император истребил и ломбардскую лигу городов, вместе с которой был прерван едва начавшийся расцвет прекрасной итальянской культуры.

Эти две всемирно-исторические партии: гвельфы и гибеллины — суть те же самые, которые мы неизменно обнаружива-

ем повсеместно, в том числе и в иные исторические периоды и даже в наши дни — пусть и под другими именами и нередко в весьма отличной от нашего времени внешней форме и не всегда находящимися в тех же самых отношениях друг ко другу; здесь же мы видим их в совершенно иных, гораздо более крупных или даже гигантских измерениях, заданных могучими героическими характерами Средневековья. Однако всегда одна из них остается партией сторонников более свободной жизни и новой, расцветающей эпохи, другая же — партией неколебимых приверженцев старой веры и жидущихся на ней твердых убеждений. Тот факт, что либеральные принципы обновления, в согласии с той особой физиогномией, которую оно принимает в каждую эпоху, могут вытекать и из всемогущества императорской власти и основывать свое господство в мире военной силой, сам по себе не является чем-то немислимым, в подтверждение чему в истории можно было бы, безусловно, найти и другие примеры. Именно таков и был, как мы обнаруживаем, характер этого исторического направления, долгое время преобладавшего в Средние века и под конец почти ставшего господствующим. Напротив, легитимные убеждения, поддерживающие древний и неизменный принцип веры, здесь можно было отыскать, скорее, на стороне церковной оппозиции, противившейся засилью светской власти. Впрочем, даже в правление Барбароссы благодаря его торжественному примирению с папой все же удалось восстановить согласие между главами государства и церкви и прекратить, наконец, эти долгие распри. Барбаросса завершил свою многотрудную жизнь во время нового крестового похода, предпринятого этим могучим императором совместно с Ричардом Львиное Сердце и французским королем для освобождения Иерусалима, вновь отторгнутого у христиан Саладином, так и не достигнув своей цели. Хотя последний из гибеллинских императоров, Фридрих II, был воспитан папой Иннокентием III, отличавшимся благородством мыслей и выдающимися духовными дарованиями и в качестве опекуна принявшим на себя покровительство и заботы о малолетнем правителе, однако при его правлении старинная вражда вновь вспыхнула с невиданной доселе ожесточенностью и непримиримостью. По крайней мере, она не утасла ни с его смертью, ни с гибелью его дома и завершилась лишь с уходом династии Гогенштауфенов — могущественнейшего из царственных родов Средневековья. Тем не менее, само имя гибеллинов, запечат-

ленное кровавыми буквами на страницах мировой истории, жило еще очень долго, а гибеллинский дух еще продолжал господствовать в Европе на протяжении столетий. Хотя позднейшие швабские императоры и князья из этого дома — такие как Генрих IV и другие — были ценителями поэзии и провансальских напевов или немецкого миннезанга, однако все они были в равной мере отмечены железной жесткостью характера. Неслыханные зверства сотворил в Неаполе Генрих VI; а кровавый Эццелино, ломбардский наместник Фридриха II, оставил по себе столь ужасную память в Италии и в истории, что вместо дальнейших исторических подробностей достаточно будет упомянуть лишь одно его имя. Лишь последний из всего этого рода, Конрадин, пал невинной жертвой ненависти к своим предкам на неаполитанском эшафоте от руки Карла Анжуйского, брата Людовика Святого, присвоившего себе это итальянское королевство — законное наследие царственного юноши. Императора Фридриха II, оригинального мыслителя, получившего для своего времени самое утонченное образование и наделенного задатками гениальности, не один лишь папа в тексте своего отлучения упрекал в тайном неверии и решительной нерасположенности и вражде к христианству — под тем же подозрением он находился и в общественном мнении своего времени. Лишь благодаря разумному миру с египетским султаном его крестовый поход закончился удачнее, чем у его предка, поскольку таким образом он отвоевал хотя бы святые места и возложил на себя корону Иерусалима. Он также впервые доставил в Европу арабские переводы трудов Аристотеля, и, поскольку вообще в науке и средневековой философии в ту эпоху происходили важнейшие изменения, а в поэзии и искусстве западных народов начиналось новое, живое развитие, уместно будет и с этой стороны отметить здесь в нескольких чертах то, что относится к общей характеристике этого временного периода.

Эпоха рыцарства и его история в действительности и в самой жизни уже и сами по себе были поэтичны; стоит ли удивляться тому, что теперь эта полная фантазии жизнь, словно новая весна поэтического духа, пышно расцвела также и в песнях и напевах, в многообразных рыцарских поэмах и рассказах, переплетаясь с древними преданиями и волшебными сказками, и достигла богатейшего развития в Германии и Франции, в Англии и Испании — в тех странах, где и в жизни рыцарство было по преимуществу господствующим элементом? С общей

точки зрения философии истории на поступательное движение человечества при всемирно-историческом рассмотрении и характеристике серьезных сторон его развития я счел гораздо более важным обратиться к нравственным качествам Средневековья, к его политическим понятиям, принципам и воззрениям, а также к тому, каким образом все они вытекали из религиозных убеждений или, наоборот, были связаны с враждебной и противящейся им оппозицией, нежели к эстетической стороне Средних веков. Конечно, рыцарские времена как таковые и романтический дух рыцарской жизни, как и ее поэзия и порожденный ею новый род искусства легко способны возбудить в сентиментальной душе определенную поверхностную любовь или симпатию, нисколько не затрагивая при этом более глубоких жизненных проблем той великой эпохи, не решая и даже не объясняя их. Относительно этого романтического направления, составляющего одну из действующих в самой жизни сил и неотъемлемый мотив, наделенный большим влиянием на многие из важнейших исторических явлений тогдашнего мира, желая дать его психологическое объяснение (ибо оно столь же успешно приложимо к господствующим формам сознания и самобытной идейной направленности целых народов, сколь и к характеристике отдельных индивидуумов), я хотел бы отметить лишь одно обстоятельство. Там, где господствующим принципом всей жизни является мнение, оно, как правило, всегда и очень быстро разделяется, раздробляется, запутывается и распадается на хаотическое множество всякого рода рационалистических доктрин, где бесконечные и неразрешимые дискуссии, принимаемая всевозможные формы публичной риторики, до конца заполняют и без остатка занимают собою все время, всю жизнь и весь мир. Точно так же и там, где основанием, источником или глубинным жизненным корнем всего бытия являются религиозные убеждения, как только их единство разрывается и раздробляется и они, отделившись от своей сердцевины, устремляются в каком-то одном направлении, силясь достигнуть своего предела, а внутренний смысл и идея, всегда проистекающие из глубины этого жизненного принципа, тут же претворяются в деяния и реальные движения, — то та же самая господствующая направленность фантазии тотчас становится видна и в исторических явлениях самой национальной и общественной жизни, как это было если и не с самого начала, то хотя бы в более поздний период Средневековья, особенно со времени крестовых походов, составляющих его отдельную эпоху, а так-

же в самой их истории. Сколь бы много великих черт благородного происхождения от основного древнего истока всякого религиозного убеждения ни несли на себе выдающиеся исторические события той эпохи, это господствующее направление фантазии, взятое как само по себе, так и в подобном крайнем проявлении односторонности, в своем влиянии на реальную жизнь будет в любом случае оставаться следствием распада единой, целостной силы или признаком разлада внутренней гармонии, которая не может достичь господства и постоянства в жизни и в мире, если сперва не будет познана и удержана в сознании. Главнейшая ошибка Средневековья, а именно, та, что более всего выделялась в его последний период, начиная с гибеллинов, — если только позволительно понимать и определять ее столь абстрактно, в этой психологической всеобщности, проявляет себя в своеобразии поэтического творчества, в искусстве и науке Средних веков. И эта их сторона и ее связь с характеристикой целого, с главнейшими свойствами и общим духом этого периода развития христианского общества прежде всего представляет здесь предмет величайшего интереса и особой важности. А заключается эта ошибка в уже упомянутой склонности к крайностям или в тяге к абсолютному в управлении государством, в принятии решений и в вере, и вообще во всяком произволении, равно как и в знании, мышлении и поэтическом творчестве. Ее первый зачаток или, по крайней мере, потенциальная предрасположенность к этой ошибке заложена уже в самом происхождении новейших наций, в особенности тех пяти из них, которые возникли в романских странах из смешения древнегерманского племенного характера, германского общественного устройства и обычаев с латинской основой, образованностью и языком, или тех, которые образовались при участии очень сильной латинской примеси; к ним относятся немецкая, английская, французская, испанская и итальянская нация. Там, где силой христианской любви и религиозных убеждений характер немецкого племени, крепость и героизм германской природы были приведены в совершенную гармонию и слились воедино с практическим рассудком римлян, там из такого счастливого сочетания произросли те великие и умеренные характеры, на которые я уже обращал внимание читателя, говоря о раннем периоде германской империи и всего Средневековья. Но как только эта религиозная власть христианских убеждений ослабла и утратила силу или была замутнена и омрачена, обе эти стихии, которые должны были быть

приведены к единству в человеческом обществе, вновь распались; и, с одной стороны, сугубо римский практический склад ума (впоследствии достаточно часто проявлявшийся в итальянской и французской истории), а с другой, германской стороны — воинственная вспыльчивость и рыцарская надменность стали проявляться вполне изолировано и уже не будучи смягчены действием высшего начала. Порою же строгая последовательность практического рассудка и властного инстинкта древних римлян соединялась с все той же силой нордического героизма, однако без примиряющего и смягчающего воздействия этого высшего христианского начала и убеждений, полных божественной любви: такое смешение, самое несчастливое из всех, явило себя в уже известных нам могучих, но ужасных характерах гибеллинской межпартийной борьбы. О том же, как тяга к абсолютному — эта заключенная в человеке бездна, которая приводит в полное замешательство и поглощает и любовь, и, вместе с нею, всю жизнь, — влекла ту эпоху и ее политическую жизнь от одной крайности к другой, выше уже было сказано достаточно подробно с точки зрения стоящей перед нами цели.

То же влечение к абсолютному равным образом проявляется и в искусствах, в поэзии, а также в науке Средневековья, причем тем более, что и первые, и последняя достигли своего окончательного развития лишь в этот период, когда такая тенденция стала уже господствующим тоном эпохи. Как, с одной стороны, рыцарская поэзия, особенно поначалу, была излишне фантастической и лишь позднее сумела достичь красоты форм в более мягкой соразмерности и гармоничном, прочувствованном звучании романтического искусства, так, с другой стороны, и схоластическая наука терялась тогда в бесконечных головоломных мудрствованиях, носивших, по существу, скорее даже и не метафизический, а большей частью всего лишь логический характер, а нередко и вовсе бессодержательных. Та уникальная манера, в которой итальянский поэт Данте сумел с высочайшим поэтическим искусством, мастерски пользуясь классически лаконичным языком, соединить в своем великом творении и в своей визионерской системе это фантастическое начало (не ограничивавшееся одной только сферой рыцарской литературы, но свойственное вообще всему тому времени и любому направлению, в котором действовала тогда сила воображения), а также суровую государственную мысль гибеллинов и связанное с нею почитание Древнего Рима со схоластической наукой и ее тонкими различениями и провести это единство че-

рез все три области незримого мира, по существу, не обрела последователей и не оставила позднему искусству проторенных ею путей. Однако сама по себе она остается исключительно характерным и поразительным феноменом, в котором самобытный дух той первой схоластически-романтической эпохи европейского искусства и науки проявляет себя самым необычайным образом. Здесь соседствуют весьма разнородные стихии, причем необязательно изолированные и ограниченные собственными сферами — нередко они соприкасаются друг с другом самым причудливым образом или, можно сказать, происходит взаимное проникновение их сфер или смешение их ролей между собою. И так нередко оказывается, что предметом и содержанием этих нежных романтических напевов или изречений становится самая настоящая схоластика любви, намеренно и искусно сложенная по всей форме, с силлогизмами, посылками, заключениями и всяческими тонкостями, которые растворены в языке и рифме и включены в прелестную игру фантазии. Такая игра, столь причудливая во многих отношениях, по-прежнему трогает и влечет к себе наши чувства в поэзии Петрарки, бывшего также одним из первых возродителей древней и ученых творцов новой литературы.

Может быть, еще своеобразнее, чем в поэзии, эта полнота изобразительной фантазии проявляется в удивительной архитектуре Средневековья, о чем до сих пор свидетельствуют ее столь многочисленные великолепные памятники, находящиеся в самой Германии, в Англии, части Франции, а также Северной Италии и Венеции. Первое основание этого готического зодчества сформировал византийский церковный стиль, и, может быть, тут или там одним из побудительных мотивов к его возникновению мог также послужить фантастический облик того или иного арабского строения. Однако то, что решительнее всего проявляет себя в этом искусном, богатом украшениями стиле и в удивительной фантастичности этого направления архитектуры, есть сам дух немецкого Средневековья. Активнее всего в то время развивалась живопись, хотя развитие началось здесь гораздо позднее, чем в архитектуре и достигло своих высот лишь в пятнадцатом веке в Италии и Германии. Посвященная почти исключительно религиозным предметам, служа для церковного употребления или прочих благочестивых нужд, она оставалась вплоть до Рафаэля подлинно христианским искусством, полным глубокого значения и совершенного мастерства; однако затем вместо присущей

древнему христианскому искусству религиозной направленности возобладало преимущественно антикварное восхищение язычеством, которое, впрочем, не только здесь, но и в литературе и науке стало основным характерным признаком этой второй эпохи в истории европейского искусства, учености и духовной культуры. Все это я хотел упомянуть не ради самого искусства (ибо в своей собственной сфере оно потребовало бы отдельного рассмотрения и разбора), а лишь в качестве общих замечаний к характеристике целого, каждой эпохи и ступени в ходе развития новой духовной культуры.

Трактаты Аристотеля, привезенные гибеллинским императором с Востока, переведенные или травестированные на арабский, а с него переложенные на латынь и в результате ставшие зачастую совершенно непонятными, оказались для Европы отнюдь не самым большим и полезным подарком. Более древние христианские философы первого периода раннего Средневековья: современник Альфреда Скот Эригена, высоко почитаемый богословами Ансельм, также бывший жителем Англии, все еще сохранявшей немалое преимущество в латинской науке и христианской духовной культуре, а также, несколько позднее, во Франции Абельяр и св. Бернард, в сладостном красноречии которого с таким изяществом выражает себя полнота молитвенного благоговения и глубокая мистика чувства, — как самобытные мыслители и писатели отличаются несравненно большей ясностью и определенностью по духу и по содержанию, в предмете и выражении, нежели схоласты позднейшего времени; им, большей частью, был все еще совершенно чужд непомерный избыток логических ухищрений и бессодержательных метафизических умствований. Естественные науки в те времена были все еще слишком бедны и скудны, чтобы образовать свой собственный раздел, дисциплину или школу, и потому философия, вообще носившая естественный характер, тем более была самым тесным образом связана с религией и теологией. Но и совершенно независимо от приведенных обстоятельств того времени, повсюду представляется очевидным, что христианская философия может покоиться лишь на религиозном основании, а не на таком, в котором природа принимается за первое и высшее начало, то есть не на учении, содержащем в обновленной, научной форме одни лишь зачатки языческого обожествления природы. Столь же мало может христианская философия исходить из принципа ячности или из неспособного преданно следовать Богу и Его откровению,

но целиком сосредоточенного на себе индивидуалистического мышления, из желающего быть продуктивным разума. Однако и в том, и в другом отношении Аристотель, даже ясно осознанный и до конца понятый в первоисточнике, на языке оригинала, был бы в высшей степени ненадежным проводником, способным с легкостью направить читателя по совершенно ложному пути — как в общей натурфилософии, так и в высших метафизических вопросах и предметах. Самых лучших и поучительных из его писаний, то есть, нравственных или относящихся к политике, схоластические почитатели этого греческого мудреца и вовсе не могли понять, поскольку, будучи неразрывно связаны с греческими обычаями и государственной историей, эти книги могли быть осмыслены лишь во всей этой взаимосвязи путем исчерпывающего изучения источников. Однако даже его логические и риторические труды приобретают подлинный живой интерес лишь в силу своей патологической связи с духовной пагубой греческой диалектики и со столь далеко вторгающейся у них во все сферы жизни властью ложной риторики. А для того, наконец, чтобы полностью понять, научиться использовать и по заслугам оценить наиболее доброкачественные труды этого проницательного старца, касающиеся прикладной физики и естественной истории, на что была способна, к примеру, наша эпоха, им все еще совершенно недоставало предварительных познаний и необходимых вспомогательных средств. Если бы вместо того христианская философия Средневековья продолжала возводить свое здание на основании вышеназванных первых самостоятельных мыслителей христианского Запада или же отцов Церкви, пусть поначалу одних только латинских (ибо в их трудах давно уже были перенесены на христианскую почву и усвоены учения Платона, единственные из древних совместимые с философией откровения), тогда бы она развивалась много быстрее, легче и яснее и совершенствовалась, принимая более чистые формы. Но если все же считать греческие первоисточники совершенно неотъемлемым условием для достижения этой цели, то и в этом случае было бы много лучше, если бы могучие императоры и прочие властители, покровительствовавшие наукам и искусствам, хотя бы во время затеянной ими непродолжительной авантюры — латинской империи в Константинополе, не дожидаясь разрушения своей новой столицы, тотчас же попытались доставить оттуда эти филологические сокровища, а не искаженного до полной бессмыслицы Аристотеля, это арабское недоразумение, еще более усугубленное латинским пере-

водом. Итак, с одной стороны, лишь присущая тому времени склонность к абсолютному мышлению, к искусству логического состязания, а с другой — потаенная надежда с помощью мнимой магической силы подобных логических фокусов узнать и подчинить своей власти многочисленные тайные силы природы (что как раз менее всего можно было найти у подлинного Аристотеля), то есть, в сущности, непреодолимое вождение к плоду познания, по крайней мере, почитавшемуся запретным — вот что породило и сделало господствующим это неудержимое влечение к Аристотелю, в котором видели тогда воплощение либерального знания и мышления. Таким образом, все основание схоластической науки было, строго говоря, целиком и по сути своей ложным, что имело самые невыгодные и вреднейшие последствия не только для теологии, но и для всей той эпохи и присущего ей образа мысли. Когда же само это зло уже оказалось практически неисцелимым или, во всяком случае, ложное устремление эпохи в этом главном вопросе более не могло быть подавлено, большой заслугой было уже и то, что ясно и пронизательно мыслящие богословы, наделенные способностью философского суждения и талантом, такие как св. Фома Аквинский, воздвигли (пусть даже на общепринятом превратном основании этого древнего аристотелевского рационализма), свою учительную систему, в которой стремились во всем согласовать это знание с существом веры и догматики и тем самым хотя бы с этой стороны отворотить вредоносные последствия этого ложного идейного направления в философии. Однако в целом и с исторической точки зрения достигнутая ими гармония была лишь видимостью, и впоследствии схоластическая наука, то есть, иными словами, средневековый рационализм, нередко приводила к высокомерной самонадеянности или оппозиционной враждебности по отношению к учениям божественного откровения.

Этот схоластический дух уже вырождавшегося Средневековья проявлял свое тлетворное влияние также и в самой жизни и стоявших ближе всего к ней прочих науках, особенно в правоведении; и потому ничуть не более благодатным даром, нежели доставленные Фридрихом II в Европу упомянутые арабские переводы Аристотеля, было торжественное утверждение на Ронкальских полях первым из гибеллинских императоров, Фридрихом, древнего римского права. Вместе с римским законодательством он утвердил также и все вытекавшие из него абсолютные права и безусловные прерогативы императорской ко-

роны и тем самым на много столетий вперед открыл врата бесконечной юридической диалектике, процессуальной учености и законнической схоластике. Хотя этот древний римский кодекс и пространный юридический корпус Юстиниана еще прежде (при восточно-франкских императорах, когда немецкий правовед Ирнерий открыл в Болонье свою школу, посвященную этой новой науке) был признан в качестве все еще действующего закона, однако для самого духа и образа мысли гибеллинских императоров особой притягательностью обладали встречавшиеся время от времени в этом корпусе древнеримские формулы, касавшиеся мирового господства, к которым они при случае довольно бесцеремонно прибегали в полемике с греческим императором и другими властителями, употребляя их в качестве ясных свидетельств или, по меньшей мере, недвусмысленных указаний на действительность подобавших им прав всемирной монархии. В основном лишь теперь, начиная с гибеллинской эпохи, этот юридический корпус, чьи искусственные формы строгого права были практически ни в чем не согласны и не совместимы ни с духом христианства, ни с новой жизнью, ни с германскими обычаями, в силу всеобщего пристрастия к абсолютным принципам сделался излюбленной наукой и новой болезнью духа времени. Однако подлинная задача правовой науки на христианском Западе состояла в том, чтобы, используя древнюю юриспруденцию — это своего рода сложившееся и совершенное искусство — не более чем в качестве формы, полностью преобразовать его в соответствии с принципом и понятиями христианского воззрения на право. Одновременно ей необходимо было черпать многочисленные материалы из источников своей страны, своего племени и из законодательства всех древних германских народов. Конечно, все они без исключения носили сугубо локальный и в высшей степени индивидуальный характер, по большей части предназначаясь для самой древней эпохи воинственных германских наций и соответствуя простоте ее нравов, а не позднему цивилизованному состоянию; тем не менее, эти материалы повсюду содержат многочисленные свидетельства и ясно зримое основание истинной свободы и возвышенной справедливости. Но задача эта должна была быть решена в ту раннюю пору, когда еще действовал принцип христианских убеждений, который единственно мог соединить и привести к гармонии эти столь разнородные элементы и который позже совершенно утратил свое действие. Однако в ту эпоху, еще определявшуюся

истинно христианскими убеждениями и потому столь судьбоносную для политики, еще не существовало необходимой для этого науки; потому-то я и сказал уже ранее, что (по меньшей мере, в одном отношении) не столько эгоистическое намерение или враждебный образ мысли, сколько недостаток знаний и рассудительности были виной все еще существовавшим несовершенствам в укладе христианской жизни и государственном устройстве. И лишь в самое новое время могли быть предприняты попытки разрешить проблему, оставленную нам прошлым, и устранить эти древние недостатки христианской юриспруденции и законодательства. И если, тем не менее, это до сих пор еще так и не было сделано, по крайней мере, целиком и в достаточной степени, невзирая на то, что все предпосылки для решения этой насущной задачи европейского общества давно уже были созданы, едва ли целесообразно и далее откладывать ее разрешение, вновь упуская представившийся для этого момент. Необходимо также вкратце упомянуть и о том великом ущербе и разорении, которые принесла духовной и светской власти ожесточенная борьба и раскол между государством и Церковью, а также между их главами, по мере того как межпартийная борьба стала приобретать все более всеобъемлющий характер, а уже известный нам абсолютный образ мышления сделался господствующим направлением духа того времени. За окончательным отлучением Фридриха II последовала целая череда антиимператоров: вначале из числа германских князей, за которыми шли принц английского королевского дома и король Кастилии; ни один из них не пользовался надлежащим и всеобщим признанием — то был длительный промежуток повсеместного господства анархии и кулачного права, темное междуцарствие во всем государственном устройстве и во всем укладе общественной жизни — словно бы солнце мира и справедливости померкло на небосклоне вечной истины и затмилось для этой юдоли погибели и непримиримых раздоров; и такое состояние хаоса, одичания и страха перед еще горшими бедствиями продолжалось на протяжении целого поколения. Но еще более усугубляло это мрачное впечатление в глазах современников то обстоятельство, что и Иерусалим, и вся Святая Земля в это же самое время были вновь утрачены для христиан. Напрасно тщился Людовик святой снова собрать все силы для последнего Крестового похода на Египет, чтобы спасти и сохранить христианские владения на Востоке в надежде, что существование христианского королевства в этих землях в дальнейшем могло бы послужить твер-

дыней и оплотом против натиска магометанских полчищ на прилежащие к Европе провинции. Впрочем, с этой стороны опасность была еще не так близка, ибо турки прорвались из Малой Азии в Европу лишь спустя сто лет, захватив поначалу северные провинции Византийской империи и угрожая оттуда христианскому Западу. В то же самое время великого междуцарствия на Европу уже надвигалась куда более близкая и грозная опасность в лице ужасных монгольских орд. Как будто враждебный дух разрушения знал или предвидел, что могущество христианства на цивилизованном Западе сломлено внутренним раздором, за одно поколение до того некий старец — учитель или священник того в ту пору еще языческого народа — возвестил некоему отроку, прозванному впоследствии Чингисхан, то есть, «владыка мира», и вошедшему в историю под этим именем, что видел в сонном видении великого духа, восседающего на огненном троне и вершащего суд над народами Земли, и что по слову этого известия ему, юному великому хану монголов предопределено и вручено владычество над миром. Исполненный этим духом, тот пересек всю землю во главе своего неисчислимого войска; покорил себе Китай, Тибет, Японию, одолел великое магометанское царство в Хорезме и вышел к Каспийскому морю. Четыре сына этого завоевателя продолжили начатое им дело и разделили между собою всю землю, приготовившись нести новые разрушения на все четыре стороны света. Тот из них, чьим уделом стал Запад, заполонил своими бесчисленными ордами всю христианскую Европу; трон Рюрика, эта величайшая твердыня христианского Севера, был низвергнут, и Россия, ставшая частью кипчакского ханства, многие века пребывала под гнетом этой монгольской зависимости. Польша была наводнена всеразрушающими и всеистребляющими войсками монголов; король Венгрии был наголову разбит и вынужден бежать из страны, Силезия была разорена, а кровавый разгром христианского войска при Легнице поверг в ужас весь западный мир. Однако на этом разрушительный натиск монголов на Европу, по счастью, остановился, и их дальнейшие завоевания, словно отвращенные щадящей рукой Провидения, стали все более обращаться в направлении арабского халифата в Багдаде, который ими был стерт с лица земли, а затем в сторону Индии и других азиатских и магометанских царств. Итак, все происшедшее стало как бы лишь временным, однако страшным напоминанием о том, что христианский мир и впрямь нуждается в могущественном покровителе и что лишь пребывая в мире

и согласии, он может быть достаточно силен, чтоб отражать вторжения и нашествия арварских народов; и эта отчетливо ощущаемая потребность была первым из тех краеугольных камней, на которых покоилась идея Западной империи в самом начале ее возрождения.

В германской империи порядок впервые был восстановлен Рудольфом I, который со своим эльзасским графством и прочими наследными владениями в Альпах был далеко не столь могуществен, как прочие претенденты, однако высоко почитался многими князьями за свои рыцарские добродетели. Счастливое и почти даже странное совпадение многих случайных обстоятельств послужило поводом для его неожиданно избранного императорского трона, которое и ему самому, и многим его современникам, показалось знаком высшего призвания. Живя в мире и согласии с Папой, он, однако, отказался от похода на коронацию в Рим, ибо прежде всего был озабочен тем, чтобы упразднить кулачное право и установить и прочно утвердить мир в своей собственной стране и, насколько это было тогда возможно, восстановить в ней порядок и справедливость. Высокая заслуга, которую он тем самым стяжал себе в то смутное время, получила достаточное признание истории; и, будучи учредителем своего правящего дома, он стал также основателем той силы, которая в последующие столетия по преимуществу оставалась сохраняющим и объединяющим центром Германии, да и всей Европы. Однако и в более позднее время анархия весьма часто поднимала свою голову, и смуты вновь воцарялись в империи, равно как и в других государствах и по всей Европе. Здесь начинали ощущаться отсутствие великой и свободно действующей покровительствующей силы и, в еще большей мере, утрата христианских убеждений, связывавших воедино все: как в жизни, так и в государстве, — и европейское общество стало все более и более склоняться ко всеобщему распаду и великой катастрофе. При преемниках Рудольфа, вплоть до Максимилиана и Карла V, сфера влияния императора была по преимуществу ограничена Германией и ее внутренними делами, которые, в сущности, не имеют прямого отношения к нашему предмету. Походы в Рим сохраняли, конечно, память о древних императорских правах и притязаниях, однако не влекли за собой постоянных преимуществ или действительно значительного расширения императорской власти. И лишь в созыве Вселенских соборов, потребность в которых столь неотложно ощущал весь христи-

анский мир и церковь, императорская власть действительно имела особое значение для всей Европы.

Однако гораздо большими были несчастья и гораздо более разрушительными последствия, проистекавшие из этого злощастного раскола между духовной и светской властью и их главами для самой Церкви и ее первосвященника. Ибо истинным предметом спора в великой борьбе пап и духовной власти с императорами было подлинное право, то есть, первооснова и высшее воплощение всякого права в христианском государстве и вообще в человеческом обществе; и сколь бы много заблуждений ни вкрадывалось впоследствии в эти споры из-за эксцессов абсолютного мышления, все же обе стороны руководствовалась в них возвышенной идеей. С воцарением Филиппа Красивого во Франции, заступившей теперь место светской оппозиции духовной власти и главе Церкви, прежде занятое императорами, начинается совершенно новая эпоха в европейской государственной политике, которая в это время уже перестала быть христианской. На смену прежним высоким мотивам и возвышенным идеям, которые мы наблюдаем у того же Григория VII или императоров Конрада и Барбароссы, пришла теперь мелочная политика, эгоистическое корыстолюбие и самое низкое коварство. Филипп Красивый во всех отношениях может считаться достойным предшественником Людовика XI; в том числе, это касается и затеянного им процесса против всего ордена тамплиеров, их казнь или, лучше сказать, узаконенное убийство с целью конфискации имений было ничем не оправданным актом насилия; даже если допустить, что подозрения против отдельных членов или некоторой испорченной части ордена, связанные с какими-то принесенными ими с Востока нехристианскими нравами и учениями, обычаями или таинствами, действительно могли иметь под собой основания. Однако они, несомненно, не затрагивали ни всего ордена, ни возглавлявшего его в те годы достойного великого магистра, каковое обстоятельство сразу же или весьма вскоре после всего происшедшего было признано португальским королем и самим Папой. В любом случае, столь важный церковный вопрос должен был быть исследован и улажен иным, не столь деспотическим образом. Что касается папы, то Филиппу Красивому должны были прийти весьма кстати неуместные крайности и абсолютные притязания Бонифация VIII, которые, хоть и исходили от Рима, казались почти столь же гибеллинскими, как былые претензии прежних императоров. Они дали ему

повод заманить папу во Францию, а после смерти последнего избрать на его престол преемника по своему вкусу и удерживать его в Авиньоне, где Филиппу было гораздо проще добиться от него согласия на все свои эгоистические предприятия вроде того же процесса над тамплиерами. В согласии с хорошо продуманным политическим планом, он рассчитывал навсегда закрепить здесь, в пределах своего королевства новую резиденцию пап, из-за чего те на следующие семьдесят лет оказались в полной зависимости от французов. И когда, наконец, одному из понтификов удалось вновь вырваться из этого вавилонского пленения, вернув Святой Престол на прежнее место, то и в Риме, и в Авиньоне стали выбирать соперничавших друг с другом пап, и эта церковная схизма продолжалась еще сорок лет, пока, наконец, не была полностью преодолена на всеобщем соборе в Констанце. Едва ли можно было нанести христианству более глубокую рану, чем этот раскол внутри самой Церкви, который породил полное замешательство в умах и не мог не привести в неопишное расстройство все стороны жизни и общественного порядка. Точно так же, как без власти первых христианских императоров, хранящей и связующей в единое целое весь западный мир, вся Европа и, в особенности, Германия уже значительно ранее должны были окончательно распасться, лишившись надежной силы, способной к стойкому сопротивлению иноземным завоевателям и натиску варварских народов, так и без объединявшей всю Церковь папской власти, направленной на единство и основанной на нем, само христианство весьма вскоре распалось бы на множество отдельных сект, мелких общин и враждующих партий, а может быть, и совершенно различных религий, и, в конце концов, перестало бы существовать. Тот факт, что ортодоксия сохраняется в древней греческой церкви, где патриарх, конечно, не имеет ни той же духовной власти, ни того же влияния на общественную жизнь, как средневековые папы, в данном случае не может считаться убедительным возражением. Здесь, на Западе с его бодрым, подвижным, беспокойно-живым духом, где все находилось в непрестанном изменении и стремительном развитии, конечно, нельзя было ожидать столь же неизменной, самой собою сохраняющейся монотонности образа мысли, в том числе и в вопросах веры, какую мы видим на Востоке с его омертвевшим духом, с его безвозвратно угасшим и именно потому столь однообразным мышлением. Однако как только Западная Церковь оказалась ослаблена и поколе-

блена расколом со светской властью, неблагоприятные и вредоносные последствия этого обстоятельства неизбежно должны были проявиться также в религии и в сокровенной глубине самой веры. Конечно, поначалу здесь развивалась сила духовного сопротивления проникающей порче и грозящей беде, сила нравственного исцеления, исходившая из самой религии и в полном согласии с ее духом бывшая поистине христианской. И здесь было вновь явлено то, как укрепляющий дух помощи и совета, обетованный Церкви самим ее божественным Основателем, в каждый исторический период, с приходом всякой новой опасности, неизменно подает свое целительное средство, сообразное и свойственное именно текущим историческим обстоятельствам, что, без сомнения, свидетельствует о вышнем источнике этого целительства, даже если в человеческих руках оно недолго остается таким, каким было задумано, и приносит далеко не все те блага, которые могло бы, и даже если в конце концов оно само все более вырождается.

Несметные богатства Церкви составляли хоть и не единственный, однако один из важнейших предметов для споров со светской властью, да и вообще служили камнем преткновения для многих, особенно среди простого народа. Однако вся западная цивилизация — прежде всего, культура земледелия, возделывания и использования плодородия почв, равно как и научная культура духа — произошли из того, что клир был обеспечен земельными владениями и тем самым стал составной частью и полноправным членом государства и нации, а затем с безграничным усердием был весьма щедро наделяем всякого рода материальными дарами, благодаря чему монастыри, аббаты, епископы и все высшее духовенство сделались богатыми правителями, земскими чинами и князьями. В целом, особенно в более раннюю эпоху, они использовали эти свои богатства и власть достойным и полезным для всеобщего благосостояния образом. *Анналы* всехновейших народов и история каждого большого и малого государства исполнены упоминаний о высоких заслугах, которые в Средние века стяжали себе достойные люди духовного звания в делах государства и общественного блага, в том числе, в гражданском и чисто внешнем отношении. Все это общепризнанные факты; внезапное устранение высшего клира с того места, которое он занимал в государстве, обернулось бы для последнего немалыми потерями. Точно так же и во время споров императора и вообще мирской власти с Церковью и ее главой речь поначалу и прежде всего шла не о самом церковном иму-

шестве, покушаться на которое никто и не помышлял, а о суверенитете над ним и о признании этого суверенитета. Между тем, нетрудно понять, что не у всех членов высшего клира названные заслуги были одинаково очевидны и что не все они умели распорядиться своим богатством одинаково достойно и безупречно. Однако независимо от имевших здесь место отдельных злоупотреблений и подаваемого ими дурного примера, такое немалое богатство высшего клира, его блеск и высокое положение в государстве и в мире уже само по себе оставалось соблазном в глазах народа и даже для многих духовных лиц и, казалось, противоречило исконным правилам и евангельской бедности первых христиан; и это было важнейшим предметом, своего рода излюбленным лозунгом и главнейшим поводом для народной оппозиции, которая, следуя примеру правителей и господ, стала, в свою очередь, все решительнее выступать против Церкви. Итак, было вполне согласно с потребностями и с велением времени, когда теперь, в противовес этому духовенству — пусть честному и заслуженному, однако окруженному непомерно ярким мирским блеском и превратившемуся в новую аристократию, — стали объединяться люди, воодушевленные глубочайшим благочестием, чтобы со строжайшим самоотречением и смирением во всем уподобиться народу и простому люду или же чтобы со всем усердием посвятить себя исключительно народному образованию и проповедническому служению. Воистину святые, смиренные, благочестивые и наделенные чудодейственными силами мужи вступили на этот новый путь, а многие из них с великим прямотушием порицали злоупотребления и нравственные недуги в тогдашнем состоянии Церкви, государства и всех сословий. Сами они, в свою очередь, также сталкивались с возражениями и противодействием, и уже очень скоро против них было выдвинуто множество обвинений. Однако что касается этих упреков, то здесь, разумеется, необходимо отличать проявления общего человеческого несовершенства и отдельные симптомы вырождения от изначального священного основания и высшей божественной искры, заложенной при самом основании как этих, так и всех прочих церковных и духовных институтов. Точно так же развивалась и упомянутая народная оппозиция (первый импульс которой дала, прежде всего, сама светская власть и межпартийная борьба гибеллинских императоров): она становилась все смелее, ширилась и приобретала всеобщий характер. Едва исчезли вальденсы, как тут же на юге Франции выступила новая, еще более многочис-

ленная религиозная партия альбигойцев, у которых, помимо уже привычной оппозиции церковным богатствам и злоупотреблениям, были замечены и некоторые представления и заблуждения, свойственные восточным сектам, проникшие сюда, должно быть, во времена крестовых походов. Тем более оправданным представлялось решение провозгласить против них настоящий крестовый поход, и светские властители подавили эту народную секту, казавшуюся им мятежом не только против Церкви, но и против государства, в ходе столь жестокой истребительной войны, что такое спасительное средство оказалось не менее пагубным и достойным порицания, чем само это зло. Поначалу в качестве отважного реформатора-одиночки в Англии выступил Виклиф, а вскоре после него с еще большим успехом — Ян Гус в Богемии; однако из-за того, что наряду с традиционным осуждением действительных злоупотреблений в их проповедь были привнесены многочисленные самоизмышленные учения, необоснованные утверждения и вброшены семена будущих заблуждений, — их случай и положение дел в целом, как и вообще задача, стоявшая перед той эпохой, лишь еще более усложнились и становились опаснее. Гус был призван на собор в Констанце — тот самый, на котором удалось положить конец разделению и противоборству двух лжепап в Авиньоне и Риме — где он, невзирая на охранную грамоту императора, был осужден и предан смерти. Но поскольку всякая несправедливость и кровавая крайность влечет за собой крайность противоположную, случилось так, что через несколько лет в Праге были выброшены из окна члены городского совета, и это стало сигналом ко всеобщему народному возмущению; Жижка, вставший во главе этих неистовствовавших отрядов, опустошал Богемию и вместе со своим гуситским войском силою в семьдесят тысяч человек нападал на окрестные немецкие земли, сея повсюду ужас. Хотя и это возмущение тогда все еще удалось угасить, было ясно, что Европа все более созревала для крупной катастрофы.

Новая грозная опасность, приближение которой было заметно уже давно, надвигалась с другой стороны и была теперь уже ужасающе близка. Спустя почти сто лет после того, как турки овладели северными провинциями Византийской империи, они захватили и Константинополь, превратив древний храм святой Софии в мечеть. Защита от дальнейшего продвижения превосходящих турецких сил на протяжении более чем двух столетий была основной и самой насущной

задачей для половины европейских стран, непосредственно подвергавшихся этой угрозе: Германии, Австрии, Венгрии и Польши. Это весьма стесняло императоров во всех их прочих предприятиях и, будучи предметом их наибольших стараний, отнимало у них лучшие силы, в то же время оказывая самое неблагоприятное действие на столь осложненные в ту пору взаимоотношения Церкви и государства, а также на всю систему европейских государственных отношений. Тем не менее, прямые последствия этой катастрофы, обнаружившиеся сразу же после или даже в самое ее время, весьма вдохновляющее и плодотворно сказались на научных штудиях и духовной культуре второй половины XV века, когда бежавшие в Европу греки принесли с собою давно утраченные здесь богатые литературные сокровища и классическую ученость и тем самым пробудили и вызвали к жизни совершенно новую блистательную эпоху в европейском образовании и науке — вначале в Италии, затем в Германии, столь тесно тогда с нею связанной, и, наконец, на всем остальном Западе. Знание своего классического языка и древней литературы никогда не иссякало до конца в среде греческого духовенства и ученых, однако в их руках оно, по большей части, лежало мертвым грузом и лишь позднее, благодаря подвижному духу европейцев нашло себе деятельное применение и оказало многообразное влияние на практическую жизнь. Лучшие из последних византийских императоров, особенно из Палеологов, отчасти и сами прилежали к учености, любили науки, покровительствовали им и способствовали их возрождению. Когда гибель империи лишь только приближалась, еще до падения Константинополя, многие греки уже бежали в Италию, в особенности после многообразных попыток воссоединения греческой церкви с римской, которые, впрочем, помимо индивидуальных обращений в католичество, в целом оставались ограниченными лишь малой частью греческой нации. В изгнании греки основывали школы, в которых преподавались их язык и науки, учреждали библиотеки, и если во времена Петрарки во всей Италии можно было по пальцам перечесть знатоков греческого языка и литературы (к усерднейшим покровителям которых, помимо самого этого поэта, принадлежал также Боккаччо), то теперь, в эпоху Медичи, при первом из них, Козимо, и при великом Лоренцо Флоренция стала цветущим рассадником греческой учености и духовной культуры, а в Риме дом греческого кардинала Виссариона сделался Платоновской ака-

демией наук. Благодаря этим переменам возрождалось даже и изучение древних римских писателей, понятое в более классическом духе и смысле. Латинские поэты и придворные ученые, подражавшие древним классикам, авторы политических трактатов на латыни, бывшей тогда еще рабочим языком дипломатии, политические и государственные деятели, обладавшие самым решающим влиянием и благодаря классическому образованию сведущие в греко-римской истории и античном политическом искусстве, наконец, всякого рода образованные дилетанты, увлеченные языческой древностью, — все они задавали теперь тон этой новой, второй эпохе развития европейской науки и духовной культуры. Своеобразная направленность, характерные отличия и господствующий тон духа времени в ту пору были прежде всего обусловлены этим новым пробуждением греческой учености и античной литературы. Естественные науки, чей горизонт столь далеко расширился благодаря исправленной астрономии и новым всеобъемлющим сведениям об устройстве нашей планеты, полученным после открытия четвертой части света, были еще недостаточно развиты по своей глубинной научной идее, чтобы уже тогда столь же деятельно вмешиваться во всю совокупность европейской духовной культуры и науки, придавая им иное, новое направление, как это происходило позднее. Некоторые деятели этой эпохи возрождения наук, такие как Пико делла Мирандола и, в особенности, немец Рейхлин, направили свои усилия на развитие глубокой философии, следующей преимущественно платоновскому пути; равным образом и Виссарион, Марсилио Фиччино и другие ученые мужи отдавали предпочтение платоновской философии, за разработку которой они теперь принялись. Однако все это были не более чем отдельные исключения, самые первые и не во всем безошибочные опыты; в целом, нам остается лишь весьма сожалеть, что заложенные тогда начала лучшей и более глубокой философии не получили дальнейшего развития, поскольку древняя схоластика в целом все еще оказывала ей мощное сопротивление, а духовная анархия, разразившаяся вскоре с началом новой межпартийной борьбы, вновь поглотила или в самом корне парализовала любого рода высшие устремления. Однако даже в цветущую эпоху Медичи господствующим и почти единственным содержанием этой новой духовной культуры оставалась лишь эстетическая сторона античной литературы и ее политическое приложение. Итак, это так называемое Возрождение осталось решительно незавершенным и крайне несовершенным,

а в самом общем смысле оно и вовсе не было таковым; и даже в том, что касалось науки, все достижения, которых тогда удалось добиться человечеству и которые оно повсюду усердно выставляло на всеобщее обозрение, на поверку оказались скорее сиюминутным блеском, нежели поистине прочным и основательным знанием. Многие из этих почитателей античной классики были гораздо более сведущи в делах Древнего Рима или Афин и вообще в мире, истории и политике древних римлян и греков или же в их мифологии (вновь с любовью и пристрастием извлеченной ими на свет), среди богов древнего мира, и гораздо увереннее чувствовали себя здесь, а не в своей собственной эпохе, в общественных отношениях современного мира или вообще в христианстве с его учениями и основополагающими принципами. После первой схоластически-романтической эпохи средневековой европейской науки преобладающим характером этой второй эпохи расцвета духовной культуры, согласно со своеобразным направлением и тоном нового образа мысли и всего связанного с ним стиля жизни, который в той или иной мере многообразными путями и с различными модификациями распространялся из Италии по всем странам Европы, был, по меньшей мере, весьма односторонний антикварно-языческий энтузиазм, проявлявшийся не только в сфере прекрасного и изящных искусствах, но и во всей литературе и, более того, в истории, политическом искусстве и в самой жизни. В сравнении с последовавшей затем ужасной катастрофой такое воодушевление классической древностью, нередко весьма неуместно прилагавшееся к общественным отношениям и ко всей жизни, а также интеллектуальное влияние, оказанное им на свою эпоху, покажутся нам пьянящим волшебным напитком, отведав коего, едва пробудившийся дух образованных европейских народов, влекомый, по сути дела, к чуждым для себя предметам, в обманчивом и эгоистическом упоении своею новой образованностью и открытым им идеалом прекрасного утратил чувство реальности и, мня себя в безопасности, уже не мог в полной мере осознать ни нависшей над ним угрозы, ни пагубности своей внутренней порчи, ни глубины разверзшейся пропасти, на краю которой стояла тогда Европа.



ПЯТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

**Общие замечания о принципах истории;
о всеобщей испорченности в XV столетии;
начало протестантизма и характер эпохи реформаторов**

Не в отдельных событиях или исторических фактах заключается философия истории, то есть, верное понимание ее чудесного хода, решение и объяснение ее великих проблем и трудных загадок человечества и его судеб на протяжении многих столетий — найти ее можно лишь в общих принципах этого развития. Исторические частности служат лишь для характеристики глубинных мотивов, господствующих идей, решающих моментов и критических поворотных пунктов этого исторического хода поступательного движения человечества, позволяющей нам живо представить перед своим взором особый облик каждой его ступени, каждой эпохи во всем многообразии форм духовной культуры и нравственного уклада. Однако для этой цели они незаменимы, ибо развитие рода человеческого движимо силами исключительно высшего порядка, а отнюдь не сугубо органическими законами природы, из которых, как в физиологии, можно было бы, до основания осмыслив первую идею, правильно вывести из нее все прочие свойства того или иного явления, его отличительные признаки, законы здорового организма, диагнозы заболеваний, а также методы исцеления этих болезненных состояний, распознавать приближение кризисов, а отчасти даже сознательно направлять их естественное течение, не имея нужды заново проходить лабиринт всех когда-либо засвидетельствованных случаев для понимания того или иного из них, имеющего место в конкретной ситуации. То же самое видим мы и в естествен-

ной истории, где структура различных растений и животных, пронизанная единой аналогией, образует взаимосвязанную систему родов и видов, где рост, расцвет, увядание и гибель индивидов свершается в согласии с простым порядком вещей, единообразным как смена дня и ночи или времен года. Но в истории как в сфере человеческой свободы, — ибо человек, хоть и является природным существом, тем не менее, наделен свободой воли, то есть, внутренней способностью к принятию решений, самоопределению и выбору между благим и божественным импульсом и злым, враждебным началом, — все эти природные задатки и органические законы образуют лишь материальную основу его развития и истории, а скорее, даже и не ее, но лишь возможную предрасположенность, осуществление которой вместе с ее последующей направленностью и приложением к действительности зависит от самого человека и его свободы, или от того применения, которое он этой свободе находит. И лишь когда этот высший принцип свободной по природе своей человеческой воли угасает, отступает на задний план, теряет силу, нарушается, помрачается и оказывается в полном замешательстве, тогда и в области истории вступает в действие все тот же естественный закон; тогда симптомы недугующей эпохи, обретшие органический характер изъяны отдельных наций, эти предвестники приближения всемирного кризиса, могут быть до некоторой степени поняты и с точки зрения самих естественных наук и представлений о больном организме.

Но, хотя свобода воли согласно общему чувству человеческого сознания, дана нам как нечто реальное, в наших раздумьях и рассуждениях она предстает почти непостижимой загадкой, решение которой можно отыскать лишь в вере, или, лучше сказать, тайной, объяснение и ключ к которой следует искать лишь в Боге и Его откровении, что равным образом приложимо и ко всякому высшему началу, превосходящему природу и обычный закон естества. Наряду с этим выходящим за пределы естественной необходимости человеческим принципом свободы воли, в историческом развитии действует также и иной, божественный принцип более высокого порядка, который есть не что иное, как зримая во всем ходе истории и человеческих судеб, в великом целом и в частностях десница Провидения, любвеобильно направляющего и до конца времен водительствующего всем человеческим родом. Однако и сила зла, в сущности, есть нечто большее, чем лишь при-

родная сила и по сравнению с ней является более высоким и чисто духовным явлением. Ибо сила эта такова, что действует не просто в чувственном инстинкте естества, но непрерывно силится под видом ложной свободы похитить у человека его истинную свободу. Потому и Провидение также не является неопределенным понятием и пустой риторической формулой веры или не более чем чувством благочестивого предвидения, как бы божественным предположением, но это есть действующая в истории, реальная, живая и спасительная сила Божия, возвращающая всякому человеку и всему человеческому роду утраченную им свободу, а вместе с нею также действительную и живую силу добра. Именно в том и заключается проблема человеческого бытия, что человек — как в великом целом истории, так и в малых частностях индивидуальной жизни — поставлен между двух возможностей, перед выбором между истинной, божественной, прочно укорененной в Боге и возрастающей в себе самой свободой и ложной, мятежной свободой отпавшего от Бога эгоизма. Обыкновенная необузданность страстей или чувственных инстинктов есть не свобода, а тяжкое рабство под игом природы, та же превратная и злокачественная свобода, о которой мы говорим, будучи сама по себе духовной, уже в силу этого обстоятельства стоит выше природы, и потому согласнее всего с правдой будет считать подлинным виновником и первым изобретателем этой ложной свободы того, кого откровение представляет нам величайшим, могущественнейшим и гениальнейшим эгоистом среди всех сотворенных существ видимого и невидимого мира. Без этой заключенной в человеке, врожденной или дарованной ему свободы решения и выбора между божественным импульсом, высшей путеводной нитью его предназначения и уводящий по ложному пути силой зла не существовало бы никакой истории, а без этой идеи, принятой в качестве исходной посылки, невозможна была бы никакая историческая наука. Напротив, если бы свобода воли была не более чем психологической иллюзией, человек не был бы способен ни на подлинные убеждения, ни на настоящие поступки, ибо все в его жизни с необходимостью было бы заранее предопределено, все это было бы природа и слепой фатум. Тогда и то, что мы называем историей или историческим описанием человеческого рода составляло бы лишь часть естествознания, что, однако, противоречит всеобщему суждению и существующему в человеке глубочайшему чувству жизни, поскольку, согласно этому чувству, все содержание человеческой жизни и челове-

ской истории от начала до конца составляет, попросту говоря, не что иное, как именно эта борьба между благим и божественным принципом с одной стороны и злым и враждебным — с другой. Без идеи божественного Провидения и спасительной Божией силы, управляющей всем ходом человеческих судеб и ведущей человеческий род к окончательному освобождению, вся мировая история не может не показаться словно бы лабиринтом без выхода, хаотичным нагромождением обломков ушедших в небытие веков или великой трагедией, не имеющей ни подлинного начала, ни конца и развязки. И именно такое впечатление полное уныния и скорби, как раз и оставили нам многие из великих историков древности, особенно глубочайший из них, Тацит, всматривавшийся в минувшее из последних дней античного мира.

Однако величайшей тайной истории и глубоко сокрытой загадкой этого мира является допущение Богом зла, и свое решение и объяснение она может найти лишь именно в этом свободном положении и непредрешенной сущности человека, в его предназначении к борьбе между двумя постоянно воздействующими на него противоположными силами, которая началась уже с первой земной миссией Адама и сама по себе есть не что иное, как подлинное и совершенное воплощение дара свободы, врученного Богом первенцу нового творения и Своему образу, а одновременно и устроенное Им испытание этого дара в борьбе и победе над всеми вражескими духами и искушениями. Лишь тот, кто может во всем их величии осознать почти непостижимую, на первый взгляд, меру божественного попущения злу и всю величину власти, предоставленной злему началу по сокровенному божественному совету, начиная от проклятия Каина, ознаменованного печатью непереткновенного постоянства, следуя через все лабиринты заблуждения и самых отвратительных искажений истины, через все ложные религии языческих народов и все столетия глубочайшей нравственной порчи и неслыханных, непрерывно повторяющихся и непрестанно все более и более превосходящих самих себя преступлений, вплоть до того дня, когда зло и антихристианское начало воцарятся над миром и когда, наконец, человеческий род, будучи теперь уже достаточно подготовлен и вооружен, в качестве последнего и решительного испытания будет призван на великую битву с врагом, достигшим все полноты своей силы, — тот и только тот сможет действительно понять всемирно-исторические явления во всей их нередко удивительной и таинственной сложности, на-

сколько вообще человеческий взор может проникнуть в тайну этих сокрытых божественных судеб. Тот же, кто считает все происходящее в человечестве и в ходе его развития явлениями сугубо естественными и стремится объяснить их действием одних лишь естественных законов, тот, кто, может быть, даже и не будучи вовсе чужд смутных догадок касательно правящего всем миром божественного Провидения или благоговейной почтительности перед его сокровенными путями и высокими планами, все же не смог безоговорочно их признать и глубоко в них проникнуть, кто при всем этом не осознал, не уяснил и не понял всей силы зла, тот будет всегда оставаться на самой поверхности происходящих в мире событий и исторических фактов, ограничиваясь их внешней видимостью и не понимая до конца ни смысла этого целого, ни подлинного значения его частных. Самое же существенное условие заключается в том, чтобы чувствовать действие Духа Божия, шествующего через века и открывающего Себя в истории, просвещающего и направляющего человеческий разум, и спасающего и ведущего за собою весь род человеческий и, наконец, уже здесь вершащего свой суд, предостерегающего и наказующего эпохи и народы, в том, чтобы видеть Его огненные языки и распознавать следы в тех местах, где прошли Его стопы. Но этот тройственный закон всемирной истории, эти три высших принципа исторического развития: сокровенные пути Провидения и спасающая и освобождающая человеческий род сила Божия; затем, свобода человеческой воли и стоящий перед человеком решающий выбор в борьбе его жизни, а также всякий вытекающий из этой свободы поступок и убеждение; и, наконец, власть, предоставленная божественным попусшением злему началу — не могут утверждаться и объясняться как нечто само по себе необходимое, подобно природным феноменам или законам человеческого разума. Такая самая общая дедукция и развитие этой идеи были бы решительно недостаточны для данной цели и для своего предмета — для этого требуется доказательно представить проявляющиеся в характерных чертах отдельных исторических событий и фактов зримые свидетельства действия незримой силы и мысли или сокрытого в них высшего замысла. И потому философия истории не может быть отделена от самой истории как независимо существующая теория — напротив, ее результаты должны происходить из самой среды и полноты исторических фактов, из живой характеристики эпох, в согласии с духом истины как

бы сами собой вытекая из простого наблюдения. Именно здесь непредвзятый взгляд может усмотреть основание и оправдание избранного нами всецело исторического подхода, поскольку для философии истории вообще имеет значение только понимание целого, и предметом ее должны быть лишь ведущие идеи исторического суждения, а не системы или последовательности абстрактных понятий, положений и выводов как исключительно теоретические построения¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Отметим близость шлегелевских воззрений на историческое исследование и изображение к воззрениям В. Гумбольдта. Ключевую для понимания немецкого историзма статью «О задачах историка» (1821) Гумбольдт начинает с того, что декларирует основную задачу историка, которая заключается всего лишь в изображении происходившего. Кажущаяся простота тут причастна мнимой беспроблемности философского вопроса о бытии. Если в истории истина постигается в постижении только действительности, то в художественном изображении — через стремление полностью освободиться от действительности. Художник ищет истину образа, а историк — истинное сцепление событий. Поэтому нельзя смешивать задачу историка с задачей художника. При этом, имея в виду Гегеля, он утверждает, что философская история еще более опасна, чем художественная история, ведь поиски «конечных причин, пусть даже их выводят из сущности человека и самой природы, служат препятствием и искажают всякое свободное воззрение на своеобразное действие сил». См.: Гумбольдт В. О задаче историка // Гумбольдт. Язык и философия культуры. М., 1985. С. 292–293, 296–299. Назначение историка, согласно Гумбольдту, состоит в том, чтобы «очищать чувство действительности скорее посредством формы событий, чем посредством самих этих событий... Историк, достойный этого имени, должен описывать каждое событие как часть целого». «Следовательно, — завершает он обоснование своего метода, — историк должен обратиться к действующим и творящим силам. Здесь он находится в своей собственной стихии. Привнести форму в лабиринт событий всемирной истории, опечатавшийся в его душе, — форму, в которой только и проявляется подлинная связь событий, он может только в том случае, если выведет эту форму из самих событий. Противоречие, которое как будто в этом заключается, при ближайшем рассмотрении исчезает. Понимание каждой вещи уже предполагает в качестве условия своей возможности наличие в познающем субъекте некоего аналога того, что впоследствии действительно будет понято, требует изначального совпадения между объектом и субъектом, предшествующего этому акту...». См.: Гумбольдт В. О задаче историка... С. 295–300. Гениальные историки не только способны понять явления, которые повторяются, но и могут почувствовать «свободный самостоятельный импульс изначальной силы», — не только развития, но и творения, «возникновения из ничто». Он утверждает, что «всемирная история не может быть понята вне управления миром», но историку не дан орган, посредством которого тот мог бы «непосредственно проникнуть в замыслы управления миром»; ему остается только возможность духовного перенесения в ту сферу, из которой явления берут свое начало. В исследовании начальной причины — «последнее условие задачи историка». Оно реализуется через исследование идей, во-первых, как «незаметно возрастающих направлений» и, во-вторых, как «силы, которая по своим размерам и своему величию не может быть выведена из сопутствующих

Однако в живой среде исторических фактов, особенно в эпохи межпартийной борьбы, все явления имеют по преимуществу смешанную природу, и потому здесь при отборе характерных черт нам следует скорее избегать резких контрастов, чем выискивать или преднамеренно подчеркивать их. Ибо нередко бывает, что, по необходимости признавая за одной из сторон подобного всемирно-исторического разделения полную правоту в главном вопросе, мы вместе с тем обнаруживаем у нее и какое-нибудь слабое место или постыдное пятно, относящееся не к самой причине разделения и его глубинной идее, но объяснимое лишь человеческим несовершенством. Или же там, где мы бываем должны признать и оценить присутствующее той или иной эпохе определенное стремление как пагубное во всей своей взаимосвязи и порочное в существенных своих чертах, в самом его начале и первоисточке нередко кроется мотив, который, взятый сам по себе, независимо от своей позднейшей превратной формы и проистекших из нее неверных последствий, все еще содержит важные черты правого и доброго дела в понимании высшей исторической истины. Любое всеобщее утверждение должно быть ограничено исключениями и открыто для многообразных видоизменений; и как в самих исторических событиях, так и в их историческом изображении и оценке ничто не порождает столь великих помех и препятствий, как абсолютная сущность и воля, решение и мышление. Сказанное должно считаться предварительным замечанием ко всему разделу о последней эпохе развития мира и напоминанием о том духе примирения, который философский взгляд на историю не может не принять себе здесь за правило. Лишь когда мы действительно глубоко проникаем в самую запутанную сердцевину и смешанную природу исторических явлений, во всю взаимосвязь характерных обстоятельств той или иной эпохи, сопровождающих или создающих некий критический поворотный пункт, некий решающий исторический момент, тогда вполне отчетливо проступают на свет глубинные духовные стихии, основополагающие идеи великих событий и движений человечества. Если в любой другой абстрактной науке исключение из правил всегда бросается в глаза и представляется помехой, то в науке истории каждое

ей обстоятельств». См.: Там же, с. 301–303. В конечном счете, «дело историка заключается в решении его последней, но самой простой задачи – изобразить стремление идеи обрести бытие в действительности...». См.: Там же. С.305–306. — *Прим. науч. ред.*

истинное исключение служит лишь к более полному познанию и более верному пониманию и суждению о целом. Одно такое обогащающее исключение я нахожу нужным привести в добавление к отмеченному поступательному ходу европейской науки и духовной культуры и различию характеров его первой и второй эпохи, одну из которых я назвал схоластически-романтической, а вторую — антикварно-языческим энтузиазмом, причем первая представлялась мне недостаточной с точки зрения потребностей как своего времени, так и будущего, последняя же — втайне подтачивавшей древний христианский порядок вещей. В целом, принимая во внимание господствующий тон каждой из этих двух эпох, едва ли можно было бы существенно иначе определить или обозначить их своеобразный характер. Однако и здесь, в области научного и религиозного мышления, дух христианства показал свою независимость от течения и господствующего тона времени, так что посреди двух крайностей каждой эпохи находятся отдельные исключения и произведения кристальной ясности и простоты выражения, а также высочайшей чистоты и глубины христианского устроения и благочестивого чувства. В качестве одного из многих прочих примеров я приведу лишь немецкого писателя Фому Кемпийского, чье творение стало для Европы молитвенным наставлением к благочестивому созерцанию, в то время как философский дух, господствующий также в прочих его трудах, несомненно, остается и здесь зримым для всех тех, кто знает, что тот, обретя внутреннюю ясность и достигнув своей цели, может отбросить переусложненные схоластические формы и лучше всего выражать себя самым простым языком. Этот великолепный образец духа, достигшего кристальной чистоты, я позволил себе привести здесь в качестве исключения из всего хода развития европейской науки в эту эпоху с тем большим основанием, что он примечателен и характерен и с точки зрения общего характера того времени.

Если бы этот мягкий свет нравственной истины и божественной любви не представлял собою тогда столь крайне редкого исключения, если бы этот чистый дух христианской жизни был хотя бы немного более распространен в ту эпоху, дальнейшие сокрушительные катастрофы не разразились бы с приходом следующих поколений, да и вообще не могли бы иметь места, поскольку не обрели бы уже ни повода, ни предмета и вовсе не имели бы никакого источника. Однако в том, что касается общественной жизни, международных

и государственных отношений, образ мышления той эпохи гораздо более определял великий итальянский писатель, стоявший в самом разительном противоречии с названным благочестивым нидерландцем и в качестве наставника и учителя жизни оказавший на нее столь заметное влияние. Я имею в виду Макиавелли, который может служить доказательством того, что антикварно-языческое мышление и умонастроение тогдашних образованных кругов отнюдь не ограничивалось областью прекрасного и искусства или досужей учености, но оказывало серьезное воздействие и на политику; и как бы ни пытались некоторые извинить или перетолковать истинное намерение, стоящее за одной из его книг, тем не менее, из всех его политических сочинений ясно и решительно явствует, что его представления о государственной жизни были решительно древнеримскими, антично-языческими и основывались на неумолимо и строго преследуемом эгоистическом расчете. В своем труде он, в сущности, лишь с величайшей решительностью, ясно и определенно высказал то, что и без того уже было господствующим образом мысли того времени, и тем самым способствовал окончательному созреванию этих идей. После того как узы христианского единства между государствами и силами европейского Запада были столь существенно и многократно нарушены и окончательно ослабли, вместе с самим внутренними убеждениями преимущественно языческий характер приобрела и внешняя политика, которая не знала ничего святого, которой казались безразличными любые средства к достижению ее целей, а сами эти цели определялись лишь эгоистической жадной наживы и власти. Руководствуясь тем же духом и принципами того же рода, Людовик XI упрочил абсолютную власть своего трона внутри государства, действуя с присущей его характеру продуманной последовательностью и великим искусством политического расчета, благодаря которым он сумел утвердить свое владычество и вовне, по отношению к Бургундии и прочим соседям. Абсолютный образ мышления и обращения с человеческими делами, ставший теперь господствующим, особенно ярко проявился в Фердинанде Католике, прочно объединившем под своей властью оба иберийских королевства: Арагон и Кастилию, — покорившем также Гранаду и тем самым положившем конец владычеству арабов и заполучившем в свои руки золотые копи Америки. Варварское преследование и изгнание евреев из Испании, без сомнения, неблагоприятно сказавшееся на благосостоянии этой страны, было уже само по себе достойной

порицания жестокостью, однако особую опасность оно представляло в качестве первого шага ко все большему расширению того же абсолютного принципа также и на арабское население и мирных потомков прежних магометанских завоевателей, все еще многочисленных во многих провинциях Испании. Из-за войны с магометанами, которая в этой стране длилась восемь веков, религиозная война стала здесь почти составной частью понятия о государстве; и потому даже мудрость более широко мыслящих и снисходительных правителей, таких как Карл V — покуда он был жив и насколько это представлялось возможным — могла, конечно, смягчить недуги своего времени и воздвигнуть преграду потоку новых мнений, распространявшихся из Германии. Однако, невзирая на все усилия к миру, ему не удалось ни сдержать этого потока, ни воспрепятствовать отделению части Германии, ни предотвратить неудержимого прогресса абсолютистских принципов правления при его преемнике в Испании.

Повсюду происходило смешение политических и церковных и духовных институций и понятий, имевшее, впрочем, прочное историческое обоснование в особых местных условиях; так что часто было бы весьма нелегко или преждевременно, не вдаваясь глубоко в детали этих местных обстоятельств и в тщательный разбор и рассмотрение каждого из них, вынести на сей счет общее суждение. Хотя такое порицание и имело бы под собою видимость обоснования, оно могло бы придать нашим, в сущности, вполне справедливым упрекам ложную направленность или примесь заблуждения.

Так, испанская инквизиция с ее совершенно особым и своеобразным характером была гораздо более политическим, чем духовным учреждением. Однако, наряду с насильственными мерами и абсолютистским вмешательством государственной власти в церковные дела и духовные приговоры, надо признать, что и сама духовная власть под давлением времени во многих отношениях также стала чрезмерно светской. Когда папы наконец возвратились из авиньонского пленения в Рим, этот опыт, должно быть, научил их тому, сколь необходимо для них самих и для независимости от светских властей иметь суверенное княжество и собственное, пусть даже и не очень большое, государство. Более того, когда империя, в сущности, прекратила свое существование или, в лучшем случае, продолжала существовать лишь на словах, сами светские власти должны были быть заинтересованы в том, чтобы Папе и церковному государству был предоставлен надежный фундамент и в отношении внешнем

и политическом, а вместе с ним и гарантии, что он уже никогда не попадет в столь исключительную зависимость от какой-либо одной из множества новых изолированных и полных взаимной ревности сил. Однако тот образ действий, посредством которого некоторые папы, особенно принадлежавшие к семейству Борджиа, пытались упрочить свое суверенное господство на территории церковного государства, не мог не казаться предосудительным для духовного главы христианства, даже если не принимать во внимание возмутительных деяний, совершенных лично Александром VI. И хотя Юлий II обладал множеством замечательных качеств, подобающих князю церкви, то все же в общественном мнении народа и всего света не могло не складываться неблагоприятного впечатления, когда он, духовный и мирный властитель, возлагал на себя воинские доспехи и вел свои армии в бой. Имя Льва X Медичи со славою упоминается в истории искусств и наук и служит названием ее самой блестящей эпохи; он обладал, возможно, всеми качествами, способными послужить наилучшим украшением трону мирского монарха, однако, конечно, не был тем главой Церкви, который мог бы духовным оком провидеть все страшные опасности и настоятельные потребности своего времени и быть в состоянии вовремя отразить их или превозмочь их мирным путем. Чреда таких пап, непосредственно предшествовавшая началу Реформации, имеет немалое историческое значение: казалось, будто сверх меры обмирщавшая Церковь должна была, наученная собственными утратами, осознать величину нависшей над нею угрозы и благодаря этому обратиться к самому существу своего предназначения. Вообще в Италии в ту эпоху не было недостатка в легковоспламеняющихся политических субстанциях. Еще во время отсутствия пап в самом Риме политический фанатик по имени Риенцо произвел революцию с целью восстановления древней республики, а внутренние распри и гражданские войны во Флоренции были обычными проявлениями межпартийной борьбы, неотделимыми, пожалуй, от такой формы государственного устройства. В последний период гражданской анархии, последовавшей за смертью Лоренцо, религиозный фанатик, доминиканец Савонарола возглавил государственный переворот, в котором революционные идеи были причудливым образом смешаны с его религиозными представлениями. Итак, здесь, без сомнения, проявилось то весьма примечательное для правильной оценки явлений и условий того времени обстоятельство, что с каждым

новым всплеском фанатизма или ереси не просто в качестве отдаленного последствия, как у гуситов, но сразу же, в самом первоначале была сопряжена и связана политическая смута и государственное преступление. После того, как высшие узы единства в общности религиозных убеждений между христианскими государствами по большей части утратили силу, а то и вовсе перестали существовать, здесь, как это обычно бывает в каждой системе суверенных государств, контактирующих между собою в соответствии со своими изолированными целями, стали образовываться постоянно изменявшиеся, то так, то иначе составляемые союзы, складывавшиеся согласно с идеей сугубо динамического равновесия, как будто и в христианском мире государство и власть гражданского общества были не чем иным, как материальной массой и простым рычагом физической силы. Владычество над Италией, которого изо всех добивались Испания и Франция, было для них предметом особого раздора и целью многочисленных войн, начиная с завоевательного похода Карла VIII в Италию, вызвавшего сопротивление и породившего встречную реакцию. Другими значительными силами и активными участниками этой игры равновесия между альянсами были Венеция, император Максимилиан и Папа. Что для последнего из них активное вмешательство в эти мирские дела было нисколько не подобающим, едва ли нуждается в отдельном напоминании. Это обстоятельство еще долгое время спустя немало смущало общественное мнение. Ибо, когда Папа вступил в союз с французским королем против Карла V и немецкое воинство императора, в котором было немало сторонников Лютера, овладело Римом, в те роковые времена это обстоятельство уже само по себе не могло не вызвать нового скандала. Более того, недвусмысленная неудовлетворенность императора личным поведением тех или иных пап, пусть даже лишь в политическом отношении, вместе с его усилиями к примирению с немецкими протестантами внушала многим необоснованные сомнения в его искренней приверженности католической вере. Сколь бы ошибочными и безосновательными ни были эти подозрения, казалось, будто все свидетельствует в их пользу и множество обстоятельств разного рода как нарочно совпало для того, чтобы привести общественное мнение в еще большее замешательство.

Уже добрый и благородный император Максимилиан, который питал столь много прекрасных намерений и великих устремлений и с радостью привел бы их в исполнение, всю свою

жизнь вынужден был прилагать все усилия — по большей части напрасные, — к тому, чтобы при великой скудости материальных средств обрести спасение и защиту от надвигавшихся все ближе превосходящих турецких сил или найти какой-нибудь противовес могуществу Франции. Но когда фортуна соединила власть над бургундскими землями с испанской короной его внука Карла, потребность в могучем императоре, подобном властителям минувших столетий и способном отразить угрозы нового времени, стала, должно быть, уже для всех очевидной, что и проявилось в его избрании на императорский трон. В противном случае Европа, несомненно, распалась бы и стала жертвой как внешнего завоевания, так и внутренней анархии. Сам Карл был весьма воодушевлен древней идеей христианской империи, и в основе всех его политических представлений и предприятий лежали совершенно религиозные убеждения и образ мыслей. Однако сколь бы многочисленны ни были страны, которыми он правил, сколь бы великой ни казалась его держава в силу обширности этих владений и самого имени империи, ему все же недоставало действительной власти и прочной взаимосвязи его многосоставной монархии при столь разнородных целях, которые он преследовал в борьбе с превосходящими силами такого множества объединившихся против него стихий. Испанской монархии он, разумеется, придал немалый блеск, в Италии он также остался господином, зато весьма ограниченными оставались его успехи в борьбе с магометанским засильем, защищать от которого теснимый и подвергавшийся дальнейшим угрозам христианский мир, считалось тогда первой обязанностью императора как его вооруженного покровителя. Его примирительная политика по отношению к немецким протестантам не принесла успеха, поскольку начавшееся брожение мнений и бурное течение беспокойных времен сметали все на своем пути, а его желание созвать Вселенский собор, чтобы восстановить порядок в Церкви и в мире и придать ему новое основание в сфере веры и религии, было приведено к полному исполнению лишь после его кончины.

Что же касается начала Реформации и всего явления протестантизма, я хочу заранее отметить, что как споры о догмах, так и суждения о личной правоте или неправоте, о нравственных достоинствах или недостатках характера той или иной личности, в сущности, совершенно выходят за рамки моего предмета, и что мои намерения могут быть обращены исключительно к тому, чтобы исторически точно охарактеризовать различные

способы, которыми начиналась эта религиозная война в тех трех или четырех странах, которые преимущественно и наиболее примечательным образом были затронуты ею, а также найденные наконец различные для каждой из этих стран или основных наций пути выхода из этой смуты. В особенности же я намерен рассмотреть ее воздействие на развитие христианских государств в новое время, а также ее обратное влияние на европейскую духовную культуру и науку, которые, в сущности, составляют важнейшую тему последнего раздела и окончательного завершения настоящей философии истории. Лишь подлинная точка соприкосновения личности и догмы с историческим событием, единственно составляющая наш предмет, должна быть кратко, в нескольких словах, затронута здесь в той мере, в какой это представляется необходимым для понимания этой исторической взаимосвязи. Прежде всего, само собою разумеется, что человек, произведший столь большое движение во всех умах и во всем своем времени, должен был быть наделен чрезвычайной силой духа и крепостью характера. Уже в его сочинениях мы обнаруживаем достойную удивления силу отважной речи и нередко не менее могучей мысли, увлекающей или потрясающей своим страстным воодушевлением. Эти последние свойства, разумеется, нелегко совместить с ясностью понятий вдумчивого, спокойного, взвешенного и беспристрастного суждения; вообще же оценка того применения, которое нашла его гениальная сила, не может, конечно же, не оказаться различной в зависимости от тех принципов, согласно с которыми она выносится, однако мы, вне всякого сомнения, должны признать саму гениальную силу, упорство и крепость его характера. Поэтому многие из тех, кто впоследствии несколько не был расположен к его новому учению, верили поначалу, что это и есть подлинный человек эпохи, призванный свыше к великому делу того возрождения, глубокая потребность в котором ощущалась тогда всеми, ибо полное ниспровержение старого порядка в те времена не приходило на ум никому из честных и здравомыслящих людей. И если теперь, столь долгое время спустя, кто-нибудь, вырвав из его сочинений те или иные резкие выражения или даже отдельные не просто суровые, но и грубые слова, захочет обратить их против самого автора, то едва ли с их помощью удастся его опровергнуть или вообще что-либо убедительно доказать. Та эпоха была вообще — и не только в Германии, но и у других в высшей степени культурных народов — несколько менее деликатной в словах и обы-

чаях и еще не отличалась тем преувеличенно изысканным и, наконец, донельзя утонченным характером. Подобная грубость не могла причинять особого беспокойства, ибо всякому разумному человеку было понятно, сколь глубоки были язвы древних злоупотреблений и что порча достигала самых корней; потому никого не смущало, если нож, которому надлежало вычистить эту скверну, врезался немного глубже. А в одном отношении Лютер снискал себе высокое уважение князей, даже тех, которые были настроены против него; ибо когда вскоре после начала Реформации разразилось всеобщее крестьянское восстание, схожее с опустошениями гуситов, он, будучи, в отличие от иных новых учителей, весьма далек от того, чтобы еще более разжигать эти беспорядки, выступил против них со всей силой своего пламенного красноречия и со всей тяжестью своего непререкаемого авторитета. Вообще же в политических делах и отношениях он несколько не был настроен демократически, как те же Цвингли или Кальвин, но целиком поддерживал абсолютную власть князей, хотя, разумеется, с точки зрения своих протестантских взглядов и убеждений. Именно благодаря этому и в силу приобретенного тем самым авторитета и признания государственной власти, протестантизм упрочился и консолидировался внутренне. В противном случае, вылившись во всеобщую анархию, как у гуситов, к чему легко могла привести крестьянская война, он неминуемо был бы полностью подавлен, как и многие из более ранних народных движений (ибо в такой форме протестантизм не был чем-то новым, но возник за много столетий до этого). А поскольку и вообще ни один из прочих вождей и предводителей новой партии не имел бы силы и не был бы в состоянии поддерживать существование протестантизма, эта религия, какой мы теперь ее знаем, была и остается творением и деянием этого мужа, уникального в своем роде и, несомненно, занимающего свое место во всемирной истории.

Вообще же на плечи этого человека легло немало такого, что во всех отношениях стало великим и решительным поворотным пунктом в историческом течении времени и судьбах человечества. Подлинная задача той эпохи заключалась, конечно, в том, чтобы преодолеть прискорбное смешение практических понятий, то есть, обусловленную всем положением дел в Европе и самим происхождением западной материальной и духовной культуры неупорядоченность, а нередко и полное смешение церковных и духовных отношений

с мирскими и политическими, — одним словом, в том, чтобы исцелить древний раскол между государством и Церковью и, действуя путем посредничества и примирения, найти для него ясное и христианское решение. Тогда многочисленные, однако лишь фрагментарно рассеянные повсюду очаги истинного христианского благочестия и смиренного самоотречения, а также зарождавшиеся отправные пункты и начатки новых открытий непрестанно развивавшейся европейской науки сами собою достигли бы более живой и всеобъемлющей силы, чему теперь создавала многообразные препятствия всеобщая европейская гражданская война между обеими религиозными партиями, так что эти надежды могли быть приведены к энергичному и беспрепятственному исполнению лишь в гораздо более позднюю эпоху. В то же время полный разрыв с историческим преданием, в котором по преимуществу заявило о себе абсолютное начало и ошибочная или пагубная для своего времени направленность такого переворота, сделала этот недуг неисцелимым, что отразилось даже на хваленем знании библейских языков и филологической учености, где подлинный ключ истинного толкования, тайна которого как раз и может быть найдена в самом Священном Предании, неизбежно был утрачен вместе с ним, чему последующее время представило достаточно красноречивое свидетельство. А если бы даже это было и не так, то разве достаточно было одних ученых институтов библейской филологии вместе с какими-нибудь ориентированными на одну лишь мораль народными школами, чтобы сформировать сущность и содержание целой религии? Это нигде не ощущается так отчетливо, не видно с такой ясностью, как в нынешней протестантской Германии, где протестантизм впервые укоренился и где пребывает его движущий центр, его господствующий дух, его настоящее сердце и подлинная жизненная сила. Теперь здесь тщатся отыскать новое средство, способное заменить недостающее внутреннее ядро этой религии — то во внешних литургических формах, то в блестящей филологической учености и библейских исследованиях (не обладая к ним подлинным ключом), то в мнимом философском основании рационализма или в лабиринтах и пропастях сугубо внутреннего пиетического чувства. Впрочем, конечно, те же самые или, по крайней мере, весьма сходные пути якобы исчерпывающего познания можно обнаружить и кое-где в пределах католицизма: в таком рационализме, в таком ложном богословском просвещении, какие были явле-

ны в недавний период неологии, или в недостаточно надежном и испытанном мистическом чувстве, свойственном некоторым янсенистам — ведь взаимное отторжение, существующее между двумя противостоящими партиями, еще не исключает возможности подражания противоположной стороне или заражения ее ошибками. Тем менее пристало и самой философии истории обстоятельно входить в скрупулезное и индивидуальное рассмотрение этих споров. Глядя на первое начало этого великого всемирного движения и на всю его эпоху, мы можем испытывать лишь чувство сожаления оттого, что его великая задача и возложенное на него нелегкое дело всеобщего возрождения и истинной реформации при том решительно революционном обороте, которое приняли события, остались совершенно неисполненными и что, более того, никто из основных ведущих характеров тех столетий не ощущал ее настоятельности и, более того, даже не догадывался о ее существовании. Предметом прежних споров между светской и духовной властью было, по преимуществу, господство над территориями, владение земельными угодьями и вообще церковным имуществом и особенно суверенитет над ним. Ныне же владения духовенства и заманчивая возможность их изъятия в собственную пользу были, конечно, также одной из причин, содействовавших распространению протестантизма. Так в Пруссии, на родине Тевтонского ордена, сразу же свершился переворот, и она была преобразована в наследственное светское герцогство, а в самой Германии некий отважный и прославленный немецкий рыцарь, следуя представлениям той эпохи междоусобиц, вторгся во владения одного из духовных курфюрстов, поскольку, нимало не сомневаясь, счел его землю, как и любое прочее церковное владение, дозволенной каждому честной добычей. Однако если отвлечься от подобных мелких второстепенных движений и побочных эффектов (тем более что во многих протестантских странах, в таких как Англия и Швеция, церковная собственность оставалась неприкосновенной и сохранялся даже епископальный строй), немецкий протестантизм даже в своей враждебной оппозиции к Церкви принял совершенно иное, гораздо более духовное направление, и религиозной целью его разрушительных устремлений в гораздо большей степени было священство. Именно здесь и находится тот пункт, в котором догматический спор вторгается в историческую действительность, поскольку священство естественным образом держится на вере в таинство. Нападки на сами таинства, которые и в самом деле имели место в полови-

не протестантских стран: в Швейцарии и Франции, в Нидерландах и в Англии, — Лютер не приветствовал и даже напротив, самым решительным образом порицал, однако он пытался отделить таинства от священства путем различения; хотя нетрудно было предвидеть, что вместе с верой в одно вскоре ослабнет и угаснет приятие другого, что и в самом деле достаточно красноречиво подтвердилось в дальнейшем историческом развитии. Но поскольку великое таинство религии, на котором покоится, в том числе, и христианское священство, составляет простое, хотя и глубокое внутреннее средоточие всех прочих догм, с отвержением этого таинства или нападками на него окончательный разрыв с глубинным источником веры был неизбежен и заранее предрешен. Неоднократно предпринимавшиеся мирные собеседования ученых и благонамеренных представителей обеих сторон не могли иметь подлинного успеха и привести к желаемой цели, невзирая на то, что порою бывает весьма непросто найти и описать в высказываниях того же умеренного Меланхтона те немногие пункты, в которых он расходится с древним католическим учением столь велико между сходство, доходящее, кажется, почти до тождества, если, конечно, смотреть на одни только частности. Столь же бесплодным оказался также религиозный мир и неустанные и добросовестные усилия императора Карла V, пытавшегося добиться отсрочки с помощью своего интерима, втайне надеясь, что бушующие волны анархии и всех этих новых идейных споров со временем сами собою улягутся и в конце концов совершенно утихнут. Однако интерим оказался более продолжительным, чем кто-либо рассчитывал поначалу, так что он и по сей день ожидает того решающего всемирно-исторического момента, в который над ним будет произнесен божественный приговор. Это удачное и меткое выражение можно, в сущности, с тем же успехом применить и к событиям последующего времени: оно все еще может считаться единственно верным в наши дни и справедливым также применительно к будущему. Ибо, как и в ту пору, любой религиозный мир представляется ныне не более чем возобновлением или некоторым видоизменением все того же интерима, на идее которого, строго говоря, и покоится вся сущность и религиозная задача такого мира. В высшем же и полном проявлении этой идеи одновременно содержится ясно сформулированное указание на всемирно-историческое предназначение германской нации.

Что же касается гениальной духовной силы Лютера, то, рассматриваемая совершенно независимо от найденного ею при-

менения и употребления (ведь и ярчайшая комета, озаряющая своим сиянием полнеба, не может заменить собою согревающий и животворящий солнечный луч), а лишь как новый импульс отважной мысли, как великий талант могучего красноречия, она не только открыла новую эпоху для немецкого языка, в котором, по общему признанию, Лютер явил немалое мастерство, но и вообще была характерной для всего поступательного развития европейской науки и духовной культуры¹⁰¹. Вслед за первым периодом, который я назвал схоласти-

¹⁰¹ Любопытно сравнить сдержанно критическую оценку Мартина Лютера со стороны представителя католической партии (Ф. Шлегель) со сдержанно восторженной оценкой представителя протестантской партии (В. Дильтей). В той и другой оценках мы видим высокую культуру объективности и религиозной терпимости, но при этом и большие различия, которые, по нашему мнению, и создавали тот «зазор свободы», который был характерен для немецкого исторического Просвещения и немецкого университета в XIX веке, а в веке XX (еще начиная с конца XIX) радикально сузились сначала во времена ницшеанской «переоценки ценностей» и националистической истерии, затем во времена нацистского террора и тотальной войны, и, наконец, во времена послевоенного намеренного забвения своих национальных духовных традиций и «перевоспитания» в духе «американской мечты». Читаем у В. Дильтея: «В истории человечества существует не только континуум прогрессирующей науки, но и континуум религиозно-морального развития. Как человек, прогрессируя, живет в рамках своего жизненного опыта, так и человеческий род. И важные изменения в нравственной жизни всегда находятся в связи с изменениями в религиозной жизни. В истории нам нигде не встречается идеал нерелигиозной морали. Новые активные силы воли всегда, насколько нам известно, формируются в связи с идеями о Невидимом. Однако плодотворное новое в этой области возникает в исторической связи на основе религиозности уходящей эпохи, как каждое состояние жизни происходит из предшествующего. Ибо лишь когда у подлинно религиозного человека возникает в данном союзе из его глубочайшего нравственного переживания неудовлетворенность на основе изменившегося сознания, даны импульс и направление для нового. Так произошло и с Лютером... Хребтом средневековой церкви был августинизм. Преобразование его, совершенное августинским монахом, из потребности глубины, независимости и непоколебимости веры, изменило форму и обоснование установленных в Никее догматов посредством замены в учении способов спасения. Оправдание средневекового человека было объективным, падающим из трансцендентного мира как следствие вочеловечения че-рез каналы церковных институтов, освящения, таинства исповеди на верующего потоком сил, сверхчувственным управляемым процессом. Оправдание верой, которое пережил Лютер было личным опытом верующего, пребывающего в континууме христианского сообщества, ощутившего в личностном процессе веры уверенность в милости Божьей вследствие приобщения к деянию Христа благодаря своей избранности». См.: Дильтей В. Воззрение на мир и исследование человека со времен Возрождения и Реформации. М.-Иерусалим: 2000. С. 49–51. «В преобразованном Лютером учении, - продолжает Дильтей, - полностью завершается глубочайшее движение средневековья, христианство францисканцев и мистика, и одновременно положено начало современного идеализма. В францис-канском

и мистическом движении произошло полное освобождение религиозного процесса от эгоистического интереса человека. Эта глубоко истинная, хотя содержащая только одну сторону религиозно-нравственного процесса, душевная настроенность должна была быть доведена до ее последних выводов. Только Лютер, сын рудокопа, житель северных гор, монах в тумане, снегу и безобразности природы, в душе которого не было даже искры искусства, без большой потребности в науке, окруженный лишь невидимостью всего высшего, безобразностью высших сил и их отношений, только он полностью освободил религиозный процесс от образности догматического мышления и внеш-него господства церкви. Первое для него — жизнь. Из жизни, из данного в ней нравственно-религиозного опыта происходит все его знание о нашем отношении к Невидимому, и остается связанным с ней». Там же, с. 52—53. Лютер, как и тысячи его современников, остро почувствовал именно деятельностное основание бытия, обесценившее все понимания, основанные на реальности созерцаемых, вещных данностей. Это глубочайшее переживание, достигшее своего онтологического основания, на самом деле и стало тем моментом истины, развернувшим перед ним «моральную связь» всего существования, его невидимый центр, в котором он и постиг действительность Бога, Его присутствие, Его «вот». Это нечто исходное, то, что и определяет установку сознания в его отношении к опыту, что выделяется сильнейшим переживанием достоверности встречи с Невидимым и определяет мгновенную перестройку структуры значимостей. Подобное сильнейшее переживание, пронизывающее все уровни сознания человека насквозь, не есть то, что человек может, приложив усилия, воспроизвести или потребовать повторить. Однако после совершенного им преобразования человек становится носителем прояснившейся в нем структуры, обладающей теперь длительной, а в индивидуальном опыте неизбывной, значимостью. Это и есть историческое а priori в филогенетическом смысле, подобно тому как существуют «исторические» а priori и в онтогенетическом смысле, определяющее наиболее значимые впечатления детства как прорывы в понимании человеком своей собственной значимости, значимости собственной судьбы. То же и здесь: эти исторические а priori рисуют человеку «серым по серому» рисунок общей судьбы, некое общее его предназначение. И если говорить о самом Лютере, то, видимо, ему открылось прежде всего страшное в своем последнем пределе личностное самостояние человека перед лицом совести, полное обезначение мира, всего созерцаемого, чувственного, мыслимого в чистом отношении личности к Живому Богу. Мир, столь красочный и многообразный, превратился в Ничто, обернулся темным провалом предвечной бездны. Но, несмотря на полное ничтожение мира, человек остался в открывшейся перед ним связи так, будто ему был указан путь его посмертного существования, в котором, чтобы достичь блаженства, надо пройти через весь этот ужас, встретиться с бездной, свергнувшись в ад, предстать перед страшным судом своей совести, оплатив по счетам за право быть личностью, от которого, как дара Бога, и отказаться нельзя.

Поэтому возвращение в мир после такого опыта, после такого внутреннего чистилища, становится для Лютера и многих людей его поколения связанным с обетом жить в мире полноценной, полнокровной внешней жизнью, но как бы во внутреннем монастыре, даже не в монашестве, а в пустынничестве, внутреннем пустынничестве, в памятовании того, что было им испытано в опыте ничтожества мира, в мистической встрече с ужасом бездны, в том материализованном гневе Божьем, который после грехопадения и является подлинной основой, несущей на себе все блага и печали мира, все существование в миру. Лютер уже не верит в то, что эту основу мира можно

чески-романтическим, и вторым, охарактеризованным мною как язычески-антикварный энтузиазм, где простая и вместе с тем глубокая христианская мысль в искусстве красноречия и в письменных творениях научной мысли может встретиться лишь между делом или в качестве редкого и счастливого исключения, теперь наступает третья эпоха, которую по преобладающему тону духа этого времени и задающих и направляющих его сочинений едва ли можно охарактеризовать иначе, как дав ей имя эпохи полемически-варварского красноречия. До конца XVII столетия в Германии и Англии в сфере научной мысли и полемических сочинений оставался господствующим именно этот полемически-варварский дух, начало которому было положено церковной революцией и протестантскими потрясениями в вере, а также во всем знании и мышлении. Ему, разумеется, отнюдь не чужда известная мистическая глубина чувства и гениальная смелость мысли и выражений, свойственная, например, сочинениям Лютера, однако весь характер этой интеллектуальной эпохи не может считаться ни счастливым, ни вполне соответствовавшим научной задаче того времени и до конца разрешившим ее. Относительно немецкого языка и, в особенности, духовной культуры, насколько они могут представлять здесь общий интерес, я хотел бы добавить еще то замечание, что кроме уже названного Фомы Кемпийского я мог бы упомянуть и многих других схожих, хотя и менее известных христианских писателей XV века и более раннего времени, отчасти принадлежавших к господствующей латинской школе и писавших на этом общепринятом тогда языке, а отчасти пользовавшихся уже и немецким,

исправить, искупить, он принимает ее как данное, как вечно сопутствующее человеческому существованию. Он видит жизнь-в-мире как пожизненное испытание человека, своего рода повинность, которую он должен отработать за первородный грех, причем именно индивидуально-моральную повинность, в которой и открывается человеку его избранность или отвергнутость, перспектива его дальнейшего посмертного существования за пределами миро-основы, за пределами ужаса. Но право на спасение зарабатывается человеком именно насыщенной полной жизнью, способностью человека противостоять искушениям, закалкой его нравственного существа и, видимо, в такой закалке он видит смысл этого испытания жизнью. Действительность веры становится здесь личностной активностью, деятельностью человека в жизни. Поэтому как Лютер, так и Хайдеггер, несмотря на разделяющее их время, несли общее мировоззрение и ощущение жизни, да и их выход из католицизма был, по сути, один: не желая порывать с католицизмом, они оформили внешний разрыв, одновременно углубив внутреннее отношение с традицией исторического христианства, признавая всю его историю позитивной, имеющей непреходящее значение. — *Прим. науч. ред.*

как Таулер. И если сравнить присущую этим авторам простую мягкость, ласковую ясность выражения и умонастроения с продуктами уже известного нам последующего полемически-варварского духа раздоров, то это будет для нас наилучшим масштабом, чтобы измерить эту немалую дистанцию и по достоинству оценить как ту прежнюю, так и эту позднейшую эпоху.

Против этой оппозиции, которая, не разрешая миром прежние споры, не согласуя противоборствующие стихии, не упраздняя явных злоупотреблений и не примиряя всех и вся, совершенно оторвалась и обособилась от целого и нещадно ниспровергала все старое, для своей защиты и ограждения Церковь при таких обстоятельствах не могла не прибегнуть на Вселенском соборе к средствам негативным и исключаящим, одновременно с сосредоточенной силой утверждая себя на основании древней веры. Так что и в этом отношении похвальные миролюбивые устремления, которые до последнего конца лелеял благочестивый император, остались неосуществленными. И несмотря на то, что, с одной стороны, теперь, на Тридентском соборе все частности этих спорных догматических вопросов были навсегда и полностью разрешены в католическом духе, с другой стороны, это решение все же не было признано половиной христианского мира; так что с точки зрения сугубо всемирно-исторической оно представляет собой не более чем всеобщий интерим, в то время как всеобщее признание и совершенное утверждение истины может быть достигнуто лишь по божественному суду и определению вместе с окончательным воссоединением и возвращением к ее католическому средоточию и вечному истоку.

Что же касается тех церковных институтов, которые с самого начала подъяли труды к дальнейшему расширению и более прочному обоснованию христианства или же взяли за оружие для его сохранения и защиты и обрели свое жизненное призвание в этой духовной борьбе и священных обетах, то и здесь вновь обнаружилось, что, как нередко бывало и прежде, всякий раз защита и помощь приходили в нужный момент именно в той форме, в том духовном направлении и тем самым образом, который диктовала настоятельнейшая потребность эпохи. Ныне богатые и знатные прелаты великих и древних монастырей, стяжавших некогда великие и непреходящие заслуги перед культурой христианского Запада, хотя и не изменили своему исконному предназначению и наукам,

однако стали чрезмерно вдаваться в дела государства и оказались в многообразной зависимости от него. А стремившиеся к евангельской бедности народные нищенствующие ордена уже в силу самих этих идеалов и этого своего характера, присутствующего им образа жизни и стиля проповеди не всегда могли оказывать необходимое влияние на государство и высшие условия, хотя в своем пламенном рвении они порою выходили за границы умеренности, невзирая на времена и обстоятельства. Таким образом, настоятельной потребностью той эпохи был противостоящий протестантизму духовный орден, способный встать на защиту католической церкви и веры и вообще взять на себя заботы и достойно руководить ее успешным распространением в прочих частях света, в совершенно неведомых краях. Орден этот должен был действовать независимо от государства, быть всецело предан одной только церкви, вооружен всеми новейшими познаниями и научным образованием, превосходных знанием и пониманием мира и времени, осмотрительно и рассудительно следуя во всем мерилоу сообразности. Именно таков был, конечно, по своему изначальному замыслу орден иезуитов, и, пожалуй, ни один непредвзятый исследователь истории не сможет отрицать, что среди его основателей и первых членов было немало поистине благочестивых и святых мужей, воодушевленных возвышенными идеями христианского самоотречения, наделенных великими духовными дарами и дивной божественной силой. Насколько обоснованы упреки, адресованные многим иезуитам того времени из-за их политического влияния и властолюбивых интриг — этот вопрос мы оставляем здесь без внимания, поскольку, в любом случае, он касается лишь отдельных лиц, а не самого института, самое имя которого почти сделалось лозунгом, возбуждающим раздоры и межпартийную борьбу. Впрочем, самые непримиримые проклятия раздаются по преимуществу лишь с той стороны, где и без того заметна страстная антипатия к христианству и религии вообще, и потому их скорее следует считать основанием для благоприятной оценки, которая, однако, выходит за рамки нашей философии истории как вопрос, относящийся к настоящему. Если же в те времена у того или иного иезуита мы обнаружим все тот же абсолютный образ мысли и убеждений во всем, что касается жизни и принципов общественной деятельности, то есть, тот самый полемически-варварский дух и тон в сочинениях и научных трудах, который вообще характеризует эту эпоху, то ни на сам этот институт, ни,

в сущности, даже на отдельных индивидов не следует возлагать вину за то, что являлось не более чем господствующим тоном и всеобщим заблуждением той эпохи, ибо оставаться совершенно чистым и свободным от него есть редчайшая из всех человеческих добродетелей.

Насильственные беспорядки не могут быть успокоены и подавлены иначе как насильственными средствами, однако любого рода система, основанная на устрашении, рано или поздно вызовет реакцию, нередко не менее страшную; если страшное зло лишь насильственно подавляется снаружи, если пламя лишь задыхается под этим гнетом, но целительная сила и снадобье не достигает глубочайшего корня, сердцевины и жизненного средоточия этого недуга, то огонь продолжает таяться под слоем пепла и тихо тлеет, пока первая же искра какого-нибудь несчастного случая не породит новую вспышку еще более неукротимого пламени. Таковы, как мне видится, простые принципы, на которых должна основываться историческая оценка революционных эпох, подобных описанной — принципы, которые и теперь еще представляются нам достаточно очевидными.

В самом начале эпохи брожения, вызванного зарождавшимся протестантизмом, первое большое крестьянское волнение было быстро усмирено и подавлено со всей возможной силой, однако спустя приблизительно десять лет на севере Германии разразилось новое восстание, чей специфически религиозный характер кажется еще более отвратительным, ибо здесь ни с того ни с сего было решено насаждать на земле огнем и мечом незримое Царство Божие, а Иоанн Лейденский был торжественно поставлен над ним новым духовным царем и правил, совершая бесчисленные зверства, пока наконец, этот необузданный фанатизм не был подавлен, и, как всегда бывает в таких случаях, утоплен в крови. Редчайший феномен в эту решающую эпоху представляет английский король Генрих VIII, в догматике крепко державшийся старой католической веры и усердно защищавший ее против Лютера, но при этом решительно отделивший свое королевство от Церкви и провозгласивший себя самого духовным главой, и в этом абсурдном и антихристианском смешении духовной и светской власти ведший себя посреди прочего христианского мира словно халиф Англии. Принимая во внимание также его частную жизнь с этой нескончаемой чередой браков и казнями супругов, этот характер, быть может, являлся еще большим скандалом как для своих современников, так и поныне

в исторической памяти и описаниях того периода, чем кто-либо из правителей, живших до него в Италии или где бы то ни было еще, многие из которых уже были здесь кратко упомянуты. Религиозные казни, происходившие в правление Генриха и коснувшиеся и той, и другой стороны (ибо он находился в конфликте с обеими), носили здесь особо ожесточенный и кровавый характер. По этому поводу я считаю необходимым сделать еще одно замечание: при тогдашнем смешении духовных и мирских дел Церкви и государства без труда могло случиться, что религиозное заблуждение одновременно оказывалось и политическим преступлением и было неразрывно связано с ним. Там, где анархия, порожденная религиозными причинами, разражалась, наконец, открытым насилием, как, например, во время гуситских войн или во время немецкого крестьянского восстания, там не оставалось другого выхода, кроме как воевать и подавлять насилие насилием. Но и в таком случае, по крайней мере, после того как была сломлена и утихла первая ярость, необходимо было начинать и другое, истинно религиозное внутреннее уврачевание этого зла, однако это происходило не всегда или, по крайней мере, не всегда в правильной и поистине христианской форме и с надлежащей кротостью. В своих заблуждениях человеческая натура всегда и везде способна производить самые причудливые и уродливые порождения; однако если такие феномены, когда религиозные заблуждения оказываются связаны с преступными посягательствами на собственную или чужую жизнь, еще могут иметь место, в том числе, и в новейшее время и даже в мирных и цивилизованных странах, то мудрое законодательство и христианское применение права должно прежде всего трактовать их с психологической стороны и скорее врачевать их как душевные недуги, нежели преследовать согласно сухой букве уголовного права. Сколь же более это касается тех случаев, где религиозное заблуждение остается всецело заключенным в своей собственной сфере и еще не возымело практических последствий! Быть может, часто бывает не так уж и легко провести верную границу между благоразумными мерами предосторожности, сдерживающими грозный натиск фанатизма, и совершенно антихристианскими формами преследования. Однако все уголовные процессы церковных или духовных судов того времени, по меньшей мере, противоречили не только духу христианства, но и древним церковным законам и настоятельным увещаниям великих учителей Церкви, единодушно утверждавшим,

что Церковь обязана самым категорическим образом избегать всякого кровопролития. Конечно, этот мудрый и прекрасный закон пытались обойти, предоставляя и препоручая исполнение приговоров светским властям и государству, однако таким образом сам его дух и глубокий христианский замысел неизменно оказывался самым вопиющим образом нарушен и попран — исключая, конечно, наказания за настоящие материальные преступления или случаи необходимой обороны от открытых восстаний. Такое страстное уголовное правосудие, порожденное ожесточенной межпартийной борьбой и еще более возмутительное для христианского чувства и рассудка в силу своей религиозной направленности и окраски, навсегда остается темным пятном, лежащим на всем этом историческом периоде и касающимся не только одной, но, в сущности, и обеих сторон — если и не каждой из них в целом, то, по крайней мере, отдельных частей или членов каждой из этих партий. Хотя начатки этого великого заблуждения и уклонения от закона любви можно обнаружить уже в Средние века и в ожесточенной межпартийной борьбе того более раннего времени, однако сколь же малы были эти первые начатки по сравнению с последующим избытком! Итак, если мы привыкли называть Средневековье варварским или нередко слышим от других такое выражение, то его в гораздо более полной мере можно применить к поистине варварскому периоду Реформации и религиозных войн — вплоть до той эпохи, когда хотя бы видимость внутреннего и внешнего мира не была восстановлена во всем мире и в человеческих умах.





ШЕСТНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

**Историческое значение и дальнейшее развитие
и распространение протестантизма
в эпоху религиозных войн и после нее,
а также о различных путях их завершения
в важнейших странах Европы**

Истинная Реформация, эта настоятельная потребность времени, которой в XV столетии громко требовали не только людские массы и подверженное постоянным колебаниям общественное мнение, но и виднейшие легитимные его выразители в государстве и в самой Церкви, понятие которой уже гораздо ранее было выдвинуто, определено, в достаточной мере признано и повсеместно распространено, должна была быть делом божественным. Тогда бы она уже в самой себе содержала свою высшую санкцию и доказывала ее своими делами, и никогда и ни при каких условиях не оторвалась бы столь решительно от своего священного средоточия и досточтимого основания древнего христианского предания в учениях и обычаях, чтобы без всякого почтения к прежним или нынешним легитимным установлениям закрепить возникший раскол и в самом отрицании искать и найти себе новый, свой собственный фундамент, на котором зиждется ее обособленное мнение. Такая великая, глубокая, всеобъемлющая, действенная, животворящая, но не преступающая пределов древней веры и твердо держащаяся ее божественного средоточия Реформация всей Церкви в то время, как мы можем видеть, не состоялась. Конечно, относящиеся к сему предмету дисциплинарные церковные правила Тридентского собора, бесспорно, содержали и содержат весьма мудрые

постановления и вообще много доброго и полезного, что в дальнейшем было подтверждено в различных католических странах и государствах сообразно со спецификой местных условий каждой из них, определявшей ту меру, в которой эти решения могли быть исполнены, ибо и в католических странах эти дисциплинарные правила, призванные упразднить и исправить различные злоупотребления и восстановить исконный порядок, не повсюду были введены и исполнены безоговорочно и в одинаковой мере. Что же касается всей совокупности и существенного содержания протестантского вопроса, то решения Тридентского собора в силу самой природы этого предмета могли иметь своей целью лишь оборону, защиту и самосохранение. Вместо чаемой Реформации, протестантизм уже довольно рано заявил о себе в качестве нового учения и самостоятельной религии, все более конституируя и утверждая себя в качестве таковой; разрыв уже произошел и недуг уже сделался неисцелимым, прежде чем подоспела помощь и противоядие от него. Протестантизм, каким он действительно был и сделался в истории, является делом рук человеческих и предстает таковым даже в своей собственной историографии. Хотя его приверженцы уже с самого начала выдвинули и провозгласили здесь в качестве критерия оценки то суждение, что если их вера есть нечто большее, чем человеческое творение, то она будет долговечной, и, следовательно, ее долговечность доказывает, что она от Бога. Однако едва ли кто-нибудь согласится принять такое доказательство и считать его исторически убедительным: ведь магометанское лжеучение, которое более чем какое-либо иное разрушает и уничтожает божественное начало в человеке, существует в мире уже полных двенадцать столетий, хотя оно определенно было лишь человеческим творением, если только не чем-нибудь худшим. Но и в качестве человеческого создания протестантизм был, конечно же, великим и эпохальным явлением мировой истории, которое, полностью консолидировавшись вовне (пребывая при этом в непрестанном внутреннем движении), отныне и с этих пор преимущественно определяло течение новейшего времени и дальнейшее образование и формирование христианских народов и государств и вообще европейского человечества также и в его духовной культуре и высшей сфере науки, на протяжении трех последующих столетий вплоть до истории наших дней (хотя в дальнейшем и не совсем в одиночку и не столь исключительно, как в ту первую эпоху, однако в большей степени, чем все остальные, и во всем принимая существенное участие),

было важнейшей движущей силой, определившей всю историческую направленность этого периода и его развития, столь богатого политическими сдвигами и новыми явлениями. Здесь мы должны, прежде всего, остановиться на самом этом великом факте, чтобы вначале целиком осмыслить его сугубо исторически во всем его объеме, а также познать и понять его во всех его последствиях; и даже если мы склонны сожалеть и оплакивать столь немалую продолжительность этого всеобщего раскола в Европе, почитая его великим несчастьем для всего человечества, то одно лишь такое чувство всеобщего сострадания (разумеется, нисколько не предосудительное, а напротив, как результат внутреннего убеждения, вполне естественное) само по себе еще не является достаточным основанием для всемирно-исторического суждения. Во всяком случае, мы не должны сетовать здесь сверх меры и пытаться спорить с судьбой, то есть, по сути дела, с властной волей Провидения, которому было угодно, чтобы все произошло и устроилось именно таким образом. Высшее попущение подобных сугубо человеческих, а не от Бога исходящих предприятий, и, более того, столь великого, всеобщего, долгого и неисцелимого раскола и враждебного противостояния со всеми вытекающими отсюда злополучными последствиями, создающими, по меньшей мере, внешние препятствия и сдерживающими внутренне развитие человечества, составляет, как было отмечено ранее, воистину загадочную сторону исторических явлений, чудесную тайну божественного совета, сокрытого в развитии человечества в целом, а нередко — и притом весьма отчетливо — в жизни отдельного человека. Возможно, эта загадка получит свое окончательное разрешение и все станет ясным лишь тогда, когда сама мировая история полностью закончится и придет к окончательному завершению. Уже сейчас, судя по нынешнему опыту, каким бы фрагментарным и неопределенным он нам ни казался, представляется очевидным уже по меньшей мере тот факт, что воздействие протестантизма отнюдь не ограничилось лишь теми странами, государствами и народами, в которых он стал повсеместно господствующим или хотя бы публично признанным и законодательно установленным исповеданием. Напротив, опасность была гораздо большей, потрясения — гораздо более глубокими, а борьба принимала гораздо более ожесточенный характер именно там, где ни раскол, ни подлинное разделение, строго говоря, вообще не состоялись или оказались непродолжительными и фактически не получили признания, но где протестантизм, а точнее, сам дух его или, по

крайней мере, некая близкородственная ему и весьма сходная тенденция, проникшая внутрь государственного организма, внешне остававшегося католическим, была воспринята им и, до поры пребывая в зачаточном состоянии, втайне подрывала его изнутри до тех пор, пока и здесь, пусть и с опозданием, долго таившаяся стихия сокрушительного обновления с тем большей силой вырывалась из этого обманчивого состояния кажущегося покоя — сперва в общественной мысли и господствующей науке, а затем в действительности и в государстве. Совесть и ум, ищущие успокоения в исследовании истины и собственных убеждений, какую бы сторону они ни выбрали, могут — в позитивном или негативном смысле — обрести твердое основание лишь в простоте догматического решения и решимости веры. Однако для правильного исторического суждения такие простые линии водораздела веры еще не могут служить надежным руководством. Как показала современность или недавнее прошлое, нововведения в образовании и науке, в вере и неверии, в господствующем образе мысли и общественном мнении, возникшие на всецело католической почве, могут оказаться несравненно опаснее и принести гораздо больше вреда и у себя на родине, и в соседних странах и государствах, чем протестантизм, давно достигший устойчивого равновесия с собою самим и окружающим миром и пришедший в состояние незыблемого покоя. Потому интересы и государственная политика все той же Англии, которая как государство по существу является, конечно же, гораздо более протестантской, чем любая другая страна, нередко шли рука об руку с политикой крупнейших исконно католических держав. И разве атеизм восемнадцатого века не произвел в мире столь же значительного переворота или потрясения, как и протестантизм в свои первые годы или даже в эпоху религиозных войн? Несмотря на то, что эта секта неверия не составляла по-настоящему обособленной партии и определенной конфессии, она, как болезнетворное начало духа времени, поразила все вокруг себя: рядом, вверху и внизу — куда бы по воле случая ни заносил ее ветер или дыхание охваченного разрушительной страстью Просвещения.

Хотя по своим личным убеждениям и взглядам я предпочел бы избрать теологическую точку зрения на всемирную историю и принять ее в качестве универсального и последнего решающего мерил исторической оценки и охотно придерживался бы ее во всем, однако теперь, в эти последние времена, когда теологическая точка зрения разделились в себе

и раскололась надвое, а юридический взгляд на вещи, где каждый волен выносить выгодное для себя суждение во всеобщей межпартийной борьбе, приводит лишь к бесконечным пререканиям, — теперь, говорю я, в историческом исследовании чаще всего сама собою непреодолимо напрашивается соответствующая медицинским понятиям патологическая точка зрения на все более и более глубоко поражаемое смертельным недугом человечество¹⁰². Что до органической жизни, то для нее с точки зрения медицинской науки считается несравненно лучше и благотворнее тот случай, когда в решительной, но успешно завершенной схватке не на жизнь, а на смерть чужеродный и враждебный элемент без остатка выделяется и выводится из организма, чем когда такой кризис оказывается подавлен, так что болезнетворная субстанция поражает внутренние органы, и разлад охватывает и потребляет все жизненные силы прямо на корню. Нельзя ли приложить этот принцип оценки в больших масштабах и ко всему историческому целому, коль скоро он неоднократно подтверждается историей

¹⁰² Сравните данное высказывание о вынужденном «патологическом» рассмотрении истории с гордым заявлением Я. Буркхардта о «болезненном» рассмотрении истории в его «Размышлениях о всемирной истории». Буркхардт пишет: «Нашим исходным пунктом является единственно прочный, постоянный и возможный для нас центр — терпеливо переносящий тяготы и страдания, целеустремленно ищущий и действующий человек, такой, каков он есть, всегда был и будет; поэтому наше рассмотрение будет до известной степени болезненным». Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М., 2004. С. 13. Такие перестановки акцентов лучше всего показывают произошедший за полстолетия после смерти Ф. Шлегеля ментальный сдвиг в сторону «беспроblemной» секуляризации исторической мысли, уже не терзаемой муками совести по поводу устранения «высшей точки зрения». Впрочем, что верно для последователей Буркхардта, всей серой массы «ремесленников» исторической науки, то неверно для самого мэтра. Великий историк как раз-таки «мучился совестью» в связи с этой проблемой и в итоге радикально изменил свою точку зрения, вернувшись к религиозному воззрению на историю. Правда, его воззрение оставалось пессимистичным, в отличие от умеренно оптимистического у Ф. Шлегеля. Ведь Шлегель еще надеялся на скорое преображение западной культуры с принятием ею обратно своей мощной средневековой основы, а Буркхардт видел впереди крушение дорогой его сердцу ренессансной и пост-ренессансной культуры, и возрождение религии уже не связывал с восстановлением прошлого, но с уничтожающей и прошлое и настоящее волной, поднятой из извечно-темной основы. Кто прав? Как ни странно, оба правы. Восстановление религиозных ценностей в христианстве унесло большую часть дорогих сердцу современников тех событий эллинистических форм, обнажило саму основу культуры и создало на этой основе совершенно новую цивилизацию. Видимо, то же произойдет и в ближайшие столетия с самой христианской цивилизацией. — *Прим. науч. ред.*

отдельных стран? Если бы протестантизм был в самом начале подавлен извне и потерпел поражение, то не продолжал ли бы он, а точнее, то, что составляет его существенное содержание: дух революционного обновления, дух губительного отрицания, одним словом, дух рационализма — действовать изнутри? И не оказалось ли бы в дальнейшем это внутреннее воздействие несравненно более опасным и разрушительным, как, видимо, позволяют думать отдельные примеры из частного опыта тех стран, где события развивались именно таким образом? Я не хотел бы, чтобы это предположение, равно как и высказанные мною ранее схожие мысли воспринимались как категорические утверждения, поскольку затронутый мною догматический вопрос и его не подлежащее сомнениям решение лежат целиком за пределами предначертанных мне границ, а его окончательное разрешение вкупе с его практическим осуществлением и подлинным примирением находятся не в человеческой власти, но могут быть дарованы лишь самим Богом. Поэтому все сказанное следует считать лишь попыткой примирительного взгляда на историю и, самое большее, ее теодицеи, как это только и может быть уместно с философской точки зрения. Несомненно, что и само это противостояние, и продолжающееся состояние борьбы повлекло за собою не только ревностное состязание в научном познании, опытах и усилиях, но и к взаимной бдительности в жизни и ее нравственном устройении, а также в государственном устройстве, что поддерживало в обеих сторонах благотворное состояние бодрствования и возбуждения. Во внутренних перипетиях борьбы между противостоявшими стихиями в некоторых странах зародилась и новая, третья стихия, которая, будучи не во всем желательной и не вполне христианской, тем не менее, должна быть признана исторически плодотворный и чрезвычайно примечательной или, по крайней мере, чрезвычайно важной. Среди восьми или девяти стран, в которых протестантизм пустил крепкие корни и обрел почву для продолжительного существования, имеются преимущественно три, в которых он показал себя в этом смысле продуктивным и исторически плодотворным и где из поначалу разрушительного внутреннего конфликта противоборствующих стихий в конечном итоге образовались три явления, совершенно новых для истории развития человечества. В Германии это был религиозный мир, который с того времени составляет подлинное основание ее дальнейшего благосостояния, определяет ее самобытное существо, ставшее теперь

уже характером этой нации, а также указывает и объемлет собою ее будущее духовное предназначение. В Англии это прославляемая или, как здесь говорят, благословенная конституция, уже отголосок и отдаленный отблеск которой, ее внешняя форма и пустая видимость или же ее мертвая буква были или стали высшей целью вождельений немалого числа иных наций. Наконец, во Франции это была научная революция, вызванная опосредованным влиянием протестантизма и внутренним конфликтом многочисленных протестантских или полупротестантских стихий, вскоре за которой последовала и ужасная политическая революция, а затем, после краткого переходного периода деспотизма, здесь, в согласии со всеобщими европейскими принципами, наступила великая эпоха внутреннего возрождения. Оно, разумеется, все еще не завершено и находится в состоянии самой оживленной и, можно даже сказать, отчасти непредрежденной борьбы, и потому эта эпоха тем более достойна величайшего внимания историков.

Среди стран, непосредственно граничащих с германской родиной и центром протестантизма, Швейцария с самого начала стала ареной ожесточенной гражданской войны, в которой сам основатель этой новой религии пал на поле брани в одном из сражений. Между тем, свойственное швейцарцам крепкое чувство союзного единства, потребность в совместной обороне и приблизительное равенство в численности и силе обеих партий привело и здесь к довольно быстрому утверждению религиозного мира; опосредованное влияние протестантизма из французской Швейцарии на Францию неизменно оставалось весьма сильным, начиная от Кальвина и кончая Руссо. В Венгрии, которая и без того была наполовину завоевана турками и в еще большей мере была подвержена этой угрозе, под властью австрийских правителей также очень скоро был заключен религиозный мир по образцу немецкого, который и здесь стал одним из государственных принципов и был включен в конституцию как одна из существенных ее частей. В Польшу протестантизм проник во второй половине шестнадцатого века, однако не в качестве своей изначальной немецкой вероучительной системы, а в виде позднейшей секты Социна, в которой, согласно с привычным ходом развития единожды начавшегося обновления и схизматически обособленного мнения, наряду с богослужебными таинствами было отвергнуто уже и существенное основополагающее таинство христианского богословия — учение о Троице. В те годы эта секта не была особенно многочисленной — ни

в Польше, ни где-либо еще — и жила строго обособленно, сама по себе; но тем большее число приверженцев снискала она себе по всей Европе в период господства неверия в восемнадцатом веке, а в некоторых странах едва не сделалась господствующей. О том, что Пруссия, страна Немецкого ордена, стала светским герцогством, которое затем более ста лет оставалось тесно связано с Польшей, было уже упомянуто ранее. Ни в какой иной европейской стране христианство не было введено столь поздно, как в Литве — лишь в конце четырнадцатого столетия. В этих некогда русских провинциях, равно как и в венгерских землях и граничивших с ними странах, немалая часть населения принадлежала к греческой религии. В последующей борьбе и в постоянных войнах с турками, шведами и русскими все эти гетерогенные стихии, а напоследок также и действительная или мнимая приверженность диссидентов Швеции, умножили внутреннее брожение и анархию в этой стране вплоть до окончательного внутреннего распада и раздела польского государства. Россия, чью великую силу возродил в конце пятнадцатого века Иван Васильевич Великий (находившийся с императором Максимилианом в дружеских отношениях и вердивший права немецкой Ганзы в своем царстве), пока еще оставалась совершенно изолированной и закрытой для всякого рода непосредственных протестантских влияний; то же самое касалось и расположенных на другом краю Европы Испании и Италии. Скандинавские страны в начале пятнадцатого века были объединены в один государственный организм, в котором они, с чисто географической точки зрения, могли образовать стабильную, крупную и удачно расположенную северную державу; с небольшими изменениями они сохраняли свое единство вплоть до шестнадцатого столетия. Однако сами скандинавские нации и общественное мнение были настроены против такого объединения; и Густав Ваза произвел и утвердил в Швеции одновременно полное и решительное отделение от Дании и выход из союза с нею, укрепление собственной монархической власти и владычества и введение протестантизма, который здесь, в противоположность иным странам, был вызван не под давлением народного мнения, а насажден исключительно сверху, по желанию самого суверена, который сумел претворить свою волю с настойчивой расчетливостью и немалой осмотрительностью, неспешно, планомерно и последовательно, сохраняя, однако, епископальный строй. В семнадцатом веке, благодаря влиянию протестантизма в Германии, а также его значению в отноше-

ях между Пруссией и Польшей, Швеция на некоторое время стала великой европейской державой; решающую роль сыграла при этом личность Густава Адольфа, а также некоторых других шведских королей. Внутри самой этой страны в протестантизме не развилось ничего нового, своеобразного или примечательного в историческом отношении, в отличие от той же Англии или самой Германии. Что же касается введения протестантизма в Дании, то здесь, практически как и в Швеции (хотя и не в той мере), оно осуществлялось преимущественно сверху, в Исландии — почти насильственным образом. В этих спокойных странах Севера в католической церкви происходило, должно быть, не так уж и много подлинных злоупотреблений, особенно таких, что могли бы вызывать большое возмущение, как это случалось в иных, южных странах. Нравы были здесь гораздо проще, а моральная испорченность гораздо менее знакома и распространена, чем даже в Германии. И потому тем прочнее коренилась в здешних умах приверженность старой вере, так что выкорчевать ее можно было лишь с великим трудом. Шведский революционный дух, который и в более ранней истории нередко проявлял себя в межпартийной борьбе высшей аристократии, теперь в качестве насажденного сверху и вооруженного протестантизма открыл для себя обширное пространство и немалую свободу действий, участвуя в польских беспорядках, связанных также с Пруссией и другими соседними странами, но особенно — в великой религиозной войне, охватившей Германию; и лишь позднее, когда время шведского могущества и доминирования в Европе уже миновало, он оказался более стеснен и вынужден был обратиться против себя самого, после чего его дальнейшее развитие обернулось рядом внутренних катастроф. В Англии протестантизм был введен, в сущности, лишь при преемнике деспотичного Генриха, причем в двух различных формах и с двумя партиями, находившимися между собою в ожесточенном конфликте. В собственно Англии сохранялся епископальный строй, в Шотландии верх одержали пуритане — методисты того времени. Однако за этими событиями последовало еще правление Марии Католички, супруги испанского короля Филиппа, и католическая реакция, а вслед за ней — еще одна, теперь уже в духе протестантизма, который по-настоящему консолидировался лишь благодаря настойчивости и уму королевы Елизаветы; жертвой всех этих событий пала голова несчастной Марии Стюарт. Одна реакция сменялась другой, за казнь короля последовало учреждение республики и единовластие протектора,

многочисленные схватки шотландских и английских протестантов и борьба их совершенно различного национального духа, затем новое обращение или, по крайней мере, симпатия очередного правителя к католицизму — так развивались события, пока, наконец, король Вильгельм, призванный из Голландии за сто лет до начала французской революции, обеспечил протестантизму в Англии окончательную победу и привел к зрелости благословенную конституцию этого острова, которая впоследствии неоднократно воспроизводилась, варьировалась и распространялась на европейском континенте и в других частях света. На этой основе и из нее самой развился также и тот оказавший влияние на всю систему европейских народов и государств совершенный государственный протестантизм, который столь отчетливо характеризует Англию в Новое время, в эпоху ее могущества, и за которым почти сразу последовал или который сопровождал столь же решительный протестантизм в науке. Я хотел бы лишь заранее отметить, что этот протестантизм в науке никоим образом нельзя смешивать, а напротив, следует тщательно отличать от научной революции и безудержной анархии в мышлении и духовной культуре, хотя в своем вырождении и одичании он действительно может легко и быстро в них превратиться. Ибо новое язычество и открытый атеизм восемнадцатого столетия нашли себе гораздо больше сторонников и гораздо решительнее выступили на континенте, чем на этом конституционном острове, где искусственное равновесие между истиной и заблуждением установилось также и в науке. В Нидерландах протестантизм был действительно одной из значительных, однако не единственной причиной отделения от Испании, ибо бургундский дух и прежде нередко бывал весьма беспокойным, а абсолютистское правление испанцев пробуждало недовольство, неприятие и попытки противодействия также и в других странах. После того как преимущественно протестантская половина отделилась, образовав суверенную Голландию, она приобрела весьма значительное влияние на Англию во всем, что касалось религиозных вопросов и течения политических дел, подобно тому как Нидерланды вообще оказывали немалое влияние на Францию. Здесь, в Голландии из протестантизма не развилось ничего действительно нового и подлинно самобытного, как в Германии или Англии, если только не признать таковыми полнейшую терпимость по отношению ко всем сектам, столь широкую, как нигде более. Испанцам предстояло решить нелегкую проблему и внутри своих отеческих владений: побороть древ-

ную и глубокую народную оппозицию в лице довольно многочисленных потомков бывших завоевателей и властителей этой земли, все еще державшихся арабских обычаев и языка, а отчасти, должно быть, и магометанского учения и взглядов; борьба, начавшаяся при Филиппе II принятием весьма суровых законов против этих морисков, еще более жестоко завершилась при Филиппе III их всеобщим изгнанием в Африку. Что при многократных и чрезвычайно близких контактах между Германией и Испанией в правление Карла V вместе с императорскими войсками на испанскую землю могли проникать и новые немецкие веяния, и даже, может быть, в гораздо большей мере, чем теперь можно с уверенностью исторически установить и продемонстрировать с фактической точностью, в целом представляется весьма вероятным и может служить, хоть и не полным оправданием, то, по крайней мере, объяснением многих распоряжений испанского правительства. Однако в любом случае, испанский дух и характер, во всех остальных отношениях столь благородный и прямой, чуждый как коварного своекорыстия, так и легкомысленной нерешительности, в продолжительных распрях и ненависти, свойственных ожесточенной религиозной войне, делался все более односторонне-исключительным и ожесточенно-абсолютным. Тем не менее, эта возвышенно настроенная нация сохранила и множество присущих ей рыцарских добродетелей и явила миру немало редкостных и высоких религиозных даров духа, как, например, у святой Терезы, как это видно и в чудесных творениях этой женщины, которые при святости своего содержания отмечены столь неподражаемой красотой языка. Ни у какого иного народа дух и характер Средневековья, причем в своих благороднейших и прекраснейших проявлениях, во всем образе и направленности мысли, в духовной культуре и даже в творениях фантазии и поэтического искусства, не сохранялся и не продолжал действовать столь долго, как у испанцев; и, в сущности, отнюдь не случайно, а весьма характерно и исторически примечательно, что самобытная поэзия Средних веков в своем развитии именно здесь достигла своего окончательного расцвета и высшего совершенства. В Италии на протяжении всего этого столь печального в остальных отношениях исторического периода гражданских войн в Европе и всеобщего религиозного раскола по-прежнему процветали искусство, поэзия с ее изящным языком, а также делала успехи классическая ученость; однако трудно избавиться от мысли, что эта прекрасная, роскошная духовная культура была похожа на цветущий сад, раскинувшийся на скло-

нах вулкана. Пожалуй, Италии еще не угрожала тогда какая-либо близкая опасность, хотя о глубинном образе мысли нельзя судить лишь по тем мнениям, которые признаны публично. Между тем такие явные эксцессы антикварно-языческого энтузиазма и умонастроения уже не могли проявляться здесь столь беспрепятственно и открыто, как это бывало прежде, в эпоху первоначального брожения и ложного чувства безопасности в блестящем пятнадцатом веке. Более того, из страха опасностей и злоупотреблений здесь порою в отдельных случаях притеснялась и подлинная наука, а ее развитие вообще сдерживалось, так что ветхая схоластика дольше, чем подобало, сохраняла здесь привычное ей исключительное владычество, хотя сама она как ищущий пререканий и отчасти сам себя отрицающий средневековый рационализм мало могла удовлетворять потребностям истинно христианской науки. Не следовало забывать, что всякое новое заблуждение или всякий новый облик, каждый раз принимаемый древним Протеем сообразно с изменчивым духом времени, всегда требует появления если и не новой науки (ибо, конечно, наука как таковая, то есть, как говорили древние, наука о вещах божественных и человеческих, обращенная к сокровеннейшей сфере высших предметов и вопросов, взятая сама по себе, должна считаться неизменным во все времена зданием, покоящимся на основании божественной истины), то, по крайней мере, ее новой формы и направления и возрождения ее высшей силы. Хотя досточтимый епископ и благочестивый муж Божий Карло Борромео в своем учебнике религии дал пример того, как основательность и глубина священного знания почти всегда соединяется с кристальной ясностью выражения и предельной простотой беспристрастного суждения. Однако собственно академическая наука на протяжении еще долгого времени оставалась чрезмерно схоластической; что всегда приносило ущерб и потери для католического дела — когда первые начатки лучшей или по крайней мере не вполне несогласной со своими высшими целями философии, а также улучшенной и расширенной для будущего времени науки теперь в лице Бэкона и Лейбница появились или впервые обратили на себя внимание на протестантской стороне. Во Францию протестантизм уже в самом начале его возникновения и развития проник из Швейцарии, особенно из французской, что доказывает уже само имя гугенотов. Религиозные войны разразились здесь гораздо позднее, чем в Германии, а борьба религиозных партий приняла тот особый оборот, что принцы и князья и вообще группировки

высшей аристократии и даже противоборствующие партии при дворе использовали протестантизм (составлявший в самом народе и особенно в государстве не более чем меньшинство, однако отнюдь не незначительное и всегда представлявший собою реальную силу) в качестве инструмента для достижения своих политических целей. Из этого особого сочетания происходит и самобытный характер французской религиозной борьбы, отличающий ее от немецкой. Религиозные войны не были здесь непрерывными и никогда не продолжались столь долго, как в Германии; не были они и столь опустошительными, как Тридцатилетняя война. Однако столь же непродолжительным оказывался здесь обычно и религиозный мир, возобновлявшийся пять или шесть раз, однако вскоре вновь нарушавшийся. Даже Нантский эдикт, призванный решительно положить конец этой долгой анархии, не смог предотвратить вспышки новых беспорядков после убийства Генриха IV, а затем был вновь погран даже в более позднюю эпоху. Однако тогда примешавшиеся политические интриги недовольных аристократов и прочих предводителей оппозиции придавали религиозной войне чрезвычайно озлобленный характер, а страстный дух или склонность к ответным ударам, отличавший обе партии при переменах в общественном мнении и во власти, неизменно сопровождал все политические приливы и отливы, делал ее крайне труднопреодолимой и упорно противящейся установлению всякого устойчивого мира между этими возмущенными стихиями. Такой озлобленный характер французских религиозных войн (который, впрочем, не менее возмутительным образом проявлялся и в Англии как в царствование Генриха VIII, так и в вероломной политике Елизаветы и уж в совершенно анархической форме во время революции, свергнувшей Карла I, и его казни, а также в последующее правление Кромвеля) достаточно часто и недвусмысленно подчеркивался и освещался самими французскими историографами. Однако с точки зрения дальнейших исторических последствий нам представляется более важным то историческое наблюдение, что здесь, во Франции, исход борьбы, в сущности оставался непредрежденным (о чем с самого начала свидетельствовали постоянные колебания то в одну, то в другую сторону), и что она не достигла окончательного результата и не обрела подлинного завершения ни конституционным путем, как в Англии, ни в постоянном, надежном, прочном и непоколебимом религиозном мире, как в Германии, но была оставлена потомству в качестве неразрешенной политической проблемы вместе с заключенным в ней болезнетвор-

ным началом и расколом в религиозных убеждениях, который оказывал воздействие и на саму католическую сторону, где также начал пускаться прочные корни. Во Франции протестанты находились в решительном меньшинстве и лишь под влиянием побочных обстоятельств временно приобрели силу и значение в самом начале эпохи религиозных войн; в Англии они, по-видимому, уже очень рано получили большинство, хотя и не столь подавляющее, как составляемое ими теперь. Германия же была уже тогда, как и сейчас, разделена между старой и новой партией на две части, примерно равные по числу жителей; и хотя не только этим определяется политическая сила, складывавшаяся в те времена из столь многих разнородных элементов, однако обе соперничавшие стороны были слишком сильны, чтобы их можно было так легко одолеть в этой борьбе. Отсюда вытекала насущная потребность в подлинном и прочном мире и осознание его настоятельной необходимости. Однако поначалу и в первую очередь это привело лишь к тому, что война стала еще более упорной и продолжительной; хотя еще большую роль здесь сыграло вмешательство почти всех крупных континентальных европейских держав как с той, так и с другой стороны. Нигде более религиозная война не была столь всеобъемлющей, запутанной, упорной, долговременной, сеявшей опустошение на протяжении нескольких поколений. Эта тридцатилетняя немецкая эпоха опустошений, в которой погибли некогда цветущая культура и лучшие силы страны, составляет великий исторический водораздел между прежней Германией, бывшей в Средние века могущественнейшей, наиболее процветающей и богатейшей страной Европы, и новой Германией последней и более счастливой эпохи, медленно оправлявшейся после повсеместных разрушений и продолжительного упадка сил и как бы вновь возвращавшейся к свету и жизни из гроба или смертного мрака старого раздора. Начало этой войны меньше всего должно нас изумлять — скорее, следовало бы даже удивляться, что она не разразилась еще раньше; а то, что эта таившаяся война так долго не проявляла себя внешне, могло лишь усугубить тяжесть и ожесточенность ее первых схваток. Прежний религиозный мир был, в сущности, не более чем перемирием, в очередной раз продленным временным соглашением, где оставалось достаточно пунктов, достичь в которых справедливого и полюбовного соглашения даже при самой доброй воле с обеих сторон казалось делом весьма трудным, порою почти невозможным. Все вокруг было пропитано горячей смесью, и пламя могло вспыхнуть от первой же случай-

ной искры; что поначалу и случилось в Богемии, где прежние гуситские волнения были, конечно, подавлены силой (что на первых порах и не могло быть иначе), однако, как теперь оказалось, не были исцелены до глубинных истоков своего существа, до самого корня этого зла, но оставили после себя достаточное количество болезнетворного вещества. Впрочем, это первое начало не осталось исключительным предметом и не было единственным поводом для войны, которую некоторые историки скорее склонны рассматривать как целую последовательность и сложную совокупность многих, отчасти различных по своим целям войн. Вся страна и даже само время, казалось, стали жертвой распада в этой войне, которая, как казалось, стала теперь всеобщим состоянием, господствующей привычкой и постоянной формой общественной жизни, необходимостью ее второй природы. Между тем уже столь многие выдающиеся части и фрагменты этой великой трагедии: религиозное умонастроение, стойкость и сила характера Фердинанда II, высокая воинская слава и завоевания шведского короля Густава Адольфа, полководческие таланты Валленштайна и его злополучная гибель, — а также многие ее акты и сцены были выведены и изображены рукою мастера, что было бы лишним подробнее останавливаться на этих великих исторических воспоминаниях, хотя сам по себе этот материал по-прежнему остается неисчерпаемым. Мирный договор, порожденный, наконец, высшей необходимостью, является тем предметом, который с выбранной нами точки зрения привлекает к себе наибольший интерес. В главе о компенсациях, он, впрочем, не отличается ничем особенным от любого другого договора о всеобщем мире, в котором страны или территории подвергаются распределению или секуляризации, а количество претендентов на компенсации гораздо превосходит число распределяемых долей. Однако в качестве договора, который, наконец, восстановил и, насколько возможно, утвердил мир в империи, он, против обыкновения, основывался не на собственной силе, а зависел уже от всей политической системы европейских государств и господствовавшего в ней принципа равновесия, чем уже тогда и особенно в более позднее время немало способствовал распространению этой идеи. Но здесь я буду рассматривать его преимущественно лишь как мир религиозный или окончательное завершение всяких религиозных войн, поскольку с этой стороны он уже более не был существенно нарушен, — как прочный религиозный мир, который по своему существенному содержанию укрепился и во всеобщем убеждении, в то время как

оба других отношения, в которых он, конечно, представляется весьма несовершенным, уже по большей части утратили практический интерес. В историческом рассмотрении от своего истока до завершения он уже по самим трудам, затраченным на достижение справедливости, как наконец достигнутый результат неустанных усилий не имел себе равных среди всех заключавшихся прежде мирных соглашений. И именно потому он является также основой европейского права народов, а также важнейшим источником для изучения дипломатического искусства мира в Новое время, вплоть до наших дней. Именно отсюда и проистекает его неколебимая прочность и постоянство. Все народы и вся та эпоха благословляла его как завершение столь долгих несчастий, однако несравненно важнее было его значение для потомства. Религиозный мир, установленный Вестфальским договором, стал в Новое время второй натурой и подлинным характером германской нации, поскольку ее историческое предназначение, в том числе, и в духовной сфере, может быть найдено либо в нем, либо нигде более. Можно сказать, что, как и любой мир, в котором не достигнуто согласие и сохраняется разделение относительно главного принципа и глубочайшего средоточия спорного правового вопроса, этот мир представляет собой лишь перемирие и очередной интерим — однако священное и вечное перемирие и божественный интерим, то есть промежуточное мирное состояние, установленное до окончательного божественного решения, которое, несомненно, не может не воспоследовать. Вполне безразличными с точки зрения всемирно-исторического суждения об этом договоре и его значении применительно к прошлому, настоящему и судьбоносному будущему, являются также юридические размышления о том, насколько и с какими ограничениями он может считаться все еще имеющим силу и налагающим те или иные политические обязательства в изменившихся обстоятельствах последнего времени. Ибо он уже целиком воплотился в саму жизнь, стал действительностью в большей мере, чем любой иной договор; а с той широкой, охватывающей также и будущее, всемирно-исторической точки зрения, после того как большинство заключенных в нем частных потеряли свое значение или утратили объект своего применения, всеобщая цель и дух этого религиозного мира как целого или его высший смысл гораздо более приблизились к своему подлинному смыслу и исполнению, чем это было прежде, когда речь шла единственно о его практическом применении к особым случаям. Таким образом, этот, хотя и су-

губо внешний, однако заключенный навечно религиозный мир или перемирие, это пусть и промежуточное, однако священное состояние есть лишь введение и преддверие иного, гораздо более всеобщего духовного и возвышенного божественного мира, категорически необходимого нашему времени и всей новейшей истории для наступления эпохи окончательного возрождения. Ибо как может христианство, то есть, сама вечная истина, навсегда оставаться раздираемой расколом? Впрочем, решение этой великой проблемы последних трех столетий и особенно нашего времени отнюдь не является делом столь уж запутанным (если только не считать его таковым и не обращаться с ним соответственным образом), а, напротив, чрезвычайно простым. Ведь лишь когда знание и вера станут совершенным и живым целым, что именно и составляет задачу всякой истинной и высшей философии, то и вера сама собою вновь обретет в себе единство, вслед за чем прекратятся также и раскол, и разделение.

Но и для внешних политических и общественных отношений нашего времени и современной эпохи этот великий и фундаментальный договор был и является основой христианского взгляда на европейское право народов и внешнюю политику, который в тех случаях, где абсолютная правда все еще остается недостижимой (а достичь ее удастся крайне редко), по крайней мере, предпочитает всякому иному решению мирный компромисс, основанный на праве справедливости и христианском законе любви. Именно такое воззрение во все последующее время неизменно определяло решительно мирный характер консервативной политики великой германской державы — Австрии. Хотя религиозные войны впоследствии еще несколько раз имели место или начинались в Англии и во Франции, однако это они были не более чем последними содроганиями или послеродовыми схватками той ужасной эпохи конвульсивной борьбы. Скоро улеглись и они, и, следуя примеру и прецеденту этого повсеместно прославляемого великого немецкого религиозного мира, веротерпимость вскоре без лишних слов была всюду признана неприкосновенным и необходимым христианским принципом для всей Европы.

К последним и наиболее ужасным последствиям всеобщей церковной революции относится злополучная казнь Карла I (уже упомянутая ранее для связности изложения), состоявшаяся в Англии почти сразу, спустя всего один год после заключения великого религиозного мира в Германии, и лишь спустя сорок лет здесь последовало установление прочного национального

мира и окончательное утверждение конституции. Во Франции к достойным наибольшего сожаления событиям и примечательным характерным чертам этого ужасного времени относится внезапная отмена Нантского эдикта, установившего в этой стране последний и хотя бы по видимости относительно прочный и продолжавшийся уже немалое время религиозный мир. В сущности, это событие не должно нас удивлять, поскольку Нантский эдикт по сравнению с великим и фундаментальным мирным договором в Германии, по сути дела, практически не содержал в себе никакой прочной и надежной гарантии: ни внутренней, ни внешней, — так что все зависело здесь от произвола абсолютной власти. Однако тогда это распоряжение, запоздалое и устрашающее по меркам своего времени и обстоятельств, оказалось крайне неожиданным как в самой Франции, так и за ее пределами. К пагубным последствиям этой меры относится также жесточайшая истребительная война против народного протестантизма в Севеннских горах, где тот мог отчасти быть связан со схожими религиозными движениями более раннего времени и происходить еще от древних сект Средневековья. Даже отрешившись от всяких благих надежд на освященный правом религиозный мир и рассматривая его расторжение чисто исторически, как и любой другой правительственный акт, можно лишь сказать, что такое злоупотребление со стороны большинства (а его преимущественному влиянию оно, без сомнения приписывается общественным мнением) в стране, где подобные шаги неизменно вызывали страстную реакцию, не могло не стать крайне опасным примером; так что еще и в наши дни проживающие в Германии французские эмигранты остаются историческим отголоском изгнания и переселения гугенотов из Франции в те времена. Впрочем, такая насильственная попытка избавиться от протестантизма все же не могла достичь своей главной и первейшей цели, ибо сам дух его уже пустил во Франции слишком глубокие корни, чтобы это зло можно было преодолеть без духовной победы над ним и его исцеления, таким сугубо механическим способом. Не прекратилось даже протестантское влияние из французской Швейцарии — напротив, лишь после этих событий оно стало действительно сильным; однако несравненно более глубокая рана была нанесена католическому делу во Франции распространением возникшего во французских Нидерландах янсенистского учения, которое, пользуясь поддержкой немалых литературных талантов, приобрело столь могущественное влияние в тогдашней Франции. Янсенизм

заключал в себе самое существенное содержание кальвинова рационализма, смешанное с пиетистскими чувствами и преподнесенное в как нельзя более католическом облиии. Причинить ущерб Франции и господствующему в ней церковному учению и общепринятым взглядам могла не мелкая группа отлученных от церкви и абсолютно изолированных от обеих сторон утрехтских янсенистов, а умеренный или тайный янсенизм, оставшийся и все более разраставшийся внутри галликанской церкви. К тому же, все эти более или менее явные или тайные протестантские влияния получили неограниченную санкцию благодаря принципу и понятию галликанской церкви, сформулированному самой высшей государственной властью. Ибо если даже в условиях протестантского государственного строя, как в Англии, понятие национальной церкви, такой как англиканская, сколь бы оно ни противоречило сущности и важнейшему принципу христианской веры, все же может быть хотя бы объяснено из своего окружения и в силу такого происхождения является понятным, то на католической почве и основании, где не может быть места столь неумеренному чувству национальной обособленности, оно совершенно абсурдно, поскольку содержит в самом себе собственное опровержение. Древнее понятие и принцип германской церкви в данном случае не могут быть привлечены и использованы в качестве контраргумента, поскольку они касались лишь внешних отношений и прав, чтобы более точно определить границы папской и императорской власти, вовсе не затрагивая при этом глубинного духа и догматических воззрений; впрочем, и к указанному понятию в эпоху засилья гибеллинов примешалось немало заблуждений, послуживших первым зачатком произошедших впоследствии разделений. Во Франции же эта скрытая галликанская полусхизма, не менее губительная по своим историческим последствиям, чем открыто провозглашенная греческая схизма, самым существенным образом способствовала упадку религии, продолжавшемуся вплоть до эпохи реставрации. Не только разделение с Римом, доведенное до такой крайней степени, но и неоднократное возобновление альянса со шведскими завоевателями и с могучей турецкой силой, все еще представлявшей тогда угрозу всему христианскому миру, со стороны католической державы в глазах общественного мнения было весьма беспокоящим явлением; и, по меньшей мере, надо признаться, что внешняя политика Людовика XIV практически ни в одном отношении не была хоть сколько-нибудь христианской, и что она как нельзя

более подготовила почву для морального и религиозного разложения государства при его более слабых преемниках и сама положила ему начало. Впрочем, во внутренней политике Людовик XIV, как и многие из его предшественников, умел все более тесно соединять свое монархическое всевластие с благоразумной последовательностью и энергичной волей, делая его все более абсолютным. Однако великие проблемы той эпохи, религиозные вопросы, разделявшие тогда весь мир и составлявшие предмет споров и высшую цель всякого практического мышления и начинания, никак нельзя было привести к прочному, приемлемому и удовлетворительному для развития человечества решению одним лишь абсолютным произволом и односторонними действиями монархической власти; а если абсолютная власть укрепляется изнутри таким образом, не принимая во внимание легитимные права иных наций и собственных подданных, то в чем же заключается гарантия того, что она будет и может быть долговечной? Блестящая эпоха тогдашней французской литературы составляет одну из главных исторических опор, на которых держится слава правления Людовика XIV и его столетия; хотя этот особый род и форма новейшей культуры, в своем развитии достигшей теперь уже полной зрелости, лежит уже в иной области, которая не соприкасается со всеми этими политическими сомнениями или религиозными порицаниями тех аспектов истории этого правления, которые содержат первый зародыш будущих исторических тревог и несчастий. Чисто эстетическая сторона суждений об искусстве как таковая всецело лежит за границами предначертанной мне сферы, в которую предметы подобного рода могут быть включены лишь в той мере, в какой они определяют характер своего времени и своей нации в связи с историческими обстоятельствами последних и их положением в мире. И как ни в какой другой стране дух Средневековья и схоластически-романтический характер первой эпохи новой европейской духовной культуры не сохранялся столь долго, в том числе, и в тоне чувства и в манере выражения, нигде даже и в более позднее время не развивался он столь прекрасным образом и не раскрыл себя с такой полнотой, как в Испании; точно так же самобытную сущность тогдашнего духовного направления во Франции я хотел бы видеть гораздо более в том, что оно с величайшей тщательностью и самой последовательной скрупулезностью старалось избегать двух основных ошибок духовной продукции Средних веков: схоластической неясности и запутанности в развитии мысли, с одной стороны, и чистой фанта-

зии в изобразительных произведениях — с другой. На этом основании точности, очищенной от всех преувеличений и неясностей, покоится изысканность хорошего вкуса, явленная во всех образцах светского и духовного, исторического, поэтического и научного красноречия, на которые был столь богат тот век; а французский язык, благодаря той легкости и определенности, которой он обязан этим понятиям и масштабам, стал всеобщим образцом и удобнейшим инструментом не только для устного, но и для письменного общения всех образованных народов и сословий Европы в восемнадцатом столетии. Однако во всеохватывающей исторической перспективе и всеобщем обозрении сугубо внешний масштаб, заданный приятностью формы, не может считаться исключительным, повсеместно применимым и превосходящим все остальные; и потому здесь я хотел бы, не пытаясь сравнивать совершенно несопоставимые предметы и всецело оставаясь в своей собственной или родственной ей сфере, добавить лишь то замечание, что, хотя среди всех классических писателей и ораторов того времени величайшим по стилю и, в то же время, содержательнейшим и богатейшим идеями является Боссюэ, все же наивная разговорчивость и детское очарование еще не вполне правильного и скорее старофранцузского языка святого епископа Франциска Сальского также не лишены своеобразной прелести и содержат в себе немало привлекательного, в то время как по философской глубине и ясности христианского духа он далеко превосходит предыдущего, гораздо более известного миру писателя. Латинский язык в XVII веке все еще продолжает господствовать в собственно академической науке, в которой тогда открыла новую эпоху или, по крайней мере, стала пользоваться всеобщим авторитетом философская система Декарта. Его своенравные природные вихри и строгие и последовательные рационалистические доказательства вещей, превосходящих всякий разум, содержат, однако, скорее первые зачатки различных метафизических и физических заблуждений последующего времени, чем надежный фундамент простых начал христианской философии и науки духа. Непосредственно к нему примыкает Спиноза, чья рационалистическая система пантеизма, основанная по внешней форме на математических доказательствах и одновременно подержанная построенной на ней и, на первый взгляд, в главных своих чертах чистой и благородной моралью, была воспринята в своем глубоком метафизическом значении преимущественно в одной лишь Германии и нашла в немецкой науке своих подра-

жателей и критиков. Однако негативное направление этой философии вместе с другими сочинениями того же мыслителя и иных авторов, писавших об Откровении и оспаривавших его, уже тогда, в то время оказывало широкое влияние; и потому эта система является важной частью общей картины науки этого периода как ее характерная черта или знаменательный переходный пункт. Предметом отрицания Социна было таинство бытия Живого Бога, а точнее — идея Троицы и христианская вера в нее. В философской системе Спинозы научный протестантизм или, иначе говоря, прогрессивный дух отрицания сделал еще один шаг вперед, обратившись против личного бытия или живой личности в Боге и оставив для понятия божества лишь пустую схему бесконечного. Напротив, в системах Бэкона и Лейбница были представлены две различные исходные позиции, на которых в эту эпоху могла строиться высшая и лучшая философия, а в будущем, при условии дальнейшего усовершенствования и взаимного согласования, они могли бы развиваться в философию совершенно христианскую. Почти все ученые старания Лейбница были направлены на то, чтобы подтвердить и прочнее обосновать христианские истины также и со стороны науки или найти им здесь дальнейшее применение. Спиритуализм, разработанный или, скорее, только намеченный им в области высшего познания и далеко выходящий за пределы обычных природных идей, за вычетом отдельных присущих лишь ему одному мыслей и не более чем гипотетических суждений, превосходно согласуется с очищенным платонизмом, преобладавшим у всех христианских писателей и учителей первых столетий, а основные принципы такого мировоззрения в науке, если только они мыслятся и воспринимаются просто, ясно и без каких-либо чужеродных примесей, по крайней мере, по своему духу и существу суть те же, что лежат и в основе Священного Писания, чья высшая цель, конечно, выходит за пределы ограниченной формы и заключенной в ней собственной сферы научных представлений, и повсеместно или прикровенно обозначены, или молчаливо предполагаются в нем. Насколько хорошо Лейбниц знал и признавал католическую систему верования и вполне отдавал ей должное, стало известно лишь в наши дни и обнаружилось весьма примечательным образом; и за вычетом отдельных, вполне извинительных при таких обстоятельствах, ошибок, ее философский очерк в своей остроумной краткости относится к ее наиболее удачным свободным представлениям, по крайней мере, в общем плане и в ее отношении к миру. Другая эпохаль-

ная отправная точка новейшей философии заключается в принципах эмпирической науки, которая уже тогда нашла себе широкое поле деятельности в многосторонней области материальных открытий, а с тех пор почти неизмеримо разрослась и расширилась. Эта философия в понимании ее собственного первооснователя Бэкона, по меньшей мере в целом и в своих наиболее существенных чертах, а также за исключением частных ошибок или всецело личных заблуждений, никоим образом не противоречит христианской философии откровения, ибо последняя также является опытной наукой, однако иного, высшего и духовного рода; и отметить это обстоятельство и придерживаться такой точки зрения тем более необходимо, что в противном случае мы неизбежно вступим на ставший уже столь привычным ложный путь рационализма. Разумеется, несколько иначе обстоит дело тогда, когда эти принципы эмпиризма обращаются к отрицанию всего высшего, сверхъестественного и сверхчувственного в человеке и даже в сознании, как у Локка и его последователей. В силу этого весьма важного и непренебрежимого различия Бэкон, также как и Лейбниц, является европейским философом¹⁰³, в то время как Локк — всего

¹⁰³ Ф. Шлегель ставит вместе Ф. Бэкона и Г. В. Лейбница, при этом объявляя их наиболее значимыми носителями позитивного начала новоевропейской философии, противостоящими Декарту, Спинозе, Локку и их последователям. И это «соседство» двух гениев глубоко символично. О значении учения Ф. Бэкона для немецкого романтизма и историзма мы кратко рассказали в примечании к характеристике Шлегелем учения Канта в начале «Философии жизни». Теперь дадим «романтическую» оценку учения Лейбница. Здесь все богатство человеческого существования и его отношений востребовано с точки зрения вечности, возможности его сохранения в полном объеме. Идея Бога здесь, в отличие от средневековой антропологии, гарантирует сохранение всего богатства обыденной жизни, не приводя ее к идеалам монашеской или иной жизни, определенной как трансцендентный опыт идеал. Отныне человек уже не мог рассчитывать заведомо на знание того, что будет сохранено в послесмертном существовании души. Но он надеялся теперь, что будет сохранено все самое важное, чем он жил, что было ему дорого, что сохраняет его прижизненная память. А главное, он теперь лелеял новую надежду, что будет сохранена личность человека в ее этической самоопределенности, что будет сохранено трепетное дыхание самого его существа, когда-то в детстве причастившегося миру. Человек сохранял и свою свободу, то свойство своей душевной энтелехии, которая имела в себе самой определенное устремление, только и позволяющее возвыситься до способности стать в прямое отношение к Богу через способность универсального созерцания, восходящего по ступеням все более полных монад. Антропология Лейбница — это учение о человеке, в наибольшей степени погруженного в мир. Это, по сути, апофеоз наличного-в-мире. Здесь натуралистически истолкованный мир, мир как природа, размыкается в человека. Он сливается с человеком, не антропоморфизмуется, а именно ар-

хитектонически сближается с человеком и его способностями чувствования, понимания, познания. Мыслитель более низкого уровня рискует в таком архитектурном сопряжении разных сфер стать всего лишь эклектиком, тем «архитектоническим умом», о котором Кант в «Антропологии» высказывается так: «Архитектонический ум, методически усматриваемый связь всех наук и их взаимную поддержку, - это только второстепенный гений». Кант И. Антропология с прагматической точки зрения... С. 290. Поэтому основное философское деяние Лейбница с точки зрения генезиса немецкого историзма состоит в следующем. Он показал относительность ментальных перегородок Нового времени в эмпиризме и субъективном рационализме. Этим он открыл путь к развитию немецкого историзма, исходящего из глубокого понимания «рядового» характера и местоположения хронотопа Нового времени в структуре всеобщей истории. Дильтей был прав, когда говорил, что «Лейбниц, минуя Просвещение, достигает исторического мышления следующей эпохи». Его прямые продолжатели, Х. Вольф, А. Г. Баумгартен, И. Хладениус, И. Изелин, Я. Д. Вегелин, находясь в русле его идей, собственно и разработали логическую и гносеологическую идеи немецкого историзма — идею индивидуальности и идею индивидуализированного развития, затем подхваченные и развитые романтиками, интегрировавших эти идеи в общую парадигму немецкого исторического Просвещения.

Лейбниц оказал влияние на ход интеллектуального развития последующих веков, по-своему разрешив вопрос о «человеческой природе» и ее развитии, но и самой своей личностью он дал определенный образец наиболее широкой монады, какой может быть человек Нового времени. Этот пример и образец, оказали, как кажется, не меньшее влияние, чем его учение и его проекты. Тем более, что широта его связей и обязанностей не дали ему завершить значительную часть его основных работ, сделав его автором, по большей части нереализованных, проектов. Л. Фейербах говорит: «Его философия — это Млечный путь, изобилующий великолепными и блестящими мыслями, а не солнечная или планетная, система». Фейербах Л. История философии. Собрание произведений в трех томах. Т.2. М.: 1974. С. 122. Фейербах дает емкое описание его личности. Он утверждает, что все в нем было духом и жизнью. В нем объединились все дарования, которые крайне редко вместе встречаются в одном человеке, одним из которых была «энергия и смелость самоучки и самостоятельного исследователя, доходящего до самых основ». Там же, с.120–121. Фейербах утверждает, что именно деятельность была принципом его философии. «Для него все существа — различные виды деятельности, а вершина их — мышление». Он всюду видит гармонию, «отсюда — невозмутимая веселость, идеалистическая ясность его духа, возвышенный характер его души, имеющей только один интерес — интерес истины, науки и гуманности; отсюда его исполненное счастья состояние духа, которому неведомы аффекты отвращения, презрения, ненависти, его терпимость, его кроткое чувство, которое во всем видит только хорошее. Он сам характеризует себя так: “Je ne méprise presque rien” (“Я не презираю почти ничего”). В другом месте сказано: “Никто не обладает менее критическим духом, чем я. Это звучит странно, но я соглашаюсь почти со всем, что я читаю. Я слишком хорошо знаю, как многообразны вещи, и поэтому при чтении я всегда сразу наталкиваюсь на то, что объясняет и оправдывает автора; и хотя, разумеется, мне одно подходит более, другое — менее, однако редко случается, чтобы мне что-либо сильно не нравилось”». Фейербах Л. История философии... С. 126–128. Только такая личность могла представить основную проблему эпохи и ее решение в наибо-

лишь английским, ибо в Англии этот протестантизм науки, будучи естественным следствием воцарившегося и окончательно сформировавшегося с принятием конституции протестантизма государства, возник почти одновременно с последним и продолжал развиваться далее. Однако в философии англичан этот протестантизм науки, верный своему скептическому характеру, оставался и здесь в границах этого скептицизма, несколько не порождая таких революционных эксцессов, — по крайней мере, столь же решительных и всеобщих, какие образовались из тех же первоначальных принципов в ходе развития французской науки или научного мировоззрения в эпоху, непосредственно предшествовавшую катастрофическому перевороту. Вообще же высшая духовная культура Англии никоим образом не ограничивалась упомянутой философией отрицания, но, как и конституция этой страны, приобрела чрезвычайно своеобразный характер, причудливо объединив в себе самые разнородные стихии. Ибо хотя английская конституция считается характерным отпечатком и, одновременно, модным образцом для всего нового и новейшего времени (и, с известной точки зрения, действительно может считаться таковым), она, тем не менее, по-прежнему включает в себя всю высшую дворянскую аристократию и многие другие черты средневекового феодального устройства, которые приведены здесь в гармоничное согласие или, по крайней мере, в устойчивое равновесие с иными, новыми элементами буржуазии и всемирной коммерции. Рыцарский дух героизма и весь нравственный характер Средневековья долго оставался господствующим в истории Англии и именно потому он преобладал и в поэзии — как ни в какой другой стране, за исключением, может быть, Испании. Борьба между Йорками

лее связном и гармоничном виде. Родившийся в год окончания Тридцатилетней войны, Лейбниц, казалось, в утробе матери воспринял тот выстраданный и просветленный дух, идеал мира во всей его позитивности и глубине, обрел такое чувство гармонии жизни, которое обретается самим временем, правда, ненадолго, после великих бурь. Это чувство и в самих бурях, в жестокостях и падении, помогает сохранить ценность жизни и веру, если не в ее добро, то в ее красоту. А ведь, правда, красота спасает мир, прозревая и просветляя трагедией даже самые низкие проявления человека и самые жестокие проявления жизни. Универсальный дух Лейбница нашел общую основу, объединяющую основные школы. «Он заявляет: “Я нашел, что большинство школ по большей части правы в том, что они утверждают, но не правы в том, что они отрицают... Лейбниц с полным правом мог восхвалять свою философию за то, что она, как в перспективном центре, объединяет в себе все философские системы, — неважно, если это единство несовершенно...». См.: Там же, с. 133–135. — *Прим. науч. ред.*

и Ланкастерами в пятнадцатом веке, не столь уж и несхожая с войнами гибеллинов и гвельфов, вместе с жесткой, порою даже жестокой суровостью этих отважных характеров, составляет для Англии легендарную эпоху старинной, однако не весьма отдаленной национальной истории и исторической саги, причем на то же время приходится и эпоха ее блестящей воинской славы, обретенной на полях многочисленных битв и рыцарских сражений, происходивших на французской земле. Великий английский национальный поэт, обретший в тех героических временах своего отечества один из возвышеннейших предметов изображения, держится как бы скептической середины или искусного поэтического равновесия между уже знакомым нам романтическим воодушевлением древностью и пронизательностью современного рассудка, и в этом свойственном ему сочетании обоих начал, должно быть, отчасти и заключается гениальное своеобразие, неисследимая глубина и притягательная для нашего духа сила его творений. Если конституция, то есть, внутреннее равновесие общественной жизни в Англии, выросла из великой борьбы, некогда охватывавшей всю эту жизнь, и из самой ее истории, то не следует удивляться, находя и в самой высокой поэзии, являющейся лишь ее отблеском и отражением, такое же сплетение противоположностей и сходную срединную точку, в которой они искусно связаны воедино. Глубокий художественный анализ, основанный исключительно на этой изолированной точке зрения, к коему немецкий дух, как правило, имеет преимущественную и, может быть, чрезмерную склонность, в данном случае, в сущности, выходит за пределы отведенной мне сферы. Однако, отмечая характерные черты этого глубинного исторического родства творений духовной культуры со временем и нацией, самобытной принадлежностью которых они являются, мы можем способствовать более живому и полному пониманию важнейших моментов и поворотных пунктов истории, и потому я уже нередко позволял себе ненадолго вдаваться в подобного рода параллели. Вплоть до новейших времен столь решительное пристрастие к романтическому миру средневековья и рыцарской эпохи, а также поэтический гений, смело пронизавший все пределы обыденного, оставались отличительным признаком английского поэтического искусства, которое отчасти именно потому и пользовалось такой любовью у других европейских народов. С другой стороны, отрицающая философия англичан утвердила свой характер также и в том, что она, отбросив все высшее, по большей части прин-

ципиально сосредоточилась на одном лишь человеке, не желая более входить или проникать в глубины Божества или даже в глубины природы. Применительно к высшему познанию на это можно возразить лишь, что человек ни в коем случае не является изолированным существом, но что, будучи помещен Богом посреди природы, он может быть познан только в этой связи с Богом и природой и что лишь в согласии с этим своим удивительным внутренним качеством и внешним развитием он может быть понят и объяснен. Но пока историческое исследование и описание остается сознательно обращенным лишь на отдельные предметы, фрагменты и периоды и не исходит из всеобъемлющей идеи целого и не пытается охватить собою философию истории, оно может без ущерба для себя ограничиваться лишь человеком, поскольку, с другой стороны, столь многообразно деятельный поэтический дух (если только его воззрения не определяются преимущественно все той же скептической ограниченностью и протестантизмом знания), конечно же, обладает восприимчивостью ко всему духовно высокому, характерно самобытному и гениально великому, что имеется в отдельных исторических явлениях. Потому и та часть духовной культуры Англии, которая охватывает исторические исследования и описания, составляет ее особенно плодотворную и поистине общеевропейскую отрасль.

Государственный протестантизм, достигший совершенства с утверждением английской конституции, на протяжении семнадцатого века, чьей господствующей силой была по преимуществу Англия, вместе с системой равновесия нашел свое распространение и приложение во всей Европе. А протестантизм знания, впервые разработанный там же и оставшийся в тех же границах, наряду со всеобщим религиозным миром как необходимая предпосылка и общее условие, сделавшее возможным это историческое явление, образует основу Просвещения и характеризует всю его эпоху от начала семнадцатого столетия до самой революции.



СЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

Параллели между немецким религиозным миром и положением в других странах Европы; господствующая система равновесия сил и принцип просвещения в восемнадцатом веке

Великое благотворное влияние немецкого религиозного мира, который, будучи вначале продиктован и порожден исторической необходимостью, продолжал затем все прочнее укореняться в умах, пока не стал, наконец, второй натурой и новым национальным характером немцев, можно яснее всего показать на конкретном примере, сопоставив его с условиями, господствующими в наше время или, по крайней мере, весьма недавно господствовавшими в религиозной сфере у других наций, а точнее — у тех из них, которые в новейшее время в любом ином отношении принадлежат к числу наиболее образованных в Европе. В самой Германии самое бережное и тщательное сохранение заключенного здесь религиозного мира, на котором покоится все ее нравственное существование и без которого она погибла бы в межпартийных усобицах и анархии, нашло себе новое обоснование в нынешней исторической ситуации и стало теперь еще более необходимым — пусть и не в прежних ветхих формах, однако в согласии с самим существом его духа, с его практическим предназначением и заключенным в нем замыслом. Ибо при последних переделах немецких земель, на территориях, ранее преимущественно однородных по исповеданию, образовалось столь многообразное смешение и переплетение религий, что даже протестантское государство, и прежде бывшее самым крупным в Германии,

а с тех пор и еще более укрупнившееся, имеет теперь население, наполовину состоящее из католиков. Хотя и не столь же выраженное, однако весьма сходное и значительное по своей пропорции обратное соотношение можно наблюдать в том католическом государстве Германии, которое является наибольшим из всех после самой Австрийской империи. И эта Magna Charta немецкой свободы духа и совести столь прочно утвердилась во всеобщем национальном умонастроении и в самом принципе германской государственности, что теперь, когда ее стародавние гарантии в виде все еще существующего политического имперского союза и имперских судов были или упразднены, или подверглись существенной модификации, она уже нисколько не зависит от этого равенства масс или соотношения чисел. Так, например, в католических германских государствах Австрийской империи столь немногочисленное по сравнению с целым протестантское меньшинство, невзирая на это обстоятельство, уже давно наслаждается полнейшей свободой вероисповедания, а на самой родине протестантизма религиозное отличие католического правящего дома от подавляющего (по сравнению с крайне малой долей католиков) большинства населения не являлось препятствием к той самой искренней, глубокой и твердой приверженности древнему наследному, хотя и не единоверному королевскому дому, которую весь народ и все его сословия самым решительным и трогательным образом являл в години бедствий. Обратившись теперь к иным могущественным государствам, к крупным и образованным странам Европы, которые, как и Германия, на протяжении ста лет или еще дольше находились в состоянии религиозной войны с самими собой, к тому, каков был исход этой войны и к каким результатам она привела, мы увидим, что, безусловно, Англия на данный момент уже более не пребывает в состоянии внутренней войны. Действительно ли эти сложившиеся религиозные отношения даже между англиканской церковью, чьи политические привилегии и преимущества держатся на одном принуждении, и другими протестантскими партиями, имеющими здесь совершенно иной характер, нежели в Германии или где бы то ни было еще и отличающимися особенно крепким сектантским духом, и уж, тем более, между нею же и католической Ирландией, можно назвать миром, я не знаю, особенно если учесть, что последняя еще не в столь отдаленную эпоху являла собой арену кровавой гражданской войны. По меньшей мере, прочный и устойчивый внутренний мир, включающий в себя также полное примирение в умах и справедливое уравнива-

ние во взаимных правах и притязаниях, ведущее к обоюдному удовлетворению и полному успокоению, здесь, по всей видимости, до сих пор еще не был установлен. Судя по общеизвестным большим парламентским слушаниям в Англии, во время которых в этом чудесном творении общественной жизни проступили на свет самые тайные мотивы, глубочайшие движущие пружины и жизненные нити, самые потаенные заботы и государственные идеи, можно скорее подумать, что существенную характерную черту политического сознания мыслящих англичан составляет весьма отчетливо проступающий страх перед самими собой. Такой страх должен с тем большей легкостью возникать у этой нации при каждом серьезном взгляде в свое прошлое, в зиявшую некогда пропасть внутреннего раздора, что она вообще, как ни одна другая, знает и видит мысленным взором свою отечественную историю и все еще чувствует себя ее частью, словно бы продолжая жить в прошлом с самым отчетливым и реалистичным чувством настоящего; и поскольку любой англичанин слишком хорошо понимает, что ужасные стихии брожения той великой войны до сих пор не были приведены к окончательному внутреннему примирению и действительно полному успокоению, а по-прежнему всего лишь сдерживаются той самой (именно за это и восхваляемой) славной конституцией, что только и препятствует им разразиться новой катастрофой. И разве не должен каждый из них спросить себя самым категорическим образом, как же может быть или хотя бы называться свободной страна, в которой католическая треть населения непрестанно пребывает под немислимым деспотическим гнетом и, говоря по правде, в сущности, подвергается такому же обращению как всякая завоеванная страна?

Во Франции во всем, что касается религии и религиозных различий, господствует скорее полное равнодушие, нежели ожесточенное противостояние и межпартийная вражда — по крайней мере, у большей части этой нации — если только не увязывать этот вопрос с иными, политическими соображениями, отчего он изменяет свой облик и, по существу, становится совершенно иным. Как в старые времена, так и в последнем минувшем столетии религиозные войны были здесь хоть и довольно ожесточенными, однако не такими продолжительными и непрерывными; они не несли столь всеобщих опустошений, как это было в Германии, и не сопровождалась столь ужасными феноменами, если сравнивать с Англией. Однако, с другой стороны, в тот первый период времени они также не привели к столь однозначно

определенным, долговременным и важным результатам, какими были религиозный мир в Германии и Конституция в Англии. И когда вопреки всем прежним надеждам, договорам и правам был отозван Нантский эдикт, такая неправая по своему существу победа католической партии и большей части нации оказалась лишь внешней, кажущейся и обманчивой, ибо она оставила неразрешенными все проблемы, которые в качестве протестантской или полупротестантской закваски продолжали оказывать свое разрушительное воздействие изнутри, пока, наконец, через сто лет не разразилась беспредельно ужасная реакция на этот попятный шаг абсолютизма, принявшая облик великой революции. И сама она, и сопутствовавшая ей или порожденная ею война народов Европы должны рассматриваться как продолжение войны религиозной, тем более что они тотчас повлекли за собой полный и как нельзя более решительный разрыв не только с Церковью, но и вообще с христианством и полное упразднение оно, продолжавшееся девять лет. Затем, после того как теофилантропические попытки учредить общепризнанную и законодательно установленную чистую религию разума не возымели решительно никакого успеха, было, наконец, решено заключить хотя бы внешнее подобие религиозного мира, который, по меньшей мере, временно признавал религию еще не до конца изжитой потребностью народа. В отношении личностей мир этот продержался недолго, что обнаружилось уже вскоре, когда сам Папа был пленен и подвергнут жестокому обращению; таким образом была вновь разыграна драма древних гибеллинских времен и получили открытое признание весьма схожие гибеллинские принципы и цели. Окажись военные успехи французов более постоянными, эти принципы в силу глубинной склонности к магометанскому соединению в одном лице обеих властей: духовной и светской, — должно быть, развились бы несравненно отчетливее и зашли бы гораздо далее. Впрочем, от проницательного взора нового повелителя французов не могло укрыться, насколько решительно общественное мнение и убеждения европейцев все же противятся полному антихристианскому слиянию обеих властей (сколь бы равнодушно ни стали они теперь относиться к религии и христианству вообще, с какой бы легкостью они ни давали согласие на отдельные посягательства и вмешательства подобного рода в силу своей неспособности к суждению об этом предмете или отсутствия интереса к нему). Фанатический разрушительный характер, который с самого начала приняла революционная борьба, в существенных чертах, хотя и в несколько измененной

форме, сохранялся и в эпоху наполеоновских завоеваний; точно так же и всеобщая европейская реакция на них вплоть до окончательной победы союзников сохраняла тот же облик религиозной войны в защиту всего того, что свято для человечества.

И таким образом, весь этот великий отрезок мировой истории в целом следует рассматривать как двадцатипятилетнюю религиозную войну, а если кому-то угодно будет именовать самое ее начало войной антирелигиозной, то это, в сущности, означает совершенно то же самое, так что не стоит здесь затевать спор о словах. И именно по этой причине в той стране, где впервые зародилось революционное движение, реставрация монархии неизбежно должна была быть неразрывно связана с реставрацией религиозной. Потому только в религиозном возрождении государственные мужи Франции, искренне ревнующие о благе своего отечества и устремляющие свои взоры и помыслы не к суетному блеску его непостоянной и переменчивой воинской славы, а к его долговременному благосостоянию, могут искать надежную опору его дальнейшего существования.

Этот первый общий всемирный кризис того недавнего страшного времени, после того как он благополучно миновал и был окончательно преодолен, словно бы образовал бездонную пропасть или возвел разделяющую преграду между нашей эпохой — настоящим временем — и истекшим восемнадцатым столетием. Последнее буквально вскормило на своей груди эту катастрофу, взрастило ее и, наконец, воплотило ее в действительность; однако теперь, когда наше время освободилось и от той борьбы, и от связанных с ней иллюзий, минувшее столетие может гораздо легче и беспристрастнее быть воспринято подлинно исторически, получить тем более верную оценку и признание и быть понято во всей своей взаимосвязи. Ибо, как представляется, в ходе самой борьбы лишь немногим смертным, все еще целиком охваченным ею, бывает дано иметь и выносить такое суждение о событиях всемирной истории, которое мы могли бы назвать историческим и которое обыкновенно начинает яснее вырисовываться лишь на известном расстоянии. Здесь, на этом последнем отрезке времени и истории, было бы и излишне, и бесполезно пытаться силою исторического воспоминания чересчур далеко входить в обстоятельства и без того общеизвестных событий. Тем более необходимо для философского рассмотрения и объяснения такого совсем близкого нам временного периода кратко отметить те принципы, которые направляли

и определяли все происходившие в это время события, выделив их из великого множества и общей массы известных фактов и дав им точную характеристику. Такими идеями, двигавшими и направлявшими все, что происходило, должно было произойти или предпринималось в XVIII веке, как это, конечно, само собою явствует из истории этого столетия и ее духовного характера, были система равновесия — для общественной жизни и государственных отношений, и принцип просвещения — для внутреннего развития, хотя последний не остался ограниченным этой духовной сферой, но оказывал немалое практическое влияние и на действительный мир и в конце концов произвел в нем полный переворот. Оба этих принципа: система равновесия как явленный вонне протестантизм государства и принцип того просвещения, которое в силу своего изначально сугубо отрицающего характера сущностно связано с протестантизмом знания и может рассматриваться лишь как его естественное следствие или дальнейшее применение, — зародились преимущественно в Англии и в первую очередь и более, чем где бы то ни было, достигли полного развития именно там. Эта страна уже с самого начала восемнадцатого столетия и вплоть до великой катастрофы, случившейся на его исходе, как правило, оставалась государством, первенствовавшим во всех событиях и происшествиях этого периода, задавала его тон и служила прочной опорой для центральной точки всей системы равновесия. Хотя сама идея такой системы зримо проявилась в новой истории еще за несколько столетий до этого времени и нашла свое применение как один из действующих принципов политических предприятий и событий, однако она испытывала значительные ограничения, которые определялись иными всемирно-историческими обстоятельствами той эпохи, требовавшими совершенно иного определяющего закона и влекшими его за собой. Также и в основании средневековой римско-германской империи лежала гораздо более возвышенная идея христианской справедливости; и лишь когда ее власть, в силу многообразного сопротивления, оказываемая извне и внутри государства, уже была решительно ослаблена и надломлена, во второй половине и к концу пятнадцатого столетия начала развиваться и приобретать господствующее влияние система равновесия. Пространством и ареной этого развития была, по преимуществу, Италия; Испания, Франция, Австрия, затем Венеция, Папское государство и Швейцария были действующими силами в этой шедшей с переменным успехом борьбе, а Неаполь и Ломбардия, в основ-

ном, являлись целью их устремлений и предметом спора. Когда же продолжавшиеся успехи турецкого оружия извне и вселявшее ужас развитие стихии религиозного брожения внутри самой Европы стали угрожать ей верной гибелью или высочайшей вероятностью таковой, тогда этот низший и подчиненный новый принцип вынужден был вновь уступить место еще не окончательно забытой древней идее и высшей потребности той эпохи; ощущалась необходимость в императоре и защитнике христианства, который, как в древние времена, действительно имел бы такую власть, что и стало побудительным мотивом избрания императором Карла V. Тем не менее, власть его была мнимой, и представление о ней внушалось скорее протяженностью его объединенной империи, чем его подлинной силой. Если в то время и имелась какая-нибудь великая сила, представлявшая несомненную угрозу, то ею могла быть одна лишь Турция, все глубже проникавшая в Европу в ходе своих завоеваний, сдержать которые Карл мог лишь в весьма незначительной степени. Только Франция, расположенная в центре Европы, свободная от создаваемых турками опасностей и беспокойств, была достаточно сильна и могущественна, чтобы не бояться каких бы то ни было угроз. Ее соперничество с Испанией и непрестанные войны с императором сдерживали и парализовали последнего во всех действиях, которые тот намеревался предпринять на благо христианского мира и для обеспечения всей его внешней и внутренней безопасности, и весьма вредили всей Европе и, прежде всего, самой же Франции, которой необходимо было направить все свои силы внутрь, чтобы успокоить, духовно преодолеть и привести в порядок столь губительным образом разбушевавшиеся здесь стихии религиозного брожения. В то время, а также в семнадцатом столетии турецкие завоевания в целом еще рассматривались всеми как религиозная война — отчасти в силу ее печальных последствий для христианства в покоренных землях, где оно подвергалось хоть и не полному истреблению, однако тяжелому угнетению, а отчасти в силу фанатически-разрушительного характера самих этих войн. Союзы, которые во время внутренней религиозной войны семнадцатого века Франция, прикрываясь принципом равновесия, вопреки интересам собственной религии и веры заключала со шведами и турками, более чего бы то ни было еще повредили католическому делу, нанесли глубокую рану христианским убеждениям и привели в полное замешательство общественное мнение того времени. Тем не менее, результатом этой политики к концу семнадцатого

века стало решительное превосходство Франции, которое, по меньшей мере, тогда могло быть приписано одному лишь Людовику XIV. После того как прежние религиозные войны повсеместно были прекращены и закончены, настала пора, когда могла быть установлена система равновесия — как это бывает всякий раз, когда высший принцип отсутствует или временно отходит на задний план и прекращает свое действие. А поскольку культура восемнадцатого века, в сущности, была построена именно на таком основании, то и система равновесия достигла здесь столь совершенного развития и заняла столь блестящее положение в рамках целого, как ни в одну из прежних исторических эпох. Англия оставалась надежной опорой и подлинным центром для великого всемирного рычага европейского равновесия, а неизменная во все века миролюбивая политика Австрии, хотя внутренне и сама по себе покоилась на гораздо более высоком основании религиозных убеждений, тем не менее, внешне и по отношению к другим государствам образовывала на европейском континенте другой опорный пункт все той же системы равновесия, в эту эпоху достигшей полного господства во всей взаимосвязи исторических событий. И этот прочный альянс по преимуществу оставался внешней основой системы равновесия за исключением некоторых колебаний, заложенных в ее глубинной сущности и характере и вытекающих из нее самой. Эту систему ни в коем случае не следует смешивать с политикой поддержания мира, основанной на принципе существующего и общепризнанного права; ибо хотя этот принцип и кажется близкородственным ей и в борьбе с иной, не чтущей права превосходящей силой прежде всего и самым естественным образом стремится к союзу с этой системой, он все же не составляет с ней единого целого, а во многих своих характерных свойствах и, более того, в своей самой глубокой основе существенно отличается от нее. Основополагающим правилом рассматриваемой нами политики сохранения мира является право — не общее понятие или чистый идеал абсолютной справедливости и соразмерной с ним или созданной на его фундаменте всемирной политики и международных отношений, а скорее — если мне позволено будет ради краткости и ясности прибегнуть к такому математическому выражению — право прикладное, то есть, реально существующее и как таковое признанное действующим. Ибо восходить к первоисточнику и последнему основанию всякого права и всякой справедливости должно быть предоставлено одному лишь Богу как вечному Судии мира, который вершит

суд как над индивидуумом, так и над государствами и народами, который и без того ведает, как в назначенный для ответа день совершить историческое воздаяние за всякую великую политическую несправедливость, как неожиданно покарать ее, а нередко самым ужасным образом вновь обратить ее в полное ничто. Но если бы человек или какая-либо земная власть вознамерился взяться за это орудие, поставил своей целью эту абсолютную справедливость, и дерзнул бы по ней все судить, рядить и переиначивать весь мир, то из такого произвола произошел бы лишь полный переворот всех человеческих отношений и окончательное разрушение всего существующего порядка; и в этом-то и заключается ложная идея, лежащая в основании или служащая предлогом всех фанатических всемирных завоеваний и всякой революции, направленной не просто на частичное право, а непременно всеобщей. Лишь там, где в совершенной системе всего действующего или применяющегося между народами и державами права в силу какого-либо события возникает лакуна, образуется незаполненный промежуток, где какой-либо частный вопрос остается открытым или вновь ставится как неразрешенный, в таком отдельном случае основанная на этом принципе политика мира может и даже должна будет тотчас обратиться назад, к своему первоисточку, к чистому и вечному или божественному праву. Однако для системы материального равновесия право и неправота вообще не являются ни конечной целью, ни единственным мерилom политического суждения и действия; сдержать или устранить всякую превосходящую силу, несущей опасность или угрозу для целого — вот ее непосредственная задача. Конечно, весьма нередко оба этих обстоятельства могут и совпадать, что и действительно будет иметь место в большинстве случаев, поскольку экспансия доминирующей силы обычно связана с нарушениями существующего права или легко приводит к таковым. Однако это не является безусловно необходимым; можно представить себе и такой случай, в котором право решительно стояло бы на стороне объединенной превосходящей силы, как это и в самом деле однажды имело место в середине восемнадцатого века и как это случилось в начале того же столетия при несколько иных обстоятельствах, когда, по всей видимости, обычное право благоприятствовало лишь преобладающей силе. И в этом случае система материального равновесия, нисколько не взирая на право, возложит свой голос на другую чашу весов, с тем лишь, чтобы воспрепятствовать дальнейшим успехам этой превосходящей силы. Однако имеется и еще одно

отношение, в котором привычный образ действий и характер этой системы отличен от миротворческой политики, направленной на сохранение всякого наличествующего и признанного собственного и всеобщего права. Последняя лишь тогда решается на объявление войны, когда имеет место реальная агрессия и фактическое нарушение всеобщего мира. Напротив, с точки зрения системы равновесия само наличие угрозы со стороны превосходящей силы или одна лишь возможность злоупотребления с ее стороны и грядущая опасность уже являются достаточным основанием для объявления войны, на что государство, основанное на безраздельном господстве этого принципа, бесспорно, решается гораздо легче и быстрее, чем любое другое. В этом нередко упрекали Англию — с тем большим правом, что здесь эта внутренняя причина, способствующая более легкому и быстрому, чем было бы необходимо или желательно, объявлению войны, подкрепляется еще и тем обстоятельством, что это основанное и сосредоточенное на себе самом и своей конституции островное государство, будучи изолированной морской державой, может продолжать привычную мирную деятельность и торговлю даже во время войны. В истории восемнадцатого века Англия достигла высочайшей славы и употребила свое великое могущество чрезвычайно благотворным для всех стран Европы образом, поощряя и поддерживая их усилия, даруя им свободу и защиту; причем все сказанное никоим образом не следует понимать как критическую оговорку, умаляющую или отрицающую то величие, которое Англия по праву стяжала себе в более ранней истории, что было бы крайне нелепо само по себе, а здесь и совсем неуместно. Но для правильного понимания особого характера и существенного политического своеобразия восемнадцатого века, непосредственно предшествующего нашей собственной эпохе, необходимо обратить внимание на то, что система равновесия как таковая является лишь суррогатом иного, высшего начала в том случае, когда оно уже было утрачено или не может найти своего применения. Там же, где некий высший принцип действительно присутствует и властно проявляет себя в истории, эта система может быть принята во внимание и учтена лишь в качестве дополнения или всецело подчиненного вспомогательного фактора, определяющего и разрешающего тот или иной второстепенный вопрос. Однако с великой катастрофой в конце восемнадцатого столетия наступила такая эпоха не только политического, но и духовного одичания и опустошения, в которую эта идея равновесия, достаточ-

ная для нормального состояния цивилизованной системы государственных отношений, хотя и сугубо негативная по своему существу, была уже не применима и бессильна помочь в пришедшей беде, для победоносного сопротивления и окончательного преодоления которой необходимо было участие высшего принципа. Ни в одной сфере человеческого действия невозможно действительно преодолеть позитивную силу зла, руководствуясь в противодействии ей чисто негативным принципом — для этого необходим аналогичный ей высший божественно-позитивный принцип, действующий сходным образом и в той же сфере. Великой религиозной войне, сотрясающей весь мир до самого основания, до самых глубин его нравственного существования, может всецело и навсегда положить конец лишь истинный религиозный мир; он же, в свою очередь, покоится на внутренней моральной силе убеждений, а не на материальном равновесии и его тщательном расчете и измерении. А примером тому, до какой степени во время той ужасной катастрофы равновесие было нарушено даже во внешнем отношении, так что уже никакая сила не могла его с легкостью изменить или вернуть в исходное состояние, может служить все та же Англия. По крайней мере, ту великую массу, связанную с этим владычествующим морями островным государством одними лишь нитями судоходства, которую составляет самая южная из азиатских стран, превосходящая по своему внутреннему богатству все остальные страны Земли, превышающая по своему населению в пять или шесть раз собственную английскую метрополию и равная в этом отношении доброй половине Европы, невозможно ни измерить, ни объяснить, руководствуясь одними лишь простыми правилами старой системы равновесия в ее прежнем узком понимании и объеме или, взирая на такое положение дел с исторической точки зрения, предать его порицанию как предосудительное. Ибо эта уникальная и невиданная до сих пор в мировой истории взаимосвязь уже принесла и, вероятно, еще принесет немало важного и великого и для Европы и для самой Индии, а кроме того, не только внутреннее управление этой страной, но и вообще весь образ действий англичан в этом вопросе зарекомендовал себя как чрезвычайно мудрый и достойный всяческой похвалы. И сколь мало идея просвещения как единственный господствующий принцип и высшая цель всякого мышления и знания в том мелком и поверхностном смысле, в каком она была принята на протяжении большей части восемнадцатого века, может быть ныне признана достаточной и удов-

летворительной с точки зрения современной науки, столь же мало и система равновесия может быть применима и достаточна в приложении к минувшему состоянию большой европейской войны или к порожденному ею нынешнему положению дел, столь же мало способна она разрешить все его проблемы, исправить его ошибки и развязать гордиев узел великой всемирной загадки этих последних времен.

Итак, вторую характерную историческую черту или второй определяющий принцип всей истории и господствующего духа восемнадцатого столетия наряду с системой равновесия во внешних взаимоотношениях государств составляет упомянутая идея просвещения, а также ее влияние на внутреннее развитие особой национальной культуры каждого европейского государства. Все уже настолько привыкли воспринимать понятие просвещения в согласии с его неверным и превратным употреблением, принятым в последнем столетии, что в настоящем труде, в котором так важно понять это явление во всей исторической полноте, вкупе со всеми его эффектами, со всеми различными и многообразными аспектами, которые оно в своем формировании и развитии предлагает своему беспристрастному наблюдателю и судье, я должен прежде всего напомнить, что наряду с ложным просвещением и неверным представлением о нем не следует забывать и саму истинную идею и что просвещение не всегда было только отрицательным, чрезмерно поспешным, опрометчивым и, в конце концов, разрушительным. В своем первом, еще малоприметном начале оно имело и вполне реальные, ни в чем не заслуживающие порицаний общепользную сторону и основание. Еще в семнадцатом веке, во время всеобщей анархии и общественных бед, естествознание со своими разнообразными отраслями незаметно достигло чрезвычайных успехов во всей своей обширной сфере; столь же разнообразны были и те выгоды и плодотворные последствия его многочисленных новых открытий для всех практических навыков и искусств, особенно в государствах, испытывавших потребность в таковых для нужд морской торговли. Отважно мыслящий наследник великой северной державы, уподобившись прилежному ученику и даже не побоявшись собственноручно заняться ремеслом, на удивление скоро сам усвоил все истинно полезные достижения новой культуры и всемерно употребил их в мореплавании и во всех промыслах, в строительстве городов, в развитии этой страны и самого ее народа, став тем самым подлинным

основателем своей империи и нынешнего русского могущества, истинным основанием которого и далее оставалось то же самое просвещение: продвигающееся все дальше и дальше, однако не только не отрицающее, но и реально полезное, не опрометчиво поспешное и, в результате, разрушительное, но постепенно распространяющее свое влияние по всей массе народов и земель, широко раскинувшихся в двух частях света. Лишь благодаря этой культуре, принявшей свое начало от Петра Великого, и благодаря прочному основанию истинного народного просвещения Россия вполне осознала собственную силу, взяла свою судьбу в собственные руки и, тем самым, впервые стала частью европейской политической системы и с тех пор всегда таковой пребывает. Отделение русской церкви от греческого патриарха, попавшего в зависимость от турок, явилось необходимым условием к тому, чтобы открыть этой стране постоянный доступ к европейской духовной и повседневной культуре, и, если принять во внимание истоки первоначальной схизмы, то, будучи продолжением таковой, оно, в сущности, не заслуживает порицания. Столь легко возникшее после или в силу этого разделения понятие русской национальной церкви не было здесь, как мне кажется, поводом для таких же злоупотреблений или ошибочных приложений, к каким привело англиканское помешательство или граничащие с ним оппозиционные представления, имевшие место в той или иной католической стране Европы. Тем не менее, понятие исключительной государственной религии всегда остается предметом самой неусыпной бдительности, поскольку ему легко может быть придано чрезмерно широкое значение, крайне опасное для принципа христианской государственности, который ничем иным не может быть столь серьезно нарушен или основательно подорван, как этой склонностью к магометанскому соединению духовной и светской власти в одном лице. Многие с упреком отмечают резкие противоположности, из которых смешана или состоит эта столь внезапно возникшая и искусственно насаждавшаяся культура и русское просвещение; а именно, контраст между величайшей духовной роскошью и самой преувеличенной утонченностью всех модных обычаев и идей среди высших сословий, господствующей в центре этой страны, в ее столице или неподалеку от нее, и столь великими массами народа в прочих ее частях, стоящими на самой низшей ступени человеческой культуры, которая только начала здесь развиваться, и пребывающими по преиму-

шеству в совершенно варварском или полуварварском состоянии. Однако именно из-за многообразного состава и инертной тяжести столь больших и разнородных масс это обстоятельство не произвело особо неблагоприятных последствий для целого, и, более того, здесь даже удалось избежать самой основной ошибки почти всех остальных европейских стран и государств, совершенной в ходе просвещения, то есть, чрезмерной поспешности и опрометчивой быстроты, или, скорее, ее устранила здесь сама природа вещей. Единственным, чего приходилось здесь опасаться и что необходимо было предотвратить, было то, чтобы вместе с европейской культурой не было воспринято чрезмерное количество негативных и, следовательно, разрушительных элементов почти безраздельно господствовавшего в ней на протяжении всего восемнадцатого столетия и уже тогда либерального и, по большей части даже антирелигиозного направления. Первое основание этого нового просвещения и культуры, заложенное при Петре Великом, имело вполне практический характер и отчасти имело своею целью также коммерческую пользу совершенно в голландско-английском духе. Французская философия и моральная испорченность, проникшие сюда при Екатерине II, затронули лишь узкие круги, однако с течением времени в них была опознана чужеродная стихия, лишь создававшая препятствия, но не вселявшая сил, необходимых в борьбе той эпохи, и, более того, в своем глубинном основании на корню подрывавшая само государство. В более близкую к нам эпоху даже те подражательные либерально-революционные идеи, которые, словно экзотические растения, были завезены сюда из других конституционных стран, могли бы сыграть разве что второстепенную роль в том или ином отдельно взятом преступном предприятии, однако не приобрели ни малейшего влияния на общество в целом. Однако подлинно решающий пункт для этой европейско-азиатской империи прогрессирующего просвещения, в равной мере касающийся как ее самой, так и прочей Европы, заключается в следующем: это просвещение в качестве той основы, на которой покоится все это целое, ни в коем случае не может принять здесь антирелигиозного направления, но всегда будет сохранять направление религиозное; и в этом отношении, как ни в каком другом, вторым основателем или завершителем созидания российского могущества должен считаться тот благородный, возросший в школе бедствий монарх, который столь решительным образом придал и навеки запечатлел на нем этот религиозный харак-

тер. Что под этим мы подразумеваем не фанатическое внешнее влияние, а лишь внутреннее духовно-религиозное развитие и упрочение государства на основании религиозных убеждений как всеобщий принцип этих новейших и последних времен для всей Европы, — это должно быть ясно и очевидно само по себе.

Само понятие просвещения, будучи верно воспринято, не заключает в себе ничего предосудительного или противного христианству. Как христианство, если бы оно достигло совершенства не только догматически, но и по своему воздействию на мир и победоносному всемирно-историческому влиянию, само бы стало истинной, то есть, божественной (а не имевшей место человеческой) реформацией всего человеческого рода и вообще мира и всего видимого творения, так и истинное просвещение, согласное с тем понятием, которое предлагает нам о нем Священное Писание, есть тот Свет от вечного Света, что был уже в начале и который с самого начала был жизнь человеков (как гласят слова, изреченные самой вечной Истиной) и в котором они, люди, вновь должны обрести жизнь. Однако, обращаясь к действительному применению и историческому опыту, мы должны снизойти с высоты этого духовного понятия и самым тщательным образом провести различие между светом истинным и непреходящим, плодотворным и многообразно животворящим и светом ложным, искусственным и подражательным или обманчиво манящим на ложный путь блуждающим огнем. Одно дело — согревающий и оплодотворяющий солнечный свет, возвращающийся с пробуждением весны или блистание утренней зари, разгоревшейся, наконец, после ночного мрака; иное — непродолжительное мерцание праздничного костра, который вскоре угаснет и растает в прежней ночи, не говоря уж о ложной тревоге, внушаемой слепым шумом пламени; иное дело — одинокий светильник безмолвствующего мыслителя или пронзающая темные тучи вспышка молнии, или обманчивый свет потайного фонаря в руках крадущегося во мраке убийцы, или даже блеск факелов в разбойничьем вертепе, при котором там делят добычу и тайно сговариваются на новое злодейство. Для каждой из этих различных по характеру сопоставлений истинного и ложного света можно привести примеры и доказательства из истории восемнадцатого века и его действительного или мнимого и фальшивого просвещения. Таким образом, необходимо и здесь, не отрицая и не недооценивая божественного и истинного света, присутствующего, в том числе, в науке и в ее

развитии в области духовной культуры, не отвергая также и ее естественный благотворный, необходимый и незаменимый для человека свет разума и не умаляя его более, чем допускает справедливость, в то же время, отличать от него иной, обманчивый, непостоянный и вскоре вновь исчезающий ложный, подделанный и сфабрикованный темнотою свет¹⁰⁴.

Именно в том и состоят отличительные признаки неверного света ложного просвещения, что он не только первоначально и во внешнем приложении, но и по своему существу всегда имеет сугубо отрицательную природу, являясь в силу этого исключительно поверхностным и совершенно бессодержательным. А то, что с самого начала было лишены основания и прочной опоры и, в сущности, внутренне пустым, с тем большей легкостью приходит в стремительное и поспешное движение, которое, в конце концов — причем нередко очень скоро — становится крайне разрушительным. Таково, говоря кратко и по существу, различие между истинным и подлинным просвещением и привычным ходом и течением просвещения ложного.

¹⁰⁴ Ф. Шлегель фактически предлагает идею Просвещения рассматривать в ее высшем и исходном понятии, возвращаясь к учению Ф. Меланхтона о «естественном свете» и к учению А. Э. К. Шефтсбери о «внутренней форме» и «созидающей форме». Учение о «внутренней форме» стало развитием учения Меланхтона о «естественном свете», являющем в отражении «божественный свет». «Внутренняя форма» тут открывает «вечную форму». В философии Нового времени «естественный свет» наделен правом инициативы, способностью открывать «божественный свет». Но учение Шефтсбери далеко от утверждения об автоматическом или принудительном характере такой связи. Для обоих мыслителей все дело в «беседе», которая становится лишь формой молитвы. Обращение к «внутренней форме» еще не дает гарантии того, что в ней откроется «вечная форма», которая по самой своей природе не открывается лишь ключом созерцания; для ее оживления необходим и второй ключ — религиозного переживания. «Божественный свет» истекает из «внутреннего жара благодати», т.е. такого расположения духа, которое преображает всю внутреннюю жизнь человека и тем реформирует и возрождает его сущую волю, а затем преображает весь строй его мысли и его восприятие. Это значит, что «божественный свет» сам по себе является лишь одним из акцидентальных моментов благодати. В «созидающей форме» английский философ обнаружил точку схождения «естественного разума» (здесь точнее говорить о «естественном разумении» или «естественном рассудке») и «естественного права». См.: Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М., 2004. С. 20, 25. Это способность человека созерцать эти сущности как эстетическую идею и затем возвышать свою волю в энтузиастическом следовании этой идее как «красоте, которая спасет мир». Впоследствии, уже начиная с И. Винкельмана, этот настрой стал плодотворной моральной и интеллектуальной средой для формирования немецкого историзма. См.: Там же. С. 232–234. Но понимание Бога, как доказывал еще Данте, не объемлется «учением о свете», так как «свет» является лишь Его первым творением. Даже «божественный свет» Откровения не является сущностью Бога. — *Прим. науч. ред.*

Однако принцип такого ложного просвещения достиг в восемнадцатом веке столь всеобщего господства в государстве и церкви, в науке и общественной жизни, в политических отношениях и исторических событиях, что исключения здесь не составили даже Испания и Папское государство. Отчасти это проявилось с полезной и практической стороны в многочисленных реформах и предметах внутренней администрации, а отчасти в порожденном все тем же духом изгнании иезуитов — вначале только из Португалии и Испании. Зависть прочих духовных орденов была одной из его предварительных причин или служила его инструментом, однако само это событие должно быть приписано тайно возраставшей здесь и, наконец, достигшей полного развития и зримо явившейся во всей своей радикальной силе разрушительной партии просвещения. Те духовные ордена, которые и в самом деле подверглись вырождению и стали вконец невежественными или совершенно бездеятельными, отнюдь не вызывают у нее никакой ненависти — может статься, что они скорее даже полезны для ее тайных целей; однако поистине ненавистен ей всякий деятельный орден, преданный Церкви, искушенный в науках, образованный и притом знающий мир. Критическое исследование обоснованности или необоснованности отдельных обвинений, выдвинутых против иезуитов, должно быть предоставлено частной истории отдельных стран и самого этого ордена; здесь же, в общей картине эпохи просвещения это событие может найти себе место и быть упомянуто лишь как характерная черта того столетия. Когда, наконец, Папа Ганганелли изъявил согласие с ними и принял решение о роспуске ордена, многие были склонны рассматривать это как вынужденную меру, продиктованную непреодолимым влиянием светских сил. Однако, хотя само по себе такое предположение и можно считать допустимым, против него свидетельствует то обстоятельство, что восстановление ордена благочестивым Папой последней эпохи гонений произошло как раз тогда, когда стальное иго воинствующего деспотизма было наиболее тяжким, в том числе, и в политическом отношении.

Об истинных успехах христианского просвещения в философском исследовании и познании я еще буду говорить позднее. На основании немецкого религиозного мира естественным образом покоится также и та законодательно закрепленная в нем толерантность, которая является существенным элементом гражданского просвещения. Постепенно она завоевала господство почти повсеместно в Европе, однако следует отметить, что

в этом особом отношении одно и то же общее правило не может быть в равной мере приложимо ко всем странам, но сообразно с местными обстоятельствами, судить которых на расстоянии часто бывает непросто, здесь могут и должны иметь место известные модификации. Принять согласно с принципами общественной терпимости в единое народное целое столь великое множество мелких сект, как уже с самых ранних времен было сделано в Северной Америке или Голландии, в других государствах было бы не всегда возможно или целесообразно. Религиозная свобода и веротерпимость Российской империи, простирающаяся и на магометан, а также на некоторые буддистские и все еще существующие языческие народности, едва ли была бы возможна в большинстве других цивилизованных стран. Из самых глубин национальной самобытности и индивидуальных особенностей тех или иных стран здесь повсеместно проистекают самые особые местные обстоятельства и осложнения, которые нередко могут показаться нам необычными, однако их не следует поспешно осуждать, следуя одному всеобщему правилу и не имея точных, обстоятельных и глубоких знаний о конкретной исторической ситуации. Так, если Англия на территории собственной европейской метрополии по своему конституционному устройству все еще является нетолерантной, то в Канаде царит полнейшая североамериканская свобода вероисповедания, а владычество англичан над Индией всецело покоится на толерантности, в том смысле, что они управляют индийцами согласно с их собственными нравами, законами, обычаями и воззрениями. В сущности, преимущественно благодаря этому обстоятельству они и стали хозяевами этой великой и богатой страны и остаются ими до сего дня; что ясно уже из естественного и показательного сравнения их рассудительного господства с прежним гнетом магометан, гнушавшихся индейским язычеством (хотя в нем среди хаоса заблуждений и вымыслов содержится гораздо больше следов лучшего учения и высшей древней истины, чем в фанатически-негативном суеверии Магомета), в то время как последовавшие за ними французы, пока те еще крепко держались в этой стране, неблагоприятно предпочитали заключать союзы скорее с магометанами, чем с исконно индийскими силами. В Европе строгий запрет всякой религии, отличающейся от господствующего исповедания, с протестантской стороны сохранился в одной лишь Норвегии, где он распространяется не только на католиков, но и на иудеев, что с противоположной, католической стороны, имеет место в Ис-

пани и Португалии. Такое положение вытекает из всей истории этих стран и, будучи закреплено законом уже на протяжении многих столетий, стало твердым и непреложным обычаем и житейским обыкновением, так что внезапно отменить его без какого-либо нового исторического повода и веских побудительных причин легко могло бы оказаться делом рискованным и опасным. Однако ни в коем случае не следует полагать, будто столь суровые и абсолютные запреты, укорененные в законодательстве и в обычаях общественной жизни, какие существуют в Испании, всегда способны воспрепятствовать несравненно более опасному противодействию, оказываемому тайными сектами и обществами, что можно считать доказанным или весьма правдоподобным на основании многочисленных фактов из истории восемнадцатого века в упомянутых странах. В Италии столь строгие и безусловные запреты никогда не существовали; они не касались ни евреев, ни греков, а в новейшее время они уже не затрагивают и протестантов, как это бывало прежде. В Германии толерантность законодательно установлена уже самим религиозным миром, а следовательно, для ее возникновения не имелось нужды в новом принципе просвещения как воодушевляющей и движущей силе восемнадцатого столетия, которая в свою первую отрицательную эпоху здесь была обращена скорее против предрассудков и злоупотреблений иного рода. В некоторых протестантских землях Северной Германии эпоха просвещения в собственном смысле началась с отмены процессов над ведьмами, и против этого скромного начала не может быть представлено ни малейшего возражения, тем более, что и вообще дошедшее до нас из позднего, уже совершенно выродившегося Средневековья уголовное право предлагало особенно много предметов и варварского материала, подлежащего упразднению. Последующие реформы были направлены против не по-христиански мучительных способов казни и пыток; однако полная отмена смертной казни, ставшая целью дальнейших устремлений сторонников негативного усовершенствования законов, на основании нынешнего исторического опыта пока что не считается возможной или исполнимой. Вообще, кто мог бы отрицать, что отмена столь многочисленных злоупотреблений, опровержение и устранение общераспространенных предрассудков, в особенности поначалу, коснулось преимущественно таких явлений, которые и в самом деле заслуживали такого наименования, и что очень многие из этих реформ были необходимыми и полезными, позволительными и благотворными? Впрочем, иногда

начинает казаться, что эти столь быстро и поспешно отмененные варварские злоупотребления вскоре вновь вернулись под новыми именами и в новых формах. Такое всегда будет происходить там, где даже необходимая и благотворная реформа останавливается лишь на самой внешней поверхности явлений и не затрагивает их глубинного корня и первоосновы. Однако прежде всего необходимо отметить, что само по себе устранение злоупотреблений, негативное по своему образу действий, когда ему недостает прочного позитивного основания, еще не может ни привести к желаемой цели, ни и найти в самом себе надежного руководящего правила. Вскоре эти преобразования и весь ход событий будут охвачены опрометчивой и страстной поспешностью, в конце же они утратят всякую меру и цель, и все происходящее примет разрушительный оборот; и именно такая эволюция и характеризует период перехода от эпохи просвещения к революционному времени. Что только вскоре ни было признано здесь злоупотреблением или предрассудком не только из числа предметов и вопросов, касающихся гуманности, но и относящихся к любой иной области общественного действия и всякого мышления, не исключая и самой религии и политических отношений? В Германии при восшествии на трон императрицы Марии-Терезии освященный временем и со столь великим тщанием основанный и соблюдаемый с тех давних пор имперский мир, казался духу нового времени не более чем смехотворным предрассудком непросвещенных регенсбургских педантов. Пятьюдесятью годами позднее в атеистически-революционную эпоху французской философии, согласно со всем образом мысли, господствовавшим непосредственно перед катастрофой и в самом ее начале, христианство и всякая религия представлялись не чем иным, как совершенно безосновательным, несообразным со временем предрассудком, унаследованным от младенческого состояния человеческого духа, а монархия и вообще цивилизованное состояние нынешнего европейского человечества — почти уже невыносимым злоупотреблением. И лишь когда была достигнута эта конечная цель хваленого просвещения, началось отрезвление. Но еще прежде, около середины восемнадцатого века и в первые последующие десятилетия разбушевавшийся дух времени неудержимо увлек за собою весь мир. Если в древние времена монархи домогались имени «всехристианнейшего» или «католического», то пребывавшие теперь на самой вершине власти и разума коронованные главы новой эпохи чувствовали себя польщенными титулом «просве-

щенный». Не могут не смутить наших нынешних чувств те не в меру близкие контакты, которые, как мы видим, поддерживали тогда посевший в бранях и делах государственных король или великая владычица северной империи с самым испорченным из глашатаев французского безбожия. Что же касается третьей из выдающихся монархий эпохи просвещения, то, несомненно, никто из имеющих о том наиболее компетентное суждение не сможет не признать, что весьма многие (хоть и не все) из учреждений и распоряжений Иосифа II, сделанных за непродолжительное время правления этого деятельного императора, были основаны на подлинных потребностях той эпохи и имели самые благотворные последствия для промышленности и духовной культуры. Однако произошедшие с тех пор решительные перемены, которые повлек за собою всеобщий переворот и переустройство мира, давно уже вынесли историческое суждение о том, что не только некоторые отдельные, но даже и многие из наиболее деятельных и благоразумных правителей того столетия дали слишком много воли принципам господствующего духа времени и чересчур поспешно поддались его течению, неудержимо увлекавшему за собою все.

Что касается Франции, то мода на английские обычаи, появившаяся здесь в эпоху Регентства, за которой вскоре последовало и подражание английской литературе и философии, добавила ко многим имевшимся здесь уже ранее внутренним элементам брожения еще один новый, не менее опасный. Ибо для того, чтобы удержать, по меньшей мере, в некоторых границах эту философию, ограничивающую все чувственным опытом, здесь недоставало свойственного англичанам чувства равновесия — словно врожденного, а благодаря их конституции сделавшегося и почти инстинктивным, — благодаря которому они никогда не переходили известных границ, установленных как внутри самой своей нации, так и вовне, в системе межгосударственных отношений. И даже то направление в науке, которое, в сущности, отрицает сферу духовного и божественного, не столь легко или, по меньшей мере, не столь поспешно принимает у них откровенно разрушительный оборот, как это случилось во Франции в ту атеистически-революционную эпоху литературы и вообще всей европейской науки, ибо вредоносное влияние развившегося здесь духа отнюдь не оставалось ограниченным этим центром и местом его возникновения, но распространялось отсюда по всем странам. В этом состоит важное и существенное различие между философи-

ей, например, Локка или Юма, которую, невзирая на ее негативную природу и принятое ею направление, отрицающее всякие сверхчувственные идеи (хотя, конечно, большинство основоположников и прочих приверженцев этой системы стремились до некоторой степени примирить ее с потребностью в вере и, по меньшей мере, связать ее с внутренним нравственным чувством), я ранее назвал обыкновенным протестантизмом философского мышления — в противоположность той совершенной революции неверия, произошедшей во французской натуралистической системе атеизма. Ее реальным содержанием было языческое обожествление природы, и даже величайшие открытия новейшего естествознания, которые, в сущности, могли и должны были хотя бы указывать на нечто более высокое, остались незамеченными и неиспользованными в согласии со своим истинным духом и внутренним содержанием, или вынуждены были служить предлогом или инструментом фанатической вражды против Бога. И даже основа относительно более здоровой французской натурфилософии, в сущности, оставалась материалистической, а господствующим тоном всего этого целого было все то же чувственное и фанатичное преклонение перед природой. Чем блистательнее были таланты, задававшие тон в этом атеистически-революционном направлении европейского духа, тем более пагубным должно было стать их общее воздействие. Это относится и к тому насмешливому уму, соединившему в себе все формы, роды и манеры старой французской образованности, который, поистине мастерски владея этим оружием гнусного остроумия, непрестанно упражнялся в нем всю свою жизнь, возводя хулу на все что ни есть святого и достойного уважения, какого бы рода оно ни было и где бы ни обреталось. Но как грубейшие заблуждения суть именно те, которые еще заключают в себе часть правды и, тем самым, обладают действенной силой убеждения, так и Руссо, быть может, оказал еще более губительное влияние, нежели упомянутый всехулительный дух всеобщего отрицания. Его, конечно, нельзя назвать откровенно антихристианским автором — по крайней мере, он не является таковым безусловно и во всех отношениях, а его фанатичное преклонение перед природой по сравнению с уже упомянутым атомистическим учением о природе и ее язычески-атеистическим обожествлением является вполне духовным. Среди ораторов и великих риторических талантов своей эпохи и нации он занимает первое место — пожалуй, столь же решительно,

как в свое время Боссюэ, отличавшийся, конечно, совершенно иным религиозным умонастроением. Меньшего красноречия, пожалуй, было бы недостаточно, чтобы внушить всей той эпохе идею проповеданного им дикарского равенства, заставив весь мир восхищаться естественным состоянием каррибов и ирокезов, изобразив его как подлинное предназначение человека (лишенного в Европе всякой естественности), с сожалением обращаясь к прошлому, к блаженному первобытному состоянию его подлинной естественной свободы. И это была не просто праздная игра фантазии, не какие-нибудь ложные чары романтического чувства — идея блаженного равенства дикарей была выдвинута и распространялась со строжайшей последовательностью продуманной и математически доказанной рационалистической системы и с такой же полной убежденностью и слепым фанатизмом практически претворялась в реальную жизнь. Результатом стала известная нам эпоха безбожной свободы, то есть, свободы, совершенно оторвавшейся от Бога и всякого божественного основания в вере и жизни, за которой, как обычно, тотчас последовало ложное единство сокрушительного деспотизма, находящегося в не менее презрительном антагонизме ко всему божественному и истинно высокому, что только есть в человеке и в мире — с той только разницей, что здесь, повинувшись ужасно ускорившемуся ходу событий, с великой поспешностью устремившемуся к концу последних времен, все известные истории стадии революционной болезни: начиная с первого Брута, включая учреждение республики, войну с соперничавшим Карфагеном, стремительные завоевания и переход к деспотии, вплоть до Тиберия или Диоклетиана, — были пройдены за краткий промежуток времени, едва ли не равнявшийся жизни одного поколения. Пожалуй, в сущности, несправедливо, что эту революцию всегда называют лишь французской или рассматривают исключительно в качестве таковой: это была политическая болезнь, эпидемия народных несчастий, поразившая всю эпоху. В Голландии и Бельгии она разразилась еще ранее, в Польше приблизительно одновременно с Францией; ибо, хотя бельгийская и, в особенности, польская революция имели совершенно иной характер, нежели французская, тем не менее, все это были примеры и феномены того же рода, в которых проявлял себя господствующий тон и дух того времени. Подлинным рассадником всех этих разрушительных принципов, училищем революции для Франции и всей прочей Евро-

пы была Северная Америка. Это помрачение распространялось и во множестве других стран путем естественного заражения или преднамеренного насаждения, однако Франция, конечно, всегда оставалась важнейшим центром и всеобщим очагом разрушения. Когда же вся власть революции оказалась сосредоточена в руках одного человека, это уже не могло существенным образом изменить ее дальнейшего течения. Внешне, по форме и по отношению к другим странам и государствам, революция оставалась длившейся в течение пятидесяти одного года религиозной войной; ибо таковой она была в самом подлинном смысле — не только в силу своего первоисточника, но и по всему своему революционно-разрушительному характеру и по неукротимой фанатической ненависти ко всему святому. В основании этого нового язычества последних времен лежало также и нечто позитивное. Этим позитивным началом было политическое идолослужение; неважно, была ли его ближайшим и непосредственным предметом и дежурным божеством республика, богиня свободы, великая нация или, наконец, воинская слава и неприкрытая жажда завоеваний — в сущности это не составляет никакой разницы. Это было не что иное, как все тот же демон политического разрушения, дух антихристианского государства, всегда стремящийся обольстить свое время и овладеть всем миром. Всеобщая религиозная война могла и может быть завершена лишь новым большим европейским религиозным миром, подлинной же бездной гибели для нынешнего мира является политическое идолослужение, какую бы форму и имя оно ни пожелало принять. Пока оно не устранено окончательно, пока полностью не запечатана эта гибельная бездна, на обновленной и очищенной земле не будет воздвигнут дом Божий, в котором, по слову Писания, облобызаются правда и мир.





ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЛЕКЦИЯ

О господствующем духе времени и о всеобщем возрождении

«Се, грядущи скоро и сотворю все новое»¹⁰⁵.

Многие явления в истории восемнадцатого столетия выступили столь внезапно и, против всякого ожидания, сразу в столь завершенном виде, что, даже если по тщательном размышлении мы и сможем отыскать для них достаточную причину и основание в ходе предшествовавших событий, в естественном положении дел и мироустройстве в целом, имеется все же немало обстоятельств, которые, на наш взгляд, отчетливо указывают на их преднамеренную и тайную подготовку, что во многих случаях подтверждается подлинными историческими свидетельствами. Мы скажем теперь еще пару слов об этой тайной и загадочной стороне просвещения и его развития на протяжении всей эпохи его преобладающего влияния, чтобы довершить картину того времени и дать живую характеристику самой этой идеи как действующего в истории принципа в ее отношении к началу и духу революции (которая, согласно своим собственным фанатическим понятиям, должна была стать и, как ей мнилось, действительно была возрождением мира), а также и в отношении к характеру подлинного возрождения, покоящегося на религиозном основании христианской справедливости. Что касается предмета исторического исследования и оценки, здесь имеет место то своеобразное обстоятельство, что те, кто в качестве очевидцев мог бы лучше всего свидетельствовать о нем из

¹⁰⁵ Ср. Откр. 21:5 и 22:7.

собственного опыта, тем не менее, не всегда могут считаться самыми надежными свидетелями, ибо мы никогда достоверно не знаем и не можем знать, что именно, следуя некоему расчету или руководствуясь определенными убеждениями, они желают или не желают сказать, а что целиком или частично замалчивают. Тем не менее, во время этих всеобщих смятений и потрясенный миру открылась уже немалая часть этой эзотерической подоплеку новейшей истории, так что всех имеющихся в нашем распоряжении свидетельств будет, пожалуй, довольно, чтобы составить себе неложное и достаточно полное историческое понятие об этой стихии Просвещения и подмены истинного света ложным и обманчивым светом заблуждения, бесспорно, важной в силу своего явного воздействия и многообразного влияния на целое. И лишь в этой исторической перспективе (которой, однако, вполне достаточно для этой цели и которую здесь только и можно принять во внимание) я в состоянии судить о данном предмете или, как, скорее, следовало бы сказать, могу дать характеристику этому событию, так что все последующее его описание основано лишь на подобных исторических источниках, указаниях и фактах. Прежде всего, что касается отправной точки этого эзотерического влияния, то, по каким бы мотивам ни пытались иные отрицать или скрывать этот факт, беспристрастный исследователь истории едва ли сможет усомниться в том, что тем мостом, по которому все оно в целом (по меньшей мере, в своей тогдашней и с тех пор существующей форме) распространилось на европейский Запад, послужил орден тамплиеров. Представлениями и преданиями о Соломоне, связанными с самим основанием этого ордена, объясняются и взятые из области строительства религиозные символы, повод к возникновению которых могли дать также и другие части и места из Священного Писания и Священной Истории и которые с немалым успехом могут быть истолкованы также и во вполне христианском смысле и значении, тем более что следы этих символов можно найти даже на стенах готических памятников средневековой немецкой архитектуры. Однако духовное сообщество, распространенное одновременно у магометан и у христиан и отличавшееся эзотерическим образом мысли, никоим образом не могло быть чисто христианским или, во всяком случае, не могло бы оставаться таковым. Более того, само представление о подобном союзе и учении или о тайном распространении такового, в сущности, не вполне совместимы с христианством, ибо оно уже само по себе есть божественное таинство, которое,

однако, по замыслу самого его Основателя открыто всем взорам и каждый день возносится на всех алтарях. Именно потому в нем нет места для таких противопоставленных всеобщему откровению таинств, которые в языческих мистериях незримо совершаются для одних лишь инициированных и в научном отношении более образованных адептов, сосуществуя с мифологией и общедоступной государственной и народной религией. Такое сообщество неизбежно стало бы церковью внутри церкви, которая столь же мало позволительна и допустима, как государство внутри государства, а в эпоху, когда мирские интересы и открытые или тайные политические намерения имеют гораздо больший вес, чем религиозные взгляды или убеждения, такая паразитическая тайная церковь, несомненно, тут же превратилась бы в секретную Директорию, управляющую всеми внутренними движениями и изменениями в государстве, как это, собственно говоря, и случилось в действительности. Принятые в этом сообществе антихристианские убеждения, прикрытые общими филантропическими сентенциями и носящие сугубо просвещенческий, негативный характер, уже в силу простой исторической аналогии должны иметь довольно современное происхождение. Напротив, тот действительно признаваемый здесь, основанный на христианских мнениях принцип, хотя в наше время среди многообразных враждующих между собою партий его приверженцы составляют лишь весьма незначительное меньшинство этой секты, согласно с историческими свидетельствами о ее возникновении, должен иметь скорее восточно-гностические истоки и характер. Невозможно, пожалуй, уже отрицать его большое или, по крайней мере, существенное и всегда немаловажное политическое влияние теперь, когда мы слышим о насильственных переворотах, перекинувшихся из Европы на другие континенты и назад в Новый Свет и узнаем, что в одной из стран последнего, находящейся в южном полушарии нашего глобуса, обе основных партии, участвующие в государственной революции и до сих пор не завершившихся беспорядках, именуется «шотландской» и «йоркской» по названиям противоборствующих английских лож. Кто же не знает или кто не помнит, с какой охотой властитель мира в недавно минувшую эпоху прибегал к этому средству во всех завоеванных им землях, чтобы с его помощью вводить общественное мнение в еще большее заблуждение и питать его ложные надежды? И что именно за это получил он от своих приверженцев прозвание человека века и уж во всяком случае был действительно слугой духа своего време-

ни? Подлинно благотворным для всего человечества, политически верным и поистине христианским по своим целям и направлению никоим образом не может быть или называться такое сообщество, из чьих недр, словно из потаенной мастерской разрушительного духа времени, поочередно выходили иллюминаты, якобинцы и карбонарии. Впрочем, при всем том я должен заметить, что неизбежная судьба и участь этого древнейшего из всех тайных обществ заключается в том, что в ее почтенные формы, уже известные всем посвященным, с охотой облачается каждый новый заговор. Нельзя забывать также и о том, что этот орден, по всей видимости, всюду разделился и распался на несметное множество партий, различных сект и течений; и потому никоим образом не следует думать, что все эти ужасные крайности, дикие эксцессы безбожия и революционные принципы, явно разрушающие или тайно подрывающие все вокруг себя, господствуют в них безраздельно — напротив, подобное допущение было бы в буквальном смысле решительно ложным или, во всяком случае, весьма преувеличенным в историческом отношении. Простого упоминания всех людей, хотя и обманувшихся в этом пункте, однако в остальном достойных высочайшего уважения, всех общеизвестных прославленных и выдающихся имен восемнадцатого столетия, числившихся в рядах этих сообществ, было бы достаточно, чтобы опровергнуть такой откровеннейший предрассудок или, по крайней мере, внести в него существенные поправки. По множеству признаков можно считать исторически достоверным или хотя бы в высшей степени вероятным также и то, что ни в одной другой стране это эзотерическое общество и его власть не были приведены в столь полную гармонию с самим государством и всем существующим порядком вещей, как в той, где, кажется, вообще все противоборствующие стихии жизни и современного общества, насколько это возможно, самым искусным образом приведены в равновесие, то есть, в Англии. Между тем, если мы вновь обратим свой взгляд на остальную Европу, в том числе даже и на основные ее революционные страны, то увидим, что среди множества тайных сообществ здесь, несомненно, имелась также и христианская партия. И хотя по количеству своих членов она составляла лишь очень незначительное меньшинство, тем большим было ее духовное превосходство во всем, что касалось глубоких идей и сохранившихся здесь действительно интересных остатков древнего предания, о чем вполне ясно и убедительно свидетельствуют исторические факты и ставшие доступными письмен-

ные памятники. Вместо менее общеизвестных немецких примеров я предпочел бы привести в подтверждение сказанного имя одного французского писателя, весьма важного и показательного с точки зрения глубинного и более скрытого характера революции. Ибо этот христианский теософ, Сен-Мартен, занимает среди прочих глашатаев господствовавшей в его времена атеистической партии совершенно обособленное место, хотя и сам он вышел из тех же кругов и из той же школы. Он, разумеется, также был решительным революционером, однако революционером бескорыстным и восторженным, движимым одними лишь высшими, духовными побуждениями, глубоким презрением и неприятием современного состояния морали и политики в Европе (и здесь во многих отношениях с ним не то чтобы можно вполне согласиться, однако нельзя не признать за ним некую негативную правоту), а также воодушевленным ожиданием всеобщего христианского возрождения — разумеется, в том смысле, который вкладывал в это понятие он сам и его единомышленники. Среди французских авторов, писавших об этом возрождении, никто, пожалуй, не постиг этого примечательного философа столь основательно, вместе со всеми глубинами его заблуждений, никто не сумел по достоинству оценить содержащиеся у него многочисленные здравые мысли и воспользоваться ими, внося в них тут или там необходимые коррективы, как это сделал граф де Местр. Давая оценку и исчерпывающую характеристику революции мы, безусловно, не должны обходить вниманием эту ее эзотерическую линию, ибо она немало способствовала обману множества, в сущности, вовсе не злонамеренных людей, видевших и желавших видеть в революции лишь неизбежно необходимое, хотя поначалу, быть может, представляющее грубым и жестоким возрождение всех христианских народов и государств, столь далеко уклонившихся от своего предназначения. Особенно действенным оказалось это заблуждение и обманчивая химера ложного возрождения в эпоху властвования того исключительного человека, чья подлинная биография, а точнее, ее глубинное понимание и высший закон или же богословский ключ к его жизни, пожалуй, все еще превосходит меру разумения нашего времени. Семь лет были отведены на возрастание его могущества, на четырнадцать лет в его руки были преданы судьбы всего мира, а затем еще семь лет ему было отпущено для одиноких раздумий; впрочем, первый год из последней седмицы он использовал весьма дурно, произведя в мире новое замешательство. Какое употребление нашел он этой дарованной

ему исключительной силе, этим предоставленным ему страшным полномочиям, о том история и ее суд давно уже вынесли свой приговор; однако подобное попушение никогда не происходит иначе, как во времена великой расплаты, чтобы призвать человечество к страшному ответу и едва ли не еще более ужасному испытанию в последнем и решительном сражении. Итак, если его возрождение, а точнее, то, что приписывали ему его ослепленные приверженцы было, без сомнения, ложным, сразу же возникает вопрос: было ли тогда последующее возрождение уже действительно настоящим или, по крайней мере, доведенным до полного завершения, или же в нем оставались какие-то недостатки, требовавшие восполнения?

Всеобщий европейский мир между народами и божественный мир не может свестись к обычному договору между странами; восстановление низвергнутых тронов и простая реставрация всех изгнанных династий и правителей как таковые и сами по себе не имели и не могли бы иметь под собою надежной опоры и долговременного основания, если бы не были утверждены на принципах и убеждениях. Итак, вполне естественно, что после такого нежданного наказания и урока, преподанного европейским нациям, то новое основание, которое было подведено под это целое, имело религиозный характер; а что идея его была выдержана столь неопределенной, не может служить ему упреком, ибо именно такой образ действий и был необходим, по меньшей мере, поначалу, чтобы предотвратить возможность всяких недоразумений, связанных с его ложными истолкованиями, и избежать взаимных подозрений в тайных эгоистических замыслах. От уз этой глубокой религиозной взаимосвязи, дальнейшего упрочения и все более отчетливого формирования которых можно лишь пожелать, не только полностью зависит постоянство и будущность всех христианских государств и цивилизованных народов Европы в целом, но и судьба каждой из великих держав по отдельности определяется ими самым существенным образом. Что глубинная сила и само существование Российской империи может покоиться лишь на таком религиозном основании и что всякое уклонение от этого духа может воздействовать на массу целого лишь самым губительным и разрушительным образом, было заявлено ее недавним монархом, изведавшим немало бед и страданий, и возведено в ранг важнейшего государственного принципа, который едва ли когда-нибудь будет поставлен под сомнение. Необходимо лишь, чтобы здесь, где стихия протестантизма (в самом широком ду-

ховном значении этого слова) и без того столь решительно преобладает в мышлении и основополагающих принципах, в самых первоосновах ее просвещенческой образованности и во всей ее политической системе, из принятой в этой стране всеобъемлющей толерантности не делалось никаких изъятий именно для матери-церкви, господствующей в прочей Европе, включая, в частности, Польшу, и чтобы личная религиозная свобода в этом отношении никак не была ограничена. Столь же очевидно, что в той европейской стране, где была восстановлена монархия, такая реставрация должна быть неразрывно связана и с возрождением религии, ибо лишенная этого основания, монархия вновь потеряла бы всякую почву под ногами. В той миролюбивой монархии, которая в своем непрерывном существовании с неколебимой твердостью держится прежнего древнего убеждения, это религиозное основание и без того с незапамятных времен является общепризнанным и, как никакой другой принцип, может быть отнесено ко всему ее целому. Что касается образованной в последнее время пятой германско-европейской монархии, то лишь в непреложности религиозных убеждений может быть найдено средство, способное унять свойственное таким государствам историческую тревогу и обеспечить ему надежное основание так же и в будущем. Какие-либо, пусть даже самые косвенные, нападки на католическую сторону и половину этого государственного целого, какая-либо оппозиция, противодействующая свободе индивидуума в этом священном вопросе (которая должна быть защищена не только буквой закона, но и на деле, в реальной жизни) и противоречащая неудержимо распространяющемуся по всей Европе и особенно в Германии религиозному умонастроению, могла бы лишь повредить и создать препятствия этому уже ставшему историческим основанию и вновь поколебать его, как это, впрочем, уже было признано к настоящему времени. Водной лишь Англии эти религиозные узы всеобщего христианского альянса европейских государств и народов сразу же вызвали типично англиканские подозрения, связанные здесь с все еще исключительно протестантским государственным устройством и конституцией и потому во многих вопросах способные легко привести эту страну к схизматическому обособлению от остальной Европы. Имеются, впрочем, и многие иные причины, заставляющие с сожалением задуматься: неужели великая Англия, чей блеск и могущество в восемнадцатом веке проявлялись, в частности, в ее господствующем влиянии на европейскую мысль и духовную культуру, теперь,

в девятнадцатом веке все никак не может найти своего места и надлежащих ориентиров? Вообще же для Европы либеральные принципы и убеждения суть не что иное как несколько видоизмененный возврат к революции и не имеют никакой иной цели; а привлечь на свою сторону большинство благонамеренных и приверженных праву людей в отдельной европейской стране или на всем континенте они могли бы лишь благодаря грубым ошибкам и глубокому вырождению той партии, которая, в сущности, вовсе не должна ни быть, ни называться партией, то есть, иными словами, людей, имеющих в государственных вопросах монархические, а по отношению к эпохе и миру — религиозные и христианские убеждения. Косный закон сугубо механического равновесия, служащий для негативного ограничения всякой доминирующей силы в том виде, в котором эта система впервые появилась в Англии, а в восемнадцатом веке была принята и возобладавала повсеместно, уже не может применяться по отношению к Европе и приносить здесь действительные результаты, ибо все средства, которые он еще может предложить, способны лишь усугубить те несчастья, которые могут иметь здесь место. Лишь в религиозном основании весь цивилизованный мир, а также каждое самостоятельное государство в отдельности может обрести спасение и утверждение, помощь и оборону, а величайшая опасность нашего времени и возможность злоупотребления самим этим религиозным основанием подстерегает на том пути, по которому уводит абсолютное мышление. Весьма вредно и чрезвычайно опасно, когда сторонники правого дела, охваченные страстью воздаяния, сами перенимают революционные методы и сущность, когда сама страсть возводится в рациональный принцип и становится единственно признанной и принимаемой на веру системой, а сама святыня религиозного убеждения формулируется и распространяется в качестве господствующей модной идеи, как будто действующая в мире спасительная сила веры и истины может заключаться в повторенной пустой формуле и в мертвой букве, ибо подлинная жизнь и ее прочное основание могут проистекать лишь из животворящего духа вечной истины. В науке абсолютное есть бездна, несущая гибель живой истине, превращающая ее в пустое понятие и бессодержательную формулу; а в настоящем мире и практическом приложении абсолютное в мышлении и самом действии есть лживый дух времени, противящийся всему благому и полноте божественной жизни в вечной истине, в немалой мере владеющий этим миром и стремящийся овладеть им

целиком, навсегда направить его по ложному пути и привести в окончательное замешательство. Образ действия этого изменчивого духа, принимающего все формы разрушения, с самого начала, с тех пор, когда тот отверг и попрал вечную истину, оставался одним и тем же: поскольку его заблуждения, если бы они не содержали в себе частицу или видимость истины, не представляли бы никакой опасности и не имели действительной силы, он, взяв какую-либо отдельную деталь, вырывает ее из исторической взаимосвязи и представляет абсолютным центром всего и конечной целью целого — безусловно, без всякой осторожности и исторической осмотрительности. Однако истинный центр и подлинная цель целого, которая присутствует как во всеобщей истории, так и в жизни отдельного индивидуума, никоим образом не может быть изъята из своей исторической взаимосвязи, оторвана от своего места в живой последовательности естественного развития и понята абсолютно и в изолированном виде. При такой страстной методе и обращении с предметом из него ускользает живой дух и остается одна лишь мертвая и, в свою очередь, мертвящая формула. Какие идолы будут поочередно становиться модой духа времени, переменчивого и легко переносимого из одной крайности в другую, этого бывает никак нельзя заранее предугадать. На какое-то время в качестве идола эпохи может быть предана на поругание и осквернение даже сама вечная истина, а точнее, ее воспроизведенная внешняя форма, ибо лишь эту внешнюю оболочку будет пытаться уловить и объять дух времени, внутреннюю же сущность и живую силу ее он не может ни охватить, ни удержать. Но какие бы кумиры ни сменяли друг друга в качестве господствующих предметов его идолослужения или страстной риторики, сам он и его подлинная сущность остаются всегда теми же самыми, то есть, абсолютными, умертвляющими дух и разрушающими жизнь. В науке абсолютное есть божество пустых и тщетных рационалистических систем, и лишь его мертвое, абстрактное понятие такие системы знают и принимают. Но христианская вера имеет своим предметом и содержанием Живого Бога и Его откровение, и сама является этим откровением; и именно потому любая божественная истина, выведенная из этого первоначала и общего источника есть истина живая и позитивная. И потому, оставив истину против заблуждений духа времени, мы лишь тогда можем достичь долговременного успеха, когда божественное положительное учение, какой бы сферы человеческой жизни оно ни касалось, будет воспринято и познано как живое начало

и утверждено со всею силой духовной жизни. При этом мы также должны обосновать его во всей полноте его исторических взаимосвязей, должным образом принимая во внимание и признавая все прочие элементы позитивной исторической реальности. Историческая взвешенность суждений и реальное проникновение в предметы — как в фактические события, так и в интеллектуальные явления — является неразрывным спутником истины и непременным условием ее совершенного познания. И это тем более верно, что религиозным убеждениям, составляющим основу всякой истины и всякого ее познания, и без того свойственно внимательным взором проследивать нить божественного попущения и высшего водительства даже в лабиринте величайших человеческих заблуждений, будь то практического или чисто научного рода. Напротив, заблуждение, прежде всего, неисторично, а дух времени почти всегда страстен, и именно потому оба они ложны. Борьба с заблуждениями даже в области науки не может вестись успешнее и быстрее прийти к завершению, чем если мы будем, следуя божественному мерилу полного глубинного познания, разделять на две составные части: истинную и ложную — то абсолютное, которое составляет первооснову, внутренний центр и конечную цель всякой системы практического или научного заблуждения. Когда мы признаем в качестве таковой и выделяем истинную составляющую такой системы, то в остатке сама собою оказывается прочая пустота, так что от нас не требуется уже особых усилий или больших затрат сил и времени, чтобы обнаружить и убедительно продемонстрировать ее ничтожность. Разумеется, очень часто в действительной жизни такая борьба вскоре перестает быть только духовной, материальная сила противоборствующих партий приходит в возбужденное состояние, и по мере того как они становятся все более абсолютными, характер их противоборства все более начинает походить на схватку стихийных сил, ведущую к взаимному уничтожению. Все это самым решительным образом препятствует делу истинного религиозного возрождения как великой задаче нашей эпохи, которая еще далеко не нашла своего окончательного решения и, тем более, не была завершена. В этом отношении внушает опасения тот феномен, что в некоторых европейских регионах или даже целых странах все партии и вся общественная жизнь приобретают все более и более абсолютный характер. Ибо само собою разумеется, что в данном случае речь идет не о самом имени, и что нередко наиболее абсолютными оказываются отнюдь не те партии, которые считаются или

сами называют себя таковыми, поскольку здесь, как это всегда бывает во времена ожесточенной межпартийной борьбы, начинается безудержный произвол, грубейшие ошибки и недоразумения в наименованиях и вообще немалая путаница понятий, а также новое вавилонское смешение языков, в том числе и тех, которые обыкновенно более других отличались ясностью и определенностью. Твердость убеждений, последовательность мышления, крепость характера, догматически четкая определенность позитивной веры как те качества, которые более всего хранят человека в его поступках и во всей жизни, ни в коем случае не следует смешивать с абсолютной направленностью в мышлении и действии, ибо они вполне совместимы с исторически обусловленным суждением о всех вещах и добросовестным вниманием ко всякой исторической данности. Среди французских писателей новейшей эпохи, посвятивших себя призванию религиозного возрождения общественной мысли, никто, пожалуй, не обладает этими качествами в большей мере или в столь превосходной мере, как граф де Местр; и при этом среди всех прочих авторов подобного рода его менее всего можно упрекнуть в симпатиях к страстным реакциям, а по моему собственному убеждению, он, в сущности, и вовсе не заслуживает подобных упреков. Между тем, если некоторые другие, более склонные к риторике защитники религиозных принципов и убеждений во Франции, действуя со стороны реакции, остаются не вполне свободными от обвинений в таком же страстном и абсолютном духе, то тем самым они, бесспорно, вредят тому делу, которое пытаются отстаивать, причем даже более, чем все их противники. Многие упреки подобного рода продиктованы одним лишь партийным духом и лишены всякого основания. Так, когда в той стране, о которой я веду речь, после реставрации оппозиция распространяет упрек в абсолютистской политике в духе реакции на само правительство и различные министерства, каждому должно быть ясно, что в действительности те не дали к тому никакого повода. Ибо сама мысль, что там, где терпимостью пользуются все мыслимые партии, враждебные воззрения и образы мысли, эта всеобщая толерантность может быть распространена и на малое число иезуитов, могла вызвать упреки, недоверие и мнимую озабоченность лишь под влиянием страстного партийного чувства, возникшего в умах, лишенных всякого понятия о справедливости. Ведь любой беспристрастный и сугубо исторически мыслящий наблюдатель, глядя на все это издалека, сочтет возможность возврата от либераль-

ных убеждений к революционным принципам гораздо большей и более непосредственной угрозой.

Догматическая определенность и ясность католической веры, с одной стороны, и единожды установленное религиозное мнение, с другой, протестантской стороны могут весьма успешно сочетаться с историческим суждением об исторических вещах. И более того, именно историческое суждение, как бы тяжело оно ни давалось абсолютному характеру нашей эпохи, могло бы яснее всего указать нам путь к полнейшему торжеству истины и величайшей славе христианской веры. В этом заключается также и великое различие между истинной терпимостью и мертвящим индифферентизмом нашей эпохи и непосредственно предшествовавшего ей времени. Истинная толерантность покоится на смиренном и в силу этого религиозном умонастроении и непреложной надежде, что всякую историческую данность, которой мы даем юридическую возможность существования, Бог, несомненно, не оставит своим попечением и приведет ее к полному примирению и предустановленной для нее конечной цели. Такое представление в корне отличается от мнимого равенства всех религий при условии их моральной доброкачественности, ибо такое абсолютное безразличие, в сущности, упраздняет всякую религию. Нетерпимость же всегда основывается на исполненном гордыни и, тем самым, безбожном безумии, стремящемся устроить все по собственному разумению, нисколько не принимая во внимание пределы человеческой слабости. Однако, что касается внешних успехов такого намерения, мы не должны забывать, что все то, что было отвергнуто открыто и с применением насилия, нередко продолжает тайно существовать в несколько измененной форме и представляет гораздо большую опасность, в подтверждение чему можно привести немало исторических примеров.

В основании абсолютного духа времени и партийного характера всегда лежит врожденная и глубоко укоренившаяся интеллектуальная гордыня, которая нисколько не нуждается в более индивидуальном или личном характере, ибо она имеет отношение главным образом лишь к историческому развитию рода человеческого вообще и данной эпохи в частности; и в силу этого дух, превозносясь своей внутренней силой или облеченный внешней властью, начинает думать, что действительно может осуществить в истории то, что в действительности может быть лишь даровано Богом. От Него исходят все творческие моменты великого, всеобщего, истинного возрождения,

первое место среди которых занимает изначальное распространение самого христианства, бывшее всеобщей и великой всемирной революцией в высшем и божественном смысле этого слова. И в эти великие моменты возможно все, что только может пожелать и на что способен надеяться человек, если только не слишком портит делами рук своих те дары, которые изливает над своею Землей щедрый монарх мироздания в неисчерпаемом избытке божественной любви. Вот уже на протяжении трех последних столетий проявляет себя эта человеческая гордыня нового времени, желающая сама творить историю, вместо того чтобы смиренно принять ее вместе с отведенным ей там местом, с любовью используя и развивая ее в разных направлениях, находя дальнейшее применение и приводя к полному исполнению все то, что судил и дал ей Бог. Все то, что прежде было сказано мной по отношению к Реформации, может быть также применено к идее и эпохе Просвещения. Само это понятие является вполне безупречным, и было бы несправедливо ограничивать его лишь имевшимися злоупотреблениями и искажениями, желая отвергнуть его целиком и безо всякого различия. Однако лишь весьма малая часть Просвещения восемнадцатого века была в согласии с чистым светом истинной веры действительно верно выведена из уже ранее заложенного позитивного божественного основания христианской истины, а все остальное (и это была гораздо большая его часть), было всего лишь делом рук человеческих, и потому тщетным и ничтожным или, по меньшей мере, хрупким, в частности извращенным, а в целом лишенным прочного основания, а значит, неустойчивым и недолговечным. И только когда с окончательной победой истины придет время божественной реформации, тогда прежняя человеческая Реформация сама собою упразднится, прекратится и исчезнет с лица Земли. И все это будет также и истинным христианским просвещением в повсеместном торжестве христианства и, вместе с тем, совершенным религиозным возрождением мира, времени и самого государства. Быть может, эта эпоха не столь уж и далека от нашего времени, как по своей косности способен представить себе земной человеческий дух, вновь и вновь погружающийся в смертный сон привычной повседневности после каждого выдающегося события. Между тем, по человеческому масштабу это высшее религиозное упование, это богатое содержанием историческое ожидание не может не быть сопряжено с великой тревогой, порождаемой в нас грядущим актом полного откровения божественной справедливости, который

должен реально свершиться в эти последние дни. Ибо как можно помыслить такое религиозное возрождение, если прежде того не будет выкорчевано под корень и окончательно истреблено с лица Земли всякое политическое идолопоклонство любого вида и формы, каким бы именем оно ни называлось? Еще ни одна эпоха не была столь сильно и столь близко, столь исключительна и всеобъемлюще определена своей обращенностью в будущее, как наша. Тем более необходимо как можно точнее и тщательнее определять и проводить различие между тем, что сам человек своими непрестанными и постепенно возрастающими усилиями в мирном разрешении всех спорных вопросов и в собственном духовном развитии может соучаствовать в великом деле всеобщего религиозного возрождения государства и науки, а чего он может лишь ожидать, пребывая в безмолвном благоговении перед высшим водительством и новым «fiat» Творца, которое будет произнесено в ту последнюю эпоху совершенства, которое сами мы не в состоянии ни каким-либо образом вызвать к жизни, ни даже послужить для него причиной или поводом. К будущему мы обращены гораздо более чем к прошлому; однако чтобы верно осмыслить задачу современности во всем ее величии, в поисках основы для грядущего возрождения недостаточно будет вернуться в восемнадцатый век, который ни в каком отношении не заслуживает наших похвал, ни во времена Людовика XIV или к какой-либо еще недалекой эпохе мнимого блеска той или иной нации. Истоки христианства образуют в этом смысле первую и единственно устойчивую отправную точку, к которой мы можем вернуться — не для того, чтобы с помощью какого-нибудь волшебства попытаться вернуть давние времена в тех формах, которые давно уже неприложимы к нашей эпохе, а лишь затем, чтобы составить себе ясное представление о том, какие из поставленных ею задач все еще остаются неразрешенными. Ибо все то, что было упущено в прежние эпохи, на прежних ступенях развития христианского миропорядка, бесспорно, необходимо будет наверстать в эпоху совершенного и истинного возрождения. Если истина должна окончательно победить, а христианство действительно восторжествовать на земле и в человеческом роде, то и государство, и наука должны также сделаться христианскими. Однако ни та, ни другая задача еще не нашли всеобщего и полного решения, хотя на протяжении многих сотен лет после возникновения христианства человечество силилось достичь этой цели, и именно эта борьба и внутреннее усилие этого духовного развития составляют содержание новой

истории. Всемирная римская империя, даже тогда, когда в ней возобладала истинная религия, с древних времен была уже слишком сильно, до самых корней поражена внутренней порчей, чтобы сделаться государством, по праву носящим имя христианского. Гораздо более пригодной для этого казалась здоровая и неиспорченная природная сила германских народов, после того как с принятием христианства они приняли свыше необходимое для того религиозное посвящение. Здесь, как во внутренней жизни каждого народа и страны, так и во всей империи в целом имелись прекраснейшие задатки истинно христианского государственного устройства; однако они не достигли окончательного и полного развития, поскольку расколы, произошедшие вначале внутри государства, затем между государством и церковью и, наконец, внутри самой церкви и религии, прервали их дальнейшее совершенствование уже в самом начале их благополучного развития. Конечно, для христианской науки церковные писатели первых столетий образуют непреложное основание, однако последнее отнюдь не охватывает собой все отрасли знания. В Средние века это церковное начало христианской науки возрасало неспешно и лишь в отдельных частностях; в целом же под действием многообразных вредоносных влияний того времени мыслящий дух в своих научных спекуляциях подвергся сильному вырождению уже тогда, когда в пятнадцатом столетии ему нежданно открылись и стали доступны все литературные богатства глубокой греческой древности, а также все новые мировые открытия в естественных науках. Однако едва лишь он приступил к обозрению этой великой сокровищницы древнего и нового знания, чтобы по-христиански оформить и упорядочить его и таким образом усвоить его себе и всему новому времени, как мир вновь оказался расколот надвое, прервав это прекрасное начало христианской философии и представив ему в виде незаконченного фрагмента ожидать более счастливого будущего. Все это составляет ныне стоящую перед нашей эпохой двойную задачу истинного и совершенного религиозного возрождения: с одной стороны, дальнейшее развитие христианского государства и католических государственных принципов в противоположность до сих пор столь безраздельно господствовавшему революционному духу времени и антихристианскому государственному принципу, а с другой — построение христианской философии всеобщего религиозного или католического знания. Прежде я обозначил характер восемнадцатого века в политическом отношении как протестантизм государства

(в сугубо философском смысле этого слова, а не в его побочном значении, относящемся к одной из религиозных партий), который, впрочем, нашел себе одну из самых существенных опор в древней католической империи, в научном же отношении — как протестантизм знания, ареной полного развития и наиболее широкого влияния которого стала другая великая католическая страна. Первоисточки этого протестантизма не содержали в себе ничего антирелигиозного, а напротив, покоились на вполне религиозных и христианских устремлениях, имевших, однако, по большей части сугубо негативный характер или направленных исключительно на один изолированный объект. Подобным образом я позволю себе теперь, характеризуя высшее предназначение и существенную потребность девятнадцатого века, сказать, что их будущее основание должно покоиться на прочном основании католических государственных принципов, на неуклонном продвижении и всеобщем стремлении к католическому знанию. Я понимаю под ним отнюдь не догматическое учение, а сугубо всеобщее христианское и религиозное, причем не чисто негативное, а позитивное начало в убеждениях и образе мысли в исключительно научном смысле слова. А для уверенности, что сказанное не было неверно истолковано в полемически-исключительном смысле, я хотел бы недвусмысленно уточнить, что такие католические государственные принципы политического будущего Европы вполне могут быть заложены какой-либо (и, возможно, даже не одной) не католической державой и что сам я лелею твердую надежду, что наполовину протестантская страна, а именно, наше немецкое отечество, будет преимущественно и более всех остальных содействовать полному развитию католической науки и истинно христианской философии во всех отраслях человеческого знания.

Религиозная надежда на истинную, полную и заслуживающую своего имени эпоху возрождения христианского государства и христианской науки составляет завершение нашей философии истории. Крепкие узы глубокой религиозной взаимосвязи между всеми европейскими государствами будут тем более упрочиваться и проявляться в тем более развитом виде, чем более преуспевает каждое отдельное государство в религиозном возрождении своей внутренней жизни и чем тщательнее будет оно избегать всяких попыток возвращения к ложным идолам иллюзорной свободы или жажды обманчивой славы как пережиткам прежнего революционного духа и искоренять всякий иной вид или новую форму политического идолопоклонства,

которое уже по своей природе и сущности подтачивает свои собственные силы или разрушается во взаимных столкновениях и, тем самым, неспособно к стабильному существованию. Философия как одухотворяющий центр всего знания остается для христианской науки высшей целью, ее существенной и главной задачей. Однако и исторические исследования, которые столь тесно связаны с религиозной сферой и столь часто вдаются в ее рассмотрение, никоим образом не должны быть исключены или полностью отделены от философских поисков. Напротив, именно религиозные убеждения и образ мысли, лежащие в основе совместных усилий исторического исследования и философского поиска, как раз и составляют характер этой новейшей эпохи лучшей европейской духовной культуры или, как, может быть, лучше было бы сказать, знаменует первую стадию возвращения в этом поступательном движении великого возрождения. И смею надеяться, что они все более становились также и господствующим характерным признаком немецкой науки, по крайней мере, в нынешнем девятнадцатом столетии. Я должен добавить еще несколько слов об этой науке в ее отношении к целому и в согласии с подлинной сущностью, внутренними потребностями и высшим предназначением этого последнего хронологического отрезка в новейшей всемирной истории. Политическое средоточие или религиозное основание общественной жизни той или иной нации почти всегда оставляет также и идентичный или, по меньшей мере, сходный отпечаток в развитии ее культуры и выдающихся творениях ее духа, подобный отблеску отраженного зеркалом образа или симптому-предвестнику кризиса, которому лишь позднее предстоит наступить в реальной истории. Так, в Англии внутреннее равновесие, установленное ее конституцией, связавшей воедино противоборствующие стихии, проявляется также и в философии. Во французской литературе восемнадцатого века революционные устремления господствовали задолго до начала самой революции; здесь и поныне продолжается еще оживленная борьба между глашатаями и духовными начинателями монархического и религиозного возрождения и противящимися им вновь пробудившимися либеральными силами. Точно так же и религиозный мир был тем фундаментом, на котором самым существенным образом покоится новейшая немецкая духовная культура вообще и, особенно, в философии, поскольку немецкая публика была и до сих пор остается наполовину протестантской, а наполовину католической. Вся эстетическая сторона немецкой лите-

ратуры, всех родов искусства и поэзии, это присущее нам артистическое воодушевление, борьба, ознаменовавшая первые начала нашего художественного развития, подражание английским и французским образцам, а затем их отторжение, столь широко распространившееся изучение классических авторов, вновь пробудившееся тяготение к родному языку, к нашей древней истории и ранним памятникам искусства — все эти предметы не представляют непосредственного интереса с выбранной нами общеевропейской точки зрения и образуют лишь введение и приготовительную школу той высшей немецкой науки и философии, которая, в первую очередь, имеет для нее значение. Исторические исследования не должны быть отделены от философии вообще и, тем более, от философии немецкой, поскольку именно в них заключается противовес и самое действенное противоядие от столь преобладающего в немецкой науке и ее спекулятивном направлении духа абсолютного. Искусство и поэзия вообще составляют ту область, в которой каждая нация более всего следует своему самобытному направлению и характеру фантазии; и потому следует считать скорее исключением, когда поэзия какой-либо отдельной нации, как, например, в настоящий момент английской, воспринимается также и другими народами в качестве общеевропейской. Напротив, исторические труды и исследования в первую очередь составляют общее для всех народов достояние европейской духовной культуры; у англичан, которые в этой научной сфере всегда выделялись самым превосходным и деятельным образом, в новейшее время можно привести такие работы о собственной национальной истории, которые по праву могут считаться подлинно классическими памятниками религиозного возрождения. Строго говоря, и наука вообще, и, в особенности, философия могут уже не называться английской, немецкой и т. п., но должны быть общеевропейскими. И если дело пока еще обстоит несколько иначе, чем это могло и должно было быть по самой природе вещей, то виной тому служит лишь несовершенство и индивидуальные сложности формы. В этом нас может убедить пример французского языка, ибо едва ли мы сможем пожаловаться на недостаток метафизической глубины у графа де Местра или, например, отказать тому же Бональду в диалектической проницательности. И хотя абсолютный характер мышления и убеждений, который на нынешней стадии развития духа времени, по-видимому, все еще господствует в Европе, здесь, в Германии в реальной жизни и в общественных отношениях проявляет себя гораздо реже, чем иных стра-

нах, то, напротив, в немецкой науке и философии идея или ложное понятие абсолютного прочно укоренилось и на протяжении долгого времени было важнейшим препятствием, из-за которого религиозная направленность и умонастроение, присущее самому характеру этой нации, не смогли проникнуть в нее или, по крайней мере, получили в ней превратное применение. Что касается самих религиозных воззрений, то в Германии протестантизм, в свою очередь, не разделился на множество новых различных и резко обособленных сект, как это было в других странах, таких как Англия, Голландия или Северная Америка, где он приобрел исключительное или подавляющее господство; ибо даже гернгутеров, в сущности, нельзя считать сектой. Это пиетистское направление обособилось и выступило против рационализма лишь в самое последнее время; и потому его границы остаются еще не настолько определенными, чтобы его можно было назвать сектой в подлинном смысле этого слова. Его господствующей силой является скорее глубокое, хотя и неопределенное религиозное чувство, которое сплавивает воедино это великое многообразие различных религиозных представлений и взглядов. Несомненно, такая сугубо внутренняя общность чувства, равно как и многочисленные внешние соприкосновения и переплетения интересов и понятий обеих противостоящих религий, а также множества частных мнений и индивидуальных взглядов произвело на свет множество разнообразных крайностей и редкостных по своему своеобразию продуктов той эпохи: множество случаев чистой идиосинкразии у протестантов, проявлявшейся в попытках сближения с католицизмом или уводившей их в противоположном направлении, к совершенному субъективизму, а с католической стороны — примеры еще более чудовищного смещения понятий, преднамеренные и умышленные вероучительные новшества, соответствующие полупротестантским или протестантским представлениям, опорой или даже первой побудительной причиной которых послужили принципы Просвещения, а также выдвинутые некоторыми правителями той эпохи государственные максимы. Однако сколь бы мы ни ощущали в себе склонность или обязанность самым серьезным и суровым образом выступать против подобных эксцессов, когда речь заходит о их практическом исполнении, я все же не думаю, что из этого можно вывести решительно неблагоприятное окончательное суждение обо всем этом целом и о его внутренней духовной направленности. Подлинное же и основное в этом смысле зло восемнадцатого столетия, то есть,

совершенное безразличие по отношению ко всем религиозным предметам и воззрениям, опасный дух полного индифферентизма, эта пагуба, которой оказались затронуты даже многие сугубо католические страны, в Германии пустил менее прочные корни и получил меньшее распространение, чем в какой бы то ни было иной стране; глубокое и неизгладимое религиозное чувство всегда сохраняло господство, как в самом характере германской нации, так и в ее философских устремлениях. При этом нас не должны чрезмерно смущать мимолетные парадоксы некоторых отдельных явлений; здесь мне приходят на память слова одного старого, многоопытного, благочестивого и мудрого духовного лица, очень хорошо знавшего немецкий характер и не раз повторившего: «Если не дать немцам религии, они придумают ее себе сами». Даже в их величайших научных заблуждениях, как правило, можно легко распознать религиозную направленность всего того устремления, которое лежит в самой глубине стоящих за ними намерений. Между тем, в такой стране, как Германия, при всей разнородности религиозных понятий, смешанных здесь столь хаотичным и запутанным образом, и при всей сложности ее всемирно-исторического положения, разумеется, должно пройти немалое время, прежде чем столь далеко идущие философские устремления, призванные удовлетворить лежащую в их основании глубокую религиозную тоску, смогут найти свое полное внутреннее разрешение и принять ясную внешнюю форму. Говоря об англичанах и о той внутренней борьбе взаимно противодействующих стихий, которую должна была тем или иным образом вынести и искусно удержать в счастливом равновесии почти каждая из великих образованных наций новой Европы, я отметил, что, судя по многим высказываниям, сделанным в центральном органе ее политической жизни людьми, стоящими на самой ее вершине и понимающими ее наилучшим образом, можно подумать, будто ясно зримой чертой английского национального духа является тайный страх перед самими собой. Напротив, о нашей немецкой нации, где такая борьба происходит почти исключительно или, во всяком случае, в первую очередь в религиозной и философской области, я хотел бы сделать то замечание, что немцы, как кажется, не столь легко способны прийти к взаимному соглашению и вполне понять друг друга, причина чего, должно быть, кроется лишь в том, что их философское и религиозное предназначение еще не было исполнено, а столкновение антагонистических религиозных стихий и различных форм мысли и направлений знания у них еще

не получило окончательного разрешения. В раннюю эпоху немецкой литературы протестанты имели немалое преимущество; однако с тех пор, по меньшей мере в науке, установилось полное равновесие. Решающую роль играет здесь лишь внутреннее религиозное убеждение, в то время как внешнее разделение конфессий не может являться всеобщим мериллом или масштабом научного суждения или классификации. В противном случае, если бы я мог здесь вдаваться в подробности, то среди немногих всецело либеральных и решительно антирелигиозных представителей немецкой философии или натурфилософии я как раз привел бы, может быть, в качестве, по счастью, очень редкого исключения одного или двух писателей, внешне принадлежащих к католической половине Германии. В то же время, среди первейших и превосходнейших авторов, которые старались обновить истинную платоновскую философию или в чьем глубоком религиозном понимании и трактовке сама натурфилософия стала христианской, имеются и такие, что относятся к протестантам. Философия не имеет своей задачей ни определять догму, ни объяснять ее; она также не состоит с последней в непосредственном соприкосновении. То существенное условие, которое определяет характер философии и делает ее христианской, есть внутренняя гармония или согласие между знанием и верой, а также идея божественного откровения как основа не только богословия, но и всего прочего знания и, наконец, чтобы и природа и естествознание были познаны и поняты в этом высшем божественном свете, который, просветив их насквозь, словно бы преображает их для науки. Уже в самом начале новейшей немецкой философии, там, где она еще довольно близка английской школе и по большей части основана на тех же самых исходных положениях и проблемах мышления, хотя и воспринимает их с большей широтой и подвергает более глубокому обоснованию, ее окончательной целью является, в сущности, все та же гармония между знанием и верой. Разумеется, она понимает их еще в очень ограниченном смысле, как простое рациональное знание и рациональную веру, в духе рационализма, весьма широко распространенного в то время не только у протестантов, но и в католических странах, в том числе, и в католической Германии. В то же время, однако, другие глубокие мыслители стремились отыскать иное, более высокое основание для философии в идее откровения — отчасти с общей сугубо спекулятивной, но оттого еще не антирелигиозной точки зрения, отчасти же с решительно христианских позиций позитивной веры

и благочестивого чувства. Основная ошибка, присущая немецкой философии, есть абсолютное — научное отражение всеобщего заблуждения духа времени, который принял теперь абсолютный характер даже в самой жизни, — неважно, выступает ли этот порок в философском облике абсолютной ячности или пантеистической природной всеполноты или же вообще как абсолютная идея и абсолютный разум. Именно это заблуждение в самом начале придало ложное пантеистическое направление также немецкой натурфилософии, ибо подлинный материализм, свойственный столь многим французским натурфилософам, в Германии встретил плохой прием в силу преобладающего здесь совершенно идеального и духовного характера немецкого образа мысли. И поскольку это чуждое влияние оказалось непродолжительным, именно немецкая натурфилософия оказалась всецело проникнута религиозными воззрениями и уже сейчас в лице своих первых представителей является христианской. Этот прогресс в великом деле всеобщего религиозного возрождения, затрагивающего также область науки, я рассматриваю как его высочайший триумф, поскольку именно в данной сфере эта проблема представляет наибольшую сложность; и лишь теперь неизмеримое богатство дивных открытий новейшего естествознания, познаваемое и все более глубоко понимаемое во всей своей взаимосвязи с высшей божественной истиной, может считаться подлинным достоянием христианской науки. Различные направления абсолютного рационалистического праздномыслия, которые и без того разрушаются изнутри и во взаимных конфликтах, неизбежно упразднятся, а вульгарный рационализм, являющийся не более чем эманацией рационализма высшего и, по большей части, все еще господствующий во многих низших сферах немецкой литературы, в общественном мнении и некоторых отдельных школах, сам собою исчезнет, по мере того как религиозное умонастроение будет все более пропитывать немецкую философию и полностью раскроется в ней как позитивно-религиозное общехристианское и, тем самым, католическое знание. В твердой надежде, что все это непременно сбудется, я начал первые опыты публичного изложения этой философии, которая долго готовилась втайне. Первая часть этих опытов, «Философия жизни», имела своим предметом сознание или внутреннего человека; вторая же — человека внешнего, в проходящем через все века развитии отдельных народов и государств, как оно представлено в этой завершенной мною «Философии истории».

Что в этом движении ясно различимо водительство божественной воли и Провидения, что этому развитию содействуют и противятся не только зримые земные силы, но что борьба эта ведется с божественной помощью против незримых вражеских сил, — уверенность во всем этом, как я надеюсь, мне удалось если и не доказать математически (что, впрочем, было бы здесь решительно неуместно и невозможно), то, во всяком случае, убедительно представить и надежно обосновать. В завершение нашего изложения я хотел бы еще раз окинуть взглядом все это целое в его связи с незримым миром и той высшей сферой, из которой проистекает всякое действие, совершающееся в этом зримом мире, и в которой коренятся все его основания и к которой обращена его последняя и высшая цель.

Христианство есть история освобождения рода человеческого из уз враждебного духа, отрицающего Бога и, сколько хватает сил, стремящегося увести все творение с истинного пути. Потому Писание называет его Князем мира сего, и он действительно был им, однако, согласно тому же свидетельству, в сущности это касалось лишь древней истории, где посреди всех народов Земли во всей блеске их воинской славы и всей полноте и великолепии языческой жизни он воздвиг трон своего мирового господства. Но с приходом божественного поворотного момента в истории человечества, с этой первоосновы его освобождения, с которого началось развитие нового мира, он, строго говоря, уже не может считаться князем, но, оставаясь лишь духом времени, противится Божьему делу и христианской вере, действуя среди тех, кто не судит о времени и о вещах переходящих по закону и чувству вечности, но, напротив, в угоду временным выгодам и мимолетным впечатлениям меняет и искажает и веру, и помыслы о вечном, а то и вовсе оставляет их без внимания и предаст забвению. В первую эпоху дальнейшего развития христианства он явился в образе сеющего смуту сектантского духа. Наибольшего успеха достиг он в противящейся любвеобильному христианству новой религии и лжеучении фанатического унитаризма, из-за которого от христианского мира была оторвана столь значительная часть восточных церквей и утрачены целые регионы Азии. В Средние века он проявлял себя не столько в обособленных сектах, сколько в схоластических раздорах и вражде между Церковью и государством, а внутри государства и самой Церкви. В начале новой всемирной эпохи дух времени не знал большей заботы, чем как удовлетворить настоящую потреб-

ность человечества в полной свободе вероисповедания, непосредственным следствием чего были, однако, по большей части, лишь кровавые раздоры и опустошительная война, которая непрерывно продолжалась более ста лет и велась не на жизнь, а на смерть. Когда же она завершилась или, по крайней мере, утихла и угасла, дух времени внес в повестку дня полное равенство всех религий (ограниченное лишь их моральными качествами) и столь же полное религиозное безразличие и принцип индифферентизма. Это мнимое затишье перед бурей сменилось революционными потрясениями, а когда миновали и те, в качестве современной формы и последней метаморфозы все того же древнего зла на сцену выступил абсолютный дух новейшей эпохи, то есть, превратившийся в партийную страсть разум или возведенная до уровня рационалистического принципа страсть.

Но если мы воззрим на божественную опору, на поддержку и помощь в той борьбе рода человеческого с собственной немощью, со всеми препятствиями, созданными природой и природными условиями, с противодействием враждебных духов, которой исполнена вся мировая история, то, как я силился показать, в первые тысячелетия первобытной истории божественное откровение, сохранившееся в целостности в своем едином первоисточнике, повсюдным потоком изливалось также в священном предании прочих великих народов древности. И хотя здесь оно было замутнено примесью многочисленных заблуждений, все же и в этом хаотичном смешении все еще можно было опознать его простой божественный исток. Все это составляет основу и содержание той веры, которая необходима для религиозного взгляда на всемирную историю. И лишь с такой религиозной верой, с готовностью видеть следы божественного откровения, мы можем верно осмыслить и понять эту первую мировую эпоху древней истории. К божественному поворотному пункту, к этой центральной точке всемирной истории, где начинается освобождение и спасение рода человеческого, мы можем ныне обратиться с полной любовью, которая утверждается тем прочнее, чем вернее способны мы отличать то, что есть подлинно божественного и непреложно вечного в этом откровении любви, от тех разрушительных начал, которые были в него привнесены или противопоставлены ему людьми. И лишь в духе любви мы можем достичь подлинно исторического понимания и вынести верное суждение об истории всей христианской эпохи. В последние века, когда раздор одержал верх над любовью, последней путеводной нитью в лабиринте истории для нас остается историческая надежда. С одним лишь чувством восхищения и благодарности, в изумлен-

ном благоговении можем мы взирать на судьбы высшего Провидения, явленные в дальнейшем развитии христианства и в новейшей мировой истории, на чудесные стечения обстоятельств, ведущих нас к единой цели божественной любви, или на неожиданные проявления подолгу медлившего божественного правосудия, на которые я в надлежащих местах несколько раз пытался указать хотя бы намеком. А завершением всего этого целого для всей моей «Философии истории», наряду с изначальной верой в божественное откровение и в полном принятии христианской любви может служить лишь та религиозная надежда, которую я выражал уже не один раз и хотел бы выразить вновь применительно к нашему времени как последнему преддверию надвигающегося будущего: что в совершенном религиозном возрождении государства и науки дело Божие и христианство одержат окончательную победу и восторжествуют на Земле.





Примечания

При подготовке примечаний, в части сведений общего характера, использованы соответствующие материалы (примечания, подготовленные А. В. Михайловым и Ю. Н. Поповым — с нашими дополнениями) из двухтомника: Шлегель Фридрих. Эстетика. Философия. Критика. В двух томах. М.:1983.

Большая часть статей и рецензий Ф. Шлегеля впервые появилась в журналах, в том числе в издававшихся им журналах «Атеней», «Европа», «Немецкий музей», «Concordia». В 1801 г. А.-В. и Ф. Шлегели издали сборник своих критических работ: *Charakteristiken und Kritiken. Von August Wilhelm und Friedrich Schlegel. Bd 1–2. Königsberg, 1801.*

В 1822–1825 гг. Ф. Шлегель издал Собрание сочинений, включив в него в переработанном виде далеко не все из ранних работ: *Friedrich Schlegels sämtliche Werke, Bd 1–10. Wien, 1822–1825.*

Второе издание, содержащее, кроме того, сочинения «О языке и мудрости индийцев», «О новой истории» и три цикла лекций конца 1820-х гг. («Философия жизни», «Философия истории», «Философия языка и слова»), вышло в 1846 г.: *Friedrich von Schlegels sämtliche Werke, Bd 1–15. Zweite Originalausgabe. Wien, 1846.*

В 1882 г. Я. Минор собрал ранние работы Ф. Шлегеля, разбросанные по разным журналам, и издал их в первоначальном виде: *Friedrich Schlegel. 1794–1802. Seine prosaischen Jugendschriften. Hrsg. Von Jakob Minor, Bd 1–2. Wien, 1882 (2 Aufl. Wien, 1906).* Это издание стало основным источником для последующих работ о молодом Ф. Шлегеле.

В 1958 г. было начато критическое издание сочинений Ф. Шлегеля, рассчитанное на 35 томов: *Kritische Friedrich Schlegel*

Ausgabe. Hrsg. von Ernst Behler unter Mitwirkung von Jean-Jacques Anstett und Hans Eichner. München — Paderborn — Wien, 1958 ff.

Первые десять томов представляют собой критическое переиздание опубликованных сочинений Ф. Шлегеля, последующие двенадцать томов содержат рукописное наследие Ф. Шлегеля (в том числе философские лекции, впервые изданные К.-И.-И. Виндишманом в 1836–1837 гг.), тома 23–32 — письма Фридриха и Доротеи Шлегель и письма, адресованные им, тома 33–35 — издания и переводы Ф. Шлегеля.

До 2014 г. вышли в свет:

Erste Abteilung: Kritische Neuausgabe.

Bd 1. Studien des Klassischen Altertums. 1979.

Bd 2. Charakteristiken und Kritiken I (1796–1801). 1967.

Bd 3. Charakteristiken und Kritiken II (1802–1829). 1975.

Bd 4. Ansichten und Ideen von der christlichen Kunst. 1959.

Bd 5. Dichtungen. 1962.

Bd 6. Geschichte der alten und neuen Literatur. 1961.

Bd 7. Studien zur Geschichte und Politik. 1966.

Bd 8. Studien zur Philosophie und Theologie (1796–1824). 1975.

Bd 9. Philosophie der Geschichte, in achtzehn Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1828. 1971.

Bd 10. Philosophie des Lebens, in fünfzehn Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1827, und philosophische Vorlesungen insbesondere über Philosophie der Sprache und des Wortes; geschrieben und vorgetragen zu Dresden im Dezember 1828 und in den ersten Tagen des Januars 1829. 1969.

Zweite Abteilung: Schriften aus dem Nachlass.

Bd 11. Wissenschaft der europäischen Literatur: Vorlesungen, Aufsätze und Fragmente aus der Zeit von 1795 - 1804. 1958.

Bd 12. Philosophische Vorlesungen (1800–1807). T. I. 1964.

Bd 13. Philosophische Vorlesungen (1800–1807). T. II. 1964.

Bd 14. Vorlesungen über Universalgeschichte (1805–1806). 1960.

Bd 15.1. Vorlesungen und Fragmente zur Literatur. Orientalia. 2002.

Bd 15.2. Kölner Vorlesungen Über deutsche Sprache und Literatur (1807). 2006.

Bd 16. Fragmente zur Poesie und Literatur. I. 1981.

Bd 17. Fragmente zur Poesie und Literatur. II. 1991.

Bd 18. Philosophische Lehrjahre: 1796–1806: nebst philosophischen Manuskripten aus den Jahren 1796–1828. I. 1963.

Bd 19. Philosophische Lehrjahre: 1796–1806: nebst philosophischen Manuskripten aus den Jahren 1796–1828. II. 1971.

Bd 20. Fragmente zur Geschichte und Politik. I. 1995.

Bd 21. Fragmente zur Geschichte und Politik. II. 1995.

Bd 22. Fragmente zur Geschichte und Politik (1820–1828). III. 1979.

Dritte Abteilung: Briefe von und an Friedrich und Dorothea Schlegel.

Bd 23. Bis zur Begründung der romantischen Schule (15 September 1788–15 Juli 1798). 1987.

Bd 24. Die Periode des Athenäums (25 Juli 1797 – Ende August 1799). 1985.

Bd 25. Höherpunkt und Zerfall der romantischen Schule, 1799–1802. 2009.

Bd 29. Vom Wiener Kongress zum Frankfurter Bundestag (10 September 1814–31 Oktober 1818). 1980.

Bd 30. Die Epoche der Zeitschrift Concordia (6 November 1818–Mai 1823). 1980.

Vierte Abteilung: Editionen, Übersetzungen, Berichte.

Bd 33. Sammlung von Memoiren und romantischen Dichtungen des Mittelalters aus altfranzösischen und deutschen Quellen. 1980.

Bd 35. Tagebuch (Über die magnetische Behandlung der Gräfin Lesniowska 1820–1826). 1979.

ЖУРНАЛЫ, ИЗДАВАВШИЕСЯ Ф. ШЛЕГЕЛЕМ

«Athenäum». Eine Zeitschrift von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel. Bd 1–3. Berlin, 1798–1800. – Neuausgabe mit einem Nachwort von Ernst Behler. Stuttgart – Darmstadt – Berlin, 1960; Darmstadt, 1970.

«Europa». Eine Zeitschrift. Hrsg. von Friedrich Schlegel. Bd 1–2. Frankfurt, 1803–1805. – Neuausgabe mit einem Nachwort von Ernst Behler. Stuttgart – Darmstadt, 1963; Darmstadt, 1973.

«Deutsches Museum». Hrsg. von Friedrich Schlegel. Bd 1–3. Wien, 1812–1813. – Nachdrucke: Hildesheim, 1973; Darmstadt, 1975.

«Concordia». Eine Zeitschrift, hrsg. von Friedrich Schlegel. Hefte 1–6. Wien, 1820–1823. – Neuausgabe mit einem Nachwort von Ernst Behler. Stuttgart – Darmstadt, 1966.

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗДАНИЯ ПИСЕМ Ф. ШЛЕГЕЛЯ

Aus Schleiermachers Leben. In Briefen. Hrsg. von L. Jonas und W. Dilthey. Bd 3. Berlin, 1863.

Friedrich Schlegels Briefe an seinen Bruder August Wilhelm. Hrsg. von O. F. Walzel. Berlin, 1890.

Friedrich Schlegels Briefe an Frau Christine von Stransky. Bd 1–2. Hrsg. von Martin Rottmanner. Wien, 1907–1911.

Caroline. Briefe aus der Frühromantik. Nach G. Waitz vermehrt von E. Schmidt. Leipzig, 1913.

Briefe von und an Friedrich und Dorothea Schlegel. Gesammelt und eingeleitet durch Josef Körner. Berlin, 1926.

Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel. Briefe. Hrsg. von Henry Lüdeke, Frankfurt a. M., 1930 (neu hrsg. von E. Löhner. München, 1972.).

Krisenjahre der Frühromantik. Briefe aus dem Schlegelkreis. Hrsg. von Josef Körner. Bd 1–2. Brünn – Wien – Leipzig, 1936; 2 Aufl. Bern, 1969; Bd 3 (Kommentar). Bern, 1958.

Der Briefwechsel zwischen Friedrich Schlegel und Novalis. Hrsg. von Max Preitz. Darmsradt, 1956.

Переписка Шлегеля с Новалисом содержится также в издании: Novalis. Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenberg. Hrsg. Von P. Kluckhohn und R. Samuel. Bd 4. Stuttgart, 1975.

Обычно выделяют четыре периода в критическом осмыслении творчества Фридриха Шлегеля и в целом немецкого романтизма. См.: Габитова Р. М. *Философия немецкого романтизма* (Фр. Шлегель, Новалис). М.: 1978. С. 259–263. В первый период (первая половина XIX века) негативный тон был задан работой Г. Гейне «Романтическая школа в Германии». Знаменитый немецкий поэт, выступая с либерально-рационалистических позиций, подверг немецкую романтику язвительно-уничтожающей и, в основном, несправедливой критике. Его удары были нанесены выходцем из позднего романтического движения, то есть изнутри, а потому были точны и, как следствие, на целое поколение в значительной мере определили восприятие немецкой романтики. Впрочем, и в дальнейшем, если говорить о марксистской традиции, восприятие немецкого романтизма не удалялось далеко от предписанного язвительной критикой Гейне. Но не он один «приложил руку» к намеренно упрощенной характеристике немецкого романтизма. Значительно более долговременным и широким было влияние негативных оценок, данных в разное время и по разным поводам Г. В. Гегелем. См.: Там же, с. 274. Особенно неприязненными были отношения между ним и Ф. Шлегелем. В 1827 году, т. е. в год создания «Философии жизни», отношения между ними крайне обостряются. В рецензии на собрание сочинений Зольгера Гегель писал: «Он всегда рассуждал о философии без того, чтобы высказать хотя бы одно содер-

жательное положение». Ф. Шлегель отвечал ему не менее резко. «Его брат Август, — пишет А. В. Гулыга, — сочинил по этому поводу эпиграмму, в которой он призывал немцев полюбоваться повсеместно развернувшейся борьбой двух титанов: “Где Саар и там, где Прегель, С Гегелем воюет Шлегель, С Шлегелем воюет Гегель”. В статье о Зольгере Гегель подчеркивал, что шлегелевская ирония не имеет ничего общего с сократовской: первая негативна, нигилистична, в то время как последняя направлена на поиски истины». Следует учитывать и объективные моменты «антиромантического сдвига» в общественном сознании начала 1830-х гг., такие как появление сциентистского позитивизма, начало экспансии буржуазных социально-экономических отношений, бурное развитие технического прогресса, будто бы непосредственно подтверждающего конечную истинность принципов механицизма.

Во второй период (вторая половина XIX — начало XX вв.) романтика была отчасти «реабилитирована», но доминирующие в университетах либеральные профессора интерпретировали философию романтизма в духе позитивистских, неокантианских и неогегельянских воззрений, как правило, апологетичных по отношению к «современности» и, как минимум, сдержанных в оценках «остатков средневековья», в апологетическом отношении к которым обвиняли романтику. Они постарались разделить «прогрессивную» раннюю романтику и «реакционную» позднюю. Ведущими в этот период стали работы Г. Гайма, Р. Хуха, О. Вальцеля, М. Йоахими-Деге, К. Эндерса. Более глубокая оценка немецкой романтики дана в исследованиях В. Дильтея и его школы.

В третий короткий, но очень емкий и переломный период (с конца двадцатых годов XX века и до окончания Второй мировой войны) произведения немецких романтиков фактически были мобилизованы на идеологические фронты руководством нацистской Германии. В либеральном лагере охотно восприняли этот новый образ и новую функцию романтизма, поскольку это помогало им формировать образ врага. Из немецкого романтизма, путем пропагандистско-идеологических манипуляций, выделили «чистые фракции». Это, якобы, «иррационализм» (у подлинной, а не препарированной, романтики, мы обнаружим не отсутствие «основания», а стремление опереться на более глубокое религиозное основание). Это, якобы, «антипросветительство» (но и здесь у настоящей романтики речь шла не об «анти», а о более фундаментальном, чем у «просветителей»,

подходе к понятиям «естественного разума» и «естественного света»). Это, якобы, «национализм» (но романтики не мыслили жизнь своей нации в отрыве от воплощения общечеловеческих и общехристианских идеалов).

Романтизм действительно противостоял традиции Великой Французской революции и основным моделям, французской и англо-американской, рационалистического Просвещения. И в том, по нашему мнению, не его ложь, а его правота. Нацизм воспользовался этой правотой романтизма, но при этом, по сути, отверг позитивные идеи немецкого исторического Просвещения. Их либо заменили суррогатами вульгаризированного и интерпретированного в духе расистской теории романтизма («Миф о XX веке» В. Розенберга), либо выбрали из модели исторического Просвещения только его критику, опустив позитивную часть. В гитлеровской доктрине исторической судьбы осталась лишь тень христианской идеи необходимой структуры исторического универсума; вместо идеи всевременности господствует гегелевское обожествление современности; сложную прогрессивно-циклическую идею развития подменяет шпенглеровский «чистый» циклизм, а, главное, разрушается единство общечеловеческой истории, которая становится вместилищем не связанных одна с другой «цивилизаций».

Дело в том, что сама эпоха Модерна (XVI–XX вв.) отмечена «безблагодатностью» тотального «овеществления» («капитализации») человека и культуры. И вот мы видим в преддверии исхода Модерна подлинных демонов и мнимых «субъектов судьбы», таких как Адольф Гитлер, который, в отличие от Энея (а миф об Энее, как и миф об Одиссее, является одним из архетипических для западной духовной культуры) не смог отказаться от инверсии своей экзистенции, когда из творческого пространства судьбы он перешел к восприятию ее как своего орудия, а себя как ее субъекта. Отказ от диалектики свободы и необходимости в пространстве судьбы ведет, по словам В. Н. Топорова, к двум тупиковым исходам: «или насилие по отношению к будущему как зеркальное отражение того мнимого насилия, которое якобы будущее совершает по отношению к человеку, стремление устроить будущее по своему плану, чаще всего неотличимому от произвола, даже не всматриваясь в это будущее и не выслушав посылаемые им сигналы; или же пассивное принятие будущего, как бы “подавание” ему, готовность быть им взятым, также не потрудившись понять будущее и оставаясь к нему по существу безразличным». См.: Топоров В. Н. Судьба и случай...

С. 47. Первая, «прогрессистски-гуманистическая», возможность догматизирована в ленинизме и реализована в практике «коммунистического строительства». Вторая, «фаталистически-романтическая», догматизирована в ницшеанстве (но не в учении самого Ницше, остающегося в творческом пространстве судьбы), например, О. Шпенглера и реализована в практике гитлеризма.

Но в этот период в Германии выходили и научно ценные работы немецких философов, историков и филологов, многие из которых востребованы до сих пор, в том числе многочисленные исследования по истории и философии немецкого романтизма. См.: Габитова Р. М. Философия немецкого романтизма. С. 262. Определенная автономия интеллектуальной жизни еще оставалась в Германии и под властью нацистов, несмотря на тяжелый каток идеологического, политического и физического террора. Сам Хайдеггер, через год после начала своего ректорского «фюрерства», добровольно оставил должность и удалился во внутреннее изгнание.

В четвертый период, начавшийся после Второй мировой войны, вопрос о немецком романтизме остается нагруженным его «идеологической виной». И здесь также явно просматривается продолжение старой борьбы между основными моделями модернизации: американскими, британскими, советскими, французскими, немецкими. Западные победители неустанно напоминают немцам о том, что у них явно не налаживаются «отношения с современностью», мягко говоря, «сомневаются» в демократичности идеала *Bildung*, в общем, «принимают меры» с целью недопущения возрождения «альтернативного проекта». Поэтому по-прежнему тема немецкого романтизма является актуальной, интересной и острой. Но помимо идеологической борьбы, имеющей, так сказать, превентивно-воспитательный характер, направленный на исправление «отрицательных черт» немецкой культуры и нации (мы бы добавили — повинной в тридцатые-сороковые, прежде всего, в предательстве собственных идеалов), и явно обострившейся после германского объединения, идет кропотливая научная работа и глубокая философская дискуссия о судьбах Модерна. И в этой дискуссии, по нашему мнению, идеи немецкого исторического Просвещения имеют тенденцию к возрождению.

Философия жизни (PHILOSOPHIE DES LEBENS)

Лекции были прочитаны в Вене с 26 марта по 31 мая 1827 г. и изданы в январе 1828 г. Это первое большое философское сочинение, опубликованное при жизни Ф. Шлегеля. Согласно указанию, данному самим автором, оно является первой частью своеобразной трилогии, включающей также «Философию истории» и «Философию языка и слова» (последняя часть не была завершена автором из-за внезапной кончины), и призванной дать цельное христианское учение, направленное на своеобразную философскую пропедевтику грядущего, в начале «четвертой эпохи», восстановления человека в его богоподобии.

В самом начале «Философии жизни» он дает, сжато и точно, критическую характеристику учений французских материалистов, мировоззрения Вольтера, учения Руссо и мировоззрения его якобинских последователей, то есть всего того, против чего он и направляет, прежде всего, свое «спиритуалистическое учение». Затем, столь же кратко и емко, он определяет сущность учений Канта и Фихте, натурфилософии Шеллинга. Потом говорит о системе трансцендентального идеализма Шеллинга, объединяя ее в своей оценке с учением Гегеля. Затем следует экскурс к «Каину» Байрона и, после этого, он выносит суровый приговор Гегелю как создателю «самого извращенного» учения новейшей немецкой философии. Наконец, он дает оправдание позднему развитию Шеллинга с признанием происходящих позитивных изменений в его системе, при этом не вполне его удовлетворяющих. Для него раннее учение Шеллинга — это «спинозизм без любви». Это он говорил и в 1802 г. и в 1806 г. А его критика Шеллинга в «Языке и мудрости индийцев» побуждает того написать свой поворотный трактат о человеческой свободе. Тон полемики между ними смягчается и стороны движутся к примирению и взаимному признанию, но до полного взаимного признания дело, все-таки, не доходит.

Философия истории (PHILOSOPHIE DER GESCHICHTE)

Лекции, прочитанные в Вене с 31 марта по 30 мая 1828 г. Вышли отдельным изданием в 1829 г.





Содержание

Отредакции.....5

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

Предисловие.....	6
Лекция первая.....	9
Лекция вторая.....	40
Лекция третья.....	60
Лекция четвертая.....	82
Лекция пятая.....	106
Лекция шестая.....	128
Лекция седьмая.....	152
Лекция восьмая.....	172
Лекция девятая.....	194
Лекция десятая.....	215
Лекция одиннадцатая.....	240
Лекция двенадцатая.....	263
Лекция тринадцатая.....	284
Лекция четырнадцатая.....	309
Лекция пятнадцатая.....	330

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Предисловие.....	354
Лекция первая.....	358
Лекция вторая.....	382
Лекция третья.....	410
Лекция четвертая.....	434
Лекция пятая.....	459

Лекция шестая.....	482
Лекция седьмая.....	510
Лекция восьмая.....	533
Лекция девятая.....	556
Лекция десятая.....	581
Лекция одиннадцатая.....	605
Лекция двенадцатая.....	629
Лекция тринадцатая.....	653
Лекция четырнадцатая.....	676
Лекция пятнадцатая.....	703
Лекция шестнадцатая.....	729
Лекция семнадцатая.....	756
Лекция восемнадцатая.....	780
Примечания.....	805



Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель

СОЧИНЕНИЯ

Том I

Философия жизни.

Перевод с немецкого *В. М. Линейкина*
под редакцией *Т. Г. Сидаша* и *С. Д. Сапожниковой*

Философия истории.

Перевод с немецкого *Д. К. Трубчанинова*
под редакцией *В. М. Линейкина*

Комментарии *В. В. Феллера*

Научный редактор издания *В. В. Феллер*

Верстка *А. В. Герасимовой*

Подписано в печать __. __. 2015. Формат 60x98 V

Гарнитура Newton. Уч.-печ. л. __

Тираж 500 экз. Заказ № 4918

Отпечатано способом ролевой струйной печати

в ОАО «Первая образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область,

г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Сайт: www.chpd.ru. E-mail: sales@chpd.ru.

8 (496) 726-54-10